

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

М. ПРИШВИН
Б. ЖИТКОВ
В. БИАНКИ
П. БАЖОВ



МИХАИЛ ПРИШВИН
БОРИС ЖИТКОВ
ВИТАЛИЙ БИАНКИ
ПАВЕЛ БАЖОВ







**БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ**



МИХАИЛ ПРИШВИН

*З*ОЛОТОЙ ЛУГ



БОРИС ЖИТКОВ

*М*ОРСКИЕ ИСТОРИИ
*Р*АССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ



ВИТАЛИЙ БИАНКИ

*Р*АССКАЗЫ И СКАЗКИ



ПАВЕЛ БАЖОВ

*У*РАЛЬСКИЕ СКАЗЫ

МОСКВА

„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

1982

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.	Думбадзе Н. В.	Мустай Карим
Алексин А. Г.	Коржев Г. М.	Новожилова Э. Г.
Барабаш Ю. Я.	Леонов Л. М.	Пешеходова Г. К.
Благой Д. Д.	Лихачев Д. С.	Прилежаева М. П.
Верейский О. Г.	Ломунов К. Н.	Свиридов Н. В.
Виноградов А. А.	Марков Г. М.	Столетов В. Н.
Гамзатов Расул	Межелайтис Э. Б.	Стукалин Б. И.
Гончар Олесь	Миршакар Мирсайд	Танк Максим
Дехтерев Б. А.	Михалков С. В.	Шолохов М. А.
	Мотяшов И. П.	

*

Вступительные статьи

В. А. СОЛОУХИНА, В. Л. РАЗУМНЕВИЧА,
Н. И. СЛАДКОВА, Л. И. СКОРИНО

Оформление серии

Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Оформление тома и иллюстрации

Н. А. УСТИНОВА

П 4803010102—341 Подп. изд.
М101(03)82

МИХАИЛ
ПРИШВИН
Золотой луг



ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

Есть профессии, которые выбирают для себя люди, а есть профессии, которые выбирают людей. В последнем случае в старые времена такие профессии назывались призванием.

Антон Павлович Чехов получил медицинское образование. И до сих пор на его доме в Москве висит медная досочка с надписью: «Доктор А. П. Чехов». Однако профессия русского писателя, призвание писателя выбрало этого человека, заставило бросить медицину и всю жизнь целиком посвятить литературе.

Михаил Васильевич Нестеров был отдан учиться в реальное училище (до революции существовали такие училища с техническим уклоном), но на втором году обучения он делает запись в дневнике: «Я начинаю выделяться по рисованию». Что? Откуда? Вместо коммерсанта или инженера получился замечательный русский художник Нестеров.

Михаил Михайлович Пришвин не менее яркий пример того, как под воздействием призвания человек меняет всю свою жизнь. Константин Паустовский однажды сказал: «Жизнь Пришвина — доказательство того, что человек должен всегда стремиться жить по призванию, «по велению своего сердца». В таком образе жизни заключается величайший здравый смысл, потому что человек, живущий по своему сердцу и в полном согласии со своим внутренним миром, — всегда созидатель, обогатитель и художник»¹.

Так-то оно так, да ведь не всегда, не сразу, не каждый человек находит свою дорогу.

Михаил Михайлович Пришвин родился 23 января 1873 года недалеко от города Ельца Орловской губернии в купеческой семье. Как водилось тогда — сначала гимназия (в г. Ельце), затем реальное училище в Тюмени, затем политехникум в Риге. Дальнейшее образование М. Пришвин получает за границей, в Лейпцигском университете. В двадцатидевятилетнем возрасте он сдал там государственный экзамен по агрономическому отделу философского факультета, и в Россию вернулся агроном, но с широким общегуманитарным образованием.

¹ М. Пришвин. Собр. соч., М., ГИХЛ, 1955—1957, т. 1, стр. 5.

Некоторое время молодой агроном служит в земстве в Клину, некоторое время занимается с профессором Прянишниковым в Сельскохозяйственной академии в Москве, некоторое время работает исследователем на опытной станции в г. Луге, сотрудничает в агрономических журналах, написал книгу о картофеле.

Но... Как Нестеров записал в своем дневнике «я начинаю выделяться по рисованию», так Пришвин почувствовал особенное тяготение к русскому языку. Возможно, он чувствовал его и раньше, но теперь оно проявилось и обострилось.

По совпадению именно в это время он познакомился с известными русскими этнографами Шахматовым и Ончуковым. Языковеды-этнографы уговорили Пришвина поехать на север России, в Олонецкую губернию, для собирания народных сказаний, поверий, песен, пословиц и поговорок. Видимо, в этот момент и решилась судьба Пришвина: быть ли ему агрономом и ученым, быть ли ему писателем. Пришвин согласился на уговоры и уехал на Онежское озеро. Пожалуй, как никто другой, он имел основания сказать в тот день: «Жребий брошен, рубикон перейден».

Надо представить себе, в какой обстановке формировалось самосознание будущего писателя.

Последняя четверть девятнадцатого и первое десятилетие двадцатого века в России было ознаменовано пробуждением острейшего интереса к национальным, народным ценностям. Это сочеталось с одновременным взлетом, можно сказать, всех видов искусств, равно как и науки. Достоевский, Толстой, Чехов, Горький, Блок, Бунин, Куприн — в литературе; Чайковский, Бородин, Римский-Корсаков, Мусоргский, Рубинштейн, Скрябин, Рахманинов — в музыке; Верещагин, Суриков, Васнецов, Левитан, Репин, Серов, Кустодиев, Бенуа, Рерих, Нестеров — в живописи; читает свои знаменитые лекции Тимирязев, открывает Периодическую систему Менделеев, бросает первую радиоволну в эфир Попов; поют Собинов и Шаляпин, собирает национальную галерею живописи Третьяков, формируется и обретает свое лицо Художественный театр, открывается из-под вековых наслоений особый мир древнерусской живописи...

Этот обостренный интерес к народным, национальным ценностям коснулся, разумеется, и таких областей культуры, как язык, фольклор, этнография. Поэтому отнюдь не случайно уговаривал академик Шахматов молодого ученого, пишущего пока о картошке, но тяготеющего к глубинам русского языка, к русскому народному слову, отправиться в Олонецкие края за сбором сказаний. Не случайно также молодой ученый на эту экспедицию охотно согласился. Это было вполне в духе времен.

Надо представить себе и север России тех времен. Это был воистину край непуганых птиц, а пласты народности как в языке, в фольклоре, так и в укладе жизни, в быту, в этнографии были первородны, нетронуты.

Неудивительно, что такой очарованный странник, как Пришвин, жадно начал впитывать душой, умом и сердцем всю эту первородность. Дело не ограничилось собиранием фольклора. Пришвин написал книгу «В краю непуганых птиц», которая сразу же сделала ему имя. Он уехал на север скромным агрономом, а вернулся замечательным русским писателем.

Строго говоря, послужная биография Пришвина на этом кончается. Он больше нигде и никогда не служил — ни в земствах, ни на исследовательских сельскохозяйственных станциях, ни (позже) в каких бы то ни было других учреждениях и организациях. До конца жизни теперь он будет служить только одному — русской литературе, а послужной его список — это просто-напросто список им написанных и изданных книг. Сразу же можно и назвать основные из них: «В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком», «Адам и Ева», «Светлое озеро», «Черный араб», «Жень-шень», «Лесная капель», «Календарь природы», «Кашеева цепь», «Золотой луг», «Кладовая солнца», «Фацелия», «Глаза земли»...

В перечисленное входит далеко не все, что было написано Пришвиным, не говоря уж о его многотетрадных дневниках, которые ждут еще своего исследования и публикации, но перечисленное вполне определяет лицо, характер художника слова и его место в литературе.

Вообще-то для оценки Пришвина как писателя и мыслителя всегда и при всех обстоятельствах могло бы хватить той оценки, которую мы находим в письме Алексея Максимовича Горького Пришвину, написанном в Сорренто 22 сентября 1926 года. Вот что Горький пишет в этом письме:

«Я думаю, что такого природолюбца, такого пронизательного знатока природы и чистейшего поэта ее, как Вы, М. М., в нашей литературе — не было. Догадывался я об этом еще во времена «Черного араба», «Колобка», «Краю непуганых птиц», окончательно прозрел, читая совершенно изумительные «Родники». Превосходно писал Аксаков «Зап. ружейного охот.» и «Об ужении рыбы», чудные страницы удалась Мензбиру в книге о птицах, и у Кайгородова, и у других многих природа русская порою вызывала сердечные слова, но... ни у кого из них не находил я все охватывающей, пронзительной и ликующей любви к земле нашей, ко всему ее живому и якобы смертному, ни у кого, как у Вас, воистину «отца и хозяина всех своих видений». В чувстве и слове Вашем я слышу нечто древнее, вещее и язычески прекрасное, сиречь — подлинно человеческое, идущее от сердца сына земли, великой матери, богочтимой Вами. И когда я читаю «Фенологические» домыслы и рассуждения Ваши — улыбаюсь, смеюсь от радости, до того это все изумительно прелестно у Вас. Не преувеличиваю, что мое истинное ощущение совершенно исключительной красоты, силой которой светлейшая душа Ваша освещает всю жизнь... Все

у Вас сливается в единый поток ж и в о г о, все осмыслено умным Вашим сердцем, исполнено волнующей, трогательной дружбы с человеком, с Вами — поэтом и мудрецом»¹.

Итак, первая же книга М. Пришвина «В краю непуганых птиц» сделала его известным писателем. Появилось в русской литературе новое имя — Пришвин. Но дорога к себе была для Михаила Михайловича не так еще близка, он не сразу обрел то свое лицо, которое мы теперь сразу же представляем себе, произнося имя — Пришвин. Осмелимся заметить даже, что «В краю непуганых птиц» — книга яркая, замечательная, все же книга еще не вполне пришвинская. Таковую книгу мог бы написать и другой русский писатель, ну, скажем, Куприн, а еще точнее — Лесков, в то время как пришвинские книги зрелого его периода ни один писатель в мире, кроме Пришвина, написать не мог.

Первая книга и еще несколько последующих, таких, как «Адам и Ева», «Светлое озеро», были, конечно, поисками своего лица, своеобразия, уникальности (а каждый большой художник уникален, или его нельзя называть большим художником), но все же они лежали еще в русле русской литературы тех времен. Самолету, чтобы подняться в небо, надо некоторое время разбежаться по земле. Потом наступает точка, когда он отрывается от дорожки и летит самостоятельно. Первые книги Пришвина и были таким разбегом.

Спору нет, уже по этому разбегу было видно, какой небывалый летательный аппарат берет разбег, и можно было догадываться уже о его будущих летательных качествах, тем не менее это было лишь предисловие к творчеству. Сам писатель о начале своего пути однажды сказал: «Я же мало-помалу осознал свой путь и начал культивировать географический очерк, превращая его в литературный жанр»².

Но кто же сейчас думает и говорит о Пришвине как о писателе географическом?

Правда, что его очерки разнообразны по географии: Север, Дальний Восток, Средняя Азия, Волга и Заволжье, Средняя Россия; правда, что за первую книгу Пришвина избрали действительным членом Географического общества, и все же слово «Пришвин» со словом «география» как-то не сочетается.

С чем же сочетается точнее всего в нашем сознании слово «Пришвин»? Ответить на это не трудно. Оно сочетается со словом «природа». Уточним: природа Средней России.

Есть ли тут противоречие? Природа — это ведь часть географии: горы, реки, леса, луга, низменности, овраги... Да, это так. Но пришвинская природа — это несколько иная, нежели географическая, категория, у него иное отношение к природе, нежели у геогра-

¹ М. Пришвин. Собр. соч., М., ГИХЛ, 1935—1939, т. IV, стр. 6—7.

² М. Пришвин. Моя страна, М., Географиздат, 1948, стр. 75.

фов, а именно: не научно-описательное, а духовно-поэтическое отношение. Пришвин, начиная как будто с простого исследования, поднимается в философские, поэтические, духовные сферы, в сферы высокого искусства. Он не географ, а поэт или, как чаще его называют в обиходном разговоре, певец природы. Певец русской природы.

Не одного Пришвина называют певцом русской природы. Называют этим именем и Тургенева и Паустовского, например. Есть ли разница между этими художниками и в чем она? Сравним изобразительные средства этих, хотя бы трех, писателей не для того, чтобы углубляться в особенные тонкости их творческой лаборатории, а для того, чтобы на этом сравнении быстрее и легче понять своеобразие Пришвина.

Когда говорят об искусстве, то часто употребляют выражение: «видение мира». Дело в том, что у каждого художника оно свое. Если десять разных, но, конечно, сложившихся, хороших художников сядут рядом писать один и тот же пейзаж, можно быть уверенным, что на холсте один и тот же пейзаж у всех получится по-разному, по-своему. То же самое произойдет, если они напишут портрет одного и того же человека. Дело здесь не только в манере письма, но главное (без чего не может быть искусства) — в отношении художника к тому, что он изображает, в своеобразном видении предмета, а еще шире — мира.

Тургеневские краски яркие, взгляд его охватывает широко и далеко, живописуя общую, но в то же время реалистическую картину пейзажа или ландшафта.

Летний полдень:

«Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места...»

Летний закат:

«...алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда».

Ландшафт:

«Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками; на дне ее торчало стоймя несколько больших белых камней, — казалось, они сползли туда для тайного совещания, и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над ней небо, что сердце у меня сжалось».

Все это взято из «Бежина луга» Ивана Сергеевича Тургенева, откуда можно бы брать и брать описания природы, такие же прекрасные, одухотворенные, но в то же время и точные.

Паустовский — романтик и, я бы не побоялся такого слова, выдумщик. Он, конечно, отталкивается от конкретного увиденного

пейзажа, от факта, но потом романтически преувеличивает его. Он может написать, например, что от далекого ледника смутно тянуло горными фиалками. Мы увидим при этом горы, почувствуем горный холодок, но в то же время понимаем, что реально запах горных фиалок на далеком расстоянии почувствовать нельзя, тем более что горные цветы вообще почти не пахнут и что запах фиалок здесь не более чем литературный прием, преувеличение, так же как и следующие строки из очерка «Мещорская сторона».

«Густота трав в иных местах на Прорве такая, что с лодки нельзя высадиться на берег, — травы стоят непроходимой упругой стеной. Они отталкивают человека». (Заметим, что речь идет не о камыше или осоке, а о береговой, луговой траве, которая, разумеется, никому и никогда еще не помешала высадиться из лодки на берег.)

Теперь сравним, как видит и как изображает природу Пришвин. Во-первых, он всегда достоверен. Если уж он написал бы, что на лесной опушке пахло мятой, — значит, там действительно пахло мятой, и сказано это было бы не ради большей выразительности, но ради факта и достоверности. В то же время его видение природы поэтично, недаром он иногда говорил про себя в шутку, что он поэт, распятый на кресте прозы, а свои короткие зарисовки природы в шутку же называл поэмами. Прочитает миниатюру в несколько строк, посмотрит лукаво и спросит: «Ну, как вам моя поэма?»

Действительно, фотографическая точность в прозе Пришвина чудесным образом сочетается с высокой поэзией, и это-то сочетание является, пожалуй, главной отличительной чертой Пришвина как художника.

Если Тургенев широко живописует пейзаж и ландшафт, охватывая взглядом сразу и долину, и реку, и холмы, и небо, то Пришвин живет как бы в некоем микромире, где не бросающиеся в глаза детали и подробности выходят на первое место.

В фотографии есть понятия — крупный план и общий план. Можно поместить в кадр целую рощу или целое озеро, а можно снять крупным планом один лист кувшинки и лягушку, сидящую на нем.

Пришвин как художник, как живописатель природы, работает преимущественно с крупными планами. Нет, это не разглядывание природы сквозь увеличительное стекло, но это — внимательное разглядывание природы.

Пришвин не популяризатор, в нем нет стремления к научному подходу к природе, к истолкованию ее законов. Однажды он даже сказал: «Разве я не понимаю незабудку: ведь я и весь мир чувствую иногда при встрече с незабудкой, а скажи — сколько в ней лепестков, не скажу. Неужели же вы меня пошлете «изучать» незабудку?»¹

¹ М. Пришвин. Незабудки. Вологодское кн. изд-во, 1960 г., стр. 110.

Отметим и еще одну особенность пришвинской прозы. Обычно у писателя-романиста, рассказчика, беллетриста, короче говоря, описание природы, пейзаж имеют вспомогательное значение. Пейзаж помогает воссоздать обстановку, в которой действуют герои, создает настроение, объясняет или выявляет душевное состояние героев... У Пришвина описание природы имеет самостоятельное значение, но не настолько, чтобы он рисовал ту или иную картину ради только этой картинки, лесной пень ради пня, ночную фиалку ради ночной фиалки. Нет, они попадают на страницы пришвинской прозы только в том случае, если рожают в художнике, во-первых, движение души, а во-вторых, мысль. Вернее было бы сказать — движение души и мысль как слитое воедино, как сплав, как акт искусства. Читаем об этом у самого же Пришвина.

«Какой-то молодой критик на ходу мне сказал, что в моей «Лесной капли» я дал вовсе не пейзаж, потому что пейзаж имеет в литературе не самостоятельное значение и везде, даже у Тургенева, отделяется от сюжета. Но у Пришвина не отделяется, и это вовсе не пейзаж.

— А что же, если не пейзаж, не природа?

— Не знаю, что...

— Так знайте же: это сердечная мысль»¹.

Взглянем же на природу глазами Пришвина, этого, как назвал его Горький, поэта и мудреца.

«Какая нежная цветоножка у раковой шейки, как трудно держать ей, как она обременена своим толстым цветком!

А вот когда на эту шейку, и так-то тяжелую, толстую, усядется огромной тяжести шмель, цветоножка поддастся, наклонится, шмель, встревоженный, загудит, начнет опять устраиваться: цветоножка все гнется, он все жундит, пока она догнется до предела, покорится, он же всосется и замолчит»².

«Повислые под кручей частые длинные корни деревьев теперь под темными сводами берега превратились в сосульки и, нарастая больше и больше, достигли воды. И когда ветерок, даже самый ласковый, весенний, волновал воду и маленькие волны достигали под кручей концов сосуллек, то волновали их, они качались, стуча друг о друга, звенели, и этот звук был первый звук весны, эолова арфа»³.

«Вода сегодня такая тихая, что кулик над водой и его отражение в воде были совершенно одинаковые: казалось, летели нам навстречу два кулика...»⁴.

¹ М. Пришвин. Незабудки. Вологодское кн. изд-во, 1960, стр. 53.

² М. Пришвин. Собр. соч., М., ГИХЛ, 1955—1957, т. 3, стр. 464.

³ Там же, стр. 399.

⁴ Там же, стр. 424.

«В лесах я люблю речки с черной водой и желтыми цветами на берегах; в полях реки текут голубые, и цветы возле них разные»¹.

«Скворцы вывелись и улетели, и давно уже их место в скворечнике занято воробьями. Но до сих пор на ту же яблоню прилетает в хорошее росистое утро старый скворец и поет.

Вот странно,— казалось бы, все уже кончено, самка давно вывела, детеныши выросли и улетели... Для чего же старый скворец прилетает каждое утро на яблоню, где прошла его весна, и поет?»²

«Птичик, самый малый, сел на вершинный палец самой высокой ели, и, видно, он там недаром сел, тоже славил зарю; клюв его маленький раскрывался, но песня не достигала земли, и по всему виду птички можно было понять: дело ее — славить, а не в том, чтобы песня достигала земли и славилась птичку»³.

«Там, где тогда мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов.

И мне так хорошо было пройтись по этому лугу; я думал: «Значит, недаром неслись весной мутные потоки»⁴.

...В литературоведении не раз говорилось, что язык Пришвина чист, народен и прост, между тем читать Пришвина не такое простое дело. Одни его читают охотно и с наслаждением, а другие не могут читать, откладывают в сторону и говорят, в лучшем случае, что это непонятно, а в худшем, что это скучно. Пришвин и сам знал об этом, и у него есть даже запись:

«Бывает, прочитаешь кому-нибудь написанное, и он спросит: — Это на какого читателя написано?

— На своего,— отвечаю.

— Понимаю,— говорит он,— а всем это непонятно.

— Сначала,— говорю,— свой поймет, а он уж потом всем скажет. Мне бы только свой друг понял, свой читатель, как волшебная призма всего мира. Он существует, и я пишу»⁵.

В чем же тут дело, почему же написанное языком простым, народным и чистым воспринимается не всеми одинаково, а некоторыми не воспринимается совсем?

Попробуем разобраться в этом, и для начала я вспоминаю один эпизод, свидетелем которого пришлось быть.

В доме отдыха (дело было зимой) несколько отдыхающих мужчин стояли на парковой дорожке и сговаривались идти играть в домино. Мимо проходила врач Александра Михайловна, семи-

¹ М. Пришвин. Собр. соч. М., ГИХЛ, 1955—1957, т. 3, стр. 421.

² Там же, стр. 395.

³ Там же, стр. 395.

⁴ Там же, стр. 403.

⁵ М. Пришвин. Незабудки, Вологодское кн. изд-во, 1960, стр. 9.

десятилетняя любительница природы и всяческий ее пропагандист. Услышав разговор о домино, она обратилась к мужчинам.

— Как вам не стыдно в такой прекрасный день играть в помещении, курить и стучать костяшками? Пойдемте, я вам что́ покажу, пойдемте, не пожалеете.

Заинтригованные мужчины пошли за Александрой Михайловной. Шли деловым ускоренным шагом минут десять и вышли на край парка. Впереди расстилалось зимнее поле.

— Ну, что видите?

Мужчины посмотрели вокруг, переглянулись... Ничего. И в самом деле — никто не идет по полю, на лошади не едут, лиса не бежит, ничего, короче говоря, не происходит.

— Ничего не видим, — чистосердечно признались мужчины.

— У вас глаз, что ли, нет, посмотрите, посмотрите внимательнее... Ну... Что видите?

— Ничего.

— А эту былинку, обсыпанную крупным инеем и сверкающую на солнце, вы не видите? А эти голубоватые тени на снегу?..

— А... мы думали дело... Пошли играть в домино!

Не будем строго судить. Может быть, не все эти отдыхающие были черствы душой, глухи и слепы к красоте природы и в иных обстоятельствах способны были бы залюбоваться проявлениями этой красоты, но теперь они были по-другому настроены, они воспринимали все на другой волне. Они ждали события, а им говорят — голубоватые тени на снегу!

Так и в лесу. Человек схватывает поляну в целом, просеку в целом, кроны деревьев в целом и может пройти мимо шмеля, сгибающего цветоножку раковой шейки.

Так и книга. Читатель, раскрывая ее, ждет событий: любви, разлук, собраний, споров, интриг, переплетения судеб, свадеб, смертей, всевозможных действий со стороны героев, а ему говорят:

«Зимой березы таятся в хвойном лесу, а весной, когда листья разворачиваются, кажется, будто березы из темного леса выходят на опушку. Это бывает до тех пор, пока листва на березах не потемнеет и более или менее не сравняется с цветом хвойных деревьев. И еще бывает осенью, когда березки, перед тем как скрыться, прощаются с нами своим золотом»¹.

Тонкое наблюдение, поэзия, чистый простой язык? Конечно. Но ведь для того, чтобы это воспринять и этим насладиться, нужен определенный душевный настрой.

Если один человек сидит, а другой мимо него бежит, никакой беседы между ними не состоится. Надо, чтобы они или оба сидели, или оба бежали. Нужно одинаковое, я бы сказал, течение душ.

Восприятие природы не терпит ни верхоглядства, ни суеты. У природы свой ритм, своя скорость бытия, и, для того чтобы

¹ М. Пришвин. Собр. соч., М., ГИХЛ, 1955—1957, т. 3, стр. 412.

слиться с природой, надо, увы, приноровиться к этой скорости.

Что лучше — ехать на велосипеде в течение часа мимо сотен и тысяч цветов (по луговой тропе) или в течение этого же часа любоваться лугом, оставаясь на месте? И даже не лугом, а одним цветком? В этом ключ к восприятию поэзии Пришвина.

Точно так же человек, куда-нибудь спешащий, сидящий как на иголках, одержимый внутренним зудом сиюминутного действия, не способен воспринять неторопливое и гармоничное развитие симфонии, если это даже Шестая симфония Чайковского или Девятая Бетховена.

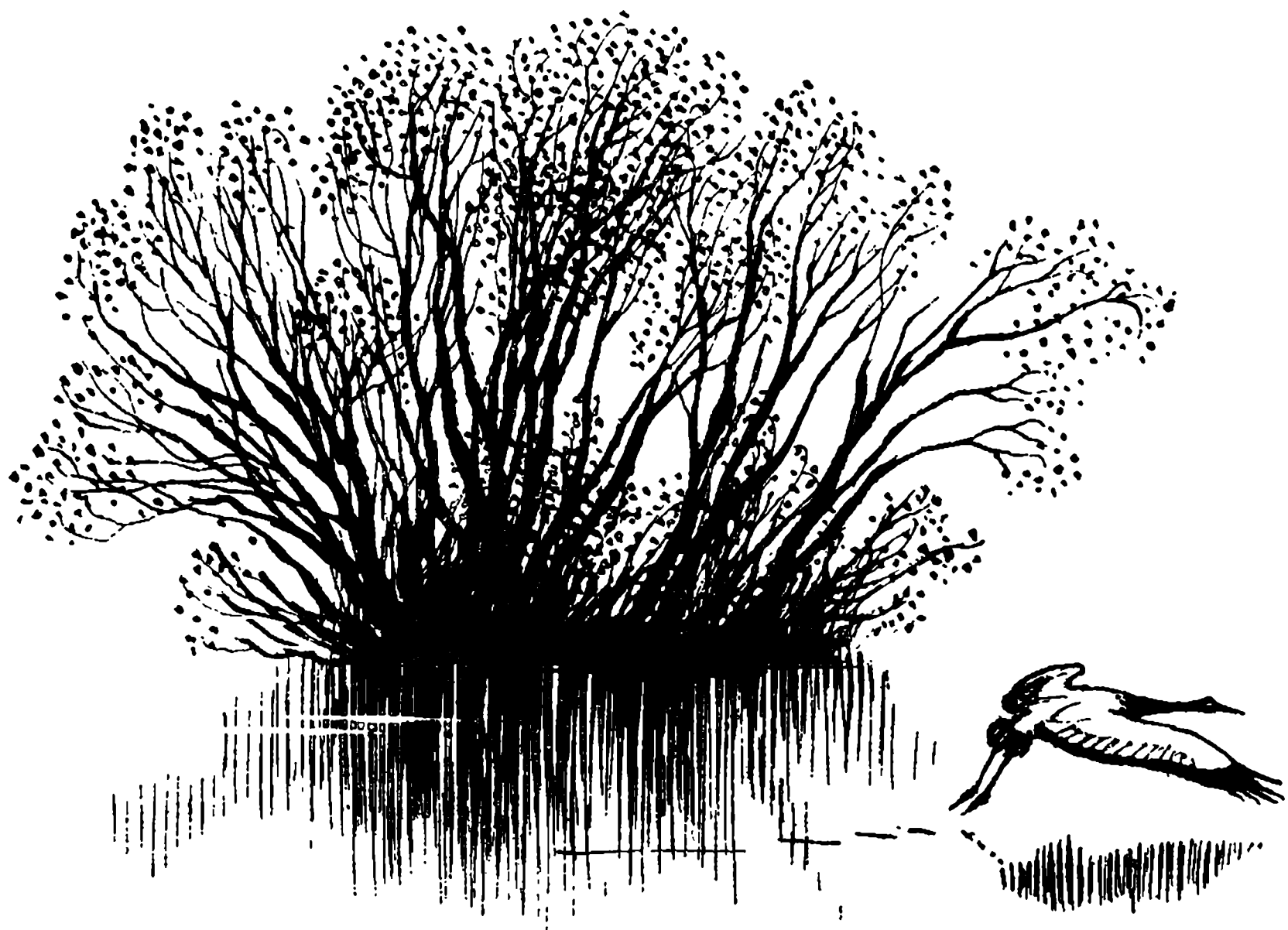
Иногда по недоразумению Пришвина упрекали в равнодушии к человеку в том смысле, что у него в книгах мало людей, действующих лиц, что он писал все больше о себе да о себе, хотя бы и в связи с природой. Такой упрек — глубокое заблуждение. Основная тема творчества Пришвина, основной объект его художественного исследования — человек. Человек и Природа. Восприятие природы человеком, влияние природы на человека, взаимодействие человеческой души и природы, тончайшие и глубокие движения человеческой души в ответ на те или иные проявления природы.

«Душа человека в ее сокровеннейших переживаниях — вот источник всего творчества Пришвина... Тот, кто этой дверью, с этим пониманием войдет в творчество Пришвина, войдет в него, как в свой родной дом», — справедливо пишет В. Д. Пришвина во вступлении к тому же под названием «Незабудки».

Михаил Михайлович Пришвин написал много. Окидывая мысленным взором все многотомное литературное хозяйство этого писателя, мы видим, что Пришвин явление уникальное не только в русской, но и в мировой литературе. Можно сравнивать, скажем, Толстого и Диккенса, Достоевского и Бальзака, Мопассана и Чехова — писателей очень разных, но все-таки поддающихся сравнению. Пришвин же (зрелого периода) не похож ни на кого. Это не значит, что он лучше всех и больше всех, отнюдь, мы говорим лишь о своеобразии этого литературного явления. Сам Пришвин очень скромно пишет в своем литературном «завещании»: «Завещание. Верно судить о писателе можно только по семенам его, поняв, что с семенами делается, а для этого нужно и время. Так скажу о себе (уже 50 лет пишу!), что прямого успеха не имею и меньше славен даже, чем средний писатель. Но семена мои всхожие, и цветочки из них вырастают с золотыми солнышками в голубых лепестках, те самые, что люди называют незабудками».

М. Пришвин умер 16 января 1954 года. Проходят десятилетия, но многие, многие поколения людей будут наблюдать еще, как прорастают в душах и сердцах пришвинские семена, облагораживая их, уча пониманию природы, делая чище и лучше.

В. А. Солоухин



ЗОЛОТОЙ ЛУГ

МОЯ РОДИНА

(Из воспоминаний детства)

Мать моя вставала рано, до солнца. Я однажды встал тоже до солнца, чтобы на заре расставить силки на перепелок. Мать угостила меня чаем с молоком. Молоко это кипятилось в глиняном горшочке и сверху всегда покрывалось румяной пенкой, а под этой пенкой оно было необыкновенно вкусное, и чай от него делался прекрасным.

Это угощение решило мою жизнь в хорошую сторону: я начал вставать до солнца, чтобы напиться с мамой вкусного чаю. Мало-помалу я к этому утреннему вставанию так привык, что уже не мог проспать восход солнца.

Потом и в городе я вставал рано, и теперь пишу всегда рано, когда весь животный и растительный мир пробуждается и тоже начинает по-своему работать.

И часто-часто я думаю: что если бы мы так для работы своей поднимались с солнцем! Сколько бы тогда у людей прибыло здоровья, радости, жизни и счастья!

После чаю я уходил на охоту за перепелками, скворцами, соловьями, кузнечиками, горlinkами, бабочками. Ружья тогда у меня еще не было, да и теперь ружье в моей охоте необязательно.

Моя охота была и тогда и теперь — в находках. Нужно было найти в природе такое, чего я еще не видел, и может быть, и никто еще в своей жизни с этим не встречался.

Перепелку самку надо было поймать силками такую, чтобы она лучше всех подзывала самца, а самца поймать сетью самого голосистого. Соловья молодого надо было кормить муравьиными яичками, чтобы потом пел лучше всех. А поди-ка найди такой муравейник да ухитрись набить мешок этими яйцами, а потом отманить муравьев на ветки от своих драгоценных яичек.

Хозяйство мое было большое, тропы бесчисленные.

Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять — их надо открывать и показывать.

Для рыбы нужна чистая вода — будем охранять наши водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные животные — будем охранять наши леса, степи, горы.

Рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес, степь, горы. А человеку нужна родина. И охранять природу — значит охранять родину.

ЛИСИЧКИН ХЛЕБ

ЛИСИЧКИН ХЛЕБ

Однажды я проходил в лесу целый день и под вечер вернулся домой с богатой добычей. Снял с плеч тяжелую сумку и стал свое добро выкладывать на стол.

— Это что за птица? — спросила Зиночка.

— Терентий, — ответил я.

И рассказал ей про тетерева: как он живет в лесу, как бормочет весной, как березовые почки клюет, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется от ветра под снегом. Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей, что серенький, с хохолком, и посвистел в дудочку по-рябчиному и ей дал посвистеть. Еще я высыпал на стол много белых грибов, и красных, и черных. Еще у меня была в кармане кровавая ягода костяника, и голубая черника, и красная брусника. Еще я принес с собой ароматный комочек сосновой смолы, дал понюхать девочке и сказал, что этой смолкой деревья лечатся.

— Кто же их там лечит? — спросила Зиночка.

— Сами лечатся, — ответил я. — Придет, бывает, охотник, захочется ему отдохнуть, он и воткнет топор в дерево и на топор сумку повесит, а сам ляжет под деревом. Поспит, отдохнет. Вынет из дерева топор, сумку наденет, уйдет. А из ранки от топора из дерева побежит эта ароматная смолка и ранку эту затянет.

Тоже, нарочно для Зиночки, принес я разных чудесных трав по листику, по корешку, по цветочку: кукушкины слезки, валерьянка, петров крест, заячья капуста.

И как раз под заячьей капустой лежал у меня кусок черного хлеба: со мной это постоянно бывает, что когда не возьму хлеба в лес — голодно, а возьму — забуду съесть и назад принесу.

А Зиночка, когда увидала у меня под заячьей капустой черный хлеб, так и обомлела:

— Откуда же это в лесу взялся хлеб?

— Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста!

— Заячья...

— А хлеб — лисичкин. Отведай.

Осторожно попробовала и начала есть:

— Хороший лисичкин хлеб!

И съела весь мой черный хлеб дочиста. Так и пошло у нас. Зиночка, копуля такая, часто и белый-то хлеб не берет, а как я из лесу лисичкин хлеб принесу, съест всегда его весь и похвалит:

— Лисичкин хлеб куда лучше нашего!

«ИЗОБРЕТАТЕЛЬ»

В одном болоте на кочке под ивой вывелись дикие кряковые утята. Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали, спрятался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам. Трех из них я взял себе на воспитание, остальные шестнадцать пошли себе дальше по коровьей тропе.

Подержал я у себя этих черных утят, и стали они вскоре все серыми. После из серых один вышел красавец разноцветный селезень и две уточки, Дуся и Муся. Мы им крылья подрезали, чтобы не улетели, и жили они у нас во дворе вместе с домашними птицами: куры были у нас и гуси.

С наступлением новой весны устроили мы своим дикарям из всякогохлама в подвале кочки, как на болоте, и на них гнезда. Дуся положила себе в гнездо шестнадцать яиц и стала высиживать утят! Муся положила четырнадцать, но сидеть на них не захотела. Как мы ни бились, пустая голова не захотела быть матерью. И мы посадили на утиные яйца нашу важную черную курицу — Пиковую Даму.

Пришло время, вывелись наши утята. Мы их некоторое время подержали на кухне, в тепле, крошили им яйца, ухаживали. Через несколько дней наступила очень хорошая, теплая погода, и Дуся повела своих черненьких к пруду, и Пиковая Дама своих — в огород за червями.

— Свись-свись! — утята в пруду.

— Кряк-кряк! — отвечает им утка.

— Свись-свись! — утята в огороде.

— Квох-квох! — отвечает им курица.

Утята, конечно, не могут понять, что значит «квох-квох», а что слышится с пруда, это им хорошо известно.

«Свись-свись» — это значит: «свой к своим».

А «кряк-кряк» — значит: «вы — утки, вы — кряквы, скорей плывите».

И они, конечно, глядят туда, к пруду.

— Свой к своим!

И бегут.

— Плывите, плывите!

И плывут.

— Квох-квох! — упирается важная курица на берегу.

Они всё плывут и плывут. Сосвистались, сплылись, радостно

приняла их в свою семью Дуся; по Мусе они были ей родные племянники.

Весь день большая сборная утиная семья плавала на прудике, и весь день Пиковая Дама, распушенная, сердитая, квохтала, ворчала, копала ногой червей на берегу, старалась привлечь червями утят и квохтала им о том, что уж очень-то много червей, таких хороших червей!

— Дрянь-дрянь! — отвечала ей кряква.

А вечером она всех своих утят провела одной длинной веревочкой по сухой тропинке. Под самым носом важной птицы прошли они, черненькие, с большими утиными носами; ни один даже на такую мать и не поглядел. Мы всех их собрали в одну высокую корзинку и оставили ночевать в теплой кухне, возле плиты.

Утром, когда мы еще спали, Дуся вылезла из корзины, ходила вокруг по полу, кричала, вызывала к себе утят. В тридцать голосов ей на крик отвечали свистуны.

На утиный крик стёны нашего дома, сделанного из звонкого соснового леса, отзывались по-своему. И все-таки в этой кутерьме мы расслышали отдельно голос одного утенка.

— Слышите? — спросил я своих ребят.

Они прислушались.

— Слышим! — закричали.

И пошли в кухню.

Там, оказалось, Дуся была не одна на полу. С ней рядом бегал один утенок, очень беспокоился и непрерывно свистел. Этот утенок, как и все другие, был ростом с небольшой огурец. Как же мог такой-то воин перелезть стену корзинки высотой сантиметров в тридцать?

Стали мы об этом догадываться, и тут явился новый вопрос: сам утенок придумал себе какой-нибудь способ выбраться из корзины вслед за матерью или же она случайно задела его как-нибудь своим крылом и выбросила? Я перевязал ножку этого утенка ленточкой и пустил в общее стадо.

Переспали мы ночь, и утром, как только раздался в доме утиный утренний крик, мы — в кухню. На полу вместе с Дусей бегал утенок с перевязанной лапкой.

Все утята, заключенные в корзине, свистели, рвались на волю и не могли ничего сделать. Этот выбрался. Я сказал:

— Он что-то придумал.

— Он изобретатель! — крикнул Лева.

Тогда я задумал посмотреть, каким же способом этот «изобретатель» решает труднейшую задачу: на своих утиных перепончатых лапках подняться по отвесной стене. Я встал на следующее утро до свету, когда и ребята мои и утята спали непробудным сном. В кухне я сел возле выключателя, чтобы сразу, когда надо будет, дать свет и рассмотреть события в глубине корзины. И вот побелело окно. Стало светать.

— Кряк-кряк! — проговорила Дуся.

— Свись-свись! — ответил единственный утенок.

И все замерло. Спали ребята, спали утята.

Раздался гудок на фабрике. Свету прибавилось.

— Кряк-кряк! — повторила Дуся.

Никто не ответил. Я понял: «изобретателю» сейчас некогда — и сейчас, наверно, он и решает свою труднейшую задачу. И я включил свет.

Ну, так вот я и знал! Утка еще не встала, и голова ее еще была вровень с краем корзины. Все утята спали в тепле под матерью, только один, с перевязанной лапкой, вылез и по перьям матери, как по кирпичикам, взбирался вверх, к ней на спину. Когда Дуся встала, она подняла его высоко, на уровень с краем корзины. По ее спине утенок, как мышь, пробежал до края — и кувырк вниз! Вслед за ним мать тоже вывалилась на пол, и началась обычная утренняя кутерьма: крик, свист на весь дом.

Дня через два после этого утром на полу появилось сразу три утенка, потом пять, и пошло и пошло: чуть только крякнет утром Дуся, все утята к ней на спину и потом валятся вниз.

А первого утенка, проложившего путь для других, мои дети так и прозвали Изобретателем.

ЖИЗНЬ НА РЕМЕШКЕ

Зиночка моя совсем приуныла: никак не одолеет арифметику. Чтоб развлечь ее, я взял бедняжку с собой в лес. Мы вышли с ней на полянку, где я охотился в прошлом году. Чтоб заметить это место на вырубке, я сломил тогда молодую березку, она повисла, помню, почти только на одном узеньком ремешке коры.

Я узнал это место, и вот удивление: березка висела зеленая на одном ремешке; ремешок коры подавал сок висящим сучьям.

— Ну, Зиночка, — сказал я, — не унывай. Коли березка на одном ремешке живет и зеленеет, то уж у тебя-то хватит духу на арифметику.

РЕБЯТА И УТЯТА

Маленькая дикая уточка чирок-свистунок решила наконец-то перевести своих утят из леса, в обход деревни, в озеро на свободу. Весной это озеро далеко разливалось, и прочное место для гнезда можно было найти только версты за три, на кочке, в болотистом лесу. А когда вода спала, пришлось все три версты путешествовать к озеру.

В местах, открытых для глаз человека, лисицы и ястреба, мать шла позади, чтобы не выпускать утят ни на минуту из виду. И око-

ло кузницы, при переходе через дорогу, она, конечно, пустила их вперед. Вот тут их увидели ребята и зашвыряли шапками. Все время, пока они ловили утят, мать бегала за ними с раскрытым клювом или перелетывала в разные стороны на несколько шагов в величайшем волнении. Ребята только было собрались закидать шапками мать и поймать ее, как утят, но тут я подошел.

— Что вы будете делать с утятами? — строго спросил я ребят.

Они трусили и ответили:

— Пустим.

— Вот то-то «пустим»! — сказал я очень сердито. — Зачем вам надо было их ловить? Где теперь мать?

— А вон сидит! — хором ответили ребята.

И указали мне на близкий холмик парового поля, где уточка действительно сидела с раскрытым от волнения ртом.

— Живо, — приказал я ребятам, — идите и возвратите ей всех утят!

Они как будто даже и обрадовались моему приказанию и побежали с утятами на холм. Мать отлетела немного и, когда ребята ушли, бросилась спасать своих сыновей и дочерей. По-своему она им что-то быстро сказала и побежала к овсяному полю. За ней побежали утята — пять штук. И так по овсяному полю, в обход деревни, семья продолжала свое путешествие к озеру.

Радостно снял я шляпу и, помахав ею, крикнул:

— Счастливый путь, утята!

Ребята надо мной засмеялись.

— Что вы смеетесь, глупыши? — сказал я ребятам. — Думаете, так-то легко попасть утятам в озеро? Снимайте живо все шапки, кричите «до свиданья»!

И те же самые шапки, запыленные на дороге при ловле утят, поднялись в воздух; все разом закричали ребята:

— До свиданья, утята!

ЛЕСНОЙ ДОКТОР

Мы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц: дятлов, сов. Вдруг в той стороне, где у нас раньше было намечено интересное дерево, мы услышали звук пилы. То была, как нам говорили, заготовка дров из сухостойного леса для стеклянного завода. Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было уже поздно: наша осина лежала, и вокруг ее пня было множество пустых еловых шишек. Это все дятел отшелушил за долгую зиму, собирал, носил на эту осинку, закладывал между двумя суками своей мастерской и долбил. Около пня, на срезанной нашей осине, два паренька отдыхали. Эти два паренька только и занимались тем, что пилили лес.

— Эх вы, проказники! — сказали мы и указали им на срезанную осину. — Вам велено резать сухостойные деревья, а вы что сделали?

— Дятел дырки наделал, — ответили ребята. — Мы поглядели и, конечно, спилили. Все равно пропадет.

Стали все вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и только на небольшом пространстве, не более метра в длину, внутри ствола прошел червяк. Дятел, очевидно, выслушал осину, как доктор: выстукал ее своим клювом, понял пустоту, оставляемую червем, и приступил к операции извлечения червя. И второй раз, и третий, и четвертый... Нетолстый ствол осины походил на свирель с клапанами. Семь дырок сделал «хирург» и только на восьмой захватил червяка, вытащил и спас осину. Мы вырезали этот кусок, как замечательный экспонат для музея.

— Видите, — сказали мы ребятам, — дятел — это лесной доктор, он спас осину, и она бы жила и жила, а вы ее срезали.

Пареньки подивились.

Е Ж

Раз шел я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Он тоже заметил меня, свернулся и затукал: тук-тук-тук. Очень похоже было, как если бы вдали шел автомобиль. Я прикоснулся к нему кончиком сапога — он страшно фыркнул и поддал своими иголками в сапог.

— А, ты так со мной! — сказал я и кончиком сапога спихнул его в ручей.

Мгновенно еж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья, только вместо щетины на спине были иголки. Я взял палочку, скатил ею ежа в свою шляпу и понес домой.

Мышей у меня было много. Я слышал — ежик их ловит, и решил: пусть он живет у меня и ловит мышей.

Так положил я этот колючий комок посреди пола и сел писать, а сам уголком глаза все смотрю на ежа. Недолго он лежал неподвижно: как только я затих у стола, ежик развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда, выбрал себе наконец место под кроватью и там совершенно затих.

Когда стемнело, я зажег лампу, и — здравствуйте! — ежик выбежал из-под кровати. Он, конечно, подумал на лампу, что это луна взошла в лесу: при луне ежи любят бегать по лесным полянкам. И так он пустился бегать по комнате, представляя, что это лесная полянка.

Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко. Стало совсем как в лесу: и луна и облако, а ноги мои были как стволы деревьев и, наверно, очень нравились ежику: он так и шнырял

между ними, понюхивая и почесывая иголками задник у моих сапог.

Прочитав газету, я уронил ее на пол, перешел на кровать и уснул.

Сплю я всегда очень чутко. Слышу — какой-то шелест у меня в комнате. Чиркнул спичкой, зажег свечку и только заметил, как еж мелькнул под кровать. А газета лежала уже не возле стола, а посередине комнаты. Так я и оставил гореть свечу и сам не сплю, раздумывая: «Зачем это ежику газета понадобилась?» Скоро мой жилец выбежал из-под кровати — и прямо к газете; завертелся возле нее, шумел, шумел и наконец ухитрился: надел себе как-то на колючки уголок газеты и потащил ее, огромную, в угол.

Тут я и понял его: газета ему была, как в лесу сухая листва, он тащил ее себе для гнезда. И оказалось, правда: в скором времени еж весь обернулся газетой и сделал себе из нее настоящее гнездо. Кончив это важное дело, он вышел из своего жилища и остановился против кровати, разглядывая свечу — луну.

Я подпустил облака и спрашиваю:

— Что тебе еще надо?

Ежик не испугался.

— Пить хочешь?

Я встал. Ежик не бежит.

Взял я тарелку, поставил на пол, принес ведро с водой, и то налью воды в тарелку, то опять вылью в ведро, и так шумлю, будто это ручеек плескивает.

— Ну, иди, иди... — говорю. — Видишь, я для тебя и луну устроил, и облака пустил, и вот тебе вода...

Смотрю: будто двинулся вперед. А я тоже немного подвинул к нему свое озеро. Он двинется — и я двину, да так и сошлись.

— Пей, — говорю окончательно.

Он и залакал. А я так легонько по колючкам рукой провел, будто погладил, и все приговариваю:

— Хороший ты малый, хороший!

Напился еж, я говорю:

— Давай спать.

Лег и задул свечу. Вот не знаю, сколько я спал, слышу: опять у меня в комнате работа.

Зажигаю свечу — и что же вы думаете? Ежик бежит по комнате, и на колючках у него яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там и за другим бежит в угол, а в углу стоял мешок с яблоками и завалился. Вот еж подбежал, свернулся около яблок, дернулся и опять бежит — на колючках другое яблоко тащит в гнездо.

Так вот и устроился у меня жить ежик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на стол и то молока ему налью в блюдечко — выпьет, то булочки дам — съест.

ЗОЛОТОЙ ЛУГ

У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. Бывало, идем куда-нибудь на свой промысел—он впереди, я в пяту.

«Сережа!» — позову я его деловито. Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо в лицо. За это он начинает меня подкарауливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать открытие.

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг — золотой». Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошел, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как все равно если бы у нас пальцы со стороны ладони были желтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы желтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг становится опять золотым.

С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали.

КУРИЦА НА СТОЛБАХ

Весной соседи подарили нам четыре гусиных яйца, и мы подложили их в гнездо нашей черной курицы, прозванной Пиковой Дамой. Прошли положенные дни для высиживания, и Пиковая Дама вывела четырех желтеньких гуськов. Они пищали, посвистывали совсем по-иному, чем цыплята, но Пиковая Дама, важная, нахохленная, не хотела ничего замечать и относилась к гусятam с той же материнской заботливостью, как к цыплятам.

Прошла весна, настало лето, везде показались одуванчики. Молодые гуськи, если шею вытянут, становятся чуть ли не выше матери, но всё еще ходят за ней. Бывает, однако, мать раскапывает лапками землю и зовет гуськов, а они занимаются одуванчиками, тукают их носами и пускают пушинки по ветру. Тогда Пиковая Дама начинает поглядывать в их сторону, как нам кажется, с некоторой долей подозрения. Бывает, часами, распушенная, с квохтаньем, копает она, а им хоть бы что: только посвистывают и поклевывают зеленую травку. Бывает, собака захочет пройти куда-нибудь мимо нее,— куда тут! Кинется на собаку и прогонит. А после и поглядит на гуськов, бывает, задумчиво поглядит...

Мы стали следить за курицей и ждать такого события, после которого наконец она догадается, что дети ее вовсе даже на кур не похожи и не стоит из-за них, рискуя жизнью, бросаться на собак.

И вот однажды у нас на дворе событие это случилось. Пришел насыщенный ароматом цветов солнечный июньский день. Вдруг солнце померкло, и петух закричал.

— Квох, квох! — ответила петуху курица, зазывая своих гусят под навес.

— Батюшки, туча-то какая находит! — закричали хозяйки и бросились спасать развешанное белье.

Грянул гром, сверкнула молния.

— Квох, квох! — настаивала курица Пиковая Дама.

И молодые гуси, подняв высоко шеи свои, как четыре столба, пошли за курицей под навес. Удивительно нам было смотреть, как по приказанию курицы четыре порядочных, высоких, как сама курица, гусенка сложились в маленькие штучки, подлезли под наседку и она, распушив перья, распластав крылья над ними, укрыла их и угрела своим материнским теплом. Но гроза была недолгая. Туча пролилась, ушла, и солнце снова засияло над нашим маленьким садом.

Когда с крыш перестало литься и запели разные птички, это услышали гусята под курицей, и им, молодым, конечно, захотелось на волю.

— На волю, на волю! — засвистали они.

— Квох, квох! — ответила курица.

И это значило:

— Посидите немного, еще очень свежо.

— Вот еще! — свистели гусята. — На волю, на волю!

И вдруг поднялись на ногах и подняли шеи, и курица поднялась, как на четырех столбах, и закачалась в воздухе высоко от земли.

Вот с этого разу все и кончилось у Пиковой Дамы с гусями: она стала ходить отдельно, и гуси отдельно; видно, тут только она все поняла, и во второй раз ей уже не захотелось попасть на столбы.

ПИКОВАЯ ДАМА

Курица непобедима, когда она, пренебрегая опасностью, бросается защищать своего птенца. Моему Трубачу стоило только слегка нажать челюстями, чтобы уничтожить ее, но громадный голец, умеющий постоять за себя и в борьбе с волками, поджав хвост, бежит в свою конуру от обыкновенной курицы.

Мы зовем нашу черную наседку за необычайную ее родительскую заботу при защите детей, за ее клюв-пику на голове Пиковой

Дамой. Каждую весну мы сажаем ее на яйца диких уток (охотничьих), и она высиживает и выхаживает нам утят вместо цыплят. В нынешнем году случилось, мы недосмотрели: выведенные утята преждевременно попали на холодную росу, подмочили пупки и погибли, кроме единственного.

Все наши заметили, что в нынешнем году Пиковая Дама была во сто раз злей, чем всегда.

Как это понять? Не думаю, что курица способна обидеться на то, что получились утята вместо цыплят. И раз уж села курица на яйца, недоглядев, ей приходится сидеть, и надо высидеть, и надо потом выхаживать птенцов, надо защищать от врагов, и надо все довести до конца, — так она и водит их и не позволяет себе их даже разглядывать с сомнением: «Да цыплята ли это?»

Нет, я думаю, этой весной Пиковая Дама была раздражена не обманом, а гибелью утят, и особенное беспокойство ее за жизнь единственного утенка понятно: везде родители беспокоятся о ребенке больше, когда он единственный...

Но бедный, бедный мой Грашка!

Это грач. С отломленным крылом он пришел ко мне на огород и стал привыкать к этой ужасной для птицы бескрылой жизни на земле и уже стал подбегать на мой зов «Грашка», как вдруг однажды в мое отсутствие Пиковая Дама заподозрила его в покушении на своего утенка и прогнала за пределы моего огорода, и он больше ко мне после того не пришел.

Что грач! Добродушная, уже пожилая теперь, моя легавая Лада часами выглядывает из дверей, выбирает местечко, где ей можно было бы безопасно от курицы до ветру сходить. А Трубач, умеющий бороться с волками! Никогда он не выйдет из конуры, не проверив острым глазом своим, свободен ли путь, нет ли вблизи где-нибудь страшной черной курицы.

Но что тут говорить о собаках — хорош и я сам! На днях вывел из дому погулять своего шестимесячного щенка Травку и только завернул за овин, гляжу — передо мною утенок стоит. Курицы возле не было, но я себе ее вообразил и, в ужасе, что она выклюнет прекрасный глаз у Травки, бросился бежать, и как потом радовался — подумать только, я радовался! — что спасся от курицы!

Было вот тоже в прошлом году замечательное происшествие с этой сердитой курицей. В то время, когда у нас прохладными светлосумеречными ночами стали сено косить на лугах, я вздумал немного промять своего Трубача и дать погонять ему лисичку или зайца в лесу. В густом ельнике, на перекрестке двух зеленых дорожек, я дал волю Трубачу, и он сразу же ткнулся в куст, вытурил молодого русака и с ужасным ревом погнал его по зеленой дорожке. В это время зайцев нельзя убивать; я был без ружья и готовился на несколько часов отдаться наслаждению любезнейшей для охотника музыкой.

Но вдруг где-то около деревни собака скололась¹, гон прекратился, и очень скоро возвратился Трубач, очень смущенный, с опущенным хвостом, и на светлых пятнах его была кровь (мастью он желто-пегий в румянах).

Всякий знает, что волк не будет трогать собаку, когда можно всюду в поле подхватить овцу. А если не волк, то почему же Трубач в крови и в таком необычайном смущении?

Смешная мысль мне пришла в голову. Мне представилось, что из всех зайцев, столь робких всюду, нашелся единственный в мире настоящий и действительно храбрый, которому стыдно стало бежать от собаки.

«Лучше умру!» — подумал мой заяц. И, завернув себе прямо в пятку, бросился на Трубача. И когда огромный пес увидал, что заяц бежит на него, то в ужасе бросился назад и бежал не помня себя чаще и обдирал до крови спину. Так заяц и пригнал ко мне Трубача.

Возможно ли это?

Нет! С человеком так могло случиться, но у зайцев так не бывает.

По той самой зеленой дорожке, где бежал русак от Трубача, я спустился из леса на луг и тут увидел, что косцы, смеясь, оживленно беседовали и, завидев меня, стали звать скорее к себе, как все люди зовут, когда душа переполнена и хочется облегчить ее.

— Ну и дела!

— Да какие же такие дела?

— Ой-ой-ой!

И пошло, и пошло в двадцать голосов, одна и та же история, ничего не поймешь, и только вылетает из гомона колхозного:

— Ну и дела! Ну и дела!

И вот какие это вышли дела. Молодой русак, вылетев из леса, покати́л по дороге к овинам, и вслед за ним вылетел и помчался врасстяжку Трубач. Случалось, на чистом месте Трубач у нас догонял и старого зайца, а молодого-то догнать ему было очень легко. Русаки любят от гончих укрываться возле деревень, в ометах соломы, в овинах. И Трубач настиг русака возле овина. Косцы видели, как на повороте к овину Трубач раскрыл уже и пасть свою, чтобы схватить зайчика...

Трубачу бы только хватить, но вдруг на него из овина вылетает большая черная курица — и прямо в глаза ему. И он повертывается назад и бежит. А Пиковая Дама ему на спину — и клюет и клюет его своей пикой.

Ну и дела!

И вот отчего у желто-пегого в румянах на светлых пятнах была кровь: гонца расклевала обыкновенная курица.

¹ Собака скололась (охотничье выражение) — потеряла след зверя.

Ж У Р К А

Ж У Р К А

Раз было у нас — поймали мы молодого журавля и дали ему лягушку. Он ее проглотил. Дали другую — проглотил. Третью, четвертую, пятую, а больше тогда лягушек у нас под рукой не было.

— Умница! — сказала моя жена и спросила меня: — А сколько он может съесть их? Десять может?

— Десять, — говорю, — может.

— А ежли двадцать?

— Двадцать, — говорю, — едва ли...

Подрезали мы этому журавлю крылья, и стал он за женой всюду ходить. Она корову доить — и Журка с ней, она в огород — и Журке там надо, и тоже на полевые колхозные работы ходит с ней, и за водой. Привыкла к нему жена, как к своему собственному ребенку, и без него ей уж скучно, без него никуда. Но только ежели случится — нет его, крикнет только одно: «Фру-фру!», и он к ней бежит. Такой умница!

Так живет у нас журавль, а подрезанные крылья его всё растут и растут.

Раз пошла жена за водой вниз, к болоту, и Журка за ней. Лягушонок небольшой сидел у колодца и прыг от Журки в болото. Журка за ним, а вода глубокая, и с берега до лягушонка не дотянешься. Мах-мах крыльями Журка и вдруг полетел. Жена ахнула — и за ним. Мах-мах руками, а подняться не может. И в слезы, и к нам: «Ах, ах, горе какое! Ах, ах!» Мы все прибежали к колодцу. Видим — Журка далеко, на середине нашего болота сидит.

— Фру-фру! — кричу я.

И все ребята за мной тоже кричат:

— Фру-фру!

И такой умница! Как только услышал он это наше «фру-фру», сейчас мах-мах крыльями и прилетел. Тут уж жена себя не помнит от радости, велит ребятам бежать скорее за лягушками. В этот год лягушек было множество, ребята скоро набрали два картуза. Принесли ребята лягушек, стали давать и считать. Дали пять — проглотил, дали десять — проглотил, двадцать и тридцать, — да так вот и проглотил за один раз сорок три лягушки.

МАТРЕШКА В КАРТОШКЕ

В прежнее время в нашей деревне пастуха никогда не нанимали; всё бывало, дети пасут, а дед Михей на пригорке сидит, лапти плетет, детей пасет, чтобы не зевали, ворон не считали.

Бывает с дедом, забудется, лапти тачает, свои годы считает и не видит, что дети все полезли на дерево Москву смотреть. Очнется дед, глянет на детей — все на дереве. Глянет на овец — овцы все в овсы рассыпались. Кони во ржи, как в море, плавают, коровы на лугах, а свиньи все картошку рылом роют. Тут бывает плохо ребятишкам. Хорошо еще, успеют с дерева слезть и разбежаться.

Выдумали однажды наши пастухи вот какую игру. Есть славный цветок, ромашка, в нем солнышко, и к желтому солнышку во все стороны приставлены белые лучи. Вот если оторвать все лучики и оставить только один, это будет поп с одной косичкой, если два — с двумя косичками, три — с тремя, и так, сколько ребят играет, столько можно наделать попов с косичками, только один оставляется без косичек, лысый. Потом каждый пастух вырывает себе на лугу ямку, сундучок, и непременно с крышкой из дёрна, сундучок к сундучку, — сколько детей, столько и сундучков. И когда наши пастухи всякий себе выкопали по сундучку, то выбрали старосту и отдали ему всех своих попов. Староста разложил попов в разные сундучки; конечно, никто не мог заметить, какой поп пришелся к какому сундучку, — это вот и надо теперь отгадать. А у каждого отгадчика заготовлен крючок; делается обыкновенно из суковатого прутика. И дальше игра эта так идет. Пусть, к примеру, мой поп с одной косичкой лежит во втором сундучке и это верно пришлось, то я свой крючок вешаю на первый сук дерева; не угадал — крючок остается при мне, пока не угадаю. Но если я и во второй раз угадаю, то перевешиваю свой крючок на второй сук, повыше, — значит, поближе к Москве. Так, если кто счастлив, из разу в раз перевешивает крючок все выше и выше, да так вот и едет в Москву, и за ним все едут, кто поскорей, кто потише.

В этот раз первым ехал Антошка Комар, а самой последней — дсвочка Рыбка. Но вдруг счастье переменялось. Рыбка забрала верх, а Комар остался в самом низу. Так ехали, ехали, и вот, наконец, Рыбка сверху кричит:

— Москва!

Дальше ехать некуда — на верхушке дерева больше и сучьев-то нет.

Между тем дед Михей вовсе заплелся, сидит себе на горюшке и не видит, что дети по дереву едут в Москву, а самая большая, черная с белым поясом, свинья Матрешка пошла на его собственную полосу картошку копать. Эта Матрешка — самая озорная свинья, и как только она ушла, то и все стадо за ней, а свиньи

ушли, так и кони, и коровы, и овцы. Рыбка сверху первая заметила проказу Матрешки и крикнула:

— Слезай, ребята: Матрешка в картошке!

Сразу все бросились с дерева и пригнали Матрешку. Стали наказывать Матрешку, как обыкновенно: ставят свинью рылом к реке, и кто-нибудь из пастухов садится на нее верхом, сзади хлестнут прутиком, и свинья мчит всадника до речки. Вот затем и ставят Матрешку рылом к реке, чтобы ей дальше бежать было некуда, а то мало ли куда она может увезти седока! После, когда один прокатится, и другой так, все по очереди. Рыбке надо бы первой катиться — она же первая и в Москву приехала, и первая заметила Матрешку в картошке. Но ребята все прокатились, свинья и рот разинула, а Рыбка все ждала свою очередь.

Вовсе ребята свинью измучили, и такой дед чудак — ничего не замечает, весь в свои старые годы ушел. Но Рыбка от своего не отступает, садится верхом на свинью. В это время Антошка Комар, тот, кто первый ехал поначалу в Москву, а потом оказался самый последний, взял и устроил скверную штуку. Комар и был во всем виноват.

У свиней как бывает с хвостами: муха сядет — и то она сейчас же хвостик спрячет между окороками. А Комар взял да и надел Матрешке на хвостик берестяную трубочку и сам изо всей силы потянул за кончик. Матрешка со всех ног бросилась бежать и как почувствовала на хвосте трубочку, то и думала, что боль от нее, и как только добежала до реки против самого глубокого омута, бух в омут, и вместе с Рыбкою.

И скрылась.

Бух! — в воду.

— Ах! — пастухи.

И только круги на тихой воде, да по кругам плавает берестяная трубочка.

Дед Михей лапти плетет, ничего не видит, ничего не слышит, весь в свои старые годы ушел.

Онемели ребята от страха, стоят и не шевельнутся, и только во все глаза смотрят на страшное место, где плавает берестяная трубочка. Вдруг из воды пузыри и целый фонтан, потом пятачок нарыльный свиней, уши, на ушах руки, спина и на спине Рыбка.

Взвизгнули от радости все пастухи.

Думали, вот как только свинья до берега доплывет, Рыбка непременно на сухом месте соскочит. Но вода Матрешке только силы подбавила: из воды она как выскочила — прямо в лес. Рыбка не успела соскочить и вместе с Матрешкой исчезла в лесу.

Наш лес, говорят, на сто верст раскинулся, но кто говорит — на сто, до ста и считать только может. Куда больше наш лес, и в лесу этом зверя всякого видимо-невидимо: волк, медведь, рысь, всякая всячина. В этот лес и увезла Матрешка маленькую Рыбку.

Скрылась девочка в темном лесу, и в это время дед Михей поднимает наконец от лаптей свою старую седую голову... Глянул дед да так и обмер: все деревенские свиньи на его же полосе картошку копают, на полдесятины овцы положили овес, кони от слепней в рожь забрались — высокая рожь, только головы конские видны.

Старый бросился к пастухам, а те стоят себе кучкой и все в лес смотрят, за реку. Оторопел дед:

— Что же, ай вы стеклянные?

Дед Михей показал на коней во ржи, на свиней в картошке. Пастухи все посмотрели туда и не тронулись — стоят и молчат. Тут и дед заметил: Рыбки нет между ними. Спрашивает:

— Где Рыбка?

Все молчат, боятся сказать: Рыбка — дедова внучка.

Тут хорошую дед выбрал прутовинку — и на Комара. И все Комар рассказал, одно утаил, как он берестяную трубочку Матрешке на хвостик надел и за кончик больно дернул.

Дед больше не стал допытываться, бежит скорее в деревню, сход собирает. Бросились враз мужики все спасать рожь, овес, картошку, а когда с этим покончили, скорей за реку, в лес, и там рассыпались в разные стороны. Так у них в поисках вся ночь прошла. Солнышко уже высоко было, когда дядя Митрофан вдруг загукал сбор. Увидел дядя Митрофан белую рубашку на кусту. Глянул под куст — там голенькая Рыбка в мох закопалась и вот как сладко спит! И какая оказалась хозяйственная: мокрую рубашонку на куст повесила, и славно она у нее за ночь высохла. Собрались мужики, веселые пошли домой, горевали только, что волк свинью съел. Но и то хорошо обошлось: оказалось, Матрешка еще ночью к своей хозяйке Матрене из лесу прибежала. В тот день постановили на сходе, чтобы у нас, как и в других деревнях, был настоящий пастух и детей этим трудным делом больше не мучить. Оставили детям одно только занятие — приглядывать за гусями. Но гуси весь день на реке, и за ними глядеть легко. Теперь наши дети без опаски ездят в Москву.

БОРЕЦ И ПЛАКСА

Почему-то вышло так в Московском зоопарке, что беременности медведицы Плаксы никто не заметил и оставили ее зимовать без всяких приготовлений для родов; даже соломки ей не подстелили. Проморгали граждане! Огромный бурый медведь Борец устроился жить в углублении стены, в нише, а самка его, Плакса, легла открыто напротив, у другой стены. Выбрав себе место повыше, хотя и под открытым небом, Плакса выгадала: зимой при первой же оттепели в нишу набежала вода, Борец

там подплыл. Посреди медвежьей площадки росло большое дерево, обитое железом, чтобы медведи, когда им захочется почесаться, не портили кору. Борец теперь, при крайней своей беде, отодрал все железо, слупил кору и принялся ее таскать к себе в мокрую берлогу. Драл он с дерева, сколько лишь мог только надрать, забрался на самую верхушку; свалился оттуда на бетонный пол, ушибся, долго тер ушибленное место лапой, сердился, ворчал и, наконец, отнес последний материал в берлогу и лег на корье.

Вот наступили и самые роды. Служащие зоопарка, никак не ожидавшие такого события, поспешили сверху свалить Плаксе огромную вязанку соломы. Конечно, она очень обрадовалась подстилке и скоро на ней отлично устроилась. А Борец тоже почему-то не остался равнодушным — медленно направился к гнезду. Наблюдатели очень встревожились, опасаясь, что Борец хочет отнять у Плаксы и задавить медвежат. Плакса, конечно, сразу же обратила внимание на поведение супруга и допустила его дойти только до середины площадки. Внезапно она встала, быстро подошла к нему и дала ему такую затрещину по морде, что огромный медведь свалился и закрыл побитую голову лапами. Тогда медведица вернулась к медвежатам, легла, но глаз своих ни на мгновение не сводила с побитого мужа. Отдохнув немного, Борец не встал, а пополз на брюхе: подвинется на полшага, взглянет на нее, прочтет в глазах запрещение и опять ляжет, а потом опять жуликом подастся на полшага вперед, дальше, да так вот и подобрался к самой берлоге. Так он обманул бдительность Плаксы покорностью, готовностью от одного только ее косого взгляда ткнуться рылом и закрыть себе морду лапами. Она до того успокоилась, что, наконец, решилась обернуться к малышам и, не глядя на разбойника, принялась их облизывать. Вот тут-то, выждав благоприятный момент, Борец молниеносно вскочил, сгреб передними лапами солому и, высоко держа над собой копну, на одних задних лапах быстро промчал ее к себе в берлогу, постелил поверх сырого, неприятно колючего корья и успокоенно лег. Поди-ка, медведица, подойди теперь к нему! Куда тут!

Ободранное дерево и теперь стоит. Плакса на том же месте, где родила, теперь играет с молодым медведем. Очень часто кто-нибудь из публики спрашивает, зачем это медведям понадобилось ободрать это дерево. Тогда, бывает, кто-нибудь станет рассказывать о семейных повадках медведей и после рассказа выведет:

— Нечего сказать, отцы! Вот так отцы!

ГОВОРЯЩИЙ ГРАЧ

Расскажу случай, какой был со мной в голодном году. Повздорился ко мне на подоконник летать желторотый молодой грачонок. Видно, сирота был. А у меня в то время хранился целый мешок гречневой крупы, — я и питался все время гречневой кашей. Вот, бывало, прилетит грачонок, я посыплю ему крупы и спрашиваю:

— Кашки хочешь, дурашка?

Поклюет и улетит. И так каждый день, весь месяц. Хочу я добиться, чтобы на вопрос мой: «Кашки хочешь, дурашка?» — он сказал бы: «Хочу».

А он только желтый нос откроет и красный язык показывает.

— Ну ладно, — рассердился я и забросил ученье.

К осени случилась со мной беда: полез я за крупой в сундук, а там нет ничего. Вот как воры обчистили, — половина огурца была на тарелке, и ту унесли! Лег я спать голодный. Всю ночь вертелся. Утром в зеркало посмотрел — лицо все зеленое стало.

Стук, стук! — кто-то в окошко.

На подоконнике грач долбит в стекло.

«Вот и мясо!» — явилась у меня мысль.

Открываю окно — и хватить его! А он — прыг от меня на дерево. Я — в окно за ним, к сучку. Он повыше. Я лезу. Он выше — и на самую макушку. Я туда не могу — очень качается. Он же, шельмец, смотрит на меня сверху и говорит:

— Хо-чешь каш-ки, ду-ра-шка?

ХРОМКА

Плыву на лодочке, а за мной по воде плывет Хромка — моя подсадная охотничья уточка. Эта уточка вышла из диких уток, а теперь она служит мне, человеку, и своим утиным криком подманивает в мой охотничий шалаш диких селезней.

Куда я ни поплыву, всюду за мной плывет Хромка. Займется чем-нибудь в заводи, скроюсь я за поворотом от нее, крикну: «Хромка!» — и она бросит все и подлетает опять к моей лодочке. И опять: куда я, туда и она.

Горе нам было с этой Хромкой! Когда вывелись утята, мы первое время держали их в кухне. Это пронюхала крыса, прогрызла дырку в углу и ворвалась. На утиный крик мы прибежали как раз в то время, когда крыса тащила утенка за лапку в свою дырку. Утенок застрял, крыса убежала, дырку забили, но только лапка у нашего утенка осталась сломанная.

Много трудов положили мы, чтобы вылечить лапку: связы-

вали, бинтовали, примачивали, присыпали — ничего не помогло: утенок остался хромым, навсегда.

Горе хромому в мире всяких зверюшек и птиц: у них что-то вроде закона — больных не лечить, слабого не жалеть, а убивать. Свои же утки, свои же куры, индюшки, гуси — все новорят тюкнуть Хромку. Особенно страшны были гуси. И что ему, кажется, великану, такая безделушка — утенок, — нет, и гусь с высоты своей норовит обрушиться на каплюшку и сплюснуть, как паровой молот.

Какой умишко может быть у маленького хромого утенка? Но все-таки и он своей головенкой, величиной с лесной орех, сообразил, что единственное спасение его в человеке.

И нам по-человечески было жалко его: эти беспощадные птицы всех пород хотят лишить его жизни, а чем он виноват, если крыса вывернула ему лапку?

И мы по-человечески полюбили маленькую Хромку.

Мы взяли ее под защиту, и она стала ходить за нами, и только за нами. И, когда выросла она большая, нам не нужно было ей, как другим уткам, подстригать крылья. Другие утки — дикари — считали дикую природу своей родиной и всегда стремились туда улететь. Хромке некуда было улетать от нас. Дом человека стал ее домом. Так Хромка в люди вышла.

Вот почему теперь, когда я плыву на лодочке своей на утиную охоту, моя уточка сама плывет за мной. Отстанет, снимется с воды и подлетает. Займется рыбкой в заводи, заверну я за кусты, скроюсь и только крикну: «Хромка!», вижу — летит моя птица ко мне.

ЯРИК

ЯРИК

На вырубке вокруг старых черных пней было множество высоких, елочкой, красных цветов, и от них вся вырубка казалась красной, хотя гораздо больше тут было иван-да-марьи — цветов наполовину синих, наполовину желтых. Во множестве тут были тоже и белые ромашки, звонцы, синие колокольчики, лиловое кукушкино платье — каких-каких цветов не было! Но от красных елочек, казалось, вся вырубка была красная. А возле черных пней можно было еще найти переспелую и очень сладкую землянику. Летним временем дождик совсем не мешает, я пересидел его под елкой; сюда же, в сухое место, собрались от дождя комары, и как ни дымил я на них из своей трубки, собаку мою Ярика они очень мучили. Пришлось развести грудок, как у нас называют костер. Дым от еловых шишек повалил очень густой, и скоро мы выжили комаров и выгнали их на дождик. Но не успели мы с комарами расправиться, дождик перестал. Летний дождик — одно только удовольствие.

Пришлось все-таки под елкой просидеть еще с полчаса и дожждаться, пока птицы выйдут кормиться и дадут по росе свежие следы.

Так мы вышли на красную вырубку, и, сказав: «Ищи, друг!», я пустил своего Ярика.

Часто я с завистью смотрю на нос своего Ярика и думаю: «Вот если бы мне такой аппарат, вот побежал бы я на ветерок по цветущей красной вырубке и ловил бы и ловил интересные мне запахи!»

— Ну, ищи же, гражданин! — повторил я своему другу.

И он пустился кругами по красной вырубке.

Скоро на опушке Ярик остановился под деревьями, крепко обнюхал место, искоса очень серьезно посмотрел на меня, пригласил следовать: мы понимаем друг друга без слов. Он повел меня за собой очень медленно, сам же уменьшился на ногах и очень стал похож на лисицу.

Так мы пришли к густой заросли, в которую пролезть мог только Ярик; но одного его пустить туда я бы не решился. Один

он мог увлечься птицами, кинуться на них, мокрых от дождя, и погубить все мои труды по обучению. С сожалением хотел было я его отозвать, но вдруг он вильнул своим великолепным, похожим на крыло хвостом, взглянул на меня. Я понял — он говорил:

— Они тут ночевали, а кормились на поляне.

— Как же быть? — спросил я.

Он понюхал цветы: следов не было. И все стало понятно: дождик смыл все следы, а те, по которым мы шли, сохранились, потому что были под деревьями. Оставалось сделать новый круг. Но Ярик и полкруга не сделал — остановился возле небольшого, но очень густого куста. Запах тетеревов пахнул ему на всем ходу, и потому он стал в очень странной позе, весь кольцом изогнулся и, если бы хотел, мог во все удовольствие любоваться своим великолепным хвостом. Я поспешил к нему, огладил и шепотом сказал:

— Иди, если можно!

Он выпрямился, попробовал шагнуть вперед, и это оказалось возможно, только очень тихо. Так, обойдя весь куст кругом, он дал мне понять:

— Они тут были во время дождя.

И уже по самому свежему следу повел, касаясь своими длинными волосами на хвосте самой земли.

Вероятно, они слышали нас и тоже пошли вперед, — я это понял по Ярику; он мне по-своему доложил:

— Идут впереди нас, и очень близко.

Они все вошли в большой куст можжевельника, и тут Ярик сделал свою последнюю, мертвую стойку. До сих пор ему еще можно было время от времени раскрывать рот и хахатать, выпуская свой длинный розовый язык; теперь же челюсти были крепко стиснуты, и только маленький кончик языка, не успевший вовремя убраться в рот, торчал из-под губы, как розовый лепесток. Комар сел на розовый кончик, впился, стал наливаясь, и видно было, как темно-коричневая, словно клеенчатая, тюпка на носу Ярика волновалась от боли и танцевала от запаха, но убраться язык было невозможно: если открыть рот, то оттуда может сильно хахнуть и птиц испугать.

Но я не так волновался, как Ярик, осторожно подошел, ловким щелчком скинул комара и полюбовался на Ярика сбоку: он стоял с вытянутым в линию спины хвостом-крылом, а зато в глазах собралась в двух точках вся жизнь.

Тихонько я обошел куст и стал против Ярика, чтобы птицы не улетели за куст невидимо, а поднялись вверх.

Мы довольно долго так стояли, и, конечно, они в кусту хорошо знали, что мы стоим с двух сторон. Я сделал шаг к кусту и услышал голос тетеревиной матки. Она квохнула и этим сказала детям:

— Лечу, посмотрю, а вы пока посидите.

И со страшным треском вылетела.

Если бы она полетела на меня, то Ярик не тронулся бы, и если бы даже просто пролетела над ним, он не забыл бы, что главная добыча сидит в кусту и какое это страшное преступление — бежать за вылетевшей птицей. Но большая серая, почти курицу, птица вдруг кувыркнулась в воздухе, подлетела почти к самому Ярикову носу и над самой землей тихонечко полетела, махая его криком:

— Догоняй же, я летать не умею!

И, как убитая, в десяти шагах упала на траву и по ней побежала, шевеля высокие красные цветы.

Этого Ярик не выдержал и, забыв годы моей науки, ринулся...

Фокус удался. Она отманила зверя от выводка и, крикнув в кусты детям: «Летите, летите все в разные стороны!», сама вдруг взмыла над лесом и была такова. Молодые тетерева разлетелись в разные стороны, и, наверно, слышалось издали Ярику:

— Дурак! Дурак!

— Назад! — крикнул я своему одураченному другу.

Он опомнился и, виноватый, медленно стал подходить. Особенным, жалким голосом я спрашиваю:

— Что ты сделал?

Он лег.

— Ну, иди же, иди!

Ползет виноватый, кладет мне на коленку голову, очень просит простить.

— Ладно, — говорю я, усаживаясь в куст, — лезь за мной, смирно сиди, не хахай. Мы сейчас с тобой одурачим всю эту публику.

Минут через десять я тихонько свищу, как тетеревята:

— Фиу, фиу!

Значит: «Где ты, мама?»

— Квох, квох! — отвечает она.

И это значит: «Иду!»

Тогда с разных сторон засвистело, как я:

— Где ты, мама?

— Иду, иду! — всем отвечает она.

Один цыпленок свистит очень близко от меня. Я ему отвечаю. Он бежит, и вот я вижу — у меня возле самой коленки шевелится трава.

Посмотрев Ярику в глаза, погрозив ему кулаком, я быстро накрываю ладонью шевелящееся место и вытаскиваю серого, величюно с голубя цыпленка.

— Ну, понюхай, — тихонько говорю Ярику.

Он отвертывает нос: боится хамкнуть.

— Нет, брат, нет, — жалким голосом прошу я, — понюхай-ка.

Нюхает, а сам — как паровоз.

Самое сильное наказание.

Вот теперь я уже смело свищу и знаю — непременно прибежит ко мне матка, всех соберет, одного не хватит, и прибежит за последним.

Их всех, кроме моего, семь. Слышу, как один за другим, отыскав матку, смолкают, и когда все семь смолкли, я, восьмой, спрашиваю:

— Где ты, мама?

— Иди к нам! — отвечает она.

— Фиу, фиу! («Нет, ты води всех ко мне».)

Идет, бежит. Вижу, как из травы то тут, то там, как горлышко бутылки, высовывается ее шея, а за ней шевелит траву и весь ее выводок. Все они сидят от меня в двух шагах. Теперь я говорю Ярику глазами:

— Ну, не будь дураком!

И пускаю своего тетеревенка. Он хлопает крыльями о куст, и все хлопают, все вздымаются. А мы из кустов с Яриком смотрим вслед улетающим и смеемся:

— Вот как мы вас одурачили, граждане!

ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ КОЛБАСА

Ярик очень подружился с молодым Рябчиком и целый день с ним играл. Так, в игре, он провел неделю, а потом я переехал с ним из города в пустынный домик в лесу, в шести верстах от Рябчика. Не успел я устроиться и как следует осмотреться на новом месте, как вдруг у меня пропадает Ярик. Весь день я искал его, всю ночь не спал, каждый час выходил на терраску и свистал. Утром, только собрался было идти в город, в милицию, являются мои дети с Яриком: он, оказывается, был в гостях у Рябчика. Я ничего не имею против дружбы собак, но нельзя же допускать, чтобы Ярик без разрешения оставлял службу у меня!

— Так не годится, — сказал я строгим голосом. — Это, брат, не служба. А кроме того, ты ушел без намордника — значит, каждый встречный имеет право тебя застрелить. Безобразный ты пес!

Я все высказал суровым голосом, и он выслушал меня, лежа на траве, виноватый, смущенный, не Ярик — золотистый гордый ирландец, а какая-то рыжая, ничтожная, сплюснутая черепаха.

— Не будешь больше ходить к Рябчику? — спросил я более добрым голосом.

Он прыгнул ко мне на грудь. Это у него значило:

— Никогда не буду, добрый хозяин.

— Перестань лапиться! — сказал я строго.

И простил. Он покатался в траве, встряхнулся и стал обыкновенным, хорошим Яриком.

Мы жили в дружбе недолго, всего только неделю, а потом он снова куда-то исчез. Вскоре дети, зная, как я тревожусь о нем, привели беглеца: он опять сделал Рябчику незаконный визит. В этот раз я не стал с ним разговаривать и отправил в темный подвал, а детей просил, чтобы в следующий раз они только известили меня, но не приводили и не давали там ему пищи. Мне хотелось сделать, чтобы он вернулся по доброй воле.

В темном подвале путешественник пробыл у меня сутки. Потом, как обыкновенно, я серьезно поговорил с ним и простил. Наказание подвалом действовало только на две недели. Дети прибежали ко мне из города:

— Ярик у нас!

— Так ничего же ему не давайте, — велел я. — Пусть проголодается и придет сам, а я подготовлю ему хорошую встречу.

Прошел день. Наступила ночь. Я зажег лампу, сел на диван, стал читать книгу. Налетело на огонь множество бабочек, жуков, все это стало кружиться возле лампы, валиться на книгу, на шею, путаться и жужжать в волосах. Но закрыть дверь на террасу было нельзя, потому что это был единственный вход, через который мог явиться ожидаемый Ярик. Я, впрочем, не обращал внимания на бабочек и жуков: книга была увлекательной, и шелковый ветерок, долетая из леса, приятно шумел. Я и читал и слушал музыку леса.

Вдруг мне что-то показалось в уголку глаза. Я быстро поднял голову, и это исчезло. Теперь я стал прилаживаться так читать, чтобы, не поднимая головы, можно было наблюдать порог. Вскоре там показалось нечто рыжее, стало красться в обход стола, и я думаю, мышь слышней пробежала бы, чем это большое подползало под диван. Только знакомое неровное дыхание подсказало мне, что Ярик был под диваном и лежал как раз подо мной. Некоторое время я читаю и жду, но терпения у меня хватило ненадолго. Встаю, выхожу на террасу и начинаю звать Ярика строгим голосом и ласковым, громко и тихо, свистать и даже трубить. Так уверил я лежащего под диваном, что ничего не знаю о его возвращении. Потом я закрыл дверь от бабочек и говорю вслух:

— Верно, Ярик уже не придет. Пора ужинать.

Слово «ужинать» Ярик знает отлично. Но мне показалось, что после моих слов под диваном прекратилось даже дыхание.

В моем охотничьем столе лежит запас копченой колбасы, которая чем больше сохнет, тем становится вкуснее. Я очень люблю сухую охотничью колбасу и всегда ем ее вместе с Яриком. Бывало, мне довольно только ящиком шевельнуть, чтобы Ярик, спящий колечком, развернулся, как стальная пружина, и подбежал к столу, сверкая огненным взглядом.

Я выдвинул ящик — из-под дивана ни звука. Раздвигаю колени, смотрю вниз — нет ли там на полу рыжего носа. Нет, носа не видно. Режу кусочек, громко жую, заглядываю — нет, хвост не молотит. Начинаю опасаться, не показалась ли мне рыжая тень от сильного ожидания и Ярика вовсе и нет под диваном. Трудно думать, чтобы он, виноватый, не соблазнился даже колбасой — ведь он так любит ее. Если я, бывало, возьму кусочек, надрежу, задеру шкурку, чтобы можно было за кончик ее держаться пальцами и кусочек ее висел бы, как на нитке, то Ярик задерет нос вверх, стережет долго и вдруг прыгнет. Но мало того: если я успею во время прыжка отдернуть вверх руку с колбасой, то Ярик так и остается на задних ногах, как человек. Я иду с колбасой, а Ярик идет за мной на двух ногах, опустив передние лапы, как руки, и так мы обходим комнату и раз, и два, и даже больше. Я надеюсь в будущем посредством колбасы вообще приучить ходить его по-человечески и когда-нибудь во время городского гулянья появиться так под руку с рыжим хвостатым товарищем.

И так вот, зная, как Ярик любит колбасу, я не могу допустить, чтобы он был под диваном. Делаю последний опыт, бросаю вниз не кусочек, а только шкурку и наблюдаю. Но как внимательно я ни смотрю, ничего не могу заметить: шкурка исчезла как будто сама по себе. В другой раз я все-таки добился: видел, как мелькнул язычок.

Ярик тут, под диваном.

Теперь я отрезаю от колбасы круглый конец с носиком, привязываю нитку за носик и тихонечко спускаю вниз между коленками. Язык показался. Я потянул за нитку — язык скрылся. Переждав немного, спускаю опять — теперь показался нос, потом лапы.

Больше нечего в прятки играть: я вижу его и он меня видит. Поднимаю выше кусочек, Ярик поднимается на задние лапы.

— Пожалуйста, молодой человек!

ПЕРВАЯ СТОЙКА

Мой легавый щенок называется Ромул, но я больше зову его Ромой или просто Ромкой, а изредка величаю его Романом Васильевичем.

У этого Ромки скорее всего растут лапы и уши. Такие длинные у него выросли уши, что когда вниз посмотрит, так и глаза закрывают, а лапами он часто что-нибудь задевает и сам кувывается.

Сегодня был такой случай. Поднимался он по каменной лестнице из подвала, зацепил своей лапиной полкирпича, и тот покатился вниз, считая ступеньки. Ромушка этому очень удивился и

стоял наверху, спустив уши на глаза. Долго он смотрел вниз, поворачивая голову то на один бок, то на другой, чтобы ухо отклонилось от глаз и можно было смотреть.

— Вот штука-то, Роман Васильевич! — сказал я. — Кирпич-то вроде как живой, ведь скачет!

Рома поглядел на меня умно.

— Не очень-то заглядывайся на меня, — сказал я, — не считай галок, а то он соберется с духом, да вверх поскачет, да тебе даст прямо в нос.

Рома перевел глаза. Ему, наверно, очень хотелось побежать и проверить, отчего это мертвый кирпич вдруг ожил и покатился. Но спуститься было очень опасно: что, если кирпич его схватит и утянет вниз, в темный подвал?

— Что же делать-то? — спросил я. — Разве удрать?

Рома взглянул на меня только на одно мгновение, и я хорошо его понял — он хотел мне сказать:

— Я и сам подумываю, как бы удрать, а ну как я повернусь, а он меня схватит за прутик?¹

Нет, и это оказывается невозможным. И так Рома долго стоял, и это была его первая стойка по мертвому кирпичу, как большие собаки постоянно делают, когда носом чуют в траве живую дичь.

Чем дольше стоял Ромка, тем ему становилось страшней — по собачьим чувствам выходит так: чем мертвее затаится враг, тем ужаснее будет, когда он вдруг оживет и прыгнет.

— Перестою, — твердит про себя Ромка.

И чудится ему, будто кирпич шепчет:

— Перележу.

Но кирпичу можно хоть сто лет лежать, а живому песику трудно — устал и дрожит.

Я спрашиваю:

— Что же делать-то, Роман Василич?

Рома ответил по-своему:

— Разве брехнуть?

— Вали, — говорю, — лай!

Ромка брехнул и отпрыгнул. Верно, со страху ему показалось, будто он разбудил кирпич и тот чуть-чуть шевельнулся. Стоит, смотрит издали — нет, не вылезает кирпич. Тихонечко подкрадывается, глядит осторожно вниз: лежит.

— Разве еще раз брехнуть?

Брехнул и отпрыгнул.

Тогда на лай прибежала Кэт, Ромина мать, впилась глазами в то место, куда лаял сын, и медленно, с лесенки на лесенку, стала спускаться. На это время Ромка, конечно, перестал лаять, доверил это дело матери, а сам глядел вниз много смелее. Кэт узнала

¹ Хвост у пойнера называется по-охотничьи прутом.

по запаху Роминой лапы след на страшном кирпиче, понюхала его: кирпич был совершенно мертвый и безопасный. Потом, на случай, она постепенно обнюхала все, ничего не нашла подозрительного и, повернув голову вверх, глазами сказала сыну:

— Мне кажется, Рома, здесь все благополучно.

После того Ромул успокоился и завилял прутиком. Кэт стала подниматься; он нагнал мать и принялся теревить ее за ухо.

УЖАСНАЯ ВСТРЕЧА

Это известно всем охотникам, как трудно выучить собаку не гоняться за зверями, кошками и зайцами, разыскивать только птицу.

Однажды во время моего урока Ромке мы вышли на полянку. На ту же полянку вышел тигровый кот. Ромка был с левой руки от меня, а кот — с правой, и так произошла эта ужасная встреча. В одно мгновение кот обернулся, пустился наутек, а за ним ринулся Ромка. Я не успел ни свистнуть, ни крикнуть «тубо»¹.

Вокруг на большом пространстве не было ни одного дерева, на которое кот мог бы взобраться и спастись от собаки, — кусты и полянки без конца. Я иду медленно, как черепаха, разбирая следы Ромкиных лап на влажной земле, на грязи, по краям луж и на песке ручьев. Много перешел я полянок, мокрых и сухих, перебрел два ручейка, два болотца, и наконец вдруг все открылось: Ромка стоит на поляне неподвижный, с налитыми кровью глазами; против него, очень близко, — тигровый кот; спина горбатым деревенским пирогом, хвост медленно поднимается и опускается. Нетрудно мне было догадаться, о чем они думали.

Тигровый кот говорит:

— Ты, конечно, можешь на меня броситься, но помни, собака, за меня тигры стоят! Попробуй-ка, сунься, пес, и я дам тебе тигра в глаза.

Ромку же я понимал так:

— Знаю, мышатница, что ты дашь мне тигра в глаза, а все-таки я тебя разорву пополам! Вот только позволь мне еще немного подумать, как лучше бы взять тебя.

Думал и я:

«Ежели мне к ним подойти, кот пустится наутек, за ним пустится и Ромка. Если попробовать Ромку позвать...»

Долго раздумывать, однако, было мне некогда. Я решил начать усмирение зверей с разговора по-хорошему. Самым нежным голосом, как дома в комнате во время нашей игры, я назвал Ромку по имени и отчеству:

¹ Т у б о — значит «нельзя».

— Роман Василич!

Он покосился. Кот завыл.

Тогда я крикнул тверже:

— Роман, не дури!

Ромка оробел и сильнее покосился. Кот сильнее провыл.

Я воспользовался моментом, когда Ромка покосился, успел поднять руку над своей головой и так сделать, будто рублю головы и ему и коту. Увидев это, Ромка подался назад, а кот, полагая, будто Ромка струсил, и втайне, конечно, радуясь этому, провыл с переливом обыкновенную котовую победную песню. Это задело самолюбие Ромки. Он, пятась задом, вдруг остановился и посмотрел на меня, спрашивая:

— Не дать ли ему?

Тогда я еще раз рукой в всадухе отрубил ему голову и во все горло выкрикнул бесповоротное свое решение:

— Тубо!

Он подался еще к кустам, обходом явился ко мне. Так я сломил дикую волю собаки.

А кот убежал.

ЕЖОВЫЕ РУКАВИЦЫ

Собака, все равно как и лисица и кошка, подбирается к добыче. И вдруг замрет. Это у охотников называется стойкой.

Собака только стоит и указывает, а человек при взлете стреляет. Если же собака при взлете бежит, это не охота. За одной побежит — другую спугнет, третью, да еще и с лаем пустится по болоту турить — охотнику так ничего и не достанется.

Учил я Ромку, чтобы не гонять, и не мог научить.

— Некультурен! — сказал мне однажды егерь¹ Кирсан.

— Как же быть с некультурностью? — спросил я.

Кирсан очень странно ответил:

— Некультурность у собак надо ежом изгонять.

Нашли мы ежа. Я пустил Ромку в тетеревиные места, и скоро он стал по тетерке. Я позади Ромки стал, а Кирсан с ежом сбоку. Приказываю:

— Вперед!

Ромка с лапки на лапку: раз, два, три...

Ту-ту-ту! — вылетела.

— Назад! — кричу Ромке.

Ничего не помнит, ничего не слышит. Бросился. И тут-то Кирсан на прыжке сбоку прямо в нос ему ежа. Ромка опомнился, взвизгнул — и на ежа. А ёж ему своими колючками еще здорово поддал. И мы на Ромку и приговариваем:

¹ Егерь — это немецкое слово, значит «охотник».

— Помни ежа, помни ежа!

С тех пор, когда птица взлетает, я говорю негромко:

— Ромка, помни ежа!

Он и опомнится.

Однажды я спросил Кирсана:

— Как это вы, Кирсан Николаевич, пришли к такой догадке, чтобы некультурность ежом изгонять?

— С себя самого перевел, Михайло Михайлович, — ответил Кирсан. — В детстве соседям окна бил из рогатки. Раз поймали меня и говорят: «Этого мальчишку надо взять в ежовые рукавицы!» И взяли. А потом это с себя я на собак перевел с большой пользой.

Е Ж

Этот теплый дождь с грозой расшевелил и ежика, спавшего всю зиму в кусту, под толстым слоем листвы. Еж стал разворачиваться, а листва над ним — подниматься. Я раз это видел своими глазами, и мне даже немножко страшно стало: сама ведь поднимается листва.

Вот он развернулся и мохнатенькую мордочку с черным собачьим носиком высунул. Только высунул, вдруг ветер шевельнул старыми дубовыми листьями, и вышло из этого шума явственно:

— Ё-ш-ш-ш! (Еж.)

Как тут не испугаться! В одно мгновение еж свернулся клубочком и сколько-то времени пролежал так, будто нет его, серого, в серой листве. Когда же времени прошло довольно, еж опять стал разворачиваться, но опять только поднялся на ноги и маленькой спинкой, густо уснащенной колючками, тронулся, вдруг из тех же дубовых сухих листьев шепнуло:

— Еж! Куда ты идешь?

И так было несколько раз, пока еж привык и пошел. Все происходило в большой близости от нашего домика на колесах, и не мудрено, что еж попал под машину, где на старой ватной кофте крепко спал наш Сват. Ежику эта кофта очень понравилась: совсем сухо, тепло, и вот тут даже есть дырочка, куда можно залезть. Но только он стал туда залезать, вдруг Сват почувал ежа.

— Еж, куда ты идешь?

И началось, и началось! А еж, поддав колючками в нос Свату, залез в дырочку и скоро так глубоко продвинулся в рукаве, что дальше идти было некуда: рукав в конце был очень узок.

— Еж! Куда ты идешь? — ревел Сват.

А ежу — ни вперед, ни назад: впереди узко, позади Сват. Разобрав, в чем дело, мы ватную кофту перенесли в наш дом, рассчитывая, что следующей ночью еж уложит гладко свои

колючки и как-нибудь выпятится. Может быть, кофта ему понравится и станет ежовым гнездом.

Устроив своего нового жильца, мы тут же спели ему плясовую народную песенку:

Еж, еж, куда ты идешь?

А он отвечает:

К вам, девушки, гулять,
Себе жену выбирать!

С В А Т

Подарили мне небольшую собачку редкостной породы спаниель, величиной с два больших кота, а уши до самой земли. Когда ест — уши мокнут, когда нюхает землю — передними лапами наступает на свои уши.

«Ухан» следовало бы назвать его по-русски, но у него кличка была английская — Джимми. Не нравилась мне чужая кличка, такая незвучная: изволь орать «Джимми», когда дрессируемый щенок помчится за котом или зайцем. Мы сначала превратили Джимми в арабского Джина, а когда этот Джин засел верхом на утку нашу и начал ее жать, то мы все разом закричали на него не Джин, а Жим, в смысле «не жми».

И так оно и пошло бы, наверное, Жим, но случилось однажды, наш спаниель засел верхом на Хромку, нашу охотничью ручную уточку, без того уже убогую, хроменькую.

— Жим, перестань! Жим, не жми! — закричали мы ему.

Но он не слушал и продолжал давить Хромку. В это время за калиткой на улице прохожий звучно крикнул кому-то:

— Сват!

И, услышав этого «свата», Жим почему-то бросил утку.

— Вот кличка-то! — сказал я. — И звучная и милая. Давайте попробуем Жима звать Сватом.

В это время по улице люди из деревни шли на базар. Не успел я это сказать своим, как послышался за калиткой отчетливый разговор каких-то прохожих.

— Да сн мне, милый, не сват, не брат, — сказал один.

А другой ему сочувственно:

— И не сват и не кум.

И пошло, как под музыку:

Не тесть, и не зять,
И не шурин, не свояк.

После некоторого молчания и уже издали, чуть слышно:

— Никакая не родня, а просто седьмая вода на киселе.

На другой день случилось: Жим разогнал нашего кота и сам ударился за ним через подворотню на улицу. Я выбежал в калитку и во все горло закричал:

— Сват!

Тут соседи мои и мальчишки-голубятники удивились, кого это я зову сватом.

А кот в это время, сделав круг и не успев вскочить где-нибудь на дерево, бежал обратно, и за ним, чуть ли не на хвосте кошачьем, мчался Сват. Тогда по лицу моему, по всему удовлетворенному виду соседи и все, кто был на улице, поняли, кто был моим сватом.

И сколько тут было смеху, сколько звонкой радости! Старый и малый — все орали вслед бегущему коту и собачке: кто орал «Сват», кто — «Кум», кто — «Тесть», кто — «Зять», кто «Шурин», кто — «Деверь», кто — «Свояк».

Кот же, конечно, нырнул в подворотню и, чувствуя у самого хвоста своего морду Свата, махнул вверх на машину. А Сват, конечно, за ним тоже на машину. Васька, прижатый к окну шофера, вглядывается холодным, расчетливым глазом и медленно заносит назад правую лапу — точно так же, как бойцы заносят назад руку с гранатой, чтобы с силой бросить вперед. И когда нос Свата был возле кота, граната ударила по носу и с шипом разорвалась, а я, сочувствуя коту, сказал:

— Я тебе не сват, не брат.

И столько раз надавал кот лапой Свату, что я успел принести фотоаппарат, снять их и закончить им присказку:

Не сват, не брат,
Не тесть, не кум,
Не зять, не свояк,
И не шурин, и никакая не родня,
Седьмая вода на киселе!

ОТРАЖЕНИЕ

Мы идем с Ладой — моей охотничьей собакой — вдоль небольшого озерка. Вода сегодня такая тихая, что летящий кулик и его отражение в воде были совершенно одинаковы: казалось, летели нам навстречу два кулика. Весной в первую прогулку Ладе разрешается гоняться за птичками. Она заметила двух летящих куликов — летели прямо на нее, скрытую от них кустиком. Лада наметилась.

Какого она выберет себе: настоящего, летящего над водой, или его отражение в воде — оба ведь схожи между собой как две

капли воды. Вот бедная Лада выбирает себе отражение и, наверное, думая, что сейчас поймает живого кулика, с высокого берега делает скачок и бухается в воду. А верхний, настоящий кулик улетает.

ЛАДА

Три года тому назад был я в Завидове, в хозяйстве Военно-охотничьего общества. Егерь Николай Камолов предложил мне посмотреть у своего племянника в лесной сторожке его годовалую сучку, пойнтера Ладу.

Как раз в то время собачку себе я приискивал. Пошли мы наутро к племяннику. Осмотрел я Ладу: чуть-чуть она была мелковата, чуть-чуть нос для сучки был короток, а прут толстоват. Рубашка у нее вышла в мать, желто-пегого пойнтера, а чутье¹ и глаза — в отца, черного пойнтера. И так это было занятно смотреть: вся собака в общем светлая, даже просто белая с бледно-желтыми пятнами, а три точки на голове — глаза и чутье — как угольки. Головка, в общем, была очаровательная, веселая. Я взял хорошенькую собачку себе на колени, дунул ей в нос — она сморщилась, вроде как бы улыбнулась; я еще раз дунул — она сделала попытку меня за нос схватить.

— Осторожней! — предупредил меня старый егерь Камолов.

И рассказал мне, что у его свата случай был: тоже вот так дунул на собаку, а она его за нос, и так человек на всю жизнь остался без носа.

Хозяин Лады очень обрадовался, что собака нам понравилась: он не понимал охоты и рад был продать ненужную собаку.

— Какие умные глаза! — обратил мое внимание Камолов.

— Умница! — подтвердил племянник. — Ты, дядя Николай, главное, хлещи ее, хвощи как ни можно сильнее, она все поймет.

Мы посмеялись с егерем этому совету, взяли Ладу и отправились в лес пробовать ее поиск, чутье. Конечно, мы действовали исключительно лаской, давали по кусочку сала за хорошую работу, за плохую — самое большее пальцем грозили. В один день умная собака поняла всю нашу премудрость, а чутье, наверно, ей досталось от деда, Камбиза: чутье небывалое!

Весело было возвращаться на хутор: не так-то легко ведь найти собаку такую прекрасную.

— Не Ладой бы ее звать, а Находкой: настоящая находка! — повторял Камолов.

И так мы, оба очень радостные, приходим в сторожку.

¹ Ч у т ь е — так называют охотники нос у собаки.

— А где же Лада? — спросил нас удивленно хозяин.

Глянули мы — и видим: действительно, с нами нет Лады. Все время шла с нами, а как вот к дому подошла, словно провалилась сквозь землю. Звали, манили, ласково и грозно: нет и нет. Так вот и ушли с одним горем. А хозяину тоже не сладко. Так нехорошо вышло. Хотели хоть что-нибудь хозяину дать — нет, не берет.

— Только собрались Находкой назвать, — сказал Камолов.

— Не иначе как леший увел! — посмеялся на прощанье племянник.

И только мы без хозяина прошли шагов двести по лесу, вдруг из кустика выходит Лада. Какая радость! Мы, конечно, назад, к хозяину. И только повернули, вдруг опять Лады нет, опять — как сквозь землю. Но в этот раз мы больше ее не искали; мы, конечно, поняли: хозяин колотил ее, а мы ласкали и охотились, вот она и пряталась, вот и все... И как только мы повернули домой, Лада, конечно, из куста явилась. По пути домой мы много смеялись, вспоминая слова хозяина: «Хлещи, дядя Николай, хвощи как ни можно сильней, она все поймет!»

И поняла!

ГЛОТОК МОЛОКА

Лада заболела. Чашка с молоком стояла возле ее носа, она отвертывалась. Позвали меня.

— Лада, — сказал я, — надо поесть.

Она подняла голову и забила прутком. Я погладил ее. От ласки жизнь заиграла в ее глазах.

— Кушай, Лада, — повторил я и подвинул блюдо поближе. Она протянула нос к молоку и залакала.

Значит, через мою ласку ей силы прибавилось. Может быть, именно эти несколько глотков молока спасли ее жизнь.

КАК Я НАУЧИЛ СВОИХ СОБАК ГОРОХ ЕСТЬ

Лада, старый пойнтер десяти лет, — белая с желтыми пятнами. Травка — рыжая, лохматая, ирландский сеттер, и ей всего только десять месяцев. Лада — спокойная и умная. Травка — бешеная и не сразу меня понимает. Если я, выйдя из дому, крикну: «Травка!», она на одно мгновение обалдеет. И в это время Лада успевает повернуть к ней голову и только не скажет словами: «Глупенькая, разве ты не слышишь? Хозяин зовет!»

Сегодня я вышел из дому и крикнул:



— Лада, Травка, горох поспел, идемте скорей горох есть!

Лада уже лет восемь знает это и теперь даже любит горох; горох ли, малина, клубника, черника, даже редиска, даже репа и огурец, только не лук. Я, бывало, ем, а она, умница, вдумывается — глядишь, и себе начинает рвать стручок за стручком. Полный рот, бывало, наберет гороху и жует, а горох с обеих сторон изо рта сыплется, как из веялки. Потом выплюнет шелуху, а самый горох с земли языком соберет весь до зернышка.

Вот и теперь я беру толстый зеленый стручок и предлагаю его Травке. Ладе, старухе, уж конечно, это не очень нравится, что я предпочитаю ей молодую Травку. Лохмушка берет в рот стручок и выплевывает. Второй даю — и второй выплевывает. Третий стручок даю Ладе. Берет. После Лады опять Травке даю. Берет. И так пошло скоро: один стручок Ладе, другой — Травке. Дал по десять стручков.

— Жуйте, работайте!

И пошли жернова молотить горох, как на мельнице. Так и хлещет горох в разные стороны у той и другой. Наконец Лада выплюнула шелуху, и вслед за ней Травка тоже выплюнула. Лада стала языком зерна собирать. Травка попробовала и вдруг поняла: и стала есть горох с таким же удовольствием, как и Лада. Она стала есть потом и малину, и клубнику, и огурцы. И всему этому я научил Травку из-за большой любви ко мне Лады: Лада ревнует ко мне Травку и ест, Травка Ладу ревнует и ест. Мне кажется, если я устрою между ними соревнование, то они, пожалуй, скоро у меня и лук будут есть.

ПЕТИН БАШМАК

Был с нами в это путешествие такой случай. Сват, молодой спаниель, играя, унес у Пети башмак в чашу и закопал. Сколько мы ни искали, найти не могли. Пустились на хитрости — дали ему другой башмак в чаянии, что он принесет его к первому и закопает на том же месте, а мы подглядим. Он не отказался, схватил другой башмак, скрылся в чаше, а пока мы разыскивали, успел второй башмак закопать.

В напрасных поисках, с досадой я сказал Пете, придумавшему эту хитрость:

— Никакой пользы, Петя, хитрость твоя не принесла: мы лишились второго башмака.

— Но и вреда никакого, — ответил Петя. — Все равно в одном башмаке далеко не уйдешь.

На эти слова я стал горячо возражать: незадолго перед тем в поисках зимовалой клюквы у нас нашелся довольно-таки свежий лапоть.

— Вот если бы,— говорил я,— у нас был бы теперь и башмак, то можно было бы — одна нога в башмаке, другая в лапте — ходить отлично по болоту за ягодами.

КАК РОМКА ПЕРЕХОДИЛ РУЧЕЙ

Мы собрались переходить ручей и пустили Ромку вперед. Он подошел к струящейся воде и вдруг отпрыгнул назад. Потом крайне осторожно подошел опять и, когда убедился, что вода течет, струится, значит, вода ж и в а я,— снова отпрыгнул, раз, и два, и пошел потрясать воздух своим басом.

— Ромка, Ромка! — убеждали мы.— Не будь дураком, иди, иди.

Он послушался, подкрался. Ручей струился по камушкам только посредине, а по сторонам застойная вода его была подернута слоем зеленоватой тины. Ветер подогнал края этой тины к берегу и развесил на прутиках, как большую зеленую тряпку.

Вот Рома, подумав, что все дело в этой тряпке, схватил за край тины и потянул. Он рвал траву и, не успевая проглатывать, выбрасывал, и зеленая тина мокрыми усами свисала из его пасти.

Но вот обнажился в воде какой-то черный ком, и тут Ромка, решив, что не в тряпке дело, а что ком во всем виноват, схватился зубами за ком и потащил. Но ком был только началом затопленной коряги, и когда она, большая, черная, из воды показалась, Ромка бросил ком и со всего маху в страшном испуге шарахнулся назад на берег и там уже так забрежал, так забрежал!

И даже когда я на глазах его перешел ручей, он не сразу пошел за мной: он увидел меня на том берегу, завизжал сначала, потом набрался храбрости и скакнул, таким быстрым гигантским скачком, что ж и в а я вода не успела схватить его за ногу.

После того мы перешли в жидкое топкое болото, и Ромка тут работал безукоризненно. Правда, он ходил по воде несколько бурно, но как только причуивал след, начинал тихо подкрадываться, и бекасы иногда его подпускали совсем близко.

ОХОТА ЗА БАБОЧКОЙ

Жулька, моя молодая мраморно-голубая охотничья собака, носится как угорелая за птичками, за бабочками, даже за крупными мухами до тех пор, пока горячее дыхание не выбросит из ее пасти язык. Но и это не останавливает ее.

Вот нынче была у всех на виду такая история.

Желтая бабочка-капустница привлекла внимание. Жизель бросилась за ней, подпрыгнула и промахнулась. Бабочка замотыляла дальше. Жулька за ней — хап! Бабочке хоть бы что: летит, мотыляет, как будто смеется.

Хап! — мимо. Хап, хап! — мимо и мимо.

Хап, хап, хап — и бабочки в воздухе нет.

Где наша бабочка? Среди детей началось волнение. «Ах, ах!» — только и слышалось.

Бабочки нет в воздухе, капустница исчезла. Сама Жизель стоит неподвижная, как восковая, повертывая удивленно голову то вверх, то вниз, то вбок.

— Где наша бабочка?

В это время горячие пары стали нажимать внутри Жулькиной пасти, — у собак ведь нет потовых желез. Пасть открылась, язык вывалился, пар вырвался, и вместе с паром вылетела бабочка и, как будто совсем ничего с ней не было, — замотыляла себе по-над лугом.

До того измаялась с этой бабочкой Жулька, до того, наверно, ей трудно было сдерживать дыханье с бабочкой во рту, что теперь, увидев бабочку, вдруг сдалась. Вывалив язык, длинный, розовый, она стояла и глядела на летящую бабочку глазами, ставшими сразу и маленькими и глупыми.

Дети приставали к нам с вопросом:

— Ну, почему же это нет у собаки потовых желез?

Мы не знали, что им сказать.

Школьник Вася Веселкин им ответил:

— Если бы у собак были железы и не надо было бы им хаять, так они бы давно уже всех бабочек переловили и скушали.

КАДО

Последний рассказ будет не о Жульке, а о моем большом гладкошерстном пойнтере Кадо. Это очень добрый, ленивый и толстый пес и если не охотится, то спит где-нибудь на полу в солнечном пятне.

Этим летом спать Кадо мешали комары, — у Кадо такая короткая шерсть, что от укусов не защищает. То и дело слышим: огромный Кадо лязгает зубами на комаров. Мало пришлось поспать этим летом Кадо!

Но вот деньки стали короче, лето пошло на убыль, комары исчезли.

Кадо вышел на крыльцо, огляделся, его широкая рыжая морда выражала полное довольство, и по ней мы прочли: «Кажется, больше не будут кусаться: за лето я всю эту дрянь начисто переловил».

ЗВЕРЬ БУРУНДУК

ЗВЕРЬ БУРУНДУК

Можно легко понять, для чего у пятнистого оленя на шкуре его везде рассыпаны частые белые пятнышки.

Раз я на Дальнем Востоке шел очень тихо по тропинке и, сам не зная того, остановился возле притаившихся оленей. Они надеялись, что я не замечу их под деревьями с широкими листьями, в густой траве. Но, случилось, олений клещ больно укусил маленького теленка; он дрогнул, трава качнулась, и я увидел его и всех. Тут-то вот я и понял, почему у оленей пятна. День был солнечный, и в лесу на траве были «зайчики» — точно такие же, как у оленей и ланей. С такими «зайчиками» легче затаиться. Но долго я не мог понять, почему у оленя назади возле хвоста большой белый кружок, вроде салфетки, а если олень испугается и бросится бежать, то эта салфетка становится еще шире, еще много заметнее. Для чего оленю эти салфетки? Думал я об этом и вот как догадался.

Однажды мы поймали диких оленей и стали их кормить в домашнем питомнике бобами и кукурузой. Зимой, когда в тайге с таким трудом оленю достается корм, они ели у нас готовое и самое любимое, самое вкусное в питомнике блюдо. И они до того привыкли, что, как завидят у нас мешок с бобами, бегут к нам и толпятся возле корыта. И так жадно суют морды и спешат, что бобы и кукуруза часто падают из корыта на землю. Голуби это уже заметили — прилетают клевать зерна под самыми копытами оленей. Тоже прибегают собирать падающие бобы бурундуки, эти небольшие, совсем похожие на белку полосатые прехорошенькие зверьки. Трудно передать, до чего ж пугливы эти пятнистые олени и что только может им представиться. В особенности же пуглива у нас была самка, наша красавица Хуа-Лу.

Случилось раз, она ела бобы в корыте рядом с другими оленями. Бобы падали на землю, голуби и бурундуки бегали возле самых копыт оленей. Вот Хуа-Лу нечаянно наступила копытцем на пушистый хвост одного зверька, и этот бурундук в ответ впился в ногу оленя. Хуа-Лу вздрогнула, глянула вниз, и ей, наверно,

бурундук представился чем-то ужасным. Как она бросится! И за ней разом все на забор, и — бух! — забор наш повалился. Маленький зверек бурундук, конечно, сразу отвалился, но для испуганной Хуа-Лу теперь за ней бежал, неся по ее следам не маленький, а огромный зверь бурундук. Другие олени ее понимали по-своему и вслед за ней стремительно неслись. И все бы эти олени убежали и весь наш большой труд пропал бы, но у нас была немецкая овчарка Тайга, хорошо приученная к этим оленям. Мы пустили вслед за ними Тайгу. В безумном страхе неслись олени, и, конечно, они думали, что не собака за ними бежит, а все тот же страшный, огромный зверище бурундучище.

У многих зверей есть такая повадка, что если их гонят, то они бегут по кругу и возвращаются на то же самое место. Так охотники зайцев гоняют с собаками: заяц почти всегда прибегает на то же самое место, где лежал, и тут его встречает стрелок. И олени так неслись долго по горам и долам и вернулись к тому же самому месту, где им хорошо живется — и сытно и тепло. Так вот и вернула нам оленей отличная, умная собака Тайга. Но я чуть было и не забыл о белых салфетках, из-за чего я завел этот рассказ. Когда Хуа-Лу бросилась через упавший забор и от страха у ней назади белая салфетка стала много шире, много заметней, то в кустах только и видна была одна эта мелькающая белая салфетка. По этому белому пятну бежал за ней другой олень и сам тоже показывал следующему за ним оленю свое белое пятно. Вот тут-то я и догадался впервые, для чего служат эти белые салфетки пятнистым оленям. В тайге ведь не только бурундук — там и волк, и леопард, и сам тигр. Один олень заметит врага, бросится, покажет белое пятнышко и спасает другого, а этот спасает третьего, и все вместе приходят в безопасные места.

РОЖДЕНИЕ КАСТРЮЛЬКИ

Мы были в питомнике пятнистых оленей на Дальнем Востоке. Эти олени так красивы, что по-китайски называются «олень-цветок». Каждый олень имеет свою кличку. Пискунья и Манька со своими оленятами совершенно ручные оленухи, но, конечно, из оленух всех добрее Кастрюлька. С этой Кастрюлькой может такое случиться, что придет под окошко и, если вы не обращаете на нее внимания, положит голову на подоконник и будет дожидаться ласки. Очень любит, если ее почешут между ушами. А между тем она вышла не от домашних, а от диких оленей.

Кастрюлька оттого, оказывается, особенно ласковая, что взята от своей дикой матери в тайге в первый же день своего рождения. Если бы удалось поймать ее только на второй день, то она

далеко не была бы такая добрая, или, как говорят, легкобычная. А взятый на третий день олененок и дальше навсегда останется буковатым.

Олени начинают телиться в мае, а кончают в июне. Было это в первой половине июня. Сергей Федорович взял свою Тайгу, немецкую овчарку, приученную к оленям, и отправился в горы. Разглядывая в бинокль горы, долины, ручьи, он нашел в одной долине желтое пятно и понял в нем оленей. После того, пользуясь ветром в ущельях, долго подкрадывался к ним, и они не чуяли и не слышали его приближения. Подкрался он к ним из-под горы совсем близко и, наблюдая в бинокль одну оленуху, заметил, что она отбилась от стада и скрылась в кустах, где бежит горный ручей. Сергей Федорович сделал предположение, что оленуха скоро в кустах должна растелиться.

Так оно и было. Оленуха вошла в густые дубовые заросли и родила желтого теленочка с белыми, отчетливыми на рыжем пятнами, совершенно похожими на пятна солнечных лучей — «зайчики». Теленок сначала не мог подняться, и она сама легла к нему, стараясь подвинуть к его губам вымя. Тронул теленок вымя губами, попробовал сосать. Она встала, и он стоя начал сосать, но был еще очень слаб и опять лег. Она опять легла к нему и опять подвинула вымя. Попив молочка, он поднялся, стал твердо, но тут послышался шум в кустах, и ветер донес запах собаки. Тайга приближалась...

Мать поняла, что надо бежать, и свистнула. Но он еще не понимал или был слаб. Она попробовала подтолкнуть его в спину губами. Он покачулся. Она решила обмануть собаку, чтобы та за ней погналась, а теленка уложить и спрятать в траве. Так он и замер в траве, весь осыпанный и солнечными и своими «зайчиками». Мать отбежала в сторону, встала на камень, увидела Тайгу. Чтобы обратить на себя внимание, она громко свистнула, топнула ногой и бросилась бежать. Не чувствуя, однако, за собой погони, она опять остановилась на высоком месте и разглядела, что Тайга и не думает за ней бежать, а все ближе и ближе подбегает к корню дерева, возле которого свернулся ее олененок. Не помогли ни свист, ни топанье. Тайга все ближе и ближе подходила к кусту. Быть может, оленуха-мать пошла бы выручать свое дитя, но тут рядом с Тайгой показался Сергей Федорович, и она опрометью бросилась в далекие горы.

За Тайгой пришел Сергей Федорович. И вот только что черненькие глазки блестят и только что тельце тепленькое, а то бы и на руки взять, и все равно сочтешь за неживое: до того притворяются каменными.

Обыкновенно таких пойманных телят приучают пить молоко коровье из бутылки: сунут в рот горлышко и булькают, а там хочешь — глотай, хочешь — нет, все равно есть захочется, рано или поздно глотнешь. Но эта оленушка, к удивлению всех, начала

пить прямо из кастрюльки. Вот за это сама была названа Кастрюлькой.

Ухаживать за этим теленком Сергей Федорович назначил свою дочку Люсю, и она ее все поила, поила из той самой кастрюльки, а потом стала давать веники из прутьев молодого кустарника. И так ее выходила.

О Р Л И Н О Е Г Н Е З Д О

Однажды стадо драгоценных диких пятнистых оленей, продвигаясь к морю, пришло на узенький мыс. Мы протянули за ними поперек всего мыса проволочную сетку и преградили им путь в тайгу. У оленей для питания много было и травы и кустарника, нам оставалось только охранять дорогих гостей наших от хищников — леопардов, волков и даже от орлов. Однажды я с высоты Туманной горы стал разглядывать скалу внизу. Я скоро заметил, что у самого моря, на высокой скале, покрытой любимой оленями травой, паслась самка оленя и возле нее в тени лежал какой-то желтенький кружок. Разглядывая в хороший бинокль, я скоро уверился, что кружком в тени лежал молоденький олененок. Вдруг там, где прибой швыряет свои белые фонтаны, стараясь как будто попасть ими в недоступные ему темно-зеленые сосны, поднялся большой орел, взвился высоко, выглядел олененка и бросился. Но мать услышала шум падающей громадной птицы, быстро схватилась и встретила: она встала на задние ноги против детеныша и передними копытцами старалась попасть в орла, и он, обозленный неожиданным препятствием, стал наступать, пока одно острое копытце не попало в него. Смятый орел с трудом оправился в воздухе и полетел обратно в сосны, где у него было гнездо.

Мы вскоре после этого разорили гнездо хищника, а красивые скалы называли Орлиным гнездом.

Б А Р С

В нашем питомнике пятнистых оленей на Дальнем Востоке одно время поселился барс и начал их резать. Охотник Лувен сказал:

— Олень-цветок и барс — это нельзя вместе!

И мы начали ежедневно искать встречи с барсом, чтобы застрелить его. Однажды на верху Туманной горы барс скрылся от меня под камнем. Я сделал далекий обход по хребту, узнал замеченный камень, очень осторожно подкрался, но страшного барса под этим камнем уже не было.

Я обошел еще все это место кругом и сел отдохнуть. На досуге стал я разглядывать одну запыленную плиту горного сланца и ясно увидел на пыли отпечаток мягкой лапы красивого зверя.

Много раз я ставил свой глаз по разным направлениям, и сомнений у меня не оставалось никаких: барс проходил по этой плите. Конечно, мне хорошо было известно, что тигры и барсы ходят часто по хребтам и высматривают оттуда свою добычу. И в этом следу не было ничего особенного.

Посмотрел я на след и пошел дальше.

Через некоторое время, поискав еще барса, я случайно пришел на то же самое место, опять сел возле той же самой плиты и опять стал разглядывать след. И вдруг я заметил рядом с отпечатком барсовой лапы другой, еще более отчетливый. Мало того: на этом следу, приглядываясь против солнца, я увидел — торчали две иголки, и я узнал в них шерстки от барсовой лапы. Солнце за время моего обхода, конечно, стало немного под другим углом посылать свои лучи на плиту, и я мог тогда, в первый раз, легко пропустить второй след барса, но шерстинок я не мог пропустить. Значит, шерсть явилась во время моего второго обхода. Это было согласно с тем, что приходилось слышать о повадках тигра и барса; это их постоянный прием — заходить в спину преследующего их человека.

Теперь нечего было терять время. Быстро я спустился к Лувену, рассказал ему все, и мы с ним вместе пришли на хребет, где барс крался за мной. Там обошли мы с ним вместе, разглядывая каждый камень, еще раз дважды мной пройденный круг.

Против плиты, чтобы скрыть свой след, при помощи длинной палки я прыгнул вниз, еще раз прыгнул, до первого кустика, и там притаился и утвердил хорошо на камнях дуло своей винтовки и локти. Лувен продолжал свой путь по тому же самому кругу...

Не много пришлось мне ждать. На голубом фоне неба я увидел черный облик ползущего зверя. Громадная кошка ползла за Лувеном, не подозревая, что я на нее смотрю через прорезь винтовки. Лувен, конечно, если бы даже и глядел назад, ничего бы не мог заметить, разве только глаза.

Когда барс подполз к плите, встал на нее, приподнялся, чтобы поверх большого камня посмотреть на Лувена, я приготовился. Казалось, барс, увидев одного человека, вместо двух, растерялся, как бы спрашивая окрестности: «Где же другой?» И когда, все кругом расспросив, он подозрительно посмотрел на мой куст, я нажал спуск.

Какой прекрасный ковер мы добыли! Зверь этот ведь у нас на Дальнем Востоке совсем неверно называется почему-то барсом и даже мало похож на кавказского барса: этот зверь есть леопард, ближайший родственник тигра, и шкура его необыкновенно красива.

— Хорошо, хорошо! — радостно говорил Лувен, оглаживая роскошный ковер. — Олень-цветок и барс — это вместе нельзя жить.

БЕЛЫЙ ОЖЕРЁЛОК

Слышал я в Сибири, около озера Байкал, от одного гражданина про медведя и, признаюсь, не поверил. Но он меня уверял, что об этом случае в старое время даже в сибирском журнале было напечатано под заглавием: «Человек с медведем против волков».

Жил на берегу Байкала один сторож, рыбу ловил, белок стрелял. И вот раз будто бы видит в окошко этот сторож — бежит прямо к избе большой медведь, а за ним гонится стая волков. Вот-вот бы и конец медведю... Он, мишка этот, не будь плох, в сени, дверь за ним сама закрылась, а он еще на нее лапу и сам привалился. Старик, поняв это дело, снял винтовку со стены и говорит:

— Миша, Миша, поддержи!

Волки лезут на дверь, а старик выцеливает волка в окно и повторяет:

— Миша, Миша, поддержи!

Так убил одного волка, и другого, и третьего, все время приговаривая:

— Миша, Миша, поддержи...

После третьего стая разбежалась, а медведь остался в избе зимовать под охраной старика. Весной же, когда медведи выходят из своих берлог, старик будто бы надел на этого медведя белый ожерёлок и всем охотникам наказал, чтобы медведя этого — с белым ожерёлком — никто не стрелял: этот медведь — его друг.

РАЗГОВОР ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ

РАЗГОВОР ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ

Занятна охота на лисиц с флагами! Обойдут лисицу, узнают ее лёжку и по кустам на версту, на две вокруг спящей развешат веревки с кумачовыми флагами. Лисица очень боится цветных флагов и запаха кумача; спугнутая, ищет выхода из страшного круга. Выход ей оставляют, и около этого места под прикрытием елочки ждет ее охотник.

Такая охота с флагами много добычливей, чем с гончими собаками. А эта зима была такая снежная, с таким рыхлым снегом, что собака тонула вся по уши, и гонять лисиц с собакой стало невозможно. Однажды, измучив себя и собаку, я сказал егерю Михал Михалычу:

— Бросим собак, заведем флаги — ведь с флагами можно каждую лисицу убить.

— Как это — каждую? — спросил Михал Михалыч.

— Так, просто, — ответил я. — После пороши возьмем свежий след, обойдем, затащим круг флагами, и лисица наша.

— Это было в прежнее время, — сказал егерь. — Бывало, лисица трое суток сидит, не смеет выйти за флаги. Что лисица — волки сидели по двое суток! Теперь звери стали умнее, часто с гону прямо под флаги, и прощай.

— Я понимаю, — ответил я, — что звери матерые, не раз уже бывшие в переделке, поумнели и уходят под флаги, но ведь таких сравнительно немного; большинство, особенно молодежь, флагов и не видывали.

— Не видывали! Им и видеть не нужно. У них есть разговор.

— Какой такой разговор?

— Обыкновенный разговор. Бывает, ставишь капкан, зверь старый, умный побывает возле, не понравится ему и отойдет. А другие потом и далеко не подойдут. Ну вот, скажи, как же они узнают?

— А как ты думаешь?

— Я думаю, — ответил Михал Михалыч, — звери читают.

— Читают?

— Ну да, носом читают. Это можно и по собакам заметить.

Известно, как они везде — на столбиках, на кучках, на кустиках — оставляют свои заметки, другие потом идут и все разбирают. Так лисица, волк постоянно читают; у нас глаза, у них нос. Второе у зверей и птиц, я считаю, голос. Летит ворон и кричит: нам хоть бы что, а лисичка наострила ушки в кустах, спешит в поле. Ворон летит и кричит наверху, а внизу по крику ворона во весь дух мчится лисица. Ворон спускается на пададь, и лисица уж тут как тут. Да что лисица! А разве не случалось тебе о чем-нибудь догадываться по сорочьему крику?

Мне, конечно, как всякому охотнику, приходилось пользоваться чекотанием сороки, но Михал Михалыч рассказал особенный случай. Раз у него на заячьем гону скололись собаки. Заяц вдруг будто провалился сквозь землю. Тогда совсем в другой стороне зачекотала сорока. Егерь, крадучись, идет к сороке, чтобы она его не заметила. А это было зимой, когда все зайцы уже побелели; только снег весь растаял, и белые на земле стали далеко заметны. Егерь глянул под дерево, на котором чекотала сорока, и видит: белый просто лежит на зеленом мошку, и глазенки, черные, как две бобины, глядят...

Сорока выдала зайца, но она и человека выдает зайцу и всякому зверю, только бы кого ей первого заметить.

— А знаешь, — сказал Михал Михалыч, — есть маленькая желтая болотная овсянка. Когда выходишь в болото за утками, начинаешь тихонечко скрадывать¹. Вдруг, откуда ни возьмись, эта самая желтая птичка садится на тростинку впереди тебя, качается на ней и попискивает. Идешь дальше, и она перелетает на другую тростинку и все пищит и пищит. Это она дает знать всему болотному населению; глядишь, там утки догадались о приближении охотника и улетели, а там журавли замахали крыльями, там стали вырываться бекасы. И все это она, все она. Так по-разному сказывают птицы, а звери больше читают следы.

ЛУГОВКА

(Рассказ старого лесника)

Летят по весне журавли.

Мы плуги налаживаем. В нашем краю старинная примета: в двенадцатый день после журавлей начинается пахота под яровое.

Пробежали вешние воды. Выезжаю пахать.

Наше поле лежит в виду озера. Видят меня белые чайки, слстаются. Грачи, галки — все собираются на мою борозду клевать червя. Спокойно так идут за мной во всю полосу белые

¹ С к р а д ы в а т ь (охотничье слово) — подкрадываться.

и черные птицы, только чибис один, по-нашему, деревенскому, луговка, вот вьется надо мной, вот кричит, беспокоится. Самки у луговых очень рано садятся на яйца. «Где-нибудь у них тут гнездо», — подумал я.

— Чьи вы, чьи вы? — кричит чибис.

— Я-то, — отвечаю, — свойский, а ты чей? Где гулял? Что нашел в теплых краях?

Так я разговариваю, а лошадь вдруг покосилась и — в сторону: плуг вышел из борозды. Поглядел я туда, куда покосилась лошадь, и вижу — сидит луговка прямо на ходу у лошади. Я тронул коня, луговка слетела, и показалось на земле четыре яйца. Вот ведь как у них: невитые гнезда, чуть только поцарапано, и прямо на земле лежат яйца, — чисто как на столе.

Жалко стало мне губить гнездо: безобидная птица. Поднял я плуг, обнес и яйца не тронул.

Дома рассказываю детишкам: так и так, что пашу я, лошадь покосилась, вижу — гнездо и четыре яйца.

Жена говорит:

— Вот бы поглядеть!

— погоди, — отвечаю, — будем овес сеять, и поглядишь.

Вскоре после того вышел я сеять овес, жена боронит. Когда я дошел до гнезда, остановился. Маню жену рукой. Она лошадь окоротила, подходит.

— Ну вот, — говорю, — любопытная, смотри.

Материнское сердце известное: подивилась, пожалела, что яйца лежат беззащитно, и лошадь с бороной обвела.

Так посеял я овес на этой полосе и половину оставил под картошку. Пришло время сажать. Глядим мы с женой на то место, где было гнездо, — нет ничего: значит, вывела.

С нами в поле картошку сажать увязался Кадошка. Вот эта собачонка бегаёт за канавой по лугу, мы не глядим на нее: жена садит, я запахиваю. Вдруг слышим — во все горло кричат чибисы. Глянули туда, а Кадошка, баловник, гонит по лугу четырех чибисёнков — серенькие, длинноногие и уже с хохолками, и всё как следует, только летать не могут и бегут от Кадошки на своих на двоих. Жена узнала и кричит мне:

— Да ведь это наши!

Я кричу на Кадошку; он и не слушает — гонит и гонит.

Прибегают эти чибисы к воде. Дальше бежать некуда. «Ну, — думаю, — схватит их Кадошка!» А чибисы — по воде, и не плывут, а бегут. Вот диво-то! Чик-чик-чик ножками — и на той стороне.

То ли вода еще была холодная, то ли Кадошка еще молод и глуп, только остановился он у воды и не может дальше. Пока он думал, мы с женой подоспели и отозвали Кадошку.

Г А Е Ч К И

Мне попала соринка в глаз. Пока я ее вынимал, в другой глаз еще попала соринка.

Тогда я заметил, что ветер несет на меня опилки и они тут же ложатся дорожкой в направлении ветра. Значит, в той стороне, откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.

Я пошел на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с черными полосками на белых пухленьких щечках, — работали носами по сухому дереву и добывали себе насекомых в гнилой древесине. Работа шла так бойко, что птички на моих глазах все глубже и глубже уходили в дерево. Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока наконец от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. Тогда я тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит хвостик, покрыл ладонью. Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто умерла. Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит, как убитая. А другая гаечка сидела на ветке в двух-трех шагах и попискивала. Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как можно смирнее. «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать; он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».

Я не стал мучить птичку, отошел в сторону и наблюдал, что будет дальше. Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная гайка видела меня и предупреждала пленную:

— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит...

Так я очень долго стоял, пока наконец свободная гайка не пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:

— Вылезай, ничего не поделаешь: стоит.

Хвост исчез. Показалась головка с черной полоской на щеке. Пискнула:

— Где же он?

— Вон стоит, — пискнула другая. — Видишь?

— А, вижу! — пискнула пленница.

И выпорхнула. Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть друг другу:

— Давай посмотрим, может быть, он и ушел.

Сели на верхнюю ветку. Всмотрелись.

— Стоит, — сказала одна.

— Стоит, — сказала другая.

И улетели.

ДЕРГАЧ И ПЕРЕПЕЛКА

В середине лета и соловей и кукушка перестают петь, но почему-то еще долго, пока не скосят траву и рожь, кричат дергач и перепелка. В это время, когда все смолкает в природе от больших забот по выращиванию малышей, выйдите за город после вечерней зари, и вы непременно услышите, как дергач кричит, вроде как бы телушку зовет изо всей мочи:

— Тпрусь, тпрусь!

И вслед за тем перепелка очень торопливо и отрывисто, похоже на слова:

— Вот идет! Вот ведет!

Раз я спросил бабушку, как это она понимает, почему дергач кричит «тпрусь», а перепелка — «вот идет, вот ведет». Старушка рассказала про это сказочку:

— Дергач сватался весной к перепелке и обещался ей телушку привезть. Наговорил ей, как они хорошо будут жить с коровушкой, молочко попивать и сметанку лизать. Обрадовалась перепелка и согласилась радостно жить с дергачом, обласкала его, угостила всеми своими зернышками. А дергачу только этого и надо было, чтобы посмеяться над перепелкой. Ну какая же, правда, у дергача может быть корова? Одно слово — дергач, голоногий насмешник. Вот, когда смеркается и перепелке ничего не видно на лугу, дергач сядет под кустик и зовет нарочно корову:

— Тпрусь, тпрусь!

А перепелка дождалась — рада; думает, дергач и вправду корову ведет. Хозяйственная она, перепелка, — радость радостью, а забота само собой одолевает: нет у нее хлева, куда девать ей корову?

— Тпрусь, тпрусь! — кричит дергач.

А перепелка беспокоится:

— Вот идет!

— Вот ведет!

— Хлева нет!

— Негде деть!

Так всю ночь дразнит и беспокоит дергач перепелку, от вечерней зари до утренней...

ХЛОПУНКИ

Растут, растут зеленые дудочки; идут, идут с болот сюда тяжелые кряквы, переваливаясь, а за ними, посвистывая, — черные утята с желтыми лапками между кочками за маткой, как между горами.

Мы плывем на лодке по озеру в тростники проверить, много ли будет в этом году уток и как они, молодые, растут: какие они

теперь — летают, или пока еще только ныряют, или удирают бегом по воде, хлопая короткими крыльями. Эти хлопунки — очень занятная публика. Направо от нас, в тростниках, зеленая стена и налево зеленая, мы же едем по свободной от водяных растений узкой полосе. Впереди нас на воду из тростников выплывают два самых маленьких чирёнка-свистунка в черном пуху и, завидев нас, начинают во всю мочь удирать. Но, сильно упираясь в дно веслом, мы дали нашей лодке очень быстрый ход и стали их настигать. Я уже протянул было руку, чтобы схватить одного, но вдруг оба чирёнка скрылись под водой. Мы долго ждали, пока они вынырнут, как вдруг заметили их в тростниках. Они затаились там, высунув носики между тростниками. Мать их — чирок-свистунок — все время летала вокруг нас и очень тихо, вроде как бывает, когда утка, решаясь спуститься на воду, в самый последний момент перед соприкосновением с водой как бы стоит в воздухе на лапках.

После этого случая с маленькими чирятами впереди, на ближайшем плёсе, показался кряковый утенок, совсем большой, почти с матку. Мы были уверены, что такой большой может отлично летать, стукнули веслом, чтобы он полетел. Но, верно, он еще летать не пробовал и пустился от нас хлопунком. Мы тоже пустились за ним и стали быстро настигать. Его положение было много хуже, чем тех маленьких, потому что место было тут до того мелкое, что нырнуть ему некуда. Несколько раз в последнем отчаянии он пробовал клюнуть носом в воду, но там ему показывалась земля, и он только время терял.

В одну из таких попыток наша лодочка поравнялась с ним, я протянул руку... В эту минуту последней опасности утенок собрался с силами и вдруг полетел. Но это был его первый полет, он еще не умел управлять. Он летел совершенно так же, как мы, научившись садиться на велосипед, пускаем его движением ног, а рулем повернуть еще боимся, и потому первая поездка бывает все прямо, прямо, пока не наткнемся на что-нибудь, и — бух набок. Так и утенок летел все прямо, а впереди него была стена тростников. Он не умел еще взмыть над тростниками, зацепился лапками и чебурахнулся вниз.

Точно так было со мной, когда я прыгал, прыгал на велосипед, падал, падал и вдруг сел и с большой быстротой помчался прямо на корову...

ВЫСКОЧКА

Наша охотничья собака, лайка, приехала к нам с берегов Бии, и в честь этой сибирской реки так и называли мы ее Бией. Но скоро эта Бия почему-то у нас превратилась в Бьюшку, Бьюшку все стали звать Вьюшкой. Мы с ней мало охотились, но она прекрасно

служила у нас сторожем. Уйдешь на охоту и будь уверен: Вьюшка не пустит врага.

Веселая собачка эта Вьюшка, всем нравится: ушки как рожки, хвостик колечком, зубки беленькие, как чеснок. Достались ей от обеда две косточки. Получая подарок, Вьюшка развернула колечко своего хвоста и опустила его вниз поленом. Это у нее означало тревогу и начало бдительности, необходимой для защиты, — известно, что в природе на кости есть много охотников. С опущенным хвостом Вьюшка вышла на траву-мураву и занялась одной косточкой, другую же положила рядом с собой.

Тогда, откуда ни возмись, сороки: скок, скок! — и к самому носу собаки. Когда же Вьюшка повернула голову к одной — хватить! — другая сорока с другой стороны хватить! — и унесла косточку.

Дело было поздней осенью, и сороки вывода этого лета были совсем взрослые. Держались они тут всем выводком, в семь штук, и от своих родителей постигли все тайны воровства. Очень быстро они оклевали украденную косточку и недолго думая собрались отнять у собаки вторую.

Говорят, что в семье не без урода. То же оказалось и в сорочьей семье. Из семи сорок одна вышла не то чтобы совсем глупенькая, а как-то с заскоком и с пылью в голове. Вот сейчас то же было: все шесть сорок повели правильное наступление, большим полукругом, поглядывая друг на друга, и только одна Вискочка поскакала дуром.

— Тра-та-та-та-та! — застрекотали все сороки.

Это у них значило:

— Скачи назад, скачи, как надо, как всему сорочьему обществу надо!

— Тра-ля-ля-ля-ля! — ответила Вискочка.

Это у нее значило:

— Скачите, как надо, а я — как мне самой хочется.

Так за свой страх и риск Вискочка подскакала к самой Вьюшке в том расчете, что Вьюшка, глупая, бросится на нее, выбросит кость, она же изловчится и кость унесет.

Вьюшка, однако, замысел Вискочки хорошо поняла и не только не бросилась на нее, но, заметив Вискочку косым глазом, освободила кость и поглядела в противоположную сторону, где правильным полукругом, как бы нехотя — скок и подумают — наступали шесть умных сорок.

Вот это мгновение, когда Вьюшка отвернула голову, Вискочка улучила для своего нападения. Она схватила кость и даже успела повернуться в другую сторону, успела ударить по земле крыльями, поднять пыль из-под травы-муравы.

И только бы еще одно мгновение, чтобы подняться на воздух, только бы одно мгновеньишко! Вот только-только бы подняться сороке, как Вьюшка схватила ее за хвост, и кость выпала...

Выскачка вырвалась, но весь радужный длинный сорочий хвост остался у Вьюшки в зубах и торчал из пасти ее длинным острым кинжалом.

Видел ли кто-нибудь сороку без хвоста? Трудно даже вообразить, во что превращается эта блестящая пестрая и проворная воровка яиц, если ей оборвать хвост. Бывает, деревенские озорные мальчишки поймают слепня, воткнут ему в зад длинную соломинку и пустят эту крупную сильную муху лететь с таким длинным хвостом, — гадость ужасная! Ну, так вот, это муха с хвостом, а тут — сорока без хвоста; кто удивился мухе с хвостом, еще больше удивится сороке без хвоста. Ничего сорочьего не остается тогда в этой птице, и ни за что в ней не узнаешь не только сороку, а и какую-нибудь птицу: это просто шарик пестрый с головкой.

Бесхвостая Выскачка села на ближайшее дерево, все другие шесть сорок прилетели к ней. И было видно по всему сорочьему стрекотанью, по всей суете, что нет в сорочьем быту большего сраму, как лишиться сороке хвоста.

ПТИЦЫ ПОД СНЕГОМ

У рябчика в снегу два спасения: первое — что под снегом тепло ночевать, а второе — снег тащит с собой на землю с деревьев разные семечки на пищу рябчику. Под снегом рябчик ищет семечки, делает там ходы и окошечки вверх для воздуха. Идешь иногда в лесу на лыжах, смотришь — показалась головка и спряталась: это рябчик. Даже и не два, а три спасения рябчику под снегом: и тепло, и пища, и спрятаться можно от ястреба.

Тетерев под снегом не бегаёт, ему бы только спрятаться от непогоды. Ходов больших под снегом, как у рябчика, у тетеревов не бывает, но устройство квартиры тоже аккуратное: назади отхожее место, впереди дырочка над головой для воздуха.

Серая куропатка у нас не любит зарываться в снегу и летает ночевать в деревню на гумна. Перебудет куропатка в деревне ночь с мужиками и утром летит кормиться на то же самое место. Куропатка, по моим приметам, или дикость свою потеряла, или же от природы неумная. Ястреб замечает ее перелеты, и, бывает, она только вылетать собирается, а ястреб уже дожидается ее на дереве.

Тетерев, я считаю, много умнее куропатки. Раз было со мной в лесу. Иду я на лыжах; день красный, хороший мороз. Открывается передо мной большая поляна, на поляне высокие березы, и на березах тетерева кормятся почками. Долго я любовался, но вдруг все тетерева бросились вниз и зарылись в снегу под березами. В тот же миг является ястреб, ударился на то место, где зарылись тетерева, и заходил. Ну, вот прямо же над самыми тете-

равами ходит, а догадаться не может копнуть ногой и схватить. Мне это было очень любопытно. Думаю: «Ежели он ходит, значит, чувствует их под собой, и ум у ястреба велик, а такого нет, чтобы догадаться и копнуть лапой на какой-нибудь вершок-два в снегу».

Ходит и ходит.

Захотелось мне помочь тетеревам, и стал я подкрадываться к ястребу. Снег мягкий, лыжа не шумит; но только начал я объезжать кустами поляну, вдруг провалился в можжуху¹ по самое ухо. Вылезал я из провалища, конечно, уж не без шума и думал: «Ястреб это услышал и улетел». Выбрался и о ястребе уж и не думаю, а когда поляну объехал и выглянул из-за дерева, ястреб прямо передо мной на короткий выстрел ходит у тетеревов над головами. Я выстрелил. Он лег. А тетерева до того напуганы ястребом, что и выстрела не испугались. Подошел я к ним, шарахнул лыжей, и они из-под снега один за другим как начнут, как начнут вылетать; кто никогда не видал, обомрет.

Я много всего в лесу насмотрелся, мне все это просто, но я все-таки дивлюсь на ястреба: такой умнейший, а на этом месте оказался таким дураком. Но всех дурашливей я считаю куропатку. Избаловалась она между людьми на гумнах, нет у нее, как у тетерева, чтобы, завидев ястреба, со всего маху броситься в снег. Куропатка от ястреба только голову спрячет в снег, а хвост весь на виду. Ястреб берет ее за хвост и тащит, как повар на сковороде.

ВАЛЬДШНЕП

Весна движется, но медленно. В озерке, еще не совсем растаявшем, лягушки высунулись и урчат. Орех цветет, но еще не пылят желтой пыльцой его сережки. Птичка на лету зацепит веточку, и не полетит от веточки желтый дымок.

Исчезают последние клочки снега в лесу. Листва из-под снега выходит плотно слежалая, серая.

Неподалеку от себя я разглядел птицу такого же цвета, как эта прошлогодняя листва, с большими черными выразительными глазами и носом длинным, не менее половины карандаша.

Мы сидели неподвижно; когда вальдшнеп уверился, что мы неживые, он встал на ноги, взмахнул своим карандашом и ударил им в горячую прелую листву.

Невозможно было увидеть, что он там достал себе из-под листвы, но только мы заметили, что от этого удара в землю сквозь листву у него на носу остался один круглый осиновый листик.

¹ М о ж ж у х и — кусты можжевельника; когда их снегом завалит, не видишь этих кустов, а снег не выдержит — и провалишься.

Потом прибавился еще и еще. Тогда мы спугнули его; он полетел вдоль опушки, совсем близко от нас, и мы успели сосчитать: на клювике у него было надето семь старых осиновых листиков.

ТЕРЕНТИЙ

Многие думают, что до крайности трудно вырастить у себя тетерева. Раньше у меня тоже ничего не выходило, и пойманные тетеревята хирели. Но теперь я научился и вырастить у себя тетерева считаю для себя делом не очень трудным. Сильно росистым июльским утром я пускаю собаку на то место, где водятся тетеревиные выводки. Мокрый от росы тетеребенок боится взлететь и бежит в траве, а собака за ним потихоньку идет. Так мы доходим до кочки. Тетеребенок спрячется за кочку, собака станет в упор. Раздвинешь осторожно траву, заметишь перышки... Цап! — и в шляпу. У меня таковская шляпа.

В деревне пойманному лесному гражданину прежде всего надо найти подходящую квартиру. Ныне живущий у меня Терентий, о котором я и рассказываю, вырос в подполье у милой хозяйшки нашей, Домны Ивановны. Самое главное, я считаю, на первых порах — надо бояться застудить тетеревенка: они в это время очень зябкие и квёлые. Корм начинают есть без всяких хлопот, только надо, конечно, знать, что дать. Если совсем маленьким взять, то надо кормить муравьиными личинками. Но я таких маленьких тетеревят не брал — незачем это: с собакой я всегда могу поймать в росу и хорошо летающего, окрепшего тетеревенка. В неволе он очень скоро привыкает к голосу. Бывало, кричишь ему:

— Терентий, Терентий! Тереха, Тереха!..

Он и бежит. Голову вытянет и ждет. Червячка ему — он и глотнет, — другого, третьего... Чем надо кормить, знаешь по времени: я приношу с охоты тетерева и смотрю, что у него в зобу. Бывают ягоды можжевельника, брусника, черника, клюква. Зимой к корму, запасенному летом, — клюква, брусника, — прибавляешь немного овса, потом больше, больше и так приучишь к этому обыкновенному корму, и тетерев живет без всяких хлопот.

Потешно было с нынешним моим Терентием, когда я поймал его и принес к Домне Ивановне. Мы на летнее житье издавна уж ездим к этой Домне Ивановне, и я так приучил ее к своему охотничьему языку, к охотничьим своим птицам, что, бывало, когда соседский петух станет забивать ее петуха, она бросается на вражеского петуха с прутом и ругает его:

— У, бекас, длинноносый, страшный!

Пойманного Терентия эта Домна Ивановна устроила в подполье, и в первый день он там все молчал. Рано утром на следую-

щий день, когда только что стало светать, слышно мне было наверху, как он там, в подполье, забегал и стал по-своему свистать:

— Фиу, фиу!

Или по-нашему:

— Где ты, мама?

Сильней и сильней свистит:

— Фиу, фиу! (Да где же ты, наконец?)

Слышу, Домна Ивановна из кухни — как мать отвечает сквозь сон человеческим детям:

— Милый ты мой...

И так пошло у них. Тетеревенок внизу:

— Фиу! (Где ты, мама?)

Домна Ивановна сверху сквозь сон:

— Милый ты мой...

Потом, видимо, тетеревенок нашел нашу ягоду и замолчал. А я отлично умею по-тетеревиному. Я просвистел:

— Фиу, фиу! (Где ты, мама?)

И Домна Ивановна сейчас же ответила:

— Милый ты мой...

Осенью этого Терентия, в полном черном пере, с хвостовыми косицами лирой и красненькими бровями, я перевез к себе в город, пустил на чердак и всю зиму кормил овсом. Весной у меня на чердаке начался настоящий тетеревиный ток, и это так непривычно, так невероятно — в городе токующий тетерев, — что мой сосед, слесарь Павел Иванович, долго верить не хотел и думал, что это я сам, охотник, потешаю себя и бормочу по-тетеревиному.

Однажды я зазвал к себе его, велел снять сапоги. На цыпочках, босые, поднялись мы совершенно бесшумно на чердак.

— Смотрите, Павел Иванович! — прошептал я.

И позволил ему из-за моей спины посмотреть. Сам, конечно, пригнулся. Терентий, хорошо освещенный из слухового окна, ходил по чердаку кругом; на пригнутой к полу его голове горели брови ярко-красным цветком, хвост раскинулся лирой, и по-своему он пел. Эту песню свою он взял у весенней воды, когда она, переливаясь, журчит в камешках, — так хорошо! Время от времени, однако, эта прекрасная, но однообразная песня ему как бы прискучивала. Он останавливался, высоко поднимал вверх свой пурпуровый цветок на голове — прислушивался, воображая врага, и с особенным, лесным звуком «фу-фы» подпрыгивал вверх, как бы поражая невидимого противника.

Слесарь Павел Иванович не мог долго оторваться от этого дивного зрелища, и когда наконец я напомнил ему о работе, мы спустились, и на прощанье он мне сказал:

— Спасибо, спасибо, Михаил Михайлович, очень пришелся мне по сердцу ваш Терентий.

КОТ

Когда я вижу из окна, как пробирается в сад Васька, я кричу ему самым нежным голосом:

— Ва-сень-ка!

И он в ответ, я знаю, тоже мне кричит, но я немного на ухо туг и не слышу, а только вижу, как после моего крика на его белой мордочке открывается розовый рот.

— Ва-сень-ка! — кричу ему.

И догадываюсь, — он кричит мне:

— Сейчас я иду!

И твердым прямым тигровым шагом направляется в дом.

Утром, когда свет из столовой через приоткрытую дверь виднеется еще только бледной щелкой, я знаю, что у самой двери в темноте сидит и дожидается меня кот Васька. Он знает, что столовая без меня пуста, и боится: в другом месте он может продремать мой вход в столовую. Он давно сидит тут и, как только я вношу чайник, с добрым криком бросается ко мне.

Когда я сажусь за чай, он садится мне на левую коленку и следит за всем: как я колю сахар щипчиками, как режу хлеб, как намазываю масло. Мне известно, что соленое масло он не ест, а принимает только маленький кусочек хлеба, если ночью не поймал мышь.

Когда он уверится, что ничего вкусного нет на столе — корочки сыра или кусочка колбасы, то он опускается на моей коленке, потопчется немного и засыпает.

После чая, когда встаю, он просыпается и отправляется на окно. Там он повертывается головой во все стороны, вверх и вниз, считая пролетающих в этот ранний утренний час плотными стаями галок и ворон. Из всего сложного мира жизни большого города он выбирает себе только птиц и устремляется весь целиком только к ним.

Днем — птицы, а ночью — мыши, и так весь мир у него: днем при свете черные узкие щелки его глаз, пересекающие мутный зеленый круг, видят только птиц, ночью открывается весь черный светящийся глаз и видит только мышей.

Сегодня радиаторы теплые, и оттого окно сильно запотело, и коту очень плохо стало галок считать. Так что же выдумал мой кот! Поднялся на задние лапы, передние на стекла и ну протирать, ну протирать! Когда же протер и стало яснее, то опять спокойно уселся, как фарфоровый, и опять, считая галок, принялся головой водить вверх, и вниз, и в стороны.

Днем — птицы, ночью — мыши, и это весь Васькин мир.

В КРАЮ ДЕДУШКИ МАЗАЯ

ДОМ НА КОЛЕСАХ

Устроить себе дом на колесах мне помог один журнал, с которым мы заключили такой договор: я буду писать о своем путешествии, а журнал мне за это поможет устроить дом на колесах. Вскоре после заключения договора мне прислали грузовик «ГАЗ», полутонотонку, и я стал обдумывать, как бы на этом грузовике устроить себе охотничий домик и уехать на нем в путешествие ранней весной и до глубокой осени.

После нескольких совещаний со столярами и плотниками я решил себе устроить нехитрый кузов из двойной фанеры.

Мастера мне скоро сделали такой домик с выдвижными щитами для окон: задвинешь щитки — и в домике делается полная тьма, необходимая мне для фотографических работ. Округлый верх домика мы покрыли еще хорошей клеенкой и весь домик окрасили в защитный зеленый цвет, чтобы можно было в лесах затаиваться и не пугать птиц и зверей.

Когда зеленый домик был готов и краска совершенно просохла, мы установили его на машину, боковинки ящика грузовика плотно прикрепили железными скобами к стенкам домика, и дом на колесах был готов... Но только окнами да крышей это было похоже на дом, остальное — машина, состоящая из двух частей: передней, моторной, и соединенной с ней тонкой переслежинкой огромной грузовой части. А еще больше, чем на машину, мой домик на колесах был похож на какое-то длинное, расчлененное зеленое насекомое.

Управление машиной мне было хорошо известно самому, и брать шофера было незачем. Мы уложили ружья, резиновые лодки, припасы, посадили собак и уехали в край дедушки Мазая. Этот край, описанный поэтом Некрасовым в поэме «Дедушка Мазай и зайцы», находится недалеко от города Костромы, и река там течет наша Волга. Скоро придет в этот край строительство «Большая Волга», и все переменится, и весь край будет залит водой. Но сейчас, когда я приехал в него, все там было точь-в-точь как при Некрасове.

Ранней весной в половодье Волга до того переполняется водой,

что ей уже некуда принимать в себя воду притоков. Напротив, лишняя вода из Волги выливается. Вот тогда все реки, текущие в Волгу, повертывают свою воду назад и текут обратно, и весь низменный край покрывается водой и становится похожим на море.

Когда прибывает вода, то, конечно, она сначала заливает места более низкие, и земля становится похожа на тело, покрытое бесчисленными глазками и жилками. А после, когда много прибудет воды, все превращается в море с бесчисленными островами. Мало-помалу и острова исчезают, и только самые высокие места не заливаются и остаются островами на все время разлива Волги. Вот на эти-то острова, покрытые лесом, со всех сторон сплываются звери: лоси, медведи, волки, лисицы, разные мышки, букашки, всякие зайчики, горностайчики... Тут есть на что посмотреть.

Мы приехали сюда еще по морозу и в ожидании весны поставили свой дом на колесах на самое возвышенное место.

Тут мы устроились лагерем.

Когда было холодно, мы согревали изнутри свой домик двумя керосинками, и спать было очень тепло. Когда же кончились морозы и разлилась вода, в небольшом домике спать можно было и без керосинки. А когда стали одеваться деревья, мы надули две наши резиновые лодки, над ними раскинули палатку и спали в этих лодках, как на самых мягких и удобных кроватях. Когда же стало совсем тепло, всей гнусной силой своей напали на нас комары. Тогда мы опять забрались в наш дом на колесах. Осенью, когда комары стали пропадать, мы опять выбрались в палатку и жили в ней до зимы.

Каждый день я записывал свои наблюдения в природе. Некоторые страницы моего дневника, может, будут вам интересны.

ДЕРЕВЬЯ В ПЛЕНУ

Весна сияла на небе, но лес еще по-зимнему был засыпан снегом. Были ли вы снежной зимой в молодом лесу? Конечно, не были: туда и войти невозможно. Там, где летом вы шли по широкой дорожке, теперь через эту дорожку в ту и другую сторону лежат согнутые деревья, и так низко, что только зайцу под ними и пробежать.

Вот что случилось с деревьями: березка вершинкой своей, как ладонью, забирала падающий снег, и такой от этого вырос ком, что вершинка стала гнуться. В оттепель падал опять снег и прилипал к тому ко́му. Вершина с тем огромным комом все гнулась и наконец погрузилась в снег и примерзла так до самой весны. Под этой аркой всю зиму проходили звери и люди изредка на лыжах.

Но я знаю одно простое волшебное средство, чтобы идти по такой дорожке, самому не сгибая спины. Я выламываю себе хорошую увесистую палочку, и стоит мне только этой палочкой хорошенько стукнуть по склоненному дереву, как снег валится вниз, дерево прыгает вверх и уступает мне дорогу. Медленно так я иду и волшебным ударом освобождаю множество деревьев.

ЖАРКИЙ ЧАС

В полях тает, а в лесу еще снег лежит нетронутый плотными подушками на земле и на ветках деревьев, и деревья стоят в снежном плену. Тонкие стволы пригнулись к земле, примерзли и ждут с часу на час освобождения. Наконец приходит этот жаркий час, самый счастливый для неподвижных деревьев и страшный для зверей и птиц.

Пришел жаркий час, снег незаметно подтаивает, и вот в полной лесной тишине как будто сама собой шевельнется еловая веточка и закачается. А как раз под этой елкой, прикрытый ее широкими ветками, спит заяц. В страхе он встает и прислушивается: веточка не может же сама собой шевельнуться...

Зайцу страшно, а тут на глазах его другая, третья ветка шевельнулась и, освобожденная от снега, подпрыгнула. Заяц метнулся, побежал, опять сел столбиком и слушает: откуда беда, куда ему бежать?

И только стал на задние лапки, только оглянулся, как прыгнет вверх перед самым его носом, как выпрямится, как закачается целая береза, как махнет рядом ветка елки!

И пошло, и пошло: везде прыгают ветки, вырываясь из снежного плена, весь лес кругом шевелится, весь лес пошел.

И мечется обезумевший заяц, и встает всякий зверь, и птица улетает из леса.

СОСУЛЬКА

Наш домик на колесах завалило снегом. Весенний солнечный луч на крыше создал нечто вроде горного ледника, из-под которого, как в настоящем леднике, струилась вода рекой, и от этого ледник отступал. Тоненькая струйка с теплой крыши падает на холодную сосульку, висящую в тени на морозе. От этого вода, коснувшись сосульки, замерзает, и так сосулька этим утром росла сверху в толщину.

Когда солнце, обогнув крышу, заглянуло на сосульку, я тоже из окошка домика на нее взглянул: мороз исчез, и поток из ледника, сбегав по сосулке, стал падать золотыми каплями вниз.

Далеко еще до вечера стало морозить в тени, и хотя еще на крыше ледник все отступал и ручей струился по сосульке, все-таки некоторые капельки в конце сосульки стали примерзать, и чем дальше, тем больше. Сосулька к вечеру стала расти в длину. А на другой день опять солнце, и опять ледник отступает, и сосулька растет утром в толщину, а вечером в длину: каждый день все толще, все длиннее.

МУРАВЬИ

Я устал на охоте за лисицами, и мне захотелось где-нибудь отдохнуть. Но лес был завален глубоким снегом, и сесть было некуда. Случайно взгляд мой упал на дерево, вокруг которого расположился гигантский, засыпанный снегом муравейник. Я взбираюсь вверх, сбрасываю снег, разгребаю сверху этот удивительный муравьиный сбор из хвоинок, сучков, лесных соринки и сажусь в теплую ямку в муравейнике. Муравьи, конечно, об этом ничего не знают: они спят глубоко внизу.

Несколько повыше муравейника, где в этот раз я отдыхал, кто-то содрал с дерева кору, и белая древесина, довольно широкое кольцо, была покрыта густым слоем смолы. Колечко прекращало движение соков, и дерево неминуемо должно было погибнуть. Бывает, такие кольца на деревьях делает дятел, но он не может сделать так чисто.

Скорее всего, подумал я, кому-нибудь нужна была кора, чтобы сделать коробочку для сбора лесных ягод.

Отдохнув хорошо на муравейнике, я ушел и вернулся случайно к нему, когда стало совсем тепло и муравьи проснулись и поднялись наверх.

Я увидел на светлом пораненном смолистом кольце дерева какое-то темное пятно и вынул бинокль, чтобы рассмотреть поближе. Оказалось — это были муравьи: им зачем-то понадобилось пробиться через покрытую смолой древесину вверх.

Нужно долго наблюдать, чтобы понять муравьиное дело; много раз я наблюдал в лесах, что муравьи постоянно бегают по дереву, к которому прислонен муравейник, только я не обращал на это внимания: велика ли штука муравей, чтобы разбираться настойчиво, куда и зачем он бежит или лезет по дереву! Но теперь оказалось, что не отдельным муравьям зачем-то, а всем муравьям необходима была эта свободная дорога вверх по стволу из нижнего этажа дерева, быть может, в самые высокие. Смолистое кольцо было препятствием, и это поставило на ноги весь муравейник.

В сегодняшний день в муравейнике была объявлена всеобщая мобилизация. Весь муравейник вылез вверх, и все государство, в полном составе, тяжелым шевелящимся пластом собралось вокруг осмоленного кольца.

Впереди шли муравьи-разведчики. Они пытались пробиться наверх и по одному застревали и погибали в смоле. Следующий разведчик пользовался трупом своего товарища, чтобы продвинуться вперед. В свою очередь, он делался мостом для следующего разведчика.

Наступление шло широким, развернутым строем, и на наших глазах белое кольцо темнело и покрывалось черным: это передние муравьи самоотверженно бросались в смолу и своими телами устилали путь для других.

Так в какие-нибудь полчаса муравьи зачернили смолистое кольцо и по этому бетону побежали свободно наверх по своим делам. Одна полоса муравьев бежала вверх, другая вниз, туда и сюда. И закипела работа по этому живому мосту, как по коре.

БЕЛИЧЬЯ ПАМЯТЬ

Сегодня, разглядывая на снегу следы зверушек и птиц, вот что я по этим следам прочитал: белка пробилась сквозь снег в мох, достала там с осени спрятанные два ореха, тут же их съела — я скорлупки нашел. Потом отбежала десяток метров, опять нырнула, опять оставила на снегу скорлупу и через несколько метров сделала третью полазку.

Что за чудо? Нельзя же подумать, чтобы она чужла запах ореха через толстый слой снега и льда. Значит, помнила с осени о своих орехах и точное расстояние между ними.

Но самое удивительное — она не могла отмеривать, как мы, сантиметры, а прямо на глаз с точностью определяла, ныряла и доставала. Ну как было не позавидовать беличьей памяти и смекалке!

ЛЯГУШОНОК

В полднях от горячих лучей солнца стал плавиться снег. Пройдет два дня, много три, и весна загудит. В полднях солнце так распаривает, что весь снег вокруг нашего домика на колесах покрывается какой-то черной пылью. Мы думали, где-то угли жгут. Приблизил я ладонь к этому грязному снегу, и вдруг — вот те угли! — на сером снегу стало белое пятно: это мельчайшие жучки-прыгунки разлетелись в разные стороны.

В полдневных лучах на какой-нибудь час или два оживают на снегу разные жучки, паучки, блошки, даже комарики перелетают. Случилось, талая вода проникла в глубь снега и разбудила спящего на земле под снежным одеялом маленького розового лягушонка. Он выполз из-под снега наверх, решил по глупости,

что началась настоящая весна, и отправился путешествовать. Известно, куда путешествуют лягушки: к ручейку, к болотцу.

Случилось, в эту ночь как раз хорошо припорошило, и след путешественника легко можно было разобрать. След вначале был прямой, лапка за лапкой, к ближайшему болотцу. Вдруг почему-то след сбивается, дальше больше и больше. Потом лягушонок мечется туда и сюда, вперед и назад, след становится похожим на запутанный клубок ниток.

Что случилось, почему лягушонок вдруг бросил свой прямой путь к болоту и пытался вернуться назад?

Чтобы разгадать, распутать этот клубок, мы идем дальше и вот видим — сам лягушонок, маленький, розовый, лежит, растопырив безжизненные лапки.

Теперь все понятно. Ночью мороз взялся за вожжи и так стал подхлестывать, что лягушонок остановился, сунулся туда, сюда и круто повернул к теплой дырочке, из которой почуял весну.

В этот день мороз еще крепче натянул свои вожжи, но ведь в нас самих было тепло, и мы стали помогать весне. Мы долго грели лягушонка своим горячим дыханием — он все не оживал. Но мы догадались: налили теплой воды в кастрюльку и опустили туда розовое тельце с растопыренными лапками.

Крепче, крепче натягивай, мороз, свои вожжи — с нашей весной ты теперь больше не справишься. Не больше часа прошло, как наш лягушонок снова почуял своим тельцем весну и шевельнул лапками. Вскоре и весь он ожил.

Когда грянул гром и всюду зашевелились лягушки, мы выпустили нашего путешественника в то самое болотце, куда он хотел попасть раньше времени, и сказали ему в напутствие:

— Живи, лягушонок, только, не зная броду, не суйся в воду.

ОСТРОВ СПАСЕНИЯ

Недолго пришлось нам дожидаться разлива. В одну ночь после сильного, очень теплого дождя воды прибавилось сразу на метр, и отчего-то невидимый ранее город Кострома с белыми зданиями показался так отчетливо, будто раньше он был под водой и только теперь из-под нее вышел на свет. Тоже и горный берег Волги, раньше терявшийся в снежной белизне, теперь возвышался над водой, желтый от глины и песка. Несколько деревень на холмиках были кругом обойдены водой и торчали, как муравейники.

На великом разливе Волги там и тут виднелись копеечки незаливной земли, иногда голые, иногда с кустарником, иногда с высокими деревьями. Почти ко всем этим копеечкам жались утки разных пород, и на одной косе длинным рядом, один к одному, гляделись в воду гуси-гуменники. Там, где земля была совсем

затоплена и от бывшего леса торчали только вершинки, как частая шерсть, всюду эти шерстинки покрывались разными зверьками. Зверьки иногда сидели на ветках так густо, что обыкновенная какая-нибудь веточка ивы становилась похожа на гроздь черного крупного винограда.

Водяная крыса плыла к нам, наверно, очень издалека и, усталая, прислонилась к ольховой веточке. Легкое волнение воды пыталось оторвать крысу от ее пристани. Тогда она поднялась немного по стволу, села на развилочку.

Тут она прочно устроилась: вода не доставала ее. Только изредка большая волна, «девятый вал», касалась ее хвоста, и от этих прикосновений в воде рождались и уплывали кружочки.

А на довольно-таки большом дереве, стоящем, наверно, под водой на высоком пригорке, сидела жадная, голодная ворона и выискивала себе добычу. Невозможно бы ей было углядеть в развилочке водяную крысу, но на волне от соприкосновения с хвостом плыли кружочки, и вот эти-то кружочки и выдали вороне местопребывание крысы. Тут началась война не на живот, а на смерть.

Несколько раз от ударов клюва вороны крыса падала в воду, и опять взбиралась на свою развилочку, и опять падала. И вот совсем было уже удалось вороне схватить свою жертву, но крыса не желала стать жертвой вороны.

Собрав последние силы, так ущипнула ворону, что из нее пух полетел, и так сильно, будто ее дробью хватили. Ворона даже чуть не упала в воду и только с трудом справилась, ошалелая села на свое дерево и стала усердно оправлять свои перья, по-своему зализывать раны. Время от времени, от боли своей, вспоминая о крысе, она оглядывалась на нее с таким видом, словно сама себя спрашивала: «Что это за крыса такая? Будто так никогда со мной и не бывало!»

Между тем водяная крыса после счастливого своего удара вовсе даже и забыла думать о вороне. Она стала настраивать бисерок своих глазок на желанный наш берег.

Срезав себе веточку, она взяла ее передними лапками, как руками, и зубами стала грызть, а руками повертывать. Так она обглодала дочи́ста всю веточку и бросила ее в воду. Новую же срезанную веточку она не стала глотать, а прямо с ней спустилась вниз и поплыла и потащила веточку на буксире. Все это видела, конечно, хищная ворона и провожала храбрую крысу до самого нашего берега.

Однажды мы сидели у берега и наблюдали, как из воды выходили землеройки, полёвки, водяные крысы, и норки, и заюшки, и горностаюшки, и белки тоже сразу большой массой приплыли и все до одной держали хвостики вверх.

Каждую зверушку мы, как хозяева острова, встречали, принимали с родственным вниманием и, поглядев, пропускали бежать

в то место, где полагается жить ее породе. Но напрасно мы думали, что знаем всех наших гостей. Новое знакомство началось словами Зиночки.

— Поглядите, — сказала она, — что же это делается с нашими утками!

Эти наши утки выведены от диких, и мы возили их для охоты: утки кричат и подманивают диких селезней на выстрел.

Глянули на этих уток и видим, что они отчего-то стали много темнее и, главное, много толще.

— Отчего это? — стали мы гадать, додумываться.

И пошли за ответом на загадку к самим уткам. Тогда оказалось, что для бесчисленного множества плывущих по воде в поисках спасения паучков, букашек и всяких насекомых наши утки были двумя островами, желанной сушей.

Они взбирались на плавающих уток в полной уверенности, что наконец-то достигли надежного пристанища и опасное странствование их по водам кончено. И так их было много, что утки наши толстели и толстели заметно у нас на глазах.

Так наш берег стал островом спасения для всех зверей — больших и маленьких.

Т Р Я С О Г У З К А

Каждый день мы ждали любимую нашу вестницу весны — трясогузку, и вот наконец и она прилетела и села на дуб и долго сидела, и я понял, что это наша трясогузка, что тут она где-нибудь и жить будет. Я теперь легко узнаю, наша это птичка, будет ли она тут с нами вблизи где-нибудь жить все лето или полетит дальше, а тут села она лишь отдохнуть.

Вот скворец наш, когда прилетел, то нырнул прямо в свое дупло и запел, трясогузка же наша с прилету прибежала к нам под машину. Молодая наша собачка Сват стала прилаживаться, как бы ее обмануть и схватить.

С передним черным галстучком, в светло-сером, отлично натянутом платице, живая, насмешливая, она проходила под самым носом Свата, делая вид, будто вовсе не замечает его. Вот он бросается на изящную птичку со всей своей собачьей страстью, но она отлично знает собачью природу и приготовлена к нападению. Она отлетает всего на несколько шагов.

Тогда он, вцепиваясь в нее, опять замирает. А трясогузка глядит прямо на него, раскачивается на своих тоненьких пружинистых ножках и только что не смеется вслух, только что не выговаривает:

«Да ты мне, милый, не сват, не брат».

И наступает иногда на Свата прямо рысцой.

Спокойная пожилая Лада, неподвижная, замирала, как на стойке, и наблюдала игру; она не делала ни малейшей попытки вмешиваться. Игра продолжалась и час и больше. Лада следила спокойно, как и мы, за противниками. Когда птичка начинала наступать, Лада переводила свой зоркий глаз на Свата, стараясь понять, поймает он или же птичка опять покажет ему свой длинный хвост.

Еще забавнее было глядеть на птичку эту, всегда веселую, всегда дельную, когда снег с песчаного яра над рекой стал сползать. Трясогузка зачем-то бегала по песку возле самой воды. Пробежит и напишет на песке строчку своими тонкими лапками. Бежит назад, а строчка, глядишь, уже под водой. Тогда пишется новая строчка, и так почти непрерывно весь день: вода прибывает и хоронит написанное. Трудно узнать, каких жучков-паучков вылавливала наша трясогузка.

Когда вода стала убывать, песчаный берег снова открылся, на нем была целая рукопись, написанная лапкой трясогузки, но строчки были разной ширины, и вот почему: вода прибывала медленно — и строчки были чаще, вода быстрее — и строчки шире.

Так по этой записи трясогузкиной лапки на мокром песке крутого берега можно было понять, была ли эта весна дружная или движение воды ослаблялось морозами.

Очень мне хотелось снять аппаратом птичку-писателя за ее работой, но не удалось. Неустанно она работает и в то же время наблюдает меня скрытым глазом. Увидит — и пересаживается подальше без всякого перерыва в работе. Не удавалось мне снять ее и в сухих дровах, сложенных на берегу, где она хотела устроить себе гнездышко. Вот однажды, когда мы за ней охотились безуспешно с фотоаппаратом, пришел один старичок, засмеялся, глядя на нас, и говорит:

— Эх вы, мальчики, птичку не понимаете!

И велел нам скрыться, присесть за нашим штабелем дров. Не прошло десяти секунд, как любопытная трясогузка прибежала узнать, куда мы делись. Она сидела сверху над нами в двух шагах и трясла своим хвостиком в величайшем изумлении.

— Любопытная она, — сказал старичок, и в этом была вся разгадка.

Мы проделали то же самое несколько раз, приладили, спугнули, присели, навели аппарат на одну веточку, выступающую из поленницы, и не ошиблись: птичка проскакала вдоль всей поленницы и села как раз на эту веточку, а мы ее сняли.

ГОСТИ

Сегодня с утра стали собираться к нам гости. Первая прибежала трясогузка, просто так, чтобы только на нас посмотреть. Прилетел к нам в гости журавль и сел на той стороне речки, в желтом болоте, среди кочек, и стал там разгуливать.

Еще скопа прилетела, рыбный хищник, нос крючком, глаза зоркие, светло-желтые, высматривала себе добычу сверху, останавливалась в воздухе для этого и пряла крыльями. Коршун с круглой выемкой на хвосте прилетел и парил высоко.

Прилетел болотный лунь, большой любитель птичьих яиц. Тогда все трясогузки помчались за ним, как комары. К трясогузкам вскоре присоединились вороны и множество птиц, стерегущих свои гнезда, где выводились птенцы. У громадного хищника был жалкий вид: этакая махина — и улепetyвает от птичек во все лопатки.

Неустанно куковала в бору кукушка.

Цапля вымахнула из сухих старых тростников.

Болотная овсянка пикала и раскачивалась на одной тоненькой тростинке.

Землеройка пискнула в старой листве.

И когда стало еще теплее, то листья черемухи, как птички с зелеными крылышками, тоже, как гости, прилетели и сели на голые веточки.

Ранняя ива распушилась, и к ней прилетела пчела, и шмель загудел, и первая бабочка сложила крылышки.

Гусь запускал свою длинную шею в заводь, доставал себе воду клювом, поплескивал водой на себя, почесывал что-то под каждым пером, шевелил подвижным, как на пружине, хвостом. А когда все вымыл, все вычистил, то поднял вверх к солнцу высоко свой серебряный, мокро сверкающий клюв и загоготал.

Гадюка просыхала на камне, свернувшись в колечко.

Лисица лохматая озабоченно мелькнула в тростниках.

И когда мы сняли палатку, в которой у нас была кухня, то на место палатки прилетели овсянки и стали что-то клевать. И это были сегодня наши последние гости.

ЛОСИ

Как-то вечером к нашему костру пришел дед из ближайшей деревни и стал нам рассказывать о лосях разные охотничьи истории.

— Да какие они, лоси-то? — спросил кто-то из нас.

— Хорошенькие, — ответил дед.

— Ну, какие же они хорошенькие! — сказал я. — Огромные,

а ножки тонкие, голова носатая, рога — как лопаты. Скорее — безобразные.

— Очень хорошенькие, — настаивает дед. — Раз было, по убылой воде, вижу, лосиха плывет с двумя лосятками. А я за кустом. Хотел было бить в нее из ружья, да подумал: деться ей некуда, пусть выходит на берег. Ну вот, она плывет, а дети за ней не успевают, а возле берега мелко: она идет по грязи, а они тонут, отстали. Мне стало забавно. Возьму-ка, думаю, покажусь ей: что, убежит она или не кинет детей?

— Да ведь ты же убить ее хотел?

— Вот вспомнил! — удивился дед. — Я в то время забыл, все забыл, только одно помню: убежит она от детей или то же и у них, как у нас. Ну, как вы думаете?

— Думаю, — сказал я, вспоминая разные случаи, — она убежит к лесу и оттуда, из-за деревьев или с холма, будет наблюдать или дожидаться.

— Нет, — перебил меня дед. — Оказалось, у них, как и у нас. Мать так яро на меня поглядела, а я на нее острогой махнул. Думал — убежит, а лосенков я себе захвачу. А ей хоть бы что — и прямо на меня идет и яро глядит. Лосята еще вытаскивают ножонки из грязи. И что же вы подумаете? Что они делать стали, когда вышли на берег?

— Мать сосать?

— Нет, как вышли на берег — прямо играть. Шагов я на пять подъехал к ним на ботничке, и гляжу, и гляжу — чисто дети. Один был особенно хорош. Долго играли, а когда наигрались, то к матке, и она их повела, и пошли они покойно, пошли и пошли...

— И ты их не тронул?

— Так вот и забыл, как все равно мне руки связали. А в руке острога. Стоило бы только двинуть рукой...

— Студень-то какой! — сказал я.

Дед с уважением поглядел на меня и ответил:

— Студень из лосенков правда хорош. Только уж такие они хорошенькие... Забыл и про студень!

РАЗГОВОР ДЕРЕВЬЕВ

Почки раскрываются, шоколадные, с зелеными хвостиками, и на каждом зеленом клювике висит большая прозрачная капля.

Возьмешь одну почку, разотрешь между пальцами, и потом долго все пахнет тебе ароматной смолой березы, тополя или черемухи.

Понюхаешь черемуховую почку и сразу вспомнишь, как, бывало, забирался наверх по дереву за ягодами, блестящими,



чернолаковыми. Ел их горстями прямо с косточками, но ничего от этого, кроме хорошего, не бывало.

Вечер теплый, и такая тишина, словно должно что-то в такой тишине случиться. И вот начинают шептаться между собой деревья: береза белая с другой березой белой издали перекликаются; осинка молодая вышла на поляну, как зеленая свечка, и зовст к себе такую же зеленую свечку-осинку, помахивая веточкой; черемуха черемухе подает ветку с раскрытыми почками.

Если с нами сравнить — мы звуками перекликаемся, а у них — аромат.

ЗАПОЗДАЛЫЙ РУЧЕЙ

В лесу тепло. Зеленеет трава: такая яркая среди серых кустов! Какие тропинки! Какая задумчивость, тишина!

Кукушка начала первого мая и теперь осмелела. Бормочет тетерев и на вечерней заре.

Звезды, как вербочки, распухают в прозрачных облаках. В темноте белеют березки. Растут сморчки. Осины выбросили червячки свои серые.

Весенний ручей запоздал, не успел совсем сбежать и теперь струится по зеленой траве, и в ручей капает сок из поломанной ветки березы.

БЕРЕЗОВЫЙ СОК

Вот теперь больше не нужно резать березку, чтобы узнать, началось ли движение сока. Лягушки прыгают — значит, и сок есть в березе. Тонет нога в земле, как в снегу, — есть сок в березе. Зяблики поют, жаворонки и все певчие дрозды и скворцы, — есть сок в березе.

Мысли мои старые все разбежались, как лед на реке, — есть сок в березе.

ПЕРВЫЙ ЦВЕТOK

Думал, случайный ветерок шевельнул старым листом, а это вылетела первая бабочка. Думал, в глазах это порябило, а это показался первый цветок.

КАК РАСПУСКАЮТСЯ РАЗНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Листики липы выходят сморщенные и висят, а над ними розовыми рожками торчат заключавшие их створки почек.

Дуб сурово разворачивается, утверждая свой лист, пусть маленький, но и в самом младенчестве своем какой-то дубовый.

Осинка начинается не в зеленой краске, а в коричневой, в самом младенчестве своем монетками, и качается.

Клен распускается желтый, ладонки листа, сжатые смущенно и крупно, висят подарками.

Сосны открывают будущее тесно сжатыми смолисто-желтыми пальчиками. Когда пальчики разожмутся и вытянутся вверх, то станут совершенно как свечи.

БЕЛОЛАПКИ

Молодые елочки маленькие дают прирост лапками светло-зелеными, в сравнении с основной темной зеленью ели почти белыми.

На эти лапки у совсем крошечных елок смешно смотреть, так же, как на лапищи маленьких щенят.

До того хорош бобрчик частых еловых самосево́в, что хочется его погладить ладонью.

ЛИПА И ДУБ

Липа и дуб в наших подмосковных лесах часто встречаются вместе, как будто ищут друг друга. Весной липа первая зеленеет и как бы вызывает, чтоб и дуб с нею зеленел. Но долго дуб не поддается, и даже когда начнет сам зеленеть, вокруг становится холодно.

С утра чуть-чуть захмылилось и ветер шалит. Но все обошлось, день загорелся, все вокруг зазеленело, и черный дальний хвойный лес от зелени белых берез поседел.

Орех распускается. Зеленые птички величиной в шляпку обойного гвоздика во множестве, но все-таки редковато расселились по тонким веточкам и остались с распростертыми крылышками.

— Летите, летите! — беспокоит их ветер.

Но листики еще не понимают тревоги, не знают забот: как сели, так и сидят, невинные и удивленные.

Дуб не верит цветам земным и небесным, зеленеющим дорожкам, золотым сережкам ореха и всему, что называется весной.

Еще весной света на белом снегу он оставлял свою голубую тень. Теперь внизу вытаяла его старая листва, и на ней лежала темная тень его корявого скелета. Да, он просто не верил весне!

И много еще совершится чудес в природе, пока зеленая трава и цветы выбьются из-под старой листвы и в цветах ликующей весны старик свою тень похоронит и начнет сам распускаться. Тогда в нашем климате природа труд распускания дуба берет на себя и от этого сама холодеет.

— Что-то холодно! — говорят наши друзья.

И другие им отвечают:

— Это дуб распускается!

ЖИВОЕ ДЕРЕВО

У нас молодые грачи облюбовали одно дерево и стали орать. Прилетели старые с червяками, и когда грачиха садилась, ветка от тяжести опускалась, а когда улетала, ветка поднималась и грачонок качался, как в люльке. И вся эта ель от множества невидимых птиц шевелила своими ветками, вся, как живая.

Молодые сейчас в таком положении, что могли бы вполне летать и сами кормиться, но еще опыта нет. И большие вполне грачи, только носы не белые, а черные, и сидят хорошо укрытые в глубине елки, а родители таскают им весь день пищу.

Самое трудное время родителям!

Мать прилетает, затыкает ему рот червяком, и он не сразу, а давясь, затихает.

ЛАСТОЧКА

Паводок, почти как весной, все лавы снесены давно, и некоторые береговые кусты корзиночной ивы стали островами. На одном таком островке ласточка усадила своих питомцев, чтобы никто не мешал их кормить. И люди вокруг стояли, маленькие и большие.

Маленькие тужили, что никак их не достанешь, а старшие дивились уму ласточки: нашла же место — все видят, а тронуть не могут.

КРАСНЫЕ ШИШКИ

В солнечное летнее утро вхожу я в лес.

— Здравствуйте, знакомые елочки! Как поживаете, что нового?

И они отвечают по-своему, что все благополучно, что за это

время молодые красные шишки дошли до половины настоящей величины.

И это правда, это можно проверить: старые, бурые, пустые, висят рядом с молодыми, красными, на деревьях; можно сосчитать, и выйдет как раз половина.

ЭТАЖИ ЛЕСА

У птиц и зверьков в лесу есть свои этажи: мышки живут в корнях — в самом низу; разные птички, вроде соловья, вьют свои гнездышки прямо на земле; дрозды — еще повыше, на кустарниках; дупляные птицы — дятел, синички, совы — еще повыше; на разной высоте по стволу дерева и на самом верху селятся хищники: ястреба и орлы.

Мне пришлось однажды наблюдать в лесу, что у них, зверушек и птиц, с этажами не как у нас в небоскребах: у нас всегда можно с кем-нибудь перемениться, у них каждая порода живет непременно в своем этаже.

Однажды на охоте мы пришли к полянке с погибшими березами. Это часто бывает, что березы дорастут до какого-то возраста и засохнут.

Другое дерево, засохнув, роняет на землю кору, и оттого непокрытая древесина скоро гниет и все дерево падает, у березы же кора не падает; эта смолистая, белая снаружи кора — береста — бывает непроницаемым футляром для дерева, и умершее дерево долго стоит, как живое.

Даже когда и сгниет дерево и древесина превратится в труху, отяжеленную влагой, с виду белая береза стоит, как живая. Но стоит, однако, хорошенько толкнуть такое дерево, как вдруг оно разломится все на тяжелые куски и падает. Валить такие деревья — занятие очень веселое, но и опасное: куском дерева, если не увернешься, может здорово хватить тебя по голове. Но все-таки мы, охотники, не очень боимся и когда попадаем к таким березам, то друг перед другом начинаем их рушить.

Так пришли мы к полянке с такими березами и обрушили довольно высокую березу. Падая, в воздухе она разломилась на несколько кусков, и в одном из них было дупло с гнездом гаечки. Маленькие птенчики при падении дерева не пострадали, только вместе со своим гнездышком вывалились из дупла. Голые птенцы, покрытые пенышками, раскрывали широкие красные рты и, принимая нас за родителей, пищали и просили у нас червячка. Мы раскопали землю, нашли червячков, дали им перекусить, они ели, глотали и опять пищали.

Очень скоро прилетели родители, гаечки-синички, с белыми пухлыми щечками и с червячками во ртах, сели на рядом стоящих деревьях.

— Здравствуйте, дорогие,— сказали мы им,— вышло несчастье: мы этого не хотели.

Гаечки ничего не могли нам ответить, но, самое главное, не могли понять, что такое случилось, куда делось дерево, куда исчезли их дети.

Нас они нисколько не боялись, порхали с ветки на ветку в большой тревоге.

— Да вот же они! — показывали мы им гнездо на земле.— Вот они, прислушайтесь, как они пищат, как зовут вас!

Гаечки ничего не слушали, суетились, беспокоились и не хотели спуститься вниз и выйти за пределы своего этажа.

— А может быть,— сказали мы друг другу,— они нас боятся. Давай спрячемся! — И спрятались.

Нет! Птенцы пищали, родители пищали, порхали, но вниз не спускались.

Мы догадались тогда, что у птичек не как у нас в небоскребах, они не могут перемениться этажами: им теперь просто кажется, что весь этаж с их птенцами исчез.

— Ой-ой-ой,— сказал мой спутник,— ну какие же вы дурачки!..

Жалко стало и смешно: такие славные и с крылышками, а понять ничего не хотят.

Тогда мы взяли тот большой кусок, в котором находилось гнездо, сломали верх соседней березы и поставили на него наш кусок с гнездом как раз на такую высоту, на какой находился разрушенный этаж. Нам недолго пришлось ждать в засаде: через несколько минут счастливые родители встретили своих птенчиков.

РЕКА

Лес берегами как руками развел — и вышла река.

В лесах я люблю речки с черной водой и желтыми цветами на берегах; в полях реки текут голубые и цветы возле них разные.

УТРЕННЯЯ РОСА

Встал рано, вскоре после восхода солнца, но было, как будто кто-то заботливый и добрый встал еще раньше меня и перед самым восходом солнца полил всю землю и все цветы и листья теплым дождем.

На малине одна большая капля дрожала, и на солнце в ней вспыхивало так, что слепило глаза; но может быть, это не капля дрожала, а само солнце между клочками рассеянной тучи то выглядывает, то спрячется, а кажется, будто это капля дрожит.

КОЛОКОЛЬЧИКИ

Какой день! И сказать нечего: все в такой день само собой говорит!

Только вот в больших синих колокольчиках впервые заметил внутри белые язычки, такие большие и заметные, что, кажется, взял бы за язык и принялся звонить на всю вырубку, на весь лес и во весь июль.

МЕДУНИЦА И МОЖЖЕВЕЛЬНИК

Сквозь можжевельник корявый и неопрятный проросла роскошная красавица медуница и на свету расцвела. Можно было подумать, что это сам можжевельник расцвел!

Иные прохожие так и думали, очень дивились, говорили: — Бывает же так — такой неопрятный, такой корявый, а в цветах лучше всех в это время. Бывает же так!

— Бывает, бывает! — отвечали басами шмели на медунице. Сам можжевельник, конечно, молчал.

ЖИВАЯ НОЧЬ

Стало быстро теплеть, пришли тучи летние, грянул первый гром, и лягушки, все, какие только были в лужах, заволновались так сильно, что от них заволновалась вода...

После того как пролил теплый дождь, Петя занялся рыбой: он поставил в торфяном пруду сети на карасей и место, где были у него сети, заметил по маленьким березам; там на берегу около сетей стояло десять маленьких, в рост человека, березок. Веточки их еще были голые, без листьев.

Солнце садилось пухлое, и, когда село, началась живая ночь: пели все соловьи, все лягушки орали... Но так часто на свете бывает, что, когда всем хорошо, бедному человеку приходит в голову бедная мысль и не дает ему радоваться. Пете тоже не спалось, и вот пришло ему в голову, что пришли воры и унесли сети. Вот почему Петя на рассвете бежит к своим сетям и уже издали видит, что там, где он сети поставил, теперь стоят люди — верно, воры.

В ужасной злобе бежит он туда и вдруг останавливается, улыбается, ему стыдно: это не люди — это за ночь те десять березок оделись в зелень и будто люди стоят...

Когда же он вынул свою первую сеть, в ней было шестьдесят три карася.

ЩУКА

Мы поставили на ночь к реке ставные сети и вытащили наутро щуку. Она так запуталась в сетях, что стояла в воде неподвижная, как сук. И вот мы видим — лягушка села на нее и так присосалась, что мы долго не могли ее оторвать от щуки даже палкой. Щука была живая.

Это сильный, страшный хищник, но достаточно было ей остановиться в своем движении, и самая маленькая лягушка не боялась ей на спину сесть.

ОКОЛО ГНЕЗДА

Сарыч, когда низко летит над лесом, никогда в это время почему-то не свистит, как обыкновенно, а кряхтит. Этот звук у него, наверно, связан с кормлением детей, это он приближается к своему гнезду.

Почти каждая птица, появляясь с червем в носу, несмотря на это, пищит. Сегодня я наблюдал, как гаечка, не выпуская червяка, присела на сучок отдохнуть и почесала в одно мгновение о сучок попеременно обе щеки.

Рябчики выпорхнули и расселись по елкам и березкам, маленькие, с воробья, а уже отлично лётные и сторожкие, совсем как большие. Мать близко сидит на березе, очень сдержанно и глухо дает им знать о себе, и когда издает звук, хвостик у нее покачивается.

ДЯТЕЛ

Видел дятла: короткий — хвостик ведь у него маленький, летел, насадив себе на клюв большую еловую шишку. Он сел на березу, где у него была мастерская для шелушенья шишек. Пробежал вверх по стволу с шишкой на клюве до знакомого места. Вдруг видит, что в развилине, где у него защемляются шишки, торчит отработанная и несброшенная шишка и новую шишку некуда девать. И — горе какое! — нечем сбросить старую: клюв-то занят.

Тогда дятел, совсем как человек бы сделал, новую шишку зажал между грудью своей и деревом, освободил клюв и клювом быстро выбросил старую шишку. Потом новую поместил в свою мастерскую и заработал.

Такой он умный, всегда бодрый, оживленный и деловой.

БЕРЕСТЯНАЯ ТРУБОЧКА

Я нашел удивительную берестяную трубочку. Когда человек вырежет себе кусок бересты на березе, оставшая береста около пореза начинает свертываться в трубочку. Трубочка высохнет, туго свернется. Их бывает на березах так много, что и внимания не обращаешь.

Но сегодня мне захотелось посмотреть, нет ли чего в такой трубочке.

И вот в первой же трубочке я нашел хороший орех, так плотно прихваченный, что с трудом удалось палочкой его вытолкнуть.

Вокруг березы не было орешника. Как же он туда попал?

«Наверно, белка его туда спрятала, делая зимние свои запасы,— подумал я.— Она знала, что трубка будет все плотнее и плотнее свертываться и все крепче прихватывать орех, чтоб не выпал».

Но после я догадался, что это не белка, а птица ореховка воткнула орех, может быть украв из гнезда белки.

Разглядывая свою берестяную трубочку, я сделал еще одно открытие: под прикрытием ореха поселился — кто бы мог подумать? — паучишко и всю внутренность трубочки затянул своей паутиной.

ВЕРХОПЛАВКИ

На воде дрожит золотая сеть солнечных зайчиков. Темно-синие стрекозы в тростниках и елочках хвоща. И у каждой стрекозы есть своя хвощевая елочка или тростинка: слетит и на нее непременно возвращается.

Очумелые вороны вывели птенцов и теперь сидят, отдыхают.

Листик, самый маленький, на паутинке спустился к реке и вот крутится, вот-то крутится...

Так я еду тихо вниз по реке на своей лодочке, а лодочка у меня чуть потяжелее этого листика, сложена из пятидесяти двух палочек и обтянута парусиной. Весло к ней одно: длинная палка и на концах по лопаточке. Каждую лопаточку окунаешь попеременно с той и другой стороны. Такая легкая лодочка, что не нужно никакого усилия: тронул воду лопаточкой — и она плывет, и до того неслышно плывет, что рыбки ничуть не боятся. Чего-чего только не увидишь, когда тихо едешь на такой лодочке по реке!

Вот грач, перелетая над рекой, капнул в воду, и эта известково-белая капля, тукнув по воде, сразу же привлекла внимание мелких рыбок верхоплавок. В один миг вокруг грачиной капли собрался из верхоплавок настоящий базар. Заметив это сборище, крупный хищник — рыба шелеспер — подплыл и хватать своим хвостом по

воде с такой силой, что оглушенные верхоплавки перевернулись вверх животами. Они бы через минуту ожили, но шелеспер не дурак какой-нибудь: он знает, что не так-то часто случается, чтоб грач капнул и столько дурочек собралось вокруг одной капли; хватъ одну, хватъ другую — много поел, а какие успели убратъся, впредь будут жить как ученые, и если сверху им капнет что-нибудь хорошее, будут в оба глядеть, не пришло бы им снизу чего-нибудь скверного.

БАРСУЧЬИ НОРЫ

Оттого лес называется темным, что солнце смотрит в него сквозь вершины деревьев, как в оконце, но не все в лесу увидит.

Так, нельзя ему увидеть барсучьи норы и возле них хорошо утрамбованную песчаную площадку, где катаются молодые барсучата.

Нор тут нарыто барсуками множество. Зачем же им столько нор? А все из-за лисы, которая любит селиться в готовых квартирах и неопрятностью своею выживает хозяев — барсуков.

Уйти бы барсукам на новое место, подальше от непрощеной гостыи. Но место замечательное, переменить не хочется: песчаный холм, со всех сторон овраги, и все такой чащей заросло, что солнце смотрит и ничего увидеть не может в свое оконце. Вот и роют барсуки новые норки.

ЛЕСНОЙ ШАТЕР

Столетние усилия дерева сделали свое: верхние ветки свои эта ель вынесла к свету, но нижние ветки-детки, сколько ни тащила их наверх матушка, остались внизу, сложились шатром, поросли зелеными бородами, и под этим непроницаемым для дождя и света шатром поселился...

Кто там поселился?

Мы возвращались с охоты мимо этой елки. Лада что-то почуяла внутри дерева и стала. Мы думали: выскочит или вылетит?

— Наверно, вылетит тетерев, — шепнул Петя.

И стал смотреть вверх.

— А я думаю, — шепнул я, — заяц выбежит.

И стал смотреть вниз.

Лада стояла.

— Вперед! — приказал я.

Но она вперед не шла. И это значило, что дальше нельзя двигаться, что зверь или птица сидит тут же, за первой еловой лапкой.

— Я ударю ногой по этой лапке, — сказал Петя, — а ты стреляй.

«Выскочит или вылетит?» — думал я.

И перекидывал глаза то вниз, то вверх.

Петя ударил по лапке ногой — ничего не выбежало и ничего не вылетело, но зашипело и затукало, как маленький мотоцикл.

Лада, ткнувшись и заорала: она себе наколола нос о колючки ежа.

Так ничего не выбежало и не вылетело: это был еж.

НАШ ЛАГЕРЬ

Так мы стояли на месте лагерем. Но земля двигалась — вертелась к солнцу той и другой стороной. От этого дни сменяли ночи, и поутру мы встречали золотые деньки, а после дня наступали ночи, и вечером мы провожали солнышко за лесной стеной.

Земля вертелась и мчалась вокруг солнца, а от этого нам было сначала, будто мы из холодной северной страны едем на юг — так наша зима сменилась весной, а весна — летом.

Потом из теплой страны, нашего лета, мы поехали в холодную — наступила осень. И, когда стала зима, мы вернулись в Москву.

ФИЛИН

Ночью злой хищник филин охотится, днем прячется. Говорят, будто днем он плохо видит и оттого прячется. А по-моему, если бы он и хорошо видел, все равно ему бы днем нельзя было никуда показаться — до того своими ночными разбоями нажил он себе много врагов.

Однажды я шел опушкой леса. Моя небольшая охотничья собачка, породы спаниель, а по прозвищу Сват, что-то причуяла в большой куче хвороста. Долго с лаем бегал он вокруг кучи, не решаясь подлезть под нее.

— Брось! — приказал я. — Это еж.

Так у меня собачка приучена: скажу «еж», и Сват бросает.

Но в этот раз Сват не послушался и с ожесточением бросился на кучу и ухитрился подлезть под нее.

«Наверно, еж», — подумал я.

И вдруг с другой стороны кучи, под которую подлез Сват, из-под нее выбегает на свет филин, ушастый и огромных размеров и с огромными кошачьими глазами.

Филин на свету — это огромное событие в птичьем мире. Бывало, в детстве приходилось попадать в темную комнату —

чего-чего там не покажется в темных углах, и больше всего я боялся черта. Конечно, это глупости, и никакого черта нет для человека. Но у птиц, по-моему, черт есть — это их ночной разбойник филин. И когда филин выскочил из-под кучи, то это было для птиц все равно, как если бы у вас на свету черт показался.

Единственная ворона была, пролетала, когда филин, согнувшись, в ужасе перебегал из-под кучи под ближайшую елку. Ворона увидела разбойника, села на вершину этой елки и крикнула совсем особенным голосом:

— Кра!

До чего это удивительно у ворон! Сколько слов нужно человеку, а у них одно только «кра» — на все случаи, и в каждом случае это словечко всего только в три буквы благодаря разным оттенкам звука означает разное. В этом случае воронье «кра» означало, как если бы мы в ужасе крикнули:

— Чер-р-р-р-рт!

Страшное слово прежде всего услышали ближайšie вороны и, услышав, повторили, и более отдаленные, услышав, тоже повторили, и так в один миг несметная стая, целая туча ворон с криком: «Черт!» — прилетела и облепила высокую елку с верхнего сучка и до нижнего.

Услышав переполох в вороньем мире, тоже со всех сторон прилетели галки черные с белыми глазами, сойки бурые с голубыми крыльями, ярко-желтые, почти золотые иволги. Места всем не хватило на елке, много соседних деревьев покрылось птицами, и всё новые и новые прибывали: синички, гаечки, московки, трясогузки, пеночки, зорьки и разные подкрапивнички.

В это время Сват, не понимая, что филин давно уже выскочил из-под кучи и прошмыгнул под елку, все там орал и копался под кучей. Вороны и все другие птицы глядели на кучу, все они ждали Свата, чтобы он выскочил и выгнал филина из-под елки.

Но Сват все возился, и нетерпеливые вороны кричали ему слово:

— Кра!

В этом случае это означало просто:

— Дурак!

И наконец, когда Сват причуял свежий след и вылетел из-под кучи и, быстро разобравшись в следах, направился к елке, все вороны в один общий голос опять крикнули по-нашему:

— Кра!

А по-ихнему это значило:

— Правильно!

И когда филин выбежал из-под елки и стал на крыло, опять вороны крикнули:

— Кра!

И это теперь значило:

— Брать!

Все вороны поднялись с дерева, вслед за воронами все галки, сойки, иволги, дрозды, вертишейки, трясогузки, щеглы, синички, гаечки, московочки, и все эти птицы помчались темной тучей за филином и все орали одно только:

— Братъ, братъ, братъ!

Я забыл сказать, что, когда филин становился на крыло, Сват успел-таки вцепиться зубами в хвост, но филин рванулся, и Сват остался с филиновыми перьями и пухом в зубах.

Озлобленный неудачей, он помчался полем за филином и первое время бежал, не отставая от птиц.

— Правильно, правильно! — кричали ему некоторые вороны.

И так вся туча птиц скоро скрылась на горизонте, и Сват тоже исчез за перелеском. Чем все кончилось, не знаю.

Сват вернулся ко мне только через час с филиновым пухом во рту.

И ничего не могу сказать, тот ли это пух у него остался, который взял он, когда филин на крыло становился, или же птицы dokonали филина и Сват помогал им в расправе со злодеем.

Что не видал, то не видал, а врать не хочу.

СТАРЫЙ ДЕД

У старого огромного пня я сел прямо на землю, пень внутри — совершенная труха, только эту труху держит твердая крайняя древесина. А из трухи выросла березка и распустилась. И множество цветущих трав поднимается с земли к этому огромному пню, как к любимому деду...

На самом пне, на одном только светлом солнечном пятнышке, на горячем месте, я сосчитал десять кузнечиков, две ящерицы, шесть больших мух, две жужелицы. Вокруг высокие папоротники собрались, как гости. А когда в гостиную у старого пня ворвется самое нежное дыхание ветра, один папоротник наклонится к другому, шепнет что-то, и тот шепнет третьему, и все гости обменяются мыслями.

И снова тишина.

ЦВЕТУЩИЕ ТРАВЫ

Как рожь на полях, так в лугах тоже зацвели все злаки, и когда злачинку покачивало насекомое, она окутывалась пылью, как золотым облаком.

Все травы цветут, и даже подорожник. Какая трава подорожник, — а тоже весь в белых бусинках. Раковые шейки, медуницы, всякие колоски, пуговки, шишечки на тонких стебельках приветствуют нас.

Сколько их прошло, пока мы столько лет жили, и не узнать: кажется, все те же шейки, колоски, старые друзья.

Здравствуйте, милые, здравствуйте!

ПЕНЬ-МУРАВЕЙНИК

Гуляя сегодня с Зиной по лесу, мы набрали на старый пенек, весь покрытый, как швейцарский сыр, дырочками. Пень казался очень прочным, и Зина моя уселась на него отдохнуть. Только села — перегородки между дырочками под ее тяжестью разрушились, и пенек под ней осел, как подушка.

— Скорее вставай! — закричал я.

Когда Зина вскочила, мы увидели, как из каждой дырочки пня выползло множество муравьев: ноздреватый пенек оказался сплошным муравейником и только сохранил обличье пня.

ИМЕНИНЫ ОСИНКИ

Шиповник, наверно, с весны еще пробрался внутрь по стволу к молодой осинке, и вот теперь, когда время пришло осинке справлять свои именины, вся она вспыхнула красными благоухающими дикими розами. Гудят пчелы и осы. Басят шмели. Все летят поздравлять осинку и на этих больших именинах роски попить и домой медку захватить.

СИЛАЧ

Муравьи разрыхлили землю, сверху она поросла брусникой, а под ягодой зародился гриб. Мало-помалу, напирая своей упругой шляпкой, он поднял вверх над собой целый свод с брусникой и сам, совершенно белый, показался на свет.

СТАРЫЙ СКВОРЕЦ

Скворцы вывелись и улетели, и давно уже их место в скворечнике занято воробьями. Но до сих пор на ту же яблоню в хорошее росистое утро прилетает старый скворец и поет.

Вот странно! Казалось бы, все уже кончено, самка давно вывела птенцов, детеныши выросли и улетели... Для чего же старый скворец прилетает каждое утро на яблоню, где прошла его весна, и поет?

ЗЕМЛЕРОЙКА

— Мы ходим с тобою в лесу, — сказал я Зиночке, — а может быть, под каждым шагом нашим в земле живет один или два зверька.

— Давай выроем ямку и увидим, кто в ней живет, — предложила Зиночка.

— Зверек убежит от нас подземным ходом, прежде чем мы его обнаружим, — ответил я. — А вот лучше давай выроем канавку с отвесными стенками, уж кто-нибудь ночью в нее попадет, а если он маленький, то, может, из нашей канавки и не вылезет.

Мы так и сделали.

И вот утром нашли в нашей канавке маленькое животное, величиною с наперсток, — землеройку. мехом своим похожа на крота: мех ровный, гладкий, с синеватым отливом. На мышь совсем не похожа, рыльце хоботком, страшно живая.

Посадили в банку — прыгает высоко. Дали ей червя — сразу съела, будто век свой в банке жила.

Мы слышали, что прямой солнечный луч убивает землеройку — она ведь подземный житель. Вот и задумали мы испытать, правда ли это, а потом взвесить ее, смерить, исследовать внутренности, положить потом в муравейник. Муравьи быстро очистят скелет, а мы его изучим.

Потом задумали поймать крота и посадить вместе с землеройкой в банку.

Да мало ли чего мы еще задумали!

Но в это время землеройка подпрыгнула на двенадцать сантиметров в высоту, перепрыгнула через край банки и очутилась на земле.

А земля ей — что рыбе вода: землеройка мгновенно исчезла.

Долго этот исчезнувший крохотный зверек не отпускал нашу мысль на свободу и все ее держал под землей, где живут корни деревьев и между корнями всякие неведомые нам существа.

ПОЛЯНКА В ЛЕСУ

Березки последнее свое золото ссыпают на ели и на уснувшие муравейники. Я иду по лесной тропе, и осенний лес мне становится как море, а полянка в лесу — как остров.

На этом острове стоит тесно несколько елок, под ними я сел отдохнуть.

У этих елок, оказывается, вся жизнь вверху. Там в богатстве шишек хозяйствует белка, птицы клесты и, наверно, еще много неизвестных мне существ. Внизу же, под елями, мрачно, темно, и только видишь, как летит шелуха: это белка и клесты шелушат

еловые шишки и достают себе из них вкусные семечки. Из такого семечка выросла когда-то и та высокая ель, под которой я сейчас сижу.

Это семечко занес когда-то ветер, и оно упало под березой между ее обнаженными корнями.

Елочка стала расти, а береза прикрывала ее от ожогов солнца и морозов.

Теперь эта ель обогнала березу и стоит рядом с ней, вершинка к вершинке, со сплетенными корнями.

Тихо я сижу под елкой на середине лесной поляны. Слышу, как шепчутся, падая, осенние листики.

Этот шелест падающих листьев будит спящих под деревьями зайцев, они встают и уходят куда-то из леса.

Вот один такой вышел из густых елок и остановился, увидев большую полянку.

Слушает заяц, встал на задние лапки, огляделся: везде шелест, куда идти?

Не посмел идти прямо через поляну, а пошел вокруг всей поляны, от березки к березке.

Кто боится чего-то в лесу, тот лучше не ходи, пока падают листы и шепчутся.

Слушает заяц, и все ему кажется, будто кто-то шепчется сзади и крадется.

Можно, конечно, и трусливому зайцу набраться храбрости и не оглядываться, но тогда как бы ему не попасть в настоящую беду: под шум листьев за ним лисица крадется; не оглянется храбрый заяц на шелест, а тут тебя под шумок и схватит рыжая кумушка.

ОСЕННЯЯ РОСКА

Заосеняло. Мухи стучат в потолок. Воробьи табунятся. Грачи собирают упавшие зерна на убранных полях. Сороки семьями падутся на дорогах. Росы по утрам холодные, серые.

Иная росинка в пазухе листа весь день просверкает.

ОСИНКАМ ХОЛОДНО

В солнечный день осенью на опушке леса собрались молодые разноцветные осинки, густо одна к другой, как будто им там в лесу стало холодно и они вышли погреться на солнышко, на опушку.

Так иногда в деревнях выходят люди посидеть на завалинке, отдохнуть, поговорить после трудового дня.

О ЧЕМ ШЕПЧУТСЯ РАКИ

О ЧЕМ ШЕПЧУТСЯ РАКИ

Удивляюсь на раков — до чего много, кажется, напутано у них лишнего: сколько ног, какие усы, какие клешни, и ходит хвостом наперед, и хвост называется шейкой. Но всего более дивило меня в детстве, что когда раков соберут в ведро, то они между собой начинают шептаться. Вот шепчутся, вот шепчутся, а о чем, не поймешь.

И когда скажут: «Раки перешептались», это значит — они умерли и вся их рачья жизнь в шепот ушла.

В нашей речке Вертушинке раньше, в мое время, раков было больше, чем рыбы. И вот однажды бабушка Домна Ивановна с внучкой своей Зиной собрались к нам на Вертушинку за раками. Бабушка с внучкой пришли к нам вечером, отдохнули немного — и на реку. Там они расставили свои рачьи сеточки. Эти рачьи сачки у нас все делают сами: загибается ивовый прутик кружком, кружок обтягивается сеткой от старого невода, на сетку кладется кусочек мяса или чего-нибудь, а лучше всего кусочек жареной и духовитой для раков лягушки. Сеточки опускают на дно. Учув запах жареной лягушки, раки вылезают из береговых печур, ползут на сетки. Время от времени сачки за веревки вытаскивают кверху, снимают раков и опять опускают.

Простая эта штука. Всю ночь бабушка с внучкой вытаскивали раков, наловили целую большую корзину и утром собрались назад, за десять верст к себе в деревню. Солнышко взошло, бабушка с внучкой идут, распарились, разморились.

Им уже теперь не до раков, только бы добраться домой.
— Не перешептались бы раки, — сказала бабушка.

Зина прислушалась.

Раки в корзинке шептались за спиной бабушки.

— О чем они шепчутся? — спросила Зина.

— Перед смертью, внученька, друг с другом прощаются.

А раки в это время совсем не шептались. Они только терлись друг о друга шершавыми костяными бочками, клешнями, усиками, шейками, и от этого людям казалось, будто от них шепот идет. Не умирать раки собирались, а жить хотели. Каждый рак все свои

ножки пускал в дело, чтобы хоть где-нибудь найти дырочку, и дырочка нашлась в корзинке, как раз чтобы самому крупному раку пролезть. Один рак вылез крупный, за ним более мелкие шутя выбрались, и пошло, и пошло: из корзинки — на бабушкину кацавейку, с кацавейки — на юбку, с юбки — на дорожку, с дорожки — в траву, а из травы — рукой подать речка.

Солнце палит и палит. Бабушка с внучкой идут и идут, а раки ползут и ползут. Вот подходят Домна Ивановна с Зиной к деревне. Вдруг бабушка остановилась, слушает, что в корзинке у раков делается, и ничего не слышит. А что корзинка-то легкая стала, ей и невдомек: не спавши ночь, до того уходилась старуха, что и плеч не чувствует.

— Раки-то, внученька, — сказала бабушка, — должно быть, перешептались.

— Померли? — спросила девочка.

— Уснули, — ответила бабушка, — не шепчутся больше.

Пришли к избе, сняла бабушка корзинку, подняла тряпку:

— Батюшки родимые, да где же раки-то?

Зиночка заглянула — корзина пустая.

Поглядела бабушка на внучку — и только руками развела.

— Вот они, раки-то, — сказала она, — шептались! Я думала — они это друг с другом перед смертью, а они это с нами, дураками, прощались.

ДЕДУШКИН ВАЛЕНОК

Хорошо помню — дед Михей в своих валенках проходил лет десять. А сколько лет в них он до меня ходил, сказать не могу. Поглядит, бывало, себе на ноги и скажет:

— Валенки опять проходились, надо подшить.

И принесет с базара кусок войлока, вырежет из него подошву, подошьет, и опять валенки идут, как новенькие.

Так много лет прошло, и стал я думать, что на свете все имеет конец, все умирает и только одни дедушкины валенки вечные.

Случилось, у деда началась сильная ломота в ногах. Никогда дед у нас не хворал, а тут стал жаловаться, позвал даже фельдшера.

— Это у тебя от холодной воды, — сказал фельдшер, — тебе надо бросить рыбу ловить.

— Я только и живу рыбой, — ответил дед, — ногу в воде мне нельзя не мочить.

— Нельзя не мочить, — посоветовал фельдшер, — надевай, когда в воду лезешь, валенки.

Этот совет вышел деду на пользу: ломота в ногах прошла. Но только после дед избаловался, в реку стал лазить только в валенках и, конечно, тер их беспощадно о придонные камешки.

Сильно подались от этого валенки, и не только в подошвах, а и выше, на месте изгиба подошвы, показались трещинки.

«Верно, это правда,— подумал я,— что всему на свете конец бывает, не могут и валенки деду служить без конца: валенкам приходит конец».

Люди стали деду указывать на валенки:

— Пора, дед, валенкам твоим дать покой, пора их отдать воронам на гнезда.

Не тут-то было! Дед Михей, чтобы снег в трещинки не забивался, окунул их в воду — и на мороз. Конечно, на морозе вода в трещинках валенка замерзла и лед заделал трещинки. А дед после того валенки еще раз окунул в воду, и весь валенок от этого покрылся льдом. Вот какие валенки после этого стали теплые и прочные: мне самому в дедушкиных валенках приходилось незамерзающее болото зимой переходить, и хоть бы что.

И я опять вернулся к той мысли, что, пожалуй, дедушкиным валенкам никогда и не будет конца.

Но случилось, однажды дед наш захворал. Когда пришлось ему по нужде выйти, надел в сенях валенки, а когда вернулся, забыл их снять в сенях и оставить на холоду. Так в обледенелых валенках и залез на горячую печку.

Не то, конечно, беда, что вода от растаявших валенок с печки натекала в ведро с молоком,— это что! А вот беда, что валенки бессмертные в этот раз кончились. Да иначе и быть не могло. Если налить в бутылку воды и поставить на мороз, вода обратится в лед, льду будет тесно, и бутылку он разорвет. Так и этот лед в трещинках валенка, конечно, шерсть везде разрыхлил и порвал, и когда все растаяло, все стало трухой...

Наш упрямый дед, как только поправился, попробовал валенки еще раз заморозить и походил даже немного, но вскоре весна пришла, валенки в сенцах растаяли и вдруг расползлись.

— Верно, правда,— сказал дед в сердцах,— пришла пора отдыхать в вороньих гнездах.

И в сердцах швырнул валенок с высокого берега в репейник, где я в то время ловил щеглов и разных птичек.

— Почему же валенки только воронам? — сказал я.— Всякая птичка весною тащит в гнездо шерстинку, пушинку, соломинку.

Я спросил об этом деда как раз в то время, как он замахнулся было вторым валенком.

— Всяким птичкам,— согласился дед,— нужна шерсть на гнездо — и зверькам всяким, мышкам, белочкам, всем это нужно, для всех полезная вещь.

И тут вспомнил дед про нашего охотника, что давно ему охотник напоминал о валенках: пора, мол, их отдать ему на пыжи. И второй валенок не стал швырять и велел мне отнести его охотнику.

Тут вскоре началась птичья пора. Вниз к реке на репейники

полетели всякие весенние птички и, поклевывая головки репейников, обратили свое внимание на валенок. Каждая птичка его заметила, и когда пришла пора вить гнезда, с утра до ночи стали разбирать на клочки дедушкин валенок. За одну какую-то неделю весь валенок по клочку растащили птички на гнезда, устроились, сели на яйца и высиживали, а самцы пели.

На тепле валенка вывелись и выросли птички и, когда стало холодно, тучами улетели в теплые края. Весною они опять вернутся, и многие в дуплах своих, в старых гнездах найдут опять остатки дедушкина валенка. Те же гнездышки, что на земле были сделаны и на кустах, тоже не пропадут: с кустов все лягут на землю, а на земле их мышки найдут и растащат остатки валенка на свои подземные гнезда.

Много в моей жизни походил я по лесам и, когда приходилось найти птичье гнездышко с подстилом из войлока, думал, как маленький:

«Все на свете имеет конец, все умирает, и только одни дедушкины валенки вечные».

МЕДВЕДЬ

Многие думают, будто пойти только в лес, где много медведей, и так они вот и набросятся, и съедят тебя, и останутся от козлика ножки да рожки. Такая это неправда!

Медведи, как и всякий зверь, ходят по лесу с великой осторожностью и, зачуяв человека, так удирают от него, что не только всего зверя, а не увидишь даже и мелькнувшего хвостика.

Однажды на севере мне указали место, где много медведей. Это место было в верховьях реки Коды, впадающей в Пинегу. Убивать медведя мне вовсе не хотелось, и охотиться за ним было не время: охотятся зимой, я же пришел на Коду ранней весной, когда медведи уже вышли из берлог.

Мне очень хотелось застать медведя за едой, где-нибудь на полянке, или на рыбной ловле на берегу реки, или на отдыхе. Имея на всякий случай оружие, я старался ходить по лесу так же осторожно, как звери, затаивался возле теплых следов; не раз мне казалось, будто мне даже и пахло медведем... Но самого медведя, сколько я ни ходил, встретить мне в тот раз так и не удалось.

Случилось, наконец, терпение мое кончилось, и время пришло мне уезжать. Я направился к тому месту, где была у меня спрятана лодка и продовольствие. Вдруг вижу: большая еловая лапка передо мной дрогнула и закачалась сама.

«Зверушка какая-нибудь», — подумал я.

Забрав свои мешки, сел я в лодку и поплыл.

А как раз против места, где я сел в лодку, на том берегу,

очень крутом и высоком, в маленькой избушке жил один промысловый охотник. Через какой-нибудь час или два этот охотник поехал на своей лодке вниз по Коде, нагнал меня и застал в той избушке на полпути, где все останавливаются.

Он-то вот и рассказал мне, что со своего берега видел медведя, как он вымахнул из тайги как раз против того места, откуда я вышел к своей лодке. Тут-то вот я и вспомнил, как при полном безветрии закачались впереди меня еловые лапки.

Досадно мне стало на себя, что я подшумел медведя. Но охотник мне еще рассказал, что медведь не только ускользнул от моего глаза, но еще и надо мной посмеялся... Он, оказывается, очень недалеко от меня отбежал, спрятался за выворотень и оттуда, стоя на задних лапах, наблюдал меня: и как я вышел из леса, и как сел в лодку и поплыл. А после, когда я для него закрылся, влез на дерево и долго следил за мной, как я спускаюсь по Коде.

— Так долго, — сказал охотник, — что мне надоело смотреть и я ушел чай пить в избушку.

Досадно мне было, что медведь надо мной посмеялся. Но еще досадней бывает, когда болтуны разные пугают детей лесными зверями и так представляют их, что покажись будто бы только в лес без оружия — и они оставят от тебя только рожки да ножки.

ТАИНСТВЕННЫЙ ЯЩИК

В Сибири, в местности, где водится очень много волков, я спросил одного охотника, имеющего большую награду за партизанскую войну:

— Бывают ли у вас случаи, чтобы волки нападали на человека?

— Бывают, — ответил он. — Да что из этого? У человека оружие, человек — сила, а что волк! Собака, и больше ничего.

— Однако если эта собака да на безоружного человека...

— И то ничего, — засмеялся партизан. — У человека самое сильное оружие — ум, находчивость и в особенности такая оборотливость, чтобы из всякой вещи сделать себе оружие. Раз было, один охотник простой ящик превратил в оружие.

Партизан рассказал случай из очень опасной охоты на волков с поросенком. Лунной ночью сели в сани четыре охотника и захватили с собой ящик с поросенком. Ящик был большой, сшитый из полутеса. В этот ящик без крышки посадили поросенка и поехали в степь, где волков великое множество. А было это зимой, когда волки голодные. Вот охотники выехали в поле и начали поросенка тянуть кто за ухо, кто за ногу, кто за хвост. Поросенок от этого стал визжать: больше тянут — больше визжит,

и все звонче и звонче, и на всю степь. Со всех сторон на этот поросичий визг стали собираться волчьи стаи и настигать охотничьи сани. Когда волки приблизились, вдруг лошадь их почуяла — и как хватит! Так и полетел из саней ящик с поросенком, и, самое скверное, вывалился один охотник без ружья и даже без шапки.

Часть волков умчалась за взбешенной лошадей, другая же часть набросилась на поросенка, и в один миг от него ничего не осталось. Когда же эти волки, закусив поросенком, захотели приступить к безоружному человеку, вдруг глядят, а человек этот исчез и на дороге только ящик один лежит вверх дном. Вот пришли волки к ящику и видят: ящик-то не простой — ящик движется с дороги к обочине и с обочины в глубокий снег. Пошли волки осторожно за ящиком, и как только этот ящик попал на глубокий снег, на глазах волков он стал нижеть и нижеть.

Волки оробели, но, постояв, оправились и со всех сторон ящик окружили. Стоят волки и думают, а ящик все ниже да ниже. Ближе волки подходят, а ящик не дремлет: ниже да ниже. Думают волки: «Что за диво? Так будем дожидаться — ящик и вовсе под снег уйдет».

Старший волк осмелился, подошел к ящику, приставил нос свой к щелке...

И только он свой волчий нос приставил к этой щелке, как дунет на него из щелки! Сразу все волки бросились в сторону, какой куда попал, и тут же вскоре охотники вернулись на помощь, и человек живой и здоровый вышел из ящика.

— Вот и все,— сказал партизан.— А вы говорите, что безоружному нельзя против волков выходить. На то и ум у человека, чтобы он из всего мог себе делать защиту.

— Позволь,— сказал я,— ты мне сейчас сказал, что человек из-под ящика чем-то дунул.

— Чем дунул? — засмеялся партизан.— А словом своим человеческим дунул, и они разбежались.

— Какое же это слово такое он знал против волков?

— Обыкновенное слово,— сказал партизан.— Какие слова говорят в таких случаях: «Дураки вы, волки», сказал,— и больше ничего.

БАРСУКИ

Поехали зимой колхозники в луга за сеном, шевельнули вилами стог, а в нем барсук зимовал.

На другой день ребята решили идти бить барсуков. Пустили в нору собаку. Барсучиха выбежала. Увидели ребята, что барсучиха тихо бежит, что можно догнать, не стали стрелять и бросились все за ней. Догнали. Что делать? Ружья побросали у нор, па-

лок в руках нет, голыми руками взять боязно. А между тем барсу-чиха нашла себе новый ход под землю и скрылась.

Собака вытащила гнездо и барсучонка: порядочный, с хорошего щенка.

ЩЕГОЛ-ТУРЛУКАН

В Сокольниках, под Москвой, живет один мой приятель — зовут его Петр Петрович Майорников, — большой любитель и первый в Москве ценитель маленьких певчих птиц. Из окна у него проведена веревочка в сад, к понцам — сетке для лова. Почти на каждом дереве в саду висит клетка с какой-нибудь певчей птицей. И так уж всегда у птиц: если какая-нибудь пролетает над садом, птичка в клетке непременно ей голос подаст, и та сядет на дерево. В это время Петр Петрович открывает окно, берется за веревочку и, когда прилетевшая птица станет клевать рассыпанные между понцами семечки, дернет за веревку. От этого понцы — две натянутые на рамы сетки — схлопываются и закрывают, как ладони, птичку. Пойманную птичку Петр Петрович сажает в клетку и выслушивает, хорошо ли она поет; хороших оставляет себе или продает таким же любителям, плохих выпускает. Мы с вами, не зная этого дела, ничего не поймем ни в пении птиц, ни даже о чем говорят между собой птицеловы — у них и язык свой. Если вы хотите с этим познакомиться, то пойдите на птичий базар.

Раз я был на таком птичьем базаре и услышал, как из-за бочки насвистывает кто-то разными коленцами и в птичьих лавочках насвистыванию отвечают подобные голоса. Скоро я понял, что за бочкой не на один голос, а на голоса разных птиц кто-то насвистывает. Заглянув туда, я увидел своего приятеля Петра Петровича Майорникова.

— Что вы тут делаете? — спросил я.

— Птиц выслушиваю, — сказал Петр Петрович. — Кажется, есть недурной чиж.

И засвистел чижом.

В лавочках похоже ответили.

— Так и есть! — обрадовался Петр Петрович. — Как он овсянку стегнул!

Проверили еще раз, и чиж действительно спел одно коленце подобно птичке овсянке.

Мы пошли, купили чижа, и оказалось — он не только был с овсянкой, но еще и с копейкой¹ на голове.

— Конечно, — сказал Петр Петрович, — бывают чижи и лучше...

¹ С круглым (в копейку) пятнышком.

— Какой же тот, самый-то лучший? — спросил я.

— Самый лучший чиж, — сказал Петр Петрович, — бывает с овсянкой и с двумя копейками, но и то не самый первый.

— А первый?

— Тот должен быть и с овсянкой, и с двумя копейками, и еще с касаткой.

Мы пересмотрели, переслушали разных птиц: были тут клес-ты, кривоносы, лубоносы, снегири, юрки, зяблики, овсянки, реполовы, синицы, глушки, московки... Но среди всех этих птиц не хватало любимого мной щегла, птички, изумительной по красоте своего оперения. Один торговец предложил было нам плохонького щегла и назвал его турлуканом.

Петр Петрович засмеялся:

— Слышал, брат, ты звон, а лучше никому не говори.

— Отчего?

— Оттого, что у твоего щегла лысинка на голове велика, с такой лысинкой не может быть турлукана.

— Как так?

— Очень просто, — сказал Петр Петрович, — настоящий турлукан у нас тут есть только один, он у меня в руках был, да я собственноручно ему хвост оторвал...

Вокруг нас собрались охотники и стали упрашивать Петра Петровича рассказать, как он оторвал хвост турлукану.

— Бейте меня, — начал свой рассказ Петр Петрович, — бейте, кто хочет, я того заслужил: да, я собственной рукой оторвал хвост турлукану. Конечно, вы знаете, не мной это начато, это у всех охотников водится — рвать негодным певцам хвосты, чтобы знать потом и больше его не ловить, и не кормить, и людей не обманывать. Но чтобы турлукану хвост вырвать — за это надо бить и бить... Прошлой осенью я наловил себе двадцать девять щеглов, рассадил их по разным клеткам, кормлю, ухаживаю, выслушиваю, и нет мне за это ничего: до солнцеворота ни один даже не пикнул. Потом скоро и свету прибавилось и в полднях капель началась — тут уж непременно бы должны птицы начинать, а они всё молчат.

И вот уже и снег подтаивает — слышу, легонько обыкновенное «щибить-бить», и то без всякой заркости¹. Раз показалось, будто один из них пик-пикнул синицу, но как потом ни слушал, не повторилось. И так у меня за всю зиму не только турлуканья не было, но даже ни один из двадцати девяти не циперекнул. Весь я издержался на корм птицам, вижу — ничего больше не остается делать, как только рвать хвосты и выпускать на волю. Выхожу я за этим делом в сад, день самый лучший весенний, и стало мне жалко немного рвать птицам хвосты, но очень уж я на них досадовал, и не хотелось тоже, чтобы другие охотники

¹ З а р к о с т ь — в птичьем пении это значит звонко, ярко.

ловили их и расходовались или бы обманывали других. И вот оборвал я первому хвост. Он полетел, сел сначала на мою грушу, обобрался, обчистился и летит в сад к соседу, а сосед мой, такой же щеглятник, как и я, Ваня-Шапочка, камнем гонит его дальше, потому что по хвосту видит — щегол был в руках. Так и другой, и третий, и все двадцать восемь бесхвостых разлетелись. Наконец, вырываю последнему, двадцать девятому, и вот видите ли что... вот как только он сел на мою грушу, обчистился, оправился да как запоет!

Дух у меня захватило. Стою, как истукан. Он и турлуканит, и трещит, и циперекает, а как из-под ципереканья турлукана пустит! Тут у меня коленки затряслись, из-под пяток дрожь по ногам побежала, выше и выше, по животу, и вдруг изо рта вроде как бы сельтерской водой шибануло. Сыграл все двенадцать колен, под конец еще пить-пикнул синицу и смолк. Сидит молчит, я на него смотрю, а он помолчал, помолчал да как хватит на заркость «шибить-бить!». Со всех сторон, вижу, слетаются мои бесхвостые. Собрав всех своих друзей, турлукан ударил в последний раз «шибить-бить», и вся стая махнула в сад к Ване-Шапочке. Тот, видно, не слышал турлукана — бац камнем в бесхвостых, и все улетели.

Прыг я тогда через забор к Ване-Шапочке, кричу:
— Бей меня! Бей подлеца!

Он сначала было подумал — с ума сошел, а потом, когда я все рассказал, темный весь сделался и спрашивает:

— Зачем же тебе нужно было рвать хвосты всем подряд?

— Но ты же не понимаешь, Ваня... — бормочу я.

И так сурово отвечает мне Ваня-Шапочка:

— Нет, брат, не понимаю я тебя и всех вас, таких безжалостных охотников. Я о каждой птице отдельно думаю и никогда не рву хвосты и особенно чтобы всем подряд. Безжалостные вы охотники: оборвете хвосты всем подряд, а после оказывается, что среди бесхвостых есть турлукан!..

ЗВЕРИ

Маленького слепого лисенка вынули из норы, дали воспитывать молочной кошке, и она любила его, и он ласкался к ней, как к родной матери.

В лукошке окотилась кошка, котят забросили, другая вскоре окотилась в том же лукошке — оставили одного. Тогда обе кошки одного котенка стали кормить: родная уйдет — лезет в лукошко чужая. И не только волк, даже тигр будет с величайшей нежностью заглядывать в глаза, если человек выходит его и с малых лет станет ему вместо матери.

Несправедливо бранятся зверем. Хуже нет, когда скажут: «Вот настоящий зверь». А между тем у зверей этих хранится бездонный запас любви и нежности.

ЗНАКОМЫЙ БЕКАС

Бекас — это болотная птичка, серая, величиной в два воробья. Нос длинный, в полкарандаша. Этим носом бекас в грязи достает себе червячков.

Мясо у бекаса до того вкусное, что у охотников бекас — любимая птица.

Жил у нас под городом бекас. Охотники ходили к его гнезду учить молодых собак. Почует собака бекаса далеко и вся вытянется и стоит и смотрит туда, где бекас сидит. Охотник, конечно, не видит бекаса, но по собаке знает, где он. Скажет: «Вперед», — и собака тихонечко подводит охотника к птице. Еще скажет охотник: «Вперед», — собака сгонит бекаса, и охотник стреляет в летящего.

На лету бекас виляет в разные стороны — очень трудно попасть.

Вот еще и потому, что трудно попасть, любят охотники бекасиную охоту.

Нашего бекаса под городом мы всё берегли и гнездышко его охраняли: на его гнезде мы учили собак. Однажды подвела меня собака к его гнезду. Бекас улетел за пищей, а в гнезде лежали яички, четыре штуки, и рядом с яичками лежал футлярчик от пенсне.

По этому футлярчику я догадался: это, наверно, мой знакомый учил здесь собаку и тоже, как я, заглянул бекасу в гнездо.

Встретив его сегодня на улице, я передал ему футлярчик.

КУНИЦА-МЕДОВКА

Понадобилась мне однажды на кадушку черемуха, пошел я в лес. В тридцать первом квартале нашел я черемуху, и с ней рядом стояла елка. Вокруг этой елки были птичьи косточки, перья, беличий мех, шерстка. Тогда я глянул наверх и увидел бурак, и на бураке сидит куница с птичкой в зубах.

Летнее время, мех дешевый, она мне не надобна. Я ей говорю:

— Ну, барыня, стало быть, ты тут живешь с семейством.

От моих слов куница мызгнула на другое дерево и сгнула. Я же полез наверх, поглядел на гнездо и прочитал всю подлость

куню. Бурак был поставлен для диких пчел и забыт. Прилетел рой, устроился, натаскал меда и зимою уснул. Пришла куница, прогрызла внизу дырку, мороз пожал пчел сверху, а снизу мед стала поедать куница. Когда мороз добрался до пчел и заморозил их, куница доела мед и улей бросила.

Летом явилась белка, облюбовала улей на гнездо.

Осенью мох вытаскала, все вычистила и устроилась жить.

Тут опять куница пришла, съела белку и стала жить в ее теплом гнезде барыней и завела семейство. А после пчел, белки, куницы я пришел.

В гнезде оказались четыре молодых. Поклал я молодежь в фартук, принес домой, посадил в погреб. Дня через два поднялся из погреба тяжелый дух от куниц, и женщины все на меня. Стало невыносимо в избе от куньего меха. А в саду у меня был амбарчик. Я заделал в нем все дырки и перенес туда куниц. Все лето хожу за ними, стреляю птичек, и они весело их едят.

У молодых куниц характер не злобный; из-за еды дерутся, а спят вместе клубочком.

Раз ночью разломали недруги мой амбарчик. Я ничего не слышал. Утром приходит мой сосед:

— Иди, Михайлыч, скорей: твои куницы на яблоне.

Выбежал я, а куницы с яблони на поленницу, с поленницы под застрех, через ворота — и в лес. Так все и пропали.

Пришла зима, навалило снегу. Оказались следы: тут же в лесу, рядом с деревней, и жили. Трех я скоро убил и продал по двадцать рублей за шкурку, а четвертую, верно, воры украли, когда ломали сарай.

СИНИЙ ЛАПоть

Через наш большой лес проводят шоссе с отдельными путями для легковых машин, для грузовиков, для телег и для пешеходов. Сейчас пока для этого шоссе только лес вырубили коридором. Хорошо смотреть вдоль по вырубке: две зеленые стены леса и небо в конце. Когда лес вырубали, то большие деревья куда-то увозили, мелкий же хворост — грачевник — собирали в огромные кучи. Хотели увезти и грачевник для отопления фабрики, но не успели, и кучи по всей широкой вырубке остались зимовать.

Осенью охотники жаловались, что зайцы куда-то пропали, и некоторые связывали это исчезновение зайцев с вырубкой леса: рубили, стучали, гомонили и распугали. Когда же налетела пороша и по следам можно было разгадать все заячьи проделки, пришел следопыт Родионыч и сказал:

— Синий лапоть весь лежит под кучами грачевника.

Родионыч, в отличие от всех охотников, зайца называл не «косым чертом», а всегда «синим лаптем»; удивляться тут нечему:

ведь на черта заяц не более похож, чем на лапоть, а если скажут, что синих лаптей не бывает на свете, то я скажу, что ведь и косых чертей тоже не бывает.

Слух о зайцах под кучами мгновенно обежал весь наш городок, и под выходной день охотники во главе с Родионом стали стекаться ко мне.

Рано утром, на самом рассвете, вышли мы на охоту без собак: Родион был такой искусник, что лучше всякой гончей мог нагнать зайца на охотника. Как только стало видно настолько, что можно было отличить следы лисьи от заячьих, мы взяли заячий след, пошли по нему, и, конечно, он привел нас к одной куче грачевника, высокой, как наш деревянный дом с мезонином. Под этой кучей должен был лежать заяц, и мы, приготовив ружья, стали все кругом.

— Давай, — сказали мы Родиону.

— Вылезай, синий лапоть! — крикнул он и сунул длинной палкой под кучу.

Заяц не выскочил. Родион оторопел. И, подумав, с очень серьезным лицом, оглядывая каждую мелочь на снегу, обошел всю кучу и еще раз по большому кругу обошел: нигде не было выходного следа.

— Тут он, — сказал Родион уверенно. — Становитесь на места, ребята, он тут. Готовы?

— Давай! — крикнули мы.

— Вылезай, синий лапоть! — крикнул Родион и трижды пырнул под грачевник такой длинной палкой, что конец ее на другой стороне чуть с ног не сбил одного молодого охотника.

И вот — нет, заяц не выскочил!

Такого конфуза с нашим старейшим следопытом еще в жизни никогда не бывало: он даже в лице как будто немного опал. У нас же суeta пошла, каждый стал по-своему о чем-то догадываться, во все совать свой нос, туда-сюда ходить по снегу и так, затирая все следы, отнимать всякую возможность разгадать проделку умного зайца.

И вот, вижу, Родион вдруг просиял, сел, довольный, на пенек поодаль от охотников, свертывает себе папироску и моргает, вот подмаргивает мне и подзывает к себе. Смекнув дело, незаметно для всех подхожу к Родиону, а он мне показывает наверх, на самый верх засыпанной снегом высокой кучи грачевника.

— Гляди, — шепчет он, — синий-то лапоть какую с нами штуку играет.

Не сразу на белом снегу разглядел я две черные точки — глаза беляка и еще две маленькие точки — черные кончики длинных белых ушей. Это голова торчала из-под грачевника и поворачивалась в разные стороны за охотниками: куда они, туда и голова.

Стоило мне поднять ружье — и кончилась бы в одно мгновение жизнь умного зайца. Но мне стало жалко: мало ли их, глупых, лежит под кучами!..

Родионыч без слов понял меня. Он смял себе из снега плотный комочек, выждал, когда охотники сгрудились на другой стороне кучи, и, хорошо наметившись, этим комочком пустил в зайца.

Никогда я не думал, что наш обыкновенный заяц-беляк, если он вдруг встанет на куче, да еще прыгнет вверх аршина на два, да объявится на фоне неба, — что наш же заяц может показаться гигантом на огромной скале!

А что стало с охотниками? Заяц ведь прямо к ним с неба упал. В одно мгновение все схватились за ружья — убить-то уж очень было легко. Но каждому охотнику хотелось раньше другого убить, и каждый, конечно, хватил, вовсе не целясь, а заяц живехонький пустился в кусты.

— Вот синий лапоть! — восхищенно сказал ему вслед Родионыч.

Охотники еще раз успели хватить по кустам.

— Убит! — закричал один, молодой, горячий.

Но вдруг, как будто в ответ на «убит», в дальних кустах мелькнул хвостик; этот хвостик охотники почему-то всегда называют **ц в е т к о м**.

Синий лапоть охотникам из далеких кустов только своим «цветком» помахал.

К Л Ю К В А

Егерь Кирсан умел так рассказывать, что поначалу кажется, будто это у него все правда, и только под самый конец поймешь, правду он говорит или дурачит нас. Так вот он стал рассказывать нам однажды, какая это кислая ягода клюква.

— Кто же этого не знает, Кирсан Николаевич? — сказал ему на это кто-то из нас.

— Я не про это, — ответил Кирсан. — Кто же, правда, не знает, что ягода клюква кислая? На то ведь она и есть клюква! А вот однажды мне пришла в голову мысль, и летом я жену попросил, чтобы она и на мою долю клюквы побольше собрала в болоте. Прошло лето, и осень прошла; лег снег. Негде стало кормиться тетеревам. Завалило ягоду в болоте снегом, занесло в поле зерно. Делать нечего, поднялись тетерева на березы и стали кормиться древесными почками. А после ягоды, после зерна какая же это пища — березовая почка? Вот я подумал об этом и поставил под березами шалашик. Когда тетерева пригляделись к шалашику и перестали на него обращать внимание, забрался я рано поутру в него и на снегу раскидал клюкву. Вот прилетели тетерева, расселись по березам, клюют горькие почки, а внизу,

видят, клюква красная на белом снегу. Один петух слетел, осторожно подходит. Что делать? Ружье мое длинное — чуть шевельнешься, догадается и сам улетит, и все улетят. Скажите, что бы вы на моем месте сделали?

— Что сделали? — сказал один охотник. — Я бы дал первому поклевать...

Другой охотник еще что-то сказал, третий еще, заспорили. А Кирсан все сидел и молча улыбался.

— Ну, скажи, Кирсан Николаевич, — обратились мы наконец к самому хозяину, — расскажи, как же ты поступил.

— Я поступил просто, — ответил Кирсан. — Когда петух взял клюквину в рот, стало ему после березовых почек очень кисло; он от кислого зажмурился, и тут я в него из ружья.

Смеялись мы, но другой егерь, Камолов, сказал:

— На этот раз у тебя сорвалось, Кирсан Николаевич, не сумел ты соврать. Это сказка есть о трех зайцах, что охотник им клюквы дал, они зажмурились, и он их связал, без ружья обошелся. А ты с ружьем — эка невидаль!

НАШ САД

(Рассказы старого садовника)

Было это очень давно, еще в царское время и даже не при последнем царе. Мы жили тогда в небольшом рыжем домике — три окошка на улицу и позади сад. В нашем небольшом городке в каждом домике было: окна на улицу, в пыль, а позади сады, разделенные заборами. Так было всюду в старое время, и сама Москва ничем не отличалась от провинции. В наше старое время было правило, что впереди — для всех — пыльная улица, а позади дома сад — для себя.

Было как-то раз, приходит однажды в наш домик на Дворянской улице мужичок средних лет в синей блузе. Волосы у него были русые, длинные, глаза голубые, острая бородка.

— Здравствуйте, добрые люди! — сказал мужичок. — Хлеб да соль!

— Милости просим! — ответила мать.

За спиной у гостя была сумка, в правой руке палка-писанка самодельная, в левой оказалось самое главное: ящик с красками.

— Я художник, — сказал он матери. — Нельзя ли у вас остановиться на все лето?

— Рады бы, — ответила вежливо мать, — да поглядите сами: тесно, куда я вас дену?

— Баня у вас в саду свободная, — сказал художник, — я бы жил в ней, а когда плоды поспеют, я бы сад караулил.

А это такая правда была о карауле: бывало, как только плоды начинают поспевать, у нас по всему городу воры зубы на яблоки точат, прямо настоящая война начинается; хозяева даже и спят в садах с ружьями.

Возможно ли было нашей бедной матушке с малыми детьми охранять сад от разбойников? Конечно, сад был с плодами не каждый год. Но как раз в этот год, когда пришел к нам художник, яблоки и груши завязались с большой силой, и урожай ожидался большой. Вот почему предложение художника очень понравилось матери, и она ему так сказала:

— Я вдовой осталась с кучей маленьких детей, мне очень трудно сад караулить. Я бы, конечно, и очень рада была вас пустить в баню, да только мне совестно: вы же не знаете, какая эта баня внутри — не баня, а завалюшка, мы больше в ней и не моемся, и сколько в ней мусору!

— Крыша еще не разъехалась? — спросил художник.

— Единственно только крыша, кажется, и ничего: даже не каплет, — ответила мать.

— Не каплет? — повторил художник. — А что еще нужно? Мусор же, какой бы он ни был и сколько бы его ни было, я уберу и мешать вам ничем не буду: обед буду варить себе сам.

Мать, конечно, обрадовалась такому жильцу и пустила художника в баню.

И как же нам с Сережей понравился этот художник! Может быть, это детство наше так сказывается, но, мне кажется, во всей своей долгой жизни я не встречал таких добрых людей. Он с того начал в саду, что возле самой бани вырыл глубокую яму и велел нам таскать в нее всякий хлам из бани: обломки кирпичей, гнилушки, железки, тряпки, ведра без дна. Набралась целая яма всякой такой дряни. После того мы яму со всех сторон засыпали землей, утоптали, и баня стала чистая.

Мать пришла поглядеть, принесла белые тряпочки, столик постелила, похвалила нашу работу и позвала художника обедать.

— Сделайте милость, — ответил художник, — никогда меня не зовите и ничего больше для меня, пожалуйста, не делайте: у меня такой принцип, чтобы делать все, по возможности, самому и людей своею особой не затруднять, особенно людей таких хороших, как вы. Я и так не знаю, как вас благодарить за сад. Как хорошо он зарос, какая тишина: ни один листик не шевельнется.

— Да, — ответила мать, — погода стоит прекрасная. Только старайтесь ничем не задевать соседа: у нас с ним спор постоянный, почти что война. И только все из-за одного дерева. Вышло так, что почти половина веток с дерева свешивается через забор и груши падают на его сторону. Мы, однако, не из-за того с ним спорим: что пало, то и пропало для нас, то пусть и будет его. Спорим мы с ним из-за того, что он всякими способами нахально помогает грушам падать на его сторону. «Дерево, — говорю я, — стоит

у меня — мое дерево, и плоды мои». — «Не все дерево стоит на вашей земле, — отвечает он, — у вас только корень, а ветки мои; у вас оно только стоит, а меня оно любит». Так ведь мало того, что трясет на свою сторону с тех веток, — еще и длинным шестом с гвоздиком достает груши и с нашей стороны. В чем-нибудь он непременно и к вам придерется и вас достанет своим проклятым шестом. Это очень дурной человек, и недаром ему дали такое прозвище...

Мать не посмела выговорить прозвище соседа.

— А я очень люблю эти народные прозвища, — сказал художник. — Если можно, то, пожалуйста, скажите.

Мать ответила:

— Впрочем, ничего особенного. Его все в нашем городе называют Проглотом.

Вот теперь подходит рассказ мой к тому самому, из-за чего я на всю жизнь определился садовником и люблю садовое дело больше всякого и могу по-настоящему делать только сады. Скорее всего, думаю, любовь эта моя к саду пришла мне от художника, это он, наверно, обратил глаза мои навсегда в ту сторону. Все лето он писал наш запущенный сад, и как это у него выходило чудесно, я до сих пор никак понять не могу. Начинает он писать какой-нибудь листик или веточку, грушу или яблоко, — просто похоже, и больше ничего. После того, за этой обыкновенной грушей или яблоком, пишет не так уж явственно, зато более привлекательно: глядишь — и тянет тебя не к этому первому, а куда-то подальше. С каждым шагом в этом саду на картине тебя тянет все сильнее и сильнее вдаль. Кажется, будто кто-то взял тебя за руку и уводит; чем дальше, тем становится все лучше и лучше, и плоды разные умоляют тебя их попробовать...

Слышал не раз я, что сны такие бывают, но сны-то ведь проходят, а картина, сделанная художником, остается. Я и теперь, на старости лет, в руке держу ведро с коровьим жидким навозом, обмазываю яблоньки, а сам вижу тот незабываемый сад, без противных старых заборов. Картину сделал художник, — так почему я не могу сделать такой сад? Вот из-за этого я и стал на всю жизнь садовником.

Наш жилец хорошо выполнял свое обещание стеречь сад. Он всегда ставил свой мольберт против той груши, что стояла в нашем саду, а ветками любила соседа. На мольберт он ставил свой большой холст на подрамнике, и сосед никак не мог видеть, что же именно делает художник.

День проходит за днем, и разбирает соседа любопытство, а может быть, и досада: если так художник все лето будет торчать, закрываясь холстом, как же тогда воровать наши груши?

И вот однажды Проглот не выдержал, подзывает нас с Сережей и спрашивает:

— Что он там делает?

Мы ответили:

— Художник пишет груши.

Так прошло сколько-то времени, груши начали желтеть. Проглот опять нас подзывает:

— Что он сейчас пишет?

Мы отвечаем:

— Художник пишет груши.

Проглот разозлился:

— Всё одни только груши и пишет?

— Зачем одни: раньше писал зеленые, а теперь пишет желтые. Как они вкусны, спелые, желтые груши! Поди-ка их съешь!

И показали ему языки. Он рассердился и кинул в нас палкой, но не попал. Мы же ему эту палку — обратно, и ему пришлось прямо по шее. Художник расхохотался, а Проглот всем нам кулак показал и крикнул:

— Вот вы дождетесь, скоро я всем вам покажу кузькину мать!

Ну и, конечно, показал нам, и вот как это было.

Обед готовил себе художник всегда сам, и, видно, в этой заботе он находил себе отдых от работы. Мы же ему с базара всё приносили: гречневую крупу, масло, чай, сахар, лук, селедки, огурцы, рыбу. Что скажет, то и принесем.

Было раз так, что художник сел за обед, и кот чей-то, желтый, тигровый, роскошный, приходит тоже и садится за стол рядом с художником.

— Здравствуйте! — приветствовал его художник.

Поласкал его, а кот поднял хвост и запел.

Долго любовался художник котом, и даже мы с Сережей, маленькие люди, поняли, как бедному художнику трудно жить одному, если он коту этому, как милому другу, обрадовался.

И что же, подумайте! На другой день, точно в тот час и минуту, кот является к обеду. День за днем проходит, и кот не пропускает ни одного обеда. Мало того! Как-то раз после обеда кот идет за художником на место работы, трется щекой о мольберт.

Художник и говорит ему:

— Перебирайся-ка, друг, к нам совсем, будем с тобой жить хорошо.

В ответ художнику кот повел себя так, будто он понял предложение жить и согласился. Только на какие-нибудь десять минут он убежал и опять появился совсем.

Плохо было, что все эти разговоры с котом Проглот слышал и хорошо понял, каким большим другом нашим сделался кот.

Сказать, что кот так-таки неотрывно и жил у нас, я не могу. Он жил, как все коты: уходил надолго, показывался на чужих крышах, на заборах. Обедать, однако, он всегда приходил и спал постоянно на одной постели с художником.

Случилось однажды, художник очень увлекся своей картиной, и мы тоже замерли в удивлении: груши, яблоки, плоды всякого

цвета свешивались массаами, и людей никого не было в этом саду, а нам отчего-то казалось, будто мы там, в саду, невидимками, и много детей всяких, и все невидимки.

Какой это чудесный был сад на холсте! Куда девались все наши почерневшие от времени заборчики! Никаких заборов на картине, один только сплошной сад, и в нем невидимками люди.

Вдруг, очнувшись, мы видим: на той стороне забора нашего сада Проглот держит в руке нашего кота и надевает ему на шею петлю...

Мы толкнули художника.

— Что ты делаешь? — закричал он.

— Я обещал вам, — ответил Проглот, — показать кузькину мать. Вот и глядите: он съел у меня сорок цыплят.

— Отдай кота, — сказал художник. — Я тебе за цыплят заплачу.

— Ладно, — отозвался Проглот. — По гривеннику за цыпленка дадите, я погожу вешать кота.

Мы получили приказ взять в бане новые штаны художника и бежать, бежать на базар что есть духу, продать не меньше как за четыре рубля и немедленно возвращаться с деньгами к Проглоту.

В один миг прибежали мы на базар и тут одумались.

— Как же быть, Сережа, — говорю я, — нехорошо будет художнику остаться без новой одежды. Погодим продавать, подумаем.

Сели мы на чью-то лавочку возле одного домика, стали думать и ничего другого не могли найти, как бежать обратно к маме и все ей рассказать.

— Вот что, детки, — сказала нам дома мать, — вы очень хорошо сделали, что пришли со мной посоветоваться. Даю вам четыре рубля, а брюки у меня оставьте. Только смотрите не говорите, что у вас есть деньги; скажите проклятому Проглоту: денег достать не могли, и хотите — заплатим грушами: по груше за цыпленка, как раз сорок груш. Если же не согласится, заплатите четыре рубля и возьмите кота.

Мы так и сделали. Пока художник обедал, натрясли Проглоту сорок груш, взяли кота, вернули художнику, а брюки мама ему сама принесла.

— Я же вас просила, — сказала она, — не связываться с Проглотом. Зачем вы это сделали? Вот он и показал вам кузькину мать.

Вот эта какая-то страшная «кузькина мать» оставалась у нас в душе с тех пор. И чем я старше делался, тем яснее мне становилась эта злая сила между людьми, разделенными друг от друга заборами.

Много с тех пор прошло времени... Насадил мы в городе новый, большой сад впереди домов, обнесли его решеткой с узорами

и покрасили ее в зеленый цвет. Много людей работало над этим садом, и я всегда у них был старшим садовником. И как видел я на картине сад без заборов, так и мы теперь делали этот самый сад. Какие дорожки в нашем саду, какие загадочные воротца между деревьями, какие встречи бывают между людьми на дорожках!

С утра до ночи я за садом приглядываю и указываю разное моим помощникам. Только уж когда совсем стемнеет, ворота в нашем саду запираются. Живу я тут же в маленьком домике, и ключ от ворот у меня.

Так у нас вышел сад и стал впереди домов. Да и в Москве тоже так делается: раньше сады были позади — для себя, а теперь они выходят вперед и для всех.

ВАСЯ ВЕСЕЛКИН

Когда снег весной сбежал в реку (мы живем на Москве-реке), на темную горячую землю везде в селе вышли белые куры.

— Вставай, Жулька! — приказал я.

И она подошла ко мне, моя любимая молодая собака, белый сеттер в частых черных пятнышках.

Я пристегнул карабинчиком к ошейнику длинный поводок, намотанный на катушку, и начал Жульку учить охоте (натаскивать) сначала по курам. Учение это состоит в том, чтобы собака стояла и смотрела на кур, но не пыталась бы курицу схватить.

Вот мы и пользуемся этой потяжкой собаки для того, чтобы она указывала место, где спряталась дичь, и не совалась за нею вперед, а стояла. Такое поведение собаки называется у охотников стойкой: собака стоит, а он сам стреляет или накрывает сеткой дичь.

Непонятная сила, влекущая собаку к курице, у охотников называется потяжкой. Только не надо думать, что собаку тянет желание полакомиться курицей или какой-нибудь другой птицей. Нет, ее тянет страстное желание остановить в самом движении все живое, все способное двигаться, бежать, плыть, летать.

Вот так и вышли на черную горячую землю белые куры, и Жульку к ним потянуло. Медленно приближаясь, Жулька остановилась перед одной курицей в двух или трех метрах. Когда же она так сделала стойку, я перестал отпускать поводок и крепко зажал его в руке. Постояв некоторое время, Жулька сунулась, чтобы схватить курицу, и та с криком взлетела, а я так сильно дернул за поводок, что Жулька опрокинулась на спину.

Так сурово, для острастки, я поступил только раз.

— Лежать! — крикнул я в следующий раз, когда она опять сунулась.

И она, приученная к «лежать!» еще зимой в комнате, легла.

И пошло так у нас изо дня в день, и в какую-то одну неделю я натаскал Жульку отлично по курам. Свободно пуская собаку, я иду по деревне, она делает стойку по курице и одним глазом глядит на нее, а другим следит за мной: как только я начну выходить из ее поля зрения, она бросает курицу и бежит ко мне.

Кроме кур, в нашей деревне никаких домашних птиц нет. Мы живем на берегу Москвы-реки, повыше Рублевского водохранилища, обеспечивающего Москву-столицу питьевой водой. Чтобы не загрязнять воду, у нас в деревне запрещено держать водоплавающую птицу. И я, хорошо натаскав Жульку по курам, совсем упустил из виду, что в селе на другой стороне реки один хозяин держит гусей.

Вот и не могу сейчас сказать, по какому это праву он их держит и почему никто не вступится за чистоту московской питьевой воды. Думаю, скорее всего, люди в колхозе были очень заняты, им было не до гусей, да и гусиный хозяин, может быть, неплохой был человек, ни с кем не ссорился — вот и терпели гусей до поры до времени. Я и сам совсем забыл об этих гусях и спокойно шел, пуская Жульку свободно бегать перед собою справа налево и обратно, слева направо.

Ничего худого не подозревая, мы вышли в конце деревни в прогон к реке. Небольшой холмик разделял нас от реки, и по нему кверху поднималась по травке белая тропка — след больших и маленьких человеческих ног, босых и обутых. Жулька пустилась вверх по этой тропе. На мгновение она показалась мне вся вверху на фоне голубого неба. У нее была поза именно такая напряженная, как бывает у собаки на стойке. Не успел я ей крикнуть свое обычное «лежать!», как она вдруг сорвалась и бросилась со всех ног вниз по другой, невидимой мне, стороне холма. Вскоре потом слышался всплеск воды и вслед за тем крик, шум, хлопанье по воде крыльев такое, будто бабы на помосте вальком лупили белье.

Я бежал наверх и вслед за ударами сердца своего повторял про себя:

«Ая-яй! Ая-яй! Ая-яй!»

Это потому я так испугался, что очень много в своей жизни страдал. Задерет собака какую-нибудь животину, и ничем не откупишься: так изругают, так осрамят, что весь сморщишься, как сушеный гриб.

Добежав до вершины холма, я увидел зрелище, потрясающее для учителя легавой собаки: Жулька плавала по воде, делая попытки схватить того или другого гуся. Смятение было ужасающее: гусиное гоготанье, хлопанье крыльев, пух гусиный, летающий в воздухе.

Звук моего свистка и крики были совершенно бессильны: настигнув одного гуся, Жулька пускала из него пух, а гусь, подстегнутый щипком, набирал силу и, помогая себе крыльями,

частью водой, частью по воздуху уклонялся от второго щипка. Тогда Жулька повертывалась к другому гусю, пускала пух из него...

Пух, как снег, летел над рекой.

Ужасно было, что в разлив воды еще невозможно было сделать обычные мостки через реку, и я не мог приблизиться хоть сколько-нибудь к месту действия: все происходило на самой середине широко разлившейся Москвы-реки.

Всех гусей было восемь. Я не только успел всех сосчитать, но положение каждого гуся представлял себе, как представляет полководец положение всех частей его войска. У меня вся надежда была на гусей — что какой-нибудь гусак, раздраженный наконец, озлится и сам попробует Жульку щипнуть. Она такая трусиха! Если бы хоть один гусь сделал такую попытку! Жулька бы немедленно пустилась ко мне под защиту от клюва храброго гуся...

И вот, казалось мне, один гусак как будто и догадался, и, наверно, все бы кончилось хорошо. Но в этот момент выбежал из кустов Витька с ружьем, сын хозяина гусей, и прицелился в плавающую голову Жульки...

Сердце у меня оборвалось. Но почему я не крикнул, не остановил мальчишку? Мне кажется теперь, как будто все было во сне, что от ужаса я онемел. На самом же деле, конечно, я бы крикнул, если бы только было мгновение для крика. Все произошло так скоро, что крикнуть я не успел.

Грянул выстрел.

Я успел все-таки увидеть, что чья-то рука из кустов толкнула Витьку в плечо и дробь хлестнула по воде далеко от места побоища.

Витька хотел стрелять из второго ствола, но голос из кустов остановил его:

— Что ты делаешь? Собака законно гонит гусей: тут водохранная зона; не собака, а гуси тут незаконные. Ты, дурак, своего отца подведешь!

Тут, конечно, и у меня язык развязался, да и Жулька опомнилась от выстрела, услышала мой зов, поплыла к моему берегу.

Конечно, я тут не растерялся до того, чтобы открыть Жулке свою радость спасения. Напротив, я ждал ее на берегу мрачный и говорил ей своим видом, как я умею разговаривать с собаками.

— Плыви, плыви, — говорил я, — ты мне ответишь за гусиный пух!

Выйдя на берег, она, по собачьему обыкновению, хотела укрыть свое смущение посредством делового встряхивания, фырканья, катанья своего по песку. Но как она ни старалась, гусиный пух с ее носа и рта не слетал.

— Ты мне ответишь за гусиный пух! — повторил я.

Наконец и ей надоело притворяться, обернулась ко мне, и я прочитал по ее виду:

— Что же делать, хозяин, я уж такая...

— Нет, матушка, — отвечал я, — ты не должна быть такая.

— Что же делать? — спросила она и сделала шаг в мою сторону.

— Что делать? — сказал я. — Иди-ка, иди ко мне на расправу.

Нет, этого она боится. Она ложится на брюхо, вытягивает на песке далеко от себя вперед лапы, кладет на них голову, большими человеческими глазами глядит на меня.

— Прости меня, хозяин! — говорит она глазами.

— Пух у тебя на носу! — говорю я. — Отвечай за пух!

— Я больше не буду! — говорит она глазами с выступающими на белки красными от напряжения и раскаяния жилками.

— Ладно! — говорю я таким голосом, что она меня понимает и несется ко мне.

Так все хорошо кончилось, но одно я в радости своей упустил. Я не успел рассмотреть, кто же это был спаситель Жульки. Когда я вернулся домой и захотел приступить к своим обычным занятиям, мысль о неизвестном не давала мне работать. Любовь моя к охоте, к природе, к собаке не могла оставаться во мне теперь без благодарности спасителю моей прекрасной собаки...

Так я отложил свои занятия и пошел к учителю в школу, за несколько километров от нас. По маленькой руке, толкнувшей Витьку в плечо, по голосу я знал, что это был мальчик. По рассудительному окрику я знал, что мальчик, наверно, учился в школе.

Рассказав все учителю, я попросил его найти мне мальчика, спасителя Жульки, обещал, что подарю ему любимую мою книгу «Всадник без головы» в хорошем издании. Учитель обещал мне найти мальчика, и после того я уехал надолго учить Жульку в болотах.

Приближалось время охоты, когда, выучив Жульку, я вернулся домой и в первый же день направился к учителю.

Оказалось, найти спасителя Жульки не так-то легко. Но только несомненно, что он был среди школьников.

— Он сделал хорошее дело, — сказал я, — мы ищем, чтобы поблагодарить его, почему же он не хочет открыться?

— В том-то и дело, — ответил учитель, — ему не хочется выхваляться тем, что самому ничего не стоило. Он стыдится, и это стыд здоровый: каждый должен был так поступить.

— Но не все же такие мальчики; нам нужно непременно найти его, нам нужен пример для других.

— Это правда! — ответил учитель.

И, подумав немного, сказал:

— Мне пришла в голову мысль. Мы найдем! Скажите, сколько было гусей?

— Их было восемь, — ответил я.

— Так помните: восемь, — сказал учитель, — и напишите рас-

сказ об этом случае, напишите правдиво и подчеркните в нем, что было не сколько-нибудь, а именно восемь гусей.

Замысел свой учитель от меня скрыл. Я и не стал допытываться, скоро написал рассказ, и в одно воскресенье мы с учителем устроили чтение в школе веселых рассказов разных авторов. Так дошло и до чтения моего правдивого рассказа о собаке Жульке и о гусях. Нарочно для правдивости я и Жульку привел в школу, показывал, как она по слову «лежать!» ложится, как делает стойку.

Веселье началось особенное, когда я читал про гусиный пух и что я, как полководец, держал в уме поведение каждого гуся.

— А сколько их всех было? — спросил меня в это время учитель.

— Восемь гусей, Иван Семеныч!

— Нет, — сказал учитель, — их было пятнадцать.

— Восемь! — повторил я. — Утверждаю: их было восемь.

— И я утверждаю, — резко сказал Иван Семеныч, — их было именно пятнадцать, и могу доказать: хотите, пойдем сейчас к хозяину и сосчитаем: их у него пятнадцать.

Во время этого спора чье-то нежное, стыдливое сердце сжималось от боли за правду, и это сердце было на стороне автора рассказа о гусях и собаке. Какой-то мой слушатель, мой читатель будущий, мой сторонник горел за правду у себя на скамеечке.

— Утверждаю, — сказал учитель, — гусей было пятнадцать.

— Неправда! — закричал мой друг. — Гусей было восемь!

Так мой друг поднялся за правду, весь красный, вихрастый, взволнованный, с глазами, гневно устремленными на учителя.

Это и был Вася Веселкин, стыдливый, застенчивый в своих добрых делах и бесстрашный в отстаивании правды.

— Ну, спасибо тебе, мой друг, — сказал я и подарил спасителю моей Жульки любимую в детстве книгу «Всадник без головы».

ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН

ПАУТИНКА

Вот был солнечный день, такой яркий, что лучи проникали даже и в самый темный лес. Шел я вперед по такой узенькой просеке, что некоторые деревья с одной стороны перегибались на другую, и это дерево шептало своими листиками что-то другому дереву, на той стороне. Ветер был очень слабый, но все-таки он был: и наверху лепетали осинки, и внизу, как всегда, важно раскачивались папоротники. Вдруг я заметил: со стороны на сторону через просеку, слева направо, непрерывно там и тут перелетают какие-то мелкие огненные стрелки. Как всегда в таких случаях, я сосредоточил свое внимание на стрелках и скоро заметил, что движение стрелок происходит по ветру, слева направо. Еще я заметил, что на елках их обычные побеги-лапки вышли из своих оранжевых сорочек и ветер сдувал эти ненужные большие сорочки с каждого дерева во множестве великом: каждая новая лапка на елке рождалась в оранжевой сорочке, и теперь сколько лапок, столько сорочек слетало — тысячи, миллионы...

Мне видно было, как одна из этих слетающих сорочек встрети-лась с одной из летящих стрелок и вдруг повисла в воздухе, а стрелка исчезла. Я понял тогда, что сорочка повисла на невиди-мой мне паутинке, и это дало мне возможность в упор подойти к паутинке и вполне понять явление стрелок: ветер поддувает паутинку к солнечному лучу, блестящая паутинка вспыхивает от света, и от этого кажется, будто стрелка летит. В то же время я понял, что паутинок этих, протянутых через просеку, великое множество, и, значит, если я шел, то разрывал их, сам не зная того, тысячами. Мне казалось, что у меня была такая важная цель — учиться в лесу быть его настоящим хозяином, — что я имел право рвать все паутинки и заставлять всех лесных пауков работать для моей цели. Но эту замеченную мной паутинку я почему-то пощадил: ведь это она же благодаря повисшей на ней сорочке помогла разгадать мне явление стрелок. Был ли я жесток, разрывая тысячи паутинок? Нисколько: я же их не видел — моя жестокость была следствием моей физической силы. Был ли я милостив, наклоняя для спасения паутинки свою натруженную

спину? Не думаю: в лесу я веду себя учеником, и если бы я мог, то ничего бы не тронул. Спасение этой паутинки я отношу к действию моего сосредоточенного внимания.

ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН

То было в солнечный день, а то расскажу, как было в лесу перед самым дождем. Наступила такая тишина, было такое напряжение в ожидании первых капель, что, казалось, каждый листик, каждая хвоинка силилась быть первой и поймать первую каплю дождя. И так стало в лесу, будто каждая мельчайшая сущность получила свое собственное, отдельное выражение.

Так вхожу я к ним в это время, и мне кажется: они все, как люди, повернулись ко мне лицами и по глупости своей у меня, как у бога, просят дождя.

— А ну-ка, старик,— приказал я дождю,— будет тебе всех нас томить, ехать так ехать, начинай!

Но дождик в этот раз меня не послушался, и я вспомнил о своей новой соломенной шляпе: пойдет дождь — и шляпа моя пропала. Но тут, думая о шляпе, увидел я необыкновенную елку. Росла она, конечно, в тени, и оттого сучья у нее когда-то были опущены вниз. Теперь же, после выборочной рубки, она очутилась на свету, и каждый сук ее стал расти кверху. Наверно, и нижние суки со временем поднялись бы, но ветки эти, соприкоснувшись с землей, выпустили корешки и прицепились... Так под елкой с поднятыми вверх сучьями внизу получился хороший шалашик. Нарубив лапнику, я уплотнил его, сделал вход, устелил внизу сиденье. И только уселся, чтобы начать новую беседу с дождем, как вижу — против меня, совсем близко, пылает большое дерево. Быстро схватил я с шалашика лапник, собрал его в веник и, стегая по горящему месту, мало-помалу пожар затушил раньше, чем пламя пережгло кору дерева кругом и тем сделало бы невозможным движение сока.

Вокруг дерева место не было обожжено костром, коров тут не пасли, и не могло быть подпасков, на которых все валят вину за пожары. Вспомнив свои детские разбойничьи годы, я сообразил, что смола на дереве поджег, скорее всего, какой-нибудь мальчишка из озорства, из любопытства поглядеть, как будет гореть смола. Спустившись в свои детские годы, я представил себе, до чего же это приятно — взять чиркнуть спичкой и поджечь дерево.

Мне стало ясно, что вредитель, когда загорелась смола, вдруг увидел меня и скрылся тут же где-нибудь в ближайших кустах. Тогда, сделав вид, будто я продолжаю свой путь, посвистывая, удалился я с места пожара и, сделав несколько десятков шагов

вдоль просеки, прыгнул в кусты и возвратился на старое место и тоже затаился.

Недолго пришлось мне ждать разбойника. Из куста вышел белокурый мальчик лет семи-восьми, с рыжеватым солнечным запеком, смелыми, открытыми глазами, полуголый и с отличным сложением. Он враждебно поглядел в сторону просеки, куда я ушел, поднял еловую шишку и, желая пустить ее куда-то в меня, так размахнулся, что перевернулся даже вокруг себя. Это его не смутило; напротив, он, как настоящий хозяин лесов, заложил обе руки в карманы, стал разглядывать место пожара и сказал:

— Выходи, Зина, он ушел!

Вышла девочка, чуть постарше, чуть повыше и с большой корзиной в руке.

— Зина,— сказал мальчик,— знаешь что?

Зина глянула на него большими спокойными глазами и ответила просто:

— Нет, Вася, не знаю.

— Где тебе! — вымолвил хозяин лесов.— Я хочу сказать тебе: не приди тот человек, не погаси он пожар, то, пожалуй, от этого дерева сгорел бы весь лес. Вот бы мы тогда поглядели!

— Дурак ты! — сказала Зина.

— Правда, Зина,— сказал я.— Вздумал чем хвастаться, настоящий дурак!

И как только я сказал эти слова, задорный хозяин лесов вдруг, как говорят, «улепетнул».

А Зина, видимо, и не думала отвечать за разбойника. Она спокойно глядела на меня, только бровки ее поднимались чуть-чуть удивленно.

При виде такой разумной девочки мне захотелось обратить всю эту историю в шутку, расположить ее к себе и потом вместе обработать хозяина лесов. Как раз в это время напряжение всех живых существ, ожидающих дождя, дошло до крайности.

— Зина,— сказал я,— смотри, как все листики, все травинки ждут дождя. Вон заячья капуста даже на пенек забралась, чтобы захватить первые капли.

Девочке моя шутка понравилась, она милостиво мне улыбнулась.

— Ну, старик,— сказал я дождю,— будет тебе всех нас томить, начинай, поехали!

И в этот раз дождик послушался, пошел. А девочка серьезно, вдумчиво сосредоточилась на мне и губки поджала, как будто хотела сказать: «Шутки шутками, а все-таки дождик пошел».

— Зина,— сказал я поспешно,— скажи, что у тебя в этой большой корзине?

Она показала: там было два белых гриба. Мы уложили в корзину мою новую шляпу, закрыли папоротником и направились от

дождя в мой шалаш. Наломав еще лапнику, мы укрыли его хорошо и залезли.

— Вася! — крикнула девочка. — Будет дурить, выходи!

И хозяин лесов, подгоняемый проливным дождем, не замедлил явиться.

Как только мальчик уселся рядом с нами и захотел что-то сказать, я поднял вверх указательный палец и приказал хозяину:

— Ни гугу!

И все мы трое замерли.

Невозможно передать прелести пребывания в лесу под елкой во время теплого летнего дождя. Хохлатый рябчик, гонимый дождем, ворвался в середину нашей густой елки и уселся над самым шалашом. Совсем на виду под веточкой устроился зяблик. Ежик пришел. Проковылял мимо заяц. И долго дождик шептал и шептал что-то нашей елке. И мы долго сидели, и все было так, будто настоящий хозяин лесов каждому из нас отдельно шептал, шептал, шептал...

СУХОСТОЙНОЕ ДЕРЕВО

Когда дождик прошел и все вокруг засверкало, мы по тропе, пробитой ногами прохожих, вышли из леса. При самом выходе стояло огромное и когда-то могучее дерево, перевидевшее не одно поколение людей. Теперь оно стояло совершенно умершее, было, как говорят лесники, «сухостойное».

Оглядев это дерево, я сказал детям:

— Быть может, прохожий человек, желая здесь отдохнуть, воткнул топор в это дерево и на топор повесил свой тяжелый мешок. Дерево после того заболело и стало залечивать ранку смолой. А может быть, спасаясь от охотника, в густой кроне этого дерева затаилась белка, и охотник, чтобы выгнать ее из убежища, принялся тяжелым поленом стучать по стволу. Бывает довольно одного только удара, чтобы дерево заболело.

И много, много с деревом, как и с человеком и со всяким живым существом, может случиться такого, от чего возьмется болезнь. Или, может быть, молния стукнула?

С чего-то началось, и дерево стало заливать свою рану смолой. Когда же дерево стало хворать, об этом, конечно, узнал червяк. Закорыш забрался под кору и стал там точить. По-своему как-то о червяке узнал дятел и в поисках закорыша стал долбить там и тут дерево. Скоро ли найдешь? А то может быть и так, что, пока дятел долбит и раздолбит так, что можно бы ему и схватить, закорыш в это время продвинется, и лесному плотнику надо снова долбить. И не один же закорыш, и не один тоже дятел. Так долбят дерево дятлы, а дерево, ослабевая, все заливает смолой.

Теперь поглядите вокруг дерева на следы костров и понимай-

те: по этой тропе люди ходят, тут останавливаются на отдых и, несмотря на запрет в лесу костры разводить, собирают дрова и поджигают. А чтобы скорей разжигалось, стесывают с дерева смолистую корку. Так мало-помалу от стесывания образовалось вокруг дерева белое кольцо, движение соков вверх прекратилось, и дерево засохло. Теперь скажите, кто же виноват в гибели прекрасного дерева, простоявшего не меньше двух столетий на месте: болезнь, молния, закорыш, дятлы?

— Закорыш! — быстро сказал Вася. И, поглядев на Зину, поправился: — Дятлы!

Дети были, наверно, очень дружны, и быстрый Вася привык читать правду с лица спокойной умницы Зины. Так, наверно, он слизнул бы с ее лица и в этот раз правду, но я спросил ее:

— А ты, Зиночка, как ты, милая дочка моя, думаешь?

Девочка обняла рукой ротик, умными глазами поглядела на меня, как в школе на учителя, и ответила:

— Наверно, виноваты люди.

— Люди, люди виноваты! — подхватил я за ней.

И, как настоящий учитель, рассказал им о всем, как я думаю сам для себя: что дятлы и закорыш не виноваты, потому что нет у них ни ума человеческого, ни совести, освещающих вину в человеке; что каждый из нас рождается хозяином природы, но только должен много учиться понимать лес, чтобы получить право им распоряжаться и сделаться настоящим хозяином леса. Не забыл я рассказать и о себе, что до сих пор учусь постоянно и без какого-нибудь плана или замысла ни во что в лесу не вмешиваюсь. Тут не забыл я рассказать и о недавнем своем открытии огненных стрелок и о том, как пощадил даже одну паутинку.

После того мы вышли из леса, и так со мною теперь постоянно бывает: в лесу веду себя как ученик, а из леса выхожу как учитель.

СТАРЫЙ ГРИБ

I

Была у нас революция тысяча девятьсот пятого года. Тогда мой друг был в расцвете молодых сил и сражался на баррикадах на Пресне. Незнакомые люди, встречаясь с ним, называли его братом.

— Скажи, брат, — спросят его, — где...

Назовут улицу, и «брат» ответит, где эта улица.

Пришла первая мировая война тысяча девятьсот четырнадцатого года, и, слышу, ему говорят:

— Отец, скажи...

Стали не братом звать, а отцом.

Пришла последняя большая революция. У моего друга в бороде и на голове показались белые, серебряные волосы. Те, кто его знал до революции, встречались теперь, смотрели на бело-серебряные волосы и говорили:

— Ты что же, отец, стал мукой торговать?

— Нет,— отвечал он,— серебром. Но дело не в этом.

Его настоящее дело было — служить обществу, и еще он был врач и лечил людей, и еще он был очень добрый человек и всем, кто к нему обращался за советом, во всем помогал. И так, работая с утра и до поздней ночи, он прожил лет пятнадцать при Советской власти.

Слышу, однажды на улице кто-то его останавливает:

— Дедушка, а дедушка, скажи...

И стал мой друг, прежний мальчик, с кем мы в старинной гимназии на одной скамейке сидели, дедушкой.

Так вот время проходит, просто летит время, оглянуться не успеешь...

Ну хорошо, я продолжаю о друге. Белеет и белеет наш дедушка, и так наступает наконец день великого праздника нашей победы над немцами. И дедушка, получив почетный приглашенный билет на Красную площадь, идет под зонтиком и дождя не боится. Так проходим мы к площади Свердлова и видим там, за цепью милиционеров, вокруг всей площади войска — молодец к молодцу. Сырость вокруг от дождя, а глянешь на них, как они стоят, и делается, будто погода стоит очень хорошая.

Стали мы предъявлять свои пропуска, и тут, откуда ни возьмись, мальчишка какой-то, озорник, наверно, задумал как-нибудь на парад прошмыгнуть. Увидел этот озорник моего старого друга под зонтиком и говорит ему:

— А ты зачем идешь, старый гриб?

Обидно мне стало, признаюсь, очень я тут рассердился и цап этого мальчишку за шиворот. Он же вырвался, прыгнул, как заяц, на прыжке оглянулся и удрал.

II

Парад на Красной площади вытеснил на время из моей памяти и мальчишку и «старый гриб». Но, когда я пришел домой и прилег отдохнуть, «старый гриб» мне опять вспомнился. И я так сказал невидимому озорнику:

— Чем же молодой-то гриб лучше старого? Молодой просится на сковородку, а старый сеет споры будущего и живет для других, новых грибов.

И вспомнилась мне одна сыроежка в лесу, где я постоянно грибы собираю. Было это под осень, когда березки и осинки начинают сыпать на молодые елочки вниз золотые и красные пятки.

День был теплый и даже паркий, когда грибы лезут из влажной, теплой земли. В такой день, бывает, ты все дочиста выберешь, а вскоре за тобой пойдет другой грибник и тут же, с того самого места, опять собирает; ты берешь, а грибы все лезут и лезут.

Вот такой и был тепсрь грибной, паркий день. Но в этот раз мне с грибами не везло. Набрал я себе в корзину всякую дрянь: сыроежки, красноголовики, подберезники, а белых грибов нашлось только два. Будь бы боровики, настоящие грибы, стал бы я, старый человек, наклоняться за черным грибом! Но что делать — по нужде поклонисься и сыроежке.

Очень парко было, и от поклонов моих загорелось у меня все внутри и до смерти пить захотелось. Но не идти же в такой день домой с одними черными грибами! Времени было впереди довольно поискать белых.

Бывают ручейки в наших лесах, от ручейков расходятся лапки, от лапок мочежинки или просто даже потные места. До того мне пить хотелось, что, пожалуй бы, даже и мокрой землицы попробовал. Но ручей был очень далско, а дождевая туча еще дальше: до ручья ноги не доведут, до тучи не хватит рук.

И слышу я — где-то за частым ельничком серенькая птичка пищит:

«Пить, пить!»

Это, бывает, перед дождиком серенькая птичка — дождевик — пить просит:

«Пить, пить!»

— Дурочка,— сказал я,— так вот тебя тучка-то и послушается!

Поглядел на небо, и где тут дожждаться дождя: чистое небо над нами, и от земли пар, как в бане.

Что тут делать, как быть?

А птичка тоже по-своему все пищит:

«Пить, пить!»

Усмехнулся я тут сам себе, что вот какой я старый человек, столько жил, столько видел всего на свете, столько узнал, а тут просто птичка, и у нас с ней одно желание.

— Дай-ка,— сказал я себе,— погляжу на товарища.

Продвинулся я осторожно, бесшумно в частом ельнике, приподнял одну веточку — ну, вот и здравствуйте!

Через это лесное оконце мне открылась поляна в лесу, посередине ее две березы, под березами — пенек, и рядом с пнем в зеленом брусничнике красная сыроежка, такая огромная, каких в жизни своей я еще никогда не видел. Она была такая старая, что края ее, как это бывает только у сыроежек, завернулись вверх.

И от этого вся сыроежка была в точности как большая глубокая тарелка, притом наполненная водой.

Повеселело у меня на душе.

Вдруг вижу — слетает с березы серая птичка, садится на край сыроежки и носиком — тюк! — в воду. И головку вверх, чтобы капля в горло прошла.

«Пить, пить!» — пищит ей другая птичка с березы.

Листик там был на воде в тарелке — маленький, сухой, желтый. Вот птичка клюнет, вода дрогнет, и листик загуляет. А я-то из оконца вижу все и радуюсь и не спешу: много ли птичке надо, пусть себе напьется, нам хватит!

Одна напилась, полетела на березу. Другая спустилась и тоже села на край сыроежки. И та, что напилась, сверху ей:

«Пить, пить!»

Вышел я из ельника так тихо, что птички не очень меня испугались, а только перелетели с одной березы на другую.

Но пищать они стали не спокойно, как раньше, а с тревогой, и я их так понимал, что одна спрашивала:

«Выпьет?»

Другая отвечала:

«Не выпьет!»

Я так понимал, что они обо мне говорили и о тарелке с лесной водой: одна загадывала — «выпьет», другая спорила — «не выпьет».

— Выпью, выпью! — сказал я им вслух.

Они еще чаще запищали свое: «Выпьет-выпьет».

Но не так-то легко было мне выпить эту тарелку лесной воды.

Конечно, можно бы очень просто сделать, как делают все, кто не понимает лесной жизни и в лес приходит, только чтобы себе взять чего-нибудь. Такой своим грибным ножиком осторожно подрезал бы сыроежку, поднял к себе, выпил бы воду, а ненужную ему шляпку от старого гриба шмякнул бы тут же о дерево.

Удаль какая!

А по-моему, это просто неумно. Подумайте сами, как мог я это сделать, если из старого гриба на моих глазах напились две птички, и мало ли кто пил без меня, и вот я сам, умирая от жажды, сейчас напьюсь, а после меня опять дождик нальет, и опять все станут пить. А там дальше созреют в грибе семена — споры, ветер подхватит и рассеет по лесу для будущего...

Видно, делать нечего. Покряхтел я, покряхтел, опустился на свои старые колени и лег на живот. По нужде, говорю, поклонился я сыроежке.

А птички-то! Птички играют свое:

«Выпьет — не выпьет?»

— Нет уж, товарищи, — сказал я им, — теперь больше не спорьте: теперь я добрался и выпью.

Так это ладно пришлось, что когда я лег на живот, то мои запекшиеся губы сошлись как раз с холодными губами гриба. Но только бы хлебнуть — вижу перед собой в золотом кораблике из березового листа на тонкой своей паутинке спускается в гиб-

ком блюде паучок. То ли он это поплавать захотел, то ли ему надо напиться.

— Сколько же вас тут, желающих! — сказал я ему. — Ну тебя...

И в один дух выпил всю лесную чашу до дна.

III

Возможно, я это от жалости к своему другу вспомнил о старом грибе и вам рассказал. Но рассказ о старом грибе — это только начало моего большого рассказа о лесе. Дальше будет о том, что случилось со мною, когда я напился живой воды.

Это будут чудеса не как в сказке о живой воде и мертвой, а настоящие, как они совершаются везде и всюду и во всякую минуту нашей жизни, но только часто мы, имея глаза, их не видим, имея уши — не слышим.

ОСЕННИЕ ЛИСТИКИ

Перед самым восходом солнца на поляну ложится первый мороз.

Притаиться, подождать у края — что там делается на лесной поляне!

В полумраке рассвета приходят невидимые лесные существа и потом начинают по всей поляне расстилать белые холсты.

Первые же лучи солнца, являясь, убирают холсты, и остается на белом зеленое место. Мало-помалу белое все растает, и только в тени деревьев и кочек долго еще сохраняются беленькие клинышки.

На голубом небе между золотыми деревьями не поймешь, что творится: уносит ветер листья или стайками собрались мелкие птички и несутся в теплые далекие края.

Ветер — заботливый хозяин. За лето везде побывает, и у него даже в самых густых местах не остается ни одного незнакомого листика.

А вот осень пришла — и заботливый хозяин убирает свой урожай.

Листья, падая, шепчутся, прощаясь навек. У них ведь так всегда: раз ты оторвался от родимого царства, то и прощайся, погиб.

КЛАДОВАЯ СОЛНЦА

I

В одном селе возле Блудова болота, в районе города Переславля-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на войне.

Мы жили в этом селе всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им, чем только могли. Они были очень милые. Настя была как золотая курочка на высоких ногах. Волосы у нее, ни темные, ни светлые, отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх попугайчиком.

Митраша был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный.

«Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе.

Мужичок-в-мешочке, как и Настя, был весь в золотых веснушках, а носик его, чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх попугайчиком.

После родителей все их крестьянское хозяйство досталось детям: изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза, безыменные овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Хрен.

Вместе с этим богатством досталась, однако, детишкам бедным и большая забота о всех этих живых существах. Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны! Вначале, как мы уже говорили, к детям приходили помогать их дальние родственники и все мы, соседи. Но очень что-то скоро умненькие дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо.

И какие это были умные детишки! Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе. Их носики можно было видеть и на колхозных полях, лугах, на скотном дво-

ре, на собраниях, в противотанковых рвах: носики такие зазорные.

В этом селе мы, хотя и приезжие люди, знали хорошо жизнь каждого дома. И теперь можем сказать: не было ни одного дома, где бы жили и работали так дружно, как жили наши любимцы.

Точно так же, как и покойная мать, Настя вставала далеко до солнца, в предрассветный час, по трубе пастуха. С хворостиной в руке выгоняла она свое любимое стадо и катилась обратно в избу. Не ложась уже больше спать, она растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед и так хлопотала по хозяйству до ночи.

Митраша выучился у отца делать деревянную посуду, бочонки, шайки, лоханки. У него есть ладило¹ — фуганок длиной больше чем в два его роста. И этим ладилом он подгоняет дощечки одну к одной, складывает и обдерживает железными или деревянными обручами. При корове двум детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынке деревянную посуду, но добрые люди просят: кому шайку на умывальник, кому нужен под капли бочонок, кому кадушечка — солить огурцы или грибы, или даже простая посудинка с зубчиками — домашний цветок посадить.

Сделает, и потом ему тоже оплатят добром. Но, кроме бондарства, на нем лежит и все мужское хозяйство и общественное дело. Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы и, наверное, что-то смекает.

Очень хорошо, что Настя постарше брата на два года, а то бы он непременно зазнался и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства. Бывает, и теперь Митраша вспомнит, как отец наставлял мать, и вздумает, подражая отцу, тоже учить свою сестру Настю. Но сестренка мало слушается, стоит и улыбается. Тогда Мужичок-в-мешочке начинает злиться и хорохориться и всегда говорит, задрав нос:

— Вот еще!

— Да чего ты хорохоришься? — возражает сестра.

— Вот еще! — сердится брат. — Ты, Настя, сама хорохоришься.

— Нет, это ты!

— Вот еще!

Так, помучив строптивного брата, Настя оглаживает его по затылку, и как только маленькая ручка сестры коснется широкого затылка брата, отцовский задор покидает хозяина.

— Давай-ка вместе полоть! — скажет сестра.

И брат начинает полоть огурцы, или свеклу мотыжить, или картошку сажать.

Да, очень, очень трудно было всем во время Отечественной войны, так трудно, что, наверно, и на всем свете так никогда не

¹ Л а д и л о — бондарный инструмент Переславского района, Ивановской области.

бывало. Вот и детям пришлось хлебнуть много всяких забот, неудач, огорчений. Но их дружба перемогла все, они жили хорошо. И мы опять можем твердо сказать: во всем селе ни у кого не было такой дружбы, как жили между собой Митраша и Настя Веселкины. И думаем, наверное, это горе о родителях так тесно соединило сирот.

II

Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью. Но не все знают, что самая-самая хорошая клюква — сладкая, как у нас говорят, — бывает, когда она перележит зиму под снегом. Эту весеннюю темно-красную клюкву парят у нас в горшках вместе со свеклой и пьют чай с ней, как с сахаром. У кого же нет сахарной свеклы, то пьют чай и с одной клюквой. Мы это сами пробовали — и ничего, пить можно: кислое заменяет сладкое и очень даже хорошо в жаркие дни. А какой замечательный кисель получается из сладкой клюквы, какой морс! И еще в народе у нас считают эту клюкву целебным лекарством от всех болезней.

Этой весной снег в густых ельниках еще держался и в конце апреля, но в болотах всегда бывает много теплее — там в это время снега уже не было вовсе. Узнав об этом от людей, Митраша и Настя стали собираться за клюквой. Еще до свету Настя задала корм всем своим животным. Митраша взял отцовское двуствольное ружье «тулку», манки на рябчиков и не забыл тоже и компас. Никогда, бывало, отец его, отправляясь в лес, не забудет этого компаса. Не раз Митраша спрашивал отца:

— Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен весь, как ладонь. Зачем же тебе еще нужна эта стрелка?

— Видишь, Дмитрий Павлович, — отвечал отец, — в лесу эта стрелка тебе добрей матери: бывает, небо закроется тучами и по солнцу в лесу ты определить не можешь, пойдешь наугад, ошибешься, заблудишься, заголодаешь. Вот тогда взгляни только на стрелку, и она укажет тебе, где твой дом; пойдешь прямо по стрелке домой, и тебя там покормят. Стрелка эта тебе верней друга: бывает, друг твой изменит тебе, а стрелка неизменно всегда, как ее ни верти, все на север глядит.

Осмотрев чудесную вещь, Митраша запер компас, чтобы стрелка в пути зря не дрожала. Он хорошо, по-отцовски, обернул вокруг ног портянки, вправил в сапоги, картузик надел — такой старый, что козырек его разделился надвое: верхняя, кожаная корочка задралась выше солнца, а нижняя спускалась почти до самого носика. Оделся же Митраша в отцовскую старую куртку, вернее же в воротник, соединяющий полосы когда-то хорошей домотканой материи. На животике своем мальчик связал эти полосы кушаком, и отцовская куртка села на нем, как пальто, до са-

мой земли. Еще сын охотника заткнул за пояс топор, сумку с компасом повесил на правое плечо, двуствольную «тулку» на левое — и так сделался ужасно страшным для всех птиц и зверей.

Настя, начиная собираться, повесила себе через плечо на полотенце большую корзину.

— Зачем тебе полотенце? — спросил Митраша.

— А как же, — ответила Настя, — ты разве не помнишь, как мама за грибами ходила?

— За грибами! Много ты понимаешь: грибов бывает много, так плечо режет.

— А клюквы, может быть, у нас еще больше будет.

И только хотел сказать Митраша свое «вот еще», вспомнилось ему, как отец о клюкве сказал, еще когда собирали его на войну.

— Ты это помнишь, — сказал Митраша сестре, — как отец нам говорил о клюкве, что есть палестинка¹ в лесу...

— Помню, — ответила Настя, — о клюкве говорил, что знает местечко и клюква там осыпучая, но что он о какой-то палестинке говорил, не знаю. Еще помню, говорил про страшное место Слепую елань².

— Вот там, возле елани, и есть палестинка, — сказал Митраша. — Отец говорил: идите на Высокую гриву и после того держите на север и, когда перевалите через Звонкую борину, держите все прямо на север и увидите — там придет вам палестинка, вся красная, как кровь, от одной только клюквы. На этой палестинке еще никто не бывал.

Митраша говорил это уже в дверях. Настя во время рассказа вспомнила: у нее от вчерашнего дня остался целый, нетронутый чугунок вареной картошки. Забыв о палестинке, она тихонечко шмыгнула к загнетке и опрокинула в корзину весь чугунок.

«Может быть, еще и заблудимся, — подумала она. — Хлеба у нас взято довольно, есть бутылка молока, и картошка, может быть, тоже пригодится».

А брат в это время, думая, что сестра все стоит за его спиной, рассказывал ей о чудесной палестинке и что, правда, на пути к ней есть Слепая елань, где много погибло и людей, и коров, и коней.

— Ну, так что это за палестинка? — спросила Настя.

— Так ты ничего не слыхала! — спохватился он.

И терпеливо повторил ей уже на ходу все, что слышал от отца о не известной никому палестинке, где растет сладкая клюква.

¹ П а л е с т и н к о й называют в народе какое-нибудь отменно приятное местечко в лесу.

² Е л а н ь — топкое место в болоте, все равно что прорубь на льду.

Блудово болото, где и мы сами не раз тоже блуждали, начиналось, как почти всегда начинается большое болото, непроходимую зарослью ивы, ольхи и других кустарников. Первый человек прошел эту приболотицу с топором в руке и вырубил проход для других людей. Под ногами человеческими после осели кочки, и тропа стала канавкой, по которой струилась вода. Дети без особого труда перешли эту приболотицу в предрассветной темноте. И когда кустарники перестали заслонять вид впереди, при первом утреннем свете им открылось болото, как море. А впрочем, оно же и было, это Блудово болото, дном древнего моря. И как там, в настоящем море, бывают острова, как в пустынях оазисы, так и в болотах бывают холмы. У нас в Блудовом болоте эти холмы песчаные, покрытые высоким бором, называются борами. Пройдя немного болотом, дети поднялись на первую борину, известную под названием Высокая грива. Отсюда, с высокой пролысинки, в серой дымке первого рассвета чуть виднелась борина Звонкая.

Еще не доходя до Звонкой борины, почти возле самой тропы, стали показываться отдельные кроваво-красные ягоды. Охотники за клюквой поначалу клали эти ягоды в рот. Кто не пробовал в жизни своей осеннюю клюкву и сразу бы хватил весенней, у него бы дух захватило от кислоты. Но деревенские сироты знали хорошо, что такое осенняя клюква, и оттого когда теперь ели весеннюю, то повторяли:

— Какая сладкая!

Борина Звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку, покрытую и теперь, в апреле, темно-зеленой брусничной травой. Среди этой зелени прошлого года кое-где виднелись новые цветочки белого подснежника и лиловые мелкие и ароматные цветочки волчьего лыка.

— Они хорошо пахнут, попробуй сорви цветочек волчьего лыка, — сказал Митраша.

Настя попробовала надломить прутик стебелька и никак не могла.

— А почему это лыко называется волчьим? — спросила она.

— Отец говорил, — ответил брат, — волки из него себе корзинки плетут.

И засмеялся.

— А разве тут есть еще волки?

— А как же! Отец говорил, тут есть страшный волк, Серый Помещик.

— Помню: тот самый, что порезал перед войной наше стадо.

— Отец говорил, он живет теперь на Сухой речке, в завалах.

— Нас с тобой он не тронет?

— Пусть попробует! — ответил охотник с двойным козырьком.

Пока дети так говорили и утро подвигалось все больше к рассвету, борина Звонкая наполнялась птичьими песнями, воем, стоном и криком зверьков. Не все они были тут, на борине, но с болота сырого, глухого все звуки собирались сюда. Борина с лесом сосновым и звонким на суходоле отзывалась всему.

Но бедные птички и зверушки, как мучились они, стараясь выговорить какое-то общее всем, единое прекрасное слово! И даже дети, такие простые, как Настя и Митраша, понимали их усилие. Им всем хотелось сказать одно только какое-то слово прекрасное.

Видно, как птица поет на сучке и каждое перышко дрожит у нее от усилия. Но все-таки слова, как мы, они сказать не могут, и им приходится выпевать, выкрикивать, выстукивать.

— Тэк-тэк! — чуть слышно постукивает огромная птица глухарь в темном лесу.

— Шварк-шварк! — дикий селезень в воздухе пролетал над речкой.

— Кряк-кряк! — дикая утка кряква на озере.

— Гу-гу-гу! — красная птичка снегирь на березе.

Бекас, небольшая серая птичка с носом длинным, как сплюснутая шпилька, раскатывается в воздухе диким барашком. Вроде как бы «жив, жив!» кричит большой кулик кроншнеп. Тетерев там где-то бормочет и чуфыкает, белая куропатка, как будто ведьма, хохочет.

Мы, охотники, давно, с детства своего, слышим эти звуки и знаем их и различаем. Мы радуемся и хорошо понимаем, над каким словом все они трудятся и не могут сказать. Вот почему мы, когда придем в лес на рассвете и услышим, так и скажем им, как людям, это слово:

— Здравствуйте!

И как будто они тогда тоже обрадуются, как будто тогда они тоже все подхватят чудесное слово, слетевшее с языка человеческого. И закрякают в ответ, и зачуфыкают, и затэтэкают, и зашваркают, и закаркают, стараясь всеми голосами этими ответить нам:

— Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!

Но вот среди всех этих звуков вырвался один, ни на что не похожий.

— Ты слышишь? — спросил Митраша.

— Как же не слышать! — ответила Настя. — Давно слышу, и как-то страшно.

— Ничего нет страшного! Мне отец говорил и показывал: это так весной заяц кричит.

— А зачем так?

— Отец говорил, он кричит: «Здравствуй, зайчиха!»

— А это что ухаает?

— Отец говорил: это ухаает выпь, бык водяной.

— И чего он ухаает?

— Отец говорил, у него есть тоже своя подруга и он ей по-своему тоже так говорит, как и все: «Здравствуй, выпиха!»

И вдруг стало свежо и бодро, как будто вся земля сразу умылась, и небо засветилось, и все деревья запахли корой своей и почками. Вот тогда, как будто над всеми звуками вырвался, вылетел и все покрыл собою торжествующий крик, похожий, как если бы все люди радостно, в стройном согласии могли закричать:

— Победа, победа!

— Что это? — спросила обрадованная Настя.

— Отец говорил, это так журавли солнце встречают. Это значит, что скоро солнце взойдет.

Но солнце еще не взошло, когда охотники за сладкой клюквой спустились в большое болото. Тут еще совсем и не начиналось торжество встречи солнца. Над маленькими корявыми елочками и березками серой мглой висело ночное одеяло и глушило все чудесные звуки Звонкой борины. Только слышался тут тягостный, щемящий и нерадостный вой.

Настенька вся сжалась от холода, и в болотной сырости пахнул на нее резкий, одуряющий запах багульника. Маленькой и слабой почувствовала себя Золотая Курочка на высоких ножках перед этой какой-то неминуемой силой гибели.

— Что это, Митраша, — спросила она, ежась, — так страшно воет вдали?

— Отец говорил, — ответил Митраша, — это воют на Сухой речке волки, и, наверное, сейчас это воет волк Серый Помещик. Отец говорил, что все волки на Сухой речке убиты, но Серого убить невозможно.

— Так отчего же он так страшно воет теперь?

— Отец говорил, волки воют весной оттого, что им есть теперь нечего. А Серый еще остался один, вот и воет.

Болотная сырость, казалось, проникала сквозь тело к костям и студила их. И так не хотелось еще ниже спускаться в сырое, топкое болото!

— Мы куда же пойдем? — спросила Настя.

Митраша вынул компас, установил север и, указывая на более слабую тропу, идущую на север, сказал:

— Мы пойдем на север, по этой тропе.

— Нет, — ответила Настя, — мы пойдем вот по этой большой тропе, куда все люди идут. Отец нам рассказывал — помнишь? — какое это страшное место Слепая елань, сколько погибло в нем людей и скота. Нет, нет, Митрашенька, не пойдем туда. Все идут в эту сторону, значит, там и клюква растет.

— Много ты понимаешь! — оборвал ее охотник. — Мы пойдем на север, как отец говорил: там есть палестинка, где еще никто не бывал.

— Вот еще! — воскликнула умная Золотая Курочка. — Отец

наш сказки любил рассказывать, а может быть, вовсе и нет никакой палестинки.

— Понимаешь ты! — рассердился упрямый Мужичок-в-мешочке.

Настя, заметив, что брат начинает сердиться, вдруг улыбнулась и погладила его по затылку. Митраша сразу успокоился, и друзья пошли по тропе, указанной стрелкой, теперь уже не рядом, как раньше, а друг за другом, гуськом.

IV

Лет двести тому назад ветер-сеятель принес два семечка в Блудово болото: семя сосны и семя ели. Оба семечка легли в одну ямку возле большого плоского камня... С тех пор уже лет, может быть, двести эти ель и сосна вместе растут. Их корни с малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород ужасно боролись между собой корнями за питание, сучьями — за воздух и свет. Поднимаясь все выше, толстая стволами, они впивались сухими сучьями в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер, устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья стонали и выли на все Блудово болото, как живые существа. До того это было похоже на стон и вой живых существ, что лисичка, свернутая на моховой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку. До того близок был живым существам этот стон и вой сосны и ели, что одичавшая собака в Блудовом болоте, услышав его, выла от тоски по человеку, а волк выл от неизбывной злобы к нему.

Сюда, к Лежащему камню, пришли дети в то самое время, когда первые лучи солнца, пролетев над низенькими корявыми болотными елочками и березками, осветили Звонкую борину и могучие стволы соснового бора стали как зажженные свечи великого храма природы. Оттуда сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть дети, слабо долетало пение птиц, посвященное восходу великого солнца. И светлые лучи, пролетающие над головами детей, еще не грели. Болотная земля была вся в ознобе, мелкие лужицы покрылись белым ледком.

Было совсем тихо в природе, и дети, озябшие, до того были тихи, что тетерев-косач не обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху, где сук сосны и сук ели сложились, как мостик между двумя деревьями. Устроившись на этом мостике, для него довольно широком, ближе к ели, косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синяя в глубине черного грудь его стала переливать из синего на зеленое. И особенно красив стал его радужный, раскинутый лирой хвост. Завидев солнце над болот-

ными жалкими елочками, он вдруг подпрыгнул на своем высоком мостике, показал свое белое чистейшее белье подхвостья, подкрылья и крикнул:

— Чуф! Ши!

По-тетеревиному «чуф», скорее всего, значило «солнце», а «ши», вероятно, было у них наше «здравствуй».

В ответ на это первое чуфыканье косача-токовика далеко по всему болоту раздалось такое же чуфыканье с хлопаньем крыльев, и вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и садиться вблизи Лежачего камня десятки больших птиц, как две капли воды похожих на косача.

Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда и к ним придут лучи солнца и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользя по верхушкам ближайших, очень маленьких елочек, наконец-то заиграл на щеках у детей. Тогда верхний косач, приветствуя солнце, перестал подпрыгивать и чуфыкать. Он присел низко на мостике у вершины елки, вытянул свою длинную шею вдоль сука и завел долгую, похожую на журчание ручейка песню. В ответ ему тут, где-то вблизи сидящие на земле десятки таких же птиц тоже, каждый петух, вытянув шею, затянули ту же самую песню. И тогда как будто довольно уже большой ручей с бормотаньем побежал по невидимым камешкам.

Сколько раз мы, охотники, выждав темное утро, на зябкой заре с трепетом слушали это пение, стараясь по-своему понять, о чем поют петухи на току. И когда мы по-своему повторяли их бормотанья, то у нас выходило:

Круты перья,
Ур-гур-гу.
Круты перья
Обор-ву, оборву.

Так бормотали дружно тетерева, собираясь в то же время подрагаться. И когда они так бормотали, случилось небольшое событие в глубине еловой густой кроны. Там сидела на гнезде ворона и все время таилась там от косача, токующего почти возле самого гнезда. Ворона очень бы желала прогнать косача, но она боялась оставить гнездо и остудить на утреннем морозе яйца. Стережущий гнездо ворона-самец в это время делал свой облет и, наверное, встретив что-нибудь подозрительное, задержался. Ворона в ожидании самца залегла в гнездо, была тише воды, ниже травы и вдруг, увидев летящего обратно самца, крикнула свое:

— Кра!

Это значило у нее:

— Выручай!

— Кра! — ответил самец в сторону тока, в том смысле, что еще неизвестно, кто кому оборвет круты перья.

Самец, сразу поняв, в чем тут дело, спустился и сел на тот же мостик возле елки у самого гнезда, где косач токовал, только поближе к сосне, и стал выжидать.

Косач в это время, не обращая на самца вороны никакого внимания, выкликнул свое известное всем охотникам:

— Кар-кер-кекс!

И это было сигналом к всеобщей драке всех токующих петухов. Ну и полетели во все стороны круты перья! И тут, как будто по тому же сигналу, ворона-самец мелкими шагами по мостику незаметно стал подбираться к косачу.

Неподвижные, как изваяния, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. Солнце, такое горячее и чистое, вышло против них над болотными елочками. Но случилось на исбе в это время одно облако. Оно явилось, как холодная синяя стрелка, и пересекло собой пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер рванул, елка нажала на сосну, и сосна простонала. Ветер рванул еще раз, и тогда нажала сосна, и ель зарычала.

В это время, отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с Митрашей встали, чтобы продолжать дальше свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой: одна, хорошая, плотная, тропа шла направо, другая, слабенькая, прямо.

Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая на слабую тропу, сказал:

— Нам надо по этой на север.

— Это не тропа! — ответила Настя.

— Вот еще! — рассердился Митраша. — Люди шли, значит, тропа. Нам надо на север. Идем, и не разговаривай больше.

Насте было обидно подчиниться младшему Митраше.

— Кра! — крикнула в это время ворона в гнезде.

И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к косачу на полмостика.

Вторая круто-синяя стрелка пересекла солнце, и сверху стала надвигаться серая хмарь. Золотая Курочка собралась с силами и попробовала уговорить своего друга.

— Смотри, — сказала она, — какая плотная моя тропа, тут все люди ходят. Неужели мы умней всех?

— Пусть ходят все люди, — решительно ответил упрямый Мужичок-в-мешочке. — Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к палестинке.

— Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами, — сказала Настя, — и, наверно, на севере вовсе и нет никакой палестинки. Очень даже будет глупо нам по стрелке идти — как раз не на палестинку, а в самую Слепую елань угодим.

— Ну, ладно, — резко повернул Митраша, — я с тобой больше

спорить не буду: ты иди по своей тропе, куда все бабы ходят за клюквой, я же пойду сам по себе, по своей тропке, на север.

И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище.

Насте бы надо было об этом напомнить ему, но она так сама рассердилась, что, вся красная, как кумач, отвернулась и пошла за клюквой по общей тропе.

— Кра! — закричала ворона.

И самец, быстро перебежав по мостику остальной путь до косача, со всей силой долбанул его. Как ошпаренный, метнулся косач к улетающим тетеревам, но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радужных перышек и погнался и погнался далеко.

Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце от нас, со всеми его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул. Сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, на все Блудово болото зарычали, завывали, застонали.

V

Деревья так жалобно стонали, что из полуобвалившейся картофельной ямы возле сторожки Антипыча вылезла его гончая собака Травка и точно так же, в тон деревьям, жалобно завывала. Зачем же надо было вылезать собаке так рано из теплого, належающего подвала и жалобно выть, отвечая деревьям?

Среди звуков стога, рычания, ворчания, воя в это утро у деревьев иногда выходило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребенок.

Вот этот плач и не могла выносить Травка и, заслышав его, вылезала из ямы в ночь и в полночь. Этот плач сплетенных навеки деревьев не могла выносить собака: деревья животному напоминали о его собственном горе. Уже целых два года прошло, как случилось ужасное несчастье в жизни Травки: умер обожаемый ею лесник, старый охотник Антипыч.

Мы с давних лет ездили к этому Антипычу на охоту, и старик, думается, сам позабыл, сколько ему было лет. Все жил, жил в своей лесной сторожке, и казалось, он никогда не умрет.

— Сколько тебе лет, Антипыч? — спрашивали мы. — Восемьдесят?

— Мало, — отвечал он.

— Сто?

— Много.

Думая, что он это шутит с нами, а сам хорошо знает, мы спрашивали:

— Антипыч, ну брось свои шутки, скажи нам по правде, сколько же тебе лет?

— По правде, — отвечал старик, — я вам скажу, если вы впе-

ред скажете мне, что́ есть правда, какая она, где живет и как ее найти.

Трудно было ответить нам.

— Ты, Антипыч, старше нас, — говорили мы, — и ты, наверное, сам лучше нас знаешь, где правда.

— Знаю, — усмехнулся Антипыч.

— Ну скажи.

— Нет, пока жив я, сказать не могу, вы сами ищите. Ну, а как умирать буду, приезжайте: я вам тогда на ушко перешепну всю правду. Приезжайте!

— Хорошо, приедем. А вдруг не угадаем, когда надо, и ты без нас помрешь?

Дедушка прищурился по-своему, как он всегда щурился, когда хотел посмеяться и пошутить.

— Деточки вы, — сказал он, — не маленькие, пора бы самим знать, а вы всё спрашиваете. Ну ладно уж, когда помирать соберусь и вас тут не будет, я Травке своей перешепчу. Травка! — позвал он.

В хату вошла большая рыжая собака с черным ремешком по всей спине. У нее под глазами были черные полосы с загибом вроде очков. И от этого глаза казались очень большими, и ими она спрашивала:

— Зачем позвал меня, хозяин?

Антипыч как-то особенно поглядел на нее, и собака сразу поняла человека: он звал ее по приятельству, по дружбе, ни для чего, а просто так, пошутить, поиграть... Травка замахала хвостом, стала снижаться на ногах, все ниже и ниже, и, когда подползла так к коленям старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот с шестью парами черных сосков. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ее, она как вдруг вскочит — и лапами на плечи, и чмок и чмок его: и в нос, и в щеки, и в самые губы.

— Ну, будет, будет, — сказал он, успокаивая собаку и вытирая лицо рукавом.

Погладил ее по голове и сказал:

— Ну, будет, теперь ступай к себе.

Травка повернулась и вышла на двор.

— Ну-те, ребята, — сказал Антипыч, — вот Травка, собака гончая, с одного слова все понимает, а вы, глупенькие, спрашиваете, где правда живет. Ладно же, приезжайте; а упустите меня, Травке я все перешепну.

И вот умер Антипыч. Вскоре началась Великая Отечественная война. Другого сторожа на место Антипыча не назначили и сторожку его бросили. Очень ветхий был домик, старше много самого Антипыча, и держался уже на подпорках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с домиком, и он сразу весь развалился, как разваливается карточный домик от одного дыхания младенца.

В один год высокая трава иван-чай проросла через бревнушки, и от всей избушки остался на лесной поляне холмик, покрытый красными цветами. А Травка переселилась в картофельную яму и стала жить в лесу, как и всякий зверь.

Только очень трудно было Травке привыкать к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя. Много раз случалось ей на гону поймать зайца. Подмяв его под себя, она ложилась и ждала, когда Антипыч придет, и часто, вовсе голодная, не позволяла себе есть зайца. Даже если Антипыч почему-нибудь не приходил, она брала зайца в зубы, высоко задирала голову, чтобы он не болтался, и тащила домой. Так она и работала на Антипыча, но не на себя. Хозяин любил ее, кормил и берег от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось, не один раз на жарком гону она забывала, что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. До того забывалась Травка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипычу и тут иногда, услышав стон деревьев, взбиралась на холм, бывший когда-то избушкой, и выла, и выла...

К этому вою давно уже прислушивался волк, Серый Помещик...

VI

Сторожка Антипыча была вовсе не далеко от Сухой речки, куда несколько лет тому назад, по заявке местных крестьян, приезжала наша «волчья команда». Местные охотники проведали, что большой волчий выводок жил где-то на Сухой речке. Мы приехали помочь крестьянам и приступили к делу по всем правилам борьбы с хищным зверем.

Ночью, забравшись в Блудово болото, мы были по-волчьи и так вызвали ответный вой всех волков на Сухой речке. И так мы точно узнали, где они живут и сколько их. Они жили в самых непроходимых завалах Сухой речки. Тут давным-давно вода боролась с деревьями за свою свободу, а деревья должны были закреплять берега. Вода победила, деревья попадали, а после того и сама вода разбежалась в болоте.

Многими ярусами были навалены деревья и гнили. Сквозь деревья пробилась трава, лианы плюща завили частые молодые осинки. И так создалось «крепкое место», по-нашему, по-охотничьи, или даже, можно сказать, волчья крепость.

Определив место, где жили волки, мы обошли его на лыжах и по лыжнице по кругу в три километра развесили по кустикам на веревочке флаги, красные и пахучие. Красный цвет пугает волков и запах кумача страшит, и особенно боязливо им бывает, если ветерок, пробегая сквозь лес, там и тут шевелит этими флагами.

Сколько у нас было стрелков, столько мы сделали ворот

в непрерывном кругу этих флагов. Против каждого ворот становился где-нибудь за густой елочкой стрелок. Осторожно покрикивая и постукивая палками, загонщики взбудили волков, и они сначала тихонько пошли в свою сторону. Впереди шла сама волчица, за ней молодые переярки и сзади, в стороне, отдельно и самостоятельно, — огромный лобастый матерый волк, известный крестьянам злодей, прозванный Серым Помещиком.

Волки шли очень осторожно. Загонщики нажали. Волчица пошла на рысях. И вдруг...

Стоп! Флаги!

Она повернула в другую сторону, и там тоже:

Стоп! Флаги!

Загонщики нажимали все ближе и ближе. Старая волчица потеряла волчий смысл и, ткнувшись туда, сюда, как придется, нашла себе выход и в самых воротцах была встречена выстрелом в голову всего в десятке шагов от охотника.

Так погибли все волки, но Серый не раз бывал в таких переделках и, услышав первые выстрелы, махнул через флаги. На прыжке в него было пущено два заряда: один оторвал ему левое ухо, другой — половину хвоста.

Волки погибли, но Серый за одно лето порезал коров и овец не меньше, чем резала их раньше целая стая. Из-за кустика можжевельника он дожидался, когда отлучатся или уснут пастухи. И, определив нужный момент, врывался в стадо и подряд резал овец и портил коров. После того, схватив себе одну овцу на спину, мчал ее, прыгая с овцой через изгороди, к себе в недоступное логовище на Сухой речке. Зимой, когда стада в поле не выходили, ему очень редко приходилось ворваться в какой-нибудь скотный двор. Зимой он ловил больше собак в деревнях и питался почти только собаками. И до того обнаглел, что однажды, преследуя собаку, бегущую за санями хозяина, загнал ее в сани и вырвал ее прямо из рук хозяина.

Серый Помещик сделался грозой края, и опять крестьяне приехали за нашей волчьей командой. Пять раз мы пытались его зафлажить, и все пять раз он у нас махал через флаги. И вот теперь, ранней весной, пережив суровую зиму в страшном холоде и голоде, Серый в своем логове дожидался с нетерпением, когда же наконец придет настоящая весна и затрубит деревенский пастух.

В то утро, когда дети между собой поссорились и пошли по разным тропам, Серый лежал голодный и злой. Когда ветер замутил утро и завывли деревья возле Лежачего камня, он не выдержал и вылез из своего логова. Он стал над завалом, поднял голову, подобрал и так тощий живот, поставил единственное ухо на ветер, выпрямил половинку хвоста и завывал.

Какой это жалобный вой! Но ты, прохожий человек, если услышишь и у тебя поднимется ответное чувство, не верь жалости:

воет не собака, вернейший друг человека, это — волк, злейший враг его, самой злобой своей обреченный на гибель. Ты, прохожий, побереги свою жалость не для того, кто о себе воет, как волк, а для того, кто, как собака, потерявшая хозяина, воет, не зная, кому же теперь после него ей послужить.

VII

Сухая речка большим полукругом огибает Блудово болото. На одной стороне полукруга воет собака, на другой воет волк. А ветер нажимает на деревья и разносит их вой и стон, вовсе не зная, кому он служит; ему все равно, кто воет: дерево, собака — друг человека или волк — злейший враг его, — лишь бы выл. Ветер предательски доносит волку жалобный вой покинутой человеком собаки. И Серый, разобрав живой стон собаки от стона деревьев, тихонечко выбрался из завалов и с настороженным единственным ухом и прямой половинкой хвоста поднялся на взлобок. Тут, определив место воя возле сторожки Антипыча, с холма прямо на широких махах пустился в том направлении.

К счастью для Травки, сильный голод заставил ее прекратить свой печальный плач или, может быть, призыв к себе нового человека. Может быть, для нее, в ее собачьем понимании, Антипыч вовсе даже не умирал, а только отвернул от нее лицо свое. Может быть, она даже и так понимала, что «весь человек» — это и есть один Антипыч со множеством лиц. И если одно лицо его отвернулось, то, может быть, скоро ее позовет к себе опять тот же Антипыч, только с другим лицом, и она этому лицу будет так же верно служить, как тому...

Так-то, скорее всего, и было: Травка воем своим призывала к себе Антипыча.

И волк, услышав эту ненавистную ему собачью «молитву» о человеке, пошел туда на махах. Повой она еще каких-нибудь минут пять, и Серый схватил бы ее. Но, «помолившись» Антипычу, она почувствовала сильный голод. Она перестала звать Антипыча и пошла для себя искать заячий след.

Это было в то время года, когда ночное животное заяц не ложится при первом наступлении утра, чтобы весь день в страхе лежать с открытыми глазами. Весной заяц долго и при белом свете бродит открыто и смело по полям и дорогам. И вот один старый русак после ссоры детей пришел туда, где они разошлись, и тоже, как они, сел отдохнуть и прислушаться на Лежащем камне. Внезапный порыв ветра с воем деревьев испугал его, и он, прыгнув с Лежащего камня, побежал своими заячьими прыжками, бросая задние ножки вперед, прямо к месту страшной для человека Слепой елани. Он еще хорошенько не вылинял и оставлял следы не только на земле, но еще развешивал зимнюю шерсточку на кустарниках и на старой, прошлогодней высокой траве.

С тех пор, как заяц на камне посидел, прошло довольно времени, но Травка сразу причуяла след русака. Ей помешали погнаться за ним следы на камне двух маленьких людей и их корзины, пахнувшей хлебом и вареной картошкой.

Так вот и стала перед Травкой задача трудная — решить, идти ли ей по следу русака на Слепую елань, куда тоже пошел след одного из маленьких людей, или же идти по человеческому следу, идущему вправо, в обход Слепой елани.

Трудный вопрос решился бы очень просто, если бы можно было понять, который из двух человечков понес с собой хлеб. Вот бы поесть этого хлебца немного и начать гон не для себя и принести зайца тому, кто даст хлеб!

Куда же идти, в какую сторону?

У людей в таких случаях является раздумье, а про гончую собаку охотники говорят: собака скололась.

Так и Травка скололась. И, как всякая гончая в таком случае, начала делать круги с высокой головой, с чутьем, направленным и вверх, и вниз, и в стороны, и с пытливым напряжением глаз.

Вдруг порыв ветра с той стороны, куда пошла Настя, мгновенно остановил быстрый ход собаки по кругу. Травка, постояв немного, даже поднялась вверх на задние лапы, как заяц...

С ней было так однажды еще при жизни Антипыча. Была у лесника трудная работа в лесу по отпуску дров. Антипыч, чтобы не мешала ему Травка, привязал ее у дома. Рано утром, на рассвете, лесник ушел, но только к обеду Травка догадалась, что цепь на другом конце привязана к железному крюку на толстой веревке. Поняв это, она стала на завалинку, поднялась на задние лапы, передними подтянула к себе веревку и к вечеру перемяла ее. Сейчас же после того с цепью на шее она пустилась в поиски Антипыча. Больше полусуток истекло времени с тех пор, как Антипыч прошел, след его простыл и потом был смыт мелким моросливым дождиком, похожим на росу. Но тишина весь день в лесу была такая, что за день ни одна струйка воздуха не переместилась, и тончайшие пахучие частицы табачного дыма из трубки Антипыча провисели в неподвижном воздухе с утра и до вечера. Поняв сразу, что по следам найти Антипыча невозможно, сделав круг с высоко поднятой головой, Травка вдруг попала на табачную струю воздуха и по табаку мало-помалу, то теряя воздушный след, то опять встречаясь с ним, добралась-таки до хозяина.

Был такой случай. Теперь, когда ветер порывом сильным и резким принес в ее чутье подозрительный запах, она окаменела, выждала.

И когда ветер опять рванул, стала, как и тогда, на задние лапы по-заячьи и уверилась: хлеб и картошка были в той стороне, откуда ветер летел и куда ушел один из маленьких человечков.

Травка вернулась к Лежащему камню, сверила запах корзины на камне с тем, что ветер нанес. Потом она проверила след другого маленького человечка и тоже заячий след.

Можно догадываться, она так подумала:

«Заяц-русак пошел прямым следом на дневную лёжку, он где-нибудь тут же недалеко, возле Слепой елани, и лег на весь день и никуда не уйдет... А тот человечек с хлебом и картошкой может уйти. Да и какое же может быть сравнение: трудиться, надрываться, гоняя для себя зайца, чтобы разорвать его и сожрать самому, или же получить кусок хлеба и ласку от руки человека и, может быть, даже найти в нем Антипыча...»

Поглядев еще раз внимательно в сторону прямого следа, на Слепую елань, Травка окончательно повернулась в сторону тропы, обходящей елань с правой стороны, еще раз поднялась на задние лапы, уверясь, вильнула хвостом и рысью побежала туда.

VIII

Слепая елань, куда повела Митрашу стрелка компаса, было место погибельное, и тут на веках немало затянуло в болото людей и еще больше скота. И, уж конечно, всем, кто идет в Блудово болото, надо хорошо знать, что это такое — Слепая елань.

Мы это так понимаем, что все Блудово болото, со всеми своими огромными запасами горючего, торфа, есть кладовая солнца. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его как наследство другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям-растениям передать все свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца как торф достается человеку от солнца в наследство.

Блудово болото содержит огромные запасы горючего, но слой торфа не везде одинаковой толщины. Там, где сидели дети, у Лежащего камня, растения слой за слоем ложились друг на друга тысячи лет. Тут был старейший пласт торфа, но дальше, чем ближе к Слепой елани, слой становился все моложе и тоньше.

Мало-помалу, по мере того как Митраша продвигался вперед по указанию стрелки, тропы и кочки под его ногами становились не просто мягкими, как раньше, а полужидкими. Ступит ногой как будто на твердое, а нога уходит, и становится страшно: не совсем ли в пропасть уходит нога? Попадаются какие-то вертявые кочки, приходится выбирать место, куда ногу поставить. А потом и так пошло, что ступишь, а у тебя под ногой от этого вдруг, как в животе, заурчит и побежит куда-то под болотом.

Земля под ногой стала как гамак, подвешенный над тинистой бездной. На этой подвижной земле, на тонком слое сплетенных между собой корнями и стеблями растений, стоят редкие маленькие корявые и заплесневелые елочки. Кислая болотная почва не дает им расти, и им, таким маленьким, лет уже по сто, а то и побольше... Елочки-старушки — не как деревья в бору, все одинаковые, высокие, стройные, дерево к дереву, колонна к колонне, свеча к свече. Чем старше старушка на болоте, тем кажется она чуднее. То вот одна голый сук подняла, как руку, чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке, и она ждет тебя, чтобы хлопнуть; третья присела зачем-то; четвертая стоя вяжет чулок. И так все: что ни елочка, то непременно на что-то похожа.

Слой под ногами у Митраши становился все тоньше и тоньше, но растения, наверно, очень крепко сплелись и хорошо держали человека, и, качаясь и покачивая все далеко вокруг, он шел и шел вперед. Митраше оставалось только верить тому человеку, кто шел впереди его и оставил даже тропу после себя.

Очень волновались старушки-елки, пропуская между собой мальчика с длинным ружьем, в картузе с двумя козырьками. Бывает, одна вдруг поднимется, как будто хочет смельчака палкой ударить по голове, и закроет собой впереди всех других старушек. А потом опустится, и другая тянет к тропе костлявую руку.

Теперь уже непрерывно от каждого шага поднимается под землей урчанье и ворчанье.

Вдруг над головой, совсем близко, показывается головка с хохолком, и встревоженный на гнезде чибис с круглыми черными крыльями и белыми подкрыльями резко кричит:

— Чьи вы, чьи вы?

— Жив, жив! — как будто отвечая чибису, кричит большой кулик кроншнеп, птица серая, с большим кривым клювом.

И черный ворон, стерегущий свое гнездо на борине, облетая по сторожевому кругу болото, заметил маленького охотника с двойным козырьком. Весной и у ворона тоже является особенный крик, похожий на то, как если человек крикнет горлом и в нос: «Дрон-тон!» Есть непонятные и неуловимые нашим ухом оттенки в основном звуке, и оттого мы не можем понять разговор воронов, а только догадываемся, как глухонемые.

— Дрон-тон! — крикнул сторожевой ворон в том смысле, что какой-то маленький человечек с двойным козырьком и ружьем близится к Слепой елани и что, может быть, скоро будет пожива.

— Дрон-тон! — ответила издали на гнезде ворон-самка.

И это значило у нее:

— Слышу и жду!

Сороки, состоящие с воронами в близком родстве, заметили переключку воронов и застрекотали. И даже лисичка после неудачной охоты за мышами наострила ушки на крик ворона.

Митраша все это слышал, но ничуть не трусил: что ему

было трусить, если под его ногами была тропа человеческая! Шел такой же человек, как и он, значит, и он сам, Митраша, мог по ней смело идти. И, услышав ворона, он даже запел:

Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой!

Пение подбодрило его еще больше, и он даже смекнул, как ему сократить трудный путь по тропе. Поглядывая себе под ноги, он заметил, что нога его, опускаясь в грязь, сейчас же собирает туда в ямку воду. Так и каждый человек, проходя по тропе, спускал воду из моха пониже, и оттого на осушенной бровке, рядом с ручейком тропы, по ту и другую сторону аллейкой вырастала высокая сладкая трава белоус. По этой — не желтого цвета, как всюду было теперь, ранней весной, а скорее цвета белого — траве можно было далеко вперед себя понять, где проходит тропа человеческая. Вот Митраша увидел: его тропа круто заворачивает влево и туда идет и там совсем исчезает. Он проверил по компасу: стрелка глядела на север, тропа уходила на запад.

— Чьи вы? — закричал в это время чибис.

— Жив, жив! — ответил кулик.

— Дрон-тон! — еще уверенней крикнул ворон.

И кругом в елочках затрещали сороки.

Оглядев местность, Митраша увидел прямо перед собой чистую, хорошую поляну, где кочки, постепенно снижаясь, переходили в совершенно ровное место. Но самое главное, что он увидел, — это что совсем близко по той стороне поляны змеилась высокая трава белоус — неизменный спутник тропы человеческой. Узнавая по направлению белоуса тропу, идущую не прямо на север, Митраша подумал: «Зачем же я буду поворачивать налево, на кочки, если тропа вон, рукой подать, виднеется там, за полянкой!»

И он смело пошел вперед, пересекая чистую полянку...

.

— Эх, вы! — бывало, говорил нам Антипыч, когда мы провалимся в болоте, придем домой грязные, мокрые. — Ходите вы, ребята, одетые и обутые.

— А то как же? — спрашивали мы.

— Ходили бы, — отвечал он, — голенькие и разутые.

— Зачем же голенькие и разутые?

А он то-то над нами покатывался.

Так мы ничего и не понимали, чему смеялся старик.

Теперь только, через много лет, приходят в голову слова Антипыча, и все становится понятным; обращал к нам Антипыч эти слова, когда мы, ребяташки, задорно и уверенно посвистывая, говорили о том, чего еще вовсе не испытали. Антипыч, предлагая

ходить нам голенькими и разутыми, только не договаривал: «Не зная броду, не лезьте в воду».

Так вот и Митраша. И благоразумная Настя предупреждала его. И трава белоус показывала направление обхода елани. Нет! Не зная броду, оставил выбитую тропу человеческую и прямо полез в Слепую елань. А между тем тут-то вот именно, на этой полянке, вовсе прекращалось сплетение растений, тут была елань, то же самое, что зимой в пруду прорубь. В обыкновенной елани всегда бывает видна хоть чуть-чуть водица, прикрытая большими белыми прекрасными купавами, водяными лилиями. Вот за то эта елань и называлась Слепою, что по виду ее было невозможно узнать.

Митраша по елани шел вначале лучше, чем даже раньше шел по болоту. Постепенно, однако, ноги его стали утопать все глубже и глубже, и становилось все труднее и труднее вытаскивать их обратно. Тут лосю хорошо, у него страшная сила в длинной ноге, и, главное, он не задумывается и мчится одинаково и в лесу и в болоте. Но Митраша, почуяв опасность, остановился и призадумался над своим положением. В один миг остановки он погрузился по колени, в другой миг ему стало выше колен. Он еще мог бы, сделав усилие, вырваться из елани обратно. И надумал было он повернуться, положить ружье на болото и, опираясь на него, выскочить. Но тут же, совсем недалеко от себя впереди, увидел высокую белую траву, на следу человеческом.

— Перескочу! — сказал он.

И рванулся.

Но было уже поздно. Сгоряча, как раненый — пропадать, так уж пропадать! — на авось, рванулся еще, и еще, и еще. И почувствовал себя плотно схваченным со всех сторон по самую грудь. Теперь даже и сильно дыхнуть ему нельзя было, при малейшем движении его тянуло вниз. Он мог сделать только одно: положить плашмя ружье на болото и, опираясь на него двумя руками, не шевелиться и успокоить поскорее дыхание. Так он и сделал: снял с себя ружье, положил его перед собой, оперся на него той и другой рукой.

Внезапный порыв ветра принес ему пронзительный Настин крик:

— Митраша!

Он ей отвечал.

Но ветер был с той стороны, где была Настя, и уносил его крик в ту сторону Блудова болота, на запад, где без конца были только елочки. Одни сороки отозвались ему и, перелетая с елочки на елочку с обычным их тревожным стрекотанием, мало-помалу окружили всю Слепую елань и, сидя на верхних пальчиках елок, тонкие, носатые, длиннохвостые, стали трещать, одни вроде: «Дри-ти-ти!», другие: «Драта-та!»

— Дрон-тон! — крикнул ворон сверху.

И, мгновенно остановив шумный помах своих крыльев, резко бросил себя вниз и опять раскрыл крылья почти над самой головой человечка.

Маленький человек не решился даже показать ружье черному вестнику своей гибели.

И очень умные на всякое поганое дело сороки смекнули о полном бессилии погруженного в болото маленького человека. Они соскочили с верхних пальчиков елок на землю и с разных сторон начали скачками-прыжками свое сорочье наступление.

Маленький человек с двойным козырьком кричать перестал. По его загорелому лицу, по щекам блестящими ручейками потекли слезы.

IX

Кто никогда не видал, как растет клюква, тот может очень долго идти по болоту и не замечать, что он по клюкве идет. Вот, взять ягоду чернику — та растет, и ее видишь: стебелечек тоненький тянется вверх, по стебельку, как крылышки, в разные стороны зеленые маленькие листики, и у листиков сидят мелким горошком черничинки, черные ягодки с синим пушком. Так же брусника: кровяно-красная ягода, листики темно-зеленые, плотные, не желтеют даже под снегом, и так много бывает ягоды, что место кажется кровью полито. Еще растет в болоте голубика кустиком — ягода голубая, более крупная, не пройдешь, не заметишь. В глухих местах, где живет огромная птица глухарь, встречается костяника — красно-рубиновая ягода кисточкой, и каждый рубинчик в зеленой оправе. Только у нас одна-единственная ягода клюква, особенно ранней весной, прячется в болотной кочке и почти невидима сверху. Только уж когда очень много ее соберется на одном месте, заметишь сверху и подумаешь: «Вот кто-то клюкву рассыпал». Наклонишься взять одну, попробовывать, и тянешь вместе с одной ягодинкой зеленую ниточку со многими клюквинками. Захочешь — и можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье крупных кровяно-красных ягод.

То ли, что клюква — ягода дорогая весной, то ли, что полезная и целебная и что чай с ней хорошо пить, только жадность при сборе ее у женщин развивается страшная. Одна старушка у нас раз набрала такую корзину, что и поднять не могла. И отсыпать ягоду или вовсе бросить корзину тоже не посмела. Да так чуть и не померла возле полной корзины.

А то бывает, одна женщина нападет на ягоду и, оглядев кругом — не видит ли кто? — приляжет к земле на мокрое болото и ползает, и уж не видит, что к ней ползет другая, не похожая во все даже и на человека. Так встретятся одна с другой — и ну цапаться!

Вначале Настя срывала с плети каждую ягодку отдельно,

для каждой красненькой наклонялась к земле. Но скоро из-за одной ягодки наклоняться перестала, ей больше хотелось.

Она стала уже теперь догадываться, где не одну-две ягодки можно взять, а целую горсточку, и стала наклоняться только за горсточкой. Так она ссыпает горсточку за горсточкой, все чаще и чаще, а хочется все больше и больше.

Бывало, раньше, дома часу не поработает Настенька, чтобы не вспомнился брат, чтобы не захотелось с ним перекликнуться.

А вот теперь он ушел один неизвестно куда, она и не помнит, что ведь хлеб-то у нее, что любимый брат там где-то, в темном болоте, голодный идет. Да она и о себе самой забыла и помнит только о клюкве, и ей хочется все больше и больше.

Из-за чего же ведь и весь сыр-бор загорелся у нее при споре с Митрашей: именно, что ей захотелось идти по набитой тропе. А теперь, следуя ощупью за клюквой — куда клюква ведет, туда и она, — Настя незаметно сошла с набитой тропы.

Было только один раз вроде пробуждения от жадности: она вдруг поняла, что где-то сошла с тропы. Повернула туда, где, показалось, проходила тропа, но там тропы не было. Она бросилась было в другую сторону, где маячили два дерева сухие с голыми сучьями, — там тоже тропы не было. Тут-то бы к случаю и вспомнить ей про компас, как о нем говорил Митраша, и своего-то брата, своего любимого вспомнить, что он голодный идет, и, вспомнив, перекликнуться с ним...

И только-только бы вспомнить, как вдруг Настенька увидела такое, что не всякой клюквеннице достается хоть раз в жизни своей увидеть...

В споре своем, по какой тропке идти, дети одного не знали: что большая тропа и малая, огибая Слепую елань, обе сходились на Сухой речке и там, за Сухой, больше уже не расходясь, в конце концов выводили на большую переславскую дорогу. Большим полукругом Настина тропа огибала по суходолу Слепую елань, Митрашина тропа шла напрямик возле самого края елани. Не сплошай он, не упустит из виду траву белоус на тропе человеческой, он давным-давно бы уже был на том месте, куда пришла только теперь Настя. И это место, спрятанное между кустиками можжевельника, и была как раз та самая палестинка, куда Митраша стремился по компасу. Приди сюда Митраша голодный и без корзины, что бы ему было тут делать, на этой палестинке кроваво-красного цвета!

На палестинку пришла Настя с большой корзиной, с большим запасом продовольствия, забытым и покрытым кислой ягодой.

И опять бы девочке, похожей на золотую курочку на высоких ногах, подумать при радостной встрече с палестинкой о брате своем и крикнуть ему:

— Милый друг, мы пришли!

Ах, ворон, ворон, вещая птица! Живешь ты, может быть,

сам триста лет, и кто породил тебя, тот в яичке своем пересказал все, что он тоже узнал за свои триста лет жизни. И так от ворона к ворону переходила память обо всем, что было в этом болоте за тысячу лет. Сколько же ты, ворон, видел и знаешь, и отчего ты хоть один раз не выйдешь из своего вороньего круга и не перенесешь к сестре на своих могучих крыльях весточку о брате, погибающем в болоте от своей отчаянной и бессмысленной смелости! Ты бы, ворон, сказал им...

— Дрон-тон! — крикнул ворон, пролетая над самой головой погибающего человека.

— Слышу! — тоже в таком же «дрон-тон» ответила ему на гнезде ворониха. — Только успевай, урви чего-нибудь, пока его совсем не затянуло болото.

— Дрон-тон! — крикнул второй раз ворон-самец, пролетая над девочкой, ползающей почти рядом с погибающим братом по мокрому болоту. И это «дрон-тон» у ворона значило, что от этой ползающей девочки вороновой семье, может быть, еще больше достанется.

На самой середине палестинки не было клюквы. Тут выдавался холмистой куртинкой частый осинник, и в нем стоял рогатый великан лось. Посмотреть на него с одной стороны — покажется, он похож на быка, посмотреть с другой — лошадь и лошадь: и стройное тело, и стройные ноги сухие, и мурло с тонкими ноздрями. Но как выгнуто это мурло, какие глаза и какие рога! Смотришь и думаешь: а может быть, и нет ничего, ни быка, ни коня, а так, складывается что-то большое, серое в частом сером осиннике. Но как же складывается из осинника, если вот ясно видно, как толстые губы чудовища прилепнулись к дереву и на нежной осинке остается узкая белая полоска: это чудовище так кормится. Да почти и на всех осинках виднеются такие загрызы. Нет, не видение в болоте эта громада. Но как понять, что на осиновой корочке и лепестках болотного трилистника может вырасти такое большое тело?

Откуда же у человека при его могуществе берется жадность даже к кислой ягоде клюкве? Лось, обирая осинку, с высоты своей спокойно глядит на ползающую девочку, как на всякую ползающую тварь.

Ничего не видя, кроме своей клюквы, ползет она и ползет к большому черному пню. Еле передвигает за собой большую корзину, вся мокрая и грязная — прежняя Золотая Курочка на высоких ногах.

Лось ее и за человека не считает: он смотрит равнодушно, как мы на бездушные камни.

А большой черный пень собирает в себя лучи солнца и сильно нагревается. Вот уже начинает вечереть, и воздух и все кругом охлаждается. Но пень, черный и большой, еще сохраняет тепло. На него выползли из болота и припали к теплу шесть

маленьких ящериц; четыре бабочки лимонницы, сложив крылышки, припали усиками; большие черные мухи прилетели ночевать. Длинная клюквенная плеть, цепляясь за стебельки трав и неровности, оплела черный теплый пенёк и, сделав на самом верху несколько оборотов, спустилась по ту сторону.

Ядовитые змеи — гадюки в это время года стерегут тепло, и одна огромная, в полметра длиной, вползла на пенёк и свернулась колечком на клюкве.

А девочка тоже ползла по болоту, не поднимая вверх высоко головы. И так она приползла к горелому пню и дернула за ту самую плеть, где лежала змея. Гади́на подняла голову и зашипела.

Тогда-то наконец Настя очнулась, вскочила, и лось, узнав в ней человека, прыгнул из осинника и, выбрасывая вперед сильные длинные ноги-ходули, помчался легко по вязкому болоту, как мчится по сухой тропинке заяц-русак.

Испуганная лосем, Настенька изумленно смотрела на землю: гадюка по-прежнему лежала, свернувшись колечком, в теплом луче солнца. Насте представилось, будто это она сама осталась там, на пне, и теперь вышла из шкуры змеиной и стоит, не понимая, где она.

Совсем недалеко стояла и смотрела на нее большая рыжая собака с черным ремешком на спине. Собака эта была Травка, и Настя даже вспомнила ее: Антипыч не раз приходил с ней в село. Но кличку собаки вспомнить она не могла верно и крикнула ей:

— Муравка, Муравка, я дам тебе хлеба!

И потянулась к корзине за хлебом. Доверху корзина была наполнена клюквой, и под клюквой был хлеб. Сколько же времени прошло, сколько клюквинок легло с утра до вечера, пока огромная корзина наполнилась! Где же был за это время брат, голодный, и как она забыла о нем, как она забыла сама себя и все вокруг!

Она опять поглядела на пенёк, где лежала змея, и вдруг пронзительно закричала:

— Братец, Митраша!

И, рыдая, упала возле корзины, наполненной клюквой.

Вот этот пронзительный крик и долетел тогда до елани. И Митраша это слышал и ответил, но порыв ветра тогда унес крик его в другую сторону, где жили одни только сороки.

Х

Тот сильный порыв ветра, когда крикнула бедная Настя, был еще не последним перед тишиной вечерней зари. Солнце в это время проходило вниз через толстое облако и выбросило оттуда на землю золотые ножки своего трона.

И тот порыв был еще не последним, когда в ответ на крик Насти закричал Митраша.

Последний порыв был, когда солнце погрузило как будто под землю золотые ножки своего трона и, большое, чистое, красное, нижним краешком своим коснулось земли. Тогда на суходоле запел свою милую песенку маленький певчий дрозд белобровик. Несмело возле Лежачего камня на успокоенных деревьях затоковал косач-токовик. И журавли прокричали три раза не как утром: «Победа!» — а похоже на: «Спите. Но помните: мы вас всех скоро разбудим, разбудим, разбудим!»

День кончился не порывом ветра, а последним легким дыханием. Тогда наступила полная тишина, и везде стало все слышно, даже как пересвистывались рябчики в зарослях Сухой речки.

В это время, почуяв беду человеческую, Травка подошла к рыдающей Насте и лизнула ее соленую от слез щеку. Настя подняла было голову, поглядела на собаку и так, ничего не сказав ей, опустила голову обратно и положила ее прямо на ягоду. Сквозь клюкву Травка явственно чуяла хлеб, и ей ужасно хотелось есть, но позволить себе покопаться лапами в клюкве она никак не могла. Вместо того, чуя беду человеческую, она подняла высоко голову и завывала.

Мы как-то раз, помнится, давным-давно тоже так под вечер ехали, как в старину было, лесной дорогой на тройке с колокольчиком. И вдруг ямщик осадил тройку; колокольчик замолчал; вслушавшись, ямщик нам сказал:

— Беда!

Мы сами что-то услышали.

— Что это?

— Беда какая-то: собака воеет в лесу.

Мы тогда так и не узнали, какая была там беда.

Может быть, тоже где-то в болоте тонул человек и, провожая его, выла собака, верный друг человека.

В полной тишине, когда выла Травка, Серый сразу понял, что это было на палестинке, и скорей-скорей замахал туда напрямик.

Только очень скоро Травка выть перестала, и Серый остановился переждать, когда вой снова начнется.

А Травка в это время сама услышала в стороне Лежачего камня знакомый тоненький и редкий голосок:

— Тяв! Тяв!

И сразу поняла, что это тьякала лисица по зайцу. И то, конечно, она поняла: лисица нашла след того же самого зайца-русака, что и она понюхала там, на Лежачем камне. И то поняла, что лисице без хитрости никогда не догнать зайца и тьякает она, только чтобы он бежал и морился, а когда утомится и ляжет — тут-то она и схватит его на лёжке. С Травкой после Антипыча так не раз бывало при добывании зайца для пищи. Услыхав такую лисицу, Травка охотилась по волчьему способу: как волк на гону

молча становится на круг и, выждав ревущую по зайцу собаку, ловит ее, так и она, затаиваясь, из-под гона лисицы зайца ловила.

Выслушав гон лисицы, Травка, точно так же как и мы, охотники, поняла круг пробега зайца: от Лежачего камня заяц бежал на Слепую елань и оттуда на Сухую речку, оттуда долго полукругом на палестинку и опять непременно к Лежачему камню.

Поняв это, она прибежала к Лежачему камню и затаилась тут в густом кусту можжевельника.

Недолго пришлось Травке ждать. Тонким слухом своим она услышала недоступное человеческому слуху чавканье заячьей лапы по лужицам на болотной тропе. Лужицы эти выступили на утренних следах Насти. Русак непременно должен был сейчас показаться у самого Лежачего камня.

Травка за кустом можжевельника присела и напружинила задние лапы для могучего броска и, когда увидела уши, бросилась.

Как раз в это время заяц, большой, старый, матерый русак, ковыляя еле-еле, вздумал внезапно остановиться и даже, прижав на задние ноги, послушать, далеко ли тавкает лисица.

Так вот одновременно сошлось — Травка бросилась, а заяц остановился.

И Травку перенесло через зайца.

Пока собака выправлялась, заяц огромными скачками летел уже по Митрашиной тропе прямо на Слепую елань.

Тогда волчий способ охоты не удался: до темноты нельзя было ждать возвращения зайца. И Травка своим собачьим способом бросилась вслед зайцу и, взвизгнув заливисто, мерным, ровным собачьим лаем наполнила всю вечернюю тишину.

Услыхав собаку, лисичка, конечно, сейчас же бросила охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей. А Серый, наконец-то услышав долгожданный лай собаки, понесся на махах в направлении Слепой елани.

XI

Сороки на Слепой елани, услышав приближение зайца, разделились на две партии. Одни остались при маленьком человечке и кричали:

— Дри-ти-ти!

Другие кричали по зайцу:

— Дра-та-та!

Трудно догадаться и разобраться в этой сорочьей тревоге. Сказать, что зовут на помощь, — какая тут помощь! Если на сорочий крик придет человек или собака, сорокам же ничего не достанется. Сказать, что они созывают своим криком все сорочье племя на кровавый пир? Разве что так...

— Дри-ти-ти! — кричали сороки, подскакивая ближе и ближе к маленькому человеку.

Но подскочить совсем не могли: руки у человека были свободны. И вдруг сороки смешались: одна и та же сорока то дрикнет на «и», то дракнет на «а».

Это значило, что на Слепую елань заяц подходит.

Русак уже не один раз увертывался от Травки и хорошо знал, что эта гончая зайца догоняет и что, значит, надо действовать хитростью. Вот почему перед самой еланью, не доходя маленького человека, он остановился и возбудил всех сорок. Все они расселись по верхним пальчикам елок и все закричали по зайцу:

— Дри-та-та!

Но зайцы почему-то этому крику не придают значения и выделяют свои скидки, не обращая на сорок никакого внимания. Вот почему и думается иной раз, что ни к чему это сорочье стрекотанье и так это они, вроде как и люди иногда, от скуки в болтовне просто время проводят.

Заяц, чуть-чуть постояв, сделал свой первый огромный прыжок, или, как охотники говорят, свою скидку, в одну сторону, постояв там, скинулся в другую и через десяток малых прыжков — в третью, и там лег глазами к своему следу, на тот случай, что если Травка разберется в скидках, придет и к третьей скидке, так чтобы можно было вперед увидеть ее...

Да, конечно, умен, умен заяц, но все-таки эти скидки опасное дело: умная гончая тоже понимает, что заяц всегда глядит в свой след, и так исхитряется взять направление на скидках не по следам, а прямо по воздуху, верхним чутьем.

И как же, значит, бьется сердчишко у зайчишки, когда он слышит — лай собаки прекратился, собака скололась и начала делать у места скола молча свой страшный круг...

Зайцу повезло в этот раз. Он понял: собака, начав делать свой круг по елани, с чем-то там встретилась, и вдруг там явственно слышался голос человека и поднялся страшный шум...

Можно догадаться: заяц, услышав непонятный шум, сказал себе что-нибудь вроде нашего «подальше от греха» и — ковыль-ковыль! — тихонечко вышел на обратный след, к Лежащему камню. А Травка, разлетевшись на елани по зайцу, вдруг в десяти шагах от себя глаза в глаза увидела маленького человека и, забыв о зайце, остановилась как вкопанная.

Что думала Травка, глядя на маленького человека в елани, можно легко догадаться. Ведь это для нас все мы разные. Для Травки все люди были, как два человека: один — Антипыч с разными лицами и другой человек — это враг Антипыча. И вот почему хорошая, умная собака не подходит сразу к человеку, а остановится и узнает, ее это хозяин или враг его.

Так вот и стояла Травка и глядела в лицо маленького человека, освещенного последним лучом заходящего солнца.

Глаза у маленького человека были сначала тусклые, мертвые, но вдруг в них загорелся огонек, и вот это заметила Травка.

«Скорее всего, это Антипыч», — подумала Травка.

И чуть-чуть, еле заметно вильнула хвостом.

Мы, конечно, не можем знать, как думала Травка, узнавая своего Антипыча, но догадываться, конечно, можно.

Вы помните, бывало ли с вами так? Бывает, наклонишься в лесу к тихой заводи ручья и там, как в зеркале, увидишь: весь-то человек, большой, прекрасный, как для Травки Антипыч, из-за твоей спины наклонился и тоже смотрится в заводи, как в зеркало. И так он прекрасен там, в зеркале, со всею природой, с облаками, лесами, и солнышко там внизу тоже садится, и молодой месяц показывается, и частые звездочки.

Так вот точно, наверно, и Травке в каждом лице человека, как в зеркале, виднелся весь человек Антипыч, и к каждому стремилась она броситься на шею, но по опыту своему она знала: есть враг Антипыча с точно таким же лицом.

И она ждала.

А лапы ее между тем понемногу тоже засасывало.

Если так дольше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и не вытащишь. Ждать больше нельзя.

И вдруг...

Ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками, ни закат с журавлиным обещанием нового прекрасного дня — ничто, никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для Травки в болоте: она услышала слово человеческое, и какое слово!

Антипыч, как большой, настоящий охотник, назвал свою собаку вначале, конечно, по-охотничьи — от слова «травить», и наша Травка вначале у него называлась Затравка; но после охотничья кличка на языке обобталась, и вышло прекрасное имя Травка. В последний раз, когда приходил к нам Антипыч, собака его называлась еще Затравка. И когда загорелся огонек в глазах маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил имя собаки. Потом омертвелые, синеющие губы маленького человека стали наливаться кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ Травка заметила и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании Травки. Точно так же, как старый Антипыч в самое старое время, новый, молодой и маленький Антипыч сказал:

— Затравка!

Узнав Антипыча, Травка мгновенно легла.

— Ну! Ну! — сказал Антипыч. — Иди ко мне, умница!

И Травка в ответ на слова человека тихонечко поползла.

Но маленький человек звал ее и манил сейчас не совсем прямо от чистого сердца, как думала, наверно, сама Травка. У маленького человека в словах не только дружба и радость была, как думала Травка, а тоже тайлся и хитрый план своего спасения. Если бы он мог пересказать ей понятно свой план, с какой бы ра-

достью бросилась она его спасать! Но он не мог сделать себя для нее понятным и должен был обманывать ее ласковым словом. Ему даже надо было, чтобы она его боялась, а то, если бы она не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча и по-собачьи, со всех ног бросилась бы ему на шею, то неминуемо болото бы затащило в свои недра человека и его друга собаку. Маленький человек просто не мог быть сейчас тем великим человеком, какой мерещился Травке.

Маленький человек принужден был хитрить.

— Затравушка, милая Затравушка! — ласкал он ее сладким голосом.

А сам думал:

«Ну, ползи, только ползи!»

И собака, своей чистой душой подозревая что-то не совсем чистое в ясных словах Антипыча, ползла с остановками.

— Ну, голубушка, еще, еще!

А сам думал:

«Ползи только, ползи!»

И вот понемногу она подползла. Он мог бы уже и теперь, опираясь на распластанное на болоте ружье, наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить по голове. Но маленький хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения собака с визгом радости бросится на него и утопит.

И маленький человек остановил в себе большое сердце. Он замер в точном расчете движения, как боец в определяющем исход борьбы ударе: жить ему или умереть.

Вот еще бы маленький ползок по земле и Травка бы бросилась на шею человеку, но в расчете своем маленький человек не ошибся: мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил большую, сильную собаку за левую заднюю ногу.

Так неужели же враг человека так мог обмануть?

Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась из руки маленького человека, если бы тот, уже достаточно выволоченный, не схватил ее другой рукой за другую ногу.

Мгновенно вслед за тем он лег животом на ружье, выпустил собаку и на четвереньках сам, как собака, переставляя опору ружье все вперед и вперед, подполз к тропе, где постоянно ходил человек и где от ног его по краям росла высокая трава белоус. Тут на тропе он поднялся, тут он отер последние слезы с лица, отряхнул грязь с лохмотьев своих и, как настоящий, большой человек, властно приказал:

— Иди же теперь ко мне, моя Затравка!

Услышав такой голос, такие слова, Травка бросила все свои колебания — перед нею стоял прежний прекрасный Антипыч. С визгом радости, узнав хозяина, кинулась она ему на шею, и большой человек целовал своего друга и в нос, и в глаза, и в уши.

Не пора ли сказать теперь уж, как мы сами думаем о загадочных словах нашего старого лесника Антипыча, когда он обещал нам перешепнуть свою правду собаке, если мы сами его не заста-нем живым? Мы думаем, Антипыч не совсем в шутку об этом сказал. Очень может быть, тот Антипыч, как Травка его пони-мает, или, по-нашему, весь человек в древнем прошлом его, пере-шепнул своему другу собаке какую-то свою большую человече-скую правду, и мы думаем, эта правда есть правда вековой суровой борьбы людей за любовь.

XII

Нам теперь остается уж немного досказать о всех событиях этого большого дня в Блудовом болоте. День, как ни долог был, еще не совсем кончился, когда Митраша выбрался из елани с по-мощью Травки. После бурной радости от встречи с Антипычем деловая Травка сейчас же вспомнила свой прерванный гон по зайцу. И понятно: Травка гончая собака, и дело ее — гонять и да-же иногда догонять зайца для хозяина. Ей было очень тяжело гонять для себя, но для хозяина Антипыча поймать зайца — это все ее счастье. Узнав теперь в Митраше Антипыча, она про-должала свой прерванный круг и вскоре попала на выходной след русака и по этому свежему следу сразу пошла с голосом. Го-лодный Митраша, еле живой, сразу понял, что все спасение его будет в этом зайце, что если он убьет зайца, то огонь добудет выстрелом и, как не раз бывало при отце, испечет зайца в горячей золе.

Осмотрев ружье, переменив подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусту можжевельника.

Еще хорошо можно было видеть на ружье мушку, когда Травка завернула зайца от Лежачего камня на большую Настину тропу, выгнала на палестинку, направила его отсюда на куст мож-жевельника, где таился охотник. Но тут случилось, что Серый, услышав возобновленный гон собаки, выбрал себе как раз тот са-мый куст можжевельника, где стоял охотник, и два охотника, человек и злейший враг его, встретились... Увидев серую морду от себя в пяти каких-то шагах, Митраша забыл о зайце и выстрелил почти в упор.

Серый Помещик окончил жизнь свою без всяких мучений.

Гон был, конечно, сбит этим выстрелом, но Травка дело свое продолжала. Самое же главное, самое счастливое было не заяц, не волк, а что Настя, услышав близкий выстрел, закричала. Мит-раша узнал ее голос, ответил, и она вмиг к нему прибежала. После того вскоре и Травка принесла русака своему новому молодому Антипычу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег.

Настя и Митраша жили от нас через дом, и когда утром заре-

вела у них на дворе голодная скотина, мы первые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей. Мы сразу поняли, что дети дома не ночевали и, скорее всего, заблудились в болоте. Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам выручить детей, если только они еще живы. И только собрались было рассыпаться по болоту во все стороны, глядим, а охотники за сладкой клюквой идут из леса гуськом, и на плечах у них шест с тяжелой корзиной, и рядом с ними Травка, собака Антипыча.

Они рассказали нам во всех подробностях обо всем, что с ними случилось в Блудовом болоте. И всему у нас верили — неслыханный сбор клюквы был налицо. Но не все могли поверить, что мальчик на одиннадцатом году жизни мог убить старого хитрого волка. Однако несколько человек из тех, кто поверил, с веревкой и большими санками отправились на указанное место и вскоре привезли мертвого Серого Помещика. Тогда все в селе на время бросили свои дела и собрались, и даже не только из своего села, а тоже из соседних деревень. Сколько тут было разговоров! И трудно сказать, на кого больше глядели: на волка или на охотника в картузе с двойным козырьком. Когда переводили глаза с волка, говорили:

— А вот смеялись, дразнили: Мужичок-в-мешочке!

— Был мужичок, — отвечали другие, — да сплыл. Кто смел, тот два съел: не мужичок, а герой.

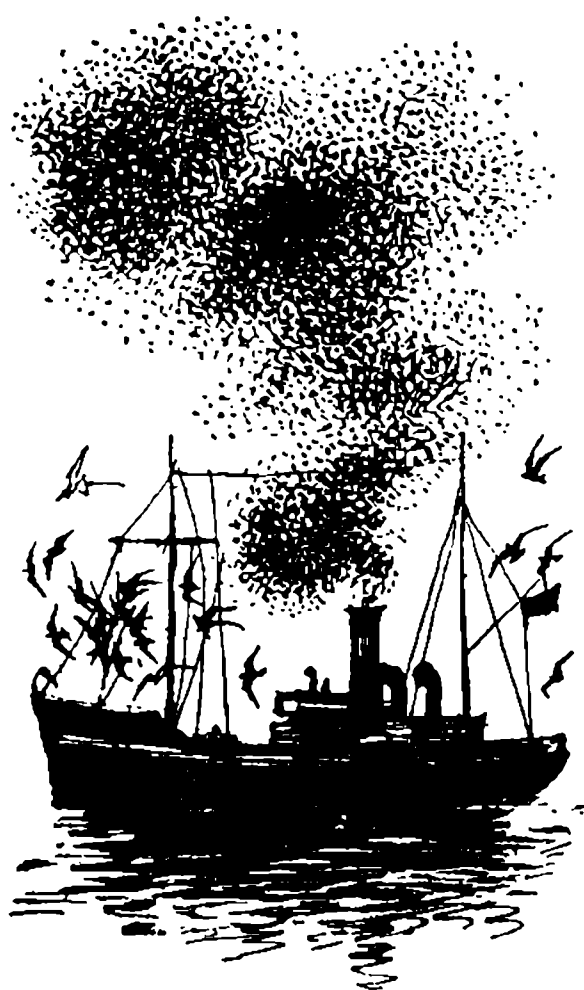
И тогда, незаметно для всех, прежний Мужичок-в-мешочке правда стал переменяться и за следующие два года войны вытянулся, и какой из него парень вышел, высокий, стройный! И стать бы ему непременно героем Отечественной войны, да вот только война-то кончилась.

А Золотая Курочка тоже всех удивила в селе. Никто ее в жадности, как мы, не упрекал; напротив, все одобряли и что она благоразумно звала брата на торную тропу и что так много набрала клюквы. Но, когда из детдома эвакуированных ленинградских детей обратились в село за посильной помощью больным детям, Настя отдала им всю свою целебную ягоду. Тут-то вот мы, войдя в доверие к девочке, узнали от нее, как мучилась она про себя за свою жадность.

Нам остается теперь сказать еще несколько слов о себе, кто мы такие и зачем попали в Блудово болото. Мы разведчики болотных богатств. Еще с первых дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нем горючего, торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для работы большой фабрики лет на сто. Вот какие богатства скрыты в наших болотах, а многие до сих пор только и знают об этих великих кладовых солнца, что в них будто бы черти живут. Все это вздор, и никаких нет в болоте чертей.

БОРИС
ЖИТКОВ

*М*ОРСКИЕ ИСТОРИИ
*Р*АССКАЗЫ
О ЖИВОТНЫХ



О ЛЮДЯХ ТРУДА И ПОДВИГА

В раннем детстве Борис Житков дружил с Корнеем Чуковским. Будущие писатели учились в одном и том же классе Одесской 2-й гимназии. Отец Бориса Житкова был преподавателем математики; трое братьев отца плавали на военных кораблях, отличились в морских сражениях и ушли в отставку адмиралами. Вот от них-то и перешла к племяннику страстная любовь к морю, к дальним путешествиям. Борис отлично изучил морское дело, астрономию и ботанику, свободно говорил по-французски, играл на скрипке, знал множество стихов, любил поэзию. Он и друга своего, Корнея Чуковского, учил тому, что умел сам: плавать и грести, управлять парусником, ловить тарантулов и завязывать морские узлы.

Чуковский не устал восхищаться удивительными способностями своего друга. Но об одном важном обстоятельстве в ту пору и не подозревал — гимназист Боря Житков был теснейшим образом связан с революционным подпольем, и ему, тринадцатилетнему подростку, подпольщики не раз доверяли выполнение секретных заданий. Корней Иванович узнал об этом лишь много лет спустя...

К тому времени, когда Борис Степанович занялся литературным трудом, он успел пройти суровую жизненную школу. Еще будучи студентом математического отделения Новороссийского университета в Одессе, он к началу революции 1905 года обрел твердые идейные убеждения, стал активным бойцом боевого студенческого отряда. В это же время он сдал экзамен на штурмана дальнего плавания, близко сошелся с революционными моряками-черноморцами, был избран членом стачечного матросского комитета. Революционным борцам очень пригодились незаурядные технические знания Житкова — по его чертежам рабочие изготавливали бомбы, которыми восставшие отбивались от озверелых царских сатрапов. По заданию одесских большевиков, которые испытывали острую нужду в оружии, Житков побывал на паруснике в Констанце, Варне, Измаиле и других черноморских городах, нелегально вывез оттуда в Одессу оцинкованные ящики с винтовками и динамитом, сбросил драгоценный груз прямо в море

близ берега, отметив место каждого ящика рыбацкими буйками. Потом к этим обозначенным местам скрытно прибывали на лодках революционные подпольщики, извлекали из воды оружие и переправляли на берег.

Романтика революционной борьбы увлекла Житкова. Став студентом кораблестроительного отделения Политехнического института в Петербурге, куда он поступил после окончания Новороссийского университета, он не прерывал своих связей с большевиками-матросами Балтийского флота, вел революционную работу во время кругосветного плавания на учебно-грузовом судне, где проходил летнюю практику. Здесь, на океанском пароходе, Борис Степанович познал, как говорится, на собственной шкуре всю тяжесть моряцкой службы — от юнги до помощника капитана. Обогнув Европу, корабль, на котором шел Житков, через Суэцкий канал вышел в Красное море. Дальше проплывали живописные берега Африки, острова Мадагаскар. В Индийском океане пришлось выдержать натиск муссона — сильного, напористого ветра, обрушившего на судно высоченные волны. Неизгладимые впечатления остались у Бориса Степановича на всю жизнь от экзотических пейзажей Индии, Цейлона, Китая, Японии. Свой кругосветный рейс пароход завершил во Владивостоке.

Потом были у него другие плавания и новые, не менее интересные встречи с самыми разными людьми, с людьми труда прежде всего. Переполненный необычайно богатыми жизненными впечатлениями, Житков фиксировал их в своих дневниках и письмах друзьям.

А в литературу он вошел неожиданно, сразу. Вошел уже зрелым человеком, когда ему было за сорок и он повидал в жизни многое, очень многое, чего далеко не каждому доводится повидать. Вошел с благословения своего сверстника, своего школьного товарища Корнея Ивановича Чуковского, ставшего известным писателем, крупным литературоведом, одним из зачинателей советской литературы для детей.

Вот как это произошло.

Поздней осенью 1923 года, вернувшись из очередного путешествия, Борис Степанович Житков угодил в больницу, провалялся там чуть не месяц и в тяжелом состоянии, изможденный и усталый, явился на квартиру к своему другу детства.

«Он пробыл у меня целый день, — вспоминал потом об этой встрече Корней Иванович. — К вечеру его мрачность мало-помалу рассеялась, он разговорился с моими детьми и, усевшись среди них на диване, стал рассказывать им о разных морских приключениях. Они слушали его очарованные и, когда он заканчивал свой рассказ, деспотически кричали: «Еще!» Я слушал его рассказы урывками: приходили какие-то люди, постоянно звонил телефон. Но я видел, как увлечены его рассказами дети, и, когда он собрался уходить, я сказал:

— Слушай, Борис, а почему бы тебе не стать литератором? Попробуй опиши приключения, о которых ты сейчас говорил, и, право, выйдет неплохая книжка!

Он отозвался как-то вяло, словно стараясь замять разговор, но я продолжал настаивать и при этом сказал:

— Ты напиши, что напишется, а я прочту и поправлю.

Через несколько дней — гораздо раньше, чем я ожидал, — он принес мне школьную тетрадку, куда убористым почерком была вписана какая-то морская новелла — кажется, одна из тех, какие он рассказывал детям. Каждая страница была сложена вдвое; текст занимал лишь одну половину, другая оставалась свободной, именно для того, чтобы я, как «профессиональный писатель», имел наибольший простор для внесения нужных поправок в рукопись литературного «новичка», «дилетанта».

Я присел к столу, взял карандаш и приготовился редактировать лежавшую передо мною тетрадку, но вскоре с удивлением убедился, что редакторскому карандашу здесь решительно нечего делать, что тот, кого я считал дилетантом, есть опытный литератор, законченный мастер, с изощренной манерой письма, с безошибочным чувством стиля, с огромными языковыми ресурсами. Не было никакого сомнения, что он, этот «начинающий» автор, не напечатавший еще ни единой строки, прошел долгую и очень серьезную литературную школу. Радость моя была безгранична: молодая советская литература для детей и подростков, за процветание которой в то время мы так страстно боролись, приобрела в лице этого сорокалетнего морехода, кораблестроителя, математика, физика свежую, надежную силу».

Чуковский посоветовал Борису Житкову отнести морскую новеллу в детский журнал, показать ее Самуилу Яковлевичу Маршаку, вокруг которого тогда спланивались лучшие силы детской литературы. Начинаящий писатель, капитан дальнего плавания, так и сделал. И в лице Маршака нашел сразу же верного друга, доброжелательного, требовательного и справедливого редактора. «С первых же строк, — написал Самуил Яковлевич в статье «О Борисе Житкове», — его рассказ порастил нас четкостью, простотой, живым, а не книжным языком — точным, метким и характерным. Нам сразу же стало ясно, что перед нами не случайный человек, пробующий силы в литературе, а вполне сложившийся писатель. Вся наша редакция в полном составе вышла в коридор, чтобы приветствовать Бориса Житкова, его зрелый талант и молодой задор».

Борис Степанович был, должно быть, рад такому приему, но, по свойственной ему самолюбивой сдержанности, не обнаружил никаких признаков радости и только удивился, что редакция так быстро прочла его рассказ.

— Ишь ты! На всех парусах... А я, признаться, приготовился к долгому дрейфу.

После этого Борис Житков стал частым гостем, а потом и своим человеком в редакции детского журнала, который некоторое время носил скромное название «Воробей», а впоследствии приобрел более громкое имя — «Новый Робинзон».

Можно, конечно, считать, что в литературу он попал по счастливой случайности, как будто не готовил себя к этой высокой должности. Но факты свидетельствуют об ином. Борис Степанович хотя и не выступал прежде в печати, но о своем литературном призвании думал постоянно, с юных лет писал стихи и прозу, читал написанное друзьям и знакомым, восхищая их по-писательски точными и своеобразными наблюдениями, живыми картинами воспроизведенной действительности, глубокими раздумьями об увиденном и пережитом.

Уже в этих первых художественных набросках, озаренных юмором, добрым и светлым взглядом автора, умеющего о сложных вещах рассказывать просто и выразительно, был отчетливо виден талант литератора. А то, что он не спешил отдавать свои произведения в печать, объяснялось его чрезмерной требовательностью к себе, к своему творчеству. Он досконально изучал классическую литературу — русскую и зарубежную, проявлял интерес к фольклору, народному говору, ибо без этого, как считал он, писателю обойтись нельзя.

Борис Житков постоянно находился в гуще жизни, обогащал свой жизненный опыт знакомством с разными людьми и разными странами, глубоко постигал секреты различных профессий. Кем только не довелось ему быть, прежде чем стать профессиональным писателем: моряком и летчиком, химиком и кораблестроителем, школьным учителем и рыбаком, печатником и дрессировщиком животных, столяром и слесарем, зоологом и электротехником.

Его отличало редкостное умение все делать своими руками, неохватный технический кругозор, радостная увлеченность рабочими профессиями, горячее желание быть полезным другим. Он щедро одаривал знакомых и незнакомых людей обретенными знаниями и личным опытом. Именно эти качества определили прежде всего литературную судьбу Бориса Житкова. Он стал детским писателем, чтобы растить нового человека, научить подрастающую смену любить труд и рабочую профессию, любить труженика-умельца, который превращает повседневную работу в дело чести, доблести и геройства.

Рождалась советская детская литература, и писатели, решившие посвятить свой талант детям, учились писать о новой жизни по-новому, так, как до них прежде никто не писал. Изымались из школьных библиотек книги мистического и реакционного содержания, пропитанные буржуазной идеологией, оторванные от реальной жизни, от насущных требований времени, никого не удовлетворяли книги слащаво-сентиментальные, не дающие ничего ни уму, ни сердцу.

По призыву Максима Горького за писательский труд, за создание для детей книг нового содержания брались непосредственные участники социалистического строительства, «бывалые люди», люди, наделенные литературным талантом. Им было о чем рассказать юным гражданам Советской страны. Это и испытанный командир Красной Армии Аркадий Гайдар, и инженер-химик М. Ильин, и биолог Виталий Бианки, и молодой рабочий ленинградского завода «Большевик» Владимир Беляев, и вчерашние воспитанники ленинградской школы имени Достоевского — «Республики ШКИД» Г. Белых и Л. Пантелеев, и много, много других даровитых литераторов, за плечами у которых была большая, сложная, проникнутая революционной романтикой жизнь.

Одно из самых почетных мест в славной плеяде детских писателей, стоявших у истоков новой детской литературы, занимает Борис Житков. Без его увлекательных повестей и рассказов, пронизанных глубочайшим знанием жизни и смелым воображением, без его научно-художественных книг, воспевающих радость свободного труда, мастерство человека, руки которого способны творить чудеса, невозможно представить начальный этап развития советской детской литературы. И хотя в литературе Борис Житков проработал недолго, всего четырнадцать лет (писатель скончался в Москве 19 октября 1938 года, в возрасте 56 лет), он оставил после себя богатое литературное наследство, которое и по сей день не только не утратило своего художественного, воспитательного значения, но продолжает радовать и духовно обогащать детского читателя.

Диапазон его творчества необычайно широк и многопланен. Тут и знаменитые строго реалистичные «Морские истории», в которых живут, активно действуют мужественные и находчивые герои. Тут и «Рассказы о животных», которые по своей правдивости, точности описаний, по проникновенной силе лиризма наша критика заслуженно ставит в один ряд с детскими рассказами Льва Толстого и Чехова. Тут и первые детские книги о технике и профессиях, написанные очень своеобразно и убедительно, — «Река в упряжке», «Про эту книгу», «Телеграмма», «Сквозь дым и пламя». Тут и первая в мире детская энциклопедия «для четырехлетних граждан», не знающих азбуки, но умеющих «слушать книгу», — «Почемучка» («Что я видел»), о которой Константин Федин сказал такие верные слова:

«Борис Степанович Житков оставил после себя книгу, которая укрепляет за ним славу литературного мастера, заслуженную им при жизни. Эта книга — «Что я видел», книга первых впечатлений ребенка.

Основное достоинство ее в том, что она состоит из личных наблюдений замечательного автора, проникнута его жизненным опытом. В книге нет ничего книжного, заимствованного из литературы. Она представляет собою как бы вызов компиляторству,

тем литераторам «для детей», что делают книги из книг. Она живая. Сотни явлений освещены безошибочным взглядом наблюдателя и описаны в нескольких строках».

Не только о малышовой «Почемучке», но и о других житковских повестях и рассказах можно сказать так: в них живая жизнь, ничего книжного и приблизительного. Он никогда не писал понаслышке, а брал материал, как говорится, из первых рук, глубоко проникал в судьбы, дела и подвиги народные. Каждая из его книг несет в себе заряд неистребимой идейно-нравственной силы, пробуждающий в душе подростка жажду творить, пробовать, искать свое место в строю создателей нового общества.

В советской детской литературе Борис Житков занял свое, присущее его таланту и оригинальной творческой манере положение. Он выступал первопроходцем, показывая юным читателям, каким должен быть настоящий человек — борец и труженик, устремленный к высокой цели, к большим, государственно важным делам.

Писатель знал — ребенок нуждается в примере для подражания, тянется к героической личности. И он искал и находил такого героя в горячих буднях труда, воспевал силу и умелость, духовную красоту труженика.

Целая галерея отважных героев проходит перед нами в «Морских историях», где приключенческая занимательность органично переплелась с психологическим раскрытием внутреннего мира человека, с его беспокойной романтической одухотворенностью, стремлением принести пользу людям.

Характеру героев, действующих в рассказах, под стать и стиль повествования, немногословный, сдержанный, предельно экономный. Писатель строг в выборе художественных деталей, воспроизводит лишь самое необходимое и важное, добивается в каждом своем рассказе, в каждом эпизоде убедительной достоверности, точности в словах и поступках. Перед нами не плод досужей фантазии, не причудливая игра воображения. Перед нами жизненная правда, порой очень суровая и трагичная.

Своих героев писатель показывает, как правило, в решающую минуту, в «звездный час» свершения большого и сложного дела, требующего напряжения всех человеческих сил, воли и смекалки. Они идут на подвиг, рискуя собой, обретая «второе дыхание», совершая невозможное. И делают они это без внешней эффектации — глядите-де, мол, какие мы бесстрашные и храбрые! В своем творческом труде они не только сами начинают чувствовать себя сильнее, чем прежде, но и вливают свежие силы в товарищей по работе, увлекают за собой, объединяют в единый коллектив, чтобы сообща бороться с нахлынувшей бедой. Высота поступков, совершаемых ими ради спасения экипажа или пассажиров, позволяет читателю лучше разглядеть истинную ценность этих героев, которых ведет вперед сознание гражданского долга, трудовая

рабочая гордость, товарищество. Автор раскрывает новые взаимоотношения людей, спаянных одним благородным и рискованным делом, коллективной работой.

Есть у этих рассказов удивительное свойство — они необычайно впечатляют, герои выписаны выпукло, самобытно, их не спутаешь друг с другом. Доверительная манера повествования, близкая к сказу, делает рассказы доступными, увлекательными для детей разных возрастов, да и взрослые читают их с неиссякающим интересом. Автор как бы записывает рассказы бывалых людей, вспоминающих различные жизненные истории, тонко воспроизводит живую народную речь, эмоционально-образную, душевную.

Писатель не боится показать юному читателю все сложности и трудности, которые приходится преодолевать, к примеру, рабочим, ликвидирующим аварию. Подчас рассказ завершается неблагоприятно для главного героя («Над водой»). Ребенок должен знать — подвиг человеку дается не легко, подвиг требует полной отдачи, невероятных усилий. Житков разговаривает с ребенком «на равных», как со взрослым, без утайки. Он уважает своего маленького читателя, доверяет ему, не уходит в сторону от решения острых вопросов.

Свою статью «Храбрость», обращенную к ребятам, Борис Житков начинает словами:

«Я о ней много думал. Особенно в детстве. Хорошо быть храбрым: все уважают, а другие и боятся. А главное, думал я, никогда нет этого паскудного трепета в душе, когда ноги сами тянут бежать, а то от трепету до того слабнут, что коленки трясутся и, кажется, лучше бы лег и живым в землю закопался. И я не столько боялся самой опасности, сколько самого страха, из-за которого столько подлостей на свете делается. Сколько друзей, товарищей, сколько самой бесценной правды предано из-за трусости: «Не хватило воздуха сказать!»

И я знал, что по-французски «трус» и «подлец» — одно слово «ляш». И верно, думал я: трусость приводит к подлости».

Круг жизненных наблюдений Бориса Житкова необычайно велик. Потому и темы, которые он поднимает в своих разговорах с юным читателем, многообразны. Но о чем бы он ни беседовал с ребятами, непременно речь идет о существенно важном, что необходимо знать каждому мальчишке, каждой девчонке.

Возьмем его рассказы о животных — про обезьянку, про слона, про волка, про беспризорную кошку. Рассказы исполнены мастерски, забавны и поучительны. Иным даже может показаться, что и написаны-то они ради забавы, ради того, чтобы рассказать малышам о каком-нибудь экзотическом зверьке, о его нравах и привычках. Но и тут, в рассказах о животных, автор говорит с ребятами о делах человеческих: о храбрости и трусости, о трудолюбии и жестокости.

Посудите сами. В рассказе «Про обезьянку» Борис Житков знакомит нас с проказницей макакой по имени Яшка. Дети смеются над озорными проделками обезьянки. Но вот обезьянка дает сокрушительный отпор более сильным своим соперникам — злой собаке и коту. И дети приветствуют макаку — она же настоящая героиня! Поучительный пример, не правда ли?

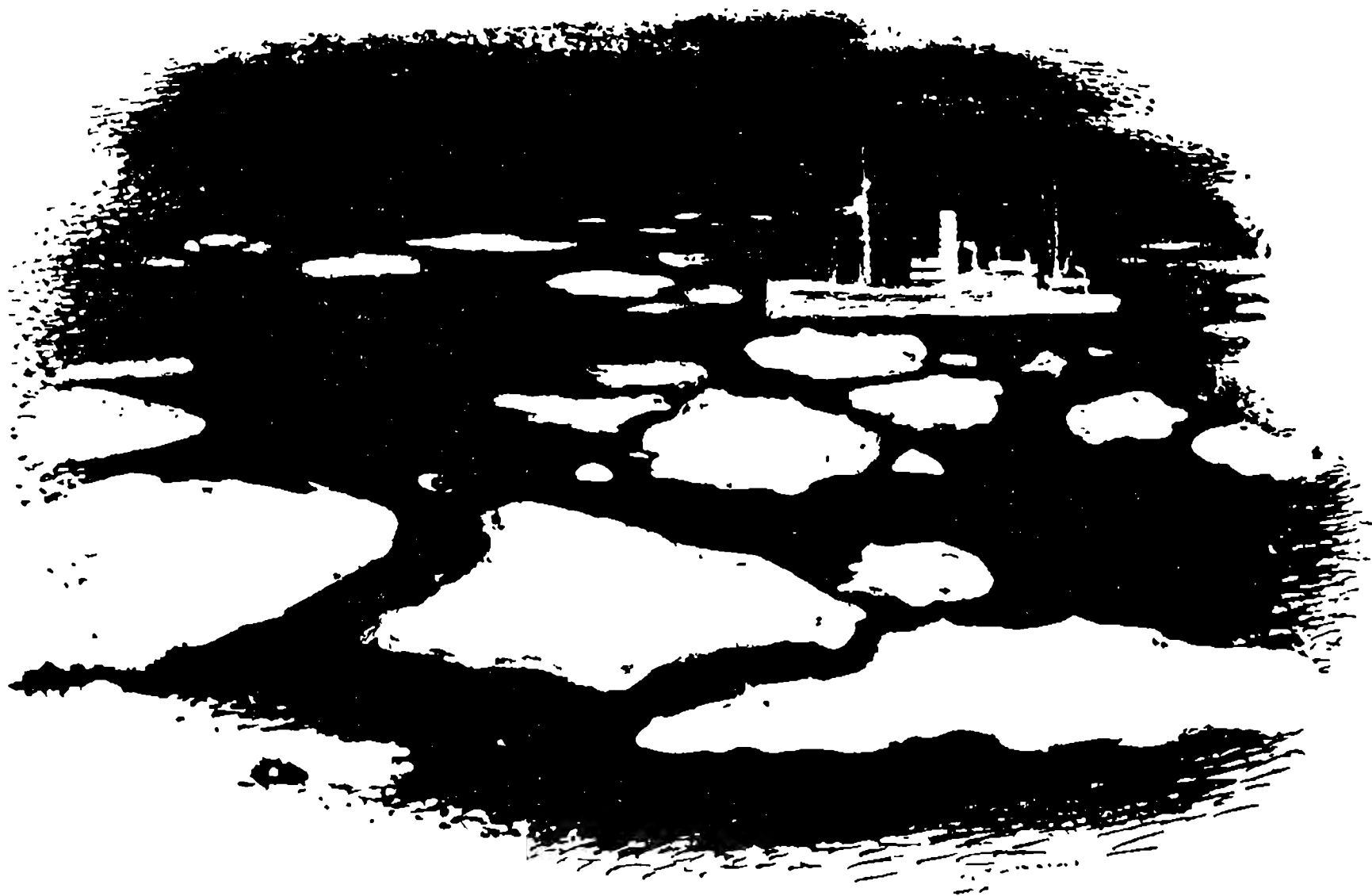
И с могучим индийским слоном в рассказе «Про слона» тоже не все просто. Слон-великан из последних сил надрывается, работает, людям помогает. А те не жалеют слона, бьют чем попало, жестоко издеваются над своим помощником... Так происходило потому, что жили эти люди под гнетом колонизаторов, в забытой и бедной деревушке, не видя никаких радостей. Вот и слону от них доставалось. Нам, читателям, жалко слона, и мы всей душой негодуем против злых порядков, которые господствовали в далекой стране, и готовы защитить бедное животное от обид и произвола. Серьезные раздумья навевает рассказ, и дети благодарны писателю за то, что он поведал им об этом всерьез, откровенно, без прикрас.

Только так и следует разговаривать с детьми, даже совсем маленькими. «Я убежден,— писал Борис Житков незадолго до смерти,— что люди не умнеют с возрастом, они лишь набираются опыта и знаний, «уму» никого не научишь, как и таланту: нет консерваторий, где бы учили на Моцарта, и университетов, где бы выпускали Ньютонов. А с чем родился человек — с тем и живет до старости. Почему-то в 8 лет, вспомните, Вы с одним не дружили, других любили, третьих считали за подлюг и мерзавцев, за хитрецов и вралей, за верных и веселых, за тупых и скучных, т. е. была та самая дифференциация людей, что и сейчас...»

У Бориса Житкова нет рассказов и повестей, где бы среди действующих лиц не было человека. В «Рассказах о животных», как и в книжках о технике, непременно присутствуют люди, дети и взрослые. Они заняты полезным трудом, что-то мастерят и о ком-то заботятся. Это охотники и корабелы, матросы и рыбаки, путешественники и строители, пожарники и геологи — каждый нашел себе дело по душе!

По труду оценивает писатель ценность своих героев, широту и щедрость их души. Раскрывая сущность разных событий и разных людей, встреченных им на житейских перекрестках, в путешествиях по морям и океанам, по просторам родной страны, Борис Житков всегда с искренней симпатией относится к тем, кто смел и храбр, кто любит и умеет трудиться. И, увлеченно рассказывая юному читателю о таких людях, воспевая их подвиги, он воспламеняет души детей желанием быть похожими на них, строителей новой жизни,— так же активно, как они, жить и бороться, так же доблестно трудиться во имя грядущего коммунистического дня.

В. Л. Разумневич



МОРСКИЕ ИСТОРИИ

НА ВОДЕ

(Шквал)

— Провались он совсем и со своей черепицей вместе! — ругался матрос Ковалев. — Этакую тяжесть на палубу валит!

— Ладно, сейчас кончаем, еще только тысяча осталась, — прохрипел старик боцман, размазывая красную черепичную пыль по потному лицу.

Жара стояла нестерпимая: был самый разгар южного лета.

Отправитель черепицы с хозяином судна спорили в каюте, и было слышно на палубе, как грек-хозяин кричал:

— Понимаешь ты, я рискую: судно перевес будет иметь, самая тяжесть сверху, а ты не хочешь прибавить гривенник за тысячу!

— Ведь близко, капитан, два шага, погода хорошая, — пищал отправитель со слезой в голосе, — ведь через два часа на месте будете! Прибавлю пятак, уж куда ни шло.

— Продаешь нас за пятак! — бубнил на палубе матрос

Ковалев, укладывая рядами черепицу.— Рванет хороший ветерок — и амба: ляжем парусами на воду.

— Да что вы, что вы! — испуганно сказала стоявшая рядом женщина.

Она держала за руку девочку лет восьми. Девочка вертелась и, запрокинув голову, разглядывала высокие мачты и реи судна.

— А очень просто, — серьезно сказал Ковалев и, остановясь на минуту, сердито взглянул на женщину. — Он не то что нас, он и внуку не жалеет. — И Ковалев кивнул головой на девочку. — Вот подите скажите ему.

— Да разве ему скажешь?.. — прошептала женщина и еще ближе прижала к себе девочку.

А матросы валили и валили черепицу, укладывали рядами и досками укрепляли ряды.

Боцман глядел на их работу и покачивал головой, что-то про себя соображая. Потом взглянул на небо, прищурился и перевел взгляд на горизонт. Море, гладкое, без морщинки, как масло, лоснилось на солнце и тоже, казалось, еле дышало от нестерпимого зноя.

— Мертвый штиль, — сказал боцман. — Ух, как бы не сорвалась ночью погода!

— Ничего, ничего, — затараторил хозяин, выходя из каюты, — бриз, бриз будет, хорошо пойдем. Веселей шевелись! — крикнул он матросам и побежал по палубе зачем-то нагонять отправителя.

Наконец кончили погрузку. Судно «Два друга» оттянулось на середину порта. Ждали ветра. Солнце зашло, а жара не спадала. Все пятеро матросов стояли у борта, курили и сплевывали в воду. В порту зажглись огоньки, и красным глазом вспыхнул на рейде маяк. Красной змеей извивалось его отражение в воде.

— А это что у тебя в ящике, Настя, куклы? — спросил Ковалев девочку.

Большой ящик стоял на палубе у борта, и девочка поминутно в него заглядывала через дверцу вверху.

— Нет, зайчик живой, — ответила Настя с гордостью.

— Да ну? — сказал Ковалев и запустил в ящик руку.

Он вытащил за уши большого зайца. Девочка закричала и потянулась руками. Но она сейчас же успокоилась: матрос ловко посадил зайца на руки и стал бережно гладить своей огромной ладонью.

— Вот и жаркое, — сказал подошедший сзади матрос Дмитрий.

Настя испуганно поглядела на Дмитрия и перевела глаза на Ковалева.

— Не дадим, не бойся! — сказал матрос. — Это он шутит.

— А если буря будет,— спросила девочка,— страшная-пре-страшная, зайньку захлестнет волной?

— Мы его тогда в каюту к деду занесем,— утешал ее Ковалев.

— Ковалев! — раздался голос хозяина.— Дмитрий! Шлюпку на палубу!

Ковалев быстро сунул зайца обратно в ящик и пошел исполнять приказание. Настя теперь не отходила от Ковалева. Ей казалось, что Ковалев главный: такой громадный и за зайчика заступился.

Шлюпку вытащили и вверх дном уложили на палубе поверх черепицы.

Вот жарким дыханием пахнул с берега бриз. Судно ожило. Все зашевелились. Матросы взялись за коромысло ручного брашпиля и, поругиваясь и отдуваясь, выкатили якорь. Поставили паруса, и «Два друга» медленно прокатилось в ворота порта. Бриз усилился и ходко гнал судно вдоль берега. Вот уже далеко за кормой остался красный глаз маяка. Усталые люди спешили в койки.

Ковалев стоял на руле.

— Смотри, Гришка, за ветром! Ненадежная погода,— говорил ему боцман.

Старик поглядывал за борт, стараясь на глаз определить ход судна.

— Чуть что, буди меня, Коваль,— сказал он, оглядывая небо и паруса.— Дойдем до мыса, непременно разбуди. Я пойду сосну.

И боцман зашагал усталыми ногами к кубрику.

Ковалев остался один. В отворенный люк хозяйской каюты он видел, как грек что-то писал в засаленной счетной книге.

Обе пассажирки спали тут же на узкой койке. Настя улыбалась во сне. «Эта зайца своего видит,— подумал Ковалев,— а дед всё пятаки считает».

В это время ветер вдруг прервал свое дыханье, судно выпрямилось, перевалилось на другой борт и стало качаться тяжелыми и широкими размахами. Но снова подул с берега бриз, и судно, прилегши на правый борт, побежало по-прежнему.

Ковалев беспокойно оглянул горизонт. Справа всходила полная луна. Ее диск двумя узкими полосами перерезывали облака. Небо посветлело, и на нем темным силуэтом вырисовывались паруса судна. Но Ковалев не отрывал глаз от той части горизонта, откуда выплывала луна. Он стал следить за облаками и ясно увидал теперь, что они идут навстречу ветру, подымаясь из-за горизонта вместе с луной.

Бриз усилился, и судно побежало быстрее. Ковалеву казалось, что оно спешит скорее в порт, как конь тянется к дому, чуя опасность. Теперь рулевой весь напрягся и чутко прислушивался. Вдруг его ухо уловило какой-то шум, как будто отдаленный гул

толпы. Шум приближался, усиливался и скоро обратился в яростный рев.

— Хозяин,— закричал Ковалев,— шквал идет с подветра! Грек оглянулся.

— Тридцать девять и сорок пять, тридцать девять и... ах, черт! — сказал он и опять повернулся к столу.

Ковалев опрометью бросился к кубрику.

Шум рос. Теперь уже казалось, что бешеная толпа с ревом несется на судно.

— Хлопцы, хлопцы! — заорал Ковалев в люк.— Шквал идет!

Сонное лицо боцмана показалось из люка.

— Чего орешь? — бормотал он спросонья.

— Шквал! — крикнул Ковалев, нагнувшись к самому уху старика.— Все наверх!

Но он не успел кончить, как резкий порыв ветра налетел на судно, выстрелом рванул по парусам, и «Два друга» стремительно повалилось на левый борт. Ковалев не удержался на ногах и полетел в люк, увлекая за собой по трапу боцмана. На палубе загрохотала, зазвенела черепица, гулко стукнула в борт покотившаяся шлюпка; что-то трещало, лопалось и стонало; казалось, все судно рассядется надвое; волной хлынула вода в люк кубрика.

Шквал сделал свое дело и понесся дальше.

Все это совершилось мгновенно, никто не успел опомниться и что-нибудь сообразить. Сонные люди попадали с коек. Послышались испуганная ругань, проклятья. В темной тесноте, по колено в воде, обезумевшие люди барахтались, наступали друг на друга, выли, ругались и молились. Ушибались об упавшие сундуки, путались в мокрых одеялах, давили друг друга, в ужасе, в смертельном страхе ища дорогу к выходу. А выхода не было.

— Стой! — вдруг покрыл все голоса окрик Ковалева.

Обезумевшие люди на мгновенье замолчали, и стало слышно, как спокойно плещет вода в борт опрокинутого судна.

— Нас перекинуло,— сказал Ковалев, воспользовавшись минутой молчанья,— мы не пошли под заныр: вон как зыбь в борт бьется.

— Давай топор,— крикнул матрос Христо,— руби дно!

Все бросились искать топор. Но это было нелегко в этом мокром хаосе. Руки судорожно хватались в темноте за всякую палку, принимая ее за ручку топора. Мешали двигаться висевший сверху привинченный к палубе стол, тряпье, мокрые подушки, путавшаяся в ногах веревка.

— Есть, есть! — закричал Дмитрий, ухватив наконец топор.

— Повыше, повыше рубайте! — молил боцман.— Вот тут!

Но в темноте никто не видал, куда он показывал. Вмиг сломали ящик-койку, которая преграждала путь к борту.

Ковалев взял ощупью из рук Дмитрия топор.

— Рубай, рубай скорее, Гришка! — кричали люди.

Все знали силу Ковалева. Топор застучал, щепки летели и били в лицо, но все старались протиснуться ближе.

— Давай мне! — крикнул Христо, заметив, что Ковалев устал.

И так, передавая топор из рук в руки, люди по очереди что было силы колотили топором, попадая в нарубленное место.

А опрокинутое судно плавало: находившийся внутри воздух не успел выйти, так внезапно его перевернуло. И этот-то воздух и держал судно на поверхности.

В кубрике становилось заметно душно. Запыхавшиеся люди часто дышали и спешили прорубить выход на волю, к свежему воздуху. Они боялись задохнуться и каждую минуту думали, что вот-вот судно начнет погружаться под воду.

Ковалев рубил в свою очередь. Он бил топором из последних сил и слышал по звуку, что немного уже оставалось. Сейчас будет дыра. Вот она. Лунный свет пробивался звездочкой сквозь маленькое отверстие.

Ковалев перевел дух и хотел крикнуть товарищам, что уж виден свет. Он слышал тонкий свист прорвавшегося через дырку воздуха. Ковалев приставил к дыре мокрый палец: нет, из дыры не дуло. Куда же идет воздух? Ковалев понял, что воздух не входит в каюту. А ведь слышно, как он идет! Значит, вон из каюты выходит воздух?.. И вдруг все сообразил. Их каюта — как опрокинутый вверх дном пустой стакан: если его пихать в воду, то воздух в стакане не даст войти воде; но если в дне такого стакана сделать дырку, то воздух уйдет через нее и весь стакан заполнит вода.

— Дай топор! — кричал Дмитрий. Он шарил в темноте руки Ковалева.

— Да давай же скорей! — кричали кругом.

Но Ковалев быстро схватил плававшую под ногами щепку и забил ею отверстие.

— Стой, хлопцы! — кричал Ковалев. — Не руби!

Дмитрий вырвал из его рук топор. Ковалев знал, что Дмитрий сейчас ударит, и поймал его за руку.

— Стой! Ударись — пропали все!

— Рубай! — кричал боцман.

— Нет! Воздух уйдет! — выкрикивал Ковалев, удерживая руку Дмитрия. — Вода снизу через люк напирает... ее воздух сюда не пускает... Дыра будет... потонем, как мыши... сюда вода зайдет.

Все замолчали.

— Вот! — Ковалев выдернул на время щепку из отверстия и, поймав в темноте чью-то руку, поднес ее к дырке.

— Верно! — сказал голос боцмана.

— Все одно рубай! — кричал Христо.

— Хлопцы,— сказал Ковалев, и все почувствовали, что он что-то важное скажет, и замолкли,— сейчас на воле будем. Вот он, люк, я ногой нащупал. Давай веревку, я поднырну, а вы по веревке за мной.

Христо торопливо стал совать ему в руку конец веревки. Ковалев сорвал с себя мокрую одежду, быстро сделал на конце веревки петлю, надел ее через плечо и исчез под водой. Бьет проклятая веревка по ногам, мешаят плыть; обо что-то острое ткнулся Григорий головой, помутилось на минуту в мозгу, но он все гребет руками. Вот он, борт,— Ковалев стукнулся в него теменем. Не хватает воздуха — хоть водой дохни. А там, внизу, чуть светлей: это пробивается лунный свет через воду. Сбросить бы петлю — вмиг на воле. Но Ковалев изо всей силы дернул веревку к себе и нырнул под борт. Вот уж на той стороне. Оттолкнулся из последних сил ногами от борта — грудь рвется, горло сжимает, вот-вотдохнет водой.

— Ну, на воле! Вотдохнул-то! — огляделся Ковалев.

Уже поднявшаяся луна ярко освещала спокойное море. Легкий ветер тянул к берегу. Как брюхо огромного чудовища, чернело дно опрокинутого корабля. Обломки мачт и рей с парусами плавали тут же на оборванных снастях.

Ковалев подплыл к рее и закрепил на ней свою петлю. Держался за рей и только дышал. Он сейчас ни о чем не думал, а глотал воздух, цену которому узнал только теперь.

Странно было думать, глядя на огромный опрокинутый корпус судна, что там внутри копошатся и рвутся на волю живые люди.

Через несколько секунд показалась на поверхности воды голова Христо, а за ним вынырнули остальные.

Шлюпка, полная воды, но целая, плавала неподалеку, запутавшись в снастях.

Матросы подплыли к ней.

Ковалев направился на обломке рей к корме, откуда раздавались глухие удары.

— Рубят, ей-богу, рубят! — крикнул Ковалев.

Матросы как попало отливали воду из шлюпки и не слушали.

Ковалев достал конец веревки из воды, сделал опять петлю, надел по-прежнему через плечо и нырнул под судно. Нащупал под водой люк в хозяйскую каюту.

А там и в самом деле рубили. Хозяин-грек отчаянно работал топором, сясь прорубить выход через дно.

Все вздрогнули в капитанской каюте, когда услышали голос Ковалева.

— Брось рубить! Пропадешь! — кричал он греку и хотел впотьмах схватить его руку.

— Оставь! — заорал грек. — Убью!

Ковалев наскоро закрутил свою петлю за стол.

В темноте он нащупал женщину. На руках у нее — Настя.

— Давай девочку, а сама за нами по веревке ныряй под судно.

— Ой, ой! — закричала женщина.

Но Ковалев вырвал из ее рук девочку, сгреб под мышку. Одной рукой зажал ей рот и нос, а другой взялся за веревку.

Перебирая веревку одной рукой, он вынырнул с Настей около реи.

Матросы подплывали на шлюпке, пробираясь между обломками снастей. Вслед за Ковалевым вынырнула и женщина.

Все уселись в шлюпку.

Удары изнутри корабля все яснее и яснее слышались, прерывались на минуту — видно, старик переводил дух — и снова гукали в дно.

— Могилу себе рубает, — сказал Ковалев. — Дорубится и поймет.

Шлюпка стояла у борта, откуда слышались удары.

Все молчали и ждали. Вот уж совсем близко бьет топор.

— Заткни дырку, могилу себе рубашь! — кричал Ковалев.

Христо что-то часто кричал по-гречески.

— Ныряй, хозяин, под палубу! — кричал Дмитрий.

Но старик или не понимал, или не слышал: рубил и рубил.

И вдруг послышался свистящий вздох. Это из невидимой дырки выходил воздух.

Удары топора бешено забарабанили по борту. Мелкие щепки летели наружу.

— Ай, ай, дедушка, дедушка! — крикнула Настя.

Вдруг стук сразу оборвался. С минуту все в шлюпке молчали.

— Ну, аминь, — сказал Ковалев, — пропал старик.

Женщина вдруг вскочила, вырвала из рук Дмитрия черпак и в отчаянии застучала по дну судна. Ответа не было.

— Отваливай! — скомандовал Ковалев.

Шлюпка отошла. Легкий ветер гнал ее к берегу и помогал гребцам.

— Чего ты, Настя? — спросил Ковалев.

Девочка плакала.

— А зайчика? Где зайчика?

— Не плачь, — утешал матрос, — мама другого купит.

Шлюпка медленно двигалась, гребли чем попало: весла пропали, их не нашли.

— Вон, вон что-то! — вдруг крикнула Настя.

Все поглядели, куда указывала девочка. Черное пятно маячило на воде справа.

Подошли.

Ящик плавал, слегка погрузившись в воду. Ковалев засунул руку и достал мокрого, но живого зайца.

— Зайчика, вот он, зайчика! — крикнула Настя и стала заворачивать зайца в мокрый подол.

— Вот ведь: скотина бессмысленная спаслась, а человек про-

пал, — сказал Дмитрий и оглянулся на блестевшее на луне осклиз-
лое брюхо корабля.

Гребцы налегли: всем хотелось поскорее уйти от погибшего
судна. Каждому чудилось, что грек еще стучит топором по дну.

Через час шлюпка с пассажирами пристала к берегу.

Все невольно оглянулись на море. Но там уже не видно было
опрокинутого судна.

НАД ВОДОЙ

(Над морем)

— Я так мечтала полететь к облакам, а теперь боюсь, боюсь! —
говорила дама, которую подсаживал в кабину аэроплана толстый
мужчина в дорожном пальто.

— Теперь — как по железной дороге, — утешал ее толстяк, —
даже лучше: никаких стрелочников, столкновений, снежных за-
носов.

За ними неторопливо протискивался военный с пакетами,
с толстым портфелем и с револьвером поверх шинели.

Долговязый мрачный пассажир с сердитым, подозритель-
ным видом осматривал аппарат со всех сторон, ничего не пони-
мал, но думал, что все же надежнее, если самому посмотреть.

Он подошел к пилоту, который возился у рулей, и спросил
сухим голосом:

— А скажите, в воздухе бывают бури? И эти ямы воздуш-
ные? Ведь ночью их не видать?

Пилот улыбнулся:

— Да и днем их не видно.

— А если провалимся, то?..

— Ну, пролетим вниз немного, не беда — мы высоко полетим.

— Ах, очень высоко? — вмешался молодой человек в синей
кепке, тоже пассажир. — Это очень приятно! — сказал он храбро.
Хотел улыбнуться, но вышло кисло.

Долговязый злобно взглянул на него и ушел в кабину, где
и уселся рядом с толстяком.

— Э-эй, обормоты! Не разливай бензина! — крикнул пилот
мальчишкам, которые наполняли из жестянок бензинные баки.

— Ладно, черт! — сказал один из них и ловко вынул из
отверстия бака сетчатый стакан, через который лился и фильтро-
вался от сора бензин.

— Теперя ходче пойдет. Чего зря-то мерзнуть! А засорится
мотор — так тебе, дьяволу, и надо, лайся больше! Сам обормо-
тина! — вполголоса ворчал мальчишка.

Наконец все было готово, все десять пассажиров сидели по
местам. Пора лететь. Механик еще раз посмотрел, все ли исправно.

— А что ж, меня-то возьмешь? — спросил механика ученик Федорчук.

— Нет, ты тут подлетидай. В большой рейс тебя не рука брать. Лучше набрать чего-нибудь, повезти продать пуда четыре.

— Так ведь тут какое ученье! Взяли бы — пригодился б, может быть.

— Какая от тебя польза? Одно слово — балласт, — отрезал механик.

Но пилоту стало жаль Федорчука:

— Я все равно никакой спекуляции везти не дам, чего там! Пусть учится. Одевайся — полетишь!

Федорчук бегом пустился в ангар одеваться.

Снялись.

Аппарат набирал высоты, выше и выше, шел к снежным облакам, которые до горизонта обволокли небо плотным куполом. Там, выше этих облаков, — яркое-яркое солнце, а внизу ослепительно белая пустыня — те же облака сверху.

Два мотора вертели два винта. За их треском трудно было слушать друг друга пассажирам, которые сидели в каюте аппарата. Они переписывались на клочках бумаги. Некоторые не отрываясь глядели в окна, другие, наоборот, старались смотреть в пол, чтобы как-нибудь не увидеть, на какой они высоте, и не испугаться, но они чувствовали, что под ними, и от этого не могли ни о чем больше думать. Дама достала книжку и не отрываясь в нее смотрела, но ничего не понимала.

«А мы все поднимаемся», — написал на бумажке веселый толстый пассажир, смотревший в окно, своему обалдевшему соседу.

Тот прочел, махнул раздраженно рукой, натянул еще глубже свою шляпу и ниже наклонился к полу. Толстый пассажир достал из саквояжа бутерброды и принялся спокойно есть.

А впереди, у управления, сидели пилот, механик и ученик. Все были тепло одеты, в кожаных шлемах. Механик знаками показывал ученику на приборы: на альтиметр, который показывал высоту, на манометры, показывавшие давление масла и бензина. Ученик следил за его жестами и писал у себя в книжечке вопросы корявыми буквами — руки были в огромных теплых перчатках. Альтиметр показывал 800 метров и шел вверх. Уже близко облака.

«А как в облаках?» — писал Федорчук.

«Чепуха, увидишь», — ответил механик.

Ученик не спешил бояться, хоть никогда в облаках не был. Грешным делом он все-таки подумывал, что непременно должно выйти что-нибудь вроде столкновения. Впереди было совсем туманно, но через минуту аппарат попал в полосу снега, который, казалось, летел не сверху, а прямо навстречу.

Снег залепил окно впереди пилота — внизу ничего не было

видно. Пилот правил по компасу, но все так же забирал выше и выше. Стало темнее.

Механик написал Федорчуку:

«Мы в облаках».

Вокруг них был густой туман, и стало темно, как в сумерки. Да и поздно было — оставалось полчаса до заката.

Но вот стало светлее, еще и еще, и яркое солнце совсем на горизонте весело засверкало на залепленных снегом стеклах. Даже пассажиры, что смотрели в пол, приободрились и ожили. Сильный ветер от хода аппарата сдул налипший на стекла снег, и стало видно яркую пелену внизу, до самого горизонта, как будто над бесконечной снежной равниной неся аппарат.

Пилот смотрел по часам и высчитывал в уме, где они сейчас должны были быть. Солнце зашло. Механик включил свет, и от того в каюте у пассажиров стало уютней. Все привыкли к равномерному реву моторов и свисту ветра. В каюте было тепло, и можно было забыть, что под аппаратом полторы версты пустого пространства, что если упасть, то ворон костей не соберет, что жизнь всех — в искусстве пилота и исправной работе моторов. Многие совсем развеселились, а толстый пассажир посылал всем смешные записки.

Вдруг в рев моторов ворвались какие-то перебои. Пассажиры беспокойно переглянулись. Долговязый побледнел и в первый раз взглянул в окно: оттуда на него глянула пустая темнота, только отражение лампочки тряслось в стекле.

Но перебои прекратились, и опять по-прежнему ровным воем ревели моторы.

«Не пугайтесь,— писал толстяк,— если и станут моторы, мы спланируем».

«В море»,— приписал долговязый и передал записку обратно.

Действительно, аппарат летел теперь над морем. Механик напряженно слушал рев моторов, как доктор слушает сердце больного. Он понял, что был пропуск, что, вероятно, засорился карбюратор — через него попадает бензин в мотор, а что теперь пронесло; но уже знал, что бензин не чист, и боялся, что засорится карбюратор — и станет мотор.

Федорчук спросил, в чем дело. Но механик отмахнулся и, не отвечая, продолжал напряженно прислушиваться. Ученик старался сам догадаться, отчего это поперхнулся мотор. Тысяча причин: магнето, свечи, клапаны — и какой мотор, правый или левый? В каждом моторе опять же два карбюратора. Федорчуку тоже приходило в голову: не засорилось ли?

«Ну,— подумал Федорчук,— будем планировать и чиниться в воздухе».

Но ему было удивительно, почему так перепугался этот знающий механик. Такой он трус или в самом деле что-нибудь серьезное, чего в полете не исправить, а он, новичок, не понимает?

Но тут рев моторов стал вдвое слабее. Пилот повернул руль и выключил левый мотор. Федорчук понял, что правый стал сам.

Механик побледнел и стал качать ручной помпой воздух в бензинный бак. Федорчук сообразил, что он хочет напором бензина прочистить засорившийся карбюратор, но знал уже, что это ни к чему. Пилот кричал на ухо механику, чтобы тот шел на крыло наладить остановившийся мотор.

Альтиметр показывал 1200 метров.

А в каюте встревоженные пассажиры глядели друг другу в испуганные лица, и даже толстяк писал не совсем четко: рука его тряслась немного.

«Мы планируем, сейчас исправят мотор, и мы полетим».

Но мысленно все прибавляли: «Вниз головой в море».

Пассажиры не знали, на какой они высоте.

Все боялись моря внизу, и в то же время их пугала высота.

Долговязый пассажир вдруг сорвался с места и бросился к дверям каюты; он дергал ручку, как будто хотел вырваться из горящего дома. Но дверь была заперта снаружи. Дама выпустила из рук книжку, дико, пронзительно закричала. Все вздрогнули, вскочили с мест и стали бесцельно метаться.

Толстяк повторял, не понимая своих слов:

— Я скажу, чтобы летели, сейчас скажу!..

Дама повернулась к окну и вдруг мелко и слабо забарабанила кулачками по стеклу, но сейчас же упала без чувств поперек каюты.

Военный, бледный как полотно, стоял и глядел в черное окно остановившимися глазами. Колени его тряслись, он еле стоял на ногах, но не мог отвести глаз. Молодой человек в синей кепке закрыл лицо руками, как будто у него болели зубы. В переднем углу пожилой пассажир мотал болезненно головой и вскрикивал: «Га-га-га». В такт этому крику все сильнее дергалась ручка двери и больше раскачивался молодой человек. «Га-га-га» перешло в исступленный рев, и вдруг все пассажиры завyli, застонали раздирающим хором.

А механик все возился, все подкачивал помпу, стучал пальцем по стеклу манометра. Пилот толкнул его локтем и строго кивнул головой в сторону выхода на крыло. Механик сунулся, но сейчас же вернулся — он стал рыться в ящике с инструментами, а они лежали в своих гнездах, в строгом порядке. Хватал один ключ, бросал, мотал головой, что-то шептал и снова рылся. Федорчук теперь ясно видел, что механик трусил и ни за что уж не выйдет на крыло. Пилот раздраженно толкнул механика кулаком в шлем и ткнул пальцем на альтиметр: он показывал 150.

Сто пятьдесят метров до моря.

Механик утвердительно закивал головой и еще быстрее стал перебирать инструменты. Пилот крикнул:

— Возьми руль!

Хотел встать и сам пойти к мотору, но механик испуганно замахал руками и откинулся на спинку сиденья.

Федорчук вскочил.

— Давай ключ! — крикнул он механику.

Тот дрожащей рукой сунул ему в руки маленький гаечный ключик. Федорчук вышел на крыло.

Резкий, пронизывающий ветер нес холодный туман; он скользкой корой намерзал на крыльях, на стойках, на проволочных тягах.

— К мотору!

Рискуя каждую секунду слететь вниз, добрался Федорчук до мотора. Теплый еще.

Федорчук слышал вой из пассажирской каюты и нащупывал на карбюраторе нужную гайку.

— Вот она!

Скользко стоять, ветер ревет и толкает с крыла.

Вот гайка подалась.

Идет дело!

Спешит Федорчук, и уж слышно, как ревет внизу море. Еще минута, другая — и аппарат со всеми людьми потонет в мерзлой воде.

— Готово!

Теперь гайку на место! Замерзли пальцы, не попадает на резьбу проклятая гайка. Сейчас, сейчас на месте, теперь немного еще притянуть.

— Есть! — заорал Федорчук во всю силу своих легких.

Включили электрический пуск, и заревели моторы. В каюте все сразу стихли и опустились где кто был: на пол, на диван, друг на друга. Толстяк первый пришел в себя и стал подымать бесчувственную даму.

А Федорчук смело лез по крылу назад к управлению. У него весело было на сердце. Порывы штормового ветра бросали аппарат. Федорчук взялся за ручку дверцы, но соскользнула нога с обледенелого крыла, ручка выскользнула из рук, и Федорчук сорвался в темную пустоту.

Через минуту пилот злобно взглянул на механика. Тот, бледный, все еще перебирал инструменты в ящике. Оба понимали, почему нет Федорчука.

1924

ПОД ВОДОЙ

Был ясный, солнечный день. Эскадра, состоявшая из двух дивизионных миноносцев и дивизиона подводных лодок, вышла на маневры в море. Легкий ветер и веселая зыбь. Совсем по-праздничному. С головного миноносца давали сигналы, и суда перестраивались. Сигнальщики, на обязанности которых разби-

рать и передавать сигналы, во все глаза в бинокли наблюдали за мачтой головного судна, чтобы не пропустить сигнала. А там то и дело подымались и опускались сигнальные флажки. Подводные лодки шли, выставив свою серую спину из воды, как морские чудовища. Как сердце, глухо стучал внутри каждой дизель-мотор. Сегодня всем было весело, даже кочегары на миноносцах, наглухо закупоренные в котельном отделении, как в коробке, чувствовали веселое напряжение и, хоть не видали, что наверху делалось, знали, что что-то удачное затевается и уже никак нельзя подгадать, и все бойко шевелились в жаркой атмосфере кочегарки, поминутно поглядывали на манометр: не упал бы хоть на йоту пар. На подводных лодках все было в еще большем напряжении: каждую минуту ждали приказа погрузиться в воду и каждому командиру хотелось это сделать на виду у всей эскадры первому. Люди стояли по местам. Вот-вот прикажут под воду — дизель-мотор надо остановить и пустить в ход электрический мотор, ток для которого запасен в аккумуляторах; задраить наглухо входной люк и выставить из воды перископ — длинную трубку, этот глаз подводной лодки: через нее из-под воды можно видеть все, что делается на поверхности. Вдали на горизонте едва обозначался силуэт крейсера: там адмирал, он наблюдает за всеми движениями эскадры, следит, правильно ли суда выполняют то, что им приказано сделать.

Все чувствовали, что дело идет пока превосходно: суда перестраиваются быстро и точно, совсем как солдаты на ученье, держат правильные расстояния, все идут одной скоростью, все одинаковые, как игрушки новые, и, кажется, дымят даже одинаково.

Подводной лодкой № 17 командовал лейтенант Я. Он хорошо знал свое судно и надеялся, что теперь он, пожалуй, погрузится вторым; № 11 погружался всегда так, как будто его какая-нибудь рука сразу топила, жутко смотреть — за ним не угнаться. Ну, а другим лейтенант Я. спуска не даст. Команда как один. Всем хотелось не дать промашки. По сигналу надо погрузиться и атаковать адмиральский крейсер, затем, не всплывая на поверхность, вернуться в порт. А завтра будет отчет о маневрах, и целый день можно гулять, ходить к знакомым в городе и рассказывать про эту веселую прогулку. Мичман, не доверяя сигнальщику, сам тоже смотрел в большой бинокль на мачту главного миноносца, ожидая условленного сигнала. Механик со своими машинистами напряженно ждал команды сверху. Все было так натянуто, что, кажется, чихни теперь кто-нибудь громко, и все дружно стали бы переводить лодку в подводное состояние.

— Ну что? Есть? — спрашивал лейтенант каждый раз, когда новые флаги появлялись на главном миноносце.

— Не нам, — вздохнув, отвечал мичман.

— Есть! — вдруг закричал мичман, отрывая от глаз бинокль.

Капитан стал командовать к спуску, но он еще не договорил команды, как дизель уже стал, и вместо него запел, зажужжал электромотор, уже стали наполняться цистерны балластной водой; все делалось само собой: спустился курок напряженного ожидания и руки, которые томились наготове, быстро делали свое дело.

Вот уже под водой, и на столике под перископом шатается на качке мелкая веселая картинка моря, бегущих миноносцев, а вон, как точка вдали,— адмиральский крейсер.

Нет, хорошо идут нынче маневры — всем было весело и радостно.

Вот уже близко крейсер. Теперь надо убрать перископ и идти по компасу в том же направлении. Перископ виден; он торчит все же из воды, и от него, как усы, в обе стороны расходятся от ходу тонкие волны. Уже подойдя ближе, надо только на минуту его выставить, чтобы проверить свое движение, потом подойти как можно ближе и выпустить мину... конечно, учебную, холостую.

Кажется, все удалось. № 17 взял по компасу обратный курс и пошел к порту. Теперь опять поставили перископ, и ясный день снова заиграл на белом столике.

— Ну, молодой человек, поздравляю,— сказал пожилой минный офицер мичману.— Первые маневры, не так ли? Чего на часы смотрите? Уж ждет вас кто-нибудь на берегу? — И он лукаво погрозил пальцем.

Мичман покраснел и улыбнулся.

— Нет, на что это в порт под водой? — продолжал минер.— Шутки шутками, а курить до смерти хочется. Далеко еще?

— Я считаю, что уже не больше часу,— сказал мичман и посмотрел на свои часы-браслет.

Справа виден был невдалеке перископ другой подводной лодки. Она понемногу обгоняла. Мичман завидовал и каждую минуту смотрел на часы.

— Ну, скажите,— приставал минер,— сейчас на берег, белый китель — и на бульвар! Не терпится?

Мичман отвернулся, но видно было, что улыбался.

Лейтенант сохранял спокойный деловой вид. Его тоже разбирало веселье удачи и радовал веселый вид под перископом, но он сдерживался, чтобы казаться солиднее.

Его интересовало, каким он опустился: вторым или опоздал. Он уже думал, что ничего, если и третьим.

Но вот он, порт. Прошли в ворота. Впереди на якоре торчит всем корпусом из воды порожний коммерческий пароход. «Тут пятьдесят футов, пароход сидит не больше двадцати. Есть где пройти под ним,— подумал лейтенант.— Эх, убрать перископ и поднырнуть под пароход!» Веселость вырвалась наружу. Перископ убран, рулями дали уклон лодке вниз и потом стали подыматься.

Но в это время сразу ход лодки замедлился. Все пошатнулось вперед. Лейтенант вздрогнул. Минер вопросительно на него взглянул.

— Сели на мель? Так ведь? — спросил он лейтенанта.

Рули были поставлены на подъем, винт работал, а приборы показывали, что лодка на той же глубине. Лейтенант вспомнил, что тут в порту глинистое, липкое дно; понял, что лодка своим брюхом влипла в эту вязкую жижу. И как ногу трудно оторвать от размокшей глинистой дороги, так лодке теперь почти невозможно оторваться от дна. Лейтенант все это соображал, и как он теперь раскаивался, что решился, поддавшись веселости, на этот мальчишеский поступок! Он приказал выкачать воду из всех цистерн. Мичман хотел показать, что он ничего не боится, и весело ходил смотреть, исполнено ли приказание лейтенанта. Но вся команда понимала, что дело плохо, и сосредоточенно исполняла приказания. Лейтенант смотрел на приборы.

Ну хоть бы что двинулось! Приборы показывали ту же глубину.

«Надо попробовать раскачать лодку, — думал лейтенант. — Пусть вся команда перебегает из носа в корму и обратно. Может быть, только чуть-чуть в одном месте держит ее эта липкая донная грязь».

Команда стала перебегать из носа в корму и обратно, насколько это позволяло внутреннее устройство лодки, загороженное приборами, аппаратами. Лодка медленно раскачивалась, и лейтенанту представлялось, как липкая глина держит в своем цепком гнезде круглое брюхо лодки и лодку не оторвать от глины, как не разнять две мокрые пластинки стекла.

Стали раскачивать с борта на борт. Лодка немного переваливалась. Старались угадать такт, чтобы вовремя поддавать, как раскачивают качели. Но и это не помогло. Лейтенант смотрел на приборы, и все по его лицу читали, что дело не продвинулось ни на волос.

— Мы еще, быть может, больше закапываемся, — мрачно проворчал механик.

Лейтенант ничего не ответил. Он, нахмурясь, смотрел вниз, что-то усиленно соображая. Все ждали и смотрели на него. Он чувствовал эти взгляды и напряженное ожидание, и это мешало ему спокойно соображать. Он как будто видел сквозь железную обшивку лодки эту липкую полужидкую глину, которая присосала дно судна; хотелось выскочить наружу и выручить судно хоть ценой своей жизни. Он повернулся и ушел в свою каюту, приказав остановить мотор.

Механик посмотрел сам на приборы.

— Над нами всего двадцать пять футов воды, — сказал он.

Все молчали. Слышно было, как шлепает вверху колесами пароход. Казалось, он толкся на месте.

— Буксир идет,— шепотом сказал один матрос.

— Покричи им,— пошутил кто-то.

Все ждали капитана. А он сидел у себя, в своей крошечной каютке, и не мог сосредоточить своих мыслей. Он все думал о том, что из-за его шалости все эти люди погибли, что нельзя даже крикнуть «спасайся, кто может», потому что никто не может спастись — все они плотно припаяны ко дну этим глинистым грунтом и не могут вырваться из железной коробки. Эта мысль жгла его и туманила разум.

Ему было бы легче, если бы весь экипаж возмутился, если б на него набросились, стали бы упрекать, проклинять, а лучше всего, если б убили.

А весь экипаж собрался около рулевого управления, изредка шептались, коротко и серьезно. Мичман все посматривал на часы, но теперь не понимал уж, который час.

— Сколько времени? — спросил минер.

Мичман снова взглянул на браслет.

— Четыре часа,— сказал он, но так напряженно спокойно, что все поняли, как он боится.

— Ну, еще на час...— начал было механик.

Он хотел сказать «на час хватит воздуха», но спохватился, боясь волновать команду. Но все поняли, что если не спасут их, если не найдут и не вытащат, то вот всего этот час и остается им жить.

Тяжелый вздох пронесся над кучкой людей.

— Что ж капитан? — с нетерпеливой тоской сказал механик. Он раздражался и терял присутствие духа.

— Ну что капитан? — сказал задумчиво минер.— Что капитан? Что он может сделать, капитан?

Мичман стоял красный, опершись о переборку, и все смотрел на свой браслет, как будто ждал срока, когда придет спасенье.

— Ведь мы через час задохнемся. Эй, вы,— раздраженно сказал механик по-английски и дернул мичмана за руку,— пойдите скажите капитану, что остается час! Идите сейчас же.

Но в это время сам капитан появился в проходе. Он был бледен как бумага, и лицо при свете электрической лампы казалось совсем мертвым. Его не сразу узнали и испугались, откуда мог взяться этот человек. Только черные глаза жили, и в них билась боль и решимость.

Все смотрели на него, но никто не ждал приказаний,— все забыли об опасности, глядя на это лицо.

— Я пришел вам сказать,— начал капитан,— что я, я виноват во всем. И не по оплошности, а по шалости, вы сами это знаете, поднырнул — не надо было. Убейте меня.

Он держал за ствол браунинг и протягивал его рукояткой вперед.

— Что вы, что вы! — раздались голоса из команды. — Еще, может, спасут! А не то уж вместе как-нибудь.

Капитан с минуту глядел на команду твердыми, горящими глазами. Затем круто повернулся и пошел назад. Мичман побежал вслед за ним.

— Капитан, не беспокойтесь... — начал было он.

Но в лице капитана не было беспокойства.

— Вот, возьмите, — сказал он, передавая мичману судовой журнал, — и пишите дальше.

— Приказаний никаких?

— Я советую людям лечь и не двигаться, тогда надольше хватит воздуха. Может быть, дождутся помощи, нас хватятся. Берегите воздух. Пишите, пока будет можно. Ступайте.

Мичман вышел и передал распоряжение капитана. Все молча разошлись и легли.

Мичман сел за стол, раскрыл журнал.

«...20 июня 1912 года в 2 часа 40 мин. пополудни, — прочел он написанное рукой капитана, — я, лейтенант Я., командир подводной лодки № 17, из мальчишеской шалости, вместо того чтобы обойти стоящий в порту пароход, нырнул под него и, не успев подняться, сел на липкий грунт, чем и погубил 13 человек экипажа. Для спасения пытался...» Затем шло описание попыток раскачать лодку и замечание, что команда вела себя героически, не упрекнув его ни словом и не выйдя из повиновения.

«4 ч. 17 мин., — написал мичман, — принял журнал от лейтенанта Я. Команда лежит по койкам».

«4 ч. 29 мин. над нами быстро прошел винтовой пароход».

«4 ч. 40 мин. застрелился лейтенант Я. в своей каюте. Прилагаю его записку:

«Я не имею права дышать этим воздухом».

«5 ч. 10 мин. задохся машинист Семенов. Не могу писать и передаю журнал минному...»

«5 ч. 12 мин., — писал минер, — что-то скребнуло по корпусу судна. Команда задыхается. Не могу встать. Что-то...»

Но тут запись прервалась неровным росчерком вниз; очевидно, перо вывалилось из рук писавшего.

А наверху два миноносца тащили по дну проволочный канат, концы которого были привязаны к их кормам. Железная петля тянулась по дну и шарила подводную лодку. С торгового парохода сказали, что видели перископ справа, потом он исчез и снова не показался. Сказали, когда уж по всему порту разнеслась весть, что № 17 с маневров не вернулся.

Миноносцы быстро шарили по всему порту, другая партия искала в море по пути эскадры, пока не дали знать с торгового парохода. Миноносцы бросились в указанное место; все знали, что каждая минута может стоить жизни людей.

На миноносце закричали, когда увидели, как натянулся про-

волочный канат, задев за лодку. На берегу толпа с напряжением следила за работой миноносцев и радостно загудела, услышав крик. Канат вывернул лодку из ее липкого гнезда, и она всплыла на поверхность. Спешно заработали мастеровые, раскупоривая этот железный склеп. Врачи бросились спасать: все уже было приготовлено. Не привели в себя только троих, среди них и мичмана.

Странно было слышать, как часы все тикали на мертвой руке.

1924

КАК Я ЛОВИЛ ЧЕЛОВЕЧКОВ

Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке. У бабушки над столом была полка. А на полке пароходик. Я такого никогда не видал. Он был совсем настоящий, только маленький. У него была труба: желтая и на ней два черных пояса. И две мачты. А от мачт шли к бортам веревочные лесенки. На корме стояла будочка, как домик. Полированная, с окошечками и дверкой. А уж совсем на корме — медное рулевое колесо. Снизу под кормой — руль. И блестел перед рулем винт, как медная розочка. На носу два якоря. Ах, какие замечательные! Если б хоть один у меня такой был!

Я сразу запросил у бабушки, чтоб поиграть пароходиком. Бабушка мне все позволяла. А тут вдруг нахмурилась:

— Вот это уж не проси. Не то играть — трогать не смей. Никогда! Это для меня дорогая память.

Я видел, что, если и заплакать, — не поможет.

А пароходик важно стоял на полке на лакированных подставках. Я глаз от него не мог оторвать.

А бабушка:

— Дай честное слово, что не прикоснешься. А то лучше спрячу-ка от греха.

И пошла к полке.

Я чуть не заплакал и крикнул всем голосом:

— Честное-расчестное, бабушка! — И схватил бабушку за юбку.

Бабушка не убрала пароходика.

Я все смотрел на пароходик. Влезал на стул, чтоб лучше видеть. И все больше и больше он мне казался настоящим. И непременно должна дверца в будочке отворяться. И, наверно, в нем живут человечки. Маленькие, как раз по росту пароходика. Выходило, что они должны быть чуть ниже спички. Я стал ждать, не поглядит ли кто из них в окошечко. Наверно, поглядывают. А когда дома никого нет, выходят на палубу. Лазят, наверно, по лестничкам на мачты.

А чуть шум — как мыши: юрк в каюту. Вниз — и притаятся. Я долго глядел, когда был в комнате один. Никто не выглянул. Я прятался за дверь и глядел в щелку. А они хитрые, человечки, знают, что я поглядываю. Ага! Они ночью работают, когда никто их спугнуть не может. Хитрые.

Я стал быстро-быстро глотать чай. И запросился спать. Бабушка говорит:

— Что это? То тебя силком в кровать не загонишь, а тут эту рань и спать просишься.

И вот, когда улеглись, бабушка погасила свет. И не видно парходика. Я ворочался нарочно, так что кровать скрипела.

Бабушка:

— Чего ты все ворочаешься?

— А я без света спать боюсь. Дома всегда ночник зажигают. Это я наврал: дома ночью темно.

Бабушка ругалась, однако встала. Долго ковырялась и устроила ночник. Он плохо горел. Но все же было видно, как блестел парходик на полке.

Я закрылся одеялом с головой, сделал себе домик и маленькую дырочку. И из дырочки глядел не шевелясь. Скоро я так присмотрелся, что на парходике мне все стало отлично видно. Я долго глядел. В комнате было совсем тихо. Только часы тикали. Вдруг что-то тихонько зашуршало. Я насторожился — шорох этот на парходике. И вот будто дверка приоткрылась. У меня дыхание сперло. Я чуть двинулся вперед. Проклятая кровать скрипнула. Я спугнул человечка!

Теперь уж нечего было ждать, и я заснул. Я с горя заснул.

На другой день я вот что придумал. Человечки, наверно же, едят что-нибудь. Если дать им конфету, так это для них целый воз. Надо отломить от леденца кусок и положить на парходик, около будочки. Около самых дверей. Но такой кусок, чтоб сразу в ихние дверцы не пролез. Вот они ночью двери откроют, выглянут в щелочку. Ух ты! Конфетища! Для них это — как ящик целый. Сейчас выскочат, скорей конфетину к себе тащить. Они ее в двери, а она не лезет! Сейчас сбегает, принесут топорик — маленькие-маленькие, но совсем всамделишные — и начнут этими топориками тюкать: тюк-тюк! тюк-тюк! тюк-тюк! И скорей пропирать конфетину в дверь. Они хитрые, им лишь бы все вёртко. Чтоб не поймали. Вот они завозятся с конфетиной. Тут, если я и скрипну, все равно им не поспеть: конфетина в дверях застрянет — ни туда ни сюда. Пусть убегут, а все равно видно будет, как они конфетину тащили. А может быть, кто-нибудь с перепугу топорик упустит. Где уж им будет подбирать! И я найду на парходе на палубе малюсенький настоящий топорик, остренький-преостренький.

И вот я тайком от бабушки отрубил от леденца кусок, как раз какой хотел. Выждал минуту, когда бабушка в кухне возилась,

раз-два — на стол ногами, и положил леденец у самой дверки на пароходике. Ихних полшага от двери до леденца. Слез со стола, рукавом затер, что ногами наследил. Бабушка ничего не заметила.

Днем я тайком взглядывал на пароходик. Повела бабушка меня гулять. Я боялся, что за это время человечки утянут леденец и я их не поймаю. Я доро́гой нюнил нарочно, что мне холодно, и вернулись мы скоро. Я глянул первым делом на пароходик. Леденец, как был, — на месте. Ну да! Дураки они днем браться за такое дело!

Ночью, когда бабушка заснула, я устроился в домике из одеяла и стал глядеть. На этот раз ночник горел замечательно, и леденец блестел, как льдинка на солнце, острым огоньком. Я глядел, глядел на этот огонек и заснул, как назло! Человечки меня перехитрили. Я утром глянул — леденца не было, а встал я раньше всех, в одной рубашке бегал глядеть. Потом со стула глядел — топорика, конечно, не было. Да чего же им было бросать: работали не спеша, без помехи, и даже крошечки ни одной нигде не валялось — все подобрали.

Другой раз я положил хлеб. Я ночью даже слышал какую-то возню. Проклятый ночник еле коптел, я ничего не мог рассмотреть. Но наутро хлеба не было. Чуть только крошек осталось. Ну, понятно, им хлеба-то не особенно жалко, не конфеты: там каждая крошка для них леденец.

Я решил, что у них на пароходике с обеих сторон идут лавки. Во всю длину. И они днем там сидят рядком и тихонечко шепчутся. Про свои дела. А ночью, когда все-все заснут, тут у них работа.

Я все время думал о человечках. Я хотел взять тряпочку, вроде маленького коврика, и положить около дверей. Намочить тряпочку чернилами. Они выбегут, не заметят сразу, ножки запачкают и наследят по всему пароходику. Я хоть увижу, какие у них ножки. Может быть, некоторые босиком, чтобы тише ступать. Да нет, они страшно хитрые и только смеяться будут над всеми моими штуками.

Я не мог больше терпеть.

И вот — я решил непременно взять пароходик и посмотреть и поймать человечков. Хоть одного. Надо только устроить так, чтобы остаться одному дома. Бабушка всюду меня с собой в гости таскала. Всё к каким-то старухам. Сиди — и ничего нельзя трогать. Можно только кошку гладить. И шушукает бабушка с ними полдня.

Вот я вижу — бабушка собирается: стала собирать печенье в коробочку для этих старух — чай там пить. Я побежал в сени, достал мои варежки вязаные и натер себе и лоб и щеки — все лицо, одним словом. Не жалея. И тихонько прилег на кровать.

Бабушка вдруг хватилась:

— Боря, Борюшка, где ж ты?

Я молчу и глаза закрыл. Бабушка ко мне:

— Что это ты лег?

— Голова болит.

Она тронула лоб.

— Погляди-ка на меня! Сиди дома. Назад пойду, малины возьму в аптеке. Скоро вернусь. Долго сидеть не буду. А ты раздевайся-ка и ложись. Ложись, ложись без разговору!

Стала помогать мне, уложила, увернула одеялом и все приговаривала: «Я сейчас вернусь, живым духом».

Бабушка заперла меня на ключ. Я выждал пять минут: а вдруг вернется? Вдруг забыла там что-нибудь?

А потом я вскочил с постели как был, в рубахе. Я вскочил на стол, взял с полки пароходик. Сразу, руками понял, что он железный, совсем настоящий. Я прижал его к уху и стал слушать: не шевелятся ли? Но они, конечно, примолкли. Поняли, что я схватил их пароход. Ага! Сидите там на лавочке и примолкли, как мыши. Я слез со стола и стал трясти пароходик. Они стряхнутся, не усидят на лавках, и я услышу, как они там болтаются. Но внутри было тихо.

Я понял: они сидят на лавках, ноги поджали и руками что есть сил уцепились в сиденья. Сидят как приклеенные.

Ага! Так погодите же. Я подковырну и приподниму палубу. И вас всех там накрою. Я стал доставать из буфета столовый нож, но глаз не спускал с пароходика, чтоб не выскочили человечки. Я стал подковыривать палубу. Ух, как плотно все заделано!

Наконец удалось немножко подсунуть нож. Но мачты поднимались вместе с палубой. А мачтам не давали подниматься эти веревочные лесенки, что шли от мачт к бортам. Их надо было отрезать — иначе никак. Я на миг остановился. Всего только на миг. Но сейчас же торопливой рукой стал резать эти лесенки. Пилил их тупым ножом. Готово, все они повисли, мачты свободны. Я стал ножом приподнимать палубу. Я боялся сразу делать большую щель. Они бросятся все сразу и разбегутся. Я оставил щелку, чтобы пролезть одному. Он ползет, а я его — хлоп! — и захопну, как жука в ладони.

Я ждал и держал руку наготове — схватить.

Не лезет ни один! Я тогда решил сразу отвернуть палубу туда в середку рукой — прихлопнуть. Хоть один, да попадется. Только надо сразу: они уж там небось приготовились — откроешь, а человечки прыск все в стороны.

Я быстро откинул палубу и прихлопнул внутри рукой. Ничего. Совсем, совсем ничего! Даже скамеек этих не было. Голые борта. Как в кастрюльке. Я поднял руку. Под рукой, конечно, ничего.

У меня руки дрожали, когда я прилаживал назад палубу. Все криво становилось. И лесенки никак не приделать. Они болтались как попало.

Я кой-как приткнул палубу на место и поставил пароходик на полку. Теперь все пропало!

Я скорей бросился в кровать, завернулся с головой.

Слышу ключ в дверях.

— Бабушка! — под одеялом шептал я. — Бабушка, миленькая, родненькая, чего я наделал-то!

А бабушка стояла уж надо мной и по голове гладила:

— Да чего ты ревешь, да плачешь-то чего? Родной ты мой, Борюшка! Видишь, как я скоро?

Она еще не видала парходика.

1934

ВАТА

Это наконец нас стало заедать. Приходишь, бывало, в порт. Вот он, таможенный досмотр, ходит и поглядывает, во все уголки нос засовывает:

— Что у вас тут? А под койкой что? А в вентиляторе что? И ничего не находит.

А тут, смотрите, один нашелся такой скорпион, то есть досмотрщик, что ничего ему не надо искать, прямо:

— Вот эту доску мне оторвите!

— Как так рвать? А назад кто ее пришивать будет?

— А если ничего там нет, то все в прежний вид приведу я. А как обнаружено будет к провозу недозволенное, то сами должны понимать... — И пальчиком стучает: — Вот в этом самом месте.

Чиновник, что с ним ходит, брови поднимает, ему в глаза засматривает: так ли, мол? Как бы сраму не было!

А этот скорпион долбит пальчиком:

— Небеспрременно здесь.

Рвут доску — и как чудо: в том самом месте штука шелка.

Потом идет тихонечко в кочегарку, сразу в угольную яму:

— Вот тут копайте.

А в этих угольных ямах угля наворочено гора, и раскидывать его некуда, да и темнота, только лампочка электрическая коптит. А он, как конь, ногой топчет этот уголь:

— Здесь копайте.

Роют.

— Ну, — говорят, — ничего там не сыщешь, тебя туда самого закопаем живого.

В этот уголь чиновник поневоле лезет. Назло ребята пыль поднимают, уголь швыряют лопатами, как от собак отбиваются. Гром стоит — ведь железо кругом. Коробка эта железная — угольная-то яма. Называется только так. Чиновник чихает, платочком рот прикрывает. А скорпион все ниже лезет и лампочку на шнурке тянет.

— Зачем левей берешь? Нет, ты вот здесь, здесь копай. Ага! Это что?

И лапами, что когтями,— цап! Пакет. Наверх, на палубу. Тут распутывать, разворачивать — бумажки. Какие такие бумажки? Хлоп — и жандарм тут.

— Эге-с! — говорит жандарм.— Понятно-с. Механика сюда! Капитана!

Акт писать: найдены зарытыми бумажки, а бумажки насчет того, чтобы царя долой, фабрикантам по затылку, и вообще неприятные бумажки. А пришли из-за границы.

Потом слух проходит, что дознались: бумажки за границей печатались, даже журнальчик среди бумажечек нашли. Даже кипку изрядную. Журнальчик-то на тоненькой бумажке отпечатан.

Тут всю машинную команду перетрясли. Водили, допрашивали. Двоих так назад и не привели.

А скорпион этот уже гоголем ходит. То есть как это сказать? Он до сих пор змеей смотрел, а уж теперь прямо аспидом. Идешь мимо, а он дежурным на переезде стоит и провожает тебя глазами, как из дустволки целит. И, видать, трусит, как бы кто его не угораздил булыжником. Оружие им не полагалось по форме, но этому, слышно было, выдали револьвер, чтобы держал в кармане на случай чего. И все это знали.

Чиновник при всех ему говорил:

— С тобой бы, Петренко, клады в лесах искать. С тобой и рентгена никакого не надо. Как это ты? А?

— Это, ваше высокородие, нюх и практика.

Однако взяли двух. Но мы-то с Сенькой остались на пароходе. На берегу мы с ним имели совет меж собой. Ясно, что глаза скорпионовы с нами плавают, кто-то смотрит, слушает и заваливает публику. И мудреного тут нет ничего. У кочегаров и матросов на носу общие помещения — кубрики: кочегарский и матросский. По борту — койки в два этажа, и по переборке такие же. Посреди стол. В углу икона, а над койками карточки, картинки разные. Все вместе едят, вместе спят. Тут чуть что пошептал, сейчас всем видать и все слышать. Протрепались ребята или без оглядки языком били, только это уже факт, что есть засыпайлы какие-нибудь меж своих же. А вот кто? Стали план разбивать: кто бы это был и как его узнать? А на пароходе стало совсем паршиво: все друг на друга волком. Всякий думает: «Это ты засыпал». Да и верно. У одного два несчастных фунта цейлонского чая и то нащупал этот скорпион. Его ребята угощать пробовали. Откупорят заграничную бутылку, ему стакан. Выпьет, губы оботрет: «Доброе вино! А в сундучке у вас как?»

Но нам с Сенькой было задание — держать связь с границей, доставлять журналы. А тут на! Провалили, и двое людей засыпалось. Это с какими глазами мы туда выставимся! Хоть списывайся на берег да на другой пароход. И тут наши товарищи,

здешние, стали срамить. Нас с Сенькой такая досада взяла, что тех двух арестованных, кочегаров этих, даже и не жалели. Ругали прямо.

А в комитете нам сказали:

— Товарищи дорогие, мы уж и не знаем, как вам и доверять. То есть ребята вы, может, и верные, но нам сейчас швыряться сотнями номеров нельзя: время горячее. Это не шутки. Не коньяк в пазухе проносить. Мы другой путь будем искать.

И все на нас глядят, и каждый думает, что мы с Сенькой шляпы и свистунки.

— Вы,— говорят,— товарищи, обдумайте.

Тогда я говорю:

— Этот рейс мы не беремся: действительно, надо все проверить. И мы скажем, а когда скажем, то уж... одним словом, скажем.

Чего тут было говорить? Пошли мы как оплеванные. Но про доносчика этого решили, что выловим, и тогда уж его, гада, просто в воду за борт. Мало ли что, упал человек за борт. Ночью. Бывает же такое.

Всех мы перебрали с Сенькой. Всех обсудили. Да нет, все будто одинаковые. На всякого можно подумать. И вот что выдумали. Выдумали мы уже в море, когда снялись, а совсем уговорились в персидском порту, в Бассоре.

Принимали мы там хлопок. Это как бы побольше кубического метра тюк. Он зашит в джут и затянут двумя железными полосами, как ремнями. Вата, а в таком тюке четырнадцать пудов ее. Это ее прессом так прессуют, что она там, в этом пакете, как камень. Даже не мягкая ничуть.

И вот наш план. Будем говорить в кубрике за столом вдвоем по секрету. И смотреть, чтобы только один человек мог нас слушать. И начисто никто больше. И говорить будем, как вроде секрет меж собой. Так к примеру: «Так ты не забыл, значит, как это место (тюк, значит) пометил?» А другой должен говорить: «Нет, на каждой стороне красная точка в пятак». — «А сколько там номеров?» — «А две сотни газет положено, так сказывали».

А при другом говорить, что не точка, а кресты по углам черные. И для каждого разные марки. И, чтобы не спутать, Сенька все себе запишет где-нибудь.

Нас на погрузке ставили трюмными; это значит стоять в трюме и глядеть, чтобы грузчики правильно раскладывали груз. Грузчики — персы; значит, что я ни делаю, рассказать они не могут. А потом я над ними вроде распорядитель всех делов. Сенька у себя во втором — тоже. Каждый взял по ведерку с краской и кисточкой. Это мы наперед приготовили. И жара там, в Бассоре, немыслимая. Краска стынет, как плевков на морозе. Вот я делаю вроде тревогу, персы на меня смотрят. Я сейчас с ведерком и мечу

красным тюк. Они думают, что это надо по правилу. Я приказываю: осторожно, не размажь и кати его туда. Они слушают. Уж к обеду мы все марки наши поставили — двадцать семь марок, по числу людей. Теперь осталось двадцать семь разговоров устроить. И чтобы виду не показать, что мы это «на пушку» только.

Первый раз чуть все не пропало. Сенька — смешливый. Я при Осипе так серьезно начинаю:

— А ты, — говорю, — помнишь, какую ты марку ставил?

И вижу — Сенька со смеху не прожует. Меня в смех вводит. Не могу на него глядеть.

— Ты выйди на палубу, — говорю, — погляди, француз нас догоняет, «Мессажери».

Он еле до порога добежал. Ну что ты с таким станешь делать? Я уж думал, пропало наше дело.

Потом ему говорю:

— Если ты мне на разговор смешки начнешь и комики разные строить, то, чтобы мне сгореть, я тебя тут же вот этой медной кружкой по лбу. Разобрал?

Опять, что ли, с Осипом наново начинать? Оставили его напоследок. Взяли Зуева. Он всё папиросы набивал. Сядет с гильзами и штрикает, как машина. Загонял потом их тут же промеж своих, кто прокурится. Он себе штрикает, а мы вроде не замечаем. Начали разговор.

Сенька со всей, видать, силой собрал губы в трубку и не своим голосом, как угнетенник:

— Красным крестом метил.

Ходу нам до дому месяц, а за месяц мы всех двадцать семь человек разметили, на все наши двадцать семь марок, и всех записали.

Потом я Сеньку спрашиваю:

— На кого думаешь?

— На Осипа, — говорит. — Он аккурат присунулся ближе, как ты сказал, что двести номеров. А ты на кого?

А я сказал, что Кондратов. И потому Кондратов, что он сейчас же встал и отошел. Только услышал, что кружком мечено, и сейчас же запел веселое, вроде нигде ничего, и вон вышел.

Простак гляди какой!

— На Осипа, — говорю, — думать нечего. Он человек семейный, ему подработать без хлопот, да вот сахару не ест, домой копит.

А уж к порту подходили, я уж совсем смешался, на кого думать. Семейный, а может быть, он самый и есть предатель, этим и подрабатывает. Другой вот — Зуев; чего он веселый, надо — не надо? Чего он ломоты эти строит? Так его и крутит, будто штопор в него завинтили. Из кочегаров двое тоже были у нас на мушке. Потом нам стало казаться, что на нас все по-

волчьи глядят. Может, меж собой рассказывали про наш разговор? Уж не знали, как до порта дойдем.

Однако ничего. Опять чиновник к нам, опять этот самый скорпион, жандарм, все как полагается. Но только началась выгрузка, видим, бессменно скорпион стоит и каждый подъем глазом так и облизывает. Мы тоже поглядываем. Грузчики на берегу берутся по четыре человека, таскают эти тюки и городят из них штабель. Вдруг этот скорпион:

— Эй, эй, неси прямо в проходную таможеню! Неси, неси, не рассказывай.

Хорошо, я заметил, а то сами бы мы проморгали,— с красным крестом на углу.

Я в заметку — Зуев.

Но уже по всему пароходу шум: понесли тюк хлопка в таможеню. Сейчас уж чиновник пришел на пароход, приглашает немедленно нашего старшего помощника — капитан в городе был, на берегу. Еще двоих понятых из команды. Боцман говорит мне: «Ты пойдешь». И еще кочегар один. Приходим. Комнатка небольшая, всего одна скамейка по стене. Два окошка. В окошки люди глядят. Посреди этот тюк. Чиновник стоит, губки облизывает. А скорпион весь на взводе. Шепчет чиновнику грозно что-то в ухо. Чиновник уж перед ним так и ахает.

— А, скажите, пожалуйста! Да уж знаю, знаю, насквозь видишь, рентген!

Ждали жандарма. Вот и жандарм. Послали кочегара за кусачками. Живо принес. Наш старший помощник говорит:

— Пишите акт, что вот кипа хлопка в четырнадцать пудов, что по вашему требованию, что вы отвечаете.

Чиновник со смешком:

— Па-ажалуйста, сделайте ваше любезнейшее одолжение. Тут же на скамейке папку расстелил и пишет.

— Откупоривай,— говорит помощник кочегару.

— Есть! — И кочегар — хлоп-хлоп! — перекусил обручи. Кипа, как живая, поддала спиной и распухла.

— Режь!

Полоснул кочегар по джуту, раскрыл: белая вата плотно лежит, будто снег, лопатой прибитый.

— Начинай,— шепотком говорит чиновник.

И начал скорпион сдирать слой за слоем эту вату. Чиновник тут же крутится. В окна столько народу нажало, что в комнате темно стало. Жандарм два раза ходил отпугивать. А ваты все больше да больше. Копнет ее скорпион, ломоток один, а начнет трепать — глядишь, облако выросло. Чиновник уж весь в пуху, пятится. Дорогие мои! Скорпион еще и четверти кипы этой не отодрал — полкомнаты ваты, и уж окно загородило. Он уж в ней по пояс стоит, как в пене, и уж со злости огрызается, рвет ее клочьями, ямку посередке копает.

Кочегар говорит:

— Пилу, может, принести?

Чиновник как гаркнет:

— Вон отсюда, мерзавец!

А наш старший:

— Это как же? Занесите в акт: оскорбили понятого.

Мы уже к двери пятимся, вата на нас наступает. Чиновник видит — костюм уж не уберечь, там же роется.

Их уж там не видно стало, как во сне потонули вовсе. А старший наш кричит:

— Ничего не видать, может, обман, может, еще сами подложите чего?

Уж и взбеленился чиновник, выбегает оттуда: домовый не домовый — чучело белое, вата на нем шерстью. Эх, тут как заорут ребята:

— Дед-мороз!

Он — назад. Они там с досмотрщиком вату топчут, примять хотят, да где! Она пухнет, всю комнату завалила, а полкипы еще нет.

Выскочил таможенный чиновник.

— Мерзавец! — кричит. — Запереть его там.

И побежал домой. Мальчишек за ним табун целый. Я на пароход. К Сеньке: «Где Зуев?» — «Сейчас был». Мы туда-сюда, нет Зуева. Так больше и не видал его никто. Сундучок его сдали в контору. И за сундучком никто не пришел.

1933

Д Ж А Р Ы Л Г А Ч

Н О В Ы Е Ш Т А Н Ы

Это хуже всего — новые штаны. Не ходишь, а штаны носишь: все время смотри, чтоб не капнуло или еще там что-нибудь. Из дому выходишь — мать выбежит и кричит вслед на всю лестницу: «Порвешь — лучше домой не возвращайся!» Стыдно прямо. Да не надо мне этих штанов ваших! Из-за них вот все и вышло.

С Т А Р А Я Ф У Р А Ж К А

Фуражка была прошлогодняя. Немного мала, правда. Я пошел в порт, последний уж раз: завтра ученье начиналось. Все время аккуратно, между подвод прямо змеей, чтоб не запачкаться, не садился нигде, — все это из-за штанов проклятых. Пришел, где парусники стоят, дубки. Хорошо: солнце, смолой пахнет,

водой, ветер с берега веселый такой. Я смотрел, как на судне двое возились, спешили, и держался за фуражку. Потом как-то зазевался, и с меня фуражку сдуло в море.

НА ДУБКЕ

Тут один старик сидел на пристани и ловил скумбрию. Я стал кричать: «Фуражка, фуражка!» Он увидал, подцепил удилищем, стал подымать, а она вот-вот свалится, он и стряхнул ее на дубок. За фуражкой можно ведь пойти на дубок?

Я и рад был пойти на судно. Никогда не ходил, боялся, что заругают.

С берега на корму узенькая сходня, и страшновато идти, а я так, поскорей. Я стал нарочно фуражку искать, чтоб походить по дубку: очень приятно на судне. Пришлось все-таки найти, и я стал фуражку выжимать, а она чуть намокла. А эти, что работали, и внимания не обратили. И без фуражки можно было войти. Я стал смотреть, как бородатый мазал дегтем на носу машину, которой якорь поднимают.

С ЭТОГО И НАЧАЛОСЬ

Вдруг бородатый перешел с кисточкой на другую сторону мазать. Увидал меня да как крикнет: «Подай ведерко! Что, у меня десять рук, что ли? Стоит, тетеря!» Я увидал ведерко со смолой и поставил около него. А он опять: «Что, у тебя руки отсохнут — подержать минуту не можешь!» Я стал держать. И очень рад был, что не выгнали. А он очень спешил и мазал наотмашь, как зря, так что кругом деготь брызгал, черный такой, густой. Что ж мне, бросать, что ли, ведерко было? Смотрю, он мне на брюки капнул раз, а потом капнул сразу много. Все пропало: брюки серые были.

ЧТО ЖЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?

Я стал думать: может быть, как-нибудь отчистить можно? А в это время как раз бородатый крикнул: «А ну, Гришка, сюда, живо!» Матрос подбежал помогать, а меня оттолкнул; я так и сел на палубу, карманом за что-то зацепился и порвал. И из ведерка тоже попало. Теперь совсем конец. Посмотрел: старик спокойно рыбу ловит, — стоял бы я там, ничего б и не было.

УЖ ВСЕ РАВНО

А они на судне очень торопились, работали, ругались и на меня не глядели. Я и думать боялся, как теперь домой идти, и стал им помогать изо всех сил: «Буду их держаться» — и уж ничего не жалел. Скоро весь перемазался.

ПРИШЕЛ ТРЕТИЙ

Этот, с бородой, был хозяин; Опанас его зовут. Я все Опанасу помогал: то держал, то приносил, и все делал со всех ног, кубарем. Скоро пришел третий, совсем молодой, с мешком, принес харчи. Стали паруса готовить, а у меня сердце ёкнуло: выбросят на берег, и мне теперь некуда идти. И я стал как сумасшедший.

СТАЛИ СНИМАТЬСЯ

А они уж всё приготовили, и я жду, сейчас скажут: «А ну, ступай!» И боюсь глядеть на них. Вдруг Опанас говорит: «Ну, мы снимаемся, иди на берег». У меня ноги сразу послабли. Что ж теперь будет? Пропал я. Сам не знаю, как это снял фуражку, подбежал к нему. «Дядя Опанас, — говорю, — дядя Опанас, я с вами пойду, мне некуда идти, я все буду делать». А он: «Потом отвечай за тебя». А я скорей стал говорить: «Ни отца у меня, ни матери, куда мне идти?»

Божусь, что никого у меня, — все вру: папа у меня — почтальон. А Опанас стоит, какую-то снасть держит и глядит не на меня, а что Григорий делает. Сердито так.

ТАК И ОСТАЛСЯ Я

Как гаркнет: «Отдавай кормовые!» Я слышал, как сходню убирают, а сам все лопочу: «Я все буду делать, в воду полезу, куда хотите посылайте!» А Опанас как будто не слышит. Потом все стали якорь подымать машиной: как будто воду качают на носу этой самой машиной — брашпилем.

Я старался изо всех сил и ни о чем не думал, только чтоб скорей отойти, только чтоб не выкинули.

СКАЗАЛИ—БОРЩ ВАРИТЬ

Потом ставить стали паруса, я все вертелся и на берег не глядел, а когда глянул — мы уже идем, плавно, незаметно, и до берега далеко — не доплыть, особенно если в одежде.

У меня мутно внутри стало, даже затошнило, как вспомнил, что́ я сделал. А Григорий подходит и так по-хорошему говорит: «А ты теперь поди в камбуз, борщ вари; там и дрова». И дал мне спички.

КАКОЙ ТАКОЙ КАМБУЗ?

Мне стыдно было спросить, что это — камбуз. Я вижу: у борта стоит будочка, а из нее труба вроде самоварной. Я вошел, там плитка маленькая. Нашел дрова и стал разводить огонь. Раздуваю, а сам думаю: что же это я делаю? А уж знаю, что все кончено. И стало страшно.

НИЧЕГО УЖ НЕ ПОДЕЛАЕШЬ...

Ничего, думаю, надо пока что борщ варить. Григорий заходил от плиты закуривать и говорил, когда что не так. И все приговаривает: «Да ты не бойся, чего ты трусишь? Борщ хороший выйдет». А я совсем не от борща. Стало качать. Я выглянул из камбуза — уж одно море кругом. Дубок наш прилег на один борт и так и пишет вперед. Я увидал, что теперь ничего не поделаешь. Мне стало совсем все равно, и вдруг я успокоился.

ПОУЖИНАЛИ—И СПАТЬ!

Ужинали в каюте, в носу, в кубрике. Мне хорошо было, совсем как матрос: сверху не потолок, а палуба, и балки толстые — бимсы, от лампочки закопчены. И сижу с матросами.

А как вспомню про дом, и мамка и отец такими маленькими кажутся. Все равно: и я теперь ничего не могу сделать, и мне ничего не могут.

Григорий говорит: «Ты, хлопчик, наморился, спать лягай», — и показал койку.

КАК В ЯЩИКЕ

В кубрике тесно; койка — как ящик, только что без крышки. Я лег в тряпье какое-то. А как прилег, слышу: у самого борта вода плещет чуть не в самое ухо. Кажется, сейчас зальет. Все боялся сначала — вот-вот брызнет, особенно когда с шумом, с раскатом даст в борт. А потом привык, даже уютней стало: ты там плечи не плечи, а мне тепло и сухо. Не заметил, как заснул.

ВОТ КОГДА НАЧАЛОСЬ-ТО!

Проснулся — темно, как в бочке. Сразу не понял, где это я. Наверху по палубе топчут каблучищами, орут, а зыбью так и бьет; слышу, как уже поверху вода ходит. А внутри все судно трещит, кряхтит на все голоса. А вдруг тонем? И показалось, что из всех щелей сейчас вода хлынет, сейчас, сию минуту. Я вскочил, не знаю, куда бежать, обо все стучаюсь, в потемках нащупал лесенку и выскочил наверх.

ПЯТЬ САЖЕНЕЙ

Совсем ночь, моря не видно, а только из-под самого борта зыбь бросается, как оскаленная, на палубу, а палуба из-под ног уходит, и погода ревет, воет со злостью, будто зуб у ней болит. Я схватился за брашпиль, чтоб устоять, а тут все окатило. Слышу, Григорий кричит: «Пять сажений, давай поворот! Клади руля! На косу идем!» Дубок толчет, подбивает, шлепает со всех сторон, как оплеухами, а он не знает, как и повернуться, — и мне кажется, что мы на месте стоим и еще немного, и нас забьет эта зыбь.

ПОВОРОТ

Пусть куда-нибудь поворот, все равно, только здесь нельзя. И я стал орать: «Поворот, поворот! Пожалуйста, дяденьки, миленькие, поворот!» Моего голоса за погодой и не слышать. А Опанас охрип, орет с кормы: «Куда, к чертям, поворот, еще этим ветром пройдем!» Еле через ветер его слышно. Григорий побежал к нему. А я стою, держусь, весь мокрый, ничего уже не понимаю и только шепчу: «Поворот, поворот, ой, поворот!»

СЕЛИ

Думаю: «Григорий, Гришенька, скажи ему, чтоб поворот!» И как я Григория сразу залюбил. Как он борщ-то мне помогал! Слышу обрывками, как они на корме у руля ругаются. Я хотел тоже побежать, просить, чтоб поворот. Не дошел — так зыбью ударило, что хватился за какой-то канат, вцепился и боюсь двинуться. Не знаю уже, где паруса, а где море и где дубок кончается. Слышу, Григорий кричит, ревет прямо: «Не видишь, толчея какая, на мель идет!» И вдруг как потрянет все судно, что-то затрещало, — я с ног слетел. На корме закричали, Григорий затопал по палубе. Тут еще раз ударило о дно, и дубок наклонился. Я подумал: теперь пропали.

СТАЛО СВЕТАТЬ

Григорий кричит: «Было б до свету в море продержаться! Вперлись в Джарылгач в самый. Еще растолчет нас тут до утра!» А тут опять дубок наш приподняло, стукнуло о дно; он так весь и затрепетал, как птица. А зыбь все ходит и через палубу. Я все ждал, когда тонуть начнем. А тут Григорий на меня споткнулся, поднял на ноги и говорит: «Иди в кубрик; не бойся: мы под самым берегом». Я сразу перестал бояться. И тут заметил, что стало светать.

ВТОРОЙ ДЖАРЫЛГАЦКИЙ ЗНАК

Я залез в кубрик. Пощупал — сухо. Судно не качало, а оно только вздрагивало, когда даст сильно зыбью в борт. Я вспомнил про дом: бог с ними, с брюками, головы бы не сняли, а теперь вот что. А наверху, слышу, кричат: «Я ж тебе говорил — под второй Джарылгацкий и выйдем». Я забился в койку и решил, что буду так сидеть, пусть будет что будет. Что-нибудь же будет!

БЕРЕГ

А наверху погода ревет и каблуки топают. Слышу, по трапу спускаются и Григорий кричит: «Эй, хлопчик, как тебя? Воды нема в кубрике?» Я думал — ему пить, и стал руками шарить. А он где-то впереди открыл пол и, слышу, щупает. Я опять испугался: значит, течь может быть. Григорий говорит: «Сухо». Я выглянул из койки в люк; мутный свет видно, и как будто все сразу спокойней стало: это от свету.

Я выскочил за Григорием на палубу. Море желтое и все в белой пене.

Небо наглухо серое.

А за кормой еле виден берег — тонкой полоской, и там торчит высокий столб.

ВЫВЕРНУТЬСЯ!

Ветром обдувало, я весь мокрый, и у меня зуб на зуб не падал. Опанас тычет Григорию: «Если бы за знак закрепить да взять конец на тягу, вывернулись бы и пошли!» А Григорий ему: «Шлюпку перекинет, вон какие зыба под берегом лопаются, плыть надо». Опанас злой стоит, и ему ветром бороду треплет, страшный такой. Посмотрел на меня зверем: «Вот оно, кричал тогда: «В воду, я хоть в воду», — вот все через тебя. Лезь вот теперь за борт!» Мне так захотелось на берег и так страшно

Опанаса стало, что я сказал: «Я и поплыву, я ничего». Он не слышал за ветром и заорал на меня: «Ты что еще там?» У меня зубы стучат, а я все-таки крикнул: «Я на берег!»

С БОРТА

Опанас кричит: «Плыви, плыви! Возьмешь не знай кого, через тебя все и вышло. Полезай!» Григорий говорит: «Не надо, чтоб мальчик. Я поплыву». А Опанас: «Пусть он, он!» — и прямо зверем: «Пропадем с тобой, все равно за борт выкину!» Григорий ругался с ним, а я кричу: «Поплыву, сейчас поплыву!» Григорий достал доску, привязал меня за грудь к доске. И говорит мне в ухо: «Тебя зыбью аккуратно на Джарылгач вынесет, ты спокойно, не теряй силы». Потом набрал целый моток тонкой веревки. «Вот,— говорит,— на этой веревке пускать тебя буду. Будет плохо — назад вытяну. Ты не трусь! А доплывешь — тяни за эту веревку, мы на ней канат поддадим, закрепим за столб, за знак этот, а вывернемся, сойдем с мели, ты канат отвяжи скорей, отдай, сам хватайся за него, мы тебя на нем к себе на судно и вытянем». Мне так хотелось на берег,— казалось, совсем близко, я на воду и не глядел, только на песок, где знак этот торчал. Я полез на борт. А Гришка спрашивает: «Как звать?» А я и не знаю, как сказать, и, как в училище, говорю: «Хряпов», а потом уже сказал, что Митькой. «Ну,— говорит Григорий,— вались, Хряп! Счастливо».

НА ДОСКЕ

Я бросился с борта и поплыл. Зыбь сзади накатом, в затылок мне, и вперед так и гонит; я только на берег и смотрю. А берег низкий, один песок. Как зыбью подымет, так под сердце и подкатывает, а я все глаз с берега не свожу. Как стал подплывать, вижу: ревет прибой под берегом, рычит, копает песок, всё в пене. Закрутит, думаю, и убьет прямо о песок головой. И вот всё ближе, ближе...

ЗЫБЬ ЛОПАЕТСЯ

Вдруг, чувствую, понесло-понесло меня на гребешке, высоко, как на руках, подняло, и сердце упало: сейчас зыбь лопнет, как трахнет об песок! Не буду живой! А тут веревка моя вдруг натянулась, и зыбь вперед пошла и без меня лопнула. И так пошло каждый раз — я догадался, что это Григорий с судна веревкой правит. Я уж песок под ногами стал чувствовать, хотел бежать, но сзади как заревет зыбь, нагнала, повалила, завертела, я песку наглotalся, но на доске снова выплыл.

ЗА ЗНАК

Наконец я выкарабкался. Глянул на судно: стоит и парусами на зыби колышет, как птица подстреленная. А я так рад был, что на земле, и мне все казалось, что еще качает, что земля подо мной ходит. Я отвязался от доски и стал тянуть веревку. Знак как раз тут же был: громадный столб с укосинами, и наверху что-то наворочено вроде бочки. Я взял веревку на плечи и пошел. Ноги в песке вязнут, и во рту песок, и в глаза набило, и низом метет песком. Еле веревку вытащил... Смотрю, уж кончилась тонкая веревка и канат пошел толстый. Я его запутал, как умел, за знак, под самый корень, и лег на песок — весь дух из меня вон, пока я тянул.

ВЫВЕРНУЛИСЬ!

Знак дрогнул. Вижу — натянулся канат; я привстал. Судно повернулось, оттуда стали мне махать. Я встал и начал отпутывать канат, — здорово затянуло. Судно пошло, канат ушел в воду, потянулась и веревка; как живая змейка, так и убегает в море.

БЕРЕГ ИЛИ МОРЕ?

Я видел, как Григорий с борта махал мне рукой: хватайся, вытащим на веревке, — я не знал, тут остаться или к Опанасу — и в море. Оглянулся — сзади пустой песок, а все-таки земля. Я думал, а веревка змейкой убегала и убегала. Вот доска дернулась и поползла. Сейчас уйдет! Я надумал остаться и все-таки бросился за доской в воду. Но тут зыбь ударила, я назад, а доска ушла.

ОДИН

Я видел, как доска скакала по зыби к судну, а судно уходило в море. Вот тут я схватился, что я один, и я побежал прямо прочь от берега по песку. А вдруг тут совсем никого нет и ни до кого не дойти? Я опять оглянулся — судно было совсем далеко, только паруса видно. Лежал бы теперь в койке и приехал бы куда-нибудь!

СТАДО

А вдали я увидел, будто стадо. Пошел туда — ну вот, люди, пастухи там должны быть. Боялся только, что собаки выскочат. Я перестал бежать, но шел со всех сил. Волочу ноги по песку. Когда стал подходить, вижу — это верблюды. Я совсем близко подошел — ни одной собаки нет. И людей тоже.

ВЕРБЛЮДЫ

Верблюды стояли как вкопанные, как ненастоящие. Я боялся идти в середину стада и пошел вокруг. А они как каменные. Мне стало казаться, что они неживые и что этот Джарылгач, куда я попал, заколдованный, и стало страшно. Я так их стал бояться, что думал: вот-вот какой-нибудь обернется, ухмыльнется и скажет: «А я...» Ух!.. Я отошел и сел на песок. Какие-то торчки растут там вроде камыша, и несет ветер песок, и песок звенит о камыш — звонко и тоненько.

А я один. И намедает, намедает мне на ноги песку. Мои брюки не узнать стало.

И показалось мне, что меня замедает на этом Джарылгаче, и такое полезло в голову, что я вскочил — и опять к верблюдам.

ИЗБУШКА

Я подошел, встал. против одного верблюда. Он стоял как каменный. Я стал кричать; что попало кричал во всю глотку. Вдруг он как шагнет ко мне! Мне так страшно стало, что я повернулся — и бежать. Бежать со всех ног! Смейтесь, вам хорошо, а вот когда один... все может быть. Я не оглядывался на верблюдов, а все бежал и бежал, пока сил хватило. И показалось мне, что нет выхода из этих песков, а верблюды здесь для страха. И тут я увидел вдали избушку.

Весь страх пропал, и я пустился туда, к избе. Иду, спотыкаюсь, вязну в песке, но сразу весело стало.

МЕРТВОЕ ЦАРСТВО

В избушке ставни были закрыты, а за плетнем во дворе навес. И опять нет собаки, и тихо-тихо. Только слышно, как песок о плетень шуршит. Я тихонько постучал в ставни. Никого. Обошел избушку — никого. Да что это? Кажется мне или в самом деле? И опять в меня страх вошел. Я боялся сильно стучать, — а вдруг кто-нибудь выскочит, неизвестный какой-нибудь? Пока

я стучал да ходил, я не заметил, что со всех сторон идут верблюды к избушке, не спеша, шаг за шагом, как заводные, и опять мне показалось, что ненастоящие.

В ЯСЛЯХ

Я стал скорей перелезать через плетень во двор, ноги от страху ослабли, трясутся; перебежал двор, под навес. Смотрю — ясли, и в них сено. Настоящее сено. Я залез в ясли и закопался в сено, чтоб ничего не видеть. Так лежал и не дышал. Долго лежал, пока не заснул.

ВЕДРО

Просыпаюсь — ночь, темно, а на дворе полосой свет. Я прямо затрясся. Вижу, дверь в избушку открыта, а из нее свет. Вдруг слышу, кто-то идет по двору и на ведро споткнулся, и бабий, настоящий бабий голос кричит: «Угораздило тебя сослепу ведро по дороге кинуть, я-то его ищу!»

ДОМОВОЙ

Она подняла ведро и пошла. Потом слышу, как из колодца воду достает. Как пошла мимо меня, я и пискнул: «Тетенька!» Она и ведро упустила. Бегом к двери. Потом вижу, старый выходит на порог. «Что ты,— говорит,— пустое болтаешь! Какой может быть домовой! Давно вся нечисть на свете перевелась». А баба кричит: «Запирай двери, я не хочу!» Я испугался, что они уйдут, и крикнул: «Дедушка, это я, я!» Старик метнулся к двери, принес через минуту фонарь. Вижу, фонарь так в руках и ходит.

ЧТО ОНО ТАКОЕ — ДЖАРЫЛГАЧ?

Он долго подходить боялся и не верил, что я не домовый. И говорит: «Коли ты не нечистая сила, скажи, как твое имя крещеное». — «Митька,— кричу,— Митька я, Хряпов, я с судна!» Тут он только поверил и помог мне вылезть, а баба фонарь держала. Тут стали они меня жалеть, чай поставили, печку камышом затопили. Я им рассказал про себя. А они мне сказали, что это остров Джарылгач, что здесь никто не живет, а верблюдов помещицких сюда пастись приводят и только кой-когда старик их поить приезжает. Они могут подолгу без воды быть. Берег тут — рукой подать. А пошли верблюды за мной к избе потому, что

подумали, что я их пить зову, они свой срок знают. Старик сказал, что деревня недалеко и почта там: завтра домой можно депешу послать.

МАМКА

Через день я уж в деревне был и ждал, что будет из дому. Приехала мамка и не ругала, а только все ревела: поглядит — и в слезы. «Я,— говорит,— тебя уж похоронила...» Ну, с отцом дома другой разговор был.

1926

«МАРИЯ» И «МЭРИ»

Это было в Черном море в ноябре месяце. Русская парусная шхуна «Мария» под командой хозяина Афанасия Нечепуренки шла в Болгарию с грузом жмыхов в трюме. Была ночь, и дул свежий ветер с востока, холодный и с дождем. Ветер был почти попутный. Тяжелые, намокшие паруса едва маячили на темном небе черными пятнами. По мачтам и снастям холодными струями сбегала вода. На мокрой палубе было темно и скользко. Впрочем, сейчас и ходить было некому. Один рулевой стоял у штурвала и ежился, когда холодная струя попадала с шапки за ворот. В матросском кубрике, в носу судна, в сырой духоте спало по койкам пять человек матросов. Кисло пахло махоркой и грязным человеческим жильем. Мальчишку Федьку кусали блохи, и ему не спалось. Было душно. Он встал, нащупал трап и вышел на палубу. Он натянул на голову рваный бушлат¹ и зашлепал босиком по мокрым доскам. Слышно было, как хлестко поддавала зыбь в корму. Федька хорошо узнал палубу за два года и в темноте не спотыкался. Море казалось черным, как чернила, и только кое-где скалились белые гребешки.

Федька заглянул в люк хозяйской каюты. Там вспыхивал огонек папиросы.

— Эге! — крикнул Нечепуренко. — Кто це? Хведька? А ну, ходы!

Федька спустился в каюту.

— Хлопцы огонь задули? Ну-ну! Жгут дурно керосин, не в думках, что в деревне люди с каганцами живут.

Огня не было не только в кубрике, но не были выставлены и отличительные огни по бортам: справа зеленый и слева красный. По этим огням суда ночью узнают друг друга и избегают столкновений.

¹ Б у ш л а т — матросское полупальто.

— Як не спишь,— продолжал хозяин,— то уж не спи: тут могут пароходы встретиться. Поглядывай в море.

Федька подошел к рулевому.

— Что трясешься? — спросил рулевой.— Ямы боишься?

— Та смерз,— сказал Федька.— А кака та яма?

— Не знаешь?

Федька много слышал рассказней про яму, не верил им, но все-таки любил послушать. А ночью так и побаивался: а вдруг в самом деле есть?

— Нема никакой ямы,— сказал Федька.— Ты ее видал?

— А вот и видал: там повсегда зыбь. Ревет! — аж воет. Я раз с греками плавал, видал, как судно туда утянуло. Хоп — и амба!

— Брешешь! — испугался Федька.

— Вот чтоб я пропал! Пароходы затягает.

— А где ж она?

— Аккурат посередь моря. Греки знают.

— Да врешь ты! — отмахивался Федька.

— Верное слово. Вот чего Афанасий не спит? — добавил рулевой вполголоса.— Накажи меня бог, ямы боится.

— Федька! — крикнул из каюты хозяин.— Смотри огни! Уши развесил!

Федька стал вглядываться в темноту, и действительно, далеко впереди, справа, ему показался белый огонек. А сам прислушался, не гудит ли впереди яма.

Английский грузовой пароход «Мэри» с полным грузом русского хлеба шел, направляясь вдоль западного берега Черного моря, в Босфор, чтоб оттуда идти дальше в Ливерпуль.

Зеленый и красный огни ярко светились по бортам: там горели сильные электрические лампы. Еще один, белый, огонь горел на мачте. Этот огонь на мачте носят пароходы в отличие от парусных судов, которым пароходы всегда должны уступать в море дорогу.

Пароход был недавно построен, все было новенькое, и исправная машина работала как часы. На носу судна стоял вахтенный «баковый» и зорко смотрел вперед. Тут же висел большой сигнальный колокол, которым баковый давал знать вахтенному штурману, когда появится на горизонте огонь: ударит раз — значит, огонь справа, два — слева, три раза — прямо по пути парохода.

Молодой помощник капитана, штурман Юз, был на вахте и ходил взад и вперед по капитанскому мостику.

Вдруг он услышал три спешных удара в колокол с бака. Он глянул вперед: почти перед самым носом парохода слабо мигал зеленый огонек.

— Лево на борт! — крикнул Юз рулевому, и пароход резко покати́лся влево.

Рей парусника едва не задел пароход.

— Четвертый раз! — ворчал про себя Юз. — На курс! — скомандовал он рулевому.

Рулевой повернул штурвал, заляцала рулевая машина, и пароход пошел по прежнему направлению.

Капитан Паркер сидел на кожаном диванчике в своей каюте, которая помещалась тут же, у капитанского мостика. Две электрические лампочки горели над полированным столиком, на котором стояла бутылка виски¹ и сифон содовой воды. Капитан курил из трубки душистый английский табак и записывал в свой кожаный альбом русские впечатления. Он боялся, что за длинную дорогу забудет и не сумеет толком рассказать своим ливерпульским друзьям про Россию.

«На улицах громко говорят, кричат, — писал он, — на тротуарах толкаются и не извиняются...»

Бах, бах, бах! — опять раздались три удара с бака.

Капитан Паркер надел фуражку и выскочил из каюты.

— В чем дело, Юз? Опять? — спросил он помощника.

— Право, право, еще право! — командовал Юз.

Красный огонек совсем близко проскользнул мимо левого борта.

— Что они, издеваются? — сказал Паркер.

— Мы ведь должны уступать паруснику по закону, — ответил Юз.

— Но ведь закон, мистер Юз, запрещает ходить в море без огней, как пираты. Или вы считаете правильным, когда огни внезапно появляются за три сажени? — назидательно сказал капитан.

— Что же, бить? — спросил Юз.

— Надо быть твердым, когда ты прав.

— Конечно, следовало бы проучить, — слабо заметил Юз.

— Ну, а раз так, то не меняйте в таких случаях курса, Юз, — ответил Паркер.

Капитан круто повернулся и ушел к себе в каюту.

Артур Паркер представил себе, как его пароход, гладко выкрашенный в красивый серый цвет, горит яркими электрическими огнями, чистый, сильный, гордо идет среди этих замухрышек-парусников. Джентльмен в толпе дикарей.

Он вспомнил, как в русском порту его два раза толкнули на улице. Он не успел опомниться, как уже обидчик куда-то исчез.

Артур Паркер представлял, как он будет рассказывать про это в Ливерпуле и как все будут ждать, что он сейчас скажет, как

¹ В и с к и — английская водка.

он сумел показать этим дикарям, с кем они имеют дело. А сказать было нечего. Паркер сильно досадовал на себя.

«Вот и с этим парусником упущен случай. Этот разиня Юз! Надо было просто — трах! Довольно миндальничать, носите огни в море... Какой был удобный случай проучить эту публику!» — досадовал капитан.

Паркер снова вышел на мостик. Он надеялся все-таки, что вдруг представится еще такой же случай, и не рассчитывал на Юза.

— Они, кажется, вас выдрессировали, Юз, — едко сказал он помощнику. — Вы ловко обходите этих господ, юлите, как лакей в ресторане.

Юз молчал и смотрел вперед.

— Дядьку, — крикнул Федька хозяину, — вже блище огонь, пароход аккурат на нас идет!

Нечепуренко высунулся из каюты.

— А таки здоровый пароход, — сказал он, помолчав, — должно, с Одессы, с хлебом. А ты где, Федька, закинул той старый фалень? С него ще добры постромки выйдуть.

— Дядьку! Ой, финар давайте! — кричал Федька.

Он не спускал глаз с парохода, и ему ясно было, что если пароход через минуту не свернет, то столкновение неизбежно.

Рулевой не выдержал и стал забирать лево.

— Що злякавсь?¹ — крикнул Нечепуренко. — Держи, бисова душа, як було! На серники, — обратился он к Федьке.

Федька вырвал из рук хозяина коробок спичек и бросился в каюту, нащупал на стене фонарь, чиркнул спичку — красный. Надо правый, зеленый. Впопыхах, дрожащими руками Федька чиркал спичку за спичкой; они ломались, тухли, он не мог зажечь нагоревшей свечки.

Горит! Федька с маху захлопнул дверцу — фонарь мигнул и потух.

— Не здавайсь под ветер! — слышал он, как кричал наверху хозяин рулевому.

Федька снова чиркал спички, чувствовал, что теперь уж каждая секунда стоит жизни. Наконец он выбежал с зеленым огнем на палубу и направил фонарь к пароходу.

Пароход был совсем близко, и Федьке казалось, что прямо в упор глядят красный и зеленый глаза парохода. Он услышал, что там спешно пробили три удара в колокол.

— Так держать! — крикнул Нечепуренко злым голосом.

— Так держать! — раздалась жесткая команда по-английски на пароходе.

¹ Чего испугался?

Не меняя курса, «Мэри» шла прямо на парусник.

— Лева, лева! — завопил Нечепуренко.

Но было уже поздно. Федька видел, как с неудержимой силой на них из темноты летел высокий нос парохода, не замечая их, направляясь в самую середину судна. Ему стало страшно, что пароход прямо раздавит его, Федьку. Он выпустил на палубу фонарь, опрометью бросился к вантам и, как обезьяна, полез на мачту.

— Гей, гей! — в один голос крикнули хозяин и рулевой, но в тот же почти момент оба слетели с ног от удара: пароход с полного хода врезался в судно.

Раздался страшный хрустящий удар. Федьку тряхнуло, и он едва удержался на вантах. В двух аршинах от себя он ясно увидел серый корпус судна; закрыл глаза, сжался в комок и изо всей силы уцепился за ванты. Что-то грохнуло, ударило, мачту покачнуло, и, когда Федька открыл глаза, он увидел удаляющиеся огни парохода, а внизу — он ничего не мог понять — вода была в двух аршинах под ним. Он вскарабкался выше, и с ужасом видел, что вода поднимается за ним. Он стал на салинг и обхватил стеньгу, не спуская глаз с воды. Черная, слепая зыбь ходила там внизу, но теперь она не шла выше, как будто бы мачта перестала погружаться. Но Федька не верил и не отводил глаз от воды.

Капитан Паркер молчал и глядел вперед, как будто ожидая еще чего-то. Ему казалось, что это еще не все. А «Мэри» все удалялась от места крушения. Команда выскочила на палубу, все тревожно спрашивали бакового, что случилось.

«Все правильно, да, да, все правильно...» — думал Паркер. Он сам не ожидал, что так все это будет, и теперь испуганная совесть искала оправданий.

— Капитан, там ведь люди остались! — взволнованным голосом сказал Юз.

— Да, да... — ответил Паркер, не понимая слов помощника.

— Право на борт! — крикнул Юз рулевому. — Обратный румб!

— Есть обратный румб! — торопливо ответил рулевой.

— Да, да, обратный румб, — сказал Паркер, как будто приходя в себя.

Команда без приказаний готовила шлюпку к спуску.

«Мэри» малым ходом пошла назад, к месту крушения. Матросы толпились на баке и, перебрасываясь тревожными словами, напряженно вглядывались в темноту ночи.

— Здесь, должно быть, — сказал Юз.

— Стоп, машина! — скомандовал Паркер.

«Мэри» медленно шла с разгона. Но никто ничего не видел. Паркер скомандовал, пароход делал круги; наконец всем стало

ясно, что места крушения не найти, не увидеть даже плавающих обломков в темноте осенней дождливой ночи.

— Найти, непременно найти,— шептал Паркер,— всех найти, они тут плавают. Они хорошо умеют плавать... Мы всех спасем,— говорил он вслух.— Не так ли, Юз?

Юз молчал.

— Да, да,— отвечал сам себе капитан.

И он крутил, то увеличивая ход, то вдруг останавливая машину. Так длилось около часа.

— На курс,— вполголоса сказал Юз, подойдя к рулевому, и дал полный ход машине.

«Мэри» пошла опять своей дорогой на юг.

— Ведь за три сажени показались огни, Юз, не правда ли? — сказал Паркер.

— Не знаю, капитан...— ответил помощник, не повернув головы.

Паркер ушел в каюту.

Теперь он думал: «Там остались в море люди... их спасут. Ну, может быть, одного... он расскажет... а если все утонули, парусника не так скоро хватятся».

Он старался себя успокоить, вспоминая рассказы товарищей моряков, какие он слышал. Как-то все выходило с победой, и было даже весело и смешно. Он попробовал весело подумать, но случайно увидал свое лицо в зеркале, и ему стало страшно. Ему показалось, что теперь не он ведет пароход, а Юз везет его, Паркера, туда, в Константинополь. Ему казалось, что самое главное — вырваться из этого проклятого Черного моря. Прощмыгнуть через Босфор, чтобы не узнали. Проклятый серый цвет — все пароходы черные. Если б черный!.. Ему хотелось сейчас же вскочить и замазать этот предательский серый цвет.

Вдруг Паркер встал, вышел и быстро прошел в штурманскую рубку, где лежали морские карты. Через пять минут он подошел к Юзу и сказал:

— Ложитесь на курс норд-вест, восемьдесят семь градусов.

«Мэри» круто повернула вправо.

Когда Паркер ушел, Юз глянул в карту: они шли к устью Дуная.

Русский пассажирский пароход возвращался из александрийского рейса. Не прекращавшийся всю ночь сильный восточный ветер развел большую зыбь. Низкие тучи неслись над морем. Насилу рассвело. Продрогший вахтенный штурман кутался в пальто и время от времени посматривал в бинокль, отыскивая Федонисский маяк¹, и ждал смены.

¹ Маяк на острове Федониси, против устья Дуная.

— Маяка еще не видать,— сказал он пришедшему товарищу,— а вот там вежа какая-то.

— Никакой тут не должно быть.

— Посмотрите,— и он передал бинокль.

— Да, да,— сказал тот, посмотрев.— Да, стойте, на ней что-то... Это мачта, право, мачта.

Доложили капитану, и вот пароход, уклонившись от пути, пошел к этой торчавшей из воды мачте. Скоро вся команда узнала, что идут к какой-то мачте, и все высыпали на палубу.

— Побей меня господь, на ней человек, чтоб я пропал! — кричал какой-то матрос.

Но с мостика в бинокль давно уже различили человека и теперь приказали спустить шлюпку. Это трудно было сделать при таком волнении, и шлюпку чуть не разбило о борт парохода. Но всем наперерыв хотелось поскорее подать помощь и узнать, в чем дело. Даже бледные от морской болезни пассажиры вылезли на палубу и ожили. Пароход стоял совсем близко, и всем уже ясно было видно, что на салинге торчавшей из воды мачты сидел мальчик.

Все напряженно следили за нырявшей в зыби шлюпкой. Подойти к мачте так, чтоб кому-нибудь перелезть на нее, нельзя было, а мальчик вниз не спускался: видно было, как кричали со шлюпки и махали руками.

— Умер, умер! — говорили пассажиры.— Застыл, бедняга.

Но мальчик вдруг зашевелился. Он, видимо, с трудом двигал руками, распутывая веревку вокруг своего тела. Потом он зашатался и плюхнулся в воду около самой шлюпки, едва не ударившись о борт. Его подхватили.

Федька был почти без чувств; с трудом удалось вырвать у него несколько слов: «Ночью... серый... нашу «Марию»... с хода в бок...» Он скоро впал в беспамятство и бессвязно бредил. Но моряки уже поняли, что случилось, и в тот же день из порта полетели телеграммы: нетрудно было установить, какой серый пароход мог оказаться в этом месте в ту ночь.

Дней через пять после крушения «Марии» черный английский пароход пришел в Константинополь и стал на якорь в проливе. Штурман отправился на шлюпке предъявить свои бумаги портовым властям. Через час к пароходу пришла с берега шлюпка с английским флагом.

— Я британский консул,— сказал вахтенному матросу высадившийся джентльмен,— проводите меня к капитану.

Капитан встал, когда в дверях каюты появился гость.

— Я здешний консул. Могу с вами переговорить? Вы капитан Артур Паркер, не так ли?

— Да, сэр...

Капитан покраснел и нахмурился. Он волновался и забыл пригласить гостя сесть.

— Откуда вы идете? — спросил консул.

— Мои бумаги на берегу.

— Мне их не надо, я верю слову англичанина.

— Из... Галаца, сэр.

— Но вы шли из России? — спросил консул. — У вас был груз для Галаца?

— Ремонт, — сказал Паркер. Он с трудом переводил дух, и консулу жалко было смотреть, как волновался этот человек. — Маленький... ремонт, сэр... в доке.

— И там красились? — спросил консул.

Паркер молчал.

Консул достал из бумажника телеграмму и молча подал ее Паркеру. Паркер развернул бумажку. Глаза его бегали по буквам, он не мог ничего прочесть, но видел, что это то, то самое, чего он так боялся. Он уронил руку с телеграммой на стол, смотрел на консула и молчал.

— Может быть, вы отправитесь со мной в консульство, капитан? Вы успокойтесь и объяснитесь, — сказал наконец консул.

Паркер надел фуражку и стал совать в карманы тужурки вещи со стола, не понимая, что делает.

— Не беспокойтесь, за вещами можно будет послать с берега, — сказал консул.

На палубе их встретил Юз. Он уже знал, в чем дело.

— Простите, — обратился он к консулу, — они все...

— Спасся один только мальчик, он дома и здоров, — ответил консул. — Их было восемь...

Паркер вздрогнул и, обогнав консула, не глядя по сторонам, быстрыми шагами направился к шлюпке. Теперь он хотел, чтобы его скорее арестовали.

На другой день черная «Мэри» вышла в Ливерпуль под командой штурмана Эдуарда Юза.

1924

НИКОЛАЙ ИСАИЧ ПУШКИН

Стоят на пристани пассажиры, ждут парохода.

— Вон, вон, кажется, «Пушкин» идет.

Отвечают портовые люди:

— Правильно, это Стратонов.

Пассажиры:

— «Пушкин» ведь?

— Ну да: Николай Исаич.

Пассажиры переглядываются — вот неучи какие моряки: не

знают, что Пушкин — Александр Сергеевич. Николай Исаич Пушкин!

А Николай Исаич стоит на мостике «Пушкина», глядит в бинокль и рявкает из бороды:

— Права... еще права... Так, так держать!

И знает Николай Исаич, что весь «Пушкин», от верхушки мачты до днища, — все это он, Николай Исаич. И что, когда посадит он «Пушкина» на мель, никто не скажет: «Пушкин» напоролся, а прямо будут говорить:

— Николай Исаич на мель сел. Стратонову скулу помял... Пять футов воды в трюме.

Сам все эти пять футов воды ртом бы выпил Николай Исаич — лишь бы не было такого греха.

И так вот всякий капитан. Потому и говорят: «Ерохин снялся, Федор с моря идет».

А в «Федоре» этом — десять тысяч тонн, и на носу покрашено: «Меркурий».

Я сам это понял только тогда, когда первый раз посадил парусник. Дело было просто. Шел я в свежую погоду у Тендры, ночью. Помощник мой вахту стоял. Вот по времени должна уж быть Тендра. А это, надо сказать, песчаная коса, ее и днем-то за двести саженей можно не увидеть. Я вышел и слышу: не та зыбь, метет прибой, россыпи слышно. Я говорю помощнику:

— Сейчас в Тендру вопремся, уваливайтесь под ветер.

А он говорит:

— Приведите к ветру, лот брошу.

То есть чтоб я поставил судно против ветра, а он смерит, сколько глубины.

А привести к ветру — это, выходит, с ходу еще сажен двадцать пролететь к берегу.

— Приведите! — кричит помощник.

— На вашу голову?

— Ладно. — И побежал он с лотом на бак.

Я привел, и еще ходу не потеряли, как ткнуло в грунт и дрогнуло все судно. Подняло зыбью и ударило дном. У меня душа оборвалась.

Потом на берегу спрашивали:

— Ты под Тендрой сидел?

— Да, понимаешь, помощник...

Все усмеваются, отворачиваются. И верно. А помощнику что? Сидел-то ведь не он, а я. И с тех пор я уже накрепко понял: не судно ходит, а капитан. Не судно гибнет, а...

Вот тут-то я вам и расскажу недавний случай с моим другом-приятелем.

Дело было так.

Ледокол промышлял во льдах в Белом море. Промышлял, то есть у него на борту было душ полтораста промышленников, и

ледокол лазил меж льдов по свободной воде, шел туда, где залег зверь. Капитан был молодой, лет тридцати пяти мужчина. Промышленники его любили за то, что с ним пойдешь — всегда удача. Зверя было «балго», и набили на льдине тюленей — беда сколько. Били и отстать не могли, в раж вошли люди от крови и от удачи. Такая жара пошла, что капитан сам не выдержал, сбежал на лед и садил багром тюленьи головы.

— Эх, здорово капитан завел! — красные, в поту и в крови, хвалили капитана промышленники.

А с запада потянул ветерок. Капитан уж на месте и торопит ребят:

— Ну, кончай! Кончай!

Да как бросишь? В десять лет раз, старики говорят, такая удача! Не бросать же, коли само счастье в руки лезет. Отвернись от него, так и оно отворотится. А вест свежает. Свежает вест, давит на лед, и вот двинулась льдина, и дрейфует (дрейфовать — идти без машины, силой ветра) ледокол у кромки со льдом вместе. Помалу дрейфует к востоку.

Темнеть стало. Ай и капитан, ну и капитан — прямо счастьем в карман вперся! Еще полчаса!

— Все на борт, снимаюсь!

Двинул капитан вдоль кромки: узкой полосой шла, как река в ледяных берегах, свободная вода.

— Умаялись, ребята, вари чего там на ужин!

А капитан дал полный ход: надо уйти из этой щели, а еще неизвестно, как там лед впереди. Часом бы раньше...

— А ну, сбегай в машину, скажи там, чтоб шевелили, сколько духу...

И стал капитан серьезным. Ходил по мостику и слышал, как внизу гомонят ребята, какого-то Митьку дразнят: вгорячах себе в валенок багром засадил. До Митьки тут! Ходу, ходу еще! Бон лед прямо по носу. Нет, это не поворот в канале, а затор. А может, слабый лед? И капитан заметил, как помощник косым взглядом глянул на него. Капитан подошел к телеграфу и два раза повернул ручку на весь размах и поставил на «полный» — значит, дай самый полный. Слышно было на мостике, как прозвонил крутым раскатом телеграф в машине. Пароход летел прямо в затор, сейчас, сейчас вонзится. Пароход ударил лед пологим форштевнем (выступающее ребро на носу), выскочил, задрался нос, и сразу смолкли голоса под мостиком. Ледокол влез носом на лед и стал, тужился машиной. И капитан, и помощник, сами того не замечая, напирали на планшир мостика, тужились вместе с ледоколом. Нет! Стоп!

— Назад!

Машина стала, и снова заурчало в брюхе парохода. Ледокол слез, скатился форштевнем: соскочил со льда и присел на минуту нос. Лед не поддался. Два раза еще ударил в лед капитан и запы-

хался, помогая пароходу. Он знал, что назад выхода нет и развернуться в узком канале нельзя. А внизу опять гудят, как на ярмарке.

— Митька-то в валенок!.. Ах, чтоб тебе!

И кто-то кричит:

— Значит, дрейфуем! Вались спать, ребята!..

Капитан сам знал, что придется дрейфовать к осту вместе со льдом в этом узком канале, в ледяной коробке. И знал капитан, знал по счислению, что там, справа к осту, — «кошки Литке». Пошел в штурманскую, глянул на карту, глянул во всю силу. Да, вот ровно на ост — «кошки Литке». И сейчас отлив, малая вода.

А вест свежал и свежал. Стало темно; промышленники уж глухо гудели под палубой, и только две папироски остро горели у правого борта.

Если б можно было ходить пешком по дну, хотя бы в водолазной одежде, то чего бы человек не увидел! Как леса, стоят на камнях водоросли, и в них, как птицы, реют рыбы. Вот, как пустыня, лежит песчаная отмель, и камни, как ежи, сидят, поросли ракушей. А дальше горы. Горы стоят как пики, уходят ввысь, и, если взобраться на них, уж рукой подать до неба — до водяной крыши, что дышит приливом и отливом каждые шесть часов.

И такие горы стоят на дне Белого моря. Их нащупал Литке, нанес на карту, и с тех пор называются они «кошки Литке».

В полную, приливную воду может над ними пройти пароход, но в отлив напорется и раскроит себе брюхо.

Эти самые «кошки» и были по правому борту ледокола, и был отлив, то есть была «кроткая вода»; когда кончится отлив, должен начаться прилив.

Капитан знал это. Знал, что в узком канале он будет дрейфовать до самых «кошек»; что если он брюхом упрется в «кошки», то через минуту лед слева подойдет к борту вплотную, наплет, наплет неодолимо, как если бы берег, сам материк надвинулся на него, — наплет в борт и положит ледокол мачтами на воду, и тогда — аминь. Звать по радио на помощь? Кто же пробьется к нему, когда он, ледокол, не может выбиться? Только раззвонить по свету... чтоб люди смеялись и враги радовались. И он знал, что вот скоро-скоро царапнет дном.

Приказал держать полный пар и ушел в каюту. Посидел на койке, все смотрел на свои большие руки.

«Положит набок пароход... положит...»

Где «кошки»? И спиной чувствовал, что там, сзади него, под водой, подо льдом, стоят эти «кошки» и ждут. Сколько до них? Нельзя знать, тут дело не в саженьях. Поглядел в альманах (астрономический справочник). И без карандаша в уме считалось само до секунды — сейчас идет прилив, только начался. И капитан нутживался, помогал подниматься воде, каждый дюйм воды

будто сам, своей натугой, подымал. На пароходе было тихо, и только слышно было под низом, как гудит динамо, качает свет. Свежий вест драил по мостику. А ухо было все внизу, там, у дна, где должны царапнуть камни. Капитан перестал глядеть на часы и считать дюймы, а слушал.

Вот! Чиркнуло. На пароходе спокойно, никто не слышал. Капитан вытянул ящик и вынул кольт.

Камни теперь пойдут выше и выше... Но бежит вода на помощь оттуда, из океана, через горло Белого моря. Поспее ли?

Ух, заскребло как, заскрежетал кто-то зубами. И пошатнуло ледокол. И вон голоса на палубе. Помощник прошагал мимо двери, но не стукнул в дверь... Опять! Покренился чуть... Пронесло... Кричит кто-то на палубе:

— На лед, да и пойдём, ещё как пойдём-то, куда с добром! Телеграмму даст. Всех снимут. Да к маяку зашагаем, что по земле. Погоди скакать, трап спустим.

Гудят, топают. Теперь даже весело кричат. Все на палубе... Механик около дверей говорит:

— Так вы спросите: тушить, что ли, котлы? А то я на лед — и марш.

И голос помощника:

— Спрашивайте сами... А я спрашивать не стану. Вона сколько уж народу на льду-то!

И оба отошли через минуту.

Опять! Опять! И в ответ загудело на палубе, но капитан слышал только, как силится, скребется ледокол дном по камням. Капитан взял в руку кольт. Нет, поддувает, поддувает вода... а в упор к борту стоит лед.

Нету! Нету! Уже пять минут, может быть, нету... Капитан взглянул на часы. Если ещё пять минут не будет...

И не было. Капитан глянул на себя в зеркало. Он был красен весь, лицом и шеей, в один ровный багровый цвет. Не узнавал красного человека и от глаз не мог оторваться: сам на себя смотрел. Потом, не брякнув, сунул кольт в ящик и аккуратно притворил. Вышел на мостик. Выходила красная луна.

— Определиться? — спросил помощник.

— Всех я вас уж определил, кто чего стоит, — сказал капитан и сам взял секстант (астрономический прибор) из штурманской.

А утром стал бриться и увидал, что виски седые.

1928

ДЯДЕНЬКА

Дело было давно — лет тридцать назад.

Подрос я, и пришло время меня на работу посылать.

Если в пекарню меня отдать, так мамка боялась, что там про-

студа: жара да сквозняки. В кузницу — четырнадцать лет — еще молодой, говорят. А в типографию и слышать не хотела: все наборщики, говорит, пьяницы. И каждый день одни эти разговоры: куда да куда. Хоть обедать не садись. Как будто я в чем виноват!

Вот раз пришел жилец наш Онисим Андреевич и говорит, что довольно канитель эту тянуть. С самой весны, говорит, языком бьете, а толку никакого. А я его вот раз-два — и на место поставлю. «Хочешь, — говорит, — пароходы строить?»

Еще бы, кто не хочет! Пароходы-то!

Мамка опять: в воду там свалится, утонет, и еще что-то будет. А Онисим Андреевич был немного выпивши и заругался. Говорит, чтоб завтра утром к заводу приходил, у него там знакомый есть.

Всю ночь думал: вот пароходы строим; мачты сейчас ставить, трубу. Главное, думал, трубу — в ней вся сила. Вот чужак был!

Утром, чуть свет, — к заводу.

Там ходили в контору, туда-сюда; теперь-то я все знаю, а тогда страшно показалось. Двор большой, прямо поле целое, по нему все рельсы, рельсы, и ходят вагончики, а на них крапы подъемные. Много их бегают. Подымет цепочкой груз и тащит. Я все на них смотрел и о рельсы спотыкался.

А дальше, у самой реки, чего-то нагромождено высоко-высоко, все железным переплетом, как будто дом какой решетчатый. Это самый эллинг-то и есть, где пароходы строятся.

И оттуда такая трескотня, как будто все время пальба идет из пулеметов, и только слышно: дзяв! дзяв! — бахает чем-то по железу.

Пошли туда, а там леса поставлены, вот как дом в пять этажей строят. Леса эти около судна нагромождены. А судно из ржавых листов, толщенных, и листы эти к железным ребрам рабочие крепят. А по рельсам на досках все мастеровые, на полках, как мухи. Мне сразу показалось, что все с пистолетами, только пистолеты на толстых веревках. Теперь-то я знаю, что это воздушный молоток, и не на веревке, а это трубка к нему идет, и по ней сжатый воздух гонят от насоса. А в стволе воздухом работает самый молоток: мечется взад и вперед, и, если к нему ствол приставить, так бьет шибко, дробно. А тогда мне показалось, что пистолеты.

По лесам сходишь, переходы, напихано с яруса на ярус, а мы все выше, выше лезем; кругом так гудит, в уши бьет, прямо как тебе по голове кто барабанит. Перелезли на самое судно, на железную палубу. И все железо, железо кругом. И такой грохот, что я думал — не может быть, чтобы это целый день, это, должно, только сейчас так расшумелись. Нельзя этого стука выдержать. Потом оказалось, что все время так.

Подводят меня к железному столику, вроде тумбочки. Вижу, наверху уголь горит, а между ножками гармоникой мехи, и ручка

сбоку. Мне этот, что привел меня, показывает на ручку — дергай, значит. Я хотел спросить, что потом делать, и голоса своего не слышу; кричу — и как немой. Такой грохот, аж стонет железо. Смотрю, тут двое мальчиков стоят и чего-то греют. Закопченные такие, черные. Толкают меня, чтоб я за ручку дергал. Я начал дергать, мехи заработали, уголь горит; они там что-то работают, а кругом такой гром — похоже, что не строят, а ломают со всей силы, и что вот-вот все завалится, и я сам не знаю, на чем стою и куда в случае чего бежать. А сам качаю, качаю. Вдруг один мальчишка меня щипцами в плечо. Я еще сильнее ручку дергать, а он опять щипцами — это надо было, чтоб я полегче, а то уголь вон с горна улетает, — этот столик горном называется. Потом мальчишки вытащили щипцами из огня заклепки — аж белые — и потащили куда-то. А я все стараюсь.

Какой-то дядя проходил — как толкнет меня в затылок: что-то показывает. Ничего не понять — грохот, звенит, бахает кругом. Я сильней качать. Он сорвал с меня картуз. Я за картузом — и пустил ручку. Он тогда показывает, чтоб потихоньку. Тут мальчишки снова толкают, тычут чем зря, а я ничего не понимаю. Даже слезы. Ну, это я больше от дыма — очень едкий. Прямо хоть брось. Так я до обеда мучился.

Вдруг все сразу замолкло, и тихо-тихо стало. Я даже испугался, не будет ли чего сейчас. А мальчишки мне кричат: «Через тебя пять заклепок перепалили!»

Я тут первый раз услышал, что у них голос есть. Все пошли вниз, и я за народом.

Мальчишки ко мне, кричат грубым голосом: «Ты заклепки не перепаливай, дяденьке скажем, клепальщику, он тебя научит. У нас раз — и готово». И показывают мне дяденьку. Здоровый, страшный такой мне показался, в бороде.

В столовой все клепальщики отдельно сидят и через стол орут, как с того берега. От этой работы они все на ухо туги, и гам такой стоит, как будто драка идет. А это просто обедают. И, раньше чем соседу сказать, в плечо его — раз! Смотрю, мой сидит, все лицо в гари, и ржа в бороде от железа. Глядит волком. Вынул бутылку, хотел пробку выбить, потом сразу трах горлышком об угод, отбил, выпил половину и соседу ткнул: пей!

А я поневоле около мальчишек держусь, один не найду дорогу на работу. Они говорят: «Идем, до гудка надо, чтоб горно развести». Дорогой они кричат: «У нас, знаешь, не в слесарной. У нас разговору нет. Один, — говорят, — тоже коники строил. Работали в самом дне, в клетке. Так клепальщик раз его по башке ручником — и готово. Так его там и бросили. А чего, — говорят, — на дурака смотреть!»

И все мальчишки курят и через каждое слово ругаются.

Когда я с работы домой пришел, мамка мне говорит, а я ничего не слышу, как будто от соседей: еле-еле.

Потом, как стал я дальше в завод ходить, сам стал заклепки греть. Это гвоздь такой, только толстый и тупой, как обрубленный, и шляпка толстая. Нагрею заклепку, несу в щипцах дяденьке, кину — она по железной палубе покатится, он ее подхватит щипцами и в дырку, что сквозь листы. Шляпку припрет колом железным, здоровым, а с другой стороны клепальщик сейчас ее, пока горячая, воздушным молотком, этим пистолетом, — трах, трах, тах, тах! — и сплющит; головку с той стороны сделает, и готово. Давай другую, и пошел. Так листы скрепляют. Я и курить и ругаться выучился и тоже стал все срываю: трах, бах и долой. Дома мамка раз плакала. Я пришел с работы, она мне скорее умыться, а вода здорово горяча была; я — хлоп! — таз перевернул. Сел за стол, как был: даешь борща!.. Дала. Ничего. И не гудела. А если что говорить станет, сейчас шапку — и за ворота, а то завалюсь спать. Раз стал форточку отпирать — нейдет, разбухла, что ли? Я взял полено — раз! — и выставил. Онисим Андреевич заходил, посмотрел. «Клепальщик, — говорит, — натуральный». А я и рад.

Нет, верно, у нас разговор такой: ткнул, пихнул, ударил.

Не помню, с чего это пошло. Стал на меня вдруг дяденька гудеть. Все ему не так. На работе — там разговору никакого не может быть, разве только пинком или тычком, а на дворе он орет: «Я тебе, такой-растакой, морду набью — и за ворота! Ковыряешься, — говорит, — как жук в навозе. Пойду мастеру скажу, тебя враз с работы долой!» Каждый день у нас так. А дальше все хуже; уж и видеть меня не может. Прямо зверем. Жена у него умерла. Я ее, что ли, убил? Чего ты меня-то ешь? И что я больше стараюсь, то хуже. То ему рано заклепку даешь — гонит, кулаком машет, то опоздал. Заел прямо.

А работали мы тогда в самом низу, в самом что ни на есть дне. Туда добраться, как под землю: все с палубы на палубу, все железо, все острое, угольники ребром торчат. Лезешь — темно, как в ящике. Вот с верхней палубы спускаешься по лесенке, а на второй палубе уже темно. И тут же сейчас люк один был такой, что если попадешь, так лететь десять сажений — и прямо на ребра железные. Он только одними рейками и был огорожен. Так, на деревянных стоечках, и рейки-то на живинку гвоздиками пришиты. Как спустишься в темноту, идешь и руку впереди держишь; нащупал рейку около самого этого люка проклятого и сейчас бери влево и иди уж по борту, тут не споткнешься. Так меня и дяденька учил ходить.

Так вот, работаем мы с ним в самом низу. Он опять меня шпыняет. Даю ему заклепку, он мне ее назад швыряет — значит, пережжено. Я другую — он опять. Да что это, думаю, зверем каким? Третью несу. Он поймал заклепку да за мной. А там внизу,

что в коробке, дым от горна, как в трубе, все судно гудит, как палят в тебя со всех сторон. Я сам беситься от этого стука стал. Я ему опять грею, он к горну пришел, надавал мне по шее и сам стал греть. Ух, обозлился я! Нет, верно, заклепки я правильно грел. Вот, думаю, это потому, что я сдачи ему дать не могу, он и разворачивается. И стал думать, что я ему сделаю, когда вырасту. Было б что под рукой, так, кажется, раз...

А в обед он опять мне кулаком грозит. Орет, глухая тетеря, на весь завод: «Сейчас к мастеру пойду, чтобы тут тобой и не воняло! У меня,— кричит,— знаешь: раз — и готово!»

После обеда мне вперед надо было идти, горно разводить. Я спустился в люк, во вторую палубу, руку впереди держу и иду. Нащупал рейку... и ничего как будто и не думаю. Взял ее рукой и держу. Вдруг я ее — раз! — и готово. Ей-богу, она еле держалась. Оторвал рейку я, одним словом, и в сторону ее, прочь со стоек. Пусть теперь он пойдет, не найдет рейки — раз! — и готово. Да я так-то и не думал, а злился только. Стал в темноте, в сторонке, и жду. Вот уж гудок, пошла работа, все судно загудело.

Вижу, дяденька в просвете люка, что вверху, показался. Потом полез по лесенке, и больше не видно. Темно там, и не слышно ничего — так грохочет кругом. А я стою и жду, дух зашибло во мне. Сейчас... сейчас... И вдруг захотел крикнуть со всей силы: «Дяденька, дяденька, стой!» Да ведь не слышно, а подскочить не успею все равно, и ноги как примерзли. Я к лесенке наверх и побежал вон с судна. А потом думаю: а вдруг он и прошел, как-нибудь да и прошел? И побежал опять туда, где мы работали. Иду и говорю: «Дай бог, чтоб был, ну, дай бог, чтоб был!» И боюсь идти, а ноги сами так и тащат.

Наши там, а дяденьки нет. И вот клепальщик показывает рукой: борода — значит, дяденька-то — где? Идет, что ли? Я головой помотал и прочь, и бежать, бежать! Думаю, лежит он теперь там в трюме, разбитый,— не может быть, чтобы живой. А сам думаю: «Ведь могла же рейка сама упасть, еле ведь держалась. И без меня могла упасть». Бегу, а сам вою. И бегу, где б народу меньше. И кому сказать? Полдвора перебежал и вижу — по рельсам кран ползет и листы несет, а на кране машинист. Я кричу ему. Не помню уж, что кричал. А он не слушает, смотрит, куда листы положить и чтоб не переехать кого. А я рядом бегу, падаю и опять бегу, и кричу, и вою.

Он остановился, опустил листы и потом ко мне. «Чего там?» — говорит. Я вою — он ничего понять не может. Слез с крана. Я кричу: «Упал дяденька,— говорю,— с палубы в трюм, там лежит!»

Тогда он в машине что-то сделал. «Сейчас»,— говорит. Тут уж я заревел и хотел бежать. А он кричит: «Стой! Как же найдем без тебя?» Побежал я за ним. Он там к мастеру; все смотрят. Мастер кого-то позвал, чтобы воздух застопорить.

Сразу все остановилось — тихо. Вот страшно стало! «Коли стонет или кричит, услышим». Свечку принесли. Я смотрю: как я рейку оторвал, так она там и лежит. «Тут», — говорю.

Все собрались кругом. Меня спрашивают: «Ты видел?»

А я весь трясусь, и зубы трясутся.

Тут веревку принесли и говорят: «Спуститься надо, сначала посмотреть, есть ли там он».

А я кричу, как лаю точно: «Я, я, меня спустите!»

Привязали меня, дали свечку. Я в этот пролет, как в гроб, спускаюсь. Думаю: если он живой, буду его целовать, дяденьку милого моего, лишь бы хоть чуточку живой только. И смотрю все вниз, а что на веревке я, это я и забыл, и что высоко. Свечка мало светит. Я до самого дна дошел, и нет его, нет там дяденьки. Я стал кричать: «Дяденька, а дяденька!» Гудит в железе мой голос. Я на веревке походил туда, сюда — нет, и не видно, чтоб был.

Глянул вверх — чуть светлый круг видно, люк это проклятый. Стали меня подымать. А там уж свет электрический протянули, и полна палуба народу, и все на меня смотрят, а я ничего сказать не могу, как закаменел.

И вдруг смотрю: стоит среди людей мой дяденька, живой, совсем живой, и все на меня смотрят. Я как брошусь к нему и тут заорал со всего голоса; кричу: «Дяденька, миленький, родненький!» И заревел.

А он нагнулся, гладит меня и совсем добрый-добрый, гладит меня и орет хрипло: «Чего ты, шут с тобой? Да милый ты мой!» — и даже на руки поднял.

А это он тогда минул люк стороной и пошел за инструментом, там и завожился — оттого его тогда внизу с нашими и не было. Стали работать, хватились, а меня тоже нет. Потом, когда воздух стал, наши подождали, подождали, да и вылезли поглядеть, что случилось, чего это весь завод стоит. А тут я. Ну, вот и всё.

1925

КОМПАС

Было это давно, лет, пожалуй, тридцать тому назад. Порт был пароходами набит — стать негде.

Придет пароход — вся команда высыпает на берег, и остается на пароходе один капитан с помощником, механики.

Это моряки забастовали: требовали устройства союза и чтоб жалованья прибавили.

А пароходчики не сдавались — посидите голодом, так небось назад запроситесь!

Вот уже тридцать дней бастовали моряки. Комитет выбрали. Комитет бегал, доставал поддержку: деньги собирал.

Впроголодь сидели моряки, а не сдавались.

Мы были молодые ребята, лет по двадцать каждому, и нам черт был не брат.

Вот сидели мы как-то, чай пили без сахара и спорили: чья возьмет.

Алешка Тищенко говорит:

— Нет, не сдадутся пароходчики, ничто их не возьмет. У них денег мешки наворочены. Мы вот чай пустой пьем, а они...

Подумал и говорит:

— А они — лимонад.

А Сережка-Горилла рычит:

— Кабы их с этого лимонаду не вспучило. Тридцать дней хлопцы держатся, пять тысяч народу на бульваре всю траву штанами вытерли.

А Тищенко свое:

— А им что? Коров на твоём бульваре пасти? Напугал чем! И ковыряет со злости стол ножиком.

Тут влетает парнишка. Вспотелый, всклокоченный. Плюнул в пол, хлопнул туда фуражкой, кричит:

— Они здесь чай пьют!..

— Лимонад нам пить, что ли? — говорит Тищенко и волком на него глянул.

А тот кричит бабьим голосом:

— Они чай пьют, а с «Юпитера» дым идет!

Тищенко:

— Нехай он сгорит, «Юпитер», тебе жалко?

— С трубы, — кричит, — с трубы дым пошел!

Тут мы все встали, и Сережка-Горилла говорит:

— Это не дым идет, а провокация.

Парнишка плачет:

— Черный! Там дворники под котлами шевелят. Пошли! Выскочили мы, пошли к «Юпитеру».

Верно, из паровой трубы шел черный дым, а кругом — и на сходне, и на пристани, и на палубе — кавалеры в черных тужурках. Рукава русским флагом обшиты, и на поясе револьверы.

Не подойти!

— Союзники русского народа, — объясняет парнишка.

Будто мы не знаем, что такое «союз русского народа» — полицейская порода.

Когда мы на бульвар пришли, только и разговору, что про «Юпитер». Стоит народ, и все на дым смотрят.

Взялся капитан с дворниками в рейс пойти, сорвать матросскую забастовку. Капитан — из «русского народа», и охрану ему дали: двадцать пять человек. Дворники — не дворники, а уголь шевелят здорово. На руль помощников капитан поставит, в машину — механиков...

— Очень просто, что снимутся, — говорит Тищенко, — а в Варне заграничную команду возьмут — и дошел.

Сережка вдруг оскалился, говорит:

— Не пустим!

— Ты ему соли на корму насыпь, — смеется Тищенко.

— Знаем, как насолить, — говорит Сережка. — Пойдем... —

И толкает меня под бок.

Вышли мы из толпы.

Сережка мне говорит:

— Ты не трус?

— Трус, — говорю.

Он помолчал и говорит:

— Так вот, приходи ты сегодня в одиннадцать часов на Угольную, я около трапа тебя ждать буду. И никому ничего.

Пальцем помахал и пошел прочь.

Чудак!

Прихожу в одиннадцать на Угольную пристань. Фонари электрические горят, и от пристани на воду густая тень ложится — ничего не видать под стенкой. Дошел до трапа, на ступеньках сидит Сережка-Горилла. Сел я рядом.

— Что, — спрашиваю, — ты надумал?

— Полезай, — говорит, — в тузик вон у плота, доро́гой обмозгусь.

Рассмотрелся, вижу плот и тузик.

Пошел я по плоту, — не видать, где плот кончается. Ступил на воду, как на доску, и полетел в воду. Самому смешно: шинель вокруг меня венчиком плавает, и я — как в розетке.

А вода весенняя, холодная.

Я — в туз. Пока вылез, хорошо намок.

Разделся я до белья — и холодно и смешно. Стал грести, согрелся.

— Ну, — говорит Серега, — начало хорошее. А сделаем мы вот что: я на «Юпитере» путевой компас из нактоуза выверну и тебе в мешке спущу.

— А как подойдем? Трап ты спросишь у охранников?

— Нет, — говорит, — там угольная баржа о борт с ним стоит, какого-нибудь дурака сваем.

— Сваем, — говорю.

И весело мне стало. Гребу я и все думаю, какого там дурака будем валять. Как-то забыл, что «союзники» там с револьверами.

А Сережка мешок скручивает и веревку приготавливает.

Обогнули мол. Вот он, «Юпитер», вот и баржонка деревянная прикорнула с ним рядом. Угольщица.

Гребу смело к пароходу. Вдруг оттуда голос:

— Кто едет?

Ну, думаю, это береговой — флотский крикнул бы: «Кто гребет?»

И отвечаю грубым голосом:

— Та не до вас, до деда.

— Какого деда там? — уж другой голос спрашивает.

А на такой барже никакого жилья не бывает, никаких дедов, и всякий гаванский человек это знает.

А я гребу и кричу ворчливо:

— Какого деда? До Опанаса, на баржу, — и протискиваю туз между баржой и пароходом.

Сережка окликает:

— Опанас! Опанас!

С парохода помогают:

— Дедушка, к вам приехали!

Залез я на баржу, с борта прыгнул на уголь и пошел в нос. А нос палубой прикрыт.

И говорю громко:

— Дедушка, дедушка, это мы. Какой вы сторож! Вас палкой не поднять, — и шевелю уголь ногой.

Смотрю — и Сережка лезет ко мне.

Чиркнул спичку. А я стариковским голосом шамкаю:

— Та не жгите огня, пожару наделаете, шут с вами.

Сережка, дурак, смеется.

— Да, да, не зажигайте спичек, мы вам фонарь сейчас дадим.

И затопали по палубе.

Сережка говорит мне:

— А чужак, ты, дедушка, ей-богу, чужак!

Я выглянул из-под палубы. Смотрю, уже фонарь волокут.

Я скорей к ним.

К мокрому белью уголь пристал — самый подходящий вид у меня сделался, это я уже при фонаре заметил.

Сидим мы с фонарем под палубой и вполголоса беседуем.

Я все шамкаю.

— Лезь, — шепчет Серега, — в туз, а как уйдут с борта — стукни чуть веслом в борт.

Я полез в туз.

Вдруг Серега громко говорит:

— Так вода, говоришь, у тебя в носу оставлена, дедушка?

А я знаю, что он один там, и отвечаю из туза:

— В носу, в носу вода!

— Так заткни, чтоб не вытекла! Не тебя спрашивают, — говорит Серега.

На борту засмеялись. А Серега зашагал по углю в корму. Потом вернулся. Опять прошел на корму, и все смолкло.

Смотрю — один только человек остался у борта.

— Эй, — говорит, — фонарь-то потом верните.

И отошел. Стало тихо.

Я подождал минут пять и стукнул веслом в баржу. Бережно, но четко: тук!

И тут заколотилось у меня сердце. Я прислушивался во все уши, но, кроме сердца своего, ничего не слышал.

Глянул вверх — через щели в барже светит фонарь.

Прошел человек по палубе. Перегнулся через борт и спрашивает, как начальник:

— Это что за лодка?

А я чувствую, что скажу слово — голос сорвется. Молчу.

Он опять. Крикнул уже:

— Что это за лодка? Эй, ты!

Тут ему кто-то из ихних ответил:

— Это сюда, на баржу, к старику, свои приехали.

— Ага,— говорит и отошел.

Опять стало тихо. Я уж вверх не гляжу, смотрю по борту парохода.

Вдруг что-то вниз ползет серое по черному борту.

Я замер. Дошло до воды — стало.

Мешок.

Вся сила ко мне вернулась.

Не брякнул я, не стукнул. Протянулся тузом по борту вперед, ухватил мешок — здорово тяжелый! — и осторожно опустил в туз.

В это время туз качнуло: глянул — Сережка уже стоит на корме.

Он по той же веревке слез, на которой и мешок опустил.

Я взялся за весла и стал потихоньку прогребаться вперед.

В это время с парохода кто-то крикнул:

— Эй, дед, фонарь давай! Заснул?

И мы слышали, как кто-то прыгнул на баржу.

Я чуть приналег посильнее.

Фонарь стал метаться по барже.

На пароходе закричали, заголосили.

Бах, бах! — щелкнули два выстрела.

— Эй, навались!

Мы уже огибали мол. Сережка оглянулся и сказал:

— Шлюпки за нами — навались!

Я рванул раз, два — и правое весло треснуло, я повалился с банки.

Вскочил, смотрю — Сережка гребет по-индейски обломком весла; как он успел на таком ходу ухватить обезьяньей хваткой обломок весла, до сих пор не пойму.

Мы завернули за мол в темную полосу под стенкой и забились между большим пароходом и пристанью, как таракан в щель.

Мы видели, как из-за мола вылетела белая шлюпка. Гребли четверо. Гребли вразброд, бестолково. Орали и стреляли.

Через полчаса мы прокрались под стенкой к своей пристани.

Наутро пришли мы с Серегой на бульвар.

Еще пуще раздымился «Юпитер».

— Снимается, снимается, анафема, — говорит Тищенко.
— Капитан там аккуратист — все уже в порядке.
А тут сбоку подбавляют:
— Лиха беда начать — все пароходы вылезут. Наберут арапов, охрану поставят — и айда. Завязывай!
Тут какой-то вскочил на скамейку и начал:
— Товарищи! Не надо паники. Сотня арапов весны не делает, — и пошел и пошел...
А мы с Сережкой переглядываемся.
Снялся «Юпитер». Вышел из порта.
Ну, думаю, через полчаса пойдет капитан курс давать, глянет в путевой компас...
Погудел народ и приуныл. Сели на землю и трут затылки шапками. Всем досада.
Мы с Сережкой ушли, так никому и слова не сказали.
Зашли в трактир, чаем пополоскались.
Дружина прошла строем, что на охране парохода была.
Серьезно идут, волками по сторонам смотрят.

Часа три прошло.
Вдруг вой с бульвара, да какой! Ну, думаем, полиция орудует на бульваре.
Бросились бегом.
Смотрим — все стоят, в море смотрят и орут.
А это «Юпитер» идет назад в порт. Увидал его народ, вой поднял.
А Серега мне говорит:
— Смотри же, ни бум-бум, чтоб никто ничего!
Я так до сего времени и молчал.
Ну, теперь уж и сказать можно...

1925

«ПОГИБЕЛЬ»

Так все в порту и звали этот пароход; на него я нанялся поденщиком. Так и сказали мне кричать: «На «Погибели»! Давай шлюпку!» Пароход стоял у стенки волнолома. Наконец шлюпка отвалила. Один человек юлил веслом за кормой. Человек оказался рыжий. Весь в ржавчине и в веснушках. Я сказал, что хозяин прислал меня поденщиком.

Рыжий сказал:
— Ну, вались! Юли сам назад.
Он пихнул весло ко мне, а сам сел на банку. Я погнал шлюпку. На полдороге рыжий спросил:

— Ты знаешь, куда поступил?

— Чего мне знать? На поденщину. Ржу обивать.

— На «Погибель» ты поступил. Если там ржу обить, так останется от нас всего, что только нас — четыре поденщика. Ты приставать будешь, так легче — борт пробьешь.

— Заливай! — сказал я.

— Нам, брат, не заливать, а отливать только поспевай. Смеешься? Мы на палубе ночуем, а то как пойдет под заныр — выскочить не успеешь.

Мы подошли к борту. Борт был страшный: рябые ржавые листы местами были покрашены суриком, вмятины обрисовывали ребра, как у голодной клячи. Пока я влезал по штурмтрапу, я уже измазался ржавчиной. Я вошел в кубрик, поздоровался и поставил на стол две бутылки водки. В кубрике было полутемно, и, когда зажгли лампу, я поразился обстановкой: все, все — и деревянные койки, и стол, и скамейка, — все было черно и все было изъедено морским червем. Лампа была зеленого цвета, и люминаторные рамы, медные крючки и замки на дверях — вся медь была густо-зеленого цвета. На потолке приросла засохшая ракушка.

— Что смотришь? — сказал рыжий. — «Погибель» пять лет на боку под берегом лежала. Здесь утопленники в карты дулись. Вот на этом самом столе.

— А до того на ней без ремонту пятьдесят годов кряду мертвых спать возили.

Это сказал другой, маленького роста, седоватый.

Третий все молчал и сидел в углу.

Стали пить водку. Закусывали луком, грызли его, как яблоки. Больше ничего у поденщиков не нашлось. Я узнал, что рыжего зовут Яшкой, а старика — Афанасием Ивановичем.

— Маша, Маша! — закричал рыжий. Я оглянулся. — Маша, ты сядь к нам, выпей.

Третий, что сидел в углу, поднялся и подошел. Это был человек высокого роста, с большими черными глазами. «Грек — не грек», — подумал я.

— Да ты не удивляйся: у него бабье имя — Мария. У него с пяток имен, и вот Мария тоже. Так мы его — Маша. Он не русский — испанец. Испаньóло! — Тут Яшка ткнул испанца в плечо и показал на жестяную кружку. — Вали!

Испанец немного отпил. Яшка со стариком собирались на берег за третьей бутылкой. Я отдал последние медяки. Мы остались с испанцем вдвоем. Он плохо говорил по-русски. Но я кое-как понимал. Он прихлебывал водку, будто вино, из стакана. Сначала конфузился, потом сел картинно, а потом вскакивал на ноги, когда говорил.

Он рассказал мне, что был тореадором. Я первый раз в жизни видел живого тореадора. Он был в синей куртке, в парусиновых портках, весь измазан ржавчиной, но так бойко вскакивал на

ноги и в такие позиции становился, что я забыл, в чем он одет. Казалось, все блестит на нем. Я только боялся, чтобы не вернулись Яшка с Афанасием и не сбили бы с ходу тореадора. Он говорил, что уже входил в славу. Был на лучшей дороге. Жил в гостинице. Каждый день с утра — цветы. Полно́, полно́ цветов! Руками показывал, сколько, — некуда поставить. Прислуга краля, торговала этими цветами. Даже в комнате было душно от цветов. У него был выпад — удар шпагой — такой, как ни у кого, — молния!

— Я не становился в позицию, я стоял как будто рассеянно, как будто я сейчас буду ногти чистить. И я следил глазами за быком, я точно знал, что это — последний миг. Нет! пол, четверть мига! — Он звонко щелкнул ногтями. — И вот замерли, всем кажется, что вот поздно уже, — и в это мгновение — молния! — Испанец ткнул в воздух рукой. Я, сидя, отшатнулся. — Вот! И секунду весь цирк молчит, и я слышу шум вдоха. Вы знаете, когда весь цирк враз вздохнет... Что аплодисменты! — Он небрежно постукал в ладонь. — Или крик. Это что! Но надо знать быка. Надо смотреть на его скок, на его прыть, когда его дразнят, когда бросают бандерильи¹, когда он бодает лошадь, — это все надо подметить, тогда можно угадать это мгновение: вот он стоит перед тобой, и вот... и тут молния. Ах! И это всё.

Он сел.

И вот раз случилось — на полмгновения раньше ринулся бык. Тореадор стоял небрежно, как всегда. Он не мог отскочить и ткнул шпагой, просто защищаясь, ткнул не по правилам и не туда, за рогами, — ткнул, чтобы попасть в сердце. Он убил быка, спасая свою жизнь. Цирк взревел. Он слышал, что крикнули: «Мясник!» Шпага осталась в быке, а он бежал, как был, в тореадорском наряде, — он знал, что его разорвет толпа. Бежал даже больше от стыда, как сфальшививший на поединке трус. Дело было в портовом городе, и он не помнит, как оказался на иностранном пароходе и там забился в какой-то угол. Он не выходил на свет до самого отхода. А потом ему дали переодеться и сунули в руки лопату.

— Теперь я угольщик — карбонéро. Но я сказал себе, что это я испугался первый, но и последний раз. Я теперь всю жизнь ничего не смею пугаться.

Афанасий с Яшкой уже стояли в дверях. Они выпили по дороге половину.

— Ничего не должен бояться! — закричал Яшка с порога. — А ну! Ну! Ты плавать, говоришь, не можешь? Нет? Ну, прыгай с борта в воду. Трусишь! Машка, должен ты сейчас прыгать, или ты...

¹ Б а н д е р и л ь и — стрелы, которые бросают в быка, чтобы раздражить его.

Но испанец уже шел к дверям. Я побежал за ним, но он оттолкнул Яшку и вышел на палубу. Было темно, только далеко на пристани горели фонари. Внизу с высокого борта вода чернела, как мокрый асфальт. Я не успел задержать испанца, он козлом перемахнул через борт и сильно плюхнул вниз. Яшка с Афонькой притопали к борту.

— Круг, круг давай! — кричал я им; но они, свесившись, глядели за борт.

— Греха-то, греха! — завыл Афанасий.

— А ну, вынырнет где? Или раков кормит? — пьяной губой шлепал Яшка.

Я бросился по штурмтрапу к шлюпке.

Я слышал, как сверху закричали:

— Ай, Машка, выплыл!

Я не успел отвязать шлюпку: испанец неподалеку бил по воде руками. Я подсунул ему весло. Он ухватился.

В кубрике я совал мокрому испанцу свою куртку, Афанасий — кружку с водкой. Испанец отмахивался.

— Ну, скажи, какая утопленница фокусная, — хрипел Яшка.

Они с Афанасием допили.

— Да и черт с тобой! — бубнил Яшка. — Утопленница! Думаешь, испугался? Да тут поискать — может, в каком углу и живой утопленник-то есть, — я говорю,дохлый, — найдется на «Погибели» на нашей, где-нибудь в трюмах. Или под котлами? А? Афонька, правду я говорю?

Но никто не отвечал. Яшка погрыз луковицу. Поглядел на нас и вдруг озлился:

— В воду летом сигать — подумаешь, фокус какой, а вот я сейчас пойду в машину, и я вот этой кувалдой как тарарахну по борту, так вся она, «Погибель» эта, тут на дно и сядет. Что! Тогда сами, как лягушата, с нее попрыгаете. Машка первый. Что? Не пробью? Нет? А вон!

Яшка схватил из-под койки тяжелую скрябку и изо всей силы швырнул ею в борт. На том месте осталась черная дырка — скрябка полетела наружу.

— Ага! ага! — закричал Яшка.

Он схватил из угла кувалду, вскинул на плечи и, мотаясь на ходу, побежал к двери.

— Вот сейчас вы у меня увидите!

Афанасий слабо махал вслед рукой:

— Не дойти ему... темно... трап крутой...

Мы слышали, как Яшка обронил кувалду на железную палубу и как поволочил ее.

Афанасий пьяно мотал головой и махал на дверь рукой:

— Там и заснет... и свалится в болото.

Испанец подрагивал в одном белье. Лампа потрескивала. Афанасий заснул сидя.

Вдруг мы слышали глухие стуки; они по железу корпуса ясно доносились к нам в кубрик. Афанасий встрепнулся.

— Крушит, ей-богу, крушит! Очень просто, что проломает. Не... не переночуем.

Он встал. Вскочил и испанец. Он бросился к своему сундучку, огарок свечи уж у него в руках; он схватил со стола спички и был уже на палубе, пока я вылез из-за стола.

— Го! го! — кричал испанец откуда-то снизу.

Я не знал этого огромного парохода. Шел спотыкаясь, наобум, пока не увидел, что свет маячит где-то справа. Я бросился туда. Свет был из входного люка. Оттуда глухо я слышал «го! го!» Я спустился по трапу. Нашупал ход. Вот коридор. Вдали белая фигура со свечкой — испанец. Я догнал его бегом. Сзади где-то дрябло топали сапоги Афоньки. При свечке видны были вымоченные посинелые двери кают, кожа на диванах, треснувшая, как картон, позеленелые медные часы и желтый намет песку в углу кают-компаний. Местами сухие водоросли свешивались с потолка и щекотали лицо. А снизу бухал и бухал молот. То замирая, то остервеняясь, ухали удары.

Вот трап вниз. Испанец легко босыми ногами перебирал ступеньки. Я боялся потерять его свечку. Сзади я слышал, как падал и ругался старик. Мы теперь были ниже уровня воды.

Вдруг удары молота смолкли, и вдали коридора из дверей высунулась рожа:

— Ага! Перетрусили! А я и не пушу!

И дверь захлопнулась. Когда мы добежали, дверь уже не поддавалась. Яшка, видно, припер ее чем-нибудь изнутри. Молот бил теперь отчаянно.

Я кричал, но не слышал своего голоса за гулом. Удары скоро оборвались.

— Что? — слышали мы запыхавшийся Яшкин голос. — Теперь на коленках... просите... Машка, проси меня по-испански...

Испанец стукнул ногой в дверь. Стукнул голый пяткой, и дверь затрещала. Вот они, легкие ноги!

— Открой, дурак! — крикнул я.

— Стой, ребята! — Афанасий просунулся между нами. — Он это по цементу садит. Там этого цемента пол-аршина, — шептал старик. И вдруг гнусавым голосом, как дьячок с клироса, Афанасий запел: — Тебя мы здесь запр-е-ем! И ты сыщешь себе гнусную могилу на этой «Погибели». А мы пошли! На шлюпку! И на берег! И будь ты четырежды анафема. Примешь смерть, как мышь в ведре. Аминь!

Афанасий икнул. Минуту было молчание. Потом два раза стукнул молот. Но уже слабо.

— Пошли! — скомандовал Афанасий громко.

Мы двинулись. И вдруг сзади услышали бой и треск: это Яшка крушил кувалдой дверь.

Афанасий дунул на свечку, толкнул меня и шепнул:

— Ховайся!

Мы с испанцем ощупью юркнули в какую-то дверь и замерли. Мимо нас прошлепал сумасшедшей рысью Яшка. На бегу он кричал:

— Пошла, пошла! Ходом пошла вода!

Я слышал, как за Яшкой затопал старик. Он успел крикнуть:

— Тикайте!

Но испанец снова зажег свечу и спросил меня, что случилось. Я сказал:

— Он пробил насквозь, пошла вода, как водопад.

Испанец весь напряжился.

— Они туда,— он указал вдоль коридора,— а я должен сюда.

И он зашагал к разбитой двери.

Я понимал, что Яшка не мог сделать пробоину, от которой наша «Погибель» пошла бы ко дну сразу, как дырявая плошка, но, если вся подводная часть держалась на цементе, мог провалиться в тартарары сразу большой кусок обшивки. Она — как слоеный пирог из трухлявых листков хрупкой ржавчины.

Но испанец шел уже со свечкой, он отгреб обломки двери. Он выпрямился, напряжился, будто шел на арену.

Мы вошли в небольшое помещение. Среди разбитых досок, черных, источенных червями, разбросан был цемент, разбитый в щербинку. Кувалда валялась тут же. Воды не сочилось ни капли.

Испанец нахмурился, коряво обругался по-русски, и мы молча поплелись обратно.

В кубрике мы не нашли ни Яшки, ни Афанасия. Под бортом я не увидел шлюпки. Уже занималась заря, когда мы легли спать в кубрике. На «Погибели» нас осталось двое в эту ночь.

— Как это по-русски? — вдруг спросил испанец, когда я уже начал дремать.— Я не можно...

Я догадался.

— Я не должен ничего бояться. Спите, дон Мария, ну его — на сегодня хватит.

Я забыл, что уже наступило «завтра».

А на завтра не оказалось ни шлюпки, ни Яшки с Афанасием, ни кое-чего из сундучка испанца.

Испанец мне объяснил, что наша работа заключается в осторожном отбивании ржавчины и подмазывании оставшегося суриком. К полудню он меня спросил:

— Как это: мне не можно?..

Но я был голоден и сказал:

— Не можно голодать вторые сутки, вот что.

Я бросил скрябку и рашкет и полез просить харчей на соседнюю баржу: она стояла у стенки, неподалеку от нас. Я добыл хлеба, кукурузной муки, и мы на горне варили кашу без грамма

жиру. Машка называл наш корабль «Погибелья». Я объяснил ему, что́ это по-русски значит.

Под вечер приехал хозяин, привез полтора десятка поденщиков, и пошел ремонт.

У нас с испанцем удержалась дружба. Мы работали вместе на подвеске за бортом, и он пел в такт молотка испанские песни. Каждый день хозяин давал расчет, и мы получали свои «рупь двадцать». И каждое утро испанец спрашивал: «Как это: мне не можно?..» — и я учил его говорить: «Я не должен всю жизнь ничего бояться».

Это так. А ремонт я понял. Хозяин готовил судно, как барышник лошадь: лишь бы не тонуло и могло двигаться. «Ремонт» приходил к концу. Все поденщики понимали, в чем дело.

— На таком судне только пьяный дурак в море пойдет, одно слово — «Погибелья», — говорили поденщики.

Я это понимал не хуже их.

Судно называли «Петр Карпов». Сам Петр Карпов как-то под вечер явился на судно и объявил, что все могут идти на берег. Ремонт закончен. На другой день члены комиссии с осмотром прошли по судну, после завтрака, шатаясь и с очень громкими голосами: главный инженер попал ногой между шлюпкой и трапом. Но его быстро вынули из воды, так что даже не успел намокнуть.

— Что, боитесь остаться? — спросил нас хозяин, когда увезли комиссию. — Кто не боится?

И хозяин лихо вздернул подбородком ввысь.

— Не должен бояться...

Гляжу, мой испанец вышагнул вперед:

— Я!

Не знаю почему, но и я сделал за ним шаг. Хозяин прищурился на нас и спросил фамилии.

На другой день нас поставили к пристани под погрузку. Песку уже достаточно взято было для балласта. Ну, пусть песок, это экономия. Но ящики с апельсинами, что подавали с берега в трюм, были что-то легковаты. Я хотел взять один хотя бы апельсин, подорвал в трюме ящик, он оказался порожним. Я подорвал еще десятка с три; только в четырех были апельсины. Я сказал об этом испанцу. Он, по-моему, только обрадовался. Будто я не понял, что дело становится все темней и темней. Помощники капитана распоряжались погрузкой. Капитана мы все еще не видели.

Наконец был назначен день отхода. За сутки пригнали кочегаров. Испанец пришел, махая руками:

— Это разбойники и пьяницы. Я один за всех.

Однако пар подняли. Котлы текли, и пар шел от котлов, как от самовара. Два юрких механика поспевали всюду: они сами хватались за лопаты и кидали уголь, потом мазали машину.

К нашему удивлению, в четыре часа вечера машина дала пробные обороты.

Наконец пригнали матросов. Их было семеро. Шестеро из них были пьяны, и пятеро сейчас же сознались, что они природные дворники. То есть... Что «то есть»? То есть после военной службы они ничем другим не занимались. Сюда пошли, соблазненные деньгами. Какими? Они хныкали, пока не заснули.

Последним, за час до отхода, явился капитан. Это был толстенный человек, ядовитый, грязненький. Глазки навывкате. Он ими вовсе не глядел в лицо, а если вдруг упирался глазами в глаза, то глядел, как очумелый баран. И человек не знал: бросится ли он на него или навек замрет, застекленеет в своем взгляде и потом не разбудишь?

Мы о нем ничего не успели услышать. Но только одно: когда он во время отхода вышел на капитанский мостик, то с берега грянуло такое «га», что мы долго не могли расслышать никакой команды. Мне все время хотелось выпрыгнуть на берег, но мне уже нельзя было бросить испанца.

Мы снялись под вечер. Испанец был на вахте внизу, в кочегарке. Мне заступать вахту на руль через час. Я глядел с борта на огни в городе, курил и сплевывал в воду. Было жутковато идти в море на такой посудине и с такой командой, но, признаться, меня забавляло: что же будет дальше? Я думал: зачем этот фальшивый груз?

И вдруг надо мной на мостике я услышал ругань. Сначала вполголоса, потом крик:

— Ну и гони его! В шею!

И по трапу скатился человек. Это был матрос. Следом за ним сбежал вниз старший помощник капитана. Было уже совсем темно. Он подскочил ко мне вплотную, сгреб за плечо и зло тряс:

— А ты-то, ты можешь стоять на руле?

Это шипел он мне в лицо. Я крепче потянул папироску, огонек раздулся, и я увидел лицо, оскаленное от злости. Не лицо, а кулак.

— А конечно,— сказал я.

— Ну так марш, марш! — Он тянул меня, вцепившись в плечо.— Вахта? Какие вам еще вахты? По сто целковых на брата дают, а еще вахты!

— Ничего мне не известно,— говорил я.

Но мы были уже на мостике. Свет из нактоуза освещал лицо капитана — это он сейчас стоял на руле.

— Так вот и держи: зюйд-ост шестьдесят три,— сказал капитан, когда я взялся за штурвал.

«Странный курс»,— подумал я. Я знал, что груз адресован на Ялту, что курс наш должен быть приблизительно градусов на двадцать южнее. Неужели такая поправка компаса?

Помощник стоял у меня за спиной и глядел через плечо, держу ли я пароход на курсе. Через пять минут он сунул мне папиросу в рот:

— На, кури!

И сам поднес спичку. Он стал ходить по мостику.

Я заметил, что он задерживается иногда подолгу в правом углу.

Наконец я увидел, что он запрокидывает голову, а вот швырнул за борт бутылку.

«Что за плавучий кабак,— думал я,— рулевой с папироской, а вахтенный штурман пьет на мостике прямо из горлышка!»

Я на минуту огляделся по сторонам: капитана уже не было.

Помощник подошел ко мне и над самым ухом сказал:

— Как же тебе не говорилось про сто рублей? — От него сильно разило вином.— Все равно получишь все.

Но в это время на мостик поднялся капитан. Я слышал, как помощник его спросил:

— Так вы говорите — еще упал? А вон штиль какой стоит! Могут и сутки-другие пройти.

Я понял, что они говорят про барометр. Мне слепил глаза свет из компаса, и я не видел впереди ничего, кроме ночи, но знал, что должен уж открыться Тендровский маяк. Он горит на конце низкой песчаной косы. Она тянется почти прямо на юг, сотни на полторы километров. Кроме кордонов пограничной стражи, ничего нет на этом песке. Редкий рыбак забредет сюда в это время года.

— Дайте-ка мне бинокль,— услышал я голос капитана.— Верно, верно — это Тендровский.

И я услышал, как зазвонил телеграф в машине. Машина сбавила ход и теперь еле слышно ворчала вниз.

— Право! — скомандовал капитан. Он подошел к компасу.— Еще право! Так! Так и держи.

Мы шли теперь малым ходом на юг, то есть вдоль Тендровской косы.

— Огни гасите,— сказал капитан.

Они с помощником ушли в штурманскую рубку. И до меня через открытую дверь долетели слова:

— Именно, именно этим часом, на вашей вахте, так и запишите... Нет, вашей рукой должно быть записано в журнале: загорелся подшипник, коренной подшипник...— Это говорил капитан.— Теперь старшего механика ко мне с машинным журналом.

Через две минуты механик был здесь.

— Принесли машинный журнал? — слышал я капитана из штурманской.— Пишите: загорелся подшипник. Что-о? Струсил? Пиши, а то полетишь у меня за борт... Нет, не я должен, твоей рукой должно быть написано. Писать! Ага, то-то! Покажи! Ты что же это написал? Ах ты...

Механик быстро сбежал с трапа, как скатился. Я слышал, как капитан треснул журналом о стол, точно выстрел.

— А, черт! Помарок же делать нельзя!

Я уже давно отстоял свои два часа, — часа три я уже стоял у штурвала.

— Ты отдохни, — сказал помощник. — Я постою. А ко мне пришли второго.

Я пошел вызывать второго штурмана на мостик. Он был грек, черный, как жук, маленький, на кривых ножках. Он вскочил с койки и затараторил куда-то мне через плечо, как будто кто еще за мной стоял. Я даже не мог понять: по-русски это он или по-гречески?

— Ой, голубчик, она ж лопнет сейчас, маты панайя¹, лопнет наша барка. Я уже не могу терпеть больше! — Он закрыл глаза и замотал головой. Я думал, она у него отлетит. — А, дьяволос! Когда же берег? Не знаешь? Я тоже не знаю, никто не знает. Хорошее дело. Ай, нет! Дело очень хорошее, очень-очень-очень может выйти хорошее дело. Ай, только надо берег, скорее берег! Ма, давай берег скорей! — Он топтался на месте. — Давай, давай!

Но тут резкий свисток с мостика и крик:

— Спирка!

Спирка замахал руками и, как был, в брюках и сетке на голое тело, покатился по палубе. Таких шулеров я видел в севастопольских бильярдных.

В кубрике все спали. Только двое под лампой дулись в затрепанные карты. В жестяном чайнике нашелся холодный чай. Я потянул из носика и пошел на палубу посидеть.

Тендровский маяк слабо мерцал направо за кормой. С мостика было слышно, как галдел грек и как покрикивал старший помощник:

— Ты правь, Спирка, а не махай руками. Держись хоть за штурвал, обезьяна!

Из кочегарского кубрика протопали четверо — смена. И через минуту испанец сидел со мной рядом.

— Я бил их, механик тоже их бил. Они не могут кидать уголь, они не могут держать пар. Это не кочегары, это...

Я перебил его:

— Ты знаешь, куда мы идем?

— Нет. — Испанец стал глядеть по сторонам, как будто можно было увидеть.

— И я не знаю. — И я ударил его кулаком по колену. — Понимаешь ты: это кабак плывет по морю. Кабак — ну, таверна, или как по-вашему?

И в тот же миг я вдруг отчетливо вспомнил треугольник из

¹ Греческая божба.

красных огней на молу на мачте, когда мы выходили, — штормовое предупреждение. Закрыв глаза на минуту и вспомнил, что вверх острием висели огни, — шторм с юго-запада.

— Ты дурак, и я дурак, — говорил я. — Ведь это корыто развалится, это ж песок, склеенный слюнями. Как он от хода не рассыплется в порошок!

— Я не можно никогда... — Испанец встал.

Встал и я. И тут заметил, что пароход чуть покачивает на зыби.

Зыбь шла с правого борта, шла к юго-западу. Но ветра еще не было. Зыбь шла с моря, оттуда, где работала уже погода.

— Хозе, — сказал я испанцу на ухо. — Ты смотри за шлюпками с правого борта, вон за теми, а я здесь. Они могут удрать и нас бросить, — я говорю про начальство. Капитан, механики, помощники...

Нет, Хозе ничего не понял.

— Хозе! Сядь здесь и смотри, чтобы не подходили к шлюпкам. И сейчас же скажи мне. Я буду здесь.

Но Хозе хотелось пить. Я сказал, что принесу ему целый чайник воды.

Когда я вышел с чайником на палубу, уже махал в воде порывистый, бойкий ветерок. Он наскакивал, отступал, пробежал дальше. И вдруг задуло. С мостика помощник свистел и кричал, чтобы я шел на руль. Там были уже капитан и оба помощника. Машина все так же работала малым ходом. Я оглянулся с мостика вдаль, назад, — Тендровского маяка уже не было видно.

Я взялся за штурвал — курс был тот же: на юг.

— Лево! — крикнул капитан.

Я сильно положил руль. Пароход покатился влево, и теперь мы шли прямо на восток, то есть прямехонько в берег, в эту песчаную косу, которую и днем-то за полкилометра иной раз не увидишь.

— Спирка! — крикнул капитан греку. — Пошел на лот! Пошел, не болтать мне!

Кто-то поднялся на мостик; я слышал, как он крикнул через ветер:

— Надо ходу больше, мы воду не успеваем качать!

— Вон отсюда! — крикнул капитан.

Зыбь теперь поддавала в корму справа. Я боялся, что каждую минуту может лопнуть пополам наша жестянка, вода хлынет в машину, под нами взорвутся котлы и кашлянет нами «Погибель», как вареным горохом. Скорей бы к берегу!

— Стоп, машина! — скомандовал капитан.

Зазвонил телеграф. Но машина наддала ходу.

— Дайте им по зубам! — заорал капитан.

И помощник скатился с трапа.

Через минуту машина стала.

— Спирка! Набрось! — закричал в рупор капитан. — Сколько? Не слышу!

Спирка взбежал с мокрым линем в руках.

— Двенадцать сажений! — крикнул Спирка. — Ну, ей-богу, двенадцать! Сейчас берег, честное слово, как я Спиро Тлевитис.

— Готовь якорь, — сказал капитан.

Но Спирка вернулся через минуту.

— Они все закачались, капитан, они все как барашки, они рыгают, они не могут ничего, совсем...

— Молчать! — оборвал его капитан. — Зови из машины.

Ветер крепчал. Он уж рвал белые гребни валов. Наносило острый дождь; он бил в лицо, как свинцовой дробью.

— Бросай руль! — сказал мне капитан. — Найди людей, бей их аншпугом. Вывалить все четыре шлюпки за борт, приготовить к спуску!

Я бросился к испанцу. Хозе тянул из чайника воду и что-то жевал.

— Хозе, к шлюпкам! Бей их, скажи, что тонем.

Я вошел в кубрик, и меня едва не стошнило от вони.

— Вставай! Гибнем!

Многие сели на койках и глядели на меня, выпуча глаза. Но тошнить их перестало.

— Все на палубу! Марш!

Они прыгивали с коек; я толкал, бил их в шею. Они падали на мокрой шатающейся палубе, вставали на четвереньки.

На баке, я слышал, громыхала цепь, видно, Спирка наладил дело, якорь готовит.

Кое-как добрались до шлюпок. Они лезли в них тут же, не вывалив их за борт. Я нашарил в шлюпке румпель и бил этих людей по чему приходилось. Это привело их в чувство. Они теперь слушались и кое-как исполняли, что я велел.

На другом борту орудовал испанец с кочегарами. Мы возились уже с последней шлюпкой. Сколько всякого припасу было наложено в этих шлюпках! Тут грохнула цепь — это отдали якорь. Теперь ничего не было слышно. Над нашими головами ревел пар, его выпускали из котлов, — видно, боялись взрыва.

Теперь дело пошло легче: оба помощника и капитан помогали делу. Я бросил их на минуту, чтоб захватить из кубрика кое-что из моих вещей. По дороге я видел, как два механика освобождали запоры трюмов. В кубрике я застал Хозе. Он возился над своим сундучком, что-то выбирал оттуда. Лампа еще горела, и он подносил каждую вещь к лампе.

— Скорей! — крикнул я. — Они могут нас тут бросить.

— Я не можно... — Хозе улыбнулся.

— Пойдем! — Я дернул его за рукав.

Но он не спеша завязывал в узелок свои вещи. Ох, наконец он их завязал, надел узелок на локоть. Мы вышли. Команда

уже сидела в шлюпках. Я боялся, что трудно будет спустить их с высокого борта. Но вода была теперь совсем близко. «Погибель» быстро набирала воду. Пароход грузно переваливался на волне. Казалось, что меньше стало качать. Он стоял теперь носом к зыби.

Одну шлюпку уже спустили. Никто не греб, только один человек стоял на корме с веслом. Шлюпка быстро исчезла в темноте, в дожде. Мы с Хозе спустили последнюю; в ней, кроме нас, был Спирка и еще двое кочегаров. Мы отвалили по всем правилам. Спирка что-то городил, быстро, как молитву. Но я крикнул ему: «Молчать!» Он затих. Я успел глянуть на «Погибель»: до борта оставалось не больше трех метров.

Нас несло штормовым ветром к берегу, это мы знали. Я правил сзади веслом. Уговорились: при первом толчке о песок — всем в воду и подтащить, сколько можно, шлюпку вручную.

Мы уже слышали, как рассыпался прибой в прибрежном песке. Зыбь становилась мельче и круче. Вдруг я достал веслом дно.

— Готовьсь! — заорал я.

Шлюпку ударило носом в песок, подбросило валом корму и вмиг повернуло. Мы едва успели выскочить, как следующий вал ударил ее в борт и опрокинул. Воды было по грудь.

— Бежим! — крикнул я и дернул за шиворот Хозе.

Я помнил, что он не умел плавать. Нас поддало волной, повалило. Но мы уже стояли на четвереньках, и здесь было на локоть воды. Испанец хохотал и что-то кричал. Куда разбросало остальных, я не видел. Через три минуты мы были уже на суше, то есть на мокром песке. Но это был берег. Я стал гукать, свистеть. «Го! го! го!» — кричал Хозе. Нам было холодно в мокрой одежде на ветру. Дождя уже не было, но ветер остервенело рвал и облеплял нас мокрым, холодным платьем. Никто не подходил, не отзывался на наш крик.

— Черт с ними! — сказал я. — Утром увидим.

Мы отошли от воды. Зуб не попадал на зуб. Вдруг мы стали на колени рядом и, не сговариваясь, оба стали рыть песок. Мы накидали руками вал и легли за ним, прижавшись спинами друг к другу. Вал прикрывал нас от ветра.

Мы проснулись, когда совсем рассвело. Еле развели скрюченные ноги и оба сейчас же поглядели на море. Желтый прибой все так же буравил берег, низкие тучи гнало от самого горизонта. Из воды, саженьях в ста от берега, торчали черные мачты «Погибели». Они, как две пики, направлены были на берег. Из валов временами показывалось жерло трубы, как открытый рот. Я глянул вдоль берега — неподалеку из воды торчало белое дно нашей шлюпки: прибой занес ее песком, как метель снегом. Разбросанные ящики — наш груз — волны таскали взад и вперед, кувыркали и били о песок. Испанец тыкал пальцем куда-то

вдаль и гоготал. Я присмотрелся: шалаш из брезента. Дым из него гнало ветром низко по земле. Испанец дергал меня, чтоб идти. Но он глядел уже налево, и было на что: шагах в ста от нас у воды на корточках сидел человек. Он чем-то ковырял в воде.

— Апельсины! Ловит апельсины. Бежим!

Испанец закоченелыми ногами заковылял что было силы по песку. Но скоро мы узнали капитана в этом человеке. У него что-то серое в руках. Теперь видно: это книга. Ну ясно, это машинный журнал в парусиновом переплете, в масляных пятнах. Я дернул испанца, чтобы говорил тише. Но за ревом прибоя капитан все равно нас не услышит. Я подошел совсем близко и присел на корточки. Капитан что-то подмывал морской водой на странице журнала. Наконец он крикнул, закрыл страницу и до половины окунул журнал в подоспевшую зыбину.

— Теперь ол-райт! — сказал капитан. Он повернулся и увидел меня.

Хозе в десяти шагах стаскивал с себя мокрые ботинки. Капитан с минуту глядел на меня, выкатив глаза.

— Это откуда? Наши?

Он не знал в лицо своей команды.

А я молчал, ухмыляясь, и глядел на него снизу.

— Да кто ты есть? — крикнул капитан и шагнул ко мне.

Я молчал. Он сделал еще два шага. Но тут босиком подбежал Хозе.

Капитан глядел на него. Я помотал головой. Хозе понял и тоже молчал.

— Что вы за люди? Говорите, бестии! Говорите же!

Мы молчали. Хозе улыбнулся во весь рот. Игра ему понравилась.

— Тьфу! — плюнул капитан.

Он с журналом под мышкой зашагал прочь. Но вдруг круто поворотил назад.

— Что ты видел? — крикнул он мне. — А ты? А ты?

Капитан двигался на Хозе.

Хозе стал боком, скосив глаза на капитана. Тот насутулился и глядел остекленелым взглядом: неподвижным, пристальным. Он приоткрыл рот и сдвигал все ближе брови, весь подавшись вперед. Я глядел, что́ будет. Вдруг что-то мелькнуло, и капитан опрокинулся навзничь. Чем и когда попал ему Хозе в переносицу? Я и сейчас сказать не могу. «Вот она, молния», — вспомнил я. Капитан не сразу очнулся. Наконец он сел на песок. Мы оба сидели против него.

— Слушайте, — сказал он хрипло. — Не будем много говорить. Вы, наверно, двое из команды... кого недосчитались. Значит, никто не погиб. Всё в порядке. — Он говорил просительно, как больной. — Вы, значит, и есть испанец. — Он указал на

Хозе.— А вы — рулевой. Ведь верно? Я вами очень доволен. Теперь никакой заботы, всего только — молчать. Вы, я вижу, на это мастера. Вот ему,— он указал на Хозе,— я даю триста рублей.— Капитан выставил три пальца.

Хозе их поймал в кулак и завернул дудочкой: капитан вскрикнул.

— Мало? Поезжайте в Испанию — на триста рублей можно год пьянствовать. Там вино дешевое. И вам триста. И вы уезжайте себе подальше. Понимаете? Чего вы молчите? Не поедете?

И глаза его снова остекленели.

Он встал и пошел к палатке, оглянувшись и крикнул коротко, кажется, «ладно», — отнесло ветром.

Хозе хохотал. Он прыгал. Должно быть, чтобы согреться.

Мы выловили дюжины две апельсинов — их вынесло прибоем — и съели. Признаться, я трусил теперь идти к палатке. Нас очень просто могли сделать утопленниками, погибшими при кораблекрушении. Я не говорил об этом Хозе, а то непременно полезет в драку.

Должно быть, было уже около полудня, когда слева показались подвода и трое верховых.

Это были пограничники.

Среди солдат на подводе сидел Спирка.

— Хлеб тоже везем! — кричал он нам с подводы.— Борщ немножко, и сейчас едем все на маяк.

Мы пошли за подводой. У Хозе за пазухой были апельсины. Солдаты сейчас же отрезали нам хлеба. По берегу против «Погибели» поставили часовых: «Имущество потерпевших в море под непосредственным ее величества государыни императрицы покровительством».

В палатке дворники кипятили чай на досках от ящиков. Солдаты провожали нас до маяка. Офицер слез с коня и шел рядом с капитаном. У капитана на лбу был багровый кровоподтек. Офицер глядел и расспрашивал его про катастрофу. Дворники на расспросы солдат только хмыкали и жевали хлеб. Поздно ночью мы добрались до Тендровского маяка, и о катастрофе полетела на берег телеграмма. Наутро, если позволит погода, за нами придет катер.

У смотрителя на квартире офицер записывал показания капитана. В окно мне видно было, как они переворачивали слипшиеся листы судового журнала.

Тут меня застал Спирка. Он тоже не ложился спать. Он взял меня под руку и повел в сторону.

— Ну, слушай: ну какую же пользу ты имеешь? Ты что же хочешь? Пятьсот? Я! Я! — бил себя в грудь Спирка.— Я, вот побей меня бог, не получаю пятисот. А ты тысячу хочешь? Ну, а что? Такой пароход — это хорошо, что погиб, ему так и надо. А? Нет, скажешь? Человек один пропал? Не пропал!

Груз? Какой же был груз? Сам знаешь. Значит, хорошее все это дело. И зачем ты хочешь, один ты, миллионы? Мириадес! А страховка — страховку хозяин получает, а не капитан. Капитан не хозяин. Люди получают сто рублей и говорят «спасибо».

И Спирка остановился и снял шапку.

— А ведь вы двое всем делать хотите зло! Люди же тоже могут обижаться. Знаешь, если люди обижаются...

Он тараторил без умолку, и я понял, что надо быть начеку. Я не знал, куда делся Хозе.

— Ладно, мы подумаем, — сказал я и вырвался от него.

— Чего думать? — крикнул мне вдогонку грек. — Это можно сейчас. А то может нехорошо выйти.

Я пошел искать Хозе. Дворники уже спали в сарае на полу. Среди них Хозе не было. Я вышел на двор и вдруг ясно услышал голос испанца:

— О! Я не можно ничего...

Я поспешил на голос. Кто-то прошел мимо меня. Я оглянулся и в свете окна узнал фигуру капитана. Хозе стоял посреди двора и потягивался.

— Он мне говорил: «Возьми триста, а то тебе плохо будет». А я сказал...

Я слышал, что он сказал: на весь двор сказал.

Мы спали вдвоем на кухне смотрителя. Я лег под самой дверью на полу, припер дверь собой.

К полудню шторм стал стихать. За нами приполз катерок только к вечеру. На длинном буксире притащил шлюпку с харчами для маячных. Нас по пяти человек подвозили на шлюпке. Катер снялся. На море не улеглось еще волнение, и катерок здорово качало на зыби. Порожня шлюпка волоклась сзади и мешала ходу. Я хватился Хозе. Мне помнилось, он сел на лавку в каюте. Я всех спрашивал. Дворники проклятые опять все жевали что-то и только мычали. Их скоро укачало. Капитан стоял рядом со шкипером и не хотел со мной говорить. Когда высаживались, я протиснулся к сходне, перебрал всех. Не было только Хозе. Я тогда же ночью пошел в портовую полицию и заявил.

Там сказали:

— Ну, значит, остался на маяке. Капитан список подал на всех людей, ничего не заявлял. Приходи утром.

Тогда я стал ругаться, требовать, чтобы сейчас же записали мои показания, но в это время вошел портовый надзиратель.

— Это еще кто? А ну, документ? Нету? С парохода, говоришь, с погибшего? А ну, дайте-ка мне ихний список! Как, говоришь, твоя фамилия? Такого, братец, нет. Вон ты что за гусь! Гляди-ка, чего выдумал! Ай же и мастер! С погибшего? Ответи! — крикнул он стражникам.

Мне вывернули карманы, сняли поясok и пропихнули в «холодную». На полу храпел какой-то пьяный.

Это капитану обошлось, конечно, дешевле трехсот рублей. Я сел в угол на цементный пол и, признаться, заплакал с досады.

Надо было мне взять и за испанца и за себя по триста рублей, тишком-ладком, а потом на суде грохнуть всё.

Наутро я растолкал пьяного. Оказался — ломовой извозчик.

Я ему толковал, чтобы всем говорил: «Одного человека, мол, утопили, а другого в полицию взяли». Всю ему историю раза четыре пересказал. А он с похмелья только глазами хлопал, как сова.

Его вытолкали на улицу, а меня повели в тюрьму. Я был уверен, что испанца кинули в море, пока мы на катере добирались. Плавать он не умеет, его за три сажени от берега утопить можно.

В тюрьме я ребятам рассказал, в чем дело. Мало кто верил, только стали меня звать «погибшим». А потом меня вызвал жандарм и спрашивал: не я ли слесарь Храмцов Иван с Брянского завода, которого полиция ищет, — он прокламации разбрасывал и «бунтовал рабочих»? Я говорил, что нет. А он говорит: «Погоди, дорогой, доберемся!»

Я уже второй месяц годил. Народу в камере сколько переменилось! Вдруг как-то привели новенького. У него сменка белья в газету завернута. Я попросил газетку. К окну, к решеткам. Вдруг, вижу, картинка, и нарисован пароход: лежит на боку, торчат труба и мачты из воды.

Потом читаю:

«Т р а г и ч е с к а я к а т а с т р о ф а

Пароход «Петр Карпов», следуя по пути в Ялту, был застигнут свирепым юго-западным штормом и прижат к Тендровской косе. Машина не выгребала против урагана. От усиленной работы загорелся подшипник коренного вала. Были отданы оба якоря. Но силой шторма пароход все гнало на берег, и якоря стали сдавать. Распорядительность и хладнокровие капитана, старого, опытного моряка, находчивость и удачные маневры среди разбушевавшейся стихии — все это не дало возникнуть обычной в этих случаях панике. Команда благополучно достигла на шлюпках берега.

Авария произошла по стихийной причине. Судовой журнал — этот главный документ корабля, беспристрастный свидетель его героической борьбы со стихией, — час за часом говорит нам, как боролось судно за свою жизнь и честь. Машинный журнал говорит об этом размывами чернил по страницам, просоленным морской водой. Многие записи нельзя разобрать. Но они подписаны самим морем.

Пароход шел первым рейсом после капитального ремонта с грузом апельсинов. Прибывшая на место гибели комиссия нашла пароход занесенным песком. Напором воздуха изнутри, при

погружении парохода в воду, вырвало грузовые люки, и груз частью оказался выброшенным на берег в виде обломков ящиков и разбросанных апельсинов, частью же погребен песком. Груз был застрахован в сумме 350 тысяч рублей».

Внизу был помещен портрет нашего капитана. Выражение на портрете было благородное и скорбное. Я даже не узнал его сначала.

Вот те и на! Не боятся даже в газетах печатать: «из капитального ремонта», когда весь порт называл пароход «Погибелью». Но коли хозяин получает 350 тысяч, то можно тысчонок пять бросить на подмазку. Комиссии за фальшивый осмотр он дал, агенту страхового общества дал, газетчикам дал...

Черт возьми! Не дал ли он еще кому надо, чтобы меня гноили по тюрьмам, пока я не сознаюсь, что я не матрос Николай Чумаченко, а слесарь с Брянского завода Иван Храмцов?

А не объявить ли, что я и есть Храмцов? Будет суд, на суде все рассказать. На суде уж не затрешь. Я посоветовался с одним рабочим, что сидел в нашей камере, и он сказал:

— Чудак ты! Ты думаешь, они глупей тебя? Никакого тебе суда не дадут, а просто административным порядком сошлют тебя, знаешь, где в бане льдом моются, снегом пару поддают. Там у тебя глаза от холоду лопнут. Суда еще захотел! Гляди ты какой!

Я задавил в себе досаду. Но было — хоть об стенку головой!

Тут случился в тюрьме тиф: попал я в больницу. Говорили, я бредил этой «Погибелью». А потом слышно стало: кругом забастовки, тюрьму набили народом доверху. Стало уж не до меня. Из больницы меня, полуживого, вытолкали за ворота. Одна была бумажка, что из-под следствия освобожден.

Нищим оборванцем добрался я до своего порта. Здесь товарищи мне помогли. Сказали, что суд был, капитана оправдали. Дело у них сошло с рук. Испанца никто не знал, и такого не видели.

— А капитан?

— А он плавает на портовом буксире «Силач».

У меня, видно, рожу перекосило, потому что все стали говорить:

— Брось, мало насиделся?

Но я ничего не говорил.

Вечером я пошел в порт и стал ждать «Силача». Вот он подошел и стал кормой к пристани. Я узнал голос; он крикнул:

— Сходню ставь веселей!

Я прислонился к штабелю угля. В руке у меня был кусок фунтов в десять. Капитану дорога мимо меня, и народу сейчас мало. «Сейчас тебе, дракону, конец», — говорил я про себя. Вот он

идет мимо фонаря, вот зашел в тень, и я в тени. Тьфу! За ним бегут двое.

— Господин капитан, Леонтий Андреич! Разрешите полтинничек. Ей-богу, мы ж за вас! В счет получки, вот истинный Христос! — И уж совсем почти рядом со мной: — Мы ж зато молчим.

Знакомые голоса. Фу ты! Да это Афанасий с Яшкой. Они шли за ним и кланчили. Я пошел следом. Тут уж вышли на людное место, я бросил свой уголь. Капитан полез в карман, и я слышал, как он сказал:

— Последний раз, а то я вас уберу. Знаете?

Афанасий с Яшкой дошли до пивной и ввалились туда. Они сидели за столиком, когда я вошел. Они меня не узнали — так переменили меня тюрьма и болезнь. Я спросил кружку пива за гривенник и сел рядом. Из их разговора я понял, что их взял служить капитан на «Силач», чтобы они помалкивали, и что теперь как бы в самом деле не был это последний полтинник, что они выудили у капитана. Потом они подвыпили, и Афанасий пьяным голосом кричал:

— Ей-богу, он хороший человек! Вот мы с тобой выпили, честное слово: сам живет и другим жить дает. А это он так. Пугает только. Надо же попугать. А он, ей-богу...

И вдруг он уставился на меня. Обернулся и Яшка и тоже выпучил глаза. Он еле сказал:

— Ты... живой?

Я скорее встал, кинул официанту гривенник и вышел. Может, они еще не поверили своим пьяным глазам. Нет, нет, все равно дурака я свалял! Они скажут капитану и уж за десятку, а не за полтинник продадут ему меня.

Я ночевал теперь по ночлежкам, работал на сноске. Я решил переждать с неделю и снова пойти стать под углом.

И вот раз в ночлежке, когда все в полутьме уже засыпали и только в углу шел гулкий разговор, вдруг слышу:

— Мне не можно...

Я так и подскочил: не может быть! Я крикнул на всю ночлежку:

— Машка!

Действительно, это был испанец. Он подбежал ко мне. Я не мог ничего говорить. Я его ощупывал и ругал. Ласкательно ругал, но последними словами. Я не мог его разглядеть, было полутемно. Старики уже бранились, что мы шумим.

Хозе начал вполголоса:

— Они спихнули меня с катера. Я не видел, кто сзади. Но я бил руками и ногами. Я не боялся. Браво! Сзади это шлюпка на буксире! О! Я поймал шлюпку. Они не видели, что я влез туда. Я там лег. Они шлюпку оставили на якоре до утра, далеко от берега. Я видел ночной пароход. Они на нем уехали. Утром я по-

пал на берег. Искал тебя до ночи. Значит, и ты уехал с ними. Так я думал. Я не видал капитана, как он уехал. Я б ему голову разбил, как горшок камнем.

Хозе уже говорил громко, но всем было забавно, как он говорил; многие поднялись и подошли.

— У меня не было денег, не было документов, я в этом городе никого не знаю. Я пошел носить мешки на погрузку. Потом меня взяли на пароход угольщиком. Я думал, ты уехал с ними. Я здесь третий день. Я без места. Нет паспорта. Консул говорит: «Ты эмигрант, пошел вон!» Я его хотел бить, такая каналья!

Я не хотел говорить сейчас Хозе, что капитан здесь. Он бы начал ругаться, грозить, а тут кругом народ и непременно есть «лягаши», как во всякой ночлежке. Завтра мы сидели бы за решеткой.

Я рассказал о себе. И мы заснули на одной койке.

Наутро я сказал Хозе, что капитан здесь, на буксире «Силач».

В ту же ночь мы стояли у штабеля угля. Мы слышали, как стал «Силач» на свое место. Было пусто. Где-то по набережной шаркали пантуфлями грузчики-турки, возвращаясь с работы. Я выглядывал из-за штабеля. Сердце мое колотилось. Вот он, капитан. Он в белом кителе. Да, и двое по бокам. У одного в руке дубинка. Ого! С конвоем. Ну да: Яшка и Афанасий по бокам. Я шепнул Хозе:

— Их трое.

— Мне не можно... — И он прижал меня ближе к углу. — Идут!

И вдруг Хозе сказал что-то по-испански, вышел на середину и стал перед капитаном.

Они все трое остановились как вкопанные.

— Тебе... тебе чего? — сказал Яшка и завел назад дубинку.

Я подбежал с куском антрацита. Яшка попятился.

— А я живой! А! Капитан! — Испанец ударил себя кулаком в грудь. — Я, Хозе-Мария Дамец.

Яшка замахнулся дубинкой. Я бросил изо всей силы в него углем, но уголь пролетел мимо — Яшка уже лежал. Я видел, как капитан сунул руку в карман. Револьвер! Застрелит! Но «молния» — и капитан сел, расставив руки. Револьвер звякнул о мостовую. Афанасий бежал назад и был на бегу длинной коровьей нотой. Я успел наступить ногой на револьвер.

Капитан вскочил — он хотел повернуться. Но Хозе поймал его за грудь.

Да... А потом мы бросили его, как тушу, на штабель. Яшка лежал молча. Мы пошли. Я слышал, что сзади топают несколько ног. Мы вошли в людное место и смешались с народом.

— Идем вон отсюда, из этого города, сейчас же! — говорил я испанцу.

— Ого! Мне не можно ничего...

— Тебе не можно, а мне нужно, и я боюсь один. Ты что же, меня не проводишь?

К утру мы были уже за тридцать пять верст, на берегу, у рыбаков. Там всегда всякого народу много толчется.

А что скажете: в полицию идти жаловаться? Или в суд подавать, может быть?

1934

МЕХАНИК САЛЕРНО

(Было давно)

I

Итальянский пароход шел в Америку. Семь дней он плыл среди океана, семь дней оставалось ходу. Он был в самой середине океана. В этом месте тихо и жарко.

И вот что случилось в полночь на восьмые сутки.

Кочегар шел с вахты спать. Он шел по палубе и заметил, какая горячая палуба. А шел он босиком. И вот голую подошву жжет. Будто идешь по горячей плите. «Что такое? — подумал кочегар. — Дай проверю рукой. — Он нагнулся, пощупал. — Так и есть, очень нагрета. Не может быть, чтобы с вечера не остыла. Неладно что-то». И кочегар пошел сказать механику. Механик спал в каюте. Раскинулся от жары. Кочегар подумал: «А вдруг это я зря, только кажется? Заругает меня механик: чего будишь, только уснул».

Кочегар забоялся и пошел к себе. По дороге еще раз тронул палубу. И опять показалось — вроде горячая.

II

Кочегар лег на койку и все не мог уснуть. Все думал: сказать, не сказать? А вдруг засмеют? Думал, думал, и стало казаться всякое, жарко показалось в каюте, как в духовке. И все жарче, жарче казалось. Глянул кругом — все товарищи спят, а двое в карты играют. Никто ничего не чует. Он спросил игроков:

— Ничего, ребята, не чуете?

— А что? — говорят.

— А вроде жарко.

Они засмеялись:

— Что ты, первый раз? В этих местах всегда так. А еще старый моряк!

Кочегар крикнул и повернулся на бок. И вдруг в голову ударило: «А что, как беда идет? И наутро уже поздно будет? Все пропадем. Океан кругом на тысячи верст. Потонем, как мыши в ведре».

Кочегар вскочил, натянул штаны и выскочил наверх. Побежал по палубе. Она ему еще горячей показалась. С разбегу стукнул механику в двери. Механик только мычал да пыхтел. Кочегар вошел и потолкал в плечо. Механик нахмурился, глянул сердито, а как увидел лицо кочегара, крикнул:

— Что случилось? — и вскочил на ноги. — Опять там подрались?

А кочегар схватил его за руку и потянул вон. Кочегар шепчет:

— Попробуйте палубу, синьор Салерно.

Механик головой спросонья крутит — все спокойно кругом. Пароход идет ровным ходом. Машина мурлычет мирно внизу.

— Рукой палубу троньте, — шепчет кочегар; схватил механика за руку и прижал к палубе.

Вдруг механик отдернул руку.

— Ух, черт, верно! — сказал механик шепотом. — Стой здесь, я сейчас.

Механик еще два раза пощупал палубу и быстро ушел наверх.

III

Верхняя палуба шла навесом над нижней. Там была каюта капитана.

Капитан не спал. Он прогуливался по верхней палубе. Поглядывал за дежурным помощником, за рулевым, за огнями.

Механик запыхался от скорого бега.

— Капитан, капитан! — говорит механик.

— Что случилось? — И капитан придвинулся вплотную, глянул в лицо механику и сказал: — Ну, ну, пойдете в каюту.

Капитан плотно запер дверь. Закрыв окно и сказал механику:

— Говорите тихо, Салерно. Что случилось?

Механик перевел дух и стал шептать:

— Палуба очень горячая. Горячей всего над трюмом, над средним. Там кипы с пряжей и эти бочки.

— Тсс! — сказал капитан и поднял палец. — Что в бочках, знаем вы да я. Там, вы говорили, хлористая соль? Не горячая? — Салерно кивнул головой. — Вы сами, Салерно, заметили или вам сказали? — спросил капитан.

— Мне сказал кочегар. Я сам пробовал рукой. — Механик тронул рукой пол. — Вот так. Здорово...

Капитан перебил:

— Команда знает?

Механик пожал плечами.

— Нельзя, чтобы знали пассажиры. Их двести пять человек. Начнется паника. Тогда мы все погибнем раньше, чем пароход. Надо сейчас проверить.

Капитан вышел. Он покосился на пассажирский зал. Там ярко горело электричество. Нарядные люди гуляли мимо окон по палубе. Они мелькали на свету, как бабочки у фонаря. Слышен был веселый говор. Какая-то дама громко хохотала.

IV

— Идти спокойно,— сказал капитан механику.— На палубе — ни звука о трюме. Где кочегар?

Кочегар стоял, где приказал механик.

— Давайте градусник и веревку, Салерно,— сказал капитан и закурил.

Он спокойно осматривался кругом. Какой-то пассажир стоял у борта.

Капитан зашагал к трюму. Он уронил папироску. Стал поднимать и тут пощупал палубу. Палуба была нагрета. Смола в пазах липла к руке. Капитан весело обругал окурок, кинул за борт.

Механик Салерно подошел с градусником на веревке.

— Пусть кочегар смерит,— приказал капитан шепотом.

Пассажир перестал глядеть за борт. Он подошел и спросил болезненным голосом:

— Ах, что это делают! Зачем, простите, эта веревка? Веревка, кажется? — И он стал щупать веревку в руках кочегара.

— Ну да, веревка,— сказал капитан и засмеялся.— Вы думали, змея? Это, видите ли...— Капитан взял пассажира за пуговку.— Иди,— сказал капитан кочегару.— Это, видите ли,— сказал капитан,— мы всегда в пути мерим. С палубы идет труба до самого дна.

— До дна океана? Как интересно! — сказал пассажир.

«Он дурак,— подумал капитан.— Это самые опасные люди». А вслух рассмеялся:

— Да нет! Труба до дна парохода. По ней мы узнаем, много воды в трюме или нет.

Капитан говорил сущую правду. Такие трубы были у каждого трюма.

Но пассажир не унимался.

— Значит, пароход течет, он дал течь? — вскрикнул пассажир.

Капитан расхохотался как мог громче:

— Какой вы чудака! Ведь это вода для машины. Ее нарочно запасают.

— Ай, значит, мало осталось! — И пассажир заломил руки.

— Целый океан! — И капитан показал за борт.

Он повернулся и пошел прочь. Впотьмах он заметил пассажира.

Роговые очки, длинный нос. Белые в полоску брюки. Сам длинный, тощий.

Салерно чиркал у трюма.

V

— Ну, сколько? — спросил капитан.

Салерно молчал. Он выпучил глаза на капитана.

— Да говорите, черт вас дери! — крикнул капитан.

— Шестьдесят три, — еле выговорил Салерно.

И вдруг сзади голос:

— Святая Мария, шестьдесят три!

Капитан оглянулся. Это пассажир, тот самый. Тот самый, в роговых очках.

— Мадонна путана! — выругался капитан и сейчас же сделал веселое лицо. — Как вы меня напугали! Почему вы бродите один? Там наверху веселее. Вы поссорились там?

— Я нелюдим, я всегда здесь один, — сказал длинный пассажир.

Капитан взял его под руку. Они пошли, а пассажир все спрашивал:

— Неужели шестьдесят? Боже мой! Шестьдесят? Это ведь правда?

— Чего шестьдесят? Вы еще не знаете чего, а расстраиваетесь. Шестьдесят три сантиметра. Этого вполне хватит на всех.

— Нет, нет! — мотал головой пассажир. — Вы не обманете! Я чувствую.

— Выпейте коньяку и ложитесь спать, — сказал капитан и пошел наверх. — Такие всегда губят, — бормотал он на ходу. — Начнет болтать, поднимет тревогу. Пойдет паника.

Много случаев знал капитан. Страх — это огонь в соломе. Он охватит всех. Все в один миг потеряют ум. Тогда люди режут по-звериному. Толпой мечутся по палубе. Бросаются сотнями к шлюпкам. Топорами рубят руки. С воем кидаются в воду. Мужчины с ножами бросаются на женщин. Пробивают себе дорогу. Матросы не слушают капитана. Давят, рвут пассажиров. Окровавленная толпа бьется, ревет. Это бунт в сумасшедшем доме.

«Этот длинный — спичка в соломе», — подумал капитан и пошел к себе в каюту. Салерно ждал его там.

VI

— Вы тоже! — сказал сквозь зубы капитан. — Выпучили глаза — утопленник! А этого болвана не увидели? Он суется, носится за мной. Нос свой тычет, тычет, — капитан тыкал пальцем в воздух. — Он всюду, всюду! А нет его тут? — И капитан открыл двери каюты.

Белые брюки шагнули в темноте. Стали у борта. Капитан запер дверь. Он показал пальцем на спину и сказал зло:

— Тут, тут, вот он. Говорите шепотом, Салерно. Я буду напевать.

— Шестьдесят три градуса,— шептал Салерно.— Вы понимаете? Значит...

— Градусник какой? — шепнул капитан и снова замурлыкал песню.

— С пеньковой кистью. Он не мог нагреться в трубе. Кисть была мокрая. Я быстро подымал и тотчас глянул. Пустить, что ли, воду в трюм?

Капитан вскинул руку:

— Ни за что! Соберется пар, взорвет люки.

Кто-то тронул ручку двери.

— Кто там? — крикнул капитан.

— Можно? Минуту! Один вопрос! — Из-за двери всхлипывал длинный пассажир.

Капитан узнал голос.

— Завтра, дружок, завтра, я сплю! — крикнул капитан.

Он плотно держал дверь за ручку. Потушил свет.

Прошла минута. Капитан шепотом приказал Салерно:

— Первое: дайте кораблю самый полный ход. Не жалейте ни котлов, ни машины. Пусть ее хватит на три дня. Надо делать плоты. Вы будете распоряжаться работой. Идемте к матросам.

Они вышли. Капитан осмотрелся. Пассажира не было. Они спустились вниз. На нижней палубе беспокойно ходил пассажир в белых брюках.

— Салерно,— сказал капитан на ухо механику,— занимайте этого идиота чем угодно! Что хотите! Играйте с ним в чехарду! Анекдоты! Врите! Но чтобы он не шел за мной. Не спускайте с глаз!

Капитан зашагал на бак. Спустился в кубрик к матросам. Двое быстро смахнули карты на палубу.

— Буди всех! Всех сюда! — приказал капитан.— Только тихо.

Вскоре в кубрик собралось восемнадцать кочегаров и матросов. С тревогой глядели на капитана. Молчали, не шептались.

— Все? — спросил капитан.

— Остальные на вахте,— сказал боцман.

VII

— Военное положение! — крепким голосом сказал капитан. Люди глядели и не двигались.

— Дисциплина — вот.— И капитан стукнул револьвером по столу. Обвел всех глазами.— На пароходе пожар.

Капитан видел: бледнеют лица.

— Горит в трюме номер два. Тушить поздно. До опасности осталось три дня. За три дня сделать плоты. Шлюпок мало. Работу покажет механик Салерно. Его слушаться. Пассажирам говорить так: капитан наказал за игру и драки. Сболтни кто о пожаре — пуля на месте. Между собой — об этом ни слова. Поняли?

Люди только кивали головами.

— Кочегары! — продолжал капитан. — Спасенье в скорости. Не жалеть сил!

Капитан поднялся на палубу. Глухо загудели внизу матросы. А впереди капитан увидал: Салерно стоял перед пассажиром. Старик механик выпятил живот и покачивался.

— Уверяю вас, дорогой мой, слушайте, — пыхтел механик, — уверяю, это в Алжире... ей-богу... и арапки... танец живота... Вот так!

Пассажир мотал носом и вскрикивал:

— Не верю, ведь еще семь суток плыть!

— Клянусь мощами Николая-чудотворца! — Механик задыхался и вертел животом.

— Поймал, поймал! — весело крикнул капитан.

Механик оглянулся.

Пассажир бросился к капитану.

— Все там играли в карты. И все передрались. Это от безделья. Теперь до самого порта работать. Выдумайте им работу, Салерно. И потяжелее. Бездельники все они! Все! Пусть делают что угодно. Стругают. Пилят. Куют. Идите, Салерно. По горячему следу. Застегните китель!

VIII

— Идемте, синьор. Вы мне нравитесь... — Капитан обхватил пассажира за талию.

— Нет, я не верю, — говорил пассажир упрямо, со слезами. — У нас есть пассажир. Он — бывший моряк. Я его спрошу. Что-то случилось. Вы меня обманываете.

Пассажир рвался вперед.

— Вы не хотите сказать. Тайна! Тайна!

— Я скажу. Вы правы — случилось, — сказал тихо капитан. — Станемте здесь. Тут шумит машина. Нас не услышат.

Капитан облокотился на борт. Пассажир стал рядом.

— Я вам объясню подробно, — начал капитан. — Видите вы вон там, — капитан перегнулся за борт, — вон вода бьет струей? Это из машины за борт.

— Да, да, — сказал пассажир, — теперь вижу.

Он тоже глядел вниз. Придерживал очки.

— Ничего не замечаете? — сказал капитан.

Пассажир смотрел все внимательнее. Вдруг капитан присел. Он мигом схватил пассажира за ноги. Рывком запрокинул вверх и

толкнул за борт. Пассажир перевернулся через голову. Исчез за бортом. Капитан повернулся и пошел прочь. Он достал сигару, отгрыз кончик. Отплюнул на сажень. Ломал спички, пока закуривал.

IX

Капитан пошел наверх и дал распоряжение: повернуть на север. Он сказал старшему штурману:

— Надо спешить на север. Туда, на большую дорогу. Тем путем ходит много кораблей. Там можно скорее встретить помощь.

Машина будто встрепенулась. Она торопливо вертела винт. Пароход заметно вздрагивал. Он мелко трясся корпусом — так сильно вертела машина.

Через час Салерно доложил капитану:

— Плоты готовят. Я велел ломать деревянные переборки. Сейчас машина дает восемьдесят два оборота. Предохранительные клапаны на котлах заклепаны. Если котлы выдержат... — И Салерно развел руками.

— Тогда постарайтесь дать восемьдесят пять оборотов. Только осторожно, осторожно, Салерно. Машина сдаст, и мы пропали. Люди спокойны?

— Они молчат и работают. Пока что... Их нельзя оставлять. Там второй механик. Третий — в машине. Фу!

Салерно отдувался. Он снял шапку. Сел на лавку. Замотал головой. И вдруг вскочил:

— Я смерю, сколько градусов.

— Не смей! — оборвал капитан.

— Ах да, — зашептал Салерно, — этот идиот! Где он? — И Салерно огляделся.

Капитан не сразу ответил.

— Спит. — Капитан коротко свистнул в свисток и приказал вахтенному: — Третьего штурмана ко мне!..

— Слушайте! Гропани, вам двадцать пять лет...

— Двадцать три, — поправил штурман.

— Отлично, — сказал капитан. — Вы можете прыгать на одной ножке? Ходить колесом? Сколько есть силы, забавляйте пассажиров! Играйте во все дурацкие игры! Чтобы сюда был слышен ваш смех! Ухаживайте за дамами. Вываливайте все ваши глупости. Кричите петухом. Лайте собакой. Мне наплевать. Третий механик вам в помощь, на весь день. Я вас научу, что врать.

— А вахта? — И Гропани хихикнул.

— Это и есть ваша вахта. Всю вашу дурость сыпьте. Как из мешка. А теперь спать!

— Есть! — сказал Гропани и пошел к пассажирам.

— Куда? — крикнул капитан. — Спать!

Капитан не спал всю ночь. Под утро приказал спустить градусник. Градусник показал 67. «Восемьдесят пять оборотов», — доложили из машины. Пароход трясся, как в лихорадке. Волны крутым бугром расходились от носа.

Солнце взошло справа. Ранний пассажир вышел на палубу. Посмотрел из-под руки на солнце. Вышел толстенький аббат в желтой рясе. Они говорили. Показывали на солнце. Оба пошли к мостику.

— Капитан, капитан! Ведь солнце взошло справа, оно всходило сзади, за кормой. Вы изменили курс. Правда? — говорили в два голоса и пассажир и священник.

Гропани быстро взбежал наверх.

— О, конечно, конечно! — говорил Гропани. — Впереди Саргассово море. Не знаете? Это морской огород. Там водоросли, как змеи. Они опутают винт. Это прямо похлебка с капустой. Вы не знали? Мы всегда обходим. Там завязло несколько пароходов. Уж много лет.

Пожилая дама в утреннем платье вышла на голоса.

— Да, да, — говорил Гропани, — там дамы хозяйничают, как у себя дома.

— А есть-то что? — спросила дама.

— Рыбу! Они рыбу ловят! — спешил Гропани. — И чаек. Они чаек наловили. Они у них несутся. Цыплят выводят. Как куры. И петухи кричат: «Ку-ка-ре-ку!»

— Вздор! Вздор! — смеялась дама.

А Гропани бил себя в грудь и кричал:

— Клянусь вам всеми спиртными напитками!

Пассажиры выходили на палубу. Вертлявый испанец суетился перед публикой.

— Господа, пока не жарко, партию в гольд! — кричал он по-французски и вертел черными глазами.

— Будьте мужчиной, — говорил испанец и тряс за руку Гропани, — приглашайте дам!

— Одну партию до кофе! Умоляйте! — Испанец стал на колени и смешно шевелил острыми усами.

— Вот так и будете играть, — крикнул Гропани, — на коленях!

— Да! Да! На коленях! — закричали дамы.

Все хохотали. Испанец делал рожи, смешил всех и кричал: «Приглашайте дам!»

Гропани поклонился аббату и сделал руку кренделем:

— Прошу.

Аббат замахал рукой.

— Ах, простите, я близорук.

Всем стало весело. Кто-то притащил клюшки и большие шаш-

ки. Началась игра; на палубе начертили крестики. Ключками толкали шашки.

ХІ

— Сегодня особенно трясет,— вдруг сказал испанец.— Я чувствую коленками. Не правда ли?

Все минуту слушали.

— Да вы посмотрите, как мы идем! — крикнул Гропани. Публика хлынула к борту.

— Это секрет, секрет,— говорил Гропани; он поднял палец и прищурил глаз.

— Матео! — крикнул Гропани вниз.— Скорей, скорей, бегом!

Третий механик быстро появился снизу. Он был маленький, черный. Совсем обезьянка. Он бежал легко, семенил ножками.

— Гой! — крикнул Гропани, и механик с разбегу прыгнул через испанца.

Все захлопали в ладоши.

— Слушай, секрет можно сказать? — спросил Гропани.— Нам не влетит?

— Беру на себя,— сказал маленький механик и улыбнулся белыми зубами на темном лице.

Все обступили моряков. Испанец вскочил с колен.

— Наш капитан,— начал тихим голосом механик,— через два дня именинник. Он всегда останавливает пароход. Все выходят на палубу и должны поздравлять старика. Часа три стоим все, поздравляем, все равно, даже в шторм. Вот он и велит гнать. А то опоздает в порт. Чудачина-старичина! И катанье какое-то затевает, морской пикник,— совсем тихо прибавил механик.— Только, чур, молчок! — И он волосатой рукой прикрыл рот.

— Ох, интересно! — говорили дамы.

Буфетчик звонил к кофе.

Механик и Гропани отошли к борту.

— У нас в кочегарке,— быстрым шепотом сказал механик,— переборка нагрелась — рука не терпит. Как уют. Понимаешь?

— А трюм нельзя открыть,— сказал Гропани.— Войдет воздух, и сразу все вспыхнет.

— Как думаешь, продержимся два дня? Как думаешь? — Механик глянул в самые глаза Гропани.

— Пожар, можем задохнуться в своем дыму,— сказал Гропани,— а впрочем, черт его знает.

Они пошли на мостик. Капитан их встретил.

— Идите сюда,— сказал капитан.

Он потащил механика за руку. В каюте он показал ему маленькую рулетку, новенькую, блестящую.

— Вот шарик.— Капитан поднес шарик к носу механика.—

Пусть крутят, бросают шарик, пусть играют на деньги. Говорите — это по секрету от капитана. Тогда они будут сидеть внизу. Мужчины хотя бы... Дамы ничего не заметят. Возьмите, не потеряйте шарик! — И капитан ткнул рулетку механику.

Третий механик вышел на палубу. Официанты играли на скрипках. Две пары уже танцевали.

XII

Команда работала и разбирала эмигрантские нары. Под палубой было жарко и душно. Люди разделись, мокрые от пота.

— Ни минуты, ни секунды не терять! — говорил старик Салерно; он помогал срывать толстые брусья. — Потом покурите, потом! — пыхтел старик.

— Ну, чего стал? — крикнул Салерно молодому матросу.

— Вот оттого и стал! — во всю глотку крикнул молодой матрос.

Все на миг бросили работу. Все глядели на Салерно и матроса. Стало тихо. И стало слышно веселую музыку.

— Ты это что же? — сказал Салерно; он с ключом в руке пошел на матроса.

— Там танцуют, а мы тут кишки рвем! — Матрос подался вперед с топором в руке. — Давай их сюда! — кричал матрос.

— Верно, правильно говорит! — загудели матросы.

— Кому плоты? Нам шлюпок хватит.

— А плоты пусть сами себе делают.

Все присунулись к Салерно, кто с чем: с молотком, с топором, с долотом. Все кричали:

— К черту! Довольно! Баста! Остановить пароход! К шлюпкам!

Один уже бросился к трапу.

— Стойте! — крикнул Салерно и поднял руку.

На миг затихли. Остановились.

— Братья матросы! — сказал с одышкой старик. — Ведь там пассажиры. Мы взялись их свезти... А мы их... выйдут... выйдут... погубим... Они ведь ехать сели, а не тонуть...

— А мы тоже не гореть нанялись! — крикнул молодой матрос в лицо механику.

И молодой матрос, растолкав всех, бросился к трапу.

XIII

Капитан слышал крик. Он спустился на нижнюю палубу. Шел к мостику и прислушивался.

«Бунт, — подумал капитан. — Они бьют Салерно. Пропало все. Уймё, а нет — взорву к черту пароход, пропадай всё пропадом!»

И капитан быстро зашагал к люку.

Вдруг навстречу матрос с топором. Он с разбегу ткнулся в капитана. Капитан рванул его за ворот. Матрос не успел опомниться, капитан толкнул его в люк. По трапу на матроса напирал народ. Все стали и смотрели на капитана.

— Назад! — рявкнул капитан.

Люди попятись. Капитан спустился вниз.

— Чего смотреть?! — крикнул кто-то.

Народ встrepенулся.

— Молчать! — сказал капитан. — Слушай, что я скажу.

Капитан стоял на трапе выше людей. Все на него глядели. Жарко дышали. Ждали.

— Не будет плотов — погибли пассажиры. Я за них держу ответ перед миром и совестью. Они нам доверились. Двести пять живых душ. Нас сорок восемь человек...

— А мы их свяжем, как овец! — крикнул матрос с топором. — Клянусь вам!

— Этого не будет! — крепко сказал капитан. — Ни один мерзавец не тронет их пальцем. Я взорву пароход!

Люди загудели.

— Убейте меня сейчас! — Капитан сунулся грудью вперед. — И суньтесь только на палубу — пароход взлетит на воздух! Все готово, без меня есть кому это сделать. Вы хотите погубить двести душ — и женщин и малых детей. Даю слово: погибнете вместе. Все до одного.

Люди молчали. Кто опустил злые глаза, а кто глядел на капитана и кивал головой.

Капитан с минуту глядел на людей.

Молодой матрос вскинул голову, но капитан заговорил:

— Плоты почти готовы. Их осталось собрать и сделать мачты. На шесть часов работы. У нас ведь есть сутки. Двадцать четыре часа. Пассажиры в воде — это дети. Они узнают о несчастье — они погубят себя. Нам вручили их жизнь. Товарищи моряки! — громко крикнул капитан. — Лучше погибнуть честным человеком, чем жить прохвостом! Скажите только: «Мы их погубим», — капитан обвел всех глазами, — и я сейчас пущу себе пулю в лоб. Тут, на трапе. — И капитан сунул руку в карман.

Все загудели глухо, будто застонали.

— Ну так вот, вы — честные люди, — сказал капитан. — Я знал это. Вы устали. Выпейте по бутылке красного вина. Я прикажу выдать. Кончайте скорее — и спать. А наши дети, — капитан кивнул вверх, — пусть играют, вы их спасете, и будет навеки вам слава, морякам Италии. — И капитан улыбнулся. Улыбнулся весело, и вмиг помолодело лицо.

— Bravo! — крикнул молодой матрос.

Он глядел на капитана. Капитан быстрыми шагами взбегал по трапу.

— Гропани! — крикнул капитан на палубе. Штурман бежал навстречу. — Идите вниз, — говорил капитан, — работайте с ними во всю мочь! И по бутылке вина всем. Сейчас. Там танцуют? Ладно. Я пришлю за вами, в случае станут скучать. Ну, живо! — Есть! — крикнул Гропани и бегом бросился к люку.

XIV

Капитан прошел в свою каюту. Он сел на койку, сжал кулаки со всей силой и подпер бока. «Держаться, держаться, — говорил капитан, — что есть сил держаться! Сутки одни, одни только бы сутки!» И несколько не легче становилось капитану. Он знал: не за сутки, а за один час, за минуту все может погибнуть. Крикнет этот матрос с топором: «Пожар!» — и готово. «Дали им вина?» — подумал капитан и вскочил на ноги. Но тут влетел в каюту Салерно. Старик осунулся в эти два дня. Он схватил капитана за плечи, стал трясти. Тряс и все глядел в глаза, и лицо у старика кривилось и вдруг совсем сморщилось, и он заплакал, заревел в голос. Он с размаху сел на койку и уткнул лицо в подушку.

— Что ты? — Капитан первый раз заговорил с ним на «ты». — Что ты? Салерно...

Капитан повернулся, взялся за ручку двери. Старик встрепенулся.

— Минуту! — говорил старик.

Он задыхался, схватил графин и пил из горлышка. Обливался. Другой рукой он держал капитана.

— Ведь я умру подлецом, — говорил старик сквозь слезы. — Пожар не потухнет. В этих бочках, ты не знаешь, — в них бертолетова соль!

— Как? — спросил капитан. — Ведь ты сказал — хлорноватая какая-то соль...

— Да, да! Это и есть бертолетова. Я не соврал. Но я знал, что ты не поймешь.

— Я спрашивал ведь тебя: не опасно? А ведь это — взрыв!..

— Нет, нет, — плакал старик, — не взрыв! Ее нагревает, она выпускает кислород, а от него горит. Сильней, сильней все горит. — Старик умоляюще глядел на капитана. — Ну, прости, прости хоть ты, господи! — Старик ломал руки. — Никто, никто не простит... — И Салерно искал глазами по каюте. — Мне дали триста лир, чтобы я устроил... дьявол дал... эти двадцать бочек. Что же теперь? Что же? — Салерно глотал воздух ртом. — Иисусе святой, милый, дорогой...

— Идите к аббату, приложите к его рясе. Нет? Тогда вот револьвер — стреляйтесь! — сказал капитан и брякнул на стол браунинг.

Старик водил выпученными глазами.

— Тоже не хотите? Тогда умрите на работе. Марш к команде.

— Капитан,— хрипло сказал Салерно,— на градуснике... вчера было не семьдесят восемь, а восемьдесят семь...

Капитан вскинул брови, вздрогнул.

— Я не мог сказать...— Старик рухнул с койки, стал на колени.

Капитан с размаху ударил старика по лицу, вышел и пристукнул за собой дверь.

XV

Капитан взял веревку с градусником. Он сам смерил температуру — было 88 градусов.

Маленький механик подошел и сказал (он был в одной сетке, мокрый от пота):

— На переборке краска закудрявилась, барашком пошла, но мы поливаем... Полно пару... Люди задыхаются... Работаем мы со вторым механиком...

Капитан подошел к кочегарке. Глянул сверху, но сквозь пар не мог увидеть. Слышал только — лязгают лопаты, стучают скребки. Маленький механик шагнул за трап и пропал в пару.

Солнце садилось. Красным отсветом горели буруны по бокам парохода. Черный дым густой змеей валил из трубы. Пароход летел что есть силы вперед. В трюме парохода горел смертельный огонь. Пассажиры приятно пели испанскую песню. Испанец махал рукой. Все на него смотрели, а он стоял на табурете выше всех.

— Споемте молитву,— говорил испанец.— Его преподобию будет приятно.

Испанец дал тон.

Капитан быстро пошел вниз, к матросам.

— Сейчас готово! — крикнул навстречу Гропани.

Он, голый до пояса, долбил долотом. Старик Салерно, лохматый, мокрый, тесал. Он без памяти тесал, зло сажал топором.

— Баста! Довольно уж! — кричал ему судовой плотник. Салерно, красный, мокрый, озирался вокруг.

— Еще по бутылке вина,— сказал капитан.— Выпить здесь — и по койкам. Двое — в кочегарку, помогите товарищам. Они в аду. Вахта по часу.

Все бросили инструменты. Один Салерно все стоял с топором. Он еще два раза тяпнул по бревну. Все на него оглянулись.

Капитан вышел на палубу. На трюме в пазах стена пошла пузырями. Они надувались и лопались. Смола прилипла к ногам. Черные следы шли по палубе.

Солнце зашло.

Яркими огнями вспыхнул салон; оттуда мирно мурлыкал пассажирский говор.

Гропани догнал капитана.

— Я доложу,— весело говорил Гропани,— очень здорово, то есть замечательные плоты, говорю я... а Салерно...

— Видел всё,— сказал капитан.— Готовьте провизию, воду, флаги, ракеты. Фальшфейера не забудьте. Сейчас же...

— А Салерно чудак, ей-богу! — крикнул Гропани и побежал хлопотать.

XVI

Ночью капитан пошел мерить температуру. Он мерил каждый час. Температура медленно подходила к 89 градусам. Капитан осторожно прислушивался, не гудит ли в трюме. Он приложил ухо к трюмному люку. Было горячо, но капитан терпел. Было не до того. Слушал: нет, ничего — это урчит машина. Ее слышно по всему пароходу. Капитану начинало казаться: вот сейчас, через минуту, пароход не выдержит. Взорвется люк, полыхнет пламя — и конец; крики, вой, кровавая каша. Почем знать, дотерпит ли пароход до утра? И капитан снова щупал палубу. Попадал в жидкую горячую смолу в пазах. Снова мерил градусником уже каждые полчаса.

Капитан нетерпеливыми шагами ходил по палубе. Глядел на часы. До рассвета было еще далеко. Внизу Гропани купорил в бочки сухари, консервы. Салерно возился тут же. Он слушал Гропани и со всех ног исполнял его приказы. Как мальчик, старик глядел на капитана, будто хотел сказать: «Ну, прикажи скорее, и я в воду брошусь!»

Около полуночи капитану доложили — двоих вынесли из кочегарки в обмороке. Но машина все вертелась, и пароход летел напрямик к торной дороге.

Капитан не мог присесть ни на миг. Он ходил по всему пароходу. Он спустился в кочегарку. Там в горячем пару звякали дверцы топок. Пламя выло под котлами. Распаренные люди изо всех сил швыряли уголь. Не попадали и снова с ожесточением кидали. Ругались, как плакали.

Капитан схватил лопату и стал кидать. Он задыхался в пару. — Валяй, валяй, сейчас конец,— говорил капитан.

Гайки закрыли. Капитан вылез наверх. Ему показалось холодно на палубе. А это что? Какие-то фигуры в темноте возятся у шлюпки.

Капитан опустил руку в карман, нащупал браунинг. Подошел. Три матроса и кочегар вываливали шлюпку за борт.

— Я не приказывал готовить шлюпок,— тихим голосом сказал капитан.

Они молчали и продолжали дело.

— На таком ходу шлюпки не спустить,— сказал капитан чуть громче.— Погибнете сами и загубите шлюпку.

Капитан сдерживал сердце: нельзя подымать тревогу.

Матросы вывалили шлюпку за борт. Оставалось спустить.

Двое сели в шлюпку. Двое других готовились спускаться.

— А, дьявол! — вскрикнул один в шлюпке. — Нет весел. Они запрятали весла и паруса. Всё. Давай весла! — крикнул он в лицо капитану. — Давай!

— Не ори, — сказал тихо капитан, — выйдут люди, они убьют вас!

И капитан отошел в сторону. Он видел, как люди вылезли из шлюпки. До рассвета оставалось три часа. Капитан увидел еще фигуру: пригляделся — Салерно. Старик, полуголый, шел шатаясь.

Он шел прямо на капитана. Капитан стал.

— Салерно!

Старик подошел вплотную.

— Что мне теперь делать? Прикажете.

Салерно глядел сумасшедшими глазами.

— Оденьтесь, — сказал капитан, — причешитесь, умойтесь. Вы будете передавать детей на плоты.

Салерно с сердцем махнул кулаками в воздухе. Капитан зашагал на бак. По дороге он снова смерил: было почти 90 градусов.

Капитану хотелось подогнать солнце. Вывернуть его рычагом вверх. Еще 2 часа 45 минут до света. Он прошел в кубрик. Боцман не спал. Он сидел за столом и пил из кружки воду. Люди спали головой на столе, немногие в койках. Свесили руки, ноги, как покойники. Кто-то в углу копался в своем сундучке. Капитан поманил пальцем боцмана. Боцман вскочил. Тревожно глядел на капитана.

— Вот порядок на утро, — тихо сказал капитан. И он стал шептать над ухом боцмана.

— Есть... есть... — приговаривал боцман.

Капитан быстро взбежал по трапу. Ему не терпелось еще смерить. Градусник с веревкой был у него в руке. Капитан спустил его вниз и тотчас вытянул. Глядел, не мог найти ртути. Что за черт! Он взял рукой за низ и отдернул руку: пеньковая кисть обварила пальцы. Капитан почти бегом поднялся в каюту. При электричестве увидал: ртуть уперлась в самый верх. Градусник лопнул. У капитана захватило дух. Дрогнули колени первый раз за все это время. И вдруг нос почувствовал запах гари. От волнения капитан не расчуял. Откуда? Озирался вокруг. Вдруг он увидел дымок. Легкий дымок шел из рук. И тут капитан увидел: тлеет местами веревка. И сразу понял: труба раскалилась докрасна в трюме. Пожар дошел до нее.

Капитан приказал боцману поливать палубу. Пустить воду. Пусть все время идет из шланга. Тут под трюмом пар шел от палубы. Капитан зашел в каюту Салерно. Старик переодевал рубаху. Вынырнул из вóрота, увидал капитана. Замер.

— Дайте химию, — сказал капитан сквозь зубы. — У вас есть химия.

Салерно схватил с полки книгу — одну, другую...

— Химии... химии... — бормотал старик.

Капитан взял книгу и вышел вон.

«Может ли взорвать?» — беспокойно думал капитан. У себя в каюте он листал книгу.

«Взрывается при ударе, — прочел капитан про бертолетову соль, — и при внезапном нагревании».

— А вдруг там попадет так... что внезапно... А, черт!

Капитан заерзал на стуле. Глянул на часы: до рассвета оставалось двадцать семь минут.

XVII

Остановить пароход в темноте — все пассажиры проснутся, и в темноте будет каша и бой. А в какую минуту взорвется? В какую из двадцати семи? Или соль выпускает кислород? Просто кислород, как в школе на уроке химии?

Капитан дернулся смерить, вспомнил и топнул с сердцем в палубу.

Теперь капитан как закаменел: шел твердо, крепким шагом. Как живая статуя. Он прошел в кубрик.

— Буди! — сказал капитан боцману. — Двоих на лебедки! Плоты на палубу! Сбирать!

Люди просыпались, серые и бледные. Всеми глазами глядели на капитана. Капитан вышел. С бака на него глядели бортовые огни: красный и зеленый. Яркие, напряженные. Капитан уже слышал сзади возню, гроханье брусев. Тарахтела лебедка. Вспыхнула грузовая люстра.

— Гропани, к пассажирам! — сказал капитан на ходу. Он слышал голос Салерно. — Салерно, ко мне! — крикнул капитан. — Вы распоряжайтесь спуском плотов. И ни одной ошибки!

Второй штурман с матросами вываливал шлюпки за борт. Одиннадцать шлюпок. Капитан глянул на часы. Оставалось семнадцать минут. Но восток глухо чернел справа.

— Всех наверх! — сказал капитан маленькому механику. — Одного человека оставить в машине.

Пароход неся, казалось, еще быстрее: напоследки — очертя голову.

Капитан вышел на мостик.

— Определитесь по звездам, — сказал он старшему штурману, — надо точно знать наше место в океане.

Легкий ветер дул с востока. По океану ходила широкая плавная волна. Капитан стоял на мостике и смотрел на сборку плотов. Салерно точно, без окриков, руководил, и руки людей работали дружно, в лад. Капитан шагнул вправо. Ветром дунул свет из-за моря.

— Стоп, машина! — приказал капитан.

И сейчас же умер звук внутри. Пароход будто ослаб. Он с разгону еще неся вперед. Люди на миг бросили работу. Все глянули вверх, на капитана. Капитан серьезно кивнул головой, и люди вцепились в работу.

XVIII

Аббат проснулся.

— Мы, кажется, стоим, — сказал он испанцу и зажег электричество.

Испанец быстро стал одеваться. Поднимались и в других каютах.

— Ах да! Именины! — кричал испанец.

Он высунулся в коридор и крикнул веселым голосом:

— Дамы и кавалеры! Пожалуйста! Прошу! Все в белом! Непременно!

Все собрались в салоне. Гропани был уже там.

— Но почему же так рано? — говорили нарядные пассажиры.

— Надо приготовить пикник, — громко говорил Гропани, а потом, шепотом, — возьмите с собой ценности. Знаете, все выйдут, прислуга ненадежна.

Пассажиры пошли рыться в чемоданах.

— Я боюсь, — говорила молодая дама, — в лодках по волнам...

— Со мной, сударыня, уверяю, не страшно и в аду, — сказал испанец. Он приложил руку к сердцу. — Идемте. Кажется, готово!

Гропани отпер двери.

Пароход стоял. Пять плотов гибко качались на волнах. Они были с мачтами. На мачтах флаги перетянуты узлом.

Команда стояла в два ряда. Между людьми — проход к трапу.

Пассажиры спустились на нижнюю палубу.

Капитан строго глядел на пассажиров.

Испанец вышел вперед под руку с дамой. Он улыбался, кланялся капитану.

— От лица пассажиров... — начал испанец и шикарно поклонился.

— Я объявляю, — перебил капитан крепким голосом, — мы должны покинуть пароход. Первыми сойдут женщины и дети. Мужчины, не трогаться с места! Под страхом смерти.

Как будто стон дохнул над людьми. Все стояли оцепенелые.

— Женщины, вперед! — скомандовал капитан. — Кто с детьми?

Даму с девочкой подталкивал вперед Гропани. Вдруг испанец оттолкнул свою даму. Он растолкал народ, вскочил на борт. Он приготовился прыгнуть на плот. Хлопнул выстрел. Испанец рухнул за борт. Капитан оставил револьвер в руке. Бледные люди проходили между матросами. Салерно размещал пассажиров по плотам и шлюпкам.

— Все? — спросил капитан.

— Да. Двести три человека! — крикнул снизу Салерно.

Команда молча, по одному, сходила вниз.

Плоты отвалили от парохода, легкий ветер относил их в сторону. Женщины жались к мачте, крепко прижимали к себе детей. Десять шлюпок держались рядом. Одна под парусами и веслами пошла вперед. Капитан сказал Гропани:

— Дайте знать встречному пароходу. Ночью пускайте ракеты!

Все смотрели на пароход. Он стоял один среди моря. Из трубы шел легкий дым.

Прошло два часа. Солнце уже высоко поднялось. Уже скрылась из глаз шлюпка Гропани. А пароход стоял один. Он уже не дышал. Мертвый, брошенный, он покачивался на зыби.

«Что же это?» — думал капитан.

— Зачем же мы уехали? — крикнул ребенок и заплакал.

Капитан со шлюпки оглядывался то на ребенка, то на пароход.

— Бедный, бедный... — шептал капитан. И сам не знал — про ребенка или про пароход.

И вдруг над пароходом взлетело белое облако, и вслед за ним рвануло вверх пламя.

Гомон, гул пошел над людьми. Многие встали в рост, глядели, затаили дыхание...

Капитан отвернулся, закрыл глаза рукой. Ему было больно: горит живой пароход. Но он снова взглянул сквозь слезы. Он крепко сжал кулаки и глядел, не отрывался.

Вечером виден был красный остров. Он рдел вдали. Потом потухло. Капитан долго еще глядел, но ничего уже не было видно.

Три дня болтались на плоту пассажиры.

На третьи сутки к вечеру пришел пароход. Гропани встретил на борту капитана.

Люди перешли на пароход. Недосчитались старика Салерно. Когда он пропал, — кто его знает.

1932

ЧЕРНАЯ МАХАЛКА¹

Целую неделю подговаривал меня Васька Косой пойти ночью в море из Фенькиных сетей рыбу красть.

— Вот, — говорит, — как будет поздний месяц, и сорвемся ночью. Моментом дело. Раз и два! По воде следу нету.

Я все мычал да гмыкал.

¹ Махалкой на Черном море рыбаки называют палку; ее втыкают в пробочный поплавок (бук), и она плавает стоя. Наверху прибивают флажок. Ее привязывают к рыбачьим снастям, чтоб найти их в море.

И вот раз приходит он ночью. Я на дворе спал. Толкнул меня в плечо:

— Гайда, пошли! — Тряхнул за плечо и на ноги поставил. Чего ему: здоровый черт, саженный!

И вот пошли мы берегом, низом. Я, значит, и Косой.

Меня, мальчишку, он вперед пустил, а сам — за мной.

Ночь — ни черта не видать.

Песок холодный, ракуша битая в ногу впивается.

А он еще сзади шипит гадюкой: «Тише!.. Чтоб как по воздуху!»

Чтоб тебя, дьявола, самого на воздух подняло!

Эх, знал бы я, какое дело из этого выйдет, не пошел бы я с Косым ни в жисть!

Ногу тут я об камень ссадил, аж на землю сел. Качаюсь и шепотом вою. А Косой надо мной стоит, пяткой в самое рыло тычет: вставай!

Пятка закорузлая, корявая.

А когда шаланду стали спихивать, у меня опять сердце упало: что же это мы такое делаем?

Штиль на море, будто и вода притаилась и только шепотком в берег хлюпает. Месяц поздний торчит из моря, как красный штык. Мне страшно стало; я берусь за шаланду и не дергаю. Не хочу, не поеду я из Фенькиных мережей камбалу трясти!

Косой будто знал, что я думаю, и бубнит малым голосом:

— Фенька прорва, раскоряка анафемская! Она мужа-то своего, Ивана, отравила... Черт бы с ним, с Иваном, туда ему, гаду, и дорога, да он у меня сорок пять сеток в море снял. Покарай меня господь!.. А ну, берись!

Дернули. Чуть вдвинулась шаланда в море. А Косой опять:

— Пудами, рванина недомытая, камбалу на базар возит, а кинула хоть раз тебе, мальчонке голодному, хоть кусок? А ну, разом!

Дернули, аж на полсажени сразу шлюпку посунули.

Ждем — и наверх, на обрыв, смотрим: чтоб с Особого отдела патруль не засыпал. Тогда был приказ, чтоб ночью не выходить в море никак. А с патрулем собака; уж это хуже нет!

Посмотрели — никого.

И так это Косой мне Феньку обложил, что я хоть вторые сутки не ел, а шаланду дернул, как большой.

Выкопал Косой из песку весла — это он с вечера приготовил. Сели, гребем, как по воздуху: не стукнем, не плеснем.

Прошли каменья и подались прямо торцом в море.

— Поднавались!

Напер я на весла, а тут снова меня мутить стало. Куда ж это мы едем, на какое дело? «Ну ничего, — думаю, — не найдем мы ночью Фенькиных сеток — и красть не придется». И подналег даже.

А потом думаю: «Ма́халки все ж у ней высокие, побольше сажени. А Косой — черт приметливый — непременно увидит». И опять страх войдет.

И я гребу слабей. А Косой:

— Навалися, пролетария!

«Нет,— думаю,— флажки у ней на махалках черные, не найти ночью и Косому. Никому не найти!» И гребу смелей, все стараюсь в уме Феньку обкладывать.

— Отравила? — говорю.

— Ладно, гребь, гребь, мильтон какой сыскался!

«Теперь я мильтон выхожу!»

Я стал со зла крепче грести.

А месяц вышел и красным глазом на все это дело смотрит.

С час, должно, так гребли.

И вдруг я чуть весла не бросил — прямо тут надо мной кивает черным флагом саженная махалка. Молчит и шатается.

— Хватайся! — кричит Косой.

А мне за нее и взяться страшно. Как живая, как оскаленная.

— Эй, ты! Дуроплюй!

Косой притабанил и выхватил махалку из воды.

И вот, когда он махалку схватил, тут у меня как что внутри как будто стало и закрепило. «Шабаш,— думаю.— Теперь шевелись!» И я встал на ноги и уж вертел шаланду веслами, как живой, пока мы по сеткам шли.

А Косой стоит на корме в рост, перебивает мережи и шлепает камбалу на дно. Плюхает здоровые рыбины, а я сам, для чего — не знаю, все считаю:

— Раз, два... три... восемь...

Все шепчу, как в жару весь.

Пуда три, как не больше, с одной ставки сняли. Кончили.

Тут с меня все соскочило. Сел на банку и как гребану к берегу!

А Косой:

— Куда тебя, черта! Вон она, вторая ставка! Вон махалка маячит!

У меня уже руки ходуном пошли и всего трясти стало, а он — гляжу — взялся за весла, гребанул, как юлу, шаланду вывернул и нагребается к сеткам.

— Садись,— кричит,— на весло!

— Чтоб нас к черту не снесло! — Это я для храбрости сказал.

Косой заругался.

— Гребь, холера! — орет на меня.

Я тянусь, аж душа вон.

На второй ставке Косой опять сети перебирает. Смело взялся, как за свои. А я подгребаю. Тут я заметил, что пошел ветер. И вдруг мне показалось, что сейчас светать начнет, сейчас Фенькины хлопцы придут на желтой шаланде, на ихней, на здоровой, на три пары весел, и нас на месте нахлопнут.

Я тычу шаланду кормой уж как попало, лишь бы скорей. Добрались до второй махалки: черным шестом она из темноты на нас выходит.

Как живая, смотрит, замахивается. Флажком по ветру треплется, змеится. Я и глядеть на нее боялся. Будто стережет!

А Косой ругается, что рыба мелкая пошла.

Я ему ласково говорю:

— Бросьте, Василий Семеныч, не стоит... Если, говорите, мелочь пошла, так господь с ней.

А он мне и брякнул:

— И трети ты своей не получишь, коли дело мне гадишь!

Бросил сетки — и за весла.

У нас дома голод, позагоняли на толчок что было. «Хоть бы дома накормить бы всех один только раз, коли уж на такое дело пошел!» Гребу я скорей от этой махалки, от проклятой. Черт с ней, с рыбой, с третью моей, — только бы, думаю, теперь на берег и домой. Буду, думаю, людям перемёты живлять и день и ночь за хлеба кусок, только бы все это добром кончилось! Гребу и зарекаюсь, чтоб за такие дела не браться.

Косой вдруг говорит:

— Ты что? Богу молишься?

Я и не знал, что это я громко... Думал, про себя зарекаюсь.

— Не будешь? А не навязывайся!

А я разве навязывался? Сам же он неделю целую мне в уши тарахтел: «Мамка твоя голодная, ты голодный, вот так, — говорит, — пролетарий и пролетает. В трубу, значит... Тряхнем Феньку что надо! И черт святой знать не будет, где концы».

А теперь — «не навязывайся»! И так обидно мне стало! «Скорей бы только, — думаю, — на берег, и я — ходу, и чтоб не видеть никогда его».

А он вдруг поднял весла, нагнулся ко мне, рожа зверская.

— Ты, — говорит, — только дохни кому! Ты забудь, как меня и звать-то! Да ты знаешь, кто я?!

Как присунется ко мне мордой самой. Глаз косой.

— Да ты знаешь... Я ведь не я, а я вот кто!

Такой он мне сразу страшный показался. И вправду не он, а другой. «Вот он, — думаю, — какой он настоящий-то! Ночью-то в море, да один на один!..»

Я и весла бросил. Он как гаркнет:

— Греби!

Я без памяти греб и не знаю, где у нас берег был, и откуда ветер, и сколько времени прошло.

Вдруг он стал легче гресть, я тоже. Разворачивает шаланду.

Смотрю, под бортом у нас садок плавает здоровый. Пудов на девять рыбы. Подошли аккуратно. Я шаланду на веслах придерживаю. Он стал рыбу в садок пересыпать. Тихонько, без шума. И я держусь, чтобы о садок не стукнуть. Пересыпал он рыбу —

и чисто у нас в шаланде, ничего как и не было. Тут я огляделся, вижу: мы под берегом. Берег не наш, чужой.

Спустились мы в берег, дернули шаланду раз и два. У меня с голоду, с работы и со страху ноги подкашиваются. Рву руки — шаланда чуть подается. Косой ругается во всех святых и угодников...

Вдруг смотрим: и справа и слева по человеку стоит. С винтовками. И откуда и как они подошли? Я как увидал — все у меня внутри стало, как пустой мешок я сделался. Я и сел на борт — ноги не держат.

Они стоят, и мы не шевелимся.

Косой вдруг говорит так это ласково:

— Закурить у вас, землячки, нельзя?

Они молчат, как неживые. Я уж подумал: есть они или нет?

Потом Косой говорит мне громко, чтобы слышали:

— Ну, отдохни трошки, хлопчик! Сморился, бедный? А ну, дернем еще!

Я встал, хватаюсь за что попало, не дергаю, а, прямо сказать, держусь за шаланду, чтоб только на песок не сссть. Болтаюсь, как рыба на крючке. Шаланда — ни с места.

— Подсобите, товарищи, шаланду вытаскать, — говорит Косой.

Смотрю, те двинулись с двух сторон. Ничего не сказали, взялись, дернули.

— А вот спасибочки вам, — говорит Косой да и хотел повернуть.

А те ему:

— Стой!

И стали они шаланду осматривать, все пересмотрели. А у нас ничего: весла одни. Ни снастей, ни крючьев, ничего как есть.

Один, что повыше, говорит:

— Откуда?

Косой запел:

— С моря. С вечера перемет поставили, вот пошла погода — так мы проверить...

— Кто ж это в летнее время перемет с ночи ставит?

— Брось, товарищ, наливать! Приказ знаете?

— Да что же приказ, приказ? — кричит Косой. — Мы ведь самая пролетария, горькими нашими мозолями...

— А у садка чего вы ковырялись?

— Проверить же, на месте ли, а ведь знаете же... — гудит Косой.

А те говорят:

— Пойдем вот на кордон, там проверим. А ну, айда!

Пошли.

Один впереди, другой сзади, а в середине мы с Косым. И ни

ног у меня, ни духу. И только махалку я эту черную вспоминаю, как она кивала на нас.

Вышли на обрыв и пошли по тропинке над кручей. Я только заметил, что чуть светать стало.

Ничего я уж не понимал, что Косой мелет. Только те не отвечали, а все покрикивали: «Айда! Айдайте!»

Вдруг Косой дернулся и прыг под кручу.

Тот, что был сзади, вскинул винтовку и бах! бах! вдогонку, вниз, и стал спускаться с обрыва.

А другой схватил за ворот меня. А я — не то бежать, а идти не знал чем. И сел я на землю. Пришли еще красноармейцы с кордона, стали облаву делать, а меня повели на пост, где их казарма и всё.

Живо по коридору протолкали к начальнику.

Сидит за столом, важный, в кожаном. На столе наган. Сбоку телефон в ящике. Посмотрел на меня — глаза, как гвоздики, и спрашивает:

— Это вот что с ним был?

И прямо уперся в меня:

— Как звать?

Я думаю: «Врать или нет? Сейчас, — думаю, — узнают — и к мамке с обыском. Знаю ведь! Чуть что — сейчас обыск и пойдут тягать. Пусть, — думаю, — сгноят меня, а не скажу правду!»

— Ты не верти пуговицу. Говори, как звать!

Я вдруг заорал.

— Васькой, Васенькой, — кричу, — Васильем, Ва-си-ли-ем! — на разные голоса, чтоб поверили.

А меня Петькой Малышевым зовут.

Начальник выскочил из-за стола, как тряхнет меня за шиворот:

— Не врать мне!!

Я вижу, самое остается только реветь, все равно давно хотелось, и я ударился в слезы.

И таким я горьким воем завыл — голоса своего не узнал. Бить меня всего начало, сам не рад, что реветь пустился. Как сорвался.

Ночевал у них в казарме. Утром проснулся, не шевелюсь. Но знаю, что сейчас спрашивать опять будут... И про Косого... Вспомнил, как он в море-то себя показывал, — ну как я про него скажу?

Пусть бы мне кто тогда сказал, что мне надо делать!

Лежу и слышу — идет разговор промеж красноармейцев:

— В Чеку его, в Особый отдел, там, брат, узнают в лучшем виде.

А другой:

— Ну да, очень просто, что с монитором шпионаж возили! Это что к садку подъезжали — так это для понту, глаза отвести!

И вижу я, что все так выходит, что и не придумаешь, что им врать. И правду скажи — тоже веры не дадут.

А тогда эти мониторы офицерские — верно, что в наши берега ходили. Очень даже близко. Что же мне делать? Так бы вот лежал и не шевелился... До самой до смерти моей!

Слышу — затопали, выходить стали, и тишина настала. Полежал, полежал, а в голове все кубарем, кувыркком все кружит, и махалка эта черная, проклятая, так и кивает, кланяется.

И вдруг как будто что взвинтило меня.

Вскочил я, сел на койке. Осмотрелся: лежит на койке красноармеец одевши, ногу свесил и на меня глядит, улыбается. Смешной я, значит, был. Хороший, к черту, смех!

— Васька! — говорит.

А я зыркаю: кого это он кличет?

Он засмеялся, встал.

— Ну, все равно, — говорит, — как там тебя. Чай пить будешь? Я тебе подлопать дам.

Дает мне чашку каши:

— Наворачивай!

А сам сел рядом на койку.

Я думал, что мне не до каши будет, а ковырнул раз и не приметил, как кончил. Красноармеец принял чашку.

— Боишься, — говорит, — за батьку?

— Помер, — говорю.

— Нет, — говорит, — он утек, не нашли его.

Я даже не понял, что это он про Косого.

— Не батька, — говорю, — он мне и не дядька, никто он мне!

— Значит, он тебе вроде хозяина выходит?

И стал он закуривать и мне кисет сует, как большому. Я уж курил раза два. Взял я, а скрутить не умею.

— Эх ты, курец! — говорит и слепил мне сигарку.

Курим, а он говорит:

— Сказывать не будешь? Уговор, значит, держишь? Молодчина!

Мне вдруг обидно стало на Косого, я и говорю:

— А он свой-то уговор... треть мою... черта, говорит, ты получишь.

— Это уж евоное дело.

А я:

— Пудов, — говорю, — пять, не меньше, рыбы было, камбала — во, — говорю, — колесо — не рыба!

— На кухне, — говорит, — она у нас, в обед поешь, как в отдел не сведут.

И так слово по слову я ему все рассказал, как было. А он говорит, что уговор держи, дело святое.

— Хитрый,— говорит,— знал, кого с собой взять. Кто ж,— говорит,— он такой?

— Не знаю я, кто он, не знаю, ненастоящий. Черт он, вот кто!

А его смех взял.

— Какой,— говорит,— с чертом уговор может быть! Однако,— говорит,— дело твое. Думай, братишка, как тебе лучше.

И встал.

А что мне думать? Ничего я не знаю.

Налил он чаю холодного, а я и смотреть на чай не хочу. Не до чаю мне!

Думаю — и ничего в голове, одна эта махалка черная кивает, и ничего больше.

И вдруг я как сорвался.

— Что же делать-то мне, дядя,— говорю,— дорогой ты мой? — И вот-вот опять зареву.

— А ты прямо скажи: такой, мол, я и такой-то, а дела наши вот какие были. Мамка голодная дома пухнет, а он мне треть сулит. Я и пошел на дело. Запугивал он меня в море, а кто он — я правильно сказать не умею. И квита. На этом и стой. Что с тебя взять, с мальчишки!

И отошло все сразу — и махалка и Косой черт.

Вскочил я.

— Веди к начальнику,— говорю.

Встал я перед столом и срываю так и кричу:

— Петька я Малышев! Живу на Слободке, в Пятой улице! А дела наши вот какие!

И всё, как было, вывалил.

А начальник смеется:

— Чего же ты вчера ваньку-то валял? Сразу бы и говорил.— Взялся за телефон.

— Иди,— говорит,— обожди в казарме.

К вечеру отпустили. Потом раза два тягали, спрашивали. Я все на своем стоял:

— Петька я Малышев, а дела наши вот...

Так оно потом и присохло.

Только как приснится мне черная махалка, потом на целый день балдею.

А с красноармейцем я и сейчас друг.

1925

ВОЛЫ

Все это было очень давно, когда я был мальчишкой (сейчас у меня усы седые). Так что не удивляйтесь, если не похоже на сегодняшнее. На сегодняшнее похожим осталось море. И на этом

море случилось вот что. Я плавал учеником на грузовом пароходе. Дело было осенью, и стояло «бабье лето»: тихая, ласковая погода, и море — будто не море, а прудок в саду. Глянцевое, масляное. Мы уже закрыли люки и ждали только капитана, чтобы сняться в рейс. Прислушивались, не катит ли он на извозчике. Вдруг прибегает наш капитан, а за ним какой-то грек, черный, потный, шапка в руке, и этой шапкой все время красное лицо обтирает, и лопочет, лопочет, и кулаком в грудь бьет. А наш толстенный спокойненько кругленькими ножками вышагивает по сходне на борт. Кочегары спустились в свою кочегарку, зашевелились матросы — сейчас сниматься в море. Нет! Наш Лобачев, капитан, тихим голосом говорит мне: «Позови Ивана Васильича». И ушел с греком в каюту. Я позвал старшего помощника. Он через минуту выскочил от капитана красный, стукнул кулаком по планширу:

— А, дьявол! Копейки он свои выгоняет! Хлев тут устраивать! Люди мыли, скребли. Тьфу, тьфу! — И он со злостью три раза плюнул не за борт, а прямо на нашу белоснежную палубу. А сам кочегаров с палубы гонял, чтобы пыли не натрясли.

Грек уже рядом:

— Честное мое слово, они два дня не кушали ни одна соломинка, и вот крест! — Он перекрестился шапкой в кулаке. — Мы всё вымоем. Будет как бумага.

Иван Васильич дико засвистел в свисток и тут же крикнул мне: — Ты чего суешься? Смолинского ко мне!

Я побежал за боцманом. Горячка этот Иван Васильич. Он, говорят, на парусниках плавал, судно потопил хозяйское и теперь вот злится: не нравится ему служить, да еще помощником.

Смолинский шел навстречу. Иван Васильич кричал:

— Грузить стадо целое! Да! Волон! Две сотни! Ну да! Прямо на палубу! В загон! Какие стойла!!

Я не глядел на берег. Фу ты! За это время уже вся пристань полна была волон. Какие-то дядьки сгоняли их палками в кучу, лупили по хребтам и сипло кричали:

— Цобэ, ледаща худоба!

Я сказал бравым голосом:

— А что? Не довезем, что ли?

— Дурак! — крикнул Иван Васильич, а Смолинский крепко глянул на меня.

Я обиделся:

— А что, капитан не знает, что делает? Тоже, значит, дурак?

— Крышу ему красить надо, каменный дом ставить, — сказал спокойно Смолинский, — а с волон, знаешь... копейки хорошие.

Я гляжу, не выйдет ли на разговор капитан, но капитан крепко сидел в своей каюте.

Я отошел и сказал на ходу:

— Это не на паруснике.

Ой, хорошо, что Иван Васильич не слышал!

Грек суетился на берегу, толкался среди волов, кричал на погонщиков. И вот по грузовым сходням заскользили копытами волю. Они потерянно мотали головами, а дядьки орали, нещадно дубасили и крутили им хвосты. Я решил, что так оно и надо, и тоже выскочил на берег помогать. Я думал, капитан видит из окна каюты мою работу. Мне жаль было волов, но я решил, что надо тут по-деловому, остервенился, хватил одного в зад камнем. Промазал и зашиб плечо греку. С нашего борта захохотали:

— Так! А ну еще его!

Мне пришлось тоже хихикнуть. Но тут Смолинский вышел на берег, взял меня за плечо и сказал:

— Ты иди, продуй рулевую машину, а это не твоя работа.

Тут я заметил, что к нему подошли женщина и девочка лет пятнадцати. Она глядела на меня и смеялась. Видела, должно быть, как я камнем-то. С парохода слышались резкие свистки Ивана Васильича. Он кричал на погонщиков:

— Да чем ты мотаешь? Чем вяжешь? Лопнет эта привязь!

Иван Васильич злыми шагами подошел к капитанской двери, стукнул кулаком:

— Чем волов крепить? Чем направить?

Капитан ответил через дверь:

— Вам надо знать самому, как вязать, как направить. Вы, кажется, с парусника?

— Нечем! Нечем, говорят вам. Тьфу! Выйдите, гляньте.

Иван Васильич отошел шагов пять. Он со всей силы стучал ногами о палубу и вдруг вернулся.

— Штормовые сигналы на лоцманской станции,— сказал он вполголоса у дверей и отошел.

Следом за ним пулей выскочил капитан:

— Где, где? Дайте бинокль. Эй, где вы видите?

Но Иван Васильич уж скрылся.

Капитан долго глядел в бинокль.

— Ничего не вижу.— Он сунул бинокль мне.— У тебя глаза помоложе.

Но лоцманская мачта была пуста. Капитан еще раз пять выходил с биноклем к борту. Наконец заперся в каюте на ключ.

Два матроса, Герман и Генрих, немцы, весело прыгали по спинам волов: они укрепляли поверх них доску, чтобы ходить. Они привязывали ее к спинам волов, кричали что-то по-немецки и хохотали.

Палубы не стало видно: она вся покрылась волами. С каждого борта их стояло два ряда, хвосты с хвостами. Немцы ныряли между ними, и вот Генрих (что помоложе) пробежал, балансируя, по доске. Он засунул руки в карманы, притопнул было ногой, но Герман вынырнул из-под волов и прикрикнул на товарища. Генрих, как мальчишка, сконфузился и степенно пошел по доске.



Я продул паром рулевую машину. Смолинский на баке распоряжался подъемом якоря. Кочегар не мог на ходу включить барабан, боялся сунуть руку, что ли. Было, правда, темно. Лобачев спокойно, вполголоса сказал Ивану Васильичу:

— Что же якорь-то?

Иван Васильич рявкнул:

— Да вира якорь!

Смолинский отодвинул кочегара и сунул руку. Ага! Сразу взяло, и завизжала цепь. Но в сумерках видно было, как Смолинский затряс рукой: так трясут только от страшной боли, от ожога.

Нет, чего Иван Васильич ворчит, в самом деле? Отлично стоят волю, хорошо погрузили. Вои люди шутят про доску, что «мост на быках». И волю покойны, и море — как масло; как по асфальту, выкатывается наш пароход мимо тихого зеленого огонька в воротах порта. Действительно, к чему эта горячка, ругань? Достойное спокойствие — это вот настоящий капитан.

Все отлично. Только вот с этим камнем у меня немножко неловко вышло, и эта девчонка. Чтоб ей!..

Я стоял на руле, осторожно перебирал рукоятки парового штурвала и слушал, как зло топал Иван Васильич над моей головой по мостику.

Мы взяли курс на Севастополь. Через шестнадцать часов мы будем там. Я сменился, лег на койку и сквозь подушку слышал, как мирно урчит машина в брюхе судна. Я сказал: «А чтоб ей!..» (это девчонке) и стал засыпать. Сквозь сон слышал, как вошел в кубрик Смолинский и старик Зуев сказал:

— Это если б на берегу, то я траву такую знаю, ее надо прикладывать, и тогда всякая рана присохнет, как на собаке.

И вдруг я услышал голос Германа. Он круто сказал по-немецки:

— Зер шлехт!

Я привскочил. Мне с верхней моей койки видно было: Герман держал руку Смолинского и разглядывал окровавленный палец у лампы. Все кругом молчали и сипло дышали. Зуев отошел, кинул окурок на палубу, крепко тер его ногой.

— Было б на берегу... — начал снова Зуев.

— Зер, зер шлехт, — сказал еще раз Герман.

Он рвал чистый платок, обматывал палец Смолинскому. Смолинский отвернулся в мою сторону и шипел от боли. Ему брашпиль разможил палец.

Я проснулся под утро. Было еще темно в иллюминаторе. Что это? Никак, шторм? И я тотчас же услышал напряженный вой ветра там, над палубой. Да, вот и шум зыби в скулу парохода, когда нос зарывается в воду, вот тут, за бортом. Я быстро оделся, вышел на палубу и тотчас схватился за фуражку: ее чуть не унесло. Вслед за тем меня обдало сверху водопадом. Это с полу-бака, с носовой надстройки: наш пароход, значит, зарывался

носом в зыбь. Воны топтались передо мной в темноте серой массой. Я слышал, как чокают их рога друг о друга. Кое-где взывал то один, то другой. Вот подняло зыбью корму, и на меня из темноты двинулся вол. Он скользил ногами по мокрой палубе, беспомощно топал. Его несло на меня. Он упал на колени и поехал рогами вперед. Я успел увернуться. Вола с разлету ударило в двери кубрика. Я слышал, что кто-то рвал изнутри двери, но их прижало воловьим боком. Но тут нам задрало нос, вода хлынула с полубака. Вола понесло назад. Он сбил с ног еще какого-то.

Тут двери распахнулись. Я узнал на свету силуэт Смолинского. Больная рука за пазухой. Другой он держался за ручку двери.

— Кто?

Я откликнулся.

— Воны оторвались? Иди на руль. Скачи как знаешь. Старик лишний час уже стоит.

Это, значит, Зуев.

Я, мокрый, стал в темноте нащупывать доску, «мост на быках». Но быки уже металась по палубе, и там, с левого борта, их грудой носило вперед и назад, стоявших и упавших, всех вместе. В это рогатое месиво мне не хотелось лезть. Но кто это покрикивает весело, скачет над волами?

Тьфу ты! Это немец Генрих верхом с вола на вола перескакивает, и вот он уже вскочил на трюмный люк, я увидал уж хорошо.

— Кавалер-р-рист! — крикнул Генрих и соскочил с люка ко мне. — Алло!

Он мигом открыл дверь и пролетел в кубрик, а водопад ударил с полубака как раз ему вслед. Я высматривал путь по воловьим спинам. Рога то подымались, то ныряли вниз. Наконец я решился: я переваливался брюхом с вола на вола, мне зажимало ноги меж воловьих боков. Вскоре я добрался до трапа. Но волон несло назад, меня вместе с ними. С новой волной нас бросило обратно к трапу. Я успел ухватиться за поручни. Я уже рулевой. Зуев щурится в компас и шепчет: «Бойтся, бойтся Лобач наш, что перекинет пароход, бойтся повертать боком к зыби...»

Он отдал мне руль, не передал даже, какой курс. Я стал держать на том, какой застал по компасу. Вот с мостика сбегает кто-то. Рвет двери в капитанскую каюту, что за рулевой, рядом. Слышу голос Ивана Васильича:

— Воны оторвались! Вы слышите?

Я слышал, как громко и ровно сказал капитан:

— Надо уметь принайтровать палубный груз. Надо знать свое дело... и не терять головы.

— И совести! — крикнул Иван Васильич за дверьми.

Он стукнул кулаком в дверь, и, пожалуй, треснула деревянная решетка.

— Выходите! — крикнул Иван Васильич.

— Спокойствие! — ответил капитан. — Мне надо свериться с английскими картами, они у меня здесь.

Ветер дул нам в лоб, чуть слева. Слева же я видел Тарханкутский маяк. Он то вспыхивал, то тонул в зыби: значит, мы сделали больше половины пути. Впереди серел рассвет; небо было в густых тучах, как в войлоке. Прошло два часа — пароход топтался на месте. Мы почти не продвинулись вперед. Смолинский стоял на люке, он что-то кричал немцам и Зуеву. Они старались канатом обхватить стадо и притянуть его к борту. Грек кричал сверху, плакал... Все это как-то сразу и со всех сил. На корме Иван Васильич с другими матросами старался припереть волов к борту досками. Но они падали, стоявшие валились им на рога. Кровь и помет смешались на палубе, и эту грязную жижу перемывала морская вода. Обед нельзя было пронести в кубрик, и команда топталась в коридоре, у кухни. Я хотел пробраться, помочь Смолинскому. Я добрался до темного люка. Тут какой-то кочегар крикнул: «А ну, камнем, камнем их!» — и кивал на волов. Я прыгнул с люка к дверям, в кубрик, на койку.

Что же Лобачев? Карту сверяет? А может быть, и в самом деле?..

Я опять стоял на руле. Теперь уже темнело. Тарханкутский маяк остался по корме слева, и впереди, справа, блестел Херсонесский; от него влево, я знал, вход в Севастопольскую бухту. Второй помощник, молодой и тихий, изредка потопывал поверху. Слышу шаги, крепкие, злые, — Иван Васильич.

— Брось курс, ложись прямо на Херсонесский, — сказал он мне.

— Лобачев приказал? — спросил было я.

— Я тебе говорю!

Иван Васильич все это кричал. Лобачев не мог не слышать у себя в каюте. Я ждал, что он выйдет.

Дверь его отворилась. Ага! Капитан все же слышал, как я переспросил. Я довольно громко сказал: «Лобачев приказал?» Надо было еще громче. Но подошел старший механик. Я про этого старика знал, что он любит помидоры, и он всегда молчал. А тут вдруг громко стал ворчать.

— Говорил ему, — сказал механик, — не вели прибавлять ходу. Уголь, говорит, есть. А в эту погоду лагом (боком) к зыби нельзя пароход ставить — перевернет нас. Повернуть в Севастополь оно и можно бы, да тут смелость нужна. А откуда она у него возьмется? Держаться, значит, будем пока...

— «Пока»! Смолинский сдохнет, у него гангрена!

Иван Васильич топнул о палубу ногой; никогда он этого не делал. Механик молчал.

— Вы обедали? Нет? И завтра не будете. Даю слово. Воловьи кишки будете жрать. Давайте весь ход, подымайте пар до подрыву!

— Ну, я уж не знаю!..

Механик ушел. Но я заметил, что тишком машина все бойче и бойче стала наворачивать там, внизу.

Я правил теперь прямо на Херсонесский маяк. Я слышал, что Лобачев позвал вахтенного матроса и велел вызвать механика. Нет, машина не сбавила ходу. Лобачев, видно, высунулся в дверь, так как я сквозь ветер слышал, как он сказал механику: «Я вам приказываю... — Потом помолчал. — Сейчас же, немедленно, дать мне точные сведения о количестве запаса... цилиндрического масла. Немедленно!» — крикнул вдогонку.

Воловьи туши скользили по палубе, их поворачивало и носило, канаты лопались, опадали на палубу, доски трещали, и волов снова разметывало по всей палубе. К ночи стонущая серая куча снова заходила, заметалась, и дикий рев стоял над палубой, и нельзя было разобрать, сидя в кубрике, взревел ли вол или взвизгнул ветер в снастях. Да, а теперь ясно слышно: это уж стон здесь, стонал Смолинский у себя на койке. Зуев снял лампу, подошел. Генрих сказал, что надо палец перетянуть натуго у корня бечевкой, чтоб зараза не пошла дальше. Я подал парусную нитку. Она крепкая, как дратва. Генрих два раза обмотал и со всей силы затянул палец. Иван Васильич вошел и пощупал осторожно голову Смолинского. Зуев заглянул Ивану Васильичу в лицо.

— Есть жар, — сказал Иван Васильич.

— Хлопцы! — вдруг вскочил на койке Смолинский. — Открывай борта, вали всю скотину за борт, а то пропадем все: не на добро та скотина нам далась! — И снова лег. — Свáлите? — Он снова поднялся на локте. — Зуй? Генрих? А то все пропадете, а так хай я один сдохну.

— Свалим! — сказал Генрих.

— Лягай, лягай. — И Зуев толкал его в грудь.

Я немного задремал. Проснулся — крик на палубе. Я выскочил. Люди возились среди волов. Кого-то вытащили на люк. Это Герман с Генрихом доставали Зуева: старик провалился, его топтали уже волы. Как Генрих выворачивался в этой кутерьме, в темноте, среди волов, не могу понять. Но он теперь не шутил, не смеялся, он ругался и по-своему и по-нашему. Герман посмотрел больного и сказал, что вернее будет так: он затянул руку у кисти, и что Генрих — мальчишка. Я уже сам стал отчаянно нырять и прыгать среди скотины, когда шел на руль. Мне казалось, конца не будет этому аду. Я слышал голос Ивана Васильича на мостике. Я поднялся на несколько ступенек по трапу. Вот здесь, в двух шагах, разговор.

Ого! Это сам Лобачев. Когда действительно надо, он на мостике оказывается. Севастопольские входные огни были как раз слева. Мы были прямо против них. Сейчас опасный поворот, капитан на посту.

— Я приказываю,— говорил Лобачев,— держаться до утра против зыби и ни в коем случае не поворачивать.

— Бойтесь? — крикнул Иван Васильич.

— У меня есть свои соображения.

Тут я не расслышал, только он сказал вроде: потонувшее судно, и над ним вежа без огня, и ее видно только днем. А машина пусть работает средним ходом.

А вот это я слышал ясно:

— Человек умирает, надо врача, надо к берегу — это понятно, черт вас подери?

— Я приказываю! — взвизгнул Лобачев.

Я едва успел спрыгнуть с трапа. Лобачев сбежал вниз и захлопнул дверь в своей каюте.

Тут поднялся с палубы Герман. Он нащупал меня в темноте.

— Что, будет поворот? Почему нет поворота? Вот бухта, город. До утра? Ну да, дисциплина! Судно? Вежа?

Я стал рассказывать, что я слышал об опасности напороться на затонувший пароход. Герман промолчал.

Мне было время идти на руль, и я стал у штурвала. Прошло минут пять. На мостике было тихо: никто не топал. Может быть, никого нет? И я один держу курс против зыби, а в кубрике умирает Смолинский.

Вдруг затопали с мостика по трапу, и Иван Васильич вошел в рулевую.

— Лева! — крикнул он мне.

Я глянул на него.

— Лева! — И Иван Васильич рванулся к штурвалу.

Лобачев не выскочил на этот крик.

— Лево на борт клади! — кричал Иван Васильич и сам повернул штурвал до отказа.

Ух, как положило! Положило по самый борт! Теперь правил сам Иван Васильич.

Я видел, как стали открываться двери в кубрик. Люди выскакивали на палубу. Матросы и кочегары. Было трудно стоять на ногах. Я слышал только немецкие выкрики Германа над воем скотины. Я не мог понять, что делается: как будто внизу, там, на палубе, в воде, что хлестала из-за борта, идет возня. Машина работает полным ходом. Нас валяет с борта на борт, но огни городские все ближе. Сейчас мы должны зайти за Херсонесский мыс, и он прикроет нас от зыби. Да! Да! Так оно и выходит, вот уж меньше валяет, да! Всего минут десять было так ужасно. Но Лобачев? Неужели он не заметил, что повернули? Повернули, наплевав на его приказ? То есть повернул Иван Васильич.

Через полчаса мы подали концы на берег. Было светло от электрических фонарей в порту. Палуба была чиста: ни одного вола. Мне сказали, что немцы умудрились раскрыть порты в

бортах, те двери, в которые кладут сходни, и туда-то провалился за борт весь скот, пока нас клало с борта на борт. Но Лобачев не выходил из каюты. Никто не хотел к нему постучать. Наконец пришел агент нашего пароходства и прошел к капитану.

Смолинский все повторял:

— Ты гляди, Поля, чтоб только с Ленки чего не сробилось! Добре за ней доглядай!

Потом Генрих оделся в свой немецкий костюм, и котелок на голову, в руках тросточка: они с Иваном Васильичем должны были устраивать Смолинского в больницу. Приехала карета с санитарями.

Пошли с носилками в кубрик. Агент вышел от капитана, сказал волнуясь:

— Дайте и сюда носилки!

— Отравился! — шепнул я Генриху.

— Сейчас это узнаем.

К капитанской каюте никто не пошел, все глядели издали. Вынесли Смолинского. Следом несли носилки с Лобачевым. Он был закрыт простыней весь, с головой. Зуев снял шапку, как перед покойником. Иван Васильич стоял у сходни красный, взволнованный.

Генрих ткнул тросточкой, где вздувался живот.

— Ой! — вскрикнул Лобачев. — Ну вас к лешему!

Иван Васильич жестко плюнул в простыню, повернулся и быстро сбежал на берег: там клали в карету Смолинского.

А куда грек пропал, так никто никогда и не узнал.

1935

КОРЖИК ДМИТРИЙ

Вторую неделю уже странствовал парусный куттер «Савватий» между льдов. Стояло лето, и в Ледовитом океане было круглые сутки светло. Лед ослепительно сиял на солнце днем и рдел кровавым отливом, когда солнце ночью спускалось к горизонту. Между огромными льдинами темнели озера свободной воды. По ним-то и пробирался куттер в поисках морского зверя: моржа, тюленя, белого медведя.

Команды было одиннадцать человек. Шкипер Титов вел судно, смотрел, чтобы его не затерло льдами. На верхушке мачты была устроена бочка, из которой далеко было видно. Там всегда кто-нибудь сидел и в подзорную трубу осматривал льды и воду: нет ли где какого-нибудь зверя. Спрятаться некуда в этой ледяной равнине.

Вот уже две недели, и ничего не промыслили. Старый промышленник Федор сердился. Титов последнее время молчал и все

чаще и чаще бегал в каюту погреться спиртом. Но коржик¹ Дмитрий не унывал, шутил и возился с молодыми ребятами, которые от нечего делать боролись на палубе.

Местами проходы среди льдов были узкие, и приходилось идти между ледяных берегов, как в речке; местами эта речка расширялась, но надо было зорко следить, чтобы не попасть в тупик. Вот по такой-то речке, между двух ледяных полей, и пробирался сейчас «Савватий». Два дня уже дул этот свежий ветер и слева гнал льды. Но левый и правый ледяные берега шли одинаково, и пространство свободной воды между ними не изменялось, и сейчас куттер свободно бежал между льдами, пробираясь к огромному озеру свободной воды. Но вот правый берег остановился. Видно, лед где-нибудь уперся в далекую землю и стал. Но ледяное поле с левой стороны продолжало идти, и речка становилась уже. Все на судне знали, что ничто сейчас не остановит движения льда и оба берега сомкнутся, как лезвия гигантских ледяных ножниц. Они пополам разрежут судно, если оно не успеет добежать до свободной воды. Эх, если б ветер дул немного покрепче!

Шкипер Титов стоял сам на руле. Поставили все паруса, сколько было можно. «Савватий» был хороший ходок, но всем казалось, что судно еле ползет, а лед все скорей и скорей двигается, по мере того как уменьшалось расстояние между ледяными берегами. Если не выскочить из этих ножниц, лед зажмет судно и поломает, как спичечную коробку. Теперь никто уж не баловался на палубе, а ребята прислушивались к ветру. То казалось, что он слабеет, то вот будто задул сильнее.

Титов знал, что если и за полсажени до выхода затрет льдом, то все равно судно погибло. Подводную часть сплющит, а то, что над водой, поломается, и придется всем бродить по льду, пока не подберет их какое-нибудь промысловое судно.

Федор с мачты крикнул:

— Еще с полверсты!

Все понимали, что это значит: это до свободной воды осталось с полверсты.

— Ветер плохо держит! — сказал Титов стоявшему рядом коржику Дмитрию и крепко выругался.

— Так тому и быть, — весело сказал Дмитрий и закурил трубку. — Подобрать, что ли, шкот? — спросил он Титова.

— Подбери, — сказал Титов.

Шкипер не знал, будет ли лучше. Он выжал уже из судна всю его скорость и тут уж рассчитывал на легкую руку: знал, что Дмитрий удачлив.

Дмитрий подобрал. Показалось, что судно пошло немного ходче. Еще бы пять минут — и на свободной воде! А лед жмет

¹ К о р ж и к — главный охотник.

и жмет, как будто нарочно дает судну еще бежать, чтоб за вершок до выхода зажать и размозжить.

Все смотрели, как все ближе подходило ледяное поле слева.

— Ну, ребята, — сказал кто-то, — выноси пожитки на палубу.

Но люди не оглянулись, не ответили, смотрели на лед, и говоривший не двинулся.

— Хоть дуй в паруса!

Федор слез сверху: боялся, не слетела бы мачта, как затрет льдом.

Оставалось сажени три до выхода, но лед был так близко, что можно было бы на него прыгнуть.

Титов напряженно и зло смотрел вперед. Ему с кормы не видно было, сколько осталось. Но он знал, что, пока не вышли на свободную воду, нечего радоваться.

Вдруг все оглянулись назад, за корму.

Титов понял, что проскочили. Он оглянулся: не верилось, что только что выскочило судно из этого узкого прохода.

— Возьми руль, Тишка! — крикнул он молодому парню, а сам спустился в каюту.

— Пошел старик выпить, — шепнул Дмитрий Тишке.

Теперь все ожили, заговорили. Федор снова полез на мачту.

Он внимательно осмотрел всю свободную от льда поверхность воды.

Заметил вдали мачту судна. Рассмотрел в трубу всё: судно норвежское. Норвежцы с машиной пробирались туда, куда не пролезет неуклюжий парусник. И когда по свободной воде «Савватий» приблизился к новому ледяному полю, с другой стороны его торчали две мачты норвежского куттера. А вон по краю льдины черные точки, как мухи на скатерти. Федор хорошо видел, что это тюлени. С другой стороны льдины их было больше, и там шлюпки работали норвежцы. «Савватий» опять лег в дрейф.

— Бери моржовки, ребята! — командовал Дмитрий.

Люди выносили из каюты коротенькие ружья. Они были новенькие, хорошо смазанные и красиво блестели.

— Эх, — сказал молодой парнишка Тихон, — вот здорово-то! — и приложился: хотелось пострелять.

— Ну, не балуй, в шлюпку лезь! — крикнул Федор.

Тюлени — как овцы: беззащитные и глупые. Они лежали по краю льдины, чтоб в случае опасности плюхнуться в воду. Но они, недоумевая, смотрели на шлюпку с людьми и не двигались.

Дмитрий начал и выстрелом сразу наповал убил крайнего тюленя. Тихон ударил второго. Тюлени оглядывались на выстрелы и с любопытством глядели, как опускал голову сосед. Но ни один не двигался. С другой стороны льдины ясно стучали выстрелы норвежцев: сухо, как гвозди вколачивают.

— Ишь, черти! — сказал Дмитрий. — Вон у них ряд-то какой! Лазят в наших берегах.

— Да ведь это какие уж берега, тут сама голомень¹, — ответил Федор.

— Им хорошо, — не унимался Дмитрий, — судно моторное; куда хочешь, анафемы, пролезут; вон, так и чистят.

Ряд кончался.

— Ну, я им сейчас влею! Стоп, Тишка, не стреляй! Последнего я сам.

— Брось, не надо! — сказал Федор. — Знаю ведь...

Молодые ребята не понимали, что затевает коржик, и с любопытством глядели то на стрелка, то на тюленя. Тюлень важно и тупо смотрел, повернув вбок голову.

Щелкнул выстрел, и в ту же минуту раздался пронзительный визг тюленя. Он бился с раздробленной ластой.

Дмитрий встал в шлюпке и смотрел на ту сторону льдины.

Тюлени с норвежской стороны, как лягушки с берега, прыгали со льда в море.

— Вон, вон, — хохотал Дмитрий, — штук сорок не добили! Вот игра!

Ребята тоже смеялись. Тишка добил раненого тюленя.

С норвежской стороны щелкнул выстрел, и пуля прожужжала совсем близко. Вслед за ним второй. Дмитрий сел. Ребята нагнулись.

— Видишь, дурак, что теперь, — проворчал Федор.

— Подгреби ко льду! — крикнул Дмитрий.

Злым и веселым стало его лицо. Он быстро зарядил моржовку и, прикрываясь обрывком льда, стал стрелять в норвежцев, как из окопа.

Тишка не отставал.

— Да брось, побойтесь бога! — кричал Федор. — Ангели, беда, ведь в живых людей бьете!

Раз!.. раз!.. — били поморы².

Тук!.. тук!.. — отвечали норвежцы.

Пулей задело и раскровавило ухо гребцу.

Он схватил третью моржовку, забил патрон и стал палить.

Федор быстро выпростал руки из рукавов мáлицы³ в пазуху, оторвал клоч рубахи, наткнул на багор и выскочил на лед.

Он побежал с этим белым флагом, скользя по льду, навстречу норвежским выстрелам.

Норвежцы замолкли. Но Дмитрий поднял моржовку. Ребята схватили его за руку:

— Оставь!

— Да ну вас! Пусти! — вырывался Дмитрий.

Но все уже опомнились и отняли у Дмитрия ружье. Со стороны норвежцев шли навстречу Федору два человека.

¹ Г о л о м е н ь — по-поморски: открытое море.

² П о м о р ы — приморские жители русского Севера.

³ М á л и ц а — меховая рубаха с широко вшитыми рукавами.

Тишка выскочил на лед и побежал догонять Федора.

Скоро один человек только остался в шлюпке. Норвежцы и поморы сошлись на середине льдины.

Норвежцы ругались. Они знали, что нарочно, назло поморы испортили им охоту. Все говорили, кричали и спорили. Федор извинялся, предлагал на мировую десяток тюленей. Почти всякий моряк-помор знает по-норвежски. Кое-как уладил. Норвежцы даже выпить звали.

— Экой ты, Митька, кипяток! — выговаривал ему Федор, когда возвращались к шлюпке. — Хорошо еще, никого из них не подбили. Когда-нибудь и сам пропадешь, и других, дурак, погубишь.

— Пусть знают, черти! — кричал Дмитрий.

— Да знать-то они лучше нашего знают, а вон что выходит...

— Чего ты-то полез?

— Да ведь зря всё!..

— Баба ты в портках, вот я тебе что скажу. Тьфу!

Дмитрий зло плюнул в сторону Федора и пошел вперед.

— Эх, не плюй, парень, в колодец, — гляди, пригодится...

— Это кто? Ты-то? — обернулся на ходу Дмитрий. — Тьфу! Видать, что баба: кто за ружье, а он за тряпку.

— Гляди, самовар какой! — усмехнулся Федор. — Уж не милым глазом на меня глядит.

Когда убрали тюленей, Дмитрий все злился и не говорил с Федором.

Дмитрий сам смотрел из бочки с верхушки мачты. Вон, далеко на льду, что-то черное. Глянул в трубу и сейчас же бросился вниз, чуть не слетел.

— Шлюпку, шлюпку! — кричал он, горячась, и стал надевать свой тяжелый пояс с патронами.

— Ну чего там? — спросил Федор.

Дмитрий только зло глянул.

— Что? — спросил Титов.

— Морж и два медведя.

— Да врешь?!

Шлюпка изо всех сил шла к льдине. Простым глазом можно было уже увидеть зверей.

Огромный морж, поднявшись на ласты, вертелся, сколько позволяло ему его огромное, тучное тело. Два медведя, один молодой, старались обойти его и напасть сзади. Морж — лев северных морей, он сильный и храбрый зверь. Бывали случаи, что рассвирепеет и бросится на шлюпку с людьми. Доски клыками выламывал. В воде он никого не боится, но на льду ему плохо. Грузно движется он на своих неуклюжих ластах. А все-таки один на один медведь боится с ним связаться.

Морж старался подвинуться ближе к воде. Оставалось уже

недалеко. Медведи боялись, что вот-вот уйдет он от них, но все не решались наброситься.

Дмитрий не спускал с них глаз. Заметят его медведи, убегут еще, а морж тогда живо доберется до воды — и поминай как звали.

Солнце ярко освещало лед, и его сияние ударило снизу и слепило глаза. Дмитрий вылез на лед, держа в руках заряженную моржовку, побежал к зверям. Он хотел подбежать как можно ближе, пока они его не замечают, чтобы без промаха стрелять. Старый медведь забежал со стороны воды и преграждал путь моржу. Морж резко повернулся в его сторону, и медведь попятился; молодой не решался схватить моржа за хвост.

Дмитрий боялся, чтобы медведи не испортили моржовой шкуры, раньше чем он добежит, и боялся, чтоб не упустили моржа в воду. Со шлюпки с напряжением следили за приближением коржика и за борьбой зверей. Но вдруг Тишка крикнул:

— Майна, майна¹, не видит! Митька!

Все сразу увидали темневшее впереди коржика затянутое тонким льдом пространство.

Кричали, но Дмитрий ничего не слышал и видел только, что еще сажени три — и морж уйдет.

— Давай багор, бежим! — крикнул Федор и пустился вслед за Дмитрием.

Кляцнул, звякнул лед, и Дмитрий провалился в воду. Тяжелые патроны тянули вниз; он на секунду вынырнул и опять скрылся. Снова показались руки.

Никто не решался пойти по тонкому льду. Все смотрели на Федора. Он лег на лед и пополз на животе к краю майны.

Тишка не выдержал и тем же порядком пополз следом и схватил его за ноги. Федор подвел багор как раз под руки, которые показывались из воды и беспомощно хватали воздух. Руки схватили багор. Показалась голова Дмитрия. Испуганные, сумасшедшие глаза глядели на Федора.

Вдруг Дмитрий пустил багор. Нарочно ли, или сознание оставило его? Но Федор острым крюком багра уцепил его за малицу и потянул. Тишку тянули ребята за ноги, а он не отпускал Федора.

Вытащили Дмитрия. Он был без сознания. Откачали, привели в себя, уложили в койку и напоили мертвецки спиртом.

Когда Дмитрий пришел в себя, позвал к себе Федора:

— Прости, брат, что плюнул, твоя правда...

— Ну, ну ладно! Ты вот опохмелись, — гляди, дрожишь весь...

И налил ему спирту.

¹ М а й н а — полынья.

УТОПЛЕННИК

И утопленник стучится
Под окном и у ворот...

А. С. Пушкин

Усталый, плыл я к нашей купальне в порту. Вдруг слышу, на пристани кричат; поглядел: разряженные дамы махали зонтиками, мужчины показывали в воду котелками, тросточками. А ну их, они пришли пароход встречать! Я хотел повернуться и поплыть на боку, но они взревели еще громче, тревожней. Я огляделся: вон из воды показались руки. Пропали. Вот голова — и опять нырнула в воду. И я разобрал, что кричат: «Тонет, тонет!» Откуда силы взялись! Я мигом подплыл.

Вот высунулось из воды лицо, и на меня глянули сумасшедшие глаза. Я поймал его руку. И в тот же миг он прижался ко мне, обвил ногами, впился ногтями в мою руку. Мы тихо пошли ко дну. И тут я, не помня себя, рванул. Я не заметил тогда, что в кровь разодрал он мне руку: у меня и сейчас на руке его отметины. Я выскочил, дохнул. Но вот он тут и сейчас опять схватит меня. Я отскочил, подплыл сзади. Я схватил его за волосы и ткнул под воду. Он попытался выплыть, но я ткнул его снова. Он затих и медленно пошел ко дну. Тогда я поймал его за руку, легко поднял, повернул и толкнул его под мышки — он продвинулся вперед, весь обвисший, как мешок! Я толкал его рывками прямо к берегу. Я ждал, вот сейчас дадут шлюпку — и мы спасены. Но шлюпки не было... Я боялся, что у меня не хватит сил, и глянул на пристань.

Шикарная, праздничная публика стояла плотной стеной у края пристани. Они смотрели, как на цирковой номер. Махали мне и кричали: «Сюда! Скорей!» Теперь мне оставалось саженой десять. Я задыхался.

Фу, вот я у свай! Осклизлые сваи стоят прямой стеной, а под мной двадцать футов воды. А сверху сыплется песок из-под чьих-то ног, и я слышу: «Слушайте, куда вы меня толкаете, ведь я упаду в воду сейчас! Не вам одному хочется... Ах, какой ужас, он его утопил! Но все-таки, слава богу!..»

Я не мог больше, я хотел бросить утопленника, пусть достают баграми, чем хотят. Я искал, за что зацепиться. Я глядел вверх, а там — полные оживления, любопытные лица. Ой, вот костыль! Костыль забит в сваю. Фу ты! Не достать его, четверть аршина не достать! Я набрался последнего духу, толкнул утопленника вниз, сам подскочил вверх и повис на двух пальцах на костыле. В правой руке под водой был утонувший.

Наверху разноцветные зонтики и вскрики:

— Ах, ужас! Он висит! Пусть он лезет! Сюда! Сюда! Он ничего не слышит. Крикните ему!

У меня пальцы как отрезанные, сейчас пушу. И слышу:

— Га! Бак бана!..¹

Я вскинул голову: сносчик-турок разматывает свой пояс. Я разжал пальцы. А вот уж и пояс, тканый, широкий, как шарф, и на конце приготовлена петля. Я сунул в нее руки утонувшего и затянул петлю. Не помню, как я доплыл до своей купальни. Я еле вылез и упал на пол. Не мог отдышаться. Кровь стучала в висках, в глазах — красные круги. Но я опять стал слышать, как гомонит и подвизгивает народ, — это публика над утопленником. Тьфу, начнут еще на бочке катать или на рогоже подбрасывать — погубят моего утопленника.

Я вскочил на ноги и, как был, голый, выскочил из купальни. Толпа стояла плотным кругом. Зонтики качались, как цветные пузыри, над этим гомоном.

Я расталкивал толпу, не глядя, не жалея. Вот он лежит навзничь на мостовой, мой утопленник. Какой здоровый парень, плотный; я не думал, что такой большой он. И лица я не узнал: спокойное, красивое лицо, русые волосы прилипли ко лбу.

Я стал на колени, повернул его ничком.

— Да поддержи голову! — заорал я на какого-то франта.

Он попятился.

Я искал глазами турка. Нет турка. Стой, вот мальчишка, наш, гаванский.

— Держи голову!

Теперь дело пошло. Я давил утопленнику живот. Ого! Здорово много вытекло воды! Нет, больше не идет.

Теперь надо на спину его, вытянуть язык и делать искусственное дыхание. Скользкий язык, не удержать.

— Дайте платок, носовой платок! — крикнул я зрителям.

Они дали бы фокуснику, честное слово, дюжина платков протянулась бы, но тут только спрашивали задних:

— У вас есть платок?

— Ну, какой! Ну, какой! Ну, носовой платок, обыкновенный!

Я не вытерпел: вскочил, присунулся к какому-то котелку и замахнулся:

— Давай платок!

И как он живо полез в карман и какой глаженный платочек вынул!

Теперь мальчишка держал обернутый в платок язык утопленника, а я оттягивал ему руки и пригибал к груди.

Мне показалось, что первый раз в жизни ядохнул — это вот с ним, вместе, с его первым вздохом.

Мальчишка уже тер своей курткой ноги и бока этому парню. Тер уж от всего сердца, раз дело шло на лад. Утопленник-то! Ого! Он уж у меня руки вырывает, глаза открыл. Публика загудела громче.

¹ По-турецки: «Ой, посмотри на меня!..»

Утопленник приподнялся на локте, икнул, и его стало рвать. С меня катил пот. Я встал и пошел сквозь толпу к купальне.

Дамы закрывались зонтиками и говорили:

— Я думала, они бледнеют, а глядите, какой красный! Да посмотрите!

Они меня принимали за утопленника.

Одежду мою украсть не успели.

Через полчаса я отлежался, оделся и вышел. Никого уже не было. Пришел пароход, и на нем мыли палубу.

Дома я завязал руку.

А через три дня перестал даже злиться на зонтики. И забыл про утопленника: много всякого дела летело через мою голову.

Да, вот тоже с утопленниками. Уходил пароход с новобранцами. Мы с приятелем Гришкой на шлюпке вертелись тут же. Пароход отвалил, грянула музыка. И вдруг с пристани одна девица крикнула пронзительно:

— Сеня! Не забывай! — и прыг в воду.

— И меня тоже!

Глядим, и другая летит следом. И барахтаются тут же, под сваями. Мы с Гришкой мигом на шлюпке туда. Одну выхватили из воды, а она кричит:

— А шляпку! Шляпку-то!

Но мы скорей к другой, вытащили на борт и другую. Пока шляпку ловили, они уже переругались:

— Тебя зачем туда понесло?

А другая говорит:

— А ты думала, ты одна отчаянно любишь?

Гришка говорит:

— Да он и не видал.

Та шляпку вытряхивает, ворчит:

— Люди видали, напишут.

Нет, это не дело, и стали мы сетки налаживать: ждали скумбрию с моря и всё готовились. Возились мы до позднего вечера.

Раз прихожу домой. Мне говорят, что ждет меня человек, часа уж три сидит.

Вошел к себе. Вижу — верно: сидит кто-то. Я чиркнул спичку: парень русский, в пиджачке, в косоворотке. Встал передо мной, как солдат.

— Вы, — говорит, — такой-то?

По имени, отчеству и по фамилии меня называет. Я даже струхнул. «Каково? — думаю. — Начинается!» И все грехи спешно вспомнил: очень уж серьезно приступает к делу.

— Да, — говорю, — это я самый.

И парень мой как будто в церкви: становится на колени и бух лбом об пол. Я тут и опомниться не успел — отец мой со свечкой в дверях:

— Это что за представление?

Парень мой вскочил. Отец присунул свечу к его лицу.

— Что это за балаган, я спрашиваю? — крикнул отец

Парень смотрел потерянно и лепетал:

— Я Федя. Они меня из воды вынули. Мамаша велела в ножки...

— Что-о? — Отец со свечой к^л мне. — Ты что же, Николая-угодника здесь разыгрываешь? А?

Я уже догадался, что это тот самый паренек, которого я с месяц назад выволок из воды. Я не знал, как отцу сразу все объяснить, но тут Федя уже тверже сказал:

— Честное слово, будьте любезны... Это я был утопленник, а они меня спасли. Благодарность обещаю...

— Никаких мне утопленников здесь! — И отец так махнул свечой, что она погасла. — Вон!! — И ногами затопал.

Федя попятился.

— Ну, уж я как-нибудь... — бормотал Федя с порога.

Отец не слушал, кричал в темноте:

— Двугривенные бакшиши собирать! Мерзость какая! Вон!

Но тут и я улизнул из темной комнаты. За шапку — и к Гришке.

Ну, как мне было Федю узнать? Из воды он глядел на меня, как сумасшедший из форточки. А тут на тебе: молодец молодцом, с прической на пробор, пиджачок, да и в сумерках кто его разберет! И вот оскандалил, хоть домой теперь не иди.

Уже все легли, когда я вернулся. Наутро объяснил матери, как было дело; пусть уговорит отца. А она посмеялась, однако обещала.

Вечером иду домой. И вот, только я в ворота, — тут, как из стенки, вышел Федя:

— Мы очень вами благодарны... Мы бы на другой день, тогда же, явились... Ноги, простите, так были растерты... И вот бока, руки только раскоряченными держать можно: до чего разодрал, дай бог ему здоровья, мальчик этот, Пантюшка! Мамаша маслом на ночь мне мажут третью неделю. Такой маленький, скажите, мальчик, а как здоров-то! Ах, спасибо!

Это он скороговоркой спешил сказать, а я уж брался за двери:

— Ну ладно. Заживет. Прощайте!

Но Федя взял меня за руки:

— Нет, я не войду, не бойтесь. Папаша ваш чересчур серьезный. А я благодарность вашей девушке передал.

— Стой! — сказал я и толкнул Федю в дверь.

Я позвал нашу девчонку и в сенях втихомолку велел принести сюда Федину благодарность. Дверь я держал, чтобы Федя не выскочил.

Девчонка приволокла голову сахару, а потом пудовый мешочек

муки «четыре нуля» и, смотрю, еще тащит — мыла фунтов десять, два бруска.

— Забирай! — шепотом закричал я в ухо Феде.

— Дорогой, милый мой человек! — Федя чуть не плакал, но тоже шепотом (оба мы боялись моего отца). — Золотой ты мой! Мамаша мне наказала, чтобы вручить. Говорит, коли не отблагодаришь, так ты у меня сызнова потонешь. Да это хоть кого спроси. Я же в лабазе работаю, на Сретенской, у Сотова. Ты возьми это, дорогой, и квиты будем. А мамаша каждый день за тебя бога все равно молит. Борисом ведь звать? Возьми, дорогой. Как же я домой пойду? Мамаша...

— А я как? — И я кивнул на дверь. — Папаша!

— Как же мы теперь с тобой будем, друг ты мой милый?

Но тут я услышал, как под отцовскими шагами скрипят ступеньки нашей лестницы.

— А ну, гони отсюда ходом! — шепнул я Феде и пошел в дом.

Наутро я узнал, что га́ванский Пантюшка вчера угощал всех папиросами «Цыганка» первого сорта, а сейчас лежит больной, — определили, что от мороженого.

Я пошел к Пантюшке.

Как только все вышли, я спросил:

— Пантик, откуда папиросы?

— А оттуда! Федя дает. Ну да, не знаешь? Федя-утопленник. Я его натер, он теперь аж до той пасхи помнить будет.

Я пообещал Пантюшке оторвать оба уха.

— А что? Я же не прошу, он сам дает.

— Меня тоже не надо просить, я сам дам! — И я погрозил Пантюшке кулаком.

Теперь уж, шел ли я домой или из дому, всегда поглядывал, не караулит ли где Федя.

Девчонка наша сказала мне, что в воскресенье Федя час, если не два, ходил под окнами.

Так прошел месяц. Я уходил за рыбой в море и редко бывал дома. Потом как-то, в праздник, я оделся во все чистое и пошел в город. Я уж поднялся на спуск, как тут заметил, что за мной все время кто-то идет. Оглянулся — Федя-утопленник. Он сейчас же нагнал меня.

— Милость мне сделайте и уважение старой женщине, тут недалеко, зайдите! Живой рукой! Мамаша, не поверите, высохла вовсе.

Он так просил, что я решился: зайду и объясню, чтоб больше не приставали и чтоб никаких мне больше утопленников!

Жили они в комнатухе с кухней. Чистенько, и все бумажками устлано: и плита и полочка. «Старуха» была крепкая, лет сорока пяти.

Она мне и в пояс поклонилась, хотя я не старше был ее Федьки. А потом глянула на меня очень крепенько.

— Что же это вы,— говорит,— молодой человек, как бы сказать, чванитесь? Вам господь послал человеку жизнь спасти, слов нет — спасибо,— она снова поклонилась, на этот раз уж не очень.— А что же выходит? Вы благодарность нашу ногой швыряете, а сами должны понимать, вы не мальчик: он у меня один, смерть за ним ходила... слава Христе,— она твердо перекрестилась,— смерть не вышла ему, и должны мы это дело искупить. А если мы это указание оставим без внимания, то, значит, снова нас оно мучить будет, и тогда уже ему...— она огляделась,— тогда ему уж прямо в ведре утонуть может случиться. На это вы его навести хотите, молодой человек? Да? — И уж такими она на меня злыми глазами глядела, так бы вот и прошила насквозь.— Молчите? А то, что мать сохнет, что я его каждый день точу: возблагодарил? А то, что я листом осиновым дрожу, думаю: как же это он останется в воде неплаченный? А? Это вам нипочем? В баню пойдет, так я как на угольях, пока воротится.

— Так что же вы хотите? — Я уж стал пятиться к двери.

— Что хотим? — закричала мне в лицо эта мамаша.— Да ты-то что, ирод, хочешь? Бочку золота хочешь? Нет у нас бочек! С огурцами у нас кадушка, с огурцами! Так какого тебе рожна еще подать, чтоб ты взял, креста на тебе нет! На́, на́ самовар! — Она схватила с полки медный самовар и тыкала им мне в живот.— Подушку? Федор, подавай подушки!

Она поставила самовар мне под ноги, бросилась к кровати,— там, как надутые, лежали пузырями две громадные подушки. С этими подушками она пошла на меня.

Я бросился к дверям. Ах ты, дьявол! Когда их успел запереть Федька?

— Мадам, успокойтесь! — сказал я.— Вы просто дайте мне копеечку на счастье, и будем квиты.

— Это за кошку дают! — закричала мамаша.— За кошку выкуп! Так вот как? Тебе что Федя мой, что кощенок — одна цена? А я за тебя три молебна служила!

— Ладно,— говорю,— ладно, пусть завтра Федя приходит, я скажу, мы порядим и будем квиты.

— Ступайте, молодой человек, только вижу я, что вы за гусь! Завтра так завтра. Ишь ведь, и цены себе не сложит! Проводи, Федор!

Я уж за дверью слышал, как она сказала:

— Послал господь!

Мы вышли с Федей.

— Ну и мамаша,— говорю,— у тебя: коловорот!

— Да не покрепче вашего папаши будет. Тот раз думал: порешат они меня подсвечником. Как ноги только унес!

— Слушай, Федор. Ну их, с родителями! Давай сами пола-

дим. Возьми ты у мамыши своей, что она там, голову сахару, что ли, или мыло — «благодарность», одним словом, и занеси ты ее, благодарность эту, куда-нибудь к чертям в болото. Ну, старухам богадельню какую-нибудь. Или хочешь продай да пропей. Понял? И квиты.

Я зашагал, Федя за мной.

— Никак этого не возможно. Как же я перед мамашей-то солгу? Видали сами: они на три аршина в землю видят, мамаша. Обманите, если умеете, вы своего родителя, скажите: вроде купили.

— Иди ты!...— И я выругался.— И чтоб тебя не видал никогда. Сунься ты к нам в гавань,— вот истинный бог, скажу ребятам, они тебе нос утрут в лучшем виде.

Федя все что-то говорил, но я шагал во весь мах и повторял:

— Чтоб и ноги твоей... и духу твоего! Чтоб ни под окном, ни у ворот!..

Я завернул в какой-то двор. Федя отстал. Я выждал минут десять — и домой.

Дома я матери рассказал, что нет никакого сладу с утопленником, что у него мамаша объявилась и чуть меня эта мамаша в самоваре не сварила, что если эта мамаша сохнет, то пусть она в порошок рассыплется — не чихну; туда ей, выжиге, и дорога.

Я долго ругался и махал руками.

Мать сказала мне, что не надо дураком быть, но я не дал ей больше говорить, а стал кричать, что у Пантюшки уже вся стенка в объявлениях: «Чай Высоцкого» и «Лучшая питательная овсянка «Геркулес», и что от чернослива его скоро наизнанку вывернет.

Но мать махнула рукой и вышла из комнаты.

Однако же Федьку-утопленника, видно, проняло: вот уже две недели, а его как ветром сдуло. Пантюшка пробовал узнавать, где утопленник квартирует или в каком лабазе приказчиком. Тот, ага!

Но «ага» вышло вот какое. Собирался как-то отец на службу. Стоит в прихожей, чистится щеткой. Тут звонок. Я выхожу, а отец уже двери открыл. Смотрю: батюшки! Федора мамаша. Желтая, злая. Так в отца глазами и вцепилась. Черная шерстяная шаль на ней и вся, как в крови, в красных букетах. И под платком что-то оттопыривается: прямо будто с топором пришла и сейчас, кого первого, по голове тяпнет. У меня душа в пятки.

Отец:

— Вам кого?

А эта глазами с отца на меня:

— Да уж кто поправославней, того бы мне.

— А здесь не святейший синод, сударыня,— и вижу: отец шагнул к ней со щеткой.

Тут, слышу, мать быстренько каблучками стучает — и сразу из дверей.

— Это ко мне. Проходите, пожалуйста.

И как-то ловко эту выжигу под локоть, и, пока отец поворачивался, она уже и дверь закрыла.

— Это что за сваха такая? — спросил отец; но взглянул на часы и поспешил вон.

Я хотел было следом за ним: от греха. Но, слышу, за дверью разговор идет тихий. Я немножко переждал и тихонько отворил дверь. Стал на пороге.

Ничего. Вижу: мать ее чаем угощает — еще чай со стола прибрать не успели. Та с блюдечка спокойно тянет и говорит:

— Да-с! А сынок ваш, сударыня, за моего Федю копейку спросил.

— Без запросу,— говорит мать и улыбается.

— То есть как? — И блюдечко на стол поставила.— Вот этот кавалер Федю моего в копейку ценит,— и тычет на меня пальцем.

Мать мне мигнула: молчи, дескать. А сама спрашивает:

— Ну, а ваша цена?

— Как, то есть, цена? — И вытаращила глаза на мою мать.

— Вот, говорите, копейку — это он малую очень цену поставил, вы недовольны. Так ваша какая будет цена? Рубль? Два с полтиной? Красненькая?

Федина мамаша даже шаль с головы стянула и глазами заморгала:

— Что это? А ты своего во сколько? Вот этого?

— Да он не теленок, я им не торгую.

— А мой-то гусь, что ли? — И привстала, к матери присунулась. Думал, вцепится.

А мать говорит:

— А коли не гусь, так за чем же дело стало? Нечего ни продавать, ни на сахар менять.

Та так и села. Глазами хлопает, молчит. Минуту добрую молчала, потом руки развела, опять свела:

— Милая, да как же это у нас вышло-то... что Федя-то — не гусь. Тьфу, что я... не тот... ну, как оно? Ох да, и грех! — Рассмеялась.— Ох, милая, да и что ведь Федя надумал уже! «Дайте, говорит, мамаша, я его в воду невзначай спихну, да и сам сейчас прыгну и пока что вытащу. Это — чтоб на квит вышло». А я говорю: «Феденька, бойся ты теперь этой воды, сам, гляди, утонешь, и, не ровен час, он опять тебя же вытащит».

«Нет,— думаю я,— уж теперь не тащил бы: натерпелся я, уж пусть кто-нибудь, только боюсь я теперь утопленников».

Тут она стала мою мать целовать. Шаль накинула — и к дверям!

— Будем знакомы!

А мать:

— Сахар-то, сахар забыли!

Гляжу: верно, голова сахару осталась на полу.

Я подал.

А Федя стал к нам в гавань приходить рыбу ловить. Прозвание так за ним и осталось: Федя-утопленник. Давно это было. Теперь, пожалуй, в наших водах такого не выловишь.

1934

«МИРАЖ»

Прежде я напишу о «Мираже». У меня сейчас воспоминанья о нем, как о таинственном чуде. Он пришел в ночь перед гонкой, стал поодаль от других на якоре. Он стоял и не глядел. Все яхты глядели, подмигивали блеском меди, болтали на ветре полуспущенными парусами, другие грозили бушпритом — казалось, высунулся он вперед не в меру. На всех хлопотали около снастей, перекрикивались. «Мираж» стоял, строго вытянувшись, обтянутым обводом борта, с тонкими, как струны, снастями; казалось, будто он подавался вперед, будто стоя на якоре, шел.

Ничто не блестело. Ни одного человека на палубе. Это никого, как видно, не удивляло; казалось, такой пойдет без людей. Я не мог отвести глаз: он был без парусов, но он стоя шел. Я все смотрел на эти текущие обводы корпуса — плавные и стремительные. Только жаркой, упорной любовью можно было создать такое существо: оно стояло на воде, как в воздухе.

— Видал ли? — Мой хозяин подтолкнул меня локтем и кивнул на «Мираж».

Я должен был вести его яхту. Дело шло не только о чести: полуторатысячный приз. Один только: первый.

— Что думаете? — шепотком спросил хозяин и метко в меня прищурился сбоку. Потом вытащил свой золотой хронометр. — Там поговорим, — и застучал английскими ботинками по каменному трапу к шлюпке. Подстелив под белые брюки платочек, сел в корму.

Даже сажень отойдешь от берега, и вас охватывает вода. Вы чувствуете ласковую мягкость под ногами, там, под дном шлюпки, плотный запах морской воды, яркие зайчики на зыби — глянуть и отвернуться. Мне стало весело от воды с солнцем, я уж не думал о призе, о конкурентах, мне просто хотелось выйти поскорей в море, в веселый ветер, в живую зыбь и вот поглядеть бы, как этот «Мираж» будет делать свое дело.

На яхте боцман пришивал к парусу наш гоночный номер: белый квадрат с цифрой 11. Мне не о чем было хлопотать: команда «надраена». Все маневры она производила без запинки ночью. Снасти первейшего качества. Гоночные паруса пойдут в работу нынче всего третий раз. Я смотрел на «Мираж» и случайно увидел, что наша шлюпка подошла к одной яхте. Мой белый хозяин что-то говорил через борт и отвалил дальше. Что за визиты? До гонки оставался час. Ровно в десять — пушка и старт. Старт «хронометрический». Это значило, что каждому отметят время, когда он вышел и когда пришел. Выходить можно в любой момент в течение десяти минут. Затем дается второй выстрел из пушки, и после «старт закрыт». То есть если ты прошел старт после второго выстрела, то не считаешься участником гонки. На старт уже вышел буксирный пароход. Там судейская комиссия, дамы с зонтиками и оркестр музыки. Этой музыки не любили — она при-нижала: балаган или карусели?..

Я сказал ставить грот, и парус стал медленно подниматься. Смятую пока парусину бойко принялся трепать ветер. Мне надо было теперь смотреть, чтоб парус стал в меру туг. Я стоял задрав голову. Мачта чуть забила в небо, и белый, как сливки, парус вырастал и оживал.

Я хотел забежать и глянуть с носа на все это дело, как тут за мной прислал хозяин — просят в каюту.

В кают-компании сидели трое: двое наших и один иногородний. Хозяева яхт. Они были тоже в белых костюмах.

Мой хозяин брезгливо и зло насупился на меня.

— Мы останемся с носом.— У него вздернулся ус. Он сделал пальцами нос.— И они тоже.— И он направил нос поочередно на каждого.— Я предлагаю — «коробку». Бросьте, это вполне законно. Первый старт проходит «Мэри», — он ткнул на иногороднего.— «Миражу» выскочить первому мы не дадим. Затем «Зарница» и «Джен». Теперь пусть они, — хозяин ткнул толстым пальцем в стол, будто поймал блоху, — а тотчас следом мы. Стойте! Стойте! Мы потому, — он стал грозить мне пальцем, он уж весь вспотел от азарта, — потому, что у нас паруса больше всех и на попутном ветре мы ему закроем ветер. Он вправо, — хозяин оскалился от улыбки и мотнул задом вправо, — а там — «Зарница!» Он влево — а это тебе собака? — И он ткнул на гостя.— То есть «Джен», я говорю, собака? И вот выкуси, выкуси! — И хозяин сложил шиш и, вывернув локоть, завил шиш под самую палубу.— И вполне, вполне законно! Раз ты такой ходок, вырывайся своим ходом-то знаменитым.

Он стал обмахиваться фуражкой. Лицо уж серьезное, законное, будто о просроченном векселе речь.

— Что вы хотите сказать?

— Вы-то, такой рулевой, не сумеете закрыть ветер? Бросьте! Именно вы!

— Да с вами, — галдели гости, — мы уж... Да что говорить! — И меня хлопали по спине.

Мне это польстило.

Хозяин выдернул золотой хронометр.

— Ну, я скажу virать якорь.

Оставалось полчаса. Я выскочил наверх и глянул: «Мираж» все так же стремительно стоял, не глядел на меня и не поднимал парусов.

Мы снялись и побежали из порта. Я оглядывался на «Мираж». Вдруг я увидел белую птицу; она, чуть наклонив крыло, летела над морем — я не узнал «Миража». Я не видал, когда он поднял паруса. Казалось, не было корпуса: одни паруса, как перья, гнало ветром над водой.

Без шума, без всплеска он проскользил мимо нас и бросил, как стоячих.

— Машина, — сказал боцман и покрутил головой.

Хозяин сплюнул за борт.

Ветер с утра заметно упал. Я все последнее время следил за погодой и ждал, что к полудню будет мертвый штиль. С двух часов пойдет ветер с моря и раздуется часам к пяти до свеженького. К этому времени мы рассчитывали закончить нашу дистанцию.

Прямая между портовым маяком и мачтой судейского парохода — линия старта. Яхты добежали до прямой и отбежали назад, ожидая пушки. «Мираж» курсировал поодаль, «Мэри» стояла перед самым стартом, полоская парусами на ветре: стерегла старт, чтобы вырваться раньше «Миража». «Зарница» и «Джен» вертелись подле. На старте для развлечения публики оркестр играл вальс.

Пушка!

«Мэри» подобрала паруса и сунулась вперед. За ней «Джен» и «Зарница».

Да, так и вышло: первая прямая попутным ветром до вехи — она за шесть миль впереди.

Я не спешил. Я боялся только, чтоб прочая мелюзга, что шла для счету только, — чтоб она не замешкалась по дороге. Я смотрел и не проходил старта. Прошло восемь минут. «Мираж» не проходил. Я двинулся к старту, рисковать было нечего: я всегда мог отойти в сторону, пропустить «Мираж» вперед и потом выйти ему в корму и отнять ветер.

За минуту до второй пушки я прошел старт. Грянул выстрел, но «Мираж» уж вдвинул свой нос в линию старта. Это он сделал с жонглерской ловкостью. Я больше всего боялся, что он ударится прямо в сторону и большой зигзагой придет к вехе раньше, чем мы напрямки. А тогда ищи-свищи! Он так бы и сделал, догадайся он о «коробке». Но «Мираж», раскинув паруса, как бабочка крылья, легко понесся следом за ними. Когда я гля-

дел, как он нас догоняет, мне казалось, что он скользит с ледяной горы, и все скорей и скорей.

Его пронесло мимо нас.

— А ну! — продышал мне в ухо хозяин.

Я чуть положил руля, и наш «Буревестник» всем своим беленым забором — мне уж наши паруса казались досками — закрыл ветер «Миражу». У него ход сразу спал. Опали надутые паруса. Я видел, как он попробовал взять вправо и как «Зарница» открыто подставила борт. «Джен» подошла поближе с левой стороны «Миража». Уж совсем явно, совсем в открытую показали «контору», захлопнули в «коробку».

Я думал: что делать, если я нагоню «Мираж» вот теперь, когда он без ветра? Уменьшать паруса? Отпустить их слабее при попутном ветре я не могу.

Но все шло по-чудесному: «Мираж» с парусами «без ветра» шел не тише нас, и мы его не нагоняли.

Хозяин мой с носу пялился в цейсовский бинокль и кричал мне на корму:

— И они, каналы! Никто не обернулся ни разу. Скажите, райские птицы!

Он сбегал в каюту и вернулся оттуда жуя, с графинчиком и рюмкой.

— Одну? А? Не пьете в море? Ну, ну, святое дело!

Ветер падал. Он из последних силдохнул раза два и выдулся. Кой-где повеял в стороне — мазанул черными рябинками на море и стал; море поглянцевело.

— Ну вот, пожалуйста, — хозяин мой выгнутую ладошку совал к «Миражу», — можете чаек пить! Вы говорите, до двух часов? — обернулся он ко мне. — Дайте руль боцману, идемте вниз.

Да, море лоснилось и дышало длинными валами, как после работы.

Впереди, мили за две от нас, болталась черная шлюпка с обвисшим красным флагом. Нас течением относило понемногу влево и назад. До двух часов — где-то мы будем!..

Я пошел на нос и стал глядеть на «Мираж». В бинокль мне виден был рулевой в черном пиджаке и в серой кепке. Он что-то рукой показывал двум молодым людям. Что же это они? Они подтягивают паруса. Ну, ну, валяйте! «Мертвый штиль». Но через минуту мне показалось, что «Мираж» стал дальше. Да, он обходит «Зарницу»; «Мэри», что впереди, недвижна: она не может подставить корму, она не может не выпустить «Мираж». Хозяин мой два раза из каюты присылал матроса за мной. Но чем шел «Мираж»? Изредка, правда, передували сквознячки, но они и папиросной бумажки со стола не сдули. Зажженная спичка спокойно горела, как свеча. Хозяин прибежал за мной, когда «Мираж» уже обогнул веку.

— Да идите же! — И тянул меня за рукав. — Стоп! А где «Мираж»?

Я протянул руку.

— Да черт вас подери! Да что ж вы тут делали? Чего смотрели? Ах ты...

Он вернулся и топал по палубе каблуками. Он стучал кулаком по борту.

— Эх, ей-богу, я-то думал, беру человека... Тьфу, дьявол! — И он побежал в каюту.

А впереди «Миража», далеко правда, чернела полоса на море: видно, там работал какой-то ветерок. «Мираж» шел туда. Шел в полном штиле, как волшебной силой.

Нас несло течением все так же: влево и назад.

Мы видели, как «Мираж» подхватил ветер, как он прилег набок.

К трем часам ветер дошел до нас. И черт бы его, этот ветер: с ним прилетел и выстрел со старта.

«Мираж» кончил дистанцию, и нам больше нечего было делать: мы повернули и пошли назад.

Мы узнали, что «Мираж» прошел старт, сделал поворот и пошел в море, домой. Никто не съехал на пароход, чтобы выслушать решение судейской комиссии. «Мираж» не ответил на салют со старта, а молча пронесся мимо.

И даже не оглянулся никто — прибавляли.

Мне лет через пять рассказывали про эту гонку, но я не со-
знался, что «коробку» замыкал я.

СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ

- А н ш п у г** — рычаг для поднятия тяжестей или для вращения ручного шпиля.
- Б а к** — надстройка над палубой в носовой части судна.
- Б а н к а** — скамья в лодке.
- Б р а ш п и л ь** — механизм для подъема якоря.
- Б р и з** — ветер, дующий днем с моря, а ночью с берега.
- Б у ш п р и т** — приспособление для отдачи якоря.
- В а н т ы** — тросы, которыми мачта крепится к бортам.
- В е с т** — запад, а также западный ветер.
- Г р о т** — так называется вторая от носа мачта и парус, расположенный на ней.
- Д р е й ф** — снос судна под влиянием ветра.
- Д у б о к** — в Черном море так называют небольшое парусное судно.
- З ы б ь** — волна без ветра.
- З ю й д** — юг.
- К у б р и к** — жилое помещенне для команды.
- К у т т е р** — небольшое двухмачтовое судно.
- Л и н ь** — пеньковый трос.
- Л о т** — прибор для измерения глубины.
- Н а й т о в а т ь** — перевязывать тросами или крепить тросом.
- Н а к т о у з** — предохранительный колпак с фонарями на компасе.
- О с т** — восток.
- П е р е м ё т ы** — рыбачьи снасти.
- П л а н ш и р ь** — верхняя часть борта.
- П р и в е с т и к в е т р у** — поставнть судно носом против ветра.
- П о д з а н ы р** — на дно, под воду.
- Р е й д** — часть порта, отведенная для стоянки судов.
- Р е я** — деревянная поперечина на мачте, к которой привязывается «прямой парус».
- Р у м п е л ь** — рычаг, при помощи которого поворачивают руль.
- С а л и н г** — поперечные брусья в верхней части мачты.
- С н а с т и** — тросы, входящие в вооружение судна.
- С т е н ь г а** — продолжение мачты, ее верхняя, надставная часть.
- Т а б а н и т ь** — грести назад.
- Т р а п** — лестница.
- Ф а л ь ш ф е й е р** — бумажная гильза, наполненная горючим составом, дающим разные цвета. Применяется для сигнализации.
- Ф о р ш т е в е н ь** — носовая оконечность судна.
- Ш к в а л** — резкое увеличение силы ветра.
- Ш к о т** — снасть, которая удерживает парус в нужном положении.
- Ш т и л ь** — спокойная поверхность моря при полном безветрии.
- Ш т у р в а л** — рулевая машина.

РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ

ПРО ВОЛКА

ДИКИЙ ЗВЕРЬ

У меня был приятель-охотник. И вот раз собрался он на охоту и спрашивает меня:

— Чего тебе привезти? Говори — привезу.

Я подумал: «Ишь хвастает! Дай загну похитрей чего-нибудь» — и сказал:

— Привези мне живого волка. Вот что.

Приятель задумался и сказал, глядя в пол:

— Ладно.

А я подумал: «То-то! Как я тебя срезал! Не хвастай».

Прошло два года. Я и забыл про этот наш разговор. И вот раз прихожу я домой, а мне в прихожей уж говорят:

— Тебе там волка принесли. Какой-то человек приходил, тебя спрашивал. «Он волка, говорит, просил, так вот передайте». А сам к двери.

Я, шапки не снимая, кричу:

— Где, где он? Где волк?

— У тебя в комнате заперт.

Я был молодой, и мне стыдно казалось спрашивать, как он там сидит: связанный или просто на веревке. Подумают, что трушу. А сам думаю: «Может быть, он ходит по комнате, как хочет, — на свободе?»

А трусить я стыдился. Набрал я воздуха в грудь и дернул в свою комнату. Я думал: «Сразу-то он не бросится на меня, а потом... потом уж как-нибудь...» Но сердце сильно билось. Я быстрыми глазами оглянул комнату — никакого волка. Я уж обозлился — надули, значит, подшутили, — как вдруг услышал, что под стулом что-то ворочается. Я осторожно пригнулся, поглядел с опаской и увидел головастого щенка.

Я вот говорю — увидел щенка, но сразу же было видно, что это не собачий щенок. Я понял, что волчонок, и страшно обрадовался: приручу, и будет у меня ручной волк.

Не надул охотник, молодец: привез мне живого волка!

Я осторожно подошел, — волчонок стал на все четыре лапы и насторожился. Я его разглядел: какой он был урод! Он почти весь состоял из головы — как будто морда на четырех ножках, и морда эта вся состояла из пасти, а пасть из зубов. Он на меня оскалился, и я увидел, что у него полон рот белых и острых, как гвозди, зубов. Тело было маленькое, с редкой бурой шерстью, как щетина, и сзади крысиный хвостик.

«Ведь волки серые... А потом, щенята всегда бывают хорошенькие, а это дрянь какая-то: одна голова да хвостик. Может быть, и не волчонок вовсе, а просто для смеха что-нибудь. Надул охотник, оттого и удрал сразу».

Я смотрел на щенка, а он пятился под кровать. Но в это время вошла моя мать, присела у кровати и позвала:

— Волченька! Волченька!

Смотрю, волчонок выполз, а мать подхватила его на руки и гладит — чудище этакое! Она его, оказывается, уже два раза поила с блюдца молоком, и он сразу ее залюбил. Пахло от него едким звериным запахом. Он чмокал и совался мордочкой маме под мышку.

Мать говорит:

— Если хочешь держать, так надо его мыть, а то вонь будет от него на весь дом.

И понесла его в кухню. Когда я вышел в столовую, все смеялись, что я таким героем ринулся в комнату, будто там страшный зверь, а там щенок.

В кухне мать мыла волчонка зеленым мылом, теплой водой, а он смирно стоял в корыте и лизал ей руки.

КАК Я УЧИЛ ВОЛКА «ТУБО»

Я решил, что сызмальства надо начать волчонка учить, а то, как вырастет большой зверь, с ним уж тогда ничего не поделаешь. Вот он еще маленький, а зубищи уж какие во рту. А вырастет — держись тогда. Первое, думал я, надо научить его «тубо». Это значит — «не тронь». Чтоб как крикну «тубо», так чтоб он даже изо рта выпускал, что схватил.

И вот я взял волчонка в свою комнату, принес плошку с молоком и хлебом, поставил на пол. Волчонок потянул носом, учуял молоко и заковылял на лапках к плошке. Только он сунул морду в молоко, я как крикну:

— Тубо!

А он хоть бы что: чавкает и урчит от радости.

Я опять:

— Тубо! — и дернул его назад.

И вот тут он сразу как рывкнет на меня, голову повернул, зубами щелкнул — как молнией ударил. И так по-лесному, по-

звериному вышло у него, что меня на один миг жуть взяла. Я от взрослой собаки такого не слышал, — вот оно что значит волк-то...

Ну, думаю, если он с малых лет так, то что же потом-то? Не подойти тогда уж, прямо съест. Нет, думаю, надо его страхом взять, пусть он привыкнет бояться моей руки.

Я снова крикнул «тубо» и стукнул кулаком волчонка по голове. Он ударился челюстью о плоску и взвизгнул, совсем поребачьи. Но он не мог оторваться от молока, облизнулся и снова в плоску.

Я крикнул не своим голосом:

— Тубо, дрянь этакая! — и опять ударил кулаком.

Волчонок отскочил от плоски и заковылял на тонких лапках вдоль стенки. Бежал и тряс от боли головой. С мордочки текло молоко, и он был обиженно.

Обежал по стенке всю комнату, и ноги сами понесли его к молоку.

Хоть мне было стыдно, что я ударил так сильно такого маленького, но я все же решил настоять на своем.

Как только волчонок начал есть, я снова крикнул «тубо». Он наспех огрызнулся и залакал скорее. Я стукнул его кулаком. Он завыл, бросился, и я не успел его схватить, как он уже отворил мордой дверь и стремглав побежал вон. Он побежал к матери, сунул ей в юбку мокрую морду и заскулил громким голосом на всю квартиру.

Все сбежались, стали гладить волка, а меня ругали, что я мучаю такого маленького.

Маме он всю юбку запачкал молоком и заслюнявил.

Потом он целый день бегал за матерью, а меня так все заругали, что я пошел гулять.

Я на всех дома обиделся. Я думал: «Им хорошо говорить: «Волченька, миленький да бедненький», а вот когда вырастет зверище-волчище с громадными зубами, тогда все в доме начнут кричать: «Гляди, что волчище наделал! Твой волк, девай его куда хочешь». Тогда все на меня будут валить. «Завел, скажут, зверя в доме, теперь и расхлебывай». И я решил, что уеду из дому, найму себе маленькую квартиру и буду там жить со своей собакой, с кошкой и с волком.

Я так и сделал: нашел комнату с кухней, нанял и переехал с моими зверями на новую квартиру.

Надо мной смеялись:

— Скажите, Дуров какой у нас завелся! Со зверями будет жить.

А я думал: «Дуров не Дуров, а волк ручной у меня будет».

Собачка у меня была рыженькая, маленькая. Она была потайного и ехидного характера. Звали ее Плишка. Плишка была чуть побольше волчонка. Волчонок, как ее увидал, побежал к ней, хо-

тел поиграть, повозиться. А Плишка ошетибилась, оскалилась, как огрызнется:

— Рраф!

Волчонок испугался, обиделся и побежал искать мою мать, но я уже жил один. Он скулил, бегал по комнате, искал в кухне и прибежал наконец ко мне. Я его приласкал, посадил рядом с собой на кровать и позвал Плишку. Дай, думаю, я вас примирю. Я заставил Плишку лечь рядом с волчком. Она, дрянь, все время подымала губу, показывала зубы и шепотом ворчала — ей, видно, противно было лежать рядом с волчком. А он пробовал ее нюхать, даже лизнул. Плишка дрожала от злости, но куснуть волчка при мне не смела.

«Ну, — думаю, — как же я их одних-то дома оставлю, как пойду на работу? Заест волчка Плишка, закусает». И я решил взять утром Плишку с собой. Она была очень муштрованная, и утром на службе я повесил на вешалку пальто, а Плишке сказал, чтоб стерегла и не сходила с места. Когда мы с Плишкой вернулись домой, то волчонок так обрадовался Плишке, что бросился к ней со всех своих кривых ножек и с разбегу сбил собаку и навалился на нее. Плишка пружиной вскочила, и я крикнуть не успел — она цап волчка за ухо. Но тут вышло не то: волчонок как рывкнет и так лязгнул зубами — быстро, как молния, — что Плишка кубарем в угол, прижалась и, рот раскрыв, рычала испуганным хрипом.

Кошка Манефа важно вошла в двери посмотреть, что за скандал. Волчонок тряс больным ухом и бегал по комнате, на все натыкался крепким лбом. Манефа на всякий случай вскочила на табурет. Я боялся, что ей придет в голову сверху царапнуть волчка. Нет, Манефа уселась поудобней и только следила глазами, как метался волчонок.

Я принес с собой овсянки и костей для волка и отдал дворничихе Аннушке сварить.

Когда она принесла горячий котелок, то сейчас же заметила волчка:

— Что это собачка какая безобразная? — И присела на корточки. — Это какая же порода будет?

Я не хотел, чтобы в доме знали, что есть волк, и думал, что бы такое соврать, как тут Аннушка пригляделась и говорит:

— Уж не волчонок ли? Да верно ведь, волчонок. Ах, бедный ты мой!

Смотрю, уж гладит его. Я сказал:

— Аннушка, пожалуйста, никому не надо говорить. Я хочу вырастить, пусть ручной будет.

— Да мне зачем же рассказывать, — говорит Аннушка, — а только, знаете, говорится: сколь волка ни корми, а он все в лес глядит.

И я договорился с Аннушкой, что она будет у меня прибирать

и варить, а волку варить варево из овсянки с костями каждый день.

Я дал всем зверям есть, каждому в своем углу, каждому из своей кормушки.

Волчонок чавкал своей овсянкой, а Плишка свое быстро сожрала, оглянувшись на меня. Я в зеркало следил за ней, а она этого не понимала и думала, что я сзади ничего не увижу. И вот я вижу в зеркале, как она по стенке тихонько крадется к волку. Еще раз оглянувшись на меня и втихомолку подворачивает на волка. Осканилась всем ртом, глаза злые, и надвигается шаг за шагом.

«Ну,— думаю,— залезь ты ему в кормушку, вытяну я тебя ремнем, будешь знать. Все вижу, голубушка».

Но вышло иначе. Только Плишка сунула морду к кормушке, волк — врык! — лязгнул зубами, да не мимо, а прямо Плишку за морду. Она отскочила с визгом, и тут с ней сделался прямо-таки припадок: она носилась по комнате, по кухне, кидалась в прихожую и так отчаянно выла, будто на ней вся шерсть огнем горит. Я ее звал, но она делала вид, что не слышит, и только поддавала визгу еще пронзительней. А волчонок чавкал в своей плошке. Я ему подлил туда молока, и он спешил, лакал, только дух успевал переводить. Я выгнал Плишку на двор и во дворе слышал, как она пробовала скандалить.

Все соседи думали, что я нечаянно ошпарил собаку кипятком.

А волка я каждый день учил «тубо». И теперь дело двинулось вперед: только я крикну «тубо», волчонок стремглав бежал прочь от кормушки.

СОБАКИ СКАНДАЛЯТ

Я каждый вечер ходил со зверями на прогулку. Плишка была приучена бежать рядом с правой ногой, а Манефа сидела у меня на плече. Улицы были около моей квартиры пустынные, и, правду сказать, места воровские — народу попадалось мало, и некому было пальцем показывать, что вот идет взрослый мужчина с кошкой на плече. И вот я решил теперь пойти гулять вчетвером — взять с собой волка. Я купил ему ошейник, цепочку и пошел вечером по улице: волчонок ковылял с левой стороны, но его приходилось подергивать за цепочку, чтоб он шел рядом. Думал, нас никто не заметит. Но вышло не так: нас заметили и подняли скандал. Только не люди, а собаки.

Первая попалась маленькая собачонка, Плишкина знакомая. Она разбежалась было к нам, но вдруг насторожилась, зафыркала и стала красться за волчком, нюхать след. Потом бросилась в свои ворота и оттуда таким залилась тревожным лаем, что во всех дворах отозвались собаки. Я никогда и не думал, что столько собак на нашей улице. Собаки стали выскакивать из ворот, встревоженные, ошетинились и со злым испугом издали надвигались

на волка. А он жался к моей ноге и вертел своей лобастой мордой. Я уж думал: не взять ли мне волчонка на руки да не повернуть ли домой, пока собаки не бросились на него? Из ворот уж стали высовываться люди, глядеть, что случилось. Плишка снизу заглядывала мне в лицо: что же, дескать, делать? Какой, значит, переполох из-за этого чучела мордатого! Но я уж не боялся: собаки ближе трех шагов не решались подойти к волчонку. Каждая провожала нас лаем до своего дома и пятилась задом в свои ворота.

Успокоился и волк. Он уже не вертел головой, а только не отставал и бежал, плотно держась у моей ноги.

— Что,— сказал я Плишке,— наша взяла?

Мы вышли на людные улицы, где собак не было, а когда возвращались, уже все ворота были на запоре и собак на улице не было. Но Волчик очень радовался, когда пришел домой. Он стал возиться, как щенок, повалил Плишку, валял ее по полу, а она терпела и не смела при мне огрызаться.

ВЫРАСТАЕТ

А на другой день, когда я возвращался, я увидел на дворе Аннушку: она в лоханке стирала белье, а около нее, свернувшись клубочком, грелся на солнце волчонок.

— Я его на солнышко взяла,— говорит Аннушка.— Уж что, в самом деле, и свету животное не видит.

Я позвал:

— Волчик! Волчик!

Он нехотя встал, расставил ноги, как поломанная кровать, и стал потягиваться, совсем как собака. Потом вильнул своим веревочным хвостиком и побежал ко мне.

Я так обрадовался, что он идет на зов, что сейчас же без всякого «тубо» скормил ему сдобную булку. Я хотел уже взять его в комнату, тут Аннушка говорит:

— Как раз кончила, а вода осталась, давайте-ка я и его. А то дух от него уж очень волчий.

Подхватила его под мышку и поставила в лохань. Она его мыла, как хотела, и он стоял смешной, весь в белой пене. Он даже ни разу не зарычал на дворничиху, когда она его обдавала теплой водой начисто. С тех пор его мыли каждую неделю. Он был чистый, шерсть стала блестеть, и я не заметил, как уж хвост у волчонка из голой веревки стал пушистым, сам он стал сереть и обратился в хорошенькую веселую собачку.

БОЙ С МАНЕФОЙ

И вот раз кормил я моих зверей, и Манефа, сидя на табурете, доедала рыбешку. Волчонок кончил свое и полез к кошке. Он стал лапками на табурет и потянулся мордой к рыбе. Я не успел крикнуть «тубо», как Манефа зашипела, хвост веником и — раз! раз! — надавала волку по морде. Он завизжал, присел и вдруг бросился настоящим зверем на кошку. Все это было в одну секунду: волк опрокинул табурет, но кошка подпрыгнула на всех четырех лапах и успела рвануть его когтями по носу, — я боялся, чтоб не выцарапала глаза. Я крикнул «тубо» и бросился к волку. Но он уж сам бежал ко мне, а кошка насккивала сзади и старалась процарапать сквозь шерсть. Я стал гладить и успокаивать волчонка. Глаза были целы, — оказался порядочный шрам на носу. Шла кровь, и волчонок зализывал языком больное место. Плишка во время боя скрылась. Я с трудом вызвал ее из-под кровати. Там была лужа.

Вечером волк лежал на подстилке. Манефа — хвост трубой — королевой разгуливала по комнате. Когда проходила мимо волка, он рычал, но она и головы не поворачивала, а спокойно терлась о мою ногу и мурлыкала на сытое брюхо.

«ОСОБОЙ ПОРОДЫ»

В доме уж все считали, что у меня две собаки. И, когда спрашивали про Волчика, я говорил, что это овчарка, мне подарили, — особой породы.

Но вот раз ночью я проснулся от странного звука. Мне сонья показалось сначала, что пьяный ревет за окном. Но потом разобрал я, в чем дело. Волк. Волк завыл...

Я зажег свечку. Он сидел среди комнаты, подняв к потолку морду. Он не оглянулся на свет, а выводил ноту, и такую лесную звериную тоску выводил он голосом на весь дом, что делалось жутко.

Вот тебе и «овчарка особой породы». Этак он весь дом перебудит, и уж тут не скроешь, что волк. Пойдут охи, ахи: «Волк во дворе». Все хозяйки заскандалят и выгонят меня завтра же вон из дому с моими кошками и овчарками. Наверху генеральша живет, злая и вздорная. «Помилуйте, — скажет, — живешь как в лесу, всю ночь волки воют. Благодарю покорно». Это я все знал наверное, и надо было сейчас же прекратить этот вой.

Я вскочил, присел к волку, стал гладить, но он глянул на меня и снова запрокинул голову.

Я дернул его за ошейник и повалил на пол. Он как будто опомнился, встал, встряхнулся, зазвонил пряжками. Я побежал в кухню и достал толстую кость из супа. Волк улегся на подстилке



и стал грызть. Грыз он своими белыми зубами большие воловьи кости, как сухари. Только хрустело. Я потушил свечу, стал было засыпать, — как дернет мой волк ноту, крепче прежнего. Я быстро оделся и вытащил волка на двор. Я стал с ним играть, бегать по двору. И я заметил тут, ночью, что, не зная, я принял бы его за порядочного дворового пса. И вот никто не замечал: пес мой не лаял. Беда, если узнают, что он по ночам воет!

Теперь мне ночью не стало покоя. Я по часу, бывало, сидел и уговаривал волка, я его занимал, совал ему кости, чтоб как-нибудь он забыл про вой. Я за ним ухаживал, как за больным, у которого бывают припадки. Недели через две он бросил выть. Но за это время мы с ним сдружились. Когда я возвращался домой, он ставил мне на плечи лапы, и я чувствовал, какие они крепкие у него — как железные палки. Я с ним гулял днем, и все смотрели на большую собаку с особенной походкой. Когда он бежал, он так легко пружинил задними ногами; он умел смотреть назад, совсем свернув голову к хвосту, и бежать в то же время прямо вперед.

УЗНАЛИ

Он был совсем ручной, и знакомые, когда приходили, гладили его и трепали по спине, как простую собаку.

И вот раз сижу я в парке на скамейке. Меж коленями у меня уселся на земле волк и дышит жарким духом, свесив длинный язык через зубы.

Маленькие дети играли в песке, а няньки на скамейке лузгали семечки.

Ребята стали подходить ко мне.

— Какая хорошая собака! Пушистая и язык красный. Не кусается?

— Нет, — говорю. — Она смирная.

— Можно немножко погладить?

Я сказал волку «тубо». Он уж это хорошо знал, и дети, кто посмелее, стали осторожно гладить. Я гладил заодно с ними, чтоб волк знал, что и моя рука тут. Няньки подходили, спрашивали:

— Не укусит?

Вдруг одна нянька подошла, глянет, да как заохает:

— Ой, матушки, волк!

Дети взвизгнули, прыгнули, как цыплята. Волк так перепугался, что волчком повернулся на месте, запрятал мне между колен свою морду и прижал уши.

Когда все немного успокоились, я сказал:

— Сами волка напугали. Видите, какой он смирный.

Но уж куда там! Няньки ребят за руку прочь тянут и огляды-

ваться не велят. Только два мальчика, что без нянек были, подошли ко мне, стали на метр и говорят:

— Верно — волк?

— Верно, — говорю.

— Настоящий?

— Настоящий.

— А ну, — говорят, — забожись.

— Ей-богу, — говорю, — настоящий.

— Ага, — говорят, — то-то ты его себе к руке и привязал. Ну, дай еще погладить. Настоящего-то.

Это было действительно так: я цепь от волка привязывал ремнем к левой руке — в случае дернется или бросится, уж от меня он не оторвется. Пусть я даже упаду с ног — все равно не уйдет.

ПРОЗЕВАЛ

Аннушка так приучила волка, что он за ворота один ни за что. Подойдет к калитке, глядит на улицу, носом воздух тянет, нюхает, рычит на проходящих собак, но за порог лапой не переступает. Может быть, сам он боялся один выскакивать.

Вот я раз вернулся домой. Аннушка сидела во дворе, шила на солнышке под окном, а волк у ней в ногах клубком лежал — серая большая животина. Я окликнул; волк вскочил ко мне. И тут я вспомнил, что не купил папирос. А разносчик стоял в десяти шагах от ворот с лотком. Я выскочил из ворот, волк — за мной. Беру у разносчика сдачи и слышу — сзади собачий лай, рывканье, склока. Оглянулся — ай, беда! Сидит мой волк, прижался в угол ворот, а две большие собаки набросились, приперли его, наступают. Волк головой крутит, глазищи горят, и зубы лязгают быстро, как выстрелы: хляст! Хляст! Вправо, влево!

Собаки напирают, ищут местечка, где б ухватить, и лай такой стоит, что моего крика не слышно. Я бросился к волку. Собаки, видно, поняли, что вот человек бежит им на помощь, и одна бросилась на волка.

Мигнуть не успел, как волк рванул ее за загривок и швырнул на мостовую. Она покатилась и с визгом пустилась прочь. Другая прыгнула за меня.

Волк ринулся, сбил меня с ног, но я успел ухватить его за ошейник, и он проволоч меня шага два по мостовой. Лоточник с лотком скорей в сторону. А волк рвется, я на спине барахтаюсь, ошейника не отпускаю.

Тут выбежала из ворот Аннушка. Она забежала спереди и уткнула волчью морду к себе в колени.

— Пускайте, — кричит, — я уж взяла!

Верно: Аннушка взяла волка за ошейник, и мы вдвоем увели его домой.

Когда я потом вышел за ворота, то увидел кровь. Кровавая дорожка шла через площадь, куда побежала собака. Я вспомнил, что на наш скандал собралось смотреть много народу, а из окон высунулись жильцы. И кто-то кричал: «Бешеная! Бешеная!»

Это кричала генеральша, что жила надо мной.

Б Е Д А

Я два дня не выпускал волка во двор, только по вечерам водил его на цепочке гулять. На вторую ночь он завыл, и завыл нестерпимо: громко, как труба, и так отчаянно, так тоскливо, будто ревет над покойником. Мне в потолок постучали.

Я выскочил с волком во двор. Я видел, как в окнах вспыхнул свет, как замелькала тень. Видно, барыня всполошилась.

Наутро я слышал, как во дворе она кричала на дворника: — Безобразие! Где это позволяют держать бешеных собак в доме? Воет волком по ночам. Всю ночь не спала. Сейчас же заявлю. Сейчас же!

Аннушка принесла овсянку волку вся заплаканная.

— Что случилось? — спрашиваю.

— Да уж чего хуже — скандалит барыня. В полицию, говорит, заявлю! Так дворника этого, мужа моего, значит, вон из дому: укрывает бешеных собак, ни за чем, говорит, не смотрит. А он мне как родной.

— Кто это? — говорю.

— Да Волчик-то! — И присела к нему, гладит. — Кушай, кушай, родименький. Сиротинка моя!

Когда я шел со службы домой, меня на улице остановил полицейский пристав:

— Простите, это вы волка держите?

Я смотрел на пристава и не знал, что сказать.

— Да ведь я давно знаю, — говорит пристав. Ухмыляется и ус покручивает. — Там, видите, жалоба поступила. Генеральша Чистякова. Но, знаете, вот что вам посоветую: подарите-ка мне вашего зверя, ей-богу. — И пристав просительно улыбнулся. — Ей-богу, подарите. У меня в имении овцы, а стерегут их овчарки. Вот такие. — И показал почти на метр от земли. — Так вот от вашего волка хорошие детки будут — злые, первый сорт. И он с собаками сдружится, на воле жить будет. А? Право же. А в городе вам одни скандалы с ним будут. Это уж я ручаюсь, что скандалы будут. — И тут пристав нахмурился. — Вот уж одна жалоба есть: имейте в виду. Так как же? По рукам, что ли?

— Нет, — сказал я. — Мне жалко дарить. Я как-нибудь устрою.

— Ну, продайте! — крикнул пристав. — Продайте, черт возьми! Сколько хотите?

— Нет, и не продам, — сказал я и пошел скорее прочь.

— Так я украду! — крикнул пристав мне вслед. — Слышите: у-кра-ду!

Я махнул рукой и пошел еще скорей.

Дома я рассказал Аннушке, что говорил пристав.

— Берегите волка, — сказал я.

Аннушка ничего не ответила, только насупилась.

На дворе я столкнулся с генеральшей Чистяковой. Она вдруг загородила мне дорогу. Глядит мне зло в глаза, и нижняя губа трясется. И вдруг как стукнет зонтиком об пол:

— Скоро ли мы избавимся от опасности?

— От какой? — спрашиваю.

— От собаки от бешеной! — кричит генеральша.

— Вас, видно, мадам, укусила, только это не моя.

И я пошел в ворота.

ИЗ ПЛЕНА

Прошло дней пять. Я был на службе. Мне сказали, что меня спрашивает какая-то женщина, и чтоб сейчас, немедленно. Я побежал. На лестнице стояла Аннушка.

— Ой, бегите, — говорит, — скорей бегите: волка нашего пристав в участок взял. Там в полиции сидит.

Я схватил шапку. По дороге Аннушка мне сказала, что пристав приказал дворнику отвести волка в полицию и что дворник не посмел послушаться: отвел и привязал во дворе в полиции.

Когда я открыл калитку в полицейских воротах, то сразу увидел в конце двора гурьбу народа: городовые и пожарные густой кучей стояли, галдели, вскрикивали. Я быстро прошел через двор и, уж когда подходил, слышал, как кричали:

— Что, серый, попался?

Я протолкался через людей. Волк на цепочке был привязан к кольцу. Он сидел на задних лапах, поджал хвост и огрызался на городских. Волк первый заметил меня. Он дернулся, вскочил на задние лапы и натянул цепь. Все отпрянули назад. Я снял цепь с кольца и быстро намотал на руку.

Кругом заголосили:

— Куда ты его? Что он, твой?

— А если ты хозяин, так возьми! — крикнул я.

Все расступились. Вдруг кто-то заорал:

— Калитку на запор, скорей!

И один городской побежал бегом к воротам.

— Стой! Волка спущу! — закричал я на весь двор.

Городовой отскочил и стал.

А волк меня так тянул, что я едва вприпрыжку поспевал за ним. Мы добежали до калитки, я откинул дверь, волк прыгнул через порог и бросился вправо, домой. Сзади засвистели. Мы были уже за углом. Сейчас площадь, а через площадь и наш дом. Я слышал, что сзади топали ноги, свистели свистки. Но я не оглядывался и бежал. Вот сейчас площадь. Площадь пустая. А вон Аннушка стоит у ворот. Я бросил цепочку, и волк громадными прыжками стал устилать к дому. Аннушка присела на корточки, и я видел, как она поймала его за шею.

Я перевел дух и оглянулся: двое городских остановились. Один зло плюнул в землю и махнул рукой.

СОВСЕМ КОНЕЦ

Я решил переехать в другой район, где этот пристав не начальник и где уж он ничего не значит. Я стал подыскивать новую квартиру. Я корил дворника за подлость:

— Зачем же было уводить волка у меня? За что же гадость мне такую делать?

— Да вы, — говорит, — в мое положение войдите: вам волк — забава, а ведь если я его не приведу, когда велят, это выходит, что с места вон. Я ведь только метлой и могу орудовать. Выгонят — куда пойду? Вы меня, что ли, кормить будете? Разве к вам в волки наняться?

Я уж не знал, что говорить. Ладно, перееду.

Я видал пристава через улицу. Он сделал хитрое лицо и лукаво погрозил мне пальцем. А я ему тоже.

Я купил волку намордник. Он сначала срывал его лапами, но все-таки привык, и теперь, в ошейнике, с намордником, он был совсем как собака.

Все свободное время я ходил с волком — мы искали квартиру. Я уж совсем нашел, оставалось только переехать.

И вот я раз вернулся домой со службы. В воротах Аннушка в слезах:

— Опять! Опять!

— Что, увели? — И я дернулся, чтоб бежать в полицию.

Но Аннушка ухватила меня за рукав:

— Без дела пойдете. Увез, увез, окаянный, к себе! Сама видела, как на подводу поклали. Связали — и на сено. А коней не удержат.

Я все-таки побежал в участок. Пристава не было: он уехал к себе в имение.

Я узнал: все было, как сказала Аннушка.

ПРО СЛОНА

Мы подходили на пароходе к Индии. Утром должны были прийти. Я сменился с вахты, устал и никак не мог заснуть: все думал, как там будет. Вот как если б мне в детстве целый ящик игрушек принесли и только завтра можно его раскупорить. Все думал: вот утром сразу открою глаза, и индусы, черные, заходят вокруг, забормочут непонятно, не то что на картинке. Бананы прямо на кусте, город новый — все зашевелится, заиграет. И слоны! Главное — слонов мне хотелось посмотреть. Все не верилось, что они там не так как в зоологическом, а запросто ходят, возят: по улице вдруг такая громада прет!

Заснуть не мог, прямо ноги от нетерпения чесались. Ведь это, знаете, когда сушей едешь, совсем не то: видишь, как все постепенно меняется. А тут две недели океан — вода и вода, — и сразу новая страна. Как занавес в театре подняли.

Наутро затопали на палубе, загудели. Я бросился к иллюминатору, к окну, — готово: город белый на берегу стоит; порт, суда, около борта шлюпки; в них черные в белых чалмах — зубы блестят, кричат что-то; солнце светит со всей силы, жмет, кажется, светом давит. Тут я как с ума сошел, задохнулся прямо: как будто я — не я и все это сказка. Есть ничего с утра не хотел. Товарищи дорогие, я за вас по две вахты в море стоять буду — на берег отпустите скорей!

Выскочили вдвоем на берег. В порту, в городе все бурлит, кипит, народ толчется, а мы — как оголтелые и не знаем, что смотреть, и не идем, а будто нас что несет (да и после моря по берегу всегда странно ходить). Смотрим — трамвай. Сели в трамвай, сами толком не знаем, зачем едем, лишь бы дальше, — очумели прямо. Трамвай нас мчит, мы глазеем по сторонам и не заметили, как выехали на окраину. Дальше не идет. Вылезли. Дорога. Пошли по дороге. Придем куда-нибудь!

Тут мы немного успокоились и заметили, что здорово жарко. Солнце над самой маковкой стоит; тень от тебя не ложится, а вся тень под тобой: идешь и тень свою топчешь.

Порядочно уже прошли, уж людей не стало встречаться, смотрим — навстречу слон. С ним четверо ребят — бегут рядом по дороге. Я прямо глазам не поверил: в городе ни одного не видали, а тут запросто идет по дороге. Мне казалось, что из зоологического вырвался. Слон нас увидел и остановился. Нам жутковато стало: больших при нем никого нет, ребята одни. А кто его знает, что у него на уме? Мотанет раз хоботом — и готово.

А слон, наверно, про нас так думал: идут какие-то необыкновенные, неизвестные, — кто их знает? И стал. Сейчас хобот загнул крючком, мальчишка старший стал на крюк на этот, как на подножку, рукой за хобот придерживается, и слон его осторожно отправил себе на голову. Тот там уселся между ушами, как на

столе. Потом слон тем же порядком отправил еще двоих сразу, а третий был маленький, лет четырех, должно быть, — на нем только рубашонка была коротенькая, вроде лифчика. Слон ему подставляет хобот — иди, мол, садись. А он выкрутасы разные делает, хохочет, убегает. Старший кричит ему сверху, а он скачет и дразнит — не возмешь, мол. Слон не стал ждать, опустил хобот и пошел — сделал вид, что он на его фокусы и смотреть не хочет. Идет, хоботом мерно покачивает, а мальчишка вьется около ног, кривляется. И как раз, когда он ничего не ждал, слон вдруг хоботом цап! Да так ловко! Поймал его за рубашонку сзади и подымает вверх осторожно. Тот руками, ногами, как жучок. Нет уж! Никаких тебе. Поднял слон, осторожно опустил себе на голову, а там ребята его приняли. Он там, на слоне, все еще воевать пробовал.

Мы поравнялись, идем стороной дороги, а слон с другого бока и на нас внимательно и осторожно глядит. А ребята тоже на нас пялятся и шепчутся меж собой. Сидят, как на дому, на крыше.

«Вот, — думаю, — здорово: им нечего там бояться. Если б и тигр попался навстречу, слон тигра поймает, схватит хоботищем поперек живота, сдавит, швырнет выше дерева и, если на клыки не подцепит, все равно будет ногами топтать, пока в лепешку не растопчет».

А тут мальчишку взял, как козявку, двумя пальчиками: осторожно и бережно.

Слон прошел мимо нас; смотрим, сворачивает с дороги и попер в кусты. Кусты плотные, колючие, стеной растут. А он через них, как через бурьян, — только ветки похрустывают, — перелез и пошел к лесу. Остановился около дерева, взял хоботом ветку и пригнул ребятам. Те сейчас же повскакали на ноги, схватились за ветку и что-то с нее обирают. А маленький подскакивает, старается тоже себе ухватить, возится, будто он не на слоне, а на земле стоит. Слон пустил ветку и другую пригнул. Опять та же история. Тут уж маленький совсем, видно, в роль вошел: совсем залез на эту ветку, чтоб ему тоже досталось, и работает. Все кончили, слон пустил ветку, а маленький-то, смотрим, так и полетел с веткой. Ну, думаем, пропал — полетел теперь, как пуля, в лес. Бросились мы туда. Да нет, куда там! Не пролезть через кусты: колючие, и густые, и путаные. Смотрим, слон в листьях хоботом шарит. Нашупал этого маленького, — он там, видно, обезьянкой уцепился, — достал его и посадил на место. Потом слон вышел на дорогу впереди нас и пошел обратно. Мы за ним. Он идет и по временам оглядывается, на нас косится: чего, мол, сзади идут какие-то? Так мы за слоном пришли к дому. Вокруг плетень. Слон отворил хоботом калиточку и осторожно просунулся во двор; там ребят спустил на землю. Во дворе индуска на него начала кричать чего-то. Нас она сразу не заметила. А мы стоим, через плетень смотрим.

Индуска орет на слона, — слон нехотя повернулся и пошел к колодцу. У колодца врыты два столба, и между ними вьюшка; на ней веревка намотана и ручка сбоку. Смотрим, слон взялся хоботом за ручку и стал вертеть; вертит как будто пустую, вытащил — целая бадья там на веревке, ведер десять. Слон уперся корнем хобота в ручку, чтобы не вертелась, изогнул хобот, подцепил бадью и, как кружку с водой, поставил на борт колодца. Баба набрала воды, ребят тоже заставила таскать — она как раз стирала. Слон опять бадью спустил и полную выкрутил наверх. Хозяйка опять его начала ругать. Слон пустил бадью в колодец, тряхнул ушами и пошел прочь — не стал воду больше доставать, пошел под навес. А там в углу двора на хлипких столбиках навес был устроен — только-только слону под него подлезть. Сверху камышу накидано и каких-то листьев длинных.

Тут как раз индус, сам хозяин. Увидал нас. Мы говорим — слона пришли смотреть. Хозяин немного знал по-английски. Спросил, кто мы; все на мою русскую фуражку показывает. Я говорю — русские. А он и не знал, что такое русские.

— Не англичане?

— Нет, — говорю, — не англичане.

Он обрадовался, засмеялся, сразу другой стал; позвал к себе.

А индусы англичан терпеть не могут: англичане давно их страну завоевали, распоряжаются там и индусов у себя под пяткой держат.

Я спрашиваю:

— Чего это слон не выходит?

— А это он, — говорит, — обиделся, и, значит, не зря. Теперь нипочем работать не станет, пока не отойдет.

Смотрим, слон вышел из-под навеса, в калитку — и прочь со двора. Думаем, теперь совсем уйдет. А индус смеется. Слон пошел к дереву, оперся боком и ну тереться. Дерево здоровое — прямо все ходуном ходит. Это он чешется так вот, как свинья об забор.

Почесался, набрал пыли в хобот и туда, где чесал, пылью, землей как дунет! Раз, и еще, и еще! Это он прочищает, чтобы не заводилось ничего в складках: вся кожа у него твердая, как подошва, а в складках — потоньше, а в южных странах всяких насекомых кусачих масса.

Ведь смотрите какой: об столбики в сарае не чешется, чтобы не развалить, осторожно даже пробирается туда, а чесаться ходит к дереву. Я говорю индусу:

— Какой он у тебя умный!

А он хохочет.

— Ну, — говорит, — если бы я полтора ста лет прожил, не тому еще выучился бы. А он, — показывает на слона, — моего деда нянчил.

Я глянул на слона — мне показалось, что не индус тут хозяин, а слон, слон тут самый главный.

Я говорю:

— Старый он у тебя?

— Нет, — говорит, — ему полтора ста лет, он в самой поре! Вон у меня слоненок есть, его сын, — двадцать лет ему, совсем ребенок. К сорока годам в силу только входить начинает. Вот погодите, придет слониха, увидите: он маленький.

Пришла слониха, и с ней слоненок — с лошадь величиной, без клыков; он за матерью, как жеребенок, шел.

Ребята индусовы бросились матери помогать, стали прыгать, куда-то собираться. Слон тоже пошел; слониха и слоненок — с ними. Индус объясняет, что на речку. Мы тоже с ребятами.

Они нас не дичились. Всё пробовали говорить — они по-своему, мы по-русски — и хохотали всю дорогу. Маленький больше всех к нам пристаивал, — все мою фуражку надевал и что-то кричал смешное — может быть, про нас.

Воздух в лесу пахучий, пряный, густой.

Шли лесом. Пришли к реке.

Не река, а поток — быстрый, так и мчит, так берег и гложет. К воде обрывчик в аршин. Слоны вошли в воду, взяли с собой слоненка. Поставили, где ему по грудь вода, и стали его вдвоем мыть. Наберут со дна песку с водой в хобот и, как из кишки, его поливают. Здорово так — только брызги летят.

А ребята боятся в воду лезть — больно уж быстрое течение, унесет. Скачут на берегу и давай в слона камешками кидать. Ему ни почем, он даже внимания не обращает — все своего слоненка моет. Потом, смотрю, набрал в хобот воды и вдруг как повернет на мальчишек и одному прямо в пузо как дунет струей — тот так и сел. Хохочет, заливается.

Слон опять своего мыть. А ребята еще пуще камешками его донимать. Слон только ушами трясет: не приставайте, мол, видите, некогда баловаться! И как раз, когда мальчишки не ждали, думали — он водой на слоненка дунет, он сразу хобот повернул да в них.

Те рады, кувыркаются.

Слон вышел на берег; слоненок ему хобот протянул, как руку. Слон заплел свой хобот об его и помог ему на обрывчик вылезти.

Пошли все домой: трое слонов и четверо ребят.

На другой день я уж расспросил, где можно слонов поглядеть на работе.

На опушке леса, у речки, нагорожен целый город тесаных бревен: штабеля стоят, каждый вышиной в избу. Тут же стоял один слон. И сразу видно было, что он уже совсем старик — кожа на нем совсем обвисла и заскорузла, и хобот, как тряпка, болтается. Уши обгрызенные какие-то. Смотрю, из лесу идет другой слон. В хоботе качается бревно — громадный брус обтесан-

ный. Пудов, должно быть, во сто. Носильщик грузно переваливается, подходит к старому слону. Старый подхватывает бревно с одного конца, а носильщик опускает бревно и перебирается хоботом в другой конец. Я смотрю: что же это они будут делать? А слоны вместе, как по команде, подняли бревно на хоботах вверх и аккуратно положили на штабель. Да так ровно и правильно — как плотник на постройке.

И ни одного человека около них.

Я потом узнал, что этот старый слон и есть главный артельщик: он уже состарился на этой работе.

Носильщик ушел не спеша в лес, а старик повесил хобот, повернулся задом к штабелю и стал смотреть на реку, как будто хотел сказать: «Надоело мне это, и не глядел бы».

А из лесу идет уже третий слон с бревном.

Мы — туда, откуда выходили слоны.

Прямо стыдно рассказывать, что мы тут увидели. Слоны с лесных разработок таскали эти бревна к речке. В одном месте у дороги — два дерева по бокам, да так, что слону с бревном не пройти. Слон дойдет до этого места, опустит бревно на землю, подвернет колени, подвернет хобот и самым носом, самым корнем хобота толкает бревно вперед. Земля, каменья летят, трет и пашет бревно землю, а слон ползет и пихает. Видно, как трудно ему на коленях ползти. Потом встанет, отдышится и не сразу за бревно берется. Опять повернет его поперек дороги, опять на коленки. Положит хобот на землю и коленками накатывает бревно на хобот. Как хобот не раздавит! Гляди, снова уже встал и несет. Качается, как грузный маятник, бревнище на хоботе.

Их было восемь — всех слонов-носильщиков, — и каждому приходилось пихать бревно носом: люди не хотели спилить те два дерева, что стояли на дороге.

Нам неприятно стало смотреть, как тужится старик у штабеля, и жаль было слонов, что ползли на коленках. Мы недолго постояли и ушли.

1925

ПРО ОБЕЗЬЯНКУ

Мне было двенадцать лет, и я учился в школе. Раз на перемене подходит ко мне товарищ мой Юхименко и говорит:

— Хочешь, я тебе обезьянку дам?

Я не поверил — думал, он мне сейчас шутку какую-нибудь устроит так, что искры из глаз посыплются, и скажет: «Вот это и есть «обезьянка». Не таковский я.

— Ладно, — говорю, — знаем.

— Нет, — говорит, — в самом деле. Живую обезьянку. Она хорошая. Ее Яшкой зовут. А папа сердится.

— На кого?

— Да на нас с Яшкой. Убирай, говорит, куда знаешь. Я думаю, что к тебе всего лучше.

После уроков пошли мы к нему. Я все еще не верил. Неужели, думал, живая обезьянка у меня будет? И все спрашивал, какая она. А Юхименко говорит:

— Вот увидишь, не бойся, она маленькая.

Действительно, оказалась маленькая. Если на лапки встанет, то не больше полуаршина. Мордочка сморщенная, старушечья, а глазки живые, блестящие. Шерсть на ней рыжая, а лапки черные. Как будто человечьи руки в перчатках черных. На ней был надет синий жилет.

Юхименко закричал:

— Яшка, Яшка, иди! Что я дам!

И засунул руку в карман. Обезьянка закричала: «Ай, ай!» — и в два прыжка вскочила Юхименке на руки. Он сейчас же сунул ее в шинель, за пазуху.

— Идем,— говорит.

Я глазам своим не верил. Идем по улице, несем такое чудо, и никто не знает, что у нас за пазухой.

Дорогой Юхименко мне говорил, чем кормить.

— Всё ест, всё давай. Сладкое любит. Конфеты — беда. Дорвется — непременно обожрется. Чай любит жидкий и чтоб сладкий был. Ты ей внакладку. Два куска. Вприкуску не давай: сахар сожрет, а чай пить не станет.

Я все слушал и думал: я ей и трех кусков не пожалею, миленькая такая, как игрушечный человек. Тут я вспомнил, что и хвоста у ней нет.

— Ты,— говорю,— хвост отрезал ей под самый корень?

— Она макака,— говорит Юхименко,— у них хвостов не растет.

Пришли мы к нам домой. Мама и девочки сидели за обедом. Мы с Юхименко вошли прямо в шинелях.

Я говорю:

— А кто у нас есть!

Все обернулись. Юхименко распахнул шинель. Никто еще ничего разобрать не успел, а Яшка как прыгнет с Юхименки маме на голову; толкнулся ножками — и на буфет. Всю прическу маме осадил.

Все вскочили, закричали:

— Ой, кто, кто это?

А Яшка уселся на буфет и строит морды, чавкает, зубки скалит.

Юхименко боялся, что сейчас ругать его будут, и скорей к двери. На него и не смотрели — все глядели на обезьянку. И вдруг девочки все в один голос затаили:

— Какая хорошенькая!

А мама все прическу прилаживала.

— Откуда это?

Я оглянулся. Юхименки уже нет. Значит, я остался хозяином. И я захотел показать, что знаю, как с обезьянкой надо. Я засунул руку в карман и крикнул, как давеча Юхименко:

— Яшка, Яшка! Иди, я тебе что дам!

Все ждали. А Яшка и не глянул — стал чесаться меленько и часто черной лапочкой.

До самого вечера Яшка не спускался вниз, а прыгал по верхам: с буфета на дверь, с двери на шкаф, оттуда на печку.

Вечером отец сказал:

— Нельзя ее на ночь так оставлять, она квартиру вверх дном переверотит.

И я начал ловить Яшку. Я к буфету — он на печь. Я его оттуда щеткой — он прыг на часы. Качнулись часы и стали. А Яшка уже на занавесках качается. Оттуда на картину, картина покосилась, — я боялся, что Яшка кинется на висячую лампу.

Но тут уже все собрались и стали гоняться за Яшкой. В него кидали мячиком, катушками, спичками и наконец загнали в угол.

Яшка прижался к стене, оскалился и защелкал языком — пугать начал. Но его накрыли шерстяным платком и завернули, запутали.

Яшка барахтался, кричал, но его скоро укрутили так, что осталась торчать одна голова. Он вертел головой, хлопал глазами и, казалось, сейчас заплачет от обиды.

Не пеленать же обезьяну каждый раз на ночь! Отец сказал:

— Привязать. За жилет — и к ножке, к столу.

Я принес веревку, нащупал у Яшки на спине пуговицу, продел веревку в петлю и крепко завязал. Жилет у Яшки на спине застегивался на три пуговики. Потом я поднес Яшку, как он был, закутанного, к столу, привязал веревку к ножке и только тогда размотал платок.

Ух, как он начал скакать! Но где ему было порвать веревку! Он покричал, позлился и сел печально на полу.

Я достал из буфета сахару и дал Яшке. Он схватил черной лапочкой кусок, заткнул за щеку. От этого вся мордочка у него скривилась.

Я попросил у Яшки лапу. Он протянул мне свою ручку.

Тут я рассмотрел, какие на ней хорошенькие черные ноготки. Игрушечная живая ручка. Я стал гладить лапку и думаю: совсем как ребеночек. И пощекотал ему ладошку. А ребеночек-то как дернет лапку — раз, и меня по щеке. Я и мигнуть не успел, а он надавал мне оплеух и прыг под стол. Сел и скалится. Вот и ребеночек!

Но тут меня погнало спать.

Я хотел Яшку привязать к своей кровати, но мне не позволили. Я все прислушивался, что Яшка делает, и думал, что непременно

ему надо устроить кроватку, чтоб он спал, как люди, и укрывался одеяльцем. Голову бы клал на подушечку. Думал, думал и заснул.

Утром вскочил и, не одеваясь, к Яшке. Нет Яшки на веревке. Веревка есть, на веревке жилет привязан, а обезьянки нет. Смотрю, все три пуговицы сзади расстегнуты. Это он расстегнул жилет, оставил его на веревке, а сам драла. Я искать по комнате. Шлепаю босыми ногами. Нигде нет. Я перепугался. А ну как убежал? Дня не пробыл, и вот на тебе! Я на шкафы заглядывал, в печку — нигде. Убежал, значит, на улицу. А на улице мороз — замерзнет, бедный. И самому стало холодно. Побежал одеваться. Вдруг вижу, в моей же кровати что-то возится. Одеяло шевелится. Я даже вздрогнул. Вот он где! Это ему холодно на полу стало, он удрал и ко мне на кровать. Забился под одеяло. А я спал и не знал. Яшка спросонья не дичился, дался в руки, и я напялил на него снова синий жилет.

Когда сели пить чай, Яшка вскочил на стол, огляделся, сейчас же нашел сахарницу, запустил лапу и прыг на дверь. Он прыгал так легко, что казалось — летает, не прыгает. На ногах у обезьяны пальцы, как на руках, и Яшка мог хватать ногами. Он так и делал. Сидит, как ребенок, на руках у кого-нибудь и ручки сложил, а сам ногой со стола тянет что-нибудь.

Стащит ножик и ну с ножом скакать. Это чтобы у него отнимали, а он будет удирать. Чай Яшке дали в стакане. Он обнял стакан, как ведро, пил и чмокал. Я уж не пожалел сахару.

Когда я ушел в школу, я привязал Яшку к дверям, к ручке. На этот раз обвязал его вокруг пояса веревкой, чтобы уж не мог сорваться. Когда я пришел домой, то из прихожей увидел, чем Яшка занимается. Он висел на дверной ручке и катался на дверях, как на карусели. Оттолкнется от косяка и едет до стены. Пихнет ножкой в стену и едет назад.

Когда я сел готовить уроки, я посадил Яшку на стол. Ему очень нравилось греться около лампы. Он дремал, как старичок на солнышке, покачивался и, прищурясь, глядел, как я тыкаю пером в чернила. Учитель у нас был строгий, и я чистенько написал страницу. Промокать не хотелось, чтобы не испортить. Оставил сохнуть. Прихожу и вижу: сидит Яков на тетради, макает пальчик в чернильницу, ворчит и выводит чернильные вавилоны по моему писанию. Ах ты, дрянь! Я чуть не заплакал с горя. Бросился на Яшку. Да куда! Он на занавески — все занавески чернилами перепачкал. Вот оно почему Юхименкин папа на них с Яшкой сердился...

Но раз и мой папа рассердился на Яшку. Яшка обрывал цветы, что стояли у нас на окнах. Сорвет лист и дразнит. Отец поймал и отдул Яшку. А потом привязал его в наказание на лестнице, что вела на чердак. Узенькая лесенка. А широкая шла из квартиры вниз.

Вот отец идет утром на службу. Почистился, надел шляпу,

спускается по лестнице. Хлоп! Штукатурка падает. Отец остановился, стряхнул со шляпы. Глянул вверх — никого. Только пошел — хлоп, опять кусок известки прямо на голову. Что такое?

А мне сбоку было видно, как орудовал Яшка. Он наломал от стенки известки, разложил по краям ступенек, а сам прилег, притаился на лестнице, как раз у отца над головой. Только отец пошел, а Яшка тихонечко толк ножкой штукатурку со ступеньки и так ловко примерил, что прямо отцу на шляпу, — это он ему мстил за то, что отец вздул его накануне.

Но, когда началась настоящая зима, завыл ветер в трубах, завалило окна снегом, Яшка стал грустным. Я его все грел, прижимал к себе. Мордочка у Яшки стала печальная, обвисшая, он подвизгивал и жался ко мне. Я попробовал сунуть его за пазуху, под куртку. Яшка сейчас же там устроился: он схватился всеми четырьмя лапками за рубаху и так повис, как приклеился. Он так и спал там, не разжимая лап. Забудешь другой раз, что у тебя живой набрюшник под курткой, и обопрешься о стол. Яшка сейчас лапкой заскребет мне бок: дает мне знать, чтоб осторожней.

Вот раз в воскресенье пришли в гости девочки. Сели завтракать. Яшка смирно сидел у меня за пазухой, и его совсем не было заметно. Под конец роздали конфеты. Только я стал первую разворачивать, вдруг из-за пазухи, прямо из моего живота, вытянулась мохнатая ручка, ухватила конфету и назад. Девочки взвизгнули от страха. А это Яшка услышал, что бумагой шелестят, и догадался, что едят конфеты. А я девочкам говорю: «Это у меня третья рука; я этой рукой прямо в живот конфеты сую, чтоб долго не возиться». Но уж все догадались, что это обезьянка, и из-под куртки слышно было, как хрустит конфета: это Яшка грыз и чавкал, как будто я животом жую.

Яшка долго злился на отца. Примирился Яшка с ним из-за конфет. Отец мой как раз бросил курить и вместо папирос носил в портсигаре маленькие конфетки. И каждый раз после обеда отец открывал тугую крышку портсигара большим пальцем, ногтем, и доставал конфетки. Яшка тут как тут: сидит на коленях и ждет, — ерзает, тянется. Вот отец раз и отдал весь портсигар Яшке. Яшка взял его в руку, а другой рукой, совершенно как мой отец, стал подковыривать большим пальцем крышку. Пальчик у него маленький, а крышка тугая и плотная, и ничего не выходит у Яшеньки. Он завыл с досады. А конфеты брякают. Тогда Яшка схватил отца за большой палец и его ногтем, как стамеской, стал отковыривать крышку. Отца это рассмешило, он открыл крышку и поднес Яшке. Яшка сразу запустил лапу, нагребастал полную горсть, скорей в рот и бегом прочь. Не каждый же день такое счастье!

Был у нас знакомый доктор. Болтать любил — беда. Особенно за обедом. Все уж кончили, у него на тарелке все простыло, тогда он только хватится — поковыряет, наспех глотнет два куска.

— Благодарю вас, я сыт.

Вот раз обедает он у нас, ткнул вилку в картошку и вилкой этой размахивает — говорит. Разошелся — не унять. А Яшка, вижу, по спинке стула поднимается, тихонечко подкрался и сел у доктора за плечом. Доктор говорит:

— И понимаете, тут как раз...— И остановил вилку с картошкой возле уха — на один момент всего.

Яшенька лапочкой тихонько за картошку и снял ее с вилки — осторожно, как вор. А доктор дальше:

— И представьте себе...— И тык пустой вилкой себе в рот. Сконфузился — думал, стряхнул картошку, когда руками махал, оглядывается.

А Яшки уж нет — сидит в углу и прожевать картошку не может, всю глотку забил.

Доктор сам смеялся, а все-таки обиделся на Яшку.

Яшке устроили в корзинке постель: с простыней, одеяльцем, подушкой. Но Яшка не хотел спать по-человечьи: все наматывал на себя клубком и таким чучелом сидел всю ночь. Ему сшили платьице, зелененькое, с пелеринкой, и стал он похож на стриженую девочку из приюта.

Вот раз я слышу звон в соседней комнате. Что такое? Пробираюсь тихонько и вижу: стоит на подоконнике Яшка в зеленом платьице, в одной руке у него ламповое стекло, а в другой ежик, и он ежиком с остервенением чистит стекло. В такую ярость пришел, что не слышал, как я вошел. Это он видел, как стекла чистили, и давай сам пробовать.

А то оставишь его вечером с лампой, он отвернет огонь полным пламенем — лампа коптит, сажа летает по комнате, а он сидит и рычит на лампу.

Беда стало с Яшкой, хоть в клетку сажай. Я его и ругал и бил. Но долго не мог на него сердиться. Когда Яшка хотел понравиться, он становился очень ласковым, залезал на плечо и начинал в голове искать. Это значит — он вас уж очень любит.

Надо ему выпросить что-нибудь — конфет там или яблоко, — сейчас залезет на плечо и заботливо начинает лапками перебирать в волосах: ищет и ноготком поскребывает. Ничего не находит, а делает вид, что поймал зверя: выкусывает с пальчиков чего-то.

Вот раз пришла к нам в гости дама. Она считала, что она красавица. Разряженная. Вся так шелком и шуршит. На голове не прическа, а прямо целая беседка из волос накручена — в завитках, в локончиках. А на шее на длинной цепочке зеркальце в серебряной оправе.

Яшка осторожно к ней по полу подскочил.

— Ах, какая обезьянка миловидная! — говорит дама. И давай зеркальцем с Яшкой играть.

Яшка поймал зеркальце, повертел — прыг на колени к даме и стал зеркальце на зуб пробовать.

Дама отняла зеркальце, зажала в руке. А Яшке хочется зеркало получить. Дама погладила небрежно Яшку перчаткой и потихоньку спихивает с колен. Вот Яшка и решил понравиться, подольститься к даме. Прыг ей на плечо. Крепко ухватился за кружева задними лапками и взялся за прическу. Раскопал завитки и стал искать. Дама покраснела.

— Пошел, пошел! — говорит.

Не тут-то было! Яшка еще больше старается: скребет ногтями, зубками щелкает.

Дама эта всегда против зеркала садилась, чтоб на себя полюбоваться, и видит в зеркало, что взлохматил ее Яшка, — чуть не плачет. Я двинулся на выручку. Куда там! Яшка вцепился что было силы в волосы и на меня глядит дико. Дама дернула его за шиворот, и своротил ей Яшка прическу. Глянула на себя в зеркало — чучело чучелом. Я замахнулся, спугнул Яшку, а гостья наша схватилась за голову и в дверь.

— Безобразие, — говорит, — безобразие! — И не попрощалась ни с кем.

«Ну, — думаю, — держу до весны и отдам кому-нибудь, если Юхименко не возьмет. Уж столько мне попадало за эту обезьянку».

И вот настала весна. Потеплело. Яшка ожил и еще больше проказил. Очень ему хотелось на двор, на волю. А двор у нас был огромный, с десятину. Посреди двора был сложен горой казенный уголь, а вокруг склады с товаром. И от воров сторожѣ держали на дворе целую свору собак. Собаки большие, злые. А всеми собаками командовал рыжий пес Каштан. На кого Каштан зарычит, на того все собаки бросаются. Кого Каштан пропустит, и собаки не тронут. А чужую собаку бил Каштан с разбегу грудью. Ударит, с ног собьет и стоит над ней, рычит, а та уж и шелохнуться боится.

Я посмотрел в окно — вижу, нет собак во дворе. Дай, думаю, пойду выведу Яшеньку погулять первый раз. Я надел на него зелененькое платице, чтобы он не простудился, посадил к себе на плечо и пошел. Только я двери раскрыл, Яшка — прыг наземь и побежал по двору. И вдруг, откуда ни возьмись, вся стая собачья, и Каштан впереди, прямо на Яшку. А он, как зелененькая куколка, стоит маленький. Я уж решил, что пропал Яшка — сейчас разорвут. Каштан сунулся к Яшке. Но Яшка повернулся к нему, присел, прицелился. Каштан стал за шаг от обезьянки, оскалился и ворчал, но не решался броситься на такое чудо. Собаки все ошетинились и ждали, что Каштан.

Я хотел броситься выручать. Но вдруг Яшка прыгнул и в один момент уселся Каштану на шею. И тут шерсть клочьями полетела с Каштана. По морде и глазам бил Яшка, так что лап не видно было. Вэвыл Каштан, и таким ужасным голосом, что все собаки врассыпную бросились. Каштан сломя голову пустился бежать, а Яшка сидит, вцепился ногами в шерсть, крепко держит-

ся, а руками рвет Каштана за уши, щиплет шерсть клочьями. Каштан с ума сошел: носится вокруг угольной горы с диким воем. Раза три обежал Яшка верхом вокруг двора и на ходу спрыгнул на уголь. Взобрался не торопясь на самый верх. Там была деревянная будка; он влез на будку, уселся и стал чесать себе бок как ни в чем не бывало. Вот, мол, я,— мне нипочем!

А Каштан — в ворота от страшного зверя.

С тех пор я смело стал выпускать Яшку во двор: только Яшка с крыльца — все собаки в ворота. Яшка никого не боялся.

Приедут во двор подводы, весь двор забьют, пройти негде. А Яшка с возу на воз перелетает. Вскочит лошади на спину — лошадь топчется, гривой трясет, фыркает, а Яшка не спеша на другую перепрыгивает. Извозчики только смеются и удивляются: — Смотри, какая сатана прыгает. Ишь ты! У-ух!

А Яшка — на мешки. Ищет щелочки. Просунет лапку и щупает, что там. Нащупает, где подсолнухи, сидит и тут же на возу щелкает. Бывало, что и орехи нащупает Яшка. Набьет за щеки и во все четыре руки старается нагрести.

Но вот нашелся у Якова враг. Да какой! Во дворе был кот. Ничей. Он жил при конторе, и все его кормили обедками. Он разжирел, стал большой, как собака. Злой был и царапучий.

И вот раз под вечер гулял Яшка по двору. Я его никак не мог дозваться домой. Вижу, вышел на двор котище и прыг на скамью, что стояла под деревом. Яшка как увидел кота — прямо к нему. Присел и идет не спеша на четырех лапах. Прямо к скамье и глаз с кота не спускает. Кот подобрал лапы, спину нагорбил, приготовился. А Яшка все ближе ползет. Кот глаза вытаращил, пятится. Яшка — на скамью. Кот все задом на другой край, к дереву. У меня сердце замерло. А Яков по скамье ползет на кота. Кот уж в комок сжался, подобрался весь. И вдруг — прыг, да не на Яшку, а на дерево. Вцепился за ствол и глядит сверху на обезьянку. А Яшка все тем же ходом к дереву. Кот поцарапался выше — привык на деревьях спасаться. А Яшка на дерево, и все не спеша, целится на кота черными глазками. Кот выше, выше, влез на ветку и сел с самого краю. Смотрит, что Яшка будет делать. А Яков по той же ветке ползет и так уверенно, будто он сроду ничего другого не делал, а только котов ловил. Кот уж на самом краю, на тоненькой веточке еле держится, качается. А Яков ползет и ползет, цепко перебирает всеми четырьмя ручками. Вдруг кот прыг с самого верха на мостовую, встряхнулся и во весь дух прочь без оглядки. А Яшка с дерева ему вдогонку: «Йай, йау!» — каким-то страшным, звериным голосом, — я у него никогда такого не слышал.

Теперь уж Яков стал совсем царем во дворе. Дома он уж есть ничего не хотел, только пил чай с сахаром. И раз так на дворе изюму наелся, что еле-еле его отходили. Яшка стонал, на глазах слезы, и на всех капризно смотрел. Всем было сначала очень жалко

Яшку, но, когда он увидел, что с ним возятся, стал ломаться и разбрасывать руки, закидывать голову и подвывать на разные голоса. Решили его укутать и дать касторки. Пусть знает.

А касторка ему так понравилась, что он стал орать, чтобы ему еще дали. Его запеленали и три дня не пускали на двор.

Яшка скоро поправился и стал рваться на двор. Я за него не боялся. Поймать его никто не мог, и Яшка целыми днями прыгал по двору. Дома стало спокойнее, и мне меньше влетало за Яшку. И как настала осень, все в доме в один голос:

— Куда хочешь убирай свою обезьянку или сажай в клетку. А чтоб по всей квартире эта сатана не носилась.

То говорили, какая хорошенькая, а теперь, думаю, сатана стала. И как только началось ученье, я стал искать в классе, кому бы сплавить Яшку.

Подыскал наконец товарища, отозвал в сторонку и сказал: — Хочешь, я тебе обезьянку подарю? Живую.

Не знаю уж, кому он потом Яшку сплавил. Но первое время, как не стало Яшки в доме, я видел, что все немного скучали, хоть признаваться и не хотели.

1927

МАНГУСТА

Я очень хотел, чтобы у меня была настоящая, живая мангуста. Своя собственная. И я решил: когда наш пароход придет на остров Цейлон, я куплю себе мангусту и отдам все деньги, сколько ни спросят.

И вот наш пароход у острова Цейлон. Я хотел скорей бежать на берег, скорей найти, где они продаются, эти зверьки. И вдруг к нам на пароход приходит черный человек (тамошние люди все черные), и все товарищи обступили его, толпятся, смеются, шумят. И кто-то крикнул: «Мангусты!» Я бросился, всех растолкал и вижу — у черного человека в руках клетка, а в ней серые зверьки. Я так боялся, чтобы кто-нибудь не перехватил, что закричал прямо в лицо этому человеку:

— Сколько?

Он даже испугался сначала, так я крикнул. Потом понял, показал три пальца и сунул мне в руки клетку. Значит, всего три рубля, с клеткой вместе, и не одна, а две мангусты! Я сейчас же расплатился и перевел дух: я совсем запыхался от радости. Так обрадовался, что забыл спросить этого черного человека, чем кормить мангуст, ручные они или дикие. А вдруг они кусаются? Я спохватился, побежал за человеком, но его уже и след простыл.

Я решил сам узнать, кусаются мангусты или нет. Я просунул палец через прутья клетки. И просунуть-то не успел, как уж

слышу — готово: мой палец схватили. Схватили маленькие лапки, цепкие, с ноготками. Быстро-быстро кусает меня мангуста за палец. Но совсем не больно — это она нарочно, так — играет. А другая забилась в угол клетки и глядит искоса черным блестящим глазом.

Мне скорее захотелось взять на руки, погладить эту, что кусает для шутки. И только я приоткрыл клетку, эта самая мангуста — юрк! — и уж побежала по каюте. Она суетилась, бегала по полу, все нюхала и крякала: кррык! кррык! — как будто ворона. Я хотел ее поймать, нагнулся, протянул руку, и вмиг мангуста мелькнула мимо моей руки и уже в рукаве. Я поднял руку — и готово: мангуста уж за пазухой. Она выглянула из-за пазухи, крякнула весело и снова спряталась. И вот слышу — она уже под мышкой, пробирается в другой рукав и выскочила из другого рукава на волю. Я хотел ее погладить и только поднес руку, как вдруг мангуста подскочила вверх сразу на всех четырех лапах, как будто под каждой лапой пружинка. Я даже руку отдернул, будто от выстрела. А мангуста снизу глянула на меня веселыми глазками и снова: кррык! И смотрю — уж сама на колени ко мне взобралась и тут свои фокусы показывает: то свернется, то вмиг расправится, то хвост трубой, то вдруг голову просунет меж задних ног. Она так ласково, так весело со мной играла, а тут вдруг постучали в каюту и вызвали меня на работу.

Надо было погрузить на палубу штук пятнадцать огромных стволов каких-то индийских деревьев. Они были корявые, с обломленными сучьями, дуплистые, толщенные, в коре, — как были из лесу. Но с отпиленного конца видно было, какие они внутри красивые — розовые, красные, совсем черные! Мы клали их горкой на палубу и накрепко укручивали цепями, чтобы в море не разболталось. Я работал и все думал: «Что там мои мангустики? Ведь я им ничего поесть не оставил».

Я спрашивал черных грузчиков, тамошних людей, что пришли с берега, не знают ли они, чем кормить мангусту, но они ничего не понимали и только улыбались. А наши говорили:

— Давай что попало: она сама разберет, что ей надо.

Я выпросил у повара мяса, купил бананов, притащил хлеба, блюдце молока. Все это поставил посреди каюты и открыл клетку. Сам залез на койку и стал глядеть. Из клетки выскочила дикая мангуста, и они вместе с ручной прямо бросились на мясо. Они рвали его зубами, крякали и урчали, лакали молоко, потом ручная ухватила банан и потащила его в угол. Дикая — прыг! — и уж рядом с ней. Я хотел поглядеть, что будет, вскочил с койки, но уж поздно: мангустики бежали назад. Они облизывали мордочки, а от банана остались на полу одни шкурки, как тряпочки.

Наутро мы были уже в море. Я всю свою каюту увесил гирляндами бананов. Они на веревочках качались под потолком. Это для мангуст. Я буду давать понемногу — надолго хватит.

Я выпустил ручную мангусту, и она теперь бегала по мне, а я лежал полузакрыв глаза и недвижно.

Гляжу — мангуста прыгнула на полку, где были книги. Вот она перелезла на раму круглого пароходного окна. Рама слегка вихлялась — пароход качало. Мангуста покрепче примостилась, глянула вниз на меня. Я притаился. Мангуста толкнула лапкой в стенку, и рама поехала вбок. И в тот самый миг, когда рама была против банана, мангуста рванулась, прыгнула и обеими лапками ухватила банан. Она повисла на момент в воздухе, под самым потолком. Но банан оторвался, и мангуста шлепнулась об пол. Нет! Шлепнулся-то банан. Мангуста прыгнула на все четыре лапки. Я привскочил поглядеть, но мангуста уже возилась под койкой. Через минуту она вышла с замазанной мордой. Она покрякивала от удовольствия.

Эге! Пришлось перевесить бананы к самой середине каюты: мангуста уже пробовала по полотенцу вскарабкаться повыше. Лазила она, как обезьяна: у нее лапки как ручки. Цепкие, ловкие, проворные. Она совсем меня не боялась. Я выпустил ее на палубу погулять, на солнце. Она сразу по-хозяйски все обнюхала и бегала по палубе так, будто она и сроду нигде больше не была и тут ее дом.

Но на пароходе у нас был свой давнишний хозяин на палубе. Нет, не капитан, а кот. Громадный, откормленный, в медном ошейнике. Он важно ходил по палубе, когда было сухо. Сухо было и в этот день. И солнце поднялось над самой мачтой. Кот вышел из кухни, поглядел, все ли в порядке.

Он увидел мангусту и быстро пошел, а потом начал осторожно красться. Он шел по железной трубе. Она тянулась по палубе. Как раз у этой трубы суежилась мангуста. Она как будто и не видела кота. А кот был уж совсем над нею. Ему оставалось только протянуть лапу, чтобы вцепиться когтями ей в спину. Он выжидал, чтобы поудобней. Я сразу сообразил, что сейчас будет. Мангуста не видит, она спиной к коту, она разнюхивает палубу как ни в чем не бывало; кот уж прицелился.

Я бросился бегом. Но я не добежал. Кот протянул лапу. И в тот же миг мангуста просунула голову меж задних лап, разинула пасть, громко каркнула, а хвост — громадный пушистый хвост — поставила вверх столбом, и он стал как ламповый ежик, что стекла чистят. В одно мгновение она обратилась в непонятное, невиданное чудище. Кота отбросило назад, как от каленого железа. Он сразу повернул и, задрав хвост палкой, понесся прочь без оглядки. А мангуста как ни в чем не бывало снова суежилась и что-то разнюхивала на палубе. Но с тех пор красавца кота редко кто видел. Мангуста на палубе — кота и не сыщешь. Его звали и «кис-кис» и «Васенька». Повар его мясом приманивал, но кота найти нельзя было, хоть обыщи весь пароход. Зато у кухни теперь вертелись мангустаны; они крякали, требовали от

повара мяса. Бедный Васенька только по ночам пробирался к повару в каюту, и повар его прикармливал мясом. Ночью, когда мангусты были в клетке, наступало Васькино время.

Но вот раз ночью я проснулся от крика на палубе. Тревожно, испуганно кричали люди. Я быстро оделся и выбежал. Кочегар Федор кричал, что сейчас идет он с вахты и вот из этих самых индийских деревьев, вот из этой груды, выползла змея и сейчас же назад спряталась. Что змея — во! — в руку толщиной, чуть ли не две сажени длиной. И вот даже на него сунулась. Никто не верил Федору, но все же на индийские деревья поглядывали с опаской. А вдруг и вправду змея? Ну, не в руку толщиной, а ядовитая? Вот и ходи тут ночью! Кто-то сказал: «Они тепло любят, они к людям в койки заползают». Все примолкли. Вдруг все повернулись ко мне:

— А ну, зверюшек сюда, мангустов ваших! А ну, пусть они...

Я боялся, чтобы ночью не убежала дикая. Но думать было некогда: уже кто-то сбегал ко мне в каюту и уже нес сюда клетку. Я открыл ее около самой груды, где кончались деревья и видны были черные ходы между стволами. Кто-то зажег электрическую люстру. Я видел, как первой юркнула в черный проход ручная. И следом за ней дикая. Я боялся, что им прищемит лапки или хвост среди этих тяжелых бревен. Но уже было поздно: обе мангусты ушли туда.

— Неси лом! — крикнул кто-то.

А Федор уж стоял с топором. Потом все примолкли и стали слушать. Но ничего не слышно было, кроме скрипа колод. Вдруг кто-то крикнул:

— Гляди, гляди! Хвост!

Федор замахнулся топором, другие отсунулись дальше. Я схватил Федора за руку. Он с перепугу чуть не хватил топором по хвосту; хвост был не змеи, а мангусты — он то высовывался, то снова втягивался. Потом показались задние лапки. Лапки цеплялись за дерево. Видно, что-то тянуло мангусту назад.

— Помоги кто-нибудь! Видишь, ей не по силам! — крикнул Федор.

— А сам-то чего? Командир какой! — ответили из толпы.

Никто не помогал, а все пятились назад, даже Федор с топором. Вдруг мангуста изловчилась; видно было, как она вся извилась, цепляясь за колоды. Она рванулась и вытянула за собой змеиный хвост. Хвост мотнулся, он вскинул вверх мангусту и брякнул ее о палубу.

— Убил, убил! — закричали кругом.

Но моя мангуста — это была дикая — мигом вскочила на лапы. Она держала змею за хвост, она впилась в нее своими острыми зубками. Змея сжималась, тянула дикую снова в черный проход. Но дикая упиралась всеми лапками и вытаскивала змею

все больше и больше. Змея была толщиной в два пальца, и она била хвостом о палубу, как плетью, а на конце держалась мангуста, и ее бросало из стороны в сторону. Я хотел обрубить этот хвост, но Федор куда-то скрылся вместе с топором. Его звали, но он не откликался. Все в страхе ждали, когда появится змеинная голова. Сейчас уже конец, и вырвется наружу вся змея. Это что? Это не змеинная голова — это мангуста! Вот и ручная прыгнула на палубу: она впилась в шею змеи сбоку. Змея извивалась, рвалась, она стучала мангустами по палубе, а они держались, как пиявки.

Вдруг кто-то крикнул:

— Бей! — и ударил ломом по змее.

Все бросились и кто чем стали молотить. Я боялся, что в переполохе убьют мангуст. Я оторвал от хвоста дикую.

Она была в такой злобе, что укусила меня за руку: она рвалась и царапалась. Я сорвал с себя шапку и завернул ей морду. Ручную оторвал мой товарищ. Мы усадили их в клетку. Они кричали и рвались, хватили зубами решетку.

Я кинул им кусочек мяса, но они и внимания не обратили. Я потушил в каюте свет и пошел прижечь йодом покусанные руки.

А там, на палубе, все еще молотили змею. Потом выкинули за борт.

С этих пор все стали очень любить моих мангуст и таскали им поесть что у кого было. Ручная перезнакомилась со всеми, и ее под вечер трудно было дозваться: вечно гостит у кого-нибудь. Она бойко лазила по снастям. И раз под вечер, когда уже зажгли электричество, мангуста полезла на мачту по канатам, что шли от борта. Все любовались на ее ловкость, глядели задрав головы. Но вот канат дошел до мачты. Дальше шло голое, скользкое дерево. Но мангуста извернулась всем телом и ухватила за медные трубки. Они шли вдоль мачты. В них — электрические провода к фонарю наверху. Мангуста быстро полезла еще выше. Все внизу захлопали в ладоши. Вдруг электротехник крикнул:

— Там провода голые! — и побежал тушить электричество.

Но мангуста уже схватилась лапкой за голые провода. Ее ударило электрическим током, и она упала с высоты вниз. Ее подхватили, но она уже была неподвижна.

Она была еще теплая. Я скорей понес ее в каюту доктора. Но каюта его была заперта. Я бросился к себе, осторожно уложил мангусту на подушку и побежал искать нашего доктора. «Может быть, он спасет моего зверька?» — думал я. Я бегал по всему пароходу, но кто-то уже сказал доктору, и он быстро шел мне навстречу. Я хотел, чтобы скорей, и тянул доктора за руку. Вошли ко мне.

— Ну, где же она? — сказал доктор.

Действительно, где же? На подушке ее не было. Я посмотрел под койку. Стал шарить там рукой. И вдруг: кррык-кррык! —

и мангуста выскочила из-под койки как ни в чем не бывало — здоровехонька.

Доктор сказал, что электрический ток, наверно, только на время оглушил ее, а пока я бегал за доктором, мангуста оправилась. Как я радовался! Я все ее к лицу прижимал и гладил. И тут все стали приходить ко мне, все радовались и гладили мангусту — так ее любили.

А дикая потом совсем приручилась, и я привез мангуст к себе домой.

1935

БЕСПРИЗОРНАЯ КОШКА

I

Я жил на берегу моря и ловил рыбу. У меня была лодка, сетки и разные удочки. Перед домом стояла будка, и на цепи огромный пес. Мохнатый, весь в черных пятнах, — Рябка. Он стерег дом. Кормил я его рыбой. Я работал с мальчиком, и кругом на три версты никого не было. Рябка так привык, что мы с ним разговаривали, и очень простое он понимал. Спросишь его: «Рябка, где Володя?» Рябка хвостом завиляет и повернет морду, куда Володька ушел. Воздух носом тянет, и всегда верно. Бывало, придешь с моря ни с чем, а Рябка ждет рыбы. Вытянется на цепи, подвизгивает.

Обернешься к нему и скажешь сердито:

— Плохи наши дела, Рябка! Вот как...

Он вздохнет, ляжет и положит на лапы голову. Уж и не просит, понимает.

Когда я надолго уезжал в море, я всегда Рябку трепал по спине и уговаривал, чтобы хорошо стерег. И вот хочу отойти от него, а он встанет на задние лапы, натянет цепь и обхватит меня лапами. Да так крепко — не пускает. Не хочет долго один оставаться: и скучно и голодно.

Хорошая была собака!

II

А вот кошки у меня не было, и мыши одолевали. Сетки развесишь, так они в сетки залезут, запутаются и перегрызут нитки, напортят. Я их находил в сетках — запутается другая и попадется. И дома всё крадут, что ни положи.

Вот я и пошел в город. Достану, думаю, себе веселую кошечку, она мне всех мышей переловит, а вечером на коленях будет сидеть и мурлыкать. Пришел в город. По всем дворам ходил — ни одной кошки. Ну нигде!

Я стал у людей спрашивать:

— Нет ли у кого кошечки? Я даже деньги заплачу, дайте только.

А на меня сердиться стали:

— До кошек ли теперь? Всюду голод, самим есть нечего, а тут котов корми.

А один сказал:

— Я бы сам кота съел, а не то что его, дармоеда, кормить!

Вот те и на! Куда же это все коты девались? Кот привык жить на готовеньком: нажрался, накрал и вечером на теплой плите растянулся. И вдруг такая беда! Печи не топлены, хозяева сами черствую корку сосут. И украсть нечего. Да и мышей в голодном доме тоже не сыщешь.

Перевелись коты в городе... А каких, может быть, и голодные люди приели. Так ни одной кошки и не достал.

III

Настала зима, и море замерзло. Ловить рыбу стало нельзя. А у меня было ружье. Вот я зарядил ружье и пошел по берегу. Кого-нибудь подстрелю: на берегу в норах жили дикие кролики.

Вдруг, смотрю, на месте кроличьей норы большая дырка раскопана, как будто бы ход для большого зверя. Я скорее туда.

Я присел и заглянул в нору. Темно. А когда пригляделся, вижу: там в глубине два глаза светятся.

Что, думаю, за зверь такой завелся?

Я сорвал хвостинку — и в нору. А оттуда как зашипит!

Я назад попятился. Фу ты! Да это кошка!

Так вот куда кошки из города перссхали!

Я стал звать:

— Кис-кис! Кисанька! — и просунул руку в нору.

А кисанька как заурчит, да таким зверем, что я и руку отдернул.

Ну тебя, какая ты злая!

Я пошел дальше и увидел, что много кроличьих нор раскопано. Это кошки пришли из города, раскопали пошире кроличьи норы, кроликов выгнали и стали жить по-дикому.

IV

Я стал думать, как бы переманить кошку к себе в дом.

Вот раз я встретил кошку на берегу. Большая, серая, мордастая. Она, как увидела меня, отскочила в сторону и села. Злыми глазами на меня глядит. Вся напружилась, замерла, только хвост вздрагивает. Ждет, что я буду делать.

А я достал из кармана корку хлеба и бросил ей. Кошка глянула, куда корка упала, а сама ни с места. Опять на меня уставилась.

Я обошел стороной и оглянулся: кошка прыгнула, схватила корку и побежала к себе домой, в нору.

Так мы с ней часто встречались, но кошка никогда меня к себе не подпускала. Раз в сумерки я ее принял за кролика и хотел уже стрелять.

V

Весной я начал рыбачить, и около моего дома запахло рыбой. Вдруг слышу — лает мой Рябчик. И смешно как-то лает: бестолково, на разные голоса, и подвизгивает. Я вышел и вижу: по весенней траве не торопясь шагает к моему дому большая серая кошка. Я сразу ее узнал. Она нисколько не боялась Рябчика, даже не глядела на него, а выбирала только, где бы ей посуше ступить. Кошка увидела меня, уселась и стала глядеть и облизываться. Я скорее побежал в дом, достал рыбешку и бросил.

Она схватила рыбу и прыгнула в траву. Мне с крыльца было видно, как она стала жадно жрать. Ага, думаю, давно рыбы не ела.

И стала с тех пор кошка ходить ко мне в гости.

Я все ее задабривал и уговаривал, чтобы перешла ко мне жить. А кошка все дичилась и близко к себе не подпускала. Сожрет рыбу и убежит. Как зверь.

Наконец мне удалось ее погладить, и зверь замурлыкал. Рябчик на нее не лаял, а только тянулся на цепи, скулил: ему очень хотелось познакомиться с кошкой.

Теперь кошка целыми днями вертелась около дома, но жить в дом не хотела идти.

Один раз она не пошла ночевать к себе в нору, а осталась на ночь у Рябчика в будке. Рябчик совсем сжался в комок, чтобы дать место.

VI

Рябчик так скучал, что рад был кошке.

Раз шел дождь. Я смотрю из окна — лежит Рябка в луже около будки, весь мокрый, а в будку не лезет.

Я вышел и крикнул:

— Рябка! В будку!

Он встал, конфузливо помотал хвостом. Вертит мордой, топчется, а в будку не лезет.

Я подошел и заглянул в будку. Через весь пол важно растянулась кошка. Рябчик не хотел лезть, чтобы не разбудить кошку, и мок под дождем.

Он так любил, когда кошка приходила к нему в гости, что пробовал ее облизывать, как щенка. Кошка топорщилась и встряхивалась.

Я видел, как Рябчик лапами удерживал кошку, когда она, выспавшись, уходила по своим делам.

VII

А дела у ней были вот какие.

Раз слышу — будто ребенок плачет. Я выскочил, гляжу: катит Мурка с обрыва. В зубах у ней что-то болтается. Подбежал, смотрю — в зубах у Мурки крольчонок. Крольчонок дрыгал лапками и кричал, совсем как маленький ребенок. Я отнял его у кошки. Обменял у ней на рыбу. Кролик выходился и потом жил у меня в доме. Другой раз я застал Мурку, когда она уже доедала большого кролика. Рябка на цепи издали облизывался.

Против дома была яма с пол-аршина глубины. Вижу из окна: сидит Мурка в яме, вся в комок сжалась, глаза дикие, а никого кругом нет. Я стал следить.

Вдруг Мурка подскочила — я мигнуть не успел, а она уже рвет ласточку. Дело было к дождю, и ласточки реяли у самой земли. А в яме в засаде поджидала кошка. Часами сидела она вся на взводе, как курок: ждала, пока ласточка чиркнет над самой ямой. Хап! — и цапнет лапой на лету.

Другой раз я застал ее на море. Бурей выбросило на берег ракушки. Мурка осторожно ходила по мокрым камням и выгребала лапой ракушки на сухое место. Она их разгрызала, как орехи, морщилась и выедала слизняка.

VIII

Но вот пришла беда. На берегу появились беспризорные собаки. Они целой стаей носились по берегу, голодные, озверелые. С лаем, с визгом они пронеслись мимо нашего дома. Рябчик весь ошетинился, напрягся. Он глухо ворчал и зло смотрел. Володька схватил палку, а я бросился в дом за ружьем. Но собаки пронеслись мимо, и скоро их не стало слышно.

Рябчик долго не мог успокоиться: все ворчал и глядел, куда убежали собаки. А Мурка хоть бы что: она сидела на солнышке и важно мыла мордочку.

Я сказал Володе:

— Смотри, Мурка-то ничего не боится. Прибегут собаки — она прыг на столб и по столбу на крышу.

Володя говорит:

— А Рябчик в будку залезет и через дырку отгрызется от всякой собаки. А я в дом запрусь. Нечего бояться.

Я ушел в город.

IX

А когда вернулся, то Володька рассказал мне:

— Как ты ушел, часу не прошло, вернулись дикие собаки. Штук восемь. Бросились на Мурку. А Мурка не стала убегать.

У ней под стеной, в углу, ты знаешь, кладовая. Она туда зарывает объедки. У ней уж много там накоплено. Мурка бросилась в угол, зашипела, привстала на задние ноги и приготовила когти. Собаки сунулись, трое сразу. Мурка так заработала лапами — шерсть только от собак полетела. А они визжат, воют и уж одна через другую лезут, сверху карабкаются все к Мурке, к Мурке!

— А ты чего смотрел?

— Да я не смотрел. Я скорее в дом, схватил ружье и стал молотить изо всей силы по собакам прикладом, прикладом. Все в кашу замешалось. Я думал, от Мурки клочья одни останутся. Я уж тут бил по чем попало. Вот, смотри, весь приклад поколотил. Ругать не будешь?

— Ну, а Мурка-то, Мурка?

— А она сейчас у Рябки. Рябка ее зализывает. Они в будке. Так и оказалось. Рябка свернулся кольцом, а в середине лежала Мурка. Рябка ее лизал и сердито поглядел на меня. Видно, боялся, что я помешаю — унесу Мурку.

Х

Через неделю Мурка совсем оправилась и принялась за охоту.

Вдруг ночью мы проснулись от страшного лая и визга.

Володька выскочил, кричит:

— Собаки, собаки!

Я схватил ружье и, как был, выскочил на крыльцо.

Целая куча собак возилась в углу. Они так ревели, что не слышали, как я вышел.

Я выстрелил в воздух. Вся стая рванулась и без памяти кинулась прочь. Я выстрелил еще раз вдогонку. Рябка рвался на цепи, дергался с разбега, бесился, но не мог порвать цепи: ему хотелось броситься вслед собакам.

Я стал звать Мурку. Она урчала и приводила в порядок кладовую: закапывала лапкой разрытую ямку.

В комнате при свете я осмотрел кошку. Ее сильно покусали собаки, но раны были неопасные.

ХІ

Я заметил, что Мурка потолстела, — у ней скоро должны были родиться котята.

Я попробовал оставить ее на ночь в хате, но она мяукала и царапалась, так что пришлось ее выпустить.

Беспризорная кошка привыкла жить на воле и ни за что не хотела идти в дом.

Оставлять так кошку было нельзя. Видно, дикие собаки повадились к нам бегать. Прибегут, когда мы с Володи́ей будем в мо-

ре, и загрызут Мурку совсем. И вот мы решили увезти Мурку подальше и оставить жить у знакомых рыбаков. Мы посадили с собой в лодку кошку и поехали морем.

Далеко, за пятьдесят верст от нас, увезли мы Мурку. Туда собаки не забегают. Там жило много рыбаков. У них был невод. Они каждое утро и каждый вечер завозили невод в море и вытягивали его на берег. Рыбы у них всегда было много. Они очень обрадовались, когда мы им привезли Мурку. Сейчас же накормили ее рыбой до отвала. Я сказал, что кошка в дом жить не пойдет и что надо для нее сделать нору, — это не простая кошка, она из беспризорных и любит волю. Ей сделали из камыша домик, и Мурка осталась стеречь невод от мышей.

А мы вернулись домой. Рябка долго выл и плаксиво лаял; лаял и на нас: куда мы дели кошку?

Мы долго не были на неводе и только осенью собрались к Мурке.

XII

Мы приехали утром, когда вытягивали невод. Море было совсем спокойное, как вода в блюде. Невод уж подходил к концу, и на берег вытащили вместе с рыбой целую ватагу морских раков — крабов. Они, как крупные пауки, ловкие, быстро бегают и злые. Они становятся на дыбы и щелкают над головой клешнями: пугают. А если ухватят за палец, так держись: до крови. Вдруг я смотрю: среди всей этой кутерьмы спокойно идет наша Мурка. Она ловко откидывала крабов с дороги. Подцепит его лапой сзади, где он достать ее не может, и швырк прочь. Краб встает на дыбы, пыжится, лязгает клешнями, как собака зубами, а Мурка и внимания не обращает, отшвырнет, как камешек.

Четыре взрослых котенка следили за ней издали, но сами боялись и близко подойти к неводу. А Мурка залезла в воду, вошла по шею, только голова одна из воды торчит. Идет по дну ногами, а от головы вода расступается.

Кошка лапами нащупывала на дне мелкую рыбешку, что уходила из невода. Эти рыбки прячутся на дно, закапываются в песок — вот тут-то их и ловила Мурка. Нащупает лапкой, подцепит когтями и бросает на берег своим детям. А они уж совсем большие коты были, а боялись и ступить на мокрое. Мурка им приносила на сухой песок живую рыбу, и тогда они жрали и зло урчали. Подумаешь, какие охотники!

XIII

Рыбаки не могли нахвалиться Муркой:

— Ай да кошка! Боевая кошка! Ну, а дети не в мать пошли. Балбесы и лодыри. Рассядутся, как господа, и всё им в рот

подай. Вон, гляди, расселись как! Чисто свиньи. Ишь развалились. Брысь, поганцы!

Рыбак замахнулся, а коты и не шевельнулись.

— Вот только из-за мамыши и терпим. Выгнать бы их надо. Коты так обленились, что им лень было играть с мышью.

XIV

Я раз видел, как Мурка притащила им в зубах мышь. Она хотела их учить, как ловить мышей. Но коты лениво перебирали лапами и упускали мышь. Мурка бросалась вдогонку и снова приносила им. Но они и смотреть не хотели: валялись на солнышке по мягкому песку и ждали обеда, чтоб без хлопот наестся рыбьих головок.

— Ишь мамышины сынки! — сказал Володька и бросил в них песком. — Смотреть противно. Вот вам!

Коты тряхнули ушами и перевалялись на другой бок.

Лодыри!

1926

ТИХОН МАТВЕИЧ

Это было в царское время на грузовом пароходе. Он ходил на Дальний Восток. И все это началось с порта Коломбо, на острове Цейлоне. Это английская колония¹, а туземное население — сингалезы. Они шоколадного цвета, и мужчины здорово похожи на цыган.

И вот на пароход приходят два сингалеза. Один высокий и статный, другой — пониже, широкий, на редкость крепко сшитый человек. Он-то и говорил, высокий больше молчал. Можно было понять, что он говорит про зверей. Он говорил на ломаном английском языке. Его обступили машинисты. Кто-то грубо спросил, где у него левый глаз. Левого глаза действительно не было. Он сказал, что глаз ему выбил тигр.

Они с братом охотники. Ловят зверей живьем и продают в зверинцы. Тигр прыгнул, брат должен был поднять сетку.

— В один миг тигр лапами попадает в нее, а вот ему приходится в это время тигру в пасть засунуть руку. В руке бамбуковая палочка, и если сжать ее в кулаке, то с обеих сторон выскакивают короткие ножики и так остаются торчать. Они вонзаются в язык и нёбо, — сингалез пальцами стал показывать у себя во рту, как становится палочка. — Но если нажать раньше, палочка не

¹ В 1948 году Цейлон получил права доминиона (самоуправляющаяся часть Британской империи); в 1972 году провозглашен Республикой Шри Ланка.

влезет в пасть. А если поставить криво, пропало все; но уж если удалось, тигр от боли забывает все. Он лапами хочет выскрести палочку из пасти, лапы путаются в сетке, но тут не зевай: охотники подкуривают его снотворной отравой. Он засыпает, замирает. С ним можно делать что угодно. Они вынимают палку.

— Заливает! Калоши заливает! — сказал Храмцов, старший машинист.

Он был атлет и франт. Он франтил мускулатурой и ходил в одной сетке на голом теле, а усики закручивал в острые стрелки. И он мигнул сингалезу нахально и помахал перед носом пальцем. Сингалез показал на груди шрамы. Они, как белые восклицательные знаки, шли от ключицы вкось к животу. Сингалез был до пояса голый, но казалось, что он в коричневой фуфайке и его закаливали штукатуркой.

— Это вот брат не успел, на один всего миг опоздал поднять сетку, и тигр задел его лапой, но зато брат успел выстрелить.

— Сказки! Расскажи еще, как летающих медведей ловил, — говорил Храмцов.

Он сделал шагов пять по палубе, но снова вернулся. Сингалез уже говорил про обезьян. Он говорил про оранга. Ловить ездили на остров Борнео. Говорил, что если оранга встретить в лесу и нет ружья, то не стоит пытаться бороться: захочет оранг — и задушит, как мышь.

— А велик ли оранг? — спросил Храмцов.

Сингалез показал метра на полтора от палубы.

— А если ему в морду? — И Храмцов замахнулся кулаком. — Бокс, бокс! Понимаешь?

Сингалез улыбнулся.

Но машинист Марков, многосемейный человек, спросил:

— А почему штука оранги эти здесь, на месте?

Сингалез назвал цену.

— А в Нагасаках?

Да, выходило, что в Японии, если продать немецкому агенту, который скупает зверей для зоопарков, то заработать можно рубль на рубль.

— Дай мне сюда твою обезьяну, так ты у ней зубов не соберешь! — кричал Храмцов и выпячивал грудь. Грудь действительно здоровая, и мускулы — как живая резина.

— Да брось ты, надо дело говорить, — гнусил Марков и заводил усы себе в рот — это всякий раз у него, как разговор заходил о деньгах.

Он пробовал торговаться. Деньги действительно большие. Он хмуро оглядел всех и вдруг сказал:

— Айда, покупаю.

— А вдруг сдохнет дорогой? — сказал кто-то.

Марков засосал усы и долго зло глядел на сингалеза. Но сингалез говорил с братом, потом оба подошли к машинистам.

Они говорили, что пусть поедут посмотрят — есть одна очень здоровая обезьяна. Ух, какая сильная! Не оранг, они ее иначе называли.

* * *

Решили сейчас же идти на берег трое, Марков четвертым, глядеть обезьян. Увязался и радист Асейкин, совсем молодой, долговязый; он первый раз попал в тропики и ходил как пьяный от счастья. Он все покупал дорогой маленькие вещи из дерева и из кости и все нюхал их. Хотел увезти с собой аромат этой нагретой солнцем земли, аромат зноя, когда начинают пахнуть и сами камни. А машинисты говорили, как бы Марков не надул сингалеза и что цены на зверей есть в каталоге. Где бы достать?

Это был небольшой дворик, и в нем два сарайчика. В один из сарайчиков ввел всю гурьбу сингалез. Сначала показалось темно — и все попятились. Из темноты раздался рев... Нет! Это было мычанье, каким вдруг начинает орать глухонемой в беде, в отчаянии, в злобе, но голос страшной силы и злобы.

Теперь ясно видно стало: сарай был надвое разделен решеткой, железными прутьями в палец толщиной, если не толще; низ их уходил в помост, верх был заделан в потолок. И там, за решеткой, на помосте, стоял, держась за прутья... кто? Сначала показалось, что человек в лохмотьях. Нет! Огромная обезьяна. Она глядела на людей большими черными глазами, страшными потому, что как будто из человеческих глаз смотрели собачьи зрачки, и пламенная, неукротимая ненависть была в этом взгляде. Низкий лоб и короткие волосы острой щетиной.

— Горилла! Тьфу, черт какой! — сказал Марков.

Но в этот момент горилла рванула и затрясла железную решетку и заорала мучительным ревом с ярой ненавистью. Она в бешенстве старалась укунить себя за плечо и не могла: железный воротник вокруг шеи подпирал эту голову с клыками, голову гориллы. Клетка трепетала в ее руках. Кроме Асейкина, все выскочили во двор. Сингалез показывал Асейкину на один прут. Его обезьяна вдолбила в потолок настолько, что он поднялся на полфута над помостом. Нижний конец этого прута был загнут крючком. Это она хотела расширить отверстие, схватила рукой и навернула на кулак. Сингалез объяснил, что они с братом ездили в Африку, в Нижнюю Гвинею. Они поймали ее в сетку из толстых веревок. Но она все равно их разгрызла бы зубами, изорвала бы в клочья. Они успели ее подкурить своим дурманом, и она заснула. Они надели на нее кандалы и заперли в клетку. Ух, как она взъярилась, очнувшись! Она в ярости кусала, рвала зубами свои плечи. Ее усыпили снова, надели ошейник.

Марков ругался на дворе, требовал показать товар, о котором говорилось на пароходе. Это в другом сарае.

Сингалец кивнул на гориллу и весело сказал:

— Бокс! Бокс!

Все вспомнили Храмцова. Но Марков торопил. Люди были отпущены на час.

* * *

В другой сарай уже не решились войти сразу — через двери глядели. Там, полулежа на рисовой соломе, пузатый оранг искал в голове у другого. Оба оглянулись на людей. Они глядели спокойно, даже с ленивым любопытством. Рыжая борода придавала орангу вид простака, немного дурковатого, но добродушного и без хитрости. Другая обезьяна была его женой.

— Леди, леди, — объяснял хозяин.

У Леди живот был таким же пузатым, как и у ее мужа. Большой рот, казалось, улыбался.

Асейкин захохотал от радости. Он совсем близко подошел. Сингалец его не удерживал. Асейкин уже поздоровался с орангом за руку. Сингалец утверждал, что обезьяны эти совершенно ручные, что, если их не обижать, с ними можно жить в одной комнате.

Все осмелели. Оранг темными глазами разглядывал не спеша всех по очереди.

Марков ругался:

— Это же пара: разделить, так он от тоски сдохнет. И ведь этакие деньги!

Оказалось, не поняли: эти деньги сингалец хотел за пару, он их только вместе и продает.

Марков повеселел. Он заставил сингалеца поднять оранга, провести; он уже хотел, как у лошади, глядеть зубы.

Нет, цена действительно сходная. Разговор шел уже о кормежке.

Асейкин без умолку болтал с орангом. Он хлопал его по плечу и переводил свои слова на английский язык.

— Поедешь с нами, приятель. Ей-богу, русские люди неплохие. Как звать-то тебя? А? Сам не знаешь? Тихон Матвейч! Слушайте, — кричал Асейкин, — его Тихоном Матвейчем зовут!

Асейкин совал ему банан. Тихон его очистил. Но супруга вырвала и съела.

— Не куришь? — спрашивал Асейкин.

Тихон взял портсигар двумя пальцами, Асейкин пробовал потянуть. «Как в тисках!» — с восхищением говорил Асейкин. Тихон держал без всякого, казалось, усилия. Он повертел в руках серебряный портсигар, понюхал его. Сингалец что-то крикнул. Тихон бросил на солому портсигар.

Марков ворчал:

— Еще табаку нажрется да сдохнет...

Сингалец объяснял, чем кормить. Нет! Ничего не понять. Наконец решили, что сингалец сам доставит обезьян — Тихона и его Леди — и корм на месяц и там покажет на деле, чего и сколько в день давать.

Марков долго торговался. Наконец Марков дал задаток.

* * *

Капитан пришел поглядеть, когда Тихон с женой появились у нас на палубе. Капитан бойко говорил по-английски. Сингалец его уверил, что этих орангов можно держать на свободе. Кормежку — всё сплошь фрукты — привезли в корзинках на арбе, на тамошних бычках с горбатой шеей. Сингалец определил дневную порцию. Пароходный мальчишка Сережка успел украсть десятка три бананов и принялся дразнить Тихона. Марков стукнул его по шее. Тихон поглядел и как будто одобрил. Асейкин сказал: «Ладно, что не Тихон стукнул, а то бы Сережкина башка была за бортом». Сережка не верил, пока не увидал, как этот пузатый дядя взялся одной рукой за проволоочный канат, что шел с борта на мачту, и на одной руке, подбрасывая себя вверх, легко полез выше и выше. Обезьяны ходили по пароходу. Их с опаской обходили все, хоть и делали храбрый и беззаботный вид. Фельдшер Тит Адамович глядел, как Асейкин играл с Тихоном, как наконец Тихон понял, чего хотел радист. Тихон взял в руку конец бамбуковой палки, за другой держал Асейкин. И вот Тихон потянул конец к себе; он лежал, облокотясь на люк. Он не изменил позы. Он легко упирался ногой в трубу, что шла по палубе. Да, а вот Асейкин как стоял, так на двух ногах и подъехал к Тихону Матвеичу.

— Як он захворает, — сказал фельдшер, — то пульс ему щупать буду не я.

— Тьфу, — сказал Храмцов, — это сила? Что, потянуть? А ну!

Храмцов держал за палку. Он дернул рывком и чуть не полетел — оранг выпустил конец. Храмцов снова бросился с палкой. Тихон поднялся, в упор глядя на Храмцова.

— Бросьте! — крикнул Асейкин.

Марков уже бежал, крича:

— Ты за нее не платил, так брось ты со своими штуками!

Но Асейкин уже хлопнул Тихона по плечу:

— Знаешь что?

Тихон оглянулся. Асейкин протянул ему банан.

— А я вам говорю, что я из него веревку совью, — говорил Храмцов и, расставив руки бочонком, как цирковой борец, важно зашагал.

Но фельдшер Тит Адамович накаркал беду. Ночью леди-оранг стонала. Стонала, как человек стонет, и все искали на палубе, кто это. Стонала она, а Тихон держал ее голову у себя на коленях и не спал. Марков побежал, разбудил фельдшера. Тит Адамович сказал, что можно компресс на лоб, но кто это сделает? Холодный компресс. Но если Тихон обидится? Тихон что-то бормотал или ворчал над своей женой. Марков требовал, чтобы фельдшер дал хоть касторки. Касторки Тит дал целую бутылку, но Марков только стоял с ней около, да и не очень около, шагах в трех.

— Да ты сам хоть пей! — крикнул Храмцов. — Чего так стоишь?

Асейкин сидел в радиокаюте, и к орангу до утра никто не подходил.

Наутро все три компаньона ругали Маркова: обезьяна сдохнет, а Тихон от тоски в воду кинется или сбесится, ну его в болото!

Асейкин один сидел рядом и глядел, как Тихон заботливо искал блох у жены в голове. Он даже хотел помочь, когда Тихон взял жену на руки и понес ее в тень. Какая-то мошкара увязалась еще с берега; Тихон отмахивал ее рукой от больной жены. Леди часто дышала с полуоткрытым ртом, веки были опущены. Асейкин веером махал на нее издали. Но Асейкин просил, чтобы заперли воду, чтобы сняли рукоятки с кранов: оранг их умел открывать. Он наконец оставил жену и пошел за водой, это было ясно: он пробовал открыть краны. Он пошел к кухне, возбужденный, встревоженный. Он шел, как всегда, опираясь о палубу, но в дверях кухни он встал в рост, держась за притолоку, искал глазами воды. Повар обомлел: он не знал, что собирается делать Тихон, другая дверь была завалена снаружи каким-то товаром, ее нельзя было открыть. Повар боялся, что Тихон обожжется обо что-нибудь или ошпарится — обидится, взъярится, и тогда аминь. И повар потерянно шептал:

— Тише, Тишенька! Христос с тобой! Чего, голубчик Тихон Матвееч? Чего вам захотелось?

Но Тихон обвел тоскливыми глазами плиту и стол и быстро пошел к жене. Он носил ее с места на место, искал, где лучше. Но она вся обвисала у него на руках и не открывала глаз.

Уже второй день Леди ничего не ела, не ел и Тихон.

Храмцов издевался. Асейкин кричал, чтобы не давали пить. Пайщики махнули рукой. Марков один только не мог примириться с неудачей. Он стоял над больной и приговаривал с тоской:

— Такие деньжищи! Да это лучше бы чаю купить этого, цейлонского...

Но вот Леди открыла глаза. Она искала чего-то вокруг себя.

Асейкин вскочил. Он понесся к фельдшеру. Назад он шел со стаканом, с граненым чайным стаканом, в нем была вода, а поверху плавал порошок. Тит Адамович шел сзади:

— Не станет она того пить, а стаканом вам в рожу кинет, увидите. Я не отвечаю, честное даю вам слово!

Но Асейкин сказал свое: «А знаешь что?» — и Тихон оглянулся. Он сам потянулся рукой к стакану, взял его осторожно и потянул к губам, но Леди подняла голову. Она хотела слабой рукой перехватить стакан. Тихон бережно за затылок придерживал ей голову, и она жадно пила из стакана.

Марков причитал:

— Все одно пропадет, только на чучело теперь...

Тихон передал стакан Асейкину, как делал всегда. Асейкин налил воды из графина. Тихон снова споил его жене. Третий стакан — за ним не потянулась, отстранила — Тихон сам выпил. Он пил с жадностью: это был третий день, что у него не было маковой росинки во рту.

Мы так и не узнали, чего намешал Тит Адамович, но на другой день Леди уже сидела. К вечеру она пошла пешком. Тихон поддерживал ее с одной стороны, Асейкин — с другой.

Храмцов уверял, что Тихону надоест, что Асейкин суется, и шваркнет он этого приятеля за борт. Но Тихон, видимо, верил Асейкину, и они втроем прогуливались по палубе. Асейкин пробовал тоже опираться рукой в палубу — все смсылись, конечно, кроме орангов. Асейкин уверял, что он уже кое-чему выучился по-обезьяньи. Он, правда, каркал иногда, но выходило по-вороньи. Обезьяны повеселели. Боцман поговаривал, чтобы Асейкин выучил их хоть палубу скрести, а то сила такая зря пропадает.

— Какая сила такая? — перебил Храмцов. — Это лазить разве? Так он же легкий сам. А если взяться на силу — ну, бороться, — да врет этот сингалез, заливает, вроде как про тигра. Да я возьмусь с вашим Тихоном бороться, хотя бы по-русски, без приемов, в обхват, — вот увидите.

Храмцов представил, как это он обхватывает Тихона, и так это действительно приемисто, и так это вздулась, заходила его мускулатура, забегали живые бугры по плечам, по рукам, меж лопаток, что стало страшно за мохнатого, за пузатого Тихона Матвеича с рыжей бородушкой.

— А ну, как Марков будет на вахте, попробуйте, — шепотом сказал боцман.

— А кто ответит? — спросил фельдшер. — Обезьяна-то эта фунтов тридцать стоит, на русское золото — триста рублей.

Но Храмцов сказал, что он-то ведь не обезьяна, так что душить ее насмерть не будет. А что положит, то положит.

И теперь уж шепотком, по секрету от Маркова, все переговаривались, что Храмцов будет бороться с Тихоном, бороться будет по-русски, в обхват, и даже назначили когда. Все ждали развлечения. Небо да вода, да день в день те же вахты — не веселая штука. А тут вдруг такой цирк!

* * *

Марков только что ушел в машину, когда Тихона привели на бак. Возле носового трюма должна была состояться встреча.

— А он ногой захватит,— говорил Храмцов.

— А сапоги ему надеть,— советовал боцман.

Тихону на ноги надели сапоги с голенищами — это его забавляло. Он любопытно глядел на ноги, и, казалось, ему самому тоже смешно. Но Храмцов уже стал его обхватывать, командовал, как завести руки Тихона себе за спину. Тихону все это нравилось, он послушно делал все, что с ним ни устраивали. Пузатый, с рыжей бороденкой, в русских сапогах на согнутых ногах, он казался веселым деревенским шутником, что не дурак выпить и народ посмешить.

Храмцов жал, но оранг не понимал, что надо делать.

— Сейчас я ему поддам пару!

Храмцов углом согнул большой палец и стал им жать обезьяну в хребет.

Вдруг лицо Тихона изменилось — это произошло мгновенно,— губы поднялись, выставились клыки и вспыхнули глаза. Сонное благодушие как сдуло, и зверь, настоящий лесной зверь, оскалился и взъярился.

Храмцов мгновенно побелел, опустил руки. Они повисли, как мокрые тряпки, глаза вытаращились и закатились. Оранг валил его на люк и вот вцепится клыками... Все оцепенели, закаменели на местах.

— А знаешь что? — Это Асейкин хлопнул Тихона по плечу. И вмиг прежняя благодушная морда повернулась к Асейкину. Асейкин рылся в кармане и говорил спешно: — Сейчас, Тихон Матвеич, сию минуту... Стой, забыл, кажись...

Храмцова уже отливали водой, но он не приходил в сознание. В лазарете он сказал Титу Адамовичу:

— Это вроде в машину под мотыль попасть. Еще бы миг — и не было бы меня на свете. А как вы думаете, он на меня теперь обижаться не будет?

— Кто? Марков?

— Нет... Тихон Матвеич.

В Нагасаки, на пристани, уже ждала клетка. Она стояла на повозке. Агент зоопарка пришел на пароход.

Марков просил Асейкина усадить Тихона Матвеича в клетку. — Я не мерзавец, — сказал Асейкин и сбежал по сходне на берег.

Только к вечеру он вернулся на пароход.

Никто ему не рассказывал, как Тихон с женой вошли в клетку, — будто все сговорились, — и про обезьян больше никто не говорил во весь этот рейс.

1935

КЕНГУРА

На парусном судне «Зазноба» служил матросом один литвин, Заторский. Пудов на шесть дядя. Силы медвежьей.

Бывает, тянут хлопцы брас¹; пятеро их стоит, тужатся, жиятятся; Заторский подойдет, упрется — те только за ним слаби-ну подбирают да на кнехт крепят.

Он откудова-то из лесов был и мужицкой повадки своей не бросал: хоть за мокрое берется, а непременно вперед в руки поплюет. Ноги узловатые, как коренья, и ходит, будто за землю хватается, так и гребет.

Бить он никогда никого не бил. Возьмется с ним ребята, иной раз — в штиль ведь делать-то нечего — бросаются, как собаки на медведя, а он только смеется. Потом поплюет в руки, сгребет троих, что хвороста охапку, и положит не торопясь на палубу. Добрый был и неразговорчивый. Это уж когда с полчаса все молчат, он, бывало, вдруг хриплым басом заведет: «А у нас в зиму — самая охота...» Смешно: штиль, жара, море, как масло, а он про снег, про берлоги. Только это редко с ним бывало.

На берег идешь, там в случае скандальчик или что — за ним, как за каменной горой: в обиду не даст.

Вот как-то раз сидим мы на берегу в пивной, и Заторский с нами. Денег мало, так что выпиваем потихоньку. Молчат все.

Заторский уж начал объяснять, как у них там на волка капканы ставят, а Простынев вдруг перебивает:

— Идем в цирк!

Идем да идем — и так пристал; болтает, ломается. И ведь черт его знает, как он у нас на судне завелся: в каком-то порту подобрали. Жиденький весь какой-то, скользкий, дрыгается. Ну, слякоть одна.

¹ Б р а с — снасть, которой поворачивают реи.

И вечно врет. То говорит, что из Москвы, то он саратовский. А может быть, он и не Простынев вовсе? То у него мать — вдова, то он у тетки жил. Так его и звали: «теткин сын».

Выпил он на грош, а орет на весь кабак: в цирк да в цирк! А по нему, шельме, видно, что это он неспроста. И все около Заторского пляшет, за рукав тянет: ничего, мол, стоять не будет, так пустят, без денег, у него там знакомые. И крестится и ругается — это все у него вместе.

Пошли мы — так он надоел. Знали, что врал. Так и оказалось: заплатили. С разговором, правда, а все-таки заплатили. Сели.

Смотрим представление. Ну, как обыкновенно: лошади, клоуны. Наверху человек двоих на зубах держал. Заторский посмотрел.

— Ну,— говорит,— ежели этот кусит...— И головой только помотал.

Под конец музыка остановилась, выходит человек в вязаной фуфайке, и с ним кенгура. В рост человека зверь, серой масти. На задних ногах, как на лыжах, стоит; передние лапки короткие, как ручки. И на всех четырех лапах у него рукавицы шарами и крепко к лапам примотаны ремешками.

У этого, что ее вывел, такие же шары на руках. Вышел распорядитель на середину и говорит:

— Сейчас почтеннейшей публике австралийский зверь кенгура покажет упражнение в боксе. Редкий случай искусства.

И вот этот человек в вязанке давай наступать на свою кенгуру с кулаками.

Она живо заработала ручками — трах-трах! — лап не видно. Хозяин отбивается, но, видать, она его не очень-то садит — ученая.

Всем смешно, все хлопают. Тут снова музыка ударила, и кенгура перестала драться.

Опять выходит распорядитель, поднял руку: музыка остановилась.

— Вот,— говорит,— публика убедилась наглядно, как работает австралийский зверь кенгура! Желающие испытать свои силы могут вступить в бой без перчаток. Кенгура работает в перчатках. Если кто победит зверя, получает немедленно тут же сто рублей деньгами.

Весь цирк молчит — слышно, как фонари жужжат.

Вдруг слышу:

— Есть желающий! Здесь!

Гляжу — это Простынев орет. Подплясывает, тянет Заторского за рукав. Заторский застыдился, покраснел, отмахивается. Весь цирк на него пялится, орут все:

— На арену! Га! А!

Такой содом поднялся. Заторский в ноги глядит, а Просты-

нев, «теткин сын», вскочил на сиденье, на Заторского руками тычет: «Вот! Вот!» — да вдруг как сорвет с него фуражку и швырнул на арену. Заторский вскочил — в проход, вниз, через барьер, за фуражкой.

Только он на арену — кенгура прыг! И загородила фуражку. Головка у нее маленькая, собачья, стоит и кулачками пошевеливает — и около самой фуражки. Тут распорядитель махнул рукой, и барабан в оркестре ударил дробь.

Заторский что-то кричит на кенгуру — ничего за барабаном не слышать, а кенгура на него хитро так и зло глядит и все кулачками шевелит. Дразнит. Уперлась хвостом в песок, хвост у нее мясистый, упористый — твердо стоит, проклятая.

Заторский на нее рукой, как на теленка, по-деревенски — видно, отпугнуть хотел.

Вдруг кенгура задней ногой, как лыжей, бах ему в живот. Да здорово! Заторский так и сел, глаза выпучил. Вдруг, вижу, озверело лицо, побагровел весь, вскочил да как заревет быком — куда твой барабан! Как рванется на кенгуру — раз! раз! Сбил с ног и с хвоста с этого насел. Весь цирк на ноги встал, и барабан оборвался.

А Заторский и себя не помнит: где и что.

Сидит на кенгуре и молотит, морду ей в песок вколачивает.

Хозяин к нему — куда тут!.. И распорядитель и циркачи все вскочили — еле оторвали. Поставили Заторского на ноги.

Он огляделся, вспомнил, где это он, и бегом в проход, вон из цирка, как был — без шапки. Мы — за ним.

Нагнали его на углу. А он отдышаться, отплеваться не может.

Я ему:

— Чего ты озверел-то?

— Тьфу, — говорит, — обидно... зверь ведь... а с подлостью.

А тут Простынев нагоняет.

— Получил? — говорит. — Половина мне, потому без меня ты и не пошел бы!

Смотрю, Заторский снова озверел, как зарычит:

— Иди ты к...

Простынева и след простыл. Больше мы его и не видели.

А кенгуры три недели в афишах не было, так мы и в море ушли.

1923

«СИЮ МИНУТУ-С!..»

Это было в царское время.

Провожали пароход на Дальний Восток. Стояла июльская жара, и смола, которой залиты пазы в палубе, выступила и наду-

лась черными блестящими жгутами меж узких тиковых досок. Поп сиял на солнце, как луженый, в своем блестящем облачении. Он кропил святой водой компас, штурвал. Он пошел с капитаном вниз кропить трехцилиндровую машину в три тысячи пятьсот лошадиных сил святой водою. Поп неловко топал и скользил каблуками по намаасленному железному трапу.

— Хорошо, что не качает! — хихикнул мичман Березин своей даме.

Дама для проводов была в шелках, в страусовых перьях. На золотой цепочке играл на солнце лорнет в золотой оправе.

— Ах, страшно, не правда ли, когда буря и ветер вое: вв-вв-ву! — завывала дама и закачала перьями на шляпке.

Но мичман Березин — не простак:

— А знаете, если нам бояться бурь...

— Неужели никаких не боитесь?

— Нам бояться некогда, — и мичман браво тряхнул головой. — Моряк, сударыня, всегда глядит в глаза смерти. Что может быть страшнее океана? Зверь? Тигр? Леопард? Пожалуй-ста! Извольте — леопард для нас, моряков, это что для вас, сударыня, кошка. Простая домашняя киска.

Он повернулся к юту, туда, где в кормовой части парохода был шикарный салон, где сейчас буфетчик Степан со всей стариковской прыти готовил закуску и завтрак из одиннадцати блюд.

— Степан! А Степан! — крикнул мичман Березин; он взял свою даму под локоток. — Степан!

— Сию мину-с! — Старик перешагнул высокий паровой порог и засеменил к мичману.

— Покажи Ваську, — вполголоса приказал Березин.

— Сию мину-с! — И старик буфетчик зашаркал начищенными для парада штиблетами в кают-компанию.

В кают-компании он крикнул на лакеев:

— Не вороти всю селедку в ряд! Торговать, что ли, выставили! Охломоты!

Лакеи во фраках бросились к столу, а буфетчик с дивана в своей буфетной уж звал Ваську.

Мичман Березин стоял с дамой, опершись о борт.

— Вы спрашиваете: к тигру в клетку? Родная моя! Но волна Индийского океана рычит громче! злее! свирепей! Этот тигр в десять этажей ростом. Поверьте...

Но буфетчик уже повалил перед трюмным люком плетеное кресло-кабину японской работы — целый дом из прутьев. Степан — новгородский старик с бритыми усами — держал в руках большой кусок сырого мяса.

— Готово? — спросил мичман. — Пускай!

— Сию мину-с!

Двери кают-компании раскрылись. В двери высунулась морда. Это была аккуратная голова леопарда с большими круглыми

глазами, настороженными, со злым вниманием в косых зрачках. Он высоко поднял уши и глянул на Березина. Дама прижалась к мичману. Березин браво хмыкнул и затянулся сигарой.

— Пошел! — скомандовал Березин, подхватив даму за талию.

— Сию минуточку-с! — отозвался буфетчик.

Он поднял мясо, чтоб его увидал леопард, и бросил его на трюмный люк, на туго натянутый брезентовый чехол, который прикрывал деревянные створки.

И в то же мгновение леопард сделал скачок. Нет, это не скачок — это полет в воздухе огромной кошки, блестящей, сверкающей на солнце. Леопард высоко перемахнул через поваленное кресло-кабину и точно и мягко лег на брезент. Мясо было уж в клыках. Он зло урчал, встряхивая мордой, хвост — пушистая змея — резко бился из стороны в сторону. Он на миг замер, только ворочал глазами по сторонам. И вдруг поднялся и воровской побегкой улепетнул. Он исчез бесшумно, неприметно.

Дама трепетно держалась за кавалера. Кавалер, осклабясь, жевал конец сигары.

— Полюбуйтесь, — не торопясь произнес мичман; он подвел даму к трапу. — Вот!

Там на палубе, на крепких тиковых досках, остались следы когтей — здесь оттолкнул свое упругое тело Васька.

— Вот как прыгают наши кошечки! Кись-кисть! — позвал и щелкнул пальцами.

Дама вздрогнула и схватилась за белоснежный рукав крахмального кителя. Васька деловитой неспешной походкой прошел по палубе. Он облизывался.

— Кись-кисть! — осторожно пропел Березин.

Васька не повел ухом. Он ловко зацепил лапой дверь и ленивой волной перемахнул через высокий порог кают-компания.

— Э, хотите, я его сейчас, каналью, сюда притащу? — Мичман двинулся от борта. — Вы его себе накинете вокруг шеи, горжетку такую. А?

Но дама крепче вцепилась в рукав мичмана и шептала:

— Не надо, прошу, я не хочу... я уйду...

Мичман делал вид, что вырывается.

— Степан! — крикнул мичман Березин.

— Есть! Сию минуточку-с!

Буфетчик вышел из кают-компания, жмурясь на солнце.

— Не надо! Прошу! — сказала дама по-французски.

— Чего изволите-с? — Степан уж стоял, покачивая руку с салфеткой.

Мичман лукаво поглядел на даму. Она отвернулась, покраснела.

— Степан, у тебя... все готово? — спросил мичман и плутовски скосился на даму.

— Графинчики не заморозившись, — полушепотом докладывал старик, — водку надо-с как льдинку. Особо в таку жару-с. Чтоб запотевши были графинчики. Сами знать изволите-с. Они-то на льду, а я вот как на угольях: ох, быть нам не поспеть!

— Ну, ступай, ступай! Не бойтесь, сударыня, это я нарочно. — И мичман взял даму под локоток. — Кись-кисть! — шепнул мичман и осторожно пощекотал локоток.

Но в это время спускались со спардека капитан и гости. Капитан — крепкий старик, лихая борода с проседью расчесана на две стороны. Он сиял золотыми погонами, и на солнце больно было смотреть на его белый китель.

— А вот извольте — на случай пожара. Терещенко! Навинти шланг. Живо!

Матрос бросился со всех ног.

— Ах, только не поливайте! — И дамы кокетливо испугались, приподняли юбки, как в дождь.

— Нет, теперь, батюшка, дайте уж нам покропить! — И капитан захохотал деланным баском. — Правда, мичман? По-нашему.

Мичман с дамой подошел почтительно и поспешно. Батюшка, завернув в рот бороду, уважительно щурился на сиявшую, начищенную медь. Поливка развеселила всех. Мичман смеялся, когда немного забрызгало его даму.

— Ну, принесите же мой платок! — Дама, смеясь, надула губки. — Принесите мой ридикюль, я его оставила там, в кают-компании.

Мичман ловко вспрыгнул на трюмный люк и оттуда одним прыжком к кают-компании и дернул дверь.

— Эх, молодец он у меня! — довольным голосом сказал капитан, любуясь на молодого офицера.

Мичман Березин распахнул с размаху дверь и вдруг снова запер. Запер плотно, повернул ручку. Он неспешно шагал назад, подняв брови.

— Знаете, мне пришла мысль... — вдруг заулыбался он даме. — Мне очень-очень хотелось бы, чтоб вы воспользовались моим платком, честное слово. — И он достал из бокового кармана чистенький платочек. — Я буду его... хранить, как память.

— Нет, зачем же? Я хочу свой. Ну, принесите же!

Мичман молчал, протягивая платок.

— Ради бога! — шептал он. — Умоляю!

Капитан глядел нахмурясь.

— Быстрота и великолепие, — сказал батюшка капитану, но капитан, не оборачиваясь, кивнул наспех головой: он глядел на мичмана.

— Это неприлично-с, господин мичман! Немедленно отправляйтесь, исполните, что требует дама.

— Есть! — ответил мичман; он зашагал к кают-компани.

Все глядели ему вслед. У самых дверей он укоротил шаги. Он поворачивал ручку, дергал ее, он рвал дверь — дверь не открывалась. Он даже раз оглянулся назад. Все смотрели на него. Капитан прищурил один глаз, будто целился.

— Дверь не откроете? — крепким голосом крикнул капитан. — Мич-ман! — И капитан решительным шагом зашагал к двери.

— Я сама, сама! — вскрикнула дама и засеменила по мокрой палубе, стараясь обогнать капитана.

Вся публика двинулась следом. Но всех обогнал Степан. Степан-буфетчик, запыхавшийся старик, с графинчиками. Их по четыре торчало у каждой руки — зажатые горлами меж пальцев. Запотевшие, матовые — от ледяной водки внутри.

— Сию мину-с!.. Сию мину-с! — пришептывал старик, юля и обгоняя гостей.

Он шлепающей лакейской рысцой обогнал капитана; он уцепил пальцем ручку — дверь легко распахнулась. Капитан уже стоял за плечами. У самого порога, по ту сторону дверей, лениво растянувшись, блаженно спал Васька.

— Ах, вот в чем дело! — грозно сказал капитан и перевел глаза на мичмана.

— Брысь, скотина! Брысь, брысь! — фыркнул на Ваську Степан.

Он пнул его старицкой ногой, на ходу, с досадой, и леопард прыгнул через порог и, поджав хвост, змеей шмыгнул вон, на палубу, и исчез. *

Мичман стоял опустив глаза.

— Моментально отправляйтесь на берег, — сказал капитан. — Ревизор! Списать на берег га-аспадина мичмана. Ступай-те! — И капитан повернулся к гостям.

Он не видел, как мичман большими, журавлиными шагами описал на палубе дугу, обошел для чего-то трюмный люк два раза вокруг и, не понимая, по чему это он шагает, пошел к сходне.

* * *

Завтрак из одиннадцати блюд сошел шикарно. Капитан вышел в море с двумя помощниками, третьим стоял штурманский ученик.

А в буфетной, после тревог, в одном жилете дремал выпивший «с устатку» Степан-буфетчик. Он развалясь сидел на диванчике. На колени старику положил голову Васька. Он терся лбом о жилет и урчал, как кот. Старик пьяной рукой щелкал Ваську по уху:

— Я тебя, окаянного, вскормил, вспоил с малых лет твоих — люди видели, не вру! А ты, шельма, скандалить? Скандалить?

Через тебя, через блудню несчастную, человека на берег списали. А через кого? Через меня, скажешь? Тебя я, подлеца, спрашиваю: через меня? через меня?

Тут Степан хотел покрепче стукнуть Ваську по носу, но в это время ревизор крикнул из кают-компаний:

— В буфет!

— Есть в буфет! Сию минуточку-с! — Степан отпихнул Ваську и стал напяливать фрак. — Сию... минуточку-с!

ВИТАЛИЙ БИАНКИ

Р АССКАЗЫ И СКАЗКИ



МИР МНОГОГОЛОСЫЙ И МНОГОКРАСОЧНЫЙ

Случилось это ночью на глухарином току. Я случайно оперся рукой о сосенку, на которой «играл» глухарь. И невольно отдернул руку: деревце дрожало! В такт глухариной песне дерево била дрожь!

Дрожь передалась и мне: как зачарованный стоял я в ночной темноте, по колени в черной воде, и белые звезды тыкались в мокрые голенища. А над головой сидела черная птица и, запрокинув голову в небо, бормотала свои заклинания. И ей внимал предрассветный лес, торжественный, как молитва. С шорохом разворачивался веер хвоста, и встопорщенная борода под клювом птицы напряженно тряслась.

Так в чертоломине заболоченного леса открылась мне великая тайна глухариной песни. Великая потому, что она волнует людей. Хоть и нет в ней соловьиной изысканности и изощренности, трескучей скороговорки камышевки или томности золотой иволги. Зато от силы ее внутренней напряженности замирает сердце и озноб холодит спину. И тысячи людей отправляются в глухой предрассветный лес, чтобы только ее услышать. Как сейчас помню: дерево дрожит под рукой...

Я вспомнил об этом теперь, когда пишу о замечательном писателе — Виталии Валентиновиче Бианки. Его «песни» — рассказы, сказки, повести — пронизаны такой же внутренней напряженностью, они чисты и просты, как глухариная песня, и так же притягательны. Нет у нас ни одного малыша или подростка, который бы не знал книг Бианки. Нет ни одного взрослого, который бы не помнил о них.

Настоящий писатель по сути своей открыватель: он всегда открывает читателям новое. Что же открыл своим юным читателям писатель Виталий Бианки? Он взял своих читателей за руку и ввел в удивительный мир, многоголосый и многокрасочный, мир, переполненный тайнами, поэзией и красотой, — мир за околицей. Фантастический мир природы, населенный удивитель-

ными существами в перьях, шерсти и чешуе. И неизведанный этот мир — рядом!

Нельзя сказать, что мы лишь от Бианки узнали об этом мире. И до Бианки писали о птицах, зверушках и рыбах. Но чаще это были либо переодетые в животных человечки, либо просто зверушки, просто птички и вообще рыбки. Бианки же каждого назвал своим именем, каждый у него живет там, где ему положено, и действует так, как это присуще только ему. Бианки удалось показать стройность мира природы, его безграничное разнообразие и привлекательность. Все в этом мире оказалось взаимозависимым и взаимообусловленным. Каждый не сам по себе — каждый во взаимодействии с другим. Есть такое емкое выражение — «темный лес». Это и наше незнание, и предубеждения, суеверия, неверные представления. Книжки Бианки делают для нас темный лес светлым. И уже не зеленый пугающий хаос окружает нас, нет, рядом с нами стройный прекрасный мир, который мы понимаем и который уже не можем не полюбить. Мир этот заставляет всматриваться и в себя, он будоражит ум и радует сердце. Он дает работу всем нашим чувствам. Он неиссякаем и неисчерпаем для любознательного человека. В конце своей жизни Бианки скажет о нем: «...весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон неизведанных тайн. И я их буду открывать всю жизнь, потому что это самое интересное, самое увлекательное занятие в мире!» (рассказ «Морской чертенок»).

Малыш перевернул камень — что под ним? Это первый шаг исследователя. И Бианки подогревает, подталкивает это врожденное любопытство, помогает малышу разгадывать маленькие, посильные ему тайны. «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?», «Где раки зимуют?», «Чей нос лучше?», «Лесные домишки». Смело шагай в этот мир за околицей: он еще неведом тебе, он чуть пугает, но и неудержимо влечет. Там все пока незнакомо, все в первый раз, все еще безымянно. Ты начинаешь свое сотворение мира — ты познаешь.

Очень важно сделать этот первый шаг: всякое путешествие — и путешествие в жизнь! — начинается с первого шага. Но еще важнее шагнуть и не испугаться, не разочароваться. И тут очень надо, чтобы рядом с тобой был доброжелательный и мудрый учитель. Таким учителем был В. В. Бианки. Книжки его учат, не поучая, ведут, не толкая в спину, не дергая за руку. И каждому кажется, что ведет его только собственный интерес. Как щенка из рассказа «Первая охота». Не беда, что он не сразу во всем разобрался, не все понял — и даже шишек набил! — главное сделано, познание началось.

Все написанное Бианки — это праздник узнавания. Открытия на каждом шагу. Ты уже выучил, что $1+1$ будет 2. А вот «сложились» в лесу рысь и заяц — и получилась... единица! Потому что рысь зайца съела, и заяц уже не в счет. Встретились

в рассказе «Два белых, третий — как снег» белый горноста́й с белой совой — и получилось не два, а ноль, оба погибли.

Ты знаешь один мир, а вот утенок-гоголенок, оказывается, живет в трех мирах: в тесном и круглом — яйце, в высоком и темном — дупле и, наконец, в знакомом уже тебе лесном мире. Но и в лесном мире есть свои мирки: ельники, березняки, болота, озера. И все это, вместе взятое, лишь частица необъятного мира, в котором мы все живем. «Какое счастье жить и летать в этом огромном мире!» («Гогленок, или Три мира»).

Едва ты одолел, что зимой только белый снег и зелени не бывает, как все рушится. В рассказе «Зимнее летечко» зеленая трава и цветы среди дремучих снегов — как в сказке!

В детстве мы все любим сказки. Потом начинаем догадываться, что сказки просто выдуманы, что сказки — неправда. Но, читая книжки Бианки, вдруг понимаем, что сказки не «просто выдуманы», они родились в лесу и пришли к нам из леса. Разве не сказочна жизнь крошечных метелько́в-подёнок («Метельки, или Тысяча и один день»)? Тысячу дней жили под водой маленькие мохнатые уродцы. Но настал день, вылезли они на берег и... обернулись в легкокрылых красавиц! И начался на реке бал, воздушные танцы: вверх и вниз, вверх и вниз. И так целый день — тысяча первый день... А вечером все метельки умерли, так уж положено им: тысячу дней жить под водой уродцами и всего один день танцевать в воздухе красавицами. Но род метлиц-подёнок на этом не кончится. «...Придет еще один день — солнечный-солнечный, — всплывут уродцы на берег, сбросят мохнатые шкурки, обернутся красавицами подёнками и запляшут в воздухе метелицей. Так сказка станет правдой. Так радость никогда не переведется на земле. И это — третье и самое главное чудо».

Бианки заставляет детей шире и глубже увидеть мир природы. Лес для них уже не может быть только «складом дров и строительных материалов», луга — «запасами сена», а все живое в лесах и лугах — только «пух и перо».

Кстати — об охоте. Рассказов про охоту у Бианки много, и сам он был охотником. Как же так, удивляются некоторые читатели, быть защитником природы, призывать к вниманию и сочувствию ко всему живому и стрелять в тех, кого сам любит больше всего? Не ханжество ли это, не тот ли это писатель, который призывает других делать то, во что сам не верит? Нет, Бианки не тот. Его выстрелы — это не выстрелы истребителя, потребителя, это, в первую очередь, выстрелы естествоиспытателя. «Я же ведь не просто охотник, а естествоиспытатель». Так у него говорит о себе в рассказе «Тайна ночного леса» мальчик-юннат; полностью это относится и к самому автору. Время было такое! Фигура охотника была еще достаточно романтична, любительская охота не потеряла еще своего изначального смысла, охотник был опытным следопытом, выносливым искателем, до-

тошным наблюдателем. Это теперь он привык стрелять в организованных охотничьих хозяйствах, словно в тире, в прирученных полудомашних фазанов, куропаток, оленей, зайцев. Такие охотники не вдохновляют на стихи и рассказы, разве что на карикатуры. Нет, у Бианки действовали еще лихие охотники: смелые, знающие, выносливые и... добрые. Охотник-медвежатник в рассказе «Музыкант» не смог выстрелить в медведя, который играл на расщепленном грозой дереве. Охотник-художник перышком из крыла вальдшнепа рисует поразившую его птицу. Охотник-горожанин («В горах на Кубани») восхищен жар-птицей — фазаном: «...проживу хоть до ста лет, а не устану восхищаться фазаньими чудными красками!» А рассказ «О Аулей, Аулей, Аулей!»? Кощунственно стрелять в красоту, нельзя прекрасное живое существо превращать в падаль.

Отвага и смелость настоящих охотников вызывали уважение. Тут и смелые братья-ненцы из рассказа «Моржиха», смекалистый охотник-ханты из рассказа «Про двух охотников», опытные таежники Маркелл и Мартемьян из превосходного рассказа «Последний выстрел», и расторопный Сысой Сысоч — герой многих рассказов, и отважный Киприян из рассказа «Роковой зверь». Фигура охотника, повторяю, была в то время еще достаточно впечатляющей, а взгляд на природу был чрезвычайно утилитарным. Натуралисты и краеведы — даже юннаты! — похвалялись количеством убитых птиц и зверей для коллекций, количеством вскрытых желудков (для определения вреда или пользы зверей и птиц). Все определители — и для любителей! — были составлены так, что опознать животное можно было только добыв его. (К сожалению, и до сих пор это так!)

Так поступал и Бианки-охотник, Бианки-натуралист. Но Бианки-художник и тогда уже противился этому. «Об истреблении наших рыбных, дичных, пушных и других естественных богатств надо горланить басом Маяковского в печати, по радио»¹. Он мечтал — и взялся уже — создать «бескровный» опознаватель птиц в природе. И не успел...

В радиопередаче «Вести из леса», которую он составлял в последние годы, ни слова уже не было о прославлении охоты, не прозвучало ни единого выстрела; а вот об охоте с фоторужьем, об охоте с магнитофоном за птичьими голосами рассказывалось часто и увлеченно.

Последние годы Бианки уже не стрелял; и не потому только, что мешала болезнь. Любительская охота потеряла для него былую привлекательность и смысл.

Смешно доказывать, что природа средней полосы или того места, где мы родились, и есть самая лучшая в мире. Природа везде хороша — на севере и на юге. Для таежника всегда дорог

¹ Журнал «Звезда», № 10, 1953 г.

лес, а для степняка мила степь. Но у каждого человека, конечно, есть своя излюбленная земля. Для В. В. Бианки такой землей, «малой родиной», стала земля Новгородчины. Там он подолгу жил, открывая ее для себя и своих читателей. «Я влюблен в эту природу, и край этот для меня — настоящая Страна Див». Можно твердо сказать, что все написанное Бианки, начиная с тридцатых годов, несет на себе печать новгородской земли. В некоторых рассказах прямо указывается место действия: озеро Боровно («Гоглюшка»), Мошенской район Новгородской области («Неслышимка»). А книжка «Клуб колумбов» вся посвящена открытию «Страны Див» — земли новгородской. Открывал он ее вместе с юннатами, которые приезжали к нему на лето.

Неоткрытый мир был для них не где-то на иных планетах, не где-то за горизонтом, а рядом — рукой достать. Тайны лежали под ногами, надо было только увидеть и нагнуться. И они учились смотреть. Вся книжка «Клуб колумбов» учит ребят этому. Великое счастье научиться видеть, тогда не окажешься в положении нищего богача. Бесчисленные богатства мира природы принадлежат тебе, а ты, слепец, их даже не замечаешь. И значит, не владеешь ими. Природа дарит тебе сокровища, а ты не берешь их — потому что не видишь. Плохо такому слепому и глухому, тоскливо и скучно ему на земле. Даже на неоткрытой, на неизведанной, даже в сказочно богатой Стране Див, где каждый — видящий! — может быть первопроходцем и первооткрывателем.

Есть два типа писателей, пишущих для детей, считает Бианки. Одни знания свои, образы, темы черпают из литературы, пересказывают виденное другими. Они литературу делают из литературы. Это «комнатные» писатели и поэты, «...которые избавляют себя от самого главного дела: ныряния в жизнь за солнечными зернами». Другие ищут темы, образы и знания в самой жизни и пишут только о том, что сами нашли и хорошо знают. Бианки писал о том, что знал лучше всего, что любил больше всего и чему больше всего удивлялся. Знания свои, любовь, удивление и волнение, радость свою он умел передать читателям.

Читая Бианки, читатель задумывается («Задумчивые рассказы»), читатель радуется («Рождение радости»), удивляется («Как я хотел зайцу соли на хвост насыпать»), огорчается («Слепой бельчонок»), сердится («Кукушонок»). Но никогда — никогда! — читатель не остается равнодушным. И всегда узнает для себя что-то новое.

Все написанное Бианки неравнодушно, потому что написано неравнодушным, глубоко заинтересованным человеком, прекрасно знающим, что он хочет сказать, и которому есть что сказать. Ему не нужны формальные выкрутасы и словесные хитросплетения, прикрывающие убожество мыслей. Рассказы его насыщены, как сама природа. Они быстры, как и все встречи в лесах и полях. Письмо его четкое, ясное, как зубчатая полоса леса на светлой

заре. Язык его прозрачен и чист, как вода в роднике. Язык настоящей, а не игрушечной литературы. Это — рассказы творца, а не исполнителя. «...Я никогда ничего не писал по заказу, по приказу, не кривил душой и только сам наслаждался, рассказывая ребятам, какое наслаждение испытываешь, любя родную землю, дивные ее леса, степи, горы и их мохнатых, пернатых и прочих жителей, так непохожих на нас — и так уморительно на нас похожих». (Из письма к Е. К. Вандерфлит от 28 мая 1954 г.)

Бианки считал, что профессиональных писателей вообще не существует: «...как только он (писатель) превращает свой талант, фантазию свою, огненное свое вдохновение в профессию — он перестает быть подлинным художником» («Рассказ о рассказах»).

Бианки внутренне не принимал утилитарного подхода к детской литературе. Он считал, что пишущие для детей «открывают им глаза на мир» («Слово о краеведении»), учат детей жить. Но ему ненавистны нравоучительность, наставления, проповеди, дидактика — они, по его убеждению, порождают обратное тому, к чему стремится сам «проповедник».

Бианки хорошо знает лес. Он по-научному точен в фактах, всегда верен биологической правде, точному наблюдению в природе. Но даже самый точный факт — еще не искусство и не вся правда. Факт, как алмаз, надо гранить и гранить, чтобы получился драгоценный бриллиант. «Научная статья нужна десятку, от силы — сотне специалистов; хороший очерк — тысяче читателей; настоящий рассказ, повесть, сказка — миллионам людей». (Из письма к П. И. Мариковскому от 4 апреля 1956 года.)

Ребенок может всерьез разговаривать с собакой, кошкой, куклой, цветком. Все мы были детьми, напоминает Бианки, и все разговаривали, а вот о чем — забыли. Но не все. Помнят это особые люди — поэты. Они-то и становятся для других переводчиками с бессловесного языка на человеческий. Бианки так их и называл — переводчики с бессловесного. В первую очередь, таким «переводчиком» был он сам. И великое ему за это спасибо: мы знаем теперь, о чем разговаривают муравьи и бабочки, ящерицы и лягушки, звери и птицы. Даже цветы и деревья. Все живое пытается говорить с нами. Но не всегда мы можем понять — о чем? Книги Бианки помогают ребятам в этом. Да, птицы и звери у него разговаривают.

Л и с и М ы ш о н о к

- Мышонок, Мышонок, отчего у тебя нос грязный?
- Землю копал.
- Для чего землю копал?
- Норку делал.
- Для чего норку делал?

- От тебя, Лис, прятаться.
- Мышонок, Мышонок, я тебя подстерегу!
- А у меня в норке спаленка.
- Кушать захочешь — вылезешь!
- А у меня в норке кладовочка.
- Мышонок, Мышонок, а ведь я твою норку разрою.
- А я от тебя в отнорочек — и был таков!

Лис и Мышонок разговаривают по-человечески, а мы даже не удивляемся! И все потому, что говорят они только то, о чем сказали бы, умей они и в самом деле разговаривать! Нарушается точный факт, но не нарушается — а утверждается! — правда жизни. Вот та самая сказка-нёсказка, которая так мила Бианки. Целую книгу собрал он таких сказок-несказок. Для него сказка — лучший способ постижения жизненной правды. Потому что он до старости сохранил в себе ребенка — может быть, самое дорогое, что нам дарит жизнь.

За зверино-птичьи разговоры Бианки часто упрекали в антропоморфизме¹. Упрекать в этом можно натуралиста, но никак не художника. Художник неизбежно все по себе меряет и жизнь познает с помощью самого себя. Для него человек — всему точка отсчета. Не так уж важен для него сам предмет или явление, как отношение к ним людей. Очень точно сказал об этом М. М. Пришвин: не о природе я пишу, а отыскиваю в ней прекрасные стороны души человеческой.

Бианки писал: «Ясно, как день: в деловой — научной или учебно-краеведческой — книжке антропоморфизма быть не должно. Здесь он «неправда» и только дезорганизует читателя». Но «...в художественной литературе антропоморфический образ животного, растения, даже неодушевленного предмета — чистейшая «правда», глубоко верное изображение действительности» («Об антропоморфизме»).

Упрекали Бианки и в «малолюдье» его книг. Это уж и совсем непонятно: в повестях и рассказах Бианки много интересных людей — детей и взрослых. Да и в том ли дело! «...Прекрасные свойства душ человечков можно описывать, рассказывая не только о людях, но и о растениях... о птицах и зверях... даже о вещах...» (Из письма к А. И. Выдриной от 5 июля 1958 года.) Бианки уверен, «...что все то, в чем настоящая поэзия, — красиво... этично, добро, а то, в чем нет поэзии, — скучно и бесполезно, хотя и прикидывается «пользой». (Из того же письма.)

Натуралисты-педанты указывали на некоторые биологические неточности в рассказах писателя. Они есть, хоть и очень мало. Но

¹ А н т р о п о м о р ф и з м — уподобление человеку, наделение человеческими свойствами предметов и явлений неживой природы, небесных тел, животных.

виноват ли в них автор? В чем-то он доверился тогдашним представлениям тех же натуралистов, а теперь они устарели. Это естественно — наука идет вперед. Сколько поколений натуралистов выросло на Альфреде Бреме, а теперь и он, непререкаемый, казалось бы, авторитет, устарел. В этом смысле характерен пример с дергачом-коростелем. Теперь окончательно установлено, что дергач не ходит пешком на зимовку в Африку, а летит туда, как и все перелетные птицы. Но маленькое сообщение писателя в «Лесной газете» о птице, идущей пешком в Африку, так поразило воображение читателей, что они не хотят верить ни в какие «опровержения»: им дорог образ маленькой слабой птички, спешащей домой — пешком! — из далекой Африки. «Грустно мне также, что Вы весь смысл моих рассказов и сказок сводите... к популяризации идей Дарвина». (Из письма к А. И. Выдриной от 5 июля 1958 года.)

Упрекали Бианки, наконец, и в том, что люди у него якобы более схематичны, условны и не так образны и жизненны, как животные. Бианки объяснял: «...это — п р и е м, диктуемый необходимостью. Люди, их наружность, психология (характер) у меня чаще всего даются обще, отдельными штрихами — лишь намечены — по той простой причине, что, дай их автор четко, развернуто, они вберут в себя все внимание читателя, привыкшего интересоваться именно людьми...» (Из письма к В. П. Аникину от 10 апреля 1959 года.)

Но так, «обще, отдельными штрихами», Бианки рисует людей только в тех рассказах, где «главным действующим лицом» у него задуман зверь или птица; там же, где главным героем задуман человек, образ его выписывается полнокрóвным, жизненным, узнаваемым. Подтверждением этому могут служить хотя бы такие рассказы, как «Аришка-трусиха», «Егоркины заботы», серия рассказов об охотнике Сысое Сысиче.

О книгах Бианки спорили. Одни видели в них только познавательную ценность, пропаганду биологических знаний. Книги называли «учебниками природы», «лесной энциклопедией», а самого автора — «лескором советской литературы». Другие считали, что тема природы всего лишь авторский прием, а пишет он только о человеке, учит детей жизни. Мне кажется, что неправы и те и другие. Или, вернее, частично правы и те и другие. Конечно же, книги Бианки — это и «учебники природы» и «лесные энциклопедии», и сам автор — «лескор советской литературы». «Мастера без топора», «Кто чем поет?», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Лесные домишки», «Первая охота» и многое, многое другое — это ли не «учебники», не «энциклопедии», не уроки природознания! Но рядом другие книги: «Егоркины заботы», «Аришка-трусиха» — тоже можно долго перечислять! — это ли не прямые уроки воспитания, нравственности, поведения, совершенствования характера. В каком-то смысле все книги Бианки —

«учебники». А разве могут быть книги для детей иного плана? Надо узнать и понять мир, в котором живешь. И вот тебе в помощь книги — «учебники жизни».

По книгам Бианки мы не просто узнаем своих «земляков» — растения и животных, живущих с нами на одной земле, но у нас рождается и вырабатывается отношение к ним, мы проникаемся к ним сочувствием. Из «Красной горки» мы узнаем, что, оказывается, рядом с нами живут не только сероголовые городские воробьи, но и красноголовые деревенские, полевые. Узнаем и проникаемся симпатией к этому неунывающему бедолаге, на которого со всех сторон шишки сыплются. А разве можем мы быть равнодушными к полевым курочкам-куропаткам после чтения трогательной истории об Оранжевом Горлышке? Нет, читая Бианки, мы не просто «принимаем к сведению» — мы сопереживаем. И мы не можем уже быть безразличными к судьбе всех этих серпоносов и дубоносов, к зуйкам и витютням, дятлам пестрым с носом вострым, белкам — по веткам скакалкам, по дуплам сиделкам. «Я собираюсь делать... сборник... под названием «Воспитанники» — о том, как люди (гл. образом — дети) воспитывают птиц и зверей и как птицы и звери воспитывают людей», — писал Бианки.

Свою самую большую книгу «Лесная газета», которую он дополнял всю жизнь, Бианки назвал «кратким самоучителем любви к родной природе». (Из письма к Э. Г. Казакевичу от 24 января 1954 года.) Самоучитель любви — вот, пожалуй, в чем главная суть всех бианковских книг.

Познавая природу, мы неизбежно познаем и себя. Мы не можем не сравнивать, не сопоставлять, не задумываться, не примерять к себе, не оценивать. Всплывают понятия добра и зла, верности и неверности, смелости и трусости. Книги Бианки помогают юному читателю разобраться в себе; брошенные им семена прорастают.

В свое время было много споров, надо ли детям показывать зло. «Детские писатели должны быть мастерами радости», — считает Бианки. (Из письма к Г. П. Гроденскому от 16 сентября 1958 года.) И все же он был уверен, что надо говорить и о зле. Не для примера, не для подражания, чего так боятся не в меру осторожные педагоги, а для того, чтобы каждый мог распознать зло, как бы оно ни маскировалось. Все познается в сравнении: не зная зла, не оценишь добра, не узнав о зле — можешь оказаться беспомощным перед ним. «...Делаешь полезное дело, не только когда рассказываешь начинающим жить о красоте мира сего, но и о том, с чем надо в нем бороться...» — замечает Бианки.

Бианки был против тепличного воспитания под колпаком. Потому ребята, герои его книг, сталкиваются с «живой жизнью», со всеми ее проявлениями — в меру, конечно, допустимого для их возраста.

Особенность книг Бианки еще и в том, что, разгадывая лесные загадки, они не делают для читателя лес скучным, «разгаданным».

Прием многих популяризаторов «а знаете ли вы?» неизбежно приводит юного читателя к мысли, что вокруг все давным-давно узнано и разгадано, что ему, читателю, уже делать нечего, как только глотать готовенькое. И Бианки разгадывает загадки; но вот загадка разгадана, а тайна, та тайна жизни, что пронизывает все живое, остается. Остается и продолжает все так же неудержимо увлекать и манить. Разгадан таинственный выкрик «уммб!», пойман «морской чертенок». Но разве от этого мир стал скучнее? Нет, «мир полон неизведанных тайн», за дверями горы Сезам хранятся неисчислимые их сокровища. И надо только найти ключ к этим дверям.

А ключ может быть везде. Вполне возможно, что он спрятан где-то между строчек бианковских книг. Не потому ли многие люди, давно уже ставшие взрослыми и пожилыми, продолжают хранить его книги — книги своего детства. Не для наведения справок, даже не для перечитывания — они их прекрасно помнят. А просто так, чтобы всегда иметь под рукой. Для постоянного напоминания — они были, они есть. И значит, сохранилось в душе то радостное и светлое, что эти книжки когда-то им дали. Значит, не очерствела душа и жив тот малыш, что когда-то — давным-давно! — смотрел на мир изумленными, сияющими глазами.

Море подарило человеку «заветный сундучок» — пустой («Чайки на взморье»). Человек хранил его всю жизнь. Каждую новую книгу, написанную им, он клал в сундучок. И вот сундучок почти полон. «Он сумел наполнить простор мира своими мечтами, своими увлекательными стихами о тайнах жизни». Открывая сундучок, он каждый раз видит свое отражение в зеркальце. «Но еще он видит и другое: множество человеческих лиц, которые смотрят на него с любовью, с благодарностью, с дружбой. Это те, с кем делил он горе и радости на долгом пути своей жизни, о ком рассказывал в своих книгах и к кому обращал свои слова — самые заветные, самые дорогие сердцу слова... Пытать, разведывать жизнь, разгадывать ее удивительные тайны — это только половина дела. Другая в том, чтобы опыт свой, свои открытия — большие и маленькие — передать людям-братьям. Не в этом ли высшее на земле наслаждение?»

Для писателя Виталия Бианки высшее наслаждение на земле было именно в этом.

Прочитаны все книги В. Бианки — сказки, рассказы, повести. Но есть еще повесть его жизни; она не менее интересна, чем его сочинения. Ведь все, о чем он нам рассказал, он видел своими глазами, все прошло через его ум и сердце.

Невозможно рассказать обо всем в короткой статье, постараюсь обозначить только самое главное.

Родился В. В. Бианки 12 февраля 1894 года в Петербурге в семье Валентина Львовича и Клары Андреевны Бианки. В семье уже было два старших брата — Лев и Анатолий. Отец их был ученым-орнитологом и работал хранителем коллекций Зоологического музея Академии наук. Он ввел Виталия в свой мир — мир музейных коллекций, диких птиц и зверей. Это был удивительный мир, сразу же поразивший живое воображение сына. Мир удивительный, но мертвый, неподвижный и молчаливый. Впечатлительная душа мальчика не могла с этим смириться, страстно захотелось, чтобы все вокруг задвигалось, зазвучало. Так родилась мечта найти «волшебную палочку», которая бы оживила застывший мир. Такой «волшебной палочкой», «живой водой», могло быть только художественное слово.

Отец ввел сына и в мир живой природы: каждое лето семья выезжала на берег Финского залива, где отец и сын подолгу пропадали в лесу. Валентин Львович знакомил сына с природой. «Он каждую травку, каждую птицу и зверюшку называл мне по имени, отчеству и фамилии» («Отчего я пишу про лес»).

В семье часто бывали известные зоологи, путешественники, бывалые люди. Их увлекательные рассказы будоражили воображение. Виталий все больше и больше начинал понимать, что живой мир природы — это его призвание, увлечение и любовь.

В 1915 году Виталий поступает на естественное отделение Петербургского университета. Но кончить его не удалось: он был мобилизован в армию.

После Октябрьской революции Бианки жил на Алтае, в Бийске, где работал учителем в школе и принимал активное участие в работе местного краеведческого музея. Для пополнения его коллекций он, вместе со своим братом Анатолием Валентиновичем, предпринял несколько экспедиций по рекам и горам Алтая. Вот где особенно пригодились навыки научной работы, привитые ему отцом еще в детстве.

«К двадцати семи годам у меня накопились целые тома записок. Они лежали мертвым грузом у меня на душе... Тогда опять, как в детстве, мучительно захотелось найти слово, которое бы расколдовало их...» («Отчего я пишу про лес»). Тут, в Бийске, Бианки впервые пробует свои силы в литературе, печатая небольшие заметки и стихи о природе.

1920 год — женитьба на Вере Николаевне Ключевой, учи-

тельнице французского языка. Брак был на редкость удачным; до конца дней своих Виталий Валентинович благодарил судьбу и говорил о жене только с любовью и благодарностью.

1922 год — семья Бианки возвращается в Петроград.

1923 год — Бианки входит в кружок детских писателей, членами и гостями которого были С. Маршак, Б. Житков, К. Чуковский, А. Слонимский, Е. Шварц, Е. Данько, Е. Привалова, М. Ильин, Е. Верейская, Н. Дилакторская и др. Кружок этот сыграл большую роль в становлении советской детской литературы.

В этом же году в первом советском детском журнале «Воробей» Бианки напечатал первую свою сказку — «Путешествие красноголового воробья». Так началось оживление застывшего мира музейных чучел и сухих научных записей в дневниках, так начала сбываться мечта детства. Одна за другой выходят книжки: «Чей нос лучше?», «Первая охота», «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?», «На Великом морском пути», «Лесные домишки». Все они становятся классикой нашей детской литературы.

С 1926 по 1929 год Бианки живет сперва в Уральске, потом в Новгороде; и там он продолжает наблюдать и писать. В 1927 году выходят его повести «Аскыр», «Одинец». А в 1928 году появляется первое издание «Лесной газеты».

О «Лесной газете» нужно сказать особо. Бианки исправлял и дополнял ее всю жизнь. Это была одна из любимых им книг да, пожалуй, и самая главная книга его жизни. Книга эта сразу же вызвала внимание и любовь читателей. Сейчас она вышла уже десятым изданием, переведена на многие языки у нас и за рубежом. В ней писателю удалось органически слить науку и искусство, это образец детской научно-художественной литературы. Впервые природа времен года показана не как набор разрозненных событий, а как их неразрывная цепь. Звенья этой цепи стройно выстроились и замкнулись: колесо года, круговорот явлений. Поэтический год природы.

С 1929 по 1941 год Бианки с семьей живет в Ленинграде. Каждое лето семья, как и прежде, выезжает в деревню. А сам Виталий Валентинович, бывает, уезжает и в экспедиции. В 1930 году он с художником В. Курдовым отправляется на Тобольский север. После поездки, в 1933 году, выходит его книга «Конец земли» с рисунками В. Курдова.

Со многими художниками связывала его творческая и личная дружба. Книги его иллюстрировали В. Курдов, Е. Чарушин, Ю. Васнецов, Н. Тырса, В. Конашевич, А. Рылов, А. Якобсон и др.

Летом в деревню к Бианки часто приезжали юннаты, которым он, как когда-то отец ему самому, открывал мир природы, удивительную Страну Див, — об этом он напишет потом книгу «Клуб колумбов».

В деревне ему работалось особенно хорошо: новые наблюдения, новые книги.

1941 год. Великая Отечественная война застала семью Бианки в деревне. Из-за болезни сердца Бианки не призывали в армию. В 1942 году он с семьей эвакуировался на Урал, поселился в городке Оса, недалеко от Перми. В. Бианки пытается быть полезным стране, делает все, что в его силах: выступает с чтением в детских домах перед эвакуированными детьми, помогает советами и делом краеведческому музею, пишет новые рассказы. Он считает, что «...человек не может жить одними мыслями о войне... Человек жив мыслями о будущем...»¹.

После победы Бианки снова живет в Ленинграде. Снова налаживается привычный «сезонный» ритм жизни и работы: зимой — в городе, летом — в деревне. Он полон новых планов и замыслов. Но больное сердце начинает сдавать: в 1948 году первый инфаркт.

Бианки продолжает работать. Выходят новые книги, все ширится и ширится переписка с друзьями, с читателями, в доме писателя постоянно люди: писатели, художники, ученые, учителя, ребята. И на всех Виталий Валентинович находит время.

Много сил и времени отдавал он группе начинающих писателей, его учеников. В группу входили Гарновский К., Ливеровский А., Павлова Н., Сахарнов С., Сладков Н., Шим Э. Вместе со своими учениками он много лет составляет радиопередачу «Вести из леса», полюбившуюся детям и взрослым. Тысячи писем приходили от слушателей, и Бианки старался на них отвечать.

А здоровье все ухудшалось. 1951 год — инсульт. Трудно ходить, отказала рука. Невозможно стало, как когда-то, с ружьем и записной книжкой отправиться в лес — и это было для него самым тяжелым ударом. Все радости теперь сфокусировались на работе. «Все больше тянет писать все итоговое», — отмечает он в дневнике. Последней книгой, которую он написал, была книга рассказов «Птицы мира».

10 июня 1959 года В. В. Бианки не стало.

У одного из его рассказов, «Чайки на взморье», есть эпиграф: «Когда станешь взрослым, не презирай мечты твоей юности». Эпиграф этот может быть послесловием ко всей жизни Бианки: сам он не только не презрел юношеской своей мечты, но и сумел сохранить в своей душе ребенка — самое драгоценное, самое необходимое, без чего не может быть настоящего писателя для детей.

¹ В. Бианки. Собр. соч., Л., «Детская литература», 1972—1975, т. 4, с. 385.

Остается добавить, что книги Бианки продолжают выходить и, несомненно, будут радовать еще не одно поколение ребят. Тираж их превысил 40 миллионов, они переведены почти на все языки народов нашей страны и во многих странах за рубежом. По ним дети всего мира знакомятся с нашими детьми и с нашей удивительной и прекрасной природой.

Н. И. С л а д к о в



РАССКАЗЫ И СКАЗКИ

ЧЬИ ЭТО НОГИ?

Летал Жаворонок высоко над землей, под самыми облаками. Поглядит вниз — сверху ему далеко видно — и поет:

Я ношусь под облаками,
Над полями и лугами,
Вижу всех, кто подо мной,
Всех под солнцем и луной.

Устал петь, спустился и сел на кочку отдыхать. Вылезла из-под дерева Медянка и говорит ему:
— Сверху ты все видишь, — это правда. А вот снизу никого не узнаешь.

— Как это может быть? — удивился Жаворонок. — Непременно узнаю.

— А вот иди ложись со мной рядом. Я тебе буду снизу всех показывать, а ты отгадывай, кто идет.

— Ишь какая! — говорит Жаворонок. — Я к тебе пойду, а ты меня ужалишь. Я змей боюсь.

— Вот и видно, что ты ничего земного не знаешь, — сказала Медянка. — Первое — я не змея, а просто ящерица; а второе — змеи не жалят, а кусают. Змей-то и я боюсь: зубы у них такие длинные, и в зубах — яд. А у меня гляди-ка: малюсенькие зубки. Я ими не то что от змеи, от тебя и то не отобьюсь.

— А где же у тебя ноги, если ты ящерица?

— Да зачем мне ноги, если я по земле ползаю не хуже змеи?

— Ну, если вправду ты — безногая ящерица, — сказал Жаворонок, — так мне бояться нечего.

Соскочил с кочки, лапки под себя поджал и лег рядом с Медянкой.

Вот лежат они рядышком. Медянка и спрашивает:

— Ну-ка, ты, верхогляд, узнавай, кто идет и зачем он сюда пожаловал?

Взглянул Жаворонок перед собой и обмер: идут по земле высоченные ноги, через большие кочки, как через малые комочки земли, шагают, пальцами в землю след вдавливают.

Перешагнули ноги через Жаворонка и пропали: не видать больше.

Медянка на Жаворонка посмотрела и улыбнулась во весь рот.

Облизнула сухие губы тонким язычком и говорит:

— Ну, друг, видно, не разгадал ты моей загадки. Кабы ты знал, кто через нас шагнул, так не испугался бы. Я вот лежу и смекаю: две ноги высоких, пальцев на каждой счетом три больших, один маленький. И знаю уж: птица идет большая, высокая, по земле гулять любит — хороши ходули для ходьбы. Так оно и есть: Журавль это прошел.

Тут Жаворонок востепенулся весь от радости: Журавль ему знакомый был. Спокойная птица, добрая — не обидит.

— Лежи, не пляши! — зашипела на него Медянка. — Гляди: опять ноги идут.

И верно: ковыляют по земле голые ноги, неизвестно чьи.

Пальцы словно лоскутами клеенки обшиты.

— Отгадывай! — говорит Медянка.

Жаворонок думал-думал, — никак не может припомнить, чтобы прежде такие ноги видел.

— Эх ты! — засмеялась Медянка. — Да ведь это совсем просто отгадать. Видишь: пальцы широкие, ноги плоские, по земле идут — спотыкаются. Вот в воде с ними удобно: повернешь ногу боком — она воду как ножом режет; растопыришь пальцы, — и весло готово. Это Чомга-ныреу — водяная такая птица — из озера вылезла.

Вдруг упал с дерева черный комок шерсти, приподнялся с земли и пополз на локтях.

Присмотрелся Жаворонок, а это вовсе не локти, а сложенные крылья.

Повернулся комок боком — сзади у него цепкие звериные лапки и хвост, а между хвостом и лапками кожа натянута.

— Вот чудеса! — сказал Жаворонок. — Кажется, крылатая тварь, как и я, а на земле узнать ее никак не могу.

— Ага! — обрадовалась Медянка, — не можешь узнать. Хвастался, что под луной всех знаешь, а Летучей-то Мыши и не узнал.

Тут Летучая Мышь вскарабкалась на кочку, расправила крылья и улетела к себе на дерево.

А уж из-под земли другие ноги лезут.

Страшные лапы: короткие, мохнатые, на пальцах тупые когти, жесткие ладошки в разные стороны вывернуты.

Затрепетал Жаворонок, а Медянка говорит:

— Лежу, гляжу и смекаю: лапы в шерсти — значит, звериные. Короткие, как обрубки, и ладошками врозь, а на толстых пальцах когтищи здоровые. На таких ногах по земле шагать трудно. А вот под землей жить, землю лапами рыть да назад ее за собой отбрасывать — очень даже удобно. Вот вышло и у меня: подземный зверь. Крот называется. Гляди, гляди, а то он сейчас опять под землю уйдет.

Зарылся Крот в землю — и опять нет никого.

Не успел Жаворонок в себя прийти, глядь: бегут по земле руки.

— Это что за акробат? — удивился Жаворонок. — Зачем ему четыре руки?

— А по веткам в лесу прыгать, — сказала Медянка. — Ведь это же Белка-Векша.

— Ну, — говорит Жаворонок, — твоя взяла: никого я на земле не узнал. Дай-ка теперь я тебе загадку загадаю.

— Загадывай, — говорит Медянка.

— Видишь в небе темную точку?

— Вижу, — говорит Медянка.

— Отгадай, какие у нее ноги?

— Да ты шутишь! — говорит Медянка. — Где ж мне так высоко ноги разглядеть?

— Какие тут шутки! — рассердился Жаворонок. — Уноси свой хвост подобру-поздорову, пока не сгребли тебя эти когтистые лапы.

Кивнул Медянке на прощанье, вскочил на лапки и улетел.

КТО ЧЕМ ПОЕТ?

Слышишь, какая музыка гремит в лесу?

Слушая ее, можно подумать, что все звери, птицы и насекомые родились на свет певцами и музыкантами.

Может быть, так оно и есть: музыку ведь все любят, и петь всем хочется. Только не у каждого голос есть.

Вот послушай, чем и как поют безголосые.

Лягушки на озере начали еще с ночи.

Надули пузыри за ушами, высунули головы из воды, рты приоткрыли.

«Ква-а-а-а!..» — одним духом пошел из них воздух.

Услыхал их Аист из деревни.

Обрадовался:

— Целый хор! Будет мне чем поживиться!

И полетел на озеро завтракать.

Прилетел и сел на берегу. Сел и думает:

«Неужели я хуже лягушки? Поют же они без голоса. Дай-ка и я попробую».

Поднял длинный клюв, застучал, затрещал одной его половинкой о другую, — то тише, то громче, то реже, то чаще: трещотка трещит деревянная, да и только! Так разошелся, что и про завтрак свой забыл.

А в камышах стояла Выпь на одной ноге, слушала и думала:

«Безголосая я цапля! Да ведь и Аист — не певчая птичка, а вот какую песню наигрывает».

И придумала: «Дай-ка на воде сыграю!»

Сунула в озеро клюв, набрала полный воды да как дунет в клюв! Пошел по озеру громкий гул:

«Прумб-бу-бу-бумм!»... — словно бык проревел.

«Вот так песня! — подумал Дятел, услыхав Выпь из лесу. — Инструмент-то у меня найдется: чем дерево не барабан, а нос мой чем не палочка?»

Хвостом уперся, назад откинулся, размахнулся головой — как задолбит носом по суку!

Точь-в-точь — барабанная дробь.

Вылез из-под коры Жук с предлинными усами.

Закрутил, закутил головой, заскрипела его жесткая шея — тоненький-тоненький писк слышался.

Пищит усач, а все напрасно; никто его писка не слышит. Шею натрудил — зато сам своей песнею доволен.

А внизу, под деревом, из гнезда вылез Шмель и полетел петь на лужок.

Вокруг цветка на лужку кружит, жужжит жилковатыми жесткими крылышками, словно струна гудит.

Разбудила шмелиная песня зеленую Саранчу в траве.

Стала Саранча скрипочки налаживать. Скрипочки у нее на

крылышках, а вместо смычков — длинные задние лапки коленками назад. На крыльях — зазубринка, а на ножках зацепочки.

Трет себя Саранча ножками по бокам, зазубринками за зацепочки задевает — стрекочет.

Саранчи на лугу много: целый струнный оркестр.

«Эх, — думает долгоносый Бекас под кочкой, — надо и мне спеть! Только вот чем? Горло у меня не годится, нос не годится, шея не годится, крылышки не годятся, лапки не годятся... Эх! Была не была, — полечу, не смолчу, чем-нибудь да закричу!»

Выскочил из-под кочки, взвился, залетел под самые облака. Хвост раскрыл веером, выпрямил крылышки, перевернулся носом к земле и понесся вниз, переворачиваясь с боку на бок, как брошенная с высоты дощечка. Головой воздух рассекает, а в хвосте у него тонкие, узкие перышки ветром перебирает.

И слышно с земли: будто в вышине барашек запел, заблеял. А это Бекас.

Отгадай, чем он поет?

Хвостом!

ЛЕСНЫЕ ДОМИШКИ

Высоко над рекой, над крутым обрывом, носились молодые ласточки-береговушки. Гонялись друг за другом с визгом и писком: играли в пятнашки.

Была в их стае одна маленькая Береговушка, такая проворная: никак ее догнать нельзя было — от всех увертывается.

Погонится за ней пятнашка, а она — туда, сюда, вниз, вверх, в сторону бросится да как пустится лететь — только крылышки мелькают.

Вдруг — откуда ни возьмись — Чеглок-Сокол мчится. Острые изогнутые крылья так и свистят.

Ласточки переполошились: все — врассыпную, кто куда — мигом разлетелась вся стая.

А проворная Береговушка от него без оглядки за реку, да над лесом, да через озеро!

Очень уж страшная пятнашка Чеглок-Сокол.

Летела, летела Береговушка — из сил выбилась.

Обернулась назад — никого сзади нет. Кругом оглянулась, — а место совсем незнакомое. Посмотрела вниз — внизу река течет. Только не своя — чужая какая-то.

Испугалась Береговушка.

Дорогу домой она не помнила: где ж ей было запомнить, когда она неслась без памяти от страха?

А уж вечер был — ночь скоро. Как тут быть?

Жутко стало маленькой Береговушке.

Полетела она вниз, села на берегу и горько заплакала.

Вдруг видит: бежит мимо нее по песку желтая птичка с черным галстуком на шее.

Береговушка обрадовалась, спрашивает у желтой птички:

— Скажите, пожалуйста, как мне домой попасть?

— А ты чья? — спрашивает желтая птичка.

— Не знаю, — отвечает Береговушка.

— Трудно же будет тебе свой дом разыскать! — говорит желтая птичка. — Скоро солнце закатится, темно станет. Оставайся-ка лучше у меня ночевать. Меня зовут Зуск. А дом у меня вот тут — рядом.

Зуек пробежал несколько шагов и показал клювом на песок. Потом закланялся, закачался на тоненьких ножках и говорит:

— Вот он, мой дом. Заходи!

Взглянула Береговушка — кругом песок да галька, а дома никакого нет.

— Неужели не видишь? — удивился Зуек. — Вот сюда гляди, где между камешками яйца лежат.

Насилу-насилу разглядела Береговушка: четыре яйца в бурых крапинках лежат рядышком прямо на песке среди гальки.

— Ну, что же ты? — спрашивает Зуек. — Разве тебе не нравится мой дом?

Береговушка не знает, что и сказать: скажешь, что дома у него нет, еще хозяин обидится. Вот она ему и говорит:

— Не привыкла я на чистом воздухе спать, на голом песке, без подстилки.

— Жаль, что не привыкла! — говорит Зуек. — Тогда лети-ка вон в тот еловый лесок. Спроси там голубя, по имени Витютень. Дом у него с полом. У него и ночуй.

— Вот спасибо! — обрадовалась Береговушка.

И полетела в еловый лесок.

Там она скоро отыскала лесного голубя Витютня и попросилась к нему ночевать.

— Ночуй, если тебе моя хата нравится, — говорит Витютень.

А какая у Витютня хата? Один пол, да и тот, как решето, — весь в дырках. Просто прутики на ветки накинаны как попало. На прутиках белые голубиные яйца лежат. Снизу их видно: просвечивают сквозь дырявый пол.

Удивилась Береговушка.

— У вашего дома, — говорит она Витютню, — один пол, даже стен нет. Как же в нем спать?

— Что же, — говорит Витютень, — если тебе нужен дом со стенами, лети, разыщи Иволгу. У нее тебе понравится.

И Витютень сказал Береговушке адрес Иволги: в роще, на самой красивой березе.

Полетела Береговушка в рощу.

А в роще березы одна другой красивее. Искала, искала Ивол-

гин дом и вот, наконец, увидела: висит на березовой ветке крошечный легкий домик. Такой уютный домик, и похож на розу, сделанную из тонких листков серой бумаги.

«Какой же у Иволги домик маленький! — подумала Береговушка. — Даже мне в нем не поместиться».

Только она хотела постучаться, — вдруг из серого домика вылетели осы.

Закружились, зажужжали — сейчас ужалят!

Испугалась Береговушка и скорей улетела прочь.

Мчится среди зеленой листвы.

Вот что-то золотое и черное блеснуло у нее перед глазами.

Подлетела ближе, видит: на ветке сидит золотая птица с черными крыльями.

— Куда ты спешишь, маленькая? — кричит золотая птица Береговушке.

— Иволгин дом ищу, — отвечает Береговушка.

— Иволга — это я, — говорит золотая птица. — А дом мой вот здесь, на этой красивой березе.

Береговушка остановилась и посмотрела, куда Иволга ей показывает.

Сперва она ничего различить не могла: все только зеленые листья да белые березовые ветви. А когда всмотрелась, — так и ахнула.

Высоко над землей к ветке подвешена легкая плетеная корзиночка.

И видит Береговушка, что это и в самом деле домик. Затеиливо так свит из пеньки и стебельков, волосков и шерстинок и тонкой березовой кожурки.

— Ух! — говорит Береговушка Иволге. — Ни за что не останусь в этой зыбкой постройке! Она качается, и у меня все перед глазами вертится, кружится... Того и гляди, ее ветром на землю сдует. Да и крыши у вас нет.

— Ступай к Пеночке! — обиженно говорит ей золотая Иволга. — Если ты боишься на чистом воздухе спать, так тебе, верно, понравится у нее в шалаше под крышей.

Полетела Береговушка к Пеночке.

Желтая маленькая Пеночка жила в траве, как раз под той самой березой, где висела Иволгина воздушная колыбелька.

Береговушке очень понравился ее шалашик из сухой травы и мха. «Вот славнотто! — радовалась она. — Тут и пол, и стены, и крыша, и постелька из мягких перышек! Совсем как у нас дома!»

Ласковая Пеночка стала ее укладывать спать. Вдруг земля под ними задрожала, загудела.

Береговушка встрепетулась, прислушивается, а Пеночка ей говорит:

— Это кони в рощу скачут.

— А выдержит ваша крыша, — спрашивает Береговушка, — если конь на нее копытом ступит?

Пеночка только головой покачала печально и ничего ей на это не ответила.

— Ох, как страшно тут! — сказала Береговушка и вмиг выпорхнула из шалаша. — Тут я всю ночь глаз не сомкну: все буду думать, что меня раздавят. У нас дома спокойно: там никто на тебя не наступит и на землю не сбросит.

— Так, верно, у тебя такой дом, как у Чомги, — догадалась Пеночка. — У нас дом не на дереве — ветер его не сдует, да и не на земле — никто не раздавит. Хочешь, провожу тебя туда?

— Хочу! — говорит Береговушка.

Полетели они к Чомге.

Прилетели на озеро и видят: посреди воды на тростниковом островке сидит большеголовая птица. На голове у птицы перья торчком стоят, словно рожки.

Тут Пеночка с Береговушкой простилась и наказала ей к этой рогатой птице ночевать попроситься.

Полетела Береговушка и села на островок. Сидит и удивляется: островок-то, оказывается, плавучий. Плышет по озеру куча сухого тростника. Посреди кучи — ямка, а дно ямки мягкой болотной травой устлано. На траве лежат Чомгины яйца, прикрытые легкими сухими тростиночками.

А сама Чомга рогатая сидит на островке с краешка, разъезжает на своем суденышке по всему озеру.

Береговушка рассказала Чомге, как она искала и не могла найти себе ночлега, и попросилась ночевать.

— А ты не боишься спать на волнах? — спрашивает ее Чомга.

— А разве ваш дом не пристанет на ночь к берегу?

— Мой дом — не пароход, — говорит Чомга. — Куда ветер гонит его, туда он и плывет. Так и будем всю ночь на волнах качаться.

— Боюсь... — прошептала Береговушка. — Домой хочу, к маме...

Чомга рассердилась.

— Вот, — говорит, — какая привередливая! Никак на тебя не угодишь! Лети-ка, поищи сама себе дом, какой нравится.

Прогнала Чомга Береговушку, та и полетела.

Летит и плачет без слез: слезами птицы не умеют плакать.

А уж ночь наступает: солнце зашло, темнеет.

Залетела Береговушка в густой лес, смотрит: на высокой ели, на толстом суку выстроен дом.

Весь из сучьев, из палок, круглый, а изнутри мох торчит теплый, мягкий.

«Вот хороший дом, — думает она, — прочный и с крышей».

Подлетела маленькая Береговушка к большому дому, постучала клювиком в стенку и просит жалобным голоском:

— Впустите, пожалуйста, хозяюшка, переночевать!

А из дома вдруг как высунется рыжая звериная морда с оттопыренными усами, с желтыми зубами. Да как зарычит страшилище:

— С каких это пор птицы по ночам стучат, ночевать просят к белкам в дом?

Обмерла Береговушка, — сердце камнем упало. Отшатнулась, взвилась над лесом да стремглав, без оглядки наутек!

Летела, летела — из сил выбилась. Обернулась назад — никого сзади нет. Кругом оглянулась, — а место знакомое. Посмотрела вниз — внизу река течет. Своя река, родная!

Стрелой бросилась вниз к речке, а оттуда — вверх, под самый обрыв крутого берега.

И пропала.

А в обрыве — дырки, дырки, дырки. Это все ласточкины норки. В одну из них и юркнула Береговушка. Юркнула и побежала по длинному-длинному, узкому-узкому коридору.

Добежала до его конца и впорхнула в просторную круглую комнату.

Тут уже давно ждала ее мама.

Сладко спалось в ту ночь усталой маленькой Береговушке у себя на мягкой теплой постельке из травинки, конского волоса и перьев...

Покойной ночи!

ПЕРВАЯ ОХОТА

Надоело Щенку гонять кур по двору.

«Пойду-ка, — думает, — на охоту за дикими зверями и птицами».

Шмыгнул в подворотню и побежал по лугу.

Увидели его дикие звери, птицы и насекомые и думают каждый про себя.

Выпь думает: «Я его обману!»

Удод думает: «Я его удивлю!»

Вертишейка думает: «Я его напугаю!»

Ящерка думает: «Я от него вывернусь!»

Гусеницы, бабочки, кузнечики думают: «Мы от него спрячемся!»

«А я его прогоню!» — думает Жук-Бомбардир.

«Мы все за себя постоять умеем, каждый по-своему!» — думают они про себя.

А Щенок уже побежал к озерку и видит: стоит у камыша Выпь на одной ноге по колено в воде.

«Вот я ее сейчас поймаю!» — думает Щенок и совсем уж приготовился прыгнуть ей на спину.

А Выпь глянула на него и шагнула в камыш.

Ветер по озеру бежит, камыш колышет. Камыш качается

взад-вперед,

взад-вперед.

У Щенка перед глазами желтые и коричневые полосы качаются

взад-вперед,

взад-вперед.

А Выпь стоит в камыше, вытянулась — тонкая-тонкая, и вся в желтые и коричневые полосы раскрашена.

Стоит, качается

взад-вперед,

взад-вперед.

Щенок глаза выпучил, смотрел, смотрел — не видно Выпи в камыше.

«Ну, — думает, — обманула меня Выпь. Не прыгать же мне в пустой камыш! Пойду другую птицу поймаю».

Выбежал на пригорок, смотрит: сидит на земле Удод, хохлом играет, — то развернет, то сложит.

«Вот я на него сейчас с пригорка прыгну!» — думает Щенок.

А Удод припал к земле, крылья распластал, хвост раскрыл, клюв вверх поднял.

Смотрит Щенок: нет птицы, а лежит на земле пестрый лоскут, и торчит из него кривая игла.

Удивился Щенок: куда же Удод девался? «Неужели я эту пеструю тряпку за него принял? Пойду поскорей маленькую птичку поймаю».

Подбежал к дереву и видит: сидит на ветке маленькая птица Вертишейка.

Кинулся к ней, а Вертишейка юрк в дупло.

«Ага! — думает Щенок. — Попалась!»

Поднялся на задние лапы, заглянул в дупло, а в черном дупле черная змея извивается и страшно шипит.

Отшатнулся Щенок, шерсть дыбом поднял — и наутек.

А Вертишейка шипит ему вслед из дупла, головой крутит, по спине у нее змейкой извивается полоска черных перьев.

«Уф! Напугала как! Еле ноги унес. Больше не стану на птиц охотиться. Пойду лучше Ящерку поймаю».

Ящерка сидела на камне, глаза закрыла, грелась на солнышке.

Тихонько к ней подкрался Щенок — прыг! — и ухватил за хвост.

А Ящерка извернулась, хвост в зубах у него оставила, сама под камень!

Хвост в зубах у Щенка извивается.

Фыркнул Щенок, бросил хвост — и за ней. Да куда там! Ящерка давно под камнем сидит, новый хвост себе отращивает.

«Ну, — думает Щенок, — уж если Ящерка и та от меня вернулась, так я хоть насекомых наловлю».

Посмотрел кругом, а по земле жуки бегают, в траве кузнечики прыгают, по веткам гусеницы ползают, в воздухе бабочки летают.

Бросился Щенок ловить их, и вдруг — стало кругом, как на загадочной картинке: все тут, а никого не видно. Спрятались все.

Зеленые кузнечики в зеленой траве притаились.

Гусеницы на веточках вытянулись и замерли: их от сучков не отличишь.

Бабочки сели на деревья, крылья сложили — не разберешь, где кора, где листья, где бабочки.

Один крошечный Жук-Бомбардир идет себе по земле, никуда не прячется.

Догнал его Щенок, хотел схватить, а Жук-Бомбардир остановился да как пальнет в него летучей едкой струйкой — прямо в нос попал!

Взвизгнул Щенок, хвост поджал, повернулся — да через луг, да в подворотню.

Забился в конуру и нос высунуть боится.

А звери, птицы и насекомые — все опять за свои дела принялись.

РОСЯНКА — КОМАРИНАЯ СМЕРТЬ

Летел Комар над прудом и трубил:

— Я — Комарище!
Жигать мастерил.
Носом востер,
Зол и хитер.
Все меня боятся:
За всех умею взяться.
Зверя и птицы
Крови напиться.
Недруги ищут
Меня, Комарищу,
А я удал:
Жиг! — и умчал.

Никому меня, Комара, не словить!

Услыхала его Стрекоза и говорит:

— Не хвались, Комар, храбростью да ловкостью. В лесу дремучем на болоте топучем живет Росянка — Комариная Смерть. Изловит тебя, кровопийцу, Росянка.

— А вот не изловит! — говорит Комар.

Затрубил и полетел в лес.

Прилетел в лес дремучий — видит: сидит на сосне Копалуха. Перо у Копалухи плотное, ноги жесткие, нос костяной. Поди подступись к ней!

А Комар сел ей на бровь, где перышек нет, изловчился — жиг ее в бровь!

Сорвалась Копалуха с сосны, заклохтала, загремела крыльями по лесу!

А Комар увернулся, в сторону метнулся, повыше поднялся — летит, трубит:

— Не словила меня, Комара, Копалуха!

Летит по лесу дремучему, видит: в кустах Грибник пробирается, суковатым батошкой подпирается, картузом от мошки отбивается. На теле у Грибника рубаха, на ногах — штаны, а внизу — сапоги. Поди подступись к нему!

Комар сел ему на нос, где на коже нет одежды, изловчился — жиг его в нос!

Вскрикнул Грибник, замахал батошкой, грибы выронил.

А Комар увернулся, в сторону метнулся, повыше поднялся — летит, трубит:

— Не словил меня, Комара, Грибник!

Летит по лесу дремучему, видит: из чащи Сохатый прет, бородой трясет, рогами дерева задевает, ногами бурелом сокрушает. Все тело Сохатого длинной шерстью поросло, а рога да копыта костяные. Поди-ка к нему подступись!

А Комар подлетел, на веко ему, где шерсть коротка, сел — жиг в глаз!

Взревел Сохатый, рогом дерево с корнем вырвал, копытами землю взрыл.

А Комар увернулся, в сторону метнулся, повыше поднялся — летит, трубит:

— Не словил меня, Комара, Сохатый!

Летел-летел, глядит — среди леса дремучего болото топучее. Никого на болоте нет, только мох кругом, а во мху малая Травинка растет.

Спустился Комар на болото, сел на Травинку.

Спрашивает Травинку:

— Уж не ты ли Росянка — Комариная Смерть?

Отвечает Травинка сладким голоском:

Погляди, Комар, на мои цветочки.

Поглядел Комар на цветочки. Белые цветочки в зеленых ко-

локольчиках. Солнце за тучку,— цветочки в колокольчики. Солнце из тучки,— и цветочки выглянут.

Говорит Комар Травинке:

— Хороши у тебя цветочки! А не видала ты Росянки — Комариной Смерти?

Говорит Травинка сладким-пресладким голоском:

— Погляди, Комар, на мой колосок...

Поглядел Комар на колосок...

Колосок прямой, зеленый, стройненький.

Говорит Комар Травинке:

— Ничего себе колосок. А не слыхала ты про Росянку — Комариную Смерть?

Говорит Травинка приторным голоском:

— Погляди, Комар, на мои листочки!

Поглядел Комар на листочки. Круглые листочки лежат на земле, по краям их частые булабочки, на булабочках медвяная роса капельками.

Как увидел Комар те капельки,— сразу пить захотел. Слетел на листок, опустил в каплю носок, стал росу медвяную пить.

Летела мимо Стрекоза, увидала Комара на листке и говорит:

— Попался Комар Росянке!

Хотел Комар крыльями взмахнуть,— крылья к листку при-
стали; хотел ногами шагнуть,— ноги увязли; хотел нос выта-
щить,— нос прилип!

Изогнулись гибкие булабочки, вонзились в комариное тело, прижали Комара к листку,— и выпила Росянка комариную кровь, как пил Комар кровь звериную, птичью и человеческую.

Тут комару и смерть пришла.

А Росянка и по сей день на болоте живет и других комаров к себе ждет.

МЫШОНОК ПИК

КАК МЫШОНОК ПОПАЛ В МОРЕПЛАВАТЕЛИ

Ребята пускали по реке кораблики. Брат вырезал их ножиком из толстых кусков сосновой коры. Сестренка прилаживала паруса из тряпочек.

На самый большой кораблик понадобилась длинная мачта.

— Надо из прямого сучка,— сказал брат, взял ножик и по-
шел в кусты.

Вдруг он закричал оттуда:

— Мыши, мыши!

Сестренка бросилась к нему.

— Рубнул сучок,— рассказывал брат,— а они как порскнут! Целая куча! Одна вон сюда под корень. погоди, я ее сейчас...

Он перерубил ножиком корень и вытащил крошечного мышонка.

— Да какой же он малюсенький! — удивилась сестренка. — И желторотый! Разве такие бывают?

— Это дикий мышонок,— объяснил брат,— полевой. У каждой породы свое имя, только я не знаю, как этого зовут.

Тут мышонок открыл розовый ротик и пискнул.

— Пик! Он говорит, его зовут Пик! — засмеялась сестренка. — Смотри, как он дрожит! Ай! Да у него ушко в крови. Это ты его ножиком ранил, когда доставал. Ему больно.

— Все равно убью его,— сердито сказал брат. — Я их всех убиваю: зачем они у нас хлеб воруют?

— Пусти его,— взмолилась сестренка,— он же маленький! Но мальчик не хотел слушать.

— В речку заброшу,— сказал он и пошел к берегу.

Девочка вдруг догадалась, как спасти мышонка.

— Стой! — закричала она брату. — Знаешь что? Посадим его в наш самый большой кораблик, и пускай он будет за пассажира!

На это брат согласился: все равно мышонок потонет в реке. А с живым пассажиром кораблик пустить интересно.

Наладили парус, посадили мышонка в долбленое суденышко и пустили по течению. Ветер подхватил кораблик и погнал его от берега. Мышонок крепко вцепился в сухую кору и не шевелился.

Ребята махали ему руками с берега.

В это время их кликнули домой. Они еще видели, как легкий кораблик на всех парусах исчез за поворотом реки.

— Бедный маленький Пик! — говорила девочка, когда они возвращались домой. — Кораблик, наверно, опрокинет ветром, и Пик утонет.

Мальчик молчал. Он думал, как бы ему известить всех мышей у них в чулане.

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

А мышонка несло да несло на легком сосновом кораблике. Ветер гнал суденышко все дальше от берега. Кругом плескались высокие волны. Река была широкая — целое море для крошечного Пика.

Пику было всего две недели от роду. Он не умел ни пищи себе разыскивать, ни прятаться от врагов. В тот день мышка-мать первый раз вывела своих мышат из гнезда — погулять. Она как раз кормила их своим молоком, когда мальчик испугнул все мышиное семейство.

Пик был еще сосунком. Ребята сыграли с ним злую шутку. Лучше б они разом убили его, чем пускать одного, маленького и беззащитного, в такое опасное путешествие.

Весь мир был против него. Ветер дул, точно хотел опрокинуть суденышко, волны кидали кораблик, как будто хотели утопить его в темной своей глубине. Звери, птицы, гады, рыбы — все были против него. Каждый не прочь был поживиться глупым, беззащитным мышонком.

Первые заметили Пика большие белые чайки. Они подлетели и закружились над корабликом. Они кричали от досады, что не могут разом прикончить мышонка: боялись с лету разбить себе клюв о твердую кору. Некоторые опустились на воду и вплавь догоняли кораблик.

А со дна реки поднялась щука и тоже поплыла за корабликом. Она ждала, когда чайки скинут мышонка в воду. Тогда ему не миновать ее страшных зубов.

Пик слышал хищные крики чаек. Он зажмурил глаза и ждал смерти.

В это время сзади подлетела крупная хищная птица — рыболов-скопа. Чайки бросились врассыпную.

Рыболов увидал мышонка на кораблике и под ним щуку в воде. Он сложил крылья и ринулся вниз.

Он упал в реку совсем рядом с корабликом. Концом крыла он задел парус, и суденышко перевернулось.

Когда рыболов тяжело поднялся из воды со щукой в когтях, на перевернутом кораблике никого не было. Чайки увидели это издали и улетели прочь; они думали, что мышонок утонул.

Пик не учился плавать. Но когда он попал в воду, оказалось, что надо было только работать лапками, чтобы не утонуть. Он вынырнул и ухватился зубами за кораблик.

Его понесло вместе с перевернувшимся суденышком.

Скоро суденышко прибило волнами к незнакомому берегу.

Пик выскочил на песок и кинулся в кусты.

Это было настоящее кораблекрушение, и маленький пассажир мог считать себя счастливым, что спасся.

СТРАШНАЯ НОЧЬ

Пик вымок до последней шерстинки. Пришлось вылизать всего себя язычком. После этого шерстка скоро высохла, и он согрелся. Ему хотелось есть. Но выйти из-под куста он боялся: с реки доносились резкие крики чаек.

Так он и просидел голодный целый день.

Наконец стало темнеть. Птицы уgomонились. Только звонкие волны разбивались о близкий берег.

Пик осторожно вылез из-под куста.

Огляделся — никого. Тогда он темным клубочком быстро покатился в траву.

Тут он принялся сосать все листья и стебли, какие попадались ему на глаза. Но молока в них не было.

С досады он стал теревить и рвать их зубами.

Вдруг из одного стебля брызнул ему в рот теплый сок. Сок был сладкий, как молоко мыши-матери.

Пик съел этот стебель и стал искать другие такие же. Он был голоден и совсем не видел, что творится вокруг него.

А над макушками высоких трав уже всходила полная луна. Быстрые тени бесшумно проносились в воздухе: это гонялись за ночными бабочками верткие летучие мыши.

Тихие шорохи и шелесты слышались со всех сторон в траве. Кто-то копошился там, шмыгал в кустах, прятался в кочках.

Пик ел. Он перегрызал стебли у самой земли. Стебель падал, и на мышонка летел дождь холодной росы. Зато на конце стебля Пик находил вкусный колосок. Мышонок усаживался, поднимал стебель передними лапками, как руками, и быстро съедал колосок.

Плюх-шлеп! — ударилось что-то о землю недалеко от мышонка.

Пик перестал грызть, прислушался.

В траве шуршало.

Плюх-шлеп!

Кто-то скакал по траве прямо на мышонка.

Надо скорей назад, в кусты!

Плюх-шлеп! — скакнуло сзади.

Плюх-шлеп! Плюх-шлеп! — раздалось со всех сторон.

Плюх! — раздавалось совсем близко впереди.

Чьи-то длинные, вытянутые ноги мелькнули над травой, и — шлеп! — перед самым носом Пика шлепнулся на землю пучеглазый маленький лягушонок.

Он испуганно уставился на мышонка. Мышонок с удивлением и страхом рассматривал его голую скользкую кожу...

Так они сидели друг перед другом, и ни тот, ни другой не знали, что дальше делать.

А кругом по-прежнему слышалось — плюх-шлеп! плюх-шлеп! — точно целое стадо перепуганных лягушат, спасаясь от кого-то, скакало по траве.

И все ближе и ближе слышалось легкое быстрое шуршанье.

И вот на один миг мышонок увидел: позади лягушонка взметнулось длинное гибкое тело серебристо-черной змеи.

Змея скользнула вниз, и длинные задние ноги лягушонка дрыгнули в ее разинутой пасти.

Что дальше было, Пик не видел. Он опрометью кинулся прочь и сам не заметил, как очутился на ветке куста, высоко над землей.

Тут он и провел остаток ночи, благо брюшко у него было туго набито травой.

А кругом до рассвета слышались шорохи и шелесты.

ХВОСТ-ЦЕПЛЯКА И ШЕРСТКА-НЕВИДИМКА

Голодная смерть больше не грозит Пику: он уже научился находить себе пищу. Но как ему одному было спастись от всех врагов?

Мыши всегда живут большими стаями: так легче защищаться от нападения. Кто-нибудь да заметит приближающегося врага, свистнет, и все спрячутся.

А Пик был один. Ему надо было скорей отыскать других мышей и пристать к ним. И Пик отправился на розыски. Где только мог, он старался пробираться кустами. В этом месте было много змей, и он боялся спускаться к ним на землю.

Лазать он научился отлично. Особенно помогал ему хвост. Хвост у него был длинный, гибкий и цепкий. С такой цеплялкой он мог лазать по тоненьким веточкам не хуже мартышки.

С ветки на ветку, с сучка на сучок, с куста на куст — так пробирался Пик три ночи подряд.

Наконец кусты кончились. Дальше был луг.

Мышей в кустах Пик не встретил. Пришлось бежать дальше травой.

Луг был сухой. Змеи не попадались. Мышонок расхрабрился, стал путешествовать и при солнце. Ел он теперь все, что ему попадалось: зерна и клубни разных растений, жуков, гусениц, червей. А скоро научился и новому способу прятаться от врагов.

Случилось это так: Пик раскопал в земле личинки каких-то жуков, уселся на задние лапки и стал закусывать.

Ярко светило солнце. В траве стрекотали кузнечики.

Пик видел вдали над лугом маленького сокола-трясучку, но не боялся его. Трясучка — птица величиной с голубя, только потоньше, — неподвижно висела в пустом воздухе, точно подвешенная на веревочке. Только крылья у нее чуть-чуть тряслись да голову она поворачивала из стороны в сторону.

Он и не знал, какие зоркие глаза у трясучки.

Грудка у Пика была белая. Когда он сидел, ее далеко было видно на бурой земле.

Пик понял опасность, только когда трясучка разом ринулась с места и стрелой понеслась к нему.

Бежать было поздно. У мышонка от страха отнялись ноги. Он прижался грудью к земле и замер.

Трясучка долетела до него и вдруг опять повисла в воздухе, чуть заметно трепеща острыми крыльями. Она никак не могла

взять в толк, куда исчез мышонок. Сейчас только она видела его ярко-белую грудку, и вдруг он пропал. Она зорко всматривалась в то место, где он сидел, но видела только бурые комья земли.

А Пик лежал тут, у нее на глазах.

На спинке-то шерстка у него была желто-бурая, точь-в-точь под цвет земли, и сверху его никак нельзя было разглядеть.

Тут выскочил из травы зеленый кузнечик.

Трясучка кинулась вниз, подхватила его на лету и умчалась прочь.

Шерстка-невидимка спасла Пику жизнь.

С тех пор, как замечал он издали врага, сейчас же прижимался к земле и лежал не шевелясь. И шерстка-невидимка делала свое дело: обманывала самые зоркие глаза.

«СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»

День за днем Пик бежал по лугу, но нигде не находил никаких следов мышей.

Наконец опять начались кусты, а за ними Пик услышал знакомый плеск речных волн.

Пришлось мышонку повернуть и направиться в другую сторону. Он бежал всю ночь, а к утру забрался под большой куст и лег спать.

Его разбудила громкая песня. Пик выглянул из-под корней и увидел у себя над головой красивую птичку с розовой грудью, серой головкой и красно-коричневой спинкой. Мышонку очень понравилась ее веселая песня. Ему захотелось послушать певичку поближе. Он полез к ней по кусту.

Певчие птицы никогда не трогали Пика, и он их не боялся. А эта певичка и ростом-то была немного крупнее воробья.

Не знал глупый мышонок, что это был сорокопут-жулан и что он хоть и певчая птица, а промышляет разбоем.

Пик и опомниться не успел, как жулан накинулся на него и больно ударил крючковатым клювом в спину.

От сильного удара Пик кубарем полетел с ветки.

Он упал в мягкую траву и не расшибся. Не успел жулан опять накинуться на него, как мышонок уже шмыгнул под корни. Тогда хитрый «соловей-разбойник» уселся на куст и стал ждать, не выглянет ли Пик из-под корней.

Он пел очень красивые песенки, но мышонку было не до них. С того места, где сидел теперь Пик, ему был хорошо виден куст, на котором сидел жулан.

Ветки этого куста были усажены длинными острыми колючками. На колючках, как на пиках, торчали мертвые, наполовину съеденные птенчики, ящерики, лягушата, жуки и кузнечики. Тут была воздушная кладовая разбойника.

Сидеть бы на колючке и мышонку, если бы он вышел из-под корней.

Целый день жулан сторожил Пика. Но когда зашло солнце, разбойник забрался в чащу спать. Тогда мышонок тихонько вылез из-под куста и убежал.

Может быть, впопыхах он сбился с пути, только на следующее утро он опять услышал за кустами плеск реки. И опять ему пришлось повернуть и бежать в другую сторону.

КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЯ

Пик бежал теперь по высохшему болоту.

Здесь рос один сухой мох; бежать по нему было очень трудно, а главное — нечем было подкрепиться; не попадались ни черви, ни гусеницы, ни сочная трава.

На вторую ночь мышонок совсем выбился из сил. Он с трудом взобрался еще на какой-то пригорок и упал. Глаза его слипались. В горле пересохло. Чтобы освежиться, он лежа слизывал со мха капельки холодной росы.

Начало светать. С пригорка Пик далеко видел покрытую мхом долину. За ней снова начинался луг. Сочные травы там стояли высокой стеной. Но у мышонка не было сил подняться и добежать до них.

Выглянуло солнце. От его горячего света быстро стали высыхать капельки росы.

Пик чувствовал, что ему приходит конец. Он собрал остатки сил, пополз, но тут же свалился и скатился с пригорка. Он упал на спину, лапками вверх, и видел теперь перед собой только обросшую мхом кочку.

Прямо против него в кочке виднелась глубокая черная дырка, такая узкая, что Пик не мог бы всунуть в нее даже голову.

Мышонок заметил, что в глубине ее что-то шевелится.

Скоро у входа показался мохнатый толстый шмель. Он вылез из дырки, почесал лапкой круглое брюшко, расправил крылья и поднялся на воздух.

Сделав круг над кочкой, шмель вернулся к своей норке и опустился у ее входа. Тут он привстал на лапках и так заработал своими жесткими крылышками, что ветер пахнул на мышонка.

«Жжжуу! — гудели крылышки. — Жжжуу!..»

Это был шмель-трубач. Он загонял в глубокую норку свежий воздух — проветривал помещение — и будил других шмелей, еще спавших в гнезде.

Скоро один за другим вылезли из норки все шмели и полетели на луг — собирать мед. Последним улетел трубач. Пик остался один. Он понял, что надо сделать, чтобы спастись.

Кое-как, ползком, с передышками, он добрался до шмелиной норки. Оттуда ударил ему в нос сладкий запах.

Пик ковырнул носом землю. Земля подалась.

Он ковырнул еще и еще, пока не вырыл ямку. На дне ямки показались крупные ячейки серого воска. В одних лежали шмелиные личинки, другие были полны душистым желтым медом.

Мышонок жадно стал лизать сладкое лакомство. Вылизал весь мед, принялся за личинок и живо справился с ними.

Силы быстро возвращались к нему: такой сытной пищи он еще ни разу не ел с тех пор, как расстался с матерью. Он дальше и дальше разрывал землю — теперь уже без труда — и находил все новые ячейки с медом, с личинками.

Вдруг что-то больно кольнуло его в щеку. Пик отскочил. Из-под земли лезла на него большая шмелиная матка.

Пик хотел было кинуться на нее, но тут загудели, зажужжали над ним крылья: шмели вернулись с луга.

Целое войско их накинулось на мышонка, и ему ничего не оставалось, как броситься в бегство.

Со всех ног пустился от них Пик. Густая шерстка защищала его от страшных шмелиных жал. Но шмели выбирали места, где волос покороче, и кололи его в уши, в ноги, в затылок.

Одним духом — откуда и прыть взялась! — домчался он до луга и спрятался в густой траве.

Тут шмели отстали от него и вернулись к своему разграбленному гнезду.

В тот же день Пик пересек сырой, болотистый луг и снова очутился на берегу реки.

Пик находился на острове.

ПОСТРОЙКА ДОМА

Остров, на который попал Пик, был необитаемый: мышей на нем не было. Жили тут только птицы, только змеи да лягушки, которым ничего не стоило перебраться сюда через широкую реку.

Пик должен был жить здесь один.

Знаменитый Робинзон, когда он попал на необитаемый остров, стал думать, как ему жить одному. Он рассудил, что сперва надо выстроить себе дом, который защищал бы его от непогоды и нападения врагов. А потом стал собирать запасы на черный день.

Пик был всего только мышонок: он не умел рассуждать. И все-таки он поступил как раз так же, как Робинзон. Первым делом он принялся строить себе дом.

Его никто не учил строить: это было у него в крови. Он строил так, как строили все мыши одной с ним породы.

На болотистом лугу рос высокий тростник вперемежку с осокой — отличный лес для мышинной постройки.

Пик выбрал несколько растущих рядом тростинки, влез на них, отгрыз верхушки и концы расщепил зубами. Он был так мал и легок, что трава легко держала его.

Потом он принялся за листья. Он влезал на осоку и отгрызал лист у самого стебля. Лист падал, мышонок слезал вниз, поднимал передними лапами лист и протягивал его сквозь стиснутые зубы. Размочаленные полоски листьев мышонок таскал наверх и ловко вплетал их в расщепленные концы тростника. Он влезал на такие тонкие травинки, что они гнулись под ним. Он связывал их вершинками одну за другой.

В конце концов у него получился легкий круглый домик, очень похожий на птичье гнездышко. Весь домик был величиной с детский кулак.

Сбоку мышонок проделал в нем ход, внутри выложил мхом, листьями и тонкими корешками. Для постели он натаскал мягкого, теплого цветочного пуха. Спаленка вышла на славу.

Теперь у Пика было где отдохнуть и прятаться от непогоды и врагов. Издали самый зоркий глаз не мог бы приметить травяное гнездышко, со всех сторон скрытое высоким тростником и густой осокой. Ни одна змея не добралась бы до него: так высоко оно висело над землей.

Лучше придумать не мог бы и сам настоящий Робинзон.

НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ

Проходили дни за днями.

Мышонок спокойно жил в своем воздушном домике. Он стал совсем взрослым, но вырос очень мало. Больше расти ему не полагалось, потому что Пик принадлежал к породе мышей-малюток. Эти мыши еще меньше ростом, чем наши маленькие серые домовые мыши.

Пик часто теперь подолгу пропадал из дому. В жаркие дни он купался в прохладной воде болота, неподалеку от луга.

Один раз он с вечера ушел из дому, нашел на лугу два шмелиных гнезда и так наелся меду, что тут же забрался в траву и заснул.

Домой вернулся Пик только утром. Еще внизу он заметил что-то неладное. По земле и по одному из стеблей тянулась широкая полоса густой слизи, а из гнезда торчал толстый кургузый хвост.

Мышонок не на шутку струсил. Гладкий жирный хвост похож был на змеиный. Только у змей хвост твердый и покрыт чешуей, а этот был голый, мягкий, весь в какой-то липкой слизи.

Пик набрался храбрости и влез по стеблю, поближе взглянуть на незваного гостя.

В это время хвост медленно зашевелился, и перепуганный мышонок кубарем скатился на землю. Он спрятался в траве и оттуда увидел, как чудовище лениво выползло из его дома.

Сперва исчез в отверстии гнезда толстый хвост. Потом оттуда показалось два длинных мягких рога с пупырышками на концах. Потом еще два таких же рога — только коротких. И за ними наконец высунулась вся отвратительная голова чудовища.

Мышонок видел, как медленно-медленно выползло, точно пролилось, из его дома голое, мягкое, слизкое тело гигантского слизняка.

От головы до хвоста слизняк был длиной добрых три вершка.

Он начал спускаться на землю. Его мягкое брюхо плотно прилипало к стеблю, и на стебле оставалась широкая полоса густой слизи.

Пик не стал дожидаться, когда он сползет на землю, и убежал. Мягкий слизняк ничего не мог сделать ему, но мышонку было противно это холодное, вялое, липкое животное.

Только через несколько часов Пик вернулся. Слизняк куда-то уполз.

Мышонок залез в свое гнездо. Все там было вымазано противной слизью. Пик выкинул весь пух и постелил новый. Только после этого он решился лечь спать. С тех пор, уходя из дому, он всегда затыкал вход пучком сухой травы.

КЛАДОВАЯ

Дни становились короче, ночи холоднее.

На злаках созрели зерна. Ветер ронял их на землю, и птицы стаями слетались к мышонку на луг подбирать их.

Пику жилось очень сытно. Он с каждым днем полнел. Шерстка на нем лоснилась.

Теперь маленький четырехногий робинзон устроил себе кладовую и собирал в нее запасы на черный день. Он вырыл в земле норку и конец ее расширил. Сюда он таскал зерна, как в погреб.

Потом этого ему показалось мало. Он вырыл рядом другой погреб и соединил их подземным ходом.

Все шли дожди. Земля размякла сверху, трава пожелтела, намокла и поникла. Травяной домик Пика опустился и висел теперь низко над землей. В нем завелась плесень.

Жить в гнезде стало плохо. Скоро трава совсем полегла на землю, гнездо приметным темным шариком висело на тростнике. Это уже было опасно.

Пик решил перейти жить под землю. Он больше не боялся, что

к нему в норку заползет змея или потревожат его непоседливые лягушата: змеи и лягушата давно куда-то исчезли.

Мышонок выбрал себе для норки сухое и укромное местечко под кочкой. Ход в норку Пик устроил с подветренной стороны, чтобы холодный воздух не задувало в его жилище.

От входа шел длинный прямой коридор. Он расширялся в конце в небольшую круглую комнатку. Сюда Пик натаскал сухого мху и травы — устроил себе спальню.

В его новой подземной спальне было тепло и уютно. Он прорыл из нее под землей ходы в оба свои погреба, чтобы ему можно было бегать, не выходя наружу.

Когда все было готово, мышонок плотно заткнул травой вход в свой воздушный летний домик и перешел в подземный.

СНЕГ И СОН

Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла на землю, и холодный ветер свободно разгуливал по острову.

К тому времени Пик ужасно растолстел. Какая-то вялость на него напала. Ему лень было много шевелиться. Он все реже вылезал из норки.

Раз утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он разрыл холодный рыхлый снег и вышел на луг.

Вся земля была белая. Снег нестерпимо сверкал на солнце. Голые лапки мышонка обжигало холодом.

Потом начались морозы.

Плохо пришлось бы мышонку, если б он не запас себе пищи. Как выкапывать зерна из-под глубокого мерзлого снега?

Сонливая вялость все чаще охватывала Пика. Теперь он не выходил из спальни по два, по три дня и все спал. Проснувшись, отправлялся в погреб, наедался там и опять засыпал на несколько дней.

Наружу он совсем перестал ходить.

Под землей ему было хорошо. Он лежал на мягкой постели, свернувшись в теплый, пушистый клубок. Сердчишко его билось все реже, все тише. Дыхание стало слабым-слабым. Сладкий, долгий сон совсем одолел его.

Мышки-малютки не спят всю зиму, как сурки или хомяки. От долгого сна они худеют, им становится холодно. Тогда они просыпаются и берутся за свои запасы.

Пик спал спокойно: ведь у него было два полных погреба зерна. Он и не чуял, какое неожиданное несчастье скоро стрясется над ним.

УЖАСНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

Морозным зимним вечером ребята сидели у теплой печки.

— Плохо сейчас зверюшкам, — задумчиво сказала сестренка. — Помнишь маленького Пика? Где он теперь?

— А кто его знает! — равнодушно ответил брат. — Давно уж, верно, попал кому-нибудь в когти.

Девочка всхлипнула.

— Ты чего? — удивился брат.

— Жалко мышонка, он такой пушистый, желтенький...

— Нашла кого жалеть! Мышеловку поставлю — сто штук тебе наловлю!

— Не надо мне сто! — всхлипывала сестренка. — Принеси мне одного такого маленького, желтенького...

— Обожди, глупая, может, и такой попадется.

Девочка утерла кулачком слезы.

— Ну, смотри: попадется — ты его не трогай, мне подари. Обещаешь?

— Ладно уж, рева! — согласился брат.

В тот же вечер он поставил в чулане мышеловку.

Это был тот самый вечер, когда Пик проснулся у себя в норке.

На этот раз его разбудил не холод. Сквозь сон мышонок почувствовал, как что-то тяжелое надавило ему на спину. И сейчас же мороз зацепил его под шерсткой.

Когда Пик совсем очнулся, его уже било от холода. Сверху его придавили земля и снег. Потолок над ним обвалился. Коридор был засыпан.

Нельзя было медлить ни минуты: мороз шутить не любит.

Надо в погреб и поскорей наесться зерна: сытому теплей, сытого мороз не убьет.

Мышонок выскочил наверх и по снегу побежал к погребам.

Но весь снег кругом был изрыт узкими глубокими ямками — следами козьих копыт.

Пик поминутно падал в ямки, карабкался наверх и снова летел вниз.

А когда добрался до того места, где были его погреба, он увидел там только большую яму.

Козы не только разрушили его подземное жилище, но и съели все его запасы.

ПО СНЕГУ И ПО ЛЬДУ

Немножко зерен Пику удалось все-таки откопать в яме. Козы втоптали их в снег копытами.

Пища подкрепила мышонка и согрела его. Опять начала охватывать его вялая сонливость. Но он чувствовал: поддашься сну — замерзнешь.

Пик стряхнул с себя лень и побежал.

Куда? Этого он и сам не знал. Просто бежал и бежал, куда глаза глядят.

Наступила уже ночь, и луна стояла высоко в небе. Мелкими звездочками блестел кругом снег.

Мышонок добежал до берега реки и остановился. Берег был обрывистый. Под обрывом лежала густая, темная тень. А впереди сверкала широкая ледяная река.

Пик тревожно понюхал воздух.

Он боялся бежать по льду. Что, если кто-нибудь заметит его посреди реки? В снег хоть зарыться можно, если опасность.

Назад повернуть — там смерть от холода и голода. Впереди где-нибудь есть, может быть, пища и тепло. И Пик побежал вперед. Он спустился под обрыв и покинул остров, на котором долго жил так спокойно и счастливо.

А злые глаза уже заметили его.

Он не добежал еще до середины реки, когда сзади стала его настигать быстрая и бесшумная тень. Только тень, легкую тень на льду он и увидал, обернувшись. Он даже не знал, кто за ним гонится.

Напрасно он припал к земле брюшком, как делал всегда в минуту опасности: его темная шерстка резким пятном выделялась на сверкающем синеватом льду, и прозрачная мгла лунной ночи не могла спрятать его от страшных глаз врага.

Тень покрыла мышонка. Кривые когти больно впились в его тело. По голове что-то крепко стукнуло. И Пик перестал чувствовать.

ИЗ БЕДЫ В БЕДУ

Пик очнулся в полной темноте. Он лежал на чем-то твердом и неровном. Голова и раны на теле сильно болели, но было тепло.

Пока он зализывал свои раны, глаза его понемножку начали привыкать к темноте.

Он увидел, что находится в просторном помещении, с круглыми стенами, уходящими куда-то вверх. Потолка не было видно, хотя где-то над головой мышонка зияло большое отверстие. Через это отверстие в помещение проникал еще совсем бледный свет утренней зари.

Пик посмотрел, на чем он лежит, и сейчас же вскочил.

Лежал он, оказывается, на мертвых мышах. Мышей было несколько, и все они зачленели: видно, лежали здесь давно.

Страх придал мышонку силы.

Пик выкарабкался по шероховатой отвесной стене и выглянул наружу.

Кругом были только засыпанные снегом ветви. Внизу под ними виднелись макушки кустов.

Сам Пик находился на дереве: выглядывал из дупла.

Кто принес его сюда и бросил на дно дупла, мышонок так никогда и не узнал. Да он и не ломал себе голову над этой загадкой, а просто поспешил скорей удрать отсюда.

Дело же было так. На льду реки его настигла ушастая лесная сова. Она стукнула его клювом по голове, схватила когтями и понесла в лес.

К счастью, сова была очень сыта: она только что поймала зайчонка и съела, сколько могла. Зоб ее был так плотно набит, что в нем не оставалось места даже для маленького мышонка. Она и решила оставить Пика про запас.

Сова отнесла его в лес и кинула в дупло, где у нее была кладовая. Она еще с осени натаскала сюда с десятков убитых мышей. Зимой добывать пищу бывает трудно, и даже таким ночным разбойникам, как сова, случается голодать.

Конечно, она не знала, что мышонок только оглушен, а то сейчас же проломил бы ему череп своим острым клювом! Обычно ей удавалось приканчивать мышей с первого удара.

Пику повезло на этот раз. Пик благополучно спустился с дерева и шмыгнул в кусты.

Только тут он заметил, что с ним творится что-то неладное: дыхание со свистом вылетало у него из горла.

Раны не были смертельны, но совиные когти что-то повредили ему в груди, и вот он начал свистеть после быстрого бега.

Когда он отдохнул и стал дышать ровно, свист прекратился. Мышонок наелся горькой коры с куста и снова побежал — подалее от страшного места.

Мышонок бежал, а позади него оставалась в снегу тонкая двойная дорожка: его след.

И когда Пик добежал до поляны, где за забором стоял большой дом с дымящими трубами, на след его уже напала лиса.

Нюх у лисы очень тонкий. Она сразу поняла, что мышонок пробежал тут только что и пустилась его догонять.

Ее огненно-рыжий хвост так и замелькал меж кустов, и уж, конечно, она бежала гораздо быстрее мышонка.

ГОРЕ-МУЗЫКАНТ

Пик не знал, что лиса гонится за ним по пятам. Поэтому, когда из дома выскочили две громадные собаки и с лаем кинулись к нему, решил, что погиб.

Но собаки, понятно, его даже не заметили. Они увидели лису, которая выскочила за ним из кустов, и кинулись на нее.

Лиса мигом повернула назад. Ее огненный хвост мелькнул в последний раз и исчез в лесу. Собаки громадными прыжками пронеслись над головой мышонка и тоже пропали в кустах.

Пик без всяких приключений добрался до дома и шмыгнул в подполье.

Первое, что Пик заметил в подполье, был сильный запах мышей.

У каждой породы зверей свой запах, и мыши различают друг друга по запаху так же хорошо, как мы различаем людей по их виду.

Поэтому Пик узнал, что тут жили мыши не его породы. Но все-таки это были мыши, и Пик был мышонок.

Он так же обрадовался им, как Робинзон обрадовался людям, когда вернулся к ним со своего необитаемого острова.

Сейчас же и Пик побежал отыскивать мышей.

Но разыскать мышей здесь оказалось не так просто. Мышиные следы и запах их были всюду, а самих мышей нигде не было видно.

В потолке подполья были прогрызены дырки. Пик подумал, что мыши, может быть, живут там, наверху, взобрался по стенке, вылез через дырку и очутился в чулане.

На полу стояли большие, туго набитые мешки. Один из них был прогрызен внизу, и крупа высыпалась из него на пол.

А по стенкам чулана были полки. Оттуда доносились замечательные вкусные запахи. Пахло и копченым, и сушеным, и жареным, и еще чем-то очень сладким.

Голодный мышонок жадно набросился на еду.

После горькой коры крупа показалась ему такой вкусной, что он наелся прямо до отвала. Так наелся, что ему даже дышать стало трудно.

И тут опять в горле у него засвистело и запело.

А в это время из дырки в полу высунулась усатая острая мордочка. Сердитые глазки блеснули в темноте, и в чулан выскочила крупная серая мышь, а за ней еще четыре такие же.

Вид у них был такой грозный, что Пик не решился кинуться им навстречу. Он робко топтался на месте и от волнения свистал все громче и громче.

Серым мышам не понравился этот свист.

Откуда взялся этот чужой мышонок-музыкант?

Серые мыши чулан считали своим. Они иногда принимали к себе в подполье диких мышей, прибежавших из лесу, но таких свистунов никогда еще не видали.

Одна из мышей бросилась на Пика и больно куснула его в плечо. За ней налетели другие.

Пик еле-еле успел улизнуть от них в дырочку под каким-то ящиком. Дырочка была так узка, что серые мыши не могли туда за ним пролезть. Тут он был в безопасности.

Но ему было очень горько, что его серые родственники не захотели принять его в свою семью.

МЫШЕЛОВКА

Каждое утро сестренка спрашивала у брата:

— Ну что, поймался мышонок?

Брат показывал ей мышей, какие попадались ему в мышеловку. Но это были все серые мыши, и девочке они не нравились. Она даже немножко боялась их. Ей непременно надо было маленького желтого мышонка, но в последние дни мыши что-то перестали попадаться.

Удивительней всего было, что приманку кто-то съедал каждую ночь. С вечера мальчик насадит пахучий кусочек копченой ветчины на крючок, насторожит тугие дверцы мышеловки, а утром придет — на крючке нет ничего, и дверцы захлопнуты.

Он уж и мышеловку сколько раз осматривал: нет ли где дырки? Но больших дырок — таких, через которые могла пролезть мышь, — в мышеловке не было.

Так прошла целая неделя, а мальчик никак не мог понять, кто ворует у него приманку.

И вот утром на восьмой день мальчик прибежал из чулана и еще в дверях закричал:

— Поймал! Гляди: желтенький!

— Желтенький, желтенький! — радовалась сестренка. — Смотри, да это же наш Пик: у него и ушко разрезано. Помнишь, ты его ножиком тогда?.. Беги скорее за молоком, а я оденусь пока.

Она была еще в постели.

Брат побежал в другую комнату, а она поставила мышеловку на пол, выскочила из-под одеяла и быстро накинула на себя платье.

Но, когда она снова взглянула на мышеловку, мышонка там уже не было.

Пик давно научился удирать из мышеловки. Одна проволочка была в ней немножко отогнута. Серые мыши не могли протиснуться в эту лазейку, а он проходил свободно.

Он попадал в ловушку через открытые дверцы и сейчас же дергал за приманку.

Дверцы с шумом захлопывались, но он быстро оправлялся от страха, спокойно съедал приманку, а потом уходил через лазейку.

В последнюю ночь мальчик случайно поставил мышеловку у самой стенки, и как раз тем боком, где была лазейка, и Пик попался. А когда девочка оставила мышеловку среди комнаты, он выскочил и спрятался за большой сундук.

МУЗЫКА

Брат застал сестренку в слезах.

— Он убежал! — говорила она сквозь слезы. — Он не хочет у меня жить!

Брат поставил блюдечко с молоком на стол и принялся ее утешать:

— Распустила нюни! Да я его сейчас поймаю в сапог!

— Как в сапог? — удивилась девочка.

— Очень просто! Сниму сапог и положу его голенищем по стенке, а ты погонишь мышонка. Он побежит вдоль стенки — они всегда по самой стенке бегают, — увидит дырку в голенище, подумает, что это норка, и шмыг туда! Тут я его и схвачу, в сапоге-то.

Сестренка перестала плакать.

— А знаешь что? — сказала она задумчиво. — Не будем его ловить. Пусть живет у нас в комнате. Кошки у нас нет, его никто не тронет. А молочко я буду ставить ему вот сюда, на пол.

— Всегда ты выдумываешь! — недовольно сказал брат. — Мне дела нет. Этого мышонка я тебе подарил, делай с ним, что хочешь.

Девочка поставила блюдце на пол, крошила в него хлеба. Сама села в сторонку и стала ждать, когда мышонок выйдет. Но он так и не вышел до самой ночи. Ребята решили даже, что он убежал из комнаты.

Однако утром молоко оказалось выпитым и хлеб съеденным.

«Как же мне его приручить?» — думала девочка.

Пику жилось теперь очень хорошо. Он ел теперь всегда вдоволь, серых мышей в комнате не было, и его никто не трогал.

Он натаскал за сундук тряпок и бумажек и устроил себе там гнездо.

Людей он остерегался и выходил из-за сундука только ночью, когда ребята спали.

Но раз днем он услышал красивую музыку. Кто-то играл на дудочке. Голос у дудочки был тонкий и такой жалобный.

И опять, как в тот раз, когда Пик услышал «соловья-разбойника» — жулана, мышонок не мог справиться с искушением послушать музыку ближе. Он вылез из-за сундука и уселся на полу среди комнаты.

На дудочке играл мальчик.

Девочка сидела рядом с ним и слушала. Она первая заметила мышонка.

Глаза у нее стали вдруг большие и темные. Она тихонько подтолкнула брата локтем и прошептала ему:

— Не шевелись!.. Видишь, Пик вышел. Играй, играй: он хочет слушать!

Брат продолжал дудеть.

Дети сидели смирно, боясь пошевелиться.

Мышонок слушал грустную песенку дудочки и как-то совсем забыл про опасность.

Он даже подошел к блюду и стал лакать молоко, точно в комнате никого не было. И скоро наакался так, что сам стал свистеть.

— Слышишь? — тихонько сказала девочка брату. — Он поет.

Пик опомнился только тогда, когда мальчик опустил дудочку. И сейчас же убежал за сундук.

Но теперь ребята знали, как приручить дикого мышонка.

Они тихонько дудели в дудочку. Пик выходил на середину комнаты, садился и слушал. А когда он сам начинал свистеть, у них получались настоящие концерты.

ХОРОШИЙ КОНЕЦ

Скоро мышонок так привык к ребятам, что совсем перестал их бояться. Он стал выходить без музыки. Девочка приучила его даже брать хлеб у нее из рук. Она садилась на пол, а он карабкался к ней на колени.

Ребята сделали ему маленький деревянный домик с нарисованными окнами и настоящими дверями. В этом домике он жил у них на столе. А когда выходил гулять, по старой привычке затыкал дверь всем, что попадалось ему на глаза: тряпочкой, мятой бумажкой, ватой.

Даже мальчик, который так не любил мышей, очень привязался к Пику. Больше всего ему нравилось, что мышонок ест и умывается передними лапками, как руками.

А сестренка очень любила слушать его тоненький-тоненький свист.

— Он хорошо поет, — говорила она брату, — он очень любит музыку.

Ей в голову не приходило, что мышонок пел совсем не для своего удовольствия. Она ведь не знала, какие опасности пережил маленький Пик и какое трудное путешествие он совершил, раньше чем попал к ней.

И хорошо, что оно так хорошо кончилось.

ТЕРЕМОК

Стоял в лесу дуб. Толстый-претолстый, старый-престарый. Прилетел Дятел пестрый, шапка красная, нос вострый.

По стволу скок-поскок, носом стук-постук — выстукал, вы-

слушал и давай дырку долбить. Долбил-долбил, долбил-долбил — выдолбил глубокое дупло. Лето в нем пожил, детей вывел и улетел.

Миновала зима, опять лето пришло.

Узнал про то дупло Скворец. Прилетел. Видит — дуб, в дубу — дырка. Чем Скворцу не теремок?

Спрашивает:

— Терем-теремок, — кто в тереме живет?

Никто из дупла не отвечает, пустой стоит терем.

Натаскал Скворец в дупло сена да соломы, стал в дупле жить, детей выводить.

Год живет, другой живет — сохнет старый дуб, крошится; больше дупло — шире дыра.

На третий год узнал про то дупло желтоглазый Сыч.

Прилетел. Видит — дуб, в дубу — дырка с кошачью голову.

Спрашивает:

— Терем-теремок, кто в тереме живет?

— Жил Дятел пестрый — нос вострый, теперь я живу — Скворец, первый в роще певец. А ты кто?

— Я Сыч. Попадешь мне в когти — не хнычь. Ночью прилечу — цоп! — и проглочу. Ступай-ка из терема вон, пока цел!

Испугался Скворец Сыча, улетел.

Ничего не натаскал Сыч, стал так в дупле жить: на своих перышках.

Год живет, другой живет — крошится старый дуб, шире дупло.

На третий год узнала про дупло Белка. Прискакала. Видит — дуб, в дубу — дырка с собачью голову. Спрашивает:

— Терем-теремок, кто в тереме живет?

— Жил Дятел пестрый — нос вострый, жил Скворец — первый в роще певец, теперь я живу — Сыч. Попадешь мне в когти — не хнычь. А ты кто?

— Я Белка — по веткам скакалка, по дуплам сиделка. У меня зубы долги, остры, как иголки. Ступай из терема вон, пока цел!

Испугался Сыч Белки, улетел.

Натаскала Белка моху, стала в дупле жить.

Год живет, другой живет — крошится старый дуб, шире дупло.

На третий год узнала про то дупло Куница. Прибежала, видит — дуб, в дубу — дыра с человечью голову. Спрашивает:

— Терем-теремок, кто в тереме живет?

— Жил Дятел пестрый — нос вострый, жил Скворец — первый в роще певец, жил Сыч — попадешь ему в когти — не хнычь, теперь я живу — Белка — по веткам скакалка, по дуплам сиделка. А ты кто?

— Я Куница — всех малых зверей убийца. Я страшной Хоря, со мной не спорь зря. Ступай-ка из терема вон, пока цела!

Испугалась Белка Куницы, ускакала.

Ничего не натаскала Куница, стала так в дупле жить: на своей шерстке.

Год живет, другой живет — крошится старый дуб, шире дупло.

На третий год узнали про то дупло пчелы. Прилетели. Видят — дуб, в дубу — дыра с лошадиную голову. Кружат, жужжат, спрашивают:

— Терем-теремок, кто в тереме живет?

— Жил Дятел пестрый — нос вострый, жил Скворец — первый в роще певец, жил Сыч — попадешь к нему в когти — не хнычь, жила Белка — по веткам скакала, по дуплам сидела, теперь я живу — Куница — всех малых зверей убийца. А вы кто?

— Мы пчелиный рой — друг за дружку горой. Кружим, жужжим, жалим, грозим большим и малым. Ступай-ка из терема вон, пока цела!

Испугалась Куница пчел, убежала.

Натаскали пчелы воску, стали в дупле жить. Год живут, другой живут — крошится старый дуб, шире дупло.

На третий год узнал про то дупло Медведь. Пришел. Видит — дуб, в дубу — дырища с целое окнище. Спрашивает:

— Терем-теремок, кто в тереме живет?

— Жил Дятел пестрый — нос вострый, жил Скворец — первый в роще певец, жил Сыч — попадешь ему в когти — не хнычь, жила Белка — по веткам скакала, по дуплам сидела, жила Куница — всех малых зверей убийца, теперь мы живем — пчелиный рой — друг за дружку горой. А ты кто?

— А я Медведь, Мишка, — вашему терему крышка!

Влез на дуб, просунул голову в дупло да как нажал!

Дуб-то пополам и расселся, а из него — считай-ка, сколько лет копилось:

шерсти,
да сена,
да воску,
да моху,
да пуху,
да перьев,
да пыли —
да пх-х-х!..

Теремка-то и не стало.

КРАСНАЯ ГОРКА

Чик был молодой красноголовый воробей. Когда ему исполнился год от рождения, он женился на Чирике и решил зажить своим домком.

— Чик,— сказала Чирика на воробьином языке,— Чик, а где же мы устроим себе гнездо? Ведь все дупла в нашем саду уже заняты.

— Эка штука! — ответил Чик, тоже, конечно, по-воробьиному.— Ну, выгоним соседей из дому и займем их дупло.

Он очень любил драться и обрадовался такому удобному случаю показать Чирике свою удаль. И, раньше чем робкая Чирика успела его остановить, он сорвался с ветки и помчался к большой рябине с дуплом. Там жил его сосед — такой же молодой воробей, как Чик.

Хозяина около дома не было.

«Заберусь в дупло,— решил Чик,— а когда прилетит хозяин, буду кричать, что он хочет отбить у меня дом. Слетятся старики — и вот зададим соседу!»

Он и забыл совсем, что сосед женат и жена его уже пятый день мастерит гнездо в дупле.

Только Чик просунул в дырку голову,— рраз! — кто-то больно щелкнул его по носу. Пискнул Чик и отскочил от дупла. А сзади уже мчался на него сосед. С криком сшиблись они в воздухе, упали на землю, сцепились и покатались в канаву.

Чик дрался на славу, и соседу его приходилось уже плохо. Но на шум драки со всего сада слетелись старики воробьи. Они сейчас же разобрали, кто прав, кто виноват, и задали Чикую такую встрепку, что он не помнил, как и вырвался от них.

В себя пришел Чик в каких-то кустах, где прежде ему никогда не случалось бывать. Все косточки у него ныли.

Рядом с ним сидела перепуганная Чирика.

— Чик! — сказала она так грустно, что он, верно бы, заплакался, если б только воробьи умели плакать.— Чик, мы теперь никогда больше не вернемся в родной сад! Где мы выведем теперь детей?

Чик и сам понимал, что ему нельзя больше попадаться на глаза старикам воробьям: они забьют его насмерть. Все-таки он не хотел показать Чирике, что трусит. Поправил клювом свои растрепанные перышки, немножко отдышался и сказал беспечно:

— Эка штука! Найдем себе другое место, еще получше.

И они отправились куда глаза глядят — искать себе новое место для житья.

Только вылетели они из кустов, как очутились на берегу веселой голубой реки. За рекой поднималась высокая-высокая гора из красной глины и песка. Под самой вершиной обрыва виднелось множество дырок и норок. У больших дырок сидели парочками

галки и рыжие соколки-пустельги; из маленьких норок то и дело вылетали быстрые ласточки-береговушки. Целая стая их легкой тучкой носилась над обрывом.

— Смотри, как у них весело! — сказала Чирика. — Давай и мы устроим себе гнездо на Красной горке.

Чик с опаской поглядел на соколов и галок. Он думал: «Хорошо береговушкам: они сами копают себе норки в песке. А мне чужое гнездо отбивать?» И снова у него заныли сразу все косточки.

— Нет, — сказал он, — тут мне не нравится: такой шум, прямо оглохнуть можно.

И они полетели дальше. Дальше была роща, а за рощей — домик с дощатым сараем.

Чик и Чирика опустились на крышу сарая. Чик сразу заметил, что тут нет ни воробьев, ни ласточек.

— Вот где житье-то! — радостно сказал он Чирике. — Гляди, сколько разбросано по двору зерна и крошек. Мы будем тут одни и никого к себе не пустим.

— Чш! — шикнула Чирика. — Смотри, какое страшилище там, на крыльце.

И правда: на крыльце спал толстый Рыжий Кот.

— Эка штука! — храбро сказал Чик. — Что он нам сделает? Гляди, вот как я его сейчас!..

Он слетел с крыши и так стремительно понесся на Кота, что Чирика даже вскрикнула.

Но Чик ловко подхватил у Кота из-под носа хлебную крошку и — раз-раз! — опять уже был на крыше.

Кот даже не шевельнулся, только приоткрыл один глаз и зорко поглядел на забияку.

— Видела? — хвастал Чик. — А ты боишься!

Чирика не стала с ним спорить, и оба принялись искать удобное место для гнезда.

Выбрали широкую щель под крышей сарая. Сюда принялись они таскать сначала солому, потом конский волос, пух и перья.

Не прошло и недели, как Чирика положила в гнездо первое яичко — маленькое, все в розовато-бурых пестринках. Чик был так рад ему, что сложил даже песенку в честь своей жены и себя самого:

Чирик, Чик-чик,
Чирик, Чик-чик,
Чики-чики-чики-чики,
Чики, Чик, Чирик!

Песенка эта решительно ничего не значила, зато ее так удобно было распевать, прыгая по забору.

Когда в гнезде стало шесть яичек, Чирика села их высиживать.

Чик полетел собирать для нее червячков и мух, потому что теперь ее надо было кормить нежной пищей. Он замешкался немного, и Чирике захотелось поглядеть, где он.

Только она высунула нос из щели, как с крыши протянулась за ней рыжая лапа с растопыренными когтями. Рванулась Чирика — и целый пучок перьев оставила в когтях у Кота. Еще чуть-чуть — и была бы ее песенка спета.

Кот проводил ее глазами, запустил в щель лапу и выволок разом все гнездо — целый ком соломы, перьев и пуха. Напрасно кричала Чирика, напрасно подоспевший Чик смело кидался на Кота, — никто не пришел им на помощь. Рыжий разбойник преспокойно съел все шесть их драгоценных яичек. Ветер поднял пустое легкое гнездо и скинул его с крыши на землю.

В тот же день воробьи навсегда покинули сарай и переселились в рощу, подальше от Рыжего Кота.

В роще им скоро посчастливилось найти свободное дупло. Они снова принялись таскать солому и целую неделю трудились, строили гнездо.

В соседях у них жили толстоклювый Зяблик с Зяблихой, пестрые Мухолов с Мухоловкой и франтоватый Щегол со Щеглихой. У каждой пары был свой дом, пищи хватало всем, но Чик успел уже подрасть с соседями — просто так, чтобы показать им, какой он храбрый и сильный.

Только Зяблик оказался посильнее его и хорошо потрепал забияку. Тогда Чик стал осторожней. Он уже не лез в драку, а только топорщил перья и задиристо чирикал, когда мимо пролетал кто-нибудь из соседей. За это соседи на него не сердились: они и сами любили похвастать перед другими своей силой и удалью.

Жили спокойно, пока вдруг не стряслась беда.

Первый поднял тревогу Зяблик. Он жил дальше других от воробьев, но Чик слышал его громкое тревожное: рюм-пиньк-пиньк! рюм-пиньк-пиньк!

— Скорей, скорей! — крикнул Чик Чирике. — Слышишь: Зяблик запинькал — опасность!

И правда: кто-то страшный к ним приближался. После Зяблика закричал Щегол, а там и Пестрый Мухолов. Мухолов жил всего за четыре дерева от воробьев. Если уж он увидел врага, — значит, враг был совсем близко.

Чирика вылетела из дупла и села на ветку рядом с Чиком. Соседи предупредили их об опасности, и они приготовились встретить ее лицом к лицу.

В кустах мелькнула пушистая рыжая шерсть, и лютый враг их — Кот — вышел на открытое место. Он видел, что соседи уже выдали его воробьям и ему теперь не поймать Чирику в гнезде. Он злился.

Вдруг кончик его хвоста зашевелился в траве, глаза прищурились: Кот увидел дупло. Что же, ведь и полдюжины воробьи-

ных яиц — неплохой завтрак. И Кот облизнулся. Он вскарабкался на дерево и запустил в дупло лапу.

Чик и Чирика подняли крик на всю рощу. Но и тут никто не пришел к ним на помощь. Соседи сидели по своим местам и громко кричали от страха. Каждая пара боялась за свой дом.

Кот зацепил когтями гнездо и вытащил его из дупла.

Но в этот раз он пришел слишком рано: яиц в гнезде не оказалось, сколько он ни искал.

Тогда он кинул гнездо и сам спустился на землю. Воробьи провожали его криком.

У самых кустов Кот остановился и обернулся к ним с таким видом, точно хотел сказать:

«Погодите, миленькие, погодите! Никуда вы от меня не денетесь! Устраивайте себе новое гнездо, где хотите, выводите птенцов, а я приду и слопаю их, да и вас заодно».

И он так грозно фыркнул, что Чирика вздрогнула от страха.

Кот ушел, а Чик с Чирикой остались горевать у разоренного гнезда. Наконец Чирика сказала:

— Чик, ведь через несколько дней у меня непременно будет новое яичко. Летим скорей, найдем себе местечко где-нибудь за рекой. Там уж Кот не достанет нас.

Она и не знала, что через реку есть мост и что Кот частенько хаживает по этому мосту. Чик этого тоже не знал.

— Летим, — согласился он.

И они полетели.

Скоро очутились они под самой Красной горкой.

— К нам, к нам летите! — кричали им береговушки на своем, на ласточкином, языке. — У нас на Красной горке житье дружное, веселое.

— Да, — крикнул им Чик, — а сами драться будете!

— Зачем нам драться? — отвечали береговушки. — У нас над рекой мошек на всех хватает, у нас на Красной горке пустых норок много — выбирай любую.

— А пустельги? А галки? — не унимался Чик.

— Пустельги ловят себе в полях кузнечиков и мышей. Нас они не трогают. Мы все в дружбе.

И Чирика сказала:

— Летали мы с тобой, Чик, летали, а краше этого места не видели. Давай тут жить.

— Что ж, — сдался Чик, — раз норки у них есть свободные и драться никто не будет, можно попробовать.

Подлетели они к горе, и верно: ни пустельги их не тронули, ни галки.

Стали норку себе по вкусу выбирать: чтобы и не очень глубокая была, и вход пошире. Нашлись такие две рядом.

В одной они гнездо выстроили и Чирика высиживать села, в другой Чик ночевал.

У береговушек, у галок, у соколов — у всех давно уже вывелись птенцы. Одна Чирика терпеливо сидела в темной своей норке. Чик с утра до ночи таскал ей туда еду.

Прошло две недели. Рыжий Кот не показывался. Воробьи уж и забыли о нем.

Чик с нетерпением ждал птенцов. Каждый раз, как притаскивал он Чирике червяка или муху, он спрашивал ее:

— Тукают?

— Нет, еще не тукают.

— А скоро будут?

— Скоро, скоро, — терпеливо отвечала Чирика.

Однажды утром Чирика позвала его из норки:

— Лети скорей: один тукнул!

Чик сейчас же примчался в гнездо. Тут он услышал, как в одном яйце птенчик чуть слышно тукал в скорлупу слабым клювиком. Чирика осторожно помогла ему: надломил скорлупку в разных местах.

Прошло несколько минут, и птенчик показался из яйца — крошечный, голый, слепой. На тоненькой-тоненькой шейке моталась большая голая голова.

— Да какой он смешной! — удивился Чик.

— Совсем не смешной! — обиделась Чирика. — Очень хорошенький птенчик. А тебе нечего тут делать, бери вот скорлупки да закинь их куда-нибудь подальше от гнезда.

Пока Чик относил скорлупки, выклевался второй птенчик и начал постукивать третий.

Вот тут-то и началась тревога на Красной горке.

Из своей норки воробьи слышали, как пронзительно вдруг закричали ласточки.

Чик выскочил наружу и сейчас же вернулся с известием, что Рыжий Кот карабкается по обрыву.

— Он видел меня! — кричал Чик. — Он сейчас будет здесь и вытащит нас вместе с птенцами. Скорей, скорей летим прочь отсюда!

— Нет, — грустно ответила Чирика. — Никуда я не полечу от маленьких моих птенчиков. Пусть будет, что будет.

И сколько ни звал Чик, она и с места не тронулась.

Тогда Чик вылетел из норки и стал как сумасшедший кидаться на Кота. А Кот лез и лез по обрыву. Тучей вились над ним ласточки, с криком летели на выручку к ним галки и пустельги.

Кот быстро вскарабкался вверх и уцепился лапой за край норки. Теперь ему оставалось только просунуть другую лапу за гнездом и вытащить его вместе с Чирикой, птенцами и яйцами.

Но в эту минуту одна пустельга клюнула его в хвост, другая — в голову и две галки ударили в спину.

Кот зашипел от боли, повернулся и хотел схватить птиц передними лапами. Но птицы увернулись, и он кубарем покатился

вниз. Ему не за что было уцепиться: песок сыпался вместе с ним, и чем дальше, тем скорей, чем дальше, тем скорей...

Птицам стало уже не видно, где Кот: с обрыва несло только облако красной пыли. Плюх! — и облако остановилось над водой. Когда оно рассеялось, птицы увидели мокрую кошачью голову посредине реки, а сзади поспевал Чик и клевал Кота в затылок.

Кот переплыл реку и выбрался на берег. Чик и тут от него не отставал. Кот был так напуган, что не посмел схватить его, задрал мокрый хвост и галопом помчался домой.

С той поры ни разу не видели на Красной горке Рыжего Кота.

Чирика спокойно вывела шестерых птенцов, а немного погодя и еще шестерых, и все они остались жить в свободных ласточкиных гнездах.

А Чик перестал задирать соседей и крепко подружился с ласточками.

ИЗ ЦИКЛА «СКАЗКИ ЗВЕРОВОДА»

ЛЮЛЯ

— Прежде земли вовсе не было, — рассказывает хант-зверолов. — Только одно море было. Звери и птицы жили на воде и детей выводили на воде. И это было очень неудобно.

Вот раз собрались звери и птицы со всех концов моря, устроили общее собрание. Председателем выбрали большого-большого Кита. И стали думать, как беде помочь. Долго спорили, шумели, наконец постановили: достать со дна моря щепотку земли и сделать из нее большие острова. И тогда на земле жить, и детей выводить на земле.

Хорошо придумали. А как земли достать со дна, — не знают. Море-то ведь глубокое, не донырнешь до дна. Стали звери и птицы рыб просить:

— Принесите нам, рыбы, щепотку земли со дна.

— А вам зачем? — спрашивают рыбы.

— Острова делать.

— Нет, — говорят рыбы, — не дадим вам земли острова делать. Нам без островов лучше жить: плыви, куда хочешь.

Стали звери и птицы Кита просить:

— Ты из нас самый сильный и большой зверь. Ты председатель наш. Понатужься — нырни на дно.

Собрание просит, — нельзя отказываться.

Набрал Кит воздуху, ударил хвостом по воде — нырнул. Пошли по морю волны, закачались на них звери и птицы.

Ждут-пождут — нет Кита. Только большие пузыри из воды выскакивают да с треском лопаются. И волны улеглись.

Вдруг забурила вода, всколыхнулось море — выкинуло Кита высоко в воздух. Упал Кит назад в воду, выпустил из ноздрей две струи.

— Нет, — говорит, — не достать мне до дна. Очень уж я толстый, не пускает меня вода.

Загрустили звери и птицы: уж если Кит не может достать, — кто же достанет?

Собрались все в круг, молчат, горюют.

Вдруг выплывает в середину круга востроносенькая птица.

— Давайте,— говорит,— я попробую. Может быть, я донырну до дна.

Посмотрели звери и птицы: да ведь это Люля-Нырец! Ростом с малую уточку. На головке рожки из перьев торчат.

Зашумели, рассердились звери и птицы:

— Ты, Люля, смеешься над нами! Кита-великана море, как щепку, выкинуло. А уж тебя-то, слабенькую, разом расплющит.

— А может быть, и ничего,— говорит Люля.— Попробую.

И как сидела на воде, так и ушла под воду: только голову опустила — и нет Люли. Даже ряби на волнах не осталось.

Ждут-пождут звери и птицы — нет Люли. И море спокойно, только белые пузырьки из воды выскакивают и лопаются без шума.

Вдруг на том месте, где Люля нырнула, опять она сидит. А когда вынырнула,— никто и не заметил.

Сидит, дышит тяжело.

Зашумели, засмеялись звери и птицы:

— Где тебе, Люля, до дна достать! Маленькая ты, слабенькая ты, а с Китом тягаться хочешь.

А Люля молчит.

Отдыхалась, отдохнула — опять под воду ушла.

Ждут-пождут звери и птицы, смотрят на воду — нет Люли. И море спокойно, только розовые пузырьки из воды выскакивают, лопаются без шума.

Вдруг на том месте, где Люля нырнула, опять она сидит. А когда вынырнула,— никто и не заметил.

Сидит, тяжело дышит. И глаза у нее розовые стали, и на клюве розовый от крови пузырик. Зашумели звери и птицы: жалко им стало маленькую Люлю.

— Довольно,— говорят,— ты для нас постаралась. Отдыхай теперь. Все равно не достать земли со дна моря.

А Люля молчит.

Отдыхалась, отдохнула — опять под воду ушла.

Ждут-пождут звери и птицы, смотрят на воду — нет Люли. И море спокойно. Только красные пузырьки из воды выскакивают, лопаются без шума.

Зашептали звери и птицы:

— Красные пузырьки пошли — это кровь Люлина. Раздавило море Люлю. Не видать нам больше Люли.

Вдруг видят: глубоко в воде, под тем местом, где Люля сидела, что-то темное мелькает, приближается. Ближе, ближе,— и всплыла наверх Люля ножками кверху. Подхватили ее звери и птицы, перевернули, посадили на воду ножками вниз и видят: сидит Люля, еле дышит. Глаза у нее красной кровью налились, на клюве — красный кровяной пузырик, а в клюве — щепотка земли со дна морского.

Обрадовались звери и птицы, взяли у Люли щепотку земли и сделали большие острова.

А маленькой Люле за то, что землю достала со дна моря, постановили дать награду: пусть в память об этом подвиге навсегда останутся у Люли глаза и клюв красивого красного цвета.

На этом собрание и кончилось. И помчались звери, помчались птицы делить между собой землю. А Люля осталась сидеть, где она сидела: она не могла еще отдышаться.

Звери и птицы разобрали всю землю, до последнего клочка. Для Люли-то и не осталось места.

Вот и живет она на воде по-прежнему.

Придет пора детей выводить — соберет камыш да ветки, что с берега в воду упали, устроит себе плотик плавучий. На нем и выводит детей.

Так и плавает всю жизнь по воде.

А глаза и клюв у Люли — это верно — и до наших дней красные остались.

ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШКО

ЧТО УВИДЕЛ ЖАВОРОНОК, КОГДА ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ

Между небом и землей
Песня раздается,
Неисходною струей
Громче, громче льется.

Кукольник

Уж Волк умылся, а Кочеток спел. Начинало светать.

В поле между комьями холодной земли проснулся Жаворонок. Он вскочил на ножки, встряхнулся, огляделся и полетел вверх.

Полетел и запел. И чем выше он поднимался в небо, тем радостнее и звонче лилась и переливалась его песня.

Все, что он видел под собой, казалось ему необыкновенно замечательным, красивым и милым. Еще бы: ведь это была его родина, и он долго, очень долго ее не видел!

Он родился здесь летом прошлого года. А осенью с другими перелетными улетел в далекие страны. Там он провел в тепле всю зиму — целых пять месяцев. А это долгий срок, когда вам всего десять месяцев от роду. И вот уж три дня, как он вернулся, наконец, домой. Первые дни он отдыхал с дороги, а сегодня принялся за свою работу. А работа его была — петь.

Жаворонок пел:

Снежные поля подо мной. На них — черные и зеленые пятна.

Черные пятна — пашни. Зеленые пятна — всходы ржи и пшеницы.

Я помню: эту рожь и пшеницу люди посеяли осенью. Скоро выросли из земли молодые веселые зеленя. Потом на них стал падать снег — и я улетел в чужие края.

Зеленя не замерзли под холодным снегом. Вот они показались опять, весело и дружно тянутся вверх.

На холмах среди полей — деревни. Это колхоз «Красная искра». Колхозники еще не проснулись, улицы еще пусты. Пусты и поля: спят еще полевые звери и птицы.

За далеким черным лесом я вижу золотой краешек солнца.

Просыпайтесь, просыпайтесь, вставайте все!

Начинается утро! Начинается весна!

Жаворонок замолчал: он увидел на белом поле какое-то серое пятно. Пятно шевелилось.

Жаворонок полетел вниз — посмотреть, что там такое.

Над самым пятном он остановился в воздухе, трепеща крылышками.

— Э, да ведь это Большое Стадо! Я вижу, мои добрые соседи устроили общее собрание.

И в самом деле: это было Большое Стадо голубых куропаток — красивых полевых петушков и курочек. Они сидели плотной кучкой. Их было очень много: сто птиц или, может быть, тысяча. Жаворонок считать не умел.

Они тут в снегу и ночевали: некоторые еще стряхивали с крыльев крупитчатый от ночного мороза снежок.

А одна курочка — видно, старшая у них — сидела посредине на кочке и громко говорила речь.

«О чем она там толкует?» — подумал Жаворонок и спустился еще пониже.

Старшая курочка говорила:

— Сегодня разбудил нас своей песней наш маленький друг Жаворонок. Значит, правда, началась весна. Минуло самое трудное и голодное время. Скоро надо будет подумать о гнездах. Настала пора всем нам расстаться.

— Пора, пора! — закудахтали все курочки сразу. — Кто куда, кто куда, кто куда?

— Мы к лесу! Мы за речку! Мы на Красный ручей! Мы на Костяничную горку! Туда, туда, туда, туда!

Когда кудахтанье смолкло, старшая курочка заговорила опять:

— Счастливого лета и хороших птенцов всем вам! Выводите их побольше и воспитайте получше. Помните: той курочке, которая осенью приведет больше всего молодых куропаток, будет великая честь: эта курочка будет всю зиму водить Большое Стадо. И все должны будут ее слушаться. До свиданья, до свиданья, до осени!

Старшая курочка вдруг высоко подпрыгнула в воздух, с треском замахала крылышками и помчалась прочь. И в тот же миг все другие куропатки, сколько их тут было — сто или тысяча, — распались на парочки и с треском, шумом, чириканьем брызнули во все стороны и пропали из глаз.

Жаворонок огорчился: такие хорошие, ласковые соседи улетели! Когда он вернулся, как они радовались ему! Как весело было в их дружной семье!

Но он сейчас же спохватился: ведь ему надо скорей разбудить всех других полевых птиц и зверей, и всех людей! Он быстро-быстро заработал крылышками и запел еще звонче прежнего:

— Солнце встает! Просыпайтесь, все просыпайтесь, весело беритесь за работу!

И, поднимаясь к облакам, он видел, как разбегаются от деревень воришки-зайцы, забравшиеся на ночь в сады поглотить кору с яблонь. Видел, как шумной ватагой, каркая, слетаются на пашню

стаи черных грачей — выковыривать носами червей из оттаявшей земли; как выходят из домов люди.

Люди запрокидывали голову и, щурясь от яркого солнца, старались разглядеть в небе маленького певца. Но он исчез в облаке. Осталась над полями только его песня, такая звонкая и радостная, что у людей становилось светло на душе и они весело брались за работу.

О ЧЕМ РАЗГОВАРИВАЛ ЖАВОРОНОК С ПОЛЕВЫМ ПЕТУШКОМ

Целый день трудился Жаворонок: летал в поднебесье и пел. Пел, чтобы все знали, что все хорошо и спокойно и поблизости не летает злой ястреб. Пел, чтобы радовались полевые птицы и звери. Пел, чтобы веселей работалось людям. Пел, пел — и устал. Был уже вечер. Солнце зашло. Попрятались куда-то все звери и птицы.

Жаворонок опустился на пашню. Ему захотелось поболтать с кем-нибудь перед сном о том о сем. Подруги у него не было.

Он решил: «Полечу-ка к соседям — куропаткам». Но тут же вспомнил, что утром они улетели.

Ему опять стало грустно. Он тяжело вздохнул и стал укладываться спать в ямке между комочками подсохшей за день земли.

Вдруг до него донесся чей-то знакомый голос. Голос напоминал скрип несмазанной калитки или чириканье сверчка, только был сильнее, громче. Кто-то звонко и радостно выговаривал все одно слово:

— Черр-вяк! Черр-вяк!

«Ой, да ведь это Подковкин! — обрадовался Жаворонок. — Значит, не все куропатки улетели».

— Черр-вяк! Черр-вяк! — неслось из ржаных зеленей.

«Чудилка! — подумал Жаворонок. — Нашел одного червяка и кричит на весь свет».

Он знал, что куропатки наедаются хлебными зернами да семенами разных трав. Червяк для них — вроде сладкого к обеду. Сам Жаворонок умел находить в траве сколько угодно маленьких червячков и каждый день наедался ими досыта. Ему и было смешно, что сосед так радуется какому-то червяку.

«Ну, теперь мне будет с кем поболтать», — подумал Жаворонок и полетел разыскивать соседа.

Найти его оказалось очень просто: петушок сидел открыто на кочке, среди низенькой травки зеленей, и то и дело подавал голос.

— Здорóво, Подковкин! — крикнул, подлетая к нему, Жаворонок. — Ты на все лето остался?

Петушок приветливо кивнул головой:

— Да, да. Так решила Оранжевое Горлышко, моя жена. Зна-

ком с ней? Очень умная курочка. Вот увидишь, этой зимой она непременно будет водить Большое Стадо.

Сказав это, петушок выкатил колесом голубую грудь с рисунком подковы вкусного шоколадного цвета. Потом вытянул шейку и три раза громко прокричал:

— Черр-вяк! Черр-вяк! Черр-вяк!

— Где же червяк-то? — удивился Жаворонок. — Ты съел его?

Подковкин обиделся:

— За кого ты меня принимаешь? Хороший я был бы петушок, если б сам ел червяков! Я, конечно, отнес его Оранжевому Горлышку.

— И она его съела?

— Съела и сказала, что очень вкусно.

— Так и дело с концом! Чего же ты кричишь: «Червяк! Червяк!»?

— Ничего ты не понимаешь! — совсем рассердился Подковкин. — Во-первых, я вовсе не кричу, а красиво пою. Во-вторых, про что же и петь, как не про вкусных червяков?

Маленький серенький Жаворонок много мог бы рассказать, про что и как надо петь. Ведь он был из знаменитого рода певцов, прославленных всеми поэтами. Но гордости в нем не было. И он совсем не хотел обидеть Подковкина, своего доброго соседа.

Жаворонок поспешил сказать ему что-нибудь приятное.

— Я знаю Оранжевое Горлышко. Она такая красивая, нежная. Как ее здоровье?

Подковкин сейчас же забыл обиду. Он выпятил грудь, три раза звонко брякнул: «Ферр-вяк!» — и только тогда важно ответил:

— Благодарю вас! Оранжевое Горлышко чувствует себя прекрасно. Прилетайте навещать нас.

— Когда можно прилететь? — спросил Жаворонок.

— Сейчас-то, видишь ли, я очень занят, — сказал Подковкин. — Днем еду разыскиваю для Оранжевого Горлышка, караул держу, чтобы на нее не напали Лиса или Ястреб. Вечерами вот песни ей пою. А тут еще драться надо с...

Подковкин не закончил, вытянулся на ножках и стал вглядываться в зеленя.

— Постой-ка! Никак, он опять?..

Петушок сорвался с места и стрелой полетел туда, где в зеленях что-то шевелилось.

Сейчас же оттуда раздался шум драки: стук клюва о клюв, хлопанье крыльев, шелест ржи. Пух полетел к небу.

Через несколько минут над зелеными мелькнула пестренькая спинка чужого петушка, и Подковкин вернулся, весь взъерошенный, с блестящими глазами. Из его левого крыла торчало переломленное перо.

— Ух!.. Здорово я его тюкнул! — сказал он, опускаясь на кочку. — Будет знать теперь...

— Да с кем это ты? — робко спросил Жаворонок. Сам он никогда ни с кем не дрался и драться-то не умел.

— А с соседом, с Бровкиным. Тут рядом, на Костяничной горке живет. Глупый петушишка. Я ему покажу!..

Жаворонок знал и Бровкина. У всех куропаток брови красные — и не только над глазами, а даже и под глазами. У Бровкина они были особенно большие и красные.

— Зачем же вы деретесь? — спросил Жаворонок. — В Большом Стаде вы ведь друзья были с Бровкиным.

— В Большом Стаде — другое дело. А теперь то он к нам в поле забежит, то я ненароком на Костяничную горку попаду. Тут уж нам никак нельзя не подраться. Ведь мы — петухи.

Жаворонок так и не понял: зачем это драться, когда друзья? Он опять спросил:

— Когда же приходиться-то?

— Вот разве когда Оранжевое Горлышко сядет детей высиживать. Тогда, может, вздохну посвободнее.

— А скоро думаете гнездо завивать?

— Оранжевое Горлышко говорит: «Когда на снежных полях покажутся проталины и в небе запоет Жаворонок, Большое Стадо разобьется на пары и разлетится во все стороны. Когда люди кончат сев и озимая рожь отрастет по колено человеку, настанет пора вить гнездо». Вот посмотришь, какое уютное гнездышко устроит себе Оранжевое Горлышко, — загляденье! Запомнишь? Когда люди кончат сеять, а рожь отрастет по колено человеку.

— Я уж запомнил, — сказал Жаворонок. — Непременно прилечу. Ну, спокойной ночи!

И он полетел к себе спать.

ЧТО ДЕЛАЛИ ЛЮДИ, КОГДА С ПОЛЕЙ СОШЕЛ СНЕГ, И КАКОЕ ГНЕЗДО ЗАВИЛА ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШКО

И вот Жаворонок принялся ждать, когда люди начнут и кончат сеять, а рожь отрастет по колено человеку.

Каждое утро он поднимался под облака и пел там обо всем, что видел под собой.

Он видел, как день ото дня тает в полях снег, как с каждым утром веселей и жарче греет солнце. Видел, как прилетели ледоломки-трясогузки — тоненькие птички с трясучими хвостами — и как на следующее утро река сломала лед. И как только снег сошел, люди выехали на тракторе в поле.

«Теперь они начнут сеять!» — подумал Жаворонок.

Но он ошибся: еще не сеять выехали люди, а только приготовить к посеву вспаханную с осени землю.

Тарахтя и фыркая, выполз в поле трактор. Он тащил за собой длинный железный брус с двумя колесами по краям. Под брусом широкие, острые стальные лапы резали и перевертывали сырую землю, разрыхляли ее, разбивали слежавшиеся комья.

Так прошло несколько дней. Потом люди приехали на гусеничном тракторе, позади которого были прицеплены два длинных узких ящика на колесах. На доске сзади стояли колхозницы. Они открывали ящики, засыпали в них зерно, а в конце поля, когда трактор поворачивался и поворачивал за собой сеялки, они управляли рычагами и не давали семенам сыпаться на дорогу.

Первым делом посеяли овес. Овес сеяли, чтобы кормить им лошадей и делать из его семян очень полезную для ребят овсянку.

После овса сеяли лен. Лен сеяли, чтобы потом делать из его семян льняное масло, а из стеблей — веревки, холст и полотно.

А Жаворонок думал, — лен сеют, чтобы птицам удобно было в нем прятаться.

После льна посеяли пшеницу. Пшеницу сеяли, чтобы потом делать из нее белую муку, а из белой муки печь вкусные белые булки.

Потом сеяли рожь, из которой будет черный хлеб. Потом ячмень — делать из него ячменные лепешки, суп с перловой крупой и ячневую кашу. И, наконец, гречу — варить из нее гречневую кашу, — ту самую, что сама себя хвалит.

А Жаворонок думал, что люди сеют овес, и пшеницу, и рожь, и ячмень, и просо, из которого варят пшенную кашу, и гречу — все только, чтобы птицам были разные зернышки для еды.

Посеяли колхозники гречу и уехали с поля.

«Ну, — подумал Жаворонок, — вот и конец севу! Больше не выедут люди в поле».

И опять ошибся: на следующее утро опять зашумели в поле тракторы с хитрыми машинами-картофелесажалками — и посадили в землю картофель.

А для чего люди садили картошку, — все знают. Один Жаворонок никак не мог догадаться.

К тому времени прилетели ласточки, и стало тепло, и озимая рожь отросла по колено людям. Увидал это Жаворонок, обрадовался и полетел искать своего друга — петушка Подковкина.

Теперь найти его было не так просто, как месяц назад: рожь кругом вон как выросла; кочки-то и не стало видно, насилу-насилу нашел Жаворонок Подковкина.

— Готово гнездо? — сразу спросил он.

— Готово, готово! — весело отвечал Подковкин. — И даже яйца все положены. Знаешь, сколько?

— Да я ведь считать не умею, — сказал Жаворонок.

— Признаться, и я дальше двух не умею, — вздохнул Подковкин. — Да тут охотник проходил. Заглянул в гнездо, сосчитал яйца и говорит: «Ого, — говорит, — двадцать четыре, целых две дюжины! Больше, — говорит, — и не бывает яиц у серых куропаток».

— Ой-ой-ой, плохо дело! — испугался Жаворонок. — Охотник все яйца возьмет и яичницу из них себе сделает.

— Что ты, что ты — яичницу! — замахал на него крылышками Подковкин. — Оранжевое Горлышко говорит: «Хорошо, что это охотник. Лишь бы не мальчишки». Она говорит: «Охотник еще охранять наше гнездо будет: ему надо, чтобы наши птенцы выросли да жирные стали. Вот тогда берегись! Тогда он придет с собакой да бах-бах!..» Ну идем, я тебя к Оранжевому Горлышку поведу.

Подковкин соскочил с кочки и так быстро пробежал во ржи, что Жаворонку пришлось его догонять на крыльях.

Гнездо куропаток помещалось среди ржи, в углублении между двумя кочками.

Нагнезде, распушив перья, сидела Оранжевое Горлышко.

Увидев гостя, она сошла с гнезда, пригладила перья и приветливо сказала:

— Пожалуйста, пожалуйста! Полюбуйтесь на наше гнездышко. Правда, уютное?

Особенного ничего не было в ее гнезде: вроде лукошка с яйцами. По краям выстлано куропаткиным пухом и перышками.

Жаворонок видал и похитрей гнезда.

Все-таки из вежливости он сказал:

— Очень милое гнездышко.

— А яйца? — спросила Оранжевое Горлышко. — Правда, чудесные яички?

Яйца в самом деле были хорошие: как куриные, только маленькие, красивого ровного желто-зеленого цвета. Их было много — полное лукошко. И лежали они все острыми концами внутрь, а то, пожалуй, и не поместились бы в гнезде.

— Прелесть какие яйца! — от души сказал Жаворонок. — Такие чистые, гладкие, аккуратные!

— А кругом гнезда как вам нравится? — спросила Оранжевое Горлышко. — Красиво?

Жаворонок огляделся. Над гнездом зеленым шатром нависали гибкие стебли молодой ржи.

— Красиво, — согласился Жаворонок. — Только вот... — и запнулся.

— Что ты хочешь сказать? — встревожился Подковкин. — Или наше гнездо плохо спрятано?

— Сейчас-то оно хорошо спрятано, даже ястребу не заметить. Да ведь скоро люди сожнут рожь. И ваше гнездо останется на открытом месте.

— Сожнут рожь? — Подковкин даже крылышками всплеснул. — Ты это наверное знаешь?

— Я слышал, колхозники говорили, что будут жать рожь.

— Вот ужас! — ахнул Подковкин. — Что же нам делать?

Но Оранжевое Горлышко только весело подмигнула мужу:

— Не тревожься, не волнуйся. Тут самое сохранный место. Никто сюда не придет, пока наши птенчики не выйдут из яиц. Заруби у себя на носу: птенцы куропаток выходят из яиц, когда рожь цветет.

— А люди когда придут жать ее?

— А люди будут ждать, пока рожь вырастет, выколосится, зацветет, отцветет, нальется и вызреет.

— Что я тебе говорил? — закричал обрадованный Подковкин. — Видишь, какая умная у меня жена! Она все наперед знает.

— Это не я умная, — скромно сказала Оранжевое Горлышко. — Это наш куропатчий календарь. Каждая наша курочка знает его наизусть.

Потом она повернулась к Жаворонку, похвалила его песни и пригласила его прийти посмотреть, как будут выходить из яиц ее птенчики.

Тут перепел громко закричал из ржи:

— Спать пора! Спать пора!

Жаворонок простился с друзьями и полетел домой.

Перед сном он все старался вспомнить: как это она сказала? Сперва рожь вырастет, потом, потом выколо... нет — вылоко... выклоло...

Но никак не мог выговорить это мудреное слово, махнул лапкой и заснул.

КАК ПРИШЛА ЛИСИЦА И КАКИЕ У ПОДКОВКИНЫХ РОДИЛИСЬ ДЕТИ

Жаворонку не терпелось взглянуть, как будут выходить из яиц маленькие Подковкины. Каждое утро теперь, прежде чем подняться в облака, он внимательно осматривал рожь.

Рожь поднималась быстро и скоро стала ростом с самого высокого человека. Тогда концы ее стеблей стали толстеть и набухать. Потом из них выросли усики.

— Вот это и есть колоски, — сказал себе Жаворонок. — Вот это и называется выклоло... нет — выколо... нет — вы-ко-ло-силась.

В это утро он пел особенно хорошо: он был рад, что рожь скоро зацветет и у Подковкиных выйдут птенчики.

Он смотрел вниз и видел, что на всех полях поднялись уже посевы: и ячмень, и овес, и лен, и пшеница, и гречиха, и листья картофеля на ровных грядках.

В кустах около того поля, где в высокой ржи было гнездо Подковкиных, он заметил ярко-рыжую полосу. Спустился пониже и разглядел: это была Лисица. Она вышла из кустов и кралась по скошенному лугу к полю куропаток.

Крепко затукало Жаворонково сердчишко. Он боялся не за себя: Лиса ничего не могла ему сделать в воздухе. Но страшный зверь мог найти гнездо его друзей, поймать Оранжевое Горлышко, разорить ее гнездо.

Еще ниже спустился Жаворонок и что было силы закричал:

— Подковкин, Подковкин! Лиса идет, спасайтесь!

Лиса подняла голову и страшно щелкнула зубами. Жаворонок испугался, но продолжал кричать что есть мочи:

— Оранжевое Горлышко! Улетайте, улетайте!

Лиса направилась прямо к гнезду.

Вдруг из ржи выскочил Подковкин. У него был ужасный вид: перья все взъерошены, одно крыло волочится по земле.

«Беда! — подумал Жаворонок. — Верно, его подшибли камнем мальчишки. Теперь и он пропадет».

И закричал:

— Подковкин, беги, прячься!

Но было уже поздно: Лиса заметила бедного петушка и помчалась к нему.

Подковкин, хромя и подпрыгивая, побежал от нее в сторону. Но где же ему было убежать от быстрого зверя!

В три прыжка Лиса была около него, и — клямс! — зубы ее лягнули у самого хвоста петушка.

Подковкин собрал все свои силы и успел взлететь перед носом зверя. Но летел он совсем плохо, отчаянно чирикал и скоро упал на землю, вскочил, заковылял дальше. Лиса кинулась за ним.

Жаворонок видел, как бедный Подковкин то бегом, то взлетая на воздух с трудом добрался до Костяничной горки и скрылся в кустах. Лиса неотступно гналась за ним.

«Ну, теперь бедняге конец! — подумал Жаворонок. — Лиса загнала его в кусты и там живо поймает».

Жаворонок ничем больше не мог помочь другу. Он не хотел слышать, как хрустнут на Лисьих зубах косточки петушка, и поскорей улетел.

Прошло несколько дней — и рожь была уже в цвету. Жаворонок не летал эти дни над полем, где жили Подковкины. Он грустил о погибшем друге и не хотел даже смотреть на место, где валялись окровавленные перышки петушка.

Раз сидел Жаворонок у себя в поле и закусывал червячками.

Вдруг он услышал треск крыльев и увидел Подковкина, живого и веселого. Подковкин опустился рядом с ним.

— Куда ж ты пропал?! — закричал петушок, не здороваясь. — Ведь рожь цветет уже. Ищу тебя, ищу!.. Летим скорей к

нам: Оранжевое Горлышко говорит, что сейчас наши птенчики будут из яиц выклевываться.

Жаворонок вытаращил на него глаза.

— Ведь тебя же съела Лиса, — сказал он. — Я сам видел, как она загнала тебя в кусты.

— Лиса? Меня-то! — закричал Подковкин. — Да ведь это я отводил ее от нашего гнезда. Нарочно и больным притворился, чтобы ее обмануть. Так ее запутал в кустах, что она и дорогу забыла в наше поле! А тебе спасибо, что предупредил об опасности. Если б не ты, не видать бы нам наших птенчиков.

— Я что ж... я только крикнул, — смутился Жаворонок. — Ловко же ты! Даже меня обманул.

И друзья полетели к Оранжевому Горлышку.

— Чшш! Тише, тише! — встретила их Оранжевое Горлышко. — Не мешайте мне слушать.

Она была очень озабочена, стояла над гнездом и, склонив голову к яйцам, внимательно прислушивалась. Жаворонок и Подковкин стояли рядом, чуть дыша.

Вдруг Оранжевое Горлышко быстро, но осторожно тюкнула клювом одно из яиц. Кусочек скорлупы отлетел, и сейчас же из дырочки блеснули два черных булабочных глаза и показалась мокрая взъерошенная головка цыпленочка.

Мать еще раз тюкнула клювом, — и вот весь цыпленочек выскочил из развалившейся скорлупы.

— Вышел, вышел! — закричал Подковкин и запрыгал от радости.

— Не кричи! — строго сказала Оранжевое Горлышко. — Бери скорей скорлупки и унеси подальше от гнезда.

Подковкин ухватил клювом половину скорлупки и стремглав помчался с ней в рожь.

Он вернулся за второй половинкой очень скоро, но в гнезде накопилась уже целая грудка битой скорлупы. Жаворонок видел, как один за другим выходили из яиц цыплята. Пока Оранжевое Горлышко помогала одному, другой уже сам разбивал скорлупу и выкарабкивался из нее.

Скоро все двадцать четыре яйца были разбиты, все двадцать четыре птенчика вышли на свет — смешные, мокрые, взъерошенные!

Оранжевое Горлышко живо повыкидывала ногами и клювом всю битую скорлупу из гнезда и велела Подковкину убрать ее. Потом обернулась к цыплятам, нежным голосом сказала им: «Ко-ко-ко! Ко-ко!» — вся распушилась, растопырила крылья и села на гнездо. И все цыплята сразу исчезли под ней, как под шапкой.

Жаворонок принялся помогать Подковкину носить скорлупу. Но клювик у него был маленький, слабый, и он мог таскать только самые легкие скорлупки.

Так они долго трудились вдвоем с Подковкиным. Относили

скорлупу подальше в кусты. Оставлять ее вблизи гнезда нельзя было: люди или звери могли заметить скорлупки и по ним найти гнездо. Наконец работа была кончена, и они могли отдохнуть.

Они сели рядом с гнездом и смотрели, как из-под крыльев Оранжевого Горлышка то тут, то там высывались любопытные носики, мелькали быстрые глазки.

— Удивительно как... — сказал Жаворонок. — Только что родились, а уж такие шустрые. И глазки у них открыты, и тельце все в густом пуху.

— У них уж и перышки маленькие есть, — гордо сказала Оранжевое Горлышко. — На крылышках.

— Скажите пожалуйста! — удивлялся Жаворонок. — А у нас, у певчих птиц, когда птенчики выйдут из гнезда, они слепенькие, голенькие... Только чуть могут головку поднять да ротик открыть.

— О, вы еще не то сейчас увидите! — весело сказала Оранжевое Горлышко. — Дайте мне только еще немножко погреть их своим теплом, чтобы хорошенько обсушить... и мы сейчас же откроем детскую площадку.

КАКАЯ У ПОДКОВКОВ БЫЛА ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА И ЧТО ОНИ ТАМ ДЕЛАЛИ

Они еще поболтали, потом Оранжевое Горлышко и спрашивает:

— Подковкин, где сейчас поблизости можно найти маленьких зеленых гусениц и мягких улиток?

— Тут, тут рядом, — заторопился Подковкин, — в двух шагах, в нашем же поле. Я уже присмотрел.

— Нашим детям, — сказала Оранжевое Горлышко, — в первые дни нужна самая нежная пища. Зернышки есть они научатся позже. Ну, Подковкин, показывай дорогу, мы пойдем за тобой.

— А птенчики? — встревожился Жаворонок. — Неужели вы оставите крошек одних?

— Крошки пойдут с нами, — спокойно сказала Оранжевое Горлышко. — Вот, смотрите.

Она осторожно сошла с гнезда и позвала ласковым голосом:

— Ко-кко! Ко-ко-кко!

И все двадцать четыре птенчика повскакали на ножки, выпрыгнули из гнезда-лукошка и веселыми катышками покатались за матерью.

Впереди пошел Подковкин, за ним Оранжевое Горлышко с цыплятами, а сзади всех — Жаворонок. Цыплятки пик-пикали, мать говорила «ко-кко», а сам Подковкин молчал и шел, выпятив голубую грудь с шоколадной подковкой, и гордо поглядывал по сторонам.

Через минуту они пришли в такое место, где рожь была редкая и между ее стеблями поднимались кочки.

— Прекрасное местечко! — одобрила Оранжевое Горлышко. — Тут и устроим детскую площадку.

И она сейчас же принялась с Подковкиным искать для своих птенчиков зеленых гусениц и мягких улиток.

Жаворонку тоже захотелось покормить цыпляток. Он нашел четырех гусеничек и позвал:

— Цып-цып-цып, бегите сюда!

Цыплятки доели то, что им дали родители, и покатили к Жаворонку. Смотрят, а гусениц нет! Жаворонок смутился и, наверно, покраснел бы, если б на лице у него не было перышек: ведь это он, пока ждал цыплят, незаметно как-то сам отправил себе в рот всех четырех гусениц.

Зато Оранжевое Горлышко с Подковкиным ни одной гусенички не проглотили, а каждую брали в клюв и ловко отправляли в открытый рот одного из цыплят — всем по очереди.

— Теперь займемся ученьем, — сказала Оранжевое Горлышко, когда цыплята наелись. — Ккок!

Все двадцать четыре цыпленка остановились, кто где был, и взглянули на мать.

— Ккок — это значит: внимание! — объяснила Жаворонку Оранжевое Горлышко. — Теперь я их позову за собой — и смотрите!.. Ко-кко! Ко-ко-кко!.. — позвала она своим самым нежным голосом и пошла к кочкам.

Все двадцать четыре цыпленка покатались за ней.

Оранжевое Горлышко перескочила кочки и, не останавливаясь, пошла дальше.

Цыплятки добежали до кочек — и стоп! Они не знали, что им делать: ведь кочки перед ними были как высокие крутые горы или как трехэтажные дома.

Цыплятки старались вскарабкаться на кручу, но падали и катились вниз. При этом они так жалостно плакали, что у доброго Жаворонка сжалось сердце.

— Ко-кко! Ко-ко-кко! — опять настойчиво звала Оранжевое Горлышко с другой стороны кочек. — Сюда, сюда, за мной!

И вдруг все двадцать четыре птенчика разом замахали крошечными крылышками, вспорхнули и полетели. Они поднялись невысоко над землей, а все-таки кочки перелетели, упали прямо на ножки и без передышки покатались за Оранжевым Горлышком.

Жаворонок даже клюв раскрыл от удивления. Как же так: только что родились на свет, а уж вон как умеют!

— Ах, какие у вас способные дети! — сказал он Подковкину и Оранжевому Горлышку. — Ведь это просто чудо: они уж и летают!

— Немножко только, — сказала Оранжевое Горлышко. —

Далеко не могут. Всего только вспорхнут и сядут. Охотники так и зовут наших детей: поршки.

— У нас, у певчих птиц,— сказал Жаворонок,— птенчики сидят в гнезде, пока у них не отрастут крылышки. Гнездо так хорошо спрятано в траве, что даже соколиный глаз его не заметит. А вы куда своих поршков спрячете, если вдруг прилетит сокол?

— Тогда я сделаю вот как,— сказал Подковкин и громко крикнул: «Чирр-вик!»

Все двадцать четыре поршка разом поджали ножки и... как сквозь землю провалились!

Жаворонок крутил головой во все стороны, стараясь разглядеть хоть одного птенчика: ведь он знал, что они притаились тут перед ним, на земле. Смотрел, смотрел — и никого не увидел.

— Фокус-покус-чирвирокус! — весело подмигнул ему Подковкин, да вдруг как крикнет: — Раз, два, три, вир-вир-ри!

Все двадцать четыре поршка разом вскочили на ножки и опять стали видны.

Жаворонок ахнул: вот это ловко!

А когда настал вечер и Подковкины повели детей укладывать спать, Оранжевое Горлышко сказала Жаворонку:

— Пока люди не кончат сенокос, вы всегда можете найти нас или в гнезде, или на детской площадке. А когда хлеба поспеют и придут машины убирать их,— ищите нас там, где растет лен. Мы откроем там для наших детей школу первой ступени.

КАК ПРИЛЕТЕЛА В ПОЛЯ ЯСТРЕБИХА И КАКАЯ БЕДА СТЯСЛАСЬ НА КОСТЯНИЧНОЙ ГОРКЕ.

Настала середина лета. Все звери и птицы вывели детей. И в поля каждый день стали наведываться хищники.

Жаворонок по-прежнему с утра поднимался под облака и пел там. Но теперь частенько ему приходилось прерывать пение и лететь предупреждать своих знакомых об опасности.

А друзей и знакомых у него были полны поля: Жаворонок со всеми жил в мире, и все его любили. Сам он больше всех любил своих друзей Подковкиных. Старался все больше летать над тем полем, где было гнездо Оранжевого Горлышка. Летает в вышине, а сам зорко следит, не покажется ли где хищник.

Вот взошло солнце, и с дальних полей, из-за реки, уже приближается голубовато-белый Лунь. Лицо у него круглое, как у кошки, нос крючком. Он летит низко-низко над зеленой рожью и смотрит, высматривает: не мелькнет ли где птенчик илимышь? Вдруг останавливается на лету и, как бабочка, приподняв крылья над спиной, повиснет в воздухе: вглядывается в одно место.

Там сейчас ушмыгнул от него в норку мышонок. Лунь и ждет,

когда мышонок высунет нос из норки. Если высунет, Лунь разом сложит крылья, камнем упадет вниз — и цоп мышонка в когти!

Но Жаворонок уже мчится с высоты и, крикнув Подковкиным на лету: «Лунь прилетел!», спешит к норке, кричит мышонку:

— Не высовывай носа! Не высовывай носа из норки!

Подковкин командует своим поршкам:

— Чирр-вик!

И поршки поджимают ножки, делаются невидимками.

Мышонок слышит Жаворонка и, дрожа от страха, забивается поглубже в норку.

И Лунь улетает дальше, никого не поймав.

Каждый день прилетали из далекого леса Черный Коршун с выемкой на длинном хвосте и Бурый Мышелов. Кружили над полями, высматривали добычу. Их когти всегда готовы схватить неосторожного мышонка или поршка. Но с утра до полудня и опять через час после полудня караулит в небе Жаворонок, и все полевые птицы и звери спокойны: у них хороший сторож. А в полдень хищники улетают к реке на водопой. Тогда и Жаворонок спускается на землю поест да вздремнуть полчаса после обеда, и в полях наступает «мертвый час» — час отдыха и сна.

И, может быть, так бы все и обошлось благополучно, все звериные детеныши были бы целы и поршки у куропаток выросли бы спокойно, да, на беду, прилетела в поле Серая Ястребиха.

Страшны маленьким зверям и птицам и Лунь, и Коршун, и Канюк-Мышелов.

Но страшней всех жена Канюка — Ястребиха. Она больше и сильнее Ястреба: ей и взрослую куропатку поймать — пустяк.

До тех пор всю еду ей и их птенцам приносил Ястреб — ее муж. Но вчера его застрелил охотник. Ястребиха второй день голодала и поэтому была особенно зла и безжалостна.

Ястребиха не кружила над полями у всех на виду, как Лунь...

Жаворонок прокричал сверху:

— Ястребиха! Спасайтесь! — и замолк.

Он сам не знал, куда девалась Ястребиха: не успел заметить.

На Костяничной горке растут густые кусты, а над ними поднимаются в небо две высокие осины. Одна — сухая. Другая — как зеленая круглая башня. Коршун и Канюк-Мышелов, бывало, летают-летают и присядут на сухую осину: отсюда им хорошо видно, что делается кругом в полях.

Им видно, зато и их видно. И пока хищник сидит на сухой осине, ни одна мышь не высунет носа из норки, ни одна птица не покажется из кустов или из хлеба.

А вот Ястребиха промчалась над головами — и нет ее. Никто не сидит на сухой осине. Никто не кружит над полями. Жаворонок опять спокойно запел в вышине.

И полевое зверье вылезает из норок, из незаметных ухоронок под кустами, в хлебах, между кочками.

Жаворонок видит с высоты: вот зайчишка выкатился из-под куста, встал столбиком, огляделся, повертел во все стороны ушками. Ничего, спокойно. Опустился на короткие передние лапки и принялся щипать траву. Мыши зашныряли между кочками.

Подковкин с Оранжевым Горлышком привели своих поршков к самой Костяничной горке.

Что это они делают там? Да ведь они учат детей зернышки клевать! Подковкин ткнет несколько раз в землю носом, что-то скажет, и все двадцать четыре поршка со всех ног бегут к нему, смешно тыкаются короткими носиками в землю.

А вон там, на самой горке, у двух осин, — соседи Подковкиных, семейство Бровкиных: сам Бровкин, и курочка его, Голубой Носик, и детки их крошки-поршки.

Все это видит Жаворонок, видит и еще кто-то: тот, кто затаился в высокой зеленой осине, как в башне. А кто там прячется, ни Жаворонку, никому из полевых зверей и птиц не видно.

«Сейчас, — думает Жаворонок, — опять Подковкин подерется с Бровкиным. Вот увидели друг друга, распушились оба, распетушились... Нет, ничего, не дерутся. Прошло, видно, время драк. Только Оранжевое Горлышко повернула назад в рожь: уводит своих детей. И Голубой Носик тоже... Ой!»

Серой молнией блеснула сверху, из зеленой осины, Ястребиха. И забила у нее в когтях курочка Голубой Носик — пух полетел над кустами.

— Чирр-вик! — отчаянно крикнул Подковкин.

Значит, и он увидал Ястребиху. Все семейство Подковкиных исчезло во ржи. А Бровкин совсем растерялся. Ему бы тоже крикнуть «чирр-вик!» да спастись с поршками в кусты, а он с перепугу чирвикнул и полетел, как Подковкин от Лисы, притворяясь подшибленным.

Ах, глупый, глупый петушок! Ястребиха — не Лиса!

Разве могут спасти от нее короткие куропачьи крылышки!

Ястребиха бросила мертвую курочку — и за ним! Ударила Бровкина в спину, вместе с ним упала в кусты.

И остались крошки-поршки Бровкины круглыми сиротами — без отца, без матери.

ЧЕМУ ОБУЧАЛИСЬ ПОРШКИ В ШКОЛЕ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ

Ястребиха съела на месте петушка Бровкина, а курочку Голубой Носик унесла в лес — своим прожорливым ястребят на обед.

Жаворонок полетел к Подковкиным.

— Вы видели? — встретила его вопросом Оранжевое Горлышко. — Ужас, ужас! Бедные крошки Бровкины, горькие сироты... Идемте скорей, разыщем их.

И она побежала так быстро, что поршкам пришлось поминутно вспархивать, чтобы поспеть за ней.

На Костяничной горке она остановилась и громко позвала:

— Ко-ко! Ко-ко-кко!

Ей никто не ответил.

— Ах, бедные, ах, бедные крошки! — сказала Оранжевое Горлышко. — Они так напугались, что не смеют и на ножки вскочить.

Она позвала во второй раз.

И опять никто не отозвался.

Позвала в третий раз — и вдруг кругом, со всех сторон, как из-под земли выросли маленькие Бровкины и с писком покатались к ней.

Оранжевое Горлышко распушила перья и приняла к себе под крылышки всех своих малышей и всех Бровкиных.

Такое множество поршков не могло поместиться под ее крылышками. Они залезали друг на друга, толкались, брыкались, пихались, и то один, то другой из них кубарем вылетал наружу. Оранжевое Горлышко сейчас же нежно загоняла его назад, в тепло.

— Пусть-ка теперь, — вызывающе крикнула она, — пусть кто-нибудь осмелится сказать, что это не мои дети!

Жаворонок подумал про себя: «Вот уж верно! Все крошки как две капли воды похожи друг на друга. Пусть меня изжарят на сковородке, если я разберу, которые тут Бровкины, которые Подковкины. Я думаю, сама Оранжевое Горлышко — и та не разберет».

А вслух сказал:

— Неужели вы хотите их усыновить? У вас и своих-то...

— Молчи, молчи! — перебил его Подковкин. — Раз Оранжевое Горлышко сказала, — значит, так тому и быть. Не пропадать же сироткам без призору!

Тут у Жаворонка почему-то вдруг защекотало-защекотало в горлышке и глаза стали мокрые, — хотя птицы и не умеют плакать. Ему стало так стыдно этого, что он незаметно шмыгнул за куст, улетел от друзей и долго не показывался им на глаза.

Раз утром, поднявшись в вышину, Жаворонок вдруг увидал: будто голубой корабль выплывает из-за края обширного колхозного поля; Жаворонок прошлой осенью летал за море и помнил, какие они — корабли.

Только этот корабль показался Жаворонку очень странным: впереди корабля, поблескивая в лучах солнца, быстро вращалось что-то вроде колеса из длинных узких досок; флаг развевался не как у морских кораблей: на высокой мачте, — мачт у этого парохода вообще не было и в помине, — а сбоку; и тут же сбоку под белым зонтиком сидел капитан и управлял кораблем или пароходом, — как его назвать? Позади него вилась пыль, как дым.

Полевой корабль приближался, — и Жаворонку видно было,

как он широко загребает перед собой своим дощатым колесом пшеницу; как она исчезает в нем; как стоящая на мостике с другой стороны корабля колхозница время от времени переставляет рычаг — и позади корабля на коротко остриженное и гладко скошенное поле падают кучи золотистой соломы пшеницы.

Вблизи полевой корабль перестал быть похожим на морские корабли. Спустившись пониже, Жаворонок услышал, что люди называют его «комбайн» и что эта большая машина на ходу убирает хлеб, обмолачивает его, зерно собирает в ящик, а солому оставляет, — остается только сбрасывать ее на сжатое поле.

«Надо рассказать обо всем об этом Подковкиным, — подумал Жаворонок, — да, кстати, и поглядеть, чему они обучают своих поршков в школе первой ступени». И он полетел разыскивать своих друзей.

Как и говорила Оранжевое Горлышко, Подковкиных он нашел теперь во льне. Они как раз собирались давать детям урок. Жаворонок удивился, как подросли за эти дни поршки. Их нежный пух сменился перышками.

Сам Подковкин поднялся на кочку, а сорок четыре поршка под присмотром Оранжевого Горлышка разместились внизу полукругом.

— Ккок! — сказал Подковкин. — Внимание!

И он стал говорить поршкам о пользе образования для куропаток.

— С образованием, — говорил он, — молодая куропатка нигде не пропадет.

Говорил Подковкин долго, и Жаворонок видел, как поршки один за другим закрывали глазки и засыпали.

— Как уберечь себя от врагов, — говорил Подковкин, — от охотников, мальчишек, от хищных зверей и птиц, — вот в чем вопрос! В школе первой ступени вы будете изучать, как вести себя на земле, а в школе второй ступени — как держать себя в воздухе. Мы, куропатки, наземные птицы и взлетаем с земли только тогда, когда враг наступит нам на хвост.

Тут Подковкин перешел к примерам:

— Скажем, к нам приближается человек... мальчик, скажем. Что мы делаем прежде всего?

Никто не ответил на его вопрос: все сорок четыре поршка крепко спали.

Подковкин не заметил этого и продолжал:

— Прежде всего я или Оранжевое Горлышко тихонько командуем: «Ккок! Внимание!» Вы уже знаете, что при этом слове вы все поворачиваетесь к нам и смотрите, что мы делаем.

«Этого он мог и не говорить», — подумал Жаворонок, потому что, как только Подковкин сказал «ккок!» — все сорок четыре крепко спавших поршка разом проснулись и повернули к нему носы.

— Я говорю — «ккок!», — продолжал Подковкин, — и притаиваюсь, то есть поджимаю ножки и крепко прижимаюсь к земле. Вот так.

Он поджал ножки, и все сорок четыре поршка сделали то же.

— Так... Мы лежим притаившись и все время зорко смотрим, что́ делает мальчик. Мальчик идет прямо на нас. Тогда я команду чуть слышно: «Терк!» — мы все вскакиваем на ножки...

Тут Подковкин, а за ним все сорок четыре поршка вскочили.

— ...вытягиваемся вот так...

Подковкин вытянул шейку вперед и вверх, все тело его тоже вытянулось, и он стал похож на длинную бутылочку на тонких ножках. А поршки, как ни вытягивались, остались похожи на пузырьки на коротких ножках.

—...и удираем, прикрываясь травой, — закончил Подковкин.

Бутылочка вдруг быстро побежала с кочки в лен и пропала в нем. Сорок четыре пузырька покатались за ней — и весь лен кругом зашевелился.

Подковкин сейчас же выпорхнул из льна и опять сел на свою кочку. Вернулись и поршки.

— Никуда не годится! — сказал Подковкин. — Разве так удирают? Весь лен закачался там, где вы бежали. Мальчишка сейчас же схватит палку или камень и швырнет в вас. Надо научиться бегать в траве так, чтобы ни одного колоска не задеть. Вот глядите...

Он опять превратился в бутылочку на ножках и покатыл в лен. Густой зеленый лен сомкнулся за ним, как вода над ныряльщиком, и больше нигде ни один стебелек не шелохнулся.

— Замечательно! — вслух сказал Жаворонок. — Долго же придется вам, дети, учиться, чтобы так ловко бегать!

Подковкин вернулся совсем не с той стороны, куда направился, и сказал:

— Запомните еще вот что: удирать надо не прямо, а непременно углами, зигзагами — вправо, влево; вправо и вперед. Повторим.

Жаворонок проголодался и не стал смотреть дальше, как поршки будут учиться бегать.

— Я на минутку, — сказал он Оранжевому Горлышку и полетел разыскивать гусениц.

В несжатой ржи он нашел их много, да таких вкусных, что забыл про все на свете.

Вернулся он к Подковкиным только вечером. Перепела во ржи кричали уже: «Спать пора! Спать пора!», и Оранжевое Горлышко укладывала детей.

— Вы уж большие, — говорила она поршкам, — и теперь не будете спать у меня под крылышком. С сегодняшнего дня учитесь ночевать так, как спят взрослые куропатки.

Оранжевое Горлышко легла на землю, а поршкам велела собраться в кружок вокруг нее.

Поршки улеглись, все сорок четыре носика внутрь, к Оранжевому Горлышку, хвостиками наружу.

— Не так, не так! — сказал Подковкин. — Разве можно засыпать хвостом к врагу? К врагу надо всегда быть носом. Враги — кругом нас. Ложитесь все наоборот: хвостами внутрь круга, носами наружу. Вот так. Теперь с какой стороны к нам ни подойдет враг, кто-нибудь из вас его непременно заметит.

Жаворонок пожелал всем покойной ночи и поднялся. Сверху он еще раз взглянул на Подковкиных.

И ему показалось, что на земле среди зеленого льна лежит большая пестрая много-много-многоконечная звезда.

КАК В ПОЛЯ ПРИШЕЛ ОХОТНИК С БОЛЬШИМ РЫЖИМ ПСОМ И ЧЕМ ЭТО КОНЧИЛОСЬ

Перед прощаньем Оранжевое Горлышко сказала Жаворонку:

— Когда люди уберут всю рожь и озимую пшеницу и повыдергают весь лен, — ищите нас в ячмене. Когда примутся за ячмень, — мы перейдем в яровую пшеницу. Когда возьмутся за яровую пшеницу, — мы в овес, а из овса — в гречиху. Запомните это, и вы всегда легко найдете нас.

После комбайна высыпал в поле весь колхоз. Колхозники и колхозницы сгребали высохшую ржаную и пшеничную солому и метали ее в большие стога. А там, где рос лен, опять показался трактор. Но в этот раз он вез за собой другую машину; люди называли ее «льнокомбайн». Он выдергивал из земли, тербил лен, обмолачивал зерно из его спелых головок в свой ящик, а стебли вязал в снопы и ровными рядами устилал ими за собой гладко сжатое поле.

Прилетали в поля хищные птицы: луни и канюки-мышатники, маленькие сокола — пустельги и кобчики. Они присаживались на стога, высматривали оттуда мышат, птенцов, ящериц, кузнечиков и, сорвавшись, подхватывали их в когти и уносили в лес.

Жаворонок все реже теперь поднимался в облака, все реже пел. У всех жаворонков — его родственников — подрастали птенцы. Надо было помогать родным учить птенцов летать, разыскивать себе пропитание, прятаться от хищников. Было уж не до песен.

Частенько теперь Жаворонок слышал громкие выстрелы то за рекой, то за озером: там бродил Охотник с большим Рыжим Псом, стрелял тетеревов и другую дичь. Так страшно гремело его ружье, что Жаворонок спешил улететь подальше.

И вот раз Жаворонок увидел, как Охотник направился в поля.

Он шел по сжатой ржи, а Рыжий Пес сновал перед ним справа налево, слева направо, пока не добежал до ячменного поля.

Тут он разом остановился как вкопанный — хвост пером, одна передняя лапа подогнута. Охотник направился к нему.

— Батюшки светы! — ахнул Жаворонок. — Да ведь там, в ячмене, живут теперь Подковкины! Ведь рожь вся сжата и лен весь повыдерган!

И он помчался к ячменному полю.

Охотник подошел уже к Рыжему Псу. Пес как стал, так и стоял неподвижно, только чуть скосил один глаз на хозяина.

— Красивая стойка, — сказал Охотник, снял с плеча двустволку и взвел оба курка. — Сигнал, вперед!

Рыжий Пес вздрогнул, но не тронулся с места.

— Вперед, Сигнал! — повторил Охотник строго.

Рыжий Пес осторожно, на одних пальцах, пошел вперед — тихо-тихо.

Жаворонок был уже над Охотником и остановился в воздухе, не в силах от страха крикнуть.

Рыжий Сигнал осторожно шел вперед. Охотник подвигался за ним.

Жаворонок думал: «Сейчас, сейчас выскочат Подковкины и...»

Но Сигнал все шел вперед, поворачивал то вправо, то влево, а куропатки не вылетали.

— Наверное, тетерев-косач в ячмене, — сказал Охотник. — Старый петух. Они часто удирают от собаки пешком. Вперед, Сигнал!

Сигнал прошел еще несколько шагов и опять стал, вытянув хвост и поджав одну лапу.

Охотник поднял ружье и приказал:

— Ну, вперед!

«Вот сейчас, сейчас!» — думал Жаворонок, и сердчишко его замирало.

— Вперед, Сигнал! — крикнул Охотник.

Рыжий Пес подался вперед — и вдруг с треском и чириканьем брызнуло из ячменя все многочисленное семейство Подковкиных.

Охотник вскинул ружье к плечу и...

Жаворонок зажмурил глаза от страха.

Но выстрелов не было.

Жаворонок открыл глаза. Охотник уже вешал ружье на плечо.

— Куропатки! — сказал он громко. — Хорошо, что я удержался. До сих пор не могу забыть, как там, за озером, — помнишь, Сигналка? — я застрелил курочку. Наверное, весь выводок погиб: одному петушку не убережь поршков. Сигнал, назад!

Сигнал с удивлением глядел на хозяина. Пес нашел дичь, сделал стойку, поднял дичь по приказу хозяина, а хозяин не стал стрелять и вот зовет его назад!

Но Охотник уже повернул и пошел прочь от ячменного поля. И Сигнал побежал за ним.

Жаворонок видел, как Подковкины опустились на другом конце поля, и живо их там разыскал.

— Вот счастье! — закричал он Оранжевому Горлышку. — Я все видел и так боялся, так боялся!

— Что вы! — удивилась Оранжевое Горлышко. — А я почти совсем не боялась. Ведь охотничий закон разрешает стрелять нас, серых куропаток, только тогда, когда опустеют все хлебные поля и колхозники примутся рыть картошку. Этот Охотник ходит сейчас только за тетеревами да за утками, а нас пока не трогает.

— Он сам говорил, — горячо заспорил Жаворонок, — что на днях убил курочку за озером. Бедные поршки, они теперь все погибнут с одним петушком!

— Эк ты хватил! — перебил Подковкин. — Уж будто так сразу и погибнут! Вот, познакомься, пожалуйста: петушок Заозеркин.

Тут только Жаворонок заметил, что рядом с Оранжевым Горлышком и Подковкиным сидит еще один взрослый петушок.

Петушок кивнул ему головой и сказал:

— Мне бы и правда трудно было убереечь малых деток одному, после того как погибла моя жена. Вот я и привел их сюда и попросился к добрым соседям, к Подковкиным. Они меня приняли со всем моим семейством. Теперь мы втроем заботимся о детях. Видите, как много их у нас?

И он показал клювом на целое стадо поршков в ячмене.

Жаворонок сразу узнал среди них новых приемышей Оранжевого Горлышка: поршки Заозеркины были маленькие, гораздо меньше ростом, чем Подковкины и Бровкины.

— Отчего ваши детки, — спросил он удивленно, — такие... небольшие?

— Ах, — ответил Заозеркин, — у нас столько несчастий в этом году! В начале лета моя жена свила гнездо, положила яйца и уже несколько дней сидела, высиживала их. Вдруг пришли мальчишки и разорили наше гнездышко. Все яички погибли...

— Ай, какое горе! — вздохнул Жаворонок.

— Да. Пришлось жене новое гнездо делать, новые яйца класть и опять сидеть — высиживать. Поздненькие вышли детки. Вот и маленькие еще.

— Ничего, подрастут! — добрым голосом сказала Оранжевое Горлышко. — Всех поднимем.

И у Жаворонка опять защекотало в горлышке, как тогда, когда Оранжевое Горлышко приютила сирот Бровкиных.

КАКУЮ ХИТРОСТЬ ПРИДУМАЛА ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШКО, КОГДА ОПУСТЕЛИ ХЛЕБНЫЕ ПОЛЯ И КОЛХОЗНИКИ ПРИНЯЛИСЬ ЗА КАРТОШКУ

С каждым днем теперь быстро пустели поля. Подковкины то и дело переходили с места на место.

Сжали колхозники ячмень — Подковкины перешли в яровую пшеницу. Сжали пшеницу — Подковкины перебежали в овес. Сжали овес — Подковкины перелетели в гречиху.

Охотник больше не приходил в поля, и Жаворонок перестал о нем думать.

Жаворонку теперь было еще больше дела. Приближалась осень; многие перелетные птицы готовились уже к путешествию в дальние края. Собирались в путь и все родственники Жаворонка. Они слетались в стаи на сжатых полях, вместе кормились, вместе перелетали с места на место: приучали своих детей к долгим перелетам, к высоким полетам. Жаворонок жил теперь в стае.

Все чаще дули холодные ветры, все чаще поливало дождем. Убрали колхозники и гречиху.

Подковкины переселились к речке, в картофельные поля. Жаворонок видел, как они бегают там между длинными высокими грядками, как в узких улочках. Видел, как подросшая молодежь учится летать. По команде Подковкина все стадо сразу взлетало и мчалось вперед. Раздавалась новая команда — все стадо круто поворачивало в воздухе, летело назад, потом вдруг переставало махать крылышками и плавно спускалось в кусты или картошку.

Круто повернуть назад на всем лету — это считалось у куропаток самым трудным делом.

Как-то рано утром Жаворонок летел в своей стае над деревней. Из крайней избы вышел Охотник.

Жаворонок забеспокоился, отделился от стаи и спустился пониже.

Охотник громко говорил сам с собой:

— Ну, вот и пятнадцатое сентября. Сегодня — открытие охоты на серых куропаток. Выходит, надо идти в поля.

Рыжий Сигнал радовался, что идет на охоту. Он плясал перед хозяином на задних лапах, махал хвостом и громко лаял.

Жаворонку нельзя было терять из виду свою стаю. Грустный, полетел он догонять ее.

Он подумал: «Когда теперь увижу Подковкиных, уж не будет у них такого стада. Половину перебьет Охотник».

Думы о друзьях не давали ему покоя.

Стая залетела высоко вверх и снова спустилась. Улетела далеко за лес, сделала большой круг и к вечеру вернулась в родные поля.

Наскоро проглотив несколько червячков, Жаворонок полетел к речке, в картофельное поле.

В картофельном поле трактор плугами выпаживал клубни из земли — изрыл все поле. Колхозники и колхозницы собирали картошку в большие мешки и грузили их в машины. Машины отвозили картошку в деревню.

По сторонам поля горели костры. Вымазанные углем ребятишки пекли в золе картошины и тут же ели их, посыпав солью. А некоторые копали в песчаных берегах канав настоящие печи-духовки и в них пекли картошки.

Подковкиных в картофельном поле не было. С того берега речки к этому плыл в лодке Охотник. Рядом с ним сидел Сигнал.

Охотник пристал, вытащил лодку на берег и сел отдыхать.

Жаворонок подлетел к нему и услышал, как Охотник рассуждал сам с собой.

— Измучили!.. — говорил он. — Что я им, нанялся сто раз с берега на берег ездить? Нет, шалишь! Гоняйся за ними, кому охота. А мы лучше другое стадо поищем, попроще которое. Правильно я говорю, Сигналушка?

Рыжий Пес завилял хвостом.

Солнце уже садилось. Охотник устало побрел к деревне.

Жаворонок видел, что у него ни дичинки, и понял, что Подковкины как-то сумели перехитрить Охотника.

«Где же они?» — подумал Жаворонок.

И словно в ответ ему, с того берега слышался голос самого Подковкина:

— Червяк! Червяк! Червяк!

И с разных сторон ему отозвались тоненькие голоса:

— Чичире! Чичире! Чичире! Чичире!

Это откликались разлетевшиеся во все стороны молодые куропатки.

Через минуту Жаворонок был среди них, и Подковкин рассказывал ему, как Оранжевое Горлышко обманула Охотника.

— Говорил я тебе, что умней Оранжевого Горлышка нигде курочки не сыщешь! Ведь что придумала! Выходит Охотник из дому, а она уж знает.

— Как же она может это знать? — спросил Жаворонок. Ведь из кустов не видно.

— А очень просто: когда Охотник выходит на охоту, его Рыжий Пес лает?

— Сигнал-то? Верно, лает!

— Да как еще громко! Вот Оранжевое Горлышко услышала и, ни слова не говоря, марш-марш за реку! Мы, конечно, все за ней.

— Через реку? Вот это ловко!

— Ищет, ищет нас Рыжий Пес на этой стороне: следы наши чует, — а нас нет! Ну, Охотник, тот хитрей, скоро догадался, где мы спрятались. Достал лодку, переехал на этот берег.

— Понимаю, понимаю! — обрадовался Жаворонок. — Он туда, а вы сюда; он сюда, а вы туда! Он ездил, ездил, да и говорит:

«Измучили совсем! Лучше я за другими куропатками пойду, которые не такие хитрые».

— Ну да, — сказал Подковкин. — Ему на лодке долго переезжать, а мы — порх! — и на том берегу!

Солнце уже зашло, а друзья еще долго не могли расстаться: все радовались, как ловко Оранжевое Горлышко сумела провести Охотника.

КАК ЖАВОРОНОК ПРОСТИЛСЯ С ДРУЗЬЯМИ И О ЧЕМ ОН ПЕЛ, ПОКИДАЯ РОДИНУ

Давно вспахали трактористы пустые поля, и колхозники опять посеяли рожь и пшеницу.

Высоко в небе, то собираясь углом, то растягиваясь вожжой, летели стаи диких гусей.

Поля опустели. Взрыхленные мокрые пашни чернели там, где летом шумела высокая рожь.

Но там, где не было ржи, уже взошли и весело блестели шелковые зеленя.

Все многочисленное семейство Подковкиных кормилось теперь сладкой травкой зеленой. Ночевали Подковкины в кустах.

Ветродуи-листодеры срывали последние листья с кустов и деревьев.

Настала пора Жаворонку улетать в далекие теплые страны. И он отыскал Подковкиных в зеленях, чтобы проститься с ними.

Целое стадо, целое Большое Стадо полевых петушков и курочек с веселым криком окружило его. В стаде было сто или, может быть, тысяча куропаток. Не сразу отыскал Жаворонок среди них Оранжевое Горлышко и Подковкина: все молодые куропаточки стали уже ростом с родителей, все были нарядно одеты. У всех на груди были подковки вкусного шоколадного цвета. У всех щеки и горлышки стали оранжевые, бровки красные, грудки голубые, хвостики рыжие. И только приглядевшись, Жаворонок рассмотрел, что у молодых куропаточек ножки зеленоватые, а у взрослых — желтоватые.

— Что я тебе говорил! — закричал Подковкин, подбегая к Жаворонку. — Вот собирается Большое Стадо, и кто же в нем старшая курочка? Конечно, Оранжевое Горлышко!

Но Оранжевое Горлышко сейчас же перебила его. Она спросила:

— Вы улетаете от нас в далекие края? Ах, как там, верно, красиво, как тепло, хорошо!

Жаворонок грустно покачал головой:

— Не очень-то хорошо. Тепло там, это верно. Но никто из нас, певчих перелетных, не вздумает там петь, никто там не завьет гнездышка, не выведет птенчиков. И страшно там!

— Почему же страшно? — удивилась Оранжевое Горлышко.

— Там, в тех чужих краях, даже нас, жаворонков, считают дичью. Там охотятся за нами с собаками и ружьями. Там ловят нас сетями. Там жарят нас на сковородках, — много-много надо жаворонков на одну сковородку. Нас жарят на сковородках и едят!

— Ах, какой ужас! — в одно слово вскрикнули Оранжевое Горлышко и Подковкин. — Так оставайтесь тут зимовать.

— И рад бы, да ведь тут снег, холод. Все червячки и гусеницы попрячутся. Я вам удивляюсь: что вы едите тут зимой?

— А очень просто, — ответил Подковкин. — Видишь, сколько зеленей посеяли для нас колхозники? На сто зим хватит нам еды.

— Да ведь зелены скоро покроет снег!

— А мы его лапками, лапками! За кустиками, в заветерках такие местечки есть — всю зиму там снегу чуть-чуть. Лапками поскребешь-поскребешь, смотришь, — зеленая травка!

— А говорят, — спросил Жаворонок, — зимой бывает страшная гололедица и весь снег покрывается ледком?

— А тогда, — сказала Оранжевое Горлышко, — нам поможет Охотник. Охотничий закон запрещает стрелять и ловить нас зимой. Охотник знает, что мы можем погибнуть в гололедицу. Он будет ставить на снегу шалашики из елочек, а в шалашики сыпать для нас зерно — ячмень да овес.

— Хорошо тут! — сказал Жаворонок. — Ах, как хорошо у нас на родине! Скорей бы весна — и я опять вернусь сюда. Ну, до свиданья!

— До свиданья! — сказала Оранжевое Горлышко.

— До свиданья! — сказал Подковкин.

— До свиданья! — закричали все старые и молодые петушки и курочки на сто, на тысячу голосов сразу.

И Жаворонок полетел к своей стае.

Было еще утро, но тяжелая серая туча скрывала небо, и все казалось серым и скучным на земле.

Неожиданно из-за тучи выглянуло солнце. Сразу стало светло и весело, как весной.

И Жаворонок начал подниматься выше и выше и вдруг — сам не знал как — запел!

Он пел про то, как хорошо в его родных полях. Пел про то, как люди сеяли хлеб, а в хлебах жили, выводили детей и прятались от врагов разные птицы и звери. Пел про то, как прилетела в поля злая Ястребиха, убила сразу петушка и курочку, как остались после них сиротами крошки-поршки; как пришла другая курочка и не дала погибнуть чужим малым деткам. Пел про то, как будет зимой водить Большое Стадо мудрая полевая курочка Оранжевое Горлышко, а Охотник будет ставить на снегу шалашики и сыпать в них зерно, чтобы было что поклевать куропаткам в лютый

мороз. Пел про то, как он снова прилетит в родные поля и звонкой песней расскажет всем, что началась весна.

А внизу, на земле, останавливались удивленные люди.

Им было так странно и так приятно, что вот осень, а Жаворонок опять запел.

Люди запрокидывали голову и, прикрыв глаза от солнца, напрасно старались разглядеть в небе маленького певца: там, в высоте, вились и сверкали крошечные белые звездочки-снежинки и, долетев до земли, таяли.

ИЗ ЦИКЛА «МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ»

МУЗЫКАНТ

Старый медвежатник сидел на завалинке и пиликал на скрипке. Он очень любил музыку и старался сам научиться играть. Плохо у него выходило, но старик и тем был доволен, что у него своя музыка. Мимо проходил знакомый колхозник и говорит старику:

— Брось-ка ты свою скрипку-то, берись за ружье. Из ружья у тебя лучше выходит. Я сейчас медведя видел в лесу.

Старик отложил скрипку, расспросил колхозника, где он видел медведя. Взял ружье и пошел в лес. В лесу старик долго искал медведя, но не нашел даже и следа его.

Устал старик и присел на пенек отдохнуть.

Тихо-тихо было в лесу. Ни сучок нигде не треснет, ни птица голосу не подаст. Вдруг старик услышал: «Дзенн!..» Красивый такой звук, как струна пропела.

Немного погодя опять: «Дзенн!..»

Старик удивился: «Кто же это в лесу на струне играет?»

А из лесу опять: «Дзенн!..» — да так звонко, ласково.

Старик встал с пенька и осторожно пошел туда, откуда слышался звук. Звук слышался с опушки.

Старик подкрался из-за елочки и видит: на опушке разбитое грозой дерево, из него торчат длинные щепки. А под деревом сидит медведь, схватил одну щепку лапой. Медведь потянул к себе щепку и отпустил ее. Щепка выпрямилась, задрожала, и в воздухе раздалось: «Дзенн!..» — как струна пропела.

Медведь наклонил голову и слушает.

Старик тоже слушает: хорошо поет щепка!

Замолк звук,— медведь опять за свое: оттянул щепку и пустил.

Вечером знакомый колхозник еще раз проходит мимо избы медвежатника. Старик опять сидел на завалинке со скрипкой. Он пальцем дергал одну струну, и струна тихонечко пела: «Дзинн!..»

Колхозник спросил старика:

— Ну что, убил медведя?

— Нет,— ответил старик.



— Что ж так?

— Да как же в него стрелять, когда он такой же музыкант, как и я?

И старик рассказал колхознику, как медведь играл на расщепленном грозой дереве.

ГОЛУБОЙ ЗВЕРЕК

В густом лесу на горé было темно, как под крышей. Но вот вышла луна из-за тучи, и сейчас же засверкали, заблестели снежинки на ветках, на елях, на соснах и засеребрился гладкий ствол старой осины. У вершины ее чернела дыра — дупло.

Вот по снегу мягкими, неслышными прыжками подбежал к сосне темный длинный зверек.

Остановился, понюхал, поднял кверху острую мордочку. Верхняя губа приподнялась, — мелькнули острые, хищные зубы.

Это куница — гроза всех мелких лесных зверей. И вот она, чуть шурша когтями, бежит уже вверх по осине.

Вверху из дупла высунулась усатая круглая головка. Через миг голубой зверек уже бежал по суку, осыпая снег на ходу, и легко прыгнул на ветку соседней сосны.

Но как ни легко прыгнул голубой зверек, ветка качнулась, — куница заметила. Она согнулась в дугу, как натянутый лук, потом выпрямилась — и стрелой перелетела на качавшуюся еще ветку. Куница понеслась вверх по сосне — догонять зверька.

Нет никого в лесу проворней куницы. От нее не уйти даже белке.

Голубой зверек слышит погоню, ему некогда оглянуться назад: надо скорее, скорее спастись. С сосны он прыгнул на ель.

Напрасно зверек хитрит, бежит по другой стороне ели, — куница скачет по пятам. Зверек забежал на самый конец еловой лапы, а куница уже рядом — хватить зубами! Но зверек успел спрыгнуть.

С дерева на дерево неслись голубой зверек с куницей, как две птицы среди густых веток.

Прыгнет голубой зверек, нагнется ветка, а куница за ним, — ни на миг не дает передышки!

И вот уже не хватает у голубого зверька сил, уже слабеют лапки; вот прыгнул и не удержался — падает вниз. Нет, не упал, уцепился по дороге за нижнюю ветку — и вперед, вперед из последних сил.

А куница бежит уже поверху и высматривает с верхних ветвей, как удобнее броситься вниз и схватить.

И вот на миг голубой зверек остановился: лес прервался пропастью.

Куница тоже на всем скаку остановилась над зверьком. И вдруг кинулась вниз.

Прыжок ее был точно рассчитан. Она всеми четырьмя лапами упала на то место, где остановился голубой зверек, но он уже прыгнул прямо в воздух и полетел, — медленно, плавно полетел по воздуху над пропастью, как во сне. Но все было наяву, при яркой луне.

Это была полетуха, летяга — летучая белка: у нее между передними и задними лапками натянулась свободная кожа, которая парашютиком держала ее в воздухе.

Куница не прыгнула вслед: она не может летать, она упала бы в пропасть.

Летяга повернула хвост и, красиво закруглив полет, спустилась на елку по ту сторону пропасти.

Куница щелкнула зубами со злости и стала спускаться с дерева.

Голубой зверек ускользнул.

ПЕРЫШКО

Художник пошел с товарищами в лес на охоту. Он стрелял хорошо. А на охоте раньше никогда не бывал и не видел, как вспыхивает в зелени деревьев рыжее-рыжее перо лесного кулика — вальдшнепа.

Вальдшнеп выпорхнул у него из-под ног. Художник выстрелил, и убитая птица упала.

Художник поднял вальдшнепа и стал любоваться его красивым оперением. Глаз от него оторвать не мог. Каждое перышко его восхищало.

И захотелось художнику написать картину в красках: летит вальдшнеп среди леса.

Так вдруг захотелось, что бросил он товарищей и скорей пошел домой.

Дома художник сейчас же принялся писать картину. Лес у него вышел скоро и хорошо. А вальдшнеп не выходил. Художнику хотелось написать красками все тоненькие-тоненькие черточки на перьях лесного кулика. Но кисти были для этого слишком толсты. И он с досады даже поломал несколько хороших кисточек.

Потом, чтобы успокоиться, он стал внимательно разглядывать вальдшнепа.

И тут он заметил, что в крыле у этой птицы, у самого сгиба, есть одно очень твердое и очень тоненькое перышко. Художник вырвал это перышко и вставил его в письменную ручку.

Получилась тоненькая, упругая кисточка — как раз такая,

какой недоставало художнику. Он взял ее и расписал на своей картине перья вальдшнепа так тонко, что потом все удивлялись: «Как он это сделал?»

КАК МУХА МЕДВЕДЯ ОТ СМЕРТИ СПАСЛА

Повадился медведь на овсы. Каждую ночь приходит, да не столько съест овса, сколько помнет его и потопчет. Чистое разоренье колхозу!

Колхозник к охотнику:

— Так и так, Сысой Сысоич, выручай.

Сысой Сысоич — охотник старый, заправский. Он взялся за дело умело.

Овсы были в лесу. Сысой Сысоич выбрал опушку и сделал себе лабáz: несколько жердинок на ветки положил, на чем сидеть. Днем ружье почистил, ствол смазал маслом: чтобы блестел под луной, видней было бы стрелять. И еще с вечера засел в засаду — на лабаз.

Отлично. Сидит на дереве, ждет.

Вот смерклось. Пошли по лесу шелесты, шорохи, шепоты. Все кажется: вот идет медведь, — тут сучком треснул, тут в овсе зашелестел... А темно, ничего не видать.

Наконец взошла луна. Овсяное поле сразу заблестело серебряным озером. И видит Сысой Сысоич: вот он, медведь! Прямо под ним лежит, колосья лапами загребает и запихивает себе в пасть. Сладкое овсяное молочко сосет, чавкает от удовольствия — так вкусно!

Вот ладно.

Сысой Сысоич тихонько поднимает ружье и наводит его на зверя. И уж совсем было нацелился, — вдруг летит что-то большое, черное — прямо Сысой Сысоичу в глаза!

И село на ружье.

Тут Сысой Сысоич понял: это муха.

Маленькая она, муха-то, а села перед самым носом и кажется большущей, как слон. Заслонила собой медведя от Сысой Сысоича. Вот уж это неладно.

Сысой Сысоич на нее тихонько:

— Кышш!

Сидит муха.

— Ффф! — дунул на нее.

Муха сидит.

— Фффы! — дунул покрепче.

Муху снесло. Но только Сысой Сысоич стал целиться, муха опять тут как тут.

Вот уж совсем неладно.

Сысой Сысоич еще крепче дунул:

— Ффыф!

Слетела и опять села на ствол. Такая упрямая, никак не прогонишь. Ух, как рассердился Сысой Сысоич!

Вот уж это совсем из рук вон плохо.

Сысой Сысоич передвинулся вперед сколько мог на своем лабазе, занес над мухой кулак... да как треснет по ружью!

Трах, бах, треск и гром! Ружье стреляет, жердинки под Сысой Сысоичем ломаются, Сысой Сысоич летит с дерева — прямо к медведю!

Бедный зверь спокойно сосал вкусное овсяное молочко и совсем не ожидал такого нападения.

Он так перепугался, что вскочил и, даже не взглянув, кто это кинулся на него с неба, — сломя голову в лес.

Сысой Сысоич не очень расшибся и скоро поправился. Медведь больше на овсы не приходил. А муха, которая спасла медведя от верной смерти, неизвестно куда делась.

ИЗ ЦИКЛА «МОЙ ХИТРЫЙ СЫНИШКА»

ПЛАВУНЧИК

Преудивительная у нас водится птичка. Называется — плавунчик.

Где бы вы ни жили летом — на Волге, на Кавказе или в жарких степях Казахстана, под Ленинградом, под Москвой или на Камчатке, — всюду вы можете этих птичек встретить. И всегда неожиданно. А завтра придете туда, где их видели, — их уж нет.

Ищите их на море, в озере, на реке, в пруду. Даже если около вашего дома есть просто большая яма — и тут вам могут попасться на глаза плавунчики. Была бы в яме вода.

Птички эти из куликов. Кулики — стройные такие птицы, на очень длинных ногах и с очень длинным носом. Живут больше по болотам, по берегам рек, озер. Но они не плавают, не ныряют: только бегают у воды по берегу и кланяются, кланяются носом до земли. Носом они достают себе еду в тине, в иле, под камешками или в траве.

Кулики-то плавунчики — кулики, да у них, как говорит мой сынишка, все шиворот-навыворот. Носик у них не такой уж длинный, ножки тоже. И редко увидишь их на берегу: они все плавают.

Спросите, на кого плавунчики похожи? Как их узнать, если встретишь?

Узнать их очень легко. Ростом плавунчики примерно со скворца. Похожи они на те нарядные цветные поплавки, что покупают молодые удильщики в городских магазинах. Особенно похожи, когда сидят на воде: сидят и танцуют на волнах, как поплавки. Сами белые, и серые, и красноватенькие — пестро расписаны.

И всегда их целая стайка. Народ они очень дружный. Одиночку редко-редко встретишь. Они все в компании.

Сынишка мой, когда в прошлом году в первый раз их увидел, очень удивился. Пришел домой и говорит:

— Что за птиц таких я видел, — просто не пойму! Идешь — все птицы от тебя удирают, разлетаются. А эти и не думают. Плавают у самого берега. Я подхожу — они не только не улетают,

даже отплыть подальше не хотят. Кувыркаются головой под воду, как маленькие уточки. Ни минуты не посидят спокойно: кружат жуками на воде. А то в чехарду начнут играть: прыгают друг через друга, перепархивают — и опять на воду садятся.

Жили мы прошлый год в деревне на Урале. Домик наш стоял на самом берегу реки Камы. И все лето стайки плавунчиков плавали у нас перед глазами, — прямо из окошек видно. Сегодня плавает стайка, а завтра исчезнет. Пройдет два-три дня, другая стайка появится. И так все лето.

Сынишка мой говорит:

— Вот бездельники! Другие птицы — все на гнездах, птенцов выводят. А эти ничего не делают, только в чехарду на воде играют все лето. Наверно, это петушки: красивенькие такие, яркие. У всех птиц самцы красивей самок. Наш Петька вон какой франт, а курочки — серенькие.

Я ему объяснил, что он ошибается. У плавунчиков как раз наоборот: петушки серенькие, а курочки франтихи, ярко одеты. Далеко на севере, в тундре, весной курочки снесут в гнезда яйца — и до свидания! Улетают. Петушки одни на гнездах сидят, детей выводят, потом учат их, как жить. А курочки-франтихи все лето по всей нашей стране летают, путешествуют себе с места на место.

Сынишка мой говорит:

— Это просто какие-то птички шиворот-навыворот! А все-таки я их шибко залюбил, потому что они меня не боятся. Будто знают, что я их не трону и плохого им не сделаю. Хорошие они.

— Очень хорошие, — согласился я.

И вот раз утром прибегает мой сынишка домой с Камы. Он рыбу ходил удить на реку.

Прибегает и говорит:

— Смотрите, кого я принес.

Лезет себе за пазуху, вынимает оттуда живого плавунчика и пускает его на пол.

— Я, — говорит, — сидел на берегу с удочкой. Вдруг две вороны летят. Кричат, каркают. А впереди них, смотрю, какая-то маленькая птичка мчится. Вороны ее ловят, схватить хотят. Она из стороны в сторону бросается, кричит.

Увидела меня — и прямо ко мне. Примчалась — и в ноги мне. И сидит.

«Туик!» — говорит. Я сразу понял: «Защити меня», — просит.

Ну, я на ворон удочкой замахал, закричал. Они покружились, видят — со мной не справиться, и отлетели.

Я нагнулся, взял плавунчика в руки. Он и не думает улетать. Я удочку смотал — домой с ним. Вот он, — видите какой.

Плавунчик ходит себе по избе, нас ничуть не боится.

Думали мы, думали, — что с ним делать? Конечно, такая

милая птичка — радость в доме. Но чем ее кормить? И ведь ей плавать надо. Держать дома трудно.

Решили выпустить.

В деревне-то, конечно, нельзя выпускать: тут кошки, собаки и те две вороны. Решили плавунчика отнести подальше.

Сынишка наклонился, взял его в руки.

Он ничего, — пожалуйста! Точно век с людьми в избе жил.

Пошли мы с сынишкой за околицу, через поле, в лес. В лесу, среди вырубки, знал я такую большую яму с водой. Тины там, корму всякого птичьего много было. Днем туда разные кулики прилетали — покормиться, а на ночь — утки.

На этой яме мой сынишка и выпустил плавунчика.

Плавунчик порхнул на воду, пискнул нам два раза — туик, уик! — вроде, значит, «спасибо» сказал, «до свиданья» — и как ни в чем не бывало принялся жуком кружить по воде, пить и есть.

Долго мы стояли с сынишкой, любовались им. Наконец я говорю:

— Ну, пойдем. Мама давно уж, верно, нас с обедом ждет. А плавунчик забудет нас, улетит отсюда на Каму — к своей стайке. Птица вольная, — ей так хорошо.

Ушли мы. Но я ошибся: плавунчик не улетел и не забыл нас.

Через два дня пришли мы с сынишкой на эту яму: уток я хотел настрелять. Спрятались в елúшках на берегу.

Уж солнце за лес село. Тут вдруг что-то мелькнуло у нас над головой — и видим: плавунчик наш на воду садится!

Я высунулся из елушек, машу на него рукой:

— Кыш, кыш, улетай отсюда скорей!

А он посмотрел на меня — туик! — пискнул, вроде «здравствуй» сказал, и плывет к нам. Подплыл и у наших ног кувыр-кается, тинку со дна носом достает — закусывает.

Сынишка говорит:

— Пойдем-ка, пап, домой лучше. А то еще ты моего плавунчика вместо утки подстрелишь, как стемнеет.

Так и ушли, ни разу не выстрелив.

И больше уж не пришлось мне на этой яме охотиться: плавунчик наш привычку взял каждый вечер сюда прилетать. Плавает среди уток, кружит по воде, — ну, как тут стрелять: дробь разлетится, — ненароком и его заденет.

Пришла пора — с севера, из тундры, прилетели стайки сереньких плавунчиков: петушки со своими воспитанниками — молодыми.

Поплавали немножко на Каме все вместе — с франтихами-самочками. И исчезли.

Это они в свое осеннее путешествие отправились — на зимовки. А зимовки у них в далеких жарких странах — в Индии, в Индо-Китае и еще дальше.

Улетел с ними и наш плавунчик.

Но весной он опять прилетит.

И, пожалуйста, ребята, если где встретите его или других пла-
вунчиков,— не трогайте их, не пугайте! Они ведь совсем без-
защитные и, главное, очень уж верят людям.

А ведь так приятно, так хорошо на душе становится, когда
в тебя крепко верят и ждут от тебя только хорошего.

Особенно когда так в тебя верит беззащитное маленькое суще-
ство.

Пусть хоть птичка.

ЛУПЛЕННЫЙ БОЧОК

Думаете, все зайцы одинаковые, все трусы? Нет, зайцы тоже
разные бывают. Спросите вот моего сынишку, какого мы раз
поймали скандалиста.

Мы были на охоте в лесу. Втроем: сынишка, я и Джим.
Джим — это собачка наша. Коротконожка, уши до земли, хвостик
куцый. Замечательная охотничья собачка, хоть и старенькая:
всякую дичь разыщет, на крыло поднимет, а подстреленную
поймает, схватит и осторожно, не помяв ни перышка, подаст
прямо в руки. Необыкновенно умный и добрый у нас Джим.
С другими собаками не дерется, никого никогда не кусает, всем
знакомым людям при встрече хвостиком часто-часто машет и,
знаете, так по-собачьи, приветливо улыбается.

На охоте мы были сухой осенью,— уже лист с деревьев падал,
а дождей больших еще не было. В это время охотиться в лесу всего
трудней: высохший лист гремит под ногами, дичь тебя далеко
слышит и видит сквозь поредевший кустарник и, не допустив,
улетает.

Вдруг слышу — Джим залаял, залаял в кустах — и вдруг
замолк.

«На кого это он?» — думаю. И приготовился стрелять.

Но оттуда, из кустов, никто не вылетел.

А сынишка уже там — и кричит мне из кустов:

— Папа, папа, беги скорей! Кого Джим-то в плен взял!

Я — к ним. И вижу: Джим лежит врастяжку на земле, а перед-
ними лапами зайчонка прижал к листьям, держит его. Зайчонок
верещит отчаянно, Джим хвостиком часто-часто виляет, а сыниш-
ка мой стоит над ними — и не знает, что ему делать.

Я подошел, взял зайчонка у Джима. Держу зайчонка двумя
пальцами за шиворот,— он еще пуше верещит, лапками от меня
отбивается.

Сынишка говорит:

— Это он на тебя сердится. Кричит: «Как ты смеешь меня —
такого маленького — обижать!»

И вправду похоже было, что зайчонок что-то эдакое кричал.

А Джим на задние лапы встал, передними мне в колени уперся и лижет зайчонка: успокаивает его, — что, значит, не бойся, не таковские мы, ничего плохого тебе не сделаем.

Тут вдруг сынишка говорит:

— Смотри, папа, у него левый бочок лупленный.

Смотрю: на левом боку у зайчонка плешинка. Шерсть содрана, голая кожа — с пятак кружок.

— Эге! — говорю. — Да ведь это мне знакомый зайчишка! Он у дяди Сережи сбежал. Полезай-ка, дружок, в карман.

Осторожно его под пузечко перехватил и сунул в свою охотничью куртку, в спинной карман. Такой у меня карман есть в куртке: во всю спину, а по бокам — пуговицы. Очень удобно в нем стреляную дичь носить и всякую всячину, что, бывает, на охоте попадается.

Зайчонку там темно, тепло, — он и притих.

И сразу мы домой пошли.

По дороге мне пришлось, конечно, все подробно рассказать сынишке, откуда я этого зайчонка знаю и отчего у него бочок лупленный.

Дядя Сережа — приятель мой, тоже охотник, живет на краю деревни, у самого леса. Зайчонка он поймал недели три назад — совсем еще крошкой — у себя в саду под кустом смородины. Этот зайчонок из листопадничков. У зайчих первые зайчата рождаются весной, когда еще снег корочкой — наст. И называются они *настоличками*. А последние в году рождаются осенью, когда уже лист с деревьев начинает падать. Их охотники так и зовут — *листопадничками*.

Дядя Сережа очень этому зайчонку обрадовался. Вот почему: у него, у дяди Сережи, не так давно оценилась дворовая собака по кличке Клеопарда. Щенят всех он еще раньше знакомым своим обещал. А как их у матери отнимешь? И без того злющая Клеопарда — совсем с ума сойдет, на всех начнет кидаться. Дядя Сережа и придумал зайчонка ей вместо щенят подложить, чтобы не скучала, не лютовала. Так и сделал.

Щенята в ящике сидели. Он их оттуда взял, когда матери не было, а на их место зайчонка положил.

Клеопарда пришла — щенят нет, а сидит в ящике малая зверюшка и ее собачьим запахом пахнет: в ящике-то все с ее запахом.

Она и не тронула зайчонка, своим признала. Утешилась им. Кости ему стала таскать, лучшие куски мяса. От такой пищи зайчонок живо бы ножки протянул, да дядя Сережа кормил его молоком и капустой. Так и не научила Клеопарда своего приемыша кости глотать и мясо есть — ее собачью пищу. Зато научила своей собачьей храбрости.

Клеопарда была отличным сторожем и к хозяйскому дому никого не допускала — ни чужого человека, ни собак. С таким злоб-

ным видом вылетала им навстречу, что редкая собака не подожмет хвоста и не пустится наутек, не дожидаясь, пока эта серая злюка сшибет с ног. Ростом она была с волчицу.

Зайчонок вырослел быстро. Зайчихи своих детей и двух недель не кормят. По-заячьему, двухнедельный зайчонок уже «большим» считается и должен сам себе разные вкусные травки разыскивать и прятаться от собак.

Этот зайчонок, хоть еще махонький, живо из ящика выскочил и бегал по всему двору за своей названной матерью. И во всем ей, как обезьянка, подражал. Клеопарда с места — и он за ней. Она на собаку — и он тоже. Она куснет — и он старается куснуть собаку. А зубы у него передние — видели зайцев? — длинные, острые, ветки перегрызают. Как куснет, — из собаки шерсть летит! Собаке не до него: только бы от Клеопарды отбиться. Он, зайчонок, и потерял всякий страх перед собаками. Как где увидит, так и несется навстречу — кусаться. Храбрый волчонка стал. Соседские собаки все его боялись.

Да вот раз забрел на двор к дяде Сереже какой-то дальний щенок, который ни Клеопарды не знал, ни храброго ее сынишку.

Клеопарды тут не случилось поблизости, а зайчонок ее, напившись молочка, спал на сене под ящиком.

Щенок подбежал к ящику, — зайчишка. И кинулся на него.

Собака, конечно, не то что заяц. Если по-заячьи двухнедельный зайчонок уже «большим» считается, то у трехнедельной собачонки еще только глаза прорезаются. Она и в три месяца считается щенком.

Этому щенку месяца четыре уже стукнуло от роду, и он был еще совсем глупый. Очень хотелось ему зайца поймать. А как за дело взяться толком, он не знал — не приходилось ему еще на охоте бывать.

Он прыгнул на зайчонка и хватить его зубами за бочок! Надо бы за шиворот или еще как, а он за бок.

Ну, конечно, шерсти клоч выдрал порядочный, плешинку на боку сделал, — а удержать не мог. Зайчонок как вскочит, как махнет с перепугу через ящик — только его щенок и видел! А тут еще Клеопарда прибежала, — пришлось щенку поскорей убираться со двора подобру-поздорову.

Клеопарда своему зайчонку рану зализала. Известно ведь: собачий язык — лучше всякого лекарства, и раны залечивает превосходно. Но зайчонок после этого случая жить на дворе у дяди Сережи больше не захотел. Ночью пролез сквозь забор — и в лес.

Да вот трех дней не прошло, Джим наш его в лесу поймал.

Сынишка рассказ мой выслушал и губы надул, чуть не плачет.

— Ну, вот, — говорит. — Ты его, значит, дяде Сереже несешь. А я думал, он у нас поживет...

— Что ж,— говорю.— Сегодня-то уж, конечно, у нас переночует, а завтра сходим к дяде Сереже, попросим. Если ему не надо, может, и уступит нам.

Мы пришли домой, и я выпустил зайчонка на пол.

Он сразу в угол под лавку — и спрятался там.

Сынишка налил ему блюдечко молока, зовет его:

— Лупленный Бочок, Лупленный Бочок, иди молочко пить. Сладкое!

Зайчонок не выходит.

Сынишка полез за ним под лавку, схватил его за шиворот, вытащил. Зайчонок верещит, задними лапами дрыгает.

— Глупенький, мы же люди,— объясняет ему сынишка,— мы тебя не обидим.

А зайчонок изловчился — и цоп его зубами за палец! Так куснул, что даже кровь пошла.

Сынишка вскрикнул, выпустил его.

Зайчонок опять под лавку.

Тут наш котенок — у нас еще котенок тогда был, ростом поменьше зайчонка — подбежал к блюдечку и начал лакать из него молоко.

Лупленный Бочок как выскочит, как кинется на него, как куснет!

Котенок птицей от него на печку взвился!

Сынишка сквозь слезы улыбается:

— Вот так заяц!

Мы поужинали, и Джим первый улегся спать на свое место — у него свой матрасик в углу. Джим очень устал — ведь целый день по лесу бегал, дичь искал старичок.

Смотрим, Лупленный Бочок к нему ковыляет. Сел на задние лапы, а передними вдруг как забарабанит по Джиму!

Джим вскочил и, ворча и оборачиваясь, ушел под лавку: не драться же с маленьким,— да все-таки обидно свою постель такому уступать!..

А Лупленный Бочок преспокойно себе улегся на его матрасике.

Переспали мы ночь. Утром встаем,— Джим так и спит под лавкой на голом полу, а котенок все на печке сидит, слезать боится.

Я сынишку спрашиваю:

— Ну, что ж, пойдем к дяде Сереже зайчонка себе просить?

Сынишка посмотрел на котенка, на Джима, на свой завязанный палец и говорит:

— Знаешь что? Пойдем лучше отнесем зайчонка дяде Сереже насовсем.

Так мы и сделали. Ну как, в самом деле, такого скандалиста дома держать! Со всеми дерется. Уж на что добряк Джим — и с ним не ужился.

Отнесли мы зайчонка дяде Сереже, а он говорит:

— Мне тоже такого не надо. Тащите его, откуда взяли.
Пришлось в лес нести.
Там выпустили.
Зайчонок прыг-прыг — и в кусты.
Даже «до свиданья» не сказал.
Вот какие зайцы бывают.

БЕШЕНЫЙ БЕЛЬЧОНОК

Мы с сынишкой собрались в лес по грибы. И только свернули тропой с проселочной дороги, — навстречу нам из лесу собака Клеопарда. Злющая — чистый волк.

Сынишка был впереди меня. Он хотел кинуться назад, ко мне, но я успел крикнуть ему:

— Только не беги! Иди, как шел.

Ускорив шаг, я поравнялся с сынишкой и взял его за руку. Ни ружья, ни палок у нас с собой не было: одни простые корзинки. Обороняться было нечем.

А Клеопарда была уже в нескольких шагах от нас. Или мы ей дорогу должны были уступить, или она нам: тропа была узкая, а по сторонам — грязь.

— Вперед без страха и сомненья! — произнес я как можно веселее, крепко сжимая руку сынишки.

Клеопарда остановилась и молча оскалила зубы. Миг был решительный.

Я еще тверже шагнул — раз, два, три...

Свирепое животное вдруг прыгнуло в сторону и, увязая в глубокой грязи, пошло мимо нас стороной.

Я отпустил руку сынишки.

— Видишь? А ты хотел бежать.

— Ух, страшно!

— Убегать еще страшней.

Но тут мы дошли до леса и скоро забыли это приключение.

Вчера целый день лил дождь. Грибов было много. Сперва мы брали всякие — и красные, и подберезовики, и маслята. Но глубже в лесу, на гривках под елями и соснами, начались белые. Тут мы на другие грибы и смотреть не стали.

Лес весь сверкал, переливался разноцветными веселыми звездочками, каждый листок, каждая травинка и мшинка блестела, улыбалась капельными глазками — солнце еще только поднималось над деревьями и не успело высушить вчерашнего дождя. Все кусты и елочки были в паутинках, и каждая паутинка была унижена крошечными водяными жемчужинами. Мы, конечно, сразу промочили и штаны и рубахи, но все равно становились на колени, раскапывали руками мокрый мох и вытаскивали из-под

него маленьких крепышей с темной шапочкой на пузатенькой ножке — настоящих боровичков. Потом спешили дальше — искать новое гнездо грибов.

Мы так увлеклись, что и не заметили, как забрались глубоко в лес и очутились на опушке небольшой поляны.

— Стой! — шепотом вдруг сказал сынишка и схватил меня за руку. — Смотри: бельчонок!

Правда: на другой стороне поляны на ветках сосны прыгала молодая белочка с тоненьким еще хвостиком.

Бельчонок спускался с ветки на ветку. Исчез на минутку из глаз и вдруг, смотрим, скачет по земле к березе. Ближе к нам от той опушки стоял куст, и еще ближе — одинокая береза. И рядом с березой открыто рос малоголовый гриб на высокой белой ножке — обабок.

— А! — сказал я тоже шепотом и потянул сынишку за росшие рядом елочки, чтобы не спугнуть бельчонка. — Знаешь, бельчонку, наверно, ужасно хочется попробовать этот гриб, а на землю спуститься страшно: вдруг кто-нибудь увидит и схватит.

— Ага! — согласился сынишка. — Наверно, он очень голодный.

Бельчонок уже прыгал к обабку по земле, смешно подкидывая задом. От опушки до березы было верных шагов пятнадцать. Моих человеческих шагов пятнадцать, а беличьих мелких скачков по земле — не меньше как полсотни.

И вот только бельчонок подскакал к березе, не успел еще и куснуть гриба, — вдруг сбоку из травы откуда ни возьмись — лисица! И на него. Мы так и ахнули.

Но бельчонок вовремя заметил опасность, повернул — и в два скачка очутился на березе.

Он мигом взвился по стволу и притаился под самой макушкой: Весь сжался от страха в комочек. Лисица осталась с носом.

Сынишка хотел захлопать в ладоши, но я ему не дал, шепнул:

— Подожди. Это еще не все. Лисица, я вижу, пожилая, опытная. Она так этого дела не оставит.

Я потому так подумал, что лисица сразу, как бельчонок махнул от нее на дерево, осадил ее всеми четырьмя лапами, стала и потом с самым равнодушным видом повернула прочь от березы — к опушке. Даже не взглянула вверх, на дерево. Будто ее совсем и не интересовал никогда бельчонок, не за ним она кинулась, а так просто.

А у самой глаза блестят, рот до ушей. Мне тут и почудилась какая-то хитрость с ее стороны.

Смотрим, правда: не дошла лисица до опушки, вдруг — шмыг за куст, который между березой той и опушкой стоял. И нет ее.

— Ишь хитрюга! — шепчет сынишка. — В засаду села. Как же теперь бельчонок домой в лес попадет? Ведь ему мимо этого куста бежать.

— Вот в том-то и дело, — шепчу я. — Не миновать ему лисьих зубов... Но... Тс-с!.. Смотри, он что-то придумал.

Чуть заметный среди листвы на белой ветке березы рыжий комочек зашевелился, развернулся — и опять превратился в бельчонок. Вытянув шею и поворачивая голову во все стороны, бельчонок долго осматривался. Но, верно, оттуда, с вершины, ему не было видно лисицы: он осторожно потихоньку стал спускаться с ветки на ветку. Прыгнет — и оглянется. Прыгнет — и тянет шейку, заглядывает вниз.

— Ох, глупый, глупый! — шепчет сынишка. — Сейчас ведь прыгнет на землю. Пойдем скорей, прогоним лисицу!

— Подожди, подожди! — шепчу. — Посмотрим, чем кончится.

В первый раз я своими глазами видел, как лисица охотится за белкой.

Бельчонок тихонько спустился уже до половины березы — и тут вдруг замер на ветке. Да вдруг как затрясется на лапках, как закричит, зацокает!

— Увидел, увидел! — шепчет сынишка.

Сомнений быть не могло: белый кончик рыжей трубы — хвоста лисьего — высунулся из куста, и бельчонок его заметил!

«Эх, лисонька! — подумал я про себя. — Рано победу затрубила! Думала, уж вот он — твой бельчонок! Заиграла хвостом, да и выдала себя».

Кончик лисьего хвоста сейчас же опять исчез за кустом.

Но бельчонок никак не мог успокоиться. Он пронзительно громко ругал коварную лисицу уже не знаю какими своими беличьими словами и весь трясся от негодования.

Потом, когда лисий хвост исчез, замолчал. И вдруг, чего-то ужасного испугавшись, винтом взвился по стволу к себе на спасительную вершину. Может быть, вообразил себе, что лисица сейчас прыгнет за ним из-за своего куста — на полдерева.

— Дело затягивается, — шепчу я сынишке. — Но — терпение: лисица, видимо, решила сидеть в засаде хоть до вечера. А бельчонок, конечно, голодный. На березе ему долго не высиживать: там ему ни шишек, ни орехов. Все равно придется слезать.

Прошло несколько минут. Ни лисица, ни белка не подавали никаких признаков жизни. Сынишка уже начал меня за рукав дергать:

— Прогоним лисицу и пойдем грибы собирать.

Но тут бельчонок опять появился из своего укрытия и прыгнул на одну из тонких верхних веток березы. Это была одна из самых длинных веток дерева, и она, как вытянутая рука, указывала прямо на опушку леса — на ту самую крайнюю сосну, с которой полчаса тому назад спустился бельчонок.

Бельчонок пробежал по ней и, сильно качнув конец ветки, прыгнул.

— Бешеный! — шепотом вскрикнул сынишка. — Он...

Сынишка хотел, конечно, сказать, что бельчонок попадет прямо в пасть лисице.

Но не успел договорить, так быстро все кончилось! Бельчонок, разумеется, не рассчитал: допрыгнуть до опушки с березы он не мог. Самой ловкой белке не перелететь такого расстояния по воздуху — не птица же! Просто, видно, бельчонок с отчаянья прыгнул: будь что будет! И он, конечно, кувырнулся, не пролетев и половины расстояния до сосны.

Надо было видеть, как он летел вниз, растопыбив все четыре лапки и вытянув тонкий хвостик, — прямо в куст, где сидела лисица, прямо на нее!

Но не успел он долететь до куста, как лисица...

Думаете, подскочила и на лету схватила его в зубы?

Нет, лисица опрометью выскочила из куста и сломя голову бросилась наутек через пни и кусты.

Громкий смех сынишки — прямо мне в ухо — чуть не оглушил меня.

А бельчонок, упав на куст, не разбился: ветви спружинили, слегка подкинули его легкое тельце и, опять приняв на себя, мягко опустили его на землю. Бельчонок — скок-скок-скок! — и на сосну. С сосны на осину, с осины еще на какое-то дерево — и скрылся из глаз в лесу.

Сынишка хохотал до слез. И весь лес, казалось, хохотал с ним — все капельные глазки дождя на листьях, на траве и кустах.

— Бешеный! — твердил сынишка сквозь смех и слезы... — Ну, прямо бешеный!.. Как он на лисицу-то! Как она от него!.. И хвост поджала! Вот бешеный бельчонок.

— Ну, — спросил я, когда он прохохотался, — теперь понимаешь, почему я не дал тебе бежать от Клеопарды?

— Знаю, знаю:

Вывод ясен без картин —
Часто, в битвах не робея,
Побеждает трех один.

Уж не знаю, откуда он взял эти стишки! Он у меня набит стихами и выпаливает ими вдруг, как из пушки.

Веселые мы пришли в тот день из лесу.

МЕТЕЛЬКИ, ИЛИ ТЫСЯЧА И ОДИН ДЕНЬ

Слушай сказку подводного мира — сказку о трех чудесах. Но хоть она и сказка, она в то же время и правда. Тут уж ничего не поделаешь: ведь в подводном мире все не так, как у нас на земле. И сказка там — правда.

Вместо легкого воздуха там вода. Небо там плоское. Дождя и снега не бывает. А когда идет град, он не долетает до дна, а останавливается среди воды, поворачивает — и летит назад в небо. И плавает по нему, пока не растает. Небо там тоже водяное.

Подводные жители — разные там рыбы, пиявки, жуки-плавунцы — привыкли к этому и не удивляются.

Но вот случилось чудо.

Лето подходило к концу. День был солнечный-солнечный. Водяное небо все так и сверкало серебром. В хорошую погоду небо там всегда серебряное. И вдруг из него пошел град. Мелкий-мелкий.

Крошечные градинки летели вниз не останавливаясь и — вот чудо! — попали на дно! Лежали на дне — и не таяли.

Все подводные жители очень удивились.

Но скоро градинки занесло песком и тиной. И все о них забыли.

Потом пришла зима. Водяное небо превратилось в лед. И подводный мир заснул. И крепко спал до самой весны.

Весной небо растаяло. Все подводные жители снова зашевелились. Жуки-плавунцы расправили крылья и улетели к нам — в мир солнечный; возвращались назад, когда вздумается. Рыбы, разыгравшись, выскакивали из неба и, блеснув на солнце серебряной чешуей, опять ныряли в воду. Даже пиявки и те, дождавшись, когда придут купаться ребятишки, присасывались им к телу — и так попадали наверх, на землю. И только внизу, на самом дне, копошились какие-то маленькие шестиногие уродцы, никогда не выдавшие яркого солнечного света.

Были они мохнатые, с хвостом, как грязная метелочка. Рыли себе норки в песке и не смели высунуть оттуда носа: того и гляди, схватит какое-нибудь подводное чудище — хищная жучья личин-

ка, страшилище ерш или водяной скорпион. Ели уродцы что попало, вечно были голодны — и росли плохо.

Но плакать они и не думали: смешно было бы плакать под водой! Ведь там и без того мокро.

* * *

Так прошла тысяча дней.

Тысяча дней — это три зимы и три лета. Три долгих года прошло с того дня, как под водой шел чудо-град и крошечные градинки падали на дно. И лето уже опять подходило к концу.

Мохнатые уродцы мало выросли: всего-то с хвостом стали ростом со спичку. И худенькие были, как спичка. И на солнце так ни разу и не взглянули.

И вот пришел день — тихий-тихий, теплый, солнечный-солнечный. Все небо так и сверкало серебром.

И вдруг уродцы все сразу — а было их на дне множество — вылезли из своих норок и всплыли наверх... Все сразу покинули подводный мир, вылезли на берег — на солнышко, на легкий воздух. Но тут их схватили корчи. Все их тельце сжималось, извивалось, выпрямлялось. Шкурки лопались у них на спине, начали слезать с них. И упали на землю, точно уродцы сбросили с себя платье.

И вот, сбросив мохнатые шкурки, уродцы превратились вдруг в таких красавиц, что ни в сказке сказать, ни пером описать: тельце стройное, гладкое, глаза большие, усики тоненькие, на спине сетчатые крылышки, под ними еще крылышки — маленькие, на брюшке оранжевые пятнышки, а хвостик — три тонкие, гибкие ниточки!

И это было второе чудо подводного мира.

Смотри, смотри: метелица
Играет над рекой!
То по кусточкам стелется,
То вьется высоко.
Встает косматой гривой,
Чуть слышно шебаршит —
И вдруг волной игривою
Упала в камыши.
А камыши — зеленые...
Зима ведь не пришла
И снежные, студеные
Ветра не привела.
Ну, значит, это милые
Поденки-метельки
Вспорхнули, легкокрылые,
И пляшут у реки.

* * *

И вот все обрадовались метелькам — и люди, и птицы, и рыбы!

Целый день плясали на воздухе, хороводы водили легкокрылые метельки

вверх-вниз,
вверх-вниз.

И не было у них в этом солнечном мире никаких забот. Хотелось им одно на свете: радоваться солнышку — и плясать!

И не думали они ни о еде, ни о питье. Им ведь и есть-то было нечем: красота их была — без рта!

И плясали они, и хороводы водили воздушные

вверх-вниз,
вверх-вниз,

пока не зашло солнце.

Тогда они все упали в воду — и умерли.

Утром встало солнце, — а берег реки весь, как снегом, усыпан метельками.

Но ты не вздумай над ними плакать. Ведь метельки-поденки и вылетели из подводного мира всего на один день, на свой праздник — поплясать в легком воздухе, порадоваться солнышку. Не было у них никаких забот на земле, не было даже рта, чтобы есть и пить. Были только глаза, чтобы видеть всю красоту солнечного мира, да сетчатые крылышки, да хвостик — три длинные гибкие ниточки.

И когда они спускались к реке, градом сыпали в воду свои крошечные яички, и в подводном мире шел такой же точно чудоград, как тысяча и один день назад. Крошечные градинки упали на дно, их занесло песком и тиной, а весной из них выйдут мохнатые шестиногие уродцы.

Тысячу дней — три зимы и три лета — проведут они на темном дне и ни разу не взглянут на солнце.

Но придет еще один день — солнечный-солнечный, — всплывут уродцы на берег,

сбросят мохнатые шкурки,

обернутся красавицами поденками

и запляшут в воздухе метелицей.

Так сказка станет правдой.

Так радость никогда не переведется на земле.

И это — третье и самое главное чудо.

МИШКА - БАШКА

Из прибрежных кустов высунулась толстая звериная башка, в лохматой шерсти блеснули зеленые глазки.

— Медведь! Медведь идет! — закричали перепуганные ласточки-береговушки, стремительно проносясь над рекой.

Но они ошиблись: это был всего только медвежонок. Еще прошлым летом он вприскокку бегал за матерью-медведицей, а этой весной стал жить сам по себе, своим умом: решил, что он уже большой.

Но стоило ему только выйти из кустов — и всем стало видно, что большая у него только голова — настоящая толстая лохматая медвежья башка, а сам-то он еще маленький — с новорожденного теленка, да смешной такой: на коротких косолапых лапах, хвостиком куцый.

В этот знойный летний день в лесу было душно, парно. Он и вышел на бережок: так приятно тут обдувал свежий ветер.

Мишка уселся на траве, сложил передние лапы на круглом брюшке. Человечком сидел и степенно поглядывал по сторонам.

Но ненадолго хватило у него степенности: он увидел под собой веселую, быструю речку, перекувырнулся через голову и на собственных салазках ловко съехал с крутого бережка. Там стал на четвереньки — и давай лкать прохладную воду. Напился всласть — и вразвалочку, не спеша закосолапил вдоль берега. А зеленые глазенки так и сверкают из шерсти: где бы чего напроказить?

Чем дальше он продвигался, тем выше и круче становился берег. Все громче и тревожнее кричали над ним ласточки. Некоторые из них проносились мимо самого его носа с такой быстротой, что он не успевал разглядеть их, кто такие, и только слышал жужжание их крылышек.

«Ишь их тут сколько! — подумал Мишка, остановившись и поглядев вверх, — что пчел у дупла».

И сразу вспомнил, как прошлым летом мать-медведица подвела его с сестренкой к пчелиному дуплу. Дупло было не очень

высоко, и медвежата почуяли чудесный запах меда. Вперегонки полезли на дерево.

Мишка первый долез и запустил в дупло лапу. А пчелы как загудят, как накинутся на них! Сестренка завизжала и кубарем вниз. А он отведал-таки душистого сладкого меду. И опять засунул в дупло лапу и опять облизал ее.

Но тут одна пчелка больно ужалила его под глаз, а другая — в самый нос. Он, конечно, не заревел, но очень быстро скатился с дерева. Пчелки хоть совсем махонькие, а сердитые; пришлось удирать подальше в лес. А сестренка еще долго хныкала: ей так и не удалось попробовать меду.

Сейчас Мишка с опаской поглядывал на стаю береговушек: он первый раз их видел и не совсем был уверен, птицы ли они. А вдруг они такие большие пчелы?

Ну, так и есть: вон и дупла их — множество черных дырок под самым обрывом! То и дело вылетают из них все новые береговушки и с криком присоединяются к стае. А что кричат, — непонятно. Мишка их языка не знал. Понимал только, что сердятся. А ну как возьмут в работу да начнут жалить? Ой-ой!

А дырок-то, дырок в берегу сколько! И в каждой, наверно, пуд меду. Интересно, — такой же он сладкий, как у тех маленьких лесных пчелок?

Под самой кручей стоял почерневший от старости ольховый пенёк. Недолго думая, Мишка вскарабкался на него. Да нет, где там отсюда достать!

Мишка спустился с пня и полез вверх по круче. Ласточки всей стаей закружились над ним и чуть не оглушили его своим криком. Ну да пусть, лишь бы не жалили!

Ни одна не ужалила. И Мишка стал карабкаться в гору храбрее.

А гора песчаная. Мишка старается, лезет, а песок под ним осыпается. Мишка ворчит, сердится! Наддал со всей силой. Глядь, что такое? Вся круча поехала! И он с ней едет, едет... И приехал как раз на то место, откуда полез в гору...

Сел Мишка и думает: «Как же теперь быть? Этак ввек никуда не влезешь».

Ну, ведь Мишка — башка; живо придумал, как горю пособить. Вскочил — да назад по речке, откуда пришел. Там без труда забрался по траве на невысокий берег — и опять сюда, к обрыву.

Лег на брюхо, заглянул вниз: тут они, ласточкины дупла, прямо под ним! Только лапу протянуть!

Лапу протянул, — нет, не достать!..

А ласточки над ним вьются, пищат, жужжат! Надо скорее. Посунулся осторожно еще вперед, обе лапы тянет, вот уже было совсем достал, да кувырк!

Ах ты, глупая, толстая, тяжелая медвежья башка! Ну, куда такую башку годовалому медвежонку? Ведь перевесила...

Летит Мишка под кручу, через голову кувыркается,— только пыль столбом!

Летит вниз, сам себя не помнит, да все шибче, шибче...

Вдруг — раз! — его кто-то по лбу.

И стоп! Прикатил Мишка. Сидит.

Сидит — качается: очень здорово его по лбу треснули. Чихает сидит: в нос песку набилось.

Одной лапой шишку трет: большущая шишка на лбу выско-чила!

Другой лапой глазенки протирает: полны глаза песку да пыли.

Ничего толком перед собой не видит. Только будто маячит перед ним кто-то высокий, черный...

— А-а-а, так это ты меня по лбу! — заревел Мишка.— Я тебя!

Вскинулся на дыбы, лапы над головой, да — рраз! — со всей силы черному в грудь.

Тот — с ног. И Мишка не удержался: за ним следом. Да оба, обнявшись,— бултых в воду!

А под обрывом-то омут глубокий...

Ушел Мишка в воду весь — и с головой.

Ну, ничего, всплыл все-таки.

Лапами заработал, черного от себя оттолкнул,— черный тоже всплыл. Мишка кое-как лягушкой, лягушкой до того берега.

Выскочил на берег и без оглядки, полным ходом махнул в лес!

Береговушки за ним тучей мчатся. Кричат: «Грабитель! Разоритель! Прогнали, прогнали!»

Мишке и оглянуться некогда: вдруг там за ним еще тот, чер-ный гонится?

А черный в омуте плавает: это пень. Высокий, почерневший от старости ольховый пень.

Никто Мишку по лбу не стучал: сам Мишка на пень налетел, лбом об него треснулся, как с кручи-то летел.

Башка-то у Мишки большая, крепкая, а сам еще маленький.

Многому еще учиться надо без мамы.

ГОГЛЕНОК, ИЛИ ТРИ МИРА

Глава I

Как? Вы не помните, как родились на свет? Вот удивительно! Я так отлично помню!

Я открыл глаза и вижу: темно... И чувствую: сыровато.

Хотел вскочить, — не пускает что-то сверху.

«Вот те раз! — думаю. — Стоило родиться в такой крошечный мир, где еле помещаешься, свернувшись калачиком».

Я рассердился и — тюк! — в стенку носом — тюк!

Стенка-то и проломилась. Сразу целый кусок обломился, и в угловатую дыру хлынул свет. Не яркий, не ослепительный — приятный для глаз свет. Я даже пискнул от радости: сам себе рассвет устроил!

Вдруг что-то надвинулось на меня. Я струсил и — нырк! — обратно в свой маленький тесный мирок. Съежился там, сжался весь, затих — будто меня и нет на свете...

И вдруг ко мне в дыру просунулся нос. Ну просто восхитительный нос: большой, гладкий, с блестящей черной нашлепкой на кончике, вроде ноготка. В общем, такой же, как у меня, только куда больше.

— Мама! — запищал я изо всей силы. Сам не пойму, как это я так сразу узнал ее! И так рванулся к ней, что стенки моего хрупкого мирка рухнули, и я поднялся во весь свой рост со скорлупкой на голове, как в шапочке. Родился-то я, оказывается, в яйце. Мама моя, оказалось, утка, а я — утенок.

— Добро пожаловать! — крикнула мама: голос у нее хриплый. — Ты у меня первенец.

Мир, в котором я теперь очутился, был тоже не очень-то велик и довольно темноват. Он был ограничен круглыми, уходящими вверх стенами, а землей служила ему мягкая труха и целая куча перьев и пуха, в которой лежали еще двенадцать точно таких же серо-зеленого цвета яиц, как то, из которого только что вышел я.

Мама принялась переворачивать их носом и приговаривать:

— Вот еще один... погоди, погоди, сейчас я помогу тебе! Вот еще... Здравствуйте!

Не прошло и часу, как выклюнулись на свет все мои братишки

и сестренки. Когда мы — птенчики — сидим в яйце, у каждого из нас на носу — твердый бугорок: яйцевой зуб называется. Очень удобно рушить им скорлупку. Но как только мы вышли из яйца, мы его потеряли.

Маленький мир, в котором мы родились, стал теперь тесен для нас. Мы перешли в другой мир — тоже не очень просторный. Это был наш дом, наше гнездо внутри дерева. В нем было темновато, от гнезда вверх уходили круглые стены, как в трубе, и где-то вверху было окошко, через которое лил солнечный свет.

Вдруг через окошко донеслись до нас человеческие голоса.

— Эй, Гриша, гляди-ка — тут в осине дупло!

— Верно, — подтвердил другой голос. — Из пустого дупла либо сыч, либо сова. Жаль — высоко очень: метров двенадцать будет. Завтра прихватим с собой когти — посмотрим, кто там.

Мы, утята, хоть и не знали, что к о г т и — это такие железки, при помощи которых люди влезают на столбы и стволы, — но перетрусили отчаянно. Однако мама нас успокоила:

— Люди сказали «завтра». Полезайте ко мне под крылья, обсыхайте там и смажьте свой пушок жирком. А завтра чуть свет мы с вами переселимся в третий, очень просторный мир, где людям нас не поймать и где мы будем жить на воде.

— А что такое — вода? — спросил я.

— Много будешь знать, скоро состаришься, — сказала мама-утка. — Тебе сейчас расти скорее надо, развиваться, а не стариться.

Я удивился:

— А как же я стану развиваться, если не буду узнавать, ума набираться?

На это мама ничего мне не ответила.

Мы все залезли маме под крылышки — и как только она сумела всех нас сразу обнять! — и принялись старательно обсыхать и смазывать пушок жирком. Удивительно, как у нас все ловко устроено! На спине, над хвостиком, у нас, оказывается, такой мягкий бугорок: нажмешь на него носом — выступит капелька жира для смазки перьев. Мама сказала, что перья смазывать жиром уткам необходимо, чтобы не намокать в этой таинственной в о д е, которую мы завтра увидим.

Переночевали мы у мамы под крылышками, а чуть свет — проснулись. Мама забралась вверх по дуплу. На миг в нашем мире стало темно-темно. И вдруг в окошко опять хлынул свет. Но мамы уже не было с нами.

И вдруг откуда-то издалека-издалека донесся до нас ее хриплый голос: «Р-ребя!.. Ребятки!»

Тут мы все запищали и бросились карабкаться на стенки, цеплялись за них коготками и упирались своими крошечными жесткими хвостиками. Первым, конечно, взобрался на окошко я.

Ух! что я из него увидал!

Зелень, зелень, зелень! Кругом зелень и стволы деревьев среди нее. Я даже зажмурился: так ярко блестели листья на солнце! Но сейчас же раскрыл глаза и глянул вниз. Там, далеко-далеко внизу, стояла наша мама-уточка и звала:

— Сюда! Сюда!

Но у нас не было еще крыльев — только крошечные культи-почки! Мы же разобьемся!

Но на окошко уже забрались еще два моих братишки, — и не успел я опомниться, как они толк меня вниз...

Я пискнул от ужаса и кувырк-кувырк полетел в пропасть со страшной высоты!..

Глава II

Братишки столкнули меня со страшной высоты.

Я стремглав полетел в пропасть, но — представьте себе — нисколько не разбился! Ударился о землю, подскочил как мячик, перевернулся через голову — и стал на ножки. Оказывается, у нас, утят, такой густой пух и такие мы легкие, что можем падать с любой высоты, как мячики.

За мной благополучно попадали все мои братишки и сестренки.

— Ну, вот и молодцы! — сказала мама-утка. — Теперь за мной!..

— Это и есть тот мир, в котором мы будем жить? — спросил я.

— Глупенький! Это не мир, а только еще перемирие. Самое опасное место между гнездом и прекрасным утиным миром.

— Плохое место! — пискнул я. — Жесткое! Мне лапам больно...

— Плохой мир лучше доброй ссоры, — наставительно сказала мама.

Я давно уже заметил, что она любит употреблять человеческие поговорки и часто совсем некстати.

— Ни с кем не ссорьтесь, ведите себя хорошо, — продолжала мама и зашагала вперед, переваливаясь с боку на бок. Мы все потянулись гуськом за ней. Я, конечно, первый.

Под ногами у нас были корни, мы путались лапами то во мху, то в высокой траве, наши нежные перепонки между пальцами больно кололи хвоины и острые сучочки. Мама шла не шибко, но мы еле поспевали за ней, спотыкались, падали, вскакивали, опять спешили догонять ее.

Вдруг мама остановилась и шепотом зашипела:

— Прячьтесь! И — ни звука!.. — Сама тоже спряталась в кусте.

Мы затаились в траве. Послышались грубые голоса и стук железа о железо.

По лесу, разговаривая, шли два человека. Они несли страшные большие железные когти.

— Наверняка в дупле чье-нибудь гнездо, — говорил один. — Если с яйцами — яичницу себе сделаем. С птенцами — так жарено.

И оба быстрыми шагами прошли за кусты в ту сторону, откуда мы только что пришли.

— Ищите! Ищите! — прошипела мама, вскакивая на ноги.

Мы опять побежали за ней — и скоро вышли на залитую солнцем поляну с камнем посередине. На камне грелся зеленый зверек, длинный и узкий. Он взглянул на нас, засеменил короткими, кривыми лапками и шмыгнул под камень, вильнув длинным хвостом. Я хотел перепугаться, но мама сказала:

— Это ящерица грелась на солнышке. Она испугалась нас. Безногих гадов — змей — надо остерегаться: среди них есть ядовитые. А эти — на ножках — ничего.

Потом вдруг выскочил из-под кустика серый зверь. Большой — куда больше мамы, — страшный, с растопыренными ушами. Мы все сразу остановились и прямо не знали, куда от него деться. А он встал во весь рост, болтает тонкими передними ножками и косится на нас одним глазом.

— Поспать не дадут! — оглядев нас, сердито пискнул зверь детским голоском и опять улегся под свой кустик.

Мы пошли дальше, и мама сказала:

— Это просто заяц. Он утят не ест.

— Заячий детеныш? — спросил я. — На нем ни перышка, один пух.

Мама объяснила мне: «Из всех на свете животных только мы — птицы — одеваемся в красивые легкие платья из перьев. Другие ходят всю жизнь в пуху или — как люди — надевают что-нибудь на голое тело».

Тут перед нами поднялась из травы желтоватая птица чуть побольше мамы, с маленькой головкой, острым носом и красными бровями.

— Здравсте, сестрица тетерка, — вежливо поздоровалась мама. — Вот каких я утят вывела: кругленькие, пушистенькие. И такие ловкие, так хорошо научились ходить!

— Ах, не смещите меня, хозяйюшка! — сказала краснобровая. — Поглядите на моих тетеревят. Они уж и бегают отлично, не то что ваши ковыляшки!

Тут вдруг как из-под земли выросли девять желтеньких краснобровых тетеревят. «Пи-пи-пи!» — запищали они и замелькали тонкими, прямыми ножками.

А мне ужасно не понравилось, что тетка тетерка назвала нас ковыляшками. Я как дам одному тетеревенку в грудь! Он отскочил. А я наступил сам себе на ногу и ткнулся носом в землю.

Все желтенькие накинулись на нас. Подскакивают и — раз-

раз носиками! — всех повалили! Наша мама волнуется, кричет, тетерка квохчет, — шум, писк! Мама подняла нас всех с земли.

— Как вам не стыдно! — и скорей повела дальше.

Нам и верно было стыдно: девять тетеревят победили нас — тринадцать утят! И кричат нам вслед: «Хи-хи-хи! Ковыляшки! Коротышки! Мокрохвостики!» — и всякие такие обидные слова.

Но тут деревья стали редеть, редеть, стало светлей — и вот впереди показалось, засияло что-то огромное и такое прекрасное, что у меня дух захватило. Синий-синий-синий мир лежал под обрывом, накрытый таким же синим, высоким-высоким небом! Он был похож на огромное синее яйцо.

— Вода, озеро, — сказала мама. — Тут мы и будем жить.

Она раскрыла крылья, замахала ими, полетела и, сделав над озером широкий круг, опустилась под нами на воду, подняв сноп радужных брызг.

— Кувыркайтесь сюда! — крикнула она весело.

И вот мы — тринадцать утят — смело бросились с высокого обрыва кувырком, кувырком в синее озеро. Я, конечно, первый. И не успел я опомниться, как с головой окунулся в податливую, теплую, ласковую воду. Вокруг меня с писком падали, окунались, выскакивали мои черные братишки и сестренки.

— Спасайтесь! — отчаянно крикнула вдруг мама и неожиданно куда-то исчезла. На нас упала тень распластанных крыльев большой птицы с горящими глазами и хищным, крючковатым носом.

Но где же было спастись нам, беспомощным утятам? Мы у всех на глазах открыто сидели на гладкой воде, и деться нам было некуда...

Глава III

Страшная хищная птица была уже над нами, а мы сидели открыто, у всех на глазах, — и не знали, куда спастись.

И знаете, — что тут случилось? Мы все вдруг исчезли так же, как наша мама! Подумать только: в первый раз попали на озеро, толком даже не понимали, что такое — вода, а спастись от опасности уже отлично умели на ней. Или, лучше сказать, в ней. Мы нырнули. Мы были легкие как пробки, но вода не вытолкнула нас из себя. Мы заработали своими перепончатыми лапками и поплыли в ней, как рыбки.

Страшная хищная птица потеряла нас из виду и полетела дальше. И когда — через целую минуту — мы все вынырнули, ее уже не было видно. Мама быстренько поплыла к густым камышам, а мы все — кучкой за ней. Плавать учить нас ведь не надо было, — мы уже сами умели, как и нырять. Вот что значит попасть в свой родной мир! В нем чувствуешь себя дома.

Пухлые, безлистные камыши с маленькими пупырышками

наверху росли густым низкорослым леском. Дальше в озеро впадала речушка; против нее было множество островочков. Вокруг них поднимались заросли длиннолистного коленчатого тростника и высокого, с большими коричневыми головами рогоза. Поэтому на нашем лесном озере жило множество птичьих семейств: эти зеленые заросли были для них отличным убежищем. На камыше, тростнике и рогозе водились личинки стрекоз, жирные ручейники и другие насекомые — самый вкусный для нас корм. И тут мы не очень-то боялись той большой хищной птицы, которая так напугала нас в первый день на озере. Мама сказала нам, что этот хищник зовется болотным лунем. Большой, коричневый, он раза три на день медленно облетал озеро над самыми камышами, высоко поднимая над спиной длинные крылья. Высматривает, не зазевался ли где-нибудь утенок или даже взрослая птица. Увидит и — р-раз! — налетит и схватит в когтищи. Но, если ты не зевака, — всегда успеешь спрятаться от него, нырнув или прикрывшись свисающими над водой ветвями плакущей ивы. Еще ежедневно посещал наше озеро черный коршун с вырезанным треугольником хвостом. Но этот больше интересовался выкинутой волной падалью: дохлыми рыбами, лягушками. А светлая, очень грозная на вид скопá — та на нас никогда и не пробовала нападать: она ловила живую рыбу. А все жители зеленых зарослей были нашими друзьями.

Каждый день мы знакомились с каким-нибудь новым семейством и очень весело проводили время. Тут мы узнали, что мы — нырки, называемся — гоголя, а пока не выросли — гоглята. Рядом с нами жили красноголовые нырки и два выводка хохлатых чёрнетей. Все мы очень скоро научились добывать себе еду — всяких там крошечных рачков, личинок ручейников и поденок, — ныряя за ними на дно. А вот мелководные утки — крупные кряквы и махонькие чирки — не ныряли, а только кувыркались головой под воду, хватали мутную водицу и щелокчили, процеживая ее сквозь пластинки своего клюва; что останется — глотали и так кормились. Мелководные утки жили в речушке и на островах против нее.

На берегу бегали долгоносые долгоножки-кулички, водились болотные курочки-погóныши. У них были очень шустрые круглые, как шарики, детишки. Но болотные курочки не были настоящими курами, как сухопутные куры — тетерева, рябчики, куропатки. С настоящими лесными курами я встретился опять только случайно.

В это время я уже часто отделялся от своих братишек и сестреночек, всегда плававших с мамой. Подплыл раз к такому месту, где лес совсем подошел к озеру, и слышу вдруг — кто-то окликает меня:

— Здорóво, мокрохвостик!

А это, оказывается, тот самый тетеревенок-краснобровик,

который повалил меня, когда мы еще только пробирались к озеру. Тетерка неосторожно подвела свой выводок к самой воде, к обрывчику.

Я не сразу узнал своего обидчика, так он вырос. У него уже отросли маленькие крылышки. Таких цыплят называют поршками: они уже могут вспархивать и садиться на нижние ветки кустов. Удивительно, как он-то меня узнал — ведь все мы — птенцы — растем не по дням, а по часам, и я уже стал шлепунцом. Так зовут нас — утят, — когда у нас начинают оперяться крылья и мы изо всех сил шлепаем ими по воде, пытаюсь взлететь, но из этого у нас еще ничего не выходит.

Не успел я ответить поршку, как он ступил ножками на край обрывчика. Песок под ним посыпался — и тетеревенок, отчаянно махая крылышками, стремительно поехал вниз и — здрассте! — очутился рядом со мной в воде. Вот бы где отомстить ему: тетеревенку пришлось в воде гораздо хуже, чем нам — утятам — тогда на земле. Но мы, птицы, никогда не мстим. Тетерка-мама выбежала из леса, отчаянно кудахтала, но спасти своего малыша не могла: ведь и взрослые куры не умеют плавать. А сухой, не смазанный жирком пух поршка уже намок. Ветер дул от берега. Тетеревенок беспомощно распластал крылышки. Его несло к середине озера, где его ждала гибель.

Но я бросился ему на выручку — и стал толкать его носом назад к берегу. Скоро он ткнулся в песок, вскочил на лапки, выбежал на берег — и растянулся без сил. Я, конечно, мог бы тут ему крикнуть что-нибудь обидное: «Мокрая курица! Мокрая курица!». Но он был такой несчастненький, и тетерка-мама так радовалась его спасению... Я тоже был рад, что беда миновала...

Но это не такая уж беда, от нее легко было спастись. А вот через три дня после моей встречи с поршком стряслась над всем нашим озером ужасная, неслыханная беда. Погибло много моих веселых товарищей и братишек, да и сам я едва спасся.

Глава IV

Я обещал вам рассказать про большую беду на нашем озере. Вот слушайте.

Люди нередко заглядывали в наш лесной мир. Большею частью это были ребяташки — мальчики и девочки. Они сбрасывали с себя оперение, забегали в воду, где нет камышей, весело визжали, плескались. Нас они не трогали — и мы считали их всех хорошими. Правда, я слышал от одной старой утки, что есть люди с ружьями — охотники. У них в руках маленькие гром и молния, и они стреляют в нас, если мы вовремя не удерем от них. Эта же утка рассказывала, что не так давно приходили два парня, обыскивали берега всего озера и разорили много утиных гнезд.

Ведь только мы — гоголя — устраиваем свои гнезда в лесу, в дуплах деревьев, а другие утки гнездятся на земле, стараются поближе к воде. Тогда все утки только еще высиживали птенцов, и парни эти собрали много яиц.

Я подумал, что теперь-то они ничего не могут с нами сделать, раз мы уже вышли из яиц, плаваем и ныряем.

Но вот однажды на дальнем от нас конце озера раздался собачий лай. Я опять плавал один, без мамы, и не понял, почему это встревожились гагары. Гагары — это большие черно-белые водоплавающие птицы. Некоторые считают их за уток, но они совсем даже и не родственники нам. Стоит посмотреть на их прямые, острые носы и на ноги, растущие чуть не из самого хвоста, чтобы убедиться в этом. Да и перепонки нет у них, а какие-то кожные отростки фестончиками на пальцах. И кормятся они рыбой. На нашем большом озере жила всего одна пара гагар, и у нее было всего два гагаренка, которых они тоже прятали в камышах.

Так вот, как только послышался лай собаки, каждая из гагар посадила по гагаренку себе на спину — и нырнула с ним под воду. Наши утки-мамы так не умеют, и мы никогда не забираемся к ним на спину. А гагары погружаются со своими птенцами под воду и летят с ними под водой, куда им надо. Да, да, — летят, потому что они машут крыльями под водой так же свободно, как и в воздухе.

Гагары вынырнули со своими гагарятами чуть не на середине озера. Тут бы мне и сообразить, что умные птицы боятся оставаться у берега, а я не подумал об этом. Парни между тем — это были они, и с ними в этот раз была собака, — парни шли кругом озера. Дворняжка шлепала по воде, заплывала в камыши, схватывала там шлепунцов и приносила своим хозяевам. Когда она приблизилась к тому месту, где прятался я, у Гриши — это был опять он! — был уже за спиной полный мешок задавленных дворняжкой утят.

Что мне было делать? Когда собака подбежала, я прибег к испытанному средству спасения: нырнул. Но страшная дворняга что-то причуяла в камышах и начала плавать кругами, кругами. Прошло пять минут, десять минут, а она все не покидала этого места. Подошел Гриша с товарищем и начал подбадривать ее криком. Не меньше получаса крутилась она на этом месте и, наконец, вынесла хозяину несчастного птенца болотной курочки: он прятался здесь, совсем близко от меня, на островке ила.

«Не меньше получаса? — спросите вы, дорогие ребята. — Э-э! Да ты, брат гогленок, говоришь неправду! Никакая утка не может пробыть под водой так долго. А стоило бы тебе вынырнуть, чтобы набрать воздуха, как дворняга сейчас же схватила бы тебя».

Ваша правда: никакие нырки не могут продержаться под водой больше одной-двух минут. Но не зря же охотники говорят:

«В беде утка воровата!» Она сама себя ворует с глаз врага. Этой хитрости научила меня мама. Знаете, что я сделал? Я держал свое тело под водой, а носом ухватился за камышину, выставил свой нос из воды — и преспокойно дышал через него. Вот что значит хорошо уметь дышать через нос! Самая чутыистая собака не может учуять один утиный носик над водой.

Я-то спасся, а когда парни ушли, прилетела мама и собрала всех нас вместе, — мы недосчитались семерых наших братишек и сестренек: больше половины выводка. Сами понимаете, как нам было горько.

Прошло еще несколько дней, и нас — утят — постигло еще одно огорчение. Нас покинула мама-утка. Просто улетела однажды от нас и больше не вернулась. Мы думали уже, что она погибла, но другие утята успокоили нас. Оказывается, всем уткам-мамам настала пора линять — сменять перо, — и они попрятались в озерные крепи, где заросли всего гуще, на то время, пока, теряя перья из крыльев, им трудно будет летать.

Да надо сказать, что мы — утята — не очень-то уж и нуждались в своих мамах. Они научили нас всему, чему могли. Мы разбрелись по озеру и начали самостоятельную жизнь. Мы стали уже большими и скоро, как говорится, поднялись на крыло, то есть научились летать.

К этому времени произошло еще одно замечательное событие в нашей жизни: вернулись селезни — наши отцы. В начале лета, когда уточки сели высиживать нас, селезни собрались в стаи: гоголя с гоголями, чирята с чирятами — по породам, — и улетели линять на дальние моря. Перелиняв там, они вернулись к нам, чтобы руководить нами — утиной молодежью — в первых наших полетах по озерам.

И вот тут я узнал, что три мира, в которых мы родились и выросли, были совсем маленькие, детские миры: яйцо, потом гнездо, потом лесное озеро, где нас учила мама уму-разуму.

Теперь, когда у нас отросли сильные, крепкие крылья, нам открылся настоящий мир — огромный, неведомый. Для нас — уток — он гораздо больше, чем, например, для лесных кур, живущих круглый год на одном месте, — как, скажем, тетерева. Мы — перелетные птицы. И как только вода в реках и озерах начнет замерзать, — мы соберемся в большие стаи и отправимся в далекое воздушное путешествие. Увидим много разных стран, побываем в тех далеких краях, где даже и зимой жарко греет солнце и никогда не леденеет вода.

Какое счастье жить и летать в этом огромном мире!

ИЗ ЦИКЛА «ЗАДУМЧИВЫЕ РАССКАЗЫ»

РОЗОВОЕ И ОЛИВКОВОЕ

Я пришел домой с прогулки, вынул из кармана коробку с ватой и осторожно открыл ее.

В вате лежало маленькое яичко — такое хрупкое на вид, что я сразу не решился взять его огрубевшими пальцами. Выкатил его из коробки себе на ладонь.

Яичко было прекрасно, как жемчужина, вытянутой, удлиненной, совершенной формы.

Сияющая, оливкового цвета живая жемчужина! Цвета свежих ивовых листьев. Без пятнышка, без малейших крапинок.

Внутри нее теплилась маленькая жизнь — неведомая, таинственная, еще не готовая родиться на свет. Просвечивала и мерцала сквозь тонкую хрупкую оболочку нежно-нежно розовой теплотой.

Нет красок, чтобы передать на бумаге или полотне живую прелесть сочетания этих цветов. На картине розовое смешивается с оливковым — получится муть, грязь. Здесь розовое и оливковое составляют одно целое, но чудесным образом не сливаются, существуют сами по себе: розовое — чтобы в свой срок превратиться в крылатое, поющее живое существо; оливковое — чтобы исчезнуть, рассыпаться в прах после его рождения.

У меня на ладони покоилось соловьиное яичко.

В моей коллекции уже были соловьиные яйца, но все шоколадного цвета. Только сегодня мне удалось, наконец, найти под кустом в заросли ив и кудрявых ольх гнездо с оливковыми яйцами.

Их было пять в гнезде. Я взял только одно, чтобы самочка не покинула гнезда и вывела остальных четырех птенцов. А мне достаточно и одного яйца. Осенью я повезу свою коллекцию в город. Горожане редко вспоминают о птицах. Пусть-ка полюбуются на такую красоту.

Так я думаю, бережно держа на ладони оливковое с розовым яичко.

Свободной рукой я достаю из стола заостренные с одного конца стеклянные трубочки. Выбираю самую тонкую из них, при-

двигаю к себе блюдечко, достаю булавку. Остается только сделать одну маленькую дырочку в яйце и выдуть его, выпустить его жидкое содержимое на блюдечко. Но тогда исчезнет розовое! Одним соловьем станет меньше.

Правда, соловьев много вокруг деревни, где я живу. Как наступили долгие дни и теплые белые ночи, воздух наполнился ивовою белой пушицей, — принялись они шелкать круглые сутки.

Вчера днем ко мне в окно доносился свист соловьев.

— Когда же они спят-то? — удивленно спросил меня Смирька, восьмилетний соседский парнишка.

А вечером, когда в одиночестве меня тоска взяла и я уселся на крылечке — покурить, подумать, как-нибудь разобраться в себе, — как они свистели, как шелкали!

Гляжу, и Смирька ко мне подсаживается: и ему не спится, не знает, куда себя деть.

Ну, пусть сидит, думаю, он не мешает.

Сидим, думаем каждый про свое. И соловьи свое поют.

Вдруг резкий крик дергача резнул слух.

— Грязь-грязь! Грязь-грязь! — тужится, скрипит сквозь туман дергач на сыром лугу.

— Сало! Сало! Пек, пек, пек! — легко, бархатисто выводят в кустах соловьи. — Сало!

— Грязь! Грязь! — орет дергач.

Так они долго, без усталости спорят друг с другом, и мы со Смирькой невольно вслушиваемся.

Сперва кажется: все соловьи поют одинаково, и им ужасно мешает скрип дергача. Но стоит только немножко вслушаться, и вот дергач — сам по себе и соловьи — сами по себе. Сразу и вместе они, и отдельно. Как розовое и оливковое в яичке.

Соловьиные песни тоже разные. Один поет совсем близко — в лядинке через дорогу от нас — в сыром лиственном леску. Его голос слаб и высок. Некоторые ноты выходят у него резковато; он даже срывается иногда с голоса: совсем еще молод, видно.

Голос другого ниже и сильнее, песни дольше. Он уверенно берет трудные низкие ноты и не срывается на верхах. Он дальше: под горкой, за банями. А кажется — тут же в лядинке поет. Хороший музыкант.

Но когда запел третий, — душа всколыхнулась!

Ничего, что он всех дальше от нас — через поле, в зарослях ив и ольх; каждая нотка его песни слышна отчетливо. Его густой, мощный свист легко покрывает натужный скрип дергача. Какой певец!

Его клопочущие трели великолепны. И как смело он переходит от томных, за душу берущих низких нот к дерзкой «лешевой дудке»!¹

¹ Одно из колен соловьиной песни: сильный, резкий свист.



Замер на низких и вдруг — фиулит! — вырвал свистом, да с каким росчерком! И замолк.

— Здóрово? — в восхищении спрашиваю Смирьку.

— Дивья! — притворно пренебрежительно говорит Смирька. Но и он доволен. И вспоминает из басни: — А верно, что «петь великий мастерище».

Какая уж тут тоска: самому хочется петь и жить, жить — радоваться!

Очнулся я от дум. На ладони оливковое яичко. Нет, не стану я выдувать его! В нем — птенчик нашего замечательного певца. И кто знает: не заключен ли в этой тонкой скорлупке такой же чудесный дар песен?

Отнесу яичко обратно в гнездо, в заросль.

В заросли крики Смирьки и звонкий визг его сестренки. И скрипучий, неприятный птичий голос.

Спешу напролом через кусты и хворост. Но я опоздал.

— Гляди, как я в нее! — кричит мне Смирька. — Прямо в лоб шмякнул!

Его сестренка смеется и грязными пальцами размазывает по своему розовому лицу крошечный желток.

Знакомое гнездо под кустом выворочено, в нем пусто.

— Смиреха! Смиреха! — говорю я с тоской. — Чтó ты наде-
лал! Ведь это гнездо того самого соловья, которого мы вчера слу-
шали.

— Не! — весело откликается Смирька. — Это вон какой
птюшки, вон скрипит в кусту!

Серая птичка перепрыгивает недалеко с ветки на ветку, дер-
гает хвостом и скрипит, скрипит...

Откуда бы знать Смирьке, что прославленный соловей —
«петь великий мастерище» — в тревоге за свое гнездо стонет не-
приятным, скрипучим голосом? И чтó могло помешать ему разо-
рить гнездо этой невзрачной «пташки», когда кругом все ребята,
да и отцы их при случае, походя, разоряют все попавшиеся на
глаза птичьи гнезда?

Больше мы со Смирькой не слышали нашего замечательного
певца: соловей покинул заросли.

Оливковое яичко я выдул.

Никогда из него не родится крылатое существо с чудесным
даром песен.

Розовое перестало существовать, но оливковое не рассыпалось
в прах. Об этом позаботился я, поместив его в свою коллекцию.

Теперь я думал: не повезу своей коллекции в город, отдам ее
в сельскую школу, в ту самую, куда пойдет этой осенью Смирька
со своими товарищами.

Может быть, хоть соловьиные гнезда они перестанут разо-
рять?

НОЧНОЙ ЗВЕРЬ

Ночную тайну разрушит слово.

А. Блок

Мы возвращались с охоты. Солнце уже зашло, в лесу быстро темнело, но на открытом месте еще можно было стрелять. И когда мы вышли в поле, я спустил Заливая со сворки.

Чем черт не шутит! Зайцы все сейчас в поле, — может быть, успеем взять еще одного по дороге.

И действительно: не успели мы с Василием Алексеевичем пройти и ста шагов, как чутыстая гончая натекла на след, дала голос и погнала.

Мы разошлись занимать места. Василий Алексеевич отошел вправо — к опушке леса, а я взобрался на ж а л ь н и к — небольшой, кругом ровный холмик слева при дороге. Тут был верный лаз: откуда бы заяц ни пошел, ему не миновать этого узкого места между двумя мысками.

Поместившись у небольшого кустика, я снял ружье с плеча и осмотрелся.

Небо было чисто, полная луна «щитом краснеющим героя» только еще вставала над лесом. Под ней блестели от росы зеленя. Начало октябрьской ночи было торжественно и прекрасно.

Гон между тем ушел далеко — километра за два в поля, к самой дороге.

Там лаял пес, но где сейчас русак?

В том, что это русак, у меня сомнений не было: беляк не дал бы такого большого круга, он сразу норовит уйти в лес.

Русак сгоряча мог далеко опередить гончую и быть уже поблизости.

Наспех затянувшись еще два раза, я бросил папиросу, придавил ее ногой и передвинул предохранитель ружья на «огонь».

Страстный баритон Заливая взбудоражил деревенских шавок. Они залились визгливым лаем. За ними дряхлым басом забрежал старый колхозный пес Сингал.

Сумерки наполнились неистовым многоголосым лаем. Но ненадолго. Неожиданно Заливай смолк. Не слыша его, замолчали понемногу шавки и Сингал. Наступила полная тишина.

Особенность охоты с гончей та, что здесь человек стоит на месте и, прислушиваясь к голосу собаки, силой своего воображения участвует во всех страстных перипетиях смертной погони одного зверя за другим. Самый момент участия человека в охоте короток и часто неинтересен: если лаз выбран правильно, уходящий от погони зверь наткнется на стрелка почти вплотную, и прекратить навсегда его бег нетрудно.

Заливай смолк — значит, скололся: потерял на бегу след.

Делает сейчас круг, чтобы опять схватить чутьем запах, оставленный потными от страха и быстрого бега лапами зайца.

А заяц в это время продолжает бег. Он не доверяет внезапно наступившей тишине. До сих пор преследователь выдавал себя кровожадным лаем. Молчащий теперь, он может внезапно появиться рядом.

Заяц делает широкую дугу по ему лишь одному известному кругу. Внутри этого круга он родился, тут он жирует ночами и дремлет днем, тут он любит, дерется с соперниками, спасается от врагов. Только смерть может заставить его выйти из этого круга.

А может быть и так: далеко опередив гончую, заяц сел. Пошевелил над головой ушами.

Тишина.

Тогда заяц поднялся, пробежал вперед до опушки и дальше в лес. Потом вернулся по своему следу, вдруг скинулся с него широким прыжком в сторону и залег на опушке — головой в поле. Прижался к земле.

Тогда я напрасно жду его сейчас сюда: он дождется, пока гончая опять даст голос и промчится мимо него по его собственному следу в лес. Тут он вскочит и махнет в поля.

Передышка, значит, и мне. Можно не напрягаться.

И сознание мое раздвоилось: дежурная часть мозга оставалась начеку, глаза сторожили, — не мелькнет ли где быстрая качающаяся тень? И в то же время я мог думать о другом и чутко, всей душой отзываться на очарование все ближе надвигающейся ночи; взбудораженная охотничьей страстью душа была напряжена до звона.

Волшебная картина была у меня перед глазами: мрачно темнел уже весь облетевший лес, а рядом свежо и радостно блестели молодые всходы. Какая сказочная встреча весны с глубокой осенью!

Да и все кругом, казалось, жило в сказке: все кусты и деревья, и древние — со дна ледникового моря — камни, кой-где угрюмо сутулившиеся в поле. Колдовской свет луны наполнял светлую ночь тайнами, ворожил, тревожил — вызывал призраки.

Я вдруг вспомнил, что стою на ж а л ь н и к е. И одного этого мысленно произнесенного слова было достаточно, чтобы призраки ночи воплотились у меня перед глазами.

Жальник — ведь это от слова «жаль», «жалиться». «От жали не плакать стать», — говорили древние новгородцы, насыпали на буйвищах, над могилами погибших своих воинов, земляные холмы и называли их «жальниками».

И, вглядываясь в лунные сумерки, я уже различал в их переменчивых, неверных тенях воинов в шишаках с мечами, копьями и щитами. Беззвучно совершалась предо мною лютая рукопашная битва, сверкало немое оружие, падали богатыри.

Да было время... Умели наши предки хоронить своих прославленных воинов.

Но легкое облачко скользнуло по светлому лику луны. И когда сошло, предо мной снова были только веселые зеленя, подо мной — небольшой, кругом ровный холмик.

Я сразу вспомнил про Заливая и подумал: что-то очень уж долго длится перемолчка!

Интересно, что испытывает сейчас русак?

Но сказочная ночь властно требовала необычайного, и мысль моя легко перескочила с русака на меня самого: а вдруг и меня разыскивает по следу какой-нибудь страшный зверь с горящими глазами и выбегающими из кровавой пасти клыками?

Какой-нибудь там вроде ископаемого громадного пещерного медведя.

Будь я мальчиком, я бы, наверно, вздрогнул от такой мысли и мне захотелось бы очень быстро обернуться. Но я только грустно улыбнулся.

За полями зажегся огонек: там собиралась ложиться спать мирная, давно забывшая ночные страхи колхозная деревня.

Самый большой и страшный хищный зверь, на встречу с которым я мог рассчитывать здесь, была лисичка.

Последний маленький медведь-овсяник был убит здесь пять лет тому назад, а о волках уже десятки лет и помину нет.

Даже смешно стало.

Вот стоим мы с Василием Алексеевичем, опытные охотники, напрягаем слух и зрение: ждем на лазу зверя.

А зверь этот — зайчик.

А ведь нам с Василием Алексеевичем вместе-то, пожалуй, сотня лет. Он — известный охотовед, старый зверятник. Да и я на своем веку побывал и в тайге, и в тундре — повидал зверя.

Мы оба изучали зоологию, для нас больше уже не может быть удивительных неожиданностей в этих исследованных, давно обжитых человеком местах. Как далеки мы от дней нашего детства, когда любой лесок за околицей был населен для нас всевозможными чудами: зверями, которых мы не умели назвать, и — на равных с ними правах — лешими, русалками, кикиморами и другой нежитью. Сказка потеряла всю свою силу над нами, потеряла обаяние тайны: каждое животное здесь мы знаем по имени, отчеству, фамилии, а с именем — и всю его жизнь — «биологию».

Я вздрогнул: из лесу слева от меня донесся короткий, глухой и хриплый крик. Так мог бы вскрикнуть древний, вросший в землю и весь покрытый мхом камень, если бы вдруг обрел голос. И вместе с тем я не сомневался, что это крик зверя. Только вот этого зверя я не мог назвать по имени.

Я с любопытством вслушивался в тишину: сейчас, наверно, крик повторится, и тогда я пойму, узнаю, чей он.

Но вместо звериного крика раздался вдруг там же — недалеко, слева от меня — неистовый лай Заливая.

Пес лаял часто, заливисто, то и дело сдваивая голос.

По зайцу гончая так никогда не вопит, по зайцу она брешет.

В сумке у меня были две разрывные пули: старая таежная привычка — на всякий случай всегда иметь пули с собой на охоте. Но было ясно, что я не успею достать их, вынуть из ружья дробовые патроны и заложить в стволы пули: так близко от меня был Заливай, а зверь должен был находиться еще ближе.

Приподняв двустволку, я не отрывал глаз от темной стены леса.

Вдруг из опушки выметнулся зверь ростом с волка.

Я приложился... И опустил ружье.

Это был Заливай.

Он смолк, метнулся по полю в одну сторону, потом в другую. Подбежал под самый жальник, поднял голову и на миг уставился на меня. Но сейчас же тьякнул, уверенно взял след и помчался вправо от меня — через дорогу.

Еще минутку мелькали в сутеми его белые чулки и — исчезли.

Он пошел прямо на опушку, где стоял Василий Алексеевич, и я невольно задержал дыхание: вот раздастся выстрел.

Но лай Заливая удалялся, а выстрела не было.

Я выпустил распиравший грудь воздух.

Признаюсь: чувствовал я себя не совсем уютно.

Поведение гончей было совершенно недвусмысленно: Заливай шел по следу; он прошел под самым жальником — у меня под ногами; значит, до него прошел у меня под ногами и зверь.

Тот зверь, которого я не мог назвать.

Прошел, как привидение: беззвучно, невидимо.

Но если я его не видел и не слышал, то он-то не мог меня не видеть: ведь я стоял на холме и снизу был, конечно, очень заметен на ясном небе. Да и чутье должно было его предупредить о присутствии человека: ночной ветерок тянул как раз справа от меня к той опушке, откуда он вышел.

Какой зверь мог пройти в двадцати шагах от меня, оставшись незамеченным? И даже не зашуршать когтями по опавшей листве на опушке!

Василий Алексеевич тоже не выстрелил, — значит, зверь и у него прошел невидимкой.

Голос Заливая потерялся уже в глубине леса.

Я вдруг почувствовал, что ночь холодная, а мне очень жарко.

Так или иначе, дело было кончено: зверь прошел и уж, конечно, сюда не вернется.

Я опустил предохранитель и повесил ружье на плечо. Закуривая на ходу, спустился с жальника.

С Василием Алексеевичем мы сошлись на дороге.

— Видели? — спросил он.

— В том-то и дело, что нет.

— Я видел. Крупный зверь. Как из-под земли вырос. На широких махах подошел к опушке и стал за кустами. Близко. Голову держит высоко.

— Да кто же?

— Не знаю. Невозможно было разглядеть.

— Осечка?

— Нет; просто не стрелял.

— Вот тоже!..

— А вы попробуйте в такого — заячьей-то дробью!

— Ну и что же?

— Ну, потом сдвинулся и разом пропал за деревьями. Как стинул. Шорох, правда, был. И два раза хрустнуло в лесу. Похоже, не он, а от него кто-нибудь бежал в разные стороны.

Василий Алексеевич замолчал. Тут только я сообразил, что оба мы все время зачем-то говорили шепотом.

Шагая по дороге, я совсем другими глазами всматривался в ночь, чем тогда, вначале, на жальнике. Нет, черт возьми, годы тут ни при чем. Луна свое взяла.

Подмораживало. Лунная мгла опустилась и остекленела. Заливая не было слышно.

Большое бессловесное — земля, лес, небо — давило меня своей непонятной немотой. Наверно, и Василия Алексеевича тоже. Но мы молчали: может быть, оба не решались начать разговора, в котором не хватало у нас главного слова.

Я думал про одно: как это я не увидел, а Василий Алексеевич видел, да не знает — кого?

К деревне мы подходили уже в полной ночной темноте: луну заволокло большой тучей.

Тут нас догнал Заливай.

Он подошел ко мне, остановился и как-то по-особенному, натужно тявкнул.

Уж не силился ли он вымолвить слово? Он-то ведь видел и знал.

Я положил ему руку на спину и почувствовал, как тяжело вздымаются его бока.

Спина была мокрая.

Заподозрив неладное, я достал спичку, осветил свою руку.

Она была в крови.

Василий Алексеевич осмотрел, ощупал Заливая.

— Радуйтесь, что собаку не потеряли, — сказал он хмуро. — Пустяками отделался — царапина.

Я подумал:

«У нашего невидимки совсем не призрачные когти и зубы!»

За гумном горел костер. Я с удивлением увидел около него лохматого Сингала и колхозного пастуха — старика Митрея. Сверху на костер надвинулась тьма. Старик сидел, как в шалаше.

— Что ты тут делаешь, дед?

— Да, видишь, озечку свежевать дали. Зверь утресь задрал, туды его когти! От силы прогнали.

Мы с Василием Алексеевичем переглянулись.

— Медведь?

— Волк?

— Да нет, какие тут волки-медведи!

И вот дед сказал слово, которого нам так не доставало:

— Рысь.

Как свет включил: мгновенно объяснил все наши переживания этой ночи.

Заливай бросил след русака, напав на рысий след.

Рысь цапнула его в схватке. Потом, спрятав страшные свои когти в бархатные лапы, бесшумно и незаметно проползла мимо меня под жальником. Так бесшумно и незаметно, как могут красться одни только кошки.

Василий Алексеевич не мог признать ее за кустами в лунной мгле: рысь в этих местах — зверь проходной, совершенно случайный; нам и в голову не приходило, что можем с ней встретиться.

Я переживал сказку, думая о происхождении слова «жальник». Но если б я вспомнил короткое слово «рысь», это заставило бы меня иначе смотреть перед собой. Я бы искал глазами не качающуюся тень скачущего зайца, а стелющуюся, переливающуюся тень ползущей, крадущейся кошки.

И это коротко рычащее слово очень легко тогда могло бы превратиться в пушистую рыжую шкуру.

О АУЛЕЙ, АУЛЕЙ, АУЛЕЙ!

К середине апреля лед потемнел, побурел, кой-где отошел от берегов, и в самой середине озера образовалась полынья.

Как огромный синий-синий самоцвет, засияла на солнце освобожденная вода. И утром, и днем, и вечером — когда ни взглянешь, — тут сидят, спускаются или поднимаются стаи пролетных уток, а ночью слышится с полыньи их неумолчный гортанный гомон.

В сильный полевой бинокль я хорошо различал их с берега. Все это были нырки: гоголя, чёрнети и спешащие на далекий север морянки-аулейки — черно-белые, с острыми, как стрелы, хвостами.

Впрочем, морянок-то я различал и ночью по их крику, совсем не похожему на кряканье, гогот, свист других уток. Звонким, напористым голосом они как бы зовут, призывают издалека-далека кого-то, чье имя — Аулей:

— О Аулей, Аулей, Аулей!

Кряквы, шилохвости, свйязи и другие мелководные утки по-лыньи не посещали. Им тут нечего делать: середина озера очень глубока, а они ведь достают себе еду со дна, не ныряют, а только опрокидывают в воду переднюю половину своего тела. Нырки же могут доставать себе еду даже подо льдом.

Последние дни в поднебесье, над озером, шли лебеди. Их могучие ликующие голоса покрывали собой все другие весенние звуки, песни и крики. Волновали они меня необычайно своей неопи-санной красотой.

Я читал в книжках: крик лебедя сравнивают с серебряной тру-бой. В жизни не слышал труб, сделанных из чистого серебра. Но трубы — какие-то большие, неведомые, сказочные трубы — клики лебедей действительно напоминают, хоть не слышал я и сказочных труб.

Три дня назад, утром, эти победные трубы ворвались в мой сон и властно прервали его. Мне показалось, они прогремели со-всем низко, над самой крышей моей избушки. Я спал не разде-ваясь и сейчас же выскочил с биноклем на берег.

Двенадцать великолепных птиц, величаво поднимая и опуская широкие крылья, косым углом плыли уже над противоположным берегом озера. В ярком свете солнца, поднимающегося из темно-го леса, их белоснежные тела и крылья отливали ослепительным серебром.

«Вот отсюда и взялось сравнение с серебряными трубами», — подумал я.

И еще подумал, что косяк дает круг, снижается, — верно, хо-чет сесть на озере.

В этот миг над тем берегом, на стене темного леса, блеснул быстрый злой огонек и вспыхнуло белое облачко дыма.

Я не поверил своим глазам — быстро навел бинокль на это место. Тут донесся до меня звук выстрела, и я увидел на том бе-регу маленькую фигуру охотника.

Сомнений быть не могло, стрелок бил по лебедям и бил метко: косяк расстроился, лебеди сбились и пошли вверх, а один из них отстал и как-то боком, загребая одним крылом, снижался по кругу к середине озера.

«Дорого тебе станет этот выстрел!» — в гневе подумал я про охотника. Но он уже повернулся и поспешно скрылся в лесу.

Наш охотничий закон запрещает бить лебедей. За убий-ство этой прекрасной птицы суд присуждает виновного к большому штрафу.

Уже мало остается на земле таких глухих мест, обширных озерных крепей, где, таясь от человеческого глаза, в огромных гнездах из камыша и вырванного из собственной груди пуха вы-водят эти сказочные птицы своих розовоногих пушистых птен-цов. Редки становятся лебеди даже на наших просторах.

Подбитый лебедь уже сидел на полынье, раскинув по воде правое, видно раненое, крыло и высоко подняв прямую шею. Это был кликун — самый крупный из наших лебедей: его сразу можно отличить по прямой, немного дикой осанке от чрезмерно красивых шипунов — живого украшения городских парков всего мира. Сидя на воде, шипун держит крылья горкой над спиной, шею — всегда плавно изогнутой. Кликун гордо поднимает голову, держа шею во всю ее высоту, плотно прижимает крылья к телу.

Отыскав глазами его товарищей, я увидел их над дальним концом озера.

Они опять выстроились косяком и, медленно, мерно взмахивая тяжелыми крыльями, на большой высоте спокойно уходили от опасного места.

И тут сидевший на полынье кликун начал кричать.

— Кринг-клю-у! — кричал покинутый лебедь звенящим, хрипловатым голосом. В певучем его крике слышалась боль, слышалось отчаяние, слышался тоскливый зов. Да, отчаянный зов.

— Кринг-клинг-кланг-клю-у! — издали отозвалась ему стая.

— Кринг-клю-у! — отчаянно звал раненый.

И стая повернула. Косяк сделал широкий круг, перестроился в одну линию, снизился и, перестав шевелить крыльями, пошел на посадку. Раненый замолчал.

Я видел в бинокль, как лебеди один за другим спускались на воду, поднимали две стены брызг и некоторое время с разгона двигались по воде.

Потом стая сплылась, и я перестал различать между ними раненого.

Не хочется рассказывать, что было дальше. Все и так понятно: ведь лебеди, как и мелководные утки, не могут кормиться на глубине. Они достают себе еду, как утки, погружая длинную шею в воду, — со дна, мелкого дна.

Через два часа стая, тяжело поднявшись с воды, стала на крыло и, снова выстроившись косым углом, продолжала свой путь на север, к своим гнездовьям.

Раненый опять закричал. Как он кричал! Пусть другие думают, что хотят, а я уверен, что он знал свою судьбу. Он был обречен на голодную смерть.

Существует легенда, что лебедь поет перед смертью. Да, этот певучий крик можно было назвать песней. Мне она казалась звуком неведомой трубы.

Я пытался спасти раненого лебедя. Но это было невозможно.

Рыбаки только головами качали на мои просьбы помочь мне: не только лодки нельзя было дотащить до полыньи, но уже и ступить на трещащий, крошащийся под ногами лед было рискованно.

Лебедь плавал в самой середине быстро увеличивающейся полыньи и не приближался к ее ледяным берегам. Не в силах больше выносить его крика, я ушел из дома — из избушки на высоком берегу озера.

Но долго еще в дороге преследовал меня могучий, тоскливый трубный крик.

Я вернулся домой через два дня утром.

Лебедь больше не кричал. Его не было видно на полынье.

В бинокль я разглядел на закрайке льда большое алое пятно и по всему льду озера от леса до полыньи — легкие цепочки лисьих следов.

Может быть, ночью лебедь вышел на лед — хотел идти к берегу, к мелкому месту, и тут достался хищникам, — не знаю.

Лебеда не стало. С полыньи доносился опять только звонкий зов морянок:

— О Аулей, Аулей, Аулей!

Стаи снимались с озера, летели на север — к своим гнездовьям.

С удовлетворением я узнал в деревне, что охотник, стрелявший в лебедя, был остановлен лесной стражей и отдан под суд.

МОРСКОЙ ЧЕРТЕНОК

1. В БОРЬБЕ СО СТИХИЯМИ

Сам теперь не пойму, как я отважился на эту отчаянную поездку. Один!

Море было грозно, вдали по нему ходили злые барашки. Едва только я отшвартовался, снял конец с прикола, — волны кинули лодку и, ударив ее бортом о пристань, погнали к берегу. С большим трудом я успел поставить в уключины весла и направить лодку носом в море. И тут началась борьба.

Две стихии — море и ветер, — казалось, сговорились, чтобы не дать мне достигнуть цели и погубить меня. Я изо всех сил навалился на весла, волны рвали их у меня из рук, а ветер, накидываясь то с одной, то с другой стороны, старался повернуть лодку назад к берегу и, поставив бортом к волне, опрокинуть ее. Очень скоро мои ладони покрылись мозолями. Но я почти не чувствовал боли: все мое внимание было поглощено тем, чтобы держать правильный курс.

Как я жалел теперь, что не подговорил с собой кого-нибудь из товарищей! Будь у меня рулевой, он мог бы, сидя на корме, держать руль по курсу, и мне оставалось бы только справляться с веслами. А одному приходилось каждую минуту оборачиваться

то через одно, то через другое плечо — смотреть, прямо ли к цели идет моя лодка.

Целью моего плавания были запретные Пять Братьев. Так назывались пять скал, дружной грудой возвышавшиеся над волнами невдалеке от берега.

Я сказал — «невдалеке». Но все на свете относительно. Преодолеть это расстояние при тихой погоде было бы не трудно, а сейчас оно казалось огромным.

Несмотря на ветер, пот лил с меня градом. И вдруг я почувствовал облегчение: лодка подошла под прикрытие Пяти Братьев, и тут — в заветёрках — сразу перестало рвать ее из стороны в сторону.

Однако пристать к скалам с береговой стороны не было никакой возможности. Надо обогнуть их с запада: войти в проход между двумя старшими Братьями — самыми большими из камней. Это я знал, потому что мне уже дважды пришлось побывать на Пяти Братях. Я знал, что ворота — очень опасное место: прибой там бьет с удесyтеренной силой и может в щепки разбить лодку, бросив ее на камни.

Придержав лодку на месте, я немного отдохнул: надо было набраться сил для последнего, самого рискованного перехода.

Я оглядел берег. На нем никого не было. Да и кто будет выходить в море в такую рань и в такой ветер?

Наконец я собрался с духом и направил лодку в каменные ворота. Сильное течение разом загородило мне путь. Мне показалось даже, что лодку тащит назад.

Оборачиваться уже не было времени, но, скосив глаза, я по камню увидал, что потихоньку ползу вперед.

Это придало мне силы. Я налег на весла — и как-то совсем неожиданно легко очутился по другую сторону каменных ворот.

Резко повернув лодку, я без приключений ввел ее в узкую гавань между двумя Братьями — одним из старших и младшим.

Тут было тихо. Я кинул весла на дно лодки, перешел на нос, взял кошку — четырехлапый якорь — и забросил ее на старшего Брата. Подергал — зацепилась крепко.

Опасный переход кончен.

Теперь можно собраться с мыслями и приниматься за дело.

2. ИЗ ТЕМНОЙ ПУЧИНЫ

Отдохнув, я разложил в лодке все свои запасы и нацепил на крючок целый клубок червей. Мелкая добыча, что берет на одного червя, меня не интересовала: не за тем я ехал сюда, рискуя жизнью.

Я забросил удочку. Поплавок из сухой камышины вынырнул и лег спокойно. Тогда все исчезло — берег, небо, лодка: осталась

только эта камышинка да кусочек моря, на котором она покоилась. Я смотрел на нее не отрывая глаз.

Смотрел и думал о том, что сегодня ожидает меня необыкновенная добыча. Ведь не на простую ловлю я выехал, не с берега, в мелкую воду, закинул удочку. Я — в море, на скалах. Кто знает, какая тут глубина? И что таит в себе пучина, какие живут в ней огромные, невиданные рыбы? Может быть, сегодня ждет меня счастье, и я вытащу какую-нибудь рыбку, у которой даже названия нет, потому что никто еще не ловил таких. Может быть, тут, под скалами, стоит сейчас целая стая таких рыб, и как начнут они клевать одна за другой — только успевай вытаскивать! Я полную лодку набью добычей.

Поплавок по-прежнему спокойно лежал на воде.

Следуя мысленно за лесой, ушедшей в темную воду, я думал, какой невообразимой глубины бывают моря и океаны! Целые километры воды под тобой. Неизведанная глубина!

И мне представился крошечный-крошечный человечек на скорлупке-лодочке. Под ним бездна — пучина морская. И над ним бездна — воздушный океан, межзвездные неизмеримые пространства...

Оторвав на минутку глаза от поплавка, я взглянул вверх и между разорванными ветром тучами увидел бездонное синее небо. «Ведь будет такое время, — подумалось мне, — когда человек научится спускаться в глубь океанов, до самого дна, и подниматься ввысь — до луны, до планет, может быть, до самых далеких звезд».

Я опять перевел глаза на поплавок и не мог дать себе ясного отчета: действительно он дрогнул или это мне только показалось?

Мгновенно исчезли бездны — вверху и внизу: глаза мои впились в поплавок.

Он спокойно лежал на воде.

Я выждал несколько минут. Потом повел его удочкой — дальше от скалы: может быть, там клюнет?

Вдруг поплавок встал — и вмиг исчез под водой.

Какая-то неведомая сила увлекла его в темную бездну, натянула лесу, согнула конец моего удилица.

Но другой конец я крепко держал в руках. Вскочив на ноги, я порывистым движением дернул удочку.

Руки мои почувствовали сопротивление: кто-то там, в глубине, упирался.

Я потянул сильнее. Руки у меня дрожали.

Тот — внизу — немножко поддался.

Я тянул и тянул.

Из воды показалась камышинка-поплавок.

Поплавок стоймя стал подвигаться ко мне.

Но вдруг тот, под водой, стал — и ни с места.

Я рванул. Он поддался, но сейчас же утянул лесу назад. Я рванул изо всей силы.

На конце лесы вылетела из моря рыба не рыба — настоящее чудовище: все в колючках; голая голова с разинутой зубастой пастью, за ней растопыренные когтистые крылья; спины нет, а сразу хвост, тоже весь в шипах.

Блеснув на солнце темными пятнами, чудовище вместе с лесой опустилось на дно лодки.

Я с торжеством посмотрел на берег: моя взяла!

И хорошо сделал, что посмотрел: оттуда, с берега, грозила мне такая опасность, что я разом забыл даже о своей необычайной добыче.

На берегу стеной стоял сосновый лес. В полкилометре справа он кончался. За ним виднелась дача. От дачи к лесу шел человек в костюме из желтовато-коричневой шерсти, с ружьем за плечами.

Сейчас он войдет в лес. Оттуда ему не будет видно меня. Но если он выйдет из лесу против Пяти Братьев раньше, чем я окажусь на берегу, он сразу заметит меня в море. Тогда я пропал.

Каждая минута была дорога. Не обращая внимания на чудовище, отчаянно бившееся на дне лодки, я прыгнул с борта на камень, отцепил кошку, махнул с ней назад в лодку и сел за весла. Грести к берегу было легко: ветер дул в спину, волны сами несли меня к цели.

В несколько минут я достиг пристани и поставил лодку на прикол.

Схватив удочку, не успев даже отцепить болтающуюся на конце ее добычу, я бегом по мосткам кинулся к берегу.

3. МЕЧТЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Только я соскочил с мостков на песок, из лесу вышел человек с ружьем в верблюжьем костюме. Это был мой отец.

Мой отец был строгий человек. Узнай он, что я ездил на Пять Братьев, да еще в такой ветер, не бывать бы мне больше в лодке до следующего года.

Ведь мне было всего десять лет, и отец строго запретил мне одному, без взрослых, брать лодку.

Но я был на берегу. Отец, наверно, подумал, что я удил с мостков. В этот день мне везло. Солгать отцу я не мог бы. Но, действуя по вдохновению, я избежал прямого вопроса и, можно сказать, выскочил сухим из воды.

— Папа! — закричал я вместо приветствия. — Я поймал морского черта!

— Ну, что за пустяки! — отозвался отец, с любопытством, однако, взглянув на мою добычу, все еще бившуюся на конце

удочки. Он был большой знаток природы и с великой страстью изучал ее.

— А любопытно,— прибавил он, перехватив у меня лесу.— Это бычок-подкаменщик. Удивительная мелководная рыбка. Прячется под камнями, а проплывет кто-нибудь мимо — рыбка ли, водяная мокрица, жучья личинка,— стрелой вылетит и — в пасть. Обжора страшный!

Я слушал и ликовал: гроза миновала, отец не видел меня на Пяти Братях! Когда-нибудь, когда я буду большой, я сознаюсь ему в своем проступке. А пока — я герой.

И что ж такого, что это не морской черт, а всего чертенок, бычок какой-то, рыбка, умещающаяся на моей ладони? Сам отец говорит, что это удивительная рыба.

И что ж такого, что Пять Братьев совсем не скалы, а просто пять камней в каких-нибудь ста метрах от берега? И что там не пучина морская, а совсем мелко?

Ведь я-то вправду рисковал жизнью, поехав туда в лодке один, в такой ветер.

И я вправду поймал там замечательное маленькое чудовище — все из колючих крыльев-плавников да из хвоста с шипами.

Отец пойдет сейчас дальше — он вышел на охоту, а я побегу домой и буду хвастать своей необычайной добычей матери и всем своим товарищам. И все будут ахать и удивляться. А кой-кому из товарищей я даже шепну на ушко, как я этого морского черта добыл с риском для жизни.

И все равно, над морем — бездонное небо, а под ним — бездонные моря и океаны, и весь огромный мир кругом меня, над мной и подо мной полон неизведанных тайн. И я их буду открывать всю жизнь, потому что это самое интересное, самое увлекательное занятие в мире!

ИЗ ЦИКЛА «РАССКАЗЫ О ТИШИНЕ»

У М М Б!

В первый раз это случилось со мной, когда мне было шесть лет.

Я играл на песке у моря. Никого не было рядом: мать присматривала за мной из окна. Домик наш стоял у самого берега.

Я делал из песка горки и проводил канавки. И хотя все мое внимание было поглощено этим интересным занятием, я вдруг заметил, какая сделалась кругом тишина.

Наверное, подошел полдень, — солнце над моей головой стояло почти отвесно. Будто онемело все вокруг, — мне показалось — весь мир. Хрустальной горой — почти зримой — воздвигалось до самого неба безмолвие. Как это произошло? Мгновенно или же исподволь, незаметно для меня, увлеченного своей забавой? Я не слышал птичьих голосов в саду нашего дома, — птицы молчали, попрятались, затаились. Ничто не шевелилось там, в саду; укороченные, иссиня-черные тени кустов и деревьев неподвижно лежали на дорожке. Даже ветер будто затаился. Столько живого было вокруг меня — птицы, цветы, деревья, — я чувствовал эту огромную, разнообразную жизнь, и все замерло, будто затаило дыхание и вслушивалось, вслушивалось: вот кто-то скажет слово — удивительное, неслыханное слово, — и разом рухнет эта непонятная мне немота.

Когда я теперь вспоминаю себя ребенком, именно так мне представляется мое тогдашнее ощущение этого безмолвия. Тишина, внезапно наступившая, мне казалась таинственной, я не мог ее разгадать своим детским умом и замер сам и вслушивался, ждал, что вот в самой этой неподвижности полдня, в самом пространстве, наполненном знанием, с минуты на минуту что-то произойдет — и тайна исчезнет. Как в сказке из «Тысячи и одной ночи» «Али-баба и сорок разбойников» раздается заклинание: «Сезам, откройся!» — и перед человеком открывается гора, полная сокровищ.

Я ждал. Горка песку беззвучно рассыпалась и легла у моих ног. В смятении я обернулся.

Матери не было в окне, а вскочить, побежать к ней я не смел.

Тишина все длилась. Только маленькие пологие волны залива равномерно набегали и отбегали; набегали и отбегали, чуть слышно звеня, оставляя влажный след на песке. Был полный штиль.

Полный штиль был и внутри меня. Я затаил дыхание. Только ровно, сильно тукало сердце.

Сколько времени это длилось, я не мог бы сказать.

Теперь-то я хорошо знаю, что́ это за тишина. Она наступает на переломе знойного летнего дня, в полуденные часы. Утомленные жарой, смолкают птицы; хищники, с рассвета парившие в небе на своих распластанных крыльях, прячутся в тень; рыба перестает играть на зеркале рек и прудов — глубже уходит в темные подводные заросли, и даже кувшинки прячут под воду свои желтые и белые чашечки. Зной. Безветрие. Солнце стоит отвесно. И чем жарче день, тем удивительнее это затишье, наступающее в природе. Почувствовать его можно только в лесу, в поле, на море,— в городе оно незаметно. Может быть, час пройдет после полудня, может быть, меньше,— и так же неуловимо, неощутимо, как настает эта немота, мир опять наполняется звуками.

...Ничего не случилось, но я почувствовал: проходит. И странное оцепенение спало с меня.

И вот тут-то я услышал с л о в о — каждый звук в нем различил.

— Уммб!..— послышалось далеко в море, разнеслось по спокойной воде, дошло до берега, до меня и отдалось где-то за нашим домиком, в лесу:

— ...ббы!

И там, откуда разнесся этот звук — от «банки», песчаной отмели среди моря,— всколыхнулись чайки. Закричали, поднялись в воздух. Налетел ветерок. В саду громко запел зяблик, застрекотали кузнечики. Хрустальная гора безмолвия рухнула.

Я вскочил и стал всматриваться в море: кто там сказал это слово?

Но на спокойной глади воды никого не было видно.

Это очень удивило меня: такое великанское — на весь мир! — слово, а того, кто его сказал, не видно. Уж не само ли это море его принесло?

Я был в том возрасте, когда для человека в мире живо все и у всего есть язык. Тогда человеку весь мир — сказка. А в сказке почему бы и морю не произнести какие-то слова? Ведь говорит же в сказке Царь Морской!

А это слово было как раз такое, будто кто-то произнес его со дна моря,— булькнул им оттуда на весь мир.

Я побежал спросить у матери: кто это говорит «уммб» и что́ это значит?

Но мать ничего не могла объяснить мне. Она была в кухне, не

слышала этого слова и, занятая своими делами, даже не поняла, о чем я спрашиваю.

Забыть такое слово было невозможно, и долго потом я о нем спрашивал у всех взрослых. Но никто не мог мне его объяснить, даже «старые морские волки» — матросы, побывавшие в кругосветных плаваниях.

Но эти-то умели рассказывать о море такое, что, слушая их, я забывал обо всем на свете, даже о слышанном мной таинственном «подводном слове», как я его стал называть про себя.

Из их рассказов выходило, что в море все есть и все может быть, — даже такое, о чем люди и не подозревают. Есть же на свете морской змей длиной в несколько километров. Есть рыбы, летающие по воздуху, — как же, рассказчик их своими глазами видел! «Есть чудовища морские, такие огромные, что в пасти их пропадают целые корабли с мачтами. Есть и такая рыба морская: только приставит ей корабельный кок нож к пузу — она как заорет петухом! Вот те крест! — клянется рассказчик. — Сам, своими ушами слышал, пропади она пропадом!»

Я подрастал. Пришел тот возраст, когда у человека широко открыты глаза на мир — влекущий к себе, прекрасный и таинственный мир, но уже нельзя без оглядки верить всему, что слышишь об этом мире.

Рассказы матросов были очень увлекательны. Пока слушаешь их, веришь, бывало, всем морским чудесам. А потом опомнишься — и пойдут сомнения. Начнешь разбираться, где правда, где сказка и где в сказке правда.

Наверное, уж так я устроен, что мне и до старости кажется: вся жизнь — сказка. К чему ни начнешь прислушиваться — за самым обыкновенным, даже скучным на первый взгляд явлением скрываются удивительные вещи. Начнешь разбираться, а там — полно неизвестного: темные дебри маленьких и больших тайн.

И еще мне все казалось странным, почему это люди — даже взрослые — так охотно выдумывают небылицы, когда было чудеснее всего, что они могут выдумать?

Выдумывают каких-то чудовищ, глотающих корабли. А тому не удивляются, что живое морское чудовище — огромный зверина в сто тонн весом — кит — не может проглотить даже маленького человечка: такое у него узкое горлышко.

Серьезные научные книги начинали тогда раскрывать предомной не менее удивительные чудеса и тайны, чем те, о которых говорилось в сказках. Я узнавал из книг, что существуют на самом деле летающие по воздуху рыбы, рыбы, ходящие посуху и даже залезающие на деревья. И что на самом деле существует морской петух — кричащая рыба.

Это заставило меня снова и снова вспоминать когда-то слышанное мною «подводное слово» и думать: уж не рыба ли какая произнесла его, — и томиться желанием разгадать эту загадку.

Человек пытлив, он хочет все объяснить себе — и во вселенной, и в себе самом. Как же без этого жить? Исследовать, понять должен человек, а не спешить забыться — махнуть рукой.

Мы продолжали летами жить на берегу Финского залива. И вот еще и еще раз пришлось мне услышать этот таинственный звук.

Однако кто его произносил, я никак не мог подметить. Каждый раз та же картина: спокойная гладь моря, на ней — никого, кроме чаек, тишина, неподвижность — и раздается это «уммб!».

Единственное, что я твердо установил в эти годы, это что «уммб» совсем не обязательно раздается в полдень: мне приходилось слышать его и утром, и днем, и вечером — лишь бы на море было тихо.

Но кто произносил это таинственное слово, кто?..

Десять лет томился я этой загадкой.

Разгадка пришла неожиданно. И при довольно странных обстоятельствах.

Случилось, к нашему берегу прибило волной утопленника.

Как полагалось тогда — это было до революции, — из ближайшей деревни послали за урядником и судебным следователем, а в ожидании их приставили к утопленнику сторожа, чтобы никто до приезда властей не пошевелил мертвое тело.

Сторожить ночью досталось знакомому мне мужичку Спирьке. А он был не то что слабоумный, а, как про него говорили, «со шмелем». Из тех, кого до старости зовут уменьшительным именем без отчества. Нескладно все как-то у него получалось, фантазии все разные, а дела нет, — больше все в церковь за семь километров бегал да лоб крестил. Нечистой силы Спирька боялся ужасно, и она всюду ему мерещилась. Ну, где такому всю ночь около утопленника просидеть? Да у него от страха родимчик сделается. А ослушаться старосты нельзя: боится.

Вот Спирька прибежал ко мне и молит:

— Выручи, братец, посиди со мной ночку, смерть боюсь!

А мне шестнадцать лет было — самый такой фанфаронистый возраст, когда не только своего страха никому не покажешь, но и над другим без жалости посмеешься, если заметишь, что чего-нибудь боится.

Над Спирькиной «нечистой силой» я частенько измывался. Он и думал, что мне все трын-трава.

А мне, признаться сказать, никогда еще с покойниками дела не приходилось иметь, и с утопленником целую ночь просидеть совсем не улыбалось. Ну, однако, не откажешься: подумает ведь — трусил.

— Ладно, — говорю. — Обожди. Сейчас соберусь. Ночку с тобой скоротаю, а чуть свет — извини уж! — на охоту уйду.

Какая там охота после бессонной ночи! Но надо же как-то объяснить, зачем ружье с собой беру.

А Спирька и тому рад, что хоть в темноте живая душа с ним рядом будет.

Вот сидим мы со Спирькой ночью у костерка и разные истории друг другу рассказываем. Все про хорошее стараемся, про веселое. Про покойников, утопленников, конечно, ни слова.

А «он» лежит тут совсем близко, свет от нашего костерка до него достигает. Мы у леса, «он» на песке между нами и морем. Рогожами покрыт. Лежит, молчит, не шевелится,— кажется, чего спокойнее? А вот не только Спирьке — и мне страшно. Оба к «нему» сидим вполоборота — спиной боимся повернуться. Оба нет-нет, да и покосимся на «него» одним глазом.

Я-то, конечно, знаю, что со смертью все кончается, мертвый не встанет и ничего плохого сделать тебе не может. А все-таки твердой уверенности, чувствую, во мне нет: вдруг да случится что-нибудь такое страшное? А что — и сам не знаю.

Котелок у нас над огнем приспособлен: чай греется. Двустволка у меня к дереву прислонена.

А ночь июньская, тихая-тихая. Чуть только море плещет. И звезды в небе горят неярко, спокойно так.

Уж вторые петухи в деревне — слышно было — пропели.

И вдруг я услышал шаги: идет кто-то по берегу к нам, камешки у него под ногами похрустывают.

Я взглянул на Спирьку, а на нем лица нет. Глаза с кулак, и рот разинут.

Я взял ружье на колени и жду: кто покажется?

Показался старичок. Совсем с виду не страшный: бороденка плохонькая, в руке суковатая палка, котомка за спиной. В штиблетах. Одним словом — прохожий старичок, из городских.

Повернул к нам. Подошел.

— Мир беседе! — говорит. — Что не спите, люди добрые?

— Сторожим вот, — отвечаю. И кивнул на «того», закрытого рогожками.

— Вот оно какое дело!

Старичок подошел к «тому», нагнулся, опершись на палочку, поднял рогожку и долго, спокойно и внимательно вглядывался в открывшееся ему лицо. Потом опять аккуратно прикрыл его рогожей.

— А это зачем же? — опять подойдя к нам, кивнул он на мою двустволку. Я так и держал ее на коленях. — Убежит, что ли? '

Я не нашелся, что ответить. Приставил двустволку опять к дереву.

Он скинул с плеч котомку, сел, вытащил из нее облупленную эмалированную кружку, хлеб.

— Одолжите кипяточку?

Спирька налил ему из котелка.

Старичок молча напился чаю с хлебом, молча убрал кружку,

достал кисет и сложенную книжечкой мятую газетную бумагу. И, держа ее в руках, о чем-то надолго задумался.

Задумался и я. Старичок мне не нравился. Не потому ли, что он так равнодушно разглядывал «того» — на песке? И посмеялся над моим ружьем?..

— ...Закурим,— сказал прохожий старичок.— Закурим табачку листового, помянем дедушку лесового.

Поминание «дедушки лесового» привело в полное смятение Спирьку: я видел, как он дернулся и, поспешно сунув руку за пазуху, мелко-мелко стал крестить себе грудь.

Старичок, казалось, не заметил этого. Он закурил, предложил табачку нам и, когда мы отказались, стал рассказывать.

Рассказ его был как раз о том, о чем мы со Спирькой в это время меньше всего хотели бы слушать: о мертвых.

Старичок сообщил, что уже сорок лет служит в городе сторожем в морге, или, как он говорил, «при покойницкой». Мертвецы были его специальностью, и видно было, что он может сообщить о них много любопытного. Я уж было и заинтересовался его рассказом, но, взглянув на Спирьку, решительно попросил старичка «прекратить об этом».

Он явно был недоволен, что ему не дают говорить на излюбленную тему, пробормотал себе что-то сердито под нос, но замолк.

Пропели за лесом третьи петухи. Был тихий предрассветный час. Море и лес молчали: еще не начался утренний бриз — не потянуло ветерка с остывшей за ночь земли в море; не проснулись в лесу птицы.

— ...Уммб!..— раздалось вдруг с моря.

— Господи, спаси нас и помилуй! — отчаянной скороговоркой взмолился до смерти перепуганный Спирька.— Господи, господи, господи, да что же это за напасть такая! Помилуй нас, огради, защити, господи!..

Я с удовольствием отметил про себя, что и старик вздрогнул при этом таинственном звуке. Но он быстро оправился. И не замолк еще шепот Спирьки, как он полным презрения голосом обронил:

— Эх тебя схватило! От необразованности все это. Темнота!

И так он это уверенно произнес, такое в его голосе прозвучало равнодушие к тому непонятному, что через это «подводное слово» меня так мучило, что я вдруг подумал: «А ведь вот кто, пожалуй, знает, чей голос произносит это слово!»

И, на всякий случай — чтобы не потерять своего достоинства,— скривив рот в улыбку, я тоном превосходства «образованного» человека, с высоты своих шести классов гимназии, спросил:

— А вы, значит, понимаете, что это мы сейчас слышали?

Старичок сплюнул в костер.

— Прежде слышать не доводилось. А в соображение взять можно. Данные налицо.

«Ого! — подумал я. — Какое слово!»

И даже трепет какой-то внутренний почувствовал: вот сейчас этот сморчок, просидевший полжизни среди мертвецов, в один миг раскроет мне тайну, разгадать которую я не мог десять лет! И досадно было, и любопытно ужасно.

— Так какие же ваши «данные»? — спросил я как можно равнодушнее, особенно подчеркнув «ученое» слово.

Старичок пристально посмотрел на меня и встал. Почти величественным жестом он широко провел вытянутой рукой у себя перед грудью, как бы обводя ею какое-то пространство. Потом опустил ее — и указал на то, что лежало на песке, прикрытое рогожками.

— Понятно?

Я смутился.

— Второе понятно: вон лежит. А первое, признаться, не очень.

— Первое будет — море. Мало разве в нем покойников плавает? Один этот и был?

— А при чем тут он? — совсем удивился я.

— Как, то есть, «при чем»? — рассердился старичок. — Другой человек не своей волей в воду-то попадает: случайно свалится да захлебнется или другие его туда пихнут. Такой своего последнего слова еще не сказал. А дых в них, в покойниках, есть. Такой вот человек и старается с-под воды-то свое последнее слово людям и миру вымолвить. С последним дыхом выдавливают его со дна морского.

«Фу ты! — подумал я. — Какую ерунду выдумал. Вот тебе и «образованность»!»

Я махнул рукой и нарочито протяжно зевнул.

Это не прошло мне даром.

— А вы, молодой юноша, — сощурившись, сказал вдруг старичок, — видать, из образованных будете? Что же покойников-то эдак боитесь? В бабьи сказки верите? Стыдно-с!

Я, конечно, вспыхнул.

— Из чего это вы заключаете, что я боюсь? И не думаю! Я сюда добровольно пришел, вот с ним, — я кивнул на Спирьку, — посидеть. Потому что он боится.

— А не боитесь, — сказал старичок и вредно так улыбнулся, — так вот извольте потрудитесь до моря дойти — взглянуть, не плывет ли там еще какой покойничек? Да чтобы мы знали, что вы до самой воды дошли, прихватите вот пустой котелок, принесите нам воды из моря. Ась?..

Это уж был прямой вызов. Отказаться — значило признать себя трусом.

Я вскочил, схватил котелок, протянул было руку и за ружь-

ем, но, покосившись на ехидного старичка, поспешно отдернул руку. Пошел с одним пустым котелком.

До моря по прямой было шагов с сотню. Идти надо было мимо прикрытого рогожами тела. И я прошел нарочно как можно ближе к нему: на вот тебе!

Я хоть не оборачивался, но уверен был, что старичок не спускает с меня глаз, так и сверлит ими спину мне.

Здорово я был в эту минуту зол на этого прохожего старичка. Да и на себя тоже: ведь я действительно побаивался, а чего — и сам не знал. Я же не семинарист, не верю ни в ведьм, ни в колдовство, ни в разных там виев, ни в восстающих из гроба покойников и стучащих в окно утопленников.

...И в распухнувшее тело
Раки черные впились...—

вспомнились мне вдруг с детства знакомые строчки, и все тело сразу покрылось «гусиной кожей».

«Фу ты, чтоб тебя! — подумал я. — Лучше совсем об этом не думать. Потом разберусь, откуда все-таки этот страх. Днем же не трушу».

Я уже подходил к морю. Начинало рассветать. Я всматривался в воду: вдруг там на самом деле... Но нет, конечно, не бывает таких неожиданных совпадений!

Вместе с тем мне холодило спину: я не мог забыть, что там, у меня за спиной, лежит «тот», покрытый рогожками.

...посинел и весь распух...

Однако тут мне пришлось убедиться, что совпадения в жизни бывают самые неожиданные и такие, которых человек заранее даже представить себе не может.

Я увидел в волнах темное тело.

«Нет, это подводный камень обнажился!» — мысленно сопротивлялся я тому, что видели мои глаза и что не хотело, ни за что не хотело признать мое сознание.

Темное тело покачивалось в спокойных волнах так недалеко от берега, что виден был даже желтоватый блеск, которым оно отсвечивало в лучах разгорающейся зари. И заметно было, что его несет к берегу.

Больше обманывать себя нельзя было.

Мне стало нехорошо. Я почувствовал слабость под коленками и должен был опуститься на песок.

Мне показалось, темное тело исчезло. Но вот я его опять увидел — ближе.

...Опять исчезло. Или это у меня мутится в глазах?

Я сидел, не смея пошевелинуть пальцем.

И какой-то уж совершенно неожиданно для меня утопленник вдруг очутился совсем рядом: выплеснулся на влажный песок вместе с волной. Длинное мокрое тело, все в мутных пятнах, залитая водой голова... И голова эта смотрела на меня в упор открытыми, живыми человеческими глазами!

Этого я не мог вытерпеть.

Я вскочил и... не знаю, что бы я сделал, если б утопленник не повернулся вдруг очень быстро всем телом и не нырнул назад в море.

Можете смеяться надо мной, но я в ту минуту не мог сообразить, что это зверь — нерпа, тюлень.

Я понял это только через несколько времени, когда уже совсем рассвело и я увидел тюленя. Он плыл недалеко от берега и скоро потом вылез на плоский, чуть выглядывающий из воды камень.

С камня он сейчас же опять нырнул в воду: наверно, увидел меня на берегу, на старом месте. Нырнул, вынырнул — и вот оттуда, с моря, от самого того камня, где он появился, четко и ясно раздалось:

Уммб!

Это случайное маленькое открытие принесло мне неожиданную радость.

Не в том дело, что я мог теперь торжествовать над прохожим старичком, так ехидно надо мной посмеявшимся. Кстати сказать, я больше его не видел: он ушел, не дождавшись меня с моря.

И не в том дело, что я разгадал то, что для других — даже стариков — было тайной; хотя это, конечно, было приятно. А в том была моя радость, что я одержал победу над самим собой.

Скоро мне пришлось убедиться, что после этого глупого приключения прошел страх мой перед таинственным. Только начнешь трусить чего-нибудь непонятного, разом всплывает в памяти, как я тюленя принял за утопленника, — и сам на себя улыбнешься. А где улыбка, там какой же уж страх. И вот захочется найти простое объяснение тому, что кажется таким таинственным.

Сколько раз потом ночью на охоте мне приходилось слышать жуткие, неизвестно кому принадлежащие голоса. А утром по следам, оставленным зверями и птицами на земле или снегу, разгадывать, кто напугал меня в темноте.

Или вот сейчас, я опять вслушиваюсь в таинственную тишину перелома дня. Перед окном моей избы на колхозной улице сидит ворона. Даже не сидит, а скорее лежит: распластала крылья в пыли, приоткрыла клюв...

Дальше — за околицей — на сосне сидит большой ястреб-теревятник. Я не вижу отсюда, открыл ли он клюв, но достаточно того, что он сидит неподвижно и не делает никакой попытки схва-

тить в когти глупую ворону, так беспомощно развалившуюся у него на виду в пыли.

Я знаю: он насытился с утра, он тоже утомлен жарой.

Ополдень будто бы замерла жизнь в природе так, как замерла она в сказке о спящей красавице. Безмолвие, безветрие; ходики у меня на стене однотонно отсчитывают минуты. О, как быстро они бегут!

Солнце — отец жизни — продолжает свой путь, ниже клонится к горизонту, и все живое под ним скоро стряхнет с себя это полуденное оцепенение.

— Сезам, откройся! — Сколько раз открывалась передо мной на миг сказочная гора Сезам, но двери, за которыми не счесть сокровищ, тотчас же опять захлопывались у меня перед носом. Я не боюсь этого теперь. Я знаю: это не страшно, раз человек понял, как они отворяются.

К самым таинственным, призрачным дверям всегда найдется простой вещественный ключ. Умей его только найти.

Сокровища будут твои.

НЕСЛЫШИМКА

(Рассказ старого ученого)

Из анкеты

В о п р о с: Сильно выраженные духовные особенности, сказавшиеся в научном успехе?

О т в е т: Настойчивость и большая любознательность в отношении фактов и их значения. Некоторая склонность к новому и чудесному.

Чарлз Дарвин

Раз уж зашла речь о тишине, позвольте и мне, старику, рассказать о ней кой-что.

Конфузная для меня вышла история, надо признаться. Курьезный казус. И, главное, кто сконфузил-то меня — ученого, старого специалиста? Собственная внучка, ребенок. А все потому, что мы... Ну, да об этом после. Доложу вам по порядку.

Четвертое лето уже мы проводили в одной деревне Мошенского района Новгородской области. Я — орнитолог¹ и, конечно, в такой срок детально изучил весь видовой состав гнездящихся в окрестностях птиц. Написал даже о них небольшую работу

¹ О р н и т о л о г — ученый, изучающий птиц.

и как раз в эту весну сдал в печать, считая ее вполне законченной.

Приехали мы тот год в деревню в конце мая. Внучка нередко сопровождала меня на прогулках. Она у меня лес и животных всяких очень любит. Ну, а я, конечно, исподволь и занимался с нею тем, что называю «включением слуха и зрения на птицу в природе».

Все мы, знаете, не видим и не слышим очень многого из того, что нас окружает. А когда человек специализируется на чем-нибудь, он прежде всего начинает замечать то, что относится к его специальности. Так, штурман — водитель кораблей — очень внимательно смотрит на звезды и, так сказать, «читает» их, потому что привык ориентироваться по ним. Летчик слушает и тонко понимает шум мотора, который нас часто только раздражает, когда мы слышим его у себя над головой. А художник в свете и цвете видит такое, что совершенно ускользает от нашего поверхностного взгляда и даже кажется нам неправдоподобным, будучи изображено кистью на полотне или на бумаге.

Орнитолог, конечно, видит и слышит везде прежде всего птиц. Я вот, например, могу идти с вами и разговаривать, хоть в лесу, хоть в городе, — вы ничего не заметите, а я про себя невольно отмечаю: вот синица пискнула, мелькнули в чаще голубые перья на крыле сойки или крикнул, пролетая над крышами, грач.

Я обращал внимание внучки на птиц, на их крик, песни, полет. Она у меня уже хорошо различала по голосам десятка два певчих птиц. Но, конечно, с ее крошечным опытом не могла еще знать всех встречавшихся нам птиц, как знал их я. Поэтому меня очень насмешило, когда раз в самом начале лета она прибегает из лесу и говорит:

— Дедушка, а ты знаешь птичку-неслышимку? Ты почему мне ее никогда не показывал?

— Постой, постой, — говорю. — Что это еще за неслышимка? Опять сама придумала, вроде Зумзика и Момика?

Она у нас фантазерка. Недавно ее мать рассказывала: играет девчурка одна в саду, а всё, слышно, с кем-то разговаривает — то с каким-то Момиком, то с каким-то Зумзиком. Мать спросила ее, с кем это она. Девчурка только рукой махнула: «Ты не понимаешь! Такие у меня живут здесь — Момик и Зумзик. Мне с ними весело».

И сколько ни расспрашивала мать, так и не могла добиться, что́ это у нее за невидимки такие — не то человечки, не то зверюшки какие-то фантастические.

На мои слова внучка даже рассердилась.

— Ничего я, — говорит, — не сама придумала! Просто глазами видела. Сидит такая горбатенькая птичка на дереве, на верхней ветке, сама ротик разевает, и горлышко у нее трепещется, а все равно ничего не слышно, никакой песенки.

Я уж, чтобы не обидеть девчурку, сделал вид, что поверил ей. Спрашиваю:

— Где же это ты видела ее?

— На ручье, на пожне у самой опушки леса. Знаешь, где ты всегда покурить на пенек садишься, когда мы из лесу выходим?

— Интересно, — говорю. — В следующий раз пойдем, ты мне ее покажи.

— А она не улетит?

— Нет, ведь сейчас все птицы на гнездах. Раз тут поет, тут и будет.

В лес я пошел на следующий же день. О фантастической «неслышимке», конечно, забыл уже. А внучки со мной не было: она пошла с матерью в другое место — нарвать букет купальниц.

Уже я возвращался домой, когда мой слух поразила неожиданно наступившая в лесу тишина: одна за другой перестали петь птицы. Через две-три минуты я понял причину: вдруг потемнело, налетел сильный шквал, и почти сейчас же хлынул дождь.

Как это часто бывает в начале лета, он продолжался всего несколько минут. Но шуму наделал много. Когда я вышел из лесу на пожню — так здесь называют заливные луга, — я был поражен контрастом между полной тишиной этого открытого места и шумом леса. Шум позади меня и тишина впереди были сами по себе, и четкой границей между ними стояла стена леса. Птицы еще не начали петь ни на пожне, ни в лесу, ветер еще не улегся, мотал ветви деревьев и сбрасывал с них обильные брызги; они падали на нижние ветви, с ветвей — на землю. Одним словом, в лесу была бурная звонкая капель; казалось, там все еще шел дождь. А на пожне капель не могла быть заметна, потому что тут росли только отдельные деревья, открытые ветру, и ветер уже стряхнул с них последние капли дождя.

По своему обычаю, я сел недалеко от ручья на пенек — выкурить папиросу. И при этом, конечно, вслушивался в тишину.

Тишина бывает разная. Тишину этого освеженного ливнем луга никак, разумеется, нельзя было назвать «мертвой» тишиной. Как почти всегда в природе — днем ли, ночью ли, — тишина вся наполнилась незаметными нашему слуху маленькими звуками. Она, можно даже сказать, вся состояла из этих почти неуловимых звуков: легкого шелеста травы, шороха пробегающих в кочках мышей — шум, доступный разве только ушам совы, — звона падения с листьев отдельных капель, тихого пения ручейка. Я даже явственно различал где-то слева от себя стрекотание кузнечиков. Однако и этот звук — наиболее определенный из всех других — нисколько не нарушал тишины, как нарушила бы ее звонкая песня зяблика, или скрип телеги, или крик человека. Он был лишь фоном, аккомпанементом в этом, если дозволительно так выразиться, богатейшем не м о м о р к е с т р е луга.

Мне даже взгрустнулось немножко. О том думалось, что вот я уже старик. Сажу тут и вслушиваюсь в эту прекрасную тишину. И всю ее, так сказать, насквозь умом понимаю. Запой сейчас любая птица, пискни в траве — тонко, как ножом по стеклу, — землеройка, я и эти все звуки узнаю, объясню себе. А вот для ребенка сколько тут неизвестного, сколько всяких чудес! Пригрезились же моей внучке и Момик, и Зумзик, и эта смешная «неслышимка». И хорошо ей, девчурке, весело с ними, и сейчас, вот сейчас может случиться с ней и вокруг нее что-то совсем удивительное, настоящее д и в о.

Замечательное это ощущение, прекрасное состояние души. И, право, досадно, если оно глохнет у человека с возрастом, с личным жизненным опытом и усвоением науки — итога жизненного опыта, знаний всего человечества. Нет, знание никогда не должно убивать в человеке веру в то, что сегодня кажется нам тайной, дивом, а завтра будет всеми признано и объяснено!

Не помню, как дальше скакнули, разбежались и вдруг опять соединились мои мысли, так спокойно тянувшиеся до этого момента.

Помню только — на опушке дробно, громко затрещал всполошенный чем-то певчий дрозд. Беспокоясь, дрозды всегда так отчаянно кричат, точно их уже схватили за хвост.

Протрещал и смолк. И от этого сильного звука еще тише показалось на пожне. И еще отчетливей в тишине зазвучал оркестрик кузнечиков — всё где-то слева от меня.

И тут вдруг пришло мне в голову: «Но ведь это же абсурд! Какие же кузнечики в самом начале лета, когда еще цветут купальницы! Кузнечики у нас начинают трещать только в июле».

Я так резко повернулся налево, что даже выронил папиросу из рук.

Так все и было, как рассказывала моя внучка: там, над ручьем, на вершине ольхи сидела горбатенькая птичка. Она разевала клюв, и перья на раздутом горлышке у нее трепетали, а песни не было слышно. Только громко стрекотали кузнечики.

Вероятно, я своим резким движением испугал немого певца: он исчез, камешком свалился с ветки. И в тот же миг оборвалось стрекотание кузнечиков.

Ну, мне-то, конечно, было достаточно и одного этого мгновения, чтобы узнать птичку: и фигурка ее горбиком, и характернейшая повадка — в случае тревоги камешком падать в траву с того высокого места, где она сидит, распевая, — и, разумеется, самая ее эта оригинальная песенка-трель, почти неотличимая от стрекотанья крупных кузнечиков, — все разом сказало мне, что это был обыкновенный сверчок, камышевка-сверчок.

Скажете — пустяки? Нет, совсем не пустяки! Вы только подумайте: три года слушал я тут птиц, написал, казалось мне, исчерпывающую работу о них, а вот эту птичку как-то совсем

упустил из виду. Не ждал — уж не помню, по каким тогда своим соображениям, не ожидал ее тут встретить. И много раз, конечно, слушал с этого же самого пенечка ее песню — и не слышал. Невдомек мне было. А как услышал вот тут в первый раз ее, так и в других местах кругом стал слышать сверчков: их оказалось в окрестностях нашей деревни немало.

Пришлось спешно взять из печати мою работу и дополнить ее еще одним гнездящимся видом.

Нет, не видим, не слышим ведь мы того, о чем не думаем! Очень многого не слышим.

И спасибо внучке, что мне помогла. Я ей включал слух на известное. А она мне включила слух на неизвестное и, казалось мне, немыслимое: на какую-то «неслышимку»!

И правда оказалась на ее стороне, на стороне ребенка.

ПАВЕЛ
БАЖОВ

*У*РАЛЬСКИЕ
СКАЗЫ



СЫН УРАЛА

Уральский горнозаводский край — родина Павла Петровича Бажова, создателя удивительной, неповторимо своеобразной книги «Малахитовая шкатулка». П. Бажов родился 28 января 1879 года в семье горного мастера Сысертского завода, что около Екатеринбурга (Свердловска). Детство и юность будущего писателя прошли в Сысерти и Полевском, где на старинных заводах и рудниках, еще крепостными рабочими, трудились его деды и прадеды, где у медеплавильных печей стоял и его отец. Заводская среда, в которой рос и формировался П. Бажов, смолоду привила ему любовь к родимому краю, уважение к подлинному мастерству. Здесь ценили умелые руки и презирали всяческое тунеядство, захребетничество. Уже с малых лет каждый подросток старался поскорее перейти в семье своей из «едоков» в «работники».

В горнозаводских поселках издавна бытовали «тайные сказы» — народные предания о тяжком труде в старых рудниках, о бунтах крепостных рабочих против жестоких заводчиков, легенды о Думной и Азов-горе, где скрывались «вольные люди», где сам Пугачев «думал свою думу». Передавали из поколения в поколение и кладоискательские сказы. В них говорилось о неслетных сокровищах, скрытых в недрах Уральских гор, охраняемых «тайной силой» — Малахитницей, которой подвластны медные руды, гигантским змеем Полозом, хозяином золотых россыпей, и другими сказочными персонажами. А рядом с ними возникал в сказах образ бывалого горщика, рудознатца, которому «тайная сила» открывала доступ к «земляному богатству». Вот о таких «первых добытчиках» и рассказывали, что они, дескать, «нутро земли» видят, «секрет знают» — «что, где положено».

Слышал эти горняцкие сказы П. Бажов и в родном доме, и от «заводских стариков», что, «изробившись» под землей, в рудниках, сидели теперь сторожами то ли на плотине, то ли у древесных складов, у караулки на вершине Думной горы, откуда, как вспоминает писатель, открывались «...темно-синие волны густого хвойного бора», «...круглая, будто переполненная чаша По-

левского пруда и уходящая вдаль широкая река — Северский пруд».

Позднее вспоминал П. Бажов об этой поре, о далеком детстве и в первой своей историко-документальной книге «Уральские были» (1924), и в очерке «У старого рудника» (1939), а также в автобиографических повестях «Зеленая кобылка» (1939) и «Дальнее — близкое» (1949).

Впечатления юности обогатились жизненным опытом последующих лет. Бажову, выходцу из коренной рабочей семьи, посчастливилось все же получить образование. В 1899 году стал он учительствовать в глухой уральской деревне Шайдурихе, расположенной возле старинных невянских заводов — еще демидовских, заводов той исторической поры, когда при Петре Первом положено было начало русской металлургии.

История родного края всегда влекла к себе П. Бажова. Каждый год во время школьных каникул странствовал молодой учитель по Уралу, беседовал с рудокопами и литейщиками, людьми «огненного труда», с камнерезами и старателями, вел обширные записи. Так накапливалось «своеглазное знание» — тот запас живых, непосредственных наблюдений, которые позднее легли в основу главной его книги «Малахитовая шкатулка».

С первых дней Октябрьской революции перед П. Бажовым открывается новая страница истории Урала. Он вступает в Коммунистическую партию и с 1918 по 1920 год сражается на фронтах гражданской войны. Именно в эти грозные годы и взялся Бажов за перо — он редактирует дивизионную газету «Окопная правда», становится боевым публицистом. «Вероятно, никаких литературных работ у меня не было бы, если бы не революция», — говорил он позднее.

П. Бажов всегда был в гуще событий. Он прошел через огонь тяжких боев 1918 года на Уральском фронте, а с весны 1919 года был направлен на подпольную работу в колчаковский тыл, где в накаленной, полной опасностей обстановке пришлось ему, как вспоминают тогдашние его соратники, «собирать силы, восстанавливать разрушенные связи, создавать новые боевые ячейки»¹, а затем руководить партизанским движением в Сибири, на Алтае. В декабре 1919 года Бажов участвовал в окончательном разгроме белых, с боями вошел в город Усть-Каменогорск, где возглавил партийную организацию уезда и одновременно стал редактором созданной в эти дни газеты «Советская власть».

П. Бажов был захвачен всем происходившим вокруг него. Он видел не только ожесточение борьбы со старым миром, но и величие начинавшегося строительства нового общества. И неизменно стремился внести свой творческий вклад в этот процесс исторического созидания.

¹ Журнал «Урал», 1969, № 1, стр. 81.

Огромные неотложные задачи возникали перед партийными работниками Горного Алтая. Голодали промышленные центры Советской России, им надо было помогать продовольствием, хлебом. В самом крае там и сям вспыхивали разрозненные кулацкие бунты; банды из разгромленных колчаковцев, укрывшихся за китайской границей, то и дело прорывались на советскую территорию — грабили, жгли, убивали. В трудной этой обстановке коммунисты умело, настойчиво налаживали мирную жизнь своего края.

П. Бажов участвовал в возрождении знаменитого Риддерского рудника, разрушенного по приказу его владельца английского концессионера Лесли Уркварта.

В крае была развернута широкая сеть школ, под руководством Павла Петровича впервые возникали здесь школы национальные, где казахов обучали на родном языке. А по тому времени было это совсем еще новым делом. Во все свои начинания вносил Бажов энергию, живую мысль, стремился дать простор народным талантам, всячески способствовал расцвету народного творчества.

О всем увиденном, передуманном, пережитом за годы гражданской войны рассказал писатель в своих историко-очерковых книгах: «За советскую правду» — о сибирских партизанах (1926); «Бойцы первого призыва» — об истории полка Красных орлов (1934); «Формирование на ходу» — история Камышловского полка (1936).

В самом начале двадцатых годов возвратился П. Бажов на родной Урал. Работая в «Крестьянской газете» (1923—1930) в качестве корреспондента, разъезжал он по уральским заводам и деревням, наблюдая происходящие повсюду перемены — то, как «перешевеливается» вся жизнь края.

Таков был запас жизненных впечатлений, с каким писатель подошел к работе над сказами «Малахитовой шкатулки». Старые рабочие, хранители горнозаводских преданий и легенд, раскрыли перед ним страницы «неписаной истории» Урала. А новые поколения трудовых людей, рабочих-умельцев, героическими своими делами уже в наше время осуществляли надежды и мечты далеких предшественников. «...Давно пора, — говорил Бажов, — рассказывать о прошлом по-другому. Темное — темным, а ведь были в прошлом и ростки того, из чего родилась революция, героика гражданской войны и последующее развитие первого в мире государства трудящихся».

Остро ощущал писатель непрерывное мощное движение истории, глубинную связь настоящего с давно минувшим. Его мудрые сказы, причудливые, красочные, полные народного юмора, лукавого задора, ярко запечатлели жизненный опыт целых поколений трудовых людей. П. Бажов творчески по-новому продолжил в литературе традицию горнозаводских сказителей. Основной

темой «Малахитовой шкатулки» стала тема высокого мастерства, исторического новаторства рабочего человека.

Первое издание этой удивительной книги в 1939 году состояло из четырнадцати сказов. В последующие годы писатель все пополнял и пополнял новыми произведениями драгоценную свою поэтическую «шкатулку».

«Малахитовая шкатулка» принесла уральскому сказочнику всенародную славу. За нее присуждена была ему Государственная премия. В 1944 году правительство наградило писателя орденом Ленина.

Советский народ высоко оценил творческий труд славного сына горнозаводского Урала. В 1946 году, а затем вторично, в 1950 году, Павел Петрович Бажов избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Сказы П. Бажова образуют несколько циклов: это сказы о чудесных мастерах — камнерезах, чеканщиках, сталеварах; о «первых добытчиках» — рудокопах и старателях; сказы о Ленине, и, наконец, уже в последнее пятилетие работы писателя — сказы-были, сказы-притчи, как бы уроки жизни, над которыми рассказчик, умудренный опытом прожитых лет, зовет задуматься и молодых своих слушателей.

Сказы первого цикла — о мастерах, которым присуща «живинка в деле», — воспевают смелую выдумку, умелые рабочие руки, способные осуществить любой замысел мастера, воспевают труд, превращающийся в творчество. Истинное мастерство, утверждает писатель, — это всегда поиски, новаторство, а отнюдь не педантичная ремесленная добросовестность.

Задумал камнерез Данила воплотить в камне красоту простого лесного цветка («Горный мастер»). Но не дается ему малахитовая чаша, над которой он трудится, и не радуется ее внешняя отделанность. Хвалят все — «чисто сработано», «в аккурат-де по чертежу», а сам он не рад. «То и горе, — жалуется Данила другим мастерам, — что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый... а красота где? Вон цветок... самый что ни есть плохонький, а глядишь на него — сердце радуется». Потому-то идет мастер Данила на выучку к самой Хозяйке Медной горы, просит показать ему сказочный «каменный цветок», что растет в ее подземных владениях.

В горнорабочих сказах Малахитница была только хозяйкой «земляных богатств»; у Бажова она еще и хранительница секретов высокого мастерства. Фантастический этот образ — воплощение красоты самой уральской природы, вдохновляющей на творчество. Недаром на Хозяйке платье «из шелкового, слышь-ко, малахиту», и «то оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скрасна медным станет...».

В сказах предстает она — такой и повстречал ее рудокоп Степан («Хозяйка Медной горы») — всегда в окружении быстрых веселых ящериц, иногда и сама ящерицей оборачивается. Образ этот сразу становится «ясен для всякого, — говорит П. Бажов, — кому случалось видеть открытый выход углекислой меди или ее разлом. По цвету, а иногда и форме здесь сходство очевидное».

Внимательно вглядываются рабочие люди в окружающий их яркий, многообразный мир, познают его сказочную прелесть, его поэзию, и это одухотворяет их труд. Недаром, когда старого камнереза спросили, как это получается, что малахитовые изделия, выходящие из его рук, всегда «цветом разнятся и узором не сходятся», он ответил просто и чистую правду: «Я из окошечка на ту вон полянку гляжу. Она мне цвет и узор кажет. Под солнышком одно видишь, под дождиком другое. Весной так, летом иначе, осенью по-своему, а все красота. И конца-краю той красоте не видится» («Железковы покрышки»).

Сказы о «первых добытчиках» также связаны с фантастическими образами из горняцких легенд: тут и суровый хранитель золотых залежей — сам Полоз, его дочери Змеевки, и маленькая озорная Огневушка-Поскакушка, которая, если захочет, «верховое золото» покажет, и колдовская бабка Синюшка, что сторожит бездонный колодец с самоцветами.

Ощущение чудесного писатель передает, раскрывая внутреннюю силу фантастических этих персонажей. Есть в них что-то мощное, особенное, заставляющее понимать, что не с простым человеком имеешь дело. Так, Полоз, при встрече его со старателем, раскрывается через впечатляющую деталь: «Мужик такого же росту, как Семеныч, и не толстый, а, видать, грузный. На котором месте стал, под ногами у него земля вдавилась» («Про Великого Полоза»). Змеевка, дочь Полоза, пришедшая на рудник в образе простой рыженькой девчонки, смиряет обидчика: «...установилась глазами-то, у Костьки и руки опустились, ноги задрожали, страшно ему чего-то стало» («Змеиный след»).

В сказочных героях П. Бажова поэтически, образно воплощается реальная мощь самой природы. На этом и основан мотив дружбы, единения «тайной силы» с «первым добытчиком» — рудокопом или старателем.

Герой бажовских сказов — рабочий человек не преклоняется перед могучими и грозными хозяевами «земельных богатств», не отступает перед ними, а противостоит им как равный. Право на это он обретает своим чудесным, творческим трудом.

Герой этой группы сказов — или опытный бывалый горщик, или совсем еще юный, даже ребенок, но неизменно тот, кто с детства пылливо вглядывается в окружающую его природу, задумывается над ее тайнами. И характерно, что хотя в основе многих сказов зачастую лежит такая сюжетная ситуация, как

поиски «змельных сокровищ», но нет здесь привычного сказочного мотива «волшебного обогащения», всегда движет событиями стремление героев к глубокому, творческому познанию окружающего их мира.

Мотив жизненной удачи, счастья в сказах «Малахитовой шкатулки» всегда связан с радостью творческого труда. Недаром бабка Лукерья предостерегает внука Ильюху («Синюшкин колодец») против «худых думок»: «...про деньги да про богатство». «А разве его не бывает у людей удачливых?» — спрашивает молодой старатель. «Бывать-то бывает, только ненадежно дело: комочками приходит, пылью уходит, на человека тоску наводит».

Сама природа в образе «тайной силы» восстает против мертвящего отношения к ее дарам, жестоко наказывает тех, кто пытается превратить в деньги ее чудесные самоцветы, руду, золото, золотые «комочки».

С этими мотивами связана группа сатирических сказов, осмеивающих пустоту и бессмысленность человеческой алчности. Как-то вроде посчастливилось на Красногорке Ваньке Сочню, старателю, правда «не всамделишному, а так, с боку припеку» — из породы хозяйских прихлебателей, — нашел он россыпь драгоценных изумрудов — «зеленые зернышки». Сама Хозяйка горы ему их показала. Набил жадно полнехонек кошелек, да когда перед барином и всей «заводской знатью» открывать его стал: «...такой, слышь-ко, дух пошел, — терпеть нельзя. Ровно палую лошадь либо корову затащили». И рассказчик иронически завершает: пустой кошелек-то оказался — видно, созорничала, надсмаялась над всеми грозная Хозяйка («Сочневы камешки»).

Характерной чертой бажовских сказов являются их живописность, жизнерадостная эмоциональность окраски, богатство речевой стихии. Всегда восхищала писателя красочность русской речи, ее напевность, гибкость фразы, смысловое многообразие. «Уж очень огромен наш язык, и каждый из нас перед ним козявка козявкой!» — воскликнул как-то Павел Петрович. Велик был интерес у него к тому слову, что рождалось ежедневно, ежечасно в гуще народной жизни, в самых обыденных разговорах или во время труда. Он внимательно прислушивался и к живой, современной речи, и к сказовой, сохранявшей ритм, звучание, мысль прошлого. Улавливал, записывал народное сочное и яркое слово.

«Задумайтесь над таким явлением, — не раз говорил Павел Петрович, — что ни речение, ни присловие, даже словечко, всегда оно у нас и весело, и звонко, и полно глубокого смысла».

В свою записную книжку П. Бажов постоянно заносил словечки и речевые обороты, передающие характерные черты быта, психологии уральских горнозаводских рабочих.

Певучий русский говор пронизывает сказы «Малахитовой шкатулки»: «и речист, и плечист, умом и ухваткой взял» («Ермаковы лебеди»). Фразе Бажова присуще обилие уменьшитель-

ных слов, придающих ей мягкую напевность: «Попробовал ушки и давай нахваливать... из сумы хлеб ушка мяконького достал, ломочками порушал и перед ребятами грудкой положил» («Про Великого Полоза»).

Даже столь сухая материя, как производственная деталь, оказывается у Бажова опоэтизированной именно благодаря обращению художника к чудесной этой напевности русского языка. Учат тагильские мастера хрустальный лак варить: «Коли ловко угадаешь, выйдет лак слеза-слезой, коли запозднишься, либо заторопишься — станет сажа-сажей» («Хрустальный лак»). А в сказе «Живинка в деле» молодые углежоги сетуют: «Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не дает, а все у него трухляк да мертвяк выходит. У соседей вон песенки попевают, а уголь звон-звоном. Ни недогару, ни перегару у них нет и квелою самая малость».

Очень часто из производственной детали вырастает фантастический образ. Так, в сказе «Живинка в деле» дед Нефед обучает своего подручного Тимоху, как уголь жечь, чтобы тот высокого качества получился. Он говорит Тимохе о необходимости следить за огнем. И деловое описание производственного процесса перерастает в поэтический образ. «По этим вот ходочкам в полных потемочках наша живинка-паленушка и поскакивает, а ты угадывай, чтоб она огневкой не перекинулась либо пустодымкой не обернулась». Отчетлива здесь связь фантастического образа с реальной жизненной основой.

Все сюжетные, образные и языковые средства подчинены художником главной задаче — поэтическому раскрытию образа трудового человека.

На протяжении многих десятилетий наблюдал П. Бажов своих героев в развороте исторических событий, в гуще жизни, и они открывались ему во всей сложности, неповторимости реальных характеров.

Грозные годы Великой Отечественной войны явились новым испытанием, которое с честью выдержал горнозаводский Урал. «Любил и уважал крепкий, выносливый и твердый народ своего края,— с гордостью записывает Павел Петрович в дневнике 12 декабря 1945 года.— Годы войны не просто это подтвердили, а во много раз усилили». И писатель говорит: «После большой беды, как после горькой слезы, глаз яснее, позади себя то увидишь, чего раньше не примечал, и вперед дорогу дальше разглядишь».

Осмысливая все увиденное и пережитое, П. Бажов пишет свои сказы-были. Здесь нет уже фантастических героев, события подчеркнута обыденны, но за этой внешней их оболочкой раскрывает нам писатель философскую глубину простых житейских фактов, учит вдумываться, вглядываться в поток жизни. В центре

повествования образ рассказчика — старого, бывалого горняка, который, подытоживая свой опыт, учит, казалось бы, на повседневных примерах, как надо достойно жить.

Вот хотя бы герой сказа «Живинка в деле» — захотел он все ремесла «своей рукой опробовать». Посмеивались над ним друзья да родичи, а Тимоха все же на своем поставил: всему обучился и в каждом деле «до точки дошел». Да только было это ремесленное знание правил, а не подлинное мастерство.

Понял это Тимоха, когда попал в выучку к углежогу деду Нефеду. Принял тот его с лукавым уговором: «От меня тогда уйдешь, как лучше моего уголь доводить навыкнешь». Казалось бы, простое дело у Нефеда, да победить старого мастера Тимоха не смог. А секрет-то был в том, что дело у Нефеда на месте не стояло, вперед двигалось. И учил он Тимоху не книзу глядеть — «на то... что сделано», а кверху — «как лучше делать надо». Учил искать «живинку», которая в каждом деле есть. Она «впереди мастерства бежит и человека за собой тянет. Так-то, друг!».

Человек обязан сам определить свою судьбу, каким путем идти в жизни, — вот чему учат бажовские сказы-притчи. По гребню горы проходила как-то граница заводской территории. И превращается эта «Васина гора» в одноименном сказе в обобщенный образ жизненных испытаний, трудностей, неизбежных препятствий, которые человек должен уметь одолевать. А в проверке внутренней стойкости, упорства, сознательного стремления по-своему проложить путь в жизни и проявляется для П. Бажова истинный характер человека. «Вот видишь, — говорит сторож дедко Василий юному подручному, — гора-то на дороге силу людскую показывает. Иной по ровному месту, может, весь свой век пройдет, а так своей силы и не узнает. А как случится ему на гору подняться вроде нашей, с гребешком, да поглядит он назад, тогда и поймет, что он сделать может». И с доброй лукавинкой добавляет старый горщик мальчонке в поучение: «Только то помни, что не всякая гора наружу выходит. Главная гора — работа. Коли ее пугаться не станешь, то вовсе ладно будет».

Эта мысль лейтмотивом проходит во всем творчестве писателя. Недаром вспоминал Федор Гладков слова, сказанные ему как-то автором «Малахитовой шкатулки»: «Чем велик и прекрасен человек? Одухотворенным трудом... Вне труда нет и человека».

3 декабря 1950 года замечательный писатель Павел Петрович Бажов ушел из жизни, но прекрасная книга его жива, она с нами. Уральские сказы — «Малахитовая шкатулка» — вновь и вновь переиздаются на языках народов мира и уже обошли весь земной шар. Читая эту книгу, невольно вспоминаешь слова, завершающие один из бажовских сказов: «Работа — она штука долговекая. Человек умрет, а дело его останется. Вот ты и смекай, как жить-то?»

Л. И. Скорина



УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ

У КАРАУЛКИ НА ДУМНОЙ ГОРЕ

Вместо предисловия

В детстве пришлось мне три года провести в Полевском заводе. Было это чуть не полвека тому назад — в 1892—1895 годах.

Жили мы за рекой, почти у самой горы Думной, в небольшом домике, стоявшем на шлаковых отвалах.

Кругом было пустынно и безлюдно.

В той стороне, где теперь высятся многочисленные корпуса криолитового завода и соцгородка, виднелось лишь чуть всхолмленное поле старого Гумёшевского рудника, а за рудником и заводским поселком тянулись темно-синей полосой бесконечные хвойные леса...

Недалеко от нашего дома находилась заводская «дровяная площадь». Для ее охраны на горе Думной была поставлена будка с колоколом. Звон колокола по вечерам казался таинственным, и детское воображение рисовало и связывало с будкой всякие «страшные истории».

— Пойдем на гору сказки слушать,— пригласил меня один из первых моих полевских приятелей.

— Сказки?.. Что я, маленький?

— Пойдем! Сегодня на карауле дедушка Слышко стоит. Он занятно рассказывает. Про девку-Азовку*¹, про Полоза, про всякие земельные богатства...

В Полевском заводе тогда медеплавильное производство доживало свои последние дни. Переделочные цехи работали на слитках Северского завода, но тоже с большими перебоями. В этих условиях заводское население усиленно ударилось в поиски золота и хризолитов. Понятно, что это отражалось и в быту.

Об Азовке и Полозе, о кладоискательских приметах и всяких земельных богатствах мне уже не раз приходилось слышать. Но все это было как-то не по-настоящему, без начала, без конца. Послушать об этом заново показалось интересно. Пошел с товарищем на гору и с той поры стал самым ревностным слушателем дедушки Слышко. Из игр потом вечерами выходил, чтобы не пропустить дежурства этого заводского сказителя.

* * *

Звали его Хмелинин Василий Алексеевич, но это лишь по заводским и волостным спискам. Для ребят он был «дедушка Слышко». У взрослых были для него еще два прозвища — Стаканчик и Протча,— на которые старик откликался.

Был он почти одинок. «Старуха» — годов на десять его моложе — больше «по людям ходила»: где повивалась, где домовничала... Может быть, поэтому старик всегда был ласков с ребятами и охотно рассказывал им свои затейные сказы.

Годы высушили его, ссутулили, снизили. И только не по росту широкие плечи да длинные руки напоминали, что сила в этом теле была немалая.

Держался старик, однако, бодро, бойко шаркал ногами в подшитых валенках и задорно вскидывал свою белую, клинышком, бороду.

Среди взрослых Хмелинин слыл знатоком «всех наших песков», веселым балагуром, а порой и «подковырой».

* * *

На плотине «отдали восемь часов». То же повторилось на колокольне. Третья очередь — Думной горы.

Дедушка Слышко уже взобрался на невысокий помост и ждет, когда замрет вдали последний звук.

Потом размеренно бьет в колокол и приговаривает:

¹ Слова, отмеченные звездочкой, объяснены на стр. 677—682.

— Знай наших! Тонко, да звонко, и спать неохота...

Отбив, не спеша сходит с помоста, усаживается на крылечке караулки и начинает набивать свою «аппетитную».

Самое спокойное время... В эти часы дед что-нибудь рассказывает. Но, если попросит кто сказку, он всегда поправит:

— Сказку, говоришь? Сказку это, друг, про попа да про попадью. Такие тебе слушать рано. А то вот про курочку-рябушку да золото яичко, про лису с петухом и протча. Старухи маленьким сказывают. Ты, поди, опоздал такие слушать, да и не умею я. Кой знал, и те позабыл. Про старинное житье — это вот помню. Много такого от своих стариков перенял да и потом слышал. Тоже ведь на людях, поди-ка, жил. И в канаве топтали, и на золотой горке сиживал. Всяко бывало. Восьмой десяток отсчитываю. Это тебе не восемь часов в колокол отбрякать! Нагляделся, наслушался. Только это не сказки, а сказы да побывальщины прозываются. Иное, слышь-ко, и говорить не всякому можно. С опаской надо. А ты говоришь — сказку!

— Думаешь, про тайну силу правда?

— А то как же...

— А у нас в школе говорили...

— Мало что в школе... Ты учись, а стариков не суди. Им, может, веселей было все за правду считать. Ты и слушай, как сказывают. Вырастешь — тогда и разбирай, кое быль, кое небылица. Так-то, милачок! Понял ли?..

Старик рассказывал так, будто он сам «все видел и слышал». Когда упоминались места, видные с горы, он указывал рукой:

— Вон у того места и упал...— Около дальнего-то барабана главный спуск был. Тут и собрались, а Степан и говорит...— Теперь нету, а раньше, поправее вон тех сосен, горочка была. Змеиная прозывалась. Данило и повадился туда...

Если приходилось слышать сказ во второй или третий раз, легко было заметить, что старик говорил не одними и теми же словами. Порой менялся и самый порядок рассказа, по-разному передавал он и всякие подробности.

Иной слушатель не выдержит — заметит:

— В тот раз, дедушка, ты об этом не говорил...

— Ну, мало ли... Забыл, видно, а так, слышь-ко, было. Это уж будь в надежде — так!

Всю свою долгую жизнь, «пока мога была», старик работал на рудниках и золотых приисках*. Жизнь горняка и старателя* он «испытал до дна». Все было ему известно, вплоть до «нечаянного богатства». В свои сказы старик вводил многое из того, что сам видал, сам испытал. И наравне с явным вымыслом была в его сказах и чистая правда.

Рассказывая, например, «о старой дороге», он показывал место, где она проходила, хотя никаких признаков ее уже не было.

Такая дорога действительно была, судя по историческим документам.

«Старые люди» у Хмелинина живут и действуют близко к исторической правде.

Хозяйка Медной горы, Полоз, его дочери Змеевки* — вся эта «тайная сила» действует по-человечески, вполне сознательно: одним помогает, других наказывает, барам и начальству всегда враждебна.

Действиями этой силы старик объяснял многое, что казалось непонятным малограмотному горняку прошлого.

«Исчезла жилка — Полоз отвел; в камне оказалось золото — Змеевка прошла, след оставила; нашел человек редкие по красоте и объему глыбы малахита — Хозяйка горы помогла», и т. д.

В результате сказы Хмелинина можно рассматривать как своего рода историко-бытовые документы. В них не только отразилась полностью тяжелая жизнь старого горняка, но и его наивное понимание «земельных чудес» и его мечта о других условиях жизни, каких — сказитель и сам не знал, не мог представить себе, но только не тех, в каких проходила его жизнь.

Сказы В. А. Хмелинина в свое время никем записаны не были.

Заводские служащие — «практикованные техники» или «люди с хорошим почерком и бойким счетом» — не могли, конечно, оценить сказы по достоинству, а те, что «стояли повыше» и были чуть грамотнее, относились пренебрежительно к «каким-то сказам старичонки караульного».

Этим «важным людям» было невдомек, что неграмотный «старичонка караульный» с редкой глубиной прочувствовал и понял жизнь горнозаводского рабочего и, как подлинный художник, сумел передать ее в образах, где уральская фантастика переплелась с исторической правдой.

* * *

Память не в силах, конечно, донести полностью все то, что было слышано чуть не полвека назад. В лучшем случае сохранились остов сказа, его стиль, кой-какие имена, названия да некоторые наиболее запомнившиеся выражения. По этим вешкам сказы и воспроизводились. Помогло также некоторое знакомство с историей заводского округа, близость родного местного говора и свой жизненный путь, долгое время проходивший по тем же местам, где работал, жил и слагал свои сказы дедушка Слышко.

Хотелось бы, чтобы эта запись по памяти хоть в слабой степени отразила ту непосредственность и увлекательную силу, которыми были полны сказы, слышанные у караулки на Думной горе.

П. Бажов

МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА

Пошли раз двое наших заводских траву смотреть.

А покосы у них дальние были. За Северушкой где-то.

День праздничный был, и жарко — страсть. Парун* чистый. А оба в горе робили, на Гумёшках то есть. Малахит-руду добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королек* с витком попадали и там протча, что подойдет.

Один-от молодой парень был, неженатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше. Этот и вовсе изробленный*. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись. И кашлял завсе* тот человек.

В лесу-то хорошо. Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух легкий. Их, слышь-ко, и разморило. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железню руду добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной да сразу и уснули. Только вдруг молодой, ровно его кто под бок толкнул, проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спinoй к парню, а по косе видать — девка. Коса ссиза-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светют и тонко этак позванивают, будто листовая медь.

Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо — на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Одним словом, артуть*-девка. Слыхать — лопочет что-то, а покаковски — неизвестно, и с кем говорит — не видно. Только смешком все. Весело, видно, ей.

Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло.

«Мать ты моя, да ведь это сама Хозяйка! Ее одежда-то. Как я сразу не приметил? Отвела глаза косой-то своей».

А одежда и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить.

«Вот,— думает парень,— беда! Как бы только ноги унести, пока не заметила». От стариков он, вишь, слыхал, что Хозяйка эта — малахитница-то — любит над человеком мудровать.

Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой:

— Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-то ведь деньги берут. Иди-ка поближе. Поговорим маленько.

Парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепитя.

Хоть она и тайна сила, а все-таки девка. Ну, а он парень — ему, значит, и стыдно перед девкой обробеть.

— Некогда, — говорит, — мне разговаривать. Без того проспала, а траву смотреть пошли.

Она посмеивается, а потом говорит:

— Будет тебе наигрыш вести. Иди, говорю, дело есть.

Ну, парень видит — делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит, обойди-де руду-то с другой стороны. Он и обошел и видит — ящерок тут несчисленно. И всё, слышь-ко, разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло либо слюда, блестят, а другие, как трава поблеклая, а которые опять узорами изукрашены.

Девка смеется.

— Не расступи, — говорит, — мое войско, Степан Петрович. Ты вон какой большой да тяжелый, а они у меня маленькие.

А сама ладошками схлопала, ящерки и разбежались, дорогу дали.

Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала да и говорит, и все смехом:

— Теперь тебе ступить некуда. Раздавишь мою слугу — беда будет.

Он поглядел под ноги, а там и земли незначко. Все ящерки-то сбились в одно место, — как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан — батюшки, да ведь это руда медная! Всяких сортов и хорошо отшлифована. И слюдка тут же, и обманка, и блёски всякие, кои на малахит походят.

— Ну, теперь признал меня, Степанушко? — спрашивает малахитница, а сама хохочет-заливается.

Потом, мало погодя, и говорит:

— Ты не пужайся. Худого тебе не сделаю.

Парню забедно* стало, что девка над ним насмехается да еще слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже:

— Кого мне бояться, коли я в горе роблю!

— Вот и ладно, — отвечает малахитница. — Мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик*, ты ему скажи, да смотри не забудь слов-то:

«Хозяйка, мол, Медной горы заказывала тебе, душному козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался. Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в Гумешках туда спущу, что никак ее не добыть».

Сказала это и прищурилась:

— Понял ли, Степанушко? В горе, говоришь, робишь, никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела, а теперь иди да тому, который с тобой, ничего, смотри, не говори. Изроб-

ленный он человек, что его тревожить да в это дело впутывать. И так вон лазоревке сказала, чтоб она ему маленько пособила.

И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались.

Сама тоже на ноги вскочила, прихватила рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук-ног — лапы у нее зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человеческая. Забежала на вершину, оглянулась и говорит:

— Не забудь, Степанушко, как я говорила. Велела, мол, тебе, — душному козлу, — с Красногорки убираться. Сделаешь по моему, замуж за тебя выйду!

Парень даже сплюнул в горячах:

— Тьфу ты, погань какая! Чтоб я на ящерке женился.

А она видит, как он плюется, и хохочет.

— Ладно, — кричит, — потом поговорим. Может, и надумаешь?

И сейчас же за горку, только хвост зеленый мелькнул.

Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились, а у Степана на уме: как ему быть? Сказать приказчику такие слова — дело не малое, а он еще, — и верно, — душей был — гниль какая-то в нутре у него, сказывают, была. Не сказать — тоже боязно. Она ведь Хозяйка. Какую хошь руду может в обманку перекинуть. Выполняя тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой хвастуном себя оказать.

Думал-думал, напустился:

— Была не была, сделаю, как она велела.

На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит:

— Видел я вечер Хозяйку Медной горы, и заказывала она тебе сказать. Велит она тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на Гумешках туда спустит, что никому не добыть.

У приказчика даже усы затряслись.

— Ты что это? Пьяный али ума решился? Какая хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!

— Воля твоя, — говорит Степан, — а только так мне велено.

— Выпороть его, — кричит приказчик, — да спустить в гору и в забое приковать! А чтобы не издох, давать ему собачьей овсянки и уроки спрашивать без поблажки. Чуть что — драть нещадно.

Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель рудничный, — тоже собака не последняя, — отвел ему забой — хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит,

работать можно было. Известно, какое время было, — крепость*. Всяко галились* над человеком. Надзиратель еще и говорит:

— Прохладись тут маленько. А уроку с тебя будет чистым малахитом столько-то, — и назначил вовсе несообразно.

Делать нечего. Как отошел надзиратель, стал Степан каелкой* помахивать, а парень все-таки проворный был. Глядит, — ладно ведь. Так малахит и сыплется, ровно кто его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя. Сухо стало.

«Вот, — думает, — хорошо-то. Вспомнила, видно, обо мне Хозяйка».

Только подумал, вдруг звосияло. Глядит, а Хозяйка тут, перед ним.

— Молодец, — говорит, — Степан Петрович. Можно чести приписать. Не испужался душного козла. Хорошо ему сказал. Пойдем, видно, мое приданое смотреть. Я тоже от своего слова не отпорна.

А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерки набежали, со Степана цепь сняли, а Хозяйка им распорядок дала:

— Урок тут наломайте вдвое. И чтобы наотбор малахит был, шелкового сорту. — Потом Степану говорит: — Ну, женишок, пойдем смотреть мое приданое.

И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет — все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные. То все зеленые, то желтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазоревые. Одним словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней — на Хозяйке-то — меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скрасна медным станет, потом опять шелком зеленым отливает. Идут-идут, остановилась она.

— Дальше, — говорит, — на многие версты желтяки да серяки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. Тут у меня после Гумешек самое дорогое место.

И видит Степан огромную комнату, а в ней постели, столы, табуреточки — всё из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок темно-красный под чернетью, а на нем цветки медны.

— Посидим, — говорит, — тут, поговорим.

Сели это они на табуреточки, малахитница и спрашивает:

— Видал мое приданое?

— Видал, — говорит Степан.

— Ну, как теперь насчет женитьбы?

А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышь-ко, невеста была. Хорошая девушка, сиротка одна. Ну конечно, против мала-

хитницы где же ей красотой равняться! Простой человек, обыкновенный. Помялся-помялся Степан да и говорит:

— Приданое у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой.

— Ты,— говорит,— друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж али нет? — И сама вовсе принахмурилась.

Ну, Степан и ответил напрямки:

— Не могу, потому другой обещался.

Молвил так-то и думает: огневается теперь. А она вроде обрадовалась.

— Молодец,— говорит,— Степанушко. За приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменну девку.— А у парня верно невесту-то Настей звали.— Вот,— говорит,— тебе подарочек для твоей невесты,— и подает большую малахитову шкатулку.

А там, слышь-ко, всякий женский прибор. Серьги, кольца и протча, что даже не у всякой богатой невесты бывает.

— Как же,— спрашивает парень,— я с эким местом наверх подымусь?

— Об этом не печалься. Все будет устроено, и от приказчика тебя вызволю, и жить безбедно будешь со своей молодой женой, только вот тебе мой сказ — обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай поешь маленько.

Схлопала опять в ладошки, набежали ящери — полон стол установили. Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и протчим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит:

— Ну, прощай, Степан Петрович, смотри не вспоминай обо мне.— А у самой слезы. Она это руку подставила, а слезы кап-кап и на руке зернышками застывают. Полнехонька горсть.— На-ка вот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь,— и подает ему.

Камешки холодные, а рука, слышь-ко, горячая, как есть живая, и трясется маленько.

Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает:

— Куда мне идти? — А сам тоже невеселый стал. Она указала перстом, перед ним и открылся ход, как штольня, и светло в ней, как днем. Пошел Степан по этой штольне — опять всяких земельных богатств нагляделся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась, и все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала, Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный подошел. Посмеяться ладил, а видит — у Степана поверх урока наворочено, и малахит отбор, сорт сортом.

«Что,— думает,— за штука? Откуда это?» Полез в забой, осмотрел все да и говорит:

— В эком-то забое всяк сколь хошь наломает.— И повел Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил.

На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает, да еще королек с витком попадать стали, а у того — у племянника-то — скажи на милость, ничего доброго нет, все обальчик* да обманка идет. Тут надзиратель и сметил дело. Побежал к приказчику. Так и так.

— Не иначе,— говорит,— Степан душу нечистой силе продал. Приказчик на это и говорит:

— Это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим, пущай только малахитовую глыбу во сто пуд найдет.

Велел все-таки приказчик расковать Степана и приказ такой дал — на Красногорке работы прекратить.

— Кто,— говорит,— его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил. Да и руда там с медью пошла, только чугуны порча.

Надзиратель объявил Степану, что от его требуется, а тот ответил:

— Кто от воли откажется? Буду стараться, а найду ли — это уж как счастье мое подойдет.

Вскорости нашел им Степан глыбу такую. Выволокли ее наверх. Гордятся,— вот-де мы какие, а Степану воли не дали.

О глыбе написали барину, тот и приехал из самого, слышь-ко, Сам-Петербурху*. Узнал, как дело было, и зовет к себе Степана.

— Вот что,— говорит,— даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из их вырубить столбы не меньше пяти сажень длиной.

Степан отвечает:

— Меня уж раз оплели. Ученый я ноне. Сперва вольную пиши, потом стараться буду, а что выйдет — увидим.

Барин, конечно, закричал, ногами затопал, а Степан одно свое:

— Чуть было не забыл — невесте моей тоже вольную пропиши, а то что это за порядок — сам буду вольный, а жена в крепости.

Барин видит — парень не мягкий. Написал ему актовую бумагу.

— На,— говорит,— только старайся смотри.

А Степан все свое:

— Это уж как счастье поищет.

Нашел, конечно, Степан. Что ему, коли он все нутро горы вызнал и сама Хозяйка ему пособляла. Вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на

приклад в самую главную церкву в Сам-Петербурхе отправил. А глыба та, которую Степан сперва нашел, и посейчас в нашем городе, говорят. Как редкость ее берегут.

С той поры Степан на волю вышел, а в Гумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идет, а больше обманка. О корошке с витком и слыхом не слыхать стало, и малахит ушел, вода долить* стала. Так с той поры Гумешки на убыль и пошли, а потом их и вовсе затопило. Говорили, что это Хозяйка огневалась за столбы-то, что их в церкву поставили. А ей это вовсе ни к чему.

Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует. Жить бы ровно да радоваться, а он невеселый стал и здоровьем хезнул*. Так на глазах и таял.

Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все, слышь-ко, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушел так-то да и с концом. Вот его нет, вот его нет... Куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышь-ко, на руднике у высокого камня мертвый лежит, ровно улыбается, и ружьишечко у него тут же в сторонке валяется, не стрелено из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели, да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали — она на камень, только ее и видели. А как покойника домой привезли да обмывать стали — глядят: у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие. Полнехонька горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит:

— Да ведь это медный изумруд! Редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки?

Настасья — жена-то его — объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был. Большую шкатулку, малахитовую. Много в ей добренького, а таких камешков нету. Не видывала.

Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке. Ну, руда и руда, бурая с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слезы Хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышь-ко, никому, тайно от своих сохранял, с ними и смерть принял. А?

Вот она, значит, какая Медной горы Хозяйка!

Худому с ней встретиться — горе, и доброму — радости мало.

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

У Настасьи, Степановой-то вдовы, шкатулка малахитова осталась. Со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и протча по женскому обряду. Сама Хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он еще жениться собирался.

Настасья в сиротстве росла, не привыкла к экому-то богатству, да и не шибко любительница была моды выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надевывала, конечно, из этой шкатулки. Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо... Ровно как раз впору, не жмет, не скатывается, а пойдет в церкву или в гости куда — замается. Как закованный палец-то, в конце нали* посинеет. Серьги навесит — хуже того. Уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять — не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила. Буски в шесть ли, семь рядов только раз и примерила. Как лед кругом шеи-то, и не согреваются ни-сколько. На люди те буски вовсе не показывала. Стыдно было.

— Ишь, скажут, какая царица в Полевой выискалась!

Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал:

— Убери-ко куда от греха подальше.

Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и протча про запас держат.

Как Степан умер да камешки у него в мертвой руке оказались, Настасье и причтелось* ту шкатулку чужим людям показать. А тот знающий, который про Степановы камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул:

— Ты гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк. Больших тысяч она стоит.

Он, этот человек-от, ученой был, тоже из вольных. Ране-то в щегарях* ходил, да его отстранили: ослабу-де народу дает. Ну, и винцом не брезговал. Тоже добра кабацка затычка был, не тем будь помянут, покойна головушка. А так во всем правильный. Прошение написать, пробу смыть, знаки оглядеть — все по совести делал, не как иные протчие, абы на полштофа сорвать. Кому-кому, а ему всяк поднесет стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе и до смерти дожил. Около народа питался.

Настасья от мужа слыхала, что этот щегарь правильный и в делах смысленый, даром что к винишку пристрастье поимел. Ну, и послушалась его.

— Ладно, — говорит, — поберегу на черный день. — И поставила шкатулку на старое место.

Схоронили Степана, сорочины* отправили честь честью. Настасья — баба в соку, да и с достатком, стали к ней присватываться. А она, женщина умная, говорит всем одно:

— Хоть золотой второй, а все робятам вотчим.

Ну, отстали по времени.

Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный*, лошадь, корова, обзаведенье полное. Настасья баба работающая, робятишки пословные*, не охтимнеченьки* живут. Год живут, два живут, три живут. Ну, забеднели все-таки. Где же одной женщине с малолетками хозяйство управлять! Тоже ведь и копейку добыть где-то надо. На соль хоть. Тут родня и давай Настасье в уши напевать:

— Продай шкатулку-то! На что она тебе? Что впусте добру лежать! Все едино и Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие! Только барам да купцам впору покупать. С нашим-то ремьем* не наденешь эо место. А люди деньги бы дали. Разоставок* тебе.

Однем словом, наговаривают. И покупатель, как ворон на кости, налетел. Из купцов всё. Кто сто рублей дает, кто двести.

— Робят-де твоих жалеет, по вдовьему положению нисхождение делаем.

Ну, оболванить ладят бабу, да не на ту попали.

Настасья хорошо запомнила, что ей старый щегарь говорил, не продает за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихово подаренье, мужнина память. А пуще того девчоночка у ней младшенькая слезами улилась, просит:

— Мамонька, не продавай! Мамонька, не продавай! Лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги.

От Степана, вишь, осталось трое робятишек-то. Двое парнишечки. Робята как робята, а эта, как говорится, ни в мать, ни в отца. Еще при Степановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то что девки-бабы, а и мужики Степану говорили:

— Не иначе эта у тебя, Степан, из кистей выпала*. В кого только зародилась! Сама черненька да бассенька*, а глазки зелененьки. На наших девчонок будто и вовсе не походит.

Степан пошутит, бывало:

— Это не диво, что черненька. Отец-то ведь с малых лет в земле скыркался*. А что глазки зеленые — тоже дивить не приходится. Мало ли я малахиту барину Турчанинову набил. Вот памятка мне и осталась.

Так эту девчоночку Памяткой и звал.— Ну-ка ты, Памятка моя! — И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького либо зеленого принесет.

Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и всамделе гарусинка из праздничного пояса выпала — далеко ее видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей — Танюшка да Танюшка. Самые завидущие бабешки и те любовались. Ну, как, — красота! Всякому мило. Одна мать повздыхивала:

— Красота-то — красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку.

По Степану шибко эта девчоночка убивалась. Чисто уревелась вся, с лица похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку малахитову — пущай-де позабавится. Хоть маленькая, а девчоночка, — с малых лет им лестно на себя-то навдевать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот диво — которую примеряет, та и по ней. Мать-то иное и не знала к чему, а эта все знает. Да еще говорит:

— Мамонька, сколь хорошо тятино-то подаренье! Тепло от него, будто на пригревинке сидишь, да еще кто тебя мягким гладит.

Настасья сама нашивала, помнит, как у нее пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает: «Неспроста это. Ой, неспроста!» — да поскорее шкатулку-то опять в сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит:

— Мамонька, дай поиграть тятиным подареньем!

Настасья когда и пристрожит, ну, материнско сердце — пожалеет, достанет шкатулку, только накажет:

— Не изломай чего!

Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или еще куда, Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать наказывала. Ну, чашки-ложки перемыть, ска-терку стряхнуть, в избе-сенях веничком подмахнуть, куричешкам корму дать, в печке поглядеть. Справит все поскорее, да и за шкатулку. Из верхних-то сундуков к тому времени один остался. да и тот легонький стал. Танюшка сдвинет его на табуреточку, достанет шкатулку и перебирает камешки, любит, на себя примеряет.

Раз к ней и забрался хитник*. То ли он в ограде* спозаранку прихоронился, то ли потом незаметно где пролез, только из суседей никто не видал, чтобы он по улице проходил. Человек незнамый, а по делу видать — кто-то навел его, весь порядок обсказал.

Как Настасья уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу поиграть отцовскими камешками. Надела наголовник, серьги навесила. В это время и пых в избу этот хитник. Танюшка оглянулась — на пороге мужик незнакомый, с топором. И топор-то ихний. В сенках, в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в сенках мела. Испугалась Танюшка, сидит, как замерла, а мужик сойкнул*, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет-кричит:

— Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп! — а сам глаза трет.

Танюшка видит — неладно с человеком, стала спрашивать:

— Ты как, дяденька, к нам зашел, пошто топор взял?

А тот, знай, стонет да глаза свои трет. Танюшка его и пожалела — зачерпнула ковшик воды, хотела подать, а мужик так и шарахнулся спиной к двери.

— Ой, не подходи! — Так в сенках и сидел и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход — выбежала через окошко и к соседям. Ну, пришли. Стали спрашивать, что за человек, каким случаем? Тот промигался маленько, объясняет — проходящий-де, милостинку хотел попросить, да что-то с глазами попритчилось.

— Как солнцем ударило. Думал — вовсе ослепну. От жары, что ли.

Про топор и камешки Танюшка соседям не сказала. Те и думают:

«Пустяшно дело. Может, сама же забыла ворота запереть, вот проходящий и зашел, а тут с ним и случилось что-то. Мало ли бывает».

До Настасьи все-таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что соседям рассказывал. Настасья видит — все в сохранности, вязаться не стала. Ушел тот человек, и соседи тоже.

Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасья и поняла, что за шкатулкой приходил, да взять-то ее, видно, не просто.

А сама думает:

«Оберегать-то ее все ж таки покрепче надо».

Взяла да потихоньку от Танюшки и других робят и зарыла ту шкатулку в голбец*.

Уехали опять все семейные. Танюшка хватилась шкатулки, а ее быть бывало. Горько это показалось Танюшке, а тут вдруг теплом ее опахнуло. Что за штука? Откуда? Огляделась, а из-под полу свет. Танюшка испугалась — не пожар ли? Заглянула в голбец, там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела — только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте, видит — шкатулка. Открыла, а камни-то ровно еще краше стали. Так и горят разными огоньками, и светло от них, как при солнышке. Танюшка и в избу не потащила шкатулку. Тут в голбце и наигралась досыта.

Так с той поры и повелось. Мать думает: «Вот хорошо спрятала, никто не знает», — а дочь, как домовничать, так и урвет часок поиграть дорогим отцовским подареньем. Насчет продажи Настасья и говорить родне не давала.

— По миру впору придет — тогда продам.

Хоть круто ей приходилось, — а укрепились. Так еще сколько-то годов перемогались, дальше на поправу пошло. Старшие робята стали зарабатывать маленько, да и Танюшка не сложа руки сидела. Она, слышь-ко, научилась шелками да бисером шить. И так научилась, что самолучшие барские мастерицы руками хлопали — откуда узоры берет, где шелка достает?

А тоже случаем вышло. Приходит к ним женщина. Небольшого росту, чернявая, в Настасьиных уж годах, а востроглазая и,

по всему видать, шмыгало такое, что только держись. На спине котомочка холщовая, в руке черемуховый бадожок*, вроде как странница. Просится у Настасьи:

— Нельзя ли, хозяйюшка, у тебя денек-другой отдохнуть? Ноженьки не несут, а идти не близко.

Настасья сперва подумала, не подослана ли опять за шка-тулкой, потом все-таки пустила.

— Места не жалко. Не пролежишь, поди, и с собой не унесешь. Только вот кусок-то у нас сиротский. Утром — лучок с кваском, вечером — квасок с лучком, вся и перемена. Отощать не боишься, так милости просим, живи сколь надо.

А странница уж бадожок свой поставила, котомку на при-печье положила и обуточки снимает. Настасье это не по нраву пришлось, а смолчала.

«Ишь неочесливая!* Приветить ее не успела, а она пако — обутки сняла и котомку развязала».

Женщина, и верно, котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку:

— Иди-ко, дитятко, погляди на мое рукоделье. Коли погля-нется, и тебя выучу... Видать, цепкий глазок-то на это будет!

Танюшка подошла, а женщина и подает ей ширинку малень-кую, концы шелком вышиты. И такой-то, слышь-ко, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало.

Танюшка так глазами и впилась, а женщина посмеивается.

— Поглянулось, знать, доченька, мое рукодельице? Хо-чешь — выучу?

— Хочу, — говорит.

Настасья так и взъелась:

— И думать забудь! Соли купить не на что, а ты придумала шелками шить! Припасы-то, поди-ка, денег стоят.

— Про то не беспокойся, хозяйюшка, — говорит странница. — Будет понятие у доченьки — будут и припасы. За твою хлеб-соль оставляю ей — надолго хватит. А дальше сама увидишь. За наше-то мастерство денежки платят. Не даром работу отдаем. Кусок имеем.

Тут Настасье уступить пришлось.

— Коли припасов уделишь, так о чем не поучиться. Пушай, поучится, сколь понятия хватит. Спасибо тебе скажу.

Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорехонько Танюшка все переняла, будто раньше которое знала. Да вот еще что. Танюшка не то что к чужим, к своим неласковая была, а к этой женщине так и льнет, так и льнет. Настасья скоса запоглядывала:

«Нашла себе новую родню. К матери не подойдет, а к бро-дяжке прилипла!»

А та еще ровно дразнит, все Танюшку дитятком да дочень-кой зовет, а крещеное имя ни разочку не помянула. Танюшка ви-

дит, что мать в обиде, а не может себя сдержатъ. До того, слышь-ко, вверилась этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то!

— Есть,— говорит,— у нас дорогая тятиня памятка — шкатулка малахитова. Вот где каменья! Век бы на них глядела.

— Мне покажешь, доченька? — спрашивает женщина.

Танюшка даже не подумала, что это неладно.

— Покажу,— говорит,— когда дома никого из семейных не будет.

Как вывернулся такой часок, Танюшка и позвала ту женщину в голбец. Достала Танюшка шкатулку, показывает, а женщина поглядела маленько да и говорит:

— Надень-ко на себя — виднее будет.

Ну, Танюшка,— не того слова*,— стала надевать, а та, знай, похваливает:

— Ладно, доченька, ладно! Капельку только поправить надо.

Подошла поближе да и давай пальцем в камешки тыкать. Который заденет — тот и загорится по-другому. Танюшке иное видно, иное — нет. После этого женщина и говорит:

— Встань-ко, доченька, пряменько.

Танюшка встала, а женщина и давай ее потихоньку гладить по волосам, по спине. Всю огладила, сама наставляет:

— Заставлю тебя повернуться, так ты, смотри, на меня не оглядывайся. Вперед гляди, примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся!

Повернулась Танюшка — перед ней помещение, какого она отродясь не видывала. Не то церква, не то что. Потолки высокие на столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошел. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают. Волосы как ночь, а глаза зеленые. И вся-то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на ней из зеленого бархату с переливом. И так это платье сшито, как вот у цариц на картинах. На чем только держится. Со стыда бы наши заводские сгорели на людях такое надеть, а эта зеленоглазая стоит себе спокойненько, будто так и надо. Народу в том помещенье полно. По-господски одеты, и все в золоте да заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзади нашито, а у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство. И бабы ихние тут же. Тоже голоруки, гологруды, каменьями увешаны. Только где им до зеленоглазой! Ни одна в подметки не годится.

В ряд с зеленоглазой какой-то белобрысенький. Глаза враскос, уши пенечками, как есть заяц. А одежда на нем — уму помраченье. Этому золота-то мало показалось, так он, слышь-ко, на обую* камни насадил. Да такие сильные, что, может, в десять лет один такой найдут. Сразу видать — заводчик это. Лопочет

тот заяц зеленоглазой-то, а она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет.

Танюшка глядит на эту барыню, дивится на нее и только тут заметила:

— Ведь камня-то на ней тятины! — сойкала Танюшка, и ничего не стало.

А женщина та посмеивается:

— Недоглядела, доченька! Не тужи, по времени доглядишь.

Танюшка, конечно, доспрашивается — где это такое помещение?

— А это, — говорит, — царский дворец. Та самая палата, коя здешним малахитом изукрашена. Твой покойный отец его добывал-то.

— А это кто в тятиних уборах и какой это с ней заяц?

— Ну, этого не скажу, сама скоро узнаешь.

В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махоньку. То ли она из стекла, то ли из дурмашка на простую грань обделана.

Подает ее Танюшке да и говорит:

— Прими-ко, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе либо трудный случай подойдет, погляди на эту пуговку. Тут тебе ответ и будет.

Сказала так-то и ушла. Только ее и видели.

С той поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни о Настасьины окошки глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, неласковая она, невеселая, да и за крепостного где же вольная пойдет. Кому охота петлю надевать?

В барском доме тоже проведали про Танюшку из-за мастерства-то ее. Подсылать к ней стали. Лакея помоложе да поладнее оденут по-господски, часы с цепочкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом каким. Думают, не обзарится ли девка на экого молодца. Тогда ее обратять* можно. Толку все ж таки не выходило. Скажет Танюшка что по делу, а другие разговоры того лакея безо внимания. Надоест, так еще надсмешку подстроит:

— Ступай-ко, любезный, ступай! Ждут ведь. Боятся, поди, как бы у тебя часы потом не изошли и цепка не помедела. Вишь, без привычки-то как ты их мозолишь.

Ну, лакею или другому барскому службе эти слова, как собаке кипятка. Бежит как ошпаренный, фырчит про себя:

— Разве это девка? Статуй каменный, зеленоглазый! Таковую ли найдем!

Фырчит так-то, а самого уж захлестнуло. Которого пошлют, забыть не может Танюшкину красоту. Как привороженного к

тому месту тянет — хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице. Дорогу у самых окошек проторили, а Танюшка и не глядит.

Суседки уж стали Настасью корить:

— Что это у тебя Татьяна шибко высоко себя повела? Подружек у ней нет, на парней глядеть не хочет. Царевича-королевича ждет аль в Христовы невесты ладится?

Настасья на эти покоры только вздыхает:

— Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то у меня девка мудреная была, а колдунья эта проходящая вконец ее извела. Станешь ей говорить, а она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку, да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку и глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупы стали, не вижу. Налупила бы девку, да, вишь, она у нас старательница. Почитай, ее работой только и живем. Думаю-думаю так-то и зареву. Ну, тогда она скажет: «Мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не привечаю и на игрища не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что под окошком сижу, так работа моя того требует. За что на меня приходишь?»* Что я худого сделала?» Вот и ответь ей!

Ну, жить все ж таки ладно стали. Танюшкино рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе аль в нашем городе, по другим местам про него узнали, заказы посылают и деньги платят немалые. Доброму мужику впору столько-то заработать. Только тут беда их и пристигла — пожар случился. А ночью дело было. Пригон*, завозня*, лошадь, корова, снасть всяка — все сгорело. С тем только и остались, в чем выскочили. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успела-таки. На другой день и говорит:

— Видно, край пришел — придется продать шкатулку.

Сыновья в один голос:

— Продавай, мамонька. Не продешеви только.

Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит — пущай продают. Горько стало Танюшке, а что поделаешь? Все равно уйдет отцова памятка этой зеленоглазой. Вздохнула и говорит:

— Продавать так продавать. — И даже не стала на прощанье те камни глядеть. И то сказать — у суседей приютились, где тут раскладываться.

Придумали так — продать-то, а купцы уж тут как тут. Кто, может, сам и поджог-от подстроил, чтобы шкатулкой завладеть. Тоже ведь народишко-то — ноготок, доцарапается! Видят, — ребята подросли, — больше дают. Пятьсот там, семьсот, один до тысячи дошел. По заводу деньги немалые, можно на их обзавестись. Ну, Настасья запросила все-таки две тысячи. Ходят, значит, к ней, рядятся. Накидывают помаленьку, а сами друг от друга

таятся, сговориться меж собой не могут. Вишь, кусок-от такой — ни одному отступиться неохота. Пока они так-то ходили, в Полевую и приехал новый приказчик.

Когда ведь они — приказчики-то — подолгу сидят, а в те годы им какой-то перевод случился. Душнóго козла, который при Степане был, старый барин на Крылатовско за вонь оставил. Потом был Жареный Зад. Рабочие его на болванку посадили. Тут заступил Северьян Убойца. Этого опять Хозяйка Медной горы в пусту породу перекинула. Там еще двое ли, трое каких-то были, а потом и приехал этот.

Он, сказывают, из чужестранных земель был, на всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно — пороть. Свысока так, с растяжкой — па-роть. О какой недостатке ему заговорят, одно кричит: пароть! Его Паротей и прозвали.

На деле этот Паротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарну* не гонял. Тамошним охлестышам* вовсе и дела не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пароте.

Тут, вишь, штука-то в чем. Старый барин к той поре вовсе утлый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине ли, что ли. Ну, а у этого молодого барина была любовница, и он к ей большую приверженность имел. Как делу быть? Неловко все ж таки. Что новые сватовья скажут? Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину — сынову-то любовницу — за музыканта. У барина же этот музыкант служил. Робятишек на музыках обучал и так разговору чужестранному, как ведется по ихнему положению.

— Чем,— говорит,— тебе так-то жить на худой славе, выходи-ко ты замуж. Приданным тебя оделю, а мужа приказчиком в Полевую пошлю. Там дело направлено, пущай только построже народ держит. Хватит, поди, на это толку, что хоть и музыкант. А ты с ним лучше лучшего проживешь в Полевой-то. Первый человек, можно сказать, будешь. Почет тебе, уважение от всякого. Чем плохо?

Бабочка сговорная оказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела.

— Давно,— говорит,— об этом мечтанье имела, да сказать — не насмелилась.

Ну, музыкант, конечно, сперва уперся:

— Не желаю,— шибко про нее худа слава, потаскуха вроде.

Только барин — старичонко хитрой. Недаром заводы нажил. Живо обломал этого музыканта. Припугнул чем али улестил, либо подпоил — ихнее дело, только вскорости свадьбу справили, и молодые поехали в Полевую. Так вот Паротя и появился в нашем заводе. Недолго только прожил, а так — что зря говорить — человек не вредный. Потом, как Полторы Хари вместо его заступил — из своих заводских, так жалели даже этого Паротю.

Приехал с женой Паротя как раз в ту пору, как купцы Настасью обхаживали. Паротина баба тоже видная была. Белая да румяная — одним словом, полубовница. Небось худу-то бы не взял барин. Тоже, поди, выбирал! Вот эта Паротина жена и прослышала — шкатулку продают. «Дай-ка, — думает, — посмотрю, может, всамделе стоящее что». Живехонько срядилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские завсегда готовы!

— Ну-ко, — говорит, — милая, покажи, какие такие камешки продаешь?

Настасья достала шкатулку, показывает. У Паротиной бабы и глаза забежали. Она, слышь-ко, в Сам-Петербурхе воспитывалась, в заграницах разных с молодым барином бывала, толк в этих нарядах имела. «Что же это, — думает, — такое? У самой царицы эдаких украшений нет, а тут нако — в Полевой, у погорельцев! Как бы только не сорвалась покупочка».

— Сколько, — спрашивает, — пресишь?

Настасья говорит:

— Две бы тысячи охота взять.

— Ну, милая, собирайся! Поедем ко мне со шкатулкой. Там деньги сполна получишь.

Настасья, однако, на это не подалась.

— У нас, — говорит, — такого обычая нет, чтобы хлеб за брюхом ходил. Принесешь деньги — шкатулка твоя.

Барыня видит — вон какая женщина, — живо скрутилась за деньгами, а сама наказывает:

— Ты уж, милая, не продавай шкатулку.

Настасья отвечает:

— Это будь в надежде. От своего слова не отопрусь. До вечера ждать буду, а дальше моя воля.

Уехала Паротина жена, а купцы-то и набежали все разом. Они, вишь, следили. Спрашивают:

— Ну, как?

— Запродала, — отвечает Настасья.

— За сколь?

— За две, как назначила.

— Что ты, — кричат, — ума решилась али что! В чужие руки отдаешь, а своим отказываешь! — И давай-ко цену набавлять.

Ну. Настасья на эту удочку не клюнула.

— Это, — говорит, — вам привышно дело в словах вертеться, а мне не доводилось. Обнадежила женщину, и разговору ко-нец!

Паротина баба крутехонько обернулась. Привезла деньги, передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой. Только на порог, а навстречу Танюшка. Она, вишь, куда-то ходила, и вся эта продажа без нее была. Видит — барыня какая-то и со шкатулкой. Уставилась на нее Танюшка — дескать, не та

ведь, какую тогда видела. А Паротина жена пуще того воззрилась:

— Что за наваждение? Чья такая? — спрашивает.

— Дочерью люди зовут, — отвечает Настасья. — Самая как есть наследница шкатулки-то, кою ты купила. Не продала бы, кабы не край пришел. С малолетства любила этими уборами играть. Играет да нахваливает — как-де от них тепло да хорошо. Да что об этом говорить. Что с возу пало — то пропало!

— Напрасно, милая, так думаешь, — говорит Паротина баба. — Найду я мѣстичко этим каменьям. — А про себя думает: «Хорошо, что эта зеленоглазая силы своей не чует. Покажись такая в Сам-Петербурхе, царями бы вертела. Надо — мой-то дурачок Турчанинов ее не увидал».

С тем и разошлись.

Паротина жена, как приехала домой, похвасталась:

— Теперь, друг любезный, я не то что тобой, и Турчаниновым не понуждаюсь. Чуть что — до свиданья! Уеду в Сам-Петербурх либо, того лучше, в заграницу, продам шкатулочку и таких-то мужей, как ты, две дюжины куплю, коли надобность случится.

Похвасталась, а показать на себе новопкупку все ж таки охота. Ну, как — женщина! Подбежала к зеркалу и первым делом наголовник пристроила. — Ой, ой, что такое! — Терпенья нет — крутит и дерет волосы-то. Еле выпростала. А нейметя. Серьги надела — чуть мочки не разорвала. Палец в перстень сунула — заковало, еле с мылом стащила. Муж посмеивается: не таким, видно, носить!

А она думает: «Что за штука? Надо в город ехать, мастеру показать. Подгонит как надо, только бы камни не подменил».

Сказано — сделано. На другой день с утра укатила. На заводской-то тройке ведь недалеко. Узнала, какой самый надежный мастер, — и к нему. Мастер старый-престарый, а по своему делу дóка. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого куплено. Барыня рассказала, что знала. Оглядел еще раз мастер шкатулку, а на камни не взглянул.

— Не возьмусь, — говорит, — что хошь давайте. Не здешних это мастеров работа. Нам несподручно с ними тягаться.

Барыня, конечно, не поняла, в чем тут закорючка, фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились: оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят и от работы наотрез отказываются. Барыня тогда на хитрости пошла, говорит, что эту шкатулку из Сам-Петербурху привезла. Там всё и делали. Ну, мастер, которому она это плела, только рассмеялся.

— Знаю, — говорит, — в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного кого тот мастер подгоняет, другому не подойдет, что хошь делай.

Барыня и тут не поняла всего-то, только то и уразумела —

неладно дело, боятся кого-то мастера. Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать.

«Не по этой ли зеленоглазой подгонялись? Вот беда-то!»

Потом опять переводит в уме:

«Да мне-то что! Продам какой ни есть богатой дуре. Пущай мается, а денежки у меня будут!» С этим и уехала в Полевую.

Приехала, а там новость: весточку получили — старый барин приказал долго жить. Хитренько с Паротей-то он устроил, а смерть его перехитрила — взяла и стукнула. Сына так и не успел женить, и он теперь полным хозяином стал. Через малое время Паротина жена получила писемышко. Так и так, моя любезная, по вешней воде приеду на заводах показаться и тебя увезу, а музыканта твоего куда-нибудь законопатим. Паротя про это как-то узнал, шум-крик поднял. Обидно, вишь, ему перед народом-то. Как-никак приказчик, а тут вон что — жену отбирают. Сильно выпивать стал. Со служащими, конечно. Они рады стараться на даровщинку-то. Вот раз пировали. Кто-то из этих запивох и похвастан:

— Выросла-де у нас в заводе красавица, другую такую не скоро сыщешь.

Паротя и спрашивает:

— Чья такая? В каком месте живет?

Ну, ему рассказали и про шкатулку помянули — в этой-де семье ваша жена шкатулку покупала. Паротя и говорит:

— Поглядеть бы, — а у запивох и заделье* нашлось.

— Хоть сейчас пойдем — освидетельствовать, ладно ли они новую избу поставили. Семья хоть из вольных, а на заводской земле живут. В случае чего и прижать можно.

Пошли двое ли, трое с этим Паротей. Цепь притащили, давай промер делать, не зарезалась ли Настасья в чужую усадьбу, выходят ли вершки меж столбами. Подыскиваются, одним словом. Потом заходят в избу, а Танюшка как раз одна была. Глянул на нее Паротя и слова потерял. Ну, ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит как дурак, а она сидит — помалкивает, будто ее дело не касается. Потом отошел малость Паротя, стал спрашивать:

— Что поделываете?

Танюшка говорит:

— По заказу шью, — и работу свою показала.

— Мне, — говорит Паротя, — можно заказ сделать?

— Отчего же нет, коли в цене сойдемся.

— Можете, — спрашивает опять Паротя, — мне с себя патрет шелками вышить?

Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зеленоглазая ей знак подает — бери заказ! — и на себя пальцем указывает. Танюшка и отвечает:

— Свой патрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна в дорогих камнях, в царицыном платье, эту вышить могу. Только недешево будет стоять такая работа.

— Об этом, — говорит, — не сумлевайтесь, хоть сто, хоть двести рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была.

— В лице, — отвечает, — сходственность будет, а одежда другая.

Срядились за сто рублей. Танюшка и срок назначила — через месяц. Только Паротя нет-нет и забежит, будто о заказе узнать, а у самого вовсе не то на уме. Тоже обахмурило его, а Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет два-три слова, и весь разговор. Запивохи-то Паротины подсмеиваться над ним стали:

— Тут-де не отломится. Зря сапоги треплешь!

Ну вот, вышила Танюшка тот патрет. Глядит Паротя — фу ты, боже мой! Да ведь это она самая и есть, одеждой да камнями изукрашенная. Подает, конечно, три сотенных билета, только Танюшка два-то не взяла.

— Не привышны, — говорит, — мы подарки принимать. Трудом кормимся.

Прибежал Паротя домой, любителю на патрет, а от жены впотай держит. Пировать меньше стал, а в заводское дело вникать мало-мало начал.

Весной приехал на заводы молодой барин. В Полевую приказил. Народ согнали, молебн отслужили, и потом в господском доме тонцы-звонцы* пошли. Народу тоже две бочки вина выкатили — помянуть старого, проздравить нового барина. Затравку, значит, сделали. На это все Турчаниновы мастера были. Как зальешь господскую чарку десятком своих, так и невесть какой праздник покажется, а на поверку выйдет — последние копейки умыл и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском доме опять пировля. Да так и пошло. Поспят сколько да опять за гулянку. Ну, там, на лодках катаются, на лошадях в лес ездят, на музыках бренчат, да мало ли. А Паротя все время пьяной. Нарочно к нему барин самых залихватских питухов поставил — накачивайте до отказа! Ну, те и стараются новому барину подслужиться.

Паротя хоть пьяной, а чует, к чему дело клонится. Ему перед гостями неловко. Он и говорит за столом, при всех:

— Это мне безо внимания, что барин Турчанинов хочет у меня жену увезти. Пущай повезет! Мне такую не надо. У меня вот кто есть! — Да и достает из кармана тот шелковый патрет. Все так и ахнули, а Паротина баба и рот закрыть не может. Барин тоже вьелся глазами-то. Любопытно ему стало.

— Кто такая? — спрашивает.

Паротя знай похохатывает:

— Полон стол золота насыпь — и то не скажу!

Ну, а как не скажешь, коли заводские сразу Танюшку признали. Один перед другим стараются — барину объясняют. Паротина баба руками-ногами:

— Что вы! Что вы! Околесицу этакую городите! Откуда у заводской девки платье такое да еще каменья дорогие? А патрет этот муж из-за границы привез. Еще до свадьбы мне показывал. Теперь с пьяных-то глаз мало ли что сплетет. Себя скоро помнить не будет. Ишь, опух весь!

Паротя видит, что жене шибко не мило, он и давай чехвости́ть:

— Страмина ты, страмина! Что ты косо́плетки* плетешь, барину в глаза песком бросаешь! Какой я тебе патрет показывал? Здесь мне его шили. Та самая девушка, про которую они вон говорят. Насчет платья — лгать не буду — не знаю. Платье какое хошь надеть можно. А камни у них были. Теперь у тебя в шкапу заперты. Сама же их купила за две тысячи, да надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасско седло. Весь завод про покупку-то знает!

Барин как услышал про камни, так сейчас же:

— Ну-ка, покажи!

Он, слышь-ко, малоуменький был, мотоватый. Одним словом, наследник. К камням-то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем, — как говорится, ни росту, ни голосу, — так хоть каменьями. Где ни прослышит про хороший камень, сейчас купить ладится. И толк в камнях знал, даром что не шибко умный.

Паротина баба видит — делать нечего, принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу:

— Сколько?

Та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядиться. На половине сошлись, и заемную бумагу барин подписал: не было, вишь, денег-то с собой. Поставил барин перед собой шкатулку на стол да и говорит:

— Позовите-ко эту девку, про которую разговор.

Сбегали за Танюшкой. Она ничего, сразу пошла, — думала заказ какой большой. Приходит в комнату, а там народу полно и посредине тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка — отцово подаренье. Танюшка сразу признала бари́на и спрашивает:

— Зачем звали?

Барин и слова сказать не может. Уставился на нее, да и все. Потом все ж таки нашел разговор:

— Ваши камни?

— Были наши, теперь вон ихние, — и показала на Паротину жену.

— Мои теперь, — похвалился барин.

— Это дело ваше.

— А хошь, подарю обратно?

— Отдаривать нечем.

— Ну, а примерить на себя ты их можешь? Взглянуть мне охота, как эти камни на человеке придутся.

— Это,— отвечает Танюшка,— можно.

Взяла шкатулку, разобрала уборы,— привычно дело,— и живо их к месту пристроила. Барин глядит и только ахает. Ах да ах, больше и речей нет. Танюшка постояла в уборе-то и спрашивает:

— Поглядели? Будет? Мне ведь не от простой поры тут стоять — работа есть.

Барин тут при всех и говорит:

— Выходи за меня замуж. Согласна?

Танюшка только усмехнулась:

— Не под стать бы ровно барину такое говорить.— Сняла уборы и ушла.

Только барин не отстаёт. На другой день свататься приехал. Просит-молит Настасьё-то: отдай за меня дочь.

Настасья говорит:

— Я с нее воли не снимаю, как она хочет, а по-моему — будто не подходит.

Танюшка слушала-слушала да и молвит:

— Вот что, не то... Слышала я, будто в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь — тогда выйду за тебя замуж.

Барин, конечно, на все согласен. Сейчас же в Сам-Петербург стал собираться и Танюшку с собой зовет — лошадей, говорит, тебе предоставляю. А Танюшка отвечает:

— По нашему-то обряду и к венцу на жениховых лошадях невеста не ездит, а мы ведь еще никто. Потом уж об этом говорить будем, как ты свое обещанье исполнишь.

— Когда же,— спрашивает,— ты в Сам-Петербурге будешь?

— К Покрову,— говорит,— непременно буду. Об этом не сумлевайся, а пока уезжай отсюда.

Барин уехал, Паротину жену, конечно, не взял, не глядит даже на нее. Как домой в Сам-Петербург-от приехал, давай по всему городу славить про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К осеням-то барин квартиру Танюшке приготовил, платьев всяких навез, обую, а она весточку и прислала,— тут она, живет у такой-то вдовы на самой окраине. Барин, конечно, сейчас же туда:

— Что вы! Мысленное ли дело тут проживать? Квартерка приготовлена, первый сорт!

А Танюшка отвечает:

— Мне и тут хорошо.

Слух про камень да турчаниновску невесту и до царицы дошел. Она и говорит:

— Пущай-ка Турчанинов покажет мне свою невесту. Что-то много про нее врут.

Барин к Танюшке, — дескать, приготовиться надо. Наряд такой сшить, чтобы во дворец можно, камни из малахитовой шкатулки надеть. Танюшка отвечает:

— О наряде не твоя печаль, а камни возьму на подержанье. Да, смотри, не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. Жди только меня у крылечка, во дворце-то.

Барин думает — откуда у ней лошади? где платье дворцовское? — а спрашивать все ж таки не насмелился.

Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, в шелках да бархатах. Турчанинов барин спозаранку у крыльца вертится — невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на нее поглядеть, — тут же остановились. А Танюшка надела камня, подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула и идет себе потихонечку. Ну, народ — откуда такая? — валом за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пускают — не дозволено, говорят, заводским-то. Турчанинов барин издаля Танюшку завидел, только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком, да еще в экой шубейке, он взял да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку, лакеи глядят — платье-то! У царицы такого нет! — сразу пустили. А как Танюшка сняла платочек да шубейку, все кругом сахнули:

— Чья такая? Каких земель царица?

А барин Турчанинов тут как тут.

— Моя невеста, — говорит.

Танюшка эдак строго на него поглядела:

— Это еще вперед поглядим! Пошто ты меня обманул — у крылечка не дождался?

Барин туда-сюда, — оплошка-де вышла. Извини, пожалуйста.

Пошли они в палаты царские, куда было велено. Глядит Танюшка — не то место. Еще строже спросила Турчанинова барина:

— Это еще что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая малахитом тятиной работы обделана! — И пошла по дворцу-то, как дома. А сенаторы, генералы и протчи за ней.

— Что, дескать, такое? Видно, туда велено.

Народу набралось полным-полно, и все глаз с Танюшки не сводят, а она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Турчанинов, конечно, тут же. Лопочет ей, что ведь неладно, не в этом помещенье царица дожидаться велела. А Танюшка стоит спокойненько, хоть бы бровью повела, будто барина вовсе нет.

Царица вышла в комнату-то, куда назначено. Глядит — никого нет. Царицыны наушницы и доводят — турчаниновска невеста всех в малахитову палату увела. Царица поворчала, конечно, — что за самовольство! Запотопывала ногами-то. Осердилась, зна-

чит, маленько. Приходит царица в палату малахитову. Все ей кланяются, а Танюшка стоит — не шевельнется.

Царица и кричит:

— Ну-ко, показывайте мне эту самовольницу — турчаниновску невесту!

Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину:

— Это еще что придумал! Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять обман! Видеть тебя больше не хочу! Получи свои камни!

С этим словом прислонилась к стенке малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки.

Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула. Засуетились, поднимать стали. Потом, когда суматоха поулеглась, приятели и говорят Турчанинову:

— Подбери хоть камни-то! Живо разворуют. Не како-нибудь место — дворец! Тут цену знают!

Турчанинов и давай хватать те каменья. Какой схватит, тот у него и свернется в капельку. Ина капля чистая, как вот слеза, ина желтая, а то опять, как кровь, густая. Так ничего и не собрал. Глядит — на полу пуговка валяется. Из бутылочного стекла на простую грань. Вовсе пустяковая. С горя он и схватил ее. Только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зеркале, зеленоглазая красавица в малахитовом платье, вся дорогими каменьями изукрашенная, хохочет-заливается:

— Эх ты, полоумный косой заяц! Тебе ли меня взять! Разве ты мне пара?

Барин после этого и последний умишко потерял, а пуговку не бросил. Нет-нет и поглядит в нее, а там все одно: стоит зеленоглазая, хохочет и обидные слова говорит. С горя барин давай-ко пировать, долгов наделал, чуть при нем наши-то заводы с молотка не пошли.

А Паротя, как его отстранили, по кабакам пошел. До ремков пропился, а патрет тот шелковый берег. Куда этот патрет потом девался — никому не известно.

Не поживилась и Паротина жена: поди-ко, получи по заемной бумаге, коли все железо и медь заложены!

Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху ни духу. Как не было.

Погоревала, конечно, Настасья, да тоже не от силы. Танюшка-то, вишь, хоть радетельница для семьи была, а все Настасье как чужая.

И то сказать, парни у Настасьи к тому времени выросли. Женились оба. Внулата пошли. Народу в избе густенько стало. Знай поворачивайся — за тем догляди, другому подай... До скуки ли тут!

Холостяжник — тот дольше не забывал. Все под Настасьи-

ными окошками топтался. Поджидали, не появится ли у окошечка Танюшка, да так и не дождались.

Потом, конечно, оженились, а нет-нет и помянут:

— Вот-де какая у нас в заводе девка была! Другой такой в жизни не увидишь.

Да еще после этого случаю заметочка вышла. Сказывали, будто Хозяйка Медной горы двоиться стала: сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали.

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

Не одни мраморски на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом вожгались*, как его было довольно, и сорт — выше нет. Вот из этого малахиту и выделявали подходяще. Такие, слышь-ко, штучки, что диву дашься, как ему помогло.

Был в ту пору мастер Прокопъич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был.

Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопъичу парнишек на выучку.

— Пушай-де переймут всё до тонкости.

Только Прокопъич, — то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли еще что, — учил шибко худо. Все у него с рывка да с тычка. Насадит парнишке по всей голове шишек, уши чуть не оборвет да и говорит приказчику:

— Не гожд этот... Глаз у него неспособный, рука не несет. Толку не выйдет.

Приказчику, видно, заказано было ублагодворять Прокопъича.

— Не гожд, так не гожд... Другого дадим... — И нарядит другого парнишку.

Ребятишки прослышали про эту науку... Спозаранку ревут, как бы к Прокопъичу не попасть. Отцам-матерям тоже не сладко родного дитенка на зряшную муку отдавать, — выгораживать стали свои-то, кто как мог. И то сказать, нездорово это мастерство, с малахитом-то. Отрава чистая. Вот и оберегаются люди.

Приказчик все ж таки помнит баринов наказ — ставит Прокопъичу учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку да и сдаст обратно приказчику.

— Не гожд этот...

Приказчик взъедаться стал:

— До какой поры это будет? Не гожд да не гожд, когда гожд будет? Учи этого...

Прокопъич, знай, свое:

— Мне что... Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет...

— Какого тебе еще?

— Мне хоть и вовсе не ставь,— об этом не скучаю...

Так вот и перебрали приказчик с Прокопьем много ребятишек, а толк один: на голове шишки, а в голове — как бы убежать. Нарочно которые портили, чтобы Прокопий их прогнал. Вот так-то и дошло дело до Данилки Недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечко. Годов, поди, тогда двенадцати, а то и боле. На ногах высоконький, а худой-расхудой, в чем душа держится. Ну, а с лица чистенький. Волосенки кудрявеньки, глазенки голубеньки. Его и взяли сперва в казачки при господском доме: табакерку, платок подать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарованья к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких-то местах вьюнами вьются. Чуть что — навтыжку: что прикажете? А этот Данилко забьется куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшение, да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведет. Били, конечно, поначалу-то, потом рукой махнули:

— Блаженный какой-то! Тихоход! Из такого хорошего слуги не выйдет.

На заводскую работу либо в гору все ж таки не отдали — шибко жидко место, на неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаски. И тут Данилко не вовсе гош пришелся. Парнишечко ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку, а коровы-то — вон где! Старый пастух ласковый попался, жалел сиротку, и тот временем ругался:

— Что только из тебя, Данилко, выйдет? Погубишь ты себя, да и мою старую спину под бой подведешь. Куда это годится? О чем хоть думка-то у тебя?

— Я и сам, дедко, не знаю... Так... ни о чем... Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней желтенько выглядывает, а листок ширококонький... По краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а середка зеленая-презеленая, ровно ее сейчас выкрасили... А букашка-то и ползет...

— Ну, не дурак ли ты, Данилко? Твое ли дело букашек разбирать? Ползет она — и ползи, а твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу!

Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился — куда старику! Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят:

— Сыграй, Данилушко, песенку.

Он и начнет наигрывать. И песни все незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекли-

каются, а хорошо выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто пониточек* починит, кто холста на онучи отрежет, рубашонку новую сошьет. Про кусок и разговору нет,— каждая норовит дать побольше да послаще. Старику пастуху тоже Данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнет Данилушко наигрывать и все забудет, ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда.

Данилушко, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровенок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят — той нет, другой нет. Искать кинулись, да где тебе. Пасли около Ельничной... Самое тут волчье место, глухое... Одну только коровенку и нашли. Пригнали стадо домой... Так и так — обсказали. Ну, из завода тоже побежали — поехали на розыски, да не нашли.

Расправа тогда известно какая была. За всякую вину спину кажи. На грех еще одна-то корова из приказничьего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва старика, потом и до Данилушки дошло, а он худенький да тощенький. Господский палач оговорился даже.

— Экой-то,— говорит,— с одного разу сомлеет, а то и вовсе душу выпустит.

Ударил все ж таки — не пожалел, а Данилушко молчит. Палач его вдругорядь — молчит, втретий — молчит. Палач тут и расстервенился, давай полысать со всего плеча, а сам кричит:

— Я тебя, молчуна, доведу... Дашь голос... Дашь!

Данилушко дрожит весь, слезы каплют, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так и сомлел, а словечка от него не слышали. Приказчик,— он тут же, конечно, был,— удивился:

— Какой еще терпеливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется.

Отлежался-таки Данилушко. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, сказывают, старушка такая. Вместо лекаря по нашим заводам на большой славе была. Силу в травах знала: которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты... Ну, все как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав да корешков настойки готовила, отвары варила да с мазями мешала.

Хорошо Данилушке у этой бабушки Вихорихи пожилось. Старушка, слышь-ко, ласковая да словоохотливая, а трав, да корешков, да цветков всяких у ней засушено да навешано по всей избе. Данилушка к травам-то любопытен — как эту зовут? где растет? какой цветок? Старушка ему и рассказывает.

Раз Данилушко и спрашивает:

— Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?

— Хвастаться,— говорит,— не буду, а все будто знаю, какие открытые-то.

— А разве,— спрашивает,— еще не открытые бывают?

— Есть,— отвечает,— и такие. Папору* вот слышал? Она будто цветет на Иванов день. Тот цветок колдовской. Клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв-траве цветок — бегучий огонек. Поймай его — и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок. А то еще каменный цветок есть. В малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник* полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит.

— Чем, бабушка, несчастный?

— А это, дитенок, я и сама не знаю. Так мне сказывали. Данилушко у Вихориhi, может, и подольше бы пожил, да приказчиковы вестовщиики углядели, что парнишко мало-мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал да и говорит:

— Иди-ко теперь к Прокопъичу — малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа.

Ну, что сделаешь? Пошел Данилушко, а самого еще ветром качает. Прокопъич поглядел на него да и говорит:

— Еще такого не доставало. Здоровым парнишкам здешняя учеба не по силе, а с такого что взыщешь — еле живой стоит. Пошел Прокопъич к приказчику:

— Не надо такого. Еще ненароком убьешь — отвечать придется.

Только приказчик — куда тебе, слушать не стал:

— Дано тебе — учи, не рассуждай! Он — этот парнишка — крепкий. Не гляди, что жиденький.

— Ну, дело ваше,— говорит Прокопъич,— было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули.

— Тянуть некому. Одинокiй этот парнишка, что хочешь с ним делай,— отвечает приказчик.

Пришел Прокопъич домой, а Данилушко около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан — кромку отбить. Вот Данилушко на это место устоялся и головенкой покачивает. Прокопъичу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось:

— Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь?

Данилушко и отвечает:

— На мой глаз, дедушко, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут.

Прокопъич закричал, конечно:

— Что? Кто ты такой? Мастер? У рук не бывало, а судишь? Что ты понимать можешь?

— То и понимаю, что эту штуку испортили,— отвечает Данилушко.

— Кто испортил? а? Это ты, сопляк, мне — первому мастеру!.. Да я тебе такую порчу покажу... жив не будешь!

Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. Прокопъич-то, вишь, сам над этой досочкой думал — с которой стороны кромку срезать. Данилушко своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопъич и говорит вовсе уже добром:

— Ну-ко, ты, мастер явленный, покажи, как по-твоему сделать?

Данилушко и стал показывать да рассказывать:

— Вот бы какой узор вышел. А того бы лучше — пустить досочку поуже, по чистому полю кромку отбить, только бы сверху плетешок малый оставить.

Прокопъич знай покрикивает:

— Ну-ну... Как же! Много ты понимаешь. Накопил — не просыпь! — А про себя думает: «Верно парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок — он и ноги протянет».

Подумал так да и спрашивает:

— Ты хоть чей, экий ученый?

Данилушко и рассказал про себя.

Дескать, сирота. Матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилкой Недокормышем, а как отчество и прозвание отцовское — про то не знаю. Рассказал, как он в дворе не был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал.

Прокопъич пожалел:

— Не сладко, гляжу, тебе, парень, житьишко-то задалось, а тут еще ко мне попал. У нас мастерство строгое.

Потом будто рассердился, заворчал:

— Ну, хватит, хватит! Вишь разговорчивый какой! Языком-то — не руками — всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы! Ученичок тоже! Погляжу вот завтра, какой у тебя толк. Садись ужинать, да и спать пора.

Прокопъич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей снаходу у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать, а вечером Прокопъич сам управлял, что ему надо.

Поели, Прокопъич и говорит:

— Ложись вон тут на скамеечке!

Данилушко разулся, котомку свою под голову, понитком закрылся, поежился маленько, — вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени, — все-таки вскорости уснул. Прокопъич тоже лег, а уснуть не мог: все у него разговор о малахитовом узоре из головы нейдет. Ворочался-ворочался, встал, зажег свечку да и к станку — давай эту малахитову досочку так и сая примерять. Одну кромку закроет, другую... прибавит поле, убавит. Так

поставит, другой стороной повернет, и все выходит, что парнишка лучше узор понял.

— Вот тебе и Недокормышек! — дивится Прокопъич. — Еще ничем-ничего, а старому мастеру указал. Ну и глазок! Ну и глазок!

Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл:

— Спи-ко, глазастый!

А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом-то — тепло ему стало, — и давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопъича своих ребят не было, этот Данилушко и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется, а Данилушко знай посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопъича забота — как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был.

— С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться. Пыль, отравка, — живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет.

На другой день и говорит Данилушке:

— Ты спервоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой у меня порядок заведен. Понял? Для первого разу сходи за калиной. Ее иньями прихватило, — в самый раз она теперь на пироги. Да, гляди, не ходи далеко-то. Сколь наберешь — то и ладно. Хлеба возьми полишку, — естся в лесу-то, — да еще к Митрофановне зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла да молока в туесочек* плеснула. Понял?

На другой день опять говорит:

— Поймай-ко мне щегленка поголосистее да чечетку побойчее. Гляди, чтобы к вечеру были. Понял?

Когда Данилушко поймал и принес, Прокопъич говорит:

— Ладно, да не вовсе. Лови других.

Так и пошло. На каждый день Прокопъич Данилушке работу дает, а все забава.

Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить — пособишь-де. Ну, а какая подмога! Вперед на санях сидит, лошадыю правит, а назад за возом пешком идет. Промнется так-то, поест дома да спит покрепче. Шубу ему Прокопъич справил, шапку теплую, рукавицы, пимы* на заказ скатали. Прокопъич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну, и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени.

В хорошем-то житье Данилушко живо поправляться стал и к Прокопъичу тоже прильнул. Ну, как! — понял Прокопъичеву заботу, в первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес.

Только и к мастерству Данилушко присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То, другое Прокопьючу расскажет да и спрашивает — это что да это как? Прокопьюч объяснит, на деле покажет. Данилушко примечает. Когда и сам примется: «Ну-ко, я...» Прокопьюч глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше.

Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду. Спрашивает своих-то вестовщиков:

— Это чей парнишка? Который день его на пруду вижу... По будням с удочкой балуется, а уж не маленький... Кто-то его от работы прячет...

Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит.

— Ну-ко,— говорит,— тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь.

Привели Данилушку. Приказчик спрашивает:

— Ты чей?

Данилушко и отвечает:

— В ученье, дескать, у мастера по малахитному делу.

Приказчик тогда хватить его за ухо:

— Так-то ты, стервец, учишься! — Да за ухо и повел к Прокопьючу.

Тот видит — неладно дело, давай выгораживать Данилушку:

— Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить.

Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушко вовсе другой стал: поправился, рубашонка на нем добрая, штанишки тоже и на ногах сапожешки. Вот и давай проверку Данилушке делать:

— Ну-ко, покажи, чему тебя мастер выучил?

Данилушко запончик* надел, подошел к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит — у него на все ответ готов. Как околтать* камень, как распилить, фасочку снять*, чем когда склеить, как полер навести*, как на медь присадить, как на дерево. Одним словом, все как есть.

Пытал-пытал приказчик да и говорит Прокопьючу:

— Этот, видно, гож тебе пришелся?

— Не жалуюсь,— отвечает Прокопьюч.

— То-то, не жалуешься, а баловство разводишь! Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой! Смотри! Таких тебе свежих окуньков отпущу — до смерти не забудешь да и парнишке невесело станет.

Погрозился так-то, ушел, а Прокопьюч дивуется:

— Когда хоть ты, Данилушко, все это понял? Ровно я тебя еще и вовсе не учил.

— Сам же,— говорит Данилушко,— показывал да рассказывал, а я примечал.

У Прокопья даже слезы закапали,— до того ему это по сердцу пришлось.

— Сыночек,— говорит,— милый, Данилушко... Что еще знаю, все тебе открою... Не потаю...

Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки, какие женщины носят, шкатулочки. Потом с точкой пошло: подсвечники да украшения разные. Там и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь — малахитчиков — дело мешкотное. Пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит! Так Данилушко и вырос за этой работой.

А как выточил зарукавье* — змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал:

«Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу — Данилко Недокормыш. Работает хорошо, только по молодости еще тих. Прикажете на уроках его оставить али, как и Прокопья, на оброк отпустить?»

Работал Данилушко вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопья тут сноровку поймел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять ден, а Прокопья пойдет да и говорит:

— Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится — только камень без пользы изведет.

Ну, приказчик поспорит сколько, а дней, глядишь, прибавит. Данилушко и работал без натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать. Так, самую малость, а все ж таки разумел грамоте. Прокопья ему в этом тоже сноровлял*. Когда и сам наладится приказчиковы уроки за Данилушку делать, только Данилушко этого не допускал:

— Что ты! Что ты, дяденька! Твое ли дело за меня у станка сидеть! Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, здоровьем скудаться* стал, а мне что делается?

Данилушко и впрямь к той поре выправился. Хоть по старинке его Недокормышем звали, а он вон какой! Высокий да румяный, кудрявый да веселый. Одним словом, сухота девичья. Прокопья уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушко, знай, головой потряхивает:

— Не уйдет от нас! Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет.

Барин на приказчиково известие отписал:

«Пусть тот Прокопьев выученик Данилко сделает еще точеную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу — на оброк отпустить али на уроках держать. Только ты гляди, чтобы Прокопья тому Данилке не пособлял. Недоглядишь — с тебя взыск будет».

Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку да и говорит:

— Тут, у меня, работать будешь. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо.

Прокопъич узнал, запечалился: как так? что за штука? Пошел к приказчику, да разве он скажет... Закричал только: «Не твое дело!»

Ну, вот пошел Данилушко работать на ново место, а Прокопъич ему наказывает:

— Ты, гляди, не торопись, Данилушко! Не оказывай себя.

Данилушко сперва остерегался. Примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. Делай не делай, а срок отбывай — сиди у приказчика с утра до ночи. Ну, Данилушко от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит:

— Еще такую же делай!

Данилушко сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик и говорит:

— Теперь не увернешься! Поймал я вас с Прокопъичем. Барин тебе, по моему письму, срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу. Не обманешь больше, а тому старому псу покажу, как потворствовать! Другим закажет!

Так об этом и барину написал и чаши все три предоставил. Только барин, — то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердит был, — все как есть наоборот повернул.

Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопъича брать — может-де, вдвоем скорее придумают что новенькое. При письме чертеж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Одним словом, придумано. А на чертеже барин подписал: «Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была».

Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку к Прокопъичу и чертеж отдал.

Повеселели Данилушко с Прокопъичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушко вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил, — пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватит — хорошо идет дело. Одно ему не по нраву — трудности много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопъичу, а он только удивился:

— Тебе-то что? Придумали — значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал, а куда они — толком и не знаю.

Пробовал с приказчиком поговорить, так куда тебе. Ногами затопал, руками замахал:

— Ты очумел? За чертеж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал!

Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал, — не выдумают ли вдвоем чего новенького, — и говорит:

— Ты вот что... делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь — твое дело. Мешать не стану. Камня у нас, поди-ко, хватит. Какой надо — такой и дам.

Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано — чужое охаять мудрости немного надо, а свое придумать — не одну почку с боку на бок повертишься. Вот Данилушко сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый. Прокопъич заметил, спрашивает:

— Ты, Данилушко, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь.

— И то, — говорит Данилушко, — в лес хоть сходить. Не увижу ли, что мне надо.

С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Травы все в цвету. Данилушко остановится где на покосе либо на полянке в лесу и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то, как ищет что. Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку — не потерял ли чего? Он улыбнется этак невесело да и скажет:

— Потерять не потерял, а найти не могу.

Ну, которые и заговаривали:

— Неладно с парнем.

А он придет домой и сразу к станку, да до утра и сидит, а с солнышком опять в лес да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а все больше из объеди: черемицу да омег*, дурман да багульник, да резуны* всякие. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопъич вовсе забеспокоился, а Данилушко и говорит:

— Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел.

Прокопъич давай отговаривать:

— На что она тебе далась? Сыты ведь, чего еще? Пущай бары тешатся, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают какой узор — сделаем, а навстречу-то им зачем лезть? Лишний хомут надевать — только и всего.

Ну, Данилушко на своем стоит.

— Не для барина, — говорит, — стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, поди-ко, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим, да режем, да полер наводим и вовсе

ни к чему. Вот мне и припало желание так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать.

По времени отошел Данилушко, сел опять за ту чашу, по барскому-то чертежу. Работает, а сам посмеивается:

— Лента каменная с дырками, каемочка резная...

Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопъичу сказал:

— По дурман-цветку свою чашу делать буду.

Прокопъич отговаривать принялся. Данилушко сперва и слушать не хотел, потом, дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопъичу:

— Ну ладно. Сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай... Не могу ее из головы выбросить.

Прокопъич отвечает:

— Ладно, мешать не стану, — а сам думает: «Уходитя парень, забудет. Женить его надо. Вот что! Лишняя дурь из головы вылетит, как семьей обзаведется».

Занялся Данилушко чашей. Работы в ней много — в один год не укладшь. Работает усердно, про дурман-цветок не поминает. Прокопъич и стал про женитьбу заговаривать:

— Вот хоть бы Катя Летемина — чем не невеста? Хорошая девушка... Похаять нечем.

Это Прокопъич-то от ума говорил. Он, вишь, давно заприметил, что Данилушко на эту девушку сильно поглядывал. Ну, и она не отворачивалась. Вот Прокопъич, будто ненароком, и заводил разговор. А Данилушко свое твердит:

— погоди! Вот с чашкой управлюсь. Надоела мне она. Того и гляди — молотком стукну, а он про женитьбу! Уговорились мы с Катей. Подождет она меня.

Ну, сделал Данилушко чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя — невеста-то — с родителями пришла, еще которые... из мастеров же малахитных больше. Катя дивится на чашу.

— Как, — говорит, — только ты ухитрился узор такой вырезать и камня нигде не обломил! До чего все гладко да чисто обточено!

Мастера тоже одобряют:

— В аккурат-де по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь — пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться.

Данилушко слушал-слушал да и говорит:

— То и горе, что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, а красота где? Вон цветок... самый что ни есть плохонький, а глядишь на него — сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк,

как вон Катенька, подивится, какой-де у мастера глаз да рука, как у него терпенья хватило нигде камень не обломить.

— А где оплошал,— смеются мастера,— там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдешь.

— Вот-вот... А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой! Первый камень! Понимаете, первый!

Горячиться стал. Выпил, видно, маленько.

Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопъич не раз говорил:

— Камень — камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить да резать.

Только был тут старичок один. Он еще Прокопъича и тех — других-то мастеров — учил. Все его дедушкой звали. Вовсе ветхий старичоночко, а тоже этот разговор понял да и говорит Данилушке:

— Ты, милый сын, по этой половице не ходи! Из головы выбрось! А то попадешь к Хозяйке в горные мастера...

— Какие мастера, дедушко?

— А такие... в горе живут, никто их не видит... Что Хозяйке понадобится, то они сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа! От нашей, от здешней, на отличку.

Всем любопытно стало. Спрашивают, какую поделку видел.

— Да змейку,— говорит,— ту же, какую вы на зарукавье точите.

— Ну, и что? Какая она?

— От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает — не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто ни выточат, каменная, а тут как есть живая. Хребтик черненький, глазки... Того и гляди — клюнет. Им ведь что! Они цветок каменный видали, красоту поняли.

Данилушко, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал:

— Не знаю, милый сын. Слышал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет.

Данилушко на это и говорит:

— Я бы поглядел.

Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась:

— Что ты, что ты, Данилушко! Неуж тебе белый свет наскучил? — да в слезы.

Прокопъич и другие мастера смети́ли дело, давай старого мастера на смех подымать:

— Выживаться из ума, дедушко, стал. Сказки сказываешь. Парня зря с пути сбиваешь.

Старик разгорячился, по столу стукнул:

— Есть такой цветок! Парень правду говорит: камень мы не разумеем. В том цветке красота показана.

Мастера смеются:

— Хлебнул, дедушко, лишка!

А он свое:

— Есть каменный цветок!

Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать да около своего дурман-цветка ходить, про свадьбу и не поминает. Прокопъич уж понуждать стал:

— Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того жди — пересмеивать ее станут. Мало смотниц-то?*

Данилушко одно свое:

— погоди ты маленько! Вот только придумаю да камень подходящий подберу.

И повадился на медный рудник — на Гумешки-то. Когда в шахту спустится, по забоям обойдет, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его да и говорит:

— Нет, не тот...

Только это промолвил, кто-то и говорит:

— В другом месте поищи... у Змеиной горки.

Глядит Данилушко — никого нет. Кто бы это? Шутят, что ли... Будто и спрятаться негде. Поогляделся еще, пошел домой, а вслед ему опять:

— Слышь, Данило-мастер? У Змеиной горки, говорю.

Оглянулся Данилушко — женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало.

«Что, — думает, — за шутка? Неуж сама? А что, если сходить на Змеиную-то?»

Змеиную горку Данилушко хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумешек. Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали.

Вот на другой день и пошел туда Данилушко. Горка хоть небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезано. Глядельце* тут первосортное. Все пласты видно, лучше некуда.

Подошел Данилушко к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень — на руках не унести, и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушко эту находку. Все, как ему надо: цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется... Ну, все как есть... Обрадовался Данилушко, скорей за лошадью побежал, привез камень домой, говорит Прокопъичу:

— Гляди-ко, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю. Тогда и жениться. Верно, заждалась меня

Катенька. Да и мне это не легко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы ее кончить!

Ну, и принялся Данилушко за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопъич помалкивает. Может, угомонится парень, как охотку стешит. Работа ходко идет. Низ камня отделал. Как есть, слышь-ко, куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки — все пришлось лучше нельзя. Прокопъич и то говорит — живой цветок-то, хоть рукой пощупать. Ну, как доверху дошел — тут заколодило. Стебелек выточил, боковые листики тонехоньки — как только держится! Чашку, как у дурман-цветка, а не то... Не живой стал и красоту потерял. Данилушко тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопъич и другие мастера, кои заходили поглядеть, дивятся, — чего еще парню надо? Чашка вышла — никто такой не делывал, а ему неладно. Умуется* парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят, — плаксивать стала. Это Данилушку и образумило.

— Ладно, — говорит, — больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня. — И давай сам торопить со свадьбой. Ну, а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово. Назначили день. Повеселел Данилушко. Про чашу-то приказчику сказал. Тот прибежал, глядит — вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушко говорит:

— Погоди маленько, доделка есть.

Время осеннее было. Как раз около Змеиного праздника свадьба прилась. К слову, кто-то и помянул про это — вот-де скоро змси все в одно место соберутся. Данилушко эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло: «Не сходить ли последний раз к Змеиной горке? Не узнаю ли там чего?» — и про камень припомнил: «Ведь как положенный был! И голос на руднике-то... про Змеиную же горку говорил».

Вот и пошел Данилушко. Земля тогда уже подмерзать стала, снежок припорошивал. Подошел Данилушко ко крутику, где камень брал, глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушко о том не подумал, кто это камень ломал, зашел в выбоину. «Посижу, — думает, — отдохну за ветром. Потеплее тут». Глядит — у одной стены камень-серовик, вроде стула. Данилушко тут и сел, задумался, в землю глядит, и все цветок тот каменный из головы нейдет. «Вот бы поглядеть!» Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушко поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит Медной горы Хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушко сразу ее признал. Только и то думает:

«Может, мне это кажется, а на деле никого нет». Сидит — молчит, глядит на то место, где Хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом и спрашивает:

— Ну, что, Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?

— Не вышла,— отвечает.

— А ты не вешай голову-то! Другое попробуй. Камень тебе будет, по твоим мыслям.

— Нет,— отвечает,— не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.

— Показать-то,— говорит,— просто, да потом жалеть будешь.

— Не отпустишь из горы?

— Зачем не отпущу! Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются.

— Покажи, сделай милость!

Она еще его уговаривала:

— Может, еще попытаешь сам добиться! — Про Прокопья тоже помянула: — Он-де тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть.— Про невесту напомнила: — Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь.

— Знаю я,— кричит Данилушко,— а только без цветка мне жизни нет. Покажи!

— Когда так,— говорит,— пойдем, Данило-мастер, в мой сад.

Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит Данилушко, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня... Ну, всякие... Только живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то покачиваются и голк* дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава, тоже каменная. Лазоревая, красная... разная... Солнышка не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет.

И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы и в каждом сурьяная* звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют.

— Ну, Данило-мастер, поглядел? — спрашивает Хозяйка.

— Не найдешь,— отвечает Данилушко,— камня, чтобы так-то сделать.

— Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу.— Сказала и рукой махнула. Опять зашумело, и Данилушко на том же камне, в ямине-то этой оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осень.

Пришел Данилушко домой, а в этот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушко веселым себя показывал — песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась:

— Что с тобой? Ровно на похоронах ты!

А он и говорит:

— Голову разломило. В глазах черное с зеленым да красным. Света не вижу.

На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ли дороги, коли через дом либо через два жили. Вот Катенька и говорит:

— Пойдемте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдем, а по Еланской воротимся.

Про себя думает: «Пообдует Данилушку ветром,— не лучше ли ему станет».

А подружкам что... Рады-радехоньки.

— И то,— кричат,— проводить надо. Шибко он близко живет — провожальную песню ему по-доброму вовсе не пели.

Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестины с холостяжником, который на вечеринке был, поотстали маленько. Завели девки эту песню провожальную. А она протяжно да жалобно поется, чисто по покойнику. Катенька видит — вовсе ни к чему это: «И без того Данилушко у меня невеселый, а они еще причитанье петь придумали».

Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговаривал было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за веселые принялись. Смех у них да беготня, а Данилушко идет, голову повесил. Сколь Катенька ни старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с холостяжником стали расходиться — кому куда, а Данилушко уж без обряду невесту свою проводил и домой пошел.

Прокопъич давно спал. Данилушко потихоньку зажег огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопъича кашлем бить стало. Так и надывается. Он, вишь, к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку как ножом по сердцу резнуло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопъич прокашлялся, спрашивает:

— Ты что это с чашами-то?

— Да вот гляжу, не пора ли сдавать?

— Давно,— говорит,— пора. Зря только место занимают. Лучше все равно не сделаешь.

Ну, поговорили еще маленько, потом Прокопъич опять уснул. И Данилушко лег, только сна ему нет и нет. Поворочался-поворочался, опять поднялся, зажег огонь, поглядел на чаши, подошел к Прокопъичу. Постоял тут над стариком-то, повздыхал...

Потом взял балодку* да как ахнет по дурман-цветку,— только схрупало. А ту чашу,— по барскому-то чертежу,— не пошевелил! Плюнул только в середку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли.

Кто говорил, что он ума решился, в лесу загинул, а кто опять сказывал — Хозяйка взяла его в горные мастера.

На деле по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.

ГОРНЫЙ МАСТЕР

Катя — Данилова-то невеста — незамужницей осталась. Года два либо три прошло, как Данило потерялся, — она и вовсе из невестинской поры вышла. За двадцать-то годов, по-нашему, по-заводскому, перестарок считается. Парни таких редко сватают, вдовцы больше. Ну, а эта Катя, видно, пригожая была, к ней всё женихи лезут, а у ней только и слов:

— Данилу обещалась.

Ее уговаривают:

— Что поделаешь! Обещалась, да не вышла. Теперь об этом и поминать не к чему. Давно человек изгиб.

Катя на своем стоит:

— Данилу обещалась. Может, и придет еще он.

Ей толкуют:

— Нет его в живых. Верное дело.

А она уперлась на своем:

— Никто его мертвым не видал, а для меня он и подавно живой.

Видят — не в себе девка, — отстали. Иные на смех еще подымать стали: прозвали ее мертвяковой* невестой. Ей это прильнуло. Катя Мертвякова да Катя Мертвякова, ровно другого прозванья не было.

Тут какой-то мор на людей случился, и у Кати старики-то оба умерли. Родство у нее большое. Три брата женатых да сестер замужних сколько-то. Рассорка промеж ними и вышла — кому на отцовском месте оставаться. Катя видит — бестолковщина пошла, и говорит:

— Пойду-ка я в Данилушкову избу жить. Вовсе Прокопъич старый стал. Хоть за ним похожу.

Братья-сестры уговаривать, конечно:

— Не подходит это, сестра. Прокопъич хоть старый человек, а мало ли что про тебя сказать могут.

— Мне-то, — отвечает, — что? Не я сплетницей стану. Прокопъич, поди-ко, мне не чужой. Приемный отец моему Данилу. Тятенькой его звать буду.

Так и ушла. Оно и то сказать: семейные не крепко вязались. Про себя думали: лишний из семьи — шуму меньше. А Прокопъич что? Ему по душе пришлось.

— Спасибо, — говорит, — Катенька, что про меня вспомнила.

Вот и стали они поживать. Прокопъич за станком сидит,

а Катя по хозяйству бегаёт — в огороде там, сварить-постряпать и протча. Хозяйство невелико, конечно, на двоих-то... Катя — девушка проворная, долго ли ей!.. Управится и садится за какое рукоделье: сшить-связать, мало ли. Сперва у них гладенько катилось, только Прокопичу все хуже да хуже. День сидит, два лежит. Изробился, старый стал. Катя и заподумывала, как они дальше-то жить станут.

«Рукодельем женским не прокормишься, а другого ремесла не знаю».

Вот и говорит Прокопичу:

— Тятенька! Ты бы хоть научил меня чему попроще.

Прокопичу даже смешно стало.

— Что ты это! Девичье ли дело за малахитом сидеть! Отродясь такого не слыхивал.

Ну, она все ж таки присматриваться к Прокопичеву ремеслу стала. Помогала ему, где можно. Распилить там, пошлифовать. Прокопич и стал ей то-другое показывать. Не то, чтобы настояще. Бляшку обточить, ручки к вилкам-ножам сделать и протча, что в ходу было. Пустяшно, конечно, дело, копеечно, а все разоставок при случае.

Прокопич недолго зажился. Тут братья-сестры уж понуждать Катю стали:

— Теперь тебе заневолю надо замуж выходить. Как ты одна жить будешь?

Катя их обрезала:

— Не ваша печаль. Никакого мне вашего жениха не надо. Придет Данилушко. Выучится в горе и придет.

Братья-сестры руками на нее машут:

— В уме ли ты, Катерина? Эдакое и говорить грех! Давно умер человек, а она его ждет! Гляди, еще блазнить* станет.

— Не боюсь, — отвечает, — этого.

Тогда родные спрашивают:

— Чем ты хоть жить-то станешь?

— Об этом, — отвечает, — тоже не заботьтесь. Продержусь одна.

Братья-сестры так поняли, что от Прокопича деньжонки остались, и опять за свое:

— Вот и вышла дура! Коли деньги есть, мужика беспрременно в доме надо. Не ровен час, — поохотится кто за деньгами. Свернут тебе башку, как куренку. Только и свету видела.

— Сколько, — отвечает, — на мою долю положено, столько и увижу.

Братья-сестры долго еще шумели. Кто кричит, кто уговаривает, кто плачет, а Катя заколодила свое:

— Продержусь одна. Никакого вашего жениха не надо. Давно у меня есть.

Осердились, конечно, родные:

— В случае, к нам и глаз не показывай!

— Спасибо,— отвечает,— братцы милые, сестрицы любезные! Помнить буду. Сами-то не забудьте — мимо похаживайте! Смеется, значит. Ну, родня и дверями хлоп.

Осталась Катя одна-одинешенька. Поплакала, конечно, сперва, потом и говорит:

— Врешь! Не поддамся!

Вытерла слезы и по хозяйству занялась. Мыть да скоблить — чистоту наводить. Управилась — и сразу к станку села. Тут тоже свой порядок наводить стала. Что ей не нужно, то подальше, а что постоянно требуется, то под руку. Навела так-то порядок и хотела за работу садиться:

«Попробую сама хоть одну бляшку обточить».

Хватились, а камня подходящего нет. Обломки Данилушковой дурман-чашки остались, да Катя берегла их. В особом узле они были завязаны. И Прокопьяча камня, конечно, много было. Только Прокопьяч до смерти на больших работах сидел. Ну, и камень все крупный. Обломышки да кусочки все подобрались — порасходовались на мелкую поделку. Вот Катя и думает:

«Надо, видно, сходить на руднишных отвалах поискать. Не попадет ли подходящий камешок».

От Данилы да и от Прокопьяча она слыхала, что они у Змеиной горки брали. Вот туда и пошла.

На Гумешках, конечно, всегда народ: кто руду разбирает, кто возит. Глядят на Катю-то — куда она с корзинкой пошла. Кате это нелюбо, что на нее зря глаза пялят. Она и не стала на отвалах с этой стороны искать, обошла горку-то. А там еще лес рос. Вот Катя по этому лесу и забралась на самую Змеиную горку, да тут и села. Горько ей стало — Данилушку вспомнила. Сидит на камне, а слезы так и бегут. Людей нет, лес кругом,— она и не сторожится. Так слезы на землю и капают. Поплакала, глядит — у самой ноги малахит-камень обозначился, только весь в земле сидит. Чем его возьмешь, коли ни кайлы, ни лома? Катя все-таки пошевелила его рукой. Показалось, что камень не крепко сидит. Вот она и давай прутиком каким-то землю отгребать от камня. Отгребла, сколько можно, стала вышатывать. Камень и подался. Как хрупнуло снизу,— ровно сучок обломился. Камешок небольшой, вроде плитки. Толщиной пальца в три, шириной в ладонь, а длиной не больше двух четвертей. Катя даже подивилась.

— Как раз по моим мыслям. Распилю его, так сколько бляшек выйдет. И потери самый пустяк.

Принесла камень домой и сразу занялась распиливать. Работа не быстрая, а Кате еще надо по домашности управляться. Глядишь, весь день в работе, и скучать некогда. Только как за станок садиться, все про Данилушку вспомнит:

— Поглядел бы он, какой тут новый мастер объявился. На его-то да Прокопьячевом месте сидит!

Нашлись, конечно, охальники. Как без этого... Ночью под какой-то праздник засиделась Катя за работой, а трое парней и перелезли к ней в ограду. Попугать хотели али и еще что — их дело, только все выпивши. Катя ширкает пилой-то и не слышит, что у ней в сенках люди. Услышала, когда уж в избу ломиться стали:

— Отворяй, мертвякова невеста! Принимай живых гостей!

Катя сперва уговаривала их:

— Уходите, ребята!

Ну, им это ничего. Ломятся в дверь, того и гляди — сорвут. Тут Катя скинула крючок, расхлобыснула двери и кричит:

— Заходи, нето. Кого первого лобанить?

Парни глядят, а она с топором.

— Ты,— говорят,— без шуток!

— Какие,— отвечает,— шутки! Кто за порог, того и по лбу.

Парни хоть пьяные, а видят — дело нешуточное. Девка возрастная, оплечье крутое, глаз решительный, и топор, видать, в руках бывал. Не посмели ведь войти-то. Пошумели-пошумели, убрались да еще сами же про это рассказали. Парней и стали дразнить, что они трое от одной девки убежали. Им это не полюбилось, конечно, они и сплели, будто Катя не одна была, а за ней мертвяк стоял.

— Да такой страшный, что заневолю убежишь.

Парням поверили — не поверили, а по народу с той поры пошло:

— Нечисто в этом доме. Недаром она одна-одинешенька живет.

До Кати это донеслось, да она печалиться не стала. Еще подумала: «Пушай плетут. Мне так-то и лучше, если побаиваться станут. Другой раз, глядишь, не полезут».

Соседи и на то дивятся, что Катя за станком сидит. На смех ее подняли:

— За мужичье ремесло принялась! Что у нее выйдет!

Это Кате солонее пришлось. Она и сама подумывала: «Выйдет ли у меня у одной-то?» Ну, все ж таки с собой совладала: «Базарский товар! Много ли надо? Лишь бы гладко было... Неуж и того не осилю?»

Распилила Катя камешок. Видит — узор на редкость пришелся, и как намечено, в котором месте поперек отпилить. Подивилась Катя, как ловко все пришлось. Поделила по-готовому, обтачивать стала. Дело не особо хитрое, а без привычки тоже не сделаешь. Помаялась сперва, потом научилась. Хоть куда бляшки вышли, а потери и вовсе нет. Только и в брос, что на сточку пришлось.

Наделала Катя бляшек, еще раз подивилась, какой выходной камешок оказался, и стала смекать, куда сбыть поделку. Прокопьич такую мелочь в город, случалось, возил и там все в одну

лавку сдавал. Катя много раз про эту лавку слыхала. Вот она и придумала сходить в город.

«Спрошу там, будут ли напередки мою поделку принимать».

Затворила избушку и пошла пешочком. В Полевой и не заметили, что она в город убралась. Узнала Катя, где тот хозяин, который у Прокопьяча поделку принимал, и заявила прямо в лавку. Глядит — полно тут всякого камня, а малахитовых бляшек целый шкаф за стеклом. Народу в лавке много. Кто покупает, кто поделку сдает. Хозяин строгий да важный такой.

Катя сперва и подступить боялась, потом насмелилась и спрашивает:

— Не надо ли малахитовых бляшек?

Хозяин пальцем на шкаф указал:

— Не видишь, сколь у меня добра этого?

Мастера, которые работу сдавали, припевают ему:

— Много ноне на эту поделку мастеров развелось. Только камень переводят. Того не понимают, что для бляшки узор хороший требуется.

Один-то мастер из полевских. Он и говорит хозяину потихоньку:

— Недоумок эта девка. Видели ее соседи за станком-то. Вот, поди, настряпала.

Хозяин тогда и говорит:

— Ну-ко, покажи, с чем пришла?

Катя и подала ему бляшку. Поглядел хозяин, потом на Катю уставился и говорит:

— У кого украла?

Кате, конечно, это обидно показалось. По-другому она заговорила:

— Какое твое право, не знаячи человека, эдак про него говорить? Гляди вот, если не слепой! У кого можно столько бляшек на один узор украсть? Ну-ко, скажи! — и высыпала на прилавок всю поделку.

Хозяин и мастера видят — верно, на один узор. И узор редкостный. Будто из середины-то дерево выступает, а на ветке птица сидит и внизу тоже птица. Явственно видно и сделано чисто.

Покупатели слышали этот разговор, потянулись тоже поглядеть, только хозяин сразу все бляшки прикрыл. Нашел заделье.

— Не видно кучей-то. Сейчас я их под стекло разложу. Тогда и выбирайте, что кому любо.— А сам Кате говорит: — Иди вон в ту дверь. Сейчас деньги получишь.

Пошла Катя, и хозяин за ней. Затворил дверку, спрашивает:

— Почем сдаешь?

Катя слыхала от Прокопьяча цены. Так и сказала, а хозяин давай хохотать:

— Что ты!.. Что ты! Такую-то цену я одному полевскому

мастеру Прокопьючу платил да еще его приемышу Данилу. Да ведь то мастера были!

— Я,— отвечает,— от них и слыхала. Из той же семьи буду.

— Вон что! — удивился хозяин.— Так это, видно, у тебя Данилова работа осталась?

— Нет,— отвечает,— моя.

— Камень, может, от него остался?

— И камень сама добывала.

Хозяин, видать, не верит, а только рядиться не стал. Рассчитался по-честному да еще говорит:

— Вперед случится такое сделать, неси. Безотказно принимать буду и цену положу настоящую.

Ушла Катя, радуется,— сколько денег получила! А хозяин те бляшки под стекло выставил. Покупатели набежали:

— Сколько?

Он, конечно, не ошибся,— в десять раз против купленного назначил, да и наговаривает:

— Такого узора еще не бывало. Полевского мастера Данилы работа. Лучше его не сделать.

Пришла Катя домой, а сама все дивится:

— Вот штука какая! Лучше всех мои бляшки оказались! Хорош камешок попался. Случай, видно, счастливый подошел.— Потом и хватилась: — А не Данилушко ли это мне весточку подал?

Подумала так, скрутилась и побежала на Змеиную горку.

А тот малахитчик, который хотел Катю перед городским купцом оконфузить, тоже домой воротился. Завидно ему, что у Кати такой редкостный узор получился. Он и придумал:

— Надо поглядеть, где она камень берет. Не новое ли какое место ей Прокопьюч либо Данило указали?

Увидел, что Катя куда-то побежала, он и пошел за ней. Видит — Гумешки она обошла стороной и куда-то на Змеиную горку пошла. Мастер туда же, а сам думает: «Там лес. По лесу-то к самой ямке прокрадусь».

Зашли в лес. Катя вовсе близко и нисколько не сторожится, не оглядывается, не прислушивается. Мастер радуется, что ему так легонько достанется новое место. Вдруг в сторонке что-то зашумело, да так, что мастер даже испугался. Остановился. Что такое? Пока он так-то разбирался, Кати и не стало. Бегал он, бегал по лесу. Еле выбрался к Северскому пруду — версты, поди, за две от Гумешек.

Катя сном дела не знала, что за ней подглядывают. Забралась на горку, к тому самому месту, где первый камешок брала. Ямка будто побольше стала, а сбоку опять такой же камешок видно. Пошатала его Катя, он и отстал. Опять, как сучок, хрупнул. Взяла Катя камешок и заплакала-запричитала. Ну, как девки-бабы по покойнику режут, всякие слова собирают:

— На кого ты меня, мил сердечный друг, покинул,— и протча тако...

Наревелась, будто полегче стало, стоит — задумалась, в руднишную сторону глядит. Место тут вроде полянки. Кругом лес густой да высокий, а в руднишную сторону помельче пошел. Время на закате. По низу от лесу на полянке темнеть стало, а в то место — к руднику солнышко пришлось. Так и горит это место, и все камешки на нем блестят.

Кате это любопытно показалось. Хотела поближе подойти. Шагнула, а под ногой и схрупало. Отдернула она ногу, глядит — земли-то под ногами нет. Стоит она на каком-то высоком дереве, на самой вершине. Со всех сторон такие же вершины подошли. В прогалы меж деревьями внизу видно травы да цветы, и вовсе они на здешние не походят.

Другая бы на Катином месте перепугалась, крик-визг подняла, а она вовсе о другом подумала:

«Вон она, гора, раскрылась! Хоть бы на Данилушку взглянуть!»

Только подумала и видит через прогалы — идет кто-то внизу, на Данилушку походит и руки вверх тянет, будто сказать что хочет. Катя свету не взвидела, так и кинулась к нему... с дерева-то! Ну, а пала тут же на землю, где стояла. Образумилась да и говорит себе:

— Верно, что блазнить мне стало. Надо поскорее домой идти.

Идти надо, а сама сидит да сидит, все ждет, не вскрыется ли еще гора, не покажется ли опять Данилушко. Так до потемок и просидела. Тогда только и домой пошла, а сама думает: «Повидала все-таки Данилушку».

Тот мастер, который за Катей подглядывал, домой к этому времени выбежал. Поглядел — избушка у Кати заперта. Он и притаился,— посмотрю, что она притащила. Видит — идет Катя, он и встал поперек дороги:

— Ты куда это ходила?

— На Змеиную,— отвечает.

— Ночью-то? Что там делать?

— Данилу повидать...

Мастер так и шарахнулся, а на другой день по заводу шепотки поползли:

— Вовсе рехнулась мертвякова невеста. По ночам на Змеиную ходит, покойника ждет. Как бы еще завод не подожгла, с малого-то ума.

Братья-сестры прослышали, опять прибежали, давай строжить да уговаривать Катю. Только она и слушать не стала. Показала им деньги и говорит:

— Это, думаете, откуда у меня? У хороших мастеров не берут, а мне за перводелку столько отвалили! Почему так?

Братья слышали про ее-то удачу и говорят:

— Случай счастливый вышел. О чем тут говорить.

— Таких, — отвечает, — случаев не бывало. Это мне Данило сам такой камень подложил и узор вывел.

Братья смеются, сестры руками машут:

— И впрямь рехнулась! Надо приказчику сказать. Как бы всамделе завод не подожгла!

Не сказали, конечно. Постыдились сестру-то выдавать. Только вышли да и сговорились:

— Надо за Катериной глядеть. Куда пойдет — сейчас же за ней бежать.

А Катя проводила родню, двери заперла да принялась новый-то камешок распиливать. Пилит да загадывает:

— Коли такой же издастся, значит, не поблазнило мне — видала я Данилушку.

Вот она и торопится распилить. Поглядеть-то ей поскорее охота, как по-настоящему узор выйдет. Ночь уж давно, а Катя все за станком сидит. Одна сестра проснулась в эту пору, увидела огонь в избе, подбежала к окошку, смотрит сквозь щелку в ставне и дивится:

— И сон ее не берет! Наказанье с девкой!

Отпилила Катя досочку — узор и обозначился. Еще лучше того-то. Птица с дерева книзу полетела, крылья расправила, а снизу навстречу другая летит. Пять раз этот узор на досочке. Из точки в точку намечено, как поперек распилить. Катя тут и думать не стала. Схватила да и побежала куда-то. Сестра за ней. Дорогой-то постучалась к братьям — бегите, дескать, скорей. Выбежали братья, еще народ сбили. А уже светленько стало. Глядят — Катя мимо Гумешек бежит. Туда все и кинулись, а она, видно, и не чует, что народ за ней. Пробежала рудник, потише пошла в обход Змеиной горки. Народ тоже призадержался — посмотрим, дескать, что она делать будет.

Катя идет, как ей привычно, на горку. Взглянула, а лес кругом какой-то небывалый. Пощупала рукой дерево, а оно холодное да гладкое, как камень шлифованный. И трава понизу тоже каменная оказалась, и темно еще тут. Катя и думает:

«Видно, я в гору попала».

Родня да народ той порой переполошились:

— Куда она девалась? Сейчас близко была, а не стало!

Бегают, суетятся. Кто на горку, кто кругом горки. Перекликаются друг с дружкой: «Там не видно?»

А Катя ходит в каменном лесу и думает, как ей Данилу найти. Походила-походила да и закричала:

— Данило, отзовись!

По лесу голк пошел. Сучья запостукивали: «Нет его! Нет его! Нет его!» Только Катя не унялась:

— Данило, отзовись!

По лесу опять: «Нет его! Нет его!»

Катя снова:

— Данило, отзовись!

Тут Хозяйка горы перед Катей и показалась.

— Ты зачем,— спрашивает,— в мой лес забралась? Чего тебе? Камень, что ли, хороший ищешь? Любой бери да уходи поскорее!

Катя тут и говорит:

— Не надо мне твоего мертвого камня! Подавай мне живого Данилушку. Где он у тебя запрятан? Какое твое право чужих женихов сманивать?

Ну, смелая девка. Прямо на горло наступать стала. Это Хозяйке-то! А та ничего, стоит спокойненько:

— Еще что скажешь?

— А то и скажу — подавай Данилу! У тебя он...

Хозяйка расхохоталась да и говорит:

— Ты, дура-девка, знаешь ли, с кем говоришь?

— Не слепая,— кричит,— вижу. Только не боюсь тебя, разлучница! Нисколечко не боюсь! Сколь ни хитро у тебя, а ко мне Данило тянется. Сама видала. Что, взяла?

Хозяйка тогда и говорит:

— А вот послушаем, что он сам скажет.

До того в лесу темненько было, а тут сразу ровно он ожил. Светло стало. Трава снизу разными огнями загорелась, деревья одно другого краше. В прогалы полянку видно, а на ней цветы каменные, и пчелки золотые, как искорки, над теми цветами. Ну, такая, слышь-ко, красота, что век бы не нагляделся. И видит Катя — бежит по этому лесу Данило. Прямо к ней. Катя на встречу кинулась: «Данилушко!»

— Подожди,— говорит Хозяйка и спрашивает: — Ну, Данило-мастер, выбирай — как быть? С ней пойдешь — все мое забудешь, здесь останешься — ее и людей забыть надо.

— Не могу,— отвечает,— людей забыть, а ее каждую минуту помню.

Тут Хозяйка улыбнулась светленько и говорит:

— Твоя взяла, Катерина! Бери своего мастера. За удалость да твердость твою вот тебе подарок. Пусть у Данилы все мое в памяти останется. Только вот это пусть накрепко забудет! — И полянка с диковинными цветами сразу потухла. — Теперь ступайте в ту сторону,— указала Хозяйка да еще упредила: — Ты, Данило, про гору людям не сказывай. Говори, что на выучку к дальнему мастеру ходил. А ты, Катерина, и думать забудь, что я у тебя жениха сманивала. Сам он пришел за тем, что теперь забыл.

Поклонилась тут Катя:

— Прости на худом слове!

— Ладно,— отвечает,— что каменной сделается! Для тебя говорю, чтоб остуды у вас не было.

Пошли Катя с Данилой по лесу, а он все темней да темней, а под ногами неровно — бугры да ямки. Огляделись, а они на руднике — на Гумешках. Время еще раннее, и людей на руднике нет. Они потихоньку и пробрались домой. А те, что за Катей побежали, все еще по лесу бродят да перекликаются: «Там не видно?»

Искали-искали — не нашли. Прибежали домой, а Данило у окошка сидит.

Испугались, конечно. Чураются, заклятья разные говорят. Потом видят — трубку Данило набивать стал. Ну и отошли.

«Не станет же, — думают, — мертвяк трубку курить».

Подходить стали один по одному. Глядят — и Катя в избе. У печки толкошится, а сама веселехонька. Давно ее такой не видали. Тут и вовсе осмелели, в избу вошли, спрашивать стали:

— Где это тебя, Данило, давно не видно?

— В Колывань, — отвечает, — ходил. Прослышал про тамошнего мастера по каменному делу, будто лучше его нет по работе. Вот и захотило поучиться маленько. Тятенька покойный отговаривал. Ну, а я посамовольничал — тайком ушел, Кате вон только сказался.

— Пошто, — спрашивают, — чашу свою разбил?

— Ну, мало ли... С вечорки пришел... Может, выпил лишка... Не по мыслям пришлась, вот и ахнул. У всякого мастера такое, поди, случалось. О чем говорить.

Тут братья-сестры к Кате приступать стали, почему не сказала про Колывань-то. Только от Кати тоже немного добились. Сразу отрезала:

— Чья бы корова мычала, моя бы молчала. Мало я вам сказывала, что Данило живой. А вы что? Женихов мне подсовывали да с пути сбивали! Садитесь-ка лучше за стол. Испеклась у меня чирла-то*.

На том дело и кончилось. Посидела родня, поговорили о том, другом, разошлась. Вечером пошел Данило к приказчику объявиться. Тот пошумел, конечно. Ну, все-таки уладили дело.

Вот и стали Данило с Катей в своей избушке жить. Хорошо, сказывают, жили, согласно. По работе-то Данилу все горным мастером звали. Против него никто не мог сделать. И достаток у них появился. Только нет-нет — и задумается Данило. Катя понимала, конечно, — о чем, да помалкивала.

ХРУПКАЯ ВЕТОЧКА

У Данилы с Катей, — это которая своего жениха у Хозяйки горы вызволила, — ребятишек многонько народилось. Восемь, слышь-ко, человек, и все парнишечки. Мать-то не раз ревливала: хоть бы одна девчонка на поглядку. А отец, знай, похохатывает:

— Такое, видно, наше с тобой положение.

Ребятки здоровеньки росли. Только одному не посчастливилось. То ли с крылечка, то ли еще откуда свалился и себя повредил: горбик у него расти стал. Баушки правили, понятно, да толку не вышло. Так горбатенькому и пришлось на белом свете маяться.

Другие ребятишки, — я так замечал, — злые выходят при таком-то случае, а этот ничего — веселенький рос и на выдумки мастер. Он третьим в семье-то приходился, а все братья слушались его да спрашивали:

— Ты, Митя, как думаешь? По-твоему, Митя, к чему это? Отец с матерью и те частенько покрикивали:

— Митюшка! Погляди-ко! Ладно, на твой глаз?

— Митяйко, не приметил, куда я воробы* поставила?

И то Митюньке далось, что отец смолodu ловко на рожке играл. Этот тоже пикульку смастерит, так она у него ровно сама песню выговаривает.

Данило по своему мастерству все-таки зарабатывал ладно. Ну, и Катя без дела не сиживала. Вот, значит, и поднимали семью, за куском в люди не ходили. И об одежке ребячьей Катя заботилась. Чтоб всем справа была: пимешки там, шубейки и протча. Летом-то, понятно, и босиком ладно: своя кожа, не куплена. А Митюньке, как он всех жалчее, и сапожешки были. Старшие братья этому не завидовали, а малые сами матери говорили:

— Мамонька, пора, поди, Мите новые сапоги заводить. Гляди — ему на ногу не лезут, а мне бы как раз прились.

Свою, видишь, ребячью хитрость имели, как бы поскорее Митины сапожешки себе пристроить. Так у них все гладенько и катилось. Соседки издивовались прямо:

— Что это у Катерины за робята! Никогда у них и драчишки меж собой не случится.

А это все Митюнька — главная причина. Он в семье-то ровно огонек в лесу: кого развеселит, кого обогреет, кого на думки наведет.

К ремеслу своему Данило не допускал ребятишек до времени.

— Пускай, — говорит, — подрастут сперва. Успеют еще малахитовой-то пыли наглотаться.

Катя тоже с мужем в полном согласье — рано еще за ремесло садить. Да еще придумали поучить ребятишек, чтоб, значит, читать-писать, цифру понимать. Школы по тогдашнему положению не было, и стали старшие-то братья бегать к какой-то мастерице. И Митюнька с ними. Те ребята понятливые, хвалила их мастерица, а этот вовсе на отличку. В те годы по-мудреному учили, а он с лету берет. Не успеет мастерица показать — он обмозговал. Братья еще склады толмили*, а он уж читал, знай слова лови. Мастерица не раз говаривала:

— Не бывало у меня такого выученика.

Тут отец с матерью возьми и погордись маленько: завели Митюньке сапожки поформеннее. Вот с этих сапожек у них полный переворот жизни и вышел.

В тот год, слышь-ко, барин на заводе жил. Пропикнул, видно, денежки в Сам-Петербурхе, вот и приехал на завод — не выскребу ли, дескать, еще сколь-нибудь.

При таком-то деле, понятно, как денег не найти, ежели с умом распорядиться. Одни приказные да приказчик сколько воровали. Только барин вовсе в эту сторону и глядеть не умел.

Едет это он по улице и углядел — у одной избы трое ребятишек играют, и все в сапогах. Барин им и маячит рукой-то — идите сюда.

Митюньке хоть не приводилось до той поры барины видеть, а признал небось. Лошади, вишь, отменные, кучер по форме, коляска под лаком и седок гора горой, жиром заплыл, еле ворочается, а перед брюхом палку держит с золотым набалдашником.

Митюнька оробел маленько, все-таки ухватил братишек за руки и подвел поближе к коляске, а барин хрипит:

— Чьи такие?

Митюнька, как старший, объясняет спокойненько:

— Камнереза Данилы сыновья. Я вот Митрий, а это мои братики малые.

Барин аж посинел от этого разговору, чуть не задохся, только пристанывает:

— Ох, ох! что делают! что делают! Ох, ох.

Потом, видно, провздохался и заревел медведем:

— Это что? А? — А сам палкой-то на ноги ребятам показывает. Малые, понятно, испугались, к воротам кинулись, а Митюнька стоит и никак в толк взять не может, о чем его барин спрашивает.

Тот заладил свое, недоладом орет:

— Это что?

Митюнька вовсе оробел да и говорит:

— Земля.

Барина тут как параличомхватило, захрипел вовсе:

— Хр-р, хр-р! До чего дошло! До чего дошло! Хр-р, хр-р.

Тут Данило сам из избы выбежал, только барин не стал с ним разговаривать, ткнул кучера набалдашником в шею — поезжай!

Этот барин не твердого ума был. Смолоду за ним такое замесчалось, к старости и вовсе не самостоятельный стал. Напустится на человека, а потом и сам объяснить не умеет, что ему надо. Ну, Данило с Катериной и подумали — может, обойдется дело, забудет про ребятишек, пока домой доедет. Только не тут-то было! не забыл барин ребячьих сапожишек. Первым делом на приказчика насел:

— Ты куда глядишь? У барина башмаков купить не на что, а крепостные своих ребятишек в сапогах водят? Какой ты после этого приказчик?

Тот объясняет:

— Вашей, дескать, барской милостью Данило на оброк отпущен и сколько брать с него — тоже указано, а как платит он исправно, я и думал...

— А ты, — кричит, — не думай, а гляди в оба. Вон у него что завелось! Где это видано? Вчетверо ему оброк назначить.

Потом призвал Данилу и сам объяснил ему новый оброк. Данило видит — вовсе несуразица, и говорит:

— Из воли барской уйти не могу, а только оброк такой тоже платить не в силу. Буду работать, как другие, по вашему барскому приказу.

Барину, видать, это не по губе. Денег и без того нехватка, — не до каменной поделки. В пору и ту продать, коя от старых годов осталась. На другую какую работу камнереза поставить тоже не подходит. Ну, и давай рядиться. Сколько все-таки не отбивался Данила, оброк ему вдвое барин назначил, а не хошь — в гору. Вот куда загнулось!

Понятное дело, худо Данилу с Катей пришлось. Всех прижало, а ребятам хуже всего: до возраста за работу сели. Так и доучиться им не довелось. Митюнька — тот виноватее всех себя считал — сам так и лезет на работу. Помогать, дескать, отцу с матерью буду, а те опять свое думают:

«И так-то он у нас нездоровый, а посади его за малахит — вовсе изведется. Потому — кругом в этом деле худо. Присадочный вар готовить — пыли не продохнешь, щебенку колотить — глаза береги, а олово крепкой водкой на полер разводить — парами задушит». Думали, думали и придумали отдать Митюньку по гранильному делу учиться.

Глаз, дескать, хваткий, пальцы гибкие и силы большой не надо — самая по нему работа.

Гранильщик, конечно, у них в родстве был. К нему и пристроили, а он рад-радехонек, потому знал — парнишечко смысленый и к работе не ленив.

Гранильщик этот так себе, средненький был, второй, а то и третьей цены камешок делал. Все-таки Митюнька перенял от него, что тот умел. Потом этот мастер и говорит Данилу:

— Надо твоего парнишка в город отправить. Пущай там дойдет до настоящей точки. Шибко рука у него ловкая.

Так и сделали. У Данилы в городе мало ли знакомства было по каменному-то делу. Нашел кого надо и пристроил Митюньку. Попал он тут к старому мастеру по каменной ягоде. Мода, видишь, была из камней ягоды делать. Виноград там, смородину, малину и протча. И на все установ имелся. Черну, скажем, смородину из агату делали, белу — из дурмашков, клубнику — из сургуч-

ной яшмы, княженику — из мелких шерловых шаричков клеили. Одним словом, всякой ягоде свой камень. Для корешков да листочков тоже свой порядок был: кое из офата, кое из малахита либо из орлеца и там еще из какого-нибудь камня.

Митюнька весь этот установ перенять перенял, а нет-нет и придумает по-своему. Мастер сперва ворчал, потом похваливать стал:

— Пожалуй, так-то живее выходит.

Напоследок прямо объявил:

— Гляжу я, парень, шибко большое твое дарование к этому делу. Впору мне, старику, у тебя учиться. Вовсе ты мастером стал, да еще с выдумкой.

Потом помолчал маленько да и наказывает:

— Только ты, гляди, ходу ей не давай! Выдумке-то! Как бы за нее руки не отбили. Бывали такие случаи.

Митюнька, известно, молодой — безо внимания к этому. Еще посмеивается:

— Была бы выдумка хорошая. Кто за нее руки отбивать станет?

Так вот и стал Митюха мастером, а еще вовсе молодой: только-только ус пробиваться стал. По заказам он не скучал, всегда у него работы полно. Лавочники по каменному делу смекнули живо, что от этого парня большим барышом пахнет, — один перед другим заказы ему дают, успевай только. Митюха тут и придумал:

— Пойду-ко я домой. Коли мою работу надо, так меня и дома найдут. Дорога недалекая, и груз не велик — материал привезти да поделку забрать.

Так и сделал. Семейные обрадовались, понятно: Митя пришел. Он тоже повеселить всех желает, а самому не сладко. Дома-то чуть не цельная малахитовая мастерская стала. Отец и двое старших братьев за станками в малухе сидят, и младшие братья тут же: кто на распиловке, кто на шлифовке. У матери на руках долгожданная девчушка-годовушка трепещется, а радости в семье нет. Данило уж вовсе стариком глядит, старшие братья покашливают, да и на малых смотреть невесело. Бьются, бьются, а все в барский оброк уходит.

Митюха тут и заподумывал: все, дескать, из-за тех сапожешек вышло.

Давай скорее свое дело налаживать. Оно хоть мелкое, а станков к нему не один, инструментишко тоже требуется. Мелочь все, а место и ей надо.

Пристроился в избе против окошка и припал к работе, а про себя думает:

«Как бы добиться, чтоб из здешнего камня ягоды точить? Тогда и младших братишек можно было бы к этому делу пристроить». Думает, думает, а пути не видит. В наших краях, извест-

но, хризолит да малахит больше попадаются. Хризолит тоже дешево не добудешь, да и не подходит он, а малахит только на листочки и то не вовсе водится: оправки либо подклейки требует.

Вот раз сидит за работой. Окошко перед станком по летнему времени открыто. В избе никого больше нет. Мать по своим делам куда-то ушла, малыши разбежались, отец со старшими в малухе сидят. Не слышно их. Известно, над малахитом-то песни не запоешь и на разговор не тянет.

Сидит Митюха, обтачивает свои ягоды из купецкого материала, а сам все о том же думает:

«Из какого бы вовсе дешевого здешнего камня такую же поделку гнать?»

Вдруг просунулась в окошко какая-то не то женская, не то девичья рука, — с кольцом на пальце и в зарукавье, — и ставит прямо на станок Митюньке большую плитку змеевика, а на ней, как на подносе, соковина* дорожная.

Кинулся Митюха к окошку — нет никого, улица пустехонька, ровно никто и не прохаживал.

Что такое? Шутки кто шутит али наваждение какое? Оглядел плитку да соковину и чуть не заскакал от радости, такого материала возами вози, а сделать из него, видать, можно, если со сноровкой выбрать да постараться. Что только?

Стал тут смекать, какая ягода больше подойдет, а сам на то место уставился, где рука-то была. И вот опять она появилась и кладет на станок репейный листок, а на нем три ягодных веточки: черемуховая, вишневая и спелого-спелого крыжовника.

Тут Митюха не удержался, на улицу выбежал дознаться, кто это над ним шутки строит. Оглядел все — никого, как вымерло. Время — самая жарынь. Кому в эту пору на улице быть?

Постоял-постоял, подошел к окошку, взял со станка листок с веточками и разглядывать стал. Ягоды настоящие, живые, только то диво — откуда вишня взялась. С черемухой просто, крыжовнику тоже в господском саду довольно, а эта откуда, коли в наших краях такая ягода не растет, а будто сейчас сорвана?

Полюбовался так на вишни, а все-таки крыжовник ему милее пришелся и к матерьялу ровно больше подходит. Только подумал — рука-то его по плечу и погладила.

«Молодец, дескать! Понимаешь дело!»

Тут уж слепому ясно, чья это рука. Митюха в Полевой вырос, сколько-нибудь раз слышал про Хозяйку горы. Вот он и подумал — хоть бы сама показалась. Ну, не вышло. Пожалела, видно, горбатенького парня растревожить своей красотой — не показалась.

Занялся тут Митюха соком да змеевиком. Немало перебрал. Ну, выбрал и сделал со смекалкой. Попотел. Ягодки-то крыжов-

ника сперва половинками обточил, потом внутре-то выемки наладил да еще, где надо, желобочки прошел, где опять узелочки оставил, склеил половинки да тогда их начисто и обточил. Живая ягодка-то вышла. Листочки тоже тонко из змеевки выточил, а на корешок ухитрился колючки тонехонькие пристроить. Одним словом, сортовая работа. В каждой ягодке ровно зернышки видно и листочки живые, даже маленько с изъянами: на одном дырки жучком будто проколоты, на другом опять ржавые пятнышки пришились. Ну как есть настоящие.

Данило с сыновьями хоть по другому камню работали, а тоже в этом деле понимали. И мать по камню рабатывала. Все налюбоваться не могут на Митюхину работу. И то им диво, что из простого змеевика да дорожного соку такая штука вышла. Мите и самому любо. Ну, как — работа! Тонкость. Ежели кто понимает, конечно.

Из соку да змеевику Митя много потом делал. Семье-то шибко помог. Купцы, видишь, не обегали этой поделки, как за настоящий камень платили, и покупатель в первую голову Митюхину работу выхватывал, потому — на отличку. Митюха, значит, и гнал ягоду. И черемуху делал, и вишню, и спелый крыжовник, а первую веточку не продавал — себе оставил. Посыкался* отдать девчонке одной, да все сумленье брало.

Девчонки, видишь, не отворачивались от Митюхина окошка. Он хоть горбатенький, а парень с разговором да выдумкой, и ремесло у него занятное, и не скупой: шариков для бусок, бывало, горстью давал. Ну, девчонки нет-нет и подбегут, а у этой чаще всех заделье находилось перед окошком — зубами поблестеть, косой поиграть. Митюха и хотел отдать ей свою веточку, да все боялся:

— Еще на смех девчонку поднимут, а то и сама за обиду почтет.

А тот барин, из-за которого поворот жизни случился, все еще на земле пыхтел да отдувался. В том году он дочь свою просватал за какого-то там князя ли, купца и придано ей собирал. Полевской приказчик и вздумал подслужиться. Митину-то веточку он видал и тоже, видно, понял, какая это штука. Вот и послал своих охле-стов с наказом:

— Если отдавать не будет, отберите силой.

Тем что? Дело привычное. Отобрали у Мити веточку, принесли, а приказчик ее в бархатну коробушечку. Как барин приехал в Полевую, приказчик сейчас:

— Получите, сделайте милость, подарочек для невесты. Подходящая штука.

Барин поглядел, тоже похвалил сперва-то, потом и спрашивает:

— Из каких камней делано и сколько камни стоят?

Приказчик и отвечает:

— То и удивительно, что из самого простого материала: из змеевику да шлаку.

Тут барин сразу задохся:

— Что? Как? Из шлаку? Моей дочери?

Приказчик видит — неладно выходит, на мастера все поворотил:

— Это он, шельмец, мне подсунул, да еще насказал четвергов с неделю, а то бы я разве посмел.

Барин, знай, хрипит:

— Мастера тащи! Тащи мастера!

Приволокли, понятно, Митюху, и, понимаешь, узнал ведь его барин.

«Это тот... в сапогах-то который...»

— Как ты смел?

С палкой на Митюху кинулся.

Митюха сперва и понять не может, потом раскумекал и прямо говорит:

— Приказчик у меня силом отобрал, пускай он и отвечает.

Только с барином какой разговор, все свое хрипит:

— Я тебе покажу...

Потом схватил со стола веточку, хлоп ее на пол и давай-ко топтать. В пыль, понятно, раздавил.

Тут уж Митюху за живое взяло, затрясло даже. Оно и то сказать — кому полюбится, коли твою дорогую выдумку диким мясом раздавят.

Митюха схватил баринову палку за тонкий конец да как хряснет набалдашником по лбу, так барин на пол и сел и глаза выкатил.

И вот диво — в комнате приказчик был и прислужников сколько хочешь, а все как окаменели, — Митюха вышел и куда-то девался. Так и найти не могли, а поделку его и потом люди видали. Кто понимающий, те узнавали ее.

И еще замечочка вышла. Та девчонка, которая зубы-то мыла перед Митюхиным окошком, тоже потерялась, и тоже с концом.

Долго искали эту девчонку. Видно, рассудили по своему-то, что ее найти легче, потому — далеко женщина от своих мест уходить не привычна. На родителей ее наступали:

— Указывай место!

А толку все-таки не добились.

Данилу с сыновьями прижимали, конечно, да, видно, оброку большого пожалели, — отступили. А барин еще сколько-то задыхался, все-таки вскорости его жиром задавило.

ДВЕ ЯЩЕРКИ

Нашу-то Полевую, сказывают, казна* ставила. Никаких еще заводов тогда в здешних местах не было. С боем шли. Ну, казна, известно. Солдат послали. Деревню-то Горный Щит нарочно построили, чтоб дорога без опаски была. На Гумешках, видишь, в ту пору видимое богатство поверху лежало, — к нему и подбирались. Добрались, конечно. Народу нагнали, завод установили, немцев каких-то навезли, а не пошло дело. Не пошло и не пошло. То ли немцы показать не хотели, то ли сами не знали — не могу объяснить, только Гумешки-то у них безо внимания оказались. С другого рудника брали, а он вовсе работы не стоил. Вовсе зряшный рудничешко, тощенький. На таком доброго завода не поставишь. Вот тогда наша Полевая и попала Турчанинову.

До того он — этот Турчанинов — солью промышлял да торговал на строгановских землях и медным делом тоже маленько занимался. Завод у него был. Так себе заводишко. Мало чем от мужичьих самоделок отошел. В кучах руду-то обжигали, потом варили, переваривали, да еще хозяину барыш был. Турчанинову, видно, этот барыш поглянулся.

Как услышал, что у казны медный завод плохо идет, так и подъехал: нельзя ли такой завод получить? Мы, дескать, к медному делу привышны — у нас пойдет.

Демидовы и другие заводчики, кои побогаче да поименитее, ни один не повязался. «У немцев, — думают, — толку не вышло — на что такой завод? Убыток один». Так Турчанинову наш завод и отдали да еще Сысерть на придачу. Эко-то богатство и вовсе даром!

Приехал Турчанинов в Полевую и мастеров своих привез. Насулил им, конечно, того-другого. Купец, умел с народом обходиться! Кого хочешь обвести мог.

— Постарайтесь, — говорит, — старички, а уж я вам по гроб жизни...

Ну, ласковый язычок, — напел! Смолоду на этом деле — понаторел! Про немцев тоже ввернул словечко:

— Неуж против их не выдюжите?*

Старикам большой охоты переселяться со своих мест не было, а это слово насчет немцев-то задело. Неохота себя ниже немцев показать. Те еще сами нос задрали, свысока на наших мастеров глядят, будто и за людей их не считают. Старикам и вовсе обидно стало.

Оглядели они завод. Видят, хорошо устроено против ихнего-то. Ну, казна строила. Потом на Гумешки походили, руду тамошнюю поглядели да и говорят прямо:

— Дураки тут сидели. Из такой-то руды да в этаких печах половина на половину выгнать можно. Только, конечно, соли чтобы безотказно было, как по нашим местам.

Они, слышь-ко, хитрость одну знали — руду с солью варить. На это и надеялись. Турчанинов уверился на своих мастеров и всем немцам отказал:

— Больше ваших нам не требуется.

Немцам что делать, коли хозяин отказал! Стали собираться, кто домой, кто на другие заводы. Только им все-таки удивительно, как одни мужики управляться с таким делом станут. Немцы и подговорили человек трех из пришлых, кои у немцев при заводе работали.

— Поглядите,— говорят,— нет ли у этих мужиков хитрости какой. На что они надеются,— за такое дело берутся? Коли узнаете, весточку нам подайте, а уж мы вам отплатим.

Один из этих, кого немцы подбивали, добрый парень оказался. Он все нашим мастерам и рассказал. Ну, мастера тогда и говорят Турчанинову:

— Лучше бы ты всех рабочих на медный завод из наших краев набрал, а то видишь, что выходит. Поставишь незнамого человека, а он, может, от немцев подосланный. Тебе же выгода, чтобы нашу хитрость с медью другие не знали.

Турчанинов, конечно, согласился, да у него еще и своя хитрость была. Про нее мастерам не сказал, а сам думает: «К руке мне это».

Тогда, видишь, Демидовы и другие заводчики здешние всяких беглых принимали, башкир тоже, староверов там и протча. Эти, дескать, подешевле и ответу за них нет,— что хошь с ними делай. Ну, а Турчанинов по-другому, видно, считал:

— Наберешь таких-то, с бору да с сосенки, потом не упрaviшься, себе не рад станешь. Беглые народ бывалый,— один другого подучать станут. У башкир опять язык свой и вера другая,— не углядишь за ними. Переманю-ка лучше из дальних мест зазнамо да перевезу их с семьями. Куда тогда он убежит от семьи-то? Спокойно будет, а как зажму в руке, так еще поглядим, у кого выгоды больше закаплет. А беглых да башкир либо еще каких вовсе и к заводам близко подпускать не надо.

Так оно, слышь-ко, и вышло потом. По нашим заводам, известно, все одного закону. У тагильских вон мне случалось бывать, так у их этих вер-то не пересчитать, а у нас слыхом не слыхали, чтоб кто по какой другой вере ходил. Ну, из других народов тоже нет, окромя начальства. Одним словом, подогнанно.

Тогда те речи плавильных мастеров Турчанинову шибко к слычью* пришились. Он и давай наговаривать:

— Спасибо, старички, что надоумили. Век того не забуду. Все как есть по вашему наученью устрою. Завод в наших местах прикрою и весь народ сюда перевезу. А вы еще подглядите каких людей понадежнее, я их выкуплю, либо на срока заподряжу. Потрудитесь уж, сделайте такую милость, а я вам...

И опять, значит, насулил свыше головы. Не жалко ему! Вином

их поит, угощение поставил, сам за всяко просто пирует с ними, песни поет, пляшет. Ну, обошел стариков.

Те приехали домой и давай расхваливать:

— Места привольные, угоды всякие, медь богатимая, заработки, по всему видать, добрые будут. Хозяин простяга. С нами пил-гулял, не гнушался. С таким жить можно.

А турчаниновски служки тут как тут. На те слова людей ловят. Так и набрали народу не то что для медного завода, а на все работы хватит. Изоброчили* больше, а кого и вовсе откупили. Крепость, вишь, была. Продавали людей-то, как вот скот какой.

Мешкать не стали, в то же лето перевезли всех с семьями на новые места — в Полевую нашу. Назад дорогу, конечно, начисто отломили. Не говоря о купленных, оброчным и то обратно податься нельзя. Насчитали им за перевозку столько, что до смерти не выплатишь. А бежать от семьи кто согласен? Своя кровь, жалко. Так и посадил этих людей Турчанинов. Всё едино, как цепью приковал.

Из старых рабочих на медном заводе только того парнюгу оставили, который про немецкую хитрость мастерам сказал. Турчанинов и его хотел в гору загнать, да один мастер усовестил:

— Что ты это! Парень полезное нам сделал. Надо его к делу приспособить — смышленный, видать.

Потом и спрашивает у парня:

— Ты что при немцах делал?

— Стенбухарем*, — отвечает, — был.

— Это по-нашему что же будет?

— По-нашему около пестов ходил, — руду толчи да сеять.

— Это, — говорит мастер, — дело малое — в сетенку бухать.

А засыпку немецкую знаешь?

— Нет, — отвечает, — не допускали наших. Свой у них был. Наши только подтаскивали, кому сколько велит. По этой подноске я и примечал маленько. Понять было охота. За карнахарем тоже примечать случалось. Это который у них медь чистил, а к плавке вовсе допуску не было.

Мастер послушал-послушал и сказал твердое слово:

— Возьму тебя подручным. Учить буду по совести, а ты обратное мне говори, что полезное у немцев видел.

Так этого парня — Андрюхой его звали — при печах и оставили. Он живо к делу приобык и скоро сам не хуже того мастера стал, который его учил-то.

Вот прошло годика два. Вовсе не так в Полевой стало, как при немцах. Меди во много раз больше пошло. Загремели наши Гумешки. По всей земле про них слава прошла. Народу, конечно, большое увеличение сделалось, и все из тех краев, где у Турчанинова раньше заводишко был. У печей полно, а в горе и того больше. У Турчанинова на это большая охота проявилась — деньги-то огребать. Ему сколь хошь подай — находил место. Навидячу*

богател. На что Строгановы, и тех завидки взяли. Жалобу подали, что Гумешки на их землях приходится и Турчанинову зря попали. Надо, дескать, их отобрать да им — Строгановым — отдать. Только Турчанинов в те годы вовсе в силу вошел. С князьями да сенаторами попросту. Отбился от Строгановых. При деньгах-то долго ли!

Ну, народу, конечно, тяжело приходилось, а мастерам плавильным еще и обидно, что обманул их.

Сперва, как дело направлялось, мяконько похаживал перед этими мастерами:

— Потерпите, старички! Не вдруг Москва строилась. Вот обладим завод по-хорошему, тогда вам большое облегчение выйдет.

А какое облегчение? Чем дальше, тем хуже да хуже. На руднике вовсе людей насмерть забивают, и у печей начальство лютовать стало. Самолучших мастеров по зубам бьют да еще приговаривают:

— На то не надейтесь, что хитрость с медью показали. Теперь лучше плавень знаем. Скажем вот барину, так он покажет!

Турчанинова тогда уже все барином звали. Барин да барин, имени другого не стало. На завод он вовсе и дорожку забыл. Некогда, вишь, ему, — денег много, считать надо.

Вот мастера, которые подбивали народ переселяться в здешние места, и говорят:

— Надо к самому сходить. Он, конечно, барином стал, а все-таки обходительный мужик, понимает дело. Не забыл, поди, как с нами пировал? Обскажем ему начистоту.

Вот и пошли всем народом, а их и не допустили.

— Барин, — говорят, — кофею напился и спать лег. Ступайте-ко на свои места к печам да работайте хорошенько.

Народ зашумел:

— Какой такой сон не к месту пришел! Время о полдни, а он спать! Разбуди! Пущай к народу выходит!

На те слова барин и вылетел. Выспался, видно. С ним оборудованных* сколько хошь. А подручный тот — Андрюха-то, человек молодой, горячий, не испугался, громче всех кричит, корит барина всяко. В конце концов и говорит:

— Ты про соль-то помнишь? Что бы ты без нее был?

— Как, — отвечает барин, — не помнить! Схватить этого, выпороть да посолить хорошенько! Память крепче будет.

Ну, и других тоже хватать стали, на кого барин указывал. Только он, сказывают, страсть хитрый был, — не так распорядился, как казенно начальство. Не зря людей хватал, а со сноровкой: чтоб изъян своему карману не сделать. На завод хоть не ходил, а через наушников до тонкости про всякого знал, кто чем дышит. Тех мастеров, кои побойчее да поразговорчивее, всех отхлестали, а которые потишае, — тех не задел. Погрозил только им:

— Глядите у меня! То же вам будет, коли стараться не станете!

Ну, те испугались, за двоих отвечают, за всяким местом глядят — порухи бы не вышло. Только все-таки людей недохватка — как урону не быть? Стали один по одному старых мастеров принимать, а этого, который Андрюху учил, вовсе в живых не оказалось. Захлестали старика. Вот Андрюху и взяли на его место. Он сперва ничего — хорошим мастером себя показал. Всех лучше у него дело пошло. Турчаниновски прислужники думают — так и есть, подшучивают еще над парнем, Соленым его прозвали. Он без обиды к этому. Когда сам пошутит:

— Солено-то мяско крепче.

Ну вот, так уверились в него, а он тогда исхитрился, да и посадил козлов* сразу в две печи. Да так, слышь-ко, ловко заморозил, что крепче нельзя. Со сноровкой сделал.

Его, конечно, схватили, да в гору на цепь. Руднишные про Андрюху наслышаны были, всяко старались его вызволить, а не вышло. Стража понаставлена, людей на строгом счету держат... Ну, никак...

Человеску долго ли на цепи здоровье потерять? Хоть кого крепче будь, не выдюжит. Кормежка, вишь, худая, а воды когда приносят, когда и вовсе нет — пей руднишную! А руднишная для сердца шибко вредная.

Помаялся так-то Андрюха с полгода ли, с год — вовсе из сил выбился. Тень тенью стал, — не с кого работу спрашивать.

Руднишный надзиратель и тот говорит:

— погоди, скоро тебе облегчение выйдет. Тут, в случае, и закопаем, без хлопот.

Хоронить, значит, ладится, да и сам Андрюха видит — плохо дело. А молодой, — умирать неохота.

«Эх, — думает, — зря люди про Хозяйку горы сказывают. Будто помогает она. Коли бы такая была, неуж мне не пособила бы? Видела, поди, как человека в горе замордовали. Какая она Хозяйка! Пустое люди плетут, себя тешат».

Подумал так да и свалился, где стоял. Так в руднишную мокреть и мякнулся, только брызнуло. Холодная она — руднишная-то вода, а ему все равно — не чует. Конец пришел.

Сколько он пролежал тут — и сам не знает, только тепло ему стало. Лежит будто на травке, ветерком его обдувает, а солнышко так и припекает, так и припекает. Как вот в покосную пору.

Лежит Андрюха, и в голове думка:

«Это мне перед смертью солнышко приснилось».

Только ему все жарче да жарче. Он и открыл глаза. Себе не поверил сперва. Не в забое он, а на какой-то лесной горюшечке. Сосны высоченные, на горюшке трава негустая и камешки мелконькие — плитнячок черный. Справа у самой руки камень большой, как стена ровный, выше сосен.

Андрюха давай-ко себя руками ощупывать — не спит ли. Камень заденет, травку сорвет, ноги принялся скоблить — изъедены ведь грязью-то... Выходит, — не спит, и грязь самая руднишная, а цепей на ногах нет.

«Видно, — думает, — мертвяком меня выволокли, расковали да и положили тут, а я отлежался. Как теперь быть? В бега кинуться али подождать, что будет? Кто хоть меня в это место притащил?»

Огляделся и видит — у камня туесочек стоит, а на нем хлеб, ломтями нарезанный. Ну, Андрюха и повеселел:

«Свои, значит, вытащили и за мертвого не считали. Вишь, хлеба поставили, да еще с питьем! По потемкам, поди, навестить придут. Тогда все и узнаю».

Съел Андрюха хлеб до крошки, из туеска до капельки все выпил и подивился, — не разобрал, что за питье. Не хмелит будто, а так силы и прибавляет. После еды-то вообще ему хорошо стало. Век бы с этого места не ушел. Только то и думает:

«Как дальше? Хорошо, если свои навестят, а вдруг вперед начальство набежит? Надо оглядеться хоть, в котором это месте. Тоже вот в баню попасть бы! Одежонку какую добыть!»

Одним словом, пришла забота. Известно, живой о живом и думает. Забрался он на камень, видит — тут они, Гумешки-то, и завод близко, даже людей видно, — как мухи ползают. Андрюхе даже боязно стало — вдруг оттуда его тоже увидят. Слез с камня, сел на старое место, раздумывает, а перед ним ящерки бегают. Много их. Всякого цвету. А две на отличку. Обе зеленые. Одна побольше, другая поменьше.

Вот бегают ящерки. Так и мелькают по траве-то, как ровно играют. Тоже, видно, весело им на солнышке. Загляделся на них Андрюха и не заметил, как облачко набежало. Запокапывало, и ящерки враз попрятались. Только те две зеленые-то не угомонились, всё друг за дружкой бегают и вообще близко от Андрюхи. Как сильнее дождичек пошел, и они под камешки спрятались. Сунули головенки, — и нет их. Андрюхе это забавно показалось. Сам-то он от дождя прятаться не стал. Теплый да, видать, и ненадолго. Андрюха взял и разделся.

«Хоть, — думает, — которую грязь смоет», — и ремки свои под этот дождик разостлал.

Прошел дождик, опять ящерки появились. Туда-сюда шныряют, и сухоньки все. Ну, а ему холодно стало. К вечеру пошло, — у солнышка сила не та. Андрюха тут и подумал:

«Вот бы человеку так же. Сунулся под камень — тут тебе и дом».

Сам рукой и уперся в большой камень, с которого на завод и Гумешки глядел. Не то чтобы в силу уперся, а так легохонько толкнул в самый низ. Только вдруг камень качнулся, как повалился на него. Андрюха отскочил, а камень опять на место стал.

«Что,— думает,— за диво? Вон какой камень, а еле держится. Чуть меня не задавил».

Подошел все ж таки поближе, оглядел камень со всех сторон. Никаких щелей нет, глубоко в землю ушел. Уперся руками в одном месте, в другом. Ну, скала и скала. Разве она пошевелится.

«Видно, у меня в голове кружение от нездоровья. Почудилось мне»,— подумал Андрюха и сел опять на старое место.

Те две ящерки тут же бегают. Одна ткнула головенкой в том же месте, какое Андрюха сперва задевал, камень и качнулся. По всей стороне щель прошла. Ящерка туда юркнула, и щели не стало. Другая ящерка пробежала до конца камня да тут и притаилась, сторожит будто, а сама на Андрюху поглядывает:

«Тут, дескать, выйдет. Некуда больше».

Подождал маленько Андрюха,— опять по низу камня чутошная щелка прошла, потом раздаваться стала. В другом-то конце из-под камня ящерка головенку высунула, оглядывается, где та — другая-то, а та прижалась, не шевелится. Выскочила ящерка, другая и скок ей на хребетик — поймала, дескать! — и глазенками блестит, радуется. Потом обе убежали. Только их и видел. Как показали Андрюхе, в котором месте заходить, в котором выходить.

Оглядел еще раз камень. Целехонек он, даже званья нет, чтобы где тут трещинка была.

«Ну-ко,— думает,— попытаю еще раз».

Уперся опять в том же месте в камень, он и повалился на Андрюху. Только Андрюха на это безо внимания — вниз глядит. Там лестница открылась, и хорошо, слышь-ко, улаженная, как вот в новом барском доме. Ступил Андрюха на первую ступеньку, а обе ящерки шмыг вперед, как дорогу показывают. Спустился еще ступеньки на две, а сам все за камень держится, думает:

«Отпущусь — закроет меня. Как тогда в потемках-то?»

Стоит, и обе ящерки остановились, на него смотрят, будто ждут. Тут Андрюха и смекнул:

«Видно, Хозяйка горы смелость мою пытается. Это, говорят, у ней первое дело».

Ну, тут он и решился. Смело пошел, и как голова ниже щели пришлась, отпустился рукой от камня. Закрылся камень, а внизу как солнышко вошло — все до капельки видно стало.

Глядит Андрюха, а перед ним двери створные каменные, все узорами изукрашенные, а вправо-то однополотная дверочка. Ящерки к ней подошли — в это, дескать, место. Андрюха отворил дверку, а там — баня. Честь честью устроена, только все каменное. Полók там, колода, ковшик и протча. Один веничек березовый. И жарко страсть — уши береги. Андрюха обрадовался. Хотел первым делом ремки свои выжарить над каменкой*. Только снял их — они куда-то и пропали, как не было. Оглянулся, а по лавкам рубахи новые разложены и одежды на спицах сколь хошь навешано. Всякая одежда: барская, купецкая, рабочая. Тут Андрю-

ха и думать не стал, залез на полóк и отвел душеньку — весь веник измочалил. Выпарился лучше нельзя, сел — отдышался. Оделся потом по-рабочему, как ему привычно. Вышел из баньки, а ящерки его у большой двери ждут.

Отворил он — что такое? Палата перед ним, каких он и во сне не видал. Стены-то все каменным узором изукрашены, а посередке стол. Всякой еды и питья на нем наставлено. Ну, Андрюха уж давно проголодался. Раздумывать не стал, за стол сел. Еда обыкновенная, питье не разберешь. На то походит, какое он из туесочка-то пил. Сильное питье, а не хмелит.

Наелся-напился Андрюха, как на самом большом празднике либо на свадьбе, ящеркам поклонился:

— На угощенье, хозяйюшки!

А они сидят обе на скамеечке высоконькой, головенками помахивают:

— На здоровье, гостенек! На здоровье!

Потом одна ящерка — поменьше-то — соскочила со скамеечки и побежала. Андрюха за ней пошел. Подбежала она ко кровати, остановилась — ложись, дескать, спать теперь! Кровать до того убранная, что и задеть-то ее боязно. Ну, все-таки Андрюха насмелился. Лег на кровати и сразу уснул. Тут и свет потух.

А на Гумешках тем временем руднишный надзиратель переполошился. Заглянул утром в забой, — жив ли прикованный, — а там одна цепь. Забеспокоился надзиратель, запобегивал:

— Куда девался? Как теперь быть?

Пометался-пометался, никаких знаков нет, и на кого подумать — не знает. Сказать начальству боится — самому отвечать придется. Скажут — плохо глядел. Вот этот руднишный надзиратель и придумал обрушить кровлю над тем местом. Не шибко это просто, а исхитрился все-таки, — кое с боков подгрёб, кое сверху наковырял. Тогда и по начальству сказал. Начальство, видно, не крепко в деле понимало, поверило.

— И то, — говорит, — обвал. Вишь, как его задавило, чуть цепь видно.

Надзиратель, конечно, поет:

— Отрывать тут не к чему. Кровля вон какая ненадежная, руды настоящей давно нет, а мертвому не все ли равно, где лежать.

Руднишные видели, конечно, — подстроено тут, а молчали.

«Отмаялся, — думают, — человек. Чем ему поможешь?»

Так начальство и барину сказало:

— Задавило, дескать, того, Соленого-то, который нарочно в печи козлов посадил.

Барин и тут свою выгоду не забыл:

— Это, — говорит, — его сам бог наказал. Надо про эту штуку попам сказать. Пущай народ наставляют, как барину супротивничать.

Попы и зашумели. Весь народ про Андрюху узнал, что его кровлей задавило. Пожалели, конечно:

— Хороший парень был. Немного таких осталось.

А он что? После бани-то спит да спит. Тепло ему, мягко. День проспал, два проспал, на другой бок перевернулся да пуще того. Выспался все-таки и вовсе здоровый стал, будто не хворал и в руднике не бывал. Глядит — стол опять полнехонек, и обе ящерки на скамейке сидят, поглядывают.

Наелся, напился Андрюха, ящеркам поклонился да и говорит:

— Теперь не худо бы барину Турчанинову за соль спасибо сказать. Подарочек сделать, чтоб до слез чихнул.

Одна ящерка — поменьше-то — сейчас соскочила со скамейки и побежала. Андрюха за ней. Привела его ящерка к другой двери. Отворил, а там тоже лестница, в потолок идет. На потолке скобочка медная, как ручка. Андрюха, понятно, догадался, к чему она. Поднялся по лестнице, повел эту скобочку, выход и открылся. Вышел Андрюха на горшечку, а время, глядит, к вечеру — солнышко на закате.

«Это, — думает, — мне и надо. Схожу по потемкам на рудник. Может, повидая кого, узнаю, как у них там и в заводе что».

Пошел потихоньку. Сторожится, конечно, как бы его не увидели, кому не надо. Подобрался к руднику, за вересовым кустом притаился. Людей у руды много, а подходящего случая не выходит. Либо грудками копошатся, либо не те люди. Темненько уж стало. Тут и отбился один, близко подошел. Парень простоватый, а так надежный. Вместе с Андрюхой у печей ходил, да тоже на Гумешки попал. Андрюха и говорит ему негромко:

— Михайло! Иди-ко поближе.

Тот сперва пошел на голос, потом остановился, спрашивает:

— Кому надо?

— Иди, говорю, ближе.

Михайло еще подался, а уж, видать, боится чего-то. Андрюха тогда и выглянул из-за куста, показаться хотел, чтоб он не сомневался. Михайло сойкнул да бежать. Как нарочно в ту пору еще бабеночку одну к тому месту занесло. Она тоже Андрюху-то увидела. Визг подняла — уши затыкай.

— Ой, батюшки, покойник! Ой, покойник!

Михайло тоже кричит:

— Андрюху Соленого видел! Как есть такой показался, как до рудника был! Вон за тем кустом вересовым!

В народе беспокойство пошло. Побежали которые с рудника, а начальство вперед всех. Другие говорят:

— Надо поглядеть, что за штука!

Пошли тулаем*, а так Андрюхе неладно показалось.

«Покажись, — думает, — зря-то, а мало ли кто в народе случится».

Он и отошел подальше в лес. Те побоялись глубоко-то заходить, потолклись около куста, расходиться стали.

Андрюха тут и удумал. Обошел Гумешки лесом да ночью прямо на медный завод. Увидели его там — перепугались. Побросали все, да кто куда. Надзиратель ночной с перепугу на крышу залез. На другой день уже его сняли — обеспамятел вовсе... Андрюха и походил у печей-то... Опять все наглухо заморозил да к барину.

Тот, конечно, прослышал о покойнике, попов велел нарядить, только их на ту пору найти не могли. Тогда барин накрепко заперся в доме и не велел никому отворять. Андрюха видит — не добудешь, ушел на свое место — в узорчату палату. Сам думает:

«Погоди! Еще я тебе соль припомню!»

На другой день в заводе суматоха. Шутка ли, во всех печах козлы. Барин слезами ревет. На Гумешках тоже толкошатся. Им велел отрыть задавленного и попам отдать, — пущай, дескать, хорошенько захоронят, по всем правилам, чтоб не встал больше.

Разобрали обвал, а там тела-то и нет. Одна цепь осталась и кольца ножные целехоньки, не подпилены даже. Тут рудничного надзирателя потянули. Он еще повертелся, на рабочих хотел свалить, потом уж рассказал, как было дело. Сказали барину — сейчас перемена вышла. Рвет и мечет:

— Поймать, коли живой!

Всех своих стражников-прислужников нарядил лес обыскивать.

Андрюха этого не знал и вечером опять на горушечку вышел. Сколько, видно, ни хорошо в подземной палате, а на горушечке лучше. Сидит у камня и раздумывает, как бы ему со своими друзьями повидаться. Ну, девушка тоже одна на уме была.

«Небось и она поверила, что умер. Поплакала, поди, скольнибудь?»

Как на грех, в ту пору женщины по лесу шли. С покосу воровались али так, ягодницы припозднились... Ну, мало ли по лесу народу летом проходит. От той горушечки близенько шли. Сначала Андрюха слышал, как песни пели, потом и разговор разбирать стал.

Вот одна-то и говорит:

— Заподумывала, поди, Тасютка, как про Андрюху услышала. Живой ведь, сказывают, он.

Другая отвечает:

— Как не живой, коли все печи заморозил!

— Ну, а Тасютка-то что? Искать, поди, собралась?

— Дура она, Тасютка-то. Вчера сколь ей говорила, а она старухам своим верит. Боится, как бы Андрюха к ней под окошко не пришел, а сама ревет.

— Дура и есть. Не стоит такого парня. Вот бы у меня такой был — мертвого бы не побоялась.

Слышит это Андрюха, и потянуло его поглядеть, кто это Та-

сютку осудил. Сам думает: «Нельзя ли через них весточку послать?»

Пошел на голоса. Видит — знакомые девчонки, только никак объявиться нельзя. Много, видишь, народу-то идет, да еще ребятишки есть. Ну как объявишься?

Поглядел-поглядел, не показался. Пошел обратно.

Сел на старое место, пригорюнился. А пока он ходил, его, видно, какой-то барский пес и углядел да потихоньку другим весточку подал. Окружили горушечку. Радуются все. Самоглавный закричал:

— Бери его!

Андрюха видит — со всех сторон бегут... Нажал на камень да и туда. Стражники-прислужники подбежали, — никого нет. Куда девался? Давай на тот камень напирать. Пыхтят — стараются. Ну, разве его сдвинешь? Одумались маленько, страх опять на них напал:

— Всамделе, видно, покойник, коли через камень ушел.

Побежали к барину, обсказали ему. Того и запотряхивало с перепугу-то.

— В Сысерть, — говорит, — мне надо. Дело спешное там. Вы тут без меня ловите. В случае не поймаете — строго взыщу с вас.

Погрозил — и на лошадь да в Сысерть и угнал. Прислужники не знают, что им делать. Ну, на то вывели — надо горушку караулить. Андрюха там, под камнем-то, тоже заподумывал: как быть? Сидеть без дела непривычно, а выходить не приходится.

«Ночью, — думает, — попытаю. Не удастся ли по потемкам выбраться, а там видно будет».

Надумал эдак-то, хотел еды маленько на дорогу в узелок навязать, а ящерок нету. Ему как-то без них неловко стало, вроде крадучись возьмет.

«Ладно, — думает, — и без этого обойдусь. Живой буду — хлеба добуду».

Поглядел на узорчату палату, полюбовался, как все устроено, и говорит:

— Спасибо этому дому — пойду к другому.

Тут Хозяйка и показалась ему, как быть должно. Остолбенел парень — красота какая! А Хозяйка говорит:

— Наверх больше ходу нет. Другой дорогой пойдешь. Об еде не беспокойся. Будет тебе, как захочешь, — заслужил. Выведет тебя дорога, куда надо. Иди вон в те двери, только, чур, не оглядывайся. Не забудешь?

— Не забуду, — отвечает, — спасибо тебе за все доброе.

Поклонился ей и пошел к дверям, а там точь-в-точь такая же девица стоит, только еще ровно краше. Андрюха не вытерпел, оглянулся, — где та-то? А она пальцем грозит:

— Забыл обещанье свое?

— Забыл, — отвечает, — ума в голове не стало.

— Эх, ты,— говорит,— а еще Соленый! По всем статьям парень вышел, а как девок разбирать, так и неустойку показал. Что мне теперь с тобой делать-то?

— Твоя,— говорит,— воля.

— Ну ладно. На первый раз прощается, другой раз не оглянись. Худо тогда будет.

Пошел Андрюха, а та, другая-то, сама ему двери отворила. Там штольня пошла. Светло в ней, и конца не видно.

Оглянулся ли другой раз Андрей и куда его штольня вывела— про то мне старики не сказывали. С той только поры в наших местах этого парня больше не видали, а на памяти держали.

Посолил он Турчанинову-то!

А те — прислужники-то турчаниновски — долго, слышь-ко, камень караулили. Днем и ночью кругом камня стояли. Нарочно народ ходил поглядеть на этих дураков. Потом, видно, им самим надоело. Давай тот камень порохом рвать. Руднишных нагнали. Ну, разломали, конечно, а барин к той поре отутовел*, — отошел от страха да их же ругать.

— Пока,— кричит,— вы пустой камень караулили, мало ли в заводе и на Гумешках урону вышло. Вон у приказчика-то зад сожгли. Куда годится?

ПРИКАЗЧИКОВЫ ПОДОШВЫ

Был в Полевой приказчик Северьян Кондратьич. Ох и лютой, ох и лютой! Такого, как заводы стоят, не бывало. Из собак собака. Зверь.

В заводском деле он, слышь-ко, вовсе не мараковал, а только мог человека бить. Из бар был, свои деревни имел, да всего решился. А все из-за лютости своей. Сколько-то человек до смерти забил, да еще которых из чужого владенья. Ну, огласка и вышла, прикрыть никак невозможно. Суд да дело — Северьяна и присудили в Сибирь либо на здешние заводы. А Турчаниновым — владельцам — такого убойцу подавай. Сразу назначили Северьяна в Полевую.

— Сократи, сделай милость, тамошний народ. Ежели и убьешь кого, на суд тебя тут никто не потянет. Лишь бы народ потише стал, а то он вон что вытворять придумал.

А в Полевой перед этим старого-то приказчика на калену болванку посадили, да так, что он в одночасье помер. Драли, конечно, за приказчика-то. Только виноватого не нашли.

Никто его не сажал. Сам сел. Угорел, может, либо затмение на него нашло. Хватились поднять его с болванки, а уж весь зад до нутра испортило. Такая, видно, воля божья, чтоб ему с заду смерть принять.

По этому случаю владельцам заводским и понадобилось рыкало-зыкало, чтобы народ испугать.

Вот и стал убийца Северьян нашим заводским приказчиком. Он, слышь-то, смелый был, а все ж таки понимал — завод не деревня, больше опаски требует. Народ, вишь, завсегда кучкой, место тесное, да еще у огня. Всякий с орудией какой-нибудь... Клещами двинуть может, молотком садануть, сгибнем либо полосой брякнуть, а то и плахой ахнуть. Очень даже просто. Могут и в валок либо в печь головой сунуть. Угорел-де, подошел близко, его и затянуло. Поджарили же того приказчика.

Северьян и набрал себе обережных. Откуда только выкопал! Один другого могутнее да отчаяннее. И все народишко — откаты* последняя. Братцы-хваты из шатальной волости. С этой оравой ходил по заводу. Впереди сам идет. В руке плетка в два перста толщиной, с подвитым кончиком. В кармане пистолет, на четыре ствола заряженный. Пистончики надеты, только из кармана выдернуть. За Северьяном шайка идет. Кто с палкой, кто с саблей, а кто с пистолетом тоже. Чисто в поход какой срядился.

Первым делом уставщика спрашивает:

— Кто худо робит?

Тот уж знает, что ладно про всех сказать нельзя, сам под плетку попадешь — потаковщик-де. Вот и начинает уставщик вины выискивать. На ком по делу, на ком — по насердке*, а на ком и во все зря. Лишь бы от себя плетку отвести. Наговорит так-то на людей, приказчик и примется лютовать. Сам, слышь-ко, бил. Хлебом его не корми, любил над человеком погалиться*. Такой уж характер имел. Убийца, одним словом.

В Медну гору сперва все-таки не спускался. Без привычки-то под землей страшно, хоть кому доведись. Главная причина — потемки, а свету не прибавишь. Хоть сам владелец спустись, ту же блёндочку* дадут. Разбери, горит она али так только вид дает. Ну, и мокреть тоже. И народ в горе вовсе потерянный. Такому что жить, что умирать — все едино. Безднадежный народ, самый для начальства беспокойный. И про то Северьян слыхал, что у Медной горы своя Хозяйка есть. Не любит будто она, как под землей над человеком измываются. Вот Северьян и побаивался. Потом напустился. Со всей своей шайкой в гору спустился. С той поры и пошло. Ровно еще злости в Северьяне прибавилось. Раньше руднишных драли завсегда наверху, а теперь нову моду придумали. Приказчик плетью и чем попало прямо в забое народ бьет. Да каждый день в гору повадился, а распорядок у него один — как бы побольше людям худа сделать. Который день много народу избьет, в тот и веселее. Расправит усы свои да и хрипит руднишному смотрителю:

— Ну-ко, старый хрыч, приготовь к подъему. Пообедать пора, намахался.

С неделю он так-то хозяйевал в горе. Потом случай и вышел.

Только сказал руднишному смотрителю — готовь к подъему, — вдруг голос, да так звонко, будто где-то совсем близко:

— Гляди, Северьянко, как бы подошвы деткам своим на помин не оставить!

Приказчик схватился:

— Кто сказал? — Повернулся на голос да и повалился, чуть ноги не переломал. Они у него как прибитые стали. Едва от земли оторвал. А голос женский. Сумление тут приказчика и взяло, а все-таки виду не оказывает. Будто ничего не слышал. Северьянова шайка тоже молчит, а видать — приуныла. Эти сразу сметили — сама погрозилась.

Вот ладно. Перестал приказчик в гору лазать. Вздохнули маленько руднишные, только ненадолго. Приказчику, вишь, стыдно: вдруг рабочие тот голос слышали да теперь и посмеиваются про себя — трусил-де Северьян. А это ему хуже ножа, как он всегда похвалялся — никого не боюсь. Приходит он в прокатную, а там кричат:

— Эй, подошвы береги! — Это у них присловье такое. Упредить, значит, кто зазевался. А приказчик свое думает: «Надо мной смеются».

Шибко его тем словом укололо. Не стал и человека искать, который про подошвы кричал. Даже никого на тот раз не избил, а стал посередке прокатной да и говорит своей-то ораве:

— Что-то мы давненько в горе не были. Надо там за порядком доглядеть.

Спустились в гору. И такая на приказчика злость накатила, как еще не бывало. Походя всех лупит. Все ему показать-то охота, что никого не боится. И вот опять тот же голос:

— Другой раз, Северьянко, тебя упреждаю. Пожалей своих малолетков. Подошвы им только оставишь!

Приказчик на голос повернулся и повалился, как и тот раз. Ноги от земли оторвать не может. Глядит, а они чуть не на вершок в породу вдавились, хоть каелкой обивай. Вырвал все ж таки, только сапоги спереди оскалились — подошвы отстали. Притих приказчик, а как наверх поднялись, опять осмелел. Спрашивает своих-то:

— Слыхали что? в шахте?

Те говорят:

— Слыхали.

— Видели — как ноги у меня прилипли?

— Видели, — отвечают.

— Как думаете — что это?

Ну, те мнутя, понятно, потом один выискался и говорит:

— Не иначе, это Медной горы Хозяйка тебе знак подает. Грозится вроде, а чем — непонятно.

— Так вот, — говорит Северьян, — слушайте, что я скажу. Завтра, как свет, в гору приготовьтесь. Я им покажу, как меня

пужать да бабенку в горе прятать. Все штольни-забои облазаю, а бабенку ту поймаю и вот этой плеткой с пяти раз дух из нее вышибу. Слышали?

И дома перед женой этак же похваляется. Та, женским делом, в слезы:

— Ох да ах, поберегся бы ты, Северьянушко! Хоть бы попа позвал, чтоб он тебя оградил.

И верно, попа позвали. Тот попел, почитал, образок Северьяну на шею повесил, пистолет водичкой покропил да и говорит:

— Не беспокойся, Северьян Кондратьич, а в случае чего — читай «Да воскреснет бог».

На другой день на свету вся приказчикова шайка к спуску явилась. Помучнели* все, один приказчик гоголем похаживает. Грудь выставил, плечи поднял, и глядят — сапоги на нем новешенькие, как зеркало блестят. А Северьян плеткой по сапожкам похлопывает и говорит:

— Еще раз оборву подошвы, так покажу руднишному смотрителю, как грязь разводить. Не погляжу, что он двадцать лет в горе служит, спущу и ему шкуру. А вы первым делом старайтесь бабенку эту углядеть. Кто ее поймает, тому пятьдесят рублей награда.

Спустились, значит, в гору и давай везде шнырять. Приказчик, как обыкновенно, впереди, а орава за ним. Ну, в штольнях-то узко, они цепочкой и растянулись, один за другим. Вдруг приказчик видит — впереди кто-то маячит. Так себе легонько идет, блёндочкой помахивает. На повороте видно стало, что женщина. Приказчик заорал «стой!», а она будто и не слышала. Приказчик за ней бегом, а его верные слуги не шибко торопятся. Дрожь на них нашла. Потому видят — неладное дело: сама это. А назад податься тоже не смеют — Северьян до смерти забьет. Приказчик все вперед бежит, а догнать не может. Лается, конечно, всяко, грозит, а она и не оглянется. Народу в той штольне ни души.

Вдруг женщина повернулась, и сразу светло стало. Видит приказчик — перед ним девица красоты неописанной, а брови у ней сошлись и глаза, как уголья.

— Ну,— говорит,— давай разочтемся, убойца! Я тебя упреждала: перестань,— а ты что? Похвалялся меня плеткой с пяти раз забить? Теперь что скажешь?

А Северьян вгорячах кричит:

— Хуже сделаю! Эй, Ванька, Ефимка, хватай девку, волокиты отсюда, стерву!

Это он своим-то слугам. Думает, тут они, близко, а сам чувствует — ноги у него опять к земле прилипли.

Уж не своим голосом закричал:

— Эй, сюда!

А девица ему и говорит:

— Ты глотку-то не надрывай. Твоим слугам тут ходу нет. Их и в живых сейчас многих не будет.

И легонько этак рукой помахала. Как обвал сзади слышался, и воздухом рвануло. Оглянулся приказчик, а за ним стена — ровно никакой штольни и не было.

— Теперь что скажешь? — спрашивает опять Хозяйка.

А приказчик, — он шибко ожесточенный был, да и попом обнадеженный, — выхватил свой пистолет:

— Вот что скажу! — И хлоп из одного ствола... в Хозяйку-то! Та пульту рукой поймала, в коленку приказчику бросила и тихонько молвила:

— До этого места нет его. — Как приказ отдала. И сейчас же приказчик по самое колено зеленью оброс. Ну, тут он, понятно, завыл:

— Матушка-голубушка, прости, сделай милость. Внукам-правнукам закажу. От места откажусь. Отпусти душу на покаянье!

А сам ревет, слезами уливается. Хозяйка даже плюнула.

— Эх, ты, — говорит, — погань, пустая порода! И умереть не умеешь. Смотреть на тебя — с души воротит.

Повела рукой, и приказчик по самую маковку зеленью зарос. Как глыба большая на его месте стала. Хозяйка подошла, чуть задела рукой, глыба и свалилась, а Хозяйка как растаяла.

А в горе переполох. Ну, как же — штольня обвалилась, а туда приказчик со всей своей свитой ушел. Не шутка дело. Народ согнали. Откапывать стали. Наверху суматоха тоже поднялась. Барину в Сысерть нарочного послали. Горное начальство из города на другой день прикатило. Дня через два отрыли приказчиковых-то слуг. И вот диво! Которые хуже-то всех были, те все мертвые, а кои хоть маленько стыд имели, то только изувечены. Всех нашли, только приказчика нету. Потом уже докопались до какого-то неведомого забоя. Глядят, а на середине глыба малахиту отворочена лежит. Стали оглядывать ее и видят — с одного-то конца она шлифована.

«Что, — думают, — за чудо. Кому тут малахит шлифовать?» Стали хорошенько разглядывать, да и увидели — посредине шлифованного места две подошвы сапожные. Новехоньки подошвки-то. Все гвоздики на них видно. В три ряда. Довели об этом до барина, а тот уже старик тогда был, в шахту давно не спускался, а поглядеть охота. Велел вытаскивать глыбу, как есть. Сколько тут битвы было! Подняли все-таки. Старый барин как увидел подошвы, так в слезы ударился:

— Вот какой у меня верный слуга был! — Потом и говорит: — Надо это тело из камня вызволить и с честью похоронить.

Послали сейчас же на Мрамор за самым хорошим камнерезом. А там тогда Костоусов на славе был. Привезли его. Барин и спрашивает:

— Можешь ты тело из камня вызволить и чтоб тела не испортить?

Мастер оглядел глыбу и говорит:

— А кому обой* будет?

— Это,— говорит барин,— уж в твою пользу, и за работу заплачу, не поскуплюсь.

— Что же,— говорит,— постараться можно. Главное дело — материал шибко хороший. Редко такой и увидишь. Одно горе — дело наше мешкотно. Если сразу до тела обивать, дух, я думаю, смрадный пойдет. Сперва, видно, надо оболванить, а это малахиту потеря.

Барин даже огневался на эти слова.

— Не о малахите,— говорит,— думай, а как тело моего верного слуги без пороку добыть.

— Это,— отвечает мастер,— кому как.

Он, вишь, вольный, Костоусов-то, был. Ну, и разговор у него такой. Стал Костоусов мертвяка добывать. Оболванил сперва, малахит домой увез. Потом стал до тела добираться. И ведь что? Где тело либо одежда были, там все пустая порода, а кругом малахит первосортный.

Барин все-таки эту пустую породу велел похоронить как человека. А мастер Костоусов жалел:

— Кабы знатьё,— говорит,— так надо бы глыбу сразу на распила пустить. Сколько добра сгибло из-за приказчика, а от него, вишь, что осталось! Одни подошвы.

ТАЮТКИНО ЗЕРКАЛЬЦЕ

Был еще на руднике такой случай.

В одном забое пошла руда со шлифом. Отобьют кусок, а у него, глядишь, какой-нибудь уголышек гладехонек. Как зеркало блестит, глядись в него — кому любо.

Ну, рудобоям не до забавы. Всяк от стариков слыхал, что это примета вовсе худая.

— Пойдет такое — берегись! Это Хозяйка горы зеркало расколотила. Сердится. Без обвалу дело не пройдет.

Люди, понятно, и сторожатся, кто как может, а начальство в первую голову. Рудничный смотритель как услышал про эту штуку, сразу в ту сторону и ходить перестал, а своему подручному надзирателю наказывает:

— Распорядись подпереть проход двойным перекладом из лежаков да вели очистить до надежного потолка забой. Тогда сам погляжу.

Надзирателем на ту пору пришелся Ераско Поспешай. Егозливый такой старичонко. На глазах у начальства всегда рысью бе-

гал. Чуть ему скажут, со всех ног кинется и без толку народ полошит, как на пожар.

— Поспешай, ребятушки, поспешай! Руднично дело тихого ходу не любит. Одна нога здесь, другая нога там.

За суматошливость-то его Поспешаем и прозвали.

Только в этом деле и у Поспешая ноги заболели. В глазах свету не стало, норовит чужими поглядеть. Подзывает бергала*-плотника да и говорит:

— Сбегай-ко, Иван, огляди хорошенько да смекни, сколько бревен подтаскивать, и начинайте благословясь. Руднично дело, сам знаешь, мешкоты не любит, а у меня, как на грех, в боку колотье поднялось и поясница отнялась. Еле живой стою. К погоде, видно. Так вы уж без меня постарайтесь! Чтоб завтра к вечеру готово было!

Бергалу податься некуда — пошел, а тоже не торопится. Сколь ведь в руднике ни тошно, а в могилу до своего часу все же никому неохота. Ераско даже пригрозил:

— Поспешай, братец, поспешай! Не оглядывайся! Ленивых-то, сам знаешь, у нас хорошо на пожарной бодрят. Видал, поди?

Он — этот Ераско Поспешай — лисьей повадки человечешко. Говорил сладенько, а на деле самый зловредный был. Никто больше его народу под плети не подводил. Боялись его.

На другой день к вечеру поставили переклады. Крепь надежная, что говорить, только ведь гора! Бревном не удержишь, коли она осадку дает. Жамкнет, так стояки-бревна, как лучинки, хрустнут, и лежакам не вытерпеть: в блин их сдавит. Бывалое дело.

Ераско Поспешай все же осмелел маленько. Хоть пристанывает и на колотье в боку жалуется, а у перекладов ходит и забой оглядел. Видит — дело тут прямо смертное, плетями в тот забой не всякого загонишь. Вот Ераско и перебирает про себя, кого бы на это дело нарядить.

Под рукой у Ераско много народу ходило, только смирнее Гани Зари не было. На диво безответный мужик выдался. То ли его смолоду заколотили, то ли такой уродился, — никогда поперек слова не молвит. А как у него семейная беда приключилась, он и вовсе слова потерял. У Гани, видишь, жена зимним делом на пруду рубахи полоскала да и соскользнула под лед. Вытащить ее вытащили и отводилась, да, видно, застудилась и к весне свечкой стояла. Оставила Гане сына да дочку. Как говорится, красных деток на черное житье.

Сынишко не зажился на свете, вскорости за мать в землю ушел, а девчоночка ничего, — востроглазенькая да здоровенькая, Таяткой звали. Годов четырех она от матери осталась, а в своей ровне уже на примете была, — на всякие игры первая выдумщица. Не раз и доставалось ей за это.

Поссорятся девчонки на игре, разревутся да и бегут к матерям жаловаться:

— Это все Тайка Заря придумала!

Матери, известно, своих всегда пожалеют да приголубят, а Таютке грозят:

— Ах, она, вострошарая!* Поймаем вот ее, да вицеи!* Еще отцу скажем! Узнает тогда, в котором месте заря с зарей сходится. Узнает тогда!

Таютка, понятно, отца не боялась. Чужая, поди-ко, что она ему, как порошок в глаз, — только об ней и думал. Придет с рудника домой, одна ему услада — на забавницу свою полюбоваться да послушать, как она лепечет о том, о другом. А у Таютки повадки не было, чтобы на обиды свои жаловаться, о веселом больше помнила.

Ганя с покойной женой дружно жил, жениться второй раз ему неохота, а надо. Без женщины в доме с малым ребенком, конечно, трудно. Иной раз Ганя и надумает — беспременно женюсь, а как послушает Таютку, так и мысли врозь.

— Вот она у меня какая забавуха растет, а мачеха придет — все веселье погасит.

Так без жены и маялся. Хлеб стряпать соседям отдавал, и варено, какое случалось, в тех же печах ставили. Пойдет на работу, непременно соседским старухам накажет:

— Доглядите вы, сделайте милость, за моей-то.

Те, понятно:

— Ладно, ладно. Не беспокойся!

Уйдет на рудник, а они и не подумают. У всякой ведь дела хоть отбавляй. За своими внучатами доглядеть не успевают, про чужую и подавно не вспомнят.

Хуже всего зимой приходилось. Избушка, видишь, худенькая, теплуху* подтапливать надо. Не малой же девчонке это дело доверить. Старухи вовремя не заглянут. Таютка и мерзнет до вечера, пока отец с рудника не придет да печь не натопит. Вот Ганя и придумал:

— Стану брать Таютку с собой. В шахте у нас тепло. И на глазах будет. Хоть сухой кусок, да вовремя съест.

Так и стал делать. А чтобы от начальства привязки не было, что, дескать, женскому полу в шахту спускаться нельзя, он стал обрядить Таютку парнишком. Наденет на нее братнюю одежонку да и ведет с собой. Рудобои, которые по суседству жили, знали, понятно, что у Гани не парнишко, а девчонка, да им-то что. Видят — по горькой нужде мужик с собой ребенка в рудник таскает, жалеют его и Таютку позабавить стараются. Известно, ребенок! Всякому охота, чтоб ему повеселее было. Берегут ее в шахте, потешают, кто как умеет. То на порожней тачке подвезут, то камешков узорчатых подкинут. Кто опять ухватит на руки, подымет выше головы да и наговаривает:

— Ну-ко, снизу погляжу, сколь Натал Гаврилыч руды себе в нос набил. Не пора ли каелкой выворачивать?

Подшучивали, значит. И прозвище ей дали — Натал Гаврилыч.

Как увидят, сейчас разговор:

— А, Натал Гаврилыч!

— Как житишком, Натал Гаврилыч?

— Отцу пособлять пришел, Натал Гаврилыч? Дело, друг, дело. Давно пора, а то где же ему одному управиться.

Не каждый, конечно, раз таскал Ганя Таютку с собой, а все-таки частенько. Она и сама к тому привыкла, чуть не всех рудобоев, с которыми отцу приходилось близко стоять, знала.

Вот на этого-то Ганю Ераско и нацелился. С вечера говорит ему ласковенько:

— Ты, Ганя, утре ступай-ко к новым перекладам. Очисти там забой до надежного потолка!

Ганя и тут отговариваться не стал, а как пошел домой, за-подумывал, что с Таюткой будет, коли гора его не пощадит.

Пришел домой,— у Таютки нос от реву припух, ручонки расцарапаны, под глазом синяк и платишко все порвано. Кто-то, видно, пообидел. Про обиду свою Таютка все-таки рассказывать не стала, а только сразу запросилась:

— Возьми меня, тятя, завтра на рудник с собой.

У Гани руки задрожали, а сам подумал:

«Верно, не лучше ли ее с собой взять. Какое ее житье, коли живым не выйду!»

Прибрал он свою девчушку, сходил к соседям за похлебкой, поужинали, и Таютка сейчас же свернулась на скамеечке, а сама наказывает:

— Тятя, смотри не забудь меня разбудить! С тобой пойду!

Уснула Таютка, а отцу, конечно, не до этого. До свету просидел, всю свою жизнь в голове перевел, в конце концов решил:

— Возьму! Коли погибнуть доведется, так вместе.

Утром разбудил Таютку, обрядил ее по обычаю парнишком, поели маленько и пошли на рудник.

Только видит Таютка, что-то не так: знакомые дяденьки как незнакомые стали. На кого она поглядит, тот и глаза отведет, будто не видит. И Натал Гаврилычем никто ее не зовет. Как осердились все. Один рудобой заворчал на Ганю:

— Ты бы, Гаврило, этого не выдумывал — ребенка с собой таскать. Не ровен час — какой случай выйдет.

Потом парень-одиночка подошел. Сам сбывился, в землю глядит и говорит тихонько:

— Давай, дядя Гаврило, поменяемся. Ты с Таюткой на мое место ступай, а я на твое.

Тут другие зашумели:

— Чего там! По жеребьевке надо! Давай Поспешая! Пушай жеребьевку делает, коли такое дело!

Только Поспешая нет и нет. Рассылка от него прибежал:

велел, дескать, спускаться, его не дожидаясь. Хворь приключилась, с постели подняться не может.

Хотели без Поспешая жеребьевку провести, да один старичок ввязался. Он — этот старичонко — на доброй славе ходил. Бывальцем считали и всегда по отчеству звали, только как он низенького росту был, так маленько с шуткой — Полукарпыч.

Этот Полукарпыч мысли и повернул.

— Пойдите-ко, — говорит, — пойдите! Что зря горячиться! Может, Ганя умнее нашего придумал. Хозяйка горы наверняка его с дитей-то помилует. Податная на это, — будьте покойны! Гляди, еще девчонку к себе в гости сводит. Помяните мое слово.

Этим разговором Полукарпыч и погасил у людей стыд. Всяк подумал: «На что лучше, коли без меня обойдется», и стали поскорее расходиться по своим местам.

Таютка не поняла, конечно, о чем спор был, а про Хозяйку заметила. И то ей диво, что в шахте все по-другому стало. Раньше, случалось, всегда на людях была, кругом огоньки мелькали, и людей видно. Кто руду бьет, кто нагребает, кто на тачках возит. А на этот раз все куда-то разошлись, а они с отцом по пустому месту вдвоем шагают, да еще Полукарпыч увязался за ними же.

— Мне, — говорит, — в той же стороне работа, провожу до места.

Шли-шли. Таютке тоскливо стало, она и давай спрашивать отца:

— Тятя, мы куда пошли? К Хозяйке в гости?

Гаврило вздохнул и говорит:

— Как придется. Может, и попадем.

Таютка опять:

— Она далеко живет?

Гаврило, конечно, молчит, не знает, что сказать, а Полукарпыч и говорит:

— В горе-то у ней во всяком месте дверки есть, да только нам не видно.

— А она сердитая? — спрашивает опять Таютка, а Полукарпыч и давай тут насказывать про Хозяйку, ровно он ей родня либо свойственник. И такая, и сякая, немазаная-сухая. Платье зеленое, коса черная, в одной руке каелка махонькая, в другой цветок. И горит этот цветок, как хорошая охапка смолья, а дыму нет. Кто Хозяйке поглянется, тому она этот цветок и отдаст, а у самой сейчас же в руке другой появится.

Таютке это любопытно. Она и говорит:

— Вот бы мне такой цветочек!

Старичонко и на это согласен:

— А что ты думаешь? Может, и отдаст, коли пугаться да реветь не будешь. Очень даже просто.

Так и заговорил ребенка. Таютка только о том и думает, как

бы поскорее Хозяйку поглядеть да цветочек получить. Говорит старику-то:

— Дедо, я ни за что, ну вот ни за что не испугаюсь и реветь не буду.

Вот пришли к новым перекладам. Верно, крепь надежная поставлена, и смолье тут наготовлено. Ганя со стариком занялись смолье разжигать. Дело, видишь, такое — осветиться хорошенько надо, одних блёндочек мало, а огонь развести в таком месте тоже без оглядки нельзя.

Пока они тут место подходящее для огнища устроили да с разжогом возились, Таютка стоит да оглядывает кругом, нет ли тут дверки, чтоб к Хозяйке горы в гости пойти.

Глазенки, известно, молодые, острые. Таютка и углядела ими — в одном месте, невысоко от земли, вроде ямки кругленькой, а в ямке что-то блестит. Таютка, не того слова, подобралась к тому месту да и поглядела в ямку, а ничего нет. Тогда она давай пальчишком щупать. Чует — гладко, а края отстают, как старая замазка. Таютка и давай то место расколупывать, дескать, пошире ямку сделаю. Живо очистила место с банное окошечко да тут и заревела во всю голову:

— Тятя, дедо! Большой парень из горы царапается!

Гаврило со стариком подбежали, видят — как зеркало в породе вдавлено, шатром глядит и до того человека большим кажется, что и признать нельзя. Сперва-то они и сами испугались, потом поняли, и старик стал над Таюткой подсмеиваться:

— Наш Натал Гаврилыч себя не признал! Гляди-ко, — я нисколько не боюсь того вон старика, даром что он такой большой. Что хочешь заставляю его сделать. Потяну за нос — он себя потянет, дерну за бороду — он тоже. Гляди: я высунул язык, и он свой ротище раззявил и язык выкатил! Как бревно!

Таютка поглядела из-за дедушкиного плеча. Точно — это он и есть, только сильно большой. Забавно ей показалось, как дедушка дразнится. Сама вперед высунулась и тоже давай всяки штуки строить.

Скоро ей охота стала на свои ноги посмотреть, пониже, значит, зеркало спустить. Она и начала с нижнего конца руду отколупывать. Отец с Полукарпычем глядят — руда под Таюткиными ручонками так книзу и поползла, мелкими камешками под ноги сыплется. Испугались: думали — обвал. Ганя подхватил Таютку на руки, отбежал подальше да и говорит:

— Посиди тут. Мы с дедушкой место очистим. Тогда тебя позовем. Без зову смотри не ходи — осержусь!

Таютке горько показалось, что не дали перед зеркалом позабавиться. Накуксилась маленько, губенки надула, а не заревела. Знала, поди-ко, что большим на работе мешать нельзя. Сидит, нахохлилась да от скуки перебирает камешки, какие под руку прились. Тут и попался ей один занятный. Величиной с ладош-

ку. Исподка у него руда рудой, а повернешь — там вроде маленькой чашечки либо блюдца. Гладко-гладко выкатано и блестит, а на закрайках как листочки прилипли. А пуще того занятно, что из этой чашечки на Таютку тот же большой парень глядит. Таютка и занялась этой игрушкой.

А тем временем отец со стариком в забое старались. Сперва-то сторожились, а потом на-машок у них работа пошла. Подведут каелки от гладкого места, да и отворачивают породу, а она сыплется мелким куском. Верхушка только потруднее пришлась... Высоко, да и боязно, как бы порода большими кусками не посыпалась. Старик велел Гане у забоя стоять, чтоб Таютка на ту пору не подошла, а сам взмогнулся на чурбаках и живой рукой верх очистил. И вышло у них в забое, как большая чаша внаклон поставлена, а кругом порода узором легла и до того крепкая, что каелка ее не берет.

Старик, для верности, и по самой чаше не раз каелкой стучал. Сперва по низу да с оглядкой, а потом начал базгать со всего плеча да еще приговаривает:

— Дай-ко хвачу по носу старика — пусть на меня не замахи-вается!

Хлестал-хлестал, чаша гудит, как литая медь, а от каелки даже малой чатинки* не остается. Тут оба уверились — крепко. Побегал отец за Таюткой. Она пришла, поглядела и говорит:

— У меня такое есть! — и показывает свой камешок. Большие видят, — верно, на камешке чаша и весь ободок из точки в точку. Ну, все как есть — только маленькое. Старик тут и говорит:

— Это, Таютка, тебе Хозяйка горы, может, на забаву, а может, и на счастье дала.

— Нет, дедо, я сама нашла.

Гаврило тоже посомневался:

— Мало ли какой случай бывает.

На спор у них дело пошло. Стали в том месте, где Таютка сидела, все камешки перебирать. Даже сходства не обозначилось. Тогда старик и говорит:

— Вот видите, какой камешок! Другого такого в жизнь не найти! Береги его, Таютка, и никому не показывай, а то узнает начальство — отберут.

Таютка от таких слов голосом закричала:

— Не отдам! Никому не отдам!

А сама поскорее камешок за пазуху и ручонкой прижала, — дескать, так-то надежнее.

К вечеру по руднику слух прошел:

— Обошлось у Гани по-хорошему. Вдвоем с Полукарпычем они гору руды набили да еще зеркало вырыли. Цельное, без единой чатинки, и ободок узорчатый.

Всякому, конечно, любопытно. Как к подъему объявили, народ

и кинулся сперва поглядеть. Прибежали, видят — верно, над забоем зеркало наклонилось, и кругом из породы явственно рама обозначилась, как руками высечена. Зеркало не доской, а чашей: в середине поглубже, а по краям на нет сошло. Кто поближе подойдет, тот и шарахнет сперва, а потом засмеется. Зеркало-то, видишь, человека вовсе несообразно кажет. Нос с большой угор, волос на усах, как дрова разбросали. Даже глядеть страшно, и смешно тоже. Народу тут набилось густо. Старики, понятно, оговаривают: не до смеху, дескать, тут дело вовсе сурьезное. А молодых разве угомонишь, коли на них смех напал. Шум подняли, друг над дружкой подшучивают. Таютку кто-то подтащил к самому зеркалу да и кричит:

— Это вот тот большой парень зеркало открыл!

Другие отзываются:

— И впрямь так! Не будь Таютки, не смеяться бы тут. Таюткино зеркало и есть!

А Таютка помалкивает да ручонкой крепче свое маленькое зеркальце прижимает.

Ераско Поспешай, конечно, тоже услышал про этот случай — сразу выздоровел, спустился в шахту и пошел к Ганиному забою. Вперед шел, так еще про хворь помнил, а как оглядел место да увидел, что народ не боится, сразу рысью забегал и закричал своим обычаем:

— Поспешай, ребятушки, к подъему! Не до ночи вас ждать! Руднично дело мешкоты не любит. Эка невидаль — гладкое место в забое пришлось!

А сам, по собачьему положению, другое смекает:

«Рудничному смотрителю не скажу, а побегу к приказчику. Обскажу ему, как моим распоряжком в забое такую диковину открыли. Тогда мне, а не смотрителю награда будет».

Прибежал к приказчику, а смотритель уж там сидит да еще над Ераском насмехается:

— Вот что! Выздоровел, Ерастушко! А я думал, тебе и не поглядеть, какую штуку без тебя на руднике откопали.

Ераско завертелся: дескать, за этим и бежал, чтоб тебе сказать.

А смотритель, знай, подзуживает:

— Худые, гляжу, у тебя ноги стали. За всяким делом самому глядеть доводится.

Ераску с горя не лук же тереть. Он думал-думал и придумал:

«Напишу-ко я грамоту заграничной барыне. Тогда еще поглядим, куда дело повернется».

Ну, и написал. Так, мол, и так, стараньем надзирателя такого-то открыли в руднике диковинное зеркало. Не иначе самой Хозяйки горы. Не желаете ли поглядеть?

Ераско это с хитростью подвел. Он так понял. Приказчик непременно барину о таком случае доведет, только это ни к чему

будет. Барин на ту пору из таких случился, что ни до чего ему дела не было, одно требовал — давай денег больше! А жена у этого барина из заграничных земель была.

У бар, известно, заведено было по всяким заграницам таскаться. Сысертский барин это же придумал:

«Чем, дескать, я хуже других заводчиков. Поеду — людей посмотрю, себя покажу».

Ну, поездил у теплых морей, поразбросал рублей, и домой его потянуло.

Только дорога-то шла через немецки земли, а там, видишь, на это дело, чтоб к чужим деньгам подобраться, нашлись больно смекалистые.

Видят — барин ума малого, а деньгами ворочает большими, они и давай его обхаживать. Вызнали, что он холостой, и пристроились на живца ловить. Подставили, значит, ему немку посытее да повиднее, — из таких все ж таки, коих свои немецкие женихи браковали, и вперебой стали ту немку нахваливать:

— Вот невеста так невеста! По всем землям объезди, такой не сыщешь. Домой привезешь, у соседей в глазах зарябит.

Барин всю эту подлость за правду принял, взял да и женился на той немке. И то ему лестно показалось, что невеста перед свадьбой только о том и говорила, как будет ей хорошо на новом месте жить. Ну, а как обзаконились да подписал барин бумажки, какие ему подсунули, так и поворот этому разговору. Молодая жена сразу объявила:

— Неохота мне что-то, мил любезный друг, на край света забираться. Тут привычнее, да и тебе для здоровья полезно.

Барин, понятно, закипятился:

— Как так? Почему до свадьбы другое говорила? Где твоя совесть?

А немка, знай, посмеивается.

— По нашим, — говорит, — обычаям невесте совести не полагается. С совестью-то век в девках просидишь, а это невесело.

Барин горячится, корит жену всякими словами, а ей хоть бы что. Свое твердит:

— Надо было перед свадьбой уговор подписать, а теперь и разговаривать не к чему. Коли тебе надобно, поезжай в свои места один. Сколь хочешь там живи, хоть и вовсе сюда не ворочайся, скучать не стану. Мне бы только деньги посылал вовремя. А не будешь посылать — судом взыщу, потому — законом обязан ты жену содержать, да и подпись твоя на это у меня имеется.

Что делать? Одному домой ехать барин поопасался: на смех, дескать, поднимут, — он и остался в немецкой земле. Долгонько там жил, всю заводскую выручку немцам просаживал. Потом, видно, начетисто показалось али другая какая причина вышла, привез-таки свою жену в Сысерть и говорит:

— Сиди тут.

Ну, ей тоскливо, она и вытворяла, что только удумает. На Азов-горе вон теперь дом с вышкой стоит, а до него там, говорят, и не разберешь, что было нагорожено: не то монастырь, не то мельница. И называлась эта строянка Раззор. Этот Раззор при той заграничной барыне и поставлен был. Приедут будто туда с целой оравой да и гарцуют недели две. Народу от этой барской гулянки не сладко приходилось. То овечек да телят затравят, то кострами палы по лесу пустят. Им забава, а народу маета. За счастье считали, коли в какое лето барыня в наши края не приедет.

Ераску, понятно, до этого дела нет, ему бы свою выгоду не упустить, он и послал грамотку с нарочным. И не ошибся, подлая душа. На другой же день на семи ли, восьми тройках приехала барыня со своей оравой и первым делом потребовала к себе Ераска.

— Показывай, какое зеркало нашел!

Приказчик, смотритель и другое начальство прибежали. Узнали дело, отговаривают: никак невозможно женщине в шахту. Только сговорить не могут. Заладила свое:

— Пойду и пойду.

Тут еще баринок из заграничных бодрится. При ней был. За брата или там за какую родню выдавала и завсегда с собой возила. Этот с грехом пополам балакает:

— Мы, дескать, с ней в заграничной шахте бывали, а это что!

Делать нечего, стали их спускать. Начальство все в беспокойстве, один Ераско радуется, рысит перед барыней, в две блёндочки ей светит. Довел-таки до места. Оглядела барыня зеркало. Тоже посмеялась с заграничным баринком, какими оно людей показывает, потом барыня и говорит Ераску:

— Ты мне это зеркало целиком вырежь да в Раззор доставь!

Ераско давай ей втолковывать, что сделать это никак нельзя, а барыня свое:

— Хочу, чтоб это зеркало у меня стояло, потому как я хозяйка этой горы!

Только проговорила, вдруг из зеркала рудой плюнуло. Барыня завизжала и без памяти повалилась.

Суматоха поднялась. Начальство подхватило барыню да поскорее к выходу. Один Ераско в забое остался. Его, видишь, тем плевком с ног сбило и до половины мелкой рудой засыпало. Вытащить его вытащили, да только ноги ему по-настоящему отшибло, больше не поспешал и народ зря не полошил.

Заграничная барыня жива осталась, только с той поры все дураков рожала. И не то что недоумков каких, а полных дураков, кои ложку в ухо несут, и никак их ничему не научишь.

Заграничному баринку, который хвалился: мы да мы, самый законешничок носу сшибло. Как ножом срезало, ноздри на волю глядеть стали — не задавайся, не мыкай до времени!

А зеркала в горе не стало: все осыпалось.

Зато у Таютки зеркальце сохранилось. Большого счастья оно не принесло, а все-таки свою жизнь она не хуже других прожила. Зеркальце-то, сказывают, своей внучке передала. И сейчас будто оно хранится, только неизвестно — у кого.

КОШАЧЬИ УШИ

В те годы Верхнего да Ильинского в помине не было. Только наша Полевая да Сысерть. Ну, в Северной тоже железком побрякивали. Так, самую малость. Сысерть-то светлее всех жила. Она, вишь, на дороге прилась в казачью сторону. Народ туда-сюда проходил да проезжал. Сами на пристань под Ревду с железом ездили. Мало ли в дороге с кем встретишься, чего наслушаешься. И деревень кругом много.

У нас в Полевой против сысертского-то житья вовсе глухо было. Железа в ту пору мало делали, больше медь плавил. А ее караваном к пристани-то возили. Не так вольготно было народу в дороге с тем, с другим поговорить, спросить. Под караулом-то попробуй! И деревень в нашей стороне — один Косой Брод. Кругом лес, да горы, да болота. Прямо сказать, — в яме наши старики сидели, ничего не видели. Барину, понятное дело, того и надо. Спокойно тут, а в Сысерти поглядывать приходилось.

Туда он и перебрался. Сысерть главный у него завод стал. Нашим старикам только стражи прибавил да настрого наказал прислужникам:

— Глядите, чтобы народ со стороны не шлся, и своих покрепче держите.

А какой тут пришлый народ, коли вовсе на усторонье* наш завод стоит. В Сысерть дорогу прорубили, конечно, только она в те годы, сказывают, шибко худая была. По болотам прилась. Слани* верстами. Заневолю брюхо заболит, коли по жерднику потрясет. Да и мало тогда ездили по этой дороге. Не то, что в нынешнее время — взад да вперед. Только барские прислужники да стража и ездили. Эти верхами больше, — им и горюшка мало, что дорога худая. Сам барин в Полевую только на полозу ездил. Как санная дорога установится, он и давай навестывать, что летом пропустил. И все норовил нежданно-негаданно налететь. Уедет, примерно, вечером, а к обеду на другой день уж опять в Полевой. Видно, подловить-то ему кого-нибудь охота была. Так все и знали, что зимой барина на каждый час жди. Зато по колесной дороге вовсе не ездил. Не любо ему по сланям-то трястись, а верхом, видно, неспособно. В годах, сказывают, был. Какой уж верховой! Народу до зимы-то и полегче было. Сколь ведь приказчик ни лютует, а барин приедет — еще вину выищет.

Только вот приехал барин по самой осенней распутице. Приехал не к заводу либо к руднику, как ему привычно было, а к приказчику. Из конторы сейчас же туда всех приказных потребовал и попов тоже. До вечера приказные пробыли, а на другой день барин уехал в Северну. Оттуда в тот же день в город поволокся. По самой-то грязи приспичило ему. И обережных* с ним что-то вовсе много. В народе и пошел разговор: «Что за штука? Как бы дознаться?»

По теперешним временам это просто — взял да сбегал либо съездил в Сысерть, а при крепости как? Заделье надо найти, да и то не отпустят. И тайком тоже не уйдешь, — все люди на счету, в руке зажаты. Ну, все ж таки выискался один парень.

— Я, — говорит, — вечером в субботу, как из горы поднимут, в Сысерть убегу, а в воскресенье вечером прибегу. Знакомцы там у меня. Живо все разузнаю.

Ушел да и не воротился. Мало погода приказчику сказали, а он и ухом не повел искать парня-то. Тут и вовсе любопытно стало, — что творится? Еще двое ушли и тоже с концом. В заводе только то и нового, что по три раза на дню стала стража по домам ходить, мужиков считать, — все ли дома. В лес кому понадобится за дровами либо за сеном на покос, — тоже спросись. Отпускать стали грудками и со стражей.

— Нельзя, — говорит приказчик, — поодиночке-то. Вон уж трое сбежали.

И семейным в лес ходу не стало. На дорогах заставы приказчик поставил. А стража у него на подбор — ни от одного толку не добьешься. Тут уж, как в рот положено стало, что в Сысертской стороне что-то деется, и шибко им — барским-то приставникам — не по ноздре. Зашептались люди в заводе и на руднике.

— Что хочешь, а узнать надо.

Одна девчонка из руднишных и говорит:

— Давайте, дяденька, я схожу. Баб-то ведь не считают по домам. К нам вон с бабушкой вовсе не заходят. Знают, что в нашей избе мужика нет. Может, и в Сысерти эдак же. Способнее мне узнать-то.

Девчонка бойконькая... Ну, руднишная, бывалая... Все-таки мужикам это не в обычае.

— Как ты, — говорят, — птаха Дуняха, одна по лесу сорок верст пройдешь? Осень ведь — волков полно. Костей не оставят.

— В воскресенье днем, — говорит, — убегу. Днем-то, поди, не посмеют волки на дорогу выбежать. Ну, и топор на случай возьму.

— В Сысерти-то, — спрашивают, — знаешь кого?

— Баб-то, — отвечает, — мало ли. Через них и узнаю, что надо.

Иные из мужиков сомневаются:

— Что баба знает?

— То,— отвечает,— и знает, что мужику ведомо, а когда и больше.

Поспорили маленько мужики, потом и говорят:

— Верно, птаха Дуняха, тебе сподручнее идти, да только стыд нам одну девку на экое дело послать. Загрызут тебя волки.

Тут парень и подбежал. Узнал, о чем разговор, да и говорит:

— Я с ней пойду.

Дуняха скраснела маленько, а отпираться не стала.

— Вдвоем-то, конечно, веселее, да только как бы тебя в Сысерти не поймали.

— Не поймают,— отвечает.

Вот и ушла Дуняха с тем парнем. Из завода не по дороге, конечно, выбрались, а задворками, потом тоже лесом шли, чтобы их с дороги не видно было. Дошли так спокойно до Косого Броду. Глядят — на мосту трое стоят. По всему видать — караул. Чусовая еще не замерзла, и вплавь ее где-нибудь повыше либо пониже тоже не возьмешь — холодно. Поглядела из лесочка Дуняха и говорит:

— Нет, видно, мил дружок Матюша, не приводится тебе со мной идти. Зря тут себя загубишь и меня подведешь. Ступай-ка скорее домой, пока тебя начальство не хватилось, а я одна попытаюсь на женскую хитрость пройти.

Матюха, конечно, ее уговаривать стал, а она на своем уперлась. Поспорили да на том и решили. Будет он из лесочка глядеть. Коли не остановят ее на мосту — домой пойдет, а остановят — выбежит, отбивать станет. Подобралась тут Дуняха поближе, спрятала покрепче топор да и выбежала из лесу. Прямо на мужиков бежит, а сама визжит-кричит:

— Ой, дяденьки, волк! Ой, волк!

Мужики видят — женщина испугалась,— смеются. Один-то ногу еще ей подставил, только, видать, Дуняха в оба глядела, пролетела мимо, а сама все кричит:

— Ой, волк! Ой, волк!

Мужики ей вдогонку:

— За подол схватил! За подол схватил! Беги — не стой!

Поглядел Матюха и говорит:

— Пролетела птаха! Вот девка! Сама не пропадет и дружка не подведет! Дальше-то влеготку* пройдет сторонкой. Как бы только не припозднилась, волков не дождалась.

Воротился Матвей домой до обхода. Все у него и обошлось гладко — не заметили. На другой день руднишным рассказал. Тогда и поняли, что тех — первых-то — в Косом Броду захватили.

— Там, поди, сидят запертые да еще в цепях. То приказчик их и не ищет — знает, видно, где они. Как бы туда же наша птаха не попала, как обратно пойдет!

Поговорили так, разошлись. А Дуняха что? Спокойно сторонкой по лесу до Сысерти дошла. Раз только и видела на дороге



полевских стражников. Домой из Сысерти ехали. Прихоронилась она, а как разминовались, опять пошла. Притомилась, конечно, а на свету еще успела до Сысерти добраться. На дороге тоже стража оказалась, да только обойти-то ее тут вовсе просто было. Свернула в лес и вышла на огороды, а там близко колодец оказался. Тут женщины были, Дуняху и незаметно на людях стало. Одна старушка спросила ее:

— Ты чья же, девушка, будешь? Ровно не из нашего конца? Дуняха и доверилась этой старушке.

— Полевская, — говорит.

Старушка дивится:

— Как ты это прошла? Стража ведь везде наставлена. Мужики не могут к вашим-то попасть. Который уйдет — того и потеряют.

Дуняха ей сказала.

Тогда старушка и говорит:

— Пойдем-ко, девонька, ко мне. Одна живу. Ко мне и с обыском не ходят. А придут — так скажешься моей зареченской внучкой. Походит она на тебя. Только ты будто покорпуснее* будешь. Зовут-то как?

— Дуняхой, — говорит.

— Вот и ладно. Мою-то тоже Дуней звать.

У этой старушки Дуняха и узнала все. Барин, оказывается, куда-то вовсе далеко убежал, а нарочные от него и к нему каждую неделю ездят.

Все какие-то наставления барин посылает, и приказчик Ванька Шварев те наставления народу вычитывает. Железный завод вовсе прикрыт, а мужики на Щелкунской дороге канавы глубокие копают да валы насыпают. Ждут с той стороны прихода. Говорят — башкирцы бунтуются, а на деле вовсе не то. По дальним заводам, по деревням и в казаках народ поднялся, и башкиры с ними же. Заводчиков да бар за горло берут, и главный начальник у народа Омельян Иваныч* прозывается. Кто говорит — он царь, кто — из простых людей, только народу от него воля, а заводчикам да барам — смерть! То наш-то хитряга и убежал подалее. Испугался!

Узнала, что в Сысерти тоже обход по домам и работам мужиков проверяет по три раза в день. Только у них еще ровно строже. Чуть кого не случится, сейчас всех семейных в цепи да и в каталажку. Человек прибежит:

— Тут я, — по работе опоздал маленько!

А ему отвечают:

— Вперед не опаздывай! — да и держит семейных-то дня два либо три.

Вовсе замордовали народ, а приказчик хуже цепной собаки.

Все ж таки, как вечерний обход прошел, сбежались к той

старушке мужики. Давай Дуняху расспрашивать, что да как у них. Рассказала Дуняха.

— А мы, — говорят, — сколько человек к вашим отправляли — ни один не воротился.

— То же, — отвечает, — и у нас. Кто ушел — того и потеряли! Видно, на Чусовой их всех перехватывают.

Поговорили-поговорили, потом стали о том думать, как Дуняхе в Полевую воротиться. Наверняка ее в Косом Броду поджидают, а как мимо пройдешь?

Один тут и говорит:

— Через Терсутско болото бы да на Гальян. Ладно бы вышло, да мест этих она не знает, а проводить некому...

— Неуж у нас смелых девок не найдется? — говорит тут хозяйка. — Тоже, поди-ко, их не пересчитывают по домам, и на Терсутском за клюквой многие бывали. Проводят! Ты только дальше-то Расскажи ей дорогу, чтоб не заблудилась да не опоздала. А то волкам на добычу угодит.

Ну, тот и рассказал про дорогу. Сначала, дескать, по Терсутскому болоту, потом по речке Мочаловке на болото Гальян, а оно к самой Чусовой подходит. Место тут узкое. Переберется как-нибудь, а дальше полевские рудники пойдут.

— Если, — говорит, — случится опоздниться, тут опаски меньше. По тем местам от Гальяна до самой Думной горы земляная кошка* похаживает. Нашему брату она не вредная, а волки ее побаиваются, если уши покажет. Не шибко к тем местам льнут. Только на это тоже не надейся, побойче беги, чтобы засветло к заводу добраться. Может, про кошку-то — разговор пустой. Кто ее видал?

Нашлись, конечно, смелые девки. Взялись проводить до Мочаловки. Утром еще потемну за завод прокрались мимо охраны.

— Не сожрут нас волки кучей-то. Побоятся, поди. Пораньше домой воротимся, и ей — гостье-то нашей — так лучше будет.

Идет эта девичья команда, разговаривает так-то. Мало погода и песенки запели. Дорога бывалая, хаживали на Терсутско за клюквой — что им не петь-то?

Дошли до Мочаловки, прощаться с Дуняхой стали. Время еще не позднее. День солнечный выдался. Вовсе ладно. Тот мужик-от говорил, что от Мочаловки через Гальян не больше пятнадцати верст до Полевой. Дойдет засветло, и волков никаких нет. Зря боялись.

Простились. Пошла Дуняха одна. Сразу хуже стало. Места незнакомые, лес страшный. Хоть не боязливая, а запооглядывалась. Ну, и сбилась маленько.

Пока путалась да направлялась, — глядишь, — и к потемкам дело подошло. Во всех сторонах заповывали. Много ведь в те годы волков-то по нашим местам было. Теперь вон по осеням под самым

заводом воют, а тогда их было — сила! Видит Дуняха — плохо дело. Столько узнала, и даже весточки не донесет! И жизнь свою молодую тоже жалко. Про парня того — Матвея-то — вспомнила. А волки вовсе близко. Что делать? Бежать — сразу налетят, в клочья разорвут. На сосну залезть — все едино дождутся, пока не свалишься.

По уклону, видит, к Чусовой болото спускаться стало. Так мужик-то объяснил. Вот и думает: «Хоть бы до Чусовой добраться!»

Идет потихоньку, а волки по пятам. Да и много их. Топор, конечно, в руке, да что в нем!

Только вдруг два синеньких огня вспыхнуло. Ни дать ни взять — кошачьи уши. Снизу пошире, кверху на нет сошли. Впереди от Дуняхи шагов, поди, до полсотни.

Дуняха раздумывать не стала, откуда огни, — сразу к ним кинулась. Знала, что волки огня боятся.

Подбежала — точно, два огня горят, а между ними горка маленькая, вроде кошачьей головы. Дуняха тут и остановилась, меж тех огней. Видит — волки поотстали, а огни все больше да больше и горка будто выше. Дивится Дуняха, как они горят, коли дров никаких не видно. Насмелилась, протянула руку, а жару не чувствует. Дуняха еще поближе руку подвела. Огонь метнулся в сторону, как кошка ухом тряхнула, и опять ровно горит.

Дуняхе маленько боязно стало, только не на волков же бежать. Стоит меж огнями, а они еще кверху подались. Вовсе большие стали. Подняла Дуняха камешок с земли. Серой он пахнет. Тут она и вспомнила про земляную кошку, про которую мужик сысертский сказывал. Дуняха и раньше слышала, что по пескам, где медь с золотыми крапинками, живет кошка с огненными ушами. Уши люди много раз видали, а кошку никому не доводилось. Под землей она ходит.

Стоит Дуняха промеж тех кошачьих ушей и думает: «Как дальше-то? Волки отбежали, да надолго ли? Только отойди от огней — опять набегут. Тут стоять холодно, до утра не выдюжить».

Только подумала, — огни и пропали. Осталась Дуняха в потемках. Оглянулась — нет ли опять волков? Нет, не видно. Только куда идти в потемках-то? А тут опять впереди огоньки вспыхнули. Дуняха на них и побежала. Бежит, бежит, а догнать не может. Так и добежала до Чусовой-реки, а уши уж на том берегу горят.

Ледок, конечно, тоненький, ненадежный, да разбирать не станешь. Свалила две жердинки легоньких, с ними и стала перебираться. Переползла с грехом пополам, ни разу не провалилась, хоть шибко потрескивало. Жердинки-то ей пособили.

Стоять не стала. Побежала за кошачьими ушами. Пригляделась все-таки к месту, — узнала. Песошное это. Рудник был. Слу-

чалось ей тут на работе бывать. Дорогу одна бы ночью нашла, а все за ушами бежит. Сама думает: «Уж если они меня из такой беды вызволили, так неуж неладно заведут?»

Подумала, а огни и выметнуло. Ярko загорели. Так и перебиваются. Будто знак подают: «Так, девушка, так! Хорошо рассудила!»

Вывели кошачьи уши Дуняху на Поваренский рудник, а он у самой Думной горы. Вон в том месте был. Прямо сказать, в заводе.

Время ночное. Пошла Дуняха к своей избушке, с опаской, конечно, пробирается. Чуть где люди,— прихоронится: то за воротный столб притаится, а то и через огород махнет. Подобралась так к избушке и слышит — разговаривают.

Послушала она, поняла — караулят кого-то. А ее и караулили. Старуху баушку приказчик велел в ее избушке за постоянным караулом держать. «Сюда,— думает,— Дуняха явится, коли ей обратно прокрасться посчастливит». Сам этот караул проверял, чтобы ни днем, ни ночью не отходили.

Дуняха этого не поняла. Только слышит — чужой кто-то у баушки сидит. Побоялась показаться. А сама замерзла, не вытерпела прямо. Вот она и прокралась проулком к тому парню-то, Матвею, с которым до Косого Броду шла. Стукнула тихонько в окошко, а сама притаилась. Тот выбежал за ворота:

— Кто? ●

Ну, она и сказалась. Обрадовался парень.

— Иди,— говорит,— скорее в баню. Топлена она. Там тебя и прихороню, а завтра понадежнее место найдем.

Запер Дуняху в теплой бане, сам побежал надежным людям сказать:

— Воротилась Дуняха, прилетела птаха.

Живо сбежались, расспрашивать стали. Дуняха все им рассказала. В конце и про кошачьи уши помянула:

— Кабы не они, сожрали бы меня волки.

Мужики это мимо пропустили. Притомилась, думают, наша птаха, вот и помстилось* ей.

— Давай-ко,— говорят,— поешь да ложись спать! Мы покараулим тебя до утра и то обмозгуем, куда лучше запрятать.

Дуне того и надо. В тепле-то ее разморило, еле сидит.

Поела маленько да и уснула. Матюха да еще человек пять парней на карауле остались. Только время ночное, тихо, а Дуняха вон какие вести принесла. Парни, видно, и заговаривали громко. Ну, и другие люди, которые слушать приходили, тоже не утерпели: тому-другому сказать, посоветовать, что делать. Одним словом, беспокойство пошло. Обходчики и заметили. Сразу проверку давай делать. Того нет, другого нет, а у Матвея пятеро чужих оказалось.

— Зачем пришли?

Те отговариваются, конечно, кому что на ум пришло. Не верили обходчики, обыскивать кинулись. Парням делать нечего — за колья взялись. Обходчики, конечно, оборуженные, только в потемках колом-то способнее. Парни и ухайдакали их. Только на место тех обходчиков другие набежали. Втрое либо вчетверо больше. Парням, значит, поворот вышел. Одного застрелили обходчики, а другие отбиваются все ж таки.

Дуняха давно соскочила. Выбежала из бани, глядит — над Думной горой два страшенных синих огня поднялись, ровно кошка за горой притаилась, уши выставила. Вот-вот на завод кинется. Дуняха и кричит:

— Наши огни-то! Руднишные! На их, ребята, правьтесь!

И сама туда побежала. В заводе сполох поднялся. На колокольне в набат ударили. Народ повыскакивал. Думают — за горой пожар. Побежали туда. Кто поближе подбежит, тот и остановится. Боятся этих огней. Одна Дуняха прямо на них летит. Добежала, остановилась меж огнями и кричит:

— Хватай барских-то! Прошло их время! По другим заводам давно таких-то кончили!

Тут обходчикам и всяким стражникам туго пришлось. Известно, народ грудкой собрался. Стража побежала — кто куда. Только далеко ли от народа уйдешь? Многих похватали, а приказчик угнал-таки по городской дороге. Упустили — оплошка вышла. Кто в цепях сидел, тех высвободили, конечно. Тут огни и погасли.

На другой день весь народ на Думной горе собрался. Дуняха и обсказала, что в Сысерти слышала. Тут иные, из стариков больше, сумлеваться стали:

— Кто его знает, что еще выйдет! Зря ты нас вечер обнадежила.

Другие опять за Дуняху горой:

— Правильная девка! Так и надо! Чего еще ждать-то? Надо самим к людям податься, у коих этот Омельян Иванович объявился.

Которые опять кричат:

— В Косой Брод сбегать надо. Там, поди, наши-то сидят. Забыли их?

Ватажка парней сейчас и побежала. Сбили там стражу, вызволили своих да еще человек пять сысертских. Ну, и народ в Косом Броду весь подняли. Рассказали им, что у людей делается.

Прибежали парни домой, а на Думной горе всё еще спорят. Старики без молодых-то вовсе силу забрали, запугали народ. Только и твердят:

— Ладно ли мы вечер наделали, стражников насмерть побили?

Молодые кричат:

— Так им и надо!

Сидельцы тюремные из Косого-то Броду на этой же стороне, конечно. Говорят старикам:

— Коли вы испугались, так тут и оставайтесь, а мы пойдем свою правильную долю добывать.

На этом и разошлись. Старики, на свою беду, остались, да и других под кнут подвели. Вскорости приказчик с солдатами из города пришел, из Сысерти тоже стражи нагнали. Живо зажали народ. Хуже старого приказчик лютовать стал, да скоро осекся. Видно, прослышал что неладное для себя. Стал стариков тех, кои с пути народ сбили, задабривать всяко. Только у тех спины-то не зажили, помнят, что оплошку сделали. Приказчик видит, косо поглядывают, — сбежал ведь! Так его с той поры в наших заводах и не видали. Крепко, видно, запрятался, а может, и попал в руки добрым людям — свернули башку.

А молодые тогда с Думной-то горы в леса ушли. Матвей у них вожаком стал.

И птаха Дуняха с ним улетела.

Про эту пташку удалую много еще сказывали, да я не помню...

Одно в памяти засело — про Дуняхину плетку.

Дуняха, сказывают, в наших местах жила и после того, как Омеляна Иваныча бары сбили и казнить увезли. Заводское начальство сильно охотилось поймать Дуняху, да все не выходило это дело. А она нет-нет и объявится в открытую где-нибудь на дороге либо на руднике каком. И всегда, понимаешь, на соловеньком* коньке, а конек такой, что его не догонишь. Налетит этак нежданно-негаданно, отвозит кого ей надо башкирской камчой — и нет ее. Начальство переполошится, опять примутся искать Дуняху, а она, глядишь, в другом месте объявится и там какого-нибудь рудничного начальника плеткой уму-разуму учит, как, значит, с народом обходиться. Иного до того огладит, что долго встать не может.

Камчой с лошади, известно, не то что человека свалить, волка насмерть забить можно, если кто умеет, конечно. Дуняха, видать, понавыкла камчой орудовать, надолго свои памятки оставила. И все, сказывают, по делу. А пуще всего тем рудничным доставалось, кои молоденьких девчонок утесняли. Этих вовсе не щадила.

На рудниках таким, случалось, грозили:

— Гляди, как бы тебя Дуняха камчой не погладила.

Стреляли, конечно, в Дуняху не один раз, да она, видно, на это счастливая уродилась, а в народе еще сказывали, будто перед стрелком кошачьи уши огнями замелькают и Дуняхи не видно станет.

Сколько в тех словах правды, про то никто не скажет, потому — сам не видал, а стрелку как поверить?

Всякому, поди-ко, не мило, коли он пульку в белый свет выпустит. Всегда какую-нибудь отговорку на этот случай придумают.

мает. Против, дескать, солнышка пришлось, мошка в глаз попала, потемнение в глазах случилось, комар в нос забился и в причинную жилку как раз на ту пору уколол. Ну, мало ли как еще говорят. Может, какой стрелок и приплек огненные уши, чтоб свою неустойку прикрыть. Все-таки не столь стыдно. С этих слов, видно, разговор и пошел.

А то, может, и впрямь Дуняха счастливая на пулю была. Тоже ведь недаром старики говорят:

— Смелому случится на горке стоять, пули мимо летят, боязливый в кустах захоронится, а пуля его найдет.

Так и не могло заводское начальство от Дуняхиной плетки свою спину наверняка отгородить. Сам барин, рассказывают, боялся, как бы Дуняха где его не огрела. Только она тоже не без смекалки орудовала.

Зачем она с одной плеткой кинется, коли при барине всегда обережных сила и каждый оборужен.

ПРО ВЕЛИКОГО ПОЛОЗА

Жил в заводе мужик один. Левонтием его звали. Старательный такой мужичок, безответный. Смолоду его в горé держали, на Гумешках то есть. Медь добывал. Так под землей все молодые годы и провел. Как червяк в земле копался. Свету не видел, позеленел весь. Ну, дело известное, — гора. Сырость, потемки, дух тяжелый. Ослаб человек. Приказчик видит — мало от его толку, и удобрился перевести Левонтия на другую работу — на Поскакуху отправил, на казенный прииск золотой. Стал, значит, Левонтий на прииске робить. Только это мало делу помогло. Шибко уж он нездоровый стал. Приказчик поглядел-поглядел да и говорит:

— Вот что, Левонтий, старательный ты мужик, говорил я о тебе барину, а он и придумал наградить тебя. Пускай, говорит, на себя старается. Отпустить его на вольные работы, без оброку.

Это в ту пору так дельвали. Изробится* человек, никуда его не надо, ну, и отпустят на вольную работу.

Вот и остался Левонтий на вольных работах. Ну, пить-есть надо, да и семья того требует, чтобы где-нибудь кусок добыть. А чем добудешь, коли у тебя ни хозяйства, ничего такого нет. Подумал-подумал, пошел стараться, золото добывать. Привычное дело с землей-то, струмент тоже не ахти какой надо. Расстарался, добыл и говорит ребятишкам:

— Ну, ребятушки, пойдем, видно, со мной золото добывать. Может, на ваше ребячье счастье и расстараемся, проживем без милостины.

А ребятишки у него вовсе еще маленькие были. Чуть побольше десятка годов им.

Вот и пошли наши вольные старатели. Отец еле ноги передвигает, а ребяташки — мал мала меньше — за ним поспешают.

Тогда, слышь-ко, по Рябиновке верховое золото сильно попадать стало. Вот туда и Левонтий заявку сделал. В конторе тогда на этот счет просто было. Только скажи да золото сдавай. Ну конечно, и мошенство было. Как без этого. Замечали конторски, куда народ бросается, и за сдачей следили. Увидят — ладно пошло, сейчас то место под свою лапу. Сами, говорят, тут добывать будем, а вы ступайте куда в другое место. Заместо разведки старатели-то у них были. Те, конечно, опять свою выгоду соблюдали. Старались золото не оказывать. В контору сдавали только, чтобы сдачу отметить, а сами все больше тайным купцам* стуряли*. Много их было, этих купцов-то. До того, слышь-ко, исхитрились, что никакая стража их уличить не могла. Так, значит, и катался обман-от шариком. Контора старателей обвести хотела, а те опять ее. Вот какие порядки были. Про золото стороной дознаться только можно было.

Левонтию, однако, не потаили — сказали честь честью. Видят, какой уж он добытчик. Пускай хоть перед смертью потешится.

Пришел это Левонтий на Рябиновку, облюбовал место и начал работать. Только силы у него мало. Живо намахался, еле жив сидит, отдышаться не может. Ну, а ребяташки, какие они работники? Все ж таки стараются. Поробили так-то неделю либо больше, видит Левонтий — пустяк дело, на хлеб не сходится. Как быть? А самому все хуже да хуже. Исчах совсем, но неохота по миру идти и на ребяташек сумки надевать*. Пошел в субботу сдать в контору золотишко, какое намыл, а ребятам сказал:

— Вы тут побудьте, струмент покараульте, а то таскать-то взад-вперед ни к чему нам.

Остались, значит, ребята караульщиками у шалашика. Сбежал один на Чусову-реку. Близко она тут. Порыбачил маленько. Надергал пескозобишков*, окунишков, и давай они ушку себе гоношить*. Костер запалили, а дело к вечеру. Боязно ребятам стало.

Только видят — идет старик, заводской же. Семенычем его звали, а как по фамилии — не упомню. Старик этот из солдат был. Раньше-то, рассказывают, самолучшим кричным* мастером значился, да согрубил что-то приказчику, тот его и велел в пожарную отправить — пороть, значит. А этот Семеныч не стал даваться, рожи которым покорябал, как он сильно проворный был. Известно, кричный мастер. Ну, все ж таки обломали. Пожарники-то тогда здоровущие подбирались. Выпороли, значит, Семеныча и за буйство в солдаты сдали. Через двадцать пять годов он и пришел в завод-от вовсе стариком, а домашние у него за это время все примерли, избушка заколочена стояла. Хотели уж ее разбирать. Шибко некорыстна была. Тут он и объявился.

Подправил свою избушку и живет потихоньку, один-одинешенек. Только стали соседи замечать — неспроста дело. Книжки какие-то у него. И каждый вечер он над ими сидит. Думали, — может, умеет людей лечить. Стали с этим подбегать. Отказал. «Не знаю, — говорит, — этого дела. И какое тут может лечение быть, коли такая ваша работа». Думали, — может, веры какой особой. Также не видно. В церкву ходит о пасхе да о рождестве, как обыкновенно мужики, а приверженности не оказывает. И тому опять дивятся — работы нет, а чем-то живет. Огородишко, конечно, у него был. Ружьишко немудрящее имел, рыболовную снасть тоже. Только разве этим проживешь? А деньжонки, промежду прочим, у него были. Бывало, кое-кому и давал. И чудно этак. Иной просит-просит, заклад дает, набавку, какую хошь, обещает, а не даст. К другому сам придет:

— Возьми-ка, Иван или там Михайло, на корову. Ребятишки у тебя маленькие, а подняться, видать, не можешь. — Одним словом, чудной старик. Чертознаем его считали. Это больше за книжки-то.

Вот подошел этот Семеныч, поздоровался. Ребята радехоньки, зовут его к себе:

— Садись, дедушко, похлебай ушки с нами.

Он не посупорствовал, сел. Попробовал ушки и давай похваливать — до чего навариста да скусна. Сам из сумы хлебушка мяконького достал, ломоточками порушал и перед ребятами грудкой положил. Те видят — старику ушка поглянулась, давай уплетать хлебушко-от, а Семеныч одно свое — ушку нахваливает, давно, дескать, так-то не едал. Ребята под этот разговор и наелись как следует. Чуть не весь стариков хлеб съели. А тот, знай, похмыкивает:

— Давно так-то не едал.

Ну, наелись ребята, старик и стал их спрашивать про их дела. Ребята обсказали ему все по порядку, как отцу от заводской работы отказали и на волю перевели, как они тут работали. Семеныч только головой покачивает да повздыхивает: охо-хо да охо-хо. Под конец спросил:

— Сколько намыли?

Ребята говорят:

— Золотник, а может, поболе, — так тятенька сказывал.

Старик встал и говорит:

— Ну ладно, ребята, надо вам помогчи. Только вы уж помалкивайте. Чтоб ни-ни. Ни одной душе живой, а то... — И Семеныч так на ребят поглядел, что им страшно стало. Ровно вовсе не Семеныч это. Потом опять усмехнулся и говорит:

— Вот что, ребята, вы тут сидите у костерка и меня дожидаетесь, а я схожу — покучусь* кому надо. Может, он вам поможет. Только, чур, не бояться, а то все дело пропадет. Помните это хорошенько.

И ушел старик в лес, а ребята остались. Друг на друга поглядывают и ничего не говорят. Потом старший насмелился и говорит тихонько:

— Смотри, братко, не забудь, чтобы не бояться,— а у самого губы побелели и зубы чакают.

Младший на это отвечает:

— Я, братко, не боюсь,— а сам помучнел весь.

Вот сидят так-то, дожидаются, а ночь уж совсем, и тихо в лесу стало. Слышно, как вода в Рябиновке шумит. Прошло довольно дивно времечка, а никого нет, у ребят испуг отбежал. Навалили они в костер хвои, еще веселее стало. Вдруг слышат — в лесу разговаривают. Ну, думают, какие-то идут. Откуда в экое время? Опять страшно стало.

И вот подходят к огню двое. Один-то Семеныч, а другой с ним незнакомый какой-то и одет не по-нашенски. Кафтан это на ём, штаны — все желтое, из золотой, слышь-ко, поповской парчи, а поверх кафтана широкий пояс с узорами и кистями, также из парчи, только с зеленью. Шапка желтая, а справа и слева красные зазорины, и сапожки тоже красные. Лицо желтое, в окладистой бороде, а борода вся в тугие кольца завилась. Так и видно, не разогнешь их. Только глаза зеленые и светят, как у кошки. А смотрят по-хорошему, ласково. Мужик такого же росту, как Семеныч, и не толстый, а видать, грузный. На котором месте стал, под ногами у него земля вдавилась. Ребятам все это занятно, и они бояться забыли, смотрят на того человека, а он и говорит Семенычу шуткой так:

— Это вольны-то старатели? Что найдут, все заберут? Никому не оставят?

Потом прихмурился и говорит Семенычу, как советует с им:

— А не испортим мы с тобой этих ребятишек?

Семеныч стал сказывать, что ребята не балованные, хорошие, а тот опять свое:

— Все люди на одну колодку. Пока в нужде да в бедности, ровно бы и ничего, а как за мое охвостье поймаются, так откуда только на их всякой погани налипнет.

Постоял, помолчал и говорит:

— Ну ладно, попытаем. Малолетки, может, лучше окажутся. А так ребятки ладненьки, жалко будет, ежели испортим. Меньшенький-то вон тонкогубик. Как бы жадный не оказался. Ты уж понастуй* сам, Семеныч. Отец-то у них не жилец. Знаю я его. На ладан дышит, а тоже старается сам кусок заработать. Самостоятельный мужик. А вот дай ему богатство — тоже испортится.

Разговаривает так-то с Семенычем, будто ребят тут и нет. Потом посмотрел на них и говорит:

— Теперь, ребятушки, смотрите хорошенько. Замечайте, куда

след пойдет. По этому следу сверху и копайте. Глубоко не лезьте, ни к чему это.

И вот видят ребята — человека того уж нет. Которое место до пояса — все это голова стала, а от пояса шея. Голова точь-в-точь такая, как была, только большая, глаза ровно по гусиному яйцу стали, а шея змеиная. И вот из-под земли стало выкатываться тулово* преогромного змея. Голова поднялась выше леса. Потом тулово выгнулось прямо на костер, вытянулось по земле, и поползло это чудо к Рябиновке, а из земли всё кольца выходят да выходят. Ровно им и конца нет. И то диво, костер-то потух, а на полянке светло стало. Только свет не такой, как от солнышка, а какой-то другой, и холодом потянуло. Дошел змей до Рябиновки и полез в воду, а вода сразу и замерзла по ту и по другую сторону. Змей перешел на другой берег, дотянулся до старой березы, которая тут стояла, и кричит:

— Заметили? Тут вот и копайте! Хватит вам по сиротскому делу. Чур, не жадничайте!

Сказал так-то и ровно растаял. Вода в Рябиновке опять зашумела, и костерок оттаял и загорелся, только трава будто все еще озябла, как иней ее прихватил. Семеныч и объясняет ребятам:

— Это есть Великий Полоз. Все золото в его власти. Где он пройдет — туда оно и подбежит. А ходить он может и по земле и под землей, как ему надо, и места может окружить, сколько хочет. Оттого вот и бывает — найдут, например, люди хорошую жилку, и случится у них какой обман, либо драка, а то и смертоубийство, и жилка потеряется. Это, значит, Полоз побывал тут и отвел золото. А то вот еще... Найдут старатели хорошее, россыпное золото, ну, и питаются. А контора вдруг объявит — уходите, мол, за казну это место берем, сами добывать будем. Навезут это машин, народу нагонят, а золота-то и нету. И вглубь бьют и во все стороны лезут — нету, будто вовсе не бывало. Это Полоз окружил все то место да пролежал так-то ночку, золото и стянулось все по его-то кольцу. Попробуй найди, где он лежал.

Не любит, вишь, он, чтобы около золота обман да мошенство были, а пуще того, чтобы один человек другого утеснял. Ну, а если для себя стараются, тем ничего, поможет еще когда, вот как вам. Только вы смотрите, молчок про эти дела, а то все испортите. И о том старайтесь, чтобы золото не рвать. Не на то он вам его указал, чтобы жадничали. Слышали, что говорил-то? Это не забывайте первым делом. Ну, а теперь спать ступайте, а я посижу тут у костерка.

Ребята послушались, ушли в шалашик, и сразу на их сон навалился. Проснулись поздно. Другие старатели уж давно работают. Посмотрели ребята один на другого и спрашивают:

— Ты, братко, видел вчера что-нибудь?

Другой ему:

— А ты видел?

Договорились все ж таки. Заклялись, заботились, чтобы никому про то дело не сказывать и не жадничать, и стали место выбирать, где дудку* бить. Тут у них маленько спор вышел. Старший парнишечко говорит:

— Надо за Рябиновкой у березы начинать. На том самом месте, с коего Полоз последнее слово сказал.

Младший уговаривает:

— Не годится так-то, братко. Тайность живо наружу выскочит, потому — другие старатели сразу набегут полюбопытствовать, какой, дескать, песок пошел за Рябиновкой. Тут все и откроется.

Поспорили так-то, пожалели, что Семеныча нет, посоветовать не с кем, да углядели — как раз по середке вчерашнего огневища воткнул березовый колышек. «Не иначе, это Семеныч нам знак оставил», — подумали ребята и стали на том месте копать.

И сразу, слышь-ко, две золотые жужелки* залетели, да и песок пошел не такой, как раньше. Совсем хорошо у них дело сперва направилось. Ну, потом свихнулось, конечно. Только это уж другой сказ будет.

ЗМЕИНЫЙ СЛЕД

Те ребята, Левонтьевы-то, коим Полоз* богатство показал, стали поправляться житьишком. Даром, что отец вскоре помер, они год от году лучше да лучше живут. Избу себе поставили. Не то, чтобы дом затейливой, а так — избушечка справная. Коровенку купили, лошадь завели, овечек до трех голов в зиму пускать стали. Мать-то нарадоваться не может, что хоть в старости свет увидела.

А все тот старичок — Семеныч-от — настовал*. Он тут всему делу голова. Научил ребят, как с золотом обходиться, чтобы и контора не шибко примечала и другие старатели не больно зарились. Хитро ведь с золотишком-то! На все стороны оглядывайся. Свой брат-старатель подглядывает, купец, как коршун, зорит, и конторско начальство в глазу держит. Вот и поворачивайся! Одним-то малолеткам где с таким делом управиться! Семеныч все им и показал. Одним словом, обучил.

Живут ребята. В годы входить стали, а все на старом месте стараются. И другие старатели не уходят. Хоть некорыстно, а намывают, видно... Ну, а у ребят тех и вовсе ладно. Про запас золотишко оставлять стали.

Только заводское начальство углядело — неплохо сироты живут. В праздник какой-то, как мать из печки рыбный пирог доставала, к ним и пых заводской рассылка:

— К приказчику ступайте! Велел немедля.

Пришли, а приказчик на них и накинудся:

— Вы до которой поры шалыганить* будете? Гляди-ко — в версту вымахал каждый, а на барина единого дня не рабатывал! По каким таким правам? Под красну шапку захотели али как?

Ребята объясняют, конечно:

— Тятеньку, дескать, покойного, как он вовсе из сил выбился, сам барин на волю отпустил. Ну, мы и думали...

— А вы, — кричит, — не думайте, а кажите актову бумагу, по коей вам воля прописана!

У ребят, конечно, никакой такой бумаги не бывало, они и не знают, что сказать.

Приказчик тогда и объявил:

— По пяти сотен несите — дам бумагу.

Это он, видно, испытывал, не объявят ли ребята деньги. Ну, те укрепились.

— Если, — говорит младший, — все наше хозяйство до ни-точки продать, так и то половины не набезит.

— Когда так, выходите с утра на работу. Нарядчик скажет куда. Да, глядите, не опаздывать к разнарядке! В случае — выпорю для первого разу!

Приуныли наши ребятушки. Матери сказали, та и вовсе вой подняла:

— Ой, да что же это, детоньки, подеялось! Да как мы теперь жить станем!

Родня, соседи набезали. Кто советует прошение барину писать, кто велит в город к горному начальству идти, кто прикидывает, на сколь все хозяйство вытянет, ежели его продать. Кто опять пужает:

— Пока, дескать, то да се, приказчиковы подлокотники* живо схватят, выпорют да и в гору. Прикуют там цепями, тогда ищи управу!

Так вот и удумывали всяк по-своему, а того никто не домекнул, что у ребят, может, впятеро есть против приказчикова запросу, только объявить боятся. Про это, слышь-ко, и мать у них не знала. Семеныч, как еще в живых был, часто им твердил:

— Про золото в запасе никому не сказывай, особливо женщине. Мать ли, жена, невеста — все едино помалкивай. Мало ли случай какой. Набежит, примерно, горная стража, обыскивать станут, страстей всяких насулят. Женщина иная и крепкая на слово, а тут забоится, как бы сыну либо мужу худа не вышло, возьмет да и укажет место, а стражникам того и надо. Золото возьмут и человека загубят. И женщина та, глядишь, за свою неустойку головой в воду либо петлю на шею. Бывалое это дело. Остерегайтесь! Как потом в годы войдете да женитесь — не забывайте про это, а матери своей и намеку не давайте. Слабая она у вас на языке-то — похвастать своими детоньками любит.

Ребята это Семенычево наставленье крепко помнили и про свой запас никому не сказывали. Подозревали, конечно, другие старатели, что должен быть у ребят запасец, только много ли и в котором месте хранят — не знали.

Посудачили соседи, потужили да с тем и разошлись, что утречком, видно, ребятам на разнарядку выходить.

— Без этого не миновать.

Как не стало чужих, младший брат и говорит:

— Пойдем-ко, братко, на прииск! Простимся хоть...

Старший понимает, к чему разговор.

— И то,— говорит,— пойдем. Не легче ли на ветерке голове станет.

Собрала им мать постряпенек праздничных да огурцов положила. Они, конечно, бутылку взяли и пошли на Рябиновку.

Идут — молчат. Как дорога лесом пошла, старший и говорит:

— Прихоронимся маленько.

За крутым поворотом свернули в сторону да тут у дороги и легли за шиповником. Выпили по стакашку, полежали маленько, слышат: идет кто-то. Поглядели, а это Ванька Сочень с ковшом и прочим струментом по дороге шлепает. Будто спозаранку на прииск пошел. Старанье на него накатило, косушку не допил! А этот Сочень у конторских в собачках ходил: где что вынюхать — его подсылали. Давно на заметке был. Не один раз его бивали, а все не попускался своему ремеслу. Самый вредный мужичонко. Хозяйка Медной горы уж сама его потом так наградила, что вскорости он и ноги протянул. Ну, не о том разговор... Прошел это Сочень, братья перемигнулись. Мало погодя щегарь верхом на лошадке проехал. Еще полежали — сам Пименов на своем Ершике выкатил. Коробчишечко легонький, к дрогам удочки привязаны. На рыбалку, видно, поехал.

Этот Пименов по тому времени в Полевой самый отчаянный был — по тайному золоту. И Ершика у него все знали. Степнячок лошадка. Собой невеличка, а от любой тройки уйдет. Где только добыл такую! Она, сказывают, двухколодешная была, с двойным дыхом. Хоть пятьдесят верст на мах могла... Догони ее! Самая воровская лошадка. Много про нее рассказывали. Ну, и хозяин тоже намятыш* добрый был,— один на один с таким не встречайся. Не то что нынешние наследники, которые вон в том двухэтажном доме живут.

Ребята, как увидели этого рыболова, так и засмеялись. Младший поднялся из-за кустов да и говорит, негромко все ж таки:

— Иван Васильевич, весы-то с тобой?

Купец видит — смеется парень, и тоже шуткой отвечает:

— В эком-то лесу да не найти! Было бы что весить.

Потом придержал Ершика и говорит:

— Коли дело есть, садись — подвезу.

Такая у него, слышь-ко, повадка была — золотишко на ло-

шади принимать. Надеялся на своего Ершика. Чуть что: «Ершик, ударю!» — и только пыль столбом либо брызги во все стороны.

Ребята отвечают: «Нет с собой», — а сами спрашивают:

— Где тебя, Иван Васильич, искать утром на свету?

— Какое, — спрашивает, — дело — большое али пустяк?

— Будто сам не ведаешь...

— Ведать-то, — отвечает, — ведаю, да не все. Не знаю, то ли оба откупаться собрались, то ли один сперва.

Потом помолчал, да и говорит, как упреждает:

— Глядите, ребята, — зóрят за вами. Сочня-то видели?

— Ну, как же.

— А щегаря?

— Тоже видели.

— Еще, поди, послали кого за вами доглядывать. Может, кто и охотой. Знают, вишь, что вам к утру деньги нужны, вот и караулят. И то поехал вас предупредить.

— За то спасибо, а только мы тоже поглядываем.

— Вижу, что понаторели, а все остерегайтесь!

— Боишься, как бы у тебя не ушло?

— Ну, мое-то верное. Другой не купит — побоится.

— А почему?

Пименов прижал, конечно, в цене-то. Ястребок ведь. От живого мяса такого не оторвешь!

— Больше, — говорит, — не дам. Потому дело заметное.

Срядились. Пименов тогда и шепнул:

— На брезгу по Плотинке проезжать буду, — подсажу...

Пошевелил вожжами: «Ступай, Ершик, догоняй щегаря!»

На прощанье еще спросил:

— На двоих али на одного готовить?

— Сами не знаем — сколь наскребется. Полишку все ж таки бери, — ответил младший.

Отъехал купец.

Братья помолчали маленько, потом младший и говорит:

— Братко, а ведь это Пименов от ума говорил. Неладно нам большие деньги сразу оказать. Худо может выйти. Отберут — и только.

— Тоже и я думаю, да быть-то как?

— Может, так сделаем! Сходим еще к приказчику, поклянемся, не скинет ли маленько. Потом и скажем, — больше четырех сотен не наскрести, коли все хозяйство продать. Одного-то, поди, за четыре сотни выпустит, и люди будут думать, что мы из последнего собрали.

— Так-то ладно бы, — отвечает старший, — да кому в крепости оставаться? Жеребьевкой, видно, придется.

Тут младший и давай лебезить:

— Жеребьевка, дескать, чего бы лучше! Без обиды... Про это что говорить... Только вот у тебя изъян... глаз поврежден-

ный... В случае оплошки, тебя в солдаты не возьмут, а меня чем обракуешь? Чуть что — сдадут. Тогда уж воли не увидишь. А ты бы пострадал маленько, я бы тебя живо выкупил. Году не пройдет — к приказчику пойду. Сколь ни запросит — отдам. В этом не сумлевайся! Неуж у меня совести нет? Вместе, поди-ко, зарабатывали. Разве мне жалко!

Старшего-то у них Пантелеем звали. Он пантюхой и вышел. Простяга парень. Скажи — рубаху сымет, другого выручит. Ну, а изъян, что окривел-то он, вовсе парня к земле прижал. Тихий стал, — ровно все-то его больше да умнее. Слова при других сказать не умеет. Помалкивает все.

Меньший-то, Костька, вовсе не на эту статью. Даром что в бедности с детства рос, выправился, хоть на выставку. Рослый да ядреный... Одно худо — рыжий, скрасна даже. Позаглаза-то его все так и звали — Костька Рыжий. И хитрый тоже был. У кого с ним дело случалось, говаривали: «У Костьки не всякому слову верь. Иное он и вовсе проглотит». А подсыпаться к кому — первый мастер. Чисто лиса, так и метет, так и метет хвостом...

Пантюху-то Костька и оболтал живехонько. Так все покостькиному и вышло. Приказчик сотню скинул, и Костька на другой день вольную бумагу получил, а брату будто нисхождение выхлопотал. Ему приказчик на Крылатовский прииск велел отправляться.

— Верно, — говорит, — твой-то брат сказывает. Там тебе знакомее будет. Тоже с песками больше дело. А людей, все едино, что здесь, что там, недохватка. Ладно уж, сделаю тебе нисхождение. Ступай на Крылатовско.

Так Костька и подвел дело. Сам на вольном положении укрепился, а брата на дальний прииск толкал. Избу и хозяйство он, конечно, и не думал продавать. Так только вид делал.

Как Пантелея угнали, Костька тоже стал на Рябиновку сряжаться. Одному-то как? Чужого человека не миновать наймовать, а боится — узнают через него другие, полезут к тому месту. Нашел все ж таки недоумка одного. Мужик большой, а умишко маленький — до десятка счету не знал. Костьке такого и надо.

Стал с этим недоумком стараться, видит — отощал песок. Костька, конечно, заметался повыше, пониже, в тот бок, в другой — все одно, нет золота. Так мельтешит чуть-чуть, стараться не стоит. Вот Костька и придумал на другой берег податься — ударить под той березой, где Полоз останавливался. Получше пошло, а все не то, как при Пантелее было. Костька и тому рад, да еще думает, — перехитрил я Полоза.

На Костьку глядя, и другие старатели на этом берегу пытаться счастья стали. Тоже, видно, поглянулось. Месяца не прошло — полно народу набилось. Пришлие какие-то появились.

В одной артелке увидел Костька девчонку. Тоже рыженькая, собой тончава, а подходященька. С такой по ненастью солнышко

светеет. А Костька по женской стороне шибко пакостник был. Чисто приказчик какой, а то и сам барин. Из отецких не одна девка за того Костьку слезами умывалась, а тут что... приисковая девчонка. Костька и разлетелся, только его сразу обожгло.

Девчоночка ровно вовсе молоденькая, справа у ней некорыстна, а подступить непросто. Бойкая! Ты ей слово, она тебе — два, да все на издевку. А руками чтобы — это и думать забудь. Вот Костька и клюнул тут, как язь на колобок.

Жизни не рад стал, сна-спокою решился. Она и давай его водить и давай водить.

Есть ведь из ихней сестры мастерицы. Откуда только научатся? Глядишь — ровно вовсе еще от малолетков недалеко ушла, а все ухватки знает. Костька сам оплести кого хочешь мог, а тут другое запел.

— Замуж,— спрашивает,— пойдешь за меня? Чтоб, значит, не как-нибудь, а честно-благородно, по закону... Из крепости тебя выкуплю.

Она, знай, посмеивается:

— Кабы ты не рыжий был!

Костьке это нож вострый,— не глянулось, как его рыжим звали,— а на шутку поворачивает:

— Сама-то какая?

— То,— отвечает,— и боюсь за тебя выходить. Сама рыжая, ты — красный, ребятишки пойдут — вовсе опаленыши будут.

Когда еще примется Пантелея хвалить. Знала как-то его. На Крылатском будто встретила.

— Ежели бы вот Пантелей присватался, без слова бы пошла. На примете он у меня остался. Любой парень. Хоть один глазок, да хорошо глядит.

Это она нарочно — Костьку поддразнить, а он верит. Зубом скрипит на Пантелея-то, так бы и разорвал его, а она еще спрашивает:

— Ты что же брата не выкупишь? Вместе, поди, наживали, а теперь сам на воле, а его забил в самое худое место.

— Нету,— говорит,— у меня денег для него. Пусть сам зарабатывает!

— Эх ты,— говорит,— шалыган бесстыжий! Меньше тебя, что ли, Пантелей работал? Глаз-то он потерял в забое, поди?

Доведет так-то Костьку до того, что закричит он:

— Убью стерву!

Она хоть бы што. ...

— Не знаю,— говорит,— как тогда будет, только живая за рыжего не пойду. Рыжий да шатоватый — нет того хуже!

Отшибет так Костьку, а он того больше льнет. Все бы ей отдал, лишь бы рыжим не звала да поласковее поглядела. Ну, подарков она не брала... Даже самой малости. Кольнет еще, ровно иголкой ткнет:

— Ты бы это Пантелею на выкуп поберег.

Костька тогда и придумал на приiske гулянку наладить. Сам смекает:

«Как все-то перепьются, разбирайся тогда, кто что наработал. Заманю ее куда, поглядим, что на другой день запоеет...»

Люди, конечно, примечают:

— Что-то наш Рыжий распыхался. Видно, хорошо попадать стало. Надо в его сторону удариться.

Думают так-то, а испировать на даровщинку кто отопрется? Она — это девчонка — тоже ничего. Плясать против Костьки вышла. На пляску, сказывают, шибко ловкая была. Костьку тут и вовсе за нутро взяло.

Думки своей все ж таки Костька не оставил. Как понапились все, он и ухватил эту девчонку, а она уставилась глазами-то, у Костьки и руки опустились, ноги задрожали, страшно ему чего-то стало. Тогда она и говорит:

— Ты, рыжий-бесстыжий, будешь Пантелея выкупать?

Костьку как обварило этими словами. Разозлился он.

— И не подумаю, — кричит. — Лучше все до копейки пропью!

— Ну, — говорит, — твое дело. Было бы сказано. Пропивать пособим.

И пошла от него плясом. Чисто змея извивается, а глазами уперлась — не смигнет. С той поры и стал Костька такие гулянки чуть не каждую неделю заводить. А оно ведь не шибко доходно — полсотни человек допьяна поить. Приисковый народ на это жоркий*. Пустяком не отойдешь, а то еще насмех поднимут:

— Хлебнул-де из пустой посуды на Костькиной гулянке — неделю голова болела. Другой раз позовет, две бутылки с собой возьму. Не легче ли будет?

Костька, значит, и старался, чтоб вино и там протча в достатке было. Деньжонки, какие на руках были, скорехонько умыл, а выработка вовсе пустяк. Опять отощал песок, хоть бросай. Недоумок, с которым работал, и тот говорит:

— Что-то, хозяин, ровно вовсе не блестит на смывке-то.

Ну, а та девчонка, знай, подзуживает:

— Что, Рыжий, приуныл? Каблуки стоптал — на починку не хватает?

Костька давно видит — неладно у него выходит, а совладать с собой не может. «Погоди, — думает, — я тебе покажу, как у меня на починку не хватает».

Золотишко-то у них с Пантелеем порядком было. В земле, известно, хранили. В своем же огороде, во втором слою. Сковырнут лопатки две сверху, а там песок с глиной... Тут и бросали. Ну, место хорошо запримечено было, до вершков все вымерено. В случае, и горной страже прискаться нельзя. Ответ тут бывалый: «Самородное, дескать. Не знали, что эдак близко. Вон какую даль отшагивали, а оно вон где — в огороде!»

Кладовуха эта земляная, что говорить, самая верная, только вот брать-то из нее хлопотно, да и оглядываться приходится. Это у них тоже хорошо подогнано было. Кустики за банешкой посажены были, камни кучкой подобраны. Одним словом, загорожено.

Вот Костька выбрал ночку потемнее и пошел в свою кладовуху. Снял, где надо, верхний слой, нагреб бадью песку и в баню. Там у него вода заготовлена. Закрыв окошко, зажег фонарь, стал смывать, и ничем-ничего — ни единой крупинки. Что, думает, такое? Неуж ошибся? Пошел опять. Все перемерял. Нагреб другую бадью — даже виду не показало. Тут Костька и остерегаться забыл, — с фонарем выскочил. Оглядел еще раз с огнем. Все правильно. В самом том месте верхушка снята. Давай еще нагребать. Может, думает, высоко взял. Маленько показалось, только самый пустяк. Костька еще глубже взял — та же штука: чуть блеснит. Костька тут вовсе себя потерял. Давай дудку, как на приiske, бить. Только недолго ему вглубь-то податься пришлось, — камень-сплошняк оказался. Обрадовался Костька, через камень, небось, и Полозу золота не увести. Тут оно где-нибудь, близко. Потом вдруг хватился: «Ведь это Пантюшка украл!»

Только подумал, а девчонка та, приiskовая-то, и появилась. Потемки еще, а ее всю до капельки видно. Высоконькая да пряменькая, стоит у самого крайчика и на Костьку глазами уставилась:

— Что, Рыжий, потерял, видно? На брата приходишь? Он и возьмет, а тебе поглядеть осталось.

— Тебя кто звал, стерва пучешарая?

Схватил ту девчонку за ноги да что есть силы и дернул на себя, в яму. Девчонка от земли отстала, а все пряменько стоит. Потом еще вытянулась, потончала, медяницей стала, перегнулась Костьке через плечо, да и поползла по спине. Костька испугался, змеинный хвост из рук выпустил. Уперлась змея головой в камень, так искры и посыпались, светло стало, глаза слепит.

Прошла змея через камень, и по всему ее следу золото горит, где каплями, где целыми кусками. Много его. Как увидел Костька, так и брякнулся головой о камень. На другой день мать его в дудке нашла. Лоб ровно и не сильно разбил, а умер отчего-то Костька.

На похороны с Крылатовского Пантелей пришел. Отпустили его. Увидел в огороде дудку, сразу смекнул — с золотом что-то случилось. Беспокойно Пантелею стало. Надеялся, вишь, он через то золото на волю выйти. Хоть слышал про Костьку нехорошо, а все верил — выкупит брат. Пошел поглядеть. Нагнулся над дудкой, а снизу ему ровно посветил кто. Видит — на дне-то как окно круглое из толстого-претолстого стекла, и в этом стекле золотая дорожка вьется. Снизу на Пантелея какая-то девчонка смотрит. Сама рыженька, а глаза чернехоньки, да такие, слышь-ко, что и глядеть в них страшно. Только девчонка та ухмыляется,

пальцем в золоту дорожку тычет: «Дескать, вот твое золото, возьми себе. Не бойся!» Ласково вроде говорит, а слов не слышно. Тут и свет потух.

Пантелей испугался сперва: наваждение, думает. Потом на-смелился, спустился в яму. Стекла там никакого не оказалось, а белый камень — скварец. На казенном прииске Пантелею приходилось с камнем-то этим биться. Попривык к нему. Знал, как его берут. Вот и думает:

«Дай-ко попытаю. Может, и всамделе золото тут».

Притащил, что подходящее, и давай камень дробить в том самом месте, где золотую дорожку видел. И верно — в камне золото и не то что искорками, а большими каплями да гнездами сидит. Богатимая жилка оказалась. До вечера-то Пантелей чистым золотом фунтов пять либо шесть набил. Сходил потихоньку к Пименову, а потом и приказчику объявился.

— Так и так, желаю на волю откупиться.

Приказчик отвечает:

— Хорошее дело, только мне теперь недосуг. Приходи утречком. На прохладе об этом поговорим.

Приказчик по Костькиному-то житью, понятно, догадался, что деньги у него были немалые. Вот и придумывал, как бы Пантелея покрепче давнуть, чтоб побольше выжать. Только тут, на Пантелеево счастье, рассылка из конторы прибежал и рассказывает:

— Нарочный приехал. Завтра барин из Сысерти будет. Велел все мостки на Полдневную хорошенько уладить.

Приказчик, видно, испугался, как бы все у него из рук не уплыло, и говорит Пантелею:

— Давай пять сотенных, а по бумаге четыре запишу.

Сорвал-таки сотнягу. Ну, Пантелей рядиться не стал.

«Рви, — думает, — собака, когда-нибудь подавишься».

Вышел Пантелей на волю. Поковырялся еще сколько-то в ямке на огороде. После и вовсе золотишком заниматься перестал.

«Без него, — думает, — спокойнее проживу».

Так и вышло. Хозяйство себе завел, не сильно большое, а биться можно. Раз только с ним случай вышел. Это еще когда он женился. Ну, он кривенькой был. Невесту без затей выбрал, смиренную девушку из бедного житья. Свадьбу попросту справили. На другой день после венца-то молодая поглядела на свое обручальное кольцо и думает:

«Как его носить-то? Вон оно какое толстое да красивое. Дорогое, поди. Еще потеряешь».

Потом и говорит мужу:

— Ты что же, Пантюша, зря тратишься? Сколько кольцо стоит?

Пантелей и отвечает:

— Какая трата, коли обряд того требует. Полтора рубля за колечко платил.

— Ни в жизнь, — говорит жена, — этому не поверю.

Пантелей поглядел и видит — не то ведь кольцо-то. Поглядел на свою руку — и там вовсе другое кольцо, да еще в серединке-то два черных камешка, как глаза горят.

Пантелей, конечно, по этим камешкам сразу припомнил девчонку, которая ему золотую дорожку в камне показала, только жена об этом не сказал.

«Зачем, дескать, ее зря тревожить».

Молодая все-таки не стала то кольцо носить, купила себе простенькое. А мужику куда с кольцом? Только и поносил Пантелей, пока свадебные дни не прошли.

После Костькиной смерти на прииске хватились:

— Где у нас плясунья-то?

А ее и нет. Спрашивать один другого стали — откуда хоть она? Кто говорил — с Кунгурки пристала, кто — с Мраморских разрезов пришла. Ну, разное... Известно, приисковый народ, набеглый... Досуг ему разбирать, кто ты да каких родов. Так и бросили об этом разговор.

А золотишко еще долго на Рябиновке держалось.

ЖАБРЕЕВ ХОДОК

В Косом-то Броду, на котором месте школа стоит, пустырь был. Пустополье маленькое, у всех на виду, а не зарились. Нагорье, видишь. Огород тут разводить хлопотно, — поту много, а толку мало. Ну, люди и обегали. Всяк выбирал себе полегче да посподручнее.

А раньше-то, сказывают, тут жилье было. Так стрень-брень избушечка, на два оконца, передом напрочапилась, ровно собралась вперевертышки под гору скакать. Огородишко тоже, банешка. Одним словом, обзаведенье. Не от силы завидное, а на примете у людей было. По всей округе эту избушку знали.

Жил тут старатель один, Никита Жабрей прозывался. Мужик в годах. Как говорится, детинка с сединой. Молодым впору такого дедком звать, а еще в полной силе. На работе редкий против него выдюжит. Из себя был старик видный, только такой молчун, будто вовсе говорить не умеет, и характером — не задень. Никого близко к себе не подпускал. Недаром, видно, его Жабреем звали.

Этот Жабрей в одиночку больше старался, места новые искал и, случалось, находил. Придет тогда в деревню и сам скажет:

— Вот, мужики, там-то попадать золотишко стало.

И, верно, стараться можно. Когда и вовсе ладно. Только за Жабреем еще одну тайность знали. Не один раз он при больших деньгах бывал. Никто, понятно, не видал, откуда те деньги Ни-

ките приходили, а по народу разговор шел, что он тайным купцам по золотому делу самородки сдавал. И будто все самородки на одну стать: как лапоточки, ростом махонькие, а веские. И то еще диво — как по ступенькам на прибыль шли: сперва были по фунтику, потом больше да больше, а стать одна — лапоток!

Тайные купцы, да и старатели тоже сильно охотились подглядеть, в каком месте Жабрей такие лапоточки добывает, да толку не выходило. Никита, видишь, знал, что за ним досматривают, и свою сноровку имел. Водит-водит за собой этих доглядчиков, а как темно станет — он в лес. Найди-ко, в какое место за ночь он по лесу уберется.

К Жабреевой жене подсыл делали, а тоже зря. Жабрейха, видишь, как раз мужу под стать. Старуха, прямо сказать, колючая, без рукавиц к ней не подходи, и на разговор крутая. Кто без заделя* придет, так она дальше порогу и в избу не пустит. Не успеет человек усы расправить да вымолвить:

— Здравствуй, бабушка!

А она его торопит:

— Еще что скажешь? По какому делу пришел?

Тот, понятно, курлыкает:

— Как, мол, живете-можете со старичком-то? Все ли по-хорошему?

— А так, — отвечает, — живем: в люди не ходим, к себе не зовем, а незваного по рылу помелом.

Поговори вот с такой!

Какие бабеночки с заделем подбегали, будто займы перехватить того-другого по хозяйству, с теми по-разному обходилась. Иной сразу отрежет:

— Не припасла про тебя, и напредки ко мне не ходи!

Другой без отказа дает, что попросит. Мучки там, маслица, картошки, либо еще чего и про отдачу никогда не спросит, а лишнего слова все равно не скажет. Только гостыюшка пристроится посудачить, Жабрейха таз да вехотку в руки и говорит:

— Беги-ко, Степаня, домой! Ребята ведь у тебя. Дела-то побольше моего. Я вон и то мыть собралась, а ты сидишь, будто от простой поры!

Так и жили Жабрей с Жабрейхой от людей на отшибе.

Случалось, конечно, Жабрею и в артелках стараться. Это когда он новое место укажет. С почтеньем его принимали. Работник без укору, не то что за двоих, за троих ворочает и по золоту знающий — кто такому откажет. Только не подолгу он на людях жил. Чуть что выйдет — сейчас в сторону. На артели, известно, мало ли бывает. Перекоры по работе пойдут, мошенство какое откроется, поучить, может, кого требуется, а Жабрею это неперенос. Послушает, как народ загамит, да и выронит свое словечушко:

— Загудело, комарино болото! Слушай, кому охота, а мне не с руки!

Скажет так-то, плюнет, подхватит кайлу да лопатку, ковш да мешок за спину — и пошел. Коли получка есть, — и то не покажется.

Раз так-то ушел — и надолго. В живых его считать перестали, а он и объявился. По самой-то троицкой воде, как все ручейки на полную силу играют, выплыл.

Год тогда, сказывают, худой издался. С золотишком заминка вышла. Ну, старателям и вовсе невесело было. Большой праздник, а им и погулять не на что. Толкуют об этом, жалуются, смекают, к кому бы припаиться на стаканчик, да тут и увидели — по полевской дороге идет Жабрей, и все на нем новешенькое. Примета ясная — при деньгах он, и сейчас на всю деревню гулянка будет.

Так и вышло. Первым делом зашел Никита в кабак, сыпнул на стойку рублей и говорит целовальничихе:

— Цеди, Ульяна, всем допьяна! Пускай ни один комар не гудит, что Никита Жабрей свою долю в кошельке зажал, людям не показал. Гляди — вот она!

А сам сыплет да сыплет рубли.

Народ знал, что Никита начистоту гуляет, до последнего рубля и без покору, — живо со всей деревни сбежались. Иные, конечно, с простоты: почему-де не выпить, коли наливают, а больше того с хитрости: про себя думают, не распояшется ли Жабрей, не проговорится ли о местечке, где золотые лапоточки плетут. Только Жабрей свою меру знал. Выпьет, сколько ему надо, сыпнет еще на стойку и накажет целовальничихе:

— Гляди, Ульяна, наливай безотказно. Мужикам простого, девкам, бабам — красненького. Кто сколько поднять может. Коли перепьют — доплачу, не допьют — твой барыш. С утра по другому расчету пойдет.

Целовальничиха рада-радехонька, на четыре стороны развертывается: одной рукой наливает, другой — рубли загребает, Жабрею кланяется: дескать, все сделано будет, а сама мужу шепчет:

— Гони-ко, Иван, на винокурню, вези хоть две бочки, а то не хватит.

Из кабака Жабрей по своему обычаю в лавку, а там его давно ждут. Торгаш тоже дошлый был. Деревнешка хоть маленькая, а на случай старательского фарту всегда в лавке дорогой товар был, из того числа, что деревенскому человеку вовсе ни к чему.

Никита из этого товару обнов наберет своей старухе. Ну, шаль кововую, как полагается, башмаки с пряжкой, шелку цельный кусок, еще что поглянется. Себе тоже обнов накупит и говорит торгашу:

— Снеси моей старухе. Никита, мол, Евсеич кланялся и велел сказать: жив-здоров, скоро домой придет. Пущай капустных

пельмешков настряпает да кваску наготовит. Не меньше двух жбанов.

Торгаш убежит, а Никита в лавке сидит, дожидается. Потом спрашивает:

— Ну, что?

— Да ничего, — отвечает, — отдал.

— Что старуха говорит?

— Взяла, — отвечает, — обновы, в угол бросила, а ничего не сказала.

Никита не верит:

— Не может этого быть, чтоб мужнино подаренье без слова приняла.

Торгаш тогда и говорит:

— Три только слова и было.

— Какие, — спрашивает, — слова?

— А как приняла обновы, вздохнула и молвила: «Ох, старый дурак!»

Никита смеется:

— Верно говоришь! Старухин обычай. Все, значит, в добром здоровье. Торопиться некуда. Давай ребят потешим маленько. Тащи решетку!

Торгаш уж знает дело. Притаскивает рудничную решетку и спрашивает:

— Сколько велишь навешать и каких?

— Сыпь на глазок, с верхом! Всякого сорту, только в бумажках, гляди, а голых не надо!

Торгаш, конечно, без мошенства не может. Какие конфетки подешевле, тех сыплет больше, а которые подороже — тех самую малость, а считает наоборот. Ну, Никита к тому не вяжется. Отдает деньги и выходит с решеткой на крылечко, а ребята со всей деревни сбежались. Только у крылечка не стоят, а поблизости игры завели: кто — в бабки, кто — шариком, девчонки — опять в свои игры. Они, видишь, знали Жабрееву повадку: коли увидит, что его ждут, назад решетку унесет. Ребята и прихитрятся, будто ничем-ничего не знают, а просто играть сбежались.

Никита видит — не ждут его, и давай горстями во все стороны конфетки швырять. Ребята, конечно, конфетку не часто видали, кинутся подхватывать — свалка тут пойдет. Коли по нечаянности кого сшибут, либо лбами стукнутся — Жабрей ничего, — смешно ему, а коли расстервелятся и до драчишки дело дойдет, — тут зубами скрипнет, бросит решетку и вымолвит:

— От комаров, видно, комарята и родятся!

Потемнеет весь — и домой. Заберется на свою горушку, пристроится на завалинке и заведет голосянку. И тут к нему не подходи: всякого сшибет. Одной старухе свободно.

В деревне по случаю Жабреевой гулянки шум да гам, песни

поют, пляски заведут, а Жабрей сидит на горушечке да тянет одно:

— Комары вы, комары, комарино царство.

Ночью уж старуха уведет его в избу, а проспится — с утра все по порядку. Сперва в кабак, потом обновы старухе покупать и ребятам конфетки разбрасывать. У старухи, бывало дело, полный угол обнов накопится. Потом, как денег не станет, тому же торгашу за десятую копейку сдавала. За которое плачено полсотни — за то пятерку, за которое десятка сорвана — за то рубль.

Когда у ребят дележка без драки пройдет, в тот день Жабрей до вечера по деревне гуляет. С другими старателями песни поет, пляшет тоже, а домой все-таки один идет, никого ему не надо. Если кто и вовсе подладится к Жабрею, все равно откажет:

— Друг ты мне, а на горушку ко мне не ходи! Не люблю.

Так и шла гулянка, пока все деньги не выйдут. Только на этот раз с первого дня другой поворот вышел.

Вынес Никита решетку с конфетками, стал разбрасывать. А в ребятах случился парнишко один, Дениско Сирота его звали. Годами еще молоденький, а долговязый. Другие парнишки, его-то ровня, дразнили:

Дениско, переломись-ко, вровень пойдем!

По сиротству этот парнишко давно в песковозах ходил и по росту за большого считался. Ну, все-таки молодой умок — ему любопытно поглядеть на Жабрееву гулянку. Дениско и подобрался поближе к лавочному крылечку и тоже будто с ребятами играет. Как все кинулись на подхват конфетки ловить, Дениско стоит и смотрит. Никита увидел, кричит ему:

— Ты, долган, что не ловишь?

И бросает ему целую горсть. Другие ребята налетели, а Дениско отодвинулся маленько, чтоб его с ног не сшибли. Никита тогда и спрашивает:

— У тебя, Дениско, что? Спина болит?

— Нет, — отвечает, — спина не болит, а не к чему мне это. Я, поди-ко, большой.

— А коли большой, — говорит Никита, — ступай в кабак Выпей за мое здоровье хоть красного!

— Мне, — отвечает, — мамонька перед смертью наказывала. «До полной бороды в рот капли вина не бери, а дальше, как знаешь».

Никита удивился:

— Вон ты какой! На, нето! — и бросает ему сколько-то серебряных рублевиков. Только Дениско их не поднимает да еще говорит:

— Милостинку теперь не собираю. Вырос — свой хлеб ем.

Никита, конечно, разгорячился. Заревел на других ребят-шек:

— Отойди в сторонку! Сейчас погляжу, какая у этого гордыбаки сила!

Выхватил из-за пазухи пачку крупных денег и хватать ими перед Дениском. А тот, видно, тоже парнишко с норовом, говорит:

— Сказал — милостинку не собираю, а с собачьего бросу и подавно.

Никита от таких слов себя потерял: стоит — уставился на Дениска. Потом полез рукой за голенище, выволок тряпицу, вывернул самородку, — фунтов, сказывают, на пять, — и хлоп эту самородку под ноги Дениску, а сам кричит:

— Не хвастай через силу! Это ты у меня подымешь!

Ну, Дениско, — то ли он такой упорный пришелся, то ли цены настоящей самородку не понимал, — не поднял. Поглядел только да сказал:

— Такой бы лапоток самому добыть лестно, а чужого мне не надо.

Повернулся и пошел. Никита опамятовался, подбежал, подобрал деньги и самородку и кричит Дениску:

— Тебе хоть что надо?

— Ничего, — отвечает, — не надо. Поглядеть приходил, как ты перед народом удачей хвастаешь.

Никите обидно, что парнишко его укорил, а смолчал. Маленько погода кричит вдогонку:

— Дениско, воротись-ко!

А ребята подхватили:

— Дениско, переломись-ко! Дениско, переломись-ко!

Дениско ничего, подошел спокойно. Тогда Никита и говорит ему потихоньку, чтобы другие не слышали:

— Ты, парень, прибеги-ко ко мне утречком, как вовсе трезвый буду. Может, я тебе скажу про мурашину тропку, а дальше сам за себя отвечай. Коли пустят тебя каменны губы, так салку нехитро на горячую, либо на мокрую отворотить. Тогда и лапотков добудешь.

— Ладно, — отвечает, — дядя Никита. Спасибо скажу, коли дорогу укажешь.

— Это, — говорит Никита, — не за спасибо, а за то, что жадности в тебе не видно. Давно такого присматриваю.

Поговорили так и разошлись, а больше им свидеться не довелось.

Жабрей после этого случаю сразу к себе на горушку уплелся. Потихоньку шел, вроде крепко задумался и про комаров в этот день голосянку не тянул. Видели люди, — он со старухой на завалянке сидел. Долго сидели, как молодожены какие, и о чем-то судили да дружно так. Деревенские прямо диву дались.

— Глядите-ко, Жабрей с Жабрейхой наговориться не могут. Не иначе, перед смертью.

Шутили, конечно, а так оно и вышло. Наутро прибежал Де-

ниско к Жабрею и видит — все двери целехоньки, а в сенках и в избе все в полном разбросе: кое опрокинуто, кое перевернуто, кое в щепы разбито. Посередке избы тяжеленный лом-черемуха, а людей никого нет.

Дениско забеспокоился, побежал в деревню, рассказал, так и так, неладно у Жабреев. Народ, хоть с похмелья, сразу побежал на горушку. Стали разглядывать, как да что. По начальству дали знать. Ну, разобрать толком не могли. Одно видно — воевали тут крепко, впотемках почем зря хлестали и в голбце* рылись, а одежду не пошевелили и обновы, как бросила их старуха в угол, тут и лежат. Крови не оказалось, и следов на земле около избы не видно. Место, видишь, плотик да камень, следов оно не держит. И то сказать, вся деревня сбежалась, что и было — все затоптали.

Начальство, понятно, караул к пустому месту поставило и давай народ доспрашивать, кто что сказать мог.

На то выходило, что из деревенских завинить некого: кто в ту ночь вовсе без гач пьяный лежал, кто у других на глазах был. И на то намекали, что хитники из Кунгурки приходили, потому — тамошнего тайного купца подручников в деревне видели. Многие на того купца доказывали, как он не раз людей подговаривал за Никитой подглядывать. Только разве такого завинят, коли все начальство им задарено?! На то повернули, что Дениско Сирота первый тому был подводчик. Ему, дескать, Никита деньги и самородку показывал, и не зря этот парнишко утром тут оказался.

Подлость, конечно, а взяли парнишка в острог, да и мытарили там сколько-то годов. Купца, значит, тем выгородили и будто свое дело сделали — виноватого нашли. Привычно им так-то вертеться было.

В деревне про Дениска скорехонько забыли. Приисковый народ, известно, не больно на людей памятлив. Мало ли с кем случается сбегаться. Своих у Дениска не было, — кто о нем печалиться станет. А он сидит в остроге да думает — вот найдут Жабреев, и все по правде откроется.

Ну, все-таки Дениска выпустили. Вовсе большим он в деревню пришел. Первым делом ему охота узнать, что про Никиту с женой слышно и кто в их избушке живет. Спросил, а никто не знает, и на горушке званья от жилья не осталось. Известно, бесхозный дом недолго стоит, живо его разнесут, а тут еще припомнили, что хитники в голбце чего-то искали. Ну, и давай тоже рыться. Все перерыли, и на месте Жабреева обзаведенья стал пустырь с ямами.

Дениску это обидно показалось. Вот, дескать, знающий по золоту человек был. Богатства не нажил, все людям раструсил. Места новые показывал. И старуха худого людям не делала, а только и осталось, что пустопорожнее место с ямами.

Пошел на горушку, сидит там да раздумывает. И то ему на память пришло, что Никита говорил, когда к себе звал.

«Про какую это мурашину тропку он сказывал? И что это за каменны губы?»

Думал-думал, на том решил:

«Мурашиных тропок мало ли. Кто их разберет, которую надо, а каменны губы поискать можно. Не набегу ли ненароком?»

Надумал так, да тут и углядел — у самой мурашиной тропки сидит. Тропка как тропка. Мурашки по ней ползут, только все в одну сторону, а встречных не видно. Дениску это любопытно показалось. «Дай,— думает,— погляжу, в каком месте у них хозяйство». Пошел около этой тропки, а она куда-то вовсе далеко ведет. И то диво — мурашки будто больше стают, и как где место пооткрытее, там видно, что на лапках у них вроде искорок. Что за штука? Взял одного, другого, посмотрел. Нет, ничего не видно. Глаз не берет. Пошел дальше и опять примечает: растут мураши на ходу. Опять возьмет которого в руку и давай разглядывать. Видно стало, что на каждой лапке как капелька маленькая прильнула. Дениску это вовсе удивительно, он и шагает вдоль тропки. Так и вышел на полянку, а там из земли два камня высунулись, ровно ковриги исподками сложены: одна снизу, другая сверху. Ни дать, ни взять — губы.

Мурашиная тропка как раз к этим губам и ведет, а мураши как на полянку выйдут, так на глазах и пухнут. Их боязно и в руку взять: такие они большие стали. А на лапках явственно разглядеть можно, как лапотки надеты. Подойдут к каменным губам — и туда. Ходок, видно, есть.

Денис подошел поближе поглядеть, и каменны губы широко раскрылись, дескать, ам! Денис испугался, понятно, отскочил, а губы не закрываются, будто ждут, и мураши идут своей прямой дорогой прямо в эти губы, ровно ничего не случилось. Денис осмелел маленько, подошел поближе, заглянул, что там, и видит — место туда скатом крутым идет, вроде катушки, только самой вязкой глины. Прямо сказать, плавун, чистая салка. По этому плавуну мураши и то еле пробираются. Нет-нет, и лапотки свои оставляют, только не одинаково. У иных салка сразу их снимет, и дальше тот мураш легонько идет. Другой ниже спускается и прямо на виду в росте прибывает. Вошел, скажем, в каменны губы ростом с большого жука, а шагнул дальше — вырос с ягненка, еще ниже подался — стал с барана, с теленка, с быка. Дальше и вовсе гора-горой ползет, и лапти у него, может, по пуду, а то больше. Пока лапти в салке не оставит, потихоньку идет, а как снимет все до одного, так и пойдет скользить не хуже плавунца, и в росте больше не прибывает.

Денис понял тогда, из какого места золотые лапотки приходили, только то ему невдомек, как Никита этой страсти — больших-то мурашей — не боялся. Подумал так, а мураши и стали

один по одному уходить, и новых к каменным губам больше не подходит.

«Вон, — думает, — что! Перемежка, видно, тоже бывает, а вот надолго ли?»

Про лапотки он так понял, что их можно прямо рукой из салки добыть. Дениса и потянуло попытать свою долю, — хоть сверху маленько порыться. Только и то смекает, как по такому крутику без каелки обратно выбраться. Он и стал искать, нет ли поблизости коряжинки, либо жердинки суковатой, да и углядел в кусте бадейку. Небольшая бадейка, а ширококонькая. Тут дровца наготовлены, около них каелка да две лопатки: одна железная, другая деревянная.

Денис по приискам с малых лет мытарился, понял — к чему это. Забрал лопатки, кайлу, бадейку, дровец тоже охапочку на поясе прихватил, подошел к каменным губам, а они и закрылись. Как два камня один на другом лежат, и никакого ходу тут не было.

Запечалился Денис, а что сделаешь? Кайлой такие камни не разворотить. Хотел он обратно в кусты все составить, да губы опять и открылись. Широко так и будто пошевеливаются — ам! ам! Ну, Денис не струсил, раздумывать не стал — сразу вниз полез. В салке, конечно, лапотков золотых не оказалось, они ниже, в песках загрузли, только добраться до них, кто умеет, недолго. Салку, известно, у нас на горячую железную лопату берут, а того лучше, на мокрую деревянную — так блином и поддевай. Денис живо привесился, очистил место и давай из песка золотые лапотки выковыривать. Много нарыл больших и маленьких. Только глядит — темней да темней стает, губы закрываются. Денис и смекает:

— Видно, я пожадничал, куда мне столько? Возьму две штуки. Одну Никите на помин, другую себе — и хватит.

Надумался так — губы и раскрылись — выходи, дескать. С каелкой по какому хочешь скату вылезти просто.

Прихватится, подтянется — и дальше. Вылез Денис и всю орудию на старое место поставил. Один лапоток, который поменьше, в сапог запрятал, а другой, точь-в-точь такой, как у Никиты видел, за пазуху сунул и сразу в Кунгурку пошел.

Нашел там тайного купца, про которого разговор был, подкараулил в тихом месте и спрашивает:

— Хочешь к паре купить?

Достал из-за пазухи лапоток, да показывает из своей руки. Купец, понятно, обрадовался:

— Почем золотник?

Денис и говорит:

— Даром отдам, коли укажешь, куда Никиту со старухой запрятал.

Купца, видно, жадность одолела, не поостерегся и говорит:

— У Мраморского разреза, в старый ширф сбросили.

— Показывай! — говорит Денис.

Пошли. Указал купец:

— Это место!

— Получай тогда! — Денис развернулся и хлоп купца самородкой по лбу.

Самородка-то — она фунтов на пять была. Понимай, что выйдет, коли такой штукой по лбу свистнуть да еще с полной охотой.

Вскорости этого купца нашли, и золотой лапоток рядом положен — дескать, этой печатью приложено.

Потом из-за этой золотой печатки чуть всех судей не засудили. Каждый, видишь, хотел ее себе прикарманить, а другие не давали, жаловались по начальству — такой-то, дескать, вор, грабитель, его по всей строгости судить надо. До той поры это дело тянули, пока до главного судьи не дошли. Тот, понятно, сразу решил:

— Надо, — говорит, — мне эту печатку домой свозить, кислотой опробовать, — точно ли золотая?

Увез золотой лапоток и сразу его в потайной сундук, а сам взял от старого подсвечника обломок, почистил его маленько, привез обратно и говорит:

— И рядом с золотом эта штука не лежала.

Все, конечно, видят, — на глазах мошенство сделано, да жаловаться на главного судью не посмели. А он радуется, про себя похваляется:

— Ловко я их обставил! Недаром, видно, меня главным судьей поставили.

Приехал домой и первым делом полез в потайной сундучок, а его, видно, проел червячок: ничего нет. Хвать-похвать — найти не может. Был золотой лапоток, а стала сквозная дырка. В горсть ее не возьмешь.

И Дениса тоже, сколько ни искали, найти не могли. Он, видно, в Сибирь либо куда в другое место подался.

О каменных губах маленько разговаривали, в котором то есть месте искать их. На то намекали, что близко Денисовского рудника, только настояще не знаю.

Чего не знаю, того не знаю, выдумывать не согласен. Привычки к этому нет.

ОГНЕВУШКА - ПОСКАКУШКА

Сидели раз старатели круг огонька в лесу. Четверо больших, а пятый парнишечко. Лет так восьми, не больше, Федюнькой его звали.

Давно всем спать пора, да разговор занятный пришелся. В артелке, видишь, один старик был. Дедко Ефим. С молодых годов он из земли золотую крупку выбирал. Мало ли каких случаев у него бывало. Он и рассказывал, а старатели слушали.

Отец уж сколько раз говорил Федюньке:

— Ложился бы ты, Тюньша, спать!

Парнишечку охота послушать.

— погоди, тятенька! Я маленечко еще посижу.

Ну, вот... Кончил дедко Ефим рассказ. На месте костерка одни угольки остались, а старатели все сидят да на эти угольки глядят.

Вдруг из самой серединки вынырнула девчоночка махонька. Вроде кукленки, а живая. Волосенки рыженькие, сарафанчик голубенький и в руке платочек, тоже сголуба*.

Поглядела девчонка веселыми глазками, блеснула зубенками, подбоченилась, платочком махнула и пошла плясать. И так у ней легко да ловко выходит, что и сказать нельзя. У старателей дух захватило. Глядят — не наглядятся, а сами молчат, будто задумались.

Девчонка сперва по уголькам круги делала, потом, — видно, ей тесно стало, — пошире пошла. Старатели отодвигаются, дорогу дают, а девчонка как круг пройдет, так и подрастет маленько. Старатели дальше отодвинутся. Она еще круг даст и опять подрастет. Когда вовсе далеко отодвинулись, девчонка по промежуткам в охват людей пошла, — с петлями у ней круги стали. Потом и вовсе за людей вышла и опять ровненько закружилась, а сама уже ростом с Федюньку. У большой сосны остановилась, топнула ножкой, зубенками блеснула, платочком махнула, как свистнула:

— Фи-т-ть! й-ю-ю-у...

Тут филин заухал, захохотал, и никакой девчонки не стало.

Кабы одни большие сидели, так, может, ничего бы дальше и не случилось. Каждый, видишь, подумал:

«Вот до чего на огонь загляделся! В глазах зарябило... Неведомо что померещится с устатку-то!»

Один Федюнька этого не подумал и спрашивает у отца:

— Тятя, это кто?

Отец отвечает:

— Филин. Кому больше-то? Неуж не слыхал, как он ухает?

— Да не про филина я! Его-то, поди-ка, знаю и ни капельки не боюсь. Ты мне про девчонку скажи.

— Про какую девчонку?

— А вот которая на углях плясала. Еще ты и все отодвигались, как она широким кругом пошла.

Тут отец и другие старатели давай допрашивать Федюньку, что он видел. Парнишечко рассказал. Один старатель еще спросил:

— Ну-ко, скажи, какого она росту была?

— Сперва-то не больше моей ладошки, а под конец чуть не с меня стала.

Старатель тогда и говорит:

— А ведь я, Тюньша, точь-в-точь такое же диво видел.

Федюнькин отец и еще один старатель это же сказали. Один дед Ефим трубочку сосет и помалкивает. Старатели приступить к нему стали:

— Ты, дедко Ефим, что скажешь?

— А то и скажу, что это же видел, да думал — померещилось мне, а выходит — и впрямь Огневушка-Поскакушка приходила.

— Какая Поскакушка?

Дедко Ефим тогда и объяснил:

— Слышал, дескать, от стариков, что есть такой знак на золоте — вроде маленькой девчонки, которая пляшет. Где такая Поскакушка покажется, там и золото. Не сильное золото, зато грудное, и не пластом лежит, а вроде редьки посажено. Сверху, значит, пошире круг, а дальше все меньше да меньше и на нет сойдет. Выроешь эту редьку золотого песку — и больше на том месте делать нечего. Только вот забыл, в котором месте ту редьку искать: то ли где Поскакушка вынырнет, то ли где она в землю уйдет.

Старатели и говорят:

— Это дело в наших руках. Завтра пробьем дудку сперва на месте костерка, а потом под сосной испробуем. Тогда и увидим, пустяшный твой разговор или всамделе что на пользу есть.

С этим и спать легли. Федюнька тоже калачиком свернулся, а сам думает:

«Над чем это филин хохотал?»

Хотел у дедка Ефима спросить, да он уже похрапывать принялся.

Проснулся Федюнька на другой день поздненько и видит — на вчерашнем огневище большая дудка вырыта, а старатели стоят у четырех больших сосен и все говорят одно:

— На этом самом месте в землю ушла.

Федюнька закричал:

— Что вы! Что вы, дяденьки! Забыли, видно! Вовсе Поскакушка под этой вот сосной остановилась... Тут и ножкой притопнула.

На старателей тут сомнение пришло.

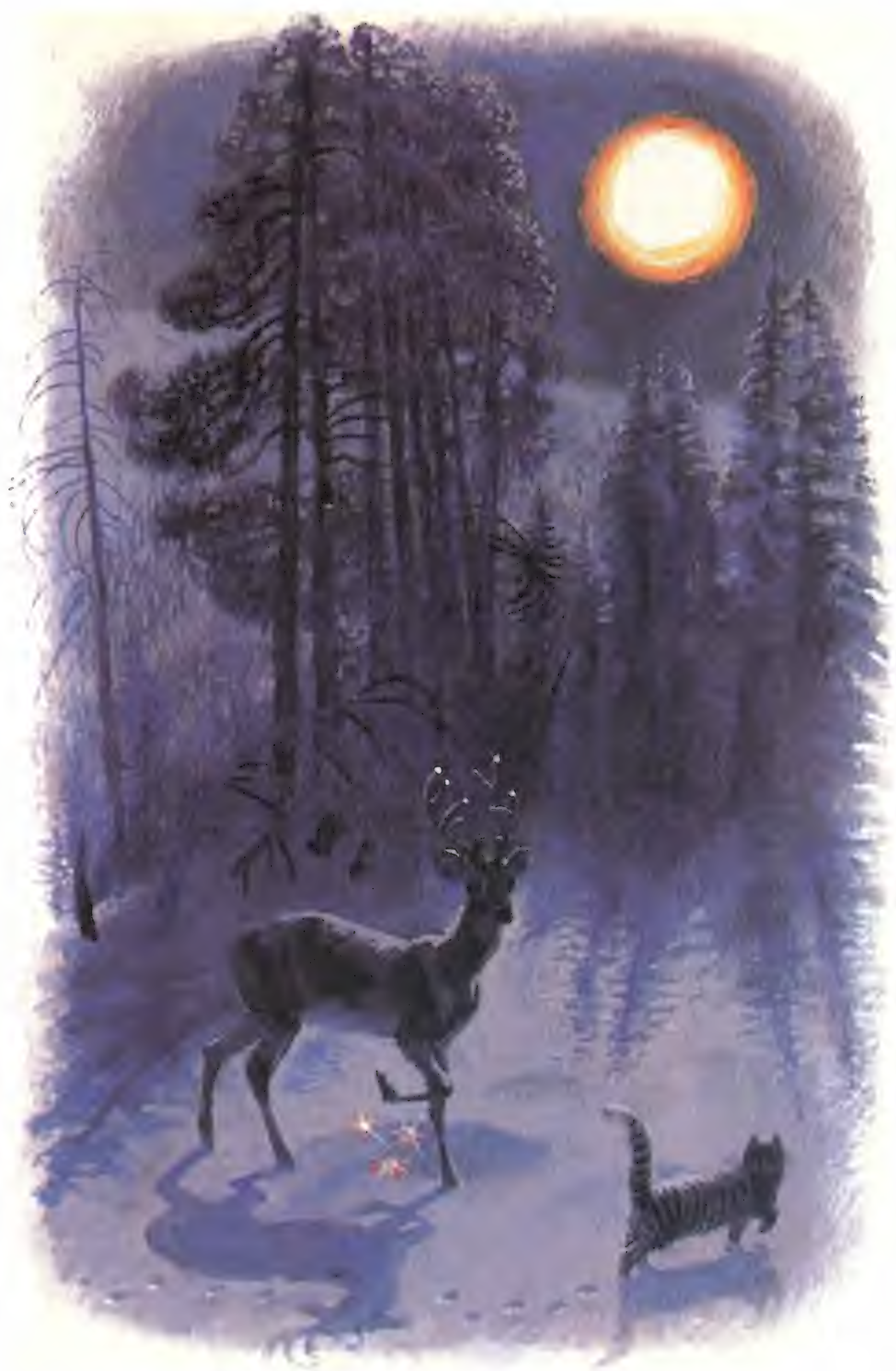
Пятый пробудился — пятое место говорит. Был бы десятый — десятое бы указал. Пустое, видать, дело. Бросить надо.

Все ж таки на всех местах испытали, а удачи не вышло. Дедко Ефим и говорит Федюньке:

— Обманное, видно, твое счастье.

Федюньке это нелюбо показалось. Он и говорит:

— Это, дедо, филин помешал. Он наше счастье обухал да обхохотал.



Дед Ефим свое говорит:

— Филин тут — не причина.

— А вот и причина!

— Нет, не причина!

— А вот и причина!

Спорят так-то вовсе без толку, а другие старатели над ними да и над собой смеются:

— Старый да малый оба не знают, а мы, дураки, их слушаем да дни теряем.

С той вот поры старика и прозвали Ефим Золотая Редька, а Федюньку — Тюнькой Поскакушкой.

Ребятишки заводские узнали, проходу не дают. Как увидят на улице, так и заведут:

— Тюнька Поскакушка! Тюнька Поскакушка! Про девчонку скажи! Скажи про девчонку!

Старику от прозвища какая беда? Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Ну, а Федюньке по малолетству обидно показалось. Он и дрался, и ругался, и ревел не раз, а ребятишки пуще того дразнят. Хоть домой с прииска не ходи. Тут еще перемена жизни у Федюньки вышла. Отец-то у него на второй женился. Мачеха попалась, прямо сказать, медведица. Федюньку и вовсе от дома отшибло.

Дедко Ефим тоже не часто домой с прииска бегал. Намается за неделю, ему и неохота идти, старые ноги колотить. Да и не к кому было. Один жил.

Вот у них и повелось. Как суббота, старатели домой, а дедко Ефим с Федюнькой на прииске останутся.

Что делать-то? Разговаривают о том, о другом. Дедко Ефим рассказывал побывальщины разные, учил Федюньку, по каким логам золото искать и протча тако. Случалось, и про Поскакушку вспомнят. И все у них гладко да дружно. В одном сговориться не могут. Федюнька говорит, что филин всей неудаче причина, а дедко Ефим говорит — вовсе не причина.

Раз так-то заспорили. Дело еще на свету было, при солнышке. У балагана все-таки огонек был — от комаров курево. Огонь чуть видно, а дыму много. Глядят — в дыму-то появилась махонькая девчонка. Точь-в-точь такая же, как тот раз, только сарафанчик потемнее и платок тоже. Поглядела веселыми глазками, зубенками блеснула, платочком махнула, ножкой притопнула и давай плясать.

Сперва круги маленькие давала, потом больше да больше, и сама подрастать стала. Балаган на пути пришелся, только это ей не помеха. Идет, будто балагана и нет. Кружилась-кружилась, а как ростом с Федюньку стала, так и остановилась у большой сосны. Усмехнулась, ножкой притопнула, платочком махнула, как свистнула:

— Фи-т-ть! й-ю-ю-у...

И сейчас же филин заухал, захохотал. Дедко Ефим подивился:

— Откуда филину быть, коли солнышко еще не закатилось?

— Видишь вот! Опять филин наше счастье спугнул. Поскакушка-то, может, от этого филина и убежала.

— А ты разве видел Поскакушку?

— А ты разве не видел?

Начали они тут друг дружку расспрашивать, кто что видел. Все сошлось, только место, где девчонка в землю ушла, у разных сосен указывают.

Как до этого договорились, так дедко Ефим и вздохнул:

— О-хо-хо! Видно, нет ничего. Одна это наша думка.

Только сказал, а из-под дерна по балагану дым повалил. Кинулись, а там жердник под деревом затлел. По счастью, вода близко была. Живо залили. Все в сохранности осталось. Одне дедовы рукавицы обгорели. Схватил Федюнька рукавицы и видит — дырки на них, как следочки от маленьких ног. Показал это чудо дедке Ефиму и спрашивает:

— Это, по-твоему, тоже думка?

Ну, Ефиму податься некуда, сознался:

— Правда твоя, Тюньша. Знак верный — Поскакушка была. Придется, видно, завтра опять ямы бить — счастье пытать.

В воскресенье и занялись этим с утра. Три ямы вырыли — ничего не нашли. Дедко Ефим жаловаться стал:

— Наше-то счастье — людям смех.

Федюнька опять вину на филина кладет:

— Это он, пучеглазик, наше счастье обухал да обхохотал. Вот бы его палкой!

В понедельник старатели прибежали из заводу. Видят — свежие ямы у самого балагана. Сразу догадались, в чем дело. Смеются над стариком-то:

— Редька редьку искал...

Потом увидели, что в балагане пожар начинался, давай их ругать обоих. Федюнькин отец зверем на парнишку накинулся, чуть не поколотил, да дедко Ефим застоял:

— Постыдился бы мальчонку строжить! Без того он у тебя боится домой ходить. Задразнили да загрызли парнишка. Да и какая его вина? Я, поди-ко, оставался — с меня и спрашивай, коли у тебя урон какой случился. Золу, видно, из трубки выпал с огоньком — вот и загорелось. Моя оплошка — мой и ответ.

Отчитал так-то Федюнькиного отца, потом и говорит парнишку, как никого из больших близко не было.

— Эх, Тюньша, Тюньша! Смеется над нами Поскакушка. Другой раз случится увидеть, так ей в глаза надо плюнуть. Пускай людей с пути не сбивает да на смех не ставит!

Федюнька свое заладил:

— Дедо, она не со зла. Филин ей вредит.

— Твое дело,— говорит Ефим,— а только я больше ямы бить не стану. Побаловался — и хватит. Немолодые мои годы — за Поскакушкой скакать.

Ну, разворчался старик, а Федюньке все Поскакушки жаль.

— Ты, дедо, не сердись на нее! Вон она какая веселая да хорошая. Счастье бы нам открыла, кабы не филин.

Про филина дедко Ефим промолчал, а на Поскакушку все ворчит:

— То-то она счастье тебе открыла! Хоть домой не ходи!

Сколько ни ворчит дедко Ефим, а Федюнька свое:

— А как она, дедо, ловко пляшет!

— Пляшет-то ловко, да нам от этого ни жарко ни холодно, и глядеть неохота.

— А я бы хоть сейчас поглядел! — вздохнул Федюнька. Потом и спрашивает: — А ты, дедо, отворишься? И поглядеть тебе не любо?

— Как — не любо? — проговорился дедко, да спохватился и давай опять строжить Федюньку: — Ох и упорный ты парнишко! Ох и упорный! Что в головушку попало, то и засело! Будешь вот, что мое же дело,— всю жизнь мыкаться, за счастьем гоняться, а его, может, вовсе и нету.

— Как нету, коли я своими глазами видел.

— Ну, как знаешь, а я тебе не попутчик! Набегался. Ноги заболели.

Поспорили, а дружбу вести не перестали. Дедко Ефим по работе сноволгал Федюньке, показывал, а в свободный час о всяких случаях рассказывал. Учил, значит, как жить-то надо. И самые веселые у них те дни были, как они вдвоем на прииске оставались. Зима загнала старателей по домам. Рассовал их приказчик до весны по работам куда пришлось, а Федюнька по малолетству дома остался. Только ему дома-то несладко. Тут еще новая беда пришла: отца на заводе покалечило. В больничную казарму его унесли. Ни жив ни мертв лежит. Мачеха и вовсе медведицей стала,— загрызла Федюньку. Терпел он, терпел да и говорит:

— Пойду, нето, я к дедку Ефиму жить.

А мачехе что?

— Провались ты,— кричит,— хоть к Поскакушке своей!

Надел тут Федюня пимишки, шубейку-ветродуйку покровкой покрепче затянул. Хотел отцовскую шапку надеть, да мачеха не дала. Натянул тогда свою, из которой давно вырос, и пошел. На улице первым делом парнишки налетели, дразниться стали:

— Тюнька Поскакушка! Тюнька Поскакушка! Скажи про девчонку!

Федюня, знай, идет своей дорогой. Только и сказал:

— Эх, вы! Несмышленыши!

Ребятам что-то стыдно стало. Они уж вовсе по-доброму спрашивают:

— Ты куда это?
— К дедку Ефиму.
— К Золотой Редьке?
— Кому Редька — мне дедко.
— Далеко ведь! Еще заблудишься.
— Знаю, поди-ко, дорогу.
— Ну, замерзнешь. Вишь, стужа какая, а у тебя и рукавиц нет.
— Рукавиц нет, да руки есть, и рукава не отпали. Засуну руки в рукава — только и дела. Не догадались!

Ребятам занятно показалось, как Федюнька разговаривает, они и стали спрашивать по-хорошему:

— Тюньша! Ты правда Поскакушку в огне видел?

— И в огне видел, и в дыму видел. Может, еще где увижу, да рассказывать недосуг, — сказал Федюнька да и зашагал дальше.

Дедко Ефим то ли в Косом Броду, то ли в Северной жил. На самом выезде, сказывают, избушка стояла. Еще перед окошком сосна бортевая* росла. Далеконько все ж таки, а время холодное — самая середина зимы. Подзамерз наш Федюнюшка. Ну, дошагал все ж таки. Только ему за дверную скобку взяться, вдруг слышит:

— Фи-т-ть! й-ю-ю-у...

Оглянулся — на дороге снежок крутится, а в нем чуть метлест клубочек, и похож тот клубочек на Поскакушку. Побежал Федюня поближе разглядеть, а клубочек уж далеко. Федюня за ним, он того дальше. Бежал-бежал за клубочком да и забрался в незнакомое место. Глядит — пустоплесье* какое-то, а кругом лес густой. Посередине пустоплесья береза старая, будто и вовсе неживая. Снегу около нее намело гора горой. Клубочек подкатился к этой березе да вокруг нее и кружится.

Федюнька в азарте-то не поглядел, что тут и тропочки нет, полез по цельному снегу.

«Сколько, — думает, — бежал, неуж спятиться!»

Добрался-таки до березы, а клубочек и рассыпался. Снеговой пылью Федюньке в глаза брызнул.

Чуть не заревел от обиды Федюнька. Вдруг у самой его ноги снег воронкой до земли протаял. Видит Федюнька — на дне-то воронки Поскакушка. Веселенько поглядела, усмехнулась ласково, платочком махнула и пошла плясать, а снег-то от нее бегом побежал. Где ей ножку поставить, там трава зеленая да цветы лесные. Обошла круг — тепло Федюньке стало, а Поскакушка шире да шире круг берет, сама подрастает, и полянка в снегу все больше да больше. На березе уж листочки зашумели. Поскакушка того больше старается, припевать стала:

У меня тепло!
У меня светло!
Красно летичко!

А сама волчком да волчком — сарафанчик пузырем.

Когда ростом с Федюнькой выровнялась, полянка в снегу вовсе большая стала, а на березе птички запели. Жарынь, как в самый горячий день летом. У Федюньки с носу пот каплет. Шляпчонку свою Федюнька давно снял, хотел и шубенку сбросить, Поскакушка и говорит:

— Ты, парень, побереги тепло-то! Лучше о том подумай, как назад выберешься!

Федюнька на это и отвечает:

— Сама завела — сама выведешь!

Девчонка смеется:

— Ловкий какой! А если мне недосуг?

— Найдешь время! Я подожду!

Девчонка тогда и говорит:

— Возьми-ко лучше лопатку. Она тебя в снегу согреет и домой выведет.

Поглядел Федюнька — у березы лопатка старая валяется. Изоржавела вся, и черенок расколотый.

Взял Федюнька лопатку, а Поскакушка наказывает:

— Глади из рук не выпусти! Крепче держи! Да дорогу-то примечай! Назад тебя лопата не поведет. А ведь придешь весной-то?

— А как же? Непременно прибежим с дедком Ефимом. Как весна — так мы и тут. Ты тоже приходи поплясать.

— Не время мне. Сам уж пляши, а дедко Ефим пусть притопывает!

— Какая у тебя работа?

— Не видишь? Зимой лето делаю да таких, как ты, работников забавляю. Думаешь — легко?

Сама засмеялась, вертнулась волчком и платочком махнула, как свистнула:

— Фи-т-ть! й-ю-ю-у...

И девчонки нет, и полянки нет, и береза стоит голым-голенька, как неживая. На вершине филин сидит. Кричать — не кричит, а башкой ворочает. Вокруг березы снегу намело гора горой. В снегу чуть не по горло провалился Федюнька и лопаткой на филина машет. От Поскакушкина лета только то и осталось, что черенок у Федюньки в руках вовсе теплый, даже горячий. А рукам тепло — и всему телу весело.

Потянула тут лопата Федюньку и сразу из снега выволокла. Сперва Федюнька чуть не выпустил лопату из рук, потом наловчился, и дело гладко пошло. Где пешком за лопатой идет, где волоком тащится. Забавно это Федюньке, а приметки ставить не забывает. Это ему тоже легонько далось. Чуть подумает засечку сделать, лопатка сейчас тюк-тюк — две ровнешеньких зарубочки готовы.

Привела лопатка Федюню к деду Ефиму затемно. Старик уж

на печь полез. Обрадовался, конечно, стал спрашивать, как да что. Рассказал Федюнька деду про случай, а старик не верит. Тогда Федюнька и говорит:

— Посмотри вон лопатку-то! В сенках она поставлена.

Принес дедко Ефим лопатку да и углядел — по ржавчине-то золотые таракашки* посажены. Целых шесть штук.

Тут дедко поверил маленько и спрашивает:

— А место найдешь?

— Как, — отвечает, — не найти, коли дорога замечена.

На другой день дедко Ефим раздобыл лыжи у знакомого охотника.

Сходили честь честью. По зарубкам-то ловко до места добрались. Вовсе повеселел дедко Ефим. Сдал он золотых таракашков тайному купцу, и прожили ту зиму безбедно.

Как весна пришла, побежали к старой березе. Ну, и что? С первой лопатки такой песок пошел, что хоть не промывай, а прямо руками золотины выбирай. Дедко Ефим даже поплясал на радостях.

Прихранить богатство не сумели, конечно. Федюнька — малолеток, а Ефим хоть старик, а тоже простота.

Народ со всех сторон кинулся. Потом, понятно, всех согнали начисто, и барин за себя это место перевел. Недаром, видно, Филин башкой-то ворочал.

Все-таки дедко Ефим с Федюнькой хлебнули маленько из первого ковшичка. Годов с пяток в достатке пожили. Вспоминали Поскакушку.

— Еще бы показалась разок!

Ну, не случилось больше. А прииск тот и посейчас зовется Поскакушкинский.

ГОЛУБАЯ ЗМЕЙКА

Росли в нашем заводе два парнишечка, по близкому соседству: Ланко Пужанко да Лейко Шапочка.

Кто и за что им такие прозвания придумал, это сказать не умею. Меж собой эти ребята дружно жили. Под стать подобрались. Умишком вровень, силенкой вровень, ростом и годами тоже. И в житье большой различки* не было. У Ланка отец рудобоем был, у Лейка на золотых песках горевал, а матери, известно, по хозяйству мытарилась. Ребятам и нечем было друг перед дружкой погордиться.

Одно у них не сходилось. Ланко свое прозвище за обиду считал, а Лейку лестно казалось, что его этак ласково зовут — Шапочка. Не раз у матери припрашивал:

— Ты бы, мамонька, сшила мне новую шапку! Слышишь, —

люди меня Шапочкой зовут, а у меня тятин малахай, да и тот старый.

Дружбе ребячьей это не мешало. Лейко первый в драку лез, коли кто обзовет Ланка Пужанком.

— Какой он тебе Пужанко? Кого испугался?

Так вот и росли парнишечки рядом да ладком. Рассорки, понятно, случались, да ненадолго. Промигаться не успеют, опять вместе.

И то у ребят вровень пришлось, что оба последними в семьях росли. Повольготнее таким-то. С малыми не водиться. От снегу до снегу домой только поест да поспать прибегут.

Мало ли в ту пору у ребят всякого дела: в бабки поиграть, в городки, шариком, порыбачить тоже, покупаться, за ягодами, за грибами сбегать, все горочки облазить, пенечки на одной ноге обскакать. Утянутся из дома с утра — ищи их! Только этих ребят не больно искали. Как вечером прибегут домой, так на них поварчивали:

— Пришел наше шатало! Корми-ко его!

Зимой по-другому приходилось. Зима, известно, всякому зверю хвост подожмет и людей не обойдет. Ланка с Лейком зима по избам загоняла. Одежка, видишь, слабая, обувь жиденькая, — недалеко в них ускочишь. Только и хватало тепла из избы в избу перебежать.

Чтоб большим под руку не подвертываться, забьются оба на полати да там и посиживают. Двоим-то все-таки веселее. Когда и поиграют, когда про лето вспоминают, когда просто слушают, о чем большие говорят.

Вот раз сидят этак-то, а к Лейковой сестре Марьюшке подружки набежали. Время к Новому году подвигалось, а по девичьему обряду в ту пору про женихов ворожат. Девчонки и затеяли такую ворожбу. Ребятам любопытно поглядеть, да разве подступишься. Близо не пускают, а Марьюшка по-свойски еще подзатыльников надавала.

— Уходи на свое место!

Она, видишь, эта Марьюшка, из сердитеньких была. Который год в невестах, а женихов не было. Девушка будто и вовсе хорошая, да маленько косоротенька. Изъян вроде и невелик, а парни все же браковали ее из-за этого. Ну, она и сердилась.

Забились ребята на полати, пыhtят да помалкивают, а девчонкам весело. Золу сеют, муку по столешнице* раскатывают, угли перекидывают, в воде брызгаются. Перемазались все, с визгом хохочут одна над другой, только Марьюшке не весело. Она, видно, изверилась во всякой ворожбе, говорит:

— Пустяк это. Одна забава.

Одна подружка на это и скажи:

— По-доброму-то ворожить боязно.

— А как? — спрашивает Марьюшка.

Подружка и рассказала:

— От бабушки слыхала, — самое правильное гадание будет такос. Надо вечером, как все уснут, свой гребешок на ниточке повесить на поветях*, а на другой день, когда еще никто не пробудился, снять этот гребешок, — тут все и увидишь.

Все любопытствуют — как? А девчонка объясняет:

— Коли в гребешке волос окажется — в тот год замуж выйдешь. Не окажется волоса — нет твоей судьбы. И про то догадаться можно, какой волосом муж будет.

Ланко с Лейком заметили этот разговор и то смекнули, что Марьюшка непременно так ворожить станет. А оба в обиде на нее за подзатыльники-то. Ребята и сговорились:

— Подожди! Мы тебе припомним!

Ланко в тот вечер домой ночевать не пошел, у Лейка на полатах остался. Лежат, будто похрапывают, а сами друг дружку кулачонками в бока подтыкают: гляди, не усни!

Как большие все уснули, ребята слышат — Марьюшка в сенки вышла. Ребята за ней и углядели, как она на повети залезла и в котором месте там возилась. Углядели и поскорее в избу. За ними следом Марьюшка прибежала. Дрожит, зубами чакает. То ли ей холодно, то ли боязно. Потом легла, поежилась маленько и, слышно стало, — уснула. Ребятam того и надо. Слезли с полатей, оделись, как пришлось, и тихонько вышли из избы. Что делать, об этом они уже сговорились.

У Лейка, видишь, мерин был, не то чалый, не то бурый, звали его Голубко. Ребята и придумали этого мерина Марьюшкиным гребешком вычесать. На поветях-то ночью боязно, только ребята один перед другим храбрятся. Нашли на поветях гребешок, начесали с Голубка шерсти и гребешок на место повесили. После этого в избу пробрались и крепко-накрепко заснули. Пробудились позднехонько. Из больших в избе одна Лейкова мать была — у печки топталась.

Пока ребята спали, тут вот что случилось. Марьюшка утром поднялась раньше всех и достала свой гребешок. Видит — волосу много. Обрадовалась — жених кудрявый будет. Побежала к подружкам похвастаться. Те глядят — что-то не вовсе ладно. Дивятся, какой волос чудной. Ни у одного знакомого парня такого не видывали. Потом одна разглядела в гребешке силышко от конского хвоста. Подружки и давай хохотать над Марьюшкой.

— У тебя, — говорят, — женихом-то Голубко оказался.

Марьюшке это за большую обиду, она разругалась с подружками, а те, знай, хохочут. Кличку ей объявили: Голубкова невеста.

Прибежала Марьюшка домой, жалуется матери — вот какое горе приключилось, а ребята помнят вчерашние подзатыльники и с полатей поддразнивают:

— Голубкова невеста, Голубкова невеста!

Марьюшка тут вовсе разревелась, а мать смекнула, чьих это рук дело, закричала на ребят:

— Что вы, бесстыдники, наделали! Без того у нас девку женихи обходят, а вы ее на смех поставили.

Ребята поняли — вовсе не ладно вышло, давай перекоряться:

— Это ты придумал!

— Нет, ты!

Марьюшка из этих перекоров тоже поняла, что ребята ей такую штуку подстроили, кричит им:

— Чтоб вам самим голубая змейка привиделась!

Тут опять на Марьюшку мать напустилась:

— Замолчи, дура! Разве можно такое говорить? На весь дом беду накличешь!

Марьюшка в ответ на это свое говорит:

— Мне что до этого! Не глядела бы на белый свет!

Хлопнула дверью, выбежала в ограду и давай там снеговой лопатой Голубка гонять, будто он в чем провинился. Мать вышла, сперва пристрожила девку, потом в избу увела, уговаривать стала. Ребята видят — не до них тут, утянулись к Ланку. Забились там на полати и посиживают смирнехонько. Жалко им Марьюшку, а чем теперь поможешь? И голубая змейка в головенках застряла. Шепотом спрашивают один у другого:

— Лейко, ты не слыхал про голубую змейку?

— Нет, а ты?

— Тоже не слыхивал.

Шептали, шептали, решили у больших спросить, когда дело маленько призамнется. Так и сделали. Как Марьюшкина обида позабылась, ребята и давай разузнавать про голубую змейку. Кого ни спросят, те отмахиваются — не знаю, да еще грозятся:

— Возьму вот прут да отвожу обоих! Забудете о таком спрашивать!

Ребятам от этого еще любопытнее стало: что за змейка такая, про которую и спрашивать нельзя?

Нашли-таки случай. По праздничному делу у Ланка отец пришел домой порядком выпивши и сел у избушки на завалинке. А ребята знали, что он в такое время поговорить больно охоч. Ланко и подкатился:

— Тятя, ты видал голубую змейку?

Отец, хотя сильно выпивши был, даже отшатнулся, потрезвел и заклятье сделал:

— Чур, чур, чур! Не слушай, наша избушка-хороминка! Не тут слово сказано!

Пристрожил ребят, чтоб напередки такого не говорили, а сам все-таки выпивши, поговорить-то ему охота. Посидел так, помолчал, потом и говорит:

— Пойдемте на бережок. Там свободнее про всякое сказывать.

Пришли на бережок, закурил Ланков отец трубку, оглянулся на все стороны и говорит:

— Так и быть, скажу вам, а то еще беды наделаете своими разговорами. Вот слушайте!

Есть в наших краях маленькая голубенькая змейка. Ростом не больше четверти, и до того легонькая, будто в ней вовсе никакого весу нет. По траве идет, так ни одна былинка не погнется. Змейка эта не ползает, как другие, а свернется колечком, головенку выставит, а хвостиком упирается и подскакивает, да так бойко, что не догонишь ее. Когда она этак-то бежит, вправо от нее золотая струя сыплется, а влево черная-пречерная.

Одному увидеть голубую змейку прямое счастье: наверняка верховое золото окажется, где золотая струя прошла. И много его. Поверху большими кусками лежит. Только оно тоже с подводом. Если лишкухватишь да хоть капельку сбросишь, все в простой камень повернется. Второй раз тоже не придешь, потому место сразу забудешь.

Ну, а когда змейка двоим-троим либо целой артелке покажется, тогда вовсе черная беда. Все перессорятся и такими ненавистниками друг дружке станут, что до смертоубийства дело дойдет. У меня отец на каторгу ушел из-за этой голубой змейки. Сидели как-то артелью и разговаривали, а она и покажись. Тут у них и пошла неразбериха. Двоих насмерть в драке убили, остальных пятерых на каторгу угнали. И золота никакого не оказалось. Потому вот про голубую змейку и не говорят: боятся, как бы она не показала при двоих либо троих. А показаться она везде может: в лесу и в поле, в избе и на улице. Да еще сказывают, будто голубая змейка иной раз человеком прикидывается, только узнать ее все-таки можно. Как идет, так даже на самом мелком песке следов не оставляет. Трава и та под ней не гнется. Это первая примета, а вторая такая: из правого рукава золотая струя бежит, из левого — черная пыль сыплется.

Наговорил этак-то Ланков отец и наказывает ребятам:

— Смотрите, никому об этом не говорите и вдвоем про голубую змейку вовсе даже не поминайте. Когда в одиночку случится быть и кругом людей не видно, тогда хоть криком кричи.

— А как ее звать? — спрашивают ребята.

— Этого, — отвечает, — не знаю. А если бы знал, тоже бы не сказал, потому опасное это дело.

На том разговор и кончился. Ланков отец еще раз настрого наказал ребятам помалкивать и вдвоем про голубую змейку даже не помянуть.

Ребята сперва сторожились, один другому наминал:

— Ты гляди, про эту штуку не говори и не думай, как со мной вместе. В одиночку надо.

Только как быть, когда Лейко с Ланком всегда вместе и голубая змейка ни у того, ни у другого с ума не идет? Время к теплу

подвинулось. Ручейки побежали. Первая весенняя забава около живой воды повозиться: лодочки пускать, запруды строить, меленки водой крутить. Улица, по которой ребята жили, крутиком к пруду спускалась. Весенние ручейки тут скоро сбежали, а ребята в эту игру не наигрались. Что делать? Они взяли по лопатке да и побежали за завод. Там, дескать, из лесу еще долго ручейки бежать будут, на любом поиграть можно. Так оно и было. Выбрали ребята подходящее место и давай запруду делать, да поспорили, кто лучше умеет. Решили на деле проверить: каждому в одиночку плотинку сделать. Вот и разошлись по ручью-то. Лейко пониже, Ланко повыше шагов, поди, на полсотни. Сперва перекликались:

— У меня, смотри-ко!

— А у меня! Хоть завод строй!

Ну, все-таки работа. Оба крепко занялись, помалкивают, стараются, как лучше сделать. У Лейка привычка была что-нибудь припевать за работой. Он и подбирает разные слова, чтобы всклад вышло:

Эй-ка, эй-ка,
Голубая змейка!
Объявись, покажись!
Колеском покрутись!

Только пропел, видит — на него с горки голубенькое колеско катится. До того легонькое, что сухие былинки и те под ним не сгибаются. Как ближе подкатилось, Лейко разглядел: это змейка колечком свернулась, головенку вперед уставила да на хвостике и подскакивает. От змейки в одну сторону золотые искры летят, в другую черные струйки брызжут. Глядит на это Лейко, а Ланко ему кричит:

— Лейко, гляди-ко, вон она — голубая змейка!

Оказалось, что Ланко это же самое видел, только змейка к нему из-под горки поднималась. Как Ланко закричал, так голубая змейка и потерялась куда-то. Сбежались ребята, рассказывают друг другу, хвалятся:

— Я и глазки разглядел!

— А я хвостик видел. Она им упрется и подскочит.

— Думаешь, я не видел? Из колечка-то чуть высунулся.

Лейко, как он все-таки поживее был, побежал к своему пруду за лопаткой.

— Сейчас, — кричит, — золота добудем!

Прибежал с лопаткой и только хотел ковырнуть землю с той стороны, где золотая струя прошла, Ланко на него налетел:

— Что ты делаешь! Загубишь себя! Тут, поди-ко, черная беда рассыпана!

Подбежал к Лейку и давай его отталкивать. Тот свое кричит,

упирается. Ну, и раздрались ребята. Ланку с горки сподручнее, он и оттолкал Лейку подальше, а сам кричит:

— Не допущу в том месте рыться! Себя загубишь. Надо с другой стороны.

Тут опять Лейко набросился:

— Никогда этого не будет! Загинешь там. Сам видел, как в ту сторону черная пыль сыпалась.

Так вот и дрались. Один другого остерегает, а сами тумачи дают. До реву дрались. Потом разбираться стали, да и поняли, в чем штука: видели змейку с разных сторон, потому правая с левой и не сходятся. Подивились ребята.

— Как она нам головы закружила! Обоим навстречу показалась. Насмеялась над нами, до драки довела, а к месту и не подступишься. В другой раз, не прогневайся, не позовем. Умеем, а не позовем!

Решили так, а сами только о том и думают, чтобы еще раз поглядеть на голубую змейку. У каждого на уме и то было: не попытать ли в одиночку. Ну, боязно, да и перед дружкой как-то нескладно. Недели две, а то и больше все-таки о голубой змейке не разговаривали. Лейко начал:

— А что, если нам еще раз голубую змейку позвать? Только чтоб с одной стороны глядеть.

Ланко добавил:

— И чтоб не драться, а сперва разобрать, нет ли тут обмана какого!

Сговорились так, захватили из дома по кусочку хлеба да по лопатке и пошли на старое место. Весна в том году дружная стояла. Прошлогоднюю ветошь всю зеленой травой закрыло. Весенние ручейки давно пересохли. Цветов много появилось. Пришли ребята к старым своим запрудам, остановились у Лейкиной и начали припевать:

Эй-ка, эй-ка,
Голубая змейка!
Объявись, покажись!
Колеском покрутись!

Стоят, конечно, плечо в плечо, как уговорились. Оба босиком по теплему времени. Не успели кончить припевку, от Ланковой запруды показалась голубая змейка. По молодой-то траве скоренько поскакивает. Направо от нее густое облачко золотой искры, налево — такое же густое — черной пыли. Катит змейка прямо на ребят. Они уже разбежаться хотели, да Лейко смекнул, ухватил Ланку за пояс, поставил перед собой и шепчет:

— Негоже на черной стороне оставаться!

Змейка все же их перехитрила, — меж ног у ребят прокатилась. У каждого одна штанина золоченой оказалась, другая как дегтем вымазана. Ребята этого не заметили, смотрят, что дальше будет.

Голубая змейка докатила до большого пня и тут куда-то подевалась. Подбежали, видят: пенек с одной стороны золотой стал, а с другой черным-чернехонек и тоже твердый, как камень. Около пня дорожка из камней: направо желтые, налево черные.

Ребята, конечно, не знали вескости золотых камней. Ланко сгоряча ухватил один и чует — ой, тяжело, не донести такой, а бросить боится. Помнит, что отец говорил: сбросишь хоть капельку, все в простой камень перекинется. Он и кричит Лейку:

— Поменьше выбирай, поменьше! Этот тяжелый!

Лейко послушался, взял поменьше, а он тоже тяжелым оказался. Тут он понял, что у Ланка камень вовсе не под силу, и говорит:

— Брось, а то надорвешься!

Ланко отвечает:

— Если брошу, все в простой камень обернется.

— Брось, говорю! — кричит Лейко, а Ланко упирается: нельзя.

Ну, опять дракой кончилось. Подрались, наревелись, подошли еще раз посмотреть на пенек да на каменную дорожку, а ничего не оказалось. Пенек как пенек, а никаких камней, ни золотых, ни простых, вовсе нет. Ребята и судят:

— Обман один эта змейка. Никогда больше думать о ней не будем.

Пришли домой, там им за штаны попало. Матери отмутузили того и другого, а сами дивятся:

— Как-то им пособит и вымазаться на один лад! Одна штанина в глине, другая — в дегтю! Ухитриться тоже надо!

Ребята после этого вовсе на голубую змейку сердились:

— Не будем о ней говорить!

И слово свое твердо держали! Ни разу с той поры у них и разговору о голубой змейке не было. Даже в то место, где ее видели, ходить перестали.

Раз ребята ходили за ягодами. Набрали по полной корзиночке, вышли на покосное место и сели тут отдохнуть. Сидят в густой траве, разговаривают, у кого больше набрано да у кого ягода крупнее. Ни тот, ни другой о голубой змейке и не подумал. Только видят — прямо к ним через покосную лужайку идет женщина. Ребята сперва этого в примету не взяли. Мало ли женщин в лесу в эту пору: кто за ягодами, кто по покосным делам. Одно показалось им непривычным: идет, как плывет, совсем легко. Поближе подходить стала, ребята разглядели — ни один цветок, ни одна травинка под ней не согнутся. И то углядели, что с правой стороны от нее золотое облачко колышется, а с левой — черное. Ребята и уговорились:

— Отвернемся. Не будем смотреть! А то опять до драки доведет.

Так и сделали. Повернулись спинами к женщине, сидят и гла-

за зажмурили. Вдруг их подняло. Открыли глаза, видят — сидят на том же месте, только примятая трава поднялась, а кругом два широких обруча, один золотой, другой чернокаменный. Видно, женщина обошла их кругом да из рукавов и насыпала. Ребята кинулись бежать, да золотой обруч не пускает: как перешагивать — он поднимется, и поднырнуть тоже не дает. Женщина смеется:

— Из моих кругов никто не выйдет, если сама не уберу.

Тут Лейко с Ланком взмолились:

— Тетенька, мы тебя не звали.

— А я, — отвечает, — сама пришла поглядеть на охотников добыть золото без работы.

Ребята просят:

— Отпусти, тетенька, мы больше не будем. И без того два раза подрались из-за тебя!

— Не всякая, — говорит, — драка человеку в покор, за иную и наградить можно. Вы по-хорошему дрались. Не из-за корысти либо жадности, а друг дружку охраняли. Недаром золотым обручем от черной беды вас отгородила. Хочу еще испытать.

Насыпала из правого рукава золотого песка, из левого черной пыли, смешала на ладони, и стала у нее плитка черно-золотого камня. Женщина эту плитку прочертила ногтем, и она распалась на две ровнешенькие половинки. Женщина подала половинки ребятам и говорит:

— Коли который хорошее другому задумает, у того плиточка золотой станет, коли — пустяк, выйдет бросовый камешок.

У ребят давно на совести лежало, что они Марьюшку сильно обидели. Она хоть с той поры ничего им не говаривала, а ребята видели: стала она вовсе невеселая. Теперь ребята про это и вспомнили, и каждый пожелал:

— Хоть бы поскорее прозвище Голубкова невеста забылось и вышла бы Марьюшка замуж!

Пожелали так, и плиточки у обоих стали золотые. Женщина улыбнулась:

— Хорошо подумали. Вот вам за это награда.

И подает им по маленькому кожаному кошельку с ременной завязкой.

— Тут, — говорит, — золотой песок. Если большие станут спрашивать, где взяли, скажите прямо: «Голубая змейка дала, да больше ходить за этим не велела». Не посмеют дальше разузнавать.

Поставила женщина обручи на ребро, облокотилась на золотой правой рукой, на черный — левой и покатила по покосной лужайке. Ребята глядят — не женщина это, а голубая змейка, и обручи в пыль перешли. Правый — в золотую, левый — в черную.

Постояли ребята, запрятали свои золотые плиточки да кошелечки по карманам и пошли домой. Только Ланко промолвил:

— Не жирно все-таки отвалила нам золотого песка.

Лейко на это и говорит:

— Столько, видно, заслужили.

Дорогой Лейко чувствует — сильно потяжелело у него в кармане. Еле вытащил свой кошелек, — до того он вырос. Спрашивает у Ланка:

— У тебя тоже кошелек вырос?

— Нет, — отвечает, — такой же, как был.

Лейку неловко показалось перед дружкой, что песку у них не поровну, он и говорит:

— Давай отсыплю тебе.

— Ну что ж, — отвечает, — отсыпь, если не жалко.

Сели ребята близ дороги, развязали свои кошельки, хотели выровнять, да не вышло. Возьмет Лейко из своего кошелька горсточку золотого песка, а он в черную пыль перекинется. Ланко тогда и говорит:

— Может, все-то опять обман.

Взял щепотку из своего кошелечка. Песок как песок, настоящий золотой. Высыпал щепотку Лейку в кошелек — перемены не вышло. Тогда Ланко и понял: обделила его голубая змейка за то, что пожадничал на даровщину. Сказал об этом Лейку, и кошелек на глазах стал прибывать. Домой пришли оба с полнехонькими кошельками, отдали свой песок и золотые плиточки семейным и рассказали, как голубая змейка велела.

Все, понятно, радуются, а у Лейка в доме еще новость: к Марьюшке приехали сваты из другого села. Марьюшка веселехонька бегают, и рот у нее в полной исправе. От радости, что ли? Жених верно какой-то чубарый волосом, а парень веселый, к ребятам ласковый. Скоренько с ним сдружились.

Голубую змейку с той поры ребята никогда не вызывали. Поняли, что она сама наградой прикатит, если заслужишь, и оба удачливы в своих делах были. Видно, помнила их змейка и черный свой обруч от них золотым отделяла.

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ

Жил в нашем заводе старик один, по прозвищу Кокованя. Семьи у Коковани не осталось, он и придумал взять в дети сиротку. Спросил у соседей, — не знают ли кого, а соседи и говорят:

— Недавно на Глинке осиротела семья Григория Потопаева. Старших-то девчонок приказчик всел в барскую рукодельню взять, а одну девчонку по шестому году никому не надо. Вот ты и возьми ее.

— Несподручно мне с девчонкой-то. Парнишечко бы лучше. Обучил бы его своему делу, пособника бы растить стал. А с девчонкой как? Чему я ее учить-то стану?

Потом подумал-подумал и говорит:

— Знавал я Григория да и жену его тоже. Оба веселые да ловкие были. Если девчоночка по родителям пойдет, не тоскливо с ней в избе будет. Возьму ее. Только пойдет ли?

Соседи объясняют:

— Плохое житье у нее. Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и велел за это сиротку кормить, пока не подрастет. А у того своя семья больше десятка. Сами не досыта едят. Вот хозяйка и взъедается на сиротку, попрекает ее куском-то. Та хоть маленькая, а понимает. Обидно ей. Как не пойдет от такого житья! Да и уговоришь, поди-ка.

— И то правда, — отвечает Кокованя, — уговорю как-нибудь.

В праздничный день и пришел он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит — полна изба народу, больших и маленьких. На голбчике*, у печки, девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая, и кошка маленькая и до того худая да ободранная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно.

Поглядел Кокованя на девчоночку и спрашивает:

— Это у вас Григорьева-то подаренка?

Хозяйка отвечает:

— Она самая. Мало одной-то, так еще кошку драную где-то подобрала. Отогнать не можем. Всех моих ребят передарапала, да еще корми ее!

— Неласковые, видно, твои ребята. У ней вон мурлычет.

Потом и спрашивает у сиротки:

— Ну, как, подаренушка, пойдешь ко мне жить?

Девчоночка удивилась:

— Ты, дедо, как узнал, что меня Даренкой зовут?

— Да так, — отвечает, — само вышло. Не думал, не гадал, нечаянно попал.

— Ты хоть кто? — спрашивает девчоночка.

— Я, — говорит, — вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю, да все увидеть не могу.

— Застрелишь его?

— Нет, — отвечает Кокованя. — Простых козлов стреляю, а этого не стану. Мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет.

— Тебе на что это?

— А вот пойдешь ко мне жить, так все и расскажу, — ответил Кокованя.

Девчоночке любопытно стало про козла-то узнать. И то видит — старик веселый да ласковый. Она и говорит:

— Пойду. Только ты эту кошку Муренку тоже возьми. Гляди, какая хорошая.

— Про это,— отвечает Кокованя,— что и говорить. Такую звонкую кошку не взять — дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в избе будет.

Хозяйка слышит их разговор. Рада-радехонька, что Кокованя сиротку к себе зовет. Стала скорей Даренкины пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал.

Кошка будто тоже понимает весь разговор. Трется у ног-то да мурлычет:

— Пр-правильно придумал. Пр-правильно.

Вот и повел Кокованя сиротку к себе жить.

Сам большой да бородатый, а она махонькая и носишко пуговкой. Идут по улице, а кошчонка ободранная за ними попрыгивает.

Так и стали жить вместе дед Кокованя, сиротка Даренка да кошка Муренка. Жили-поживали, добра много не наживали, а на житье не плакались, и у всякого дело было.

Кокованя с утра на работу уходил, Даренка в избе прибирала, похлебку да кашу варила, а кошка Муренка на охоту уходила — мышей ловила. К вечеру соберутся, и весело им.

Старик был мастер сказки сказывать, Даренка любила те сказки слушать, а кошка Муренка лежит да мурлычет:

— Пр-правильно говорит. Пр-правильно.

Только после всякой сказки Даренка напомним:

— Дедо, про козла-то скажи. Какой он?

Кокованя отговаривался сперва, потом и рассказал:

— Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце. В каком месте топнет этим копытцем — там и появится дорогой камень. Раз топнет — один камень, два топнет — два камня, а где ножкой бить станет — там груда дорогих камней.

Сказал это да и не рад стал. С той поры у Даренки только и разговору, что об этом козле.

— Дедо, а он большой?

Рассказал ей Кокованя, что ростом козел не выше стола, ножки тоненькие, головка легонькая.

А Даренка опять спрашивает:

— Дедо, а рожки у него есть?

— Рожки-то,— отвечает,— у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у него на пять веток.

— Дедо, а он кого ест?

— Никого,— отвечает,— не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой в стожках подъедает.

— Дедо, а шерстка у него какая?

— Летом,— отвечает,— буренькая, как вот у Муренки нашей, а зимой серенькая.

— Дедо, а он душной?

Кокованя даже рассердился:

— Какой же душной! Это домашние козлы такие бывают, а лесной козел, он лесом и пахнет.

Стал осенью Кокованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в которой стороне козлов больше пасется. Даренка и давай проситься:

— Возьми меня, дедо, с собой. Может, я хоть сдалека того козлика увижу.

Кокованя и объясняет ей:

— Сдалека-то его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть. Не разберешь, сколько на них веток. Зимой вот — дело другое. Простые козлы безрогие ходят, а этот, Серебряное копытце, всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой. Тогда его сдалека признать можно.

Этим и отговорился. Осталась Даренка дома, а Кокованя в лес ушел.

Дней через пять воротился Кокованя домой, рассказывает Даренке:

— Ныне в Полдневской стороне много козлов пасется. Туда и пойду зимой.

— А как же, — спрашивает Даренка, — зимой-то в лесу ночевать станешь?

— Там, — отвечает, — у меня зимний балаган у покосных ложков поставлен. Хороший балаган, с очагом, с окошечком. Хорошо там.

Даренка опять спрашивает:

— Серебряное копытце в той же стороне пасется?

— Кто его знает. Может, и он там.

Даренка тут и давай проситься:

— Возьми меня, дедо, с собой. Я в балагане сидеть буду. Может, Серебряное копытце близко подойдет — я и погляжу.

Старик сперва руками замахал:

— Что ты! Что ты! Статочное ли дело зимой по лесу маленькой девчоночке ходить! На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то. Как я с тобой буду? Замерзнешь еще!

Только Даренка никак не отстает:

— Возьми, дедо! На лыжах-то я маленько умею.

Кокованя отговаривал-отговаривал, потом и подумал про себя:

«Сводить разве? Раз побывает, в другой не запросится».

Вот он и говорит:

— Ладно, возьму. Только, чур, в лесу не реветь и домой до времени не проситься.

Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться.

Уложил Кокованя на ручные санки сухарей два мешка, припас охотничий и другое, что ему надо. Даренка тоже узелок себе навязала. Лоскуточков взяла кукле платье шить, ниток клубок, иголку да еще веревку.

«Нельзя ли, — думает, — этой веревкой Серебряное копытце поймать?»

Жаль Даренке кошку свою оставлять, да что поделаешь. Гладит кошку-то на прощанье, разговаривает с ней:

— Мы, Муренка, с дедом в лес пойдем, а ты дома сиди, мышей лови. Как увидим Серебряное копытце, так и воротимся. Я тебе тогда все расскажу.

Кошка лукаво посматривает, а сама мурлычет:

— Пр-равильно придумала. Пр-равильно.

Пошли Кокованя с Даренкой. Все соседи дивуются:

— Из ума выжился старик! Такую маленькую девчонку в лес зимой повел!

Как стали Кокованя с Даренкой из заводу выходить, слышат — собачонки что-то сильно забеспокоились. Такой лай да визг подняли, будто зверя на улицах увидали. Оглянулись, — а это Муренка серединой улицы бежит, от собак отбивается. Муренка к той поре поправилась. Большая да здоровая стала. Собачонки к ней и подступиться не смеют.

Хотела Даренка кошку поймать да домой унести, только где тебе! Добежала Муренка до лесу да и на сосну. Пойди поймай!

Покричала Даренка, не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят — Муренка стороной бежит. Так и до балагана добралась.

Вот и стало их в балагане трое. Даренка хвалится:

— Веселее так-то.

Кокованя поддакивает:

— Известно, веселее.

А кошка Муренка свернулась клубочком у печки и звонко мурлычет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Козлов в ту зиму много было. Это простых-то. Кокованя каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них накопилось, козлиного мяса насолили — на ручных санках не увезти. Надо бы в завод за лошадью сходить, да как Даренку с кошкой в лесу оставить! А Даренка попривыкла в лесу-то. Сама говорит старику:

— Дедо, сходил бы ты в завод за лошадью. Надо ведь солонину домой перевезти.

Кокованя даже удивился:

— Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна! Как большая рассудила. Только забоишься, поди. одна-то.

— Чего, — отвечает, — бояться. Балаган у нас крепкий, волкам не добиться. И Муренка со мной. Не боюсь. А ты поскорее ворочайся все-таки!

Ушел Кокованя. Осталась Даренка с Муренкой. Днем-то привычно было без Коковани сидеть, пока он козлов выслеживал... Как темнеть стало, запобаивалась. Только глядит —

Муренка лежит спокойнехонько. Даренка и повеселела. Села к окошечку, смотрит в сторону покосных ложков и видит — по лесу какой-то комочек катится. Как ближе подкатился, разглядела — это козел бежит. Ножки тоненькие, головка легонькая, а на рожках по пяти веточек.

Выбежала Даренка поглядеть, а никого нет. Воротилась да и говорит:

— Видно, задремала я. Мне и показалось.

Муренка мурлычет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Легла Даренка рядом с кошкой да и уснула до утра.

Другой день прошел. Не воротился Кокованя. Скучененько стало Даренке, а не плачет. Гладит Муренку да приговаривает:

— Не скучай, Муренушка! Завтра дедо непременно придет.

Муренка свою песенку поет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Посидела опять Даренушка у окошка, полюбовалась на звезды. Хотела спать ложиться, вдруг по стенке топоток прошел. Испугалась Даренка, а топоток по другой стене, потом по той, где окошечко, потом — где дверка, а так и сверху запостукивало. Не громко, будто кто легонький да быстрый ходит. Даренка и думает:

«Не козел ли тот вчерашний прибежал?»

И до того ей захотелось поглядеть, что и страх не держит. Отворила дверку, глядит, а козел — тут, вовсе близко. Правую переднюю ножку поднял — вот топнет, а на ней серебряное копытце блестит, и рожки у козла о пяти ветках. Даренка не знает, что ей делать, да и манит его как домашнего:

— Ме-ка! Ме-ка!

Козел на это как рассмеялся. Повернулся и побежал.

Пришла Даренушка в балаган, рассказывает Муренке:

— Поглядела я на Серебряное копытце. И рожки видела, и копытце видела. Не видела только, как тот козлик ножкой дорогие камни выбивает. Другой раз, видно, покажет.

Муренка, знай, свою песенку поет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Третий день прошел, а все Коковани нет. Вовсе затуманилась Даренка. Слезки започапывали. Хотела с Муренкой поговорить, а ее нету. Тут вовсе испугалась Даренушка, из балагана выбежала кошку искать.

Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Даренка — кошка близко на покосном ложке сидит, а перед ней козел. Стоит, ножку поднял, а на ней серебряное копытце блестит.

Муренка головой покачивает, и козел тоже. Будто разговаривают. Потом стали по покосным ложкам бегать. Бежит-бежит козел, остановится и давай копытцем бить. Муренка подбежит, козел дальше отскочит и опять копытцем бьет. Долго они так-то

по покосным ложкам бегали. Не видно их стало. Потом опять к самому балагану воротились.

Тут вспрыгнул козел на крышу и давай по ней серебряным копытцем бить. Как искры, из-под ножки-то камешки посыпались. Красные, голубые, зеленые, бирюзовые — всякие.

К этой поре как раз Кокованя и вернулся. Узнать своего балагана не может. Весь он как ворох дорогих камней стал. Так и горит-переливается разными огнями. Наверху козел стоит — и все бьет да бьет серебряным копытцем, а камни сыплются да сыплются. Вдруг Муренка скок туда же. Встала рядом с козлом, громко мяукнула, и ни Муренки, ни Серебряного копытца не стало.

Кокованя сразу полшапки камней нагреб, да Даренка запросила:

— Не тронь, дедо! Завтра днем еще на это поглядим.

Кокованя и послушался. Только к утру-то снег большой выпал. Все камни и засыпало. Перегребали потом снег-то, да ничего не нашли. Ну, им и того хватило, сколько Кокованя в шапку нагреб.

Все бы хорошо, да Муренки жалко. Больше ее так и не видали, да и Серебряное копытце тоже не показался. Потешил раз, — и будет.

А по тем покосным ложкам, где козел скакал, люди камешки находить стали. Зелененькие больше. Хризолитами называются. Видали?

ЕРМАКОВЫ ЛЕБЕДИ

Так, говоришь, из донских казаков Ермак был? Приплыл в наши края и сразу в сибирскую сторону дорогу нашел? Куда никто из наших не бывал, туда он со всем войском по рекам проплыл?

Ловко бы так-то! Сел на Каме, попотел на веслах, да и выбрался на Туру, а там гуляй по сибирским рекам, куда тебе любо. По Иртышу-то вон, сказывают, до самого Китаю плыви — не тряхнет!

На словах-то вовсе легко, а попробуй на деле — не то запоешь! До первого разводья доплыл, тут тебе и спотычка. Столбов не поставлено и на воде не написано: то ли тут протока, то ли старица подошла, то ли другая река выпала. Вот и гадай, — направо плыть али налево правиться? У куличков береговых, небось, не спросишь и по солнышку не смекнешь, потому — у всякой реки свои петли да загибы и никак их не угадаешь.

Нет, друг, не думай, что по воде дорожка гладкая. На деле по незнакомой реке плыть похитрее будет, чем по самому дикому лесу пробираться. Главная причина — приметок нет, да и не сам

идешь, а река тебя ведет. Коли ты вперед ее пути не узнал, так только себя и других намаешь, а можешь и вовсе с головами загубить.

Это по нынешним временам так-то, а в Ермакову пору и того мудренее было. Тогда, поди-ко, не то что в Сибири, а и по нашим местам ни единого русского человека не жило. Из здешних рек одну Каму знали да Чусовую маленько, а про Туру да Иртыш слыхом не слыхали. Вот и рассуди, как при таком положении заезжий человек пути-дороги по рекам разберет. Листов-то, на коих всяка речка-горочка обозначены, тогда и в помине не было, и жоака не найдешь, потому — никто из наших в той стороне не бывал.

Нет, брат, зряшний твой разговор выходит! Чусовские старики об этом складнее рассказывают.

Так будто дело-то было.

Когда еще по нашим местам ни одного города, ни одного завода либо села русского не было, у Строгановых на Чусовой реке сельцо было поставлено. Сельцо малое, а городом называлось, потому — крепко было огорожено. Канавы кругом, вал земляной, а по валу тын из высоких бревен-стояков. С двух сторон ворота надежные поставлены, да еще башни срублены. На случай, чтоб оттуда стрелять либо камнями бросать, а то и кипятком поливать, коли кто непрошенный ломиться станет. И ратные люди в этом Чусовском городке жили. Ну, и крестьяне тоже.

В том числе был Тимофей Аленин. По доброй воле он туда пришел али ссылкой попал — это сказать не умею, только жил семейно. И было у него, ровно в сказке, три сына, только дурака ни одного. Все ребята ладные да разумные, а младший Васютка из всех на отличку. И лицом пригож, и речами боек, и силенкой не по годам вышел.

Хоть говорится, что атаманами люди не рождаются, а все-таки смолоду угадать можно, кому потом кашу варить, кому передом ходить.

Своей-то ровней этот Васютка с малых лет верховодил, а любимая забава у него была в развед ходить.

У ворот-то, дескать, стоять — не много увидишь, вот он и сбил из своих ровесников ватажку* копейщиков, с саженными, значит, палками. Караульным при воротах, конечно, сказано было, чтобы одних мальцов без большого за городской тын не выпускать, только этот Васютка нашел дорогу. Он что придумал? Подойдет к тыну с веревкой; прислонит свою палку-копье к стене, захлестнет верхушку столба петлей, взлепится по узлам веревки на тын, перекинет первым делом свое копье на другую сторону, спустится туда же сам и палкой петлю снимет, да и покрикивает:

— Ну, кто так же?

Кому из ребят это сделать не под силу, того сейчас же из игры долой.

— Нам таких копейщиков со слабиной не надо!

За такую игру Васютке да и другим ребятам не раз доставалось от больших, да только ребятам все неймется. Нет-нет — и утянутся за городской тын.

Вот раз убрались в лес далекомько, да и потеряли друг дружку из виду. Кто побоязливее, те сразу крик подняли и живо сбежались. Одного Васютки нет. Что делать? Хотели сперва домой бежать, да постыдились: как мы своего жожака оставим.

Стоят, значит, у какой-то речки да кричат, сколько голосу есть. Потом насмелились, вверх по речке пошли, а сами, знай, свистят да ухают.

А с Васюткой такой случай вышел. Он по этой же речке вверх далеко зашел. Вдруг слышит — шум какой-то. Васютка хотел повернуться, да спохватился:

— Так-то меня скорее услышат.

Он и прижался в кустах. Сидит, слушает. Шум близко, а понять не может, кто шумит. Васютка тогда взмогнулся потихоньку на сосну, огляделся и увидел... Выше-то речка надвое расходится. Островок тут пришелся. Островок высокомький, полой водой его не зальет. Поближе к воде таловый куст, а из него лебедь шею вытянул, да и шипит по-гусиному, вроде как сердится. По речке, прямо к тому месту, медведь шлепает. Мокрехонек весь. Башкой мотает, а сам рычит, огрызается. На него другой лебедь налетает, крыльями бьет, клювом с налету долбит. Лебедь, конечно, птица большая. Крылья распахнет, так шире сажени. Понимай, какая в них сила! И ноготок на носу, хоть красный, а не из клюквы. Долбанет им, так медведь завизжит, завертится, как собака. Ну, все-таки где же лебедю с медведем сладить? Изловчился мишка, загреб лебеда лапами, и только перья по речке поплыли. Тут другой лебедь с гнезда снялся и тоже на медведя налетел. Только медведь и этому голову свернул и поволок на бережок, а сам ревет, будто жалуется, — вот как меня лебеди отделили! И лапой по глазам трет.

Вытащил убитого лебеда на травку береговую, почавкал маленько, да не до того, видно, ему. Нет-нет и начнет возить лапой под глазами. Потом что-то насторожился, уши поднял и морду вытянул. Постоял так-то, затряс башкой.

— Фу ты, пакость какая!

Забросал лебеда сушняком, прихлопнул ворох лапой, да в лес. Только сучья затрещали.

Как стихло, Васютка слез с дерева и пошел ко гнезду, — что там? Оказались лебединые яйца. Они на гусиные походят, только много больше и позеленее кажутся. Пощупал рукой, — они вовсе теплые, нисколько не остудились. Васютке жалко лебедей-то, он и подумал:

«А что, если эти яички под баушкину гусишку подсунуть?»

Выведутся, поди-ко? Как бы только их в целости донести да не остудить?»

Вытряхнул из своего мешка хлеб, надрал сухого моху, набил им мешок да туда и пристроил три яичка. Больше-то взять побоялся, как бы не разбить. И то подумал, — много-то взять, баушка скорее заметит.

Устроил все, да и пошел вниз по реке. Про то и не подумал, что заблудился. Знает, что речка к Чусовой выведет. Подошел маленько, слышит — ребята кричат да свистят! Тут Васютка и догадался, почему медведь убежал.

Известно, зверь и ухом, и носом дальше нашего чует, и человеческого голосу не любит. Услышал, видно, ребят-то, да и убежал.

Откликнулся Васютка на ребячьи голоса. Скоро все сошлись, и Васютка рассказал ребятам, что с ним случилось. Ребята как слышали про медведя, так и заоглядывались, — вдруг выскочит, — поскорей зашагали к дому. В другой раз Васютка настыдил бы за это своих копейщиков, а тут не до того ему. Об одном забота — как бы в сохранности свою ношу донести.

У Васютки матери в живых давно не было. Всем хозяйством правила баушка Ульяна. Старуха строгая, поблажки внучатам не давала, да и на отца частенько поварчивала.

Первым делом на Васютку накинута: где шатался? Ну, он отговорился:

— За мохом в лес ходил. Угол у конюшенки законопатить. Помнишь, сама тятя говорила, да он все забывает. Я вот и притащил полный мешок. Только мокрый мох-то, подсушить его надо на печке.

И сейчас же на печь залез.

Баушка еще поворчала маленько, спросила — с кем ходил да почему не сказался, потом и наказывает:

— Ты потоньше расстели. По всей печке!

Васютке того и надо. Забился подальше на печь, вытащил лебединые яички, завернул их в тряпки, положил на самое теплое место, а мох по всей печке раструсил.

Как темно стало, шапку зимнюю надел, взял яички и полез к гусишке, которая на гнезде сидела. Та, понятно, беспокоится, клюет Васютку в голову, в руки, а он свое делает. Вытащил из гнезда три гусиных яйца и подложил лебединые.

Гушишка и на другой день беспокоилась, перекатывала лапами яйца, а все ж таки чужие не выбросила. Баушка подходила поглядеть, да тоже не разглядела, подивилась только:

— Какие-то ноне яйца неровные. Которые больше, которые меньше! К чему бы это?

Васютка знай помалкивает, а чтоб улики не было, он вытащенные из гнезда яйца за городской тын выбросил.

Так оно и прошло незаметно. В одном не сошлось: гусиные

яйца еще ничем-ничего, а лебедята уж проклюнулись, запопискивали.

Баушка Ульяна всполошилась:

— Что за штука? До времени гусята вылупились! Беспременно это к мору либо к войне!

Гусь этих своих новых детей к себе не подпускает, и гусяшка, как виноватая, ходит, а все ж таки лебедят не бросила. Зато Васютка больше всех старается. Прямо не отходит, поит их, кормит вовремя. Баушка, на что строгая, и та похвалила Васютку перед старшими братьями:

— Вы, лбы, учились бы у малого, как баушке пособлять! Гляди-ко, вон он и моху притащил и за гусятами ходит, а вы что? Из чашки ложкой — только и есть вашей работы!

Братья знали, в чем штука, посмеиваются:

— Осенью, баушка, по-другому не заговори!

Баушка пуще того сердится, ухватом грозит, — уходи, значит, а не то попадет.

К осени, и верно, обозначилось, что у Алениных лебеди растут. Соседки подсмеиваются над баушкой Ульяной: недоглядела, вырастила лебедей, а куда их, коли колоть за грех считалось. Баушка — старуха нравная, ей неохота свою оплошку на людях показать, она и говорит:

— Нарочно так сделала. Принес внучонок лебединые яйца, вот и захотела узнать, улетят лебеди али нет, если гусяшка их выведет.

На Васютку все ж таки косо заглядывала:

— Вон ты какой! Еще от земли невысоко поднялся, а какие штуки вытворять придумал!

У Васютки свое горе. Два-то лебеденка стали каждый день драться. Прямо насмерть бьются, и не подходи — сшибут, не заметят. А третий лебеденок в драку никогда не ввязывается, в сторонке ходит.

Кто-то из больших и объяснил Васютке:

— Это, беспрременно, лебедка, а те, видно, лебеди. Пока один другого совсем не отгонит, всегда у них драка будет. Как бы насмерть друг дружку не забили!

Баушка, на эту драку гляючи, вовсе взъедаться на Васютку стала, а он и так сам не свой, не придумает, как быть? Кончилось все-таки тем, что один лебеденок с реки не вернулся. Остались двое, — и драки не стало.

Утихомирилось ровно дело, а баушка Ульяна пуще того взъедаться стала. Видит, дело к зиме пошло, она и думает, сколько корму этой птице понадобится, а толку от нее никакого, если колоть нельзя. Ну, баушка и давай лебедей отгонять. С метлой да палками за ними бегают. Лебеди тоже ее невзлюбили: не тот так другой налетит, с ног собьет да еще клювом стукнет.

Тут старуха и говорит сыну решительно:

— Что хочешь, Тимофей, делай, а убирай эту птицу со двора, не то сама уйду,— правься, как знаешь, с хозяйством!

Васютка видит — вовсе плохое дело выходит, приуныл. Дай, думает, хоть заметочку какую-нибудь сделаю: может, когда и увижу своих лебедей. Взял и привязал на крепкой ниточке каждому на шею по бусинке: лебедю — красненькую, лебедушке — синенькую. Те будто тоже разлуку чуют,— так и льнут к Васютке, а он со слезами на глазах ходит. Ватажка — копейщики-то — подсмеиваться даже стала:

— Завял наш вожачок!

Только Васютка вовсе и не стыдится.

— До слез,— говорит,— жалко с лебедями расставаться. Улетят ведь и забудут про меня!

Лебеди ровно понимают этот разговор. Подбегут к Васютке, шеи свои ему под руку подсунут, будто поднять собираются, головами прижимаются да потихоньку и переговариваются:

— Клип-анг, клип-анг!

Дескать, будь спокоен — не забудем, не забудем!

Как вовсе холодно стало да потянулась вольная птица в полуденную сторону, так и эти лебеди улетели. Всю зиму их было не видно, а весной опять в этих местах появились. Только к Тимофею на двор больше не заходили, а где увидят Васютку, тут к нему и подлетят, поласкаются.

Да еще баушку Ульяну подшибли, как она на гору с ведрами шла. Не сильно все ж таки, а так только попугали да водой оплеснули, вроде пошутили. Помним, дескать, Васюткину ласку и твою палку не забыли. Такой тебе от нас и ответ!

Дальше так и повелось. Как зима — лебедей не видно, а весной и летом хоть раз да к Васютке подлетят. Потом он сам научился их подманивать. Выйдет на открытое место да крикнет, как они:

— Клип-анг, клип-анг!

Вскорости который-нибудь, а то и оба прилетят, только крылья свистят, будто тревожатся,— не обидел ли кто Васютку. Если близко человек случится, его так с налету шарахнут, что сразу на землю кувyrкнется. А к Васютке заковыляют, шеи чуть не по земле вытянут, крыльями взмахивают, шипят да подпрыгивают, как домашние гуси, когда к корму идут,— радуются.

Ну, вот... за летом зима, за зимой лето... Сколько их прошло, не считал, а только из Васютки такой парень выправился, что заглядеться впору. И речист, и плечист, умом и ухваткой взял и лицом не подгадил: бровь широкая, волос мягкий, глаз веселый да пронзительный.

Из тысячи один, а то и реже такой парень выходит, и должность себе хорошую доступил. Парень приметливый да памятный и новые места поглядеть охотник. Хлебом его не корми, только дай сплавать, где еще не бывал. Вот он и узнал лучше

всех речные дороги. Всех стариков, которые при этом деле стояли, обогнал.

Строгановы, понятно, заметили такого парня, кормщиком его поставили и похваливать стали:

— Хоть молодой, а с ним отправить любой груз надежно.

Скоро Тимофеича по всем строгановским пристаням узнали. Удачливее его кормщика не было. Как дорогой груз да дорога мало ведома, так его и наряжают.

И с народом у Василья обхождение лучше нельзя. Любили парня за это. С ребячьих лет кличка ему ласковая осталась — наш Лебедь.

С женитьбой у Василья заминка вышла. Все его товарищи давно семьями обзавелись, а он в холостых ходил, и отец его не неволил: как сам знаешь. Ну, вот видит Василий — пора, и стал себе лебедушку подсматривать.

Такому парню невесту найти какая хитрость! Любая бы девка из своей ровни за него с радостью пошла, да он, видно, занесся маленько. Тут у него оплошка и случилась.

В Чусовском городке, конечно, начальник был. Воеводой ли — как его звали. А у этого воеводы дочь в самой невестиной поре. Василий и стал на ту деваху заглядываться.

Родня да приятели не раз Василью говаривали:

— Ты бы на эти окошки вовсе не глядел. Не по пути ведь! А то, гляди, еще бока намнут.

Только в таком деле разве сговоришь с кем, коли к сердцу припало. Не зря сказано — полюбится сова, не надо райской пташки. Зубами скрипнет Василий:

— Не ваше дело! — А сам думает:

«Кто мне бока намнет, коли у самого плечо две четверти и кулак полпуда».

Деваха та, воеводина-то дочь, по всему видать, из обманных девок пришлась. Бывает ведь, — лицом цветок, а нутром — головешка черная. Эта деваха хоть ласково на Василья поглядывала, а на уме свое держала. Раз и говорит ему из окошка тихонько, будто сторожится, чтоб другие не услышали:

— Приходи утром пораньше в наш сад. Перемолвиться с тобой надо.

Василий, понятно, обрадовался. На заре, чуть свет, забрался в воеводский сад, а тут его пятеро воеводских слуг давно ждали, и мужики здоровенные на подбор. Сам воевода тут же объявился, распорядок ведет:

— Вяжи холопа! Волоки на расправу!

Тимофеичу что делать? Он развернулся и давай гостинцы сыпать: кому — в ухо, кому — в брюхо. Всех разметал, как котят, а сам через загородку перемахнул. Шум, понятно, вышел. Еще люди набежали, а воевода, знай, кричит:

— Хватай живьем!

Василий видит — туго приходится, к Чусовой кинулся. Ворота городские по ранней поре еще заперты, да ему что! Сорвал с себя пояс, на бегу петлю сделал, захлестнул за стояк да старым обычаем и перекинулся за городской тын. Выбежал на берег, выбрал лодочку полегче да шест покрепче и пошел по Чусовой кверху.

Время, видишь, вешнее. Чусовая в полную силу шумела. На веслах вверх не выгребешь и с шестом умеючи надо, чтоб, значит, все гривки-опушышки на дне хорошо знать. Василий и понадеялся на свою силу да сноровку.

— Ну, кому, дескать, по такой воде меня догнать.

Только не так вышло.

Сколь ведь силы ни будь у человека и хоть как он реку ни знай, а не уйти ему против воды от погони, коли там шесту веслами помогают и смена есть. Как на грех, в одном месте промахнулся — ткнул шестом, а не маячит: дна не достает. Лодку и закружило. Пока Василий справлялся, погоня — тут она. На трех лодках человек, может, сорок, а то и больше. Одно Василью осталось — в воду и на берег, а там что будет. Только тоже дело ненадежное: чует, что из сил выбился, да и весной в лесу мудрено прятаться, — потому след сдалека видно.

Воевода на задней лодке на корму взмогнулся, будто сам правит. Увидел Васильеву неустойку — радуется:

— А, попался, холопья душа!

Василий оглянулся, хотел ответным словцом воеводу стегнуть и видит — высоко в небе над рекой два лебедя летят. И от солнышка видно, что на шеях у них как искорки посверкивают.

Обрадовался Василий, куда и усталость ушла, во весь голос закричал по-лебединому:

— Клип-анг, клип-анг!

А лебеди знают свое дело. Сверху-то, видно, все разглядели.

Налетел один на заднюю лодку и так крылом воеводушибнул, что тот вниз головой в воду бултыхнул. Другой лебедь на передней лодке двух шестовых опрокинул, да и весловых успел погладить: у кого нос в крови, у кого на лбу шишка.

Большая у погони заминка вышла: воеводу из воды добывать пришлось. Мужик сырой да тяжелый, а вешняя вода, известно: легкая да игривая. Любо ей со всякой колодиной побаловаться. Подхватила она воеводу и давай крутить — вот-вот пузыри пустит. Поймали все-таки, выволокли. Чуть живой с перепугу, зуб на зуб не попадает, а свое не забыл:

— Живьем хватайте! Не уйти ему.

А чего не уйти, коли Василья давно не видно. Лебеди сполуху погоне наделали, сели на воду, подплыли к Васильевой лодочке, один справа, другой слева кормы, как зажали лодку-то, да и повели так, что лес на берегу бегом побежал. Известно, против

лебедя на воде птицы нет. Сдаля поглядеть — будто не шевельнется, а попробуй — поровняйся с ним!

Так и потерялся Василий. Сколько воевода ни гонял людей, даже следа не видали. И то сказать, побаивались воеводские посланцы далеко по реке заходить, а Василий с лебедями всю Чусовую до краю прошел. Все речки-старицы изведаль, да и в окружности поглядел. Любопытствовал к этому.

Вот тогда ему, может, первому из наших и довелось сибирской водицы из Тагила-реки испить. Дошел, видишь, до какой-то неведомой речки и по уклону понял, что она на восход солнца пошла. Василия и потянуло, — что там, дальше-то, да лебеди заартачились, крыльями замахали: не выдумывай! Василий их и послушался, не пошел по Тагилу.

Эти лебеди в то лето и гнезда себе не вили, все около Василия старались. Мало что от воеводы ухранили да речные дороги показали, они еще открыли ему все здешнее богатство.

Поднимет лебедь правое крыло, как покажет на горку какую либо на ложок, поглядит Василий на то место и увидит насквозь: где какая руда лежит, где золото да каменья. Поднимет лебедь левое крыло, и Василию весь лес на берегу на многие версты откроется: где какой зверь живет, какая птица гнездится. Ну, как есть все.

При таких лебедях, понятно, об еде да питье Василью и заботы не было. Подведут лебеди лодочку к какому-нибудь крутику, похлопают крыльями, и откроется в том крутике ходок, как проточка малая. Заведут лебеди лодку в эту проточку, а там как пещера выкопана, и в ней поесть и попить приготовлено.

Все бы ладно, да без людей тоскливо. И то Василью покою не дает — воеводина дочь из мыслей не выходит. Думает, что она не по своей воле его подвела, а кто-нибудь разговор подслушал. Ну, Василий и жалел эту деваху.

— Теперь, поди, взаперти сидит да слезы льет, моя горюшенька!

Тосковал-тосковал и надумал:

— Жив не буду, а вызволю ее!

Лебеди видят — к дому Василья потянуло, головами покачивают:

— Ни к чему придумал! Ой, ни к чему!

Дорогу все-таки не загораживают:

— Воли, дескать, с тебя не снимаем, — как хочешь!

Когда Василий лодку в домашнюю сторону повернул, лебеди даже пособили ему. В один день лодку с самого верха до Чусовского городка довели. Посчитай, сколько на час придется!

Довели Василья до знакомых ему мест, поласкались маленько, как простились, а сами одно наговаривают:

— Клип-анг, клип-анг!

Вроде наказ дают: когда тебе надо, кричи нам!

Поднялись лебеди, улетели. Остался Василий один. Гребтится ему поскорее в город пробраться. Еле-еле потемок дождался, даром что время к осени и темнеть рано стало.

В городок попасть, чтобы караульные не видели, Василью привычно. Переметнулся через тын, где сподручнее, и пошел по городку. Идет спокойно, ни одна собачонка не гавкает. Недаром, видно, говорится — на смелого и собаки не лают.

Хотел сперва Василий понаведаться к кому-нибудь из старых своих ватажников-приятелей, разузнать про здешние дела, да мимо родного дома как пройдешь. Любопытно Василью хоть через прясло поглядеть. Остановился он, постоял и чует — не так будто стало, не по-старому, а в чем перемена — понять не может.

«Дай,— думает,— погляжу поближе».

Перелез тихонько в ограду, походил в потемках-то — живым вовсе не пахнет. Сунулся к дверям в сенки, там крестовина набита — никто, значит, не живет.

— Что за беда стряслась? Куда все подевались?

Сел Василий на крылечко, задумался. В городке вовсе тихо. Только все ж таки еще копошатся люди. То двери скрипнут, то кашляет кто, слово какое долетит. И вот слышит Василий — близенько кто-то не то поет, не то причитает:

Лебедь ты мой Васенька!
Где летаешь ты, где плаваешь?
Поглядеть одним бы глазоньком,
Перемолвиться словечушком!

Поет эдак, собирает разные девичьи жалостливые слова про кручину свою лютую да про злу-разлучницу, как она насмеялася, угнала лебедя милого, загубила его батюшку родимого, милых братцев в беду завела.

Слушает Василий — про него песня сложена, голос густой да ласковый, а кто поет — домекнуть не может.

Тут другой голос слышно стало. Вроде как мать заворчала: — Опять ты за свое! Добры люди спать легли, а ей все угомону нет! Про лебедя своего воет! Возьму вот за косу! Не погляжу, что в сажень вымахала! Бесстыдница!

Тут только Василий понял, кто песню пел. В близком соседстве росла долгоногая да глазастая девчушка-хохотушка, Аленкой звали. Года на четыре, а то и на пять помоложе Василья. Он и считал ее маленькой, а того не приметил, как из нее выровнялась девица — голову отдай, и то мало! Да еще вон какие песни складывает!

Затихли голоса, и песни не стало, а все ж таки Василий чует — не ушла Аленка из ограды, на крылечке сидит.

Василья и потянуло на ласковый девичий голос. Выбрался из своей ограды, подошел к соседней избушке и окликнул потихоньку:

— Аленушка!

Та ровно давно этого ждала, сейчас же отозвалась:

— Что скажешь, Василий Тимофеевич?

Удивился Василий:

— Как ты в потемках меня разглядела?

Она усмехнулась:

— Глаз у меня кошачий. Тебя вижу ночью, как днем, а то и лучше.

Потом без шутки сказала:

— С вечера твоих лебедей углядела и подумала — скоро ты должен в городке объявиться. Вот и сидела, караулила да голос подавала, чтоб предупредить тебя.

Тут Алена и рассказала все по порядку.

Баушка Ульяна с весны померла. Воевода хоть лютовал, а семейных у Василья сперва не задевал. Да на беду сам Строганов приехал. Как узнал про побег, так принародно на воеводу медведем заревел:

— Бревно ты еловое, а не воевода! Гоняешь людей бестолку, будто им другого дела найти нельзя. Ты мне так сделай, чтобы утеклец сам повинную принес и чтоб другим неповадно было в бега кинуться! Поленом тут кормить надо, а не калачами.

И сейчас же велел привести Тимофея с сыновьями, под батоги их поставил. Пусть, дескать, другие казнятся, что их семьям будет, ежели кто бежать удумает. Потом велел Тимофея и всю семью, от старого до малого, отправить на самую тяжелую работу — соль в кулях перетаскивать к пристаням, а дом и все добро на себя перевел.

Дознался тоже Строганов, какие люди в карауле стояли, когда Василий ушел, и велел их батожем бить и на солетаску нарядить с той только разницей, что семейных у этих людей в своих избах оставил.

Как поехать из города, велел Строганов народ собрать и погрозился:

— Кто увидит утеклеца Ваську да не доведет мне, тому это же будет!

Сказывали потом, что Тимофей после батогов-то недолго проработал, а братья живы. Ну, а воеводина дочь вскорости за строгановского приказчика замуж вышла. На свадьбе перед подружками своими, сказывают, похвалялась — вот-де я какая, глазом мигну, так любого парня вокруг пальца оберну! Головы не пожалеет, прибежит по моему зову. Вон по весне позвала в сад кормщика Василья, а сама батюшке сказала, чтоб хорошенько этого холопа проучил. Пусть свое место помнит!

Выслушал все это Василий да и говорит:

— Спасибо тебе, Аленушка, осветила мне дорогу. Теперь знаю, что делать. Коли Строганов придумал кормить моих поленом, так и от меня ему мягких не будет! А ту змею ногой раздав-

лю! — Потом вздохнул: — Эх, не знал, не ведал, что моя лебедушка верная через двор живет.

Алена и отвечает:

— Слово скажи — за тобой пойду.

Василий подумал-подумал и говорит:

— Нет, Аленушка, не подходит это. Вижу, вовсе трудная у меня дорога пойдет. Семейно по ней не пройдешь.

— Коли,— отвечает,— так тебе сподручнее, вязать не стану. Иди один!

Василий притуманился:

— Ты, Аленушка, все ж таки подожди меня годок-другой!

Алена так и вскинулась:

— Об этом не говори, Василий Тимофеич! Один ты у меня. Другого лебедя в моих мыслях весь век не будет.

Тут наслезилась она девичьим делом и подает ему узелок.

— Возьми-ко, лебедь мой Васенька! Не погнушайся хлебушком с родной стороны да малым моим гостинчиком. Рубахи тут да поясок браный. Носи — не забывай!

Подивился Василий вещему девичьему сердцу, как она вперед угадала, что придет, сам чуть не прослезился и говорит:

— Не осуди, моя лебедушка, коли худо про меня сказывать будут.

— Худому про тебя,— отвечает,— не поверю. Сам тот худой для меня станет, кто такое о тебе скажет. Ясным ты мне к сердцу припал, ясным на весь век останешься!

На том они и расстались. Ушел Василий, никому больше не показался. Вскорости слух прошел: появились на строгановских землях вольные люди. В одном месте соленосов увели, в другом — приказчика убили, его молодую жену из верхнего окошка выбросили, а дом сожгли. Дальше заговорили,— поселились будто эти вольные люди в береговой пещере пониже Белой реки и строгановским караванам проходу не дают. И вожаком будто у этих вольных людей Василий Кормщик.

Строгановы, понятно, забеспокоились. Чуть не целое войско снарядили. Тем людям, видно, трудно пришлось,— они и ушли, а куда — неизвестно. Слуху о них не стало. О Василье в городке и поминать перестали. Одна Аленушка не забыла:

— Где-то лебедь мой летает? Где он плавает?

Сколь отец с матерью ни бились, не пошла Алена замуж. Да и женихов у ней не много было. Она, видишь, хоть пригожая и на доброй славе была, а сильно рослая. Редкий из парней подходит ей в пару, а она еще подсмеивалась:

— Какой это мне жених! Ненароком сшибешь его локтем,— на весь городок опозоришь.

Так и осталась Алена одна век вековать. Как обыкновенно, рукодельницей стала,— ткальей да пряльей. По всему городу лучше ее по этому делу не было. Да еще любила с ребяташками

водиться. Всегда около нее много мелочи бегало. Алена умела всякого обласкать. Кого покормит, кого позабавит, кому песню споет, сказку скажет. Любили ее ребята, а матери прозвали Аленушку — Ребяхья Радость и, как могли, ей сноровляли.

Годы, конечно, всякого заденут: малому прибавят, у старого из остатков отберут, не пощадят. Отцвела и наша Аленушка. Присекаться волос стал, черную косу белые ниточки перевили, только глаза ровно еще больше да краше стали.

К этой поре старые хозяева Строгановы все перемерли. На их место сыновья заступили. Народу на Чусовой умножилось. Сибирского хана сын с войском неожиданно-негаданно на Чусовской городок набежал. Еле отбились горожане. По этому случаю старики про Василия вспоминали:

— Вот бы был наш Тимофеич дома, не то бы было. Спозаранок бы он разведал про незваных гостей и гостинцев бы им припас не столько. Напередки забыли бы дорогу к нашему городу! Дорогой человек по этому делу был. Зря его загубили!

Вскорости после этого слух прошел — к Строгановым поволжские вольные казаки плывут, а ведет их атаман Ермак Тимофеич.

— По всей Волге на большой славе тот человек. Не то что бухарские и других земель купцы его боятся, и царские слуги сторонкой обходят те места, где атаман объявится. И ватага у того атамана наотбор.

У него, видишь, не было той атаманской повадки, чтоб на свою руку побольше хапнуть. Он и других к тому не допускал. По этому правилу и ватагу составил. Чуть кто неустойку окажет, такого сейчас из ватаги долой.

— Нам,— скажет атаман,— с такой слабиной людей не надо! Как тебе ватага поверит, коли ты о себе одном стараешься. Иди на все стороны да со мной, гляди, напередки не встречайся, а то худой разговор выйдет!

И крепко то атаманское слово было. Не помилует и того, кто надумает поблажку в таком деле дать да и отговаривается,— недоглядел этого пустяка.

— Это,— отвечает атаман,— не пустяк, потому — может раздор в артели сделать. В первую голову всяк за этим гляди, чтоб у нас все шло на артель, в одну казну, в один котел!

За это будто атамана и прозвали Ермаком, как это слово татарски, сказывают, котел обозначает на всю артель. А Тимофеичем, видно, по отцу величают, как обыкновенно у нас ведется. И еще сказывали,— не любит атаман Ермак, чтоб ватажники себя семьями вязали. Сам одиночкой живет и других к тому склоняет:

— Трудная наша дорога. Не по такой дороге семейно ходить да детей растить.

Слушает эти разговоры Алена и дивится:

— Его слова! И Тимофеичем величают. Не он ли? Лебедь мой, Васенька?

К осени опять слух донесся:

— К Строгановым на Каму приплыл атаман Ермак с войском. По осенней воде пойдут на стругах вверх по Чусовой сибирского хана воевать. Скоро атаман с казаками в Чусовском городке будет.

Все, понятно, ждут. Как пришла весточка, в какой день будут, весь народ из городка на берег высыпал, и Аленушка туда же прибежала.

Завиднелись струги. Легко против осенней воды на веслах идут. Песни казаки поют. Поближе подходить стали, в народе говорок пошел, как диво какое увидели. Глядит Алена, а у переднего струга два лебедя плывут и на шеях у них как искорки посверкивают: у одного красненькая, у другого синенькая.

Как стали струги к берегу подваливать, лебеди поднялись с воды, покружились над городком и на восход солнца улетели.

Первым на берег атаман вышел. Годов за полсотни ему. По кучерявой бороде серебряные струйки пробежали, а поглядеть любо. Высок да статен, в плечах широк, бровь густая, глаз веселый да пронзительный.

Одет ровно попросту,— не лучше других казаков. Только сабля в серебре да дорогих каменьях.

Глядит Алена — он ведь! Он самый! — а все признать не на смелится. Да тут и углядела — рубаха-то у атамана пояском ее работы опоясана. Чуть не сомлела Аленушка, все ж таки на ногах устояла и слова не выронила. Стоит белехонька да с атамана глаз не сводит.

А он своим зорким глазом еще со струга Аленушку приметил и по девичьему убору догадался, что незамужницей осталась.

Поздоровался атаман с народом, потом подошел к Аленушке, поклонился ей, рукой до земли, да и говорит:

— Поклон тебе низкий от вольного казацкого атамана Ермака, а как его по-другому звать — сама ведаешь. Не обессудь, моя лебедушка, что в пути запозднил. Не своей волей по низу до седых волос плавал, когда смолodu охота была против верховой воды плыть. И на том в обиде не будь: не забывал тебя и поясок твой ни в бою, ни в пиру с себя не снимал.

Поговорили они тут. Понял тогда народ, кто есть донской казак атаман Ермак, какого он роду-племени, в каком месте его лебедушка ко гнезду ждала.

Два дня, а то и три простоял Ермак с своим войском в Чусовском городке. Не один раз за те дни с Аленушкой побеседовал. Всю свою жизнь ей рассказал. Как он братьев да друзей своих из неволи вызволил, как с ними строгановские караваны топил, как потом на Дону казачил да по Волге гулял. Ну, все как есть. И про то объяснил, почему на Чусовую пришел.

— Много,— говорит,— в нашу казну богатства добывали,

а нет против того, какое мне лебеди по нашей реке в горах показывали.

Вот и надумал тем богатством себе и всей ватаге — головы откупить, а кому не случится голову свою вынести — тому добрую память в людях оставить. Лебеди как подслушали мою думу... Давно их не видал, а тут оба появились и будто манят плыть, куда надумал. Всю дорогу с нами плывут, а где остановка — улетают, и всегда в ту сторону, куда дальше путь идет...

В осенний праздник, в семенов день, собрался атаман дальше плыть. Из Чусовского городка народу в войско прибыло. Ну, и проводы вышли вроде как семейные, потому — с заезжими казаками своих отправляли. На берег многие так семьями и шли, — кто брата, кто сына провожал.

Аленушка рядом с атаманом шла. Она, конечно, годами на другую половину жизни клонилась, а красоту свою не вовсе потеряла. Принарядится праздничным делом, так еще заглядишься.

Атаман тоже для такого случая приделся. Верховик на шапке малиновый, кафтан цветной парчи, рубаха дорогого шелку, а сабля и протчая орудия — глаза зажмурь. И то углядели люди — новый у атамана поясok. Широкий такой, небывалого узору: по голубой воде белые лебеди плывут. Это, видно, Аленушка опоясала своего лебедя на незнамую дальнюю дорогу.

И вот идут они, как лебедин да лебедушка. Оба высокие да статные, красивые да приветные, как погожий день в осени. Далеко их в народе видно. А кругом ребятишки-мелочь вьются. Это Аленушкины прикормленники да приспешники со всего города сбежались. Известно, большому лестно, а малому и подавно охота близко такого атамана поглядеть, рядом по улице пройти.

Как атаман на берег, так лебеди — на воду, сразу кверху поплыли, оглядываются да покрикивают:

— Клип-анг! Клип-анг!

Вроде поторапливают:

— Пора, атаман! Пора, атаман!

Тут атаман простился с народом, с Аленушкой на особицу, сам на струг — и велел отваливать. Отплыл — и концы в воду.

Сперва добрые вести доходили, как Ермак с войском сибирского хана покорил и все города побрал, как Грозный царь за это всем казакам старые вины простил и подаренье свое царское отправил. И про то сказывали, будто велел Грозный царь сковать атаману для бою кольчатую рубаху серебряную с золотыми орлами. Дивились царевы бронники, как Ермаковы посланцы стали про атаманов рост сказывать. Сильно сомневались в том бронники, а все-таки сковали рубаху, как было указано, от вороту до подолу два аршина, а в плечах — аршин с четвертью, и золотых орлов посадили.

Прикинь-ко, какой силы и росту человек был, коли мог эту тяжесть на себе в бою носить!

Радовалась Аленушка этим вестям. Всем ребятишкам, какие около нее вились, рассказывала — вот, дескать, какой атаман удачливый да смелый.

Года два такими вестями Аленушка тешилась, потом перемена вышла: вовсе не слышно стало о казацком войске, как снегом путь замело. Долго ждала Аленушка, да и дождалась: в осенях приползла в городок черная молва.

— Мало в живых казаков осталось, и сам атаман загиб. Изменой заманили его с малым войском да ночью, как все казаки спали в лодках, и навалились многолюдством. Атаману, видно, надо было с одной лодки на другую перескочить, да опрометился он и попал в воду на глубокое место. В кольчатой-то рубахе царского подаренья и не смог выплыть. И лебеди не могли атамана ухранить, потому — ночью дело вышло, а эта птица, известно, ночью не видит.

Выслушала все это Аленушка, слова не выронила и ушла в свою избу, а вскоре ребятишки по всему городу заревели — умерла Аленушка.

Отцы-матери побежали поглядеть. Верно — умерла Аленушка, Ребятняя Радость. Лежит на скамейке у окошечка, и руки на смерть сложены, а сарафан и весь убор на ней тот самый, в каком она атамана в поход провожала. Поплакали тут которые, вспоминая тот день, пожалели:

— Вот пара была, да гнезда не свила.

От какой причины неожиданная смерть Аленушке пришла, так никто и не узнал. На том решили:

— По-лебединому умерла наша Аленушка. У них ведь известно, как ведется: один загиб — другому не жить.

Так вот оно как дело-то было! Приплыл донской казак на родиму сторонку — на реку Чусовую. Это присловье про Ермака и сложено. В прежни-то годы, сказывают, такое часто случалось. Набродно на Дону было, — со всех сторон туда люди сбегались, кому дома не вмоготу пришлось. Ну, а этот из Чусовского городка был, Васильем Тимофеичем Алениным звали, а на Дону да по Волге он стал Ермак Тимофеич.

Здесьние-то реки он с молодых годов знал. Ему, брат, вожака не надо было! Сам первый вожак по речным дорогам был! И то ни в жизнь бы ему в сибирскую воду проход не найти, кабы лебеди не пособили. Куда потом эти лебеди улетели — сказать не умею.

По нашим местам эту птицу сильно уважают. Кто ненароком лебедя подшибет, добра себе не жди: беспрременно неожиданное горе тому человеку случится. А хуже того, коли оплошает охотник из старателей. Такому и вовсе свое земельное ремесло бросать надо, потому удачи на золото после того не станет. Что хочешь делай, а даже золотины в ковшике не увидишь. Испытанное дело. Да вот еще штука какая у стариков велась — ставили деревянных лебедей на воротах.

А это в ту честь, что лебеди первые нашему русскому человеку земельное богатство в здешних краях показали. За это им и почет, и Василью Тимофеичу с Аленушкой память. Это — что парой-то! Вот в чем тут загвоздка.

ЖИВИНКА В ДЕЛЕ

Это еще мои старики сказывали. Годков-то, значит, порядком прошло. Ну, все-таки после крепости было.

Жил в те годы в нашем заводе Тимоха Малоручко. Прозвание такое ему на старости лет дали.

На деле руки у него в полной исправности были. Как говорится, дай бог всякому. При таких руках на медведя с ножом ходить можно. И в остальном изъяну не замечалось: плечо широкое, грудь крутая, ноги дюжие, шею оглоблей не сразу согнешь. Таких людей по старине, как праздничным делом стенка на стенку ходили, звали стукачами: где стукнет, там и пролом. Самолучшие бойцы от этого Тимохи сторонились, — как бы он в азарт не вошел. Хорошо, что он на эти шутки не зарный был. Недаром, видно, слово молвлено: который силен, тот драчлив не живет.

По работе Тимоха вовсе емкий* был, много поднимал и смекалку имел большую. Только покажи, живо переймет и не хуже тебя сделает.

По нашим местам ремесло, известно, разное.

Кто руду добывает, кто ее до дела доводит. Золото моют, платинешку выковыривают, бутовой да горновой камень ломают, цветной выволакивают. Кто опять веселые галечки выискивает да в огранку пускает. Лесу валить да плавить приходится немалое число. Уголь тоже для заводского дела жгут, зверем промышляют, рыбой занимаются. Случалось и так, что в одной избе у печки ножик да вилки в узор разделявают, у окошка камень точат да шлифуют, а под полатями рогожи ткут. От хлебушка да скотинки тоже не отворачивались. Где гора позволяла, там непременно либо покос, либо пашня. Одним словом, пестренькое дело, и ко всякому сноровка требуется, да еще и своя живинка полагается.

Про эту живинку и посейчас не все толком разумеют, а с Тимохой занятный случай в житье вышел. На примету людям.

Он, этот Тимоха, — то ли от молодого ума, то ли червоточина какая в мозгах завелась, — придумал всякое здешнее мастерство своей рукой опробовать да еще похваляется:

— В каждом до точки дойду.

Семейные и свои дружки-ровня стали отговаривать:

— Ни к чему это. Лучше одно знать до тонкости. Да и житья не хватит, чтобы всякое мастерство своей рукой изведать.

Тимоха на своем стоит, спорит да по-своему считает:

— На лесовала — две зимы, на сплавщика — две весны, на старателя — два лета, на рудобоя — год, на фабричное дело — годов десяток. А там пойдут углежоги да пахари, охотники да рыбаки. Это вроде забавы одолеть. К пожилым годам камешками заняться можно, али модельщиком каким поступить, либо в шорники на пожарной пристроиться. Сиди в тепле да крути колеско, фуганочком пофуркивай, либо шильцом колупайся.

Старики, понятно, смеются:

— Не хвастай, голенастый! Сперва тело изведи.

Тимохе неймется.

— На всякое, — кричит, — дерево влезу и за вершинку подержусь.

Старики еще хотели его урезонить: вершинка, дескать, мера ненадежная: была вершинкой, а станет серединкой, да и разные они бывают — одна ниже, другая выше.

Только видят — не понимает парень. Отступились. Твое дело. Чур, на нас не пенять, что вовремя не отговорили.

Вот и стал Тимоха ремесла здешние своей рукой пробовать.

Парень ядреный, к работе усерден — кто такому откажет. Хоть лес валить, хоть руду дробить — милости просим. И к тонкому делу допуск без отказу, потому — парень со смекалкой, и пальцы у него не деревянные, а с большим понятием.

Много Тимоха перепробовал заводского мастерства и нигде, понимаешь, не оплошал. Не хуже людей у него выходило.

Женатый уж был, ребятишек полон угол с женой накопили, а своему обычаю не попускался*. Дойдет до мастера по одному делу и сейчас же поступит в выученики по другому. Убыточно это, а терпел, будто так и надо. По заводу к этому привыкли, при встречах подшучивали:

— Ну как, Тимофей Иванович, все еще в слесарях при механической ходишь али в шорники на пожарную подался?

Тимоха к этому без обиды. Отшучивается:

— Придет срок — ни одно ремесло наших рук не минует.

В эти вот годы Тимоха и объявил жене: хочу в углежоги податься. Жена чуть не в голос взвыла:

— Что ты, мужик! Неуж ничего хуже придумать не мог? Всю избу прокоптишь! Рубах у тебя не достигаешься. Да и какое это дело! Чему тут учиться?

Это она, конечно, без понятия говорила. По нынешним временам, при печах-то, с этим попроще стало, а раньше, как уголь в кучах томили, вовсе мудреное это дело было. Иной всю жизнь колотится, а до настоящего сорта уголь довести не может. Домашние поварчивают:

— Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не дает, а все у него трухляк да мертвяк выходит. У соседей вон песенки попевают, а уголь звон звоном. Ни недогару, ни перегару у них нет и квелого самая малость.

Сколько ни причитала Тимохина жена, уговорить не могла. В одном обнадежил:

— Недолго, поди-ко, замазанным ходить буду.

Тимоха, конечно, цену себе знал. И как случится ремесло менять, первым делом о том заботился, чтоб было у кого поучиться. Выбирал, значит, мастера. По угольному делу тогда на большой славе считался дедушко Нефед. Лучше всех уголь доводил. Так и назывался — нефедовский уголь. В сараях этот уголек отдельно ссыпали. На самую тонкую работу выдача была.

К этому дедушке Нефеду Тимоха и заявился. Тот, конечно, про Тимохино чудачество слышал и говорит:

— Принять в выученики могу, без утайки все показывать стану, только с уговором. От меня тогда уйдешь, как лучше моего уголь доводить навыкнешь.

Тимоха понадеялся на свою удачливость и говорит:

— Даю в том крепкое слово.

На этом, значит, порешили и вскорости в курень поехали.

Дедушка Нефед — он, видишь, из таких был... обо всяком деле думал, как его лучше сделать. На что просто чурак на плахи расколоть, а у него и тут разговор:

— Гляди-ко! Сила у меня стариковская, совсем на исходе, а колю не хуже твоего. Почему, думаешь, так-то?

Тимоха отвечает: топор направлен и рука привычная.

— Не в одном, — отвечает, — топоре да привычке тут дело, а я ловкие точки выскиваю.

Тимоха тоже стал эти ловкие точки искать.

Дедушка Нефед все объясняет по совести, да и то видит Тимоха — правда в Нефедовых словах есть, да и самому забавно. Иной чурак так разлетится, что любо станет, а думка все же останется: может, еще бы лучше по другой точке стукнуть.

Так Тимоха сперва на эти ловкие точки и поймался.

Как стали плахи в кучи устанавливать, дело вовсе хитрое пошло. Мало того, что всякое дерево по-своему ставить доводится, а и с одним деревом случаев не сосчитаешь. С мокрого места сосна — один наклон, с сухого — другой. Раньше рублена — так, позже — иначе. Потолще плахи — продухи такие, пожиже — другие, жердовому расколу особо. Вот и разбирайся. И в засыпке земель тоже.

Дедушка Нефед все это объясняет по совести, — да и то вспоминает, у кого чему научился.

— Охотник один научил к дымку принюхиваться. Они — охотники-то — на это дошлые. А польза сказалась. Как учую — кислым потянуло, сейчас тягу посильнее пушу. Оно и ладно.

Набеглая женщина надоумила. Остановилась как-то около кучи погреться да и говорит:

«С этого боку жарче горит».

«Как, — спрашиваю, — узнала?»

«А вот обойди,— говорит,— кругом — сам почувешь».

Обошел я, чую — верно сказала. Ну, подсыпку сделал, поправил дело. С той поры этого бабьего совету никогда не забываю. Она, по бабьему положению, весь век у печки толкошится, привычку имеет жар разбирать.

Рассказывает так-то, а сам нет-нет про живинку напомним:

— По этим вот ходочкам в полных потемочках наша живинка-паленушка и поскакивает, а ты угадывай, чтоб она огневкой не перекинулась либо пустодымкой не обернулась. Чуть недоглядел — либо перегар, либо недогар будет. А коли все дорожки ловко улажены, уголь выйдет звон звоном.

Тимохе все это любопытно. Видит — дело не простое, попотеть придется, а про живинку все-таки не думает.

Уголь у них с дедушкой Нефедом, конечно, первосортный выходил, а все же, как станут разбирать угольные кучи, одна в одну никогда не придется.

— А почему так? — спрашивает дедушка Нефед, а Тимоха и сам это же думает: в каком месте оплошку сделал?

Научился Тимоха и один всю работу доводить. Не раз случилось, что уголь у него и лучше Нефедова бывал, а все-таки это ремесло не бросил.

Старик посмеивается:

— Теперь, брат, никуда не уйдешь: поймала тебя живинка, до смерти не отпустит.

Тимоха и сам дивился — почему раньше такого с ним никогда не случалось.

— А потому,— объясняет дедушка Нефед,— что ты книзу глядел — на то, значит, что сделано; а как кверху поглядел — как лучше делать надо, тут живинка тебя и подцепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть, впереди мастерства бежит и человека за собой тянет. Так-то, друг!

По этому слову и вышло. Остался Тимоха углежогом, да еще и прозвище себе придумал. Он, видишь, любил молодых наставлять и все про себя рассказывал, как он хотел смолodu все ремесла одолеть, да в углежогах застрял.

— Никак,— говорит,— не могу в своем деле живинку поймать. Шустрая она у нас. Руки, понимаешь, малы.

А сам ручищами-то своими разводит. Людям, понятно, смех. Вот Тимоху и прозвали Малоручком. В шутку, конечно, а так мужик вовсе на доброй славе по заводу был.

Как дедушка Нефед умер, так Малоручков уголь в первых стал. Тоже его отдельно в сараях сыпали. Прямо сказать, мастер в своем деле был.

Его-то внуки-правнуки посейчас в наших местах живут. Тоже которые живинку — всяк на своем деле — ищут, только на руки не жалуются. Понимают, поди-ко, что наукой можно человечьи руки нарастить выше облака.

ВАСИНА ГОРА

Ровным-то местом мы тут не больно богаты. Всѣ у нас горы да ложкѣ, ложкѣ да горы. Не обойдешь их, не объедешь. Гора, конечно, горе рознь. Иную никто и в примету не берет, а другую не то что в своей округе, а и дальние люди знают: на слуху она, на славе.

Одна такая гора у самого нашего завода прилась. Сперва с версту, а то и больше такой тянигуж, что и крепкая лошадка налегке идет и та в мыле, а дальше еще надо взлобышек одолеть, вроде гребешка самого трудного подъему. Что говорить, приметная горка. Раз пройдешь либо проедешь, надолго запомнишь и другим сказывать станешь.

По самому гребню этой горы проходила грань*: кончался наш заводский выгон и начиналась казенная лесная дача*. Тут, ясное дело, загородка была поставлена и проездные ворота имелись. Только эти ворота — одна видимость. По старому трактовому положению их и на минуту запереть было нельзя. Железных дорог в ту пору по здешним краям не было, и по главному Сибирскому тракту шли и ехали, можно сказать, без передышки днем и ночью.

Скотину в ту сторону пропустить хуже всего, потому — сразу от загородки шел вековой ельник, самое глухое место. Какая коровенка либо овечка проберется — не найдешь ее, а скаты горы не зря звались Волчьими падами. Зимами и люди мимо них с опаской ходили, даром что рядом Сибирский тракт гудел.

Сторожить у проездных ворот в таком месте не всякому доверишь. Надежный человек требуется. Наши общественники долго такого искали. Ну, нашли все-таки. Из служилых был, Василием звали, а как по отчеству да по прозванию, не знаю. Из здешних родом. В молодых годах его на военную службу взяли, да он скоро отвоевался: пришел домой на деревяшке.

Близких родных, видно, у этого Василия не было. Свою семью не завел. Так и жил бобылем в своей избушке, а она как раз в той стороне, где эта самая гора. Пенсион солдатский по старому положению в копейках на год считался, на хлеб не хватало, а кормиться чем-то надо. Василий и приспособился, по-нашему говорится, к сидячему ремеслу: чеботарил по малости, хомуты тоже поправлял, корзинки на продажу плел, разную мелочь ко кроснам* налаживал. Работа все копеечная, не разживешься с такой. Василий хоть не жаловался, а все видели — бьется мужик. Тогда общественники и говорят:

— Чем тебе тут сидеть, переходи-ка в избушку при проездных воротах на горе. Приплачивать будем за караул.

— Почему, — отвечает, — миру не послужить? Только мне на деревяге не больно способно скотину отгонять. Коли какого мальчонку в подручные ставить будете, так и разговору конец.

Общественники согласились, и вскоре этот служивый перебрался в избушку при проездных воротах. Избушка, понятно, маленькая, полевая, да много ли бобылю надо: печурку, чтоб похлебку либо кашу сварить, нары для спанья да место под окошком, где чеботарскую седулку поставить. Василий и прижился тут на долгие годы. Сперва его дядей Васей звали, потом стал дед Василий. И за горой его имя укоренилось. Не то что наши заводские, а чужедальные, кому часто приходилось ездить либо с обозами ходить по Сибирскому тракту, знали Васину гору. Многие проезжающие знали и самого старика. Иной раз покупали у него разную мелочь, подшучивали:

— Ты бы, дед, хоть по вершку в год гору снимал, все-таки легче бы стало.

Дед на это одно говорил:

— Не снимать, а наращивать бы надо, потому эта гора человеку на пользу.

Проезжающие начинают допрашивать, почему так, а дед Василий эти разговоры отводил:

— Поедешь дальше, дела-то в дороге немного, ты и подумай.

Подручных ребятишек у деда Василия перебивало много. Поставят какого-нибудь мальчонку-десятилетка из сироток, он и ходит при этом деле год либо два, пока не подрастет для другой работы, а дальше к деду Васе другого нарядят. А ведь годы-то наши, как вешний ручей с горы, бегут, крутятся, что и глазом не уследишь. Через десяток годов, глядишь, первый подручный сам семьей обзавелся, а через другой десяток у него свои парнишки в подручные к деду Василию успели. Так и накопилось в нашем заводе этаких выучеников Васиной горы не один десяток. Разных, понятно, лет. Одни еще вовсе молодые, другие настоящие взрослые, в самой поре, а были и такие, что до седых волос уж дотянулись, а примета у всех у них одна: на работу не боязливы и при трудном случае руками не разводят. Да еще заметили, что эти люди норовят своих ребятишек хоть на один год к деду Василию в подручные определить, и не от сиротства либо каких недостатков, а при полной даже хозяйственности. Случалось, перекорялись из-за этого один с другим: моя очередь, твой-то парнишка годик и подождать может, а моему самая пора.

Люди, конечно, любопытствовали, в чем тут штука, а эти выученики Васиной горы и не таились. В досужий час сами любили порассказать, как они в подручных у деда Василия ходили и чему научились.

Всяк, понятно, говорил своим словом, а на одно выходило.

Место у проездных ворот на Васиной горе вовсе хлопотливое было. Не то что за скотом, а и за обозниками доглядывать требовалось: на большой дороге, известно, без баловства не проходит. Иной обозник где-нибудь на выезде из завода прихватит барашка да и ведет его потихоньку за своим возом. Забивать, конечно,

опасались, потому тогда и до смертного случаю достукаться можно. Наши заводские тоже ведь на большой дороге выросли, им в таком разе обозников щадить не доводилось. С живым бараном куда легче. Всегда отговориться было можно: подобрали приبلудного, сам увязался за хлебушком, видно, — отогнать не можем. А отдашь — и вовсе люди вязаться не станут, поругаются только вдогонку да погрозят. Караулу, выходит, крепко посматривать надо было.

Ну, все-таки, сколь ни беспокойно было при этих проездных воротах, а досуг тоже был. Старик в такие часы за работой своей сидел, а подручному мальчонке что делать? Отлучаться в лес либо на сторону старик не дозволял. Известно, солдатская косточка, приучен к службе. С караула разве можно? Строго на этот счет у него было. Парнишке, значит, в такие досужие часы одна забава оставалась — на прохожих да на проезжих глядеть. А тракт в том месте как по линейке вытянулся. С вершины в ту и другую сторону далеко видно, кто подымается, кто спускается. Поглядит этак, поглядит мальчонка да и спрашивает у старика:

— Дедо, я вот что приметил. Подымется человек на нашу гору хоть с этой стороны и непременно оглянется, а дальше разница выходит. Один будто и силы небольшой и на возрасте — пойдет вперед веселехонек, как в живой воде искупался, а другой, случается, по виду могутный — вдруг голову повесит и под гору плетется, как ушиб его кто. Почему такое?

Дед Василий и говорит:

— А ты сам спроси у них, чего они позади себя ищут, тогда и узнаешь.

Мальчонка так и делает: начинает у прохожих спрашивать, зачем они на перевале горы оглядываются. Иной, понятно, и цыкнет, а другие отвечали честь честью. Только вот диво — ответы тоже на два конца. Те, кто идет дальше веселым, говорят:

— Ну как не поглядеть. Экую гору одолел — дальше и бояться нечего. Все одолею. Потому и весело мне.

Другие опять стонут:

— Вон на какую гору взобрался, самая бы пора отдохнуть, а еще идти надо.

Эти вот и плетутся, как связанные, смотреть на них тошно.

Расскажет мальчонка про эти разговоры старику, а тот и объясняет:

— Вот видишь, гора-то на дороге силу людскую показывает. Иной по ровному месту, может, весь свой век пройдет, а так своей силы и не узнает. А как случится ему на гору подняться вроде нашей, с гребешком, да поглядит он назад, тогда и поймет, что он сделать может. От этого, глядишь, такому человеку в работе подмога и жить веселее. Ну, и слабого человека гора в полную меру показывает: трухляк, дескать, кислая кошма*, на подметки не годится.

Мальчонке, понятно, неохота в трухляки попасть, он и хвалится:

— Дедо, я на эту гору каждый бегом подыматься стану. Вот погляди.

Старик посмеивается:

— Ну что ж, худого в этом нет. Может, и пригодится когда. Только то помни, что не всякая гора наружу выходит. Главная гора — работа. Коли ее пугаться не станешь, то вовсе ладно будет.

Так вот и учил дедушко Василий своих подручных, а те своим ребятишкам это передали. И до того это в наших местах укоренилось, что Васиная гора силу человека показывает, что парни нарочно туда бегали, подкарауливали своих невест. Узнают, скажем, что девки ушли за горы по ягоды либо по грибы, ну и ждут, чтобы посмотреть на свою невесту на самом гребешке: то ли она голову повесит, то ли песню запоет.

Невесты тоже в долгу не оставались. Каждая при ловком случае старалась поглядеть, как ее суженый себя покажет на гребешке Васиной горы.

И посейчас у нас эта гора не забыта. Частенько ее поминают, и не для рассказа про старое, а прямо к теперешнему прикладывают:

— Вот война-то была. Это такая гора, что и поглядеть страшно, а ведь одолели. Сами не знали, что в народе столько силы найдется, а гора показала. Все равно, как новый широкий путь народу открыла. Коли такое сделал, так и много больше того сделать можешь.

СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ

Против нашей Ильменской каменной кладовухи, конечно, по всей земле места не найдешь. Тут и спорить нечего, потому — на всяких языках про это записано: в Ильменских горах камни со всего света лежат.

Такое место, понятно, мимо ленинского глаза никак пройти не могло. В 20-м году Владимир Ильич самоличным декретом объявил здешние места заповедными. Чтоб, значит, промышленников и хитников всяких по загровку, а сберегать эти горы для научности, на предбудущие времена.

Дело будто простое. Известно, ленинский глаз не то что по земле, под землей видел. Ну, и эти горы предусмотрел. Только наши старики горщики все-таки этому не совсем верят. Не может, дескать, так быть. Война тогда на полную силу шла. Без случая это дело не прошло. И по-своему рассказывают так.

Жили два артельных брата: Максим Вахоня да Садык Узеев, по прозвищу Сандугач. Один, значит, русский, другой из башкир-

цев, а дело у них одно — с малых лет по приискам да рудникам колотились и всегда вместе. Большая, сказывают, меж ними дружба велась, на удивление людям. А сами друг на дружку нисколько не походили. Вахоня — мужик тяжелый, борода до пупа, плечи ровно с подставышем, кулак — глядеть страшно, нога медвежья и разговор густой, буторовый. Потихоньку загудит, и то мух в сторону на полсажени относит, а характеру мягкого. По пьяному делу, когда какой заноза раздражит, так только пригрозит:

— Отойди, парень, от греха! Как бы я тебя ненароком не стукнул.

Садык ростом не вышел, из себя тончавый, вместо бороденки семь волосков, и те не на месте, а жилу имел крепкую. Забойщик, можно сказать, тоже первой статьи. Бывает ведь так-то. Ровно и поглядеть не на кого, а в работе податен. Характера был веселого. Попеть, и поплясать, и на курае* подудеть большой охотник. Недаром ему прозвище дали Сандугач, по-нашему соловей.

Вот эти Максим Вахоня да Садык Сандугач и сошлись в житье на одной тропе. Не всё, конечно, на казну да хозяев добывали. Бывало, и сам-друг пески перелопачивали, — свою долю искали. Случалось, и находили, да в карманах не залежалось. Известно, старательскому счастью одна дорога была показана. Прогуляют всё, как полагается, и опять на работу, только куда-нибудь на новое место: там, может, веселее.

Оба бессемейные. Что им на одном месте сидеть! Собрали котомки, инструмент прихватили — и айда.

Вахоня гудит:

— Пойдем поглядим, в каком месте люди хорошо живут.

Садык веселенько шагает да посмеивается:

— Шагай, Максимка, шагай! Новым мистам залотой писок сама рукам липнет. Дарогой каминь барадам скачит. Один раз твой барада полпуда станит.

— У тебя небось ни один не задержится, — отшучивался Вахоня и лешачиным обычаем гогочет: хо-хо-хо.

Так вот и жили два артельных брата. Хлебнули сладкого досыта: Садык в работе правый глаз потерял, Вахоня на левое ухо совсем не слышал.

На Ильменских горах они, конечно, не раз бывали.

Как гражданская война началась, оба старика в этих же местах оказались. По горняцкому положению, конечно, оба по винтовке взяли и пошли воевать за Советскую власть. Потом, как Колчака в Сибирь отогнали, политрук и говорит:

— Пламенное, дескать, вам спасибо, товарищи старики, от лица Советской власти, а только теперь, как вы есть инвалиды подземного труда, подавайтесь на трудовой фронт. К тому же, — говорит, — фронтовую видимость нарушаете, как один кривой, а другой глухой.

Старикам это обидно, а что поделаешь? Правильно политрук

сказал — надо поглядеть, что на приисках делается. Пошли сразу к Ильменям, а там народу порядком набилось, и всё хита самая последняя. Этой ничего не жаль, лишь бы рублей побольше зашибить. Все ямы шахты живо засыплет, коли выгодно покажется. За хитой, понятно, купец стоит, только себя не оказывает, прячется. Заподумывали наши старики — как быть? Сбегали в Миас, в Златоуст, обсказали, а толку не выходит. Отмахиваются:

— Не до этого теперь, да и на то главки есть.

Стали спрашивать про эти главки, в голове муть пошла. По медному делу — одна главка, по золотому — другая, по каменному — третья. А как быть, коли на Ильменских горах всё есть. Старики тогда и порешили:

— Подадимся до самого товарища Ленина. Он небось найдет время.

Стали собираться. Только тут у стариков рассорка случилась. Вахоня говорит: для показу надо брать один дорогой камень, который в огранку принимают. Ну, и золотой песок тоже. А Садык свое заладил: всякого камня образец взять, потому дело научное.

Спорили, спорили, на том договорились: каждый соберет свой мешок, как ему лучше кажется.

Вахоня расстарался насчет цирконов да фенацитов. В Кочкарь сбегал, спроворил там эвкалазиков синеньких да розовых топазиков. Золотого песку тоже. Мешочек у него аккуратный вышел, и камень все — самоцвет. А Садык наворотил, что и поднять не в силах. Вахоня грохочет:

— Хо-хо-хо! Ты бы все горы в мешок забил! Разберись, дескать, товарищ Ленин, которое к делу, которое никому не надо.

Садык на это в обиде.

— Глупый,— говорит,— ты, Максимка, человек, коли так бачку Ленина понимаешь. Ему научность надо, а базарная цена камню — наплевать.

Поехали в Москву.

Без ошибки в дороге, конечно, не обошлось. В одном месте Вахоня от поезда отстал. Садык хоть и в сердцах на него был, сильно запечалился, захворал даже. Как-никак всегда вместе были, а тут при таком важном деле разлучились. И с двумя мешками камней одному хлопотно. Ходят, спрашивают, не соль ли в мешках для спекуляции везешь? А как покажешь камни, сейчас пойдут расспросы, к чему такие камни, для личного обогащения али для музея какого? Одним словом, беспокойство.

Вахоня все-таки как-то исхитрился, догнал поезд под самой Москвой. До того друг другу обрадовались, что всю вагонную публику до слез насмешили: обниматься стали. Потом опять о камнях заспорили, который мешок нужнее, только уж помягче, с шуткой. Как к Москве подъезжать стали, Вахоня и говорит:..

— Я твой мешок таскать буду. Мне сподручнее и не столь смешно. Ты поменьше, и мешок у тебя будет поменьше. Москва, поди-ко, а не Миас! Тут порядок требуется.

Первую ночь, понятно, на вокзале перебились, а с утра пошли по Москве товарища Ленина искать. Скоренько нашли и прямо в Совнарком с мешками ввалились. Там спрашивают, что за люди, откуда, по какому делу. Садык отвечает:

— Бачка Ленин желаем каминь казать.

Вахоня тут же гудит:

— Места богатые. От хиты ухранить надо. Дома толку не добились. Беспременно товарища Ленина видеть требуется.

Ну, провели их к Владимиру Ильичу. Стали они дело обскаживать, торопятся, друг дружку перебивают.

Владимир Ильич послушал, послушал и говорит:

— Давайте, други, поодиночке. Дело, гляжу, у вас государственное, его понять надо.

Тут Вахоня, откуда и прыть взялась, давай свои дорогие камешки выкладывать, а сам гудит: из такой ямы, из такой шахты камень взял, и сколько он на рубли стоит.

Владимир Ильич и спрашивает:

— Куда эти камни идут?

Вахоня отвечает — для украшения больше. Ну, там перстни, серьги, буски и всякая такая штука. Владимир Ильич задумался, полюбовался маленько камешками и сказал:

— С этим погодить можно.

Тут очередь до Садыка дошла. Развязал он свой мешок и давай камни на стол выбрасывать, а сам приговаривает:

— Амазон-каминь, калумбит-каминь, лабрадор-каминь...

Владимир Ильич удивился:

— У вас, смотрю, из разных стран камни.

— Так, бачка Ленин! Правда говоришь. Со всякой стороны каминь сбежался. Каменный мозга-каминь, и тот есть. В Еремеевской яме солнечный каминь находили.

Владимир Ильич тут улыбнулся и говорит:

— Каменный мозг нам, пожалуй, ни к чему. Этого добра и без горы найдется. А вот солнечный камень нам нужен. Веселее с ним жить.

Садык слышит этот разговор и дальше старается:

— Потому, бачка Ленин, наш каминь хорош, что его солнышком крепко прогревает. В том месте горы поворот дают и в степь выходят.

— Это, — говорит Владимир Ильич, — всего дороже, что горы к солнышку повернулись и от степи не отгораживают.

Тут Владимир Ильич позвонил и велел все камни переписать и самый строгий декрет изготовить, чтоб на Ильменских горах всю хиту прекратить и место это заповедным сделать. Потом поднялся на ноги и говорит:

— Спасибо вам, старики, за заботу. Большое вы дело сделали! Государственное! — и руки им, понимаешь, пожал.

Ну, те, понятно, вне ума стоят. У Вахони вся борода слезами, как росой, покрылась, а Садык бороденкой трясет да приговаривает:

— Ай, бачка Ленин! Ай, бачка Ленин!

Тут Владимир Ильич написал записку, чтоб определить стариков сторожами в заповедник и пенсии им назначить.

Только наши старики так и не доехали до дому. По дорогам в ту пору, известно, как возили. Поехали в одно место, а угадали в другое. Война там, видно, кипела, и, хотя один был глухой, а другой кривой, оба снова воевать пошли.

С той поры об этих стариках и слуху не было, а декрет о заповеднике вскорости пришел. Теперь этот заповедник Ленинским зовется.

БОГАТЫРЕВА РУКАВИЦА

Из уральских сказов о Ленине

В здешних-то местах раньше простому человеку никак бы не удержаться: зверь бы заел либо гнус одолел. Вот сперва эти места и обживали богатыри. Они, конечно, на людей походили, только сильно большие и каменные. Такому, понятно, легче: зверь его не загрызет, от оводу вовсе спокойно, жаром да стужей не проймешь, и домов не надо.

За старшего у этих каменных богатырей ходил один, по названью Денежкин. У него, видишь, на ответе был стакан с мелкими денежками из всяких здешних камней да руды. По этим рудяным да каменным денежкам тому богатырю и прозвание было.

Стакан, понятно, богатырский — выше человеческого росту, много больше сорокаведерной бочки. Сделан тот стакан из самого лучшего золотистого топаза и до того тонко да чисто выточен, что дальше некуда. Рудяные да каменные денежки насквозь видны, а сила у этих денежек такая, что они место показывают.

Возьмет богатырь какую денежку, потрет с одной стороны — и сразу место, с какого та руда либо камень взяты, на глазах появится. Со всеми пригорочками, ложками, болотцами, — примечай знай. Оглядит богатырь, все ли в порядке, потрет другую сторону денежки — и станет то место просвечивать. До капельки видно, в котором месте руда залегла и много ли ее. А другие руды либо камни сплошняком кажет. Чтоб их разглядеть, надо другие денежки с того же места брать.

Для догляду да посылу была у Денежкина-богатыря каменная птица. Росту большого, нравом бойкая, на лету легкая, а

обличье у ней сорочье — пестрое. Не разберешь, чего больше намешано: белого, черного али голубого. Про хвостовое перо говорить не осталось, — как радуга в смоле, а глаз агатовый в веселом зеленом ободке. И сторожка та каменная сорока была. Чуть кого чужого заслышит, сейчас заскачет, застрекочет, богатырю весть подает.

Смолоду каменные богатыри крутенько пошевеливались. Немало они троп протоптали, иные речки отвели, болота подсушили, вредного зверья поубивали. Им ведь ловко: стукнет какую зверюгу каменным кулаком либо двинет ногой — и дыханья нет. Одним словом, поработали.

Старшой богатырь нет-нет и гаркнет на всю округу:

— Здоровеньки, богатыри?

А они подымутся враз да и загрохочут:

— Здоровы, дядя Денежкин, здоровы!

Долго так-то богатыри жили, потом стареть стали. Покличет их старшой, а они с места сдвинуться не могут. Кто сидит, кто лежа лежа, вовсе камнями стали, богатырского оклику не слышат. И сам Денежкин отяжелел, мохом обрастать стал. Чует — стоять на ногах не может. Сел на землю, лицом к полуденному солнышку, присугорбился, бородой в коленки уперся да и задремал. Ну, все-таки заботы не потерял. Как заворшится каменная сорока, так он глаза и откроет. Только и сорока не такая резвая стала. Тоже, видно, состарилась.

К этой поре и люди стали появляться. Первыми, понятно, охотники забегать стали, как тут вовсе приволье было. За охотниками пахарь пришел. Стал деревья валить да деревни ставить. Вскорости и такие объявились, кои по горам да ложкам землю ковырять принялись, не положено ли тут чего на пользу. Эти живо прослышали насчет топазного стакана с денежками и стали к нему подбираться.

Первый-то, кто на это диво набрел, видать, из простодушных случился. Он только на веселые камешки польстился. Набрал их всяких: желтеньких, зеленых, вишневых. Ну, и открыл места, где такие камешки водятся.

За этим добытчиком другие потянулись. Больше норовят тайком один от другого. Известно, жадность людская: охота все богатство на себя одного перевести.

Прибегут такие, видят — старый богатырь вовсе утлый, чуть живой сидит, а все-таки вполглаза посматривает. Топазовый стакан полнехонек рудяными да каменными денежками и закрыт богатыревой рукавицей, а на ней каменная сорока поскакивает, беспокоится.

Добытчикам, понятно, страшно, они и давай старого богатыря словами обхаживать:

— Дозволь, родимый, маленько денежек взаймы взять. Как справлюсь с делом, непременно отдам. Убери свою сороку.

Старик на эти речи ухмыльнется и пробурчит, как гром по далеким горам:

— Бери сколь надобно, только с уговором, чтоб народу на пользу.

И сейчас своей птице знак подает:

— Посторонись, Стрекотуха.

Каменная сорока легонько подскочит, крыльями взмахнет и на левое плечо богатыря усядется да оттуда и усядется на добытчика.

Добытчики хоть оглядываются на сороку, а все-таки рады, что с места улетела. Про рукавицу, чтоб богатырь снял ее, просить не насмеливаются: сами, дескать, как-нибудь одолеем это дело. Только она — эта богатырева рукавица — людям не в подъем. Вагами да ломами ее отворачивать примутся. В поту бьются, ничего не щадят. Хорошо, что топазовый стакан навеки сделан — его никак не пробьешь.

Ну, все-таки сперва и на старика поглядывают и на сороку озираются, а как маленько сдвинут рукавицу да запустят руки в стакан, так последний стыд потеряют. Всяк норовит ухватить побольше, да такие денежки выбирают, кои подороже кажутся. Иной столько нахапает, что унести не в силу. Так со своей ношей и погибнет.

Старый Денежкин эту повадку давно на примету взял. Нет-нет и пошлет свою сороку:

— Погляди-ко, Стрекотуха, далеко ли тот ушел, который два пестеря денежек нагреб.

Сорока слетает, притащит обратно оба пестеря, ссыплет рудяные денежки в топазовый стакан, пестери около бросит да и стрекочет:

— На дороге лежит, кости волками оглоданы.

Богатырь Денежкин на это и говорит:

— Вот и хорошо, что принесла. Не на то нас с тобой тут поставили, чтоб дорогое по дорогам таскалось. А того скоробогатка не жалко. Все бы нутро земли себе уволок, да кишка порвалась.

Были, конечно, и удачливые добытчики. Немало они рудников да приисков пооткрывали. Ну, тоже не совсем складно, потому — одно добывали, а дорожке того в отвалы сбрасывали.

Неудачливых все-таки много больше пришлось. С годами все тропки к Денежкину-богатырю по человечьим костям приметны стали. И около топазового стакана хламу много развелось. Добытчики, видишь, как дорвутся до богатства, так первым делом свой инструментишко наполовину оставят, чтоб побольше рудяных денег с собой унести. А там, глядишь, каменная сорока их сумки-котомки, пестери да коробья обратно притащит, деньги в стакан ссыплет, а сумки около стакана бросит. Старик Денежкин на это косился, ворчал:

— Вишь, захламили место. Стакана вовсе не видно стало.

Не сразу подберешься к нему. И тропки тоже в нашу сторону все испоганили. Настоящему человеку по таким и ходить-то, поди, мучительно.

Убирать кости по дороге и хлам у стакана все-таки не велел. Говорил сороке:

— Может, кто и образумится, на это глядя. С понятием к богатству подступит.

Только перемены все не было.

Старик Денежкин иной раз жаловался:

— Заждались мы с тобой, Стрекотуха, а все настоящий человек не приходит.

Когда опять уговаривать сороку примется:

— Ты не сомневайся, придет он. Без этого быть невозможно. Крепись как-нибудь.

Сорока на это головой скоренько запокачивает:

— Верное слово говоришь. Придет!

А старик тогда и вздохнет:

— Передадим ему все по порядку — и на покой.

Раз так-то судят, вдруг сорока забеспокоилась, с места слетела и засуетилась, как хозяйка, когда она гостей ждет. Оттащила все старательское барахло в сторону от стакана, очистила место, чтоб человеку подойти, и сама без зову на левое плечо богатырю взлетела да и прихорашивается.

Денежкин-богатырь от этой пыли чихнул. Ну, понял, к чему это, и хоть разогнуться не в силах, все-таки маленько подбодрился, в полный глаз глядеть стал и видит: идет по тропке человек, и никакого при нем снаряду — ни каёлки, то есть, ни лопатки, ни ковша, ни лома. И не охотник, потому — без ружья. На таких, кои по горам с молотками да сумками ходить стали, тоже не походит. Вроде как просто любопытствует, ко всему приглядывается, а глаз быстрый. Идет скоренько. Одет по-простому, только на городской лад. Подошел поближе, приподнял свою кепочку и говорит ласково:

— Здравствуй, дедушка богатырь!

Старик загрохотал по-своему:

— Здравствуй, мил-любезный человек. Откуда, зачем ко мне пожаловал?

— Да вот, — отвечает, — хожу по земле, гляжу, что где полезное народу впусте лежит и как это полезное лучше взять.

— Давно, — говорит Денежкин, — такого жду, а то лезут скоробогатки. Одна у них забота, как бы побольше себе захватить. За золотишком больше охотятся, а того соображения нет, что у меня много дороже золота есть. Как мухи из-за своей повадки гинут, и делу помеха.

— А ты, — спрашивает, — при каком деле, дедушка, представлен?

Старый богатырь тут и объяснил все — какая, значит, сила

рудяных да каменных денежек. Человек это выслушал и спрашивает:

— Поглядеть из своей руки можно?

— Сделай, — отвечает, — милость, погляди.

И сейчас же сбросил свою рукавицу на землю.

Человек взял горсть денежек, поглядел, как они место показывают, ссыпал в стакан и говорит:

— Умственно придумано. Ежели с толком эти знаки разобрать, всю здешнюю землю наперед узнать можно. Тогда и разбирай по порядку.

Слушает это Денежкин-богатырь и радуется, гладит сороку на плече и говорит тихонько:

— Дождались, Стрекотуха, настоящего, с понятием. Дождались! Спи теперь спокойно, а я сдачу объявлю.

Усилился и загрохотал вовсе по-молодому на всю округу:

— Слушай, понимающий, последнее слово старых каменных гор. Бери наше дорогое на свой ответ. И то не забудь. Под верховым стаканом в земле изумрудный зарыт. Много больше этого. Там низовое богатство показано. Может, когда и оно народу понадобится.

Человек на это отвечает:

— Не беспокойся, старина. Разберем как полагается. Коли при своей живности не успею, надежному человеку передам. Он не забудет и все устроит на пользу народу. В том не сомневайся. Спасибо за службу да за добрый совет.

— Тебе спасибо на ласковом слове. Утешил ты меня, утешил, — говорит старый богатырь, а сам глаза закрыл и стал гора горой. Кто его раньше не знал, те просто зовут Денежкин камень. На левом скате горы рудный выход обозначился. Это где сорока окаменела. Пестренькое место. Не разберешь, чего там больше: черного ли, али белого, голубого. Где хвостовое перо пришлось, там вовсе радуга смолой побрызгана, а черного глаза в веселом зеленом ободке не видно — крепко закрыт. И зовется то место — урочище Сорочье.

Человек постоял еще, на сумки-пестери, ломы да лопаты покосился и берет с земли богатыреву рукавицу, а она каменная, конечно, тяжелая, в три либо четыре человеческих роста. Только человек и сам на глазах растет. Легонько, двумя перстами поднял богатыреву рукавицу, положил на топазовый стакан и промолвил:

— Пусть полежит вместо крыши. Все-таки баловства меньше, а приниматься за работу тут давно пора. Забывать старика не след. Послужил немало и еще пригодится.

Сказал и пошел своей дорогой прямо на полночь. Далеконько ушел, а его все видно. Ни горы, ни леса заслонить не могут. Ровно, чем дальше уходит, тем больше кажется.

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ, ПОНЯТИЙ И ВЫРАЖЕНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СКАЗАХ

А з о в, **А з о в - г о р а** — на среднем Урале, километрах в 70 к ю.-з. от Свердловска, высота 564 метра. Гора покрыта лесом; на вершине большой камень, с которого хорошо видны окрестности (километров на 25—30). В горе есть пещера с обвалившимся входом.

В XVII столетии здесь, мимо Азова, шла «тропа», по которой проходили «пересылки воевод» из Туринска на Уфу, через Катайский острог.

А з о в к а - д е в к а, **А з о в к а**.— Во всех вариантах сказов о кладах Азов-горы неизменно фигурирует девка Азовка — без имени и указания ее национальности, лишь с неопределенным намском: «из не наших людей».

В одних сказах она изображается страшилищем огромного роста и непомерной силы. Сторожит она клады очень ревностно: «Лучше собаки хорошей, и почуткая страсть — никого близко не подпустит». В других сказах девка Азовка — то жена атамана, то заложница, прикованная цепями, то слуга тайной силы.

А р т у т ь — ртуть. **А р т у т ь - д е в к а** — подвижная, быстрая.

Б а д о ж о к — дорожный посох, палка.

Б а л о д к а — одноручный молот.

Б а с к о й, **п о б а щ е** — красивый, пригожий; красивее, лучше.

Б а с с е н ь к и й - а я — красивенький-ая.

Б е р г а л — переделка немецкого «бергауэр» (горный рабочий). Сказителем это слово употреблялось в смысле старший рабочий, которому подчинялась группа подростков-каталей.

Б л а з н и т ь — казаться, мерещиться; **п о б л а з н и л о** — показалось, почудилось, привиделось.

Б л ё н д а, **б л ё н д о ч к а** — рудничная лампа.

В а т а г а, **в а т а ж к а** — группа, артель, отряд.

В л е г о т к у — легко, свободно, без труда, безопасно.

В о ж г а т ь с я — биться над чем-нибудь, упорно и длительно трудиться.

Г а л и т ь с я — издеваться, мучить с издевкой.

Г л я д е л ь ц е — разлом горы, глубокая промоина, выворотень от упавшего дерева — место, где видно напластование горных пород.

Г о л б е ц — подполье; рундук около печки, где делается ход в подполье, обычно зовется **г о л б ч и к**.

Г о л к — шум, гул, отзвук.
Г о н о ш и т ь — готовить.
Г р а н ь — см. заводская грань.

Д а ч а, з а в о д с к а я д а ч а — территория, находившаяся в пользовании Сысертского горного округа.

Д о л и т ь — одолевать; д о л и т ь п р и н я л а — стала одолевать.

Е л а н ь, е л а н к а — травянистая поляна в лесу (вероятно, от башкирского *jalan* — поляна, голое место).

Е м к о — сильно.

Ж о р к н ь — тот, кто много ест и пьет; в сказе — много пьет водки.
Ж у ж е л к а — название мелких самородков золота.

З а б е д н о — обидно.

З а в о д с к а я г р а н ь — линия, отделявшая территорию одного заводского округа от другого. Чаще всего «грань проходила» по речкам и кряжам, по лесу отмечалась особой просекой, на открытом месте — межевыми столбами. З а н а ш е й г р а н ь ю — на территории другого заводского округа, другого владельца.

З а в о з н я — род надворной постройки с широким входом, чтобы можно было завозить туда на хранение телеги, сани и пр.

З á в с е — постоянно.

З а д е л ь е — предлог.

З а р у к а в ь е — браслет.

З а п о н, з а п о н ч и к — фартук, фартучек.

З е м л я н а я к о ш к а — мифическое существо, живущее в земле. Иногда «показывает свои огненные уши».

З м е е в к а — дочь Полоза. Мифическое существо, одна из «тайных сил». Ей приписывалось свойство проходить сквозь камень, оставляя после себя золотой след (золото в кварце).

З м е и н ы й п р а з д н и к — 25(12) сентября.

И з о б р о ч и т ь — нанять по договору (оброку), законтрактовать.

И з р о б и т ь с я — выбиться из сил от непосильной работы, потерять силу, стать инвалидом.

К а з н а — употребляется это слово не только в смысле — государственные средства, но и как владельческие по отношению к отдельным рабочим. «Сперва старатели добывали тут, потом за казну перевели» — стали разрабатывать от владельца.

К а м е н к а — банная печь с грудой камней сверху, на них плещут воду — «подают пар».

К о р о л е к — самородная медь кристаллами; вероятно, название перешло как перевод бытовавшего слова «кених». «Зерна, называемые кених, взвеса,

записать... а по окончании года медные кенихи объявлять в обер-берг-амт». (Из инструкции Геннина.)

К о с о п л е т к и п л е с т и — сплетничать.

К о ш — войлочная палатка особого устройства.

К р е п о с т ь — крепостная пора, крепостничество.

К р и ц а — расплавленная в особой печи (кричном горне) глыба, которая неоднократно проковкой под тяжелыми вододействующими молотами (кричными) сначала освобождалась от шлака, потом под этими же молотами формировалась в «дощатое» или «брусчатое» железо.

К р и ч н а я, к р и ч н а, к р и ч н я — отделение завода, где находились кричные горны и вододействующие молоты для проковки криц; крична употреблялась и в смысле — рабочие кричного отделения.

К р и ч н ы й м а с т е р — этим словом не только определялась профессия, но и атлетическое сложение и большая физическая сила. Кричный подмастерье был всегда синонимом молодого сильного человека, которого ставили к опытному, но уже старому мастеру, потерявшему силу.

Л и с т в я н к а — лиственница.

М е р т в я к — мертвец; иногда — только потерявший сознание. «Сколько часов мертвяком лежал».

Н а л и — даже.

Н а м я т ы ш — крепкий, сильный, плотный, как туго намятое тесто.

Н а с т о в а т ь — наставлять, учить, следить за поступками.

Н е о х т и м н е ч е н ь к и ж и в у т — без затруднений.

О б а л ь ч и к — пустая порода.

О б е р е ж н ы й — телохранитель, ближайший прислужник.

О б о й — куски камня, которые откалываются, отбиваются при первоначальной грубой обработке, при околтывании.

О б о р у ж е н н ы й — вооруженный, с оружием.

О б р а к о в а т ь — забраковать, признать негодным.

О б р а т а т ь — надеть оброть, недоуздок, подчинить себе, обуздать.

О б у й — имя сущ. м. р. — обувь.

О г р а д а — двор (слово «двор» употреблялось лишь в значении семьи, тягловой и оброчной группы, но никогда в смысле загороженного при доме места).

О к о л т а т ь — обтесать камень, придать ему основную форму.

О м е г, и л и в е х — ядовитое растение *Cicuta virosa*.

О м е л ь я н И в а н о в и ч — Пугачев Емельян Иванович.

О т к а т ь — отброс.

О т у т о в е т ь — отойти, прийти в нормальное состояние.

О х л е с т ы ш, о х л е с т, о х л е с т к а, о х л е с т а н н ы й, х в о с т, п о д о л, п о л ы — человек грязной репутации, который ничего не стыдится, наглец, обидчик.

О х т и м н е ч е н ь к и, о х т и м н е (от междометия «охти», выражающего печаль, горе) — горе мне, тяжело. Н е о х т и м н е ч е н ь к и — без горя, без

затруднения, спокойно. «Жизнь досталась охтимнеченьки» — тяжелая, трудная. «Не охтимнеченьки прожили» — свободно, без больших затруднений.

П а н о р а — папоротник.

П а р у н — жаркий день после дождя.

П е с к о з о б — пескарь.

П е т р о в к и — вторая половина июня и первая половина июля, когда в старое время был так называемый «петров пост».

П о г а л и т ь с я — насмехаться, издеваться, измываться.

П о д л о к о т н и к — близкий слуга, доверенный, помощник.

П о ж а р н а — она же машинна — в сказах упоминается как место, где производилось истязание рабочих. Пожарники фигурируют как палачи.

П о к о р п у с н е е — плечистее, сильнее, здоровее.

П о к у ч и т ь с я — попросить, выпросить.

П о л е р н а в е с т и — отшлифовать.

П о л о з — большая змея. Среди натуралистов, сколько известно, нет полной договоренности о существовании полоза на Урале, зато у кладоискателей полоз неизменно фигурирует как хранитель золота. В сказах Хмелинина, как обычно, полозу присваиваются человеческие черты.

П о м с т и л о с ь — почудилось, показалось.

П о м у ч н е т ь — побледнеть.

П о н а с е р д к е — по недоброжелательству, по злобе, из мести.

П о н а с т о в а т ь — понаблюдать, последить.

П о н и т о к — верхняя одежда из домотканого сукна (шерсть по льняной основе).

П о п у щ а т ь с я — отступить, отступиться.

П о с а д и т ь к о з л а — остудить, «заморозить» чугуна или медь. Отвердевшая в печи масса называлась козлом. Удалить ее было трудно. Часто приходилось переделывать печь.

П о с л о в н ы й — послушный, кто слушается «по слову», без дополнительных понуканий, окриков.

П р и г о н — общее название построек для скота (куда пригоняли скот).

П р и к а з ч и к — представитель владельца на заводе, главное лицо; впоследствии таких доверенных людей называли по отдельным заводам управителями, а по округам — управляющими.

П р и х о д и т ь н а к о г о - н и б у д ь — обвинять кого-нибудь, винить.

П р и ч т е т с я — придется.

П у с т о п л е с ь е — открытое место среди леса.

Р а з л и ч к а — разница.

Р а з о с т а в о к — то, чем можно разоставить ткань, вставка, клин, лоскут; в переносном смысле — подспорье, прибавок, подмога.

Р е з у н ц ы — растения типа осоки.

Р е м к и, р е м ь е — лохмотья, отрепье. Р е м к а м и т р я с т и — ходить в плохой одежде, в рваном, в лохмотьях.

С г о л у б а — голубоватый, бледно-голубой.

С к у д а т ь с я — хилеть, не домогать, хворать.

С к ы р к а т ь с я — скрести, скрестись (в земле).

С л а н ь — вернее, с т л а н ь, настил по дорогам в заболоченных местах. Увязнуть в болоте такая стлань не давала, но ездить по ней тоже было невозможно.

С л и ч ь е — удобный случай, к с л и ч ь ю п р и ш л о с ь — подошло.

С м о т н и к - ц а — сплетник-ца.

С и о р о в л я т ь, с н о р о в и т ь — содействовать, помогать, сделать кста-ти, по пути.

С о й к н у т ь — вскрикнуть от испуга, неожиданности (от междометия «ой»).

С о к — шлак от медеплавильного и доменного производства.

С о р о ч и н ы — сороковой день после смерти.

С п р а в н ы й — исправный, зажиточный; с п р а в а — одежда, внешний вид. «Одежонка справная», то есть неплохая. «Справно живут» — зажиточно. «Справа-то у ней немудренькая» — одежонка плохая.

С т е н б у х а р ь — так назывались рабочие у толчен, где дробилась пестами руда. Этим рабочим приходилось все время бросать под песты руду — бухать в заградительную стенку.

С т у р я т ь — сдавать, сбывать (поспешно).

С у м к и н а д е в а т ь — дойти или довести семью до сбора подаяния, до нищенства.

Т а й и ы й к у п е ц — скупщик золота.

Т а м г а — знак, клеймо.

Т о л м и т ь — твердить, повторять.

Т о н ц ы - з в о н ц ы — танцы, веселье.

Т у л а е м — толпой.

Т у л о в о — туловище.

Т у я с, т у е с, т у е с о к, т у е с о ч е к — берестяной бурак.

У м у е т с я — близок к помешательству, заговаривается.

У с т о р о н ь е, н а у с т о р о н ь е — в стороне, отдельно от других, на отшибе.

Ф а с к у с н я т ь — обточить грань.

Х е з н у т ь — ослабеть, слабеть.

Х и т и н и к — грабитель, вор, хищник.

Ч и р л а — яичница, скороспелка, скородумка, глазунья (от звука, который издают выпускаемые на сковородку яйца).

Ш а л ы г а н и т ь — праздно шататься, повесничать, бездельничать; в сказе — уклоняться от работы на барина.

Щ е г а р ь — штейгер.

П. Бажов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ, ПОНЯТИЙ И ВЫРАЖЕНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СКАЗАХ

Бортевая сосна — здесь: сосна с дуплом.

Вица — хворостина, прут, розга.

Воробы — снаряд для размотки пряжи.

Вострошарая — востроглазая.

Выдюжить — выдержать, вытерпеть, перенести.

Дробильные бегуны — тяжелые колеса, которые дробят в песок золотиносные камни.

Дудку бить, дудку пробить — вырыть шурф, глубокую яму.

Золотые таракашки — крупинки золота.

Из кистей выпала. — Раньше на Урале в сельской местности и в городских поселках женщины в большие праздники одевали поверх сарафана пояса, вытканые из разноцветного гаруса. Мужчины также носили такие пояса. Красивая девочка сравнивается с гарусинкой, выпавшей из кистей такого пояса. (Примеч. В. А. Бажовой.)

Каелка, кайло, кайла — инструмент, которым горнорабочие отбивают, откалывают руду.

Козел — здесь: застывший при плавке и приставший к чему-нибудь (например, к печи) металл (см. Посадить козла).

Кросны — ручной ткацкий станок, на котором ткот холст.

Курай — башкирский музыкальный инструмент, род дудки, свирели.

Неочесливый — неучтивый, невежа.

Пимы — валенки.

Поветь — чердак, сеновал.

Посыкиваться — намереваться.

Сам-Петербург — искаженное «Санкт-Петербург» — старинное название Ленинграда.

Соловые — лошади желтовато-белой масти.

Старатель — человек, занимающийся поиском и добычей золота.

Столешница — верхняя доска стола, поверхность стола; доска, на которой замешивают и раскатывают тесто.

Сурмяный — окрашенный в черный цвет.

Теплуха — печурка.

Чатинка — царапинка.

У КОММЕНТАРИИ

М. М. ПРИШВИН

ЗОЛОТОЙ ЛУГ

«Наши дела очень часто вырастают из детства, как вырастает из земли и тянется к солнцу молодая поросль», — любил говорить М. М. Пришвин. Его произведения для детей написаны и увлекательно и просто. *«Нигде так не нужна простота языка, как в рассказе для ребенка... Но никакой мастер и мудрец от стилистики не напишет такого рассказа, если он в то же время не способен погладить ребенка словом, как погладил бы его просто рукой по голове любящий детей человек»*, — высказал эту очень точную и мудрую мысль об одном из «секретов» мастерства детского писателя М. М. Пришвин в своем очерке «Аркашка», опубликованном в № 4 журнала «Детская литература» за 1938 год.

В книгу «Золотой луг», предназначенную детям восьми — тринадцати лет, писатель включил необыкновенно поэтичные короткие рассказы. Глубоко и проникновенно, с присущей ему отеческой теплотой, раскрывают они внутренний мир подростка, маленького ребенка, обогащают юного читателя важными наблюдениями естествоиспытателя, пытливого путешественника, охотника и тонкой души бывалого человека, сообщают ему ценные сведения о жизни растений, поведении различных диких и домашних животных.

Его рассказы не просто сообщают интересный факт из мира живой природы, они учат ребенка тому, как надо самому себя подготовить, чтобы в самом обычном открывать необыкновенное, помогают понять, какое великое благо — приобрести опыт искусного охотника, исследователя природы или агронома, хотя бы просто страстного, наблюдательного путешественника, словом, знатока жизни.

Пришвин нигде не навязывает готовых выводов детям, но незаметно наталкивает их на собственные наблюдения в природе и собственные открытия. Может быть, наиболее наглядно это сказалось в рассказе «Золотой луг», давшем название всей книге.

Художник поставил перед собой цель — писать так, чтобы книги вызывали бесконечную радость постоянных открытий, и вошел в историю советской литературы как один из основоположников литературы для детей.

Повествуя о природе, он прежде всего сосредоточивает внимание на ответственности человека в ней, тем самым смело поднимая и решая важнейшие этические вопросы современности. В своих коротких рассказах Пришвин часто достигает той ясности и мудрости, которая сродни народной устной сказовой манере. При всей простоте и ясности изложения писатель нигде и ни в чем не грешит против истины, а, наоборот, обеими ногами опирается на твердый фундамент фактов:

«Я положил себе за правило писать только о том, что видел сам, и держусь этого правила всю жизнь».

Вместе с произведениями, «подаренными» писателем только этому своему сборнику для детей, в него вошли едва ли не лучшие из рассказов, которые ранее публиковались в таких известных его книгах для взрослых, как «Рассказы егеря», «Лесная капель», «Неодетая весна», «Календарь природы» и некоторые другие.

Вряд ли необходимо комментировать каждый цикл и каждый рассказ писателя. Да это потребовало бы и значительно большего места. Поэтому остановимся лишь на тех произведениях, комментарии которых представляют общий интерес.

Сначала скажем о некоторых циклах, которые послужили наиболее щедрым источником для рассказов, собранных в книге «Золотой луг». Рассказы, включенные в нее, были написаны и опубликованы в 1926 — 1948 годах.

Поэт природы и охоты, Пришвин в то же время был подлинным ученым — фенологом и зоологом. «Ни у одного из русских писателей, — заметил как-то А. М. Горький в письме к М. М. Пришвину, — я не встречал, не чувствовал такого гармонического сочетания любви к Земле и знания о ней, как вижу и чувствую это у Вас». Одним из первых произведений, в котором Пришвин широко использовал эти знания, был «Календарь природы». Во вступительном очерке к этому разделу в своем последнем прижизненном издании «Весна света» он говорит: *«...я пробовал сделать путешествие не столько вдаль, сколько вглубь, — попытаться углубить восприятие окружающего меня, близкого и повседневного. Я написал «Календарь природы», а потом и все стал так писать: я нашел в нем себе метод работы». И получились записки, «связанные только силой движения жизни в природе, вызывающие ответное движение в душе человека».* Таков его рассказ «Ярик». В журнале «Охотник» (М., 1924, № 4) он назывался «Красная вырубка», затем получил другое название «Натаска», а настоящее заглавие «Ярик» дано автором лишь в последующих изданиях. В изданиях для взрослого читателя есть и другие рассказы об этой собаке, например, «Любовь Ярика» (журнал «Красная нива», М., 1926, № 25). Из этого цикла в книгу для детей вошли также рассказы «Ребята и утята» и «Первая стойка».

Рассказы «Землеройка», «Щука», «Барсуки» пришли в книгу из дневников писателя. Более пятидесяти лет писатель изо дня в день вел свой дневник, а к началу 30-х годов, когда самому Пришвину было под шестьдесят, эти его записи начали принимать законченную форму поэтической миниатюры. Впервые Пришвин собрал свои дневниковые записи-миниатюры в книгу, получившую название «Лесная капель». *«Делались эти записи, — говорит о них М. М. Пришвин, — с постоянной заботой написать поменьше, а сказать побольше».*

Одно из самых больших собраний коротких рассказов, вошедших в книгу «Золотой луг», взято М. Пришвиным из его любимой повести «Неодетая весна», изданной впервые в конце 30-х годов.

«Если в самом раннем весеннем свете поглядеть на белую березу, то белая кора, береста, в сравнении с белизной снега, покажется чуть-чуть розовой. А белизна снега под березой покажется синеватой.

Бывает, бродя глазами по синему снегу, увидишь желтеющее пятно с двумя черными блестящими пуговками — это, оказывается, лежит под розовой березой на синем снегу желтый заяц-беляк.

Вот как тот же самый белый цвет изменяется, если сравнивать между собой разные белые существа в лесу, пока весь лес не оденется в зеленый общий цвет...

Неодетой весной все тайны исчезают, все на виду, все «взаправду» и в то же время все интересно и тем увлекательно, что каждое существо, каждый куст, каждый ручей и — мало того! — каждый пенек говорит сам за себя».

Полувековые фенологические и поэтические наблюдения открыли Пришвину определенный, особый сезон природы — весну света. Пришвину весна являлась начиная от февральских метелей и кончая майским расцветом растений и песнями всех птиц. Это было его любимое время года. И он открыл для себя и весну звука, и весну света, и весну воды, и весну трав. «Но я ведь, друзья мои, — любил повторять он при встрече с читателями, — пишу о природе, сам же только о людях и думаю».

По последнему прижизненному изданию книги «Весна света» были выверены все рассказы, вошедшие в «Золотой луг», для Собрания сочинений писателя в шести томах.

«Вася Веселкин», «Наш сад», «Лисичкин хлеб», «Дедушкин валенок» и сказка-быль «Кладовая солнца» в самой последней редакции писателя — словом, многие его произведения, которые входят теперь в «Золотой луг», взяты из его книги «Весна света».

Содержание короткого рассказа или новеллы для детей у Пришвина составляет обычно какое-нибудь с виду незначительное происшествие в природе или интересное наблюдение над повадками домашних животных, зверей, птиц, а то и просто занятные, но полезные сведения о деревьях, цветах или грибах. И всякая такая новелла, как правило, окрашена юмором, рассказывается с большой отеческой теплотой, а когда нужно, и долей неприязни к отрицательному герою или героям. Эти рассказы полностью свободны от каких-либо нравоучительных заключений или зачинов. Однако из рассказанного эпизода или из какой-либо его подробности само собой возникает зерно истины, которое, несомненно, поучительно. А сколько доброго чувства, настоящего человеческого тепла найдете вы в них. Многие из этих рассказов продолжают славную гуманистическую традицию тургеневской «Муму», чеховской «Каштанки», толстовского «Холстомера».

Как-то в одной грозной критической статье упрекали молодого автора в том, что он осмелился приписать черты геройства и отваги животным. А я подумал: прочли бы лучше у Пришвина его «Пиковую даму»: «Курица непобедима, когда она, пренебрегая опасностью, бросается защищать своего птенца. Моему Трубочу стоило только слегка нажать челюстями, чтобы уничтожить ее, но громадный гонец, умеющий постоять за себя и в борьбе с волками, поджав хвост, бежит в свою конуру от обыкновенной курицы».

Такой рассказ не может не пробудить у малыша мысли о непобедимости слабого, если тот решил поставить против силы справедливость и мобилизовал для этого мужество и бесстрашие.

Отсутствие позы, надуманности, способность вести рассказ по простоте душевной, умение радоваться самому маленькому открытию в природе дополняются у Пришвина еще и особым умением сказать свое слово в затейливой игре. Он так живо представил в своей комнате игру с ежиком, которому искусственно создал там все необходимые приметы леса (пришвинские ноги были ежику как стволы деревьев, лампа — как луна, дым из трубки — как облака, газета — сухие

листья, воду, которую писатель переливал из тарелки в ведро, ежик принял за ручей), что, описав все это в рассказе «Еж», заставил множество малышей принять участие в этой увлекательной игре — приручение ежей.

Умение в своих рассказах встать не над читателем, а идти рядом с ним, сделать и читателя участником или хотя бы активным наблюдателем событий, развертывающихся в рассказе, в этом — одна из сильнейших сторон пришвинского творчества.

В самом простом, незамысловатом рассказе мы найдем у него «чувство сказки». Вот его «Курица на столбах». Это простой с виду рассказ о том, как курица высидела из четырех гусиных яиц гусят, а те вскоре выросли. Случилось, гусятам, всем четверем, сразу захотелось на волю. Они дружно поднялись на ногах и вытянули кверху шею, и курица поднялась, как на четырех столбах. Все это Пришвин видел своими глазами, но для того, чтобы интереснее рассказать детям, нашел сказочную деталь: «Курица на столбах». И рассказ стал поэтической сказкой.

Пришвину свойственно даже в привычных и самых обычных словах и выражениях открывать их изначальный, первый, прямой смысл. С наименьшей убедительностью он может раскрыть перед своим читателем «таинство» идиомы или пословицы. Например, в крохотном рассказе «Ежовые рукавицы» он делает буквально осязаемым известное выражение «держат в ежовых рукавицах», которое, как мы знаем, давно утратило свой изначальный смысл.

Никак не мог научить Пришвин свою собаку Ромку делать стойку Егерь Кирсан посоветовал:

«— Некультурность у собак надо ежом изгонять».

Так и поступили охотники. Нашли ежа, пустили Ромку в тетеревиные места, и когда он стал по тетерке, но не утерпел и бросился за взлетевшей птицей, Кирсан *«...сбоку прямо в нос ему ежа. Ромка опомнился, взвизгнул — и на ежа. А еж ему своими колючками еще здорово поддал».* Так и привыкла собака к охотничьей дисциплине.

«— Как это вы, Кирсан Николаевич, пришли к такой догадке, чтобы некультурность ежом изгонять?»

— С себя самого перевел, Михайло Михайлович, — ответил Кирсан. — В детстве соседям окна бил из рогатки. Раз поймали меня и говорят: «Этого мальчишку надо взять в ежовые рукавицы!» И взяли. А потом это с себя я на собак перевел с большой пользой».

Одной из вершин творческих достижений М. М. Пришвина стала его «Кладовая солнца», написанная в течение месяца вдохновенного труда и удостоенная в том же 1945 году единственной первой премии Всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу «Кладовая солнца» — это образец современной сказки без старинных традиционных Иванов-царевичей, но вместе с тем это короткая, но емкая повесть о мужестве, находчивости и высоком чувстве дружбы (качествах, которые с малых лет воспитываются в детях нашей страны), что дали силы двум детям Веселкиным — брату и его сестре — без матери и отца самостоятельно жить в трудные годы войны, вести хозяйство, самим помогать людям и с помощью советских людей выходить из сложных обстоятельств, которые встают перед ними. И еще одна замечательная особенность у «Кладовой солнца» — она в самом хорошем смысле книга познавательная. Читая эту книгу, ребенок узнает и о бондарном ремесле, и о целебных свойствах клюквы, и о значении леса для человека, и о том,

как охотники устраивают облавы на волков, и какие повадки у зайцев и лисиц, у волка и тетерева, почему надо, особенно на болоте, держаться твердой тропы и что собой представляют большие торфяные болота. В «Кладовой солнца» Пришвину как нельзя лучше удалось передать красоту и своеобразие русской природы, таящей в себе несметные богатства, которые советский человек поставил на службу своему народу.

«Однажды в далеком прошлом я встретил, как находку, в одном ученом исследовании, — писал М. Пришвин о своей повести, — уподобление торфяных болот, хранящих в себе огонь и тепло, кладовой солнца. Ученый не претендовал на изображение художественного образа, он назвал явление точно.

Но образ родился сам из этой правдивой точности ученого и стал жить во мне, как образ сердечной мысли человека в глубине создаваемой им художественной формы».

Чувство современности движет М. М. Пришвиным в его «Кладовой солнца» Это чувство сопровождало его всю жизнь.

«ЗОЛОТОЙ ЛУГ»

Рассказы, включенные в этот цикл, были написаны М. М. Пришвиным и опубликованы впервые в 1926—1948 годах.

Текст переиздаваемой чуть ли не ежегодно книги М. М. Пришвина «Золотой луг» дополнялся автором и видоизменялся от издания к изданию. Но в основу публикации этого цикла в Собрании сочинений писателя в шести томах (Гос. изд-во «Художественная литература», М., 1957, т. IV) были положены следующие издания: «Золотой луг», Детгиз, 1953; «Мои тетрадки», изд-во «Советский писатель», 1948; «Весна света», изд-во «Молодая гвардия», 1953.

Г. Ершов

Б. С. ЖИТКОВ

МОРСКИЕ ИСТОРИИ. РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ

В воспоминаниях о Борисе Степановиче Житкове, названных кратко и выразительно — «Друг», Виталий Бианки пишет: «Вся разница у Бориса Степановича с другими писателями... в том, что всю ту огромную работу, которую они производят над своими рукописями — вычеркивают, перечеркивают, заменяют, переставляют, заостряя слова, фразы, целые страницы и главы, — Борис Степанович Житков производил «в уме», не в рукописях, а в устных своих рассказах, как добрый математик производит «в уме», а не на арифмометре сложнейшие вычисления».

Этой особенностью рабочего метода Житкова объясняется то, что творческая история большинства его произведений скрыта от нас, и собирать ее, составлять приходится по кусочкам, используя не только собственные свидетельства писателя, но и так называемые косвенные источники — воспоминания, письма, высказывания его современников.

МОРСКИЕ ИСТОРИИ

(стр. 169—297)

Во втором номере журнала «Воробей» за 1924 год появился рассказ Б. С. Житкова «Над водой», первый рассказ будущего цикла «Морские истории».

Цикл складывался постепенно, в течение многих лет, хотя в большинстве своем рассказы о море были написаны в 1924—1925 годах. В разных сочетаниях, а иногда и под разными заглавиями, рассказы первоначально составляли сборники «Злое море» (1924), «Морские истории» (1926), «Морские рассказы» (1935) и как цикл вошли в книгу Житкова «Рассказы», выпущенную Детиздатом в 1940 году.

Первые сборники рассказов Житкова о море выпускали издательства «Время», Госиздат, «Молодая гвардия», потому что тогда не существовало еще специального детского издательства. Сборники «Злое море» и «Морские истории» были иллюстрированы известными детскими художниками Ю. Черкасовым, А. Ушиным, Н. Тырсой. Их рисунки, точные и лаконичные, помогали почувствовать романтику моря, его красоту и силу, увидеть героев Житкова — мужественных и трусливых, благородных и подлых.

В 1937 году Детгиз, незадолго до этого образованный, выпустил в свет наиболее полный сборник «Морских историй». В него вошло двенадцать рассказов. К книге был приложен «Словарь морских выражений и альбом рисунков-схем». Иллюстрировали книгу художники Н. Тырса и П. Павликов.

Еще более полно цикл морских сюжетов был представлен в книге Б. Житкова «Рассказы», выпущенной Детиздатом в 1940 году (с рисунками Б. Винокурова).

«Морские истории» переиздавались неоднократно и в виде самостоятельных сборников и входили в сборники произведений Житкова на разные темы. Наиболее полно (18 рассказов) они представлены в книге «Избранное», которую издательство «Детская литература» выпустило в 1969 году в серии «Школьная библиотека», а также в сборнике «Морские истории» (М., «Дет. лит.», 1972).

Когда в 1924 году должен был выйти первый сборник морских рассказов «Злое море», Б. Житков взволнованно писал: «На днях выйдет моя книжка для детей старшего возраста. 5 авантурных сюжетов. Мне не нравится, все это гадко написано. Редакторы делают мне комплименты. Какой комплимент сделают мне читатели, увидим по тому, как разойдется книга. Сейчас я в смятенном духе». (Из письма к И. В. Арнольду от 11.IV.1924.)

Через несколько месяцев Житков сообщал: «...«Злое море» почти все уже разошлось». (Из письма к И. В. Арнольду).

Житков писал о том, что знал и любил. Одна из его сестер, В. С. Арнольд, вспоминает: «Больше всего он любил писать о море. В его морских рассказах основное — это правда. Он писал о том, что видел, что сам слышал, что сам пережил. Его герои — живые люди; не портреты, конечно, и рассказы его не протоколы, но выросли они из истинных происшествий, из были. Море Житкову было родным, близким; он знал его и злым и мирным и любил. Рассказы о море писал моряк Житков».

Писатель Житков, имевший звание штурмана дальнего плавания, выразил

ту же мысль, но в свойственной ему манере, предельно кратко и резко: «...И если я начну писать про то, чего не знаю, это вот и будут подлинные враки».

«Морские истории» переведены почти на все языки народов Советского Союза и на многие иностранные: болгарский, венгерский, немецкий, польский, румынский, словацкий, французский, чешский.

НА ВОДЕ (*Шквал*)

(стр. 169—176)

Впервые опубликован в журнале «Воробей», 1924, № 3 под названием «Шквал». В 1925 году с небольшими изменениями напечатан во втором издании сборника «Злое море» под заглавием «На воде» и дальше под этим названием входит во все сборники морских рассказов писателя.

Корней Иванович Чуковский, на суд которому Житков принес рассказ, вспоминает: «Я присел к столу, взял карандаш и приготовился редактировать лежавшую передо мной тетрадку, но вскоре с удивлением убедился, что редакторскому карандашу здесь решительно нечего делать, что тот, кого я считал дилетантом, есть опытный литератор, законченный мастер с изощренной манерой письма, с безошибочным чувством стиля, с огромными языковыми ресурсами. Не было никакого сомнения, что он, этот «начинающий» автор, не напечатавший еще ни единой строки, прошел долгую и очень серьезную литературную школу».

Однако когда Житков принес этот рассказ в журнал «Воробей», ему посоветовали его немного переделать, смягчить чрезмерный драматизм произведения, поэтому первым был напечатан рассказ «Над водой».

НАД ВОДОЙ (*Над морем*)

(стр. 176—180)

Первый опубликованный рассказ Житкова. Появился в журнале «Воробей», 1924, № 2 под названием «Над морем» с иллюстрациями А. Литвиненко. В годовом указателе журнала он был озаглавлен «Аэроплан»; в сборник «Злое море» вошел под названием «Над водой» и дальше печатался под этим названием.

Этим рассказом Житков вошел в большую детскую литературу. «С первых же строк его рассказ, — вспоминает Самуил Яковлевич Маршак, — поразил нас четкостью, простотой, живым, а не книжным языком — точным, метким и характерным».

Сам же писатель в дневнике заметил: «...я это написал прямо набело, в полчаса».

ПОД ВОДОЙ

(стр. 180—186)

Впервые напечатан в 1924 году в сборнике «Злое море». Входил во все переиздания этого сборника, позже публиковался в цикле «Морские истории».

О первом впечатлении от сборника «Злое море» литературовед Е. Привалова пишет: «В книге Б. С. Житкова была суровая правда жизни. Автор говорил о ней серьезно и просто, без всякой скидки на возраст, без всякого милосердия. Море у него было действительно злым. Оно не только грозило — оно убивало людей. Жизнь моряка вставала перед читателем как тяжелый труд. Море требовало от человека воли, мужества, большой внутренней дисциплины, способности быстро и героически помочь товарищу».

Оценивая значение рассказа «Под водой», она добавляет: «Суровая умница жизнь», как называл ее Горький, жестоко мстит за легкомыслие и безответственность. Гибнет лодка. Гибнут люди. Гибнет сам командир. Бесстрастно и четко тикают часы на неподвижной руке мичмана.

Так можно писать только о пережитом и близком».

КАК Я ЛОВИЛ ЧЕЛОВЕЧКОВ

(стр. 186—190)

Впервые опубликован в журнале «Чиж», 1934, № 2. Входил в сборники «Рассказы» (М., Детиздат, 1940), «Что бывало» (М.—Л., Детгиз, 1953, 1954), «Избранное» (1969), «Морские истории» (1972).

Рассказ в основе своей автобиографичен, как и большинство рассказов цикла «Морские истории». Сестра Житкова, В. С. Арнольд, так описывает жизненные истоки произведения: «...он часто гостил у бабушки, на Карповке. Сколько странных и интересных вещей было у бабушки! Но модель парусного судна — это настоящее чудо! Борис глаз от него не мог оторвать. И вечером, лежа в постели, он только на него и глядел. Ему казалось, что там, на судне, живут маленькие человечки. Они выходят из кают, работают. Стучат маленькими молоточками, а потом опять уходят, прячутся. Как бы узнать, как там живут человечки? Долго крепился Борис; наконец, не выдержал, перерезал снасти, поднял палубу — сейчас увидит человечков... Но человечков не оказалось — пусто внутри».

БАТА

(стр. 190—195)

Рассказ был опубликован в журнале «Пионер», 1933, № 21—22 с рисунками Т. Мавриной. Начиная с 1935 года он входил во все сборники морских рассказов Житкова. В 1933 году напечатан в журнале «Дружные ребята» № 1 с иллюстрациями П. Алякринского.

Рассказ «Бата» родился на основе жизненных наблюдений Б. Житкова, в юности связанного с революционным движением.

Сестра Житкова — Анна Степановна — в своих воспоминаниях пишет: «Борис не прерывал связи со своими гаванскими товарищами. Одни уже служили в военном флоте, другие — матросами торгового флота. Они были членами запрещенного правительством профессионального союза моряков. Членом этого союза был и Борис. Он с товарищами, многие из которых были большевиками, перевозил для большевиков из-за границы нелегальную литературу и оружие».

ДЖАРЫЛГАЧ

(стр. 195—205)

Впервые опубликован в сборнике «Советские ребята», 1926, № 1, иллюстрирован художником Н. Тырсой. Входит во все издания «Морских историй», а также в сборники: «Морские рассказы» (М.—Л., Детгиз, 1935), «Рассказы» (М.—Л., Детиздат, 1940), «Избранное» (М., «Дет. лит.», 1969). В 1928 и 1930 годах был выпущен отдельной книгой. В 1980 г. дал название сборнику: Б. Житков. «Джарылгач» (Л., изд-во «Дет. лит.»); иллюстрирован художником А. Бреем.

О том, как создавался рассказ, вспоминает литературовед Е. Привалова: «Рукопись рассказа «Джарылгач» читалась им в кружке детских писателей...

Автор тут же открыл нам секрет своего мастерства. Оказывается, он задался целью написать короткий рассказ с острым сюжетом. Он заранее ограничил себя определенным количеством страниц. Если память не изменяет мне, речь шла даже не о страницах, а о строках. Рассказ предполагалось разбить на ряд главков, в несколько строк каждая. Каждая главка должна была иметь свою тему. Тема нашла свое отражение в кратком и выразительном заглавии».

В результате рассказ «Джарылгач», по словам той же Е. Приваловой, стал «одним из лучших произведений писателя».

«МАРИЯ» И «МЭРИ»

(стр. 205—212)

Впервые опубликован в сборнике «Злое море» (Л., «Время», 1924); в 1925 году вошел во второе издание этого сборника; перепечатывался в сборниках: «Морские рассказы» (1935), «Морские истории» (1937, 1946, 1972), «Рассказы» (1940), «Избранное» (1969).

О том, как жизненный материал сочетается в рассказе с вымыслом, сам Житков пишет так: «Про «Марию» и «Мэри» это тоже не выдумка, а такой случай был. Конечно, я не слыхал, что говорили на паруснике и что говорилось в это время на пароходе. Но таких хозяев-украинцев было полно в Херсоне, на Голой Пристані, в Збурьёвке, на Днепре. И английских капитанов я таких много видел. Какой именно тот был, что разрезал парусник, я не знаю. Но уверен, что он не очень отличался от тех, каких я знал. Так что ни капитана, ни шкипера-украинца я не выдумал, случай тоже не выдуманный; а только я все это свел вместе».

НИКОЛАЙ ИСАИЧ ПУШКИН

(стр. 212—216)

Впервые опубликован в журнале «Пионер», 1928, № 23 с рисунками П. Павлинова; в 1930 году выпущен отдельной книжкой издательством «Молодая гвардия»; входил во все издания «Морских историй», «Морских рассказов», в сборники: «Рассказы» и «Избранное».

ДЯДЕНЬКА

(стр. 216—221)

Впервые опубликован в журнале «Новый Робинзон», 1925, № 19—20 в разделе с примечательным названием «Мастеровой». В 1927, 1928 и 1931 годах был выпущен Госиздатом отдельной книгой с рисунками Н. Тырсы. В 1946 году Детгиз издал сборник рассказов под названием «Дяденька»; рассказ входил также во все издания «Морских историй».

КОМПА́С

(стр. 221—226)

Впервые опубликован в журнале «Новый Робинзон», 1925, № 14 (с рисунками Н. Лапшина). В 1928 и 1930 годах был выпущен ГИЗом отдельной книгой с иллюстрациями Н. Тырсы, в 1941-м — Детиздатом с рисунками П. Алякринского, в 1946 году вошел в сборник «Дяденька». С 1926 года входит во все издания «Морских историй».

«В рассказе «Компас»... почти точно описано то, что было со мной и моим товарищем Сережей,— объяснял Житков.— Его потом, за другое такое же дело, сослали на каторгу...»

«ПОГИБЕЛЬ»

(стр. 226—246)

Впервые опубликован в журнале «Еж», 1924, № 10 и 11; затем в том же году в журнале «Колхозные ребята» (№ 9—12) с рисунками С. Боима. Начиная с 1937 года входит во все издания «Морских историй». Напечатан в сборнике «Рассказы» (1940).

Анализируя рассказ «Погибель», писатель Виктор Шкловский сказал: «О внутренних силах человека Б. Житков писал непрестанно. Этот человек у него в рассказах реален, это не выдуманный, романтический человек. Торeadор¹ не только Хозе, не только человек с традиционным испанским именем,— он Мария, даже Маша, самый обыкновенный человек, товарищ среди товарищей».

МЕХАНИК САЛЕРНО (Было давно)

(стр. 246—263)

Впервые опубликован под названием «Было давно» в журнале «Знание — сила», 1932, № 15—17 (с рисунками В. Доброклонского). Во всех последующих изданиях назван «Механик Салерно». Вошел во все издания «Морских историй», а также в сборники: «Рассказы» (1940) и «Избранное» (1969).

¹ Один из героев рассказа.

Виктор Шкловский писал о рассказе: «Есть у Б. Житкова рассказ о команде на пароходе, в трюме которого горит бертолетовая соль. Описание в «Механике Салерно» посвящено не столько пожару — таких описаний в мировой литературе очень много, — сколько анализу подвига команды, которая сохраняет пассажиров от гибели и страха».

ЧЕРНАЯ МАХАЛКА

(стр. 263—270)

Впервые опубликован в журнале «Новый Робинзон», 1925, № 7 с иллюстрациями Н. Тырсы. В 1928 году издан отдельной книгой. Входит во все издания «Морских историй», а также в сборники: «Рассказы» (1940) и «Избранное» (1969).

ВОЛЫ

(стр. 270—278)

Впервые опубликован в журнале «Пионер», 1935, № 7. Вошел в книгу «Рассказы» (1940); включен в сборники: «Морские истории» (1972) и «Избранное» (1969).

КОРЖИК ДМИТРИЙ

(стр. 278—283)

Впервые опубликован в сборнике «Злое море» (Л., «Время», 1924); входил в издания этого сборника 1925, 1929, 1930 годов. В 1929 и 1930 годах был издан отдельной книгой с рисунками Н. Тырсы, которые очень нравились писателю.

Виталий Бианки так передает первое впечатление от прочтения рассказа: «Это было в начале 1924 года. Я вел тогда в журнале «Новый Робинзон» отдел «Лесная газета». Борис Степанович дал в этот журнал свой рассказ «Коржик Дмитрий»... В рассказе описывалась охота на тюленей, моржа и белых медведей.

В прочтенном рассказе меня поразила резкая лаконичность стиля, свойственная только опытным «мастерам пера», насыщенность интересными фактами, своя, особая деловая манера повествования».

УТОПЛЕННИК

(стр. 284—292)

Впервые опубликован в журнале «Пионер», 1934, № 16. Вошел в сборники: «Морские истории» (1937, 1947, 1972), «Рассказы» (1940) и «Избранное» (1969).

Рассказ навеян одесскими впечатлениями писателя.

МИРАЖ

(стр. 292—296)

Рассказ написан в 1928 году, но впервые опубликован в 1940 году в сборнике «Рассказы»; вошел в книги: «Избранное» (1969), «Морские истории» (1972).

РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ

(стр. 298—348)

Рассказы написаны в 1925—1938 годах. Основаны они, как и «Морские истории», на автобиографическом материале и родились из любви писателя к животным, рядом с которыми он рос с раннего детства. В. С. Арнольд вспоминает о семье Житковых: «У детей были всегда ручные животные — поросята, чистенькие и умные, зайчик, ежи, котята, щенята, в банках на окнах плавали головастики. Позднее у Бориса были черепахи, ручные домашние мыши, была веселая обезьянка Яшка и ручной волк».

И еще: «Переехал Борис в отдельную комнату с кошкой Паскудой, собакой Плишкой и ручным волком. Он его еще щенком взял и выдрессировал».

В. Бианки в своих воспоминаниях показывает истоки этих рассказов и метод их создания: «Помню, как меня поразили рассказы Бориса Степановича «Про слона», «Про обезьянку», «Про волка» и «Беспризорная кошка», когда он показал их мне в рукописях.

— Но ведь тут слово в слово то, что ты мне рассказывал — помнишь? — еще в первую нашу встречу! — сказал я ему.

— Что ж тут удивительного? — спокойно возразил Борис Степанович. — Я же тебе рассказывал то, что было».

Первый рассказ этого цикла — «Про слона» — был опубликован в 1925 году. В 1935 году Детгиз выпустил сборник с таким названием, содержащий семь рассказов. «Рассказы о животных» были переизданы в 1940 году, включались в сборники Б. С. Житкова: «Рассказы» (М.—Л., Детиздат, 1938 и 1940), «Избранное» (1969), «Что бывало» (1948, 1953, 1954).

Многие рассказы этого цикла переведены на языки народов СССР и на иностранные языки.

ПРО ВОЛКА

(стр. 298—309)

Впервые опубликован в журнале «Знание — сила», 1929, № 1. В 1930 году выпущен отдельной книжкой в издательстве «Молодая гвардия» с иллюстрациями Н. Купреянова; входил в сборники «Рассказы о животных» (1935, 1940). «Рассказы» (М., Детгиз, 1940), «Что бывало» (1948, 1953, 1954), «Избранное» (1969).

Рассказ автобиографичен.

Житков написал рассказ в 1928 году, но, строго относясь к своей работе, не стал сразу публиковать его. В письме к И. И. Халтурину он пишет о рассказе:

«Как вышло — не знаю. Пожалуйста, прочтите каким-нибудь ребятам и заметьте, какие зрящие места. Я приеду, мы там, может быть, чего-нибудь и выкинем вон. Думаю, есть лишнес».

ПРО СЛОНА

(стр. 310—314)

Впервые опубликован в журнале «Новый Робинзон», 1925, № 1. Десять раз выходил отдельным изданием (1927, 1929, 1930, 1931, 1934, 1935, 1938, 1950, 1955, 1974). Входил в сборники: «Рассказы» (1938, 1940), «Рассказы о животных» (1935, 1940), «Мангуста» (М.—Л., Детгиз, 1948), «Что бывало» (М.—Л., Детгиз, 1948, 1953, 1954), «Избранное» (1969).

Об особенностях этого рассказа прекрасно сказал С. Я. Маршак в своих воспоминаниях о писателе: «Не раз авторы детских книг описывали в рассказах и очерках любимца ребят — слона. Но это был чаще всего «слон вообще», «ein Elephant», некая сумма внешних признаков, дающая более или менее точное представление об этом экзотическом животном. А вот в рассказе Бориса Житкова нет никакого «инвентарного» описания слона, а есть живой, вполне определенный слон — тот самый, которого увидел когда-то в Индии своими глазами автор».

ПРО ОБЕЗЬЯНКУ

(стр. 314—322)

Впервые опубликован в 1927 году в газете «Ленинские искры» от 27 февраля и 6 марта. Двенадцать раз выходил отдельной книжкой; переиздавался ГИЗом и «Молодой гвардией» (1928, 1929, 1930, 1931, 1932) с рисунками Н. Тырсы, в 1935 и 1936 годах — Детиздатом с рисунками Т. Певзнера. Последний раз вышел в издательстве «Детская литература» в 1978 году. Входил в сборники: «Рассказы о животных», «Рассказы», «Белый домик» (М.—Л., Детгиз, 1945), «Что бывало» (М.—Л., Детгиз, 1948, 1953, 1954), «Про слона» (М.—Л., Детгиз, 1950), «Избранное» (1969).

В основу рассказа положен автобиографический факт.

МАНГУСТА

(стр. 322—327)

Впервые опубликован в журнале «Чиж», 1935, № 11. В 1937 году вышел в Детиздате отдельной книжкой с рисунками В. Ермолаева. Входил в сборники: «Рассказы», «Рассказы о животных», «Мангуста» (М.—Л., Детгиз, 1948, 1950, 1975, 1977, 1978), «Что бывало» (М.—Л., Детгиз, 1948, 1953, 1954), «Про слона» (М.—Л., Детгиз, 1950), «Избранное» (1969).

В основу положены цейлонские впечатления писателя.

БЕСПРИЗОРНАЯ КОШКА

(стр. 327—333)

Впервые опубликован в сборнике «Советские ребята» (М.—Л., Госиздат, 1926, № 3) с иллюстрациями Т. Шишмаревой. Издавался отдельной книжкой в 1927, 1929 и 1930 годах тем же издательством с рисунками Е. Дорфмана; входил в сборники: «Рассказы о животных», «Рассказы», «Что бывало», «Избранное», «Беспризорная кошка» (1976).

О том, как возник замысел рассказа, вспоминает В. Бианки: «Житков был другом не только людям, но и всему живому. Это хорошо чувствовали своим безошибочным инстинктом животные, как я не раз потом имел случай убедиться на примерах с кошками и собаками.

Однажды он сказал мне, что может приручить любую беспризорную кошку, она сразу его к себе подпустит и дастся погладить...

Мы оделись и вышли на лестницу.

Спускаться на двор нам не пришлось: большой, оборванный, серо-белый мордастый котик — сразу видно: буян и прощелыга! — соскочил при нашем приближении с подоконника и, задрав потрепанный в боях хвост, стрельнул на чердак. Мы направились за ним. Дверь на чердак оказалась запертой. Кот сидел под ней и, ощерившись, зашипел на нас...

Но Борис Степанович уже протянул к зверю руку, что-то спокойно и строго ему говоря.

Кот резко попятился. Но маленькая крепкая рука «кошачьего старосты» уверенно легла ему на затылок — и страшный зверь неожиданно превратился в домашнее животное и уютно замурлыкал, круто выгибая спину.

— Ну-нуу! — удивился я. — Не секрет, как ты этого добиваешься?

— Просто, — сказал он, — они чувствуют, что я им друг».

СИЮ МИНУТУ-С!..

(стр. 343—348)

Впервые опубликован в журнале «Дружные ребята», 1938, № 9 (с рисунками Н. Алякринского). Входит в сборники: «Рассказы» и «Избранное».

Этот рассказ В. Шкловский оценивает так: «Есть у Бориса Степановича рассказ «Сию минуточку-с!..». Молодой мичман испугался ручного леопарда. Житков считает, что молодой человек виноват, потому что он моряк на военном корабле. Мичмана списывают на берег. Степан, буфетчик, горько упрекает за это леопарда.

Степан не боится леопарда и относится к нему покровительственно... Победил зверя Степан не из хвастовства, а потому, что покровительствует ему, — он просто ведет себя как следует.

У Житкова прежде всего храбры простые люди».

Г. Петрова

В. В. БИАНКИ

РАССКАЗЫ И СКАЗКИ

Основные принципы творчества В. Бианки, которым он следовал сам и которые настоятельно рекомендовал другим, — писать для детей о природе совершенно точно и правдиво, но в художественной форме и занимательно — выдержаны уже в самых ранних его произведениях.

В. Бианки было свойственно, как он сам писал, «сказочное (поэтическое) мироощущение, оно влечет за собой мирозерцание, мирозерцание непременно приводит к желанию постигнуть мир — к миропониманию». «Сказка, — продолжает писатель, — по-моему, самый глубинный вид литературы. И неисчерпаемый. Сказка для меня — лучший способ постижения ж и з н е н н о й п р а в д ы».

Поэтому В. Бианки часто прибегает к сказке. И создает особую — природо-ведческую — сказку-нёсказку. С другой стороны, поэтическое мироощущение писателя делает похожими на сказку произведения и других жанров.

В комментариях делается попытка проследить историю написания и первых публикаций каждой вещи. Используются выдержки из переписки и дневниковых записей писателя — примечания автора к данной вещи или высказывания его в более широком плане, но по поводу данного произведения.

Рассказы, сказки, повесть В. Бианки печатаются по тексту Собрания сочинений В. Бианки в четырех томах. Л., «Детская литература», 1972—1975:

Произведения внутри циклов расположены в том хронологическом порядке, в каком они приведены в Собрании сочинений.

ЧЬИ ЭТО НОГИ? — КТО ЧЕМ ПОЕТ?

(стр. 365—369)

Эти сказки написаны В. Бианки почти одновременно — в апреле 1923 года в Саблине, вскоре по возвращении в Ленинград с Алтая. Они же были первыми произведениями писателя, вышедшими отдельными книжками в 1923—1924 годах (изд-во «Радуга», Л.) с рисунками П. Бучкина.

ЛЕСНЫЕ ДОМИШКИ

(стр. 369—373)

Сказка окончена 17 июня 1923 года в Саблине. Впервые издана в 1924 году в изд-ве «Синяя птица» с рисунками А. Формозова. Иллюстрировалась известными художниками: Н. Тырсой, В. Чарушиным, В. Курдовым, Е. Рачевым.

В дневнике В. Бианки за 1946 год записано: «Отовсюду слышу, что «Л. д.» любимейшая книжка дошколят. Что в ней угадано для маленьких? Мне кажется, большая уютность: все домики, и один другого лучше, уютнее. Маленький герой — еще «глупенький», ничего в большом мире не знающий, всюду тыкающийся носом, — как и сами читатели (слушатели). М. б., то доброе, что встречает Берего-

вушку — слабую и беспомощную — в этом огромном, но уже не чужом ей мире... Собственно, почти на ту же тему у меня «Поключения Муравьишки», «Мышонек Пик» — тоже».

ПЕРВАЯ ОХОТА

(стр. 373—375)

Сказка написана 17 октября 1923 года в Ленинграде. Первое издание (1924) и три последующих осуществлены «Радугой».

РОСЯНКА — КОМАРИНАЯ СМЕРТЬ

(стр. 375—377)

«Ночью с 1 на 2 апр. 1924 г. (Саблино) родилась книжка «Росянка — Комариная смерть». 15 апреля 1924 года — дата окончательного варианта сказки. 1925 год — 1-е издание в изд-ве «Начатки знаний», Ленинград, с рисунками В. Конашевича.

МЫШОНОК ПИК

(стр. 377—394)

В записной книжке В. Бианки от 1923 года есть запись тем-курьезов, среди них — мышь, которая вьет гнезда. Из письма В. Бианки к редактору Мосгиза от 12 ноября 1926 года из Уральска: «...Через два дня вышлю Вам рукопись только что законченной мною книжки «М-к Пик»... Описывается жизнь молодой мышималютки (*Mys minutus*), попавшей в положение Робинзона Крузо и счастливо руководимой инстинктом во всех затруднениях и опасностях. Рассказ для небольшого возраста.

Если книжка будет принята (а я думаю, что принята она будет, так как там минимальная доза «жупсла» ГИЗа — антропоморфизма)... просьбы:

1. Издать книжку небольшим форматом, с крупным шрифтом.
2. Дать возможность художнику обильно иллюстрировать ее маленькими (можно на полях) и большими (страничными) рисунками.
3. Просить иллюстрировать эту мою вещь Вашего московского художника Ватагина (я слышал — он ничего не имеет против...). В случае его отказа, обратиться к молодому зоологу-художнику Ал. Ник. Формозову. Школа у него натуралистическая, что м. б. и не так плохо в иллюстрациях к моему вполне трезвому «Мышонку». Анималист же для этой книжки необходим».

В 1927 году — первое издание с рисунками А. Формозова.

ТЕРЕМОК

(стр. 394—396)

«14/V I-28 г., дср. Слутка (на Волхове)», — написано на рукописи последнего варианта. В 1929 году — первое издание в Ленгизе. Рисунки Е. Чарушина.

КРАСНАЯ ГОРКА

(стр. 397—402)

Сказка окончена 10 августа 1929 года (Мельничный Ручей) 1-е издание в Госиздате, Ленинград, 1930 год, с рисунками Е. Чарушина.

ИЗ ЦИКЛА «СКАЗКИ ЗВЕРОЛОВА»

(стр. 403—405)

Из этого цикла, включающего пять сказок, в данное издание вошла сказка «Люля». Она была закончена в начале 1934 года (вместе с двумя другими сказками этого цикла — «Кузляр-Бурундук» и «Инойка-Медведь»). «Материалом для сказочек послужили записи, сделанные автором в стране лесных людей — остяков и вогулов», — записывает Бианки. (Можно добавить: это было в 1930 году во время поездки по тобольскому северу.)

Все пять «Сказок зверолова» были изданы сборником в 1937 году в Детгизе (Москва) с рисунками А. Рылова. Выходила «Люля» и отдельными книжками.

ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШКО

(стр. 406—431)

Написано на основе наблюдений, собранных автором за несколько лет жизни в Новгородской области. Из дневника: «27 авг. 37 г., Михеево... когда все улеглись спать, сел за работу. Выдумал календарь про серую куропаточку. Потом лег, но не спал до рассвета. 29-го написал вторую главу «Оранж. Горл.» («Календарь»). С каждой строчкой эта вещь проясняется для меня. Вещь трудная: сложная, ответственная. 31-го — заново «Календарь», скомбинировал скелет всей вещи и начал сначала. 23 сентября — опять за Подковкина берусь».

В 1941 году вышло 1-е издание отдельной книжкой с рисунками А. Рылова в Детгизе (Москва). В. Бианки писал семье из деревни Михеево: «Радость: вышло «Оранжевое Горлышко». Еще книжка с рыловскими рисунками!» «Эту вещь я считаю своим маленьким гимном Родине». (Из письма К. Ф. Пискунову 27 августа 1952 года.)

В 1953 году для переиздания в Лениздате автором было написано предисловие и внесены некоторые изменения, касающиеся техники сельскохозяйственных работ.

ИЗ ЦИКЛА «МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ»

(стр. 432—436)

Из 11 рассказов этого цикла в данное издание вошли рассказы: «Музыкант», «Голубой зверек», «Перышко», «Как муха медведя от смерти спасла».

Из письма В. Бианки в редакцию журнала «Чиж» от 1/XI 1937 года: «...Исподволь, для своего собственного удовольствия и — впрок — для книжки написал я одиннадцать малёньких рассказцев. Все они не только вполне реалистичны, но

в основе каждого — точный факт. Это случаи из жизни охотников и натуралистов, острые, круто-сюжетные миниатюры. Я не торопясь отделяю их до последних пределов».

Все рассказы были «отделаны» в том же ноябре в деревне Михеево, где В. Бианки прожил в тот год более семи месяцев. В 1938 году почти все рассказы были напечатаны в журнале «Чиж» и «Дружные ребята». А в 1939 году Детгизом (Ленинград) были изданы отдельной книжечкой с рисунками В. Кобелева.

ИЗ ЦИКЛА «МОЙ ХИТРЫЙ СЫНИШКА»

(стр. 437—447)

Из семи рассказов этого цикла в данное издание вошли: «Плавунчик», «Лупленный бочок», «Бешеный бельчонок». Рассказы написаны в Ленинграде в конце 1945 — начале 1946 года на материале Приуралья, где В. Бианки находился в эвакуации.

В 1943 году в Детгизе (Москва) был издан сборник с рисунками Д. Горлова «По следам», куда, кроме переиздаваемых, вошли и названные рассказы. В 1946 году в Детгизе (Ленинград) вышел сборник «Плавунчик» с рисунками Чарушина, составленный из этих рассказов.

МЕТЕЛЬКИ, ИЛИ ТЫСЯЧА И ОДИН ДЕНЬ

(стр. 448—450)

18—27 марта 1945 года — дата окончательной редакции сказки, написанной в Подмосковье (станция Заветы Ильича). Эта поэтическая сказка родилась дважды: первый раз под названием «Однодневки» в 1924 году, второй раз — под названием «Метельки». «...Но и маленькие вещи требуют солидной работы в том случае, если тема тебе не дается, — замечает В. Бианки в «Рассказе о рассказах» и добавляет: — Знаю это по собственному опыту. Добиваясь внутреннего удовлетворения, я переписал свою вещь «Метельки, или Тысяча и один день» сорок четыре раза». Печаталась сказка в 1946 году в журнале «Костер» и выходила отдельной книжкой.

МИШКА-БАШКА

(стр. 451—453)

Еще в мае 1938 года В. Бианки пишет рассказ «Медведь и пень», а в конце дает справку: «Случай подлинный. Свидетелем ему был на Дальн. Востоке Б. К. Штегман». Но в 1950 году в № 6 журнала «Мурзилка» печатается рассказ «Мишка-башка», который является сильно переработанным рассказом «Медведь и пень». В 1951 году В. Бианки вносит «Мишку-башку» в список предлагаемого сборника «Лесные были и небылицы» в Лениздат. В 1953 году выходит небольшой сборник из пяти рассказов под общим названием «Мишка-башка» с рисунками Е. Чарушина.

ГОГЛЕНОК, ИЛИ ТРИ МИРА

(стр. 454—462)

В 1946 году, живя на озере Пирос в Новгородской области, В. Бианки записывает свои раздумья о том, что надо написать рассказ о маленьком герое, которого всюду встречают большие опасности, но и «доброе отношение к нему, и всегда в нем самом уже заложено все то, что необходимо для избежания этих опасностей...». И через три года, на другом озере, Боровно: «Вчера к ночи вдруг сдвинулась с места тяжелая лавина воображения — и пошло, и пошло писаться!.. Началось с начатого (только наметки и первые слова еще на Пиросе) в 1946 году: «Как, вы не помните, как вы родились на свет? Вот странно! А я все отлично помню. Это было очень, очень весело!»

Писалось и днем сегодня: продолжалось. Какой прекрасной кажется вещь впереди, когда ее только задумываешь! Всю свою детскую жизнерадостность и всю свою стариковскую «мудрость» чается мне вложить в эту вещь; — и пусть бы ее с интересом читали и самые маленькие и старики. Не хочу никаких планов строить, думать вперед не хочу: вот мой Гоголенок родился — выскочил в мир, — пусть там живет как сам хочет или — вернее — как ему жизнь велит при его способностях, а жизнь сама пусть так все время вокруг него изменяется, как она изменяется — и ее изменяют — вокруг нас в наше стремительное время. И хочу писать, не заглядывая в книжки, не ища в них «материала», — на живом материале своей памяти, опыта, наблюдений и раздумья. Пусть это будет «история моего современника», почему бы ему не быть Гоголенком?

1/VIII. Все продолжается бешеное писание — род недуга, — без сна, конвейером чувств и мыслей...

И еще через девять лет — весной 1958 года — В. Бианки снова возвращается к своему «Гоголенку» в Ленинграде и оканчивает работу над ним 29 мая 1958 года в Дубултах.

«Гоголенок, или Три мира» печатался в журнале «Мурзилка» в сокращенном (самим автором) виде. Полностью отдельной книжкой вышел в издательстве «Детская литература» (Москва) в 1960 году с рисунками Г. Никольского.

ИЗ ЦИКЛА «ЗАДУМЧИВЫЕ РАССКАЗЫ»

(стр. 463—478)

Шесть рассказов этого цикла были включены автором в сборник «Нечаянные встречи» (вышел из печати в 1947 году). Все рассказы написаны в период, когда писатель сам говорил, что пишет «взрослые» вещи и, кажется, в полную силу

В данное издание включены четыре рассказа.

РОЗОВОЕ И ОЛИВКОВОЕ

(стр. 463—465)

Рассказ написан 2—17 марта 1940 года в Ленинграде. Напечатан в 1940 году в журнале «Пионер», в 1944 году — в журнале «Дошкольное воспитание» № 7

НОЧНОЙ ЗВЕРЬ

(стр. 466—471)

Рассказ написан в сентябре 1940 года. Из письма В. Бианки Г. Гроденскому: «...Оказалось: можно писать прямо из жизни» — и получается настоящий рассказ». Напечатан в журнале «Наша страна», № 2 за 1941 год.

О АУЛЕЙ, АУЛЕЙ, АУЛЕЙ!

(стр. 471—474)

На рукописи стоит дата окончания: апрель 1945 года. Заветы. (Подмосковье.) В том же году автор читал этот рассказ по радио; напечатан был в журнале «Костер».

МОРСКОЙ ЧЕРТЕНОК

(стр. 474—478)

Написан рассказ в конце 1945 — начале 1946 года в Ленинграде. В это время писатель составлял сборник «Нечаянные встречи» из ряда старых рассказов (раздел «Нехоженными тропами») и двух новых разделов («Задумчивые рассказы» и «Рассказы о тишине»). «Морской чертенок» был помещен автором в начале сборника в виде вступления.

Летом 1946 года рассказ был передан по радио.

Основой рассказа послужили впечатления детства автора. В стихах В. Бианки «Лебяжье» есть такие строки: «...Пять Братьев. На них в детстве поймал я морского чертенка».

ИЗ ЦИКЛА «РАССКАЗЫ О ТИШИНЕ»

(стр. 479—492)

Три рассказа («Уммб!», «Она», «Неслышимка») выделил автор в раздел для сборника «Нечаянные встречи» (1947).

В данное издание вошли два рассказа.

УММБ!

(стр. 479—488)

Рассказ написан в самом начале февраля 1946 года в Ленинграде. Использованы впечатления детства автора. Рассказу был предпослан эпиграф, позже снятый автором: «Что только не лезет в душу и голову от всех этих стихий, как говорят. А стихии: солнце, море, ветер и еще то, чего не выразишь словами и что сильнее всех стихий, из чего складывается улыбка жизни: то печальная, то настроженная, то радостная...» — Борис Житков. Письмо.

НЕСЛЫШИМКА

(стр. 488—492)

В ряду тем для своих будущих рассказов В. Бианки записал: «*Не все то кузнецик, что трещит. (Как я услышал камышовку-сверчка.)*» Написан рассказ 13—14 апреля 1946 года в Ленинграде.

Е. Бианки

П. П. БАЖОВ

УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ

У КАРАУЛКИ НА ДУМНОЙ ГОРЕ

(стр. 503—506)

Предисловие П. П. Бажова к первому изданию сборника «Малахитовая шкатулка» (уральские сказы), выпущенному Свердловским областным издательством в 1939 году.

МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА

(стр. 507—513)

Сказ впервые опубликован в журнале «Красная новь» № 11 за 1936 год вместе с другими — «Про Великого Полоза», «Дорогое имячко» и «Приказчиковы подошвы»; затем в сборнике «Дореволюционный фольклор на Урале», Свердловск, 1936. Эти сказы географически связаны со старинным Сысертским горнозаводским округом, «в состав которого, — указывал П. Бажов, — входили пять заводов: Сысертский, или Сысертъ — главный завод округа, Полевской (он же Полевая или Полевá) — самый старый завод округа, Северский (Северна), Верхний (Верх-Сысертский), Ильинский (Нижне-Сысертский)... Вблизи Полевского завода было и знаменитейшее медное месторождение крепостной поры Урала — рудник Гумёшки, иначе Медная гора или просто Гора. С этими Гумёшка́ми, которые в течение столетия были жуткой подземной каторгой не одного поколения рабочих, связана большая часть сказов Полевского района» (П. Бажов. Предисловие к сказам, печатавшимся в журнале «Октябрь», № 5—6, 1939, стр. 158).

Образ Хозяйки Медной горы, или Малахитницы, в горнорабочем фольклоре имеет различные варианты: Горная матка, Каменная девка, Золотая баба, девка Азовка, Горный дух, Горный старец, Горный хозяин.

Все эти фольклорные персонажи являются хранителями богатств, скрытых в недрах гор. У П. Бажова образ Малахитницы значительно сложнее. Писатель воплотил в ней красоту самой природы, вдохновляющую человека на творческие искания.

Сказ «Медной горы Хозяйка» положил начало целой группе произведений,

объединяемых образом Малахитницы. В эту группу, кроме указанного сказа входят еще девять произведений: «Приказчиковы подошвы» (1936), «Сочневы камешки» (1937), «Малахитовая шкатулка» (1938), «Каменный цветок» (1938), «Горный мастер» (1939), «Две ящерицы» (1939), «Хрупкая веточка» (1940), «Травяная западенка» (1940), «Таяткино зеркальце» (1941).

Образ Малахитницы из сказов П. Бажова широко вошел в советское искусство. Он воссоздан в живописи и скульптуре, в росписи зданий: Дома пионеров в г. Серове, Дворца молодежи и спорта в Свердловске; в большом белокаменном Дворце пионеров в Свердловске есть комната бажовских сказов, разрисованная художниками-палешанами.

В 1953 году по проекту архитектора К. Топуридзе в Москве на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке на площади Колхозов был сооружен фонтан «Каменный цветок». Его бассейн окаймлен красным гранитом. Самый фонтан сделан из «самоцветов», он представляет собой сказочный цветок, из которого бьет множество струй.

В 1970 году Министерством связи СССР была выпущена почтовая марка к открытию Всемирной выставки «ЭКСПО-70» в японском городе Осака. В центре почтовой миниатюры художник Николай Шевцов поместил скульптурное изображение героя уральских сказов Бажова — Данилы-мастера.

К столетию П. Бажова, в 1979 году, выпущена юбилейная почтовая марка с изображением раскрытой книги «Малахитовая шкатулка» и образа Данилы-мастера, а также красочный маркированный конверт с портретом самого писателя.

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

(стр. 514—531)

Сказ впервые публикуется в свердловской газете «На смену», с 18 сентября по 20 ноября 1938 года, и в альманахе «Уральский современник», кн. I за тот же год. Первоначально назывался «Тягино подаренье», при подготовке к печати автор заменил это название другим — «Малахитовая шкатулка». Замена оказалась удачной, название стало общим для всей книги сказов, отмеченной в 1943 году Государственной премией второй степени. В передовой статье газеты «Правда» (20 марта 1943 г.) говорится: «Народу нашему полюбился старый уральский сказочник П. Бажов. Его «Малахитовая шкатулка» содержит в себе самоцветы народной поэзии».

Сказ «Малахитовая шкатулка» был несколько раз инсценирован (еще с участием самого автора) и неоднократно ставился на сцене детских театров. Свердловская киностудия в 70-х годах создала кукольные фильмы «Малахитовая шкатулка», «Медной горы Хозяйка», «Каменный цветок».

В Москве, в Ростокине, одна из улиц столицы весной 1967 года получила название «Малахитовая»; неподалеку от нее находится улица имени Павла Бажова. А в городе Усть-Каменогорске (Восточный Казахстан), где во время гражданской войны в большевистском подполье при Колчаке работал П. Бажов, к столетнему юбилею писателя его именем была названа одна из улиц и городская библиотека (газета «Труд», 2 февраля 1979 г.).

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

(стр. 531—547)

Впервые опубликован в «Литературной газете» 10 мая 1938 года и в «Уральском современнике», кн. I, 1938 года. К этому сказу примыкают два других: «Горный мастер», повествующий о невесте главного героя первого сказа — Катерине, и «Хрупкая веточка» — о сыне Катерины и Данилы-камнереза. П. Бажов задумал и четвертый сказ, завершающий историю семьи камнерезов: «Собираюсь закончить сказ о «Каменном цветке». Мне хочется показать в нем преемников его героя, Данилы, написать об их замечательном мастерстве, устремлении в будущее. Действие сказа думаю довести до наших дней» («Вечерняя Москва», 31 января 1948 г.). Замысел этот остался неосуществленным.

Сказ был экранизирован в 1946 году. В основу сценария П. Бажовым положены сюжеты двух сказов — «Каменный цветок» и «Горный мастер». Ставил фильм известный советский режиссер-сказочник А. Птушко. Фильм имел успех и в нашей стране и за границей.

Сказы П. Бажова вдохновляли советских композиторов, пробуждая их творческий интерес причудливой сказочностью и философской глубиной. Молодой свердловский композитор А. Фридендер до войны начинает работу над балетом «Каменный цветок» (газета «Уральский рабочий», 15 июня 1941 г.). Премьера состоялась 5 августа 1944 года на сцене Свердловского театра оперы и балета имени А. Луначарского.

Композитором К. Молчановым была написана опера «Каменный цветок», поставленная в 1950 году на сцене Московского театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Выдающимся событием музыкальной жизни страны явился балет Сергея Прокофьева «Сказ о каменном цветке».

Премьера состоялась в 1954 году на сцене Большого театра СССР. Постановщики Ю. Файер и Л. Лавровский. Ближе к замыслу композитора оказалась вторая постановка балета, осуществленная молодым тогда ленинградским режиссером Ю. Григоровичем, стремившимся выявить глубоко философскую, новаторскую сторону бажовских сказов. Теперь балет назывался «Каменный цветок». 22 апреля 1957 года состоялась его премьера на сцене театра имени С. М. Кирова в Ленинграде, а затем, в 1959 году, в Большом театре СССР.

ГОРНЫЙ МАСТЕР

(стр. 547—556)

Впервые опубликован в 1938 году в свердловской газете «На смену» (14—26 января); в журнале «Октябрь», № 5—6, 1939 год и в первом издании книги «Малахитовая шкатулка», Свердловск, 1939 год.

С героями этого сказа, а также с волшебной бабкой Синюшкой, с девчоночкой Огневушкой-Поскакушкой встречаемся в спектакле «Ключ земли», осуществленном Нижне-Тагильским драматическим театром им. Д. Н. Мамина-Сибиряка к столетнему юбилею П. Бажова (в январе 1979 г.). Пьеса написана местными авторами (А. Егоров и А. Сашин); художник Г. Аверкин (газета «Тагильский рабочий», 13 января 1979 г.).

ХРУПКАЯ ВЕТОЧКА

(стр. 556—563)

Впервые опубликован в 1940 году в газете «Уральский рабочий» 22 сентября и в журнале «Смена», № 9 за тот же год.

ДВЕ ЯЩЕРКИ

(стр. 564—575)

Впервые опубликован в 1939 году в журнале «Октябрь», № 5—6, а также в первом издании книги «Малахитовая шкатулка».

ПРИКАЗЧИКОВЫ ПОДОШВЫ

(стр. 575—580)

Впервые опубликован в 1936 году в журнале «Красная новь», № 11. По своему характеру принадлежит к группе горнозаводских вольнолюбивых «тайных сказов», звавших к борьбе с жестокими притеснителями рабочих — рудничным начальством и заводовладельцами.

Тематически к нему примыкают сказы «Сочневы камешки», «Травяная западенка», «Таюткино зеркальце».

ТАЮТКИНО ЗЕРКАЛЬЦЕ

(стр. 580—590)

Сказ закончен 17 марта 1941 года. Впервые опубликован в газете «Уральский рабочий» в том же году, 30 марта.

П. Бажов неоднократно подчеркивал необходимость кропотливой и тщательной работы над языком сказов: *«Вот в сказе «Таюткино зеркальце» надо сказать было о надежной крепи. Старый технический словарь и другие словари подсказывают «крепь». Хорошее народное слово. Но это первое слово. Надо искать. Сколько русских слов перебрал! И нашлось — «переклад», надежная крепь — «крепить двойным перекладом». Это сразу почувствуется. Горжусь: нашел. Эту простоту, естественность языка, очень трудно найти»* (из архива П. Бажова).

КОШАЧЬИ УШИ

(стр. 590—599)

Впервые опубликован в журналах «Индустрия социализма», № 2 за 1939 год и «Октябрь», № 5—6 за тот же год.

В сказе возникает фантастический образ «земляной кошки», связан он с природным явлением — выходом сернистого газа. *«...Сернистый огонек имеет широкое основание и потому напоминает ушко», —* говорит П. Бажов.

ПРО ВЕЛИКОГО ПОЛОЗА

(стр. 599—604)

Впервые опубликован в 1936 году в журнале «Красная новь», № 11; в сборнике «Дореволюционный фольклор на Урале», 1936. Открывает цикл старательских сказов, таких, как «Змеиный след» (1939), «Огневушка-Поскакушка» (1940), «Жабреев ходок» (1942), «Золотые дайки» (1945) и «Голубая змейка» (1945). В этих сказах действуют новые фантастические персонажи: хозяин золота — Великий Полоз, его дочери Змеевка, Огневушка, которая указывает на «верховое золото», и т. д. С помощью этих сказочных образов уральские горняки поясняли загадочные явления природы: *«Например, потерялась золотоносная жила — это значит, что Полоз (огромный змей — хозяин всего золота в земле) отвел эту жилу в другое место... Золото внутри такого плотного камня, как кварц, объяснялось тем, что здесь прошла Полозова дочь — Змеевка, и т. д.»* (П. Бажов. Предисловие к сказам, опубликованным в журнале «Октябрь», № 5—6, 1939, стр. 159).

Образ реального героя сказов также изменяется в старательском цикле: здесь это уже не рудокоп или мастер-камнерез, а золотоискатель, «первый добытчик».

ЗМЕИНЫЙ СЛЕД

(стр. 604—613)

Закончен автором 15 февраля 1938 года. Впервые опубликован в журнале «Октябрь», № 5—6, 1939 год, а также в первом издании книги «Малахитовая шкатулка», 1939. Является продолжением сказа «Про Великого Полоза», рисует дальнейшее развитие судеб его героев — двух братьев-золотоискателей. Бажов подчеркивает характер семейного предания, присущий горняцкому сказу.

ЖАБРЕЕВ ХОДОК

(стр. 613—622)

Закончен сказ 10 апреля 1941 года. Впервые опубликован в сборнике сказов П. Бажова «Ключ-камень», Свердловгиз, 1942.

ОГНЕВУШКА-ПОСКАКУШКА

(стр. 622—630)

Сказ закончен 14 сентября 1939 года. Впервые опубликован в 1940 году в газете «Всходы коммуны», Свердловск, № 17—19; вошел в литературно-художественный сборник для детей «Морозко», Свердловгиз, 1940. Это произведение принадлежит к группе сказов «детского тона», на что указывал сам П. Бажов: «...детского тона» «Серебряное копытце», «Голубая змейка», а «взрослого тона» «Каменный цветок», кроме того, исторические сказы — «Марков камень» (архив П. Бажова).

Сказ-этот вошел составной частью в балет С. Прокофьева «Каменный цветок»; был положен также в основу танцевальной картины «Огневушка», созданной по народным мотивам. Она исполнялась хореографическим коллективом учащих учебных заведений трудовых резервов г. Свердловска («Советская культура», 26 марта 1955 г.).

ГОЛУБАЯ ЗМЕЙКА

(стр. 630—639)

Впервые опубликован в журнале «Мурзилка», № 9—10, 1945, и в том же году в виде книжки-малышки в Свердловском областном издательстве.

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ

(стр. 639—645)

Впервые опубликован в альманахе «Уральский современник», № 2 за 1938 год.

П. Бажовым в соавторстве с Евг. Пермяком написана пьеса «Серебряное копытце» для детей младшего возраста. Опубликована она в журнале «Затейник», № 6, 1947.

На основе этого сказа к столетию П. Бажова Свердловская киностудия выпустила новый кукольный фильм «Подаренка», музыка композитора В. Казеина (газета «Тагильский рабочий», 16 января 1979 г.).

ЕРМАКОВЫ ЛЕБЕДИ

(стр. 645—661)

Впервые опубликован в журнале «Техника смене», № 9—11, г. Свердловск, 1940. В воспоминаниях уральского писателя К. Боголюбова имеется свидетельство о том, что П. Бажов многие годы собирал материалы о подвигах прославленных русских землепроходцев. «Глубокое изучение Урала нашло отражение и в сказах «Малахитовой шкатулки», — пишет К. Боголюбов. — При этом Павел Петрович всегда придерживался научного объяснения. Так, например, он отстаивал версию об уральском происхождении Ермака еще задолго до опубликования своих «Ермаковых лебедей» (К. Б о г о л ю б о в. Наш Бажов. Воспоминания. Альманах «Южный Урал», № 5, 1951, стр. 58). «Ермаковы лебеди» дают новую оценку образа русского землепроходца, его новое историческое осмысление, облеченное в форму народной легенды.

ЖИВИНКА В ДЕЛЕ

(стр. 661—664)

Впервые сказ опубликован в 1943 году в свердловской газете «Красный боец», 17 октября, а также в Москве одновременно в «Правде» и «Труде» — 21 ноября

1943 года. Историю московской публикации рассказал Демьян Бедный в письме к старому большевику, уроженцу Башкирии А. А. Пьянкову, другу П. Бажова, переславшему поэту рукопись сказа «Живинка в деле».

Демьян Бедный писал ему: «Милейший Адриан Афанасьевич!.. Я рекомендовал настойчиво «Правде» сказ Бажова. Но будучи твердо убежден, что дело затормозит правдинская теснота, я предложил сказ «Труду», пообещав и свой комментарий. И вот получилось — сказ сегодня напечатан и в «Правде» и в «Труде» с моим стишком. Теперь, конечно, будет мне в «Правде» головомойка. Что поделаешь! Придется претерпеть хорошего сказа ради. Сказ действительно что надо!» И, сравнивая бажовский сказ с другими произведениями того же жанра, Демьян Бедный заявляет: «То, что случайно попадалось мне на глаза, ни в какое сравнение с «Живинкой» не идет. Не в охуление говорится, а в доказательство, что «живинка — вершинка». К письму были приложены стихи Демьяна Бедного, посвященные автору сказа и сопровождавшие публикацию в «Труде» в качестве комментария.

«Колдун уральский бородатый,
Бажов дарит нам новый сказ.
«Живинка в деле» — сказ богатый
И поучительный для нас.
В нем слово каждое лучится,
Его направленность мудра,
Найдут, чему здесь поучиться,
Любого дела мастера.
Важны в работе ум и чувство,
В труде двойное естество.
«Живинкой в деле» мастерство
Преображается в искусство,
И нет тогда ему границ.
И совершенству нет предела,
Не оторвать тогда от дела
Ни мастеров, ни мастериц.
Их вдохновение безмерно,
Глаза их пламенем горят.
Они работают? Неверно,
Они — творят».

(«Советское Зауралье»,
г. Курган, 16 декабря 1960 г.)

«Живинка в деле» открывает цикл философских сказов, утверждающих этические трудовые принципы. Заголовок сказа как поговорка вошел в современную речь. К этой же группе сказов относятся такие, как «Круговой фонарь» (1943), «Васина гора» (1946), «Далевое глядельце» (1946), «Рудяной перевал» (1947), «Широкое плечо» (1948), «Золотоцветень горы» (1949), «Не та цапля» (1950), «Живой огонек» (1950).

ВАСИНА ГОРА

(стр. 665—668)

Опубликован в журнале «Молодой колхозник», № 1, 1946, в газете «Уральский рабочий», 5 марта 1946 года. Писатель рассматривал этот сказ как образный отклик на события современности.

СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ

(стр. 668—672)

Этот сказ был задуман в 1941 году. На вечере, организованном 26 апреля 1941 года в Московском клубе писателей в связи с выходом первого издания «Малахитовой шкатулки», П. Бажов поделился своими творческими планами. *«Я хочу,— сказал он,— продолжить свою книгу до наших дней и завершить ее повествованием о том, как советские горнорабочие посылали в Москву драгоценные камни для Кремлевских звезд»* («Литературная газета», 1 мая 1941 г.). Из этого замысла выделился сказ об уральских ходоках к В. И. Ленину и о том, как был создан прославленный Ильменский заповедник. Сказ получил название «Солнечный камень» и был впервые опубликован в свердловской газете «Уральский рабочий», 21 января 1942 года, затем вошел в сборник «Ключ-камень» (Свердлгиз, 1942). Первоначальный же замысел должен был явиться основой второго сказа, как бы продолжающего «Солнечный камень». Осуществить свое намерение писатель, однако, не успел.

БОГАТЫРЕВА РУКАВИЦА

(стр. 672—676)

Сказ посвящен В. И. Ленину. Впервые был опубликован в газете «Уральский рабочий», 21 января 1944 года. Затем входил во все последующие издания «Малахитовой шкатулки».

Л. Скорино

СОДЕРЖАНИЕ

МИХАИЛ ПРИШВИН

Солоухин В. А. Очарованный странник 5

ЗОЛОТОЙ ЛУГ

Моя Родина (Из воспоминаний детства) 15

Лисичкин хлеб

Лисичкин хлеб 17
«Изобретатель» . 18
Жизнь на ремешке 20
Ребята и утята —
Лесной доктор . . 21
Еж 22
Золотой луг 24
Курица на столбах —
Пиковая Дама 25

Журка

Журка 28
Матрешка в картошке 29
Борец и Плакса 31
Говорящий грач 33
Хромка —

Ярик

Ярик 35
Предательская колбаса 38
Первая стойка 40
Ужасная встреча 42

Ежовые рукавицы	43
Еж	44
Сват	45
Отражение	46
Лада	47
Глоток молока	48
Как я научил своих собак горох есть .	—
Петин башмак	49
Как Ромка переходил ручей . .	50
Охота за бабочкой	—
Кадо	51

Зверь бурундук

Зверь бурундук	52
Рождение Кастрюльки	53
Орлиное гнездо	55
Барс	—
Белый ожерёлок	57

Разговор птиц и зверей

Разговор птиц и зверей	58
Луговка (<i>Рассказ старого лесника</i>) .	59
Гаечки	61
Дергач и перепелка	62
Хлопунки	—
Выскачка	63
Птицы под снегом	65
Вальдшнеп	66
Терентий	67
Кот	69

В краю дедушки Мазая

Дом на колесах	70
Деревья в плену	71
Жаркий час	72
Сосулька	—
Муравьи	73
Беличья память	74
Лягушонок	—
Остров спасения	75
Трясогузка	77
Гости	79
Лоси	—
Разговор деревьев	80

Запоздалый ручей	81
Березовый сок . . .	—
Первый цветок	—
Как распускаются разные деревья .	82
Белолапки	—
Липа и дуб	—
Живое дерево	83
Ласточка	—
Красные шишки	—
Этажи леса .	84
Река	85
Утренняя роса . .	—
Колокольчики	86
Медуница и можжевельник .	—
Живая ночь	—
Щука	87
Около гнезда	—
Дятел	—
Берестяная трубочка	88
Верхоплавки .	—
Барсучьи норы	89
Лесной шатер .	—
Наш лагерь .	90
Филин	—
Старый дед .	92
Цветущие травы	—
Пень-муравейник	93
Именины осинки	—
Силач	—
Старый скворец	—
Землеройка .	94
Полянка в лесу	—
Осенняя роска	95
Осинкам холодно	—

О чем шепчутся раки.

О чем шепчутся раки	96
Дедушкин валенок	97
Медведь	99
Таинственный ящик	100
Барсуки	101
Щегол-турлукан	102
Звери	104
Знакомый бекас	105
Куница-медовка	—
Синий лапоть	106

Клюква	108
Наш сад (<i>Рассказы старого садовника</i>) .	109
Вася Веселкин	114

Лесной хозяин

Паутинка	119
Лесной хозяин	120
Сухостойное дерево	122
Старый гриб	123
Осенние листики	127
Кладовая солнца	128

БОРИС ЖИТКОВ

<i>Разумневич В. Л.</i> О людях труда и подвига	161
---	-----

МОРСКИЕ ИСТОРИИ

На воде (<i>Шквал</i>)	169
Над водой. (<i>Над морем</i>)	176
Под водой	180
Как я ловил человечков	186
Вата	190
Джарылгач	195
«Мария» и «Мэри»	205
Николай Исаич Пушкин	212
Дяденька	216
Компас	221
«Погибель»	226
Механик Салерно. (<i>Было давно</i>)	246
Черная махалка	263
Волю	270
Коржик Дмитрий	278
Утопленник	284
«Мираж»	292
Словарь морских терминов	297

РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ

Про волка	298
Про слона	310

Про обезьянку	314
Мангуста	322
Беспризорная кошка	327
Тихон Матвееч	333
Кенгура	341
«Сию минуточку!»	344

ВИТАЛИЙ БИАНКИ

С л а д к о в И. И. Мир многоголосый и многокрасочный . . .	351
---	-----

РАССКАЗЫ И СКАЗКИ

Чьи это ноги?	365
Кто чем поет?	368
Лесные домишки	369
Первая охота	373
Росянка — Комариная смерть	375
Мышонок Пик	377
Теремок	394
Красная горка	397

Из цикла «Сказки зверолова»

Люля	403
Оранжевое Горлышко	406

Из цикла «Мой хитрый сынишка»

Музыкант	432
Голубой зверек	433
Перышко	434
Как муха медведя от смерти спасла	435

Из цикла «Мой хитрый сынишка»

Плавунчик	437
Лупленный бочок	440
Бешеный бельчонок	444
Метельки, или Тысяча и один день	448
Мишка-башка	451
Гогленок, или Три мира	454

Из цикла «Задумчивые рассказы»

Розовое и оливковое	463
Ночной зверь	466
О Аулей, Аулей, Аулей!	471
Морской чертенок	474

Из цикла «Рассказы о тишине»

Уммб!	479
Неслышимка (Рассказ старого ученого)	488

ПАВЕЛ БАЖОВ

С к о р и н о Л. И. Сын Урала	495
---	-----

УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ

У караулки на Думной горе. <i>Вместо предисловия</i>	503
Медной горы Хозяйка	507
Малахитовая шкатулка	514
Каменный цветок	531
Горный мастер	547
Хрупкая веточка	556
Две ящерицы	564
Приказчиковы подошвы	575
Таюткино зеркальце	580
Кошачьи уши	590
Про Великого Полоза	599
Змеиный след	604
Жабреев ходок	613
Огневушка-Поскакушка	622
Голубая змейка	630
Серебряное копытце	639
Ермаковы лебеди	645
Живинка в деле	661
Васина гора	665
Солнечный камень	668
Богатырева рукавица. <i>Из уральских сказов о Ленине</i>	672
Объяснение отдельных слов, понятий и выражений, встречающихся в сказах	667
Дополнительный список отдельных слов, понятий и выражений, встречающихся в сказах	682
К о м м е н т а р и и	685

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
(т о м 25)

Михаил Михайлович Пришвин
ЗОЛОТОЙ ЛУГ

*

Борис Степанович Житков
МОРСКИЕ ИСТОРИИ
РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ

*

Виталий Валентинович Бианки
РАССКАЗЫ И СКАЗКИ

*

Павел Петрович Бажов
УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ

*

ИБ № 5813

Ответственный редактор
Л. П. С е р е б р я к о в а

Художественный редактор
С. И. Н и ж н я я

Технический редактор
Г. Г. С е д о в а

Корректоры
В. В. Б о р и с о в а и Л. М. П и с ь м а н

*

Сдано в набор 14.09.81. Подписано к печати 24.05.82. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт академический. Печать высокая. Усл. печ. л. 46,13. Усл. кр.-отт. 49,81. Уч.-изд. л. 48,37+9 вкл.=49,06. Тираж 407 000 (200 001—407 000) экз. Заказ 4298. Цена 2 р. 30 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушеvский вал, 49. Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Пришвин М. М. и др.

- П77** Золотой луг: Рассказы. Житков Б. С. Морские истории; Рассказы о животных. Бианки В. В. Рассказы и сказки. Бажов П. П. Уральские сказы/ Вступит. ст. В. А. Солоухина, В. Л. Разумневича, Н. И. Сладкова, Л. И. Скорино; Коммент. Г. А. Ершова, Г. А. Петровой, Е. В. Бианки, Л. И. Скорино; Рис. Н. А. Устинова.— М.: Дет. лит., 1982.— 718 с., 9 л. ил. (Б-ка мировой лит-ры для детей, т. 25).

В пер.: 2 р. 30 к.

В том вошли избранные произведения четырех известных русских советских писателей — Михаила Пришвина, Бориса Житкова, Виталия Бианки, Павла Бажова. Комментированное издание.

П 4803010102—341 Подп. изд.
М101(03)82

Р2





2 р. 30 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»